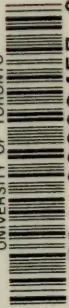


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00309457 0





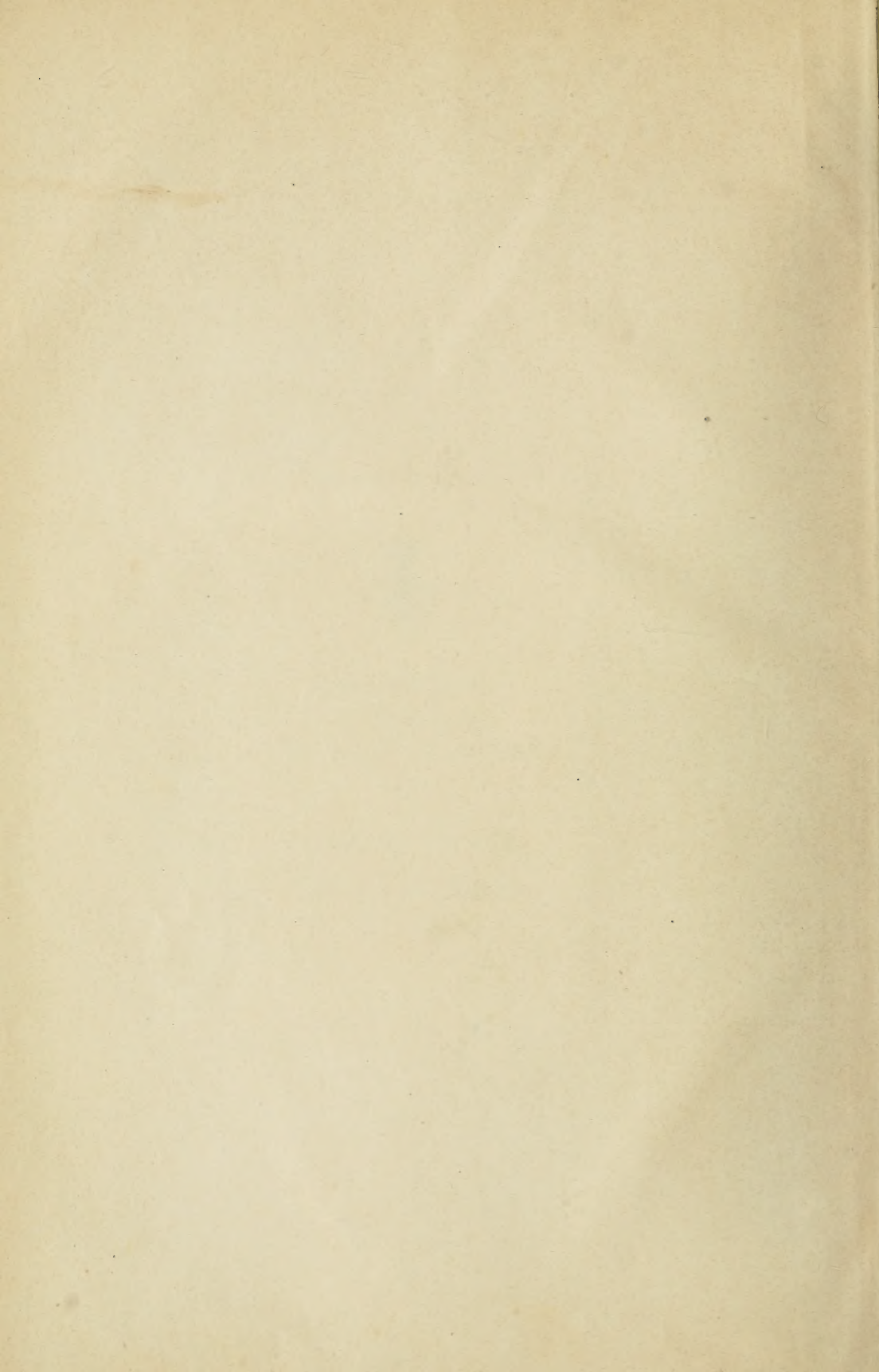
*Presented to the*  
LIBRARY *of the*  
UNIVERSITY OF TORONTO  
*by*

ESTATE OF THE LATE  
JOHN B. C. WATKINS













М. Е. САЛТЫКОВЪ

[Н. ЩЕДРИНЪ]







# СОЧИНЕНІЯ

# М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА]

---

ТОМЪ ПЯТЫЙ:

Господа Головлевы.—Благонамѣренныя рѣчи.

---

ИЗДАНИЕ АВТОРА.



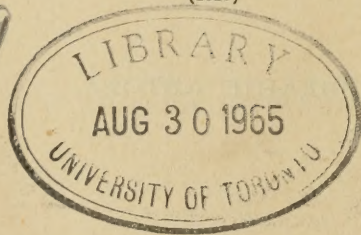
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 2 лин., 7.

—  
1889.



PG  
3361  
S3  
1889  
t.5



1003974

# СОДЕРЖАНІЕ

ПЯТАГО ТОМА.

## ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ.

	СТРАН.
I.—СЕМЕЙНЫЙ СУДЬ . . . . .	1
II.—По родственному . . . . .	41
III.—СЕМЕЙНЫЕ ИТОГИ . . . . .	74
IV.—ПЛЕМЯННУШКА . . . . .	109
V.—НЕДОЗВОЛЕННЫЯ СЕМЕЙНЫЯ РАДОСТИ . . . . .	144
VI.—ВЫМОРОЧНЫЙ . . . . .	165
VII.—РАЗСЧЕТЪ . . . . .	189

## БЛАГОНАМѢРЕННЫЯ РЪЧИ.

КЪ ЧИТАТЕЛЮ . . . . .	221
I.—ВЪ ДОРОГѢ . . . . .	233
II.—ОХРАНИТЕЛИ . . . . .	250
III.—ПЕРЕПИСКА . . . . .	275
IV.—СТОЛПЪ . . . . .	294
V.—КАНДИДАТЪ ВЪ СТОЛПЫ . . . . .	318
VI.—ПРЕВРАЩЕНІЕ . . . . .	337
VII.—ОТЕЦЪ И СЫНЪ . . . . .	359
VIII.—ОПЯТЬ ВЪ ДОРОГѢ . . . . .	398
IX.—По части женскаго вопроса . . . . .	428
X.—СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ . . . . .	454
XI.—ЕЩЕ ПЕРЕПИСКА . . . . .	475



ХП.—Кузина Машенька. . . . .	499
ХІІІ.—Непочтительный Коронарь. . . . .	526
ХІV.—Въ дружескомъ кругу. . . . .	554
ХV.—Въ погоню за идеалами. . . . .	574
ХVІ.—Тяжелый годъ (за двадцать лѣтъ назадъ). . . . .	590
ХVІІ.—Привѣтъ. . . . .	608—623



ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ





## I. — Семейный судъ.

Однажды бурмистръ изъ дальней вотчины, Антонъ Васильевъ, окончивъ барынѣ Аринѣ Петровнѣ Головлевой докладъ о своей поѣздкѣ въ Москву для сбора оброковъ съ проживающихъ по паспортамъ крестьянъ и уже получивъ отъ нея разрѣшеніе идти въ людскую, вдругъ какъ-то таинственно замаялся на мѣстѣ, словно бы за нимъ было еще какое-то слово и дѣло, о которомъ онъ и рѣшался, и не рѣшался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малѣйшія тѣлодвиженія, но и тайные помыслы своихъ приближенныхъ людей, немедленно обезпокоилась.

— Чтѣ еще?—спросила она, смотря на бурмистра въ упоръ.

— Все-съ, — попробоваль-было отвильнуть Антонъ Васильевъ.

— Не ври! еще есть! по глазамъ вижу!

Антонъ Васильевъ однакожъ не рѣшался отвѣтить и продолжалъ переступать съ ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дѣло за тобой есть? — рѣшительнымъ голосомъ прикрикнула на него Арина Петровна: — говори! не вилай хвостомъ... сумѣ переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людямъ, составлявшимъ ея административный и домашній персоналъ. Антона Васильева она прозвала переметной сумдой не за то, чтобъ онъ въ самомъ дѣлѣ былъ когда-нибудь замѣченъ въ предательствѣ, а за то, что былъ слабъ на языкъ. Имѣніе, которымъ онъ управлялъ, имѣло своимъ центромъ значительное торговое село, въ которомъ было большое число трактировъ. Антонъ Васильевъ любилъ попить чайку въ трактирѣ, похвастаться всемогуществомъ своей барыни и во время этого хвастовства незамѣтнымъ образомъ провирался. А такъ-какъ у Арины Петровны постоянно были въ ходу различныя тяжбы, то частенько случалось, что болтливость довѣреннаго человѣка выводила наружу барынины военныя хитрости, прежде нежели онѣ могли быть приведены въ исполненіе.

— Есть, дѣйствительно... — пробормоталъ наконецъ Антонъ Васильевъ.



— Что? что такое?—взволновалась Арина Петровна.

Какъ женщина властная и притомъ въ сильной степени одаренная творчествомъ, она въ одну минуту нарисовала себѣ картину всевозможныхъ противорѣчій и противодѣйствій и сразу такъ усвоила себѣ эту мысль, что даже поблѣднѣла и вскочила съ кресла.

— Степанъ Владимірычъ домъ-то въ Москвѣ продали...—доложилъ бурмистръ съ разстановкой.

— Ну?

— Продали-съ.

— Почему? какъ? не мни, сказывай!

— За долги... такъ нужно полагать! Извѣстно, за хорошія дѣла про-давать не станутъ.

— Стало быть, полиція продала? судъ?

— Стало быть, что такъ. Сказываютъ, въ восьми тысячахъ съ аукціона домъ-то пошелъ.

Арина Петровна грузно опустилась въ кресло и уставилась глазами въ окно. Въ первыя минуты извѣстіе это повидимому отняло у нея сознаніе. Еслибъ ей сказали, что Степанъ Владимірычъ кого-нибудь убилъ, что Головлевскіе мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину, или что крѣпостное право рушилось—и тутъ она не была бы до такой степени пора-жена. Губы ея шевелились, глаза смотрѣли куда-то вдаль, но ничего не ви-дѣли. Она не примѣтила даже, что въ это самое время дѣвчонка Дуняшка ринулась-было сразбѣга мимо окна, закрывая что-то передникомъ, и вдругъ, завидѣвъ барыню, на мгновеніе закружилась на одномъ мѣстѣ и тихимъ ша-гомъ поворотила назадъ (въ другое время этотъ поступокъ вызвалъ бы цѣ-лое слѣдствіе). Наконецъ она однако опаматовалась и произнесла:

— Какова потѣха!

Послѣ чего опять послѣдовало нѣсколько минутъ грозowego молчанія.

— Такъ ты говоришь, полиція за восемь тысячъ домъ-то продала?—переспросила она.

— Такъ точно.

— Это—родительское-то благословеніе!.. Хорошъ... мерзавецъ!

Арина Петровна чувствовала, что въ виду полученнаго извѣстія ей необходимо принять немедленное рѣшеніе, но ничего придумать не могла, потому что мысли ея путались въ совершенно противоположныхъ направле-ніяхъ. Съ одной стороны думалось: „Полиція продала! вѣдь не въ одну же минуту она продала! чай, опись была, оцѣнка, вызовы къ торгамъ? Продала за восемь тысячъ, тогда какъ она за этотъ самый домъ, два года тому на-задъ, собственными руками двѣнадцать тысячъ, какъ одну копѣйку, выложила! Кабы знать да вѣдать, можно бы и самой за восемь-то тысячъ съ аукціона приобрѣсти!“ Съ другой стороны приходило на мысль и то: „Полиція за восемь тысячъ продала! Это—родительское-то благословеніе! Мерзавецъ! за восемь тысячъ родительское благословеніе спустил!“

— Отъ кого слышала? — спросила наконецъ она, окончательно оста-новившись на мысли, что домъ уже проданъ и что, слѣдовательно, надежда приобрѣсти его за дешевую цѣну утрачена для нея навсегда.

— Иванъ Михайловъ, трактирщикъ, сказываль.

— А почему онъ въ-время меня не предупредилъ?

— Поопѣсился, стало быть.

— Поопѣсился! вотъ я ему покажу: „поопѣсился“! Вызвать его изъ Москвы, и какъ явится — сейчасъ же въ рекрутское присутствіе и лобъ забрить! „Поопѣсился“!

Хотя крѣпостное право было уже на исходѣ, но еще существовало. Не разъ случалось Антону Васильеву выслушивать отъ барыни самыя своеобразныя приказанія, но настоящее ея рѣшеніе было до того неожиданно, что даже и ему сдѣлалось не совсѣмъ ловко. Прозвище „сумѣ переметная“ невольно ему при этомъ вспомнилось. Иванъ Михайловъ былъ мужикъ обстоятельный, объ которомъ и въ голову не могло придти, чтобъ надъ нимъ могла страстись какая-нибудь бѣда. Сверхъ того, это былъ его пріятель и кумъ — и вдругъ его въ солдаты, ради того только, что онъ, Антонъ Васильевъ, какъ сумѣ переметная, не сдумѣлъ языкъ за зубами попридержать!

— Простите.... Ивана-то Михайлыча! — заступился-было онъ.

— Ступай... потатчикъ! — прикрикнула на него Арина Петровна, но такимъ голосомъ, что онъ и не подумалъ упорствовать въ дальнѣйшей защитѣ Ивана Михайлова.

Но прежде нежели продолжать мой разсказъ, я попрошу читателя поближе познакомиться съ Ариной Петровной Головлевой и семейнымъ ея положеніемъ.

Арина Петровна — женщина лѣтъ шестидесяти, но еще бодрая и привыкшая жить на всей своей волѣ. Держитъ она себя грозно; единолично и безконтрольно управляетъ обширнымъ Головлевымъ имѣніемъ, живетъ уединенно, расчетливо, почти скупо, съ сосѣдями дружбы не водитъ, мѣстнымъ властямъ доброхотствуетъ, а отъ дѣтей требуетъ, чтобъ они были въ такомъ у нея послушаніи, чтобы при каждомъ поступкѣ спрашивали себя: чтѣ-то объ этомъ маменька скажетъ? Вообще имѣетъ характеръ самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему впрочемъ не мало способствуетъ и то, что во всемъ Головлевомъ семействѣ нѣтъ ни одного человѣка, со стороны котораго она могла бы встрѣтить себѣ противодѣйствіе. Мужъ у нея — человѣкъ легкомысленный и пьяненькій (Арина Петровна охотно говоритъ объ себѣ, что она — ни вдова, ни мужняя жена); дѣти частью служатъ въ Петербургѣ, частью — пошли въ отца и, въ качествѣ „постылыхъ“, не допускаются ни до какихъ семейныхъ дѣлъ. При этихъ условіяхъ Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, такъ что, говоря по правдѣ, даже отъ семейной жизни совсѣмъ отвыкла, хотя слово „семья“ не сходитъ съ ея языка, и по наружности всѣми ея дѣйствіями исключительно руководятъ непрестанныя заботы объ устройствѣ семейныхъ дѣлъ.

Глава семейства, Владиміръ Михайлычъ Головлевъ, еще смолоду былъ извѣстенъ своимъ безалабернымъ и озорнымъ характеромъ, и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и дѣловитостью, никогда ничего симпатичнаго не представлялъ. Онъ велъ жизнь праздную и бездѣльную, чаще всего запирался у себя въ кабинетъ, подражалъ пѣнію скворцовъ, пѣтуховъ



и т. д. и занимался сочиненіемъ такъ-называемыхъ „вольныхъ стиховъ“. Въ минуты откровенныхъ изліяній онъ хвастался тѣмъ, что былъ другомъ Баркова и что послѣдній, будто бы, даже благословилъ его на одръ смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стиховъ своего мужа, называла ихъ поскудствомъ и паясничаньемъ, а такъ какъ Владиміръ Михайлычъ собственно для того и женился, чтобы имѣть всегда подъ рукой слушателя для своихъ стиховъ, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разростаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились, со стороны жены, полнымъ и презрительнымъ равнодушіемъ къ мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью къ женѣ, ненавистью, въ которую однакожъ входила значительная доля трусости. Мужъ называлъ жену „вѣдьмою“ и „чортомъ“, жена называла мужа — „вѣтряною мельницей“ и „безструнной балалайкой“. Находясь въ такихъ отношеніяхъ, они пользовались совмѣстною жизнью въ продолженіе слишкомъ сорока лѣтъ, и никогда ни тому, ни другой не приходило въ голову, чтобы подобная жизнь заключала въ себѣ что-либо противоестественное. Съ теченіемъ времени озорливость Владиміра Михайлыча не уменьшилась, но даже приобрѣла еще болѣе злостный характеръ. Независимо отъ стихотворныхъ упражненій въ Барковскомъ духѣ, онъ началъ попивать и охотно подкарауливалъ въ корридорѣ горничныхъ дѣвокъ. Сначала Арина Петровна отнеслась къ этому новому занятію своего мужа брезгливо и даже съ волненіемъ (въ которомъ однакожъ больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потомъ махнула рукой и наблюдала только за тѣмъ, чтобы дѣвки-поганки не носили барину ерошепча. Съ тѣхъ поръ, сказавши себѣ разъ навсегда, что мужъ ей — не товарищъ, она все вниманіе свое устремила исключительно на одинъ предметъ: на округленіе имѣнія, и дѣйствительно, въ теченіе сорокалѣтней супружеской жизни, успѣла удесятерить свое состояніе. Съ изумительнымъ терпѣніемъ и зоркостью подкарауливала она дальнія и ближнія деревни, разузнавала по секрету объ отношеніяхъ ихъ владѣльцевъ къ опекунскому совѣту и всегда какъ снѣгъ на голову являлась на аукціонахъ. Въ круговоротѣ этой фанатической погони за благоприобрѣтеніемъ Владиміръ Михайлычъ все дальше уходилъ на задній планъ, а наконецъ и совсѣмъ одичалъ. Въ минуту, когда начинается этотъ рассказъ, это былъ уже дряхлый старикъ, который почти не оставлялъ постели, а ежели изрѣдка и выходилъ изъ спальни, то единственно для того, чтобы просунуть голову въ полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: „чортъ!“ — и опять скрыться.

Немного болѣе счастлива была Арина Петровна и въ дѣтяхъ. У нея была слишкомъ независимая, такъ сказать, холостая натура, чтобы она могла видѣть въ дѣтяхъ что-нибудь, кромѣ лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предпріятіями, когда никто не мѣшалъ ей дѣловымъ разговорамъ съ бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. Въ ея глазахъ дѣти были одною изъ тѣхъ фаталистическихъ жизненныхъ обстановокъ, противъ совокупности которыхъ она не считала себя вправѣ протестовать, но которыя, тѣмъ не менѣе, не затрогивали ни одной струны ея внутренняго существа, всецѣло отдавашагося безчисленнымъ подробностямъ жизнестроительства. Дѣтей было четверо: три сына и

дочь. О старшемъ сынѣ и объ дочери она даже говорить не любила; къ младшему сыну была болѣе или менѣе равнодушна и только средняго, Порфишу, не то чтобъ любила, а словно побаивалась.

Степанъ Владимірычъ, старшій сынъ, о которомъ преимущественно идетъ рѣчь въ настоящемъ разсказѣ, слылъ въ семействѣ подъ именемъ Степки-балбеса и Степки-озорника. Онъ очень рано попалъ въ число „постылыхъ“ и съ дѣтскихъ лѣтъ игралъ въ домѣ роль не то парія, не то шута. Къ несчастью, это былъ даровитый малый, слишкомъ охотно и быстро воспринимавшій впечатлѣнія, которыя вырабатывала окружающая среда. Отъ отца онъ перенялъ неистощимую проказливость, отъ матери — способность быстро угадывать слабыя стороны людей. Благодаря первому качеству, онъ скоро сдѣлался любимцемъ отца, что еще больше усилило нелюбовь къ нему матери. Часто, во время отлучекъ Арины Петровны по хозяйству, отецъ и подростокъ-сынъ удалялись въ кабинетъ, украшенный портретомъ Баркова; читали стихи вольнаго содержания и судачили, причемъ въ особенности доставалось „вѣдьмѣ“, т.-е. Аринѣ Петровнѣ. Но „вѣдьма“ словно чутьемъ угадывала ихъ занятія; неслышно подѣвжала она къ крыльцу, подходила на цыпочкахъ къ кабинетной двери и подслушивала веселыя рѣчи. Затѣмъ слѣдовало немедленное и жестокое избіеніе Степки-балбеса. Но Степка не унимался; онъ былъ нечувствителенъ ни къ побоямъ, ни къ увѣщаніямъ и черезъ полчаса опять принимался куралесить. То косынку у дѣвки Анятки изрѣжетъ въ куски, то сонной Васюткѣ мухъ въ ротъ напустить, то заберется на кухню и стянетъ тамъ пироги (Арина Петровна, изъ экономіи, держала дѣтей впроголодь), который, впрочемъ, тутъ же раздѣлитъ съ братьями.

— Убить тебя надо! постоянно твердила ему Арина Петровна: — убью — и не отвѣчу! И царь меня не накажетъ за это!

Такое постоянное приниженіе, встрѣчая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даромъ. Оно имѣло въ результатъ не озлобленіе, не протестъ, а образовало характеръ рабскій, покладливый до буфонства, не знающій чувства мѣры и лишенный всякой предусмотрительности. Такія личности охотно поддаются всякому вліянію и могутъ сдѣлаться чѣмъ угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лѣтъ Степанъ Головлевъ кончилъ курсъ въ одной изъ московскихъ гимназій и поступилъ въ университетъ. Но студенчество его было горькое. Во-первыхъ, мать давала ему денегъ ровно столько, сколько требовалось, чтобъ не пропасть съ голода; во-вторыхъ, въ немъ не оказывалось ни малѣйшаго позыва къ труду, а взамѣнъ того гнѣздилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно въ способности къ передразниванью; въ-третьихъ, онъ постоянно страдалъ потребностью общества и ни на минуту не могъ оставаться наединѣ съ самимъ собою. Поэтому онъ остановился на легкой роли приживальщика и *pique-assiette'a* и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сдѣлался фаворитомъ богатенькихъ студентовъ. Но богатенькіе, допуская его въ свою среду, все-таки, разумѣли, что онъ имъ не пара, что онъ только шутъ, и въ этомъ именно смыслъ установилась его репутація. Ставши однажды на эту почву, онъ естественно тяготѣлъ все ниже и ниже, такъ что къ концу 4-го курса вышутился оконча-



тельно. Тѣмъ не менѣе, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, онъ выдержалъ экзаменъ съ успѣхомъ и получилъ степень бандидата.

Когда онъ явился къ матери съ дипломомъ, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: „дивлюсь!“ Затѣмъ, продержавъ съ мѣсяцъ въ деревнѣ, отправила его въ Петербургъ, назначивъ на прожитокъ по сту рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ. Начались скитанія по департаментамъ и канцеляріямъ. Протекцій у него не было, охоты пробить дорогу личнымъ трудомъ — никакой. Праздная мысль молодого человѣка до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократическія испытанія, въ родѣ докладныхъ записокъ и экстрактовъ изъ дѣлъ, оказывались для нея непосильными. Четыре года бился Головлевъ въ Петербургѣ и наконецъ долженъ былъ сказать себѣ, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярскаго чиновника для него не существуетъ. Въ отвѣтъ на его сѣтованія Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: „я зараньше въ семъ была увѣрена“ и кончавшееся приказаніемъ явиться въ Москву. Тамъ, въ совѣтъ излюбленныхъ крестьянъ, было рѣшено: опредѣлить Степку-балбеса въ надворный судъ, поручивъ его надзору подъячаго, который изстари ходатайствовалъ по Головлевскимъ дѣламъ. Чтѣ дѣлалъ и какъ велъ себя Степанъ Владимірычъ въ надворномъ судѣ — неизвѣстно, но черезъ три года его ужъ тамъ не было. Тогда Арина Петровна рѣшилась на крайнюю мѣру: она „выбросила сыну кусокъ“, который впрочемъ въ то же время долженъ былъ изображать собою и „родительское благословеніе“. Кусокъ этотъ состоялъ изъ дома въ Москвѣ, за который Арина Петровна заплатила двѣнадцать тысячъ рублей.

Въ первый разъ въ жизни Степанъ Головлевъ вздохнулъ свободно. Домъ обѣщалъ давать тысячу рублей серебромъ дохода, и сравнительно съ прежнимъ эта сумма представлялась ему чѣмъ-то въ родѣ заправскаго благосостоянія. Онъ съ увлеченіемъ поцѣловалъ у маменьки ручку („то-то же, смотри у меня, балбесъ! не жди больше ничего!“ молвила при этомъ Арина Петровна) и обѣщалъ оправдать оказанную ему милость! Но, увы! онъ такъ мало привыкъ обращаться съ деньгами, такъ нелѣпо понималъ размѣры дѣйствительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень не надолго. Въ какія-нибудь четыре-пять лѣтъ онъ прогорѣлъ окончательно и былъ радъ-радѣхонекъ поступить, въ качествѣ замѣстителя, въ ополченіе, которое въ это время формировалось. Ополченіе впрочемъ дошло только до Харькова, какъ былъ заключенъ миръ, и Головлевъ опять вернулся въ Москву. Его домъ былъ уже въ это время проданъ. На немъ былъ ополченскій мундиръ, довольно однакожъ потертый, на ногахъ — сапоги на-выпускъ и въ карманѣ — сто рублей денегъ. Съ этимъ капиталомъ онъ поднялся-было на спекуляцію, то-есть сталъ играть въ карты, и недолгѣ проигралъ все. Тогда онъ принялся ходить по зажиточнымъ крестьянамъ матери, жившимъ въ Москвѣ своимъ хозяйствомъ; у кого обѣдалъ, у кого выпрашивалъ четвертку табаку, у кого по мелочи занималъ. Но наконецъ наступила минута, когда онъ, такъ сказать, очутился лицомъ къ лицу съ глухой стѣной. Ему было уже подъ сорокъ, и онъ вынужденъ былъ сознаться, что дальнѣйшее

бродячее существованіе для него не по силамъ. Оставался одинъ путь — въ Головлево.

Послѣ Степана Владимірыча, старшимъ членомъ Головлевскаго семейства была дочь, Анна Владиміровна о которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дѣло въ томъ, что на Аннушку Арина Петровна имѣла виды, а Аннушка не только не оправдала ея надеждъ, но вмѣсто того на весь уѣздъ учинила скандалъ. Когда дочь вышла изъ института, Арина Петровна поселила ее въ деревнѣ, въ чайныи сдѣлать изъ нея дарового домашняго секретаря и бухгалтера, а вмѣсто того Аннушка, въ одну прекрасную ночь, бѣжала изъ Головлева съ корнетомъ Улановымъ и повѣнчалась съ нимъ.

— Такъ, безъ родительскаго благословенія, какъ собаки, и повѣнчались! — сѣтовала по этому случаю Арина Петровна. — Да хорошо еще, что кругомъ налоя-то муженѣкъ обвелъ! Другой бы попользовался — да и былъ таковъ! Ищи его потомъ да свищи!

И съ дочерью Арина Петровна поступила столь же рѣшительно, какъ и съ постылымъ сыномъ: взяла и „выбросила ей кусокъ“. Она отдѣлила ей капиталъ въ пять тысячъ и деревнюшку въ тридцать душъ съ упалдоу усадьбой, въ которой изъ всѣхъ оконъ дуло и не было ни одной живой половицы. Года черезъ два молодые капиталъ прожили и корнетъ неизвѣстно куда бѣжалъ, оставивъ Анну Владиміровну съ двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затѣмъ и сама Анна Владиміровна, черезъ три мѣсяца, скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была пріютить круглыхъ сиротъ у себя, — что она и исполнила, помѣстивъ малютокъ во флигелѣ и приставивъ къ нимъ кривую старуху Палашку.

— У Бога милостей много, — говорила она при этомъ: — сиротки хлѣба не Богъ знаетъ что съѣдятъ, а мнѣ на старости лѣтъ — утѣшеніе! Одну дочку Богъ взялъ — двухъ далъ!

И въ то же время писала къ сыну Порфирію Владимірычу: „какъ жила твоя сестрица безпутно, такъ и умерла, покинувъ мнѣ на шею своихъ двухъ щенковъ“...

Вообще, какъ ни циничнымъ можетъ показаться это замѣчаніе, но справедливость требуетъ сознаться, что оба эти случая, по поводу которыхъ произошло „выбрасываніе кусковъ“, не только не произвели ущерба въ финансахъ Арины Петровны, но косвеннымъ образомъ даже способствовали округленію Головлевскаго имѣнія, сокращая число пайщиковъ въ немъ. Ибо Арина Петровна была женщина строгихъ правилъ и, разъ „выбросивши кусокъ“, уже считала поконченными всѣ свои обязанности относительно постылыхъ дѣтей. Даже при мысли о сиротахъ-внучкахъ ей никогда не представлялось, что современемъ придется что-нибудь удѣлить имъ. Она старалась только какъ можно больше выжать изъ маленькаго имѣнія, отдѣленнаго покойной Аннѣ Владиміровнѣ, и откладывать выжатое въ опекунскій совѣтъ. Причемъ говорила:

— Вотъ и для сиротъ денежки прикапливаю, а что они прокормленіемъ да уходомъ стоятъ — ничего ужъ съ нихъ не беру! За мою хлѣбъ-соль, видно, Богъ мнѣ заплатитъ!



Наконецъ, младшія дѣти, Порфирій и Павелъ Владимірычи находились на службѣ въ Петербургѣ: первый—по гражданской части, второй — по военной. Порфирій былъ женатъ. Павелъ—холостой.

Порфирій Владиміръчъ извѣстенъ былъ въ семействѣ подъ тремя именами: Гудушки, кровопивушки и откровеннаго мальчика, каковыя прозвища еще въ дѣтствѣ были ему даны Степкой-балбесомъ. Съ младенческихъ лѣтъ любилъ онъ приласкаться къ милому другу маменькѣ, украдкой поцѣловать ее въ плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворить, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется въ уголокъ, сядетъ и, словно очарованный, не сводитъ глазъ съ маменьки, покуда она пишетъ или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда съ какою-то подозрительностью относилась къ этимъ сыновнимъ заискиваньямъ. И тогда этотъ пристально-устремленный на нее взглядъ казался ей загадочнымъ, и тогда она не могла опредѣлить себѣ, что именно онъ исходитъ изъ себя: ядъ или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такіе, — рассуждала она иногда сама съ собою:—взглянетъ—ну, словно вотъ петлю закидываетъ. Такъ вотъ и поливаетъ ядомъ, такъ и подманиваетъ!

И припомнились ей при этомъ многозначительныя подробности того времени, когда она еще была „тяжела“ Порфишей. Жилъ у нихъ тогда въ домѣ нѣкоторый благочестивый и прозорливый старикъ, котораго называли Порфишей-блаженненькимъ и къ которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидѣть въ будущемъ. И вотъ этотъ-то самый старецъ, когда она спросила его, скоро ли послѣдуютъ роды и кого-то Богъ дастъ ей, сына или дочь—ничего прямо ей не отвѣтилъ, но три раза прокричалъ пѣтухомъ и вслѣдъ затѣмъ пробормоталъ:

— Пѣтушокъ, пѣтушокъ! востѣръ ноготокъ! Пѣтухъ кричитъ, насѣдѣ грозить; насѣдка—кудахъ-тахъ-тахъ, да поздно будетъ!

И только. Но черезъ три дня (вотъ оно—три раза-то прокричалъ!) она родила сына (вотъ оно—пѣтушокъ-пѣтушокъ!), котораго и назвали Порфиріемъ, въ честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: „насѣдка—кудахъ-тахъ-тахъ, да поздно будетъ“? — вотъ объ этомъ-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая изъ-подъ руки на Порфишу, покуда тотъ сидѣлъ въ своемъ углу и смотрѣлъ на нее своимъ загадочнымъ взглядомъ.

А Порфиша продолжалъ себѣ сидѣть кротко и безшумно и все смотрѣлъ на нее, смотрѣлъ до того пристально, что широко-раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Онъ какъ бы провидѣлъ сомнѣнія, шевелившіяся въ душѣ матери, и велъ себя съ такимъ расчетомъ, что самая придирчивая подозрительность—и та должна признать себя безоружною передъ его кротостью. Даже рискуя надѣсть матери, онъ постоянно вертѣлся у нея на глазахъ, словно говорилъ: „смотри на меня! я ничего не утаиваю! я весь — послушливость и преданность, и притомъ послушливость не токмо за страхъ, но и за совѣсть“. И какъ ни сильно говорила въ ней увѣренность, что Порфишка-подлецъ только хвостомъ лебезитъ, а глазами все-таки петлю

накидываетъ, но въ виду такой беззавѣтности и ея сердце не выдерживало. И невольно рука ея искала лучшаго куска на блюдѣ, чтобъ передать его ласковому сыну, несмотря на то, что одинъ видъ этого сына поднималъ въ ея сердцѣ смутную тревогу чего-то загадочнаго, недобраго.

Совершенную противоположность съ Порфиріемъ Владимірычемъ представлялъ братъ его, Павелъ Владимірычъ. Это было полнѣйшее олицетвореніе человѣка, лишеннаго какихъ бы то ни было поступковъ. Еще мальчикомъ онъ не выказывалъ ни малѣйшей склонности ни къ ученью, ни къ играмъ, ни къ общительности, но любилъ жить особнякомъ, въ отчужденіи отъ людей. Забьется, бывало, въ уголь, надуется и начнетъ фантазировать. Представляется ему, что онъ толкна наѣлся, что отъ этого ноги сдѣлались у него тоненькія, и онъ не учится. Или — что онъ не Павелъ-дворянскій сынъ, а Давыдка-пастухъ, что на лбу у него выросла болоня, какъ и у Давыдки, что онъ арапникомъ щелкаетъ, и не учится. Поглядить-поглядить, бывало, на него Арина Петровна и такъ и раскипятится ея материнское сердце.

— Ты чтѣ, какъ мышъ на крупу, надулся! — не утерпѣть, прикрикнетъ она на него: — или ужъ съ этихъ поръ въ тебя ядъ-то дѣйствуетъ! нѣтъ того, чтобы къ матери подойти: маменька, молъ, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидалъ свой уголь и медленными шагами, словно его въ спину толкали, приближался къ матери.

— Маменька, молъ, — повторялъ онъ какимъ-то неестественнымъ для ребенка басомъ: — приласкайте меня, душенька!

— Пошелъ съ моихъ глазъ... тихоня! ты думаешь, что забьешься въ уголь, такъ я и не понимаю — насквозь тебя понимаю, голубчикъ! всѣ твои планы-проекты какъ на ладони вижу!

И Павелъ тѣмъ же медленнымъ шагомъ отправлялся назадъ и забивался опять въ свой уголь.

Шли годы, и изъ Павла Владимірыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, изъ которой, въ конечномъ результатѣ, получается человѣкъ, лишенный поступковъ. Можетъ быть, онъ былъ добръ, но никому добра не сдѣлалъ; можетъ быть, былъ и неглухъ, но всю жизнь ни одного умнаго поступка не совершилъ. Онъ былъ гостепріименъ, но никто не льстился на его гостепріимство; онъ охотно тратилъ деньги, но ни полезнаго, ни пріятнаго результата отъ этихъ тратъ ни для кого никогда не происходило; онъ никого никогда не обидѣлъ, но никто этого не вѣдѣлъ ему въ достоинство; онъ былъ честенъ, но не слышали, чтобъ кто-нибудь сказалъ: „какъ честно поступилъ въ такомъ-то случаѣ Павелъ Головлевъ!“ Въ довершеніе всего, онъ нерѣдко огрызнулся противъ матери и въ то же время боялся ея какъ огня. Повторяю: это былъ человѣкъ угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствіе поступковъ — и ничего больше.

Въ зрѣломъ возрастѣ, различіе характеровъ обоихъ братьевъ всего рѣзче высказалось въ ихъ отношеніяхъ къ матери. Гудушка каждую недѣлю аккуратно слалъ къ маменькѣ обширное посланіе, въ которомъ пространно увѣдомлялъ ее о всѣхъ подробностяхъ петербургской жизни и въ самыхъ изысканныхъ выраженіяхъ увѣрялъ въ безкорыстной сыновней преданности. Павелъ писалъ рѣдко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаски-



валъ изъ себя каждое слово. „Деньги столько-то и на такой-то срокъ, безцѣнный другъ маменька, отъ довѣреннаго вашего, крестьянина Ерооеева, получилъ“, — увѣдомлялъ, напримѣръ, Порфирій Владимірычъ, — „а за присылку оныхъ, для употребленія на мое содержаніе, согласно вашему, милая маменька, соизволенію, приношу чувствительнѣйшую благодарность и съ нелицемѣрною сыновнею преданностью цѣлую ваши ручки. Объ одномъ только грущу и сомнѣніемъ мучусь: не слишкомъ-ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами объ удовлетвореніи не только нуждъ, но и прихотей нашихъ?! Не знаю, какъ братъ, а я“... и т. д. А Павелъ по тому же поводу выражался: „Деньги столько-то на такой-то срокъ, дражайшая родительница, получилъ, и, по моему расчету, слѣдуетъ мнѣ еще шесть съ полтиной дополучить, въ чемъ и прошу васъ меня почтеннѣйше извинить“. Когда Арина Петровна посылала дѣтямъ выговоры за мотовство (это случилось перѣдко, хотя серьезныхъ поводовъ и не было), то Порфиша всегда съ смиреніемъ покорялся этимъ замѣчаніямъ и писалъ: „знаю, милый дружокъ маменька, что вы несете непосильныя тяготы ради насъ, недостойныхъ дѣтей вашихъ; знаю, что мы очень часто своимъ поведеніемъ не оправдываемъ вашихъ материнскихъ объ насъ попеченій, и, что всего хуже, по свойственному человѣкамъ заблужденію, даже забываемъ о семъ, въ чемъ и приношу вамъ искреннее сыновнее извиненіе, надѣясь современемъ отъ порока сего избавиться и быть, въ употребленіи присылаемыхъ вами, безцѣнный другъ маменька, на содержаніе и прочіе расходы, денегъ, осмотрительнымъ“. А Павелъ отвѣчалъ такъ: „Дражайшая родительница! хотя вы долговъ за меня еще не платили, но выговоръ въ названіи меня мотомъ безпрепятственно принимаю, въ чемъ и прошу чувствительнѣйше принять увѣреніе“. Даже на письмо Арины Петровны съ извѣщеніемъ о смерти сестрицы Анны Владиміровны оба брата отозвались различно. Порфирій Владимірычъ писалъ: „Извѣстіе о кончинѣ любезной сестрицы и доброй подруги дѣтства Анны Владиміровны поразило мое сердце скорбію, каковая скорбь еще болѣе усилилась при мысли, что вамъ, милый другъ маменька, посылается еще новый крестъ, въ лицѣ двухъ сиротъ-малютокъ. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодѣтельница, во всемъ себѣ отказываете и, не щадя своего здоровья, всѣ силы къ тому направляете, дабы обезпечить свое семейство не только нужнымъ, но излишнимъ? Право, хоть и грѣшно, но иногда невольно порошешь. И единственное, по моему мнѣнію, для васъ, родная моя, въ настоящемъ случаѣ, убѣжище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпѣлъ самъ Христосъ“. Павелъ же писалъ: „Извѣстіе о кончинѣ сестры, погибшей жертвою, получилъ. Впрочемъ надѣюсь, что Всевышній успокоитъ ее въ Своихъ сѣняхъ, хотя сіе и неизвѣстно“.

Перечитывала Арина Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который изъ нихъ ей злодѣемъ будетъ. Прочтеть письмо Порфирія Владимірыча, и кажется, что вотъ онъ-то и есть самый злодѣй.

— Ишь вѣдь какъ пишетъ! ишь какъ языкомъ-то вертитъ! — восклицала она: — не даромъ Степка-балбесъ Іудушкой его прозвалъ! Ни одного-то вѣдь слова вѣрнаго нѣтъ! все-то онъ лжетъ! и „милый дружокъ маменька“, и про тягости-то мои, и про крестъ-то мой... ничего онъ этого не чувствуетъ!

Потомъ примется за письмо Павла Владимірыча, и опять чудится, что вотъ онъ-то и есть будущій злодѣй.

— Глупъ-глупъ, а смотри, какъ исподтишка мать козыряетъ! „Въ чемъ и прошу чувствительнѣйше принять увѣреніе“... милости просимъ! Вотъ я тебѣ покажу, что значитъ „чувствительнѣйше принимать увѣреніе“! Выброшу тебѣ кусокъ, какъ Степкѣ-балбесу—вотъ ты и узнаешь тогда, какъ я понимаю твои „увѣренія“!

И въ заключеніе изъ ея материнской груди вырывался по истинѣ трагическій вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей не досыпаю, куска не добѣдаю... для кого?!

Таково было семейное положеніе Головлевыхъ въ ту минуту, когда бурмистръ Антонъ Васильевъ доложилъ Аринѣ Петровнѣ о промотаніи Степкой-балбесомъ „выброшеннаго куска“, который, въ виду душевой его продажи, получалъ уже сугубое значеніе „родительскаго благословенія“.

Арина Петровна сидѣла въ спальнѣ и не могла придти въ себя. Что-то такое шевелилось у нея внутри, въ чемъ она не могла отдать себѣ яснаго отчета. Участвовала ли тутъ какимъ-то чудомъ явившаяся жалость къ постылому, но все-таки сыну, или говорило одно нагое чувство ескорбленнаго самовластія — этого не могъ бы опредѣлить самый опытный психологъ: до такой степени перепутывались и быстро смѣнялись въ ней всѣ чувства и ощущенія. Наконецъ изъ общей массы накопившихся представленій ясенѣ другихъ выдѣлилось опасеніе, что „постылый“ опять сядетъ ей на шею.

„Анютка щенковъ своихъ навязала, да вотъ еще балбесъ“... разсчитывала она мысленно.

Долго просидѣла она такимъ образомъ, не молвивъ ни слова и смотря въ окно въ одну точку. Принесли обѣдъ, до котораго она почти не коснулась; пришли сказать: „барину водки пожалуйста!“ — она, не глядя, швырнула ключъ отъ кладовой. Послѣ обѣда она ушла въ образную, велѣла засвѣтить всѣ лампадки и затворилась, предварительно заказавъ истопить баню. Все это были признаки, которые несомнѣнно доказывали, что барыня „гнѣвается“, и потому въ домѣ все вдругъ смолкло, словно умерло. Горничныя ходили на цыпочкахъ; ключница Акулина совалась какъ помѣшанная: назначено было послѣ обѣда варенье варить, и вотъ пришло время, ягоды вычищены, готовы, а отъ барыни ни приказу, ни отказу нѣтъ; садовникъ Матвѣй пришелъ-было въ вопросѣ, не пора ли персики обирать, но въ дѣвичьей такъ на него цыкнули, что онъ немедленно отретировался.

Помолившись Богу и вымывшись въ банькѣ, Арина Петровна почувствовала себя нѣсколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева къ отвѣту.

— Ну, а что же балбесъ дѣлаетъ?—спросила она.

— Москва велика—и въ годъ ее всю не исходить!

— Да вѣдь, чай, пить-ѣсть надо?



— Около своихъ мужичковъ прокармливаются. У кого пообѣдаютъ, у кого на табакъ гривенничекъ выпросятъ.

— А кто позволилъ давать?

— Помилуйте, сударыня! Мужички развѣ обижаются! Чужимъ немущимъ подаютъ, а ужъ своимъ господамъ отказать!

— Вотъ я имъ ужѣ... подавальщикамъ! Сошлю балбеса къ тебѣ въ вотчину и содержите его всѣмъ обществомъ на свой счетъ!

— Вся ваша власть, сударыня.

— Что? чтѣ ты такое сказалъ?

— Вся, молъ, ваша власть, сударыня. Прикажете, такъ и прокормимъ!

— То-то... прокормимъ! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчаніе. Но Антонъ Васильевъ не даромъ получилъ отъ барыни прозвище переметной сумы. Онъ не вытерпливаетъ и вновь начинаетъ топтаться на мѣстѣ, старая желаніемъ нѣчто доложить.

— Да еще какой прокурать! наконецъ, произносить онъ: — сказываютъ, какъ изъ похода-то воротился, сто рублей денегъ съ собой принесъ. Не велики деньги сто рублей, а и на нихъ бы сколько-нибудь прожить можно...

— Ну?

— Поправиться, вишь, полагалъ, въ афѣру пустился...

— Говори, не мни!

— Въ нѣмецкое, чу, собраніе свезъ. Думалъ дурака найти въ карты обыграть, анъ, замѣсто того, самъ на умнаго попался. Онъ-было и на-утекъ, да въ прихожей, сказываютъ, задержали. Чтѣ было денегъ — все обрали!

— Чай, и бокамъ досталось?

— Было всего. На другой день приходитъ къ Ивану Михайлычу, да самъ же и рассказываетъ. И даже удивительно это: смѣется... веселый! словно бы его по головѣ погладили!

— Ништо ему! лишь бы ко мнѣ на глаза не показывался!

— А надо полагать, что такъ будетъ.

— Чтѣ ты! да я его на порогъ къ себѣ не пущу!

— Не иначе, что такъ будетъ! — повторяетъ Антонъ Васильевъ: — и Иванъ Михайлычъ сказывалъ, что онъ проговаривался: „шабашъ, говорить! пойду къ старухѣ хлѣбъ въ сухомятку ѣсть!“ Да ему, сударыня, коли по правдѣ сказать, и дѣваться-то, окромѣ здѣшняго мѣста, некуда. По своимъ мужичкамъ долго въ Москвѣ не находится. Одежа тоже нужна, спокой...

Вотъ этого-то именно и боялась Арина Петровна; это-то именно и составляло суть того неяснаго представленія, которое безсознательно тревожило ее. „Да, онъ явится, ему некуда больше идти — этого не миновать! Онъ будетъ здѣсь, вѣчно у нея на глазахъ, клятой, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему въ то время „кусокъ“? Она думала, что, получивши „чтѣ слѣдуетъ“, онъ канулъ въ вѣчность — анъ онъ возрождается! Онъ придетъ, будетъ требовать, будетъ всѣмъ мозолить глаза своимъ нищенскимъ видомъ. И надо будетъ удовлетворять его требованіямъ, потому что онъ — человѣкъ наглый, готовый на всякое буйство. „Его“ не спрячешь подъ замѣкъ; „онъ“ способенъ и при чужихъ явиться въ отребѣ, способенъ произвести дебошъ, бѣжать къ сосѣдямъ и рассказать имъ вся сокровенная Голов-

левскихъ дѣлъ. Сослать его развѣ въ Суздаль-монастырь? — Но кто жъ его знаетъ, полно, есть ли еще этотъ Суздаль-монастырь, и въ самомъ ли дѣлѣ онъ для того существуетъ, чтобъ освобождать огорченныхъ родителей отъ лицебрѣнія строптивыхъ дѣтей? Сказываютъ еще, что смиренный домъ есть... да вѣдь смиренный домъ — ну, какъ ты его туда, экого сорокалѣтняго жеребца, приведешь?“ Однимъ словомъ, Арина Петровна совсѣмъ растерялась при одной мысли о тѣхъ невзгодахъ, которыя грозятъ взбодражить ея мирное существованіе съ приходомъ Степки-балбеса.

— Я его къ тебѣ въ вотчину пришлю! корми на свой счетъ! — пригрозила она бурмистру: — не на вотчинный счетъ, а на собственный свой!

— За чтò такъ, сударыня?

— А за то, что не каркай! Кра! кра! „не иначе, что такъ будетъ“... Пошелъ съ моихъ глазъ долой... ворона!

Антонъ Васильевъ повернулъ-было налѣво кругомъ, но Арина Петровна вновь остановила его.

— Стой! погоди! такъ это вѣрно, что онъ въ Головлево лыжи навострилъ? — спросила она.

— Стану ли я, сударыня, лгать! Вѣрно говорилъ: „къ старухѣ пойду хлѣбъ въ сухоматку ѣсть!“

— Вотъ я ему покажу ужò, какой для него у старухи хлѣбъ припасенъ!

— Да чтò, сударыня, не долго онъ у васъ наживетъ!

— А что такое?

— Да, кашляетъ очень сильно... за лѣвую грудь все хватается... Не заживется!

— Этакіе-то, любезный, еще дольше живутъ! и насъ всѣхъ переживетъ! Кашляетъ да кашляетъ — чтò ему, жеребцу долговязому, дѣлается! Ну, да тамъ посмотримъ. Ступай теперь: мнѣ нужно распоряженіе сдѣлать.

Весь вечеръ Арина Петровна думала и наконецъ-таки надумала: созвать семейный совѣтъ для рѣшенія балбесовой участи. Подобныя конституціонныя замашки не были въ ея нравахъ, но на этотъ разъ она рѣшилась отступить отъ преданій самовластия, дабы рѣшеніемъ всей семьи оградить себя отъ нареканій добрыхъ людей. Въ исходѣ предстоящаго совѣщанія она впрочемъ не сомнѣвалась, и потому съ легкимъ духомъ сѣла за письма, которыми предписывалось Порфирію и Павлу Владимірычамъ немедленно прибыть въ Головлево.

Покуда все это происходило, виновникъ кутерьмы, Степка-балбесъ, ужъ подвигался изъ Москвы по направленію къ Головлеву. Онъ сѣлъ въ Москвѣ, у Рогожской, въ одинъ изъ такъ-называемыхъ „дележановъ“, въ которыхъ, въ былое время, ѣзжали, да и теперь еще кое-гдѣ ѣздить, мелкіе купцы и торгующіе крестьяне, направляясь въ свое мѣсто въ побывку. „Дележанъ“ ѣхалъ по направленію къ Владиміру, и тотъ же сердобольный трактирщикъ Иванъ Михайлычъ везъ на свой счетъ Степана Владимірыча, взявши для него мѣсто и уплачивая за его харчи въ продолженіе всей дороги.



— Такъ ужъ вы, Степанъ Владимірьчъ, такъ и сдѣлайте: на повертеѣ слѣзьте, да пѣшкомъ, какъ есть въ костюмѣ—такъ и отъявитесь къ маменькѣ! —условливался съ нимъ Иванъ Михайлычъ.

— Такъ, такъ, такъ!—подтверждалъ и Степанъ Владимірьчъ:—много ли отъ повертки пятнадцать верстъ пѣшкомъ пройти! мигомъ отхватаю! Въ пыли, въ навозѣ—такъ и явлюсь!

— Увидить маменька въ костюмѣ-то—можетъ, и пожалѣетъ!

— Пожалѣетъ! какъ не пожалѣтъ! Мать — вѣдь она старуха добрая!

Степану Головлеву нѣтъ еще сорока лѣтъ, но по наружности ему никакъ нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на немъ никакого признака дворянскаго сына, ни малѣйшаго слѣда того, что и онъ былъ когда-то въ университетѣ и что и къ нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это—чрезмѣрно длинный, нечесанный, почти невытѣтый малый, худой отъ недостатка питанія, съ впалою грудью, съ длинными, заgreбистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на головѣ и бородѣ растрепанные, съ сильною просѣдью, голосъ громкій, но сильный, простуженный, глаза на-выкатъ и воспаленные, частью отъ непомѣрнаго употребленія водки, частью отъ постоянного нахожденія на вѣтру. На немъ ветхая и совершенно затасканная сѣрая ополченка, галуны съ которой содраны и проданы на выжигу; на ногахъ—стоптанные, поряжѣлые и запла-танные сапоги на-выпускъ; изъ-за распахнутой ополченки виднѣется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей—рубашка, которую онъ съ истинно ополченскимъ цинизмомъ самъ называетъ „блшницею“. Смотритъ онъ исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражаетъ внутренняго недовольства, а есть слѣдствіе какого-то смутнаго безпокойства, что вотъ-вотъ еще минута, и онъ, какъ червякъ, подохнетъ съ голоду.

Говоритъ онъ безъ умолку, безъ связи, перескакивая съ одного предмета на другой; говоритъ и тогда, когда Иванъ Михайлычъ слушаетъ его, и тогда, когда послѣдній засыпаетъ подъ музыку его говора. Ему ужасно неловко сидѣть. Въ „дележаѣ“ помѣстилось четыре человѣка, а потому приходится сидѣть скрючивши ноги, что уже на протяженіи трехъ-четырехъ верстъ производить невыносимую боль въ колѣнкахъ. Тѣмъ не менѣе, не смотря на боль, онъ постоянно говоритъ. Облака пыли врываются въ боковыя отверстія повозки; по временамъ заползаютъ туда косые лучи солнца, и вдругъ, словно полымемъ, обожгутъ всю внутренность „дележа“, а онъ все говоритъ.

— Да, братъ, тяпнулъ-таки я на своемъ вѣку горя,—разсказываетъ онъ:—пора и на боковую! Не объѣмъ же вѣдь я ее, а куска-то хлѣба, чай, какъ не найтись! Ты какъ, Иванъ Михайлычъ, объ этомъ думаешь?

— У маменьки вашей много кусковъ!

— Только не про меня — такъ, что-ли, ты хочешь сказать? Да, дружище, деньжищъ у нея — цѣлая прорва, а для меня пятака мѣднаго жалъ! И вѣдь всегда-то она меня, вѣдьма, ненавидѣла! За что? Ну, да теперь, братъ, шалишь! съ меня взятки-то гладки! я и за горло возьму! Выгнать меня вздумаетъ — не пойду! Ёсть не дастъ — самъ возьму! Я, братъ, отечеству послужилъ — теперь мнѣ всякій помѣчь обязанъ! Одного боюсь: табакъ не будетъ давать—скверность!

— Да, ужъ съ табачкомъ, видно, проститься придется!

— Такъ я бурмистра за бока! можетъ, лысый чортъ и подарить барину!

— Подарить отчего не подарить! А ну, какъ она, маменька-то ваша, и бурмистру запретить?

— Ну, тогда я ужъ — совѣмъ мать; только одна роскошь у меня и осталась отъ прежняго великолѣпія—это табакъ! Я, братъ, какъ при деньгахъ былъ, въ день по четверткѣ Жукова выкуривалъ!

— Вотъ и съ водочкой тоже проститься придется!

— Также скверность. А мнѣ водка даже для здоровья полезна — мокрѣту разбиваетъ. Мы, братъ, какъ походомъ подъ Севастополь шли—еще до Серпухова не дошли, а ужъ по ведру на брата вышло!

— Чай, очунѣли?

— Не помню. Кажется, что-то было; я, братъ, вплоть до Харькова дошелъ, а хоть убей — ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще, что въ Тулѣ откупщикъ намъ рѣчь говорилъ. Прослезился, подлецъ! Да, тянула-таки въ ту пору горя наша матушка Русь православная! Откупщики, подрядчики, пріемщики—какъ только Богъ спасъ!

— А вотъ маменькѣ вашей такъ и тутъ барышѣкъ вышелъ. Изъ нашей вотчины больше половины ратниковъ домой не вернулось, такъ за каждого, сказываютъ, зачетную рекрутскую квитанцію нынче выдать велятъ. Анъ она, квитанція-то, въ казнѣ слишкомъ четыре ста стоитъ.

— Да, братъ, у насъ мать — умница! Ей бы министромъ слѣдовало быть, а не въ Головлевѣ пѣнки съ варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мнѣ была, обидѣла она меня — а я ее уважаю! Умна какъ чортъ—вотъ что главное! Кабы не она — что бы мы теперь были? Были бы при одномъ Головлевѣ — сто одна душа съ половиной! А она — посмотри, какую чортову пропасть она накупила!

— Будутъ ваши братцы при капиталѣ!

— Будутъ. Вотъ я такъ ни при чемъ останусь—это вѣрно! Да, вылетѣлъ, братъ, я въ трубу! А братья будутъ богаты, особливо Кривописушка. Этотъ безъ мыла въ душу влѣзетъ. А впрочемъ онъ ее, старую вѣдьму, современемъ порѣшитъ; онъ и имѣнье, и капиталъ изъ нея высосетъ — я на эти дѣла провидецъ! Вотъ Павелъ-братъ—тотъ душа-человѣкъ! онъ мнѣ табаку потихоньку пришлетъ—вотъ увидишь! Какъ пріѣду въ Головлево—сейчасъ ему цидулу: такъ и такъ, братъ любезный — успокой! Э-э-эхъ, эхма! вотъ кабы я богатъ былъ!

— Что жъ бы вы сдѣлали?

— Во-первыхъ, сейчасъ бы тебя озолотилъ...

— Меня зачѣмъ же! Вы объ себѣ, а я и такъ, по милости вашей маменьки, доволенъ.

— Ну, нѣтъ—это, братъ, аттанде!—я бы тебя главнокомандующимъ надо всеми имѣніями сдѣлалъ! Да, другъ, накормилъ, обогрѣлъ ты служиваго—спасибо тебѣ! Кабы не ты, понтировалъ бы я теперь пѣшедраломъ до дома предковъ моихъ! И вольную бы тебѣ сейчасъ въ зубы, и всѣ бы передъ



тобой мои сокровища открылъ — пей, ѣшь и веселись! А ты какъ обо мнѣ полагалъ, дружище?

— Нѣтъ, ужъ про меня вы, сударь, оставьте. Чтѣ бы еще-то вы сдѣ-кали, кабы богаты были?

— Во-вторыхъ, сейчасъ бы штучку себѣ завелъ. Въ Курскѣ, ходилъ я къ Владычицѣ молебень служить, такъ одну видѣлъ... ахъ, хороша штучка! Вѣришь ли, ни одной-то минуты не было, чтобъ она спокойно на мѣстѣ постояла!

— А можетъ она бы въ штучки-то и не пошла?

— А деньги на чтѣ? презрѣнный металлъ на чтѣ? Мало ста тысячъ— двѣсти бери! Я, братъ, коли при деньгахъ, ничего не пожалѣю, только чтобъ въ свое удовольствіе пожить! Я, признаться сказать, ей и въ ту пору черезъ ефрейтора три цѣлковенькихъ посулилъ— пять, бестія, запросила!

— А пяти-то, видно, не случилось?

— И не знаю, братъ, какъ сказать. Говорю тебѣ: все словно какъ во снѣ видѣлъ. Можетъ, она даже и была у меня, да я забылъ. Всю дорогу, цѣлныхъ два мѣсяца — ничего не помню! А съ тобой, видно, этого не случилось?

Но Иванъ Михайлычъ молчитъ. Степанъ Владимірычъ вглядывается и убѣждается, что спутникъ его мѣрно киваетъ головой и по временамъ, когда касается носомъ чуть не колѣнъ, какъ-то нелѣпо вздрагиваетъ и опять начинаетъ кивать въ тактъ.

— Эхма!—говоритъ онъ:—ужъ укачало тебя! на боковую просишься! Разжирѣлъ ты, братъ, на чаяхъ да на харчахъ-то трактирныхъ! А у меня такъ и сна нѣтъ! нѣтъ у меня сна—да и шабашъ! Чтѣ бы теперь, однакожъ, какую бы штуkenцію предпринять? Развѣ вотъ отъ плода сего винограднаго...

Головлевъ озирается кругомъ и удостовѣряется, что и прочіе пассажиры спятъ. У купца, который рядомъ съ нимъ сидитъ, голову объ перекладину колотитъ, а онъ все спитъ. И лицо у него сдѣлалось глянцовое, словно лакомъ покрыто, и мухи кругомъ ротъ облѣпили.

— А что, еслибъ всѣхъ этихъ мухъ къ нему въ хайло препроводить —то-то бы, чай, небо съ овчинку показалось!—вдругъ осѣняетъ Головлева счастливая мысль, и онъ уже начинаетъ подкрадываться къ купцу рукой, чтобы привести свой планъ въ исполненіе, но на половинѣ пути что-то припоминаетъ и останавливается.

— Нѣтъ, полно проказничать—баста! Спите, други, и почивайте! А я покуда... и куда это онъ полштофъ засунулъ? Ба! вотъ онъ, голубчикъ! Полѣзай, полѣзай сюда! Спа-си, Го-о-споди, люди Твоя!—запѣваетъ онъ въ полголоса, вынимая посудину изъ холщевой сумки, прикрѣпленной сбоку кибитки и прикладывая ко рту горлышко: — ну, вотъ, теперь ладно! тепло сдѣлалось! Или еще? Нѣтъ, ладно... до станціи-то веретъ двадцать еще будетъ, успѣю натенкаться... или еще? Ахъ, прахъ ее побери, эту водку! Увидишь полштофъ—такъ и подманиваетъ! Пить скверно, да и не пить нельзя —потому сна нѣтъ! Хотя бы она, чортъ ее возьми, сморила меня!

Булькнувъ еще нѣсколько глотковъ изъ горлышка, онъ засовываетъ полштофъ на прежнее мѣсто и начинаетъ набивать трубку.

— Важно! — говорить онъ: — сперва выпили, а теперь трубочки покуримъ! Не дасть, вѣдьма, мнѣ табаку, не дасть — это онъ вѣрно сказалъ. Ъсть-то дасть ли? Обѣдки, чай, какіе-нибудь со стола посылать будетъ! Эхма! были и у насъ денежки — и нѣтъ ихъ! Былъ человѣкъ — и нѣтъ его! Такъ-то вотъ и все на семь свѣтъ! сегодня ты и сытъ, и пьянъ, живешь въ свое удовольствіе, трубочку покуриваешь...

А завтра — гдѣ ты, человѣкъ?

Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, словно бочка съ изьяномъ, а закусить путемъ не закусишь. А доктора сказываютъ, что питье тогда на пользу, когда при немъ и закуска благопотребная есть, какъ говорилъ преосвященный Смарагдъ, когда мы черезъ Обоюнь проходили. Черезъ Обоюнь ли? А чортъ его знаетъ, можетъ и черезъ Кромь! Не въ томъ, впрочемъ, дѣло, а какъ бы закуски теперь добыть. Помнится, что онъ въ мѣшочекъ колбасу и три французскихъ хлѣба положилъ! Небось, икорки пожалѣлъ купить! Ишь вѣдь какъ спитъ, какія пѣсни носомъ выводитъ! Чай, и провизію-то подъ себя сгрѣбъ!

Онъ шарить кругомъ себя и ничего не нашариваетъ.

— Иванъ Михайлычъ! а, Иванъ Михайлычъ! — окликаетъ онъ.

Иванъ Михайлычъ просыпается и съ минуту словно не понимаетъ, какимъ образомъ онъ очутился *vis-à-vis* съ бариномъ.

— А меня только-что было сонъ заводитъ началъ! — наконецъ говорить онъ.

— Ничего, другъ, спи! Я только спросить, гдѣ у насъ тутъ мѣшокъ съ провизіей спрятанъ?

— Поѣсть захотѣлось? да вѣдь прежде, чай, выпить надо!

— И то дѣло! гдѣ у тебя полштофъ-то?

Выпивши, Степанъ Владимірычъ принимается за колбасу, которая оказывается твердою, какъ камень, соленою, какъ сама соль, и облеченною въ такой прочный пузырь, что нужно прибѣгнуть къ острому концу ножа, чтобы проткнуть его.

— Бѣлорыбицы бы теперь хорошо, — говорить онъ.

— Ужъ извините, сударь, совѣмъ изъ памяти вонъ. Все утро помнилъ, даже женѣ говорилъ: безпремѣнно напომни объ бѣлорыбицѣ — и вотъ, словно грѣхъ случился!

— Ничего, и колбасы поѣдимъ. Походомъ шли — не то ѣдали. Вотъ пашенька рассказывалъ: англичанинъ съ англичаниномъ объ закладъ побился, что дохлую кошку съѣстъ — и съѣлъ!

— Тсс... съѣлъ?

— Съѣлъ. Только тошнило его послѣ. Ромомъ вылечился. Двѣ бутылки залпомъ выпилъ — какъ рукой сняло. А то еще одинъ англичанинъ объ закладъ бился, что цѣлый годъ однимъ сахаромъ питаться будетъ.

— Выигралъ?

— Нѣтъ, двухъ сутокъ до году не дожилъ — околѣлъ! Да ты что жъ самъ-то водочки бы долбанулъ?

— Съ роду не пивалъ.



— Чаемъ однимъ наливаешься? Нехорошо, братъ; оттого и брюхо у тебя растетъ. Съ чаемъ надобно тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накаплиетъ, а водка разбиваетъ. Такъ, что-ли?

— Не знаю; вы—люди ученые, вамъ лучше знать.

— То-то. Мы какъ походомъ шли—съ чаями-то да съ кофеями намъ некогда было возиться. А водка—святое дѣло: отвинтилъ манерку, налилъ, выпилъ—и шабашъ. Скоро ужъ больно насъ въ ту пору гнали, такъ скоро, что я дней десять не мывшись былъ!

— Много вы, сударь, трудовъ приняли!

— Много не много, а попробуй, попонтируй-ко по столбовой! Ну, да впередъ-то идти все-таки нешто было: жертвуютъ, обѣдами кормятъ, вина въ волю. А вотъ какъ назадъ идти—чествовать-то ужъ и перестали!

Головлевъ съ усиліемъ грызетъ колбасу и наконецъ прожовываетъ одинъ кусокъ.

— Солоненька, братъ, колбаса-то!—говоритъ онъ:—впрочемъ я неприхотлив! Мать-то вѣдь тоже разносолами потчивать не станеть: щецъ тарелку да каши чашку—вотъ и все!

— Богъ милостивъ! Можетъ, и пирожка въ праздничекъ пожалуетъ!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты вѣрно сказалъ. Говорятъ, она нынче въ дураки играть любить стала—вотъ развѣ это? Ну, позоветъ играть и напоитъ чайкомъ. А ужъ насчетъ прочаго—ау, братъ!

На станціи остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлевъ успѣлъ покончить съ полуштофомъ и его разбиралъ сильный голодъ. Пассажиры ушли въ избу и расположились обѣдать. Побродивъ по двору, заглянувъ на задворки и въ ясли къ лошадамъ, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степанъ Владиміръчъ наконецъ убѣждается, что самое лучшее для него—это послѣдовать за прочими пассажирами въ избу. Тамъ на столѣ уже дымятся щи, и въ сторонкѣ, на деревянномъ лоткѣ, лежитъ большой кусъ говядины, которую Иванъ Михайлычъ крошитъ на мелкіе куски. Головлевъ садится нѣсколько поодаль, закуриваетъ трубку и долгое время не знаетъ, какъ поступить относительно своего насыщенія.

— Хлѣбъ да соль, господа!—наконецъ говоритъ онъ:—щи-то, кажется, жирныя?

— Ничего щи!—отзывается Иванъ Михайлычъ:—да вы бы, сударь, и себя спросили!

— Нѣтъ, я только къ слову, сытъ я!

— Чего сыты! Колбасы кусокъ съѣли, а съ ее, съ проклятой, еще пуще животъ пучить. Кушайте-ка! вотъ я велю въ сторонкѣ для васъ столикъ накрыть—кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину въ сторонкѣ—вотъ такъ!

Пассажиры молча приступаютъ къ ѣдѣ и только загадочно переглядываются между собой. Головлевъ догадывается, что его „проникли“, хотя онъ не безъ нахальства всю дорогу разыгрывалъ барина и называлъ Ивана Михайлыча своимъ казначеемъ. Брови у него насуплены, табачный дымъ такъ и валитъ изо рта. Онъ готовъ отказать отъ ѣды, но требованія голода

до того настоятельны, что онъ какъ-то хищно набрасывается на поставленную передъ нимъ чашку щей и мгновенно опоражниваетъ ее. Вмѣстѣ съ сытостью возвращается къ нему и самоувѣренность, и онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, говорить, обращаясь къ Ивану Михайлычу:

— Ну, братъ-казначей, ты ужъ и расплачивайся за меня, а я пойду на сѣноваль съ Храповицкимъ поговорить!

Переваливаясь, отправляется онъ на сѣнникъ, и на этотъ разъ, такъ какъ желудокъ у него обремененъ, засыпаетъ богатырскимъ сномъ. Въ пять часовъ онъ опять уже на ногахъ. Видя, что лошади стоятъ у пустыхъ ясель и чешутся мордами объ края ихъ, онъ начинаетъ будить ямщика.

— Дрыхнетъ, каналья! — кричитъ онъ: — намъ къ спѣху, а онъ пріятные сны видитъ!

Такъ идетъ дѣло до станціи, съ которой дорога повертывается на Головлево. Только тутъ Степанъ Владимірычъ нѣсколько остепеняется. Онъ явно упадаетъ духомъ и дѣлается молчаливымъ. На этотъ разъ ужъ Иванъ Михайлычъ одобряетъ его и паче всего убѣждаетъ бросить трубку.

— Вы, сударь, какъ будете къ усадьбѣ подходить, трубку-то въ крапиву бросьте! послѣ найдете!

Наконецъ лошади, долженствующія везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступаетъ моментъ разставанія.

— Прощай, братъ! — говоритъ Головлевъ дрогнувшимъ голосомъ, цѣлуя Ивана Михайлыча: — заѣсть она меня!

— Богъ милостивъ! вы тоже не слишнимъ пугайтесь!

— Заѣсть! — повторяетъ Степанъ Владимірычъ такимъ убѣжденнымъ тономъ, что Иванъ Михайлычъ невольно опускаетъ глаза.

Сказавши это, Головлевъ круто поворачиваетъ по направленію проселка и начинаетъ шагать, опираясь на суковатую палку, которую онъ передъ тѣмъ срѣзалъ отъ дерева.

Иванъ Михайлычъ нѣкоторое время слѣдитъ за нимъ и потомъ бросается ему въ догонку.

— Вотъ чтò, баринъ! — говоритъ онъ, нагоняя его: — давеча, какъ ополченку вашу чистилъ, такъ три цѣлковыхскихъ въ боковомъ карманѣ видѣлъ — не оброните какъ-нибудь ненарокомъ!

Степанъ Владимірычъ видимо колеблется и не знаетъ, какъ ему поступить въ этомъ случаѣ. Наконецъ онъ протягиваетъ Ивану Михайлычу руку и говоритъ сквозь слезы:

— Понимаю... служивому на табакъ... благодарю! А что касается до того... заѣсть она меня, другъ любезный! вотъ помани мое слово — заѣсть!

Головлевъ окончательно поворачивается лицомъ къ проселку, и черезъ пять минутъ уже далеко мелькаетъ его сѣрый ополченскій картузъ, то исчеза, то вдругъ появляясь изъ-за чащи лѣсной поросли. Время стоитъ еще раннее, шестой часъ въ началѣ; золотистый утренній туманъ вьется надъ проселкомъ, едва пропуская лучи только-что показавшагося на горизонтѣ солнца; трава блеститъ; воздухъ напоенъ запахами ели, грибовъ и ягодъ; дорога идетъ зигзагами по низменности, въ которой кипать безчисленные стада птицъ. Но Степанъ Владимірычъ ничего не замѣчаетъ: все легкомысліе вдругъ соскочило



съ него, и онъ идетъ словно на страшный судъ. Одна мысль до краевъ переполняетъ все его существо: еще три-четыре часа — и дальше идти уже некуда. Онъ припоминаетъ свою старую Головлевскую жизнь, и ему кажется, что передъ нимъ растворяются двери сырого подвала, что какъ только онъ перешагнетъ за порогъ этихъ дверей, такъ онъ сейчасъ захлопнутся — и тогда все кончено. Припоминаются и другія подробности, хотя непосредственно до него не касающіяся, но несомнѣнно характеризующія Головлевскіе порядки. Вотъ дяденька Михаилъ Петровичъ (въ просторѣчїи „Мишка-буянтъ“), который тоже принадлежалъ къ числу „постылыхъ“ и котораго дѣдущка Петръ Ивановичъ заточилъ къ дочери въ Головлево, гдѣ онъ жилъ въ людской и ѣлъ изъ одной чашки съ собакой Трезоркой. Вотъ тетенька Вѣра Михайловна, которая изъ милости жила въ Головлевской усадьбѣ у брата Владимира Михайлыча и которая умерла „отъ умѣренности“, потому что Арина Петровна корила ее каждымъ кускомъ, съѣдаемымъ за обѣдомъ, и каждымъ полѣномъ дровъ, употребляемыхъ для отопленія ея комнаты. То же самое, приблизительно, предстоитъ пережить и ему. Въ воображеніи его мелькаетъ безконечный рядъ безразсвѣтныхъ дней, утопающихъ въ какой-то зіяющей сѣрой пропасти — и онъ невольно закрываетъ глаза. Отнынѣ онъ будетъ одинъ-на-одинъ съ злою старухой, и даже не злою, а только оцѣпенѣвшею въ апатїи властности. Эта старуха заѣстъ его, заѣстъ не мучительствомъ, а забвеніемъ. Не съ кѣмъ молвить слова, некуда бѣжать — вездѣ она, властная, цѣпная, презирающая. Мысль объ этомъ неотразимомъ будущемъ до такой степени всего его наполнила тоской, что онъ остановился около дерева и нѣсколько времени бился объ него головой. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездѣлничества, буфонства, вдругъ словно освѣтилась передъ его умственнымъ окомъ. Онъ идетъ теперь въ Головлево, онъ знаетъ, что ожидаетъ тамъ его — и все-таки идетъ, и не можетъ не идти. Нѣтъ у него другой дороги. Самый послѣдній изъ людей можетъ что-нибудь для себя сдѣлать, можетъ добыть себѣ хлѣба — онъ одинъ ничего не можетъ. Эта мысль словно впервые проснулась въ немъ. И прежде ему случалось думать о будущемъ и рѣшавъ себѣ всякаго рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вотъ теперь ему предстояла расплата за тотъ угаръ, въ которомъ безслѣдно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся въ одномъ ужасномъ словѣ: „заѣстъ!“

Было около девяти часовъ утра, когда изъ-за лѣса показалась бѣлая Головлевская колокольная.

Лицо Степана Владимірыча поблѣднѣло, руки затряслись; онъ снялъ картузъ и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудномъ сынѣ, возвращающемся домой, но онъ тотчасъ же понялъ, что въ примѣненіи къ нему подобныя воспоминанія составляютъ только одно обольщеніе. Наконецъ онъ отыскалъ глазами поставленный близъ дороги межевой столбъ и очутился на Головлевской землѣ, на той постылой землѣ, которая родила его постылымъ, вскормила постылымъ, выпустила постылымъ на всѣ четыре стороны и теперь, постылаго же, вновь принимаетъ его въ свое лоно. Солнце стояло уже высоко и безпощадно палило безконечныя Головлевскія поля. Но онъ блѣднѣлъ все больше и больше и чувствовалъ, что его начинаетъ знобить.

Наконецъ онъ дошелъ до погоста, и тутъ бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрѣла изъ-за деревьевъ такъ мирно, словно въ ней не происходило ничего особеннаго; но на него ея видъ произвелъ дѣйствіе медузиной головы. Тамъ чудился ему гробъ. „Гробъ! гробъ! гробъ!“ повторялъ онъ безсознательно про себя. И не рѣшился-таки идти прямо въ усадьбу, а зашелъ прежде къ священнику и послалъ его извѣстить о своемъ приходѣ и узнать, приметъ ли его маменька.

Попадъя при видѣ его закручинилась и захлопотала объ яичницѣ; деревенскіе мальчишки столпились вокругъ него и смотрѣли на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и какъ-то загадочно взглядывали на него; какой-то старикъ дворовый даже подбѣжалъ и попросилъ у барина ручку поцѣловать. Всѣ понимали, что передъ ними постылый, который пришелъ въ постылое мѣсто, пришелъ навсегда, и нѣтъ для него отсюда выхода, кромѣ какъ ногами впередъ на погостъ. И всѣмъ дѣлалось въ одно и то же время и жалко, и жутко.

Наконецъ попъ пришелъ и сказалъ, что „маменька готовы принять“ Степана Владимірыча. Черезъ десять минутъ онъ былъ уже тамъ. Арина Петровна встрѣтила его торжественно-строга и смѣрила съ ногъ до головы ледянымъ взглядомъ; но никакихъ бесполезныхъ упрековъ не позволила себѣ. И въ комнаты не допустила, а такъ на дѣвичьемъ крыльцѣ свидѣлась и разсталась, приказавъ проводить молодого барина черезъ другое крыльцо къ папенькѣ. Старикъ дремалъ въ постели, покрытой бѣлымъ одѣяломъ, въ бѣломъ колпакѣ, весь бѣлый, словно мертвецъ. Увидѣвши его, онъ проснулся и идіотски захохоталъ.

— Чтѣ, голубчикъ! попался къ вѣдьмѣ въ лапы! — крикнулъ онъ, покуда Степанъ Владимірычъ цѣловалъ его руку. Потомъ крикнулъ пѣтухомъ, опять захохоталъ и нѣсколько разъ сряду повторилъ: — съѣсть! съѣсть! съѣсть!

— Съѣсть! — словно эхо, откликнулось и въ его душѣ.

Предвидѣнія его оправдались. Его помѣстили въ особой комнатѣ того флигеля, въ которомъ помѣщалась и контора. Туда принесли ему бѣлье изъ домашняго холста и старый папенькинъ халатъ, въ который онъ и облачился немедленно. Двери sklepa растворились, пропустили его и — захлопнулись.

Потянулся рядъ вялыхъ, безобразныхъ дней, одинъ за другимъ утопающихъ въ сѣрой, зіяющей безднѣ времени. Арина Петровна не принимала его; къ отцу его тоже не допускали. Дня черезъ три бурмистръ Финогей Инатычъ объявилъ ему отъ маменьки „положеніе“, заключавшееся въ томъ, что онъ будетъ получать столъ и одежду и, сверхъ того, по фунту Фалера \*) въ мѣсяцъ. Онъ выслушалъ маменькину волю и только замѣтилъ:

— Ишь, вѣдь, старая! Пронюхала, что Жуковъ два рубля, а Фалеръ рубль девяносто стѣитъ — и тутъ десять копѣчекъ ассигнаціями въ мѣсяцъ утянула! Вѣрно нищему на мой счетъ подать собиралась!

Признаки нравственнаго отрезвленія, появившіеся-было въ тѣ часы,

---

\*) Извѣстный въ то время табачный фабрикантъ, конкурировавшій съ Жуковымъ.



покуда онъ приближался проселкомъ къ Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомысліе опять вступило въ свои права, а вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовало и примиреніе съ „маменькинымъ положеніемъ“. Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетомъ, съ каждымъ днемъ все больше и больше заволакивалось туманомъ и наконецъ совсѣмъ перестало существовать. На сцену вступилъ насущный день, съ его цинической наготою, и вступилъ такъ назойливо и нагло, что всецѣло заполонилъ всѣ помыслы, все существо. Да и какую роль можетъ играть мысль о будущемъ, когда теченіе всей жизни безповоротно и въ самыхъ малѣйшихъ подробностяхъ уже рѣшено въ умѣ Арины Петровны?

Цѣлыми днями шаталъ онъ взадъ и впередъ по отведенной комнатѣ, не выпуская трубки изо рта и напѣвая кой-какіе обрывки пѣсенъ, причемъ церковные напѣвы неожиданно смѣнялись разухабистыми, и наоборотъ. Когда въ конторѣ находился на-лицо земскій, то онъ заходилъ къ нему и высчитывалъ доходы, получаемые Ариной Петровной.

— И куда она экую прорву деньжищъ дѣваетъ! — удивлялся онъ, досчитываясь до цифры слишкомъ въ восемьдесятъ тысячъ на ассигнаціи: — братьямъ, я знаю, не ахти сколько посылаетъ, сама живетъ скаредно, отца солеными полотками кормить... Въ ломбардъ! больше некуда, какъ въ ломбардъ-кладеть.

Иногда въ контору приходилъ и самъ Финогей Ипатычъ съ оброками, и тогда на конторскомъ столѣ раскладывались по пачкамъ тѣ самыя деньги, на которыя такъ разгорались глаза у Степана Владимірыча.

— Ишь, пропасть какая деньжищъ! — восклицалъ онъ: — и всѣ-то къ ней въ хайло уйдутъ! нѣтъ того, чтобъ сыну пачечку удѣлить! нѣ-моль, сынъ мой, въ горести находящійся! вотъ тебѣ на вино и на табакъ!

И затѣмъ начинались безконечные и исполненные цинизма разговоры съ Яковомъ-земскимъ о томъ, какими бы средствами сердце матери такъ смягчить, чтобъ она души въ немъ не чаяла.

— Въ Москвѣ у меня мѣщанинъ знакомый былъ, — рассказывалъ Головлевъ: — такъ онъ „слово“ зналъ... Бывало, какъ не захочетъ ему мать денегъ дать, онъ это „слово“ и скажетъ... И сейчасъ это всю ее корчить начнетъ, руки, ноги — словомъ, все!

— Порчу, стало быть, какую ни на есть пушаль! — догадывался Яковъ-земскій.

— Ну, ужъ тамъ какъ хочешь разумѣй, а только истинная это правда, что такое „слово“ есть. А то еще одинъ человѣкъ сказывалъ: возьми, говоритъ, живую лягушку и положи ее въ глухую полночь въ муравейникъ; къ утру муравьи ее всю объѣдятъ, останется одна косточка; вотъ эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя въ карманѣ — чтъ хочешь у любой бабы проси, ни въ чемъ тебѣ отказу не будетъ.

— Что жъ, это хоть сейчасъ сдѣлать можно!

— То-то, братъ, что сперва проклятiе на себя наложить нужно! Кабы не это... то-то бы вѣдьма мелкимъ бѣсомъ передо мной заплясала!

Цѣлые часы проводились въ подобныхъ разговорахъ, но средствъ все-таки не обрѣталось. Все — либо проклятiе на себя наложить приходилось,

либо душу чорту продать. Въ результатѣ ничего другого не оставалось, какъ жить на „маменькиномъ положеніи“, поправляя его нѣкоторыми произвольными поборами съ сельскихъ начальниковъ, которыхъ Степанъ Владимірычъ поголовно обложилъ данью въ свою пользу, въ видѣ табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькинаго обѣда; а такъ какъ Арина Петровна была умѣренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было въ особенности для него мучительно, потому что съ тѣхъ поръ, какъ вино сдѣлалось для него запретнымъ плодомъ, апетитъ его быстро усилился. Съ утра до вечера онъ голодалъ и только объ томъ и думалъ, какъ бы наѣсться. Подкарауливалъ часы, когда маменька отдыхала, бѣгалъ въ кухню, заглядывалъ даже въ людскую и вездѣ что-нибудь нашаривалъ. По временамъ садился у открытаго окна и поджидалъ, не проѣдетъ ли кто. Ежели проѣзжалъ мужикъ изъ своихъ, то останавливалъ его и облагалъ данью: яйцомъ, ватрушкой и т. д.

Еще при первомъ свиданіи Арина Петровна въ короткихъ словахъ выяснила ему полную программу его житья-бытья. — Покуда живи! — сказала она: — вотъ тебѣ уголъ въ конторѣ, пить-ѣсть будешь съ моего стола, а на прочее — не погнѣвайся, голубчикъ! Разносоловъ у меня отъ роду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вотъ братья ужъ пріѣдутъ: какое положеніе они промежду себя для тебя присовѣтуютъ — такъ я съ тобой и поступлю. Сама на душу грѣха братъ не хочу — какъ братья рѣшатъ, такъ тому и быть!

И вотъ теперь онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ пріѣзда братьевъ. Но при этомъ онъ совсѣмъ не думалъ о томъ, какое вліяніе будетъ имѣть этотъ пріѣздъ на дальнѣйшую его судьбу (повидимому онъ рѣшилъ, что объ этомъ и думать нечего), а загадывалъ только, привезетъ ли ему братъ Павелъ табакъ и сколько именно.

— А можетъ и денегъ отвалить! — прибавляетъ онъ мысленно: — Порфишка-кровопивецъ — тотъ не дастъ, а Павелъ... Скажу ему: дай, братъ, служивому на вино... дать! какъ, чай, не дать!

Время проходило, и онъ не замѣчалъ его. Это была абсолютная праздность, которою онъ, однако, почти не тяготился. Только по вечерамъ было скучно, потому что земскій уходилъ часовъ въ восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свѣчей, на томъ основаніи, что по комнатѣ взадъ и впередъ шагать и безъ свѣчей можно. Но онъ и къ этому скоро привыкъ и даже полюбилъ темноту, потому что въ темнотѣ сильнѣе разыгрывалось воображеніе и уносило его далеко изъ постылаго Головлева. Одно его тревожило: сердце у него спокойно было и какъ-то странно трепыхалось въ груди, въ особенности когда онъ ложился спать. Иногда онъ вскакивалъ съ постели, словно ошеломленный, и бѣгалъ по комнатѣ, держась рукой за лѣвую сторону груди.

— Эхъ, кабы околотъ! — думалось ему при этомъ: — нѣтъ, вѣдь не околотъ! А можетъ быть...

Но когда, однажды утромъ, земскій таинственно доложилъ ему, что ночью братцы пріѣхали — онъ невольно вздрогнулъ и измѣнился въ лицѣ. Что-то ребяческое вдругъ въ немъ проснулось; хотѣлось бѣжать поскорѣе



въ домъ, взглянуть, какъ они одѣты, какія посланы имъ постели и есть ли у нихъ такіе же дорожные несессеры, какіе онъ видѣлъ у одного ополченскаго капитана; хотѣлось послушать, какъ они будутъ говорить съ маменькой, подсмотреть, что будутъ имъ подавать за обѣдомъ. Словомъ сказать, хотѣлось и еще разъ приобщиться къ той жизни, которая такъ упорно отменяла его отъ себя, броситься къ матери въ ноги, вымолить ея прощеніе, и потомъ, на радостяхъ, пожалуй, съѣсть и упитаннаго тельца. Еще въ домъ было все тихо, а онъ ужъ сбѣгалъ къ повару на кухню и узналъ, что къ обѣду заказано: на горячее — щи изъ свѣжей капусты, небольшой горшокъ, да вчерашній супъ разогрѣть вѣдно, на холодное — полотокъ соленый да сбоку двѣ пары котлеточекъ, на жаркое — баранину да сбоку четыре бекасика, на пирожное — малиновый пирогъ со сливками.

— Вчерашній супъ, полотокъ и баранина — это, братъ, постылому! — сказалъ онъ повару: — пирога, я полагаю, мнѣ тоже не дадутъ!

— Это — какъ будетъ угодно маменькѣ, сударь.

— Эхма! А было время, что и я душелей ѣдалъ! ѣдалъ, братецъ! Однажды съ поручикомъ Гремякинымъ даже на пари побился, что сряду пятнадцать душелей съѣмъ — и выигралъ! Только послѣ этого цѣлый мѣсяцъ смотрѣть безъ отвращенія на нихъ не могъ!

— А теперь опять бы покушали?

— Не дасть! А чего бы, кажется, жалѣть! Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотрѣть за ней — сама на свой счетъ живетъ! И дупель некупленный, и баранъ некупленный — а вотъ поди жъ ты! знаетъ, вѣдьма, что дупель вкуснѣе баранины — ну, и не дасть! Сгноить, а не дасть! А на завтракъ что заказано?

— Печѣнка заказана, грибы въ сметанѣ, сочни...

— Ты бы хоть соченька мнѣ прислалъ... постарайся, братъ!

— Надо постараться. А вы вотъ что, сударь. Уждь, какъ завтракать братцы сядутъ, пришлите сюда земскаго; онъ вамъ парочку соченьковъ за паузой пронесетъ.

Все утро прождалъ Степанъ Владимірьчъ, не придутъ ли братцы, но братцы не шли. Наконецъ, часовъ около одиннадцати, принесъ земскій два обѣданныхъ сочня и доложилъ, что братцы сейчасъ отзавтракали и заперлись съ маменькой въ спальнѣ.

Арина Петровна встрѣтила сыновей торжественно, удрученная горемъ. Двѣ дѣвки поддерживали ее подъ руки; сѣдые волосы прядями выбились изъ-подъ бѣлаго чепца, голова понурилась и покачивалась изъ стороны въ сторону, ноги едва волочили. Вообще она любила въ глазахъ дѣтей разиграть роль почтенной и удрученной матери, и въ этихъ случаяхъ съ трудомъ волочила ноги и требовала, чтобъ ее поддерживали подъ руки дѣвки. Степка-балбесъ называлъ такіе торжественные приемы — архіерейскимъ служеніемъ, мать — архіерейшею, а дѣвокъ Польку и Юльку — архіерейскими жезлоносцами. Но такъ-какъ былъ уже второй часъ ночи, то свиданіе произошло безъ словъ. Молча подала она дѣтямъ руку для цѣлованія, молча

перещеловала и перекрестила ихъ, и когда Порфирій Вадимірычъ изъявилъ готовность хоть весь остатокъ ночи прокалякать съ милымъ другомъ маменькой, то махнула рукой, сказавъ:

— Ступайте! отдохните съ дороги! не до разговоровъ теперь; завтра поговоримъ.

На другой день, утромъ, оба сына отправились къ папенькѣ ручку пощеловать, но папенька ручки не далъ. Онъ лежалъ на постели съ закрытыми глазами и, когда вошли дѣти, крикнулъ:

— Мытаря судить пріѣхали?.. Вонъ, фарисеи... вонъ!

Тѣмъ не менѣе Порфирій Вадимірычъ вышелъ изъ папенькинаго кабинета взволнованный и заплаканный, а Павелъ Вадимірычъ, какъ „истинно безчувственный идолъ“, только ковырялъ пальцемъ въ носу.

— Нехорошъ онъ у васъ, добрый другъ маменька! ахъ, какъ нехорошъ!— воскликнулъ Порфирій Вадимірычъ, бросаясь на грудь къ матери.

— Развѣ очень сегодня слабъ?

— Ужъ такъ слабъ! такъ слабъ! Не жалецъ онъ у васъ!

— Ну, поскрипитъ еще!

— Нѣтъ, голубушка, нѣтъ! И хотя ваша жизньъ никогда не была особенно радостна, но какъ подумаешь, что столько ударовъ заразъ... право, даже удивляешься, какъ это вы силу имѣете переносить эти испытанія!

— Что жъ, мой другъ, и перенесешь, коли Господу Богу угодно! Знаешь, въ писаніи-то что сказано: тяготы другъ другу носите—вотъ и выбралъ меня Онъ, Батюшко, чтобъ семейству своему тяготы носить!

Арина Петровна даже глаза зажмурила: такъ это хорошо ей показалось, что всѣ живутъ на всемъ на готовенькомъ, у всѣхъ-то припасено, а она одна—цѣлый-то день мается да всѣмъ тяготы носить.

— Да, мой другъ!—сказала она послѣ минутнаго молчанія: —тяжеленько-таки мнѣ на старости лѣтъ! Припасла я дѣтямъ на свой пай — пора бы и отдохнуть! Шутка сказать — четыре тысячи душъ! этакой-то машиной управлять въ мои лѣта! за всякимъ вѣдь поглядѣ! всякаго услѣди! да походи, да побѣгай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что онъ тебѣ въ глаза смотреть! однимъ-то глазомъ онъ на тебя, а другимъ—въ лѣсъ норовитъ! Самый это народъ... маловѣрный! Ну, а ты что?—прервала она вдругъ, обращаясь къ Павлу:—въ носу ковыряешь?

— Мнѣ что жъ!—огрызнулся Павелъ Вадимірычъ, обезпкоенный въ самомъ разгарѣ своего занятія.

— Какъ что! все же отецъ тебѣ—можно бы и пожалѣть!

— Что жъ—отецъ! Отецъ какъ отецъ... какъ всегда! Десять лѣтъ онъ такой! Всегда вы меня притѣняете!

— Зачѣмъ мнѣ тебя притѣнять, другъ мой? я—мать тебѣ! Вотъ Порфиша: и приласкался, и пожалѣлъ—все какъ слѣдъ доброму сыну сдѣлалъ, а ты и на мать-то путемъ посмотрѣть не хочешь, все исподлобья да сбоку, словно она—не мать, а ворогъ тебѣ! Не укуси, сдѣлай милость!

— Да что же я...

— Пстой! помолчи минуту! дай матери слово сказать! Помнишь ли,



что въ заповѣди-то сказано: чти отца твоего и мать твою — и благо ти будетъ... стало быть, ты „блага“ — то себѣ не хочешь?

Павелъ Владимірычъ молчалъ и смотрѣлъ на мать недоумѣвающими глазами.

— Вотъ видишь, ты и молчишь! — продолжала Арина Петровна: — стало быть, самъ чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да ужъ Богъ съ тобой! Для радостнаго свиданія оставимъ этотъ разговоръ. Богъ, мой другъ, все видитъ, а я... ахъ, какъ давно я тебя насквозь понимаю! Ахъ, дѣтушки, дѣтушки! вспомните мать, какъ въ могилкѣ лежать будетъ, вспомните — да поздно ужъ будетъ!

— Маменька! — вступился Порфирій Владимірычъ: — оставьте эти черныя мысли! оставьте!

— Умирать, мой другъ, всѣмъ придется! — сентенціозно произнесла Арина Петровна: — не черныя эти мысли, а самыя, можно сказать... божественныя! Хирѣю я, дѣтушки, ахъ, какъ хирѣю! Ничего-то во мнѣ прежняго не осталось — слабость да хворость одна! Даже дѣвки-поганки замѣтили это — и въ усъ мнѣ не дуютъ! Я слово — онѣ десять! Одну только угрозу и имѣю на нихъ, что молодымъ господамъ, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и попритихнуть!

Подали чай, потомъ завтракъ, въ продолженіе которыхъ Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама надъ собой. Послѣ завтрака она пригласила сыновей въ свою спальню.

Когда дверь была заперта на ключъ, Арина Петровна немедленно приступила къ дѣлу, по поводу котораго былъ созванъ семейный совѣтъ.

— Балбесъ-то вѣдь явился! — начала она.

— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфирій Владимірычъ не то съ ироніей, не то съ благодушіемъ человѣка, который только-что сытно покушалъ.

— Пришелъ, словно и дѣло сдѣлалъ, словно такъ и слѣдовало: сколько бы, молъ, я ни кутилъ, ни мутилъ, у старухи-матери всегда про меня кусокъ хлѣба найдется! Сколько я въ своей жизни ненависти отъ него видѣла! сколько отъ однихъ его буфонствъ да каверзовъ мученія вытерпѣла! Что я въ ту пору трудовъ приняла, чтобъ его на службу-то втереть! — и все какъ съ гуся вода! Наконецъ, билась-билась, думаю: Господи? да коли онъ самъ объ себѣ радѣть не хочетъ — неужто я обязана изъ-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусокъ, авось свой грошъ въ руки попадетъ — постепеннѣе будетъ! И выкинула. Сама и домъ-то для него высмотрѣла, сама собственными руками, какъ одну копѣйку, двѣнадцать тысячечекъ серебромъ денегъ выложила! И что жъ! не прошло послѣ того и трехъ лѣтъ — анъ онъ и опять у меня на шеѣ повисъ! Долго ли мнѣ надругательства-то эти переносить?

Порфиша векинулъ глазами въ потолокъ и грустно покачалъ головою, словно бы говорилъ: „о-о-охъ дѣла! дѣла! и нужно же милаго друга маменьку такъ беспокоить! сидѣли бы все смирно, ладкомъ да миркомъ — ничего бы этого не было, и маменька бы не гнѣвалась... а-а-ахъ, дѣла, дѣла!“ Но Аринѣ

Петровнѣ, какъ женщинѣ, не терпящей, чтобы теченіе ея мыслей было чѣмъ бы то ни было прерываемо, движеніе Порфиши не понравилось.

— Нѣтъ, ты погоди головой-то вертѣть, — сказала она: — ты прежде выслушай! Каково мнѣ было узнать, что онъ родительское-то благословеніе, словно обглоданную кость, въ помойную яму выбросилъ? Каково мнѣ было чувствовать, что я, съ позволенія сказать, ночей не досыпала, куска не доѣдала, а онъ — натко! Словно вотъ взялъ, кушилъ на базарѣ бирюльку — не занадобилась, и выкинулъ ее за окно! Это родительское-то благословеніе!

— Ахъ, маменька! Это такой поступокъ! такой поступокъ! — началъ было Порфирій Владимірычъ, но Арина Петровна опять остановила его.

— Стой! погоди! когда я прикажу, тогда свое мнѣніе скажешь! И хоть бы онъ меня, мерзавецъ, предупредилъ! Виновать, молъ, маменька, такъ и такъ — не воздержался! Я вѣдь и сама, когда въ время, съумѣла бы за безцѣнокъ домъ-то приобрести! Не съумѣлъ недостойный сынъ пользоваться — пусть попользуются достойныя дѣти! Вѣдь онъ, шутя-шутя, домъ-то, пятнадцать процентовъ въ годъ интересу принесетъ! Можетъ быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бѣдность выкинула! А то — натко! сажу здѣсь, ни сномъ, ни духомъ не вижу, а онъ ужъ и распорядился! Двѣнадцать тысячъ собственными руками за домъ выложила, а онъ его съ аукціона въ восьми тысячахъ спустилъ!

— А главное, маменька, что онъ съ родительскимъ благословеніемъ такъ низко поступилъ! — поспѣшилъ скороговоркой прибавить Порфирій Владимірычъ, словно опасаясь, чтобы маменька вновь не прервала его.

— И это, мой другъ, да и то. У меня, голубчикъ, деньги-то не шальные; я не танцами да курантами приобрѣла ихъ, а хрѣбомъ да потѣмъ! Я какъ богатства-то достигала? Какъ за папеньку-то я пла, у него только и было, что Головлево, сто-одна душа, да въ дальнихъ мѣстахъ гдѣ двадцать, гдѣ тридцать — душъ съ полтора ста набралось! А у меня, у самой-то — и всего ничего! И, нутко, при такихъ-то средствахъ, какую машину выстроила! Четыре-то тысячи душъ — ихъ вѣдь не скроешь! И хотѣла бы въ могилку съ собой унести, да нельзя! Какъ ты думаешь, легко мнѣ онѣ, эти четыре тысячи душъ, достались? Нѣтъ, другъ мой любезный, такъ нелегко, такъ нелегко, что, бывало, ночью не спишь — все тебѣ мерещится, какъ бы такъ дѣльце умненько обдѣлать, чтобы до времени никто и пронюхать объ немъ не могъ! Да чтобы кто-нибудь не перебилъ, да чтобы копѣечки лишенькой не истратить! И чего я ни попробовала! и слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то — всего отвѣдала! Это ужъ въ послѣднее время я въ тарантасахъ-то роскошничать начала, а въ первое-то время соберутъ, бывало, тележонку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжутъ, пару лошадей запрягутъ — я и плетусь трюхъ-трюхъ до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну, какъ кто-нибудь имѣнье-то у меня перебьетъ! Да и въ Москву пріѣдешь, у Рогожской на постояломъ остановишься, вони да грязи — все я, друзья мои, вытерпѣла! На извозчика, бывало гривенника жалъ — на своихъ на двоихъ отъ Рогожской до Солянки пру! Даже дворники — и тѣ дивятся: „барыня, говорятъ, ты молоденькая и съ достаткомъ, а такіе труды на себя принимаешь!“ А я все молчу, да терплю. И денегъ-то у меня въ первый разъ всего трид-



цать тысячъ на ассигнаціи было — папенькины кусочки дальніе, душъ со сто продала — да съ этою-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душъ покупать! Отслужила у Иверской молебень, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что жъ вѣдь! Словно видѣла Заступница мои слезы горькія — оставила-таки имѣніе за мной! И чудо какое: какъ я тридцать тысячъ, окромѣ казеннаго долга, надавала, такъ словно вотъ весь аукціонъ перерѣзала! Прежде и галдѣли, и горячились, а тутъ и надбавлять перестали, и стало вдругъ тихо-тихо кругомъ. Всталъ это присутствующій, поздравляетъ меня, а я ничего не понимаю! Стряпчій тутъ былъ, Иванъ Николаичъ, подошелъ ко мнѣ: „съ покупкой, говорятъ, сударыня!“ а я словно вотъ столбъ деревянный стою! И какъ вѣдь милость-то Божія велика! Подумайте только: еслибъ при такомъ моемъ изступленіи вдругъ кто-нибудь на озорство крикнулъ: „тридцатипять тысячъ даю!“ — вѣдь я, пожалуй, въ безпамятствѣ-то и всѣ сорокъ надавала бы! А гдѣ бы я ихъ взяла?!

Арина Петровна много разъ уже рассказывала дѣтямъ эпопею своихъ первыхъ шаговъ на аренѣ благопріобрѣтенія, но повидимому она и доднесь не утратила въ ихъ глазахъ интереса новизны. Порфирій Владимірычъ слушалъ маменьку, то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская ихъ, смотря по свойству перипетій, черезъ которыя она проходила. А Павелъ Владимірычъ даже большіе глаза раскрылъ, словно ребенокъ, которому рассказываютъ знакомую, но никогда не надобѣдающую сказку.

— А вы, чай, думаете, даромъ состояніе-то матери досталось! — продолжала Арина Петровна: — нѣтъ, друзья мои! даромъ-то и прыщъ на носу не вскочить: я послѣ первой-то покупки въ горячкѣ шесть недѣль вылежала! Вотъ теперь и судите: каково мнѣ видѣть, что послѣ такихъ-то, можно сказать, истязаній, трудовыя мои денежки, ни дай, ни вынеси за что, въ помойную яму выброшены!

Послѣдовало минутное молчаніе. Порфирій Владимірычъ готовъ былъ ризы на себѣ разодрать, но опасался, что въ деревнѣ, пожалуй, некому починить ихъ будетъ; Павелъ Владимірычъ, какъ только кончилась „сказка“ о благопріобрѣтеніи, сейчасъ же опустился и лицо его приняло прежнее апатичное выраженіе.

— Такъ вотъ я за тѣмъ васъ и призвала, — вновъ начала Арина Петровна: — судите вы меня съ нимъ, со злодѣемъ! Какъ вы скажете, такъ и будетъ! Его осудите — онъ будетъ виноватъ, меня осудите — я виновата буду. Только ужъ я себя злодѣю въ обиду не дамъ! — прибавила она совсѣмъ неожиданно.

Порфирій Владимірычъ почувствовалъ, что праздникъ на его улицѣ наступилъ и разошелся соловьемъ. Но, какъ истинный кровопивецъ, онъ не приступилъ къ дѣлу прямо, а началъ съ околичностей.

— Если вы позволите мнѣ, милый другъ маменька, выразить мое мнѣніе, — сказалъ онъ, — то вотъ оно въ двухъ словахъ: дѣти обязаны повиноваться родителямъ, слѣпо слѣдовать указаніямъ ихъ, покоить ихъ въ старости — вотъ и все. Чтѣ такое дѣти, милая маменька? Дѣти — это любящія существа, въ которыхъ все, начиная отъ нихъ самихъ и кончая послѣдней тряпкой, которую они на себѣ имѣютъ — все принадлежитъ родителямъ. По-

этому родители могутъ судить дѣтей; дѣти же родителей — никогда. Обязанность дѣтей — чтить, а не судить. Вы говорите: „судите меня съ нимъ!“ Это великодушно, милая маменька, велли-ко-лѣпно! Но можемъ ли мы безъ страха даже подумать объ этомъ, мы — отъ перваго дня рожденія облагодѣтельствованные вами съ головы до ногъ? Воля ваша, но это будетъ святотатство, а не судъ! Это будетъ такое святотатство, такое святотатство...

— Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить, такъ оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никакъ не могла разгадать: какой такой подвохъ у Порфишки-кровопивца въ головѣ засѣлъ.

— Нѣтъ, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смѣю и не имѣю права. Ни оправлять, ни обвинять — вообще судить не могу. Вы — мать; вамъ однѣмъ извѣстно, какъ съ нами, вашими дѣтьми, поступать. Заслужили мы — вознаградите насъ, провинились — накажите. Наше дѣло — повиноваться, а не критиковать. Еслибъ вамъ пришлось даже и переступить, въ минуту родительскаго гнѣва, мѣру справедливости — и тутъ мы не смѣемъ роптать, потому что пути Провидѣнія скрыты отъ насъ. Кто знаетъ? Можетъ быть, это и нужно такъ! Такъ-то и здѣсь: братъ Степанъ поступилъ низко, даже, можно сказать, чернѣ, но опредѣлить степень возмездія, которое онъ заслуживаетъ за свой поступокъ, можете вы однѣ!

— Стало быть, ты отказываешься? Выпугивайтесь, молъ, милая маменька, какъ сами знаете!

— Ахъ, маменька, маменька! и не грѣхъ это вамъ! Ахъ-ахъ-ахъ! Я говорю: какъ вамъ угодно рѣшить участь брата Степана, такъ пусть и будетъ — а вы... ахъ, какія вы черныя мысли во мнѣ предполагаете!

— Хорошо. Ну, а ты какъ? — обратилась Арина Петровна къ Павлу Владимірычу.

— Мнѣ что жъ! развѣ вы меня послушаетесь? — заговорилъ Павелъ Владимірычъ словно сквозь сонъ, но потомъ неожиданно захрабрился и продолжалъ: — извѣстно, виновать... на куски рвать, въ ступѣ истолочь... впередъ извѣстно... мнѣ чтѣ жъ!

Пробормотавши эти безсвязныя слова, онъ остановился и съ разинутымъ ртомъ смотрѣлъ на мать, словно самъ не вѣрилъ ушамъ своимъ.

— Ну, голубчикъ, съ тобой — послѣ! — холодно оборвала его Арина Петровна: — ты, я вижу, по Стѣпкинымъ слѣдамъ идти хочешь... Ахъ, не ошибись, мой другъ! Покаешься послѣ — да поздно будетъ!

— Я что жъ! Я ничего!.. Я говорю: какъ хотите! чтѣ же тутъ... непочтительнаго? — спасовалъ Павелъ Владимірычъ.

— Послѣ, мой другъ, послѣ съ тобой поговоримъ! Ты думаешь, что офицеръ, такъ и управы на тебя не найдется! Найдется, голубчикъ, ахъ, какъ найдется! Такъ, значить, вы оба отъ судбища отказываетесь?

— Я, милая маменька...

— И я тоже. Мнѣ чтѣ! По мнѣ, пожалуй, хоть на куски...

— Да замолчи, Христа ради... недобрый ты сынъ! (Арина Петровна понимала, что имѣла право сказать „негодяй“, но ради радостнаго свиданія воздержалась.) Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мнѣ ужъ



собственнымъ судомъ его судить. И вотъ какое мое рѣшеніе будетъ: попробую и еще разъ добромъ съ нимъ поступить; отдѣлю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю тамъ флигелечекъ небольшой поставить — и пусть себѣ живетъ, въ родѣ какъ убогаго, на прокормленіи у крестьянъ!

Хотя Порфирій Владимірычъ и отказался отъ суда надъ братомъ, но великодушіе маеньки такъ поразило его, что онъ никакъ не рѣшился скрыть отъ нея опасныя послѣдствія, которыя влекла за собой сейчасъ высказанная мѣра.

— Маенька! — воскликнулъ онъ: — вы больше, чѣмъ великодушны! Вы видите передъ собой поступокъ... ну, самый низкій, черный поступокъ... и вдругъ все забыто, все прощено! Велли-ко-лѣпно! Но извините меня... боюсь я, голубушка, за васъ! И, какъ хотите меня судите, а на вашемъ мѣстѣ... я бы такъ не поступилъ!

— Это почему?

— Не знаю... Можетъ быть, во мнѣ нѣтъ этого великодушія... этого, такъ сказать, материнскаго чувства... Но все какъ-то сдается: а что ежели братъ Степанъ, по свойственной ему испорченности, и съ этимъ вторымъ вашимъ родительскимъ благословеніемъ поступитъ точно такъ же, какъ и съ первымъ?

Оказалось однако, что соображеніе это ужъ было въ виду у Арины Петровны, но что въ то же время существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.

— Вологодское-то имѣніе вѣдь папенькино, родовое, — процѣдила она сквозь зубы: — рано или поздно все-таки придется ему изъ папенькина имѣнія часть выдѣлять.

— Понимаю я это, милый другъ маенька...

— А коли понимаешь, такъ, стало быть, понимаешь и то, что, выдѣливши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство съ него требовать, что онъ отъ папеньки отдѣленъ и всѣмъ доволенъ?

— Понимаю и это, голубушка маенька. Большую вы тогда, по добротѣ вашей, ошибку сдѣлали! Надо было тогда, какъ вы домъ покупали — тогда надо было обязательство съ него взять, что онъ въ папенькино имѣніе не вступщикъ!

— Чтѣ дѣлать! не догадалась!

— Тогда онъ, на радостяхъ-то, какую угодно бумагу бы подписалъ! А вы, по добротѣ вашей... ахъ, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!

— „Ахъ“ да „ахъ“! — ты бы въ ту пору, ахало, ахаль, какъ время было. Теперь ты все готовъ матери на голову свалить, а чуть коснется до дѣла — тутъ тебя и нѣтъ! А впрочемъ не объ бумагахъ и рѣчь: бумагу, пожалуй, я и теперь съумѣю отъ него вытребовать. Папенька-то не сейчасъ, чай, умереть, а до тѣхъ поръ балбесу тоже пить-ѣсть надо. Не выдастъ бумаги — можно и на порогъ ему указать: жди папенькиной смерти! Нѣтъ, я все-таки знать желаю: тебѣ не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отдѣлить?

— Промотаешь онъ ее, голубушка! домъ промоталъ — и деревню промотаешь!

— А промотаешь, такъ пусть на себя и пеняетъ!

— Къ вамъ же вѣдь онъ тогда придетъ!

— Ну, нѣтъ, это — дудки! И на порогъ къ себѣ его не пущу! Не только хлѣба — воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудятъ, и Богъ не накажетъ. Натко! домъ прожилъ, имѣніе прожилъ — да развѣ я крѣпостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другія дѣти есть!

— И все-таки къ вамъ онъ придетъ. Натный вѣдь онъ, голубушка маменька!

— Говорю тебѣ: на порогъ не пущу! Чтѣ ты, какъ сорока, заладилъ: „придетъ“ да „придетъ“ — не пущу!

Арина Петровна умолкла и уставилась глазами въ окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободить ее отъ „постылаго“ что, въ концѣ концовъ, онъ все-таки и ее промотаешь и опять придетъ къ ней, и что, *какъ мать*, она *не можетъ* отказать ему въ углѣ; но мысль, что ея ненавистникъ останется при ней навсегда, что онъ, даже заточенный въ контору, будетъ, словно привидѣніе, ежемгновенно преслѣдовать ея воображеніе — эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всѣмъ тѣломъ вздрагивала.

— Ни за что! — крикнула она наконецъ, стукнувъ кулакомъ по столу и вскакивая съ кресла.

А Порфирій Владимірычъ смотрѣлъ на милаго друга маменьку и скорбно покачивалъ въ тактъ головою.

— А вѣдь вы, маменька, гнѣваетесь! — наконецъ произнесъ онъ такимъ умильнымъ голосомъ, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.

— А по твоему, въ плясъ, что-ли, я пуститься должна?

— А-а-ахъ! а чтѣ въ писаніи насчетъ терпѣнья-то сказано? Въ терпѣніи, сказано, стяжите души ваши! въ терпѣніи — вотъ какъ! Богъ-то, вы думаете, не видитъ? Нѣтъ, онъ все видитъ, милый другъ маменька! Мы, можетъ быть, и не подозреваемъ ничего, сидимъ вотъ: и такъ прикинемъ, и такъ примѣримъ, а Онъ тамъ ужъ и рѣшилъ: дай, молъ, пошлю я ей испытаніе! А-а-ахъ! а я-то думалъ, что вы, маменька, пайныка!

Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка-кровопивецъ только петлю закидываетъ, и потому окончательно разсердилась.

— Шутовку ты, что-ли, изъ меня сдѣлать хочешь! — прикрикнула она на него: — мать объ дѣлѣ говоритъ, а онъ — скоморошничаетъ! Нечего зубы-то мнѣ заговаривать! Сказывай, какая твоя мысль! Въ Головлевъ, что-ли, его, у матери на шею оставить хочешь?

— Точно такъ, маменька, если милость ваша будетъ. Оставить его на томъ же положеніи, какъ и теперь, да и бумагу насчетъ наслѣдства отъ него вытребовать.

— Такъ... такъ... знала я, что ты это присовѣтуешь. Ну, хорошо. Положимъ, что сдѣлается по твоему. Какъ ни несносно мнѣ будетъ ненавистника моего всегда подлѣ себя видѣть — ну, да видно пожалѣть обо мнѣ некому.



Молода была—крестъ несла, а старухѣ и подавно отъ креста отказываться не слѣдь. Допустимъ это, будемъ теперь о другомъ говорить. Покуда мы съ папенькой живы—ну, и онъ будетъ жить въ Головлевъ, съ голоду не помретъ. А потомъ какъ?

— Маменька! другъ мой! Зачѣмъ же черныя мысли?

— Черныя ли, бѣлыя ли — подумать все-таки надо. Не молоденькіе мы. Поколѣемъ оба—что съ нимъ тогда будетъ?

— Маменька! да неужто жъ вы на насъ, вашихъ дѣтей, не надѣетесь? въ такихъ ли мы правилахъ вами были воспитаны?—И Порфирій Владимірычъ взглянулъ на нее однимъ ихъ тѣхъ загадочныхъ взглядовъ, которые всегда приводили ее въ смущеніе.

— Закидываетъ!—откликнулось въ душѣ ея.

— Я, маменька, бѣдному-то еще съ большею радостью помогу! Богатому—что! Христосъ съ нимъ! у богатаго и своего довольно! А бѣдный — знаете ли, что Христосъ про бѣднаго-то сказалъ!

Порфирій Владимірычъ всталъ и поцѣловалъ у маменьки ручку.

— Маменька! позвольте мнѣ брату два фунта табаку подарить! — попросилъ онъ.

Арина Петровна не отвѣчала. Она смотрѣла на него и думала: „неужто онъ въ самомъ дѣлѣ такой кровопивецъ, что брата родного на улицу выгнать?“

— Ну, дѣлай какъ знаешь! Въ Головлевъ — такъ въ Головлевъ ему жить!—наконецъ сказала она: — окружилъ ты меня кругомъ! опуталъ! началъ съ того: какъ вамъ, маменька, будетъ угодно! а подъ конецъ заставилъ-таки меня подъ свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистникъ онъ мнѣ, всю жизнь онъ меня казнилъ да позорилъ, а наконецъ и надъ родительскимъ благословеніемъ моимъ надругался, а все-таки если ты его за порогъ выгонишь или въ люди заставишь идти — нѣтъ тебѣ моего благословенія! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Ступайте теперь оба къ нему! чай, онъ и буркалы-то свои проглядѣлъ, васъ высматриваючи!

Сыновья ушли, а Арина Петровна встала у окна и слѣдила, какъ они, ни слова другъ другу не говоря, переходили черезъ красный дворъ къ конторѣ. Порфиша безпрестанно снималъ картузы и крестился: то на церковь, бѣлѣвшуюся вдаль, то на часовню, то на деревянный столбъ, къ которому была прикрѣплена кружка для поданій. Павлуша, повидимому, не могъ оторвать глазъ отъ своихъ новыхъ сапоговъ, на кончикѣ которыхъ такъ и переливались лучи солнца.

— И для кого я припасала! ночей не досыпала, куска не доѣдала... для кого?—вырвался изъ груди ея вопль.

Братцы уѣхали; Головлевская усадьба заустѣла. Съ усиленною ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятія; притихла стукотня поварскихъ ножей на кухнѣ, но за то удвоилась дѣятельность въ конторѣ, въ амбарахъ, кладовыхъ, погребахъ и т. д. Лѣто-припасуха приближалось къ концу; шло варенье, соленье, приготовленіе впрокъ; отовсюду

стекались запасы на зиму, изъ всёхъ вотчинъ возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мѣрялось, принималось и присовокуплялось къ запасамъ прежнихъ годовъ. Не даромъ у Головлевской барыни была выстроена цѣлая линія погребовъ, кладовыхъ и амбаровъ; всё они были полнымъ-полнехоньки и не мало было въ нихъ порченнаго матеріала, къ которому приступить нельзя было ради гнилого запаха. Весь этотъ матеріалъ сортировался къ концу лѣта, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась въ застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно пооселизли, припахиваютъ; ну, да ужъ пусть дворовые полакомятся! — говорила Арина Петровна, приказывая отставить то ту, то другую кадку.

Степанъ Владимірычъ удивительно освоился съ своимъ новымъ положеніемъ. По временамъ ему до страсти хотѣлось „дерябнуть“, „куликнуть“ и вообще „закатиться“ (у него, какъ увидимъ дальше, были даже деньги для этого), но онъ съ самоотверженіемъ воздерживался, словно разсчитывая, что „самое время“ еще не наступило. Теперь онъ былъ ежеминутно занятъ, ибо принималъ живое и суетливое участіе въ процессѣ припасанія, безкорыстно радуясь и печалясь удачамъ и неудачамъ Головлевскаго скопидомства. Въ какомъ-то азартѣ пробирался онъ отъ конторы къ погребамъ, въ одномъ халатѣ, безъ шапки, хоронаясь отъ матери позади деревьевъ и всевозможныхъ клѣтушекъ, загромождавшихъ красный дворъ (Арина Петровна впрочемъ не разъ замѣчала его въ этомъ видѣ, и закипало-таки ея родительское сердце, чтобъ Степку-балбеса хорошенько осадить, но, по размышленіи, она махнула на него рукой), и тамъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ слѣдилъ, какъ разгружались подводы, приносились съ усадьбы банки, боченки, кадushки, какъ все это сортировалось и наконецъ исчезало въ зіяющей безднѣ погребовъ и кладовыхъ. Въ болѣйшей части случаевъ онъ оставался доволенъ.

— Сегодня рыжиковъ изъ Дубровина привезли двѣ телѣги — вотъ, братъ, такъ рыжики! — въ восхищеніи сообщалъ онъ земскому: — а мы ужъ думали, что на зиму безъ рыжиковъ останемся! Спасибо, спасибо дубровинцамъ! молодцы Дубровинцы! выручили!

Или:

— Сегодня мать карасей въ пруду наловить велѣла — ахъ, хороши старики! Больше чѣмъ въ поларшина есть! Должно быть, мы всю эту недѣлю карасями питаемся будемъ!

Иногда впрочемъ и печалился.

— Огурчики-то, братъ, нынче не удались! Корявые да съ пятнами — нѣтъ настоящаго огурца, да и шабашъ! Видно, прошлогодними будемъ питаться, а нынѣшніе — въ застольную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.

— Сколько, братъ, она добра перегноила — страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все въ застольную велѣла отдать! Развѣ это — дѣло? развѣ разсчитать — такимъ образомъ хозяйство вести! Свѣжаго запасу пропасть, а она и не прикоснется къ нему, покуда всей старой гнили не пріѣстъ!



Увѣренность Арины Петровны, что со Степки-балбеса какую угодно бумагу безъ труда требовать можно, оправдалась вполнѣ. Онъ не только безъ возраженій подписалъ всѣ присланныя ему матерью бумаги, но даже хвастался въ тотъ же вечеръ земскому:

— Сегодня, братъ, я все бумаги подписывалъ. Отказныя все — чистъ теперь! Ни плошки, ни ложки — ничего теперь у меня нѣтъ, да и впредь не придвидится! Успокоилъ старуху!

Съ братьями онъ разстался мирно и былъ въ восторгѣ, что теперь у него цѣлый запасъ табаку. Конечно, онъ не могъ воздержаться, чтобъ не обозвать Порфишу кровопивушкой и Іудушкой, но выраженія эти совершенно незамѣтно утонули въ цѣломъ потокѣ болтовни, въ которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощанье братцы расщедрились и даже дали денегъ, причемъ Порфирій Владимірычъ сопровождалъ свой даръ слѣдующими словами:

— Маслица въ лампадку занадобится или Богу свѣчку поставить захочется — анъ деньги-то и есть. Такъ-то, братъ? Живи-ко, братъ, тихо да смирно — и маменька будетъ тобой довольна, и тебѣ будетъ покойно, и всѣмъ намъ весело и радостно. Мать — вѣдь она добрая, другъ!

— Добрая-то добрая, — согласился и Степанъ Владимірычъ: — только вотъ солониной протухлой кормить!

— А кто виноватъ? кто надъ родительскимъ благословеніемъ надругался? — самъ виноватъ, самъ имѣньице-то спустил! А имѣньице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное имѣньице! Вотъ кабы ты повелъ себя скромненько да ладненько, ѣлъ бы ты и говядинку, и телятинку, а не то такъ и соуецу бы приказалъ. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку... Такъ ли, братъ, я говорю?

Еслибъ Арина Петровна слышала этотъ діалогъ, навѣрно она не воздержалась бы, чтобъ не сказать: „нѣ, затарантила таранта!“ Но Степка-балбесъ именно тѣмъ и счастливъ былъ, что слухъ его, такъ сказать, не задерживалъ постороннихъ рѣчей. Іудушка могъ говорить сколько угодно и быть вполнѣ увѣреннымъ, что ни одно его слово не достигнетъ по назначенію.

Однимъ словомъ, Степанъ Владимірычъ проводилъ братьевъ дружески и не безъ самодовольства показалъ Якову-земскому двѣ двадцати пяти-рублевныя бумажки, очутившіяся въ его рукѣ послѣ прощанія.

— Теперь, братъ, мнѣ надолго станеть! — сказалъ онъ: — табакъ у насъ есть, чаемъ и сахаромъ мы обеспечены, только вина не доставало — захотимъ, и вино будетъ! Впрочемъ, покуда еще придержусь — времени теперь нѣтъ, на погребъ бѣжать надо! Не присмотри крошечку — мигомъ растащать! А видѣла, братъ, она меня, видѣла, вѣдьма, какъ я однажды около застойной по стѣнкѣ пробирался! Стоить это у окна, смотреть, чай, на меня да думать: „то-то я огурцовъ не досчитываюсь, — анъ вотъ оно что“.

Но вотъ наконецъ и октябрь на дворѣ; полились дожди; улица почернѣла и сдѣлалась непроходимой. Степану Владимірычу некуда было выйти, потому что на ногахъ у него были заношенныя папенькины туфли, на плечахъ старый папенькинъ халатъ. Безвыходно сидѣлъ онъ у окна въ своей комнатѣ и сквозь двойныя рамы смотрѣлъ на крестьянскій поселокъ, утону-

шій въ грязи. Тамъ, среди сѣрыхъ испареній осени, словно черныя точки, проворно мелькали люди, которыхъ не успѣла сломить лѣтняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, въ которой лѣтніе ликующіе тоны замѣнились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь; стукъ цѣповъ унылою дробью разносился по всей окрестности. Въ барскихъ ригахъ тоже шла молотба и въ конторѣ поговаривали, что врядъ ли ближе масляницы управиться со всей массой господскаго хлѣба. Все глядѣло сумрачно, сонно, все говорило объ угнетеніи. Двери конторы уже не были отперты настезъ, какъ лѣтомъ, и въ самомъ ея помѣщеніи плаваль сизый туманъ отъ испареній мокрыхъ полушубковъ.

Трудно сказать, какое впечатлѣніе производила на Степана Владимірыча картина трудовой деревенской осени и даже сознавалъ ли онъ въ ней страду, продолжающуюся среди мѣсива грязи, подъ непрерывнымъ ливнемъ дождя; но достовѣрно, что сѣрое, вѣчно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно виситъ непосредственно надъ его головой и грозитъ утопить его въ разверзнувшихся хлябяхъ земли. У него не было другого дѣла, какъ смотрѣть въ окно и слѣдить за грузными массами облаковъ. Съ утра, чуть брезжилъ свѣтъ, ужъ весь горизонтъ былъ сплошь обложенъ ими; облака стояли словно застывшія, очарованныя; проходилъ часъ, другой, третій, а они все стояли на одномъ мѣстѣ и даже незамѣтно было ни малѣйшей перемѣны ни въ колерѣ, ни въ очертаніяхъ ихъ. Вонъ это облако, что пониже и почернѣе другихъ: и давеча оно имѣло разорванную форму (точно попъ въ рясѣ съ распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на бѣлесоватомъ фонѣ верхнихъ облаковъ—и теперь, въ полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покорооче сдѣлалась, за то лѣвая безобразно вытянулась, и льетъ изъ нея, льетъ такъ, что даже на темномъ фонѣ неба обозначилась еще болѣе темная, почти черная полоса. Вонъ и еще облако подальше: и давеча оно громаднымъ косматымъ кѣдомъ висѣло надъ сосѣдней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее—и теперь тѣмъ же косматымъ кѣдомъ на томъ же мѣстѣ виситъ, а лапы книзу протянуло, словно вотъ-вотъ прыгнуть хочетъ. Облака, облака и облака—такъ весь день. Часовъ около пяти послѣ обѣда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и наконецъ совсѣмъ пропадаетъ. Сначала облака исчезнутъ и всѣ затянутся безразличной черной пеленою; потомъ куда-то пропадаетъ лѣсъ и Нагловка; за нею утонетъ церковь, часовня, ближній крестьянскій поселокъ, фруктовый садъ, и только глазъ, пристально слѣдящій за процессомъ этихъ таинственныхъ исчезновеній, еще можетъ различать стоящую въ нѣсколькихъ саженьяхъ барскую усадьбу. Въ комнатѣ ужъ совсѣмъ темно; въ конторѣ еще сумерничаютъ, не зажигаютъ огня; остается только ходить, ходить, ходить безъ конца. Болѣзненная истома сковываетъ умъ; во всемъ организмѣ, несмотря на бездѣятельность, чувствуется безпричинное, невыразимое утомленіе; одна только мысль мечется, сосетъ и давитъ—и эта мысль: гробъ, гробъ! гробъ! Вонъ эти точки, что давеча мелькали на темномъ фонѣ грязи, около деревенскихъ гуменъ—ихъ эта мысль не гнететъ, и онѣ не погибнуть подъ бременемъ унынія и истомы: онѣ ежели и не борются прямо съ небомъ, то по крайней мѣрѣ барахтаются,



что-то устраиваютъ, ограждаютъ, ухичиваютъ. Стоить ли ограждать и ухичивать то, надъ устройствомъ чего онѣ день и ночь выбиваются изъ силъ — это не приходило ему на умъ; но онѣ сознавалъ, что даже и эти безъимянныя точки стоятъ неизмѣримо выше его, что онѣ и барахтаться не можетъ, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать.

Вечера онѣ проводилъ въ конторѣ, потому что Арина Петровна по прежнему не отпускала для него свѣчей. Нѣсколько разъ просилъ онѣ черезъ бурмистра, чтобъ прислали ему сапоги и полшубокъ, но получилъ отвѣтъ, что сапоговъ для него не припасено, а вотъ наступить заморозки, то будутъ ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намѣревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылаго въ такой мѣрѣ, чтобъ онѣ только не умеръ съ голоду. Сначала онѣ ругалъ мать, но потомъ словно забылъ объ ней; сначала онѣ что-то припоминалъ, потомъ пересталъ и припомянуть. Даже свѣтъ свѣчей, зажженныхъ въ конторѣ, и тотъ опостылѣлъ ему, и онѣ затворился въ своей комнатѣ, чтобъ остаться одинъ-на-одинъ съ темнотою. Впереди у него былъ только одинъ ресурсъ, котораго онѣ покуда еще боялся, но который съ неудержимою силой тянулъ его къ себѣ. Этотъ ресурсъ — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться въ волну забвенія до того, чтобъ и выкарабкаться изъ нея было нельзя. Все увлекало его въ эту сторону: и буйныя привычки прошлаго, и насильственная бездѣятельность настоящаго, и больной организмъ съ удушливымъ кашлемъ, съ неснсною, ничѣмъ не вызываемою одышкой, съ постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконецъ онѣ не выдержалъ.

— Сегодня, братъ, надо ночью штофъ припасти, — сказалъ онѣ однажды земскому голосомъ, не предвѣщавшимъ ничего добраго.

Сегодняшній штофъ привелъ за собой цѣлый послѣдовательный рядъ новыхъ, и съ этихъ поръ онѣ аккуратно каждую ночь напивался. Въ девять часовъ, когда въ конторѣ гасили свѣтъ и люди расходились по своимъ логовищамъ, онѣ ставилъ на столъ припасенный штофъ съ водкой и ломоть чернаго хлѣба, густо посыпанный солью. Не сразу приступалъ онѣ къ водкѣ, а словно подкрадывался къ ней. Кругомъ все засыпало мертвымъ сномъ; только мыши скреблись за отставшими отъ стѣнъ обоями да часы назойливо чикали въ конторѣ. Снявши халатъ, въ одной рубашкѣ, сновалъ онѣ взадъ и впередъ по жарко натощенной комнатѣ, по временамъ останавливался, подходилъ къ столу, нашаривалъ въ темнотѣ штофъ и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки онѣ выпивалъ съ прибаутками, сладострастно всасывая въ себя жгучую влагу; но мало-по-малу бѣненіе сердца учащалось, голова загоралась и языкъ начиналъ бормотать что-то несвязное. Притупленное воображеніе силилось создать какіе-то образы, помертвѣлая память пробовала прорваться въ область прошлаго; но образы выходили разорванные, бессмысленныя, а прошлое не откликалось ни единымъ воспоминаніемъ, ни горькимъ, ни свѣтлымъ, словно между нимъ и настоящей минутой разъ навсегда встала плотная стѣна. Передъ нимъ было только настоящее въ формѣ наглухо запертой тюрьмы, въ которой безслѣдно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна въ наружной стѣнѣ, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкій, притоптанный тюфякъ, столъ съ стоящимъ на

немъ штофомъ—ни до какихъ другихъ горизонтовъ мысль не додумывалась. Но по мѣрѣ того, какъ убывало содержаніе штофа, по мѣрѣ того, какъ голова распалалась, даже и это скудное чувство настоящаго становилось не подъ силу. Бормотанье, имѣвшее вначалѣ хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глазъ, усиливаясь различить очертанія тьмы, безмѣрно расширялись; самая тьма наконецъ исчезла и взамѣнъ ея являлось пространство, наполненное фосфорическимъ блескомъ. Это была безконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единымъ жизненнымъ звукомъ, зловѣще-лучезарная. Она слѣдовала за нимъ по пятамъ, за каждымъ оборотомъ его шаговъ. Ни стѣнъ, ни оконъ, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, свѣтящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить въ себѣ чувство дѣйствительности до такой степени, чтобъ даже пустоты этой не было. Еще нѣсколько усилій—и онъ былъ у цѣли. Спотыкающіяся ноги изъ стороны въ сторону носили онѣмъвшее тѣло, грудь издавала не бормотанье, а крикъ; самое существованіе какъ бы прекращалось. Наступало то странное оцѣпенѣніе, которое, нося на себѣ всѣ признаки отсутствія сознательной жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнно указывало на присутствіе какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо отъ какихъ бы то ни было условій. Стоны за стенами вырывались изъ груди, нисколько не нарушая сна; органическій недугъ продолжалъ свою разъѣдающую работу, не причиняя повидимому физическихъ болей.

Утромъ онъ просыпался со свѣтомъ, и вмѣстѣ съ нимъ просыпались: тоска, отвращеніе, ненависть. Ненависть безъ протеста, ничѣмъ не обусловленная, ненависть къ чему-то неопредѣленному, не имѣющему образа. Воспаленные глаза безсмысленно останавливаются то на одномъ, то на другомъ предметѣ и долго и пристально смотрять; руки и ноги дрожатъ; сердце то замретъ, словно внизъ покатится, то начнетъ колотить съ такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желанія. Передъ глазами печка, и мысль до того переполняется этимъ представленіемъ, что не принимаетъ никакихъ другихъ впечатлѣній. Потомъ окно замѣнило печку, окно, окно, окно... Не нужно ничего; ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и недокуренная опять выпадаетъ изъ рукъ; языкъ что-то бормочетъ, но, очевидно, только по привычкѣ. Самое лучшее: сидѣть и молчать и смотрѣть въ одну точку. Хорошо бы опохмелиться въ такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствіе жизни, но днемъ ни за какія деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тѣхъ блаженныхъ минутъ, когда земля исчезаетъ изъ-подъ ногъ и вмѣсто четырехъ постылыхъ стѣнъ передъ глазами открывается безпредѣльная свѣтящаяся пустота.

Арина Петровна не имѣла ни малѣйшаго понятія о томъ, какъ „балбесъ“ проводить время въ конторѣ. Случайный проблескъ чувства, мелькнувшій—было въ разговорѣ съ кровопивцемъ Порфишей, погасъ мгновенно, такъ что она и не замѣтила. Съ ея стороны не было даже систематическаго образа дѣйствія, а было простое забвеніе. Она совсѣмъ потеряла изъ вида, что подлѣ нея, въ конторѣ, живетъ существо, связанное съ ней кровными узами, суще-



ство, которое, быть может, изнываетъ въ тоскѣ по жизни. Какъ сама она, разъ войдя въ колею жизни, почти мѣлочно наполняла ее однимъ и тѣмъ же содержаніемъ, такъ, по мнѣнію ея, должны были поступать и другіе. Ей не приходило на мысль, что самый характеръ жизненнаго содержанія измѣняется сообразно съ множествомъ условій, такъ или иначе сложившихся, и что наконецъ для однихъ (въ томъ числѣ для нея) содержаніе это представляетъ нѣчто излюбленное, а для другихъ — постылое и невольное. Поэтому хотя бурмистръ неоднократно докладывалъ ей, что Степанъ Владиміръчъ „нехорошъ“, но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя въ ея умѣ никакого впечатлѣнія. Много-много если она отвѣчала на нихъ стереотипною фразой:

— Небось, отдышется, еще насъ съ тобой переживетъ! Чтò ему, жеребцу долговязому, дѣлается! Кашляетъ! иной сряду тридцать лѣтъ кашляетъ, и все равно что съ гуся вода!

Тѣмъ не менѣе, когда ей однажды утромъ доложили, что Степанъ Владиміръчъ ночью исчезъ изъ Головлева, она вдругъ пришла въ себя. Немедленно разослала весь домъ на поиски и лично приступила къ слѣдствію, начавъ съ осмотра комнаты, въ которой жилъ постылый. Первое, чтò поразило ее—это стоявшій на столѣ штофъ, на днѣ котораго еще плескалось немного жидкости, и который впопыхахъ не догадались убрать.

— Это что?—спросила она, какъ бы не понимая.

— Стало быть... занимались!—отвѣчалъ, заминаясь, бурмистръ.

— Кто доставалъ?—начала-было она, но потомъ спохватилась и, заставъ свой гнѣвъ, продолжала осмотръ.

Комната была грязна, черна, заслякошена такъ, что даже ей, не знавшей и не признававшей никакихъ требованій комфорта, сдѣлалось неловко. Потолокъ былъ закопченъ, обои на стѣнахъ треснули и во многихъ мѣстахъ висѣли клочьями; подоконники чернѣли подъ густымъ слоемъ табачной золы; подушки валялись на полу, покрытомъ липкою грязью; на кровати лежала скомканная простыня, вся сѣрая отъ насѣвшихъ на нее нечистотъ. Въ одномъ окнѣ зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено пріотвореннымъ: этимъ путемъ, очевидно, и исчезъ постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворѣ стоялъ ужъ ноябрь въ началѣ, но осень въ этотъ годъ была особенно продолжительна и морозы еще не наступали. И дорога, и поля — все стояло черное, размокшее, невылазное. Какъ онъ прошелъ? куда? И тутъ же ей вспомнилось, что на немъ ничего не было, кромѣ халата да туфель, изъ которыхъ одна была найдена подъ окномъ, и что всю прошлую ночь, какъ на грѣхъ, не переставаячи шель дождь.

— Давненько-таки я у васъ здѣсь, голубчики, не бывала!—молвила она, вдыхая въ себя вмѣсто воздуха какую-то отвратительную смѣсь сивухи, тютюна и прокислыхъ овчинъ.

Весь день, пока люди шарили по лѣсу, она простояла у окна, съ тупымъ вниманіемъ вглядываясь въ обнаженную даль. Изъ-за балбеса да такая кутерьма! — ей казалось, что это какой-то нелѣпный сонъ. Говорила тогда, что надо его въ вологодскую деревню сослать — такъ нѣтъ, лебесить прокля-

тый Гудушка: „оставьте, маменька, въ Головлевъ!“ — вотъ и кушайся теперь съ нимъ! Жилъ бы онъ тамъ заглазно, какъ хотѣлъ — и Христосъ бы съ нимъ! Свое дѣло сдѣлала: одинъ кусокъ промотала — другой выбросила! А другой бы промотала — ну, и не погнѣвайся, батюшка! Богъ — и тотъ на несытую утробу не напасется! И все бы у насъ было смирно да мирно, а теперь — легко ли штуку какую удралъ! ищи его по лѣсу да свищи! Хорошо еще, какъ живого въ домъ привезутъ — вѣдь съ пьяныхъ-то глазъ и въ петлю угодить недолго! Взялъ веревку, зацѣпилъ за сукъ, обмоталъ кругомъ шеи, да и былъ таковъ! Мать ночей не досыпала, куска не доѣдала, а онъ, натко, какую моду выдумалъ — вѣшаться вздумалъ! И добро бы худо ему было, ѣсть-пить бы не давали, работой бы изнурили — а то слонялся цѣлый день взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ оглашенный, ѣлъ да пилъ, ѣлъ да пилъ! Другой бы не зналъ, чѣмъ мать отблагодарить, а онъ вѣшаться вздумалъ — вотъ такъ одолжилъ, сынокъ любезный!

Но на этотъ разъ предположенія Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. Къ вечеру въ виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянскихъ лошадей, и подвезла бѣглеца къ конторѣ. Онъ находился въ полубезчувственномъ состояннн, весь избитый, порѣзанный, съ посинѣлымъ и распухшимъ лицомъ. Оказалось, что за ночь онъ дошелъ до Дубровинской усадьбы, отстоявшей въ двадцати верстахъ отъ Головлева.

Цѣлыя сутки послѣ того онъ проспалъ, на другія — проснулся. По обыкновенію онъ началъ шагать взадъ и впередъ по комнатѣ, но къ трубкѣ не прикоснулся, словно позабылъ, и на всѣ вопросы не проронилъ ни одного слова. Съ своей стороны Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть-было не приказала перевести его изъ конторы въ барскій домъ, но потомъ успокоилась и опять оставила балбеса въ конторѣ, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное бѣлье, повѣсить на окнахъ шторы и проч. На другой день, вечеромъ, когда ей доложили, что Степанъ Владимірычъ проснулся, она велѣла позвать его въ домъ къ чаю и даже отыскала ласковые тоны для объясненія съ нимъ.

— Ты куда-жъ это отъ матери уходилъ? — начала она. — Знаешь ли, какъ ты мать-то обезпокоилъ? Хорошо еще, что папенька ни объ чемъ не узналъ — каково бы ему было при его-то положеннн?

Но Степанъ Владимірычъ повидимому остался равнодушнымъ къ материнской ласкѣ и уставился неподвижными, стеклянными глазами на салъную свѣчку, какъ бы слѣдя за нагаромъ, который постепенно образовывался на фитилѣ.

— Ахъ, дурачокъ, дурачокъ! — продолжала Арина Петровна все ласковѣе и ласковѣе: — хоть бы ты подумалъ, какая черезъ тебя про мать слава пойдетъ! Вѣдь завистниковъ-то у ней — слава Богу! и нивѣсть что наплетутъ! Скажутъ, что и не кормила-то, и не одѣвала-то... ахъ, дурачокъ! дурачокъ!

То жѣ молчаніе и тотъ же неподвижный, безсмысленно-устремленный въ одну точку взоръ.

— И чѣмъ тебѣ худо у матери стало? Одѣтъ ты и сытъ — славу Богу!



И теплѣхонько тебѣ, и хорошихонько... чего бы, кажется, искать! Скучно тебѣ, такъ не прогнѣвайся, другъ мой — на то и деревня! Веселіевъ да бабовъ у насъ нѣтъ — и всѣ сидимъ по угламъ да скучаемъ! Вотъ я и рада была бы поплясать да пѣсни попѣть — анъ посмотришь на улицу, и въ церковь-то Божію въ такую мокреть ѣхать охоты нѣтъ!

Арина Петровна остановилась, въ ожиданіи, что балбесъ хоть что-нибудь промочитъ; но балбесъ словно окаменѣлъ. Сердце мало-по-малу закипаетъ въ ней, но она все еще сдерживается.

— А ежели ты чѣмъ недоволенъ былъ, кушанья, можетъ быть, не достало, или изъ бѣлья тамъ — развѣ не могъ ты матери откровенно объяснить? Маменька, молъ, душенька, прикажите печеночки или тамъ ватрушечки изготавить — неужто мать въ кускѣ-то отказала бы тебѣ? Или вотъ хоть бы и винца — ну, захотѣлось тебѣ винца, ну, и Христосъ съ тобой! Рюмка, двѣ рюмки — неужто матери жалко? А то натко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были всѣ лстивыя слова: Степанъ Владимірычъ не только не расчувствовался (Арину Петровна надѣялась, что онъ ручку у нея поцѣлуетъ) и не обнаружилъ раскаянія, но даже какъ будто ничего не слыхалъ.

Съ этихъ поръ онъ безусловно замолчалъ. По цѣлымъ днямъ ходилъ по комнатѣ, наморщивъ угрюмо лобъ, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, какъ бы желая что-то выразить, но не находилъ слова. Повидимому онъ не утратилъ способности мыслить; но впечатлѣнія такъ слабо задерживались въ его мозгу, что онъ тотчасъ же забывалъ ихъ. Поэтому неудача въ отысканіи нужнаго слова не вызывала въ немъ даже нетерпѣнія. Арина Петровна съ своей стороны думала, что онъ непременно подожжетъ усадьбу.

— Цѣлый день молчить! — говорила она: — вѣдь думаетъ же, балбесъ, объ чемъ-нибудь, покуда молчитъ! вотъ помяните мое слово, ежели онъ усадьбы не спалитъ!

Но балбесъ просто совсѣмъ не думалъ. Казалось, онъ весь погрузился въ безразсвѣтную мглу, въ которой нѣтъ мѣста не только для дѣйствительности, но и для фантазіи. Мозгъ его вырабатывалъ нѣчто, но это нѣчто не имѣло отношенія ни къ прошедшему, ни къ настоящему, ни къ будущему. Словно черное облако окутало его съ головы до ногъ, и онъ всматривался въ него, въ него одного, слѣдилъ за его воображаемыми колебаніями и по временамъ вздрагивалъ и словно оборонялся отъ него. Въ этомъ загадочномъ облакѣ потонулъ для него весь физическій и умственный міръ...

Въ декабрѣ того же года Порфірій Владимірычъ получилъ отъ Арины Петровны письмо слѣдующаго содержанія:

„Вчера утромъ постигло насъ новое, ниспосланное отъ Господа, испытаніе: сынъ мой, а твой братъ, Степанъ, скончался. Еще съ вечера наканунѣ былъ здоровъ совершенно и даже поужиналъ, а на утро найденъ въ постели мертвымъ — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнскаго сердца прискорбнѣе: такъ, безъ напутствія, и оставилъ сей суетный міръ, дабы устремиться въ область неизвѣстнаго.

„Сіе да послужитъ намъ всѣмъ урокомъ: кто семейными узами небре-

жетъ — всегда долженъ для себя такого конца ожидать. И неудачи въ сей жизни, и напрасная смерть, и вѣчныя мученія въ жизни слѣдующей — все изъ сего источника происходитъ. Ибо, какъ бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаемъ, то оныя какъ разъ и высокоуміе, и знатность нашу въ ничто обращать. Таковы правила, кои всякій живущій въ семъ мірѣ человѣкъ затвердить долженъ, а рабы, сверхъ того, обязаны почитать господъ.

„Впрочемъ, несмотря на сіе, всѣ почести отшедшему въ вѣчность были отданы сполна, яко сыну. Покровъ изъ Москвы выписали, а погребеніе совершало извѣстный тебѣ отецъ архимандритъ соборнѣ. Сорокоусты же и поминовенія и поднесъ совершаются, какъ слѣдуетъ, по христіанскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смѣю, и вамъ, дѣти мои, не совѣтую. Ибо кто можетъ сіе знать? — мы здѣсь ропщемъ, а его душа въ горнихъ увеселяется!“

## II.—По родственному.

Жаркій іюльскій полдень. На Дубровинской барской усадьбѣ словно все вымерло. Не только досушіе, но и рабочіе люди разбрелись по угламъ и улеглись въ тѣнь. Собаки раскинулись подъ навѣсомъ громадной ивы, стоящей посреди краснаго двора, и слышно, какъ онѣ хлопаютъ зубами, ловя въ полуснѣ мухъ. Даже деревья стоятъ понурья и неподвижныя, точно замученныя. Всѣ окна, какъ въ барскомъ домѣ, такъ и въ людскихъ, отворены настежъ. Жаръ такъ и окачиваетъ сверху горячей волной; земля, покрытая коротенькой, опаленной травой, пылаетъ; нестерпимый свѣтъ, словно золотистою дымкой, задернулъ окрестность, такъ что съ трудомъ можно различать предметы. И барскій домъ, когда-то выкрашенный сѣрой краской, а теперь побѣлѣвшій, и маленький палисадникъ передъ домомъ, и березовая роща, отдѣленная отъ усадьбы проѣзжей дорогой, и прудъ, и крестьянскій поселокъ, и ржаное поле, начинающееся сейчасъ за околицей — все тонетъ въ свѣтящейся мглѣ. Всякіе запахи, начиная съ благоуханій цвѣтущихъ липъ и кончая мiasмами скотнаго двора, густою массой стоятъ въ воздухѣ. Ни звука. Только съ кухни доносится дробное отбиваніе поварскихъ ножей, предвѣщающее неизмѣнную окрошку и битки за обѣдомъ.

Внутри господскаго дома царствуетъ безшумная тревога. Старуха барыня и двѣ молодыя дѣвушки сидятъ въ столовой и, не притрогиваясь къ вязанью, брошенному на столѣ, словно застыли въ ожиданіи. Въ дѣвичьей двѣ женщины занимаются приготовленіемъ горчичниковъ и примочекъ, и мѣрное звяканье ложекъ, подобно крику сверчка, прорѣзывается сквозь общее оцѣпенѣніе. Въ корридорѣ осторожно двигаются дѣвчонки на босу-ногу, перебѣгая по лѣстницѣ изъ антресолей въ дѣвичью и обратно. По временамъ сверху раздается крикъ: „что жъ горчичники! заснули? а?“ — и вслѣдъ затѣмъ стрѣлой промчится дѣвчонка изъ дѣвичьей. Наконецъ слышится скрипъ тяжелыхъ шаговъ по лѣстницѣ, и въ столовую входитъ полковой докторъ. Докторъ —



человѣкъ высокій, широкоплечій, съ крѣпкими, румяными щеками, которыя такъ и прыщутъ здоровьемъ. Голосъ у него звонкій, походка твердая, глаза свѣтлыя и веселые, губы полныя, сочныя, видъ открытый. Это — жуиръ въ полномъ смыслѣ слова, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, — жуиръ, который и прежде не отступалъ, и долго еще не отступитъ ни передъ какой попойкой, ни передъ какимъ объяденіемъ. Одѣтъ по лѣтнему, щеголемъ, въ пикейный скюртучекъ необычайной бѣлизны, украшенный свѣтлыми гербовыми пуговицами. Онъ входитъ, причмокивая губами и присасывая языкомъ.

— Вотъ чтò, голубушка, принеси-ка ты намъ водочки да закусить что-нибудь! — отдаетъ онъ приказаніе, останавливаясь въ дверяхъ, ведущихъ въ корридоръ.

— Ну, что? какъ? — тревожно спрашиваетъ старуха-барыня.

— У Бога милостей безъ конца, Арина Петровна! — отвѣчаетъ докторъ.

— Какъ же это? стало быть...

— Да такъ же. Денька два-три протянетъ, а потомъ — шабашъ!

Докторъ дѣлаетъ многозначительный жестъ рукою и вполголоса мурлыкаетъ: — *Кувыркомъ, кувыркомъ, ку-выр-комъ по-ле-титъ.*

— Какъ же это такъ? лечили-лечили доктора — и вдругъ!

— Какіе доктора?

— Земскій нашъ да вотъ городской пріѣзжалъ.

— Доктора!! кабы ему мѣсяцъ назадъ заволоку здоровенную соорудить — былъ бы живъ!

— Неужто-жъ такъ-таки ничего и нельзя?

— Сказалъ: у Бога милостей много, а больше ничего прибавить не могу.

— А можетъ быть и подѣйствуетъ?

— Чтò подѣйствуетъ?

— А вотъ, что теперь... горчичники эти...

— Можетъ быть-съ.

Женщина въ черномъ платьѣ и въ черномъ платкѣ приносить подносъ, на которомъ стоитъ графинъ съ водкой и двѣ тарелки съ колбасой и икрой. При появленіи ея разговоръ смолкаетъ. Докторъ наливаетъ рюмку, высматриваетъ ее на свѣтъ и щелкаетъ языкомъ.

— За ваше здоровье, маменька! — говоритъ онъ, обращаясь къ старухѣ-барынѣ и проглатывая водку.

— На здоровье, батюшка!

— Вотъ отъ этого самого Павелъ Владиміръчъ и погибаетъ въ двѣтъ лѣтъ — отъ водки отъ этой! — говоритъ докторъ, пріятно морщась и тыкая вилкой въ кружокъ колбасы.

— Да, много черезъ нее людей пропадаетъ.

— Не всякій эту жидкость вмѣстить можетъ — оттого! А такъ какъ мы вмѣстить можемъ, то и повторимъ! Ваше здоровье, сударыня!

— Кушайте, кушайте! вамъ — ничего!

— Мнѣ — ничего! у меня и легкія, и почки, и печенька, и селезенка — все въ исправности! Да бишь! вотъ чтò! — обращается онъ къ женщинѣ въ

черномъ платѣ, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь къ барскому разговору:—что у васъ нынче къ обѣду готовлено?

— Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое,—отвѣчаетъ женщина, какъ-то кисло улыбаясь.

— А рыба соленая у васъ есть?

— Какъ, сударь, рыбы не быть! осетрина есть, севрюжина... Найдется рыбы—довольно!

— Такъ скамандуй ты намъ къ обѣду ботвиньи съ осетринкой... звенюшко, знаешь, да пожиряѣ! какъ тебя: Улитушкой, что-ли, звать?

— Улитой, сударь, люди зовутъ.

— Ну, такъ живо, Улитушка, живо!

Улитушка уходитъ; на минуту водворяется тяжелое молчаніе. Арина Петровна встаетъ съ своего мѣста и высматриваетъ въ дверь, точно ли Улитушка ушла.

— Насчетъ сиротокъ-то говорили ли вы ему, Андрей Осипычъ?—спрашиваетъ она доктора.

— Разговариваль-съ.

— Ну, и что жъ?

— Все—одно и то же-съ. „Вотъ какъ выздоровѣю, говоритъ, непременно и духовную, и векселя напишу“.

Молчаніе, еще болѣе тяжелое, водворяется въ комнатѣ. Дѣвицы берутъ со стола канвовыя работы, и руки ихъ съ замѣтною дрожью выдѣлываютъ шовъ за швомъ; Арина Петровна какъ-то безнадежно вздыхаетъ; докторъ ходитъ по комнатѣ и насвистываетъ *кувыркомъ, ку-вы-ы-ркомъ*.

— Да вы бы хорошенько ему сказали!

— Чего еще лучше: подлецъ, говорю, будешь, ежели сиротъ не обезпечишь. Да, мамашечка, опростоволосились вы! Кабы мѣсяцъ тому назадъ вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудилъ, да и насчетъ духовной постарался бы... А теперь все Гудушкѣ, законному наслѣднику, достанется... непременно!

— Бабушка! что жъ это такое будетъ!—почти сквозь слезы жалуется старшая изъ дѣвицъ:—что жъ это дядя съ нами дѣлаетъ!

— Не знаю, милая, не знаю. Вотъ даже насчетъ себя не знаю. Сегодня—здѣсь, а завтра—ужъ и не знаю гдѣ... Можетъ быть, Богъ приведетъ гдѣ-нибудь въ сарайчикѣ ночевать, а можетъ быть и у мужичка въ избѣ!

— Господи! какой этотъ дядя глупый! — восклицаетъ младшая изъ дѣвицъ.

— А вы бы, молодая особа, язычокъ-то на привязи придержали!—замѣчаетъ докторъ и, обращаясь къ Аринѣ Петровнѣ, прибавляетъ:—да что же вы сами, мамашечка? сами бы уговорить его попробовали!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Не хочетъ! даже видѣть меня не хочетъ! Намеднись сунулась-было я къ нему: „напутствовать, что-ли, меня пришли!“ говорить.

— Я думаю, что это все больше Улитушка... она его противъ васъ настраиваетъ.

— Она! именно она! И все Порфишкѣ-кровопивцу передаетъ! Сказываютъ, что у него и лошади въ хомутахъ цѣлый день стоятъ, на случай,



ежели братъ отходить начнетъ! И представьте, на дняхъ она даже мебель, вещи, посуду — все переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! Это она насъ-то, насъ-то, воровками представить хочетъ!

— А вы бы ее по военному... Кувыркомъ, знаете, кувыркомъ...

Но не успѣлъ докторъ развить свою мысль, какъ въ комнату вбѣжала вся запыхавшаяся дѣвчонка и испуганнымъ голосомъ крикнула:

— Къ барину! доктора баринъ требуетъ!

Семейство, которое выступаетъ на сцену въ настоящемъ разсказѣ, уже знакомо намъ. Старуха-барыня — не кто иная, какъ Арина Петровна Головлева; умирающій владѣлецъ Дубровинской усадѣбы — ея сынъ, Павелъ Владиміръчъ; наконецъ двѣ дѣвушки: Аннинька и Любинька — дочери покойной Анны Владиміровны Улановой, той самой, которой нѣкогда Арина Петровна „выбросила кусокъ“. Прошло не больше десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ мы видѣли ихъ, а положенія дѣйствующихъ лицъ до того измѣнились, что не осталось и слѣда тѣхъ искусственныхъ связей, благодаря которымъ Головлева семья представлялась чѣмъ-то въ родѣ неприступной крѣпости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незамѣтно, что она сама, не понимая, какъ это случилось, сдѣлалась соучастницею и даже явнымъ двигателемъ этого разрушенія, настоящею душою котораго былъ, разумѣется, Порфишка-кровопивецъ.

Изъ безконтрольной и бранчивой обладательницы Головлевскихъ имѣній Арина Петровна сдѣлалась скромною приживалкой въ домѣ младшаго сына, приживалкой праздною и не имѣющею никакого голоса въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ. Голова ея поникла, спина сторбилась, глаза потухли, поступь сдѣлалась вялою, порывистость движеній пропала. Отъ нечего-дѣлать она научилась, на старости лѣтъ, вязанію, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ея постоянно гдѣ-то витаетъ — гдѣ? — она и сама не всегда разберетъ, но во всякомъ случаѣ не около вязальныхъ спиць. Посидитъ, повяжетъ нѣсколько минутъ — и вдругъ руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресель, и начнетъ она припоминать.... Припоминаетъ, припоминаетъ, покуда старческая дремота не охватитъ всего старческаго существа. Или встанетъ и начнетъ бродить по комнатамъ, и все чего-то ищетъ, куда-то заглядываетъ, словно женщина, которая всю жизнь была въ ключахъ и не понимаетъ, гдѣ и какъ она ихъ потеряла.

Первый ударъ власти Арины Петровны былъ нанесенъ не столько отмѣной крѣпостного права, сколько тѣми приготовленіями, которыя предшествовали этой отмѣнѣ. Сначала простые слухи, потомъ дворянскія собранія съ ихъ адресами, потомъ губернскіе комитеты, потомъ редакціонныя комисіи — все это изнуряло, поселяло смуту. Воображеніе Арины Петровны, и безъ того богатое творчествомъ, рисовало ей цѣлыя массы пустяковъ. То вдругъ вопросъ представится: „какъ это я Агашку звать буду? чай, Агаѣюшкой... а можетъ и Агаѣей Ѳедоровной величать придется!“ То представится: ходить она по пустому дому, а людишки въ людскую забрались и жрутъ! Жрать

надоѣсть—подъ столъ бросаютъ! То покажется, что заглянула она въ погребъ, а тамъ Юлька съ Оешкой такъ-то за обѣ щеки уписываютъ, такъ-то уписываютъ! Хотѣла-было она репримандъ имъ сдѣлать — и поперхнулась. „Какъ ты имъ что-нибудь скажешь! теперь онѣ вольныя—на нихъ, поди, и суда нѣтъ!“

Какъ ни ничтожны такіе пустяки, но изъ нихъ постепенно созидается цѣлая фантастическая дѣйствительность, которая втягиваетъ въ себя человека и совершенно парализуетъ его дѣятельность. Арина Петровна какъ-то вдругъ выпустила изъ рукъ бразды правленія и въ теченіе двухъ лѣтъ только и дѣлала, что съ утра до вечера восклицала:

— Хоть бы одно что-нибудь — панъ либо пропалъ! а то: первый призывъ! второй призывъ! ни Богу свѣча, ни чорту кочерга!

Въ это время, въ самый развалъ комитетовъ, умеръ и Владиміръ Михайлычъ. Умеръ примиренный, умиротворенный, отрекшись отъ Баркова и всѣхъ дѣлъ его. Послѣднія слова его были:

— Благодарю моего Бога, что не допустилъ меня, на ряду съ холопами, предстать передъ лицо Свое!

Слова эти глубоко запечатлѣлись въ воспріимчивой душѣ Арины Петровны, и смерть мужа, вмѣстѣ съ фантазмагоріями будущаго, наложила какой-то безнадежный колоритъ на весь Головлевскій обиходъ. Какъ будто и старый Головлевскій домъ, и все живущее въ немъ — все разомъ собралось умереть.

Порфирій Владимірычъ, по немногимъ жалобамъ, вылившимся въ письмахъ Арины Петровны, съ изумительною чуткостью отгадалъ сумятицу, овладѣвшую ея помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала въ письмахъ, но больше всего уповала на Божию помощь, „которая, по нынѣшнему легковѣрному времени, и рабовъ не оставляетъ, а тѣмъ паче тѣхъ, кои, по недостаткамъ своимъ, надежнѣйшей опорой для церкви и ея украшенія были“. Іудушка инстинктомъ понялъ, что ежели маменька начинаетъ уповать на Бога, то это значить, что въ ея существованіи кроется нѣкоторый изъянъ. И онъ воспользовался этимъ изъяномъ съ свойственною ему лукавою ловкостью.

Передъ самымъ концомъ эмансипаціоннаго дѣла онъ совсѣмъ неожиданно посѣтилъ Головлево и нашелъ Арину Петровну унывающей, почти измученною.

— Чтò? какъ? чтò въ Петербургѣ поговариваютъ?—былъ первый ея вопросъ по окончаніи взаимныхъ привѣтствій.

Порфиша потупился и сидѣлъ молча.

— Нѣтъ, ты въ мое положеніе войди!—продолжала Арина Петровна, понявъ изъ молчанія сына, что хорошаго ждать нечего:—теперь у меня однихъ поганокъ въ дѣвичей тридцать штукъ сидитъ—какъ съ ними поступить? Ежели онѣ на моемъ иждивеніи останутся—чѣмъ я ихъ кормить стану? Теперь у меня и капустки, и картофельцу, и хлѣбца, всего довольно—ну, и питаемся понемногу! Каргофельцу нѣтъ—велишь капустки сварить: капустки нѣтъ—огурчиками извернешься! А вѣдь тогда я сама за всѣмъ на базаръ



побѣги, да за все денежки, да купи, да подай — гдѣ на такую ораву напасешься!

Порфиша глядѣлъ милому другу маменькѣ въ глаза и горько улыбался, въ знакъ сочувствія.

— Ежели же ихъ на всѣ на четыре стороны выпустить: бѣгите-моль, милыя, вытаращивши глаза! — ну, ужъ не знаю! Не знаю! не знаю, чтѣ изъ этого выйдетъ!

Порфиша ухмыльнулся, какъ будто ему и самому очень ужъ смѣшно показалось, „чтѣ изъ этого выйдетъ“.

— Нѣтъ, ты не смѣйся, мой другъ! Это дѣло такъ серьезно, такъ серьезно, что развѣ ужъ Господь имъ разуму прибавить — ну, тогда... Скажу хоть бы про себя: вѣдь и я не огрызокъ; какъ ни какъ, а и меня пристроить вѣдь надобно. Какъ тутъ поступить? Вѣдь мы какое воспитаніе-то получили? Потанцовать, да попѣть, да гостей принять — чтѣ я безъ поганокъ-то безъ своихъ дѣлать буду? Ни я подать, ни принять, ни стготовить для себя — ничего вѣдь я, мой другъ, не могу!

— Богъ милостивъ, маменька!

— Былъ милостивъ, мой другъ, а нынче нѣтъ! Были мы хороши — и насъ Царь Небесный жаловалъ; стали дурны — ну, и не прогнѣвайтесь! Ужъ я чтѣ думаю: не бросить ли все за добра-ума. Право! Выстрою себѣ избушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать!

Порфирій Владиміръчъ наострилъ уши; на губахъ его показалась слюна.

— А имѣніями кто же распоряжаться будетъ? — возразилъ онъ осторожно, словно закидывая удочку.

— Не погнѣвайтесь, и сами распорядитесь! слава Богу, припасла! Не все мнѣ одной тяготы носить...

Арина Петровна вдругъ словно споткнулась и подняла голову. Въ глаза ея бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Гудушки, все словно маломъ подернутое, все проникнутое какимъ-то плотояднымъ внутреннимъ сіяніемъ.

— Да ты никакъ ужъ хоронить меня собрался! — сухо замѣтила она: — не рано ли, голубчикъ? не ошибись!

Такимъ образомъ на первый разъ дѣло кончилось ничѣмъ. Но есть разговоры, которые, разъ начавшись, уже не прекращаются. Черезъ нѣсколько часовъ Арина Петровна вновь возвратилась къ прерванной бесѣдѣ.

— Уѣду къ Сергію Троицѣ, — мечтала она: — раздѣлю имѣніе, куплю на посадѣ домичекъ — и живу!

Но Порфирій Владиміръчъ, искушенный давешнимъ опытомъ, на этотъ разъ смолчалъ.

— Прошлаго года, какъ еще покойникъ папенька былъ живъ, — продолжала мечтать Арина Петровна: — сидѣла я у себя въ спаленкѣ одна и вдругъ слышу, словно мнѣ кто шепчетъ: „сѣзди къ чудотворцу!.. къ чудотворцу! сѣзди къ чудотворцу!.. сѣзди къ чудотворцу!“ .. да вѣдь до трехъ разъ! Я этакъ, знаешь, обернулась — нѣтъ никого! Однако, думаю: вѣдь это — видѣніе мнѣ! Что жъ, говорю, коли моя вѣра угодна Богу — я готова! И только-что

я это выговорила, какъ вдругъ это въ комнатѣ... такое благоуханіе! такое благоуханіе разлилось! Разумѣется, сейчасъ же велѣла укладываться, а къ вечеру ужъ въ дорогѣ была!

У Арины Петровны даже слезы на глазахъ выступили. Гудушка воспользовался этимъ, чтобъ поцѣловать у маменьки ручку, причѣмъ позволилъ себѣ даже обнять ее за талію.

— Вотъ теперь вы — пайныка! — сказалъ онъ: — ахъ! хорошо, голу-бушка, коли кто съ Богомъ въ ладу живетъ! И онъ къ Богу съ молитвой, и Богъ къ нему съ помощью. Такъ-то, добрый другъ маменька!

— Постой! Я еще не все досказала! Приѣзжаю я на другой день вечеромъ въ посадъ, и прямо къ угоднику. А тамъ всенощная; поютъ, свѣчки горятъ, благоуханіе отъ кадилъ: и не знаю, гдѣ я — на землѣ или на небеси! Пошла я отъ всенощной къ іеромонаху Іонѣ и говорю: чтой-то, ваше высокопреподобіе, больно у васъ сегодня хорошо въ храмѣ! А онъ мнѣ: „Чего, сударыня! вѣдь нынче отцу Аввакуму видѣніе за всенощной было! Только-что началъ онъ руки на молитву заводить — смотреть, анъ въ самомъ кумполѣ свѣтъ, и голубъ на него смотреть!“ Вотъ съ этихъ поръ я себѣ и положила: какова пора ни мѣра, а конецъ жизни у Сергія-Троицы пожить!

— А объ насъ-то кто позаботится? объ дѣтяхъ-то вашихъ кто похлопочетъ? Ахъ, маменька, маменька!

— Ну, не маленькіе, и сами объ себѣ промыслите! А я... удалюсь я съ Аннушкиными сиротками къ чудотворцу и заживу у него подъ крылышкомъ! Можетъ быть, и изъ нихъ у которой-нибудь явится желаніе Богу послужить, такъ тутъ и Хотьковъ рукой подать! Куплю себѣ домичекъ, огородецъ векопаю; капустки, картофельцу — всего у меня довольно будетъ!

Нѣсколько дней сряду велся этотъ праздный разговоръ; нѣсколько разъ дѣлала Арина Петровна самыя смѣлыя предположенія, брала ихъ назадъ и опять дѣлала, но наконецъ довела дѣло до такой точки, что и отступить ужъ было нельзя. Не далѣе какъ черезъ полгода послѣ Гудушкиной побывки положеніе дѣлъ было слѣдующее: Арина Петровна не уѣхала ни къ Сергію-Троицѣ, ни въ домикъ у могилки мужа, а имѣніе раздѣлила, оставивъ при себѣ только капиталъ. При этомъ Порфірію Владимірычу была выдѣлена лучшая часть, а Павлу Владимірычу — похуже.

Арина Петровна осталась по прежнему въ Головлевѣ, причѣмъ, разумѣется, не обошлось безъ семейной комедіи. Гудушка пролилъ слезы и умолилъ добраго друга маменьку управлять его имѣніемъ безотчетно, получать съ него доходы и употреблять по своему усмотрѣнію: „а чтò вы мнѣ, голу-бушка, изъ доходовъ удѣлите — я всѣмъ, даже малостью буду доволенъ“. Напротивъ того, Павелъ поблагодарилъ мать холодно („точно укусить хотѣлъ“), тотчасъ же вышелъ въ отставку („такъ, безъ материнскаго благословенія, какъ оглашенный, и выскочилъ на волю!“) и поселился въ Дубровинѣ.

Съ этихъ поръ на Арину Петровну нашло затмѣніе. Тотъ внутренній образъ Порфишки-кровопивца, который она когда-то съ такою рѣдкою про-



нищательностью угадывала, вдруг словно туманом задержался. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздѣлъ имѣнія и освобожденіе крестьянъ, она по прежнему живетъ въ Головлевъ и по прежнему ни передъ кѣмъ не отчитывается. Тутъ же, подъ бокомъ, живетъ другой сынъ — но какая разница! Тогда какъ Порфиша и себя, и семью — все ввѣрилъ маменькиному усмотрѣнію, Павелъ не только ни объ чемъ съ ней не совѣтуется, но даже при встрѣчахъ какъ-то сквозь зубы говорить!

И чѣмъ больше затмевался ея разсудокъ, тѣмъ больше раскипалось въ ней сердце ревностью къ ласковому сыну. Порфирій Владиміръчъ ничего у нея не просилъ — она сама шла на встрѣчу его желаніямъ. Мало-по-малу она начала находить недостатки въ фигурѣ Головлевскихъ дачъ. Въ такомъ-то мѣстѣ чужая земля врѣзывалась въ дачу — хорошо было бы эту землю прикупить; въ такомъ-то мѣстѣ можно бы хуторокъ отдѣльный устроить да покосцу мало, а тутъ, по смежности, и покосецъ продажный есть — ахъ, хорошъ покосъ! Арина Петровна увлекалась и какъ мать, и какъ хозяйка, желающая выставить во всемъ блескѣ свои способности передъ ласковымъ сыномъ. Но Порфирій Владиміръчъ словно въ непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками — на всѣ ея предложенія пріобрѣсти такой-то лѣсокъ или такой-то покосецъ онъ неизмѣнно отвѣчалъ: „я, добрый другъ маменька, и тѣмъ доволенъ, что вы, по милости вашей, мнѣ пожаловали“.

Отвѣты эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь, съ одной стороны, хозяйственными задачами, съ другой — полемическими соображеніями относительно „подлеца Павлушки“, который жилъ подлѣ и знать ее не хотѣлъ, она совершенно утратила представленіе о своихъ дѣйствительныхъ отношеніяхъ къ Головлеву. Прежняя горячка пріобрѣтенія съ новою силою овладѣла всѣмъ ея существомъ, но пріобрѣтенія уже не за свой собственный счетъ, а за счетъ любимого сына. Головлевское имѣніе разрослось, округлилось и зацвѣло.

И вотъ, въ ту самую минуту, когда капиталъ Арины Петровны до того умалился, что сдѣлалось почти невозможнымъ самостоятельное существованіе на проценты съ него, Гудушка, при самомъ почтительномъ письмѣ, прислалъ ей цѣлый тюкъ формъ счетоводства, которыя должны были служить для нея руководствомъ на будущее время при составленіи годовой отчетности. Тутъ, рядомъ съ главными предметами хозяйства, стояли: малина, крыжовникъ, грибы и т. д. По всякой статьѣ былъ особенный счетъ, приблизительно слѣдующаго содержанія:

Къ 18** году состояло кустовъ малины . . .	00
Къ сему поступило вновь посаженныхъ . . .	00
Съ наличнаго числа кустовъ собрано ягодъ . . .	00 п. 00 ф. 00 зол.

Изъ сего числа:

Вами, милый другъ маменька, употреблено . . .	00 „ 00 „ 00 „
Израсходовано на варенье для дома Его Превос- ходительства Порфирія Владиміръча Голов- лева. . . . .	00 „ 00 „ 00 „

Дано мальчику N въ награду за добронравіе . . . — п. 1 ф. — зол.  
 Продано простому народу на лакомство . . . 00 „ 00 „ 00 „  
 Стнило, по неимѣнію въ виду покущиковъ, а равно  
 и отъ другихъ причинъ . . . 00 „ 00 „ 00 „  
 И т. д., и т. д.

*Примѣчаніе.* Въ случаѣ ежели урожай отчетнаго года менѣе противъ прошлаго года, то здѣсь должны быть объясняемы причины сего, какъ-то: засуха, дожди, градъ и проч.

Арина Петровна такъ и ахнула. Во-первыхъ, ее поразила скупость Гудушки: она никогда и не слыхивала, чтобъ крыжовникъ могъ составлять въ Головлевъ предметъ отчетности, а онъ, повидимому, на этомъ предметѣ всего больше и настаивалъ; во-вторыхъ, она очень хорошо поняла, что всѣ эти формы—не что иное, какъ конституція, связывающая ее по рукамъ и по ногамъ.

Кончилось дѣло тѣмъ, что послѣ продолжительной полемической переписки Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась въ Дубровино, а вслѣдъ затѣмъ и Порфірій Владимірычъ вышелъ въ отставку и поселился въ Головлевъ.

Съ этихъ поръ для старухи начался рядъ мутныхъ дней, посвященныхъ насильственному покою. Павелъ Владимірычъ, какъ человѣкъ, лишенный поступковъ, былъ какъ-то особенно придирчивъ въ отношеніи къ матери. Онъ принялъ ее довольно сносно, т. е. общался кормить и поить ее и сиротъ-племянницъ, но подъ двумя условіями: во-первыхъ, не ходить къ нему на антресоли, а во-вторыхъ — не вмѣшиваться въ распоряженія по хозяйству. Последнее условіе въ особенности волновало Арину Петровну. Всѣмъ въ домѣ Павла Владимірыча заправляли: во-первыхъ, ключница Улитушка, женщина ехидная и уличенная въ секретной перепискѣ съ кровопивцемъ Порфишкой, и во-вторыхъ — бывший папенькинъ камердинеръ Кирюшка, ничего не смыслившій въ поведствѣ и ежедневно читавшій Павлу Владимірычу халуйскаго свойства поученія. Оба крали немилосердно. Сколько разъ болѣло сердце Арины Петровны при видѣ господствовавшего въ домѣ расхищенія! сколько разъ порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчетъ чая, сахара, масла! Всего этого выходили массы, и неоднократно Улитушка, нисколько не стѣсняясь присутствіемъ старухи-барыни, даже въ глазахъ ея, прятала въ карманъ цѣлыя пригоршни сахара. Арина Петровна видѣла все, но должна была оставаться безмолвной свидѣтельницей расхищенія. Потому что едва развѣвала она ротъ, чтобы замѣтить что-нибудь, какъ Павелъ Владимірычъ въ ту же минуту ее осаживалъ.

— Маменька! — говорилъ онъ: — надобно, чтобъ кто-нибудь одинъ въ домѣ распоряжался! Это не я говорю — всѣ такъ поступаютъ. Я знаю, что мои распоряженія глупыя — ну, и пусть будутъ глупыя. А ваши распоряженія умныя — ну, и пусть будутъ умныя! Умны вы, даже очень умны, а Гудушка, все-таки, безъ угла васъ оставилъ!

Къ довершенію всего, Арина Петровна сдѣлала ужасное открытіе: Павелъ Владимірычъ пилъ. Страсть эта вѣллась въ него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и наконецъ получила то страшное развитіе, ко-



торое должно было привести къ неизбежному концу. Въ первое время, когда въ домѣ поселилась мать, онъ какъ будто еще совѣтился; довольно часто сходилъ съ антресолей внизъ и разговаривалъ съ матерью. Замѣчая, какъ путается его языкъ, Арина Петровна долго думала, что это происходитъ отъ глупости. Она не любила, когда онъ приходилъ „разговаривать“, и считала эти разговоры большимъ для себя притѣсненіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ постоянно и какъ-то нелѣпо ропталъ. То дождя по цѣлымъ недѣлямъ нѣтъ, то вдругъ такой зарядить, словно съ цѣпи сорвется; то жуекъ одолѣлъ, всё деревья въ саду обглодалъ; то кротъ появился, всё дуга изрылъ. Все это представляло неистощимый источникъ для ропота. Сойдетъ, бывало, съ антресолей, сядетъ противъ матери и начнетъ:

— Кругомъ тучи ходятъ — Головлево далеко ли? у кровопивца вчера проливной былъ! — а у насъ нѣтъ да и нѣтъ! ходятъ тучки, похаживаютъ кругомъ — и хоть бы-те капля на нашъ пай!

Или:

— Ишь льетъ-поливаетъ! рожь только-что зацвѣла, а онъ знай поливаетъ! Половину сѣна ужъ сгноили, а онъ прыскаетъ да попрыскиваетъ! Головлево далеко ли? — кровопивецъ давно съ поля убрался, а мы сиди-посиди! Придется скотину зимой гнилымъ сѣномъ кормить!

Молчить-молчить Арина Петровна, слушая глупыя рѣчи, но иногда не вытерпѣть и молвить:

— Ты бы побольше руки сложа сидѣлъ!

Не успѣетъ она это вымолвить, какъ Павелъ Владимірычъ ужъ и взбѣленился.

— А вы чтѣ жъ мнѣ прикажете дѣлать? Въ Головлево дождикъ, что-ли, перевести?

— Не дождикъ, а вообще...

— Нѣтъ, вы скажите, чтѣ, по вашему, дѣлать мнѣ нужно? Не „вообще“, а прямо... Климатъ, что-ли, я для васъ перемѣнить долженъ? Вотъ въ Головлевъ: нуженъ былъ дождикъ — и былъ дождикъ; не нужно дождя — и нѣтъ его! Ну, и растетъ тамъ все... А у насъ все напротивъ! Вотъ посмотримъ, какъ-то вы станете разговаривать, какъ ѣсть нечего будетъ!

— Стало быть, Божья воля такова...

— Такъ вы такъ и говорите, что Божья воля! А то „вообще“ — вотъ какое объясненіе нашли!

Иногда дѣло доходило до того, что онъ даже собственностью отягощался.

— И зачѣмъ только это Дубровино мнѣ досталось? — жаловался онъ: — чтѣ въ немъ?

— Чѣмъ же Дубровино — не усадьба! земля хорошая, всего довольно... И чтѣ тебѣ вдругъ вздумалось!

— А то и вздумалось, что по нынѣшнему времени совсѣмъ собственности имѣть не надо! Деньги — это такъ! Деньги взялъ, положилъ въ карманъ и удралъ съ ними! А недвижимость эта...

— Да чтѣ жъ это за время такое за особенное, что ужъ и собственности имѣть нельзя?

— А такое время, что вы вотъ газетъ не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты вездѣ пошли — вотъ и понимайте. Узнаетъ адвокатъ, что у тебя собственность есть — и почнетъ кружить!

— Какъ же онъ тебя кружить будетъ, коль скоро у тебя праведные документы есть?

— Такъ и будетъ кружить, какъ кружатъ. Или, вотъ, Порфишка-кровопивецъ: найметъ адвоката, а тотъ и будетъ тебѣ повѣстку за повѣсткой присылать!

— Чтò ты! не безсудная, чай, земля!

— Оттого и будутъ повѣстки присылать, что не безсудная. Кабы безсудная была, безъ повѣстокъ бы отняли, а теперь съ повѣстками. Вонъ у товарища моего, у Горлопятова, дядя умеръ, а онъ возьми да сдуру и прими наслѣдство! Наслѣдства-то оказалось грошъ, а долговъ — на сто тысячъ: векселя, да все фальшивые. Вотъ и судятъ его третій годъ сряду: сперва дядино имѣніе обрали, а потомъ и его собственное съ аукціону продали! Вотъ тебѣ и собственность!

— Неужто такой законъ есть?

— Кабы не было закона — не продали бы. Стало быть, всякій законъ есть. У кого совѣсти нѣтъ, для того всѣ законы открыты; а у кого есть совѣсть, для того и законъ закрытъ. Поди, отыскивай его въ книгѣ-то!

Арина Петровна всегда уступала въ этихъ спорахъ. Не разъ ее подмывало крикнуть: „вонъ съ моихъ глазъ, подлецъ!“ но подумаетъ-подумаетъ да и смолчитъ. Только развѣ про себя поропщетъ:

— Господи! и въ кого я этакихъ изверговъ уродила? Одинъ — кровопивецъ, другой — блаженный какой-то! Для кого я припасала? ночей не досыпала, куска не доѣдала... для кого?

И чѣмъ больше овладѣвалъ Павломъ Владимірычемъ запой, тѣмъ фантастичнѣе и, такъ сказать, внезапно становились его разговоры. Наконецъ Арина Петровна начала замѣчать, что тутъ есть что-то неладное. Напримѣръ, съ утра въ шкапчикъ, въ столовой, ставится полный графинъ водки, а къ обѣду ужъ ни капли въ немъ нѣтъ. Или: сидитъ она въ гостиной и слышитъ какой-то таинственный скрипъ, происходящій въ столовой, около завѣтнаго шкапчика; крикнетъ: „кто тамъ?“ — и слышитъ, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направленію къ антресолямъ.

— Матушки! да никакъ онъ у васъ пьетъ? — спросила она однажды Улитушку.

— Занимаются-съ, — отвѣтила та, язвительно улыбаясь.

Убѣдившись, что мать отгадала его, Павелъ Владимірычъ окончательно пересталъ церемониться. Въ одно прекрасное утро шкапчикъ совсѣмъ исчезъ изъ столовой, и на вопросъ Арины Петровны, куда онъ дѣвался, Улитушка отвѣчала:

— На антресоли перенести приказали; тамъ имъ свободнѣе заниматься будетъ.

Дѣйствительно, на антресоляхъ графинчики слѣдовали другъ за другомъ съ изумительной быстротой. Уединившись съ самимъ собой, Павелъ Владимірычъ возненавидѣлъ общество живыхъ людей и создалъ для себя



особенную, фантастическую дѣйствительность. Это былъ цѣлый глупо-героическій романъ, въ которомъ главными героями были: онъ самъ и кровопивецъ Порфишкѣ. Онъ самъ не сознавалъ вполне, какъ глубоко залегла въ немъ ненависть къ Порфишкѣ. Онъ ненавидѣлъ его всѣми помыслами, всѣми внутренностями, ненавидѣлъ безпрестанно, ежеминутно. Словно живой, метался передъ нимъ этотъ поскудный образъ, а въ ушахъ раздавалось слезно-лицемѣрное пустословіе Іудушки — пустословіе, въ которомъ звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданіемъ лицемѣрія. Павелъ Владимірычъ пилъ и припоминалъ. Припоминалъ всѣ обиды и униженія, которыя ему приходилось вытерпѣть, благодаря претензіи Іудушки на главенство въ домѣ. Въ особенности же припоминалъ раздѣлъ имѣнія, рассчитывалъ каждую копейку, сравнивалъ каждый клочокъ земли — и ненавидѣлъ. Въ разгоряченномъ винномъ воображеніи создавались цѣлыя драмы, въ которыхъ вымещались всѣ обиды и въ которыхъ обидчикомъ являлся уже онъ, а не Іудушка. То будто выигралъ онъ двѣсти тысячъ и пріѣзжаетъ сообщить объ этомъ Порфишкѣ (цѣлая сцена съ разговорами), у котораго отъ зависти даже перекосило лицо. То будто умеръ дѣдушка (опять сцена съ разговорами, хотя никакого дѣдушки не было), ему оставилъ миллионъ, а Порфишкѣ-кровопивцу — шишъ. То будто онъ изобрѣлъ средство дѣлаться невидимкой, и черезъ это получилъ возможность творить Порфишкѣ такія пакости, отъ которыхъ тотъ начинаетъ стонать. Въ изобрѣтеніи этихъ проказъ онъ былъ неистощимъ, и долго нелѣпный хохотъ оглашалъ антресоли, къ удовольствію Улитушки, спѣшившей увѣдомить о происходящемъ брата Порфирія Владимірыча.

Онъ ненавидѣлъ Іудушку и въ то же время боялся его. Онъ зналъ, что глаза Іудушки источаютъ чарующій ядъ, что голосъ его, словно змѣй, заползаетъ въ душу и парализуетъ волю человѣка. Поэтому онъ рѣшительно отказался отъ свиданій съ нимъ. Иногда кровопивецъ пріѣзжалъ въ Дубровино, чтобы поцѣловать ручку у добраго друга маменьки (онъ выгналъ ее изъ дома, но почтительности не прекращалъ) — тогда Павелъ Владимірычъ запиралъ антресоли на ключъ и сидѣлъ взаперти все время, покуда Іудушка калякалъ съ маменькой.

Такимъ образомъ шли дни за днями, покуда наконецъ Павелъ Владимірычъ не очутился лицомъ къ лицу съ смертнымъ недугомъ.

Докторъ переночевалъ „для формы“ и на другой день рано утромъ уѣхалъ въ городъ. Оставляя Дубровино, онъ высказалъ прямо, что больному остается жить не больше двухъ дней и что теперь поздно думать о какихъ-нибудь „распоряженіяхъ“, потому что онъ и фамиліи путемъ подписать не можетъ.

— Подпишетъ онъ вамъ „обмокни“ — потомъ и съ судомъ, пожалуй, не раздѣлаетесь, — прибавилъ онъ: — вѣдь Іудушка хоть и очень маменьку уважаетъ, а дѣло о подлогѣ все-таки начнетъ, и ежели по закону маменьку въ мѣста не столь отдаленныя ушлютъ, такъ вѣдь онъ только молебень въ путь шествующимъ отслужитъ!

Арина Петровна цѣлое утро ходила какъ въ оступѣніи. Попробовала-было встать на молитву — не внушить ли что Богъ? — но и молитва на умъ

не шла, даже языкъ какъ-то не слушался. Начнетъ: *Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей* — и вдругъ, сама не знаетъ какъ, съѣдетъ на *отъ лукаваго*. „Очисти!“ „очисти!“ машинально лепечетъ языкъ, а мысль такъ и летаетъ: то на антресоли заглянетъ, то на погребъ зайдетъ („сколько добра по осени было — все растащили!“), то начнетъ что-то припоминать — далекое-далекое. Все сумерки какія-то, и въ этихъ сумеркахъ люди, много людей, и всѣ они копошатся, стараются, припасаютъ. *Блаженъ мужъ... блаженъ мужъ... яко кадило... научи мя... научи мя...* Но вотъ и языкъ мало-помалу смякъ, глаза смотрятъ на образа и не видятъ; ротъ раскрытъ широко, руки сложены на поясѣ и вся она стоитъ неподвижно, словно застыла.

Наконецъ она сѣла и заплакала. Слезы такъ и лились изъ потухшихъ глазъ по старческимъ, засохшимъ щекамъ, задерживаясь въ углубленіяхъ морщинъ и капая на замасленный воротъ старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вмѣстѣ съ тѣмъ безсильно строптивое. И старость, и немощи, и беспомощность положенія — все, казалось, призывало ее къ смерти, какъ къ единственному примиряющему исходу; но въ то же время замѣшивалось и прошлое съ его властностью, довольствомъ и просторомъ, и воспоминанія этого прошлаго такъ и впивались въ нее, такъ и притягивали ее къ землѣ. „Умереть бы!“ мелькало въ ея головѣ, а черезъ мгновеніе то же слово смѣнялось другимъ: „пожить бы!“ Она не вспоминала ни объ Іудушѣ, ни объ умирающемъ сынѣ — оба они словно перестали существовать для нея. Ни объ комъ она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла, она даже забыла, есть ли у нея капиталъ и достаточенъ ли онъ, чтобъ обезпечить ея старость. Тоска, смертная тоска охватила все ея существо. Тошно! горько! — вотъ единственное объясненіе, которое она могла бы дать своимъ слезамъ. Эти слезы пришли издалека; капля по каплѣ копились онѣ съ той самой минуты, какъ она выѣхала изъ Головлева и поселилась въ Дубровинѣ. Ко всему, что теперь предстояло, она была ужъ приготовлена; все она ожидала и предвидѣла; но ей никогда какъ-то не представлялось съ такою ясностью, что этому ожидаемому и предвидѣнному долженъ наступить конецъ. И вотъ, теперь, этотъ конецъ наступилъ, конецъ, полный тоски и безнадежнаго одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, надъ чѣмъ-то убивалась, а оказывается, что убивалась надъ призракомъ. Всю жизнь слово „семья“ не сходило у нея съ языка; во имя семьи она однихъ казнила, другихъ награждала; во имя семьи она подвергала себя лишеніямъ, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь — и вдругъ выходитъ, что семьи-то именно у нея и нѣтъ!

— Господи! да неужто-жъ у всѣхъ такъ? — вертѣлось у нея въ головѣ.

Она сидѣла, опершись головой на руку и обративъ обмоченное слезами лицо на встрѣчу поднимающемуся солнцу, какъ будто говорила ему: „видь!“ Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебывалась слезами. И въ то же время на душѣ у нея такъ и горѣло:

— Нѣтъ никого! нѣтъ никого! нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ!

Но вотъ изсякли и слезы. Умывши лицо, она безъ цѣли побрела въ столовую, но тутъ дѣвицы осадили ее новыми жалобами, которыя на этотъ разъ показались ей какъ-то особенно назойливыми.



— Что же это, бабушка, будетъ? неужто-жъ мы такъ безъ ничего и останемся?—роптала Аннинька.

— Какой этотъ дядя глупый!—вторила ей Любинька.

Около полудня Арина Петровна рѣшилась проникнуть къ умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взшла она по лѣстницѣ и ощупью отыскала въ потьмахъ двери, ведущія въ комнаты. На антресоляхъ царствовали сумерки; окна занавѣшены были зелеными шторами, сквозь которыя чуть-чуть пробивался свѣтъ; давно не возобновляемая атмосфера комнатъ пропиталась противною смѣсью разнородныхъ запаховъ, въ составленіи которой участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и тѣ особенные міазмы, присутствіе которыхъ прямо говорить о болѣзни и смерти. Комнатъ было всего двѣ: въ первой сидѣла Улитushка, чистила ягоды и съ ожесточеніемъ сдувала мухъ, которыя тучнымъ роемъ вились надъ ворохами крыжовника и нахально садились ей на носъ и на губы. Сквозь полуотворенную дверь, изъ сосѣдней комнаты, не переставая, доносился сухой и короткій кашель, отъ времени до времени разрѣшающійся мучительной экспектораціей. Арина Петровна остановилась въ нерѣшительной позѣ, вглядываясь въ сумерки и какъ бы ожидая, что предприметъ Улитushка въ виду ея прихода. Но Улитushка даже не шевельнулась, словно была уже слишкомъ увѣрена, что всякая попытка подѣйствовать на больного останется безплодною. Только сердитое движеніе скользнуло по ея губамъ, и Аринѣ Петровнѣ послышалось произнесенное шопотомъ слово: „чортъ!“

— Ты бы, голубушка, внизъ пошла!—обратилась Арина Петровна къ Улитushкѣ.

— Это еще что за новости?—огрызнулась послѣдняя.

— Мнѣ съ Павломъ Владимірычемъ говорить нужно. Ступай!

— Помилуйте, сударыня! какъ же я ихъ оставлю? А ежели что вдругъ случится—ни подать, ни принять.

— Что тамъ?—раздалось глухо изъ спальни.

— Прикажи, мой другъ, Улитѣ уйти. Мнѣ съ тобой переговорить нужно.

На этотъ разъ Арина Петровна дѣйствовала настолько настойчиво, что осталась побѣдительницей. Она перекрестилась и вошла въ комнату. Около внутренней стѣны, подальше отъ оконъ, стояла постель больного. Онъ лежалъ на спинѣ, покрытый бѣлымъ одѣяломъ, и почти безсознательно дымилъ папирской. Несмотря на табачный дымъ, мухи съ какимъ-то ожесточеніемъ налетали на него, такъ что онъ безпрестанно то той, то другой рукой проводилъ около лица. Это были руки до такой степени безсильныя, лишенныя мускуловъ, что ясно представляли очертанія кости, почти одинаково узкой отъ кисти до плеча. Голова его какъ-то безнадежно прильнула къ подушкѣ; лицо и все тѣло горѣли въ сухомъ жару. Большіе круглые глаза ввалились и смотрѣли безпредметно, какъ бы чего-то искали; носъ вытянулся и заострился, ротъ былъ полуоткрытъ. Онъ не кашлялъ, но дышалъ съ такою силой, что, казалось, вся жизненная энергія сосредоточилась въ его груди.

— Ну, что? какъ ты сегодня себя чувствуешь?—спросила Арина Петровна, опускаясь въ кресло у его ногъ.

— Ничего... завтра... то-бишь, сегодня... когда это лекарь у насъ былъ?

— Сегодня былъ лекарь.

— Ну, значитъ, завтра...

Больной заметался, какъ бы сился припомнить слово.

— Встать можно будетъ? — подсказала Арина Петровна: — дай Богъ, мой другъ, дай Богъ.

Оба замолкли на минуту. Аринъ Петровнъ хотѣлось сказать что-то, но для того, чтобъ сказать, нужно было разговаривать. Вотъ этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была съ глазу на глазъ съ Павломъ Владимірычемъ.

— Гудушка... живеть? — спросилъ наконецъ самъ больной.

— Чтò ему дѣлается! живеть да поживаетъ.

— Чай, думаетъ: „вотъ братецъ Павелъ умереть — и еще, по милости Божіей, имѣннице мнѣ достанется!“

— И всѣ когда-нибудь умремъ, и послѣ всѣхъ имѣнья пойдутъ... законнымъ наслѣдникамъ...

— Только не кровопивцу. Собакамъ выброшу, а не ему!

Случай выходилъ отличный: самъ Павелъ Владимірычъ заговаривалъ. Арина Петровна не преминула воспользоваться этимъ.

— Надо бы подумать объ этомъ, мой другъ! — сказала она словно мимоходомъ, не глядя на сына и разсматривая на свѣтъ руки, точно онѣ составляли въ эту минуту главный предметъ ея вниманія.

— Объ чемъ „объ этомъ“?

— А вотъ хоть бы насчетъ того, если ты не желаешь, чтобъ брату имѣнье твое осталось...

Больной молчалъ. Только глаза его неестественно расширились и лицо все больше и больше рдѣло.

— Можно бы, другъ мой, и то въ соображеніе взять, что у тебя племянницы сироты есть — какой у нихъ капиталъ? Ну, и мать тоже... — продолжала Арина Петровна.

— Все Гудушкѣ спустить успѣли?

— Какъ бы то ни было... знаю, что сама виновата... Да вѣдь и не Богъ знаетъ, какой грѣхъ... Думала тоже, что сынъ... Да и тебѣ бы можно не попомнить этого матери.

Молчаніе.

— Чтò же! скажи хоть что-нибудь!

— А вы какъ скоро собираетесь меня хоронить?

— Не хоронить, а все-таки... И прочіе христіане... Не всѣ сейчасъ умирають, а вообще...

— То-то „вообще“! Вы всегда „вообще“! Думаете, что я не вижу!

— Чтò же ты видишь, мой другъ?

— А то и вижу, что вы меня за дурака считаете! Ну, и положимъ, что я дуракъ, и пусть буду дуракъ! Зачѣмъ же приходите къ дураку? И не приходите! и не беспокойтесь!

— Я и не беспокоюсь; я только вообще... что всякому человѣку предѣлъ жизни положенъ...



— Ну, и ждите!

Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видѣла, что дѣло ея стоитъ плохо, но безнадежность будущаго до того терзала ее, что даже очевидность не могла убѣдить въ бесплодности дальнѣйшихъ попытокъ.

— Не знаю, за что ты меня ненавидишь! — произнесла она наконецъ.

— Нисколько... я васъ... нисколько! Я даже очень... Помилуйте! вы насъ такъ вели... всѣхъ равно!

Онъ говорилъ это порывисто, захлебываясь; въ звукахъ голоса слышался какой-то надорванный и въ то же время торжествующій хохотъ; въ глазахъ показались искры; плечи и ноги беспокойно вздрагивали.

— Можетъ, я и въ самомъ дѣлѣ чѣмъ-нибудь провинилась, такъ ужъ прости, Христа ради!

Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павелъ Владимірычъ закрылъ глаза и не отвѣчалъ.

— Положимъ, что насчетъ недвижности... это точно, что въ теперешнемъ моемъ положеніи нечего и думать, чтобы распоряженіе дѣлать... Порфирій — законный наслѣдникъ; ну, пускай ему недвижность и достается. А движимость, а капиталъ какъ? — рѣшилась прямо объясниться Арина Петровна.

Павелъ Владимірычъ вздрогнулъ, но молчалъ. Очень возможно, что при словѣ „капиталъ“ онъ совсѣмъ не объ инсинуаціяхъ Арины Петровны помышлялъ, а просто ему подумалось: „вотъ и сентябрь на дворѣ, проценты получать надобно... шестьдесятъ-семь тысячъ шестьсотъ на пять помножить, да на два потомъ раздѣлить — сколько это будетъ?“

— Ты, можетъ быть, думаешь, что я смерти твоей желаю, такъ разувѣрся, мой другъ! Ты только живи, а мнѣ, старухѣ, и горюшка мало! Что мнѣ! мнѣ и тепленько, и сытенько у тебя, и даже ежели изъ сладенькаго чего-нибудь захочется — все у меня есть! Я только насчетъ того говорю, что у христіанъ обычай такой есть, чтобы въ ожиданіи предбудущей жизни...

Арина Петровна остановилась, словно искала подходящаго слова.

— Присныхъ своихъ обезпечивать, — dokonчила она, смотря въ окно.

Павелъ Владимірычъ лежалъ неподвижно и потихоньку откашливался, ни однимъ движеніемъ не выказывая, слушаетъ онъ или нѣтъ. Повидимому причитанія матери надобли ему.

— Капиталъ-то можно бы при жизни изъ рукъ въ руки передать, — молвила Арина Петровна, какъ бы векользъ бросая предположеніе и вновь принимаясь разсматривать на свѣтъ свои руки.

Больной чуть-чуть дрогнулъ, но Арина Петровна не замѣтила этого и продолжала:

— Капиталъ, мой другъ, и по закону къ перемѣщенію допускается. Потому это — вещь наживная: вчера онъ былъ, сегодня — нѣтъ его. И никто въ немъ отчета не можетъ спрашивать — кому хочъ, тому и отдаю.

Павелъ Владимірычъ вдругъ какъ-то зло засмѣялся.

— Палочкина исторію, должно быть, вспомнили! — зашипѣлъ онъ: — тотъ же изъ рукъ въ руки женѣ капиталъ отдалъ, а она съ любовникомъ убѣжала!

— У меня, мой другъ, любовниковъ нѣтъ!

— Такъ безъ любовника убѣжите... съ капиталомъ?

— Какъ ты, однако, меня понимаешь!

— Никакъ я васъ не понимаю... Вы на весь свѣтъ меня дуракомъ прославили—ну, и дуракъ я! И пусть буду дуракъ! Смотрите, какія штуки-фигуры придумали—капиталь имъ изъ рукъ въ руки передай! А самъ что?—въ монастырь, что-ли, прикажете мнѣ спастись идти, да оттуда глядѣть, какъ вы моимъ капиталомъ распоряжаться будете?

Онъ выговорилъ все это залпомъ, злобствуя и волнуясь, и затѣмъ со-всѣмъ изнемогъ. Въ продолженіе по крайней мѣрѣ четверти часа послѣ того онъ кашлялъ во всю мочь, такъ что было даже удивительно, что этотъ жалкій человѣческій остовъ еще заключаетъ въ себѣ столько силы. Наконецъ онъ отдышался и закрылъ глаза.

Арина Петровна потерянно оглядывалась кругомъ. До сихъ поръ ей все какъ-то не вѣрилось; теперь она окончательно убѣдилась, что всякая новая попытка убѣдить умирающаго можетъ только приблизить день торжества Іудушки. Іудушка такъ и мелькалъ передъ ея глазами. Вотъ онъ идетъ за гробомъ, вотъ отдаетъ брату послѣднее Іудино лобзаніе и двѣ поскудныя слезинки вытекли изъ его глазъ. Вотъ и гробъ опустили въ землю; „прррощай, братъ!“ восклицаетъ Іудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслѣдъ затѣмъ обращается въ полъ-оборота къ Улитущкѣ и говоритъ: „кутью-то, кутью-то не забудьте въ домъ взять! да на чистенькую скатертцу поставьте... брата опять въ домъ помянуть!“ Вотъ кончился и поминальный обѣдъ, во время котораго Іудушка безъ устали говоритъ съ батюшкой о добродѣтеляхъ покойнаго и встрѣчаетъ со стороны батюшки полное подтвержденіе этихъ похвалъ. „Ахъ, братъ! братъ! не захотѣлъ ты съ нами пожить!“ восклицаетъ онъ, выходя изъ-за стола и протягивая руку ладонью вверхъ подъ благословеніе батюшки. Вотъ наконецъ всѣ, слава Богу, наѣлись и даже выпались послѣ обѣда; Іудушка расхаживаетъ хозяиномъ по комнатамъ дома, принимаетъ вещи, заноситъ въ опись и по временамъ подозрительно взглядываетъ на мать, ежели въ чемъ-нибудь встрѣчаетъ сомнѣніе.

Всѣ эти неизбѣжныя сцены будущаго такъ и метались передъ глазами Арины Петровны. И какъ живой звенѣлъ въ ея ушахъ маслянисто-пронзительный голосъ Іудушки, обращенный къ ней:

— А помните, маменька, у брата золотенькія запоночки были... хорошенькія такія, еще онъ ихъ по праздникамъ надѣввалъ... и куда только эти запоночки дѣвались—ума приложить не могу!

Не успѣла Арина Петровна сойти внизъ, какъ на бугрѣ у дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. Въ коляскѣ, на почетномъ мѣстѣ, возсѣдалъ Порфирій Головлевъ безъ шапки и крестился на церковь; противъ него сидѣли два его сына, Петинька и Володинька. У Арины Петровны такъ и захолонуло сердце: „почуяла Лиса Патрикѣвна, что мертвечиной пахнетъ!“ подумалось ей; дѣвицы тоже струсили и какъ-то без-



помощно жались къ бабушкѣ. Въ домѣ, до сихъ поръ тихомъ, вдругъ поднялась тревога: захлопали двери, забѣгали люди, раздались крики: „баринъ ѣдетъ! баринъ ѣдетъ!“ — и все населеніе усадьбы разомъ высыпало на крыльцо. Одни крестились, другіе просто стояли въ выжидательномъ положеніи, но всѣ, очевидно, сознавали, что то, чтò до сихъ поръ происходило въ Дубровинѣ, было лишь временное, что только теперь наступаетъ настоящее, заправское, съ заправскимъ хозяиномъ во главѣ. Многимъ изъ старыхъ, заслуженныхъ дворовыхъ выдавалась при „прежнемъ“ баринѣ мѣсячина; многіе держали коровъ на барскомъ сѣнѣ, имѣли огороды и вообще жили „свободно“; всѣхъ, естественно, интересовалъ вопросъ, оставить ли „новый“ баринъ старые порядки, или замѣнить ихъ новыми, головлевскими.

Гудушка между тѣмъ подѣхалъ и по сдѣланной ему встрѣчѣ уже заключилъ, что въ Дубровинѣ дѣло идетъ къ концу. Не торопясь вышелъ онъ изъ коляски, замахалъ руками на дворовыхъ, бросившихся барину къ ручкѣ; потомъ сложилъ обѣ руки ладонями внутрь и началъ медленно взбираться по лѣстницѣ, шопотомъ произнося молитву. Лицо его въ одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Какъ человѣкъ, онъ скорбѣлъ; какъ христіанинъ — роптать не осмѣливался. Онъ молился „о ниспосланіи“, но больше всего уповалъ и покорялся волѣ Провидѣнія. Сыновья, въ парѣ, шли сзади него. Володинька передразнивалъ отца, т. е. складывалъ руки, закатывалъ глаза и шевелилъ губами; Петинька наслаждался представленіемъ, которое давалъ братъ. За ними безмолвной гурьбой слѣдовалъ кортежъ дворовыхъ.

Гудушка поцѣловалъ маменьку въ ручку, потомъ въ губы, пототъ опять въ ручку; потомъ потрепалъ милаго друга за талію и, грустно покачавъ головою, произнесъ:

— А вы все унываете! Нехорошо это, другъ мой! охъ, какъ нехорошо! А вы бы спросили себя: чтò, молъ, Богъ на это скажетъ? — Скажетъ: вотъ я въ премудрости своей все къ лучшему устрою, а она ропщетъ! Ахъ, маменька! маменька!

Потомъ перецѣловалъ обѣихъ племянницъ и съ тою же плѣнительною родственностью въ голосѣ сказалъ:

— И вы, стрекозы, туда же въ слезы! чтобъ у меня этого не было! Извольте сейчасъ улыбаться — и дѣло съ концомъ!

И онъ затопалъ на нихъ ногами или, лучше сказать, дѣлалъ видъ, что топаетъ, но въ сущности только благосклонно шутить.

— Посмотрите на меня! — продолжалъ онъ: — какъ братъ — я скорблю! Не разъ, можетъ быть, и всплакнулъ... Жаль брата, очень, даже до слезъ жаль... Всплакнешь, да и опомнишься: а Богъ-то на чтò! Неужто Богъ хуже нашего знаетъ, какъ и чтò? Поразмыслишь эдакъ — и ободрись. Такъ-то и всѣмъ поступать надо! И вамъ, маменька, и вамъ, племянушки, и вамъ... всѣмъ! — обратился онъ къ прислугѣ. — Посмотрите на меня, какимъ я молодцомъ хожу!

И онъ съ тою же плѣнительностью представилъ изъ себя „молодца“, то-есть выпрямился, отставилъ одну ногу, выпятилъ грудь и откинулъ назадъ

голову. Всѣ улыгнулись, но кисло какъ-то, словно всякій говорилъ себѣ: „ну, пошелъ теперь паукъ паутину ткать!“

Окончивъ представленіе въ залѣ, Іудушка перешелъ въ гостиную и вновь поцѣловалъ у маменьки ручку.

— Такъ такъ-то, милый другъ маменька! — сказалъ онъ, усаживаясь на диванъ: — вотъ и братъ Павелъ...

— Да, и Павелъ... — потихоньку отозвалась Арина Петровна.

— Да, да, да... раненко бы! раненко! Вѣдь я, маменька, хоть и бодрюсь, а въ душѣ тоже... очень-очень объ братѣ скорблю! Не любилъ меня братъ, крѣпко не любилъ — можетъ, за это Богъ и посылаетъ ему!

— Въ такую минуту можно бы и забыть про это! Старыя-то дразги оставить надо...

— Я, маменька, давно позабылъ! Я только къ слову говорю: не любилъ меня братъ, а за что — не знаю! Ужъ я ли, кажется... и такъ, и сякъ, и прямо, и стороной, и „голубчикъ“, и „братецъ“ — пятится отъ меня, да и шабашъ! Анъ Богъ-то взялъ, да невидимо къ своему предѣлу и приурочилъ!

— Говорю тебѣ: нечего поминать объ этомъ? Человѣкъ на ладанъ ужъ дышетъ!

— Да, маменька, великая это тайна — смерть! Не вѣсте ни дня, ни часа — вотъ это какая тайна! Вотъ онъ все планы планировалъ, думалъ — ужъ такъ высоко, такъ высоко стоитъ, что и рукой до него не достанешь, а Богъ-то разомъ, въ одно мгновеніе, всѣ его мечтанія опровергъ. Теперь бы онъ, можетъ, и радъ грѣшки свои поприкрыть — анъ они ужъ въ книгѣ живота записаны значатся. А изъ этой, маменька, книги, что тамъ записано, не скоро выскоблишь!

— Чай, раскаянье-то приѣмлется!

— Желаю! отъ души брату желаю! Не любилъ онъ меня, а я — желаю! Я всѣмъ добра желаю! и ненавидящимъ, и обидящимъ — всѣмъ! Несправедливъ онъ былъ ко мнѣ — вотъ Богъ болѣзнь ему и послалъ, не я, а Богъ! И много онъ, маменька, страдаетъ?

— Такъ себѣ... Ничего. Докторъ былъ, даже надежду подаль, — солгала Арина Петровна.

— Ну, вотъ какъ хорошо! Ничего, мой другъ! не огорчайтесь! можетъ быть, и отдышется! Мы-то здѣсь объ немъ сокрушаемся да на Создателя ропщемъ, а онъ, можетъ быть, сидитъ себѣ тихохонько на постелькѣ да Бога за исцѣленіе благодаритъ!

Эта мысль до того понравилась Іудушкѣ, что онъ даже полегоньку хихикнулъ.

— А вѣдь я къ вамъ, маменька, погостить пріѣхалъ, — продолжалъ онъ, словно дѣлая маменькѣ пріятный сюрпризъ: — нельзя, голубушка... по родственному! Неровенъ случай — все же, какъ братъ... и утѣшить, и посоветовать, и распорядиться... вѣдь вы позволите?

— Какія я позволенія могу давать! сама здѣсь — гостья.

— Ну, такъ вотъ что, голубушка. Такъ какъ сегодня у насъ пятница, такъ ужъ вы прикажите, если ваша такая милость будетъ, мнѣ постненькаго къ обѣду приготовить. Рыбки тамъ, что-ли, солененькой, грибовъ, капустки



— мнѣ вѣдь немного нужно! А я между тѣмъ, по родственному... на антресоли къ брату поплетусь — можетъ быть, и успѣю. Не для тѣла, такъ для души что-нибудь полезное сдѣлаю. А въ его положеніи душа-то, пожалуй, поважнѣе. Тѣло-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можемъ, а для души лекарства поосновательнѣе нужны.

Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости „конца“ до такой степени охватила все ея существо, что она въ какомъ-то оцѣпенѣніи присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругомъ нея. Она видѣла, какъ Гудушка, покрывавая, всталъ съ дивана, какъ онъ сгорбился, зашаркалъ ногами (онъ любилъ иногда притвориться немощнымъ: ему казалось, что такъ почтенинѣе); она понимала, что внезапное появленіе кровопивца на антресоляхъ должно глубоко взволновать больного и, можетъ быть, даже ускорить развязку; но послѣ волненій этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во снѣ.

Покуда это происходило, Павелъ Владимірычъ находился въ неописанной тревогѣ. Онъ лежалъ на антресоляхъ совѣмъ одинъ и въ то же время слышалъ, что въ домѣ происходитъ какое-то необычное движеніе. Всякое хлопанье дверьми, всякій шагъ въ корридорѣ отзывались чѣмъ-то таинственнымъ. Нѣкоторое время онъ звалъ и кричалъ во всю мочь, но, убѣдившись, что крики бесполезны, собралъ всѣ силы, приподнялся на постели и началъ прислушиваться. Послѣ общей бѣготни, послѣ громкаго говора голосовъ, вдругъ наступила мертвая тишина. Что-то неизвѣстное, страшное обступило его со всѣхъ сторонъ. Дневной свѣтъ сквозь опущенныя гардины лился скупо, и такъ какъ въ углу передъ образомъ теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшія комнату, казались еще темнѣе и гуще. Въ этотъ таинственный уголъ онъ и уставился глазами, точно въ первый разъ его поразило нѣчто въ этой глубинѣ. Образъ въ золоченомъ окладѣ, въ который непосредственно ударяли лучи лампадки, съ какою-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступалъ изъ тьмы; на потолокъ колебался свѣтящійся кружокъ, то вспыхивая, то блѣднѣя, по мѣрѣ того, какъ усиливалось или слабѣло пламя лампадки. Внизу господствовалъ полусвѣтъ, на общемъ фонѣ котораго дрожали тѣни. На той же стѣнѣ, около освѣщеннаго угла, висѣлъ халатъ, на которомъ тоже колебались полосы свѣта и тѣни, вслѣдствіе чего казалось, что онъ движется. Павелъ Владимірычъ всматривался-всматривался, и ему почудилось, что тамъ, въ этомъ углу, все вдругъ задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина — и посреди этого тѣни, цѣлый рой тѣней. Ему казалось, что эти тѣни идутъ, идутъ, идутъ... Въ неописанномъ ужасѣ, раскрывъ глаза и ротъ, онъ глядѣлъ въ таинственный уголъ и не кричалъ, а стоналъ. Стоналъ глухо, порывисто, точно лаялъ. Онъ не слыхалъ ни скрипа лѣстницы, ни осторожнаго шарканья шаговъ въ первой комнатѣ — какъ вдругъ у его постели выросла ненавистная фигура Гудушки. Ему померещилось, что онъ вышелъ оттуда, изъ этой тьмы, которая сейчасъ въ его глазахъ такъ таинственно шевелилась; что тамъ есть и еще, и еще... тѣни, тѣни, тѣни безъ конца! Идутъ, идутъ...

— Зачѣмъ? откуда? кто пустил? — инстинктивно крикнулъ онъ, безсильно опускаясь на подушку.

Іудушка стоялъ у постели, всматривался въ больного и скорбно покачивалъ головой.

— Больно? — спросилъ онъ, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была въ его средствахъ.

Павель Владиміръчъ молчалъ и безмысленными глазами уставился въ него, словно усиливался понять. А Іудушка тѣмъ временемъ приблизился къ образу, всталъ на колѣни, умилился, сотворилъ три земныхъ поклона, всталъ и вновь очутился у постели.

— Ну, братъ, вставай! Богъ милости прислалъ! — сказалъ онъ, сядясь въ кресло, такимъ радостнымъ тономъ, словно и въ самомъ дѣлѣ „милость“ у него въ карманѣ была.

Павель Владиміръчъ наконецъ понялъ, что передъ нимъ не тѣнь, а самъ кровопивецъ во плоти. Онъ какъ-то вдругъ съёжился, какъ будто знобить его начало. Глаза Іудушки смотрѣли свѣтло, по родственному, но больной очень хорошо видѣлъ, что въ этихъ глазахъ скрывается „петля“, которая вотъ-вотъ сейчасъ выскочитъ и захлеснетъ ему горло.

— Ахъ, братъ, братъ! какая ты бяка сдѣлался! — продолжалъ подшучивать по родственному Іудушка. — А ты возьми да и прибодрись! Встань да и побѣги! Трускомъ-трускомъ — пусть-ка, молъ, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали. Фу-ты! ну-ты!

— Иди, кровопивецъ, вонъ! — отчаянно крикнулъ больной.

— А-а-ахъ! братъ, братъ! Я къ тебѣ съ лаской да съ утѣшеніемъ, а ты... какое ты слово сказалъ! А-а-ахъ, грѣхъ какой! И какъ это языкъ у тебя, дружокъ, повернулся, чтобъ этакое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчикъ, даже очень стыдно! Пстой-ка, я лучше подушечку тебѣ поправлю!

Іудушка всталъ и ткнулъ въ подушку пальцемъ.

— Вотъ такъ! — продолжалъ онъ: — вотъ теперь славно! Лежи себѣ хорошохоныко — хоть до завтрева поправлять не нужно!

— Уйди... ты!

— Ахъ, какъ болѣзнь-то, однако, тебя испортила! Даже характеръ въ тебѣ — и тотъ какой-то строптивый сталъ! Уйди да уйди — ну, какъ я уйду! Вотъ тебѣ испить захочется — я водички подамъ; вонъ лампадка не въ исправности — я лампадочку поправлю, маслица деревяненькаго подолью. Ты полежишь, я посижу; тихо да смирно — и не увидимъ, какъ время пройдетъ!

— Уйди, кровопивецъ!

— Вотъ ты меня бранишь, а я за тебя Богу помолюсь. Я вѣдь знаю, что ты это не отъ себя, а болѣзнь въ тебѣ говорить. Я, братъ, привыкъ прощать — я всемъ прошаю. Вотъ и сегодня — ѣду къ тебѣ, встрѣтился по дорогѣ мужичокъ и что-то сказалъ. Ну, и что жъ! и Христось съ нимъ! онъ же свой языкъ осквернилъ! А я... да не только я не разсердился, а даже перекрестилъ его — право!

— Ограбилъ... мужика?..

— Кто? я-то! Нѣтъ, мой другъ, я не граблю; это разбойники по большимъ дорогамъ грабятъ, а я — по закону дѣйствую. Лошадь его въ своемъ лугу поймалъ — ну, и ступай, голубчикъ, къ мировому! Коли скажетъ миро-



вой, что травить чужіе луга дозволяется — и Богъ съ нимъ! А скажетъ, что травить не дозволяется — нечего дѣлать! штрафъ пожалуйте! По закону я, голубчикъ, по закону!

— Іуда-предатель! мать по міру пустил!

— И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дѣло ты говоришь! И еслибъ я не былъ христіанинъ, я бы тоже... попретендовать за это на тебя могъ!

— Пустил, пустил, пустил... мать по міру!

— Ну, перестань же, перестань! Вотъ я Богу помолюсь: можетъ быть, ты и попокойнѣ будешь...

Какъ ни сдерживалъ себя Іудушка, но ругательства умирающаго до того его проняли, что даже губы у него искривились и побѣлѣли. Тѣмъ не менѣе, лицемѣріе было до такой степени потребностью его натуры, что онъ никакъ не могъ прервать разъ начатую комедію. Съ послѣдними словами онъ дѣйствительно всталъ на колѣни и съ четверть часа воздѣлвалъ руки и шепталъ. Исполнивши это, онъ возвратился къ постели умирающаго съ лицомъ успокоеннымъ, почти ленивымъ.

— А вѣдь я, братъ, о дѣлѣ съ тобой поговорить пріѣхалъ, — сказалъ онъ, усаживаясь въ кресло: — ты меня вотъ бранишь, а я о душѣ твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты въ послѣдній разъ утѣшеніе принялъ?

— Господи! да чтожъ это... уведите его! Улитка! Агашка! кто тутъ есть? — стоналъ больной.

— Ну, ну, ну! успокойся, голубчикъ! знаю, что ты объ этомъ говорить не любишь! Да, братъ, всегда ты дурнымъ христіаниномъ былъ и теперь такимъ же останешься. А не худо бы, ахъ, какъ бы не худо въ такую минуту о душѣ-то подумать! Вѣдь душа-то наша... ахъ, какъ съ ней осторожно обращаться нужно, мой другъ! Церковь-то что намъ предписываетъ? Приносите, говоритъ, моленія, благодаренія... А еще: христіанскія кончины живота нашего безболѣзненны, непостыдны, мирны — вотъ что, мой другъ! Послать бы тебѣ теперь за батюшкой, да искренно, съ раскаяньемъ... Ну-ну! не буду! не буду! А право бы такъ...

Павель Владиміръчъ лежалъ весь багровый и чуть не задыхался. Еслибъ онъ могъ въ эту минуту разбить себѣ голову, онъ несомнѣнно сдѣлалъ бы это.

— Вотъ и насчетъ имѣнія — можетъ быть, ты ужъ и распорядился? — продолжалъ Іудушка: — хорошенькое, очень хорошенькое имѣніице у тебя — нечего сказать. Земля даже лучше, чѣмъ въ Головлевъ: съ песочкомъ суглинчечекъ-то! Ну, и капиталъ у тебя... Я вѣдь, братъ, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьянъ на выкупъ отдалъ, а что и какъ — никогда я этимъ не интересовался. Вотъ и сегодня: ѣду къ тебѣ и говорю про себя: должно быть, у брата Павла капиталъ есть! а впрочемъ, думаю, если и есть у него капиталъ, такъ ужъ навѣрное онъ насчетъ его распоряженіе сдѣлалъ!

Больной отвернулся и тяжело вздыхалъ.

— Не сдѣлалъ? ну, и тѣмъ лучше, мой другъ! По закону — оно даже справедливѣе. Вѣдь не чужимъ, а своимъ же приснымъ достанется. Я, вотъ, на что ужъ хилъ — одной ногой въ могилѣ стою! а все-таки думаю: зачѣмъ

же мнѣ распоряженіе дѣлать, коль скоро законъ за меня распорядиться можетъ. И вѣдь какъ это хорошо, голубчикъ! Ни свары, ни зависти, ни кляузъ... законъ!

Это было ужасно. Павлу Владимірычу почудилось, что онъ заживо уложенъ въ гробъ, что онъ лежитъ словно скованный, въ летаргическомъ снѣ, не можетъ ни однимъ членомъ пошевелинуть и выслушиваетъ, какъ кровопивецъ ругается надъ тѣломъ его.

— Уйди... ради Христа... уйди! — началъ онъ наконецъ молить своего мучителя.

— Ну-ну-ну! успокойся! уйду! Знаю, что ты меня не любишь... Стыдно, мой другъ, очень стыдно родного брата не любить! Вотъ я такъ тебя люблю! И дѣтямъ всегда говорю: хотъ братъ Павелъ и виноватъ передо мной, а я его все-таки люблю. Такъ ты, значитъ, не дѣлалъ распоряженій — и прекрасно, мой другъ! Бываетъ, впрочемъ, иногда, что и при жизни капиталъ растащатъ, особенно кто безъ родныхъ, одинъ... ну, да ужъ я поприемлю... А? чтѣ? надоѣлъ я тебѣ? Ну, ну, такъ и быть, уйду! Дай, только Богу помолюсь?

Онъ всталъ, сложилъ ладони и наскоро пошепталъ.

— Прощай, другъ! не безпокойся! Почивай-себѣ хорошохонько — можетъ, и дастъ Богъ! А мы съ маменькой потолкуемъ да поговоримъ — можетъ быть, чтѣ и попридумаемъ! Я, братъ, постынькаго себѣ къ обѣду изготавить просилъ... рыбки солёненькой, да грибовъ, да капустки — такъ ты ужъ меня извини! Чтѣ? или опять надоѣлъ? Ахъ, братъ, братъ!.. ну-ну, уйду, уйду! Главное, мой другъ, не тревожься, не волнуй себя — спи себѣ да почивай! Хрр... хрр... — шутливо поддразнилъ онъ въ заключеніе, рѣшаясь наконецъ уйти.

— Кровопивецъ! — раздалось ему вслѣдъ такимъ пронзительнымъ крикомъ, что даже онъ почувствовалъ, что его словно обожгло.

Покуда Порфирій Владимірычъ растабарываетъ на антресоляхъ, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокругъ себя молодежь (не безъ цѣли что-нибудь вывѣдать) и бесѣдуетъ съ нею.

— Ну, ты какъ? — обращается она къ старшему внуку, Петинкѣ.

— Ничего, бабушка; вотъ на будущій годъ въ офицеры выйду.

— Выйдешь ли? который ужъ ты годъ общаешь! Экзамены, что-ли, у васъ трудные — Богъ тебя знаетъ!

— Онъ, бабушка, на послѣднихъ экзаменахъ изъ „Начатковъ“ сръзался. Батюшка спрашиваетъ: „что есть Богъ?“ а онъ: „Богъ есть духъ... и есть духъ... и святому духу“...

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный! какъ же это ты такъ? Вотъ онъ, сироты — и то, чай, знаютъ!

— Еще бы! Богъ есть духъ невидимый... — спѣшить блеснуть своими познаніями Аннинька.

— Его же никто же не видѣ нигдѣ же, — перебиваетъ Любинька.

— Всевѣдущій, всеблагій, всемогущій, вездѣсущій, — продолжаетъ Аннинька.



— Камо пойду отъ духа Твоего и отъ лица Твоего камо бѣжу? аще възду на небо — тамо еси, аще сниду во адъ — тамо еси...

— Вотъ и ты бы такъ отвѣчалъ — съ эполетами теперь былъ бы. А ты, Володя, что съ собой думаешь?

Володя багровѣетъ и молчить.

— Тоже, видно: „и святому духу“! Ахъ, дѣтки, дѣтки! На видъ какіе вы шустрные, а никакъ науку преодолѣть не можете. И добро бы отецъ у васъ баловникъ былъ... Что, какъ онъ теперь съ вами?

— Все тоже, бабушка.

— Колотить? А я вѣдь слышала, что онъ пересталъ драться-то?

— Меньше, а все-таки... А главное, надоѣдаетъ ужъ очень.

— Этого я что-то ужъ и не понимаю. Какъ это отецъ надоѣдать можетъ?

— Очень, бабушка, надоѣдаетъ. Ни уйти безъ спросу нельзя, ни взять что-нибудь... совсѣмъ подлость!

— А вы бы спрашивались! языкъ-то, чай, не отвалится!

— Нѣтъ ужъ. Съ нимъ только заговори — онъ потомъ и не отвяжется. Постой да погоди, потихоньку да полегоньку... Ужъ очень, бабушка, скучно онъ разговариваетъ!

— Онъ, бабушка, за нами у дверей подслушиваетъ. Только на дняхъ его Петинька и накрылъ...

— Ахъ вы, проказники! Что жъ онъ?

— Ничего. Я ему говорю: это — не дѣло, папенька, у дверей подслушивать; пожалуй, недолго и носъ вамъ расквасить! А онъ: „ну-ну! ничего, ничего! я, братъ, яко татъ въ нощи!“

— Онъ, бабушка, на дняхъ яблоко въ саду поднялъ да къ себѣ въ шкапикъ и положилъ, а я взялъ да и сѣлъ. Такъ онъ потомъ искалъ его, искалъ, всѣхъ людей къ допросу требовалъ...

— Что это! скупъ, что-ли, онъ очень сдѣлался?

— Нѣтъ, и не скупъ, а такъ какъ-то... пустяками все занимается. Бумажки прячетъ, паданцевъ ищетъ...

— Онъ всякое утро проскомидію у себя въ кабинетѣ служить, а потомъ намъ по кусочку просвиры даетъ... черетвой-пречеретвой! Только мы однажды съ нимъ штуку сдѣлали: подсмотрѣли, гдѣ у него просвиры лежатъ, надрѣзали въ просвирѣ дно, вынули мякишъ да чухонскаго масла и положили!..

— Однакожъ вы тоже... головорѣзы!

— Нѣтъ, вы представьте на другой день его удивленье! Просвира да еще съ масломъ!

— Чай, на порядкахъ досталось вамъ?

— Ничего... Только цѣлый день плевался и все словно про себя говорилъ: „шельмы!“ Ну, мы, разумѣется, на свой счетъ не приняли. А вѣдь онъ, бабушка, васъ боится!

— Чего меня бояться... не пугало, чай!

— Боится — это вѣрно; думаетъ, что вы проклянете его. Онъ этихъ проклятѣевъ — страхъ какъ трусить!

Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: „а что, ежели въ самомъ дѣлѣ... прокляну? такъ-таки возьму да и прокляну... проклинаю!!“ Потомъ, на смѣну этой мысли, поступаетъ другой, болѣе насущный вопросъ: „что-то Гудушка? какія-то продѣлки онъ тамъ, наверху, продѣлываетъ? такъ, чай, и извивается!“ Наконецъ ее осѣняетъ счастливая мысль.

— Володя! — говорить она: — ты, голубчикъ, лѣгонькій! сходилъ бы потихоньку да послушалъ бы, что у нихъ тамъ?

— Съ удовольствіемъ, бабушка.

Володенька на цыпочкахъ направляется къ дверямъ и исчезаетъ въ нихъ.

— Какъ это вы къ намъ сегодня надумали? — начинается Арина Петровна допрашивать Петиньку.

— Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала съ нарочнымъ сказать, что докторъ былъ и что не нынче, такъ завтра дядя непременно умереть долженъ.

— Ну, а насчетъ наслѣдства... былъ у васъ разговоръ?

— Мы, бабушка, цѣлый день все объ наслѣдствахъ говоримъ. Онъ все рассказываетъ, какъ прежде, еще до дѣдушки было... даже Горюшкино, бабушка, помнитъ. „Вотъ, говоритъ, кабы у тетеньки Варвары Михайловны дѣтей не было — намъ бы Горюшкино-то принадлежало! И дѣти-то, говоритъ, Богъ знаетъ отъ кого — ну, да не намъ другихъ судить! У ближняго сучокъ въ глазу видимъ, а у себя бревна не замѣчаемъ... такъ-то, брать!“

— Ишь вѣдь какой! Замужемъ, чай, тетенька-то была; коли что и было — все мужъ прикрылъ!

— Право, бабушка. И всякій разъ, какъ мы мимо Горюшкина ѣдемъ, всякій-то разъ онъ эту исторію поднимаетъ! „И бабушка Наталья Владиміровна, говоритъ, изъ Горюшкина взята была — по всѣмъ бы правамъ ему въ Головлеvesкомъ родѣ быть должно; анъ папенька покойникъ за сестрою въ приданое отдалъ! А дыни, говоритъ, какія въ Горюшкинѣ росли! По двадцати фунтовъ вѣсу — вотъ какія дыни!“

— Ужъ въ двадцать фунтовъ! чтой-то я объ такихъ не слыхивала! Ну, а насчетъ Дубровина какія его предположенія?

— Тоже въ этомъ родѣ. Арбузы да дыни... пустяки все! Въ послѣднее время, впрочемъ, все спрашивалъ: „а какъ вы, дѣтки, думаете — великъ у брата Павла капиталъ?“ Онъ, бабушка, ужъ давно все вычислилъ: и выкупной ссуды сколько, и когда имѣніе въ опекункій совѣтъ заложено, и сколько долгу уплачено... Мы и бумажку видѣли, на которой онъ вычисленія дѣлалъ, только мы ее, бабушка, унесли... Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть съ ума не свели! Онъ ее въ столъ положить, а мы возьмемъ да въ шкапъ переложимъ; онъ въ шкапу на ключъ запретъ, а мы подберемъ ключъ, да въ просвиры засунемъ... Разъ онъ въ баню мыться пошелъ — смотреть, а на полкѣ бумажка лежитъ!

— Веселье у васъ тамъ!

Возвращается Володенька; всѣ глаза устремляются на него.

— Ничего не слыхать, — сообщаетъ онъ шопотомъ: — только и слышно,



что отецъ говоритъ: „безболѣзненны, непостыдны, мирны“, а дядя ему: „уйди, кровопивецъ!“

— А насчетъ „распоряженія“... не слыхалъ?

— Кажется, было что-то, да не разобралъ... Очень ужъ, бабушка, плотно отецъ дверь захлопнулъ. Жужжить—и только. А потомъ дядя вдругъ какъ крикнетъ: „у-уй-дди!“ Ну, я поскорѣй-поскорѣй, да и сюда!

— Хоть бы сиротамъ...—тоскуетъ въ раздумьи Арина Петровна.

— Ужъ если отцу достанется, онъ, бабушка, никому ничего не дастъ, —удостоверяетъ Петинька:—я даже такъ думаю, что онъ и насъ-то наслѣдства лишитъ.

— Не въ могилу же съ собой унесетъ!

— Нѣтъ, а какое-нибудь средство выдумаетъ. Онъ намеренъ не даромъ съ попомъ поговаривалъ: „а что, говоритъ, батюшка, еслибы вавилонскую башню выстроить—много на это денегъ потребуется?“

— Ну, это онъ такъ... можетъ, изъ любопытства...

— Нѣтъ, бабушка, проектъ у него какой-то есть. Не на вавилонскую башню, такъ въ Аѳонъ пожертвуетъ, а ужъ намъ не дастъ!

— А большое, бабушка, у отца имѣніе будетъ, когда дядя умретъ? —любопытствуетъ Володенька.

— Ну, это еще Богу извѣстно, кто прежде кого умретъ.

— Нѣтъ, бабушка, отецъ навѣрное разсчитываетъ. Давеча, только мы до дубровинской ямы доѣхали, онъ даже картузъ снялъ, перекрестился: „слава Богу, говоритъ, опять по своей землѣ поѣдемъ!“

— Онъ, бабушка, все ужъ распредѣлилъ. Лѣсокъ увидалъ: „вотъ говорить, кабы на хозяина—ахъ, хорошъ бы былъ лѣсокъ!“ Потомъ на покосецъ посмотрѣлъ: „ай-да покосецъ! смотри-ка, смотри-ка, стоговъ-то что наставлено! тутъ прежде конный заводецъ былъ“.

— Да, да... и лѣсокъ, и покосецъ—все ваше, голубчики, будетъ!—вздыхаетъ Арина Петровна.—Батюшки! да никакъ на лѣстницѣ-то скрипнуло!

— Тихе, бабушка, тихе! Это онъ... яко татъ въ нощи... у дверей подслушиваетъ.

Наступаетъ молчаніе; но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхаетъ и шепчетъ про себя: „ахъ, дѣтки, дѣтки!“ Молодые люди въ упоръ глядятъ на сиротокъ, словно пожрать ихъ хотятъ; сиротки молчатъ и завидуютъ.

— А вы, кузина, мамзель Лотаръ видѣли?—заговариваетъ Петинька. Аннинька и Любинька взглядываютъ другъ на друга, точно спрашиваютъ, изъ исторіи это или изъ географіи.

— Въ „Прекрасной Еленѣ“... она на театрѣ Елену играетъ.

— Ахъ, да... Елена... это Парисъ? „Будучи прекрасенъ и молодъ, онъ разжегъ сердца богинь“... знаемъ! знаемъ!—обрадовалась Любинька.

— Это, это самое и есть. А какъ она: *cas-ca-ader*, *ca-as-cader* выдѣлывается... прелестъ!

— У насъ давеча докторъ все „кувыркомъ“ пѣлъ.

— „Кувыркомъ“ — это покойная Лядова... вотъ, кузина, прелестъ-то

была! Когда умерла, такъ тысячи двѣ человѣкъ за гробомъ шли... думали, что революція будетъ!

— Да ты объ театрахъ, что-ли, болтаешь!—вмѣшивается Арина Петровна:—такъ имъ, мой другъ, не по театрамъ ѣздить, а въ монастырь...

— Вы, бабушка, все насъ въ монастырѣ похоронить хотите!—жалуется Аннинька.

— А вы, кузина, вмѣсто монастыря-то въ Петербургъ укатите! Мы вамъ тамъ все покажемъ!

— У нихъ, мой другъ, не удовольствія на умѣ должны быть, а божественное,—продолжаетъ наставительно Арина Петровна.

— Мы ихъ, бабушка, въ Сергіеву пустынь на лихачѣ прокатимъ—вотъ и божественное будетъ.

У сиротокъ даже глазки разгорѣлись и кончики носиковъ покраснѣли при этихъ словахъ.

— А какъ, говорятъ, поютъ у Сергія!—восклицаетъ Аннинька.

— Съ тѣмъ ужъ, кузина, возьмите. *Трисвятую пѣснь припѣвающе*—даже отецъ такъ не споетъ. А потомъ мы бы васъ по всѣмъ тремъ Подъяческимъ покатали.

— Мы бы васъ, кузина, всему-всему научили! Въ Петербургѣ вѣдь такихъ, какъ вы, барышень очень много: ходятъ да каблучками постукиваютъ.

— Развѣ что этому научите!—вступается Арина Петровна:—ужъ оставьте вы ихъ, Христа ради... учителя! Тоже учить собрались... наукамъ, должно быть! Вотъ я съ ними, какъ Павелъ умереть, въ Хотьковъ уѣду... и такъ-то мы тамъ заживемъ!

— А вы все сквернословите!—вдругъ раздалось въ дверяхъ.

Посреди разговора никто и не слыхалъ, какъ подкрался Іудушка, ѣздитъ въ ноши. Онъ весь въ слезахъ, голова поникла, лицо блѣдно, руки сложены на груди, губы шепчутъ. Нѣкоторое время онъ ищетъ глазами образа, наконецъ находитъ и съ минуту возноситъ свой духъ.

— Плохъ! ахъ, какъ плохъ!—наконецъ восклицаетъ онъ, обнимая милого друга маменьку.

— Неужто ужъ такъ?

— Очень-очень дурень, голубушка... А помните, какимъ онъ прежде молодцомъ былъ!

— Ну, когда же молодцомъ?... Что-то я этого не помню!

— Ахъ, нѣтъ, маменька, не говорите! Всегда онъ... я какъ сейчасъ помню, какъ онъ изъ корпуса вышелъ: стройный такой, широкоплечій, кровь съ молокомъ... Да, да! Такъ-то, мой другъ маменька! Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ! сегодня и здоровы, и сильны, и пожить бы, и пожуировать бы; и сладенькаго скушать, а завтра...

Онъ махнулъ рукой и умилился.

— Поговорилъ ли онъ, по крайней мѣрѣ?

— Мало, голубушка; только и молвилъ: „прощай, братъ!“ А вѣдь онъ, маменька, чувствуетъ! чувствуетъ, что ему плохо приходится!

— Будешь, батюшка, чувствовать, какъ грудь-то ходуномъ ходитъ!

— Нѣтъ, маменька, я не объ томъ. Я объ прозорливости; прозорливость,



говорятъ, человѣку дана; который человѣкъ умираетъ—всегда тотъ зараньше чувствуетъ. Вотъ грѣшникамъ—тѣмъ въ этомъ утѣшеніи отказано.

— Ну-ну! объ „распоряженіи“ не говорилъ ли чего?

— Нѣтъ, маменька. Хотѣлъ онъ что-то сказать, да я остановилъ. Нѣтъ, говорю, нечего объ распоряженіяхъ разговаривать! Чтѣ ты мнѣ, братъ, по милости своей, оставишь — я всѣмъ буду доволенъ, а ежели и ничего не оставишь — и даромъ за упокой помяну! А какъ ему, маменька, пожить-то хочется! такъ хочется! такъ хочется!

— И всякому пожить хочется!

— Нѣтъ, маменька, вотъ я объ себѣ скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня къ себѣ—хоть сейчасъ готовъ!

— Хорошо, какъ къ Богу, а ежели къ сатанѣ угодишь?

Въ такомъ духѣ разговоръ длится и до обѣда, и во время обѣда, и послѣ обѣда. Аринѣ Петровнѣ даже на стулѣ не сидится отъ нетерпѣнія. По мѣрѣ того, какъ Іудушка растабарываетъ, ей все чаще и чаще приходитъ на мысль: „а что, ежели... прокляну?“ Но Іудушка даже и не подозреваетъ того, что въ душѣ матери происходитъ цѣлая буря; онъ смотритъ такъ ясно и продолжаетъ себѣ потихоньку да полегоньку притѣнять милаго друга маменьку своей безнадежною канителью.

— Прокляну! прокляну! прокляну!—все рѣшительнѣе да рѣшительнѣе повторяетъ про себя Арина Петровна.

Въ комнатахъ пахнетъ ладаномъ; по дому раздается протяжное пѣніе; двери отворены настежь; желающіе поклониться покойному приходятъ и уходятъ. При жизни никто не обращалъ вниманія на Павла Владимірыча, со смертію его—всѣмъ сдѣлалось жалко. Припоминали, что онъ „никого не обидѣлъ“, „никому грубаго слова не сказалъ“, „ни на кого не взглянулъ косо“. Всѣ эти качества, казавшіяся прежде отрицательными, теперь представлялись чѣмъ-то положительнымъ, и изъ неясныхъ обрывковъ обычнаго похороннаго празднословія вырисовывался типъ „добраго барина“. Многие въ чемъ-то раскаивались, сознавались, что по временамъ пользовались простотою покойнаго въ ущербъ ему—да вѣдь кто же зналъ, что этой простотѣ такъ скоро конецъ настанетъ! Жила-жила простота, думали, что ей и вѣку не будетъ, а она вдругъ... А была бы жива простота—и теперь бы ее накаливали: накаливай, ребята! чтѣ дуракамъ въ зубы смотрѣть! Одинъ мужичокъ принесъ Іудушкѣ три цѣлковыхъ и сказалъ:

— Должокъ за мной покойному Павлу Владимірычу былъ. Записокъ промежду насъ не было—такъ вотъ!

Іудушка взялъ деньги, похвалилъ мужичка и сказалъ, что онъ эти три цѣлковыхъ на маслицо для „неугасимой“ отдастъ.

— И ты, дружокъ, будешь видѣть, и всѣ будутъ видѣть, а душа покойнаго радоваться будетъ. Можетъ, онъ что-нибудь и вымолитъ *тамъ* для тебя! Ты и не ждешь—анъ вдругъ тебѣ Богъ счастье пошлетъ!

Очень возможно, что въ мірской оцѣнкѣ качествъ покойнаго неясно участвовало и сравненіе. Іудушку не любили. Не то чтобы его нельзя было

обойти, а очень ужъ онъ пустяки любилъ, надоѣдалъ да приставаля. Даже земельные участки немногіе рѣшились у него кортомить, потому что онъ сдаетъ участокъ, да за каждый лишній запаханный или закошенный вершокъ, за каждую пропущенную минуту въ уплатѣ долга сейчасъ начнетъ съемщика по судамъ таскать. Многихъ онъ такъ-то затаскалъ и самъ ничего не выигралъ (его привычку кляузничать такъ вездѣ знали, что, почти не разбирая дѣлъ, отказывали въ его претензіяхъ), и народъ волокитами да прогулами разорилъ. „Не купи двора, а купи сосѣда“, говоритъ пословица, а у всѣхъ на знати, каковъ сосѣдъ—головлевскій баринъ. Нужды нѣтъ, что мировой тебя оправитъ, онъ тебя своимъ судомъ, сатанинскимъ, изведетъ. И такъ-какъ злость (даже не злость, а скорѣе нравственное окостенѣніе), прикрытая лицемеріемъ, всегда наводитъ какой-то суетвѣрный страхъ, то новые „сосѣди“ (Гудушка очень привѣтливо называетъ ихъ „сосѣдушками“) боязливо кланялись въ поясъ, проходя мимо кровопивца, который весь въ черномъ стоялъ у гроба съ сложенными ладонями и воздѣтыми вверхъ глазами.

Покуда покойникъ лежалъ въ домѣ, домашніе ходили на цыпочкахъ, заглядывали въ столовую (тамъ, на обѣденномъ столѣ, былъ поставленъ гробъ), качали головами, шептались. Гудушка притворялся чуть-живымъ, шаркалъ по корридору, заходилъ къ „покойничку“, умилялся, поправлялъ на гробѣ покровъ и шептался съ станowymъ приставомъ, который составлялъ описи и прикладывалъ печати. Петинька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свѣчки, подавали кадило и проч. Аннинька и Любинька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпѣвали дьячкамъ на панихидахъ. Дворовыя женщины, въ черныхъ каленкоровыхъ платьяхъ, утирали передниками раскраснѣвшіеся отъ слезъ носы.

Арина Петровна тотчасъ же, какъ послѣдовала смерть Павла Владимірыча, ушла въ свою комнату и заперлась тамъ. Ей было не до слезъ, потому что она сознавала, что сейчасъ же должна была на что-нибудь рѣшиться. Остаться въ Дубровинѣ она и не думала... „ни за что!“—слѣдовательно предстояло одно: ѣхать въ Погорѣлку, имѣніе сиротъ, то самое, которое нѣкогда представляло „кусокъ“, выброшенный ею непочтительной дочери Аннѣ Владиміровнѣ. Принявши это рѣшеніе, она почувствовала себя облегченною, какъ будто Гудушка вдругъ и навсегда потерялъ всякую власть надъ нею. Спокойно пересчитала пятипроцентные билеты (капиталу оказалось: своего пятнадцать тысячъ, да столько же сиротскаго, ею накопленнаго) и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денегъ, чтобы привести погорѣлковскій домъ въ порядокъ. Затѣмъ немедленно послала за погорѣлковскимъ старостой, отдала нужныя приказанія насчетъ найма плотниковъ и присылки въ Дубровино подводъ за ея и сиротскими пожитками, велѣла готовить тарантась (въ Дубровинѣ стоялъ ея *собственный* тарантась, и она имѣла *доказательства*, что онъ ея *собственный*) и начала укладываться. Къ Гудушкѣ она не чувствовала ни ненависти, ни расположенія: ей просто сдѣлалось противно съ нимъ дѣло имѣть. Даже ѣла она неохотно и мало, потому что съ нынѣшняго дня приходилось ѣсть уже не Павлово, а Гудушкино. Нѣсколько разъ Порфирій Владимірычъ заглядывалъ въ ея комнату, чтобъ покалякать съ милымъ другомъ маменькой (онъ очень хорошо понималъ



ея приготовленія къ отъѣзду, но дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаетъ), но Арина Петровна не допускала его.

— Ступай, мой другъ, ступай!—говорила она:—мнѣ некогда.

Черезъ три дня у Арины Петровны все было уже готово къ отъѣзду. Отстояли обѣдню, отиѣли и схоронили Павла Владимірыча. На похоронахъ все произошло точно такъ, какъ представляла себѣ Арина Петровна въ то утро, какъ Іудушкѣ пріѣхать въ Дубровино. Именно такъ крикнулъ Іудушка: „прощай, братъ!“ когда опускали гробъ въ могилу, именно такъ же обратился онъ вслѣдъ затѣмъ къ Улитушкѣ и торопливо сказалъ:

— Кутью-то! кутью-то не позабудьте взять! да въ столовой на чистенькую скатертцу поставьте... чай, и въ домѣ братца помянуть придется!

Къ обѣду, который по обычаю былъ поданъ сейчасъ какъ пришли съ похоронъ, были приглашены три священника (въ томъ числѣ отецъ благочинный) и дьяконъ. Дьячкамъ была устроена особая трапеза въ прихожей. Арина Петровна и сироты вышли въ дорожномъ платьѣ, но Іудушка и тутъ сдѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ. Подойдя къ закускѣ, Порфирій Владимірычъ попросилъ отца благочиннаго благословить яствіе и питіе, затѣмъ налилъ себѣ и духовнымъ отцамъ по рюмкѣ водки, умилился и произнесъ:

— Новопреставленному! вѣчная память! Ахъ, братъ, братъ! оставилъ ты насъ! а кому бы, кажется, и пожить, какъ не тебѣ. Дурной ты братъ! нехорошій!

Сказалъ, перекрестился и выпилъ. Потомъ опять перекрестился и проглотилъ кусочекъ икры, опять перекрестился—и балыка отвѣдалъ.

— Кушайте, батюшка!—убѣждалъ онъ отца благочиннаго:—все это — запасы покойнаго братца! любилъ покойникъ покушать! И самъ хорошо кушалъ, а еще больше другихъ любилъ угостить! Ахъ, братъ, братъ! оставилъ ты насъ! Нехорошій ты, братъ! недобрый!

Словомъ сказать, такъ зарапортовался, что даже позабылъ объ маменькѣ. Только тогда вспомнилъ, какъ ужъ рыжичковъ зачерпнулъ и совсѣмъ-было собрался ложку въ ротъ отправить.

— Маменька! голубчикъ! — всполошился онъ: — а я-то, простофиля, уписываю—ахъ, грѣхъ какой! Маменька! закусочки! рыжичковъ-то, рыжичковъ! Дубровинскіе вѣдь рыжички-то! знаменитые!

Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой въ отвѣтъ и не двинулась. Казалось, она съ любопытствомъ къ чему-то прислушивалась. Какъ будто какой-то свѣтъ пролился у нея передъ глазами, и вся эта комедія, къ повторенію которой она съ малолѣтства привыкла, въ которой сама всегда участвовала, вдругъ показалась ей совсѣмъ новою, невиданною.

Обѣдъ начался съ родственныхъ пререканій. Іудушка настаивалъ, чтобы маменька на хозяйское мѣсто сѣла; Арина Петровна отказывалась.

— Нѣтъ, ты здѣсь хозяинъ, ты и садись куда тебѣ хочется! — сухо проговорила она.

— Вы—хозяйка! вы, маменька, вездѣ хозяйка! и въ Головлевахъ, и въ Дубровинѣ—вездѣ!—убѣждалъ Іудушка.

— Нѣтъ ужъ! садись! Гдѣ мнѣ хозяйкой Богъ приведетъ быть, тамъ я и сама сяду гдѣ вздумается! а здѣсь ты хозяинъ—ты и садись!

— Такъ мы вотъ чтò сдѣлаемъ! — умилился Іудушка: — мы хозяйскій-то приборъ незанятымъ оставимъ! Какъ будто братъ здѣсь невидимо съ нами сотрапезуетъ... онъ — хозяинъ, а мы гостями будемъ!

Такъ и сдѣлали. Покуда разливали супъ, Іудушка, выбравъ приличный сюжетъ, начинаетъ бесѣду съ батюшками, преимущественно впрочемъ обращая рѣчь къ отцу благочинному.

— Вотъ многіе нынче въ безсмертіе души не вѣрятъ... а я вѣрю! — говорить онъ.

— Ужъ это развѣ отчаянные какіе-нибудь! — отвѣтилъ отецъ благочинный.

— Нѣтъ, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы человѣкъ самъ собою... Живетъ-это, и вдругъ — умеръ!

— Очень ужъ много этихъ наукъ нынче развелось — поубавить бы! Наукамъ вѣрять, а въ Бога не вѣрять. Даже мужики — и тѣ въ ученые норовятъ.

— Да, батюшка, правда ваша. Хотятъ, хотятъ въ ученые попасть. У меня вотъ наголовскіе: ѣсть нечего, а намеднись приговоръ написали — училище открывать хотятъ... ученые!

— Противъ всего нынче науки пошли. Противъ дождя — наука, противъ вѣдра — наука. Прежде, бывало, подпросту: придутъ да молебень отслужатъ — и дастъ Богъ. Вѣдро нужно — вѣдро Господь пошлетъ; дождя нужно — и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А съ тѣхъ поръ какъ по наукѣ начали жить — словно вотъ отрѣзало: все пошло безо времени. Сѣять нужно — засуха, косить нужно — дождикъ!

— Правда ваша, батюшка, святая ваша правда. Прежде, какъ Богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожаи-то были не нынѣшніе, самъ-четверть да самъ-пять — сторицею давала земля. Вотъ, маменька, чай, помнить? Помните, маменька? — обращается Іудушка къ Аринѣ Петровнѣ съ намѣреніемъ и ее вовлечь въ разговоръ.

— Не слыхала, чтобъ въ нашей сторонѣ... Ты, можетъ, объ ханаанской землѣ читалъ — тамъ, сказываютъ, дѣйствительно это бывало, — сухо отзывается Арина Петровна,

— Да, да, да, — говоритъ Іудушка, какъ бы не слыша замѣчанія матери: — въ Бога не вѣрятъ, безсмертія души не признаютъ... а жрать хотятъ!

— Именно — только бы жрать бы, да пить бы! — вторилъ отецъ благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтобы положить на тарелку кусокъ поминальнаго пирога.

Всѣ принимаются за супъ; нѣкоторое время только и слышится, какъ лязгаютъ ложки объ тарелки да фыркаютъ поны, дуя на горячую жидкость.

— А вотъ католики, — продолжаетъ Іудушка, переставая ѣсть: — такъ тѣ хотя безсмертія души и не отвергаютъ, но взаимно того говорятъ, будто бы душа не прямо въ адъ или въ рай попадаетъ, а на нѣкоторое время... въ среднее какое-то мѣсто постукаетъ.

— И это опять неосновательно.

— Какъ бы вамъ сказать, батюшка... — задумывается Порфирій Владиміръ: — коли начать говорить съ точки зрѣнія...



— Нечего объ пустякахъ говорить. Святая церковь какъ поетъ? Поетъ: „въ мѣстѣ злачномъ, въ мѣстѣ прохладномъ, идѣже нѣсть ни печали, ни воздыханія“... Объ какомъ же тутъ „среднемъ“ мѣстѣ еще разговаривать!

Гудушка, однакожь, не вполне соглашается и хочетъ кой-что возразить. Но Арина Петровна, которую начинаетъ ужъ коробить отъ этихъ разговоровъ, останавливаетъ его.

— Ну, ужъ, ѣшь, ѣшь... богословъ! и супъ, чай, давно простылъ! — говорить она и, чтобы переменить разговоръ, обращается къ отцу благочинному: — съ рожью-то, батюшка, убрались?

— Убрался, сударыня; нынче рожь хороша, а вотъ яровые — не общаются! Овсы зерна не успѣли порядкомъ налить, а ужъ мѣшаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя.

— Вездѣ нынче на овсы жалуются! — вздыхаетъ Арина Петровна, слѣдя за Гудушкой, какъ онъ вычерпываетъ ложкой остатки супа.

Подаютъ другое кушанье: ветчину съ горошкомъ. Гудушка пользуется этимъ случаемъ, чтобъ возобновить прерванный разговоръ.

— Вотъ жида этого кушанья не ѣдятъ, — говоритъ онъ.

— Жиды — пакостники, — отзывается отецъ благочинный: — ихъ за это свинымъ ухомъ дразнятъ.

— Однакожь, вотъ и татары... Какая-нибудь причина этому да есть.

— И татары тоже пакостники — вотъ и причина.

— Мы конины не ѣдимъ, а татары — свиной брезгаютъ. Вотъ въ Парижѣ, сказываютъ, крысъ во время осады ѣли.

— Ну, тѣ — французы!

Такимъ образомъ идетъ весь обѣдъ. Подаютъ карасей въ сметанѣ — Гудушка объясняетъ:

— Кушайте, батюшка! Это — караси особенные: покойный братецъ ихъ очень любилъ!

Подаютъ спаржу — Гудушка говоритъ:

— Вотъ это такъ спаржа! Въ Петербургѣ за такую спаржу рубликъ серебромъ платить надо. Покойный братецъ самъ за нею ухаживалъ! Вотъ она, Богъ съ ней, толстая кака!

У Арины Петровны такъ и кипитъ сердце: цѣлый часъ прошелъ, а обѣдъ только въ половинѣ. Гудушка словно нарочно медлитъ: поѣстъ, потомъ положить ножикъ и вилку, покалякаетъ, потомъ опять поѣстъ, и опять покалякаетъ. Сколько разъ, въ бывалое время, Арина Петровна крикивала за это на него: „да ѣшь же, прости Господи, сатана!“ — да, видно, онъ позабылъ маменькины наставленія. А можетъ быть и не позабылъ, а нарочно дѣлаетъ, мститъ. А можетъ быть даже и не мститъ сознательно, а такъ нутро его, отъ природы ехидное, играетъ. Наконецъ подали жаркое; въ ту самую минуту, какъ всѣ встали и отецъ дьяконъ затянулъ „о блаженномъ успеніи“ — въ корридорѣ поднялась возня, послышались крики, которые совсѣмъ уничтожили эффектъ заукойнаго возгласа.

— Чтѣ тамъ за шумъ? — крикнулъ Порфирій Владиміръчъ: — въ кабакъ, что-ли, забрались?

— Не кричи, сдѣлай милость! Это я... это мои сундуки перетаскива-

ють, — отозвалась Арина Петровна и не безъ ироніи прибавила: — будешь, что-ли, осматривать?

Всѣ вдругъ смолкли, даже Іудушка не нашелся и поблѣднѣлъ. Онъ впрочемъ сейчасъ же сообразилъ, что надо какъ-нибудь замѣять непріятную апострофу матери и, обратясь къ отцу благочинному, началъ:

— Вотъ тетеревъ, напрімѣръ... Въ Россіи ихъ множество, а въ другихъ странахъ...

— Да ѣшь, Христа ради: намъ вѣдь двадцать-пять верстѣ ѣхать; надо засвѣтло поспѣвать, — прервала его Арина Петровна: — Петинька! поторопи тамъ, голубчикъ, чтобъ пирожное подавали!

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Порфирій Владимірычъ живо доѣлъ свой кусокъ тетереви и сидѣлъ блѣдный, постукивая ногой въ полъ и вздрагивая губами.

— Обижаете вы меня, добрый другъ маменька! крѣпко вы меня обижаете! — наконецъ произноситъ онъ, не глядя впрочемъ на мать.

— Кто тебя обидитъ! И чѣмъ это я такъ... крѣпко тебя обидѣла?

— Очень, очень обидно... такъ обидно! такъ обидно! Въ такую минуту... уѣзжать!.. Все жили да жили... и вдругъ... И наконецъ эти сундуки... осмотрѣть... Обидно!

— Ужъ коли ты хочешь все знать, такъ я могу и отвѣтъ дать. Жила я тутъ, покуда сынъ Павелъ былъ живъ; умеръ онъ — я и уѣзжаю. А что касается до сундуковъ, такъ Улитка давно за мной, по твоему приказанью, слѣдитъ. А по мнѣ, лучше прямо сказать матери, что она въ подозрѣніи состоитъ, нежели, какъ змѣя, изъ-за чужой спины на нее шипѣть.

— Маменька! другъ мой! да вы... да я... — простоналъ Іудушка.

— Будетъ! — не дала ему продолжать Арина Петровна: — я высказалась.

— Но чѣмъ же, другъ мой, я могъ...

— Говорю тебѣ: я высказалась — и оставь. Отпусти меня, ради Христа, съ миромъ. Тарантасъ, чу, готовъ.

Дѣйствительно, на дворѣ раздались бубенчики и стукъ подъѣзжающаго экипажа. Арина Петровна первая встала изъ-за стола; за ней поднялись и прочіе.

— Ну, теперь присядемте на минутку, да и въ путь! — сказала она, направляясь въ гостиную.

Посидѣли, помолчали, а тѣмъ временемъ Іудушка совсѣмъ ужъ успѣлъ оправиться.

— А не то пожили бы, маменька, въ Дубровинѣ... посмотрите-ка, какъ здѣсь хорошо! — сказалъ онъ, глядя матери въ глаза съ ласковостью провинившагося пса.

— Нѣтъ, мой другъ, будетъ! не хочу я тебѣ, на прощаніе, непріятнаго слова сказать... а нельзя мнѣ здѣсь оставаться! Нѣ у чего! Батюшка! помолимтесь!

Всѣ встали и помолились; затѣмъ Арина Петровна со всѣми перецѣловалась, всѣхъ благословила, по родственному, и, тяжело ступая ногами, направилась къ двери. Порфирій Владимірычъ, во главѣ всѣхъ домашнихъ,



проводилъ ее до крыльца, но тутъ, при видѣ тарантаса, его смутилъ бѣсъ любомудрія. „А тарантасъ-то вѣдь братцевъ!“ блеснуло у него въ головѣ.

— Такъ увидимся, добрый другъ маменька! — сказалъ онъ, подсаживая мать и искоса поглядывая на тарантасъ.

— Коли Богъ велитъ... отчего же и не увидѣться!

— Ахъ, маменька, маменька! проказница вы — право! Велите-ка тарантасъ-то отложить, да съ Богомъ на старое гнѣздышко... право! — лебезилъ Іудушка.

Арина Петровна не отвѣчала; она совѣмъ ужъ усѣлась и крестное знаменіе даже сотворила, но сиротки что-то медлили.

А Іудушка между тѣмъ поглядывалъ да поглядывалъ на тарантасъ.

— Такъ тарантасъ-то, маменька, какъ же? вы сами доставите или прислать за нимъ прикажете? — наконецъ не выдержалъ онъ.

Арина Петровна даже затряслась вся отъ негодованія.

— Тарантасъ — мой! — крикнула она такимъ болѣзненнымъ крикомъ, что всѣмъ сдѣлалось и неловко, и совѣстно. — Мой! мой! мой тарантасъ! Я его... у меня доказательства... свидѣтели есть! А ты... а тебя... ну, да ужъ подожду... посмотрю, что дальше отъ тебя будетъ! Дѣти! долго ли?

— Помилуйте, маменька! я вѣдь не въ претензіи... Еслибъ даже тарантасъ былъ дубровинскій...

— Мой тарантасъ, мой! Не дубровинскій, а мой! не смѣй говорить... слышишь!

— Слушаю, маменька... Такъ вы, голубушка, не забывайте насъ... попросту, знаете, безъ затѣй! Мы къ вамъ, вы къ намъ... по родственному!

— Сѣли, что-ли? трогай! — крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя.

Тарантасъ дрогнулъ и покатился мелкой рысцой по дорогѣ. Іудушка стоялъ на крыльцѣ, махалъ платкомъ и, покуда тарантасъ не скрылся совѣмъ изъ виду, кричалъ ему велѣдъ:

— По родственному! Мы къ вамъ! вы къ намъ... по родственному!

### III.—Семейные итоги.

Никогда не приходило Аринѣ Петровнѣ на мысль, что можетъ наступить минута, когда она будетъ представлять собой „лишній ротъ“ — и вотъ эта минута подкралась и подкралась именно въ такую пору, когда она въ первый разъ въ жизни практически убѣдилась, что нравственныя и физическія ея силы подорваны. Такія минуты всегда приходятъ внезапно; хотя чловѣкъ, быть можетъ, ужъ давно надломленъ, но все-таки еще перемогается и стоитъ — и вдругъ откуда-то сбоку наносится послѣдній ударъ. Подстеречь этотъ ударъ, сознать его приближеніе очень трудно; приходится просто и безмолвно покориться ему, ибо это — тотъ самый ударъ, который недавняго бодрого чловѣка мгновенно и безапелляціонно превращаетъ въ развалину.

Тяжело было положеніе Арины Петровны, когда она, разорвавши съ Іудушкой, поселилась въ Дубровинѣ; но тогда она по крайней мѣрѣ знала, что Павелъ Владиміръчъ хоть и косо смотритъ на ея вторженіе, но все-таки онъ человѣкъ достаточный, для котораго лишній кусокъ не много значить. Теперь дѣло приняло совсѣмъ иной оборотъ: она стояла во главѣ такого хозяйства, гдѣ всѣ „куски“ были на счету. А она знала цѣну этимъ „кускамъ“, ибо, проведя всю жизнь въ деревнѣ, въ общеніи съ крестьянскимъ людомъ, вполне усвоила себѣ крестьянское представленіе объ ущербѣ, который наноситъ „лишній ротъ“ хозяйству, и безъ того уже скудному.

Тѣмъ не менѣе, первое время по переселеніи въ Погорѣлку она еще бодрилась, хлопотливо устраивалась на новомъ мѣстѣ и выказывала прежнюю ясность хозяйственныхъ соображеній. Но хозяйство въ Погорѣлкѣ было суетливое, мелочное, требовало ежеминутнаго личнаго присмотра, и хотя сторяча ей показалось, что достигнуть точнаго учета тамъ, гдѣ изъ полущекъ составляются гроши, а изъ грошей гривенники, не составляетъ никакой мудрости, однако скоро она должна была сознаться, что это — убѣжденіе ошибочное. Мудрости, дѣйствительно, не было, но и не было ни прежней охоты, ни прежнихъ силъ. Къ тому же дѣло происходило осенью, въ самый разгаръ хозяйственныхъ итоговъ, а между тѣмъ время стояло ненастное и полагало невольный предѣлъ усердію Арины Петровны. Явились старческія немощи, не дозволявшія выходить изъ дома; настали длинные, тоскливые осенніе вечера, осуждавшіе на фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сдѣлать.

Съ другой стороны она не могла не замѣтить, что и съ сиротами дѣлается что-то неладное. Онѣ вдругъ заскучали и опустили головы. Какіе-то смутные планы будущаго волновали ихъ — планы, въ которыхъ представленія о трудѣ шли въ перемежку съ представленіями объ удовольствіяхъ, конечно самаго невиннаго свойства. Тутъ были и воспоминанія объ институтѣ, въ которомъ онѣ воспитывались, и вычитанныя урывками мысли о людяхъ труда, и робкая надежда, съ помощью институтскихъ связей, ухватиться за какую-то нить и при ея пособіи войти въ свѣтлое царство человѣческой жизни. Надъ всей этой смутностью, тѣмъ не менѣе, господствовала одна щемящая и очень опредѣленная мысль: во что бы ни стало уйти изъ постылой Погорѣлки. И вотъ, въ одно прекрасное утро, Аннинька и Любинька объявили бабушкѣ, что долѣе оставаться въ Погорѣлкѣ не могутъ и не хотятъ. Что это ни на что не похоже, что онѣ въ Погорѣлкѣ никого не видятъ, кромѣ попа, который къ тому же постоянно, при свиданіи съ ними, почему-то заговариваетъ о дѣвахъ, погасившихъ свои свѣтильники, и что вообще — „такъ нельзя“. Дѣвицы говорили рѣзко, ибо боялись бабушки, и тѣмъ больше напускали на себя храбрости, чѣмъ больше ждали съ ея стороны гнѣвной вспышки и отпора. Но, къ удивленію, Арина Петровна выслушала ихъ сѣтованія не только безъ гнѣва, но даже не выказавъ поползновенія къ безплоднымъ поученіямъ, на которыя такъ таровата безсильная старость. Увы! это была ужъ не та властная женщина, которая во времена дны съ увѣренностью говаривала: „уѣду въ Хотьковъ и внучать съ собой возьму“. И не одно старческое безиліе участвовало въ этой перемѣнѣ, но и пониманіе чего-то лучшаго, болѣе справед-



ливаго. Послѣдніе удары судьбы не просто смирили ее, но еще освѣтили въ ея умственномъ кругозорѣ нѣкоторые уголки, въ которые мысль ея повидимому никогда дотолѣ не заглядывала. Она поняла, что въ человѣческомъ существѣ кроются извѣстныя стремленія, которыя могутъ долго дремать, но, разъ проснувшись, уже неотразимо влекутъ человѣка туда, гдѣ прорѣзывается лучъ жизни, тотъ отрадный лучъ, появленіе котораго такъ давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящаго. И, разъ понявъ законность подобнаго стремленія, она ужъ была безсильна противодѣйствовать ему. Правда, она отговаривала внучекъ отъ ихъ намѣренія, но слабо, безъ убѣжденія; она беспокоилась насчетъ ожидающаго ихъ будущаго, тѣмъ болѣе, что сама не имѣла никакихъ связей въ такъ-называемомъ свѣтѣ, но въ то же время чувствовала, что разлука съ дѣвушками есть дѣло должное, неизбежное. Что съ ними будетъ?—этотъ вопросъ вставалъ передъ ней назойливо и ежеминутно; но вѣдь ни этимъ вопросомъ, ни даже болѣе страшными не удержишь того, кто рвется на волю. А дѣвушки только о томъ и твердили, чтобъ вырваться изъ Погорѣлки. И дѣйствительно, послѣ немногихъ колебаній и отерочекъ, сдѣланныхъ въ угоду бабушкѣ, уѣхали.

Съ отъѣздомъ сиротъ погорѣлковскій домъ окунулся въ какую-то безнадежную тишину. Какъ ни сосредоточенна была Арина Петровна по природѣ, но близость человѣческаго дыханія производила и на нее успокоительное дѣйствіе. Проводивши внучекъ, она, можетъ быть, въ первый разъ почувствовала, что отъ ея существа что-то оторвалось и что она разомъ получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видѣла передъ собой, кромѣ пустого пространства. Чтобъ какъ-нибудь скрыть въ собственныхъ глазахъ эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадныя комнаты и мезонинъ, въ которомъ жили сироты („кстати и дровъ меньше выходить будетъ“, думала она при этомъ), а для себя отдѣлила всего двѣ комнаты, изъ которыхъ въ одной помѣщался большой кіотъ съ образами, а другая представляла въ одно и то же время спальную, кабинетъ и столовую. Прислугу тоже, ради экономіи, распустила, оставивъ при себѣ только старую, едва таскающую ноги ключницу Афишьку да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала бѣлье. Но всѣ эти предосторожности помогли мало: ощущеніе пустоты не замедлило проникнуть и въ тѣ двѣ комнаты, въ которыхъ она думала отгородиться отъ него. Безпомощное одиночество и унылая праздность — вотъ два врага, съ которыми она очутилась лицомъ къ лицу и съ которыми отнынѣ обязывалась коротать свою старость. А вслѣдъ за ними не заставила себя ждать и работа физическаго и нравственнаго разрушенія, работа тѣмъ болѣе жестокая, чѣмъ меньше отпора даетъ ей праздная жизнь.

Дни чередовались днями съ тѣмъ удручающимъ однообразіемъ, которыми такъ богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортомъ, ни хозяйственнымъ трудомъ, ни матеріаломъ, дающимъ пищу для ума. Независимо отъ внѣшнихъ причинъ, дѣлавшихъ личный хозяйственный трудъ недоступнымъ, Арина Петровна и внутренне сдѣлалась противною та грошовая суета, которая застигла ее подъ конецъ жизни. Можетъ быть, она бы и перемогла свое отвращеніе, еслибъ была въ виду цѣль, которая оправдывала бы

ея усилія, но именно цѣли-то и не было. Всѣмъ она опостылѣла, надоѣла, и ей все и всѣ опостылѣли, надоѣли. Прежняя лихорадочная дѣятельность вдругъ уступила мѣсто сонливой праздности, а праздность мало-по-малу развратила волю и привела за собой такія наклонности, о которыхъ, конечно, и во снѣ не снилось Аринѣ Петровнѣ за нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Изъ крѣпкой и сдержанной женщины, которую никто не рѣшался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлаго, ни будущаго, а существовала только минута, которую предстояло прожить.

Днемъ она болѣею частью дремала. Сядетъ въ кресло передъ столомъ, на которомъ разложены вонючія карты, и дремлетъ. Потомъ вздрогнетъ, проснется, взглянетъ въ окно и долго, безъ всякой сознательной мысли, не отрываетъ глазъ отъ разстилающейся безъ конца дали. Погорѣлка была печальная усадьба. Она стояла, какъ говорится, на тычкѣ, безъ сада, безъ тѣни, безъ всякихъ признаковъ какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Домъ былъ одноэтажный, словно придавленный, и весь почернѣвшій отъ времени и непогодъ; сзади расположены были немногочисленные службы, тоже приходившія въ ветхость, а кругомъ стлались поля, поля безъ конца; даже лѣсу на горизонтѣ не было видно. Но такъ-какъ Арина Петровна съ дѣтства почти безвыѣздно жила въ деревнѣ, то эта бѣдная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорила ей сердцу и пробуждала остатки чувствъ, которыя въ ней теплились. Лучшая часть ея существа жила въ этихъ нагихъ и безконечныхъ поляхъ и взоры инстинктивно искали ихъ во всякое время. Она вглядывалась въ полевую даль; вглядывалась въ эти измокшія деревни, которыя въ видѣ черныхъ точекъ пестрѣли тамъ и сямъ на горизонтѣ; вглядывалась въ бѣлыя церкви сельскихъ погостовъ; вглядывалась въ пестрыя пятна, которыя бродячія въ лучахъ солнца облака рисовали на равнинѣ полей; вглядывалась въ этого неизвѣстнаго мужика, который шелъ между полевыхъ бороздъ, а ей казалось, что онъ словно застылъ на одномъ мѣстѣ. Но при этомъ она ни о чемъ не думала или, лучше сказать, у нея были мысли, до того разорванныя, что ни на чемъ не могли остановиться на болѣе или менѣе продолжительное время. Она только глядѣла, глядѣла до тѣхъ поръ, пока старческая дремота не начинала вновь гудѣть въ ушахъ и не заволакивала туманомъ и поля, и церкви, и деревни, и бредущаго вдали мужика.

Иногда она повидимому припоминала, но память прошлаго возвращалась безъ связи, въ формѣ обрывковъ. Вниманіе ни на чемъ не могло сосредоточиться и непрерывно перебѣгало отъ одного далекаго воспоминанія къ другому. По временамъ однакожъ ее поражало что-нибудь особенное, не радость—на радости прошлое ея было до жестокости скупо—а обида какая-нибудь, горькая, непереносная. Тогда внутри ея словно загоралось, тоска заползала въ сердце и слезы подступали къ глазамъ. Она начинала плакать, плакала тяжело, съ болью, плакала такъ, какъ плачетъ жалкая старость, у которой слезы льются точно подъ тяжестью кошмара. Но покуда слезы лились, бессознательная мысль продолжала свое дѣло и незамѣтно для Арины Петровны отвлекала ее отъ источника, породившаго печальное настроеніе,



такъ что черезъ нѣсколько минутъ старуха и сама съ удивленіемъ спрашивала себя, чтѣ такое случилось съ нею.

Вообще она жила, какъ бы не участвуя лично въ жизни, а единственно въ силу того, что въ этой развалинѣ еще хоронились какіе-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще на-лицо, жизнь шла своимъ чередомъ, заставляя развалину производить всѣ внѣшнія отправленія, какія необходимы для того, чтобъ это полусонное существованіе не разсыпалось въ прахъ.

Но ежели дни проходили въ безсознательной дремотѣ, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна боялась: боялась воровъ, привидѣній, чертей, словомъ—всего, чтѣ составляло продуктъ ея воспитанія и жизни. А защита противъ всего этого была плохая, потому что, кромѣ ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорѣлковскій штатъ весь воплощался въ лицѣ хроменькаго мужичка Оедосѣюшки, который за два рубля въ мѣсяцъ приходилъ съ села сторожить по ночамъ господскую усадьбу и обыкновенно дремалъ въ сѣнахъ, выходя въ урочные часы, чтобъ сдѣлать нѣсколько ударовъ въ чугунную доску. Хотя же на скотномъ дворѣ и жило нѣсколько работниковъ и работницъ, но скотная изба отстояла отъ дома саженьхъ въ двадцати, и вызвать оттуда кого-нибудь было дѣломъ далеко не легкимъ.

Есть что-то тяжелое, удручающее въ безсонной деревенской ночи. Часовъ съ девяти или много-много съ десяти жизнь словно прекращается и наступаетъ тишина, наводящая страхъ. И дѣлать нечего, да и свѣчей жалъ—поневолѣ приходится лечь спать. Афимьюшка, какъ только сняли со стола самоваръ, по привычкѣ, приобретенной еще при крѣпостномъ правѣ, постелила войлокъ поперекъ двери, ведущей въ барынину спальную; затѣмъ почесалась, позѣвала, и какъ только повалилась на полъ, такъ и замерла. Марковна возилась въ дѣвичьей нѣсколько долѣе и все что-то бормотала, кого-то ругала; но вотъ, наконецъ, и она притихла, и черезъ минуту ужъ слышно, какъ она поочередно то храпитъ, то бредитъ. Сторожъ нѣсколько разъ звякнулъ въ доску, чтобы заявить о своемъ присутствіи, и умолкъ надолго. Арина Петровна сидитъ передъ нагорѣвшей сальной свѣчой и пробуетъ разогнать сонъ пасьянсомъ; но едва принимается она за раскладываніе картъ, какъ дремота начинаетъ одолевать ее. „Того и гляди, еще пожаръ со сна надѣлаешь!“ говоритъ она сама съ собою и рѣшается лечь въ кровать. Но едва успѣла она утонуть въ пуховикахъ, какъ приходитъ другая бѣда: сонъ, который цѣлый вечеръ такъ и манилъ, такъ и ломалъ, вдругъ совсѣмъ исчезъ. Въ комнатѣ и безъ того натоппено; изъ открытаго душника жаръ такъ и валитъ, а отъ пуховиковъ атмосфера дѣлается просто нестерпимою. Арина Петровна ворочается съ боку на бокъ, и хочется ей покликать кого-нибудь, и знаетъ она, что на ея кличъ никто не придетъ. Загадочная тишина царитъ вокругъ—тишина, въ которой настороженное ухо умѣетъ отличить цѣлую массу звуковъ. То хлопнуло гдѣ-то, то раздался вдругъ вой, то словно кто-то прошелъ по корридору, то пролетѣло по комнатѣ какое-то дуновеніе и даже по лицу задрѣло. Лампадка горитъ передъ образомъ и свѣтомъ своимъ сообщаетъ предметамъ какой-то обманчивый характеръ—точно это не предметы, а только

очертанія предметовъ. Рядомъ съ этимъ сомнительнымъ свѣтомъ является другой, выходящій изъ растворенной двери сосѣдней комнаты, гдѣ передъ кѣтомъ зажжены четыре или пять лампадъ. Этотъ свѣтъ желтымъ четырехугольникомъ легъ на полу, словно врѣзался въ мракъ спальни, не сливаясь съ нимъ. Всюду тѣни, колеблющіяся, беззвучно движущіяся. Вотъ мышь заскреблась за обоями; „шт, поскудная!“ крикнетъ на нее Арина Петровна — и опять все смолкнетъ. Опять тѣни, опять неизвѣстно откуда берущіеся шопотъ. Въ чуткой, болѣзненной дремотѣ проходитъ бѣлая часть ночи, и только къ утру сонъ настоящимъ образомъ вступаетъ въ свои права. А въ шесть часовъ утра Арина Петровна ужъ на ногахъ, измученная бессонной ночью.

Ко всѣмъ этимъ причинамъ, достаточно обрисовывающимъ жалкое существованіе, которое вела Арина Петровна, присоединялись еще двѣ: скудность питанія и неудобства помѣщенія. Бѣла она мало и дурно, вѣроятно думая этимъ наверстать ущербъ, производимый въ хозяйствѣ недостаточностью надзора. Что же касается до помѣщенія, то погорѣлковскій домъ былъ ветхъ и сыръ, а комната, въ которой заперлась Арина Петровна, никогда не освѣжалась и по цѣлымъ недѣлямъ оставалась неубранною. И вотъ, среди этой полной безпомощности, среди отсутствія всякаго комфорта и ухода, приближалась дряхлость.

Но чѣмъ больше она дряхлѣла, тѣмъ сильнѣе сказывалось въ ней желаніе жизни. Или, лучше сказать, не столько желаніе жизни, сколько желаніе „полакомиться“, сопряженное съ совершеннымъ отсутствіемъ идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь — какъ будто совсѣмъ позабыла объ ней. И такъ-какъ ея жизненные идеалы немногимъ разнились отъ идеаловъ любого крестьянина, то и представленіе о „хорошемъ житіи“, которымъ она себя обольщала, было довольно низменнаго свойства. Все, въ чемъ она отеазывала себя въ теченіе жизни — хорошій кусокъ, покой, бесѣда съ живыми людьми — все это сдѣлалось предметомъ самыхъ упорныхъ помышленій. Всѣ наклонности завзятой приживалки — празднословіе, льстивая угодливость ради подачки, прожорливость — росли съ изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами съ несвѣжей солониной — и въ это время мечтала о головлевскихъ запасахъ, о карасяхъ, которые водились въ дубровинскихъ прудахъ, о грибахъ, которыми полны были головлевскіе лѣса, о птицѣ, которая откармливалась въ Головлевъ на скотномъ дворѣ. „Сущу бы теперь съ гусинымъ потрохомъ или рыжичковъ бы въ сметанѣ“, мелькало въ ея головѣ, мелькало до того живо, что даже углы губъ у нея опускались. Ночью она ворочалась съ боку на бокъ, замирала отъ страха при каждомъ шорохѣ и думала: „вотъ въ Головлевъ и запоры крѣпкіе, и сторожа вѣрные, стучать себя да постукиваютъ въ доску не устаючи — спи себя какъ у Христа за пазушкой!“ Днемъ ей по цѣлымъ часамъ приходилось ни съ кѣмъ не вымолвить слова, и во время этого невольнаго молчанія само собой приходило на умъ: „вотъ въ Головлевъ — тамъ людно, тамъ есть и душу съ кѣмъ отвести!“ Словомъ сказать, ежеминутно припоминалось Головлево, и по мѣрѣ этихъ припоминачій оно дѣлалось чѣмъ-то въ родѣ свѣтозарнаго пункта, въ которомъ сосредоточивалось „хорошее житіе“.



И чѣмъ чаще смущалось воображеніе представленіемъ о Головлевъ, тѣмъ сильнѣе развращалась воля и тѣмъ дальше уходили въ глубь недавнія кровныя обиды. Русская женщина, по самому складу ея воспитанія и жизни, слишкомъ легко мирится съ участію приживалки, а потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ея прошлое предостерегало и оберегало ее отъ этого ита. Не сдѣлай она „въ то время“ ошибки, не отдѣли сыновей, не довѣрся Іудушкѣ, она бы была и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы всѣхъ смотрѣть изъ ея рукъ. Но такъ-какъ ошибка была сдѣлана безповоротно, то переходъ отъ брюзжаній самодурства къ покорности и лъстивости приживалки составлялъ только вопросъ времени. Покуда силы сохраняли остатки прежней крѣпости, переходъ не выказывался наружу, но какъ только она себя сознала безвозвратно осужденною на беспомощность и одиночество, такъ тотчасъ же въ душу начали заползать всѣ поползновенія малодушія и мало-по-малу окончательно развратили и безъ того уже расшатанную волю. Іудушка, который въ первое время, пріѣзжая въ Погорѣлку, встрѣчалъ тамъ лишь самый холодный пріемъ, вдругъ пересталъ быть ненавистнымъ. Старыя обиды забылись какъ-то само собой, и Арина Петровна первая сдѣлала шагъ къ сближенію.

Началось съ выпрашиваній. Изъ Погорѣлки являлись къ Іудушкѣ гонцы сначала рѣдко, потомъ чаще и чаще. То рыжиковъ въ Погорѣлкѣ не родилось, то огурчики отъ дождя вышли съ пятнышками, то индюшки, по нынѣшнему вольному времени, переколѣли, „да приказалъ бы ты, сердечный другъ, карасиковъ въ Дубровинѣ половить, въ коихъ и покойный сынъ Павелъ старухѣ-матери никогда не отказывалъ“. Іудушка морщился, но открыто выражать неудовольствіе не рѣшался. Жаль ему было карасей, но онъ пуще всего боялся, что мать его проклянетъ. Онъ помнилъ, какъ она разъ говорила: „пріѣду въ Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: проклиная!“ — и это воспоминаніе останавливало его отъ многихъ пакостей, на которыя онъ былъ великій мастеръ. Но, выполняя волю „добраго друга маменьки“, онъ все-таки вскользь намекалъ своимъ окружающимъ, что всякому человѣку положено нести отъ Бога крестъ, и что это дѣлается не безъ цѣли, ибо, не имѣя креста, человѣкъ забывается и впадаетъ въ развратъ. Матери же писалъ такъ: „огурчиковъ, добрый другъ маменька, по силѣ возможности посылаю; что же касается до индюшекъ, то, сверхъ выпущенныхъ на племя, остались одни только пѣтухи, кои для васъ, по огромности ихъ и ограниченности вашего стола, будутъ бесполезны. А не угодно ли вамъ будетъ пожаловать въ Головлево раздѣлить со мною убогую трапезу: тогда мы одного изъ сихъ тунеядцевъ (именно тунеядцы, ибо мой поваръ Матвѣй преискусно оныхъ каплунить) велимъ зажарить и всласть съ вами, дражайшій другъ, покушаемъ“.

Съ этихъ поръ Арина Петровна зачастила въ Головлево. Отвѣдывала съ Іудушкой и индюшекъ, и утокъ; спала всласть и ночью, и послѣ обѣда, и отводила душу въ безконечныхъ разговорахъ о пустякахъ, на которые Іудушка былъ тароватъ по природѣ, а она сдѣлалась тароватою вслѣдствіе старости. Даже и тогда не прекратила посѣщеній, когда до нея дошло, что Іудушка, накучивъ продолжительнымъ вдовствомъ, взялъ къ себѣ въ экономки

дѣвицу изъ духовнаго званія, именемъ Евпраксію. Напротивъ того, узнавъ объ этомъ, она тотчасъ же поѣхала въ Головлево и, не успѣвъ еще вылѣзти изъ экипажа, съ какимъ-то ребяческимъ нетерпѣніемъ кричала Іудушкѣ: „а ну-ка, ну, старый грѣховодникъ! кажи мнѣ, кажи свою кралю! „Пѣлый этотъ день она провела въ полномъ удовольствіи, потому что Евпраксеюшка сама служила ей за обѣдомъ, сама постелила для нея постель послѣ обѣда, а вечеромъ она играла съ Іудушкой и его кралей въ дураки. Іудушка тоже былъ доволенъ такой развязкой и, въ знакъ сыновней благодарности, велѣлъ, при отѣздѣ Арины Петровны въ Поторѣлку, положить ей въ тарантасъ, между прочимъ, фунтъ икры, что было уже высшимъ знакомъ уваженія, ибо икра — предметъ не свой, а купленный. Этотъ поступокъ такъ тронулъ старуху, что она не вытерпѣла и сказала:

— Ну, вотъ за это спасибо! И Богъ тебя, милый дружокъ, будетъ любить за то, что мать, на старости лѣтъ, покоишь да холишь. По крайности, пріѣду ужъ въ Поторѣлку — не скучно будетъ. Всегда я икорку любила — вотъ и теперь, по милости твоей, полакомлюсь!

Прошло лѣтъ пять со времени переселенія Арины Петровны въ Поторѣлку. Іудушка, какъ засѣлъ въ своемъ родовомъ Головлевѣ, такъ и не двигается оттуда. Онъ значительно постарѣлъ, вылинялъ и потускнѣлъ, но шиленичаешь, лжетъ и пустословить еще пуще прежняго, потому что теперь у него почти постоянно подъ руками добрый другъ маменька, которая ради сладкаго старушечьяго куска сдѣлалась обязательной слушательницей его пустословія.

Не надо думать, что Іудушка былъ лицемеръ въ смыслѣ, напимѣръ, Тартюфа или любого современнаго французскаго буржуа, соловьемъ разсыпавшагося по части общественныхъ основъ. Нѣтъ, ежели онъ и былъ лицемеръ, то лицемеръ чисто русскаго пошиба, то-есть просто человѣкъ лишенный всякаго нравственнаго мѣрила и не знающій иной истины, кромѣ той, которая значится въ азбучныхъ прописяхъ. Онъ былъ невѣжественъ безъ границъ, сутяга, лгунъ, пустословъ и, въ довершеніе всего, боялся чорта. Все это — такія отрицательныя качества, которыя отнюдь не могутъ дать прочнаго матеріала для дѣйствительнаго лицемерія.

Во Франціи лицемеріе вырабатывается воспитаніемъ, составляетъ, такъ сказать, принадлежность „хорошихъ манеръ“ и почти всегда имѣетъ яркую политическую или соціальную окраску. Есть лицемеры религіи, лицемеры общественныхъ основъ, собственности, семейства, государственности, а въ послѣднее время народились даже лицемеры „порядка“. Ежели этого рода лицемеріе и нельзя назвать убѣжденіемъ, то во всякомъ случаѣ это — знамя, кругомъ котораго собираются люди, которые находятъ расчетъ полицемрить именно тѣмъ, а не инымъ способомъ. Они лицемерятъ сознательно, въ смыслѣ своего знамени, то-есть и сами знаютъ, что они лицемеры, да, сверхъ того, знаютъ, что это и другимъ безъизвѣстно. Въ понятіяхъ француза-буржуа вселенная есть не что иное, какъ обширная сцена, гдѣ дается безконечное театральное представленіе, въ которомъ одинъ лицемеръ подаетъ реплику



другому. Лицемѣріе, это—приглашеніе къ приличію къ декоруму, къ красивой внѣшней обстановкѣ, и что всего важнѣе: лицемѣріе—это узда. Не для тѣхъ, конечно, которые лицемѣрятъ, плавая въ высотахъ общественныхъ эмпиреевъ, а для тѣхъ, которые нелицемѣрно кипятъ на днѣ общественнаго котла. Лицемѣріе удерживаетъ общество отъ разнузданности страстей и дѣлаетъ послѣднюю привилегіей лишь самаго ограниченного меньшества. Пока разнузданность страстей не выходитъ изъ предѣловъ небольшой и плотно организованной корпораціи—она не только безопасна, но даже поддерживаетъ и питаетъ традиціи изящества. Изящное погибло бы, еслибъ не существовало извѣстнаго числа *cabinets particuliers*, въ которыхъ оно культивируется въ минуты, свободныя отъ культа официального лицемѣрія. Но разнузданность становится положительно опасною, какъ только она дѣлается общедоступною и соединяется съ предоставленіемъ каждому свободы предъ-являть свои требованія и доказывать ихъ законность и естественность. Тогда возникаютъ новыя общественныя наслоенія, которыя стремятся ежели не совсѣмъ вытѣснить старыя, то, по крайней мѣрѣ, въ значительной степени ограничить ихъ. Спросъ на *cabinets particuliers* до того увеличивается, что наконецъ возникаетъ вопросъ: не проще ли, на будущее время, совсѣмъ обходиться безъ нихъ? Вотъ отъ этихъ-то желательныхъ возникновеній и вопросовъ и оберегаетъ дирижирующіе классы французскаго общества то систематическое лицемѣріе, которое, не довольствуясь почвою обычая, переходитъ на почву легальности и изъ простой черты нравовъ становится закономъ, имѣющимъ характеръ принудительный.

На этомъ законѣ уваженія къ лицемѣрію основанъ, за рѣдкими исключеніями, весь современный французскій театръ. Герои лучшихъ французскихъ драматическихъ произведеній, то-есть тѣхъ, которыя пользуются наибольшимъ успѣхомъ именно за необыкновенную реальность изображаемыхъ въ нихъ житейскихъ пакостей, всегда улучать подъ конецъ нѣсколько свободныхъ минутъ, чтобъ подправить эти пакости громкими фразами, въ которыхъ объявляется святость и сладости добродѣтели. Адель можетъ въ продолженіе четырехъ актовъ всячески осквернять супружеское ложе, но въ пятомъ она непременно во всеуслышаніе заявить, что семейный очагъ есть единственное убѣжище, въ которомъ французскую женщину ожидаетъ счастье. Спросите себя: что было бы съ Аделью, еслибъ авторамъ вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять такихъ же актовъ, и вы можете безошибочно отвѣтить на этотъ вопросъ, что въ продолженіе слѣдующихъ четырехъ актовъ Адель опять будетъ осквернять супружеское ложе, а въ пятомъ опять обратится къ публикѣ съ тѣмъ же заявленіемъ. Да и нѣтъ надобности дѣлать предположенія, а слѣдуетъ только изъ *Théâtre Français* отправиться въ *Gymnase*, оттуда въ *Vaudeville* или въ *Variétés*, чтобъ убѣдиться, что Адель вездѣ одинаково оскверняетъ супружеское ложе и вездѣ же подъ конецъ объявляетъ, что это-то ложе и есть единственный алтарь, въ которомъ можетъ священнодѣйствовать честная французенка. Это до такой степени въѣлось въ нравы, что никто даже не замѣчаетъ, что тутъ кроется самое дурацкое противорѣчіе, что правда жизни является рядомъ съ правдою лицемѣрія и обѣ идутъ рука объ руку, до того перепутываясь между собой, что

становится затруднительнымъ сказать, которая изъ этихъ двухъ правдъ имѣетъ болѣе правъ на признаніе.

Мы, русскіе, не имѣемъ сильно окрашенныхъ системъ воспитанія. Насъ не муштрують, изъ насъ не вырабатываютъ будущихъ поборниковъ и пропагандистовъ тѣхъ или другихъ общественныхъ основъ, а просто оставляютъ расти, какъ крапива растетъ у забора. Поэтому между нами очень мало лицемѣровъ и очень много лгуновъ, пустосвятовъ и пустослововъ. Мы не имѣемъ надобности лицемѣрить ради какихъ-нибудь общественныхъ основъ, ибо никакихъ такихъ основъ не знаемъ и ни одна изъ нихъ не прикрываетъ насъ. Мы существуемъ совсѣмъ свободно, т. е. прозябаемъ, лжемъ и пустословимъ сами по себѣ, безъ всякихъ основъ.

Слѣдуетъ ли по этому случаю радоваться или соболѣзновать — судить объ этомъ не мое дѣло. Думаю, однакожъ, что если лицемѣріе можетъ внушить негодованіе и страхъ, то безпредметное лганье способно возбудить доuku и омерзѣніе. А потому самое лучшее — это, оставивъ въ сторонѣ вопросъ о преимуществахъ лицемѣрія сознательнаго передъ безсознательнымъ, или наоборотъ, запереться и отъ лицемѣровъ, и отъ лгуновъ.

И такъ, Гудушка — не столько лицемѣрь, сколько пакостникъ, лгунъ и пустословъ. Запершись въ деревнѣ, онъ сразу почувствовалъ себя на свободѣ, ибо нигдѣ, ни въ какой иной сферѣ, его наклонности не могли бы найти себѣ такого простора, какъ здѣсь. Въ Головлевѣ онъ ни откуда не встрѣчалъ не только прямого отпора, но даже малѣйшаго косвеннаго ограниченія, которое заставило бы его подумать: вотъ-деската и напакостилъ бы, да людей совѣстно. Ничье сужденіе не беспокоило, ничей нескромный взглядъ не тревожилъ — слѣдовательно не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сдѣлалась господствующею чертою его отношеній къ самому себѣ. Давнымъ-давно влекла его къ себѣ это полная свобода отъ какихъ-либо нравственныхъ ограниченій, и ежели онъ еще раньше не переѣхалъ на житье въ деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя болѣе тридцати лѣтъ въ тусклой атмосферѣ департамента, онъ приобрѣлъ всѣ привычки и вожелѣнія закоренѣлаго чиновника, не допускающаго, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною отъ переливанія изъ пустого въ порожнее. Но, взглянувъ въ дѣло пристальнѣе, онъ легко пришелъ къ убѣжденію, что міръ дѣлового бездѣльничества настолько подвиженъ, что нѣтъ ни малѣйшаго труда перенести его куда угодно, въ какую угодно сферу. И дѣйствительно, какъ только онъ поселился въ Головлевѣ, такъ тотчасъ же создалъ себѣ такую массу пустяковъ и мелочей, которую можно было, не переставая, переворачивать, безъ всякаго опасенія когда-нибудь исчерпать ее. Съ утра онъ садился за письменный столъ и принимался за занятія; во-первыхъ, считывалъ скотницу, ключницу прикащика, сперва на одинъ манеръ, потомъ на другой; во-вторыхъ, завелъ очень сложную отчетность, денежную и матеріальную, каждую копѣйку, каждую вещь заносилъ въ двадцати книгахъ, подводилъ итоги, то терялъ полкопѣйки, то цѣлую копейку лишнюю находилъ. Наконецъ брался за перо и писалъ жалобы къ мировому судѣй и къ посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имѣло всѣ внѣшнія формы усидчиваго, непосильнаго труда. Не на праздность жало-



вался Гудушка, а на то, что не успѣвалъ всего передѣлать, хотя цѣлый день корпѣлъ въ кабинетѣ, не выходя изъ халата. Груды тщательно подшитыхъ, но не обривизованныхъ рапортичекъ постоянно валялись на его письменномъ столѣ, и въ томъ числѣ цѣлая годовая отчетность скотницы Оеклы, дѣятельность которой съ перваго раза показалась ему подозрительной и которую онъ, тѣмъ не менѣе, никакъ не могъ найти свободную минуту учсть.

Всякая связь съ вѣншимъ міромъ была окончательно порвана. Онъ не получалъ ни книгъ, ни газетъ, ни даже писемъ. Одинъ сынъ его, Володенька, кончилъ самоубійствомъ; съ другимъ, Петинькой, онъ переписывался коротко и лишь тогда, когда посылалъ деньги. Пустая атмосфера невѣжественности, предразсудковъ и кропотливаго переливанія изъ пустого въ порожнее царилъ кругомъ него, и онъ не ощущалъ ни малѣйшаго поползновенія освободиться отъ нея. Даже о томъ, что Наполеонъ III уже не царствуетъ, онъ узналъ лишь черезъ годъ послѣ его смерти, отъ становаго пристава, но и тутъ не выразилъ никакого особеннаго ощущенія, а только перекрестился, пошенталь: „царство небесное!“ и сказалъ:

— А какъ былъ гордъ! Фу-ты! ну-ты! И то нехорошо, и другое неладно! Цари на поклонъ къ нему ѣздили, принцы въ передней дежурили! Ань Богъ-то взялъ, да въ одну минуту всѣ его мечтанія ниспровергъ!

Собственно говоря, онъ не зналъ даже, чтѣ дѣлается у него въ хозяйствѣ, хоть съ утра до вечера только и дѣлалъ, что считалъ да учитывалъ. Въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ всѣ качества закоренѣлаго департаментскаго чиновника. Представьте себѣ столоначальника, которому директоръ, подъ веселую руку, сказалъ бы: „любезный другъ! для моихъ соображеній необходимо знать, сколько Россія можетъ ежегодно производить картофеля—такъ потрудитесь сдѣлать подробное вычисленіе!“ Всталъ ли бы втупикъ столоначальникъ передъ подобнымъ вопросомъ? Задумался ли бы онъ, по крайней мѣрѣ, надъ пріемами, которые предстоитъ употребить для выполненія заказанной ему работы?—Нѣтъ, онъ поступилъ бы гораздо проще: начертилъ бы карту Россіи, разлиновалъ бы ее на совершенно-равные квадратики, доискался бы, какое количество десятинъ представляетъ собой каждый квадратикъ, потомъ зашелъ бы въ мелочную лавочку, узналъ, сколько сѣется на каждую десятину картофеля и сколько *среднимъ числомъ* получается, и въ заключеніе, при помощи Божіей и первыхъ четырехъ правилъ ариѳметики, пришелъ бы къ результату, что Россія, *при благопріятныхъ условіяхъ*, можетъ производить картофелю столько-то, а *при неблагопріятныхъ условіяхъ*—столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но навѣрное была бы помѣщена въ сто-второмъ томѣ какихъ-нибудь „Трудовъ“.

Даже экономку онъ выбралъ себѣ какъ разъ подходящую къ той обстановкѣ, которую создалъ. Дѣвица Евпраксія была дочь дьячка при церкви Николы-въ-Капелькахъ и представляла во всѣхъ отношеніяхъ чистѣйшій кладъ. Она не обладала ни быстротой соображенія, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамѣнъ того была работяща, безотвѣтна и не предъявляла почти никакихъ требованій. Даже тогда, когда онъ „приблизилъ“ ее къ себѣ—и тутъ она спросила только: можно ли ей, когда захо-

чется, кваску холоденькаго безъ спросу испить? — такъ что самъ Іудушка умилился ея безкорыстію и немедленно отдалъ въ ея распоряженіе, сверхъ кваса, двѣ кадушки моченыхъ яблоковъ, уволивъ ее отъ всякой по этимъ статьямъ отчетности. Наружность ея тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но въ глазахъ человѣка неприхотливаго и знающаго, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, бѣлое, лобъ узкій, обрамленный желтоватыми, негустыми волосами, глаза крупные, тусклые, носъ совершенно прямой, ротъ стертый, подернутый тою загадочною, словно куда-то убѣгающею улыбкой, какую можно встрѣтить на портретахъ, писанныхъ доморощенными живописцами. Вообще, ничего выдающагося, кромѣ развѣ спины, которая была до того широка и могуча, что у человѣка самаго равнодушнаго невольно поднималась рука, чтобы, какъ говорится, „дать дѣвкѣ разѣ“ между лопатокъ. И она знала это и не обижалась, такъ что когда Іудушка въ первый разъ слегка потрепалъ ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула.

Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, одинъ какъ другой, безъ всякихъ перемѣнъ, безъ всякой надежды на вторженіе свѣжей струи. Только прїѣздъ Арины Петровны нѣсколько оживлялъ эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирій Владимірычъ по началу морщился, завидѣвъ вдали маменькину повозку, то съ теченіемъ времени онъ не только привыкъ къ ея посѣщеніямъ, но и полюбилъ ихъ. Они удовлетворяли его страсти къ пустословію, ибо ежели онъ находилъ возможнымъ пустословить даже одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, по поводу разнообразныхъ счетовъ и отчетовъ, то пустословить съ добрымъ другомъ маменькой было для него еще поваднѣе. Собравшись вмѣстѣ, они съ утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всемъ: о томъ, какіе прежде бывали урожаи и какіе нынче бываютъ; о томъ, какъ прежде жилали помѣщики и какъ нынче живутъ, о томъ, что соль, что-ли, прежде лучше была, а только нѣтъ нынче прежняго огурца.

Эти разговоры имѣли то преимущество, что текли какъ вода и безъ труда забывались; слѣдовательно ихъ можно было возобновлять безъ конца съ такимъ же интересомъ, какъ будто они только сейчасъ въ первый разъ пущены въ ходъ. При этихъ разговорахъ присутствовала и Евпраксеюшка, которую Арина Петровна такъ полюбила, что ни на шагъ не отпускала отъ себя. Иногда, накучивъ бесѣдою, всѣ трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя въ дураки. Пробовали учить Евпраксеюшку въ вистъ съ болваномъ, но она не поняла. Громадный головлевскій домъ словно оживалъ въ такіе вечера. Во всѣхъ окнахъ свѣтились огни, мелькали тѣни, такъ что проѣзжіи могъ думать, что тутъ и невѣсть какое веселье затѣялось. Самовары, кофейники, закуски цѣлый день не сходили со стола. И сердце Арины Петровны веселилось и играло, и загашивалась она, вмѣсто одного дня, дня на три и на четыре. И даже, уѣзжая въ Погорѣлку, уже заранѣе придумывала поводъ, чтобы какъ-нибудь поскорѣ вернуться къ соблазнамъ головлевскаго „хорошаго житья“.



Ноябрь въ исходѣ; земля на неоглядное пространство покрыта бѣлымъ саваномъ. На дворѣ ночь и мятелица; рѣзкій, холодный вѣтеръ буровитъ снѣгъ, въ одно мгновеніе наметаетъ сугробы, захлестываетъ все, что попадется по пути, и всю окрестность наполняетъ воплемъ. Село, церковь, ближній лѣсъ — все исчезло въ снѣжной мглѣ, крутящейся въ воздухѣ; старинный головлевскій садъ могуче гудитъ. Но въ барскомъ домѣ свѣтло, тепло и уютно. Въ столовой стоитъ самоваръ, вокругъ котораго собрались: Арина Петровна, Порфирій Владимірьчъ и Евпраксеюшка. Въ сторонкѣ поставленъ ломберный столъ, на которомъ брошены истрепанные карты. Изъ столовой открытыя двери ведутъ, съ одной стороны, въ образную, всю залитую огнемъ зажженныхъ лампадъ, съ другой — въ кабинетъ барина, въ которомъ тоже теплится лампадка передъ образомъ. Въ жарко натопленныхъ комнатахъ душно, пахнетъ деревяннымъ масломъ и чадомъ самоварнаго угля. Евпраксея, усѣвшись противъ самовара, перемываетъ чашки и вытираетъ ихъ полотенцемъ. Самоваръ такъ и заливается: то загудитъ во всю мочь, то, словно, засыпать начнетъ и пронзительно засопитъ. Клубы пара вырываются изъ-подъ крышки и окутываютъ туманомъ чайникъ, ужъ съ четверть часа стоящій на конфоркѣ. Сидящіе бесѣдуютъ.

— А ну-ко, сколько ты разъ сегодня душой осталась? — спрашиваетъ Арина Петровна Евпраксеюшку.

— Не осталась бы, кабы сама не поддалась. Вамъ же удовольствіе сдѣлать хочу, — отвѣчаетъ Евпраксеюшка.

— Сказывай! Видѣла я, какое ты удовольствіе чувствовала, какъ я давеча подъ тебя тройками да пятерками подваливала. Я вѣдь не Порфирій Владимірьчъ: тотъ тебя балуетъ, все съ одной да съ одной ходитъ, а мнѣ, матушка, не изъ чего.

— Да еще бы вы плутовали!

— Вотъ ужъ этого грѣха за мной не водится!

— А кого я давеча поймала? кто семерку трефъ съ восьмеркой червей за пару спустить хотѣлъ? Ужъ это я сама видала, сама уличила!

Говоря это, Евпраксеюшка встаетъ, чтобъ снять съ самовара чайникъ и поворачивается къ Аринѣ Петровнѣ спиной.

— Экъ у тебя спина какая... Богъ съ ней! — невольно вырывается у Арины Петровны.

— Да, у нея спина... — машинально отзывается Гудушка.

— Спина да спина... безстыдники! И что моя спина вамъ сдѣлала!

Евпраксеюшка смотритъ направо и налево и улыбается. Спина — это ея конекъ. Давеча даже старикъ Савельичъ, поваръ, и тотъ заглядѣлся и сказалъ: „ишь ты спина! ровно плита!“ И она не пожаловалась на него Порфирію Владимірьчу.

Чашки поочередно наливаются чаемъ, и самоваръ начинаетъ утихать. А мятель разыгрывается пуще и пуще: то бѣлымъ снѣжнымъ ливнемъ ударитъ въ стекла оконъ, то кажимъ-то невыразимымъ плачемъ прокатится вдоль печного брова.

— Мятель-то, видно, взаправду взялась, — замѣчаетъ Арина Петровна: — визжитъ да повизгиваетъ!

— Ну, и пушай повизгиваетъ. Она повизгиваетъ, а мы здѣсь чаёкъ попиваемъ — такъ-то, другъ мой, маменька! — отзывается Порфирій Владиміръ.

— Ахъ, нехорошо теперь въ полѣ, коли кого этакая милость Божья застанетъ!

— Кому нехорошо, а намъ горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а намъ и свѣтлѣхонько, и теплѣхонько. Сидимъ да чаёкъ попиваемъ. И съ сахарцемъ, и со сливочками, и съ лимонцемъ. А захотимъ съ ромцемъ, и съ ромцемъ будемъ пить.

— Да, коли ежели теперича...

— Позвольте, маменька. Я говорю: теперича въ полѣ очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки — все замело. Опять же волки. А у насъ здѣсь и свѣтленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидимъ мы здѣсь да посиживаемъ, ладкомъ да миркомъ. Въ карточки захотѣлось поиграть — въ карточки поиграемъ, чайку захотѣлось попить — чайку попьемъ. Сверхъ нужды пить не станемъ, а сколько нужно, столько и выпьемъ. А отчего это такъ? Оттого, милый другъ маменька, что милость Божья не оставляетъ насъ. Кабы не Онъ, Царь Небесный — можетъ, и мы бы теперь въ полѣ плутали, и было бы намъ и темненько, и холодненько... Въ зипунешекѣ какомъ-нибудь, кушачокъ плохонькой, лаптишечки...

— Чтой-то ужъ и лаптишечки! Чай, тоже въ дворянскомъ званьи родились? какіе ни есть, а все-таки сапожники носимъ!

— А знаете ли вы, маменька, отчего мы въ дворянскомъ званьи родились? А все оттого, что милость Божья къ намъ была. Кабы не она, и мы сидѣли бы теперь въ избушечкѣ, да горѣла бы у насъ не свѣчка, а лучинка, а ужъ насчетъ чайку да кофейку — объ этомъ и думать бы не смѣли! Сидѣли бы, я бы лаптишечки ковырялъ, вы бы щецъ тамъ какихъ-нибудь пустынькихъ поужинать собирали, Евпраксеюшка бы краснѣ ткала... А можетъ быть, на бѣду, десятскій еще съ подводой бы выгналъ...

— Ну, и десятскій въ этакую пору съ подводой не нарядить!

— Какъ знать, милый другъ маменька! А вдругъ полки идутъ! Можетъ быть война или возмущеніе — чтобъ были полки въ срокъ на мѣстахъ! Вонъ, намеднись, становой сказывалъ мнѣ, Наполеонъ III померъ — навѣрное теперь французы куралесить начнутъ! Натурально, наши сейчасъ впередъ — ну, и давай, мужичокъ, подводку! Да въ стыть, да въ мятель, да въ бездорожицу — ни на что не посмотрятъ: поѣзжай, мужичокъ, коли начальство велитъ! А насъ съ вами покамѣстъ еще поберегутъ, съ подводой не выгонять!

— Это что и говоритъ! велика для насъ милость Божія!

— А я что же говорю? Богъ, маменька — все. Онъ намъ и дровецъ для тепла, и провизійцы для пропитанія — все Онъ. Мы-то думаемъ, что все сами, на свои деньги приобретаемъ, а какъ посмотримъ, да поглядимъ, да сообразимъ — все Онъ, все Богъ. И коли Онъ не захочетъ, ничего у насъ не будетъ. Я, вотъ, теперь хотѣлъ бы апельсинчиковъ, и самъ бы поѣлъ, и милаго дружка маменьку угостилъ бы, и всѣмъ бы по апельсинчику далъ, и деньги у меня есть, чтобъ апельсинчиковъ купить, взялъ бы вынулъ — давай! Ань Богъ говоритъ: тиру! вотъ я и сажу: филозѳъ безъ огурцовъ.



Всѣ смѣются.

— Разсказывайте! — отзывается Евпраксеюшка: — вонъ у меня дяденька пономаремъ у Успенья въ Песочномъ былъ; ужъ какъ, кажется, былъ къ Богу усерденъ — могъ бы Богъ что-нибудь для него сдѣлать! — а какъ застигла его въ полѣ мятелица—все равно замерзъ.

— И я про то же говорю. Коли захочетъ Богъ—замерзнетъ человѣкъ, не захочетъ — живъ останется. Опять и про молитву надо сказать: есть молитва угодная и есть молитва неугодная. Угодная—достигаетъ, а неугодная — все равно, что она есть, что ея нѣтъ. Можетъ, дяденькина-то молитва неугодная была—вотъ она и не достигла.

— Помнится, я въ двадцать-четвертомъ году въ Москву ѣздила—еще въ ту пору я Павломъ была тяжела — такъ ѣхала я въ декабрѣ мѣсяцѣ въ Москву...

— Позвольте, маменька. Вотъ я объ молитвѣ кончу. Человѣкъ обо всемъ молится, потому что ему всего нужно. И маслица нужно, и капустаки нужно, и огурчиковъ—ну, словомъ, всего. Иногда даже чего и не нужно, а онъ все, по слабости человѣческой, просить. Анъ Богу-то сверху видишь. Ты у Него маслица просишь, а Онъ тебѣ капустаки либо лучку дастъ; ты объ ведрышкѣ да объ тепленькой погодѣ хлопочешь, а Онъ тебѣ дождичка да съ градемъ пошлетъ. И долженъ ты это понимать и не роптать. Вотъ мы въ прошломъ сентябрѣ все морозцевъ у Бога просили, чтобъ озими у насъ не подопрѣли, анъ Богъ морозцу не далъ—ну, и сопрѣли наши озими.

— Еще какъ сопрѣли-то! — соболѣзнуетъ Арина Петровна: — въ Новинкахъ у мужичковъ все озимое поле хотъ брось. Придется весной перепахивать да яровымъ засѣвать.

— То-то вотъ и есть. Мы здѣсь мудрствуемъ да лукавимъ, и такъ прикинемъ, и этакъ примѣримъ, а Богъ разомъ, въ одинъ моментъ, всѣ наши планы-соображенія въ прахъ обратить. Вы, маменька, что-то хотѣли разсказать, что съ вами въ двадцать-четвертомъ году было?

— Что такое! нѣшто ужъ я позабыла! Должно быть, все объ ней же, объ милости Божьей. Не помню, мой другъ, не помню.

— Ну, Богъ дастъ, въ другое время вспомните. А покуда тамъ на дворѣ кутить да мутить, вы бы, милый другъ, вареньица покушали. Это — вишенки, головлевскія! Евпраксеюшка сама варила.

— И то ѣмъ. Вишенки-то мнѣ, признаться, теперь въ рѣдкость. Прежде, бывало, частенько-таки лакомливалась ими, ну, а теперь... Хороши у тебя въ Головлевахъ вишни: сочныя, крупныя; вотъ въ Дубровинѣ, какъ ни старались разводить—все несладки выходятъ. Да ты, Евпраксеюшка, французской-то водки клала въ варенье?

— Какъ не класть! какъ вы учили, такъ и дѣлала. Да вотъ я объ чемъ хотѣла спросить: вы какъ огурцы солите—кладете кардамону?

Арина Петровна на нѣкоторое время задумывается и даже руками разводитъ.

— Не помню, мой другъ; кажется, прежде и кардамону клала. Теперь — не кладу: теперь какое мое соленье! а прежде клала... даже очень хорошо помню, что клала! Да вотъ домой пріѣду, въ рецептахъ пороюсь, не найдутъ

Я вѣдь, какъ въ силахъ была, все примѣчала да записывала. Гдѣ что понравится, я сейчасъ все выпрошу, запишу на бумажку — да дома и пробую. Я одинъ разъ такой секретъ, такой секретъ достала, что тысячу рублей давали — не открываетъ тотъ человѣкъ, да и дѣло съ концомъ! А я ключницу четвертачекъ сунула — она мнѣ все до капли пересказала!

— Да, маменька, въ свое время вы-таки были... министр!

— Министръ не министръ, а могу Бога благодарить: не растранирила, а присовокупила. Вотъ и теперь поѣдаю отъ трудовъ своихъ праведныхъ: вишни-то въ Головлевъ вѣдь я развела!

— И спасибо вамъ за это, маменька, большое спасибо. Вѣчное спасибо и за себя, и за потомковъ — вотъ какъ!

Гудушка встаетъ, подходитъ къ маменькѣ и цѣлуетъ у нея ручку.

— И тебѣ спасибо, что мать покоишь! Да, хороши у тебя запасы, очень хороши!

— Чтѣ у насъ за запасы! вотъ у васъ бывали запасы, такъ это такъ. Сколько однихъ погребовъ было и нигдѣ ни одного мѣстечка пустого!

— Бывали у меня запасы — не хочу солгать, никогда не была бездомовницей. А что касается до того, что погребовъ было много, такъ вѣдь тогда и колесо большое было: ртовъ-то вдесятеро противъ нынѣшняго было. Одной дворни сколько — всякому припаси да всякаго накорми. Тому огурчика, тому кваску; понемножку да помаленьку — анъ, смотришь, и многонько всего изойдетъ.

— Да, хорошее было время. Всего тогда много было. И хлѣба, и фруктовъ — всего въ изобиліи!

— Навозу конили больше — оттого и родилось.

— Нѣтъ, маменька, и не отъ этого. А было Божье благословеніе — вотъ отъ чего. Я помню, однажды папенька изъ саду яблоко апортъ принесъ, такъ всѣ даже удивились: на тарелкѣ нельзя было умѣстить.

— Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошія, а чтобы такія были, въ тарелку величиной — этого не помню. Вотъ карася въ двадцать фунтовъ въ дубровинскомъ прудѣ въ ту коронацію изловили — это точно что было.

— И караси, и фрукты — все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иванъ-садовникъ выводилъ — вотъ какіе!

Гудушка сначала оттопыриваетъ руки, потомъ скругляетъ ихъ, причемъ дѣлаетъ видъ, что никакъ не можетъ обхватить.

— Бывали и арбузы. Арбузы, скажу тебѣ, другъ мой, къ году бываютъ. Иной годъ ихъ много, и они хороши; другой годъ и немного, и невкусны, а въ третій годъ и совсѣмъ ничего нѣтъ. Ну, и то еще надо сказать: чтѣ гдѣ поведется. Вонъ у Григорія Александрыча, въ Хлѣбниковѣ, ничего не родилось — ни ягодъ, ни фруктовъ, ничего. Однѣ дыни. Только ужъ и дыни бывали!

— Стало быть, ему на дыни милость Божья была!

— Да, ужъ конечно. Безъ Божьей милости нигдѣ не обойдешься, нигуда отъ нея не убѣжишь!

Арина Петровна ужъ выпила двѣ чашки и начинаетъ поглядывать на



ломберный столъ. Евпраксеюшка тоже такъ и горитъ нетерпѣніемъ сразиться въ дураки. Но планы эти разстраиваются по милости самой Арины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминаетъ.

— А вѣдь у меня новость есть, — объявляетъ она: — письмо вчера отъ сиротокъ получила.

— Молчали-молчали, да и откликнулись! Видно, туго пришлось; денегъ просять?

— Нѣтъ, не просять. Вотъ полюбуйся.

Арина Петровна достаетъ изъ кармана письмо и отдаетъ Іудушкѣ, который читаетъ:

„Вы, бабушка, больше намъ ни пидюшекъ, ни куръ не посылайте. Денегъ тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не въ Москвѣ, а въ Харьковѣ, поступили на сцену въ театръ, а лѣтомъ по ярмаркамъ будемъ ѣздить. Я, Аннинька, въ „Периколъ“ дебютировала, а Любинька — въ „Анютиныхъ глазкахъ“. Меня нѣсколько разъ вызывали, особенно послѣ сцены, гдѣ Перикола выходить на-веселѣ и поетъ: *я гото-о-ва, готова, готооова!* Любинька тоже очень понравилась. Жалованья мнѣ директоръ положилъ по сту рублей въ мѣсяцъ и бенефисъ въ Харьковѣ, а Любинькѣ — по семидесяти-пяти въ мѣсяцъ и бенефисъ лѣтомъ, на ярмаркѣ. Кромѣ того, подарки бываютъ отъ офицеровъ и отъ адвокатовъ. Только адвокаты иногда фальшивыя деньги даютъ, такъ нужно быть осторожной. И вы, милая бабушка, всѣмъ въ Погорѣлкѣ пользуйтесь, а мы туда никогда не приѣдемъ и даже не понимаемъ, какъ тамъ можно жить. Вчера первый снѣгъ выпалъ, и мы съ здѣшними адвокатами на тройкахъ ѣздили; одинъ на Плеваку похожъ — чудо, какъ хорошъ! Поставилъ на голову стаканъ съ шампанскимъ и плясалъ трепака — прелесть, какъ весело! Другой — не очень собой хорошъ, въ родѣ петербургскаго Языкова. Представьте, разстроилъ себѣ воображеніе чтеніемъ „Собранія лучшихъ русскихъ пѣсенъ и романсовъ“, и до того ослабъ, что даже въ судѣ падаетъ въ обморокъ. И такъ, почти каждый день проводимъ то съ офицерами, то съ адвокатами. Катаемся, въ лучшихъ ресторанахъ ѣдаемъ, ужинаемъ и ничего не платимъ. А вы, бабушка, ничего въ Погорѣлкѣ не жалѣйте, и что тамъ растетъ: хлѣбъ, цыплята, грибы — все кушайте. Мы бы и капиталъ съ удово...

„Прощайте! приѣхали наши кавалеры — опять на тройкахъ кататься зовутъ. Милка! божественная! Прощайте!

„Аннинька“.

„И я тоже — Любинька“.

— Тыфу! — отплеивается Іудушка, возвращая письмо.

Арина Петровна сидитъ задумавшись и нѣкоторое время не отвѣчаетъ.

— Вы имъ, маменька, ничего еще не отвѣчали?

— Нѣтъ еще, и письмо-то вчера только получила: съ тѣмъ и поѣхала къ вамъ, чтобъ показать, да вотъ за тѣмъ да за сѣмъ чуть было не позабыла.

— Не отвѣчайте. Лучше.

— Какъ же я не отвѣчу? Вѣдь я имъ отчетомъ обязана. Погорѣлка-то — ихняя.

Гудушка тоже задумывается: какой-то зловѣщій планъ мелькаетъ въ его головѣ.

— А я все объ томъ думаю, какъ онѣ себя соблюдутъ въ вертепѣ-то этомъ? — продолжаетъ между тѣмъ Арина Петровна: — вѣдь это такое дѣло, что тутъ только разъ оступись — потомъ ужъ чести-то дѣвичьей и не воротишь! Ищи ее потомъ да свищи!

— Очень имъ она нужна! — огрызается Гудушка.

— Какъ бы то ни было!.. Для дѣвушки это даже можно сказать — первое въ жизни сокровище... Кто потомъ этакую-то за себя возьметъ?

— Нынче, маменька, и безъ мужа все равно что съ мужемъ живутъ. Нынче надъ предписаніями-то религіи смѣются. Дошли до куста, подъ кустомъ обвѣнчались — и дѣло въ шляпѣ. Это у нихъ гражданскимъ бракомъ называется.

Гудушка вдругъ спохватывается, что вѣдь и онъ находится въ блудномъ сожителствѣ съ дѣвицей духовнаго званія.

— Конечно, иногда, по нуждѣ... — поправляется онъ: — коли ежели чело-вѣкъ въ силахъ и притомъ вдовый... По нуждѣ, и закону премѣна бываетъ!

— Чтò говорить! Въ нуждѣ и куликъ соловьемъ свищетъ. И святые въ нуждѣ согрѣшали, не то что мы, грѣшные!

— Такъ вотъ оно и есть. На вашемъ мѣстѣ, знаете ли, чтò бы я сдѣлалъ?

— Посовѣтуй, мой другъ, скажи.

— Я бы отъ нихъ полную довѣренность на Потгорѣлку вытребовалъ.

Арина Петровна пугливо взглядываетъ на него.

— Да у меня и то полная довѣренность на управленіе есть, — произносить она.

— Не на одно управленіе. А такъ, чтобы и продать, и заложить, и, словомъ, чтобы всѣмъ можно было по своему усмотрѣнію распорядиться...

Арина Петровна опускаетъ глаза въ землю и молчитъ.

— Конечно, это такой предметъ, что надо его обдумать. Подумайте-ка, маменька! — настаиваетъ Гудушка.

Но Арина Петровна продолжаетъ молчать. Хотя, вслѣдствіе старости, сообразительность у нея значительно притупѣла, но ей, все-таки, какъ-то не по себѣ отъ инсинуаціи Гудушки. И боится-то она Гудушки: жаль ей тепла и простора, и изобилія, которые царствуютъ въ Головлеѣ, и въ то же время сдается, что не даромъ онъ о довѣренности заговорилъ, что это онъ опять новую петлю накидываетъ. Положеніе дѣлается настолько натянутымъ, что она начинаетъ уже внутренно бранить себя, зачѣмъ ее дернуло показывать письмо. Къ счастью, Евпраксеюшка является на выручку.

— Чтò-жъ! будемъ, что-ли, въ карты-то играть? — спрашиваетъ она.

— Давай! давай! — спѣшить отвѣтить Арина Петровна и живо выскакиваетъ изъ-за чая. Но по дорогѣ къ ломберному столу ее посѣщаетъ новая мысль.

— А ты знаешь ли, какой сегодня день? — обращается она къ Порфирію Владимірычу.



— Двадцать-третье ноября, маменька, — съ недоумѣніемъ отвѣчаетъ Іудушка.

— Двадцать-третье-то двадцать третье, да помнишь ли ты, что двадцать-третьего-то ноября случилось? Про панихидку-то небось позабылъ?

Порфирій Владимірычъ блѣднѣетъ и крестится.

— Ахъ, Господи! вотъ такъ бѣда! — восклицаетъ онъ: — да такъ ли? точно ли? Позвольте-ка, я въ календаръ посмотрю.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ приноситъ календаръ и отыскиваетъ въ немъ вкладной листъ, на которомъ написано:

„23 ноября. Память кончины милого сына Владиміра.

„Покойся, милый прахъ, до радостнаго утра!

„и моли Бога за твоего папу, который въ сей день будетъ неуклонно творить по тебѣ поминовеніе и съ литургією“.

— Вотъ тебѣ и нѣ! — произноситъ Порфирій Владимірычъ: — ахъ, Володя, Володя! недобрый ты сынъ! дурной! Видно, не молишься Богу за папу, что Онъ даже память у него отнялъ! Какъ же быть-то съ этимъ, маменька?

— Не Богъ знаетъ, что случилось — и завтра панихидку отслужить. И панихидку, и обѣденку — все справимъ. Все я, старая да безпамятная, виновата. Съ тѣмъ и ѣхала, чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла.

— Ахъ, грѣхъ какой! Хорошо еще, что лампадки въ образной зажжены. Точно вѣдь свыше что меня озарило. Ни праздникъ у насъ сегодня, ни что — просто съ Введеньева дня лампадки зажжены — только подходить ко мнѣ давеча Евпраксеюшка, спрашиваетъ: „лампадки-то боковыя тушить что-ли?“ А я, точно вотъ толкнуло меня, подумалъ этакъ съ минуту и говорю: не тронь! Христосъ съ ними, пускай погорятъ! Анъ вотъ оно что!

— И то хорошо, хоть лампадки погорѣли! И то для души облегченіе! Ты гдѣ сядишься-то? опять что-ли подъ меня ходить будешь, или кралъъ своей станешь мирволить?

— Да ужъ я не знаю, маменька, мнѣ можно ли...

— Чего не можно! Садись! Богъ проститъ! не нарочно вѣдь, не съ намѣреніемъ, а отъ забвенія. Это и съ праведниками случалось! Завтра, вотъ, чѣмъ свѣтъ встанемъ, обѣденку отстоимъ, панихидочку отслужимъ — все какъ слѣдуетъ сдѣлаемъ. И его душа будетъ радоваться, что родители да добрые люди о немъ вспомнили, и мы будемъ покойны, что свой долгъ выполнили. Такъ-то, мой другъ. А горевать не слѣдъ — это я всегда скажу: первое, гореваньемъ сына не воротить, а второе — грѣхъ передъ Богомъ!

Іудушка урезонивается этими словами и цѣлуетъ у маменьки руку, говоря:

— Ахъ, маменька, маменька! золотая у васъ душа — право! Кабы не вы — ну, что бы я въ эту минуту дѣлалъ! Ну, просто пропалъ бы! какъ есть, растерялся бы, пропалъ!

Порфирій Владимірычъ дѣлаетъ распоряженіе насчетъ завтрашней церемоніи, и всѣ садятся за карты. Сдають разъ, сдають другой. Арина Петровна горячится и негодуетъ на Іудушку за то, что онъ ходитъ подъ Евпраксеюшку все съ одной. Въ промежуткахъ сдачъ Іудушка предается воспоминаніямъ о погибшемъ сынѣ.

— А какой ласковый былъ! — говорить онъ: — ничего, бывало, безъ позволенія не возьметъ. Бумажки нужно — „можно, папа, бумажки взять?“ — Возьми, мой другъ! Или: „не будете ли, папа, такой добренькій, сегодня карасиковъ въ сметанѣ къ завтраку заказать?“ — Изволь, мой другъ! Ахъ, Володя! Володя! Всѣмъ ты былъ пайка, только тѣмъ не пайка, что папку оставилъ!

Проходитъ еще нѣсколько туровъ; опять воспоминанія.

— И чтò такое съ нимъ вдругъ случилось — и самъ не понимаю! Жилъ хорошихонько да смиренхонько, жилъ да поживалъ, меня радовалъ — чего бы, кажется, лучше! вдругъ — бацъ! Вѣдь грѣхъ-то, представьте, какой! подумайте только объ этомъ, маменька, на чтò человѣкъ посягнулъ! на жизнь свою, на даръ Отца Небеснаго! Изъ-за чего? зачѣмъ? чего ему неоставало? Денегъ, что-ли? Жалованья я, кажется, никогда не задерживаю; даже враги мои, и тѣ про меня этого не скажутъ. Ну, а ежели маловато показалось — такъ не прогнѣвайся, другъ! У папы денежки тоже вотъ гдѣ сидятъ! Коли мало денегъ — умѣй себя сдерживать. Не все сладенькаго, не все съ сахарцомъ, чашкомъ и съ кваскомъ покушай! Такъ-то, братъ! Вотъ папа твой, и надѣялся онъ давеча денежекъ получить — ахъ прикащикъ пришелъ: „терпѣнниковскіе крестьяне оброка не платятъ!“ — Ну, нечего дѣлать, написалъ къ мировому прошеніе! Ахъ, Володя! Володя! Нѣтъ, не пайка ты! бросилъ папку! сиротой оставилъ!

И чѣмъ живѣе идетъ игра, тѣмъ обильнѣе и чувствительнѣе дѣлаются воспоминанія.

— И какой умный былъ! Помню я такой случай. Лежитъ онъ въ корѣ — лѣтъ не больше семи ему было — только подходитъ къ нему покойница Саша, а онъ ей и говоритъ: „Мама! мама! вѣдь правда, что крылышки только у ангеловъ бываютъ?“ Ну, та и говоритъ: — да, только у ангеловъ. — „Отчего же, говорить, у папы, какъ онъ сюда сейчасъ входилъ, крылышки были?“

Наконецъ разыгрывается какая-то гомерическая игра. Іудушка остается дуракомъ съ цѣлыми восемью картами на рукахъ, въ числѣ которыхъ козырные тузъ, король и дама. Поднимается хохоть, подтруниваніе, и всему этому благосклонно вторитъ самъ Іудушка. Но среди общаго разгара веселости Арина Петровна вдругъ стихаетъ и прислушивается.

— Стойте! не шумите! кто-то ѣдетъ! — говоритъ она.

Іудушка съ Евпраксеюшкой тоже прислушиваются, но безъ результата.

— Говорю вамъ: ѣдутъ! Вона... чу! вѣтромъ сюда вдругъ подулло... Чу! ѣдетъ! и даже близко!

Вновь начинаютъ вслушиваться и, дѣйствительно, слышать какое-то далекое позвякиваніе, то доносимое, то относимое вѣтромъ. Проходитъ минутъ пять, и колокольчикъ слышится уже явственно, а велѣдъ за нимъ и голоса на дворѣ.

— Молодой баринъ! Петръ Порфирьичъ пріѣхали! — доносится изъ передней.

Іудушка всталъ и застылъ на мѣстѣ, блѣдный какъ полотно.



Петинька вошелъ какъ-то вяло, поцѣловаль у отца руку, потомъ соблюлъ тотъ же церемоніаль относительно бабушки, поклонился Евпраксеюшкѣ и сѣлъ. Это былъ малый лѣтъ двадцати-пяти, довольно красивой наружности, въ дорожной офицерской формѣ. Вотъ все, что можно сказать про него, да и самъ Гудушка едва-ли зналъ что-нибудь больше. Взаимныя отношенія отца и сына были таковы, что ихъ нельзя было даже назвать натянутыми: совсѣмъ какъ бы ничего не существовало. Гудушка зналъ, что это — человѣкъ, значащійся по документамъ его сыномъ, которому онъ обязанъ въ извѣстные сроки посылать условленное, то-есть имъ же самимъ опредѣленное жалованье, и отъ котораго, взамѣнъ того, онъ имѣетъ право требовать почтенія и повиновенія. Петинька, съ своей стороны, зналъ, что есть у него отецъ, который можетъ его во всякое время притѣснить. Онъ довольно охотно ѣздилъ въ Головлево, особливо съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ въ офицеры, но не потому, чтобы находилъ удовольствіе бесѣдовать съ отцомъ, а просто потому, что всякаго человѣка, не отдавашаго себѣ никакого отчета въ жизненныхъ цѣляхъ, какъ-то инстинктивно тянетъ *въ свое мѣсто*. Но теперь онъ, очевидно, прибылъ по нуждѣ, по принужденію, вслѣдствіе чего онъ не выразилъ даже ни одного изъ тѣхъ знаковъ радостнаго недоумѣнія, которыми обыкновенно ознаменовываетъ всякій блудный дворянскій сынъ свой пріѣздъ въ родное мѣсто.

Петинька былъ неразговорчивъ. На всѣ восклицанія отца: „вотъ такъ сюрпризъ! ну, братъ, одолжилъ! а я-то сижу да думаю: кого, прости Господи, по ночамъ носить? — анъ вотъ онъ кто!“ и т. д. — онъ отвѣчалъ или молчаніемъ, или принужденною улыбкою. А на вопросъ: „и какъ это тебѣ вдругъ вздумалось?“ — отвѣчалъ даже сердито: „такъ вотъ, вздумалось и пріѣхалъ“.

— Ну, спасибо тебѣ! спасибо! вспомнилъ про отца! обрадовалъ! Чай, и про бабушку-старушку вспомнилъ?

— И про бабушку вспомнилъ.

— Стой! да тебѣ, можетъ быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по братѣ Володенькѣ?

— Да, и про это вспомнилось.

Въ такомъ тонѣ разговоръ длился съ полчаса, такъ что нельзя было понять, взаправду ли отвѣчаетъ Петинька, или только отдѣливается. Поэтому, какъ ни выносивъ былъ Гудушка относительно равнодушія своихъ дѣтей, однако и онъ не выдержалъ и замѣтилъ:

— Да, братъ, неласковъ ты! нельзя сказать, чтобъ ты ласковый сынъ былъ!

Смолчи на этотъ разъ Петинька, прими папенькино замѣчаніе съ кротостью, а еще лучше — поцѣлуй у папеньки ручку и скажи ему: „извините меня, добренькій папенька! я вѣдь съ дороги усталъ!“ — и все бы обошлось благополучно. Но Петинька поступилъ совсѣмъ какъ неблагодарный.

— Каковъ есть! — отвѣтилъ онъ такъ грубо, словно хотѣлъ сказать: отвяжись ты отъ меня, сдѣлай милость!

Тогда Порфирію Владимірычу сдѣлалось такъ больно, такъ больно, что онъ ужъ не нашелъ возможности молчать.

— Кажется, какъ я объ васъ заботился! — сказалъ онъ съ горечью: — даже и здѣсь сидишь, а все думаешь: какъ бы получше, да поскладѣе, да

чтобы всёмъ хорошохонько да уютненько, безъ нужды да безъ горюшка... А вы все отъ меня прочь да прочь!

— Кто же... вы?

— Ну, ты... Впрочемъ и покойникъ, царство ему небесное, былъ такой же...

— Что жъ! я вамъ очень благодаренъ!

— Никакой я отъ васъ благодарности не вижу! Ни благодарности, ни ласки—ничего!

— Характеръ неласковый — вотъ и все. Да вы все во множественномъ говорите? одинъ уже умеръ...

— Да, умеръ. Богъ наказалъ. Богъ непокорныхъ дѣтей наказываетъ. И все-таки я его помню. Онъ непокоренъ былъ, а я его помню. Вотъ, завтра обѣденку отстоимъ и панихидку отслужимъ. Онъ меня обидѣлъ, а я все-таки свой долгъ помню. Господи ты Боже мой! да что жъ это нынче дѣлается? Сынъ къ отцу пріѣхалъ, и съ перваго же слова уже фыркаетъ! Такъ ли мы въ наше время поступали! Бывало, ѣдешь въ Головлево-то, да за тридцать верстъ все твердишь: „помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!“ Да вотъ маменька—живой человекъ: она скажетъ! А нынче—не понимаю! не понимаю!

— И я не понимаю. Пріѣхалъ я смирно, поздоровался съ вами, руку поцѣловалъ, теперь сижу, васъ не трогаю, пью чай, а коли дадите ужинать —и поужинаю. Съ чего вы всю эту исторію подняли!

Арина Петровна сидитъ въ своемъ креслѣ и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повѣсть слышитъ, которая давно—и не запомнить она, когда—началась. Закрылась-было совсѣмъ эта повѣсть, да вотъ и опять, нѣтъ-нѣтъ, возьметъ да и раскроется на той же страницѣ. Тѣмъ не менѣе она понимаетъ, что подобная встрѣча между отцомъ и сыномъ не обѣщаетъ ничего хорошаго, и потому считаетъ долгомъ вмѣшаться въ распрю и сказать примирительное слово.

— Ну-ну, пѣтухи индѣйскіе!—говоритъ она, стараясь придать своему поученію шутиливый тонъ: — только-что свидѣлись, а ужъ и разодрались! Такъ и насакиваютъ другъ на дружку, такъ и насакиваютъ! Смотри, сейчасъ перья полетятъ! Ахъ-ахъ-ахъ! горе какое! А вы, молодцы, смирененько посидите да ладкомъ между собою поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на васъ! Ты, Петинька,—уступи! Отцу, мой другъ, всегда нужно уступить, потому что онъ — отецъ. Ежели иной разъ и горьконько что отъ отца покажется, а ты прими съ готовностью, да съ покорностью, да съ почтеніемъ, потому что ты — сынъ! Можетъ, изъ горькаго-то да вдругъ сладкое сдѣлается—вотъ ты и въ выигрышѣ! А ты, Порфирій Владимірычъ, — снисзойди! Онъ — сынъ, человекъ молодой, нѣженный. Онъ семьдесятъ-пять верстъ по ухабамъ да по сугробамъ проѣхалъ: и усталъ, и иззябъ, и уснуть ему хочется! Вотъ чай-то ужъ кончили, велика подавать ужинать, да и на покой! Такъ-то, другъ мой! Разбредемся всѣ по своимъ мѣстамъ, помолимся, а нѣ сердце-то у насъ и пройдетъ. И всѣ, какія у насъ дурныя мысли были — всѣ сномъ Богъ прогонитъ! А завтра ранехонько встанемъ, да обѣ покойникѣ помолимся. Обѣденку отстоимъ, панихидку отслужимъ, а потомъ, какъ воро-



тимся домой, и побесѣдуемъ. И всякій, отдохнувши, свое дѣло по порядку, какъ слѣдуетъ, разскажетъ. Ты, Петинька, про Петербургъ, а ты, Порфирій, — про деревенское свое житье. А теперь поужинаемъ — и съ Богомъ, на боковую.

Это увѣщаніе оказываетъ свое дѣйствіе не потому, чтобы оно заключало что-нибудь дѣйствительно убѣдительное, а потому, что Іудушка и самъ видитъ, что онъ зарпортовался, что лучше какъ-нибудь миромъ покончить день. Поэтому онъ встаетъ съ своего мѣста, цѣлуетъ у маменьки ручку, благодаритъ „за науку“ и приказываетъ подавать ужинать. Ужинъ проходитъ сурово и молчаливо.

Столовая опустѣла; всѣ разошлись по своимъ комнатамъ. Домъ мало-по-малу стихаетъ; мертвая тишина ползетъ изъ комнаты въ комнату и наконецъ доползаетъ до послѣдняго убѣжища, въ которомъ дольше прочихъ закоулковъ упорствовала обрядовая жизнь, то-есть до кабинета головлевскаго барина. Іудушка наконецъ покончилъ съ поклонами, которые онъ долго отсчитывалъ передъ образами, и тоже улегся въ постель.

Лежитъ Порфирій Владимірычъ въ постели, но не можетъ сомкнуть глазъ. Чуетъ онъ, что пріѣздъ сына предвѣщаетъ что-то не совсѣмъ обыкновенное, и уже заранѣе въ головѣ его зарождаются всевозможныя пустословныя поученія. Поученія эти имѣютъ то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляютъ собой послѣдовательнаго сцѣпленія мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для нихъ тоже не требуется: они накаплиются въ головѣ въ видѣ отрывочныхъ афоризмовъ и появляются на свѣтъ Божій по мѣрѣ того, какъ наползаютъ на языкъ. Тѣмъ не менѣе, какъ только случится въ жизни какой-нибудь казусъ, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ, таеъ въ головѣ поднимается такая суматоха отъ наплыва афоризмовъ, что даже сонъ не можетъ умиротворить ее.

Не спится Іудушкѣ: цѣлая масса пустяковъ обступила его изголовье и давить его. Собственно говоря, загадочный пріѣздъ Петиньки не особенно волнуетъ его, ибо, что бы ни случилось, Іудушка уже *ко всему* готовъ заранѣе. Онъ знаетъ, что *ничто* не застанетъ его врасплохъ и *ничто* не заставить сдѣлать какое-нибудь отступленіе отъ той сѣти пустыхъ и насквозь прогнившихъ афоризмовъ, въ которую онъ закутался съ головы до ногъ. Для него не существуетъ ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь міръ въ его глазахъ есть гробъ, могущій служить лишь поводомъ для безконечнаго пустословія. Ужъ на что было больше горя, когда Володя покончилъ съ собой, а онъ и тутъ устоялъ. Это была очень грустная исторія, продолжавшаяся цѣлыхъ два года. Цѣлыхъ два года Володя перемогался; сначала выказывалъ гордость и рѣшимость не нуждаться въ помощи отца; потомъ ослабъ, сталъ молить, доказывать, грозить... И всегда встрѣчалъ въ отвѣтъ готовый афоризмъ, который представлялъ собой камень, поданный голодному человеку. Сознавалъ ли Іудушка, что это камень, а не хлѣбъ, или не сознавалъ — это вопросъ спорный; но во всякомъ случаѣ у него ничего другого не было, и онъ подавалъ свой камень, какъ единственное, что онъ могъ дать. Когда Володя застрѣлился, онъ отслужилъ по немъ панихиду, записалъ въ календарѣ день его смерти и общалъ и на будущее время ежегодно 23-го

ноября служить панихиду „и съ литургією“. Но когда по временамъ даже и въ немъ поднимался какой-то тусклый голосъ, который бормоталъ, что все-таки разрѣшеніе семейнаго спора самоубійствомъ — вещь по малой мѣрѣ подозрительная, тогда онъ выводилъ на сцену цѣлую свиту готовыхъ афоризмовъ, въ родѣ: „Богъ непокорныхъ дѣтей наказываетъ“, „гордымъ Богъ противится“, и проч. — и успокоивался.

Вотъ и теперь. Нѣтъ сомнѣнія, что съ Петинькой случилось что-то недоброе, но что бы ни случилось — онъ, Порфирій Головлевъ, долженъ быть выше этихъ случайностей. Самъ запутался — самъ и распутывайся; умѣлъ кашу заварить — умѣй и расхлебывать; любишь кататься — люби и саночки возить. Именно такъ; именно это самое онъ и скажетъ завтра, о чемъ бы ни сообщилъ ему сынъ. А что, ежели и Петинька, подобно Володѣ, откажется принять камень вмѣсто хлѣба? Что, ежели и онъ... Іудушка отплеивается отъ этой мысли и приписываетъ ее навожденію лукаваго. Онъ переворачивается съ боку на бокъ, усиливается уснуть и не можетъ. Только-что начнетъ заводить его сонъ — вдругъ: „и радъ бы до неба достать, да руки коротки!“ или: „по одежкѣ протягивай ножки... вотъ я... вотъ ты... прытки вы очень, а знаешь пословицу: поспѣшность потребна только блохѣ ловить?“ Обступили кругомъ пустяки, ползутъ, лѣзутъ, давятъ. И не спитъ Іудушка подъ бременемъ пустословія, которымъ онъ надѣется завтра утолить себѣ душу.

Не спится и Петинькѣ, хотя дорога порядкомъ-таки изломала его. Есть у него дѣло, которое можетъ разрѣшиться только здѣсь, въ Головлевъ, но такое это дѣло, что и не вѣсть, какъ за него взяться. По правдѣ говоря, Петинька отлично понимаетъ, что дѣло его безнадежное, что поѣздка въ Головлево принесетъ только лишнія непріятности, но въ томъ-то и штука, что есть въ человѣкѣ какой-то темный инстинктъ самосохраненія, который пересиливаетъ всякую сознательность и который такъ и подталкиваетъ: испробуй все до послѣдняго! Вотъ онъ и пріѣхалъ, да, вмѣсто того, чтобъ закалить себя и быть готовымъ перенести все, чуть-было съ перваго шагу не разругался съ отцомъ. Что-то будетъ изъ этой поѣздки? совершится ли чудо, которое должно превратить камень въ хлѣбъ, или не совершится?

Не прямѣе ли было бы взять револьверъ и приставить его къ виску: „господа! я недостойнъ носить вашъ мундиръ! я растратилъ казенныя деньги! и потому самъ себѣ произношу справедливый и строгій судъ!“ Баць! — и все кончено! „исключается изъ списковъ умершій поручикъ Головлевъ!“ Да, это было бы рѣшительно и... красиво. Товарищи сказали бы: „ты былъ несчастенъ, ты увлекался, но... ты былъ благородный человѣкъ!“ Но онъ, вмѣсто того, чтобы сразу поступить *такимъ образомъ*, довелъ дѣло до того, что поступокъ его сталъ всемъ извѣстенъ — и вотъ его отпустили на опредѣленный срокъ, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе его растрата была непременно пополнена. А потомъ — вонъ изъ полка. И для достиженія этой-то цѣли, въ концѣ которой стоялъ позорный исходъ только-что начатой карьеры, онъ поѣхалъ въ Головлево, поѣхалъ съ полной увѣренностью получить камень вмѣсто хлѣба!

А можетъ быть что-нибудь и будетъ?! Вѣдь случается же... Вдругъ нынѣшнее Головлево исчезнетъ, и на мѣстѣ его очутится новое Головлево, съ



новою обстановкой, въ которой онъ... Не то чтобы отецъ... умереть — зачѣмъ? — а такъ... вообще, будетъ новая „обстановка“... А можетъ быть и бабушка — вѣдь у нея деньги есть! Узнаеть, что бѣда впереди — и вдругъ дастъ! На, скажетъ, поѣзжай скорѣе, покуда срокъ не прошелъ! И вотъ онъ ѣдетъ, торопить ямщиковъ, насилу поспѣваетъ на станцію — и является въ поѣздъ какъ разъ за два часа до срока! „Молодецъ Головлевъ!“ говорятъ товарищи: „руку, благородный молодой человѣкъ! и пусть отнынѣ все будетъ забыто!“ И онъ не только остается въ полку по прежнему, но производится сначала въ штабсъ-капитаны, потомъ въ капитаны, дѣлается полковымъ адъютантомъ (казначеемъ онъ ужъ былъ) и наконецъ, въ день полкового юбилея...

Ахъ! поскорѣе бы эта ночь прошла! Завтра... ну, завтра пусть будетъ что будетъ! Но что онъ долженъ будетъ завтра выслушать... ахъ, чего только онъ не выслушаетъ! Завтра... но для чего же завтра? вѣдь есть еще цѣлый день впереди... Вѣдь онъ выговорилъ себѣ два дня собственно для того, чтобы имѣть время убѣдить, растрогать... Чорта съ два! убѣдишь тутъ, растрогаешь! Нѣтъ ужъ...

Тутъ мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопаютъ въ сонной мглѣ. Черезъ четверть часа головлевская усадьба всецѣло погружается въ тяжкій сонъ.

На другой день рано утромъ весь домъ на ногахъ. Всѣ поѣхали въ церковь, кромѣ впрочемъ Петиньки, который остался дома подъ предлогомъ, что усталъ съ дороги. Наконецъ отслушали обѣдню и панихиду и воротились домой. Петинька по обыкновенію подошелъ къ рукѣ отца, но Іудушка подавъ руку бокомъ, и всѣ замѣтили, что онъ даже не перекрестилъ сына. Напились чаю, поѣли поминальной кутьи; Іудушка ходилъ мрачный, шаркалъ ногами, избѣгалъ разговоровъ, вздыхалъ, безпрестанно складывалъ руки, въ знакъ умной молитвы, и совсѣмъ не глядѣлъ на сына. Съ своей стороны и Петинька ёжился и молча курилъ папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положеніе не только не улучшилось за ночь, но приняло такіе рѣзкіе тоны, что Арина Петровна серьезно обезпokoилась и рѣшилась развѣдать у Евпраксеюшки, не случилось ли что-нибудь.

— Что такое сдѣлалось? — спросила она: — что они съ утра словно вороги другъ на друга смотрятъ?

— А я почему знаю? развѣ я въ ихнія дѣла вхожу! — отгрызнулась Евпраксея.

— Ужъ не ты ли? Можетъ, и внучекъ къ тебѣ пристасть?

— Чего ко мнѣ приставать! Просто давеча подкараулили меня въ корридоръ, а Порфирій Владимірьчъ и увидѣли!

— Н-дѣ, такъ вотъ оно что!

И дѣйствительно, несмотря на крайность своего положенія, Петинька отнюдь не оставилъ присущаго ему легкомыслія. И онъ тоже заглядѣлся на могучую спину Евпраксеюшки и рѣшился ей высказать это. Съ этою собственно цѣлью онъ и въ церковь не поѣхалъ, надѣясь, что и Евпраксея, въ качествѣ экономки, останется дома. И вотъ, когда въ домѣ все стихло, онъ накинулъ на плечи шинель и притаился въ корридорѣ. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая изъ сѣней въ дѣвичью, и въ концѣ корридора по-

казалась Евпраксея, держа въ рукахъ поднось, на которомъ лежалъ теплый сдобный крендель къ чаю. Но не успѣлъ еще Петинька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успѣлъ произнести: „вотъ это такъ спина!“ — какъ дверь изъ столовой отворилась и въ ней показался отецъ.

— Ежели ты сюда пакостничать, мерзавецъ, пріѣхалъ, такъ я тебя съ лѣстницы велю сбросить! — произнесъ Гудушка какимъ-то безконечно злымъ голосомъ.

Разумѣется, Петинька въ одинъ моментъ стушевался.

Онъ не могъ, однакожь, не понять, что утреннее происшествіе было не изъ такихъ, чтобы благопріятно подѣйствовать на его фонды. Поэтому онъ рѣшился молчать и отложить объясненіе до завтра. Но въ то же время онъ не только ничего не дѣлалъ, чтобъ унять раздраженіе отца, но, напротивъ того, велъ себя самымъ неосмотрительнымъ и дурацкимъ образомъ. Не переставая, курилъ папирски, не обращая никакого вниманія на то, что отецъ усиленно отмахивался отъ облаковъ дыма, которыми онъ наполнилъ комнату. Затѣмъ поминутно кидалъ умильно-дурацкіе взоры на Евпраксеюшку, которая подъ вліяніемъ ихъ какъ-то вкось улыбалась, что тоже замѣчалъ Гудушка.

День потянулся вяло. Попробовала-было Арина Петровна въ дураки съ Евпраксеюшкой сыграть, но ничего изъ этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки какъ-то не шли на умъ, хотя у всѣхъ были въ запасѣ цѣлые непочатые углы этого добра. Насилу пришелъ обѣдъ, но и за обѣдомъ всѣ молчали. Послѣ обѣда Арина Петровна собралась-было въ Погорѣлку, но Гудушку даже испугало это намѣреніе добраго друга маменьки.

— Христось съ вами, голубушка! — воскликнулъ онъ: — что жъ, одного, что-ли, вы меня оставить хотите съ глазу на глазъ съ этимъ... дурнымъ сыномъ? Нѣтъ, нѣтъ! и не думайте! не пуццу!

— Да что такое? случилось, что-ли, что-нибудь промежду васъ! скажывай! — спросила она его.

— Нѣтъ, покажѣсть еще ничего не случилось, но вы увидите... Нѣтъ, вы ужъ не оставьте меня! пусть ужъ при васъ... Это — не даромъ! не даромъ онъ прикатилъ... Такъ если что случится — ужъ вы будьте свидѣтельницей!

Арина Петровна покачала головой и рѣшилась остаться.

Послѣ обѣда Порфирій Владимірычъ удалился спать, улававъ предварительно Евпраксеюшку на село къ поцу; Арина Петровна, отложивъ отъѣздъ въ Погорѣлку, тоже ушла въ свою комнату и, усѣвшись въ кресло, дремала. Петинька счелъ это время самымъ благопріятнымъ, чтобъ попытать счастья у бабушки, и отправился къ ней.

— Что ты? въ дурачки, что-ли, со старухой поиграть пришелъ? — встрѣтила его Арина Петровна.

— Нѣтъ, бабушка, я къ вамъ за дѣломъ.

— Ну, рассказывай, говори.

Петинька съ минуту помаялся на мѣстѣ и вдругъ брякнулъ:

— Я, бабушка, казенныя деньги проигралъ.

У Арины Петровны даже въ глазахъ потемнѣло отъ неожиданности.

— И много? — спросила она перепуганнымъ голосомъ, глядя на него остановившимися глазами.



— Три тысячи.

Послѣдовала минута молчанія; Арина Петровна безпокойно смотрѣла изъ стороны въ сторону, точно ждала, не явится ли откуда къ ней помощь.

— А ты знаешь ли, что за это и въ Сибирь недолго попасть? — наконецъ произнесла она.

— Знаю.

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный!

— Я, бабушка, у васъ хотѣлъ взаимны попросить... я хорошій процентъ заплачу.

Арина Петровна совсѣмъ испугалась.

— Чтò ты! чтò ты! — заметалась она: — да у меня и денегъ только на гробъ да на поминаенье осталось! И сыта я только по милости внучекъ, да вотъ чѣмъ у сына полакомлюсь! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! ты ужь меня оставь! Сдѣлай милость, оставь! Знаешь чтò: ты бы у папеньки попросилъ!

— Нѣтъ, ужь чтò! отъ желѣзнаго пона да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на васъ надѣлся!

— Чтò ты! чтò ты! да я бы съ радостью, только какія же у меня деньги! и денегъ у меня такихъ нѣтъ! А ты бы къ папенькѣ обратился, да съ лаской, да съ почтеніемъ! вотъ, молъ, папенька, такъ и такъ: виноватъ, молъ, по молодости, штрафился... Со смѣшкомъ, да съ улыбкой, да ручку поцѣлуй, да на колѣнки встань, да поплачь — онъ это любить — ну, и развяжетъ папенька кошну для милаго сына.

— А чтò вы думаете! сдѣлать развѣ? Стойте-ка! стойте! А чтò бабушка, еслибъ вы ему сказали: коли не дашь денегъ — проклянута! Вѣдь онъ этого давно боится, проклятья-то вашего.

— Ну, ну, зачѣмъ проклинять! Попроси и такъ. Попроси, мой другъ! Вѣдь ежели отцу и лишній разокъ поклонись, такъ вѣдь голова не отвалится: отецъ онъ! Ну, и онъ съ своей стороны увидить... сдѣлай-ка это! право!

Петинька ходитъ подбочившись взадъ и впередъ, словно обдумываетъ; наконецъ останавливается и говорить:

— Нѣтъ ужь. Все равно — не дастъ. Чтò бы я ни дѣлалъ, хоть бы лобъ себѣ разбилъ, кланявшись, — все одно не дастъ. Вотъ кабы вы проклятіемъ пригрозили... Такъ какъ же мнѣ быть-то, бабушка?

— Не знаю, право. Попробуй — можетъ, и смягчишь. Какъ же ты это, однакожъ, такую себѣ волю далъ; лѣгко ли дѣло — казенныя деньги проигралъ? научилъ тебя, что-ли, кто-нибудь?

— Такъ вотъ, взялъ да и проигралъ. Ну, коли у васъ своихъ денегъ нѣтъ, такъ изъ сиротскихъ дайте!

— Чтò ты? опомнись! какъ я могу сиротскія деньги давать? Нѣтъ, ужь сдѣлай милость, уволь ты меня! не говори ты со мной объ этомъ, ради Христа!

— Такъ не хотите? Жаль. А я бы хорошій процентъ далъ. Пять процентовъ въ мѣсяцъ хотите? нѣтъ? ну, черезъ годъ капиталъ на капиталъ?

— И не соблазняй ты меня! — замахала на него руками Арина Петровна: — уйди ты отъ меня, ради Христа! Еще папенька неравно услышитъ, ска-

жетъ, что я же тебя возмутила! Ахъ, ты, Господи! Я, старуха, отдохнуть хотѣла, даже задремала совсѣмъ, а онъ вонъ съ какимъ дѣломъ пришелъ!

— Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-съ. По родственному. Изъ-за трехъ тысячъ рублей внуку въ Сибирь долженъ пойти! Напутственный-то молебень отслужить не забудьте!

Петинька хлопнулъ дверью и ушелъ. Одна изъ его легкомысленныхъ надеждъ лопнула — что теперь предпринять? Остается одно: во всемъ открыться отцу. А можетъ быть... Можетъ быть, что-нибудь...

— Пойду сейчасъ и покончу разомъ! — говорилъ онъ себѣ: — или нѣтъ! Нѣтъ, зачѣмъ же сегодня... Можетъ быть, что-нибудь... да впрочемъ что же такое можетъ быть? Нѣтъ, лучше завтра... Все-таки, хоть нынче день... Да, лучше завтра. Скажу — и уйду.

На томъ и покончилъ, что завтра — всему конецъ...

Послѣ объясненія съ бабушкой вечеръ потянулся еще вялѣе. Даже Арина Петровна притихла, узнавши дѣйствительную причину пріѣзда Петиньки. Гудушка пробовалъ-было заигрывать съ маменькой, но, видя, что она объ чемъ-то задумывается, замолчалъ. Петинька тоже ничего не дѣлалъ, только курилъ. За ужиномъ Порфирій Владиміровичъ обратился къ нему съ вопросомъ:

— Да скажешь-ли ты наконецъ, зачѣмъ ты сюда пожаловалъ?

— Завтра скажу, — угрюмо отвѣтилъ Петинька.

Петинька всталъ рано послѣ почти совсѣмъ безсонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преслѣдовала его — мысль, начинавшаяся надеждой: „можно быть, и дать!“ и неизмѣнно кончавшаяся вопросомъ: „и зачѣмъ я сюда пріѣхалъ?“ Можетъ быть, онъ не понималъ своего отца, но во всякомъ случаѣ онъ не зналъ за нимъ ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и, эксплуатируя которую, можно было бы чего-нибудь достигнуть. Онъ чувствовалъ только одно: что въ присутствіи отца онъ находится лицомъ къ лицу съ чѣмъ-то неизъяснимымъ, неуловимымъ. Незнаніе, съ какого конца подойти, съ чего начать рѣчь, порождало ежели не страхъ, то во всякомъ случаѣ беспокойство. И такъ шло съ самаго дѣтства. Всегда, съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ себя помнить, дѣло было поставлено такъ, что лучше казалось совсѣмъ отказаться отъ какого-нибудь предположенія, нежели поставить его въ зависимость отъ рѣшенія отца. Такъ было и теперь. Съ чего онъ начнетъ? какъ начнетъ? что скажетъ?.. Ахъ, зачѣмъ только онъ пріѣхалъ?!

Имъ овладѣла тоска. Тѣмъ не менѣе, онъ понялъ, что впереди оставалось только нѣсколько часовъ и что, слѣдовательно, надо же что-нибудь дѣлать. Набравшись напускной рѣшимости, застегнувши сюртукъ и пошептавши что-то на ходу, онъ довольно твердымъ шагомъ направился къ отцовскому кабинету.

Гудушка стоялъ на молитвѣ. Онъ былъ набоженъ и каждый день охотно посвящалъ молитвѣ нѣсколько часовъ. Но онъ молился не потому, что любилъ Бога и надѣялся посредствомъ молитвы войти въ общеніе съ Нимъ, а



потому, что боялся чорта, и надѣялся, что Богъ избавить его отъ лукаваго. Онъ зналъ множество молитвъ и въ особенности отлично изучилъ технику молитвеннаго стоянія. То-есть, зналъ, когда нужно шевелить губами и закрывать глаза, когда слѣдуетъ складывать руки ладонями внутрь и когда держать ихъ воздѣтыми, когда надлежитъ умиляться и когда стоять чинно, творя умѣренныя крестныя знаменія. И глаза, и носъ его краснѣли и увлажнялись въ опредѣленныя минуты, на которыя указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просвѣтляла его чувства, не вносила никакого луча въ его тусклое существованіе. Онъ могъ молиться и продѣлывать всѣ нужныя тѣлодвиженія—и въ то же время, смотрѣть въ окно и замѣчать, не идетъ ли кто безъ спросу въ погребъ и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совѣмъ независимо отъ общей жизненной формулы.

Когда Петинька вошелъ въ кабинетъ, Порфирій Владимірычъ стоялъ на колѣняхъ съ воздѣтыми руками. Онъ не перемѣнилъ своего положенія, а только подрыгалъ одной рукой въ воздухъ, въ знакъ того, что еще—не время. Петинька расположился въ столовой, гдѣ уже былъ накрытъ чайный приборъ, и сталъ ждать. Эти полчаса показались ему вѣчностью, тѣмъ болѣе, что онъ былъ увѣренъ, что отецъ заставляетъ его ждать нарочно. Напускная твердость, которою онъ вооружился, мало-по-малу стала уступать мѣсто чувству досады. Сначала онъ сидѣлъ смирно, потомъ принялся ходить взадъ и впередъ по комнатѣ и наконецъ сталъ что-то насвистывать, вслѣдствіе чего дверь кабинета пріотворилась и оттуда послышался раздраженный голосъ Іудушки:

— Кто хочетъ свистать, тотъ можетъ для этого на конюшню идти.

Немного погодя, Порфирій Владимірычъ вышелъ, одѣтый весь въ черномъ, въ чистомъ бѣльѣ, словно приготовленный къ чему-то торжественному. Лицо у него было свѣтлое, умиленное, дышущее смиреніемъ и радостью, какъ будто онъ сейчасъ только „сподобился“. Онъ подошелъ къ сыну, перекрестилъ и поцѣловалъ его.

— Здравствуй, другъ!—сказалъ онъ.

— Здравствуйте!

— Каково почивалъ? постельку хорошо ли постлали? клопиковъ, блошекъ не чувствовалъ ли?

— Благодарю васъ. Спалъ.

— Ну, спалъ—такъ и слава Богу. У родителей только и можно сластенко послать. Это ужъ я по себѣ знаю: какъ ни хорошо, бывало, устроишься въ Петербургѣ, а никогда такъ сладко не уснешь, какъ въ Головлевѣ. Точно вотъ въ колыбелькѣ тебя покачиваетъ. Такъ какъ же мы съ тобой: попьемъ чайку, что-ли, сначала, или ты сейчасъ что-нибудь сказать хочешь?

— Нѣтъ, лучше теперь поговоримъ. Мнѣ черезъ шесть часовъ уѣхать надо, такъ, можетъ быть, и обдумать кой-что время понадобится.

— Ну, ладно. Только я, братъ, говорю прямо: никогда я не обдумаю. У меня всегда отвѣтъ готовъ. Коли ты правильнаго чего просишь—изволь! никогда я ни въ чемъ правильномъ не откажу. Хотя и трудненько иногда, и не по силамъ, а ежели правильно—не могу отказать! Натура та-

кая. Ну, а ежели просишь неправильно — не прогнѣвайся! Хотя и жалко тебя — а откажу! У меня, братъ, вывертовъ нѣтъ! Я весь тутъ, на ладони. Ну, пойдемъ, пойдемъ въ кабинетъ! Ты поговоришь, а я послушаю! Послушаемъ, послушаемъ, что такое!

Когда оба вошли въ кабинетъ, Порфирій Владимірьчъ оставилъ дверь слегка приотворенною и затѣмъ ни самъ не сѣлъ, ни сына не посадилъ, а началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. Словно онъ инстинктивно чувствовалъ, что дѣло будетъ щекотливое и что объясняться объ такихъ предметахъ на ходу гораздо свободнѣе. И выраженіе лица скрыть удобнѣе, и прекратить объясненіе, ежели оно приметъ слишкомъ непріятный оборотъ, легче. А съ помощью приотворенной двери и на свидѣтелей можно сослаться, потому что маменька съ Евпраксеюшкой навѣрное не замедлятъ явиться къ чаю въ столовую.

— Я, папенька, казенныя деньги проигралъ, — разомъ и какъ-то тупо высказался Петинька.

Иудушка ничего не сказалъ. Только можно было замѣтить, какъ дрогнули у него губы. И вслѣдъ затѣмъ онъ по обыкновенію началъ шептать.

— Я проигралъ три тысячи, — пояснилъ Петинька: — и ежели послѣзавтра ихъ не внесу, то могутъ произойти очень непріятныя для меня послѣдствія.

— Что жъ, внеси! — любезно молвилъ Порфирій Владимірьчъ.

Нѣсколько туровъ отецъ и сынъ сдѣлали молча. Петинька хотѣлъ объясняться дальше, но чувствовалъ, что у него захватило горло.

— Откуда же я возьму деньги? — наконецъ выговорилъ онъ.

— Я, любезный другъ, твоихъ источниковъ не знаю. На какіе ты источники рассчитывалъ, когда проигрывалъ въ карты казенныя деньги — изъ тѣхъ и плати.

— Вы сами очень хорошо знаете, что въ подобныхъ случаяхъ люди объ источникахъ забываютъ!

— Ничего я, мой другъ, не знаю. Я въ карты никогда не игрывалъ — только вотъ развѣ съ маменькой въ дурачки сыграешь, чтобъ потѣшить старушку. И пожалуйста ты меня въ эти грязныя дѣла не впутывай, а пойдемъ-ка лучше чайку попьемъ. Попьемъ да посидимъ, можетъ и поговоримъ объ чемъ-нибудь — только ужъ, ради Христа, не объ этомъ.

И Иудушка направился-было къ двери, чтобы юркнуть въ столовую, но Петинька остановилъ его.

— Позвольте, однакожъ, — сказалъ онъ: — надобно же мнѣ какъ-нибудь выйти изъ этого положенія!

Иудушка усмѣхнулся и посмотрѣлъ Петинькѣ въ лицо.

— Надо, голубчикъ! — согласился онъ.

— Такъ помогите же!

— А это... это ужъ другой вопросъ. Что надобно какъ-нибудь выйти изъ этого положенія — это такъ, это ты правду сказалъ. А какъ выйти — это ужъ не мое дѣло!

— Но почему же вы не хотите помочь?

— А потому, во-первыхъ, что у меня нѣтъ денегъ для покрытія тво-



ихъ дрянныхъ дѣлъ, а во-вторыхъ — и потому, что вообще это до меня не касается. Самъ напуталь — самъ и выпутывайся. Любишь кататься — люби и саночки возить. Такъ-то, другъ. Я вѣдь и давеча съ того началъ, что ежели ты просишь правильно...

— Знаю, знаю. Много у васъ на языкѣ словъ...

— Пстой, попридержи свои дерзости, дай мнѣ досказать. Что это не одни слова — это я тебѣ сейчасъ докажу... И такъ, я тебѣ давеча сказалъ: если ты будешь просить должнаго, дѣльнаго — изволь, другъ! всегда готовъ тебя удовлетворить! Но ежели ты приходишь съ просьбой недѣльною — извини, братъ! На дрянныя дѣла у меня денегъ нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! И не будетъ — ты это знай! И не смѣй говорить, что это — одни „слова“, а понимай, что эти слова очень близко граничатъ съ дѣломъ.

— Подумайте однакожь, чтѣ со мной будетъ!

— А чтѣ Богу угодно, то и будетъ, — отвѣчалъ Іудушка, слегка вздвывая руки и искоса поглядывая на образъ.

Отецъ и сынъ опять сдѣлали нѣсколько туровъ по комнатѣ. Іудушка шель нѣхотя, словно жаловался, что сынъ держитъ его въ плѣну. Петинька, подболевшись, слѣдовалъ за нимъ, кусая усы и нервно усмѣхаясь.

— Я — послѣдній сынъ у васъ, — сказалъ онъ: — не забудьте объ этомъ.

— У Іова, мой другъ, Богъ и все взялъ, да онъ не ропталъ, а только сказалъ: Богъ далъ, Богъ и взялъ — твори, Господи, волю Свою! Такъ-то братъ.

— То Богъ взялъ, а вы сами у себя отнимаете. Володя...

— Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

— Нѣтъ, это не пошлости, а правда. Всѣмъ извѣстно, что Володя...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще — довольно. Чтѣ надо было высказать, то ты высказалъ. Я тоже отвѣтъ тебѣ далъ. А теперь пойдемъ и будемъ чай пить. Посидимъ да поговоримъ, потомъ поѣдимъ, выпьемъ на прощанье — и съ Богомъ. Видишь, какъ Богъ для тебя милостивъ! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да по маленьку, трюхъ да трюхъ — и не увидишь, какъ доплетешься до станціи!

— Послушайте! наконецъ я прошу васъ! ежели у васъ есть хоть капля чувства...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! не будемъ объ этомъ говорить! Пойдемъ въ столовую: маменька, поди, давно безъ чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.

Іудушка сдѣлалъ крутой поворотъ и почти бѣгомъ направился къ двери.

— Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю! — крикнулъ ему вслѣдъ Петинька: — хуже будетъ, какъ при свидѣтеляхъ начнемъ разговаривать!

Іудушка воротился назадъ и всталъ прямо противъ сына.

— Чтѣ тебѣ отъ меня, негодяй, нужно... сказывай! — спросилъ онъ взволнованнымъ голосомъ.

— Мнѣ нужно, чтобъ вы заплатили тѣ деньги, которыя я проигралъ.

— Никогда!!

— Такъ это ваше послѣднее слово?

— Видишь?—торжественно воскликнулъ Іудушка, указывая пальцемъ на образъ, висѣвшій въ углу:—это видишь? Это—папенькино благословеніе... Такъ вотъ я при немъ тебѣ говорю: никогда!!

И онъ рѣшительнымъ шагомъ вышелъ изъ кабинета.

— Убійца!—пронеслось вдогонку ему.

Арина Петровна сидитъ уже за столомъ, и Евпраксеюшка дѣлаетъ всѣ приготовленія къ чаю. Старуха задумчива, молчалива и даже какъ будто стыдится Петиньки. Іудушка по обычаю подходитъ къ ея ручкѣ, и по обычаю же она машинально креститъ его. Потомъ по обычаю идутъ вопросы, всѣ ли здоровы, хорошо ли почивали, на чтѣ слѣдуютъ обычные односложные отвѣты.

Уже наканунѣ вечеромъ она была скучна. Съ тѣхъ поръ какъ Петинька попросилъ у нея денегъ и разбудилъ въ ней воспоминаніе о „проклятіи“, она вдругъ впала въ какое-то загадочное безпокойство и ее неотступно начала преслѣдовать мысль: „а чтѣ, ежели проклянута?“ Узнавши утромъ, что въ кабинетѣ началось объясненіе, она обратилась къ Евпраксеюшкѣ съ просьбой:

— Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, чтѣ они тамъ говорятъ!

Но Евпраксеюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла.

— Такъ, промежду себя разговариваютъ! Не очень кричатъ!—объяснила она, возвратившись.

Тогда Арина Петровна не вытерпѣла и сама отправилась въ столовую, куда тѣмъ временемъ и самоваръ былъ уже поданъ. Но объясненіе уже приходило къ концу; слышала она только, что Петинька возвышаетъ голосъ, а Порфирій Владимірычъ словно зудитъ въ отвѣтъ.

— Зудитъ! именно зудитъ!—вертѣлось у нея въ головѣ:—вотъ и тогда онъ такъ же зудѣлъ! и какъ это я въ то время не поняла!

Наконецъ оба, и отецъ, и сынъ, появились въ столовую. Петинька былъ красенъ и тяжело дышалъ; глаза у него смотрѣли широко, волосы на головѣ растрепались, лобъ былъ усыянъ мелкими каплями пота. Напротивъ, Іудушка вошелъ блѣдный и злой; хотѣлъ казаться равнодушнымъ, но, несмотря на всѣ усилія, нижняя губа его дрожала. Насилу могъ онъ выговорить обычное утреннее привѣтствіе милому другу маменькѣ.

Всѣ заняли свои мѣста вокругъ стола; Петинька сѣлъ нѣсколько поодаль, отвалился на спинку стула, положилъ ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривалъ на отца.

— Вотъ, маменька, и погодка у насъ унялась, — началъ Іудушка: — какое вчера смятеніе было, анъ Богу стоило только захотѣть — вотъ у насъ тишь да гладь, да Божья благодать! такъ ли, другъ мой?

— Не знаю, не выходила я изъ дому сегодня.

— А мы кстати дорогого гостя провожаемъ, — продолжалъ Іудушка: — я давеча еще гдѣ-гдѣ всталъ, посмотрѣлъ въ окно — анъ на дворѣ тихо



да спокойно, точно вотъ ангелъ Божій пролетѣлъ и въ одну минуту своимъ крыломъ все это возмущеніе умирилъ!

Но никто даже не отвѣтилъ на ласковыя Іудушкины слова; Евпраксеюшка шумно пила съ блюдечка чай, дуя и отфыркиваясь; Арина Петровна смотрѣла въ чашку и молчала; Петинька, раскачиваясь на стулѣ, продолжалъ поглядывать на отца съ такимъ иронически-вызывающимъ видомъ, точно вотъ ему большихъ усилій стоитъ, чтобъ не прыснуть со смѣха.

— Теперича, ежели Петинька и не шибко поѣдетъ, — опять началъ Порфирій Владимірычъ: — и тутъ къ вечеру легко до станціи желѣзной дороги поспѣетъ. Лошади у насъ свои, не мученныя, часика два въ Муравьевѣ покормятъ—мигомъ домчатъ. А тамъ—фіюю! пошла машина погромыхивать! Ахъ, Петька! Петька! недобрый ты! остался бы ты здѣсь съ нами, погостилъ бы — право! И намъ было бы веселѣе, да и ты бы — смотри, какъ бы ты здѣсь въ одну недѣлю поправился!

Но Петинька все продолжаетъ раскачиваться на стулѣ и поглядывать на отца.

— Ты чтѣ на меня все смотришь? — закипаетъ наконецъ Іудушка: — узоры, что-ли, видишь?

— Смотрю, жду, чтѣ еще отъ васъ будетъ.

— Ничего, братъ, не высмотришь! какъ сказано, такъ и будетъ. Я своего слова не измѣню!

Наступаетъ минута молчанія, въ продолженіе которой явственно раздается шопотъ:

— Іудушка!

Порфирій Владимірычъ несомнѣнно слышалъ эту апострофу (онъ даже поблѣднѣлъ), но дѣлаетъ видъ, что восклицаніе до него не относится.

— Ахъ, дѣтки, дѣтки!—говоритъ онъ:—и жалъ васъ, и хотѣлось бы приласкать да приглубить васъ, да, видно, нечего дѣлать—не судьба! Сами вы отъ родителей бѣжите, свои у васъ завелись друзья-пріятели, которые дороже для васъ и отца съ матерью. Ну, и нечего дѣлать! Подумаешь-подумаешь — и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, извѣстно, пріятнѣе съ молодымъ побыть, чѣмъ со старикомъ-ворчунѣмъ! Вотъ и смиряешь себя, и не ропщешь; только и просишь Отца Небеснаго: твори, Господи, волю Свою!

— Убійца!—вновь шепчетъ Петинька, но уже такъ явственно, что Арина Петровна со страхомъ смотритъ на него. Передъ глазами ея что-то вдругъ пронеслось, словно тѣнь Стѣпки-балбеса.

— Ты про кого это говоришь? — спрашиваетъ Іудушка, весь дрожа отъ волненія.

— Такъ, про одного знакомаго.

— То-то! такъ ты такъ и говори! Вѣдь Богъ знаетъ, чтѣ у тебя на умѣ: можетъ быть, ты изъ присутствующихъ кого-нибудь такъ честишь!

Всѣ смолкаютъ; стаканы съ чаемъ стоятъ нетронутыми. Іудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петинька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущаетъ чтѣ-то въ родѣ предсмертной тоски, и подъ вліяніемъ ея готовъ идти до крайнихъ предѣловъ. И отецъ, и сынъ съ какою-то неизъяснимою улыбкой смотрятъ другъ другу въ глаза. Какъ ни

вышколилъ себя Порфирій Владиміръчъ, но близится минута, когда онъ не въ состояніи будетъ сдерживаться.

— Ты бы лучше за добра-ума уѣхалъ! — наконецъ высказывается онъ: — да!

— И то уѣду.

— Чего ждать-то! Я вижу, что ты на ссору лѣзешь, а я ни съ кѣмъ ссориться не хочу. Живемъ мы здѣсь тихо да смирно, безъ ссоръ да безъ сваръ — вотъ бабушка-старушка здѣсь сидитъ, хоть бы ея ты посовѣтился! Ну, зачѣмъ ты къ намъ пріѣхалъ?

— Я вамъ говорилъ, зачѣмъ.

— А коли зачѣмъ только, такъ напрасно трудился. Уѣзжай, братъ! Эй, кто тамъ? велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жаренаго, да икорки, да еще тамъ чего-нибудь... яичекъ, что-ли... въ бумажку заверните. На станціи, братъ, и закусишь, покуда лошадей подкормятъ. Съ Богомъ!

— Нѣтъ! я еще не поѣду. Я еще въ церковь пойду, попрошу панихиду по убіенномъ рабѣ Божиѣмъ Владимірѣ отелужить.

— По самоубійцѣ, то-есть...

— Нѣтъ, по убіенномъ.

Отецъ и сынъ смотрятъ другъ на друга во всѣ глаза. Такъ и кажется, что оба сейчасъ вскочатъ. Но Іудушка дѣлаетъ надъ собой нечеловѣческое усиліе и оборачивается со стуломъ лицомъ къ столу.

— Удивительно! — говоритъ онъ надорваннымъ голосомъ: — у-ди-витель-но!

— Да, по убіенномъ! — грубо настаиваетъ Петинька.

— Кто же его убилъ? — любопытствуетъ Іудушка, повидимому все-таки надѣясь, что сынъ опомнится.

Но Петинька, нимало не смущаясь, выпаливаетъ какъ изъ пушки:

— Вы!!

— Я?!

Порфирій Владиміръчъ не можетъ придти въ себя отъ изумленія. Онъ торопливо поднимается со стула, обращается лицомъ къ образу и начинаетъ молиться.

— Вы! вы! вы! — повторяетъ Петинька.

— Ну, вотъ! ну, слава Богу! вотъ теперь полегче стало, какъ помолился! — говоритъ Іудушка, вновь присаживаясь къ столу: — ну, постой! погоди! хоть мнѣ, какъ отцу, можно было бы и не входить съ тобой въ объясненія — ну, да ужъ пусть будетъ такъ! Стало быть, по твоему, я убилъ Володеньку?

— Да, вы!

— А по моему это не такъ. По моему, онъ самъ себя застрѣлилъ. Я въ то время былъ здѣсь, въ Головлеви, а онъ — въ Петербургѣ. Причемъ же я тутъ могъ быть? какъ могъ я его за семьсотъ верстъ убить?

— Ужъ будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видитъ Богъ, не понимаю!



— А кто Володю без копѣйки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! такъ зачѣмъ онъ женился противъ желанья отца?

— Да вѣдь вы же позволили?

— Кто? я? Христосъ съ тобой! Никогда я не позволялъ! Нникогда!

— Ну, да, то-есть вы и тутъ по своему обыкновенію поступили. У васъ вѣдь каждое слово десять значеній имѣетъ; пойди, угадывай!

— Никогда я не позволялъ! Онъ мнѣ въ то время написалъ: „хочу, папа, жениться на Лидочкѣ“. Понимаешь: „хочу“, а не „прошу позволенія“. Ну, и я ему отвѣтилъ: коли *хочешь* жениться, такъ женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было! — поддразниваетъ Петинька: — а развѣ это — не позволеніе?

— То-то, что нѣтъ. Я чтѣ сказалъ? я сказалъ: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю, это — другой вопросъ. Онъ у меня позволенія не просилъ; онъ прямо написалъ: „хочу, папа, жениться на Лидочкѣ“ — ну, и я насчетъ позволенія умолчалъ. *Хочешь* жениться — ну, и Христосъ съ тобой! женись, мой другъ, хоть на Лидочкѣ, хоть на разлидочкѣ — я препятствовать не могу!

— А только безъ куска хлѣба оставить можете. Такъ вы бы такъ и писали: не нравится, дескать, мнѣ твое намѣреніе, а потому хоть я тебѣ не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтобъ ты больше не рассчитывалъ на денежную помощь отъ меня. По крайней мѣрѣ, тогда было бы ясно.

— Нѣтъ, этого я никогда не позволю себѣ сдѣлать! Чтобъ я сталъ употреблять въ дѣло угрозы совершеннолѣтнему сыну — никогда!! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотѣлъ жениться — женись! Ну, а насчетъ послѣдствій — не погнѣвайся! Самъ долженъ былъ предусматривать — на то и умъ тебѣ отъ Бога данъ. А я, братъ, въ чужія дѣла не вмѣшиваюсь. И не только самъ не вмѣшиваюсь, да не прошу, чтобъ и другіе въ мои дѣла вмѣшивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу, и даже... запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сынъ? — запрещаю!

— Запрещайте, пожалуй! всѣмъ ртовъ не замажете!

— И хоть бы онъ раскаялся! хоть бы онъ понялъ, что отца обидѣлъ! Ну, сдѣлалъ пошлость — ну, и раскайся! Попроси прощенія! простите, молъ, душенька-папенька, что васъ огорчилъ! А то — натко!

— Да вѣдь онъ писалъ вамъ; онъ объяснилъ, что ему жить нечѣмъ, что дольше ему терпѣть нѣтъ силъ...

— Съ отцомъ не объясняются-сь. У отца прощенія просятъ — вотъ и все.

— И это было. Онъ такъ былъ измученъ, что и прощенья просилъ. Все было, все!

— А хоть бы и такъ — опять-таки онъ не правъ. Попросилъ разъ прощенья, видитъ, что папа не прощаетъ — и въ другой разъ попроси!

— Ахъ, вы!

Сказавши это, Петинька вдругъ перестаетъ качаться на стулѣ, оборачивается къ столу и облокачивается на него обѣими руками.

— Вотъ и я...—чуть слышно произносить онъ.

Лицо его постепенно искажается.

— Вотъ и я...—повторяетъ онъ, раздражаясь истерическими рыданіями.

— А кто же вино...

Но Іудушкѣ не удалось окончить свое поученіе, ибо въ эту самую минуту случилось нѣчто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчасъ перестрѣлки объ Аринѣ Петровнѣ словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротивъ того, съ перваго же взгляда можно было заподозрить, что въ ней происходитъ что-то не совсѣмъ обыкновенное, и что, можетъ быть, настала минута, когда передъ умственнымъ ея окомъ предстали во всей полнотѣ и наготѣ итоги ея собственной жизни. Лицо ея оживилось, глаза расширились и блестѣли, губы шевелились, какъ будто хотѣли сказать какое-то слово—и не могли. И вдругъ, въ ту самую минуту, когда Петинька огласилъ столовую рыданіями, она грузно поднялась съ своего кресла, протянула впередъ руку, и изъ груди ея вырвался вопль:

— Прро-кли-ннааааю!

#### IV. — Племяннушка.

Іудушка такъ-таки и не далъ Петинькѣ денегъ, хотя, какъ добрый отецъ, приказалъ въ минуту отъѣзда положить ему въ повозку и курочки, и телятинки, и пирожокъ. Затѣмъ онъ, несмотря на стужу и вѣтеръ, самолично вышелъ на крыльцо проводить сына, справился, ловко ли ему сидѣть, хорошо ли онъ закуталъ себѣ ноги, и, возвратившись въ домъ, долго крестилъ овно въ столовой, посылая заочное напутствіе повозкѣ, увозившей Петиньку. Словомъ, весь обрядъ выполнилъ какъ слѣдуетъ, по родственному.

— Ахъ, Петька, Петька!—говорилъ онъ: — дурной ты сынъ! нехорошій! Вѣдь вотъ чтò набѣдокурилъ... ахъ-ахъ-ахъ! И чтò бы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, смиреннько да ладненько, съ палкой да съ бабушкой-старушкой—такъ нѣтъ! Фу-ты! ну-ты! У насъ свой царь въ головѣ есть! своимъ умомъ проживемъ! Вотъ и умъ твой! Ахъ, горе какое вышло!

Но ни одинъ мускулъ при этомъ не дрогнулъ на его деревянномъ лицѣ, ни одна нота въ его голосѣ не прозвучала чѣмъ-нибудь похожимъ на призывъ блудному сыну. Да впрочемъ никто и не слыхалъ его словъ, потому что въ комнатѣ находилась одна Арина Петровна, которая, подъ вліяніемъ только-что испытаннаго потрясенія, какъ-то разомъ потеряла всякую жизненную энергію и сидѣла за самоваромъ, раскрывъ ротъ, ничего не слыша и безъ всякой мысли глядя впередъ.

Затѣмъ жизнь потекла по прежнему, исполненная праздної суеты и безконечнаго пустословія...

Вопреки ожиданіямъ Петиньки Порфирій Владиміръчъ вынесъ материнское проклятiе довольно спокойно и ни на волосъ не отступилъ отъ тѣхъ



рѣшеній, которыя, такъ сказать, всегда готовы сидѣли въ его головѣ. Правда, онъ слегка поблѣднѣлъ и бросился къ матери съ крикомъ:

— Маменька! душенька! Христось съ вами! успокойтесь, голубушка! Богъ милостивъ! все устроится!

Но слова эти были скорѣе выраженіемъ тревоги за мать, нежели за себя. Выходка Арины Петровны была такъ внезапна, что Гудушка не догадался даже притвориться испуганнымъ. Еще наканунѣ маменька была къ нему милостива, шутила, играла съ Евпраксеюшкой въ дурачки — очевидно, стало быть, что ей только что-нибудь на минуту помстилось, а преднамѣреннаго, „настоящаго“ не было ничего. Дѣйствительно, онъ очень боялся маменьки-на проклятія, но представлялъ его себѣ совершенно иначе. Въ праздномъ его умѣ на этотъ случай цѣлая обстановка сложилась: образа, зажженные свѣчи, маменька стоитъ среди комнаты, страшная, съ почернѣвшимъ лицомъ... и проклинаетъ! Потомъ: громъ, свѣчи потухли, завѣса разодралась, тѣма покрывала землю, а вверху, среди тучъ, виднѣется разгнѣванный ликъ Іеговы, освѣщенный молніями. Но такъ-какъ ничего подобнаго не случилось, то значить, что маменька просто сблажилась, показалось ей что-нибудь — и больше ничего. Да и не съ чего было ей „настоящимъ образомъ“ проклинать, потому что въ послѣднее время у нихъ не было даже предлоговъ для столкновенія. Съ тѣхъ поръ какъ онъ заявилъ сомнѣніе насчетъ принадлежности маменькѣ тарантаса (Гудушка соглашался внутренно, что *тогда* онъ былъ виноватъ и заслуживалъ проклятія), воды утекло много; Арина Петровна смирилась, а Порфирій Владимірьчъ только и думалъ о томъ, какъ бы успокоить добраго друга маменьку.

— Плоха старушка, ахъ, какъ плоха! временемъ даже забываться ужъ начала! — утѣшалъ онъ себя. — Сядетъ, голубушка, въ дураки играть — смотришь, анъ она дремлетъ!

Справедливость требуетъ сказать, что ветхость Арины Петровны даже тревожила его. Онъ еще не приготовился къ утратѣ, ничего не обдумалъ, не успѣлъ сдѣлать надлежащія выкладки: сколько было у маменьки капитала при отъѣздѣ изъ Дубровина, сколько капиталъ этотъ могъ приносить въ годъ доходу, сколько она могла изъ этого дохода тратить и сколько присовокупить. Словомъ сказать, не продѣлалъ еще цѣлой массы пустяковъ, безъ которыхъ онъ всегда чувствовалъ себя застигнутымъ врасплохъ.

— Старушка крѣпидька! — мечталось ему иногда: — не проживетъ она *всею* — гдѣ прожить! Въ то время какъ она насъ отдѣляла, хорошій у нея капиталъ былъ! Развѣ сироткамъ чего не передала ли — да нѣтъ, и сироткамъ не много дастъ! Есть у старушки деньги, есть!

Но мечтанія эти покуда еще не представляли ничего серьезнаго и улетучивались, не задерживаясь въ его мозгу. Масса обыденныхъ пустяковъ и безъ того была слишкомъ громадна, чтобъ увеличивать ее еще новыми, въ которыхъ покамѣстъ не настояло насущной потребности. Порфирій Владимірьчъ все откладывалъ да откладывалъ, и только послѣ внезапной сцены проклятія спохватился, что пора начинать.

Катастрофа наступила впрочемъ скорѣе, нежели онъ предполагалъ. На другой день послѣ отъѣзда Петиньки Арина Петровна уѣхала въ По-

горѣлку и уже не возвращалась въ Головлево. Съ мѣсяцъ она провела въ совершенномъ уединеніи, не выходя изъ комнаты и рѣдко-рѣдко позволяя себѣ промолвить слово даже съ прислугою. Вставши утромъ, она по привычкѣ садилась къ письменному столу, по привычкѣ же начинала раскладывать карты, но никогда почти не доканчивала и словно застывала на мѣстѣ съ вперенными въ окно глазами. Что она думала и даже думала ли объ чемъ-нибудь — этого не разгадалъ бы самый проникательный знатокъ сокровеннѣйшихъ тайнъ человѣческаго сердца. Казалось, она хотѣла что-то вспомнить, хоть, напримѣръ, то, какимъ образомъ она очутилась здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, и — не могла. Встревоженная ея молчаніемъ, Афимьюшка заглядывала въ комнату, поправляла въ креслѣ подушки, которыми она была обложена, пробовала заговорить объ чемъ-нибудь, но получала только односложные и нетерпѣливые отвѣты. Раза съ два въ теченіе этого времени пріѣзжалъ въ Погорѣлку Порфирій Владимірычъ, звалъ маменьку въ Головлево, пытался распалить ея воображеніе представленіемъ объ рыжичкахъ, карасикахъ и прочихъ головлевскихъ соблазнахъ, но она только загадочно улыбалась на его предложенія.

Однимъ утромъ она по обыкновенію собралась встать съ постели и не могла. Она не ощущала никакой особенной боли, ни на что не жаловалась, а просто не могла встать. Ее даже не встревожило это обстоятельство, какъ будто оно было въ порядкѣ вещей. Вчера сидѣла еще у стола, была въ силахъ бродить — нынче лежить въ постели, „неможется“. Ей даже покойнѣе чувствовалось. Но Афимьюшка всполошилась и потихоньку отъ барыни послала гонца къ Порфирію Владимірычу.

Гудушка пріѣхалъ рано утромъ на другой день; Арина Петровна было ужъ значительно хуже. Обстоятельно разспросилъ онъ прислугу, что маменька кушала, не позволила ли себѣ чего лишненькаго, но получилъ 'отвѣтъ, что Арина Петровна ужъ съ мѣсяцъ почти ничего не ѣстъ, а со вчерашняго дня и вовсе отказалась отъ пищи. Потужилъ Гудушка, помахалъ руками и, какъ добрый сынъ, прежде чѣмъ войти къ матери, погрѣлся въ дѣвичьей у печки, чтобъ не охватило больную холоднымъ воздухомъ. И кстати (у него насчетъ покойниковъ какой-то дьявольскій нюхъ былъ) тутъ же началъ распоряжаться. Разспросилъ насчетъ попа, дома ли онъ, чтобъ, въ случаѣ надобности, можно было сейчасъ же за нимъ послать, справился, гдѣ стоитъ маменькинъ ящикъ съ бумагами, запертъ ли онъ, и, успокоившись насчетъ существеннаго, призвалъ кухарку и велѣлъ приготовить обѣдать для себя.

— Мнѣ немного надо! — говорилъ онъ: — курочка есть? — ну, супцу изъ курочки сварите! Можетъ быть, солонинка есть — солонинки кусочекъ приготовьте! Жаркѣвца какого-нибудь... вотъ, я и сытъ!

Арина Петровна лежала, распростершись навзничъ на постели, съ раскрытымъ ртомъ и тяжело дыша. Глаза ея смотрѣли широко; одна рука выбилась изъ-подъ заячьяго одѣяла и застыла въ воздухѣ. Очевидно, она прислушивалась къ шороху, который произвелъ пріѣздъ сына, а можетъ быть до нея долетали и самыя приказанія, отдаваемые Гудушкой. Благодаря опущеннымъ шторамъ, въ комнатѣ царствовали сумерки. Свѣтилины догорали на днѣ лампадокъ, и слышно было, какъ онѣ трещали отъ прикосновенія съ во-



дою. Воздухъ былъ тяжелъ и смраденъ; духота отъ жарко натопленныхъ печей, отъ чада, распространяемаго лампадами, и отъ мѣзмовъ стояла невыносимая. Порфирій Владимірычъ, въ валенныхъ сапогахъ, словно змѣй, проскользнулъ къ постели матери; длинная и сухошавая его фигура загадочно колебалась, охваченная сумерками. Арина Петровна слѣдила за нимъ не то испуганными, не то удивленными глазами и жалась подъ одѣяломъ.

— Это я, маменька, — сказалъ онъ: — что это, какъ вы развинулись сегодня! ахъ-ахъ-ахъ! То-то мнѣ нынче не спалось; всю ночь вотъ такъ и поталкивало: дай, думаю, провѣдаю, какъ-то погорѣлковскіе друзья поживаютъ! Утромъ сегодня всталъ, сейчасъ-это кибиточку, парочку лошадушекъ — и вотъ онъ-онъ!

Порфирій Владимірычъ любезно хихикнулъ, но Арина Петровна не отвѣчала и все больше и больше жалась подъ одѣяломъ.

— Ну, Богъ милостивъ, маменька! — продолжалъ Гудушка: — главное, въ обиду себя не давайте! Плюньте на хворость, встаньте съ постельки да пройдитесь молодцомъ по комнатѣ! — вотъ такъ!

Порфирій Владимірычъ всталъ со стула и показалъ, какъ молодцы прохаживаются по комнатѣ.

— Да постойте, дайте-ка я штормку подниму да посмотрю на васъ! Э! да вы молодецъ-молодцомъ, голубушка! Стоить только подбодриться, да Богу помолиться, да прифрантиться — хоть сейчасъ на балъ! Дайте-ка, вотъ я вамъ святой водицы богоявленской привезу, откушайте-ка!

Порфирій Владимірычъ вынулъ изъ кармана пузырькъ, отыскалъ на столѣ рюмку, налилъ и поднесъ больной. Арина Петровна сдѣлала-было движеніе, чтобъ поднять голову, но не могла.

— Сиротъ бы... — простонала она.

— Ну, вотъ, ужъ и сиротки понадобились! Ахъ, маменька, маменька! Какъ это вы вдругъ... натко! Капельку прихворнули — и ужъ духомъ упали! Все будетъ! и къ сироткамъ эстафету пошлемъ, все чередомъ сдѣлаемъ! Не къ спѣху вѣдь; мы съ вами еще проживемъ! да еще какъ проживемъ-то! Вотъ лѣто настанетъ — въ лѣсъ по грибы вмѣстѣ пойдемъ: по малину, по ягоду, по черну смородину! А не то такъ въ Дубровино карасей ловить поѣдемъ! запряжемъ старика савраску въ длинныя дроги, потихоньку да полетоньку, трюхъ-трюхъ, сядемъ и поѣдемъ!

— Сиротъ бы... — повторяла Арина Петровна тоскливо.

— Пріѣдутъ и сиротки. Дайте срокъ — всѣхъ скличемъ, всѣ пріѣдемъ. Пріѣдемъ, да кругомъ васъ и обсядемъ. Вы будете насѣдка, а мы цыплятки... цыпъ-цыпъ-цыпъ! Все будетъ, коли вы будете пайныка. А вотъ за это вы ужъ не пайныка, что хворать вздумали. Вѣдь вотъ что, проказница, затѣяли... ахъ-ахъ-ахъ! чѣмъ бы другимъ примѣръ подавать, а вы вотъ какъ! Нехорошо, голубушка! ахъ, нехорошо!

Но какъ ни старался Порфирій Владимірычъ и шуточками, и прибаутками подбодрить милаго друга маменьку, силы ея падали съ каждымъ часомъ. Послали въ городъ нарочнаго за лекаремъ, и такъ какъ больная продолжала тосковать и звать сиротокъ, то Гудушка собственноручно написала Аннинькѣ и Любинькѣ письмо, въ которомъ сравнивалъ ихъ поведеніе

съ своимъ, себя называлъ христіаниномъ, а ихъ — неблагодарными. Ночью лекарь пріѣхалъ, но было уже поздно. Арину Петровну, какъ говорится, въ одинъ день „сварило“. Часу въ четвертомъ ночи началась агонія, а въ шесть часовъ утра Порфирій Владиміръчъ стоялъ на колѣняхъ у постели матери и вонилъ:

— Маменька! другъ мой! благословите!

Но Арина Петровна не слыхала. Открытые глаза ея тускло смотрѣли въ пространство, словно она старалась что-то понять и не понимала.

Іудушка тоже не понималъ. Онъ не понималъ, что открывавшаяся передъ его глазами могила уносила послѣднюю связь его съ живымъ міромъ, послѣднее живое существо, съ которымъ онъ могъ дѣлить прахъ, наполнявшій его. И что огниѣ этотъ прахъ, не находя истока, будетъ накапливаться въ немъ до тѣхъ поръ, пока окончательно не задуть его.

Съ обычною суетливостью окунувшись въ бездну мелочей, сопровождающихъ похоронный обрядъ. Служилъ панихиды, заказывалъ сорокоусты, толковалъ съ попомъ, шаркалъ ногами, переходя изъ комнаты въ комнату, заглядывалъ въ столовую, гдѣ лежала покойница, крестился, воздвѣвалъ глаза къ небу, вставалъ по ночамъ, неслышно подходилъ къ двери, ведувивался въ монотонное чтеніе псаломщика и проч. Причемъ былъ пріятно удивленъ, что даже особенныхъ издержекъ для него по этому случаю не предстояло, потому что Арина Петровна еще при жизни отложила сумму на похороны, расписавъ очень подробно, сколько и куда слѣдуетъ употребить.

Схоронивши мать, Порфирій Владиміръчъ немедленно занялся приведеніемъ въ извѣстность ея дѣлъ. Разбирая бумаги, онъ нашелъ до десяти разныхъ завѣщаній (въ одномъ изъ нихъ она называла его „непочтительнымъ“); но всѣ они были писаны еще въ то время, когда Арина Петровна была властною барыней, и лежали неоформленными, въ видѣ проектовъ. Поэтому Іудушка остался очень доволенъ, что ему не привелось даже покривить душой, объявляя себя единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ оставшагося послѣ матери имущества. Имущество это состояло изъ капитала въ пятнадцать тысячъ рублей и изъ скудной движимости, въ числѣ которой былъ и знаменитый тарантасъ, едва не послужившій яблокомъ раздора между матерью и сыномъ. Арина Петровна тщательно отдѣляла свои счета отъ опекунскихъ, такъ что сразу можно было видѣть, что принадлежитъ ей и что — сироткамъ. Іудушка немедленно заявилъ себя гдѣ слѣдуетъ наслѣдникомъ, опечатавъ бумаги, относящіяся до опеки, роздалъ прислугѣ скудный гардеробъ матери; тарантасъ и двухъ коровъ, которыя, по описи Арины Петровны, значились подъ рубрикой „мои“, отправилъ въ Головлево и затѣмъ, отелуживши послѣднюю панихиду, отправился во-свои.

— Ждите владѣлицъ, — говорилъ онъ людямъ, собравшимся въ сѣняхъ, чтобъ проводить его: — пріѣдутъ — милости просимъ! не пріѣдутъ — какъ хотятъ! Я, съ своей стороны, все сдѣлалъ, счета по опеку привелъ въ порядокъ, ничего не скрылъ, не утаилъ — все у всѣхъ на глазахъ дѣлалъ. Капиталъ, который послѣ маменьки остался, принадлежитъ мнѣ — по закону; тарантасъ и двѣ коровы, которыя я въ Головлево отправилъ — тоже мои, по закону. Можетъ быть, даже кой-что изъ моего *здѣсь* осталось — ну, да Богъ



съ нимъ! сироткамъ и Богъ велѣлъ подавать! Жаль маменьку! добрая была старушка! пѣчная! Вотъ и объ васъ, объ прислугѣ, позаботилась, гардеробъ свой вамъ оставила! Ахъ, маменька, маменька! нехорошо вы это голубушка, сдѣлали, что насъ сиротами покинули! Ну, да ужъ если такъ Богу угодно, то и мы святой Его волѣ покоряться должны! Только бы вашей душѣ было хорошо, а объ насъ... чтѣ ужъ объ насъ думать!

За первой могилой скоро послѣдовала и другая.

Къ исторіи сына Порфирій Владимірычъ отнесся довольно загадочно. Газетъ онъ не получалъ, ни съ кѣмъ въ перепискѣ не состоялъ, и потому свѣдѣній о процессѣ, въ которомъ фигурировалъ Петинька, ни откуда имѣть не могъ. Да врядъ ли онъ и желалъ чтѣ-нибудь знать объ этомъ предметѣ. Вообще это былъ человѣкъ, который пуще всего сторонился отъ всякихъ тревогъ, который по уши погрязъ въ тину мелочей самаго поскуднаго самосохраненія и котораго существованіе, вслѣдствіе этого, нигдѣ и ни на чемъ не оставило послѣ себя слѣдовъ. Такихъ людей довольно на свѣтѣ, и всѣ они живутъ особнякомъ, не умѣя и не желая къ чему-нибудь пріютиться, не зная, чтѣ ожидаетъ ихъ въ слѣдующую минуту, и лопааясь подъ конецъ, какъ лопаются дождевые пузыри. Нѣтъ у нихъ дружескихъ связей, потому что для дружелюбія необходимо существованіе общихъ интересовъ; нѣтъ и дѣловыхъ связей, потому что даже въ мертвомъ дѣлѣ бюрократизма они выказываютъ какую-то ужъ совершенно нестерпимую мертвенность. Тридцать лѣтъ сряду Порфирій Владимірычъ толкался и мелькалъ въ департаментѣ; потомъ въ одно прекрасное утро исчезъ — и никто не замѣтилъ этого. Поэтому онъ узналъ объ участи, постигшей сына, послѣдній, когда вѣсть объ этомъ распространилась уже между дворовыми. Но и тутъ притворился, что ничего не знаетъ, такъ что когда Евпраксеюшка заикнулась однажды упомянуть о Петинькѣ, то Іудушка замахалъ на нее руками и сказалъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! и не знаю, и не слыхалъ, и слышать не хочу! Не хочу я его грязныхъ дѣлъ знать!

Но наконецъ узнать все-таки привелось. Пришло отъ Петиньки письмо, въ которомъ онъ увѣдомлялъ о своемъ предстоящемъ отъѣздѣ въ одну изъ дальнихъ губерній и спрашивалъ, будетъ ли папенька высылать ему содержаніе въ новомъ его положеніи. Весь день послѣ этого Порфирій Владимірычъ находился въ видимомъ недоумѣніи, сновалъ изъ комнаты въ комнату, заглядывалъ въ образную, крестился и охалъ. Къ вечеру, однакожъ, собрался съ духомъ и написалъ:

„Преступный сынъ Петръ!

„Какъ вѣрный подданный, обязанный чтить законы, я не долженъ былъ бы даже отвѣчать на твое письмо. Но, какъ отецъ, причастный человѣческимъ слабостямъ, не могу, изъ чувства состраданія, отказать въ благомъ совѣтѣ дѣтищу, ввергнувшему себя, по собственной винѣ, въ пучину золъ. И такъ, вотъ вкратцѣ мое мнѣніе по сему предмету. Наказаніе, коему ты подвергся, тяжело, но исполнѣ тобою заслужено — такова первая и самая главная мысль, которая отнынѣ всегда должна тебѣ въ твоей новой жизни сопутствовать. А всѣ остальные прихоти и даже воспоминанія объ оныхъ ты долженъ оставить,

ибо въ твоёмъ положеніи все сіе можетъ только раздражать и побуждать къ ропоту. Ты уже вкусилъ отъ горькихъ плодовъ высокоумія — попробуй же вкусить и отъ плодовъ смиренія, тѣмъ болѣе, что ничего другого для тебя въ будущемъ не предстоитъ. Не ропщи на наказаніе, ибо начальство даже не наказываетъ тебя, но преподаетъ лишь средства къ исправленію. Благодарить за сіе и стараться загладить содѣянное — вотъ объ чемъ тебѣ непрестанно думать надлежитъ, а не о роскошномъ препровожденіи времени, коего, впрочемъ, я и самъ, никогда не бывъ подъ судомъ, не имѣю. Последуй же сему совѣту благоразумія и возродись для новой жизни, возродись совершенно, довольствуясь тѣмъ, что начальство, по милости своей, сочтетъ нужнымъ тебѣ назначить. А я, съ своей стороны, буду молить Подателя всѣхъ благъ о испосланіи тебѣ твердости и смиренія, и даже въ сей самый день, какъ пишу сіи строки, былъ въ церкви и возсылалъ о семъ горячія мольбы. Затѣмъ благословляю тебя на новый путь и остаюсь —

„негодующій, но все еще любящій отецъ твой —

„Порфирій Головлевъ“.

Неизвѣстно, дошло ли до Петиньки это письмо; но не дальше, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ его отсылки, Порфирій Владимірычъ получилъ официальное увѣдомленіе, что сынъ его, не доѣхавши до мѣста ссылки, слегъ въ одномъ изъ попутныхъ городовъ въ больницу и умеръ.

Гудушка очутился одинъ, но сгоряча, все-таки, еще не понялъ, что съ этой новой утратой онъ уже окончательно пущенъ въ пространство, лицомъ къ лицу съ однимъ своимъ пустословіемъ. Это случилось вскорѣ послѣ смерти Арины Петровны, когда онъ былъ весь поглощенъ въ счеты и выкладки. Онъ пересчитывалъ бумаги покойной, усчитывалъ всякій грошъ, отыскивалъ связь этого гроша съ опекунскими грошами, не желая, какъ онъ говорилъ, ни себѣ присвоить чужого, ни своего не упустить. Среди этой суеты ему даже не представлялся вопросъ, для чего онъ все это дѣлаетъ и кто воспользуется плодами его суеты? Съ утра до вечера корпѣлъ онъ за письменнымъ столомъ, критикуя распоряженія покойной и даже фантазируя, такъ что за хлопотами мало-по-малу запустилъ и счеты по собственному хозяйству.

И все въ домѣ стихло. Прислуга, и прежде предпочитавшая ютиться въ людскихъ, почти совсѣмъ бросила домъ, а являясь въ господскія комнаты — ходила на цыпочкахъ и говорила шопотомъ. Чувствовалось что-то выморочное и въ этомъ домѣ, и въ этомъ человѣкѣ, что-то такое, что наводитъ невольный и суевѣрный страхъ. Сумеркамъ, которыя и безъ того окутывали Гудушку, предстояло сгущаться съ каждымъ днемъ все больше и больше.

Постомъ, когда спектакли прекратились, пріѣхала въ Головлево Аннинька и объявила, что Любинька не могла ѣхать вмѣстѣ съ нею, потому что еще раньше законтрактовалась на весь великій постъ, и вслѣдствіе этого отправилась въ Ромны, Изюмъ, Кременчугъ и проч., гдѣ ей предстояло давать концерты и пропѣть весь каскадный репертуаръ.



Въ теченіе короткой артистической карьеры Аннинька значительно выровнялась. Это была уже не прежняя наивная, малокровная и нѣсколько вялая дѣвушка, которая въ Дубровинѣ и въ Погорѣлкѣ, неуклюже покачиваясь и потихоньку поцѣвая, ходила изъ комнаты въ комнату, словно не зная, гдѣ найти себѣ мѣсто. Нѣтъ, это была дѣвица вполне опредѣлившаяся, съ рѣзкими и даже развязными манерами, по первому взгляду на которую можно было безъ ошибки заключить, что она за словомъ въ карманъ не полѣзетъ. Наружность ея тоже измѣнилась и довольно пріятно поразила Порфирія Владимірыча. Передъ нимъ явилась рослая и статная женщина съ красивымъ румянымъ лицомъ, съ высокою, хорошо развитою грудью, съ сѣрыми глазами на выкатѣ и съ отличнѣйшей пепельной косой, которая тяжело опускалась на затылокъ — женщина, которая повидимому проникнута была сознаниемъ, что она-то и есть та самая „Прекрасная Елена“, по которой суждено вздыхать господамъ офицерамъ. Раннимъ утромъ пріѣхала она въ Головлево и тотчасъ же уединилась въ особенную комнату, откуда явилась въ столовую къ чаю въ великолѣпномъ шолковомъ платьѣ, шумя треномъ и очень искусно маневрируя имъ среди стульевъ. Іудушка хотя и любилъ своего Бога паче всего, но это не мѣшало ему имѣть вкусъ къ красивымъ, а въ особенности къ крупнымъ женщинамъ. Поэтому онъ сначала перекрестилъ Анниньку, потомъ какъ-то особенно отчетливо поцѣловалъ ее въ обѣ щеки и при этомъ такъ странно скосилъ глаза на ея грудь, что Аннинька чуть замѣтно улыбнулась.

Сѣли за чай; Аннинька подняла обѣ руки вверхъ и потянулась.

— Ахъ, дядя, какъ у васъ скучно здѣсь! — начала она, слегка позѣвывая.

— Вотъ-на! не успѣла вернуться—ужъ и скучно показалось! А ты поживи съ нами—тогда и увидимъ: можетъ, и весело покажется,— отвѣтилъ Порфирій Владимірычъ, котораго глаза вдругъ подернулись маслянымъ отблескомъ.

— Нѣтъ, не интересно! Чтò у васъ тутъ? Снѣгъ кругомъ, сосѣдей нѣтъ... Полкъ, кажется, у васъ здѣсь стоитъ?

— И полкъ стоитъ, и сосѣди есть, да, признаться, меня это не интересуетъ. А впрочемъ, ежели...

Порфирій Владимірычъ взглянулъ на нее, но не закончилъ, а только крикнулъ. Можетъ быть, онъ и съ намѣреніемъ остановился, хотѣлъ раззадорить ея женское любопытство; во всякомъ случаѣ, прежняя, едва замѣтная улыбка вновь скользнула на ея лицѣ. Она облокотилась на столъ и довольно пристально взглянула на Евпраксеюшку, которая, вся раскрасѣвшись, перетирала стаканы и тоже исподлобья взглядывала на нее своими большими мутными глазами.

— Это—моя новая экономка... усердная! — молвилъ Порфирій Владимірычъ.

Аннинька чуть замѣтно кивнула головой и потихоньку замурлыкала: „Ah! ah! que j'aime... que j'aime... les mili-mili mili-taires!“ причѣмъ пояница ея какъ-то сама собой вздрагивала. Воцарилось молчаніе, въ продолженіе котораго Іудушка, смиренно опустивъ глаза, помаленьку прихлебывалъ чай изъ стакана.

— Скука! — опять зѣвнула Аннинька.

— Скука да скука! заладила одно! Вотъ погоди, поживи... Уждъ велимъ саночки заложить — кататься, сколько душѣ угодно.

— Дядя! отчего вы въ гусары не пошли?

— А оттого, мой другъ, что всякому человѣку свой предѣлъ отъ Бога положенъ. Одному — въ гусарахъ служить, другому — въ чиновникахъ быть, третьему — торговать, четвертому...

— Ахъ, да! четвертому, пятому, шестому... я и забыла! И все это Богъ распределяетъ... такъ вѣдь?

— Чтò жъ, и Богъ! надъ этимъ, мой другъ, смѣяться нечего! Ты знаешь ли, чтò въ писаніи-то сказано: безъ воли Божіей...

— Это насчетъ волоса! — знаю и это! Но вотъ бѣда: нынче все шиньоны носятъ, а это, кажется, не предусмотрѣно! Кстати: посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса!.. Не правда ли, хороша?

Порфирій Владимірычъ приблизился (почему-то на цыпочкахъ) и подержалъ косу въ рукѣ. Евпаксеюшка тоже потянулася впередъ, не выпуская изъ рукъ блюдечка съ чаемъ, и сквозь стиснутый въ зубахъ сахаръ процѣдила:

— Шиньонъ, чай?

— Нѣтъ, не шиньонъ, а собственные мои волосы. Я когда-нибудь ихъ передъ вами распушу, дядя!

— Да, хороша коса! — похвалилъ Іудушка и какъ-то погано распустилъ при этомъ губы; но потомъ спохватился, что, по настоящему, отъ подобныхъ соблазновъ надобно отплѣвываться, и — присовокупилъ: — ахъ, егоза! егоза! все у тебя косы да шлейфы на умѣ, а объ настоящемъ-то, объ главномъ-то и не догадаешься спросить?

— Да, объ бабушкѣ?.. Вѣдь она умерла?

— Скончалась, мой другъ! и какъ еще скончалась-то! Мирно, тихо, никто и не слыхалъ! Вотъ ужъ именно непостыдныя кончины живота своего удостоилась! Обо всѣхъ вспомнила, всѣхъ благословила, призвала священника, причастилась... И такъ это вдругъ спокойно, такъ спокойно ей сдѣлалось! Даже сама, голубушка, это высказала — вдругъ начала вздыхать! Вздохнула разъ, другой, третій — смотримъ, ея ужъ и нѣтъ!

Іудушка всталъ, повернулся лицомъ къ образу, сложилъ руки ладонями внутрь и помолился. Даже слезы у него на глазахъ выступили: такъ хорошо онъ солгалъ! Но Аннинька повидимому была не изъ чувствительныхъ. Правда, она задумалась на минуту, но совсѣмъ по другому поводу.

— А помните, дядя, — сказала она: — какъ она-меня съ сестрой, маленькихъ, кислымъ молокомъ кормила? Не въ послѣднее время... въ послѣднее время она отличная была... а тогда, когда она еще богата была?

— Ну-ну, чтò старое поминать! Кислымъ молокомъ кормила, а вишь какую, Богъ съ тобой, выпоил! На могилку-то поѣдешь, что-ли?

— Поѣдемъ, пожалуй!

— Только знаешь ли чтò! ты бы сначала очистилась!

— Какъ это... очистилась!

— Ну, все-таки... актриса... ты думаешь, бабушкѣ это легко было?



Такъ прежде, чѣмъ на могилку-то ѣхать, обѣденку-бы тебѣ отстоять, очиститься бы! Вотъ я завтра пораньше велю отслужить, а потомъ и съ Богомъ!

Какъ ни нелѣпо было Іудушкино предложеніе, но Аннинька все-таки на минуту смѣшалась. Но вслѣдъ затѣмъ она сдвинула сердито брови и рѣзко сказала:

— Нѣтъ, я такъ... я сейчасъ пойду!

— Не знаю, какъ хочешь! а мой совѣтъ такой: отстояли бы завтра обѣденку, напились бы чайку, приказали бы пару лошадушекъ въ кибиточку заложить и покатали бы вмѣстѣ. И ты бы очистилась, и бабушкиной бы душѣ...

— Ахъ, дядя, какой вы, однако, глупенькій! Богъ знаетъ, какую чепуху несете, да еще настаиваете!

— Чтѣ? не понравилось? Ну, да ужъ не взыщи — я, братъ, прямикъ! Неправды — не люблю, а правду — и другимъ выскажу, и самъ выслушаю! Хотя и не по шёрсткѣ иногда правда, хоть и горьконько — а все ее выслушаешь! И должно выслушать, потому что она — правда. Такъ-то, мой другъ! Ты, вотъ, поживи-ка съ нами, да по нашему — и сама увидишь, что такъ-то лучше, чѣмъ съ гитарой съ ярмарки на ярмарку переѣзжать.

— Богъ знаетъ, чтѣ вы, дядя, говорите! съ гитарой!

— Ну, не съ гитарой, а около того. Съ торбаномъ, что-ли. Впрочемъ вѣдь ты меня первая обидѣла, глупымъ назвала, а мнѣ, старику, и подѣвно можно правду тебѣ высказать.

— Хорошо, пусть будетъ правда; не будемъ объ этомъ говорить. Скажите пожалуйста: послѣ бабушки осталось наслѣдство?

— Какъ не остаться! Только законный наслѣдникъ-то былъ на-лицо!

— То-есть, вы... И тѣмъ лучше. Она у васъ здѣсь, въ Головлевъ, похоронена?

— Нѣтъ, въ самомъ приходѣ, подлѣ Погорѣлки, у Никола на Воллѣ. Сама пожелала.

— Такъ я поѣду. Можно у васъ, дядя, лошадей нанять?

— Зачѣмъ нанимать? свои лошади есть! Ты, чай, не чужая! Племяннушка... племяннушкой мнѣ приходишься! — вхлопотался Порфирій Владимірычъ, осклабясь „по родственному“: — кибиточку... парочку лошадушекъ — слава-те, Господи! не пустодомомъ живу! Да не поѣхать ли и мнѣ вмѣстѣ съ тобой? И на могилкѣ бы побывали, и въ Погорѣлку бы заѣхали! И туда бы заглянули, и тамъ бы посмотрѣли; и поговорили бы, и подумали бы — чтѣ и какъ... Хорошенькая вѣдь у васъ усадьбица, полезныя въ ней мѣстечки есть!

— Нѣтъ, я ужъ одна... зачѣмъ вамъ? Кстати: вѣдь и Петинька тоже умеръ?

— Умеръ, дружокъ, умеръ и Петинька. И жалко мнѣ его съ одной стороны, даже до слезъ жалко, а съ другой стороны — самъ виноватъ! Всегда онъ былъ къ отцу непочтителенъ — вотъ Богъ за это и наказалъ! А ужъ ежели что Богъ въ премудрости своей устроилъ, такъ намъ съ тобой передѣлывать не приходится!

— Понятное дѣло, не передѣлаемъ. Только я вотъ объ чемъ думаю: какъ это вамъ, дядя, жить не страшно?

— А чего мнѣ страшиться? видишь, сколько у меня благодати кругомъ? — Гудушка обвелъ рукою, указывая на образа: — и тутъ благодать, и въ кабинетѣ благодать, а въ образной такъ настоящій рай! Вонъ сколько у меня заступниковъ!

— Все-таки... Всегда вы — одинъ... страшно!

— А страшно, такъ встану на колѣни, помолюсь — и все какъ рукой сниметъ! Да и чего бояться? днемъ — свѣтло, а ночью у меня вездѣ, во всѣхъ комнатахъ, лампадки горять. Съ улицы, какъ стемнѣетъ, словно балъ кажется! А какой у меня балъ! Заступники да угодники Божіи — вотъ и весь мой балъ!

— А знаете ли: вѣдь Петинька-то передъ смертью писалъ къ намъ.

— Что жъ! какъ родственникъ... И за то спасибо, что хоть родственныя чувства не потерялъ!

— Да, писалъ. Ужъ послѣ суда, когда рѣшеніе вышло. Писалъ, что онъ три тысячи проигралъ, и вы ему не дали. Вѣдь вы, дядя, богатый?

— Въ чужомъ карманѣ, мой другъ, легко деньги считать. Иногда намъ кажется, что у человѣка золотыя горы, а поглядѣть да посмотреть, такъ у него на маслице да на свѣчечку — и то не его, а Богово!

— Ну, мы, стало быть, богаче васъ. И отъ себя сложились, и кавалеровъ нашихъ заставили подписаться — шестьсотъ рублей собрали и послали ему.

— Какіе же это „кавалеры“?

— Ахъ, дядя! да вѣдь мы... актрисы! вы сами же сейчасъ предлагали мнѣ „очиститься“!

— Не люблю я, когда ты такъ говоришь!

— Что жъ дѣлать! Любите или не любите, а чтò сдѣлано, того не передѣлаешь. Вѣдь по вашему и тутъ Богъ!

— Не кощунствуй, по крайней мѣрѣ. Все можешь говорить, а кощунствовать... не позволяю! Куда же вы деньги послали?

— Не помню. Въ городокъ какой-то... Онъ самъ назначилъ.

— Не знаю. Кабы были деньги, я долженъ бы послѣ смерти ихъ получить! Не истратилъ же онъ всѣхъ разомъ! Не знаю, ничего я не получилъ. Смотрителишки да конвойные, чай, воспользовались!

— Да вѣдь мы и не требуемъ — это такъ, къ слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно: какъ это такъ — изъ-за трехъ тысячъ человѣкъ пропалъ!

— То-то что не изъ-за трехъ тысячъ. Это намъ такъ кажется, что изъ-за трехъ тысячъ — вотъ мы и твердимъ: три тысячи! три тысячи! А Богъ...

Гудушка совсѣмъ ужъ-было расходился, хотѣлъ объяснить во всей подробности, какъ Богъ... Провидѣніе... невидимыми путями... и все такое... Но Аннинька безцеремонно зѣвнула и сказала:

— Ахъ, дядя! скука какая у васъ!

На этотъ разъ Порфирій Владимірычъ серьезно обидѣлся и замолчалъ. Долго ходили они рядомъ взадъ и впередъ по столовой; Аннинька зѣвала,



Порфирій Владиміръчъ въ каждомъ углу крестился. Наконецъ доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедія родственныхъ проводовъ. Головлевъ надѣлъ шубу, вышелъ на крыльцо, расцѣловался съ Аннинькой, кричалъ на людей: „ноги-то! ноги-то теплѣ закутывайте!“ или: „кутѣйки-то! кутѣйки-то взяли ли? ахъ, не забыть бы!“ И крестилъ при этомъ воздухъ.

Съѣздила Аннинька на могилку къ бабушкѣ, попросила воплинскаго батюшку панихиду отслужить, и когда дьячки уныло затанули вѣчную память, то заплакала. Картина, среди которой совершалась церемонія, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала къ числу бѣдныхъ; штукатурка мѣстами обвалилась и обнажила большими заплатами кирпичный остовъ; колоколь звонилъ слабо и глухо; риза на священникѣ обветшала. Глубокій снѣгъ покрывалъ кладбище, такъ что нужно было разгребать дорогу лопатами, чтобъ дойти до могилы; памятника еще не существовало, а стоялъ простой бѣлый крестъ, на которомъ даже надписи никакой не значилось. Погостъ стоялъ уединенно, въ сторонѣ отъ всякаго селенія; неподалеку отъ церкви ютились почернѣвшія избы священника и причетниковъ, а кругомъ во все стороны стлалась сиротливая снѣжная равнина, на поверхности которой по мѣстамъ торчалъ какой-то хворостъ. Крѣпкій мартовскій вѣтеръ носился надъ кладбищемъ, безпрестанно захлестывая ризу на священникѣ и относя въ сторону пѣніе причетниковъ.

— И кто бы, сударыня, подумалъ, что подъ симъ скромнымъ крестомъ, при бѣдной нашей церкви, нашла себѣ успокоеніе богатѣйшая нѣкогда помѣщица здѣшняго уѣзда! — сказалъ священникъ, по окончаніи литіи.

При этихъ словахъ Аннинька и еще заплакала. Ей вспомнилось: *одъ столъ былъ яствъ — тамъ гробъ стоитъ*, и слезы такъ и лились. Потомъ она пошла къ бабушкѣ въ хату, напилась чаю, побесѣдовала съ матушкой, опять вспомнила: *и бѣдна смерть на всѣхъ глядитъ* — и опять много и долго плакала.

Въ Погорѣлку не было дано знать о пріѣздѣ барышни, и потому тамъ даже комнатъ въ домѣ не истопили. Аннинька, не спимая шубы, прошла по всемъ комнатамъ и остановилась на минуту только въ спальной бабушки и въ образной. Въ бабушкиной комнатѣ стояла ея постель, на которой такъ и лежала неубранная груда замасленныхъ пуховиковъ и нѣсколько подушекъ безъ наволочекъ. На письменномъ столѣ валялись разбросанные лоскутья бумаги; полъ былъ неметепъ, и густой слой пыли покрывалъ все предметы. Аннинька присѣла въ кресло, въ которомъ сидѣла бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоминанія прошлаго, потомъ на смѣну имъ пришли представленія настоящаго. Первые проходили въ видѣ обрывковъ, мимолетно и не задерживаясь; вторые осѣдали плотнѣе. Давно ли рвалась она на волю, давно ли Погорѣлка казалась ей постылою — и вотъ, теперь вдругъ ея сердце переполнило какое-то болѣзненное желаніе пожить въ этомъ постыломъ мѣстѣ. Тихо здѣсь; неуютно, неприглядно, но тихо, такъ тихо, что словно все кругомъ умерло. Воздуху много и простору: вонъ оно, поле — такъ бы и побѣжала. Безъ цѣли, безъ оглядки, только чтобъ дышалось сильнѣе, чтобъ грудь саднило. А тамъ, въ этой полукочевой средѣ, изъ которой она только-что вырвалась и куда опять *должна* возвратиться — что ее ждетъ? и что она

оттуда вынесла? — Воспоминаніе о пропитанных вонью гостиницахъ, объ вѣчномъ гвалтѣ, несущемся изъ общей столовой и изъ билліардной, о нечесанныхъ и немытыхъ половыхъ, объ репетиціяхъ среди царствующихъ на сценѣ сумерекъ, среди полотняныхъ, раскрашенныхъ кулисъ, до которыхъ дотронуться грёсно, на сквозномъ вѣтрѣ, на сырости... Вотъ и только! А потомъ: офицеры, адвокаты, циническія рѣчи, пустыя бутылки, скатерти, залитыя виномъ, облака дыма, и гвалтъ, гвалтъ, гвалтъ! И что они говорили ей! съ какимъ цинизмомъ къ ней прикасались!.. Особливо тотъ, усатый, съ охрипшимъ отъ перепоя голосомъ, съ воспаленными глазами, съ вѣчнымъ запахомъ конюшни... ахъ, что онъ говорилъ! Аннинька, при этомъ воспоминаніи, даже вздрогнула и зажмурила глаза. Потомъ однакожь очнулась, вздохнула и перешла въ образную. Въ кіотѣ стояло уже немного образовъ, только тѣ, которые несомнѣнно принадлежали ей матери, а остальные, бабушкины, были вынуты и увезены Іудушкой, въ качествѣ наслѣдника, въ Головлево. Образовавшіеся влѣдствіе этого пустыя мѣста смотрѣли словно выколотые глаза. И лампадъ не было — все взялъ Іудушка; только одинъ желтаго воска огарокъ сиротливо ютился, забытый въ крохотномъ жестяномъ подсвѣчникѣ.

— Они и кіотку хотѣли-было взять, все допекивались, точно ли она барышнина приданная была! — донесла Афимьюшка.

— Что жъ? и пусть бы бралъ. А что, Афимьюшка, бабушка долго передъ смертью мучилась?

— Не то чтобы очень, всего съ небольшимъ сутки лежали. Такъ, словно сами собой извелись. Ни болѣзны настоящимъ манеромъ не были, ни что! Ничего почестъ и не говорили, только про васъ съ сестрицей раза съ два упомянули.

— Образъ-то, стало быть, Порфирій Владимірычъ увезъ?

— Онъ увезъ. Собственные, говоритъ, маменькины образъ. И тарантасъ къ себѣ увезъ, и двухъ коровъ. Все, стало быть, изъ барынинныхъ бумагъ усмотрѣлъ, что не ваши были, а бабинькины. Лошадь тоже одну оттягать хотѣлъ, да Оедулычъ не отдалъ: „наша, говоритъ, это лошадь, старинная погорѣловская“ — ну, оставилъ, побоялся.

Походила Аннинька и по двору, заглянула въ службы, на гумно, на скотный дворъ. Тамъ, среди навозной топи, стоялъ „оборотный капиталъ“: штукъ двадцать тощихъ коровъ да три лошади. Велѣла принести хлѣба, сказавъ при этомъ: „я заплачу!“ — и каждой коровѣ дала по кусочку. Потомъ скотница попросила барышню въ избу, гдѣ былъ поставленъ на столѣ горшокъ съ молокомъ, а въ углу у печки, за низенькой перегородкой изъ досокъ, ютился новорожденный теленокъ. Аннинька поѣла молочка, побѣжала къ теленочку, сгоряча поцѣловала его въ морду, но сейчасъ же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у теленка противная, вся въ какихъ то слюняхъ. Наконецъ вынула изъ портъ-монэ три желтенькихъ бумажки, раздала старымъ слугамъ и стала собираться.

— Что жъ вы будете дѣлать? — спросила она, усаживаясь въ кибитку, старика Оедулыча, который, въ качествѣ старосты, слѣдовалъ за барышней съ скрещенными на груди руками.

— А что намъ дѣлать! жить будемъ, — просто отвѣтилъ Оедулычъ.



Аннинькѣ опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Оедулыча звучатъ прониѣй. Она постояла-постояла на мѣстѣ, вздохнула и сказала:

— Ну, прощайте!

— А мы-было думали, что вы къ намъ вернетесь! съ нами поживете!  
—молвилъ Оедулычъ.

— Нѣтъ ужъ... чтò! Все равно... живите!

И опять слезы полились у нея изъ глазъ, и всѣ при этомъ тоже заплакали. Какъ-то странно это выходило: вотъ и ничего, казалось, ей не жалъ, даже помянуть нечѣмъ—а она плачетъ. Да и они: ничего не было сказано выходящаго изъ ряда будничныхъ вопросовъ и отвѣтовъ, а всѣмъ сдѣлалось тяжело, „жалко“. Посадили ее въ кибитку, укутали и всѣ разомъ глубоко вздохнули.

— Счастливо!—раздалось за ней, когда повозка тронулась.

Бѣжавши мимо погоста, она вновь велѣла остановиться и одна, безъ причта, пошла по расчищенной дорогѣ къ могилѣ. Уже порядкомъ стемнѣло и въ домахъ церковниковъ засвѣтились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крестъ, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особеннаго она не думала, никакой опредѣленной мысли не могла формулировать, а горько ей было, всѣмъ существомъ горько. И не надъ бабушкой, а надъ самой собой горько. Безсознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тутъ съ четверть часа, и вдругъ ей представилась Любинька, которая, быть можетъ, въ эту самую минуту соловьемъ разливается въ какомъ-нибудь Кременчугѣ среди развеселой компаніи...

Ah! ah! que j'aime, que j'aime!  
Que j'aime les mili-mill-mili-taires!

Она чуть не упала. Бѣгомъ добѣжала до повозки, сѣла и велѣла какъ можно скорѣе ѣхать въ Головлево.

Аннинька воротилась къ дядѣ скучная, тихая. Впрочемъ это не мѣшало ей чувствовать себя нѣсколько голодною (дяденька, впопыхахъ, даже курочки съ ней не отпустилъ), и она была очень рада, что столъ для чая былъ ужъ накрытъ. Разумѣется, Порфирій Владимірычъ не замедлилъ вступить въ разговоръ.

— Ну, что, побывала?

— Побывала.

— И на могилкѣ помолилась? панихидку отслужила?

— Да, и панихидку.

— Священникъ-то, стало быть, дома былъ?

— Конечно, былъ; кто же бы панихиду служилъ!

— Да, да... И дѣлочки оба были? вѣчную память пропѣли?

— Пропѣли.

— Да. Вѣчная память! вѣчная память покойницъ! Пѣчная старушка, родственная была!

Іудушка всталъ со стула, обратился лицомъ къ образамъ и помолился.

— Ну, а въ Погорѣлкѣ какъ застала? благополучно?

— Право, не знаю. Кажется, все на своемъ мѣстѣ стоитъ.

— То-то „кажется“! Намъ всегда „кажется“, а посмотришь да поглядишь — и тутъ кривѣнко, и тамъ гнилѣнко... Вотъ, такъ-то мы и объ чужихъ состояніяхъ понятіе себѣ составляемъ: „кажется!“ все „кажется!“ А впрочемъ хорошенькая у васъ усадьбица; преудобно васъ покойница-маменька устроила, не мало даже изъ собственныхъ средствъ на усадьбу употребила... Ну, да вѣдь сиротамъ не грѣхъ и помочь!

Слушая эти похвалы, Аннинька не выдержала, чтобъ не подразнить сердобольнаго дяденьку.

— А вы зачѣмъ, дядя, изъ Погорѣлки двухъ коровъ увели? — спросила она.

— Коровъ? какихъ это коровъ? Это Чернавку да Приведѣнку, чтѣ-ли? Такъ вѣдь онѣ, мой другъ, маменькины были!

— А вы—ея законный наслѣдникъ? Ну, чтѣ жъ! и владѣйте! Хотите, я вамъ еще теленочка велю прислать?

— Вотъ-вотъ-вотъ! ты ужъ и раскипятилась! А ты дѣло говори. Какъ, по твоему, чьи коровы были?

— А я почему знаю! въ Погорѣлкѣ стояли!

— А я знаю; у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственной ея руки я реестръ отыскалъ; тамъ именно сказано: „мои“.

— Ну, оставимъ. Не стоить объ этомъ говорить.

— Вотъ лошадь въ Погорѣлкѣ есть, лысенькая такая — ну, объ этой вѣрнаго сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а впрочемъ — не знаю! А чего не знаю, объ томъ и говорить не могу!

— Оставимте это, дядя.

— Нѣтъ, зачѣмъ оставлять! Я, братъ, прямикъ — я всякое дѣло на чистоту вести люблю! Да отчего и не поговорить! Своего всякому жалко: и мнѣ жалко, и тебѣ жалко — ну, и поговоримъ! А коли говорить будемъ, такъ скажу тебѣ прямо: мнѣ чужого не надобно, но и своего я не отдамъ. Потому что хоть вы мнѣ и не чужія, а все-таки...

— И образа даже взяли! — опять не воздержалась Аннинька.

— И образа взялъ, и все взялъ, чтѣ мнѣ, какъ законному наслѣднику, принадлежить.

— Теперъ кіотъ-то весь словно въ дырахъ...

— Чтѣ жъ дѣлать! И передъ такимъ помолись! Богу вѣдь не кіотъ, а молитва твоя нужна! Коли ты искренно приступаешь, такъ и передъ плохенькими образами молитва твоя дойдетъ! А коли ты только такъ: болты-болты! да по сторонамъ поглядѣть, да книксенъ сдѣлать — такъ и хорошіе образа тебя не спасутъ!

Тѣмъ не менѣе Іудушка всталъ и возблагодарилъ Бога за то, что у него „хорошіе“ образа.

— А ежели не нравится старый кіотъ — новый вели сдѣлать. Или другіе образа на мѣсто вынутыхъ поставъ. Прежніе — маменька-покойница наживала да устраивала, а новые ты ужъ сама наживи!



Порфирій Владимірычъ даже хихикнулъ: такъ это разсужденіе казалось ему резонно и просто.

— Скажите пожалуйста, что же мнѣ теперь дѣлать предстоитъ?—спросила Аннинька.

— А вотъ, погоди. Сначала отдохни, да понѣжься, да поспи. Побесѣдуемъ да посудимъ, и такъ посмотримъ, и такъ прикинемъ—можетъ быть, вдвоемъ что-нибудь и выдумаемъ!

— Мы—совершеннолѣтнія, кажется?

— Да-съ, совершеннолѣтнія-съ. Можете сами и дѣйствіями своими, и имѣніемъ управлять!

— Славу Богу, хоть это!

— Честь имѣемъ поздравить-съ!

Порфирій Владимірычъ всталъ и полѣзъ цѣловаться.

— Ахъ, дядя! какой вы странный! все цѣлуетесь!

— Отчего же и не поцѣловаться! Не чужая ты мнѣ—племяннущка! Я, мой другъ, по родственному! Я для родныхъ всегда готовъ! Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный, я всегда...

— Вы лучше скажите, что мнѣ дѣлать?—въ городъ, что-ли, надобно ѣхать? хлопотать?

— И въ городъ поѣдемъ, и похлопочемъ—все въ свое время сдѣлаемъ. А прежде—отдохни, поживи! Слава Богу! не въ трактирѣ, а у родного дяди живешь! И поѣсть, и чайку попить, и вареньемъ полакомиться—всего вдоволь есть! А ежели кушанье какое не понравится—другого спроси! Спрашивай, требуй! Щецъ не захочется—супцу подать вели! Котлеточекъ, уточки, поросеночка... Евпраксеюшку за бока бери!.. А кстати, Евпраксеюшка! вотъ я поросеночкомъ-то похвастался, а хорошенько и самъ не знаю—есть ли у насъ?

Евпраксеюшка, державшая въ это время передъ ртомъ блюдечко съ горячимъ чаемъ, утвердительно повела носомъ воздухъ.

— Ну, вотъ видишь! и поросеночекъ есть! Всего, значить, чего душенька захочетъ, того и проси! Такъ-то!

Іудушка опять потянулся къ Аннинькѣ и по родственному похлопалъ ее рукой по колѣнкѣ, причемъ, конечно невзначай, слегка позамѣшкался, такъ что сиротка инстинктивно отодвинулась.

— Но вѣдь мнѣ ѣхать надо,—сказала она.

— Объ томъ-то я и говорю. Потолкуемъ да поговоримъ, а потомъ и поѣдемъ. Благословясь да Богу помолясь, а не такъ какъ-нибудь: прыгъ да шмыгъ! Поспѣвшишь—людей насмѣвшишь! Спѣшать-то на пожаръ, а у насъ, слава Богу, не горитъ! Вотъ Любинькѣ—той на ярмарку спѣшить надо, а тебѣ—что! Да вотъ я тебя еще что спрошу: ты въ Погорѣлкѣ, что-ли, жить будешь?

— Нѣтъ, въ Погорѣлкѣ мнѣ незачѣмъ.

— И я то же хотѣлъ тебѣ сказать. Поселись-ко у меня. Будемъ жить да поживать—еще какъ заживемъ-то!

Говоря это, Іудушка глядѣлъ на Анниньку такими масляными глазами, что ей сдѣлалось неловко.

— Нѣтъ, дядя, я не поселюсь у васъ. Скучно.

— Ахъ, глупенькая, глупенькая! И что тебѣ эта скука далась! Скучно да скучно, а чѣмъ скучно — и сама, чай, не скажешь! У кого, мой другъ, дѣло есть, да кто собою управлять умѣетъ — тотъ никогда скуки не знаетъ. Вотъ я, наприимѣръ: не вижу, какъ время летитъ! Въ будни — по хозяйству: тамъ посмотришь, тутъ поглядишь, туда сходишь, побесѣдуешь, посудишь — смотришь, анъ день и прошелъ! А въ праздникъ — въ церковь! Такъ-то и ты! Поживи съ нами — и тебѣ дѣло найдется, а дѣла нѣтъ — съ Евпраксеюшкой въ дурачки садись, или саночки вели заложить — катай да покатывай! А лѣто настанетъ — по грибы въ лѣсъ поѣдемъ! на травѣ чай станемъ пить!

— Нѣтъ, дядя, напрасно вы и предлагаете!

— Право бы, пожила.

— Нѣтъ. А вотъ что: устала я съ дороги, такъ спать нельзя ли мнѣ лечь?

— И баньки можно! И кроватка у меня готова для тебя, и все какъ слѣдуетъ! Хочется тебѣ баньки — почивай, Христосъ съ тобой! А все-таки ты объ этомъ подумай: куда бы лучше, кабы ты съ нами въ Головлевѣ осталась!

Аннинька провела ночь безпокойно. Нервная блажь, которая застигла ее въ Погорѣлкѣ, продолжалась. Бываютъ минуты, когда человѣкъ, который долѣ только *существовалъ*, вдругъ начинаетъ понимать, что онъ не только воистину *живетъ*, но что въ его жизни есть даже какая-то язва. Откуда она взялась, какимъ образомъ и когда именно образовалась — въ большей части случаевъ онъ хорошо себѣ не объясняетъ и чаще всего приписываетъ происхожденіе язвы совѣмъ не тѣмъ причинамъ, которыя въ дѣйствительности ее обусловили. Но для него оцѣнка факта даже не нужна: достаточно и того, что язва существуетъ. Дѣйствіе такого внезапнаго откровенія, будучи для всѣхъ одинаково мучительнымъ, въ дальнѣйшихъ практическихъ результатахъ видоизмѣняется, смотря по индивидуальнымъ темпераментамъ. Однихъ сознаніе обновляетъ, воодушевляетъ рѣшимостью начать новую жизнь на новыхъ основаніяхъ; на другихъ оно отражается лишь преходящею болью, которая не произведетъ въ будущемъ никакого перелома къ лучшему, но въ настоящемъ высказывается даже болѣзненнымъ, нежели въ томъ случаѣ, когда встревоженной совѣсти, влѣдствіе принятыхъ рѣшеній, все-таки представляются хоть нѣкоторые просвѣты въ будущемъ.

Аннинька не принадлежала къ числу такихъ личностей, которыя въ сознаніи своихъ язвъ находятъ поводъ для жизненнаго обновленія, но тѣмъ не менѣе, какъ дѣвушка неглупая, она отлично понимала, что между тѣми смутными мечтами о трудовомъ хлѣбѣ, которыя послужили ей исходнымъ пунктомъ для того, чтобы навсегда покинуть Погорѣлку, и положеніемъ провинціальной актрисы, въ которомъ она очутилась, существуетъ цѣлая бездна. Въмѣсто тихой жизни труда она нашла бурное существованіе, наполненное безконечными кутежами, наглымъ цинизмомъ и безпорядочною, ни къ чему не приводящею суетою. Въмѣсто лишеній и суровой внѣшней обстановки, съ которыми она когда-то примирялась, ее встрѣтило относительное довольство и



роскошь, объ которыхъ она, однакожъ, не могла теперь вспоминать безъ краски на лицѣ. И вся эта перестановка какъ-то незамѣтно для нея самой случилась: шла она куда-то въ хорошее мѣсто, но вмѣсто одной двери попала въ другую. Желанія ея были дѣйствительно очень скромныя. Сколько разъ, бывало, сидя въ Погорѣлкѣ на мезонинѣ, она видѣла себя въ мечтахъ серьезною дѣвушкой, трудящейся, алчущей образованіемъ себя, съ твердостью переносящей нужду и лишенія, ради идеи блага (правда, что слово „благо“ едва-ли имѣло какое-нибудь опредѣленное значеніе); но едва она вышла на широкую дорогу самодѣятельности, какъ сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила въ прахъ всю мечту. Серьезный трудъ не приходитъ самъ собой, а дается только упорному исканію и подготовкѣ, ежели и не полной, то хотя до извѣстной степени помогающей исканію. Но требованіямъ этимъ не отвѣчали ни темпераментъ, ни воспитаніе Анниньки. Темпераментъ ея вовсе не отличался страстностью, а только легко раздражался; матеріалъ же, который дало ей воспитаніе и съ которымъ она собралась войти въ трудовую жизнь, былъ до такой степени несостоятеленъ, что не могъ послужить основаніемъ ни для какой серьезной профессіи. Воспитаніе это было, такъ сказать, институтско-опереточное, въ которомъ перевѣсъ брала едва-ли не оперетка. Тутъ въ хаотическомъ безпорядкѣ перемѣшивались и задача о летящемъ стадѣ гусей, и па съ шалью, и проповѣдь Петра Пикардскаго, и продѣлки Елены Прекрасной, и ода къ Фелицѣ, и чувство признательности къ начальникамъ и покровителямъ благородныхъ дѣвицъ. Въ этомъ безпорядочномъ винигретѣ (въ котораго она, съ полнымъ основаніемъ, могла называть себя *tabula rasa*) трудно было даже разобраться, а не то что исходную точку найти. Не любовь къ труду побуждала такая подготовка, а любовь къ свѣтскому обществу, желаніе быть окруженной, выслушивать любезности кавалеровъ и вообще погрузиться въ шумъ, блескъ и вихрь такъ-называемой жизни.

Еслибъ она слѣдила за собой пристальнѣе, то даже въ Погорѣлкѣ, въ тѣ минуты, когда въ ней еще только зарождались проекты трудовой жизни, когда она видѣла въ нихъ нѣчто въ родѣ освобожденія изъ плѣна египетскаго—даже и тогда она могла бы изловить себя въ мечтахъ не столько работающею, сколько окруженною обществомъ единомыслящихъ людей и коротающею время въ длинныхъ разговорахъ. Конечно, и люди этихъ мечтаній были умные, и разговоры ихъ—честные и серьезные, но, все-таки, на сценѣ первенствовала праздничная сторона жизни. Бѣдность была опрятная, лишенія свидѣтельствовали только объ отсутствіи излишества. Поэтому, когда на дѣлѣ мечта о трудовомъ хлѣбѣ разрѣшилась тѣмъ, что ей предложили занять опереточное амбула на подмосткахъ одного изъ провинціальныхъ театровъ, то, несмотря на контрастъ, она колебалась недолго. Наскоро освѣжила она институтскія свѣдѣнія объ отношеніяхъ Елены къ Менелаю, дополнила ихъ нѣкоторыми біографическими подробностями изъ жизни великолѣпнаго князя Тавриды, и рѣшила, что этого было совершенно достаточно, чтобы воспроизводить „Прекрасную Елену“ и „отрывки изъ Герцогини Герольштейнской“ въ губернскихъ городахъ и на ярмаркахъ. При этомъ, для очистки совѣсти, она припоминала, что одинъ студентъ, съ которымъ она познакоми-

лась въ Москвѣ, на каждомъ шагѣ восклицала: „святое искусство!“ — и тѣмъ охотнѣе сдѣлала эти слова девизомъ своей жизни, что они приличнымъ образомъ развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь наружный декорумъ ея вступленію на стезю, къ которой она инстинктивно рвалась всѣмъ своимъ существомъ.

Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, безъ руководящей подготовки, безъ сознанной цѣли, съ однимъ только темпераментомъ, жаждущимъ шума, блеска и похвалъ, она скоро увидѣла себя кружащеюся въ какомъ-то хаосѣ, въ которомъ толпилось безконечное множество лицъ, безъ всякой связи смѣнявшихъ одно другое. Это были лица разнообразнѣйшихъ характеровъ и убѣжденій, такъ что самые мотивы для сближенія съ тѣмъ или другимъ отнюдь не могли быть одинаковыми. Тѣмъ не менѣе, и тотъ, и другой, и третій равно составляли ея кругъ, изъ чего должно было заключить, что тутъ, собственно говоря, не могло быть и рѣчи объ мотивахъ. Ясно, стало быть, что ея жизнь сдѣлалась чѣмъ-то въ родѣ вѣвжаго дома, въ ворота котораго могъ стучаться каждый, кто сознавалъ себя веселымъ, молодымъ и обладающимъ извѣстными матеріальными средствами. Ясно, что тутъ дѣло шло совсѣмъ не объ томъ, чтобы *подбирать* себѣ общество по душѣ, а объ томъ, чтобы примоститься къ какому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать въ одиночествѣ. Въ сущности, „святое искусство“ привело ее въ помойную яму, но голова ея сразу такъ закружилась, что она не могла различить этого. Ни немытыя рожи корридорныхъ, ни захватанныя, покрытыя слизью декорации, ни шумъ, вонь и гвалтъ гостинницъ и постоялыхъ дворовъ, ни циническія выходки поклонниковъ — ничто не отрезвляло ее. Она не замѣчала даже, что постоянно находится въ обществѣ однихъ мужчинъ и что между нею и другими женщинами, имѣющими *постоянное положеніе*, легла какая-то непреодолимая преграда...

Отрезвилъ на минуту пріѣздъ въ Головлево.

Съ утра, почти съ самой минуты пріѣзда, ее ужъ что-то мутило. Какъ дѣвушка впечатлительная, она очень быстро проникалась новыми ощущеніями и не менѣе быстро примѣнялась ко всякимъ положеніямъ. Поэтому, съ пріѣздомъ въ Головлево, она вдругъ почувствовала себя „барышней“. Припомнила, что у нея есть что-то свое: свой домъ, свои могилы, и захотѣлось ей опять увидѣть прежнюю обстановку, опять подышать тѣмъ воздухомъ, изъ котораго она такъ недавно безъ оглядки бѣжала. Но впечатлѣніе это немедленно же должно было разбиться при столкновеніи съ дѣйствительностью, встрѣтившеюся въ Головлевѣ. Въ этомъ отношеніи ее можно было уподобить тому человѣку, который съ привѣтливимъ выраженіемъ лица входитъ въ общество давно невидѣнныхъ имъ людей — и вдругъ замѣчаетъ, что къ его привѣтливости всѣ относятся какъ-то загадочно. Погано скошенные на ея бѣсты глаза Іудушки сразу напомнили ей, что позади у нея уже образовался своего рода скарбъ, съ которымъ не такъ-то легко разсчитаться. И когда, послѣ паивныхъ вопросовъ погорѣлковской прислуги, послѣ назидательныхъ вздоховъ воплиискаго батюшки и его попады и послѣ новыхъ поученій Іудушки, она осталась одна, когда она провѣрила на досугъ впечатлѣнія дня, то ей сдѣлалось уже совсѣмъ несомнѣнно, что прежняя „барышня“ умерла навсегда,



что отнынѣ она — только актриса жалкаго провинціального театра и что положеніе русской актрисы очень недалеко отстоитъ отъ положенія публичной женщины.

До сихъ поръ она жила какъ во снѣ. Обнажалась въ „Прекрасной Еленѣ“, являлась пьяною въ „Периколѣ“, пѣла всевозможныя безстыдства въ „отрывкахъ изъ Герцогини Герольштейнской“ и даже жалѣла, что на театральныя подмосткахъ не принято представлять „la chose“ и „l'amour“, воображая себѣ, какъ бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертѣла хвостомъ. Но ей никогда не приходило въ голову вдумываться въ то, что она дѣлаетъ. Она объ томъ только старалась, чтобъ все выходило у нея „мило“, „съ шикомъ“ и въ то же время правилось офицерамъ расквартированного въ городѣ полка. Но что это такое и какого сорта ощущенія производятъ въ офицерахъ ея вздрагиванья — она объ этомъ себя не спрашивала. Офицеры представляли въ городѣ рѣшающую публику, и ей было извѣстно, что отъ нихъ зависѣлъ ея успѣхъ. Они вторгались за кулисы, безцеремонно стучались въ двери ея уборной, когда она была еще полуодѣта, называли ее уменьшительными именами — и она смотрѣла на все это какъ на простую формальность, родъ неизбѣжной обстановки ремесла, и спрашивала себя только объ томъ — „мило“ или „не мило“ выдерживаетъ она въ этой обстановкѣ свою роль? Но ни тѣла своего, ни души она куда еще не сознавала публичными. И вотъ теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя „барышней“, ей вдругъ сдѣлалось какъ-то невыносимо мерзко. Какъ будто съ нея сняли всѣ покровы до послѣдняго и всенародно вывели ее обнаженною; какъ будто всѣ эти подлыя дыханія, зараженные запахами вина и конюшни, разомъ охватили ее; какъ будто она на всемъ своемъ тѣлѣ почувствовала прикосновеніе потныхъ рукъ, слюнявыхъ губъ и блужданіе мутныхъ, исполненныхъ плотоядной животности глазъ, которые бессмысленно скользятъ по кривой линіи ея обнаженного тѣла, словно требуютъ отъ него отвѣта: что такое „la chose“?

Куда идти? гдѣ оставить этотъ скарбъ, который надавливалъ ея плечи? — Вопросъ этотъ безнадежно метался въ ея головѣ, но именно только метался, не находя и даже не ища отвѣта. Вѣдь и это былъ своего рода сонъ: и прежняя жизнь была сонъ, и теперешнее пробужденіе — тоже сонъ. Огорчилась дѣвочка, расчувствовалась — вотъ и все. Пройдетъ. Бываютъ минуты хорошія, бываютъ и горькія — это въ порядкѣ вещей. Но и тѣ, и другія только скользятъ, а отнюдь не измѣняютъ однажды сложившагося хода жизни. Чтобъ дать послѣдней другое направленіе, необходимо много усилій, потребна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это — почти то же, что самоубійство. Хотя передъ самоубійствомъ человѣкъ проклинаетъ свою жизнь, хоть онъ положительно знаетъ, что для него смерть есть свобода, но орудіе смерти, все-таки, дрожитъ въ его рукахъ, ножъ скользитъ по горлу, пистолетъ, вмѣсто того, чтобъ бить прямо въ лобъ, бьетъ ниже, уродуетъ. Такъ-то и тутъ, но еще труднѣе. И тутъ предстоитъ убить свою прежнюю жизнь, но, убивъ ее, самому остаться живымъ. То „ничто“, которое въ заправскомъ самоубійствѣ достигается мгновеннымъ спускомъ курка — тутъ, въ этомъ особомъ самоубійствѣ, которое называется „обновленіемъ“,

достигается цѣлымъ рядомъ суровыхъ, почти аскетическихъ усилій. И достигается все-таки „ничто“, потому что нельзя же назвать нормальнымъ существованіе, котораго содержаніе состоитъ изъ однихъ усилій надъ собой, изъ лишеній и воздержаній. У кого воля изнѣжена, кто уже подточенъ привычкою легкаго существованія — у того голова закружится отъ одной перспективы подобнаго „обновленія“. И инстинктивно, отворачивая голову и замуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя въ малодушіи, онъ все-таки опять пойдетъ по утоптанной дорогѣ.

Ахъ! великая вещь — жизнь труда! Но съ нею сживаются только сильные люди, да тѣ, которыхъ осудилъ на нее какой-то проклятый прирожденный грѣхъ. Только такихъ онъ не пугаетъ. Первыхъ — потому, что, сознавая смыслъ и ресурсы труда, они умѣютъ отыскивать въ немъ наслажденіе: вторыхъ — потому, что для нихъ трудъ есть прежде всего прирожденное обязательство, а потомъ и привычка.

Аннинкѣ даже на мысль не приходило основаться въ Поторѣлкѣ или въ Головлевѣ, и въ этомъ отношеніи ей большую помощь оказала та дѣловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей былъ данъ отпускъ, и она ужъ заранѣе распредѣлила все время его, и назначила день отъѣзда изъ Головлева. Для людей слабохарактерныхъ тѣ вѣшнія грани, которыя обставляютъ жизнь, значительно облегчаютъ бремя ея. Въ затруднительныхъ случаяхъ слабые люди инстинктивно жмутся къ этимъ гранямъ и находятъ въ нихъ для себя оправданія. Такъ именно поступила и Аннинка: она рѣшилась какъ можно скорѣе уѣхать изъ Головлева, и ежели дядя будетъ приставать, то оградить себя отъ этихъ приставаній необходимостью явиться въ назначенный срокъ.

Проснувшись на другой день утромъ, она прошла по всѣмъ комнатамъ громаднаго головлевскаго дома. Вездѣ было пустынно, непріютно, пахло отчужденіемъ, выморочностью. Мысль поселиться въ этомъ домѣ безъ срока окончательно испугала ее. „Ни за что!“ — твердила она въ какомъ-то безотчетномъ волненіи: — „ни за что!“

Порфирій Владимірычъ и на другой день встрѣтилъ ее съ обычной благосклонностью, въ которой никакъ нельзя было различить — хочетъ ли онъ приласкать человѣка, или намѣренъ высосать изъ него кровь.

— Ну, что, торопыга, выпалась? куда-то теперь торопиться будешь. — пошутилъ онъ.

— И то, дядя, тороплюсь; вѣдь я въ отпуску; надобно на срокъ поспѣвать.

— Это — опять скоморошничать? не пушу!

— Пускайте или не пускайте — сама уѣду!

Гудушка грустно покачалъ головой.

— А бабушка покойница что скажетъ? — спросилъ онъ тономъ ласковаго укора.

— Бабушка и при жизни знала. Да что это, дядя, за выраженія у васъ?



вчера съ гитарой меня по ярмаркамъ посылали, сегодня объ скоморошничествѣ разговоръ завели? Слышите! я не хочу, чтобъ вы такъ говорили!

— Эге! видно, правда-то кусается! А вотъ я такъ люблю правду! По мнѣ, ежели правда...

— Нѣтъ, нѣтъ! не хочу я, не хочу! ни правды, ни неправды мнѣ вашей не надо! Слышите! не хочу я, чтобъ вы такъ выражались!

— Ну-ну! раскипятилась? Пойдемъ-ка, стрекоза, за добра-ума, чай пить! Самоваръ-то ужъ, чай, давно хр-хр... да зз-зз... на столѣ дѣлаеть.

Порфирій Владимірычъ шуточкой да смѣшкомъ хотѣлъ изгладить впечатлѣніе, произведенное словомъ: „скоморошничать“, и въ знакъ примиренія даже потянулся къ племянницѣ, чтобъ обнять ее за талію; но Аннинкѣ все это показалось до того глупымъ, почти гнуснымъ, что она брезгливо уклонилась отъ ожидавшей ее ласки.

— Я вамъ серьезно повторяю, дядя, что мнѣ надо торопиться!—сказала она.

— А вотъ пойдемъ, сначала чайку попьемъ, а потомъ и поговоримъ!

— Да почему же непременно послѣ чаю? почему нельзя до чаю поговорить?

— А потому что потому. Потому что все чередомъ дѣлать надо. Сперва одно, потомъ другое; сперва чайку попьемъ да поболтаемъ, а потомъ и объ дѣлѣ переговоримъ. Все успѣемъ.

Передъ такимъ непреодолимымъ пустословіемъ оставалось только покориться. Стали пить чай, причемъ Гудушка самымъ злостнымъ образомъ дилѣ время, помаленьку прихлебывая изъ стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжкѣ, калякая объ покойницѣ маменькѣ и проч.

— Ну, вотъ, теперь и поговоримъ, — сказалъ онъ наконецъ: — ты долго ли намѣрена у меня погостить?

— Да больше недѣли мнѣ нельзя. Въ Москвѣ еще побывать надо.

— Недѣля, мой другъ,—большое дѣло; и много дѣла можно въ недѣлю сдѣлать, и мало дѣла—какъ взяться.

— Мы, дядя, лучше больше сдѣлаемъ.

— Объ томъ-то я и говорю. И много можно сдѣлать, и мало. Иногда много хочешь сдѣлать, а выходитъ мало; а иногда будто и мало дѣлается, анъ смотришь, съ Божьею помощью, всѣ дѣла незамѣтно прикончилъ. Вотъ ты спѣшишь, въ Москвѣ тебѣ побывать, вишь, надо; а зачѣмъ, коли тебя спросить — ты и сама путемъ не съумѣешь отвѣтить. А по моему, вмѣсто Москвы-то, лучше бы это время на дѣло употребить.

— Въ Москву мнѣ необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли намъ на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дѣла, такъ вѣдь вы сами же говорите, что въ недѣлю можно много дѣла надѣлать.

— Смотря по тому, какъ возьмешься, мой другъ. Ежели возьмешься какъ слѣдуетъ—все у тебя пойдетъ и ладно, и плавно; а возьмешься не такъ какъ слѣдуетъ—ну, и застрянетъ дѣло, въ долгій ящикъ оттянется.

— Такъ вы меня поручеводите, дядя!

— То-то вотъ и есть. Какъ нужно, такъ „вы меня поручеводите, дядя“, а ненужно—такъ и скучно у дяди, и поскорѣе бы отъ него уѣхать! Чтò, небось, неправда?

— Да вы только скажите, что мнѣ дѣлать нужно?

— Стой, погоди! Такъ вотъ я и говорю: какъ нуженъ дядя — онъ и голубчикъ, и миленькій, и душенька, а ненуженъ — сейчасъ ему хвостъ покажутъ! А нѣтъ того, чтобъ спроситься у дяди: какъ-молъ вы, дяденька-голубчикъ, полагаете—можно мнѣ въ Москву съѣздить?

— Какой вы, дядя, странный! Вѣдь мнѣ въ Москвѣ необходимо быть, а вы вдругъ скажете, что нельзя?

— А скажу: нельзя—и посиди! Не посторонній сказалъ, дядя сказалъ—можно и послушаться дядю. Ахъ, мой другъ, мой другъ! Еще хорошо, что у васъ дядя есть—все же и пожалѣть объ васъ, и остановить васъ есть кому! А вотъ какъ у другихъ—нѣтъ никого! Ни ихъ пожалѣть, ни остановить—однѣ растутъ! Ну, и бываетъ съ ними... всякія случайности въ жизни бывають, мой другъ!

Аннинька хотѣла-было возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масла въ огонь, и смолчала. Она сидѣла и безнадежно смотрѣла на расходившагося Порфирія Владимірыча.

— Вотъ, я давно хотѣлъ тебѣ сказать,—продолжалъ между тѣмъ Іудушка: — не нравится мнѣ, куда какъ не нравится, что вы по этимъ... по ярмаркамъ ѣздите! Хотя тебѣ и нелюбо, что я объ гитарахъ говорилъ, а все-таки...

— Да вѣдь мало сказать: не нравится! Надобно на какой-нибудь выходъ указать!

— Живи у меня — вотъ тебѣ и выходъ!

— Ну, нѣтъ... это... ни за что!

— Что такъ?

— А то, что нечего мнѣ здѣсь дѣлать. Что у васъ дѣлать! Утромъ встать — чай пить идти: за чаемъ думать: вотъ завтракать подадутъ! за завтракомъ—вотъ обѣдать накрывать будутъ! за обѣдомъ—скоро ли опять чай? А потомъ ужинать и спать... Умрешь у васъ!

— И всѣ, мой другъ, такъ дѣлають. Сперва чай пьютъ, потомъ —кто привыкъ завтракать—завтракають, а вотъ я не привыкъ завтракать—и не завтракаю; потомъ обѣдаютъ, потомъ вечерній чай пьютъ, а наконецъ и спать ложатся. Что же! кажется въ этомъ ни смѣшнаго, ни предосудительнаго нѣтъ! Вотъ, еслибъ я...

— Ничего предосудительнаго, только не по мнѣ.

— Вотъ, еслибъ я кого-нибудь обидѣлъ, или осудилъ, или дурно объ комъ-нибудь высказался — ну, тогда точно! можно бы и самого себя за это осудить! А то чай пить, завтракать, обѣдать... Христосъ съ тобой! да и ты, какъ ни прятка, а безъ пищи не проживешь!

— Ну, да, все хорошо, да только не по мнѣ!

— А ты не все на свой аршинъ мѣрай—и объ старшихъ подумай! „По мнѣ“ да „не по мнѣ“—развѣ можно такъ говорить! А ты говори: „по божьему“ или „не по божьему“—вотъ это будетъ дѣльно, вотъ это будетъ такъ! Коли ежели у насъ въ Головлевъ не по божьему, ежели мы противъ Бога поступаемъ, грѣшимъ или ропщемъ, или завидуемъ, или другія дурныя дѣла дѣлаемъ—ну, тогда мы дѣйствительно виноваты и заслуживаемъ, чтобъ насъ



осуждали. Только и тутъ еще надобно доказать, что мы точно не по божьему поступаемъ. А то натко! „не по мнѣ!“ Да скажу теперича хоть про себя — мало ли чтò не по мнѣ! Не по мнѣ вотъ, что ты такъ со мной разговариваешь да родственную мою хлѣбъ-соль хѣдешь — однако я сижу, молчу! Дай, думаю, я ей тихимъ манеромъ почувствовать дамъ — можетъ быть, она и сама собой образумится! Можетъ быть, покуда я шуточкой да усмѣшкой на твои выходки отвѣчаю, анъ ангель-то твой хранитель и наставитъ тебя на путь истинный! Вѣдь мнѣ не за себя, а за тебя обидно! А-а-ахъ, мой другъ, какъ это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебѣ дурное сказалъ или дурно противъ тебя поступилъ, или обиду бы какую-нибудь ты отъ меня видѣла — ну, тогда Богъ бы съ тобой! Хоть и велитъ Богъ отъ старшаго даже поученіе принять, ну, да ужъ если я тебя обидѣлъ — Богъ съ тобой! сердись на меня! А то сижу я смиренхонько да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только думаю, какъ бы получше да поудобнѣе, чтобы всѣмъ на радость да на утѣшеніе — а ты: фу-ты, ну-ты! — вотъ ты на мои ласки какой отвѣтъ даешь! А ты не сразу все выговаривай, другъ мой, а сначала подумай, да Богу помолись, да попроси Его вразумить себя! И вотъ, коли ежили...

Порфирій Владимірычъ разглагольствовалъ долго, не переставая. Слова бесконечно тянулись одно за другимъ, какъ густая слюна. Аннинька съ безотчетнымъ страхомъ глядѣла на него и думала: „какъ это онъ не захлебнется!“ Однако, такъ-таки и не сказалъ дяденька, чтò ей предстоитъ дѣлать по случаю смерти Арины Петровны. И за обѣдомъ пробовала она ставить этотъ вопросъ, и за вечернимъ чаемъ, но всякій разъ Іудушка начиналъ тянуть какую-то постороннюю канитель, такъ что Аннинька не рада была, что и возбудила разговоръ, и объ одномъ только думала: „когда же все это кончится?“

Послѣ обѣда, когда Порфирій Владимірычъ отправился спать, Аннинька осталась одинъ-на-одинъ съ Евпраксеюшкой, и ей вдругъ припала охота вступить въ разговоръ съ дяденькиной экономкой. Ей захотѣлось узнать, почему Евпраксеюшкѣ не страшно въ Головлевы и чтò даетъ ей силу выдерживать потоки пустопорожнихъ словъ, которыя съ утра до вечера извергали дяденькины уста.

— Скучно вамъ, Евпраксеюшка, въ Головлевы?

— Чего намъ скучать? мы — не господа!

— Все же... всегда вы однѣ... ни развлеченій, ни удовольствій у васъ — ничего!

— Какихъ намъ удовольствій надо! Скучно — такъ въ окошко погляжу. Я и у папеньки, у Николы въ Капелькахъ, жила, немного веселости-то видѣла!

— Все-таки, дома, я полагаю, вамъ было лучше. Товарки были, другъ къ другу въ гости ходили, играли...

— Чтò ужъ!

— А съ дядей... Говоритъ онъ все что-то скучное и долго какъ-то. Всегда онъ такъ?

— Всегда, цѣлый день такъ говорить.

— И вамъ не скучно?

— Мнѣ чтò! Я вѣдь не слушаю!

— Нельзя же совсѣмъ не слушать. Онъ можетъ замѣтить это, обидѣться.

— А почему онъ знаетъ? Я вѣдь смотрю на него. Онъ говоритъ, а я смотрю да этимъ временемъ про свое думаю.

— О чемъ же вы думаете?

— Обо всемъ думаю. Огурцы солить надо — обь огурцахъ думаю, въ городъ за чѣмъ посылать надо — обь этомъ думаю. Чтѣ по домашности требуется—обо всемъ думаю.

— Стало-быть, вы хоть и вмѣстѣ живете, а на самомъ-то дѣлѣ, все-таки, однѣ?

— Да почѣ-сть что одна. Иногда развѣ вечеромъ вздумаетъ въ дураки играть—ну, играемъ. Да и тутъ: середь самой игры остановятся, сложать карты и начнутъ говорить. А я смотрю. При покойницѣ Аринѣ Петровнѣ веселѣе было. При ней онъ лишнее-то говорить побаивался: нѣтъ-нѣтъ да и остановить старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю надъ собою взять!

— Вотъ видите ли! вѣдь это, Евпраксеюшка, страшно! Страшно, когда человѣкъ говорить и не знаетъ, зачѣмъ онъ говоритъ, чтѣ говоритъ и кончить ли когда-нибудь. Вѣдь страшно? неловко вѣдь?

Евпраксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль.

— Не вы однѣ,—сказала она:—многіе у насъ ихъ за это не любятъ.

— Вотъ какъ!

— Да. Хоть бы лакеи—ни одинъ долго ужиться у насъ не можетъ; почѣсть каждый мѣсяцъ мѣняемъ. Прикащики тоже. И все изъ-за этого.

— Надоѣдаетъ?

— Тиранить. Пьяницы—тѣ живутъ, потому что пьяница не слышитъ. Ему хоть въ трубу труби — у него все равно голова какъ горшкомъ прикрыта. Такъ опять бѣда: они пьяницъ не любятъ.

— Ахъ, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка! а онъ еще меня въ Головлева жить уговариваетъ!

— А чтѣ жъ, барышня! вы бы и заправду съ нами пожили! можетъ быть, они бы и посовѣстились при васъ!

— Ну, нѣтъ! слуга покорная! вѣдь у меня терпѣнья неостанетъ въ глаза ему смотрѣть!

— Чтѣ и говорить! вы — господа! у васъ своя воля! Однако, чай, воля-воля, а тоже и по чужой дудочкѣ подплясывать приходится!

— Еще какъ часто-то!

— То-то я и думала. А я вотъ еще чтѣ хотѣла васъ спросить: хорошо въ актрисахъ служить?

— Свой хлѣбъ—и то хорошо.

— А правда ли, Порфирій Владимірычъ мнѣ сказывали: будто бы актрисъ чужіе мужчины завсе за талію держатъ?

Аннинька на минуту вспыхнула.

— Порфирій Владимірычъ не понимаетъ, — отвѣтила она раздражи-



тельно: — оттого и несет чепуху. Онъ даже того различить не можетъ, что на сценѣ происходитъ игра, а не дѣйствительность.

— Ну, однако! То-то и онъ, Порфирій-то Владимірычъ... Какъ увидѣлъ васъ, даже губы распустилъ! „Племяннушка“ да „племяннушка“! — какъ и путный! А у самого безстыжіе глаза такъ и бѣгаютъ!

— Евпраксеюшка! зачѣмъ вы глупости говорите!

— Я-то? мнѣ — чтò! Поживите — сами увидите! А мнѣ чтò! Откажуть отъ мѣста — я опять къ батюшкѣ уйду. И то вѣдь скучно здѣсь; правду вы это сказали.

— Чтòбъ я могла здѣсь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вотъ, что скучно въ Головлева — это такъ. И чѣмъ дольше вы будете здѣсь жить, тѣмъ будетъ скучнѣе.

Евпраксеюшка слегка задумалась, потомъ зѣвнула и сказала:

— Когда у батюшки жила, тощя, претощя была. А теперь — ишь какая! печь печью сдѣлалась! Скука-то, стало быть, въ прокъ идетъ!

— Все равно долго не выдержите. Вотъ помяните мое слово, не выдержите.

На этомъ разговоръ кончился. Къ счастью, Порфирій Владимірычъ не слышалъ его — иначе онъ получилъ бы новую и благодарную тему, которая несомнѣнно освѣжила бы безконечную канитель его правоучительныхъ разговоровъ.

Цѣлыхъ два дня еще мучилъ Порфирій Владимірычъ Анниньку. Все говорилъ: вотъ потерпи да погоди! потихоньку да полегоньку! благословясь да Богу помолясь! и проч. Совсѣмъ ее истомилъ. Наконецъ, на пятый день собрался-таки въ городъ, хотя и тутъ нашелъ средство истерзать племянницу. Она ужъ стояла въ передней въ шубѣ, а онъ, словно на зло, цѣлый часъ проклажался. Одѣвался, умывался, хлопалъ себя по ляжкамъ, крестился, ходилъ, сидѣлъ, отдавалъ приказанія въ родѣ: „такъ такъ-то, братъ!“ или: „такъ ты ужъ тово... смотри, братъ, какъ бы чего не было!“ Вообще поступалъ такъ, какъ бы оставлялъ Головлево не на нѣсколько часовъ, а навсегда. Замаывая всѣхъ: и людей, и лошадей, полтора часа стоявшихъ у подъѣзда, онъ наконецъ убѣдился, что у него самого пересохло въ горлѣ отъ пустяковъ, и рѣшился ѣхать.

Въ городѣ все дѣло покончилось, покуда лошади ѣли овесъ на постояломъ дворѣ. Порфирій Владимірычъ представилъ отчетъ, по которому оказалось, что сиротскаго капитала по день смерти Арины Петровны состояло безъ малаго двадцать тысячъ рублей въ пятипроцентныхъ бумагахъ. Затѣмъ просьба о снятіи опеки, вмѣстѣ съ бумагами, свидѣтельствовавшими о совершеннолѣтіи сиротъ, была принята, и тутъ же послѣдовало распоряженіе объ упраздненіи опекунскаго управленія и о сдачѣ имѣнія и капиталовъ владѣльцамъ. Въ тотъ же день вечеромъ Аннинька подписала всѣ бумаги и описи, изготовленныя Порфиріемъ Владимірычемъ, и наконецъ свободно вздохнула.

Остальные дни Аннинька провела въ величайшей ажитации. Ей хотѣлось уѣхать изъ Головлева немедленно, сейчасъ же, но дядя на всѣ ея порыванія отвѣчалъ шуточками, которыя, несмотря на добродушный тонъ, скры-

вали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человѣческая сила сломить не въ состояніи.

— Сама сказала, что недѣлю поживешь — ну, и поживи! — говорилъ онъ. — Чтѣ тебѣ! не за квартиру платить — и безъ платы милости просимъ! И чайку попить, и покушать — все, чего тебѣ вздумается, все будетъ!

— Да вѣдь мнѣ, дядя, необходимо! — отпиралась Аннинька.

— Тебѣ не сидится, а я лошадокъ не дамъ! — шутилъ Іудушка: — не дамъ лошадокъ, и сиди у меня въ плѣну! Вотъ недѣля пройдетъ — ни слова не скажу! Отстоимъ обѣденку, поѣдимъ на дорожку, чайку попьемъ, побесѣдуемъ... наглядимся другъ на друга — и съ Богомъ! Да вотъ чтѣ! не съѣздить ли тебѣ опять на могилку въ Воплино? Все бы съ бабушкой простилась — можетъ, покойница и благой бы совѣтъ тебѣ подала!

— Пожалуй, — согласилась Аннинька.

— Такъ мы вотъ какъ сдѣлаемъ: въ среду раненько здѣсь обѣденку отелушаемъ, да на дорожку пообѣдаемъ, а потомъ мои лошадки довезутъ тебя до Погорѣлки, а оттуда до Двориковъ ужъ на своихъ, на погорѣлковскихъ лошадакахъ поѣдешь. Сама помѣщица! свои лошадки есть!

Приходилось смириться. Пошлость имѣетъ громадную силу; она всегда застаеъ свѣжаго человѣка врасплохъ, и въ то время, какъ онъ удивляется и осматривается, она быстро опутываетъ его и забираетъ въ свои тиски. Всякому вѣроятно случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать носъ, но и стараться не дышать; точно такое же насиліе долженъ дѣлать надъ собой человѣкъ, когда вступаетъ въ область, насыщенную празднословіемъ и пошлостью. Онъ долженъ притупить въ себѣ зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ; долженъ побѣдить всякую воспріимчивость, одеревенѣть. Только тогда міазмы пошлости не задушатъ его. Аннинька поняла это, хотя и поздно; во всякомъ случаѣ, она рѣшилась предоставить дѣло своего освобожденія изъ Головлева естественному ходу вещей. Іудушка до того побѣдилъ ее непреоборимостью своего празднословія, что она не смѣла даже уклониться, когда онъ обнималъ ее и по родственному гладилъ по спинѣ, приговаривая: „вотъ теперь ты — пѣинька!“ Она невольно каждый разъ вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползетъ по ея спинѣ, но отъ дальнѣйшихъ выраженій гадливости ее удерживала мысль: „Господи! хоть бы черезъ недѣлю-то отпустилъ!“ Къ счастью для нея, Іудушка былъ малый небрезгливый, и хотя, быть можетъ, замѣчалъ ея нетерпѣливыя движенія, но помалчивалъ. Очевидно, онъ придерживался той теоріи взаимныхъ отношеній половъ, которая выражается пословицей: люби не люби, да почаще взглядывай!

Наконецъ наступилъ нетерпѣливо-ожиданный день отъѣзда. Аннинька поднялась чуть не въ шесть часовъ утра, но Іудушка все-таки упредилъ ее. Онъ уже совершилъ обычное молитвенное стояніе и въ ожиданіи перваго удара церковнаго колокола, въ туфляхъ и халатномъ сюртукѣ, слонялся по комнатамъ, заглядывалъ, подслушивалъ и проч. Очевидно, онъ былъ ажитированъ и при встрѣчѣ съ Аннинькой какъ-то искоса взглянулъ на нее. На дворѣ уже было совѣтъ свѣтло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, изъ которыхъ сыпалась весенняя измо-



розъ—не то дождь, не то снѣгъ: на почернѣвшей дорогѣ посёлка виднѣлись лужи, предвѣщавшія зажоры въ полѣ; сильный вѣтеръ дулъ съ юга, обѣщая гнилую оттепель; деревья обнажились отъ снѣга и беспорядочно покачивали изъ стороны въ сторону своими намокшими голыми вершинами; господскія службы почернѣли и словно ослизли. Порфирій Владимірычъ подвелъ Анниньку къ окну и указалъ рукой на картину весенняго возрожденія.

— Ужъ ѣхать ли, полно?—спросилъ онъ:—не остаться ли?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! — испуганно вскрикнула она: — это... это... пройдетъ!

— Врядъ-ли. Ежели ты въ часъ выѣдешь, то врядъ-ли раньше семи до Погорѣлки доѣдешь. А ночью развѣ можно въ теперешнюю ростепель ѣхать—все равно, придется въ Погорѣлкѣ ночевать.

— Ахъ, нѣтъ! я и ночью, я сейчасъ же поѣду... я вѣдь, дядя, храбрая! да и зачѣмъ же дожидаться до часу? Дядя! голубчикъ! позвольте мнѣ теперь уѣхать!

— А бабенка чтò скажетъ? Скажетъ: вотъ такъ внучка! пріѣхала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотѣла!

Порфирій Владимірычъ остановился и замолчалъ. Нѣкоторое время онъ сѣменилъ ногами на одномъ мѣстѣ и то взглядывалъ на Анниньку, то опускалъ глаза. Очевидно, онъ рѣшался и не рѣшался что-то высказать.

— Пстой-ка, я тебѣ что-то покажу!—наконецъ рѣшился онъ и, вынувъ изъ кармана свернутый листокъ почтовой бумаги, подаль его Аннинькѣ: — натко, прочти!

Аннинька прочла:

„Сегодня я молился и прѣсилъ боженьку, чтобъ онъ оставилъ мнѣ мою Анниньку. И боженька мнѣ сказалъ: возьми Анниньку за полненькую тальцу и прижми ее къ своему сердцу“.

— Такъ, что-ли?—спросилъ онъ, слегка поблѣднѣвъ.

— Фу, дядя! какія гадости! — отвѣтила она, растерянно смотря на него.

Порфирій Владимірычъ поблѣднѣлъ еще больше и, произнеся сквозь зубы: „видно, намъ гусаровъ нужно!“ — перекрестился и, шаркая туфлями, вышелъ изъ комнаты.

Черезъ четверть часа онъ, однакожъ, возвратился какъ ни въ чемъ ни бывало и ужъ шутилъ съ Аннинькой.

— Такъ какъ же?—говорилъ онъ:—въ Воплино отсюда заѣдешь? съ старушкой-бабенкой проститься хочешь? простись! простись, мой другъ! Это ты хорошее дѣло затѣяла, что про бабенку вспомнила! Никогда не нужно родныхъ забывать, а особливо такихъ родныхъ, которые, можно сказать, душу за насъ полагали!

Отслушали обѣдню съ панихидой, поѣли въ церкви куты, потомъ домой пріѣхали, опять куты поѣли и сѣли за чай. Порфирій Владимірычъ, словно на зло, медленнѣе обыкновеннаго прихлѣбывалъ чай изъ стакана и мучительно растягивалъ слова, разглагольствуя въ промежуткѣ двухъ глотковъ. Къ десяти часамъ, однакожъ, чай кончился, и Аннинька взмолилась:

— Дядя! теперь мнѣ можно ѣхать?

— А покушать? отобѣдать-то на дорожку? Неужто-жъ ты думала, что дядя такъ тебя и отпуститъ! И ни-ни! и не думай! Этого и въ заводѣ въ Головлевъ не бывало! Да маменька-покойница на глаза бы меня къ себѣ не пустила, еслибъ знала, что я родную племянницу безъ хлѣба-соли въ дорогу отпустилъ! И не думай этого! и не воображай!

Опять пришлось смириться. Прошло однакожъ полтора часа, а на столъ и не думали накрывать. Всѣ разбрелись; Евпраксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворѣ, между кладовой и погребомъ; Порфирій Владимірычъ толковалъ съ прикащикомъ, изнуряя его безпутными приказаніями, хлопая себя по ляжкамъ и вообще ухищряясь какъ-нибудь затянуть времени. Аннинька ходила одна взадъ и впередъ по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потомъ секунды: разъ, два, три... По временамъ она смотрѣла на улицу и убѣдилась, что лужи дѣлаются все больше и больше.

Наконецъ застучали ложки, ножи, тарелки; лакей Степанъ пришелъ въ столовую и кинулъ скатерть на столъ. Но, казалось, частица праха, наполнявшая Іудушку, перешла и въ него. Еле-еле онъ передвигалъ тарелками, дулъ въ стаканы, смотрѣлъ черезъ нихъ на свѣтъ. Ровно въ часъ сѣли за столъ.

— Вотъ ты и ѣдешь! — началъ Порфирій Владимірычъ разговоръ, приличествующій проводамъ.

Передъ нимъ стояла тарелка съ супомъ, но онъ не прикасался къ ней и до того умильно смотрѣлъ на Анниньку, что даже кончикъ носа у него покраснѣлъ. Аннинька торопливо глотала ложку за ложкой. Онъ тоже взялся за ложку и ужъ совсѣмъ-было погрузилъ ее въ супъ, но сейчасъ же опять положилъ на столъ.

— Ужъ ты меня, старика, прости!—зудилъ онъ:—ты вотъ на почтовыхъ супъ скушала, а я—на долгихъ ѣмъ. Не люблю я съ Божьимъ даромъ небрежно обращаться. Намъ хлѣбъ для поддержанія существованія нашего данъ, а мы его зря разбрасываемъ — видишь, ты сколько накрошила? Да и вообще я все люблю основательно да осмотрѣвшись дѣлать—крѣпче выходить. Можетъ быть, тебя это сердить, что я за столомъ черезъ обручъ—или какъ это тамъ у васъ называется—не прыгаю; ну, да что жъ дѣлать! и посердись, ежели тебѣ такъ хочется! Посердишься, посердишься, да и простишь! И ты не все молодая будешь, не все черезъ обручи будешь скакать, и въ тебѣ когда-нибудь опытку прибавится — вотъ тогда ты и скажешь: а дядя-то, пожалуй, правъ былъ! Такъ-то, мой другъ. Теперь, можетъ быть, ты слушаешь меня да думаешь: фяка дядя! старый ворчунъ дядя! А какъ проживешь съ мое—другое запоешь, скажешь: пай дядя! добру меня училъ!

Порфирій Владимірычъ перекрестился и проглотилъ двѣ ложки супу. Сдѣлавши это, онъ опять положилъ ложку въ тарелку и опрокинулся на спинку стула въ знакъ предстоящаго разговора.

— Кривоопійца!—такъ и вертѣлось на языкѣ у Анниньки. Но она сдержалась, быстро налила себѣ стаканъ воды и залпомъ его выпила. Іудушка словно нюхомъ отгадывалъ, чтѣ въ ней происходитъ.

— Чтѣ? не нравится!—что жъ, хоть и не нравится, а ты, все-таки, дядю послушай! Вотъ я ужъ давно съ тобой насчетъ этой твоей поспѣшности



поговорить хотѣлъ, да все недосужно было. Не люблю я въ тебѣ эту поспѣшность: легкомысліе въ ней видно, неразумительность. Вотъ и въ ту пору вы зря отъ бабушки уѣхали — и огорчить старушку не посовѣстились! — а зачѣмъ?

— Ахъ, дядя! зачѣмъ вы объ этомъ вспоминаете! вѣдь это ужъ сдѣлано! Съ вашей стороны это даже нехорошо!

— Постой! я не объ томъ, хорошо или нехорошо, а объ томъ, что хотя дѣло и сдѣлано, но вѣдь его и передѣлать можно. Не только мы, грѣшные, а и Богъ свои дѣйствія перемѣняетъ: сегодня пошлетъ дождинка, а завтра — вѣдришка дать! А нутко! вѣдь не Богъ же знаетъ, какое сокровище — театр! Нутко! рѣшишь-ка!

— Нѣтъ, дядя! оставьте это! прошу васъ!

— А еще тебѣ вотъ чтó скажу: нехорошо въ тебѣ твое легкомысліе, но еще больше мнѣ не нравится то, что ты такъ легко къ замѣчаніямъ старшихъ относишься. Дядя добра тебѣ желаетъ, а ты говоришь: оставьте! Дядя къ тебѣ съ лаской да съ привѣтомъ, а ты на него фыркаешь! А между тѣмъ знаешь ли ты, кто тебѣ дядю далъ? Ну-ко скажи, кто тебѣ дядю далъ?

Аннинька взглянула на него съ недоумѣніемъ.

— Богъ тебѣ дядю далъ — вотъ кто! Богъ! Кабы не Богъ, была бы теперь одна, не знала бы, какъ съ собою поступить и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно въ лѣсу; одинъ бы тебя обидѣлъ, другой бы обманулъ, а третій и просто-на-просто посмѣялся бы надъ тобой! А какъ дядя-то у тебя есть, такъ мы, съ Божьей помощью, въ одинъ день все твое дѣло вокругъ пальца повернули. И въ городъ съѣздили, и въ опеку побывали, и просьбу подали, и резолюцію получили! Такъ вотъ оно, мой другъ, чтó дядя-то значитъ!

— Да я благодарна вамъ, дядя!

— А коли благодарна дядѣ, такъ не фыркай на него, а слушайся. Добра тебѣ дядя желаетъ, хоть иногда тебѣ и кажется...

Аннинька едва могла владѣть собою. Оставалось еще одно средство отдѣлаться отъ дядинныхъ поученій: притвориться, что она хоть въ принципѣ принимаетъ его предложеніе остаться въ Головлевъ.

— Хорошо, дядя, — сказала она: — я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной, вдали отъ родныхъ, несовсѣмъ удобно... Но во всякомъ случаѣ теперь я рѣшиться ни на что не могу. Надо подумать.

— Ну, видишь ли, вотъ ты и поняла. Да чего же тутъ думать! Велимъ лошадей распрячь, чемоданы твои изъ кибитки вынуть — вотъ и думанье все!

— Нѣтъ, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!

Неизвѣстно, убѣдилъ ли этотъ аргументъ Порфирія Владимірыча, или вся сцена эта была ведена имъ только для прилику, и онъ самъ хорошенько не зналъ, точно ли ему нужно, чтобъ Аннинька осталась въ Головлевъ, или совсѣмъ это не нужно, а просто блажь въ голову на минуту забрела. Но во всякомъ случаѣ обѣдъ послѣ этого пошелъ поживѣе. Аннинька со всѣмъ соглашалась, на все давала такіе отвѣты, которые не допускали никакой придирки для пустословія. Тѣмъ не менѣе часы показывали ужъ половину

третьяго, когда обѣдъ кончился. Аннинька выскочила изъ-за стола, словно все время въ паровой ваннѣ высидѣла, и побѣжала къ дядѣ, чтобъ попрощаться съ нимъ.

Черезъ десять минутъ Іудушка, въ шубѣ и въ медвѣжьихъ сапогахъ, провожалъ ужъ ее на крыльцо и самолично наблюдалъ, какъ усаживали ба-рышню въ кибитку.

— Съ горы-то полегче—слышишь! Да и въ Сенькинѣ на косогорѣ — смотри, не вывали!—приказывалъ онъ кучеру.

Наконецъ Анниньку укутали, усадили и застегнули фартукъ у кибитки.

— А то бы осталась!—еще разъ крикнулъ ей Іудушка, желая, чтобъ и при собравшихся челядинцахъ все обошлось какъ слѣдуетъ, по родственному. — По крайней мѣрѣ, пріѣдешь, что-ли? говори!

Но Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей вдругъ захотѣлось пошкольничать. Она высунулась изъ кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвѣчала:

— Нѣтъ, дядя, не пріѣду! Страшно съ вами!

Іудушка сдѣлалъ видъ, что не слышитъ, но губы у него побѣлѣли.

Освобожденіе изъ головлевскаго плѣна до такой степени обрадовало Анниньку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади нея въ безсрочномъ плѣну остается человѣкъ, для котораго, съ ея отъѣздомъ, порвалась всякая связь съ міромъ живыхъ. Она думала только объ себѣ: что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Вліяніе этого ощущенія свободы было такъ сильно, что когда она вновь посѣтила воплинское кладбище, то въ ней уже не замѣчалось и слѣда той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первомъ посѣщеніи бабушкиной могилы. Спокойно отелушала она панихиду, безъ слезъ поклонилась могилѣ и довольно охотно приняла предложеніе священника откушать у него въ хатѣ чашку чая.

Обстановка, въ которой жилъ воплинскій батюшка, была очень убогая. Въ единственной чистой комнатѣ дома, которая служила пріемною, царствовала какая-то унылая нагота; по стѣнамъ было разставлено съ дюжину крашенныхъ стульевъ, обитыхъ волосяной матеріей, мѣстами значительно продранной, и стоялъ такой же диванъ съ выпяченной спинкой, словно грудь у генерала до-реформенной школы; въ одномъ изъ простѣнковъ виднѣлся простой столъ, покрытый загаженнымъ сукномъ, на которомъ лежали исповѣдныя книги прихода, и изъ-за нихъ выглядывала чернильница съ воткнутымъ въ нее перомъ; въ восточномъ углу висѣлъ кіотъ съ родительскимъ благословеніемъ и съ зажженной лампадкой; подъ нимъ стояли два сундука съ матушкинымъ приданымъ, покрытые сѣрымъ, выцвѣвшимъ сукномъ. Обоевъ на стѣнахъ не было; по серединѣ одной стѣны висѣло нѣсколько полинявшихъ дагерротипныхъ портретовъ преосвященныхъ. Въ комнатѣ пахло какъ-то странно: словно она издавна служила кладбищемъ для таракановъ и мухъ. Самъ священникъ, хотя человѣкъ еще молодой, значительно потускнѣлъ въ этой обстановкѣ. Жидкіе бѣловатые волосы повисли на его головѣ прямыми прядями, какъ вѣтви на плакучей ивѣ; глаза, когда-то голубые, смотрѣли



убито; голосъ вздрагивалъ, борода обострилась; шалоновая ряса худо запахивалась спереди и висѣла какъ на вѣшалкѣ. Попадья, женщина тоже молодая, отъ ежегодныхъ родовъ казалась еще болѣе изнуренною, нежели мужъ.

Тѣмъ не менѣе Аннинька не могла не замѣтить, что даже эти забытые, изнуренные и бѣдные люди относятся къ ней не такъ, какъ къ настоящей прихожанкѣ, а скорѣе съ сожалѣніемъ, какъ къ заблудшей овцѣ.

— У дяденьки побывали? — началъ батюшка, осторожно принимая чашку чая съ подноса у попады.

— Да, почти съ недѣлю прожила.

— Теперь Порфирій Владимірычъ главный помѣщикъ по всей нашей округѣ сдѣлался — нѣтъ ихъ сильнѣе. Только удачи имъ въ жизни какъ будто не видится. Сперва одинъ сыночекъ померъ, потомъ и другой, а наконецъ и родительница. Удивительно, какъ это они васъ не упростили въ Головлевъ поселиться.

— Дядя предлагалъ, да я сама не осталась.

— Что жъ такъ?

— Да лучше, какъ на свободѣ живешь.

— Свобода, сударыня, конечно — дѣло нехудое, но и она не безъ опасностей бываетъ. А ежели при этомъ имѣть въ предметъ, что вы Порфирію Владимірычу ближайшей родственницей, а слѣдственно и прямой зсѣхъ его имѣній наслѣдницей доводите, то можно бы, мнится, насчетъ свободы нѣсколько и постѣснить себя.

— Нѣтъ, батюшка, свой хлѣбъ лучше. Какъ-то легче живется, какъ чувствуешь, что никому не обязанъ.

Батюшка тускло взглянулъ на нее, какъ будто хотѣлъ спросить: да ты, полно, знаешь ли, что такое „свой хлѣбъ“? но посовѣстился и только робко запахнулъ полы своей рясы.

— А много ли вы жалованья въ актрисахъ-то получаете? — вступила въ разговоръ попадья.

Батюшка окончательно обрѣлъ и даже заморгалъ въ сторону попады. Онъ такъ и ждалъ, что Аннинька обидится. Но Аннинька не обидѣлась и безъ всякой ужимки отвѣтила;

— Теперь я получаю полтора ста рублей въ мѣсяцъ, а сестра — сто. Да бенефисы намъ даютъ. Въ годъ-то тысячу шесть обѣ получимъ.

— Что жъ такъ сестрицѣ меньше даютъ? достоинствомъ, что-ли, онѣ хуже? — продолжала любопытствовать матушка.

— Нѣтъ, а жанръ у сестры другой. У меня голосъ есть, я пою — это публикѣ больше нравится, а у сестры голосъ послабѣе — она въ водевиляхъ играетъ.

— Стало быть, и тамъ тоже: кто попомъ, кто дьякономъ, а кто и въ дьячкахъ служить?

— Впрочемъ мы поровну дѣлимся; у насъ ужъ сначала такъ было условлено, чтобъ деньги пополамъ дѣлить.

— По родственному? Чего же лучше, коли по родственному! А сколько это, попь, будетъ? шесть тысячу рублей, ежели на мѣсяца раздѣлить, сколько это будетъ?

— По пятисотъ цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, а на двухъ раздѣлить — по двѣсти по пятидесяти.

— Вона что денегъ-то! Намъ бы и въ годъ не прожить. А что я еще хотѣла васъ спросить: правда ли, что съ актрисами обращаются, словно бы онѣ — не настоящія женщины?

Попъ совсѣмъ-было всполошился и даже полы расы распустилъ; но, увидѣвъ, что Аннинька относится къ вопросу довольно равнодушно, подумалъ: „Эге! да ее, видно, и въ самомъ дѣлѣ не прошибешь!“ — и успокоился.

— То-есть, какъ же это: не настоящія женщины? — спросила Аннинька.

— Ну, да вотъ будто цѣлуютъ ихъ, обнимаютъ, что-ли... Даже, будто, когда и не хочется, и тогда онѣ должны...

— Не цѣлуютъ, а дѣлаютъ видъ, что цѣлуютъ. А объ томъ, хочется или не хочется — объ этомъ и рѣчи въ этихъ случаяхъ не можетъ быть, потому что все дѣлается по пьесѣ: какъ въ пьесѣ написано, такъ и поступаютъ.

— Хоть и по пьесѣ, а все-таки... Иной съ слюнявымъ рыломъ лѣзетъ, на него и гладѣть-то претить, а ты губы ему подставлять должна.

Аннинька невольно заалѣлась; въ воображеніи ея вдругъ промелькнуло слюнявое лицо храбраго ротмистра Палкова, которое именно „лѣзло“, и — увы! — даже не „по пьесѣ“ лѣзло!

— Вы совсѣмъ не такъ представляете себѣ, какъ оно на сценѣ происходитъ! — сказала она довольно сухо.

— Конечно, мы въ театрахъ не бывали, а все-таки, чай, со всячинкой тамъ бываетъ. Частенько-таки мы съ попомъ объ васъ, барышня, разговариваемъ: жалѣемъ мы васъ, даже очень жалѣемъ!

Аннинька молчала; священникъ сидѣлъ и пощипывалъ бороду, словно рѣшался и самъ сказать свое слово.

— Впрочемъ, сударыня, и во всякомъ званіи и пріятности, и непріятности бываютъ, — наконецъ высказался онъ: — но человѣкъ, по слабости своей, первыми восхищается, а послѣднія старается позабыть. Для чего позабыть? а именно для того, сударыня, дабы и сего послѣдняго напоминовенія о долгѣ и добродѣтельной жизни по возможности не имѣть передъ глазами.

И потомъ, вздохнувъ, присовокупилъ:

— А главное, сударыня, сокровище свое надлежитъ соблюсти!

Батюшка учительно взглянулъ на Анниньку; матушка уныло покачала головой, какъ бы говоря: гдѣ ужъ!

— И вотъ это-то сокровище, мнится, въ актерскомъ званіи соблюсти — дѣло довольно сумнительное, — продолжалъ батюшка.

Аннинька не знала, что сказать на эти слова. Мало-по-малу ей начало казаться, что разговоръ этихъ простодушныхъ людей о „сокровищѣ“ совершенно одинаковаго достоинства съ разговорами господъ офицеровъ „расквартированного въ здѣшнемъ городѣ полка“ объ „la chose“. Вообще же она убѣдилась, что и здѣсь, какъ у дяденьки, видятъ въ ней явленіе совсѣмъ особенное, къ которому хотя и можно отнести снисходительно, но въ нѣкоторомъ отдаленіи, дабы „не замараться“.



— Отчего у васъ, батюшка, церковь такая бѣдная? — спросила она, чтобъ переменить разговоръ.

— Нѣ съ чего ей богатой быть — оттого и бѣдна. Помѣщики всѣ по службамъ разъѣхались, а мужичкамъ подняться не изъ чего. Да ихъ и всѣхъ-то съ небольшимъ двѣсти душъ въ приходѣ!

— Вотъ колоколь у насъ черзчуръ ужъ плохъ! — вздохнула матушка.

— И колоколь, и прочее все. Колоколь-то у насъ, сударыня, всего пятнадцать пудовъ вѣситъ, да и тотъ, на грѣхъ, раскололся. Не звонить, а шумить какъ-то — даже предосудительно. Покойница Арина Петровна общались-было новыи соорудить, и ежели были бы онѣ живы, то и мы, все-конечно, были бы теперь при колоколѣ.

— Вы бы дядѣ сказали, что бабушка общала!

— Говорилъ, сударыня, и онъ, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно доуку мою выслушалъ. Только отвѣта удовлетворительнаго не могъ мнѣ дать: не слыхалъ, вишь, отъ маменьки ничего! никогда, вишь, покойница объ этомъ ему не говаривала! А ежели бы, дескать, слышалъ, то безпремѣнно бы волю ея исполнилъ!

— Когда, чай, не слыхать! — молвила попадья: — вся округа знаетъ, а онъ не слыхалъ!

— Вотъ мы и живемъ такимъ родомъ. Прежде хоть въ надеждѣ были, а нынче и совсѣмъ безъ надежды остаемся. Иногда служить нѣ на чемъ: ни просфоръ, ни красного вина. А объ себѣ ужъ и не говоримъ.

Аннинька хотѣла встать и проститься, но на столѣ появился новыи подносъ, на которомъ стояли двѣ тарелки — одна съ рыжиками, другая съ кусочками икры и бутылка мадеры.

— Посидите! не обезсудьте! откушайте!

Аннинька повиновалась, наскоро проглотила два рыжичка, но отказалась отъ мадеры.

— Вотъ объ чемъ я еще хотѣла васъ спросить, — говорила между тѣмъ попадья: — въ приходѣ у насъ дѣвушка одна есть, Лыцескаго двороваго дочка; такъ она въ Петербургѣ у одной актрисы въ услуженіи была. Хорошо, говорить, въ актрисахъ житье, только билетъ каждыи мѣсяцъ выправлять надо... правда ли это?

Аннинька смотрѣла во всѣ глаза и не понимала.

— Это для свободности, — пояснилъ батюшка: — а впрочемъ думается, что она неправду говоритъ. Напротивъ, я слышалъ, что многія актрисы даже пенсіи отъ казны за службу удостоиваются.

Аннинька убѣдилась, что чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, и стала окончательно прощаться.

— А мы было-думали, что вы теперь изъ актрисъ-то выйдете? — продолжала приставать попадья.

— Зачѣмъ же?

— Все-таки. Вы — барышня. Теперь совершенныи лѣта получили, имѣніе свое есть — чего лучше!

— Ну, и послѣ дяденьки вы же — прямая наслѣдница, — присовокупилъ батюшка.

— Нѣтъ, я здѣсь жить не буду.

— А мы-то какъ надѣялись! Все промежду себя говорили: непременно наши барышни въ Погорѣлкѣ жить будутъ! А лѣтомъ у насъ здѣсь даже очень хорошо: въ лѣсъ по грибы ходить можно!—соблазняла матушка.

— У насъ грибовъ и не въ дождливое лѣто—очень довольно!—вторилъ ей батюшка.

Наконецъ Аннинька уѣхала. По пріѣздѣ въ Погорѣлку, первымъ ея словомъ было: „лошадей! пожалуйста поскорѣе лошадей!“ Но Оедулычъ только плечами передернулъ въ отвѣтъ на эту просьбу.

— Чего „лошадей“! Мы еще и не кормили ихъ!—брюзжалъ онъ.

— Да отчего жъ, наконецъ? Ахъ, Боже мой! точно всѣ сговорились!

— Сговорились и есть. Какъ не сговориться, коли всякому видимо, что въ ростепель ночью ѣхать нельзя. Все равно, въ полѣ въ зажорѣ просидите—такъ, по нашему, лучше ужъ дома!

Бабенькины апартаменты были вытоплены. Въ спальнѣ стояла совсѣмъ приготовленная постель, а на письменномъ столѣ пыхтѣлъ самоваръ; Афимьюшка оскребла на днѣ старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившіеся послѣ Арина Петровны. Покуда настаивался чай, Оедулычъ, скрепивши руки, лицомъ къ барышнѣ, держался у двери, а по обѣимъ сторонамъ стояли скотница и Марковна въ такихъ позахъ, какъ будто сейчасъ, по первому манію руки, готовы были бѣжать куда глаза глядятъ.

— Чай-то еще бабенькинъ,—первый началъ разговоръ Оедулычъ:—отъ покойницы на доньшкѣ остался. Порфирій Владимірычъ и шкатулочку собрались-было увезти, да я не согласился. Можетъ быть, барышни, говорю, пріѣдутъ, такъ чайку испить захочется, покуда своимъ разживутся. Ну, ничего! еще пошутить: „ты, говорить, старый плутъ, самъ выпьешь! смотри, говорить, шкатулочку-то послѣ въ Головлево доставь!“ Гляди, завтра же за нею пришлетъ!

— Напрасно вы ему тогда не отдали.

— Зачѣмъ отдавать—у него и своего чаю много. А теперь по крайности мы послѣ васъ попьемъ. Да вотъ чтѣ, барышня: вы насъ Порфирію Владимірычу, что-ли, препоручите?

— И не думала.

— Такъ-съ. А мы было давеча бунтовать собрались. Коли ежели, думаемъ, насъ къ головлевскому барину подъ начало отдадутъ, такъ всѣ въ отставку проситься будемъ.

— Чтѣ такъ? неужто дядя такъ страшенъ?

— Не очень страшенъ, а тиранить, словъ не жалѣетъ. Словами-то онъ стноить человѣка можетъ.

Аннинька невольно улыбулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствія Гудушки! Не простое пустословіе это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила изъ себя гной.

— Ну, а съ собой-то вы какъ же, барышня, рѣшили?—продолжалъ допытываться Оедулычъ.

— То-есть, чтѣ же я должна съ собой „рѣшить“?—слегка смѣшалась



Аннинька, предчувствуя, что ей и здѣсь придется выдержать разглагольствія о „сокровищѣ“.

— Такъ неужто же вы изъ ахтерокъ не выйдете?

— Нѣтъ... то-есть, я еще объ этомъ не думала... Но что же дурного въ томъ, что я, какъ могу, свой хлѣбъ достаю?

— Что хорошаго! по ярмаркамъ съ торбаномъ ѣздить! пьяницъ утѣшать! Чай, вы—барышня!

Аннинька ничего не отвѣтила, только брови насупила. Въ головѣ ея мучительно стучалъ вопросъ: „Господи! да когда же я отсюда уѣду?“

— Разумѣется, вамъ лучше знать, какъ надъ собой поступить, а только мы было думали, что вы къ намъ возвратитесь. Домъ у насъ теплый, просторный — хоть въ горѣлки играй! очень хорошо покойница-бабенка его устроила. Скучно сдѣлалось — санки запряжемъ, а лѣтомъ — въ лѣсъ по грибы ходить можно.

— У насъ здѣсь всякіе грибы есть: и рыжички, и волнушечки, и груздочки, и подосиннички — страсть сколько! — соблазнительно прошамкала Афимьюшка.

Аннинька облокотилась обѣими руками на столъ и старалась не слушать.

— Сказывала тутъ дѣвка одна, — безчеловѣчно настаивалъ Ѳедулычъ: — въ Петербургѣ она въ услуженьи жила, такъ говорила, будто всѣ ахтерки — белетныя. Каждый мѣсяцъ должны въ части белеть представлять!

Анниньку словно обожгло: цѣлый день она все эти слова слышитъ!

— Ѳедулычъ! — съ крикомъ вырвалось у нея: — что я вамъ сдѣлала? — неужели вамъ доставляетъ удовольствіе оскорблять меня?

Съ нея было довольно. Она чувствовала, что ее душить, что еще одно слово — и она не выдержитъ...

## V. — Недозволенные семейныя радости.

Однажды, незадолго до катастрофы съ Петинькой, Арина Петровна, гостя въ Головлевѣ, замѣтила, что Евпраксеюшка словно бы поприцухла. Воспитанная въ практикѣ крѣпостного права, при которомъ беременность дворовыхъ дѣвокъ служила предметомъ подробныхъ и нелишенныхъ занимательности изслѣдованій и считалась чуть не доходною статью, Арина Петровна имѣла на этотъ счетъ взглядъ острый и безошибочный, такъ что для нея достаточно было остановить глаза на туловищѣ Евпраксеюшки, чтобы послѣдняя, безъ словъ и въ полномъ сознаніи виновности, отвернула отъ нея свое загорѣвшееся полымемъ лицо.

— Нутка, нутка, сударка! смотри на меня! тяжела? — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но въ голосѣ ея не слышалось укоризны, а, напротивъ, онъ звучалъ шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старымъ, хорошимъ времечкомъ.

Евпраксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолствовала, и только пуще и пуще алѣли ея щеки подѣ испытующимъ взглядомъ Арины Петровны.

— То-то еще вчера я смотрю — поджимаешься ты! Ходить, хвостомъ вертять — словно и путѣвал! Да вѣдь меня, братъ, хвостами-то не обманешь! Я на пять верстѣ впередъ ваши дѣвичьи штуки вижу! Вѣтромъ, что-ли, надуло? съ которыхъ поръ? Признавайся! сказывай!

Послѣдовалъ подробный допросъ и не менѣе подробное объясненіе. Когда замѣчены первые признаки? имѣется ли на примѣтѣ бабушка-повитушка? знаетъ ли Порфирій Владимірычъ объ ожидающей его радости? бережетъ ли себя Евпраксеюшка, не поднимаетъ ли чего тяжелаго? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна ужъ пятый мѣсяцъ: что бабушки-повитушки на примѣтѣ покуда еще нѣтъ; что Порфирію Владимірычу хотя и было докладывавано, но онъ ничего не сказалъ, а только сложилъ руки ладонями внутрь, пошенталъ губами и посмотрѣлъ на образъ, въ знакъ того, что все отъ Бога, и Онъ, Царь Небесный, Самъ обо всемъ промыслить; что наконецъ Евпраксеюшка, однажды не остереглась, подняла самоваръ и въ ту же минуту почувствовала, что внутри у нея что-то словно оборвалось.

— Однако, оглашенные вы, какъ я на васъ посмотрю! — тужила Арина Петровна, выслушавши эти признанія: — придется, видно, мнѣ самой въ это дѣло взойти! Натко, пятый мѣсяцъ беременна, а у нихъ даже бабушки-повитушки на примѣтѣ нѣтъ! Да ты хоть бы Улиткѣ, глупая, показала!

— И то собиралась, да барины Улитку-то не очень...

— Взоръ, сударыня, вздоръ! Тамъ, провинилась ли, нѣтъ ли Улитка передъ бариномъ — это само собой! а тутъ этакой случай — а онъ на-поди! Что намъ, цѣловаться, что-ли, съ ней? Нѣтъ, неминуемое дѣло, что мнѣ самой придется въ это дѣло вступиться!

Арина Петровна хотѣла-было взгрустнуть, пользуясь этимъ случаемъ, что вотъ и до сихъ поръ, даже на старости лѣтъ, ей приходится тяготы носить; но предметъ разговора былъ такъ привлекателенъ, что она только губами чмокнула и продолжала:

— Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься — попробуй-ка саночки повозить! Попробуй! попробуй! Я вотъ трехъ сыновъ да дочку вырастила, да пятерыхъ дѣтей маленькими схоронила — я знаю! Вотъ они гдѣ у насъ, мужчинки-то, сидятъ! — прибавила она, ударяя себя кулакомъ по затылку.

И вдругъ ее словно озарило.

— Батюшки! да никакъ еще подѣ постный день! Постой, погоди! со-считаю!

Начали по пальцамъ считать, сочли разъ, другой, третій — выходило именно какъ разъ подѣ постный день.

— Ну, такъ, такъ! это — святой-то человѣкъ! Ужъ, погоди, подразню его! Молитвенникъ-то нашъ! въ какую рюху попалъ! подразню! не я буду, если не подразню! — шутила старушка.

Дѣйствительно, въ тотъ же день, за вечернимъ чаемъ, Арина Петровна въ присутствіи Евпраксеюшки подшучивала надъ Гудушкой.



— Смирнникъ-то нашъ! смотри, какую штуку удралъ! Ужъ и вза-правду не вѣтромъ ли кралѣ-то твоей надуло? Ну, братъ, удивилъ!

Гудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиныхъ шуточкахъ, но, убѣдившись, что Арина Петровна говоритъ „по родственному“, „всеѣ душой“ — и самъ мало-по-малу повеселѣлъ.

— Проказница вы, маменька! право, проказница! — шутилъ и онъ въ свою очередь; но въпрочемъ, по своему обыкновенію, отнесся къ предмету семейнаго разговора уклончиво.

— Чего „проказница“! серьезно объ этомъ переговорить надо! Вѣдь это — какое дѣло-то! „Тайна“ тутъ — вотъ я тебѣ что скажу! Хотя и не настоящимъ манеромъ, а все-таки... Нѣтъ, надо очень да и какъ еще очень объ этомъ дѣлѣ поразмыслить! Ты какъ думаешь: здѣсь, что-ли, ей рожать велишь, или въ городъ повезешь?

— Не знаю я, маменька, ничего я; душенька, не знаю! — уклонялся Порфирій Владиміръчъ: — проказница вы! право, проказница!

— Ну, такъ постой же, сударка! Ужъ мы съ тобой на прохладѣ объ этомъ дѣлѣ потолкуемъ! И какъ, и что — все подробно опредѣлимъ! А то вѣдь эти мужчинки — имъ бы только прихоть свою исполнить, а потомъ от-дуйся наша сестра за нихъ, какъ знаетъ!

Сдѣлавши свое открытіе, Арина Петровна почувствовала себя какъ рыба въ водѣ. Цѣлый вечеръ проговорила она съ Евпраксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у нея разгорѣлись и глаза какъ-то по-юношески заблестѣли.

— Вѣдь это, сударка, какъ бы ты думала? — вѣдь это... божественное! — настаивала она: — потому что хоть и не тѣмъ порядкомъ, а все-таки настоящимъ манеромъ... Только ты у меня смотри! Ежели да подъ постный день — Боже тебя сохрани! и засмѣю тебя! и со свѣту сгоню!

Призвали на совѣтъ и Улитушку. Сначала объ настоящемъ дѣлѣ поговорили, что и какъ, не нужно ли промывательное поставить, или моренковой мазью животъ потереть, потомъ опять обратились къ излюбленной темѣ и начали по пальцамъ разсчитывать — и все выходило именно какъ разъ на постный день! Евпраксеюшка алѣла какъ маковъ цвѣтъ, но не отнѣкивалась, а ссылалась на подневольное свое положеніе.

— Мнѣ что жъ! — говорила она: — мое дѣло — какъ „они“ хотятъ! Коли ежели баринъ прикажутъ — можетъ ли наша сестра противъ ихъ приказаньевъ идти!

— Ну, ну, тихоня! не лебези хвостомъ! — шутила Арина Петровна: — сама, чай...

Словомъ сказать, женщины занялись этимъ дѣломъ всласть. Арина Петровна цѣлый рядъ случаевъ изъ своего прошлаго вспомнила и, разумѣется, не преминула повѣствовать объ нихъ. Сначала разсказала про свои личныя беременности. Какъ она Степкой-балбесомъ мучилась, какъ, будучи беременной Павломъ Владиміръчемъ, ѣздила на перекладной въ Москву, чтобъ дубровинскаго аукціона не упустить, да потомъ изъ-за этого на тотъ свѣтъ чуть-чуть не отправилась и т. д., и т. д. Веѣ роды были чѣмъ-нибудь замѣчательны; одни только достались легко — это были роды Гудушки.

— Просто даже вотъ ни на эстолько тягости не чувствовала! — говорила она: — сижу, бывало, и думаю: Господи! да неужто я тяжела! И какъ настало время, прилегла я этакъ на минуточку на кровать, и ужъ сама не знаю какъ — вдругъ разрѣшилась! Самый это легкій для меня сынъ былъ! Самый, самый легкій!

Потомъ начались рассказы про дворовыхъ дѣвокъ: сколькихъ она сама „заставала“, сколькихъ выслѣживала при помощи довѣренныхъ лицъ, и преимущественно Улитушки. Старческая память съ изумительною отчетливостью хранила эти воспоминанія. Во всемъ ея прошломъ, сѣромъ, всецѣло поглощенномъ мелкимъ и крупнымъ скопидомствомъ, сослѣживаніе вождѣлющихъ дворовыхъ дѣвокъ было единственнымъ романическимъ элементомъ, затрогивавшимъ какую-то живую струну.

Это была своего рода беллетристика въ скучномъ журналѣ, въ которомъ читатель ожидаетъ встрѣтиться съ изслѣдованіями о сухихъ туманахъ и о мѣстѣ погребенія Овидія — и вдругъ, вмѣсто того, читаетъ: *Вотъ мчится тройка удалая...* Развязки нехитрыхъ романовъ дѣвичьей обыкновенно бывали очень строгія и даже безчеловѣчныя (виновную выдавали замужъ въ дальнюю деревню, непременно за мужика-вдовца, съ большимъ семействомъ; виновнаго — разжаловывали въ скотники или отдавали въ солдаты); но воспоминанія объ этихъ развязкахъ какъ-то стерлись (память культурныхъ людей относительно прошлаго ихъ поведенія вообще снисходительна), а самый процессъ сослѣживанія „амурной интриги“ такъ и мелькалъ до сихъ поръ передъ глазами, словно живой. Да и немудрено! этотъ процессъ, во времена нынѣ, велся съ такимъ же захватывающимъ интересомъ, съ какимъ нынѣ читается фельетонный романъ, въ которомъ авторъ, вмѣсто того, чтобъ сразу увѣнчать взаимное вождѣлѣніе героевъ, на самомъ патетическомъ мѣстѣ ставитъ точку и пишетъ: *продолженіе впереди*.

— Не мало я-таки съ ними мученьевъ приняла! — повѣствовала Арина Петровна. — Иная до послѣдней минуты перемогается, лебезитъ — все надѣется обмануть! Ну, да меня, голубушка, не перехитришь! я сама на этихъ дѣлахъ зубы съѣла! — прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то.

Наконецъ слѣдовали рассказы изъ области беременностей, такъ сказать, политическихъ, относительно которыхъ Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей.

Такъ напримѣръ, у папеньки Петра Ивановича, дряхлаго семидесятилѣтняго старика, тоже „сударка“ была и тоже оказалась вдругъ съ прибылью, и нужно было, по высшимъ соображеніямъ, эту прибыль отъ старика утаить. А она, Арина Петровна, какъ на грѣхъ, была въ ту пору въ ссорѣ съ братцемъ Петромъ Петровичемъ, который тоже, ради какихъ-то политическихъ соображеній, беременность эту сослѣживалъ и хотѣлъ старику глаза насчетъ „сударки“ открыть.

— И какъ бы ты думала! почти на глазахъ у папеньки мы всю эту механику выполняли! Спать, голубчикъ, у себя въ спальнѣ, а мы рядышкомъ орудуемъ! Да шопоткомъ, да на цыпочкахъ! Сама я, собственными руками, и ротъ-то ей зажимала, чтобъ не кричала, и бѣлье-то собственными руками убирала, а сына-то ея — прехорошенькій, здоровенькій такой родил-



ся!—и того, сѣла на извозчика, да въ воспитательный спровадила! Такъ что братецъ, какъ черезъ недѣлю узналъ, только ахнулъ: „ну, сестра!“

Была и еще политическая беременность: съ сестрицей Варварой Михайловной дѣло случилось. Мужъ у нея въ походъ подъ турка уѣхалъ, а она возьми да и не остерегись. Прискакала, какъ угорѣлая, въ Головлево: „спасай, сестра!“

— Ну, мы хоть въ то время въ контрахъ промежду себя были, однако я и виду ей не подала: честь честью ее приняла, утѣшила, успокоила, да подъ видомъ гощенья такъ это дѣло кругленько обдѣлала, что мужъ и въ могилу ушелъ—ничего не зналъ!

Такъ повѣствовала Арина Петровна, и надо сказать правду, рѣдкій рассказчикъ находилъ себѣ такихъ внимательныхъ слушателей. Евпраксеюшка старалась не проронить слова, какъ будто бы передъ ней проходили во-очію перипетіи какой-то удивительной волшебной сказки; что же касается до Улитушки, то она, какъ соучастница большей части рассказываемаго, только углами губъ причмокивала.

Улитушка тоже расцвѣла и отдохнула. Тревожная была ея жизнь. Съ юныхъ лѣтъ старала она холопскимъ честолюбіемъ и во снѣ и наяву бредила, какъ бы господамъ послужить да надъ своимъ братомъ покомандовать, и все неудачно. Только-что занесетъ, бывало, ногу на ступеньку повыше, анъ ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнетъ и опять втопчетъ въ самую преисподнюю. Всѣми качествами полезной барской слуги обладала она въ совершенствѣ: была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но въ то же время страдала какою-то неудержимою повадливіестью, которая всю ея ехидность обращала въ ничто. Въ былое время Арина Петровна охотно пользовалась ея услугой, когда нужно было секретное разслѣдованіе по дѣвичьей сдѣлать или вообще сомнительное дѣло какое-нибудь округлить, но никогда не цѣнила ея заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вслѣдствіе этого Улитка и жаловалась, и языкомъ язвила; но на жалобы ея не обращалось вниманія, потому что всѣмъ было вѣдомо, что Улитка—дѣвка злая, сейчасъ себя въ преисподнюю проклянетъ, а черезъ минуту—помани ее только пальцемъ—она и опять прибѣжитъ, станетъ на заднихъ лапкахъ служить. Такъ и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успѣвая достигнуть, до тѣхъ поръ, пока исчезновеніе крѣпостного права окончательно не положило предѣла ея холопскому честолюбію.

Въ молодости ея былъ даже случай, который подавалъ ей надежды очень серьезныя. Въ одну изъ своихъ побывокъ въ Головлевъ Порфірій Владимірычъ свелъ съ ней связь и даже, какъ гласило головлевское преданіе, имѣлъ отъ нея ребенка, за чтѣмъ и состоялъ долгое время подъ гнѣвомъ у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впослѣдствіи, при дальнѣйшихъ наѣздахъ Іудушки въ отчій домъ—неизвѣстно; но во всякомъ случаѣ, когда Порфірій Владимірычъ собрался въ Головлево совсѣмъ на житьельство, мечтаніямъ Улитушки пришлось рухнуть самымъ обиднымъ образомъ. Немедленно по пріѣздѣ Іудушки она кинулась къ нему съ цѣлымъ ворохомъ сплетенъ, въ которыхъ Арина Петровна обвинялась чуть не въ мо-

шенничествѣ; но „баринъ“ сплетни выслушалъ благосклонно, а на Улитку взглянулъ все-таки холодно и прежней ея „заслуги“ не попомнилъ. Обманутая въ расчетахъ и обиженная, Улитка перекинулась въ Дубровино, гдѣ братецъ Павелъ Владимірьчъ, изъ ненависти къ братцу Порфирію Владимірьчу, охотно принялъ ее и даже сдѣлалъ эконолкою. Тутъ ея фонды какъ будто поправились. Павелъ Владимірьчъ сидѣлъ на антресоляхъ и выпивалъ рюмку за рюмкой, а она съ утра до вечера бойко бѣгала по кладовымъ и погребамъ, гремѣла ключами, громко языничала и даже завела какіе-то контры съ Ариной Петровной, которую чуть не сжила со свѣту.

Но Улитка слишкомъ любила всякія предательства, чтобы въ тишинѣ пользоваться выпавшимъ на ея долю хорошимъ житьемъ. Это было то самое время, когда Павелъ Владимірьчъ испивалъ уже настолько, что можно было съ извѣстными надеждами относиться къ исходу этого безпробуднаго пьянства. Порфирій Владимірьчъ понялъ, что въ такомъ положеніи дѣла Улитка представляетъ неоцѣненный кладъ — и вновь поманилъ ее пальцемъ. Ей было дано изъ Головлева приказаніе — не отходить ни на шагъ отъ облюбованной жертвы, ни въ чемъ ей ни противорѣчить, даже въ ненависти къ братцу Порфирію Владимірьчу, а только всѣми мѣрами устранять вмѣшательство Арины Петровны. Это было одно изъ тѣхъ родственныхъ злодѣйствъ, на которыя Іудушка не то чтобы рѣшался по зрѣломъ размышленіи, а какъ-то само собой продѣлывалъ, какъ самую обыкновенную затѣю. Излишне было бы говорить, что Улитка выполнила порученіе въ точности. Павелъ Владимірьчъ не переставалъ ненавидѣть брата, но чѣмъ больше онъ ненавидѣлъ, тѣмъ больше пилъ и тѣмъ меньше становился способенъ выслушивать какія-либо замѣчанія Арины Петровны насчетъ „распоряженія“. Каждое движеніе умирающаго, каждое слово немедленно дѣлались извѣстными въ Головлевѣ, такъ что Іудушка могъ съ полнымъ знаніемъ дѣла опредѣлить минуту, когда ему слѣдуетъ выйти изъ-за кулисъ и появиться на сцену настоящимъ господиномъ созданнаго имъ положенія. И онъ воспользовался этимъ, то-есть нагрнулся въ Дубровино именно тогда, когда оно, такъ сказать, само отдалось ему въ руки.

За эту услугу Порфирій Владимірьчъ подарилъ Улиткѣ шерстяной матеріи на платье, но до себя, все-таки, не допустилъ. Опять шарахнулась Улитка съ высоты величія въ преисподнюю, и на этотъ разъ, казалось, такъ, что ужъ никто на свѣтѣ ее никогда не поманитъ пальцемъ.

Въ видѣ особенной милости за то, что она „за братцемъ въ послѣднія минуты ходила“, Іудушка отдѣлилъ ей уголь въ избѣ, гдѣ вообще ютились оставшіеся, по упраздненіи крѣпостного права, заслуженные дворовые. Тамъ Улитка окончательно смирилась, такъ что когда Порфирій Владимірьчъ облюбовалъ Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла къ „бариновой сударкѣ“ на поклонъ и поцѣловала ее въ плечико.

И вдругъ, въ ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытою и заброшенною — ей опять посчастливилось: Евпраксеюшка забеременѣла. Вспомнили, что гдѣ-то въ людской избѣ ютится „золотой человѣкъ“, и поманили его пальцемъ. Правда, не самъ „баринъ“ поманилъ, но и того ужъ достаточ-



но, что онъ не попрепятствовалъ. Улитушка ознаменовала свое вступленіе въ господскій домъ тѣмъ, что взяла у Евпраксеюшки изъ рукъ самоваръ и съ форсомъ и нѣсколько избочась принесла его въ столовую, гдѣ въ то время сидѣлъ и Порфирій Владимірычъ. И „баринъ“ — не сказалъ ни слова. Ей показалось, что онъ даже улыбнулся, когда въ другой разъ, съ тѣмъ же самоваромъ въ рукахъ, она встрѣтила его въ корридоръ и еще издали закричала:

— Баринъ, песторонись — ожгу!

Призванная Ариной Петровной на семейный совѣтъ, Улитушка нѣкоторое время кобынилась и не хотѣла сѣсть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула:

— Садись-ко! садись! нечего штуки-фигуры выкидывать! Царь всѣхъ насъ ровными сдѣлалъ — садись! — то и она сѣла, сначала смирихонько, а потомъ и языкъ распустила.

Эта женщина тоже припоминала. Много всякаго гною скопилось въ ея памяти изъ прежней крѣпостной практики. Независимо отъ выполненія деликатныхъ порученій по предмету сослѣживанія дѣвичьихъ вождельнѣй, Улитушка состояла въ гоголевскомъ домѣ въ качествѣ аптекарши и лекарки. Сколько она поставила въ своей жизни горчичниковъ, рожковъ и въ особенности клистировъ! Ставила она клистиры и старому барину Владиміру Михайлычу, и старой барынѣ Аринѣ Петровнѣ, и молодымъ барчукамъ всѣмъ до одинаго — и сохранила объ этомъ самыя благодарныя воспоминанія. И вотъ теперь для этихъ воспоминаній представилось почти неоглядное поле...

Головлевскій домъ какъ-то таинственно оживился. Арина Петровна то-и-дѣло наѣзжала изъ Потгорѣлки къ „доброму сыну“, и подъ ея надзоромъ дѣятельно шли приготовленія, которымъ покуда не давалось еще названія. Послѣ вечерняго чая всѣ три женщины забирались въ Евпраксеюшкину комнату, лакомились домашнимъ вареньемъ, играли въ дураки и до позднихъ пѣтуховъ предавались воспоминаніямъ, отъ которыхъ „сударка“ по временамъ шибко алѣла. Всякій самый ничтожный случай служилъ поводомъ къ новымъ и новымъ разговорамъ. Подаетъ Евпраксеюшка вареньица малинового — Арина Петровна расскажетъ, какъ она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла.

— Только въ домъ принесутъ — я ужъ и слышу, что ее принесли! Такъ вотъ благимъ матомъ и кричу: вонъ! вонъ ее, проклятую, несите! А послѣ, какъ выпросталась — и опять ничего! и опять полюбила!

Принесетъ Евпраксеюшка икорки закусить — Арина Петровна и насчетъ икорки случай вспомнить.

— А вотъ съ икоркой у меня случай былъ — такъ именно диковинный! Въ ту пору я — съ мѣсяцъ-ли, съ два-ли я только-что замужъ вышла — и вдругъ такъ ли мнѣ этой икры захотѣлось, вынь да положь! Заберусь это, бывало, потихоньку въ кладовую и все ѣмъ, все ѣмъ! Только и говорю я своему благовѣрному: чѣдъ, молъ, это, Владиміръ Михайлычъ, значить, что я все икру ѣмъ? А онъ такъ улыбнулся и говоритъ: „да вѣдь ты, мой другъ, тяжела!“ И точно, ровно черезъ девять мѣсяцевъ послѣ того я и выпросталась, Степку-балбеса родила!

Порфирій Владимірычъ между тѣмъ продолжалъ съ прежнею загадоч-

ностью относиться къ беременности Евпраксеюшки и даже ни разу не высказался опредѣленно относительно своей прикосновенности къ этому дѣлу. Весьма естественно, что это стѣсняло женщинъ, мѣшало ихъ изліяніямъ, и потому Іудушку почти совсѣмъ обросили и безъ церемоніи гнали вонъ, когда онъ заходилъ вечеромъ на огонекъ въ Евпраксеюшкину комнату.

— Ступай-ка, ступай, молодецъ!—весело говорила Арина Петровна:—ты свое дѣло сдѣлалъ, теперь наше, женское дѣло наступило! На нашей улицѣ праздникъ!

Іудушка смиренно удалялся, и хотя при этомъ не упускалъ случая попенять доброму другу маменькѣ, что она сдѣлалась къ нему немилостива, но въ глубинѣ души былъ очень доволенъ, что его не тревожатъ, и что Арина Петровна приняла горячее участіе въ затруднительномъ для него обстоятельстве. Еслибъ этого участія не было—Богъ знаетъ, что бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дѣло, при одномъ воспоминаніи о которомъ онъ ёжился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости Улитушки, онъ надѣялся, что „бѣда“ пройдетъ безъ огласки, и что ему самому, быть можетъ, придется узнать о результатѣ ея, когда уже все совсѣмъ будетъ кончено.

Разсчеты Порфирія Владимірыча, однакожъ, не оправдались. Сначала случилась катастрофа съ Петинькой, а недолгъ за нею послѣдовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично и притомъ безъ всякой надежды на какую-нибудь поскудную комбинацію. Нельзя было ото-слать Евпраксеюшку, яко непотребную, къ роднымъ, потому что, благодаря вмѣшательству Арины Петровны, дѣло зашло слишкомъ далеко и было у всѣхъ на знати. На усердіе Улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая дѣвка, но ежели ей довѣриться, то, пожалуй, и отъ судебного слѣдователя потомъ не убережешься. Въ первый разъ въ жизни Іудушка серьезно и искренно возропталъ на свое одиночество, въ первый разъ смутно понялъ, что окружающіе люди — не просто пѣшки, годныя только на то, чтобъ морочить ихъ.

— И что бы ей стоило крошечку погодить!—сѣтовалъ онъ втихомолку на милаго друга маменьку:—устроила бы все какъ слѣдуетъ, умнѣхонько да смирнѣхонько—и Христосъ бы съ ней! Пришло время умирать—дѣлать нечего! жалко старушку, да коли такъ Богу угодно, и слезы наши, и доктора, и лекарства наши, и мы всѣ—все противъ воли Божіей безсильно! Пожила, старушка, попользовалась! И сама барыней вѣкъ прожила, и дѣтей господами оставила!—Пожила и будетъ!

И по обыкновенію суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предметѣ, представляющемъ какія-нибудь практическія затрудненія, сейчасъ же перекидывалась въ сторону, къ предмету болѣе легкому, по поводу котораго можно было празднословить безсрочно и безпрепятственно.

— И какъ вѣдь скончалась-то, именно только праведники такой кончины удостоиваются!—лгалъ онъ самому себѣ, самъ впрочемъ не понимая, лжетъ онъ или говоритъ правду:—безъ болѣзни, безъ смуты... такъ! Вдох-



нула—смотримъ, а ея ужъ и нѣтъ! Ахъ, маменька, маменька! И улыбочка на лицѣ, и румянчикъ... И ручка сложена, какъ будто благословить хочетъ, и глазки закрыла... адѣ!

И вдругъ, въ самомъ разгарѣ жалостливыхъ словъ, опять словно кольнетъ его. Опять эта пакость... тѣфу! тѣфу! тѣфу! Ну, что бы стоило маменькѣ крошечку повременить! И всего-то съ мѣсяцъ, а можетъ быть и меньше осталось—такъ вотъ нѣ-поди!

Нѣкоторое время пробоваль-было онъ и на вопросы Улитушки такъ же отпѣкиваться, какъ отпѣкивался передъ милымъ другомъ маменькой: „не знаю! ничего я не знаю!“ Но къ Улитушкѣ, какъ бабѣ наглой и притомъ же почувствовавшей свою силу, не такъ-то легко было подойти съ подобными приемами.

— Я, что-ли, знаю! я, что-ли, кузовъ-то строила!—на первыхъ же порахъ обрѣзала она его такъ, что онъ понялъ, что отнынѣ расчеты на счастливое соединеніе роли прелюбодѣя съ ролью посторонняго наблюдателя результатовъ собственнаго прелюбодѣнія окончательно рухнули для него.

Вѣда надвигалась все ближе и ближе, бѣда неминуемая, почти осязаемая! Она преслѣдовала его ежеминутно и, что всего хуже, парализовала его пустомысліе. Онъ употреблялъ всевозможныя усилія, чтобы смять представленіе объ ней, утопить его въ потокъ праздныхъ словъ, но это удавалось ему только отчасти. Пробоваль онъ какъ-нибудь спрятаться за непререкаемостью законовъ высшаго произволенія, и по обыкновенію дѣлалъ изъ этой темы цѣлый клубокъ, который безконечно разматывалъ, прицупывая сюда и притчу о волосѣ, съ человѣческой головы не падающемъ, и легенду о зданіи, на песчѣ строимомъ; но въ ту самую минуту, когда праздныя мысли безпрепятственно скатывались одна за другой въ какую-то загадочную бездну, когда безконечное разматываніе клубка ужъ казалось вполнѣ обезпеченнымъ—вдругъ, словно изъ-за угла, врывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы! это слово было: „прелюбодѣніе“ и обозначало такое дѣйствіе, въ которомъ Гудушка и передъ самимъ собой сознаться не хотѣлъ.

И вотъ, когда, послѣ тщетныхъ попытокъ забыть и убить, дѣлалось наконецъ яснымъ, что онъ пойманъ—на него нападала тоска. Онъ принимался ходить по комнатѣ, ни объ чемъ не думая, а только ощущая, что внутри у него сосетъ и дрожитъ.

Это была совсѣмъ новая узда, которую въ первый разъ въ жизни узнало его праздномысліе. До сихъ поръ, въ какую бы сторону ни шла его пустопожняя фантазія, повсюду она встрѣчала лишенное границъ пространство, на протяженіи котораго складывались всевозможныя комбинаціи. Даже погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслія. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оцѣнки которыхъ существовала и обстановка общепризнанная, искони обусловленная. Панихиды, сорокоусты, поминальные обѣды и проч. — все это онъ, по обычаю, отбылъ какъ слѣдуетъ и всѣмъ этимъ, такъ сказать, оправдалъ себя и передъ людьми, и передъ Провидѣніемъ. Но прелюбодѣніе... это что же такое? Вѣдь это — обличеніе цѣлой жизни, это — обнаруженіе ея внутренней лжи! Хотя и прежде его разумѣли кляузникомъ, положимъ даже—„крово-

пивцемъ“, но во всей этой людской молвѣ было такъ мало юридической подкладки, что онъ могъ съ полнымъ основаніемъ возразить: докажи! И вдругъ теперь... прелюбодѣй! Прелюбодѣй уличенный, несомнѣнный (онъ даже *мърз* никакихъ, по милости Арины Петровны („ахъ, маменька! маменька!“) не принявъ, даже солгать не успѣлъ), да еще и „подъ постный день“... тьфу!.. тьфу! тьфу!

Въ этихъ внутреннихъ собесѣдованіяхъ съ самимъ собою, какъ ни запутанно было ихъ содержаніе, замѣчалось даже что-то похожее на пробужденіе совѣсти. Но представлялся вопросъ: поидетъ ли Іудушка дальше по этому пути, или же пустомысліе и тутъ сослужить ему обычную службу и представить новую лазейку, благодаря которой онъ, какъ и всегда, успѣетъ выйти сухимъ изъ воды?

Покуда Іудушка изнывалъ такимъ образомъ подъ бременемъ пустоутробія, въ Евпраксеюшкѣ мало-по-малу совершался совсѣмъ неожиданный внутренній переворотъ. Ожиданіе материнства, повидимому, разрѣшило умственные узы, связывавшія ее. До сихъ поръ она ко всему относилась безучастно, а на Порфирія Владимірыча смотрѣла какъ на „барина“, къ которому у нея существовали подневольныя отношенія. Теперь она впервые что-то поняла, нѣчто въ родѣ того, что у нея свое дѣло есть, въ которомъ она — „сама большая“, и гдѣ помыкать ею безвозбранно нельзя. Вслѣдствіе этого даже выраженіе ея лица, обыкновенно тупое и нескладное, какъ-то осмыслилось и за-свѣтилось.

Смерть Арины Петровны была первымъ фактомъ въ ея полубезсознательной жизни, который подѣйствовалъ на нее отрезвляющимъ образомъ. Какъ ни своеобразны были отношенія старой барыни къ предстоящему материнству Евпраксеюшки, но все-таки въ нихъ просвѣчивало несомнѣнное участіе, а не одна поскудно-гадливая уклончивость, которая встрѣчалась со стороны Іудушки. Поэтому Евпраксеюшка начала видѣть въ Аринѣ Петровнѣ что-то въ родѣ заступы, какъ бы подозрѣвая, что впереди готовится на нее какое-то нападеніе. Предчувствіе этого нападенія преслѣдовало ее тѣмъ упорнѣе, что оно не было освѣщено сознаніемъ, а только наполняло все ея существо постоянною тоскливою смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтобъ указать прямо, откуда придетъ нападеніе и въ чемъ оно будетъ состоять; но инстинкты уже были настолько возбуждены, что при видѣ Іудушки чувствовался безотчетный страхъ. Да, оно придетъ оттуда! — отзывалось во всѣхъ сердечныхъ ея тайникахъ: — оттуда, изъ этого наполненного прахомъ гроба, къ которому она доселѣ была приставлена, какъ простая наймитка, и который какимъ-то чудомъ сдѣлался отцомъ и властелиномъ ея ребенка! Чувство, которое пробуждалось въ ней при этой послѣдней мысли, было похоже на ненависть, и даже непременно перешло бы въ ненависть, еслибъ не находило для себя отвлеченія въ участіи Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься.

Но вотъ Арина Петровна сначала удалилась въ Погорѣлку, а наконецъ и совсѣмъ угасла. Евпраксеюшкѣ сдѣлалось совсѣмъ жутко. Тишина, въ которую погрузился головлевскій домъ, нарушалась только шуршаньемъ, возвѣщавшимъ, что Іудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродитъ



по корридору и подслушиваетъ у дверей. Изрѣдка кто-нибудь изъ челядинцевъ набѣжить со двора, хлопнетъ дверью въ дѣвичей, и опять изъ всѣхъ угловъ такъ и ползетъ тишина. Тишина мертвая, наполняющая существо суетливою, саднящею тоской. А такъ-какъ Евпраксеюшка въ это время была уже на сносяхъ, то для нея не существовало даже ресурса хозяйственныхъ хлопотъ, которыя въ былое время настолько утомляли ее физически, что она къ вечеру ходила уже какъ сонная. Пробовала-было она приласкаться къ Порфирію Владимірычу, но попытки эти каждый разъ вызывали краткія, но злобныя сцены, которыя даже на ея неразвитую натуру дѣйствовали мучительно. Поэтому приходилось сидѣть сложа руки и думать, то-есть тревожиться. А поводы для тревоги съ каждымъ днемъ становились больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки Улитущкѣ и ввела въ головлевскій домъ новый элементъ сплетенъ, сдѣлавшихся отнынѣ единственнымъ живымъ дѣломъ, на которомъ отдыхала душа Іудушки.

Улитущка поняла, что Порфирій Владимірычъ труситъ и что въ этой пустоутробной и изолгавшейся натурѣ трусость, очень близко граничитъ съ ненавистью. Сверхъ того она отлично знала, что Порфирій Владимірычъ неспособенъ не только на привязанность, но даже и на простое жалѣнье; что онъ держитъ Евпраксеюшку лишь потому, что, благодаря ей, домашній обиходъ идетъ не сбиваясь съ однажды намѣченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитущка имѣла полную возможность ежеминутно питать и лелѣять то чувство ненависти, которое закипало въ душѣ Іудушки каждый разъ, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей „бѣдѣ“.

Въ скоромъ времени цѣлая сѣть сплетенъ опутала Евпраксеюшку со всѣхъ сторонъ. Улитущка то-и-дѣло „докладывала“ барину. То придетъ, пожалуется на безразсудное распоряженіе домашнею провизіей.

— Чтой-то, баринъ, какъ у васъ добра много выходитъ! Давеча пошла я на погребъ за солониной; думаю: давно ли другую кадку зачали—смотрю, анъ ее тамъ куска съ два ли, съ три ли на доньшкѣ лежитъ!

— Неужто?—установка въ нее глазами Іудашка.

— Кабы не сама своими глазами видѣла—не повѣрила бы! даже удивительно, куда этакая прорва идетъ! Масла, крупъ, огурцовъ—всего! У другихъ господъ кашу-то людямъ съ гусинымъ жиромъ даютъ—таковскіе!—а у насъ—все съ масломъ, да все съ чухонскимъ!

— Неужто?—почти пугался Порфирій Владимірычъ.

То придетъ и невзначай о барскомъ бѣльѣ доложить.

— Вы бы, баринушка, остановили Евпраксеюшку-то. Конечно, дѣло ея—дѣвичье, непривычное, а вотъ хоть бы насчетъ бѣлья... Цѣлые вороха она этого бѣлья извела на простыни да на пелѣнки, а бѣлье-то все тонкое!

Порфирій Владимірычъ только сверкнетъ глазами въ отвѣтъ, но вся его пустая утроба такъ и повернется при этихъ словахъ.

— Извѣстно, младенца своего жалѣть!—продолжаетъ Улитущка медоточивымъ голосомъ: — думаетъ, и нивѣсть что случилось... прынецъ народится! А между прочимъ могъ бы онъ, младенецъ-то, и на посконныхъ простынькахъ уснуть... въ ихнемъ званіи!

Иногда она даже попросту поддразнивала Іудушку.

— А что я васъ хотѣла, баринушка, спросить, — начинала она: — какъ вы насчетъ младенца-то располагаете? сыномъ, что-ли, своимъ его сдѣлаете или, по примѣру прочихъ, въ воспитательный?..

Но Порфирій Владимірычъ въ самомъ началѣ прерывалъ вопросъ такимъ мрачнымъ взглядомъ, что Улитушка умолкала.

И вотъ, посреди закипавшей со всѣхъ сторонъ ненависти, все ближе и ближе надвигалась минута, когда появленіе на свѣтъ крошечнаго, плачущаго „раба Божія“ должно было разрѣшить чѣмъ-нибудь царствовавшую въ Головлевскомъ домѣ нравственную сумятицу и въ то же время увеличить собой число прочихъ плачущихъ „рабовъ Божіихъ“, населяющихъ вселенную.

Седьмой часъ вечера. Порфирій Владимірычъ успѣлъ уже выспаться послѣ обѣда и сидитъ у себя въ кабинетѣ, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этотъ разъ его занимаетъ вопросъ: сколько было бы у него теперь денегъ, еслибъ маменька Арина Петровна подаренные ему при рожденіи дѣдушкой Петромъ Ивановичемъ, на зубокъ, сто рублей ассигнаціями не присвоила себѣ, а положила бы вкладомъ въ ломбардъ на имя малолѣтняго Порфирія? Выходить, однако, немного: всего восемьсотъ рублей ассигнаціями.

— Положимъ, что капиталъ и небольшой, — праздномыслить Іудушка: — а все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Занадобилось — и взялъ. Ни у кого не попросилъ, никому не поклонился — самъ взялъ, свое, кровное, дѣдушкой подаренное! Ахъ, маменька! маменька! и какъ это вы, другъ мой, такъ, очертя голову, дѣйствовали!

Увы, Порфирій Владимірычъ уже успокоился отъ тревогъ, которыя еще такъ недавно парализовали его праздномысліе. Своеобразные проблески совѣсти, пробужденные затрудненіями, въ которыя его поставили беременность Евпраксеюшки и неожиданная смерть Арины Петровны, мало-по-малу затихли. Пустомысліе сослужило и тутъ свою обычную службу, и Іудушкѣ, въ концѣ концовъ, удалось-таки, съ помощью неимоверныхъ усилій, утолить представленіе о „бѣдѣ“ въ безднѣ праздныхъ словъ. Нельзя сказать, чтобъ онъ осознательно на что-нибудь рѣшился, но какъ-то сама собой вдругъ вспомнилась старая, излюбленная формула: „ничего я не знаю! ничего я не позволяю и ничего не разрѣшаю!“ — къ которой онъ всегда прибѣгалъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, и очень скоро положила конецъ внутренней сумятицѣ, временно взволновавшей его. Теперь онъ ужъ смотрѣлъ на предстоящіе роды какъ на дѣло, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выраженіе безстрастное и непроницаемое. Онъ почти игнорировалъ Евпраксеюшку и даже не называлъ ее по имени, а ежели случалось иногда спросить объ ней, то выражался такъ: „а что *та*... все еще больна?“ Словомъ сказать, оказался настолько сильнымъ, что даже Улитушка, которая въ школѣ крѣпостного права довольно-таки понаторѣла въ наукѣ сердце-вѣдѣнія, поняла, что бороться съ такимъ человѣкомъ, который на все согласенъ — совершенно нельзя.

Головлевскій домъ погруженъ въ тьму; только въ кабинетѣ у барина да еще въ дальней боковушкѣ у Евпраксеюшки мерцаетъ свѣтъ. На Іудушкиной половинѣ царствуетъ тишина, прерываемая щелканьемъ на счетахъ да шуршаньемъ карандаша, которымъ Порфирій Владимірычъ дѣлаетъ на бу-



магъ цифирныя выкладки. И вдругъ, среди общаго безмолвія, въ кабинетъ врывается отдаленный, но раздрающій стонъ. Гудушка вздрагиваетъ; губы его моментально трясутся; карандашъ дѣлаетъ неподлежащій штрихъ.

— Сто-двадцать-одинъ рубль да двѣнадцать рублей десять копѣекъ... — шепчетъ Порфирій Владимірычъ, усиливаясь заглушить непріятное впечатлѣніе, произведенное стономъ.

Но стоны повторяются чаще и чаще и дѣлаются наконецъ безпокойными. Работа становится настолько неудобною, что Гудушка оставляетъ письменный столъ. Сначала онъ ходитъ по комнатѣ, стараясь не слышать; но любопытство мало-по-малу беретъ верхъ надъ пустоутробіемъ. Потихоньку пріотворяетъ онъ дверь кабинета, просовываетъ голову въ тѣмную сосѣдней комнаты и въ выжидательной позѣ прислушивается.

— Ахти! никакъ и лампадку передъ иконою „Утоли моя печали“ засвѣтити позабыли! — мелькаетъ у него въ головѣ.

Но вотъ послышались въ корридорѣ чьи-то ускоренные, тревожные шаги. Порфирій Владимірычъ поспѣшно юркнулъ головой опять въ кабинетъ, осторожно притворилъ дверь и на цыпочкахъ рысцой подошелъ къ образу. Черезъ секунду онъ уже былъ „при всей формѣ“, такъ что когда дверь распахнулась и Улитушка вбѣжала въ комнату, то она застала его стоящимъ на молитвѣ со сложенными руками.

— Какъ бы Евпраксеюшка-то у насъ Богу душу не отдала! — сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное состояніе Гудушки.

Но Порфирій Владимірычъ даже не обернулся къ ней, а только поспѣшнѣе обыкновеннаго зашевелилъ губами и, вмѣсто отвѣта, помахалъ одной рукою въ воздухъ, словно отмахиваясь отъ назойливой мухи.

— Чтѣ рукою-то дрыгаете! плоха, говорю, Евпраксеюшка, — того гляди помретъ! — грубо настаивала Улитушка.

На сей разъ Гудушка обернулся, но лицо у него было такое спокойное, елейное, какъ будто онъ только-что, въ созерцаніи божества, отложилъ всякое житейское попеченіе и даже не понимаетъ, по какому случаю могутъ тревожить его.

— Хотя и грѣхъ по молитвѣ бранить, но, какъ человѣкъ, не могу не попенять: сколько разъ я просилъ не тревожить меня, когда я на молитвѣ стою! — сказалъ онъ приличествующимъ молитвенному настроенію голосомъ, позволивъ себѣ, однако, покачать головой въ знакъ христіанской укоризны: — ну, чтѣ еще такое у васъ тамъ?

— Чему больше быть: Евпраксеюшка мучится, разродиться не можетъ! точно въ первый разъ слышите... ахъ, вы! хоть бы взглянули!

— Чтѣ же смотрите! докторъ я, что-ли? совѣтъ, что-ли, дать могу? Да и не знаю я, никакихъ я вашихъ дѣлъ не знаю! Знаю, что въ домѣ больная есть, а чѣмъ больна и отчего больна — объ этомъ и узнавать, признаться, не любопытствовалъ! Вотъ за батюшкой послать, коли больная трудна — это я присовѣтовать могу! Пошлите за батюшкой, вмѣстѣ помолитесь, лампадки у образовъ засвѣтите... а послѣ мы съ батюшкой чайку попьемъ!

Порфирій Владимірычъ былъ очень доволенъ, что онъ въ эту рѣшительную минуту такъ категорически выразился. Онъ смотрѣлъ на Улитушку

свѣтло и увѣренно, словно говорилъ: а нутка, опровергни теперь меня! Даже Улитушка не нашлась въ виду этого благодушія.

— Пришли бы! взглянули бы! — повторила она въ другой разъ.

— Не приду, потому что ходить незачѣмъ. Кабы за дѣломъ, я бы и безъ зова твоего пошелъ. За пять верстъ нужно по дѣлу идти — за пять верстъ пойду; за десять верстъ нужно — и за десять верстъ пойду! И морозецъ на дворѣ, и мятелица, а я все иду да иду! Потому знаю: дѣло есть, нельзя не идти!

Улитушкѣ думалось, что она спитъ, и въ сонномъ видѣніи самъ сатана предсталъ передъ нею и разглагольствуетъ

— Вотъ за попомъ послать, это — такъ. Это дѣльно будетъ. Молитва — ты знаешь-ли, что объ молитвѣ-то въ писаніи сказано? Молитва — *недующихъ исцеленіе* — вотъ что сказано! Такъ ты такъ и распорядись! Пошлите за батюшкой, помолитесь вмѣстѣ... и я въ это же время помолюсь! Вы тамъ, въ образной, помолитесь, а я здѣсь, у себя, въ кабинетѣ, у Бога милости попрошу... Общими силами: вы тамъ, я тутъ — смотришь, анъ молитва-то и дошла!

Послали за батюшкой, но прежде, нежели онъ успѣлъ придти, Евпраксеюшка, въ терзаніяхъ и мукахъ, ужъ разрѣшилась. Порфирій Владимірычъ могъ догадаться по бѣготнѣ и хлопанью дверьми, которыя вдругъ поднялись въ сторонѣ дѣвичьей, что случилось что-нибудь рѣшительное. И дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ въ корридорѣ вновь послышались торопливые шаги, и вслѣдъ затѣмъ въ кабинетъ на всѣхъ парусахъ влетѣла Улитушка, держа въ рукахъ крохотное существо, завернутое въ бѣлье.

— Наткоте! Поглядиткоте! — возгласила она торжественнымъ голосомъ, поднося ребенка къ самому лицу Порфирія Владимірыча.

Удушку на мгновеніе словно бы поколебало; даже корпусъ его пошатнулся впередъ, и въ глазахъ блеснула какая-то искорка. Но это было именно только на одно мгновеніе, потому что вслѣдъ затѣмъ онъ уже брезгливо отвернулъ свое лицо отъ младенца и обѣими руками замахалъ въ его сторону.

— Нѣтъ, нѣтъ! боюсь я ихъ... не люблю! ступай... ступай! — лепеталъ онъ, выражая всѣмъ лицомъ своимъ безконечную гадливость.

— Да вы хоть бы спросили: мальчикъ или дѣвочка! — увѣщевала его Улитушка.

— Нѣтъ, нѣтъ... и незачѣмъ... и не мое это дѣло! Ваши это дѣла, а я не знаю... Ничего я не знаю, и знать мнѣ не нужно... Уйди отъ меня, ради Христа! уйди!

Опять сонное видѣніе, и опять сатана... Улитушку даже взорвало.

— А вотъ я возьму да на диванъ вамъ и брошу... нянчичесь съ нимъ! — пригрозила она.

Но Удушка былъ не такой человѣкъ, котораго можно было пронять. Въ то время, когда Улитушка произносила свою угрозу, онъ уже повернулся лицомъ къ образамъ и скромно воздѣлвалъ руками. Очевидно, онъ просилъ Бога простить всѣмъ: и тѣмъ, „иже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ“, и тѣмъ, „иже словомъ, или дѣломъ, или помышленіемъ“, а за себя благодарилъ, что онъ — не татъ, и не мздоимецъ, и не прелюбодѣй, и что Богъ, по милости Своей,



укрѣпилъ его на стезѣ праведныхъ. Даже носъ у него вздрагивалъ отъ умиленія, такъ что Улитушка, наблюдавшая за нимъ, плюнула и ушла.

— Вотъ одного Володьку Богъ взялъ — другого Володьку далъ! — какъ-то совсѣмъ некстати сорвалось у него съ мысли; но онъ тотчасъ же подмѣтилъ эту неожиданную игру ума и мысленно проговорилъ: — тѣфу! тѣфу! тѣфу!

Пришелъ и батюшка, попѣлъ и покадилъ. Іудушка слышалъ, какъ дьячекъ тянулъ: „Заступница усердная!“ и самъ разохотился — подтянулъ дьячку. Опять прибѣжала Улитушка, крикнула въ дверь:

— Володимеромъ назвали!

Странное совпаденіе этого обстоятельства съ недавнею аберраціей мысли, тоже напоминавшей о погибшемъ Володькѣ, умилило Іудушку. Онъ увидѣлъ въ этомъ Божеское произволеніе и, на этотъ разъ уже не отплеываясь, — сказалъ самому себѣ:

— Вотъ и славу Богу! одного Володьку Богъ взялъ, другого — далъ! Вотъ оно, Богъ-то! Въ одномъ мѣстѣ теряешь, думаешь, что и не найдешь — а нѣтъ Богъ-то возьметъ да въ другомъ мѣстѣ сторицей вознаградить!

Наконецъ доложили, что самоваръ поданъ, и батюшка ожидаетъ въ столовой. Порфирій Владимірычъ окончательно стихъ и умилился. Отецъ Александръ, дѣйствительно, уже сидѣлъ въ столовой, въ ожиданіи Порфирія Владимірыча. Головлева батюшка былъ человѣкъ политичный и старавшійся придерживаться въ сношеніяхъ съ Іудушкой свѣтскаго тона; но онъ очень хорошо понималъ, что въ господской усадьбѣ еженедѣльно и подъ большіе праздники совершаются всенощныя бдѣнія, а сверхъ того каждое 1-е число служится молебень, и что все это доставляетъ причту не менѣе ста рублей въ годъ дохода. Кромѣ того, ему не безызвѣстно было, что церковная земля еще не была надлежащимъ образомъ отмежевана, и что Іудушка не разъ, проѣзжая мимо поповскаго дуга, говаривалъ: „ахъ, хорошъ дужокъ!“ Поэтому въ свѣтское обращеніе батюшки примѣшивалась и немалая доля „страха іудейска“, который выражался въ томъ, что батюшка, при свиданіяхъ съ Порфиріемъ Владимірычемъ, старался приводить себя въ свѣтлое и радостное настроеніе, хотя бы и не имѣлъ повода такое ощущать, и когда послѣдній, въ разговорѣ, позволялъ себѣ развивать нѣкоторыя ереси относительно путей Провидѣнія, предбудущей жизни и прочаго, то, не одобряя ихъ прямо, видѣлъ однако въ нихъ не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянскому званію дерзновеніе ума.

Когда Іудушка вошелъ, батюшка торопливо благословилъ его и еще торопливѣе отдернулъ руку, словно боялся, что кровопивецъ укуситъ ее. Хотѣлъ-было онъ поздравить своего духовнаго сына съ новорожденнымъ Владиміромъ, но подумалъ, какъ-то еще отнесется къ этому обстоятельству самъ Іудушка, и остерегся.

— Мжица на дворѣ нынѣ, — началъ батюшка: — по народнымъ примѣтамъ, въ коихъ впрочемъ частицею и суевѣріе примѣчается, оттепель такая погода предзнаменуетъ.

— А можетъ быть и морозъ; мы загадываемъ про оттепель — а Богъ возьметъ да морозцу пошлетъ! — возразилъ Іудушка, хлопотливо и даже почти

весело присаживаясь къ чайному столу, за которымъ на сей разъ хозяйничала лакей Прохоръ.

— Это точно, что человѣкъ нерѣдко, въ мечтаніи своемъ, стремится недостижимая достигнуть и къ недоступному доступъ найти. А вслѣдствіе того или поводъ для раскаянія, или и самую скорбь для себя обрѣтаетъ.

— А потому и надо намъ отъ гаданій да отъ заглядываній подальше себя держать, а быть довольными тѣмъ, что Богъ пошлетъ. Пошлетъ Богъ тепла—мы теплу будемъ рады: пошлетъ Богъ морозцу — и морозцу милости просимъ! Велимъ пожарче печечки натопить, а которые въ путь шествуютъ, тѣ въ шубки покрѣпче завернутся—вотъ и тепленько намъ будетъ!

— Справедливо!

— Многіе нынче любятъ кругомъ да около ходить: и то не такъ, и другое не по ихнему, и третье вотъ этакъ бы сдѣлать, а я этого не люблю. И самъ не загадываю, и въ другихъ не похваляю. Высокоуміе это — вотъ я какой взглядъ на такіа попытки имѣю!

— И это справедливо.

— Мы всѣ здѣсь—странники; я такъ на себя и смотрю! Вотъ чайку попить, закусить что-нибудь легонькое... это намъ дозволено! Потому что Богъ намъ тѣло и прочія части далъ... Этого и правительству намъ не воспрещаетъ: кушать кушайте, а языкъ за зубами держите!

— И опять-таки вполне справедливо!—крикнулъ батюшка и отъ внутренняго ликованія стукнулъ объ блюдечко донышкомъ опорожненнаго стакана.

— Я такъ разсуждаю, что умъ данъ человѣку не для того, чтобъ испытывать неизвѣстное, а для того, чтобъ воздерживаться отъ грѣховъ. Вотъ ежели я, напримѣръ, чувствую плотскую немощь или смущеніе и призываю на помощь умъ: укажи, моль, пути, какъ мнѣ ту немощь побороть — вотъ тогда я поступаю правильно! Потому что въ этихъ случаяхъ умъ дѣйствительно пользу оказать можетъ.

— А больше, все-таки, вѣра, — слегка поправилъ батюшка.

— Вѣра — сама по себѣ, а умъ самъ по себѣ. Вѣра на цѣль указываетъ, а умъ—пути изыскиваетъ. Туда толкнется, тамъ постучится... блуждаетъ, а между тѣмъ и полезное что-нибудь отыщеть. Вотъ лекарства разныя, травы цѣлебныя, пластыри, декокты—все это умъ избобрѣтаетъ и открываетъ. Но надобно, чтобъ все было согласно съ вѣрою —на пользу, а не на вредъ.

— И противъ этого возразить ничего не могу!

— Я, батя, книжку одну читалъ, такъ тамъ именно сказано: услугами ума, ежели оный вѣрою направляется, отнюдь не слѣдуетъ пренебрегать, ибо человѣкъ безъ ума въ скоромъ времени дѣлается игралищемъ страстей. А я даже такъ думаю, что и первое грѣхопаденіе человѣческое оттого произошло, что дьяволъ, въ образѣ змія, разсужденіе человѣческое затмилъ.

Батюшка на это не возражалъ, но и отъ похвалы воздержался, потому что не могъ себѣ еще уяснить, къ чему склоняется Іудушкина рѣчь.

— Часто мы видимъ, что люди не только впадаютъ въ грѣхъ мысленный, но и преступленія совершаютъ—и все черезъ недостатокъ ума. Плоть



искушаетъ, а ума нѣтъ — вотъ человѣкъ и летитъ въ пропасть. И сладенькаго-то хочется, и веселенькаго, и пріятненькаго, а въ особенности ежели женскій полъ... какъ тутъ безъ ума уберечься? А коли ежели у меня есть умъ, я взялъ камфарки или маслица: тамъ потеръ, въ другомъ мѣстѣ подсыпалъ — смотришь, искушеніе-то съ меня какъ рукой сняло!

Гудушка замолчалъ, какъ бы выжидая, чтó скажетъ на это батюшка, но батюшка все еще недоумѣвалъ, къ чему клонится Гудушкина рѣчь, и потому только крикнулъ и безъ всякаго резона сказалъ:

— Вотъ у меня на дворѣ куры... суетятся по случаю солноворота: бѣгають, мечутся, мѣста нигдѣ сыскать не могутъ...

— И все оттого, что ни у птицъ, ни у звѣрей, ни у пресмыкающихся — ума нѣтъ. Птица — это чтó такое? Ни у ней горя, ни заботушки — летаетъ себѣ! Вотъ давеча, смотрю въ окно: копаются воробьи носами въ навозъ — и будетъ съ нихъ! А человѣку — этого мало!

— Однако, въ иныхъ случаяхъ, и писаніе на птицъ небесныхъ указываетъ!

— Въ иныхъ случаяхъ — это такъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда и безъ ума вѣра спасаетъ — тогда птицамъ подражать нужно. Вотъ Богу молиться, стихи сочинять...

Порфирій Владимірычъ умолкъ. Онъ былъ болтливъ по природѣ, и, въ сущности, у него такъ и вертѣлось на языкѣ происшествіе дня. Но, очевидно, не созрѣла еще форма, въ которой приличнымъ образомъ могли быть выражены разглагольствія по этому предмету.

— Птицамъ умъ не нуженъ, — наконецъ сказалъ онъ: — потому что у нихъ соблазновъ нѣтъ. Или, лучше сказать, есть соблазны, да никто съ нихъ за это не взыскиваетъ. У нихъ все натуральное: ни собственности нѣтъ, за которой нужно присмотрѣть, ни законныхъ браковъ нѣтъ, а слѣдовательно нѣтъ и вдовства. Ни передъ Богомъ, ни передъ начальствомъ онѣ въ отвѣтъ не состоятъ: одинъ у нихъ начальникъ — пѣтухъ!

— Пѣтухъ! пѣтухъ! это такъ точно! онъ у нихъ — въ родѣ какъ султанъ турецкій!

— А человѣкъ все такъ самъ для себя устроилъ, что ничего у него натурального нѣтъ, а потому ему и ума много нужно. И самому чтобы въ грѣхъ не впасть, и другихъ бы въ соблазнъ не ввести. Такъ ли, батя?

— Истинная это правда. И писаніе совѣтуетъ соблазняющее око истребить.

— Это ежели буквально понимать, а можно, и не истребляя ока, такъ устроить, чтобы оно не соблазнялось. Къ молитвѣ чаще обращаться, озлобленіе тѣлесное усмирять. Вотъ я, напримѣръ: и въ порѣ, и нельзя сказать, чтобы хилъ... Ну, и прислуга у меня женская есть... а мнѣ и горяшка мало! Знаю, что безъ прислуги нельзя — ну, и держу! И мужскую прислугу держу, и женскую — всякую! Женская прислуга тоже въ хозяйствѣ нужна. На погребъ сходить, чайку налить, насчетъ закусочки распорядиться... ну, и Христосъ съ ней! Она свое дѣло дѣлаетъ, я — свое... вотъ мы и проживаемъ!

Говоря это, Гудушка старался смотрѣть батюшкѣ въ глаза; батюшка тоже, съ своей стороны, старался смотрѣть въ глаза Гудушкѣ. Но, къ счастью,

между ними стояла свѣчка, такъ что они могли вволю смотрѣть другъ на друга и видѣть только пламя свѣчи.

— А притомъ я и такъ еще разсуждаю: ежели съ прислугой въ короткія отношенія войти — непременно она командовать въ домѣ начнетъ. Пойдутъ-это дразги да непорядки, перекоры да грубости: ты слово, а она — два... А я отъ этого устраниюсь.

У батюшки даже въ глазахъ зарыбило: до того пристально онъ смотрѣлъ на Іудушку. Поэтому, и чувствуя, что свѣтскія приличія требуютъ, чтобы собесѣдникъ хоть отъ времени до времени вставлялъ слово въ общій разговоръ, онъ покачалъ головой и произнесъ:

— Тсс...

— А ежели при этомъ еще такъ поступать, какъ другіе... вотъ какъ сосѣдущка мой, господинъ Анпетовъ, напрымѣръ, или другой сосѣдущка, господинъ Угробинъ... такъ и до грѣха недалеко. Вонъ у господина Угробина: никакъ съ шесть человѣкъ этой пакости во дворѣ копаются... А я этого не хочу. Я говорю такъ: коли Богъ у меня моего ангела-хранителя отнялъ — стало быть, такъ Его святой волѣ угодно, чтобъ я вдовцомъ былъ. А ежели я, по милости Божіей—вдовецъ, то, стало быть, долженъ вдовѣть честно и ложе свое нескверно содержать. Такъ ли, батя?

— Тяжко, сударь!

— Самъ знаю, что тяжело, и все-таки исполняю. Кто говоритъ: тяжело! — а я говорю: чѣмъ тяжелее, тѣмъ лучше, только бы Богъ укрѣпилъ! Не всѣмъ сладенькаго да легонькаго—надо кому-нибудь и для Бога потрудиться! *Здѣсь* себя сократишь — *тамъ* получишь! *Здѣсь* — „трудомъ“ это называется, а *тамъ*—заслугой зовется! Справедливо ли я говорю?

— Ужъ на что же справедливѣе!

— Тоже и объ заслугахъ надо сказать. И онѣ неравныя бываютъ. Одна заслуга—большая, а другая заслуга—малая! А ты какъ бы думалъ!

— Какъ же возможно! Большая ли заслуга, или малая!

— Такъ вотъ оно на мое и выходитъ. Коли человѣкъ держитъ себя аккуратно: не срамословить, не суетловить, другихъ не осуждаетъ, коли онъ притомъ никого не огорчилъ, ни у кого ничего не отнялъ... ну, и насчетъ соблазновъ этихъ велъ себя осторожно—такъ и совѣсть у того человѣка за-всегда покойна будетъ. И ничто къ нему не пристанетъ, никакая грязь! А ежели кто изъ-за угла и осудитъ его, такъ, по моему мнѣнію, такіа осужденія даже въ расчетъ принимать не слѣдуетъ. Плюнуть на нихъ — и вся недолга!

— Въ сихъ случаяхъ христіанскія правила прощеніе преимущественнѣе рекомендуютъ!

— Ну, или простить! Я всегда такъ и дѣлаю: коли меня кто осуждаетъ, я его прошу да еще Богу за него помолюсь! И ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла, да и мнѣ хорошо: помолился, да и забылъ!

— Вотъ это правильно: ничто такъ не облегчаетъ души, какъ молитва. И скорби, и гнѣвъ, и даже болѣзнь — все отъ нея, какъ тѣма ночная отъ солнца, бѣжитъ!

— Ну, вотъ и слава Богу! И всегда такъ вести себя нужно, чтобы



жизнь наша, словно свѣча въ фонарѣ, вся со всѣхъ сторонъ видна была... И осуждать меньше будутъ — потому, не за что! Вотъ хоть бы мы: посидѣли, поговорили, побесѣдовали — кто же можетъ насъ за это осудить? А теперь пойдемъ да Богу помолимся, а потомъ и баньки. А завтра опять встанемъ... такъ ли, батюшка?

Іудушка всталъ и съ шумомъ отодвинулъ свой стулъ, въ знакъ окончанія собесѣдованія. Батюшка, съ своей стороны, тоже поднялся и занесъ было руку для благословенія; но Порфирій Владимірычъ, въ видѣ особаго на сей разъ расположенія, поймалъ его руку и сжалъ ее въ обѣихъ своихъ.

— Такъ Владиміромъ, батюшка, назвали? — сказалъ онъ, печально качая головой въ сторону Евпраксеюшкиной комнаты.

— Въ честь святаго и равноапостольнаго князя Владиміра, сударь.

— Ну, и слава Богу! Прислуга она усердная, вѣрная, а вотъ насчетъ ума — не взыщите! Оттого и впадаютъ онѣ... въ пре-лю-бо-дѣ-яніе!

Весь слѣдующій день Порфирій Владимірычъ не выходилъ изъ кабинета и молился, прося себѣ у Бога вразумленія. На третій день онъ вышелъ къ утреннему чаю не въ халатѣ, какъ обыкновенно, а одѣтый, по праздничному, въ сюртукъ, какъ онъ всегда дѣлалъ, когда намѣревался приступить къ чему-нибудь рѣшительному. Лице у него было блѣдно, но дышало душевнымъ просвѣтленіемъ; на губахъ играла блаженная улыбка; глаза смотрѣли ласково, какъ бы всепрощающе; кончикъ носа, вслѣдствіе молитвеннаго углубленія, слегка покраснѣлъ. Онъ молча выпилъ свои три стакана чаю и въ промежуткахъ между глотками шевелилъ губами, складывалъ руки и смотрѣлъ на образъ, какъ будто все еще, несмотря на вчерашній молитвенный трудъ, ожидалъ отъ него скорой помощи и предстательства. Наконецъ, пропустивъ послѣдній глотокъ, потребовалъ къ себѣ Улитушку и всталъ передъ образомъ, дабы еще разъ подкрѣпить себя божественнымъ собесѣдованіемъ, а въ то же время и Улитѣ наглядно показать, что то, что имѣетъ произойти вслѣдъ за симъ — дѣло не его, а Божье. Улитушка впрочемъ съ перваго же взгляда на лицо Іудушки поняла, что въ глубинѣ его души рѣшено предательство.

— Вотъ я и Богу помолился! — началъ Порфирій Владимірычъ, и въ знакъ покорности Его святой волѣ опустилъ голову и развелъ руками.

— И распрѣкрасное дѣло! — отвѣтила Улитушка, но въ голосѣ ея звучала такая несомнѣнная проникаемость, что Іудушка невольно поднялъ на нее глаза.

Она стояла передъ нимъ въ обыкновенной своей позѣ, одну руку положивъ поперекъ груди, другую — уперши въ подбородокъ; но по лицу ея такъ и свѣтились искорки смѣха. Порфирій Владимірычъ слегка покачалъ головой, въ знакъ христіанской укоризны.

— Небось, Богъ милости прислалъ? — продолжала Улитушка, не смущаясь предостерегательнымъ движеніемъ своего собесѣдника.

— Все-то ты кощунствуешь! — не выдержалъ Іудушка: — сколько разъ я и лаской, и шуточкой старался тебя отъ этого остеречь, а ты все свое! Злой у тебя языкъ... ехидный!

— Ничего я, кажется... Обыкновенно, коли Богу помолились, значитъ Богъ милости прислалъ!

— То-то вотъ „кажется“! А ты не все, что тебѣ „кажется“, зря болтай; иной разъ и помолчать умѣй! Я объ дѣлѣ, а она — „кажется“!

Улитка только переступила съ ноги на ногу, вмѣсто отвѣта, какъ бы выражая этимъ движеніемъ, что все, что Порфирій Владимірычъ имѣетъ сказать ей, давнымъ-давно ей извѣстно и переизвѣстно.

— Ну, такъ слушай же ты меня, — началъ Іудушка: — молился я Богу, и вчера молился, и сегодня, и все выходитъ, что какъ ни какъ, а надо намъ Володьку пристроить!

— Извѣстно, надо пристроить! Не щенокъ — въ болото не бросишь!

— Стой, погоди! дай мнѣ слово сказать... язва ты, язва! Ну! такъ вотъ я и говорю: какъ ни какъ, а надо Володьку пристроить. Первое дѣло, Евпраксеюшку пожалѣть нужно, а второе дѣло — и его человѣкомъ сдѣлать.

Порфирій Владимірычъ взглянулъ на Улитку, вѣроятно ожидая, что вотъ-вотъ она всласть съ нимъ поалакаетъ, но она отнеслась къ дѣлу совершенно просто и даже цинически.

— Мнѣ, что-ли, въ воспитательный-то везти? — спросила она, смотря на него въ упоръ.

— Ахъ-ахъ! — вступился Іудушка: — ужъ ты и рѣшила... Тарантѣ Егоровна! Ахъ, Улитка, Улитка! все-то у тебя на умѣ прыгъ да шмыгъ! все бы тебѣ поболтать да поегозить! А почему ты знаешь: можетъ, я и не думаю объ воспитательномъ? Можетъ, я такъ... другое что-нибудь для Володьки придумалъ?

— Что жъ, и другое что — и въ этомъ худого нѣтъ!

— Вотъ я и говорю: хоть, съ одной стороны, и жалко Володьку, а съ другой стороны, коли поразсудить да поразмыслить — анъ выходитъ, что дома его держать намъ не приходится!

— Извѣстное дѣло! что люди скажутъ? скажутъ: откуда, молъ, въ головлевскомъ домѣ чужой мальчишечка проявился?

— И это, да еще и то: пользы для него никакой дома не будетъ. Мать молода — баловать будетъ; я, старый, хотя и съ боку-припѣку, а за вѣрную службу матери... туда же, пожалуй! Нѣтъ-нѣтъ — да и снизойдешь. Гдѣ бы за проступокъ посѣчь малаго, а тутъ, за тѣмъ да за сѣмъ... Да и слѣзъ бабьихъ, да крику не оберешься — ну, и махнешъ рукой! Такъ ли?

— Справедливо это. Надоѣстъ.

— А мнѣ хочѣтся, чтобъ все у насъ хорошохонько было. Чтобъ изъ него, изъ Володьки-то, современемъ настоящій человѣкъ вышелъ, и Богу слуга, и царю — подданный. Коли ежели Богъ его крестьянствомъ благословить, такъ чтобы землю работать умѣлъ... Косить тамъ, пахать, дрова рубить — всего чтобы понемножку. А ежели ему въ другое званіе судьба будетъ, такъ чтобы ремесло зналъ, науку... Оттуда, слышь, и въ учителя нѣкоторые попадаютъ!

— Изъ воспитательнаго-то? прямо генералами дѣлаютъ!

— Генералами не генералами, а все-таки... Можетъ, и знаменитый какой-нибудь человѣкъ изъ Володьки выйдетъ! А воспитываютъ ихъ тамъ —



отлично! Это ужъ я самъ знаю! Кроватки чистенькія, мамки здоровенькія, рубашечки на дѣтушкахъ бѣленькія, рожочки, сосочки, пеленочки... словомъ, все!

— Чего лучше... для незаконныхъ!

— А ежели онъ и въ деревню въ питомцы попадаетъ—что жъ, и Христосъ съ нимъ! Къ трудамъ приучаться съ малолѣтства будетъ, а вѣдь трудъ—та же молитва! Вотъ мы — мы настоящимъ манеромъ молимся! встанемъ передъ образомъ, крестное знаменіе творимъ, и ежели наша молитва угодна Богу, то Онъ подаетъ намъ за нее! А мужичокъ — тотъ трудится! Иной и радъ бы настоящимъ манеромъ помолиться, да ему врядъ и въ праздникъ поспѣть. А Богъ, все-таки, видитъ его труды — за труды ему подаетъ, какъ намъ за молитву. Не всѣмъ въ палатахъ жить да по баламъ прыгать—надо кому-нибудь и въ избеночкѣ куренькой пожить, за землею-матушкой походить да похолить ее! А счастье-то—еще бабушка на-двое сказала—гдѣ оно? Иной и въ палатахъ, и въ нѣжени живетъ, да черезъ золото слезы льетъ, а другой и въ солому зароеся, хлѣба съ кваскомъ покушаетъ, а на душѣ-то у него рай! Такъ, что-ли, я говорю?

— Чего лучше, какъ рай на душѣ!

— Такъ мы вотъ какъ съ тобой, голубушка, сдѣлаемъ. Возьми-ка ты проказника Володку, заверни его тепленько да уютненько, да и скатай съ нимъ живымъ манеромъ въ Москву. Кибиточку я распоряжусь снарядить для васъ крытенькую, лошабочекъ парочку прикажу заложить, а дорога у насъ теперь гладкая, ровная: ни ухабовъ, ни выбоинъ—кати да покатывай! Только ты у меня смотри: чтобы все честь честью было. По моему, по-головлевски... какъ я люблю! Сдосочка чтобы чистенькая, рожочекъ... рубашеночекъ, простынекъ, свивальничковъ, пеленочекъ, одѣяльцевъ — всего чтобы вдоволь было! Бери! командуй! а не дадутъ, такъ меня, стараго, за бока бери—мнѣ жалуйся! А въ Москву приѣдешь — на постояломъ остановись. Харчи тамъ, самоварчикъ, чайку — требуй! Ахъ, Володка, Володка! вотъ грѣхъ какой случился! И жаль разстаться съ тобой, а дѣлать, братъ, нечего! Самъ послѣ пользу увидишь, самъ будешь благодарить!

Гудушка слегка воздѣлъ руками и потрепеталъ губами, въ знакъ умной молитвы. Но это не мѣшало ему исподлобья взглядывать на Улитушку и подмѣчать язвительныя мельканія, которыми подергивалось лицо ея.

— Ты что? сказать что-нибудь хочешь?—спросилъ онъ ее.

— Ничего я. Извѣстно-молъ: будетъ благодарить, коли благодѣтелевъ своихъ отыщеть.

— Ахъ, ты, дурная, дурная! да развѣ мы безъ билета его туда отдадимъ! А ты билетецъ возьми! По билетцу-то мы и сами его какъ разъ отыщемъ! Вотъ выхлать, выкормятъ, уму-разуму научать, а мы съ билетцемъ и тутъ какъ тутъ: пожалуйста молодца нашего, Володку-проказника, назадъ! Съ билетцемъ-то мы его со дна морского выудимъ... Такъ ли я говорю?

Но Улитушка ничего не отвѣтила на вопросъ; только язвительныя мельканія на лицѣ ея выступили еще рѣзче прежняго. Порфирій Владимірычъ не выдержалъ.

— Язва ты, язва!—сказалъ онъ:—дьяволъ въ тебѣ сидитъ, чортъ...

тьфу! тьфу! тьфу! Ну, будетъ. Завтра, чуть свѣтъ, возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтобъ Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь съ Богомъ въ Москву. Воспитательный-то знаешь?

— Важивала, — однословно отвѣтила Улитушка, какъ бы намекая на что-то въ прошломъ.

— А важивала — такъ тебѣ и книги въ руки. Стало быть, и входы, и выходы — все должно быть тебѣ извѣстно. Смотри же, помѣсти его, да начальниковъ низенько попроси — вотъ такъ!

Порфирій Владимірычъ всталъ и поклонился, коснувшись рукою земли.

— Чтобъ ему хорошо тамъ было! не какъ-нибудь, а настоящимъ бы манеромъ! Да билетецъ, билетецъ-то выправь. Не забудь! По билету мы его послѣ вездѣ отыщемъ! А на расходы я тебѣ двѣ двадцатипяти-рублевенькихъ отпущу. Знаю вѣдь я, все знаю! И тамъ сунуть придется, и въ другомъ мѣстѣ барашка въ бумажкѣ подарить... Ахти, грѣхи наши, грѣхи! Всѣ мы люди, всѣ человѣки, всѣ сладенькаго да хорошенькаго хотимъ! Вотъ и Володька нашъ! Кажется, великъ ли, и всего съ ногогокъ, а поди-ка, сколько ужъ денегъ стоитъ!

Сказавши это, Гудушка перекрестился и низенько поклонился Улитушкѣ, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника-Володьку своими попеченіями. Будущее прибудной семьи было устроено самымъ простымъ способомъ.

На другое утро послѣ этого разговора, покуда молодая мать металась въ жару и бреду, Порфирій Владимірычъ стоялъ передъ окномъ въ столовой, шевелилъ губами и крестилъ стекло. Съ краснаго двора выѣзжала рогожная кибитка, увозившая Володьку. Вотъ она поднялась на горку, поровнялась съ церковью, повернула налѣво и скрылась въ деревнѣ. Гудушка сотворилъ послѣднее крестное знаменіе и вздохнулъ:

— Вотъ батя намеднисъ про оттепель говорилъ, — сказалъ онъ самому себѣ: — анъ Богъ-то морозцу вмѣсто оттепели послалъ! Морозцу, да еще какого! Такъ-то и всегда съ нами бываетъ! Мечтаемъ мы, воздушные замки строимъ, умствуемъ, думаемъ и Бога самого перемудрить — а Богъ возьметъ да въ одну минуту все наше высокоуміе въ ничто обратить!

## VI.—Выморочный.

Агонія Гудушки началась съ того, что ресурсъ празднословія, которымъ онъ до сихъ поръ такъ охотно злоупотреблялъ, сталъ видимо сокращаться. Все вокругъ него опустѣло: одни перемерли, другіе — ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но, независимо отъ того, что это былъ ресурсъ очень ограниченный, и въ ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и разъ навсегда убѣдить Гудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.



До сихъ поръ Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирій Владимірычъ могъ угнетать ее безъ малѣйшихъ опасеній. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера, она даже не чувствовала этого угнетенія. Покуда Іудушка срамословилъ, она безучастно смотрѣла ему въ глаза и думала совсѣмъ о другомъ. Но теперь она вдругъ нѣчто поняла, и ближайшимъ результатомъ пробудившейся способности пониманія явилось внезапное, еще несознанное, но злое и непобѣдимое отвращеніе.

Очевидно, пребываніе въ Головлевъ погорѣлковской барышни не прошло безслѣдно для Евпраксеюшки. Хотя послѣдняя и не могла дать себѣ отчета, какого рода боли вызвали въ ней случайные разговоры съ Аннинькой, но внутренне она почувствовала себя совершенно взбудораженной. Прежде ей никогда не приходило въ голову спросить себя, зачѣмъ Порфирій Владимірычъ, какъ только встрѣтитъ живого человѣка, такъ тотчасъ же начинаетъ опутывать его цѣлою сѣтью словесныхъ обрывковъ, въ которыхъ ни за что уцѣпиться невозможно, но отъ которыхъ дѣлается невыносимо тяжело: теперь ей стало ясно, что Іудушка, въ строгомъ смыслѣ, не разговариваетъ, а „тиранитъ“, и что, слѣдовательно, нелишне его „осадить“, дать почувствовать, что и ему пришла пора „честь знать“. И вотъ она начала вслушиваться въ его безконечныя словоизліянія, и дѣйствительно только одно въ нихъ и поняла: что Іудушка пристаётъ, досаждаётъ, зудитъ.

— Вотъ барышня говорила, будто онъ и самъ не знаетъ, зачѣмъ говорить — разсуждала она сама съ собою: — нѣтъ, въ немъ это злость дѣйствуетъ! Знаетъ онъ, который человѣкъ противъ него защиты не имѣетъ — ну, и вертитъ имъ, какъ ему любо!

Впрочемъ это было еще второстепенное обстоятельство. Главнымъ образомъ дѣйствіе пріѣзда Анниньки въ Головлево выразилось въ томъ, что онъ взбунтовалъ въ Евпраксеюшкѣ инстинкты ея молодости. До сихъ поръ эти инстинкты какъ-то тупо тлѣли въ ней, теперь — они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла изъ того, къ чему прежде относилась совсѣмъ безучастно. Вотъ, напримѣръ: почему же нибудь да не согласилась Аннинька остаться въ Головлевъ, такъ-таки напрямикъ и сказала: „страшно!“ Почему такъ? — а потому просто, что она молода, что ей „жить хочется“. Вотъ и она, Евпраксеюшка, тоже молода... Да, молода! Это только такъ кажется, будто молодость въ ней жиромъ заплыла — нѣтъ, временемъ куда тоже шибко она сказывается! И зоветъ, и манитъ; то замретъ, то опять вспыхнетъ. Думала она, что и съ Іудушкой дѣло обойдется, а теперь вотъ... „Ахъ, ты, гнилушка старая! ишь вѣдь какъ обошешь!“ Хорошо бы теперича съ дружкой пожить, да съ настоящимъ, съ молоденькимъ! Обнялися бы, завалилися! сталъ бы милый дружокъ цѣловать-миловать, ласковыя слова на ушко говорить: ишь, молъ, ты бѣлая да разсыпчатая! „Ахъ, кикимора проклятая! напшелъ вѣдь чѣмъ — костями своими старыми прельстить! Смотри, чай, и у погорѣлковской барышни молодчикъ есть! Безпримѣнно есть! То-то она подобрала хвосты да удрала. А тутъ вотъ сиди въ четырехъ стѣнахъ, жди, пока ему, старому, въ голову встучитъ!..“

Разумѣется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своемъ бунтѣ, но, однажды вступивши на этотъ путь, уже не останавливалась. Отыскивала при-

цѣпки, припоминала прошлое, и между тѣмъ какъ Гудушка даже не подозрѣвалъ, что внутри ея зрѣетъ какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общія жалобы, въ родѣ: „чужой вѣкъ заѣлъ“; потомъ наступила очередь для сравненій. „Вотъ въ Мазулинѣ Палагеюшка у барина въ экономкахъ живетъ: сидитъ руки склапши да въ полковыхъ платьяхъ ходитъ. Ни она на скотный, ни на погребъ — сидитъ у себя въ покойчикѣ да бисеромъ вяжетъ!“ И всѣ эти обиды и протесты заканчивались однимъ общимъ воплемъ:

— Ужъ какъ же у меня теперича противъ тебя, распостылаго, сердце разожглось! Ну, такъ разожглось! такъ разожглось!

Къ этому главному поводу присоединился и еще одинъ, который былъ въ особенности тѣмъ дорогъ, что могъ послужить отличнѣйшею прицѣпкою для вступленія въ борьбу. А именно воспоминаніе о родахъ и объ исчезновеніи сына Володьки.

Въ то время, когда произошло это исчезновеніе, Евпраксеюшка отнеслась къ этому факту какъ-то тупо. Порфирій Владимірычъ ограничился тѣмъ, что объявилъ ей объ отдачѣ новорожденного въ добрыя руки, а чтобы утѣшить, подарилъ ей новый шалевый платокъ. Затѣмъ все опять запылыло и пошло по старому. Евпраксеюшка даже рыанье прежняго окунулась въ тину хозяйственныхъ мелочей, словно хотѣла на нихъ сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплится материнское чувство въ Евпраксеюшкѣ, или просто ей блажь въ голову вступила, во всякомъ случаѣ воспоминаніе о Володькѣ вдругъ воскресло. И воскресло въ ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повѣяло чѣмъ-то новымъ, свободнымъ, вольнымъ, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсѣмъ иначе, нежели въ стѣнахъ головлевскаго дома. Понятно, что придирка была слишкомъ хороша, чтобъ не воспользоваться ею.

— Ишь вѣдь чтѣ сдѣлалъ! — разжигала она себя: — робѣнка отнять! словно щенка въ омутѣ утопилъ!

Мало-по-малу мысль эта овладѣла ею всецѣло. Она и сама повѣрила какому-то страстному желанію вновь соединиться съ ребенкомъ, и чѣмъ назойливѣе разгоралось это желаніе, тѣмъ больше и больше силы пріобрѣтала ея досада противъ Порфирія Владимірыча.

— По крайности, теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рожденный мой! Гдѣ-то ты? чай, къ паневницѣ въ деревню спихнули! Ахъ, пропасти на васъ нѣтъ, господа вы проклятые! Надѣлаютъ робятъ, да и забросятъ, какъ щенятъ, въ яму: никто, молъ, не спроситъ съ насъ! Лучше бы мнѣ въ ту пору ножемъ себя по горлу полыхнуть, чѣмъ ему, охавернику, надъ собой надругаться давать!

Явилась ненависть, желаніе досадить, изгадить жизнь, пзвести: началась несноснѣйшая изъ всѣхъ войнъ — война придирокъ, поддразниваній, мелкихъ уколовъ. Но именно только такая война и могла сломить Порфирія Владимірыча.



Однажды, за утреннимъ чаемъ, Порфирій Владимірычъ былъ очень непріятно изумленъ. Обыкновенно онъ въ это время источалъ изъ себя цѣлыя массы словеснаго гноя, а Евпраксеюшка, съ блюдечкомъ чая въ рукѣ, молча внимала ему, зажавъ зубами кусокъ сахара и отъ времени до времени фыркала. И вдругъ, только-что началъ онъ развивать мысль (къ чаю въ этотъ день былъ поданъ теплый, свѣжеиспеченный хлѣбъ), что хлѣбъ бываетъ разный: видимый, который мы *подимъ* и черезъ это тѣло свое поддерживаемъ, и невидимый, духовный, который мы *вкушаемъ* и тѣмъ стяжаемъ себѣ душу, какъ Евпраксеюшка самымъ безцеремоннымъ образомъ перебила его разглагольствія.

— Сказываютъ, въ Мазулинѣ Палагеюшка хорошо живетъ!—начала она, обернувшись всѣмъ корпусомъ къ окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.

Иудушка слегка вздрогнулъ отъ неожиданности, но на первый разъ однако не придалъ этому случаю особеннаго значенія.

— И ежели мы долго не ѣдимъ хлѣба видимаго, — продолжалъ онъ, —то чувствуемъ голодъ тѣлесный; если же продолжительное время не вкушаемъ хлѣба духовнаго...

— Палагеюшка, слышь, въ Мазулинѣ хорошо живетъ! — вновь перебила его Евпраксеюшка, и на этотъ разъ уже, очевидно, не спроста.

Порфирій Владимірычъ вскинулъ на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался отъ выговора, словно бы почуялъ что-то недоброе.

— А хорошо живетъ Палагеюшка — такъ и Христосъ съ ней! — кротко молвилъ онъ въ отвѣтъ.

— Ёйный-то господинъ, — продолжала колобродить Евпраксеюшка, — никакихъ непріятностей ей не дѣлаетъ, ни работой не принуждаетъ, а между прочимъ зѣвсе въ шолковыхъ платьяхъ водить.

Изумленіе Порфирія Владимірыча росло. Рѣчи Евпраксеюшки были до такой степени ни съ чѣмъ несообразны, что онъ даже не нашелся, что принять въ данномъ случаѣ.

— И на всякій день у нея платья разныя, — словно во снѣ бредила Евпраксеюшка: — на сегодня одно, на завтра другое, а на праздникъ особенное. И въ церкву въ коляскѣ четверней ѣздить: сперва она, потомъ господинъ. А попъ, какъ увидитъ коляску, трезвонить начинаетъ. А потомъ она у себя въ своей комнатѣ сидитъ. Коли господину желательно съ ней время провести — господина у себя принимаетъ, а не то такъ съ дѣвушкой, съ горничной ейной, разговариваетъ или бисеромъ вяжетъ!

— Ну, такъ что жъ? — очнулся наконецъ Порфирій Владимірычъ.

— О томъ-то я и говорю, что Палагеюшкино житѣе очень ужъ хорошо!

— А твое, небось, худо житѣе? Ахъ-ахъ-ахъ, какая ты однакожъ... ненасытная!

Смолчи на этотъ разъ Евпраксеюшка — Порфирій Владимірычъ, конечно, разразился бы цѣлымъ потокомъ бездѣльныхъ словъ, въ которомъ безслѣдно потонули бы все дурацкіе намеки, возмущившіе правильное теченіе его празднословія. Но Евпраксеюшка повидимому и намѣренія не имѣла молчать.

— Чтѣ говорить! — огрызнулась она: — и мое житѣе нехудое! Въ за-

трапезахъ не хожу, и то слава-те, Господи! Въ прошломъ году за два ситцевыхъ платья по пяти рублей отдали... расшиблись!

— А шерстяное-то платье позабыла? а платокъ-то недавно кому купили? ахъ-ахъ-ахъ!

Вмѣсто отвѣта Евпраксеюшка уперлась въ столъ рукой, въ которой держала блюдечко, и метнула въ сторону Іудушки косою взглядъ, исполненный такого глубокаго презрѣнія, что ему съ непривычки сдѣлалось жутко.

— А ты знаешь ли, какъ Богъ за неблагодарность-то наказываетъ?— какъ-то нерѣшительно залепеталъ онъ, надѣясь, что хоть напоминаніе о Богѣ сколько-нибудь образумитъ неизвѣстно съ чего взбаломутившуюся бабу. Но Евпраксеюшка не только не прониалась этимъ напоминаніемъ, но тутъ же на первыхъ словахъ оборвала его.

— Нечего! нечего зубы-то заговаривать! нечего на Бога указывать! — сказала она:— не маленькая! Будеть! повластвовали! потиранили!

Порфирій Владимірычъ замолчалъ. Налитой стаканъ съ чаемъ стоялъ передъ ними почти остывшій, но онъ даже не притрогивался къ нему. Лицо его поблѣднѣло, губы слегка вздрагивали, какъ бы усиливаясь сложиться въ усмѣшку, но безъ успѣха.

— А вѣдь это— Анюткины штуки! это она, ехидная, натравила тебя! — наконецъ произнесъ онъ, самъ впрочемъ не отдавая себѣ яснаго отчета въ томъ, что говорить.

— Какія же это штуки?

— Да вотъ что ты разговаривать-то со мной начала... Она! она научила! Некому другому, какъ ей!—волновался Порфирій Владимірычъ. — Смотри-тка-те, ни съ того, ни съ сего, вдругъ шолковыхъ платьевъ захотѣлось! Да ты знаешь ли, безстыдница, кто изъ вашего званья въ шолковыхъ-то платьяхъ ходитъ?

— Скажите, такъ буду знать!

— Да просто самыя... ну, самыя безпутныя—тѣ только ходятъ!

Но Евпраксеюшка даже этимъ не усовѣстилась, но, напротивъ того, съ какою-то наглою резонностью отвѣтила:

— Не знаю, почему онѣ безпутныя... Извѣстно, господа требуютъ... Который господинъ нашу сестру на любовь съ собой склонилъ... ну, и живетъ она, значить... съ имъ! И мы съ вами не молебны, чай, служимъ, а тѣмъ же, чѣмъ и мазулинскій баринъ, занимаемся.

— Ахъ, ты... тѣфу! тѣфу! тѣфу!

Порфирій Владимірычъ даже помертвѣлъ отъ неожиданности. Онъ смотрѣлъ во всѣ глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и цѣлая масса праздныхъ словъ такъ и закипала у него въ груди. Но въ первый разъ въ жизни онъ смутно заподозрилъ, что бываютъ случаи, когда и празднымъ словомъ убить человѣка нельзя.

— Ну, голубушка! съ тобой, я вижу, сегодня не сговорить!—сказалъ онъ, вставая изъ-за стола.

— И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите... никогда! Будеть! повластвовали! Наслушалась я довольно; послушайте теперь вы, каковы мои слова будутъ!



Порфирій Владимірычъ бросился-было на нее съ сжатыми кулаками, но она такъ рѣшительно выпатила впередъ свою грудь, что онъ внезапно опѣшилъ. Оборотился лицомъ къ образу, воздѣлъ руки, потрепеталъ губами и тихимъ шагомъ побрѣлъ въ кабинетъ.

Весь этотъ день ему было не по себѣ. Онъ еще не имѣлъ опредѣленныхъ опасеній за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой фактъ, который совсѣмъ не входилъ въ обычное распредѣленіе его дня, и что фактъ этотъ прошелъ безнаказанно. Даже къ обѣду онъ не вышелъ, а притворился больнымъ и скромненько, притворно ослабѣвшимъ голосомъ попросилъ принести ему поѣсть въ кабинетъ.

Вечеромъ, послѣ чаю, который, въ первый разъ въ жизни, прошелъ совершенно безмолвно, онъ всталъ по обыкновенію на молитву; но напрасно губы его шептали обычное послѣдованіе на сонъ грядущимъ: возбужденная мысль даже виѣшнимъ образомъ отказывалась слѣдить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное безпокойство овладѣло всѣмъ его существомъ, а ухо невольно прислушивалось къ слабѣющимъ отголоскамъ дня, еще раздававшимся то тамъ, то сямъ, въ разныхъ углахъ головлевскаго дома. Наконецъ, когда пронесся гдѣ-то за стѣной послѣдній отчаянный зѣвокъ и вслѣдъ за тѣмъ все вдругъ стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, онъ не выдержалъ. Безшумно крадучись, побрѣлъ онъ вдоль корридора и, подойдя къ Евпраксеюшкиной комнатѣ, приложилъ къ двери ухо, чтобъ подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, какъ она, зѣвая, произносить: „Господи! Спасъ милостивый! Усленья Матушка!“ и въ то же время горестно чешетъ себѣ поясицу! Порфирій Владимірычъ попробовалъ взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта.

— Евпраксеюшка!—ты здѣсь?—ошликнулъ онъ.

— Здѣсь, да не про васъ!—огрызнулась она такъ грубо, что Іудушкѣ осталось молча отретироваться въ кабинетъ.

На другой день послѣдовалъ другой разговоръ. Евпраксеюшка, какъ нарочно, выбирала время утренняго чая для уязвленія Порфирія Владимірыча. Словно она чутьемъ чужала, что всѣ его бездѣльничества распредѣлены съ такою точностью, что нарушенное утро причиняло безпокойство и боль уже на цѣлый день.

— Посмотрѣла бы я, хоть бы глазкомъ бы полюбовалась, какъ нѣкоторые люди живутъ!—начала она какъ-то загадочно.

Порфирія Владимірыча всего передернуло. „Начинается!“ подумалъ онъ, но смолчалъ и ждалъ, что дальше будетъ.

— Право! съ дружкой съ милымъ да съ молоденькимъ! Ходятъ по комнатамъ парочкой да другъ на дружку любятся! Ни онъ словомъ браннымъ ее не попрекнетъ, ни она противъ его. „Душенька моя“ да „другъ мой“—только и разговора у нихъ! Мило! благородно!

Эта матерія была особенно ненавистна для Порфирія Владимірыча. Хотя онъ и допускалъ прелюбодѣяніе въ размѣрахъ строгой необходимости, но все-таки считалъ любовное времяпровожденіе бѣсовскимъ искушеніемъ. Однако онъ и на этотъ разъ смалодушничалъ, тѣмъ больше, что ему хотѣ-

лось чаю, который ужъ нѣсколько минутъ прѣлъ на канфюркъ, а Евпраксеюшка и не думала наливать его.

— Конечно, изъ нашей сестры много глупыхъ бываетъ, — продолжала она, нахально раскачиваясь на стулѣ и барабани рукой по столу: — иную такъ обѣдѣть, что она изъ-за ситцеваго платья на все готова, а другая и просто, безо всего, себя потеряетъ!.. Квасу, говоритъ, огурцовъ, пей-вѣшь сколько хочется! Нашли чѣмъ прельстить!

— Такъ неужто-жъ изъ интереса одного... — рискнулъ робко замѣтить Порфирій Владимірычъ, слѣдя глазами за чайникомъ, изъ котораго уже начиналъ валить паръ.

— Кто говоритъ: изъ-за интереса изъ-за одного? ужъ не я ли интересанкой сдѣлалась! — вдругъ кинулась въ сторону Евпраксеюшка: — куска, видно, стало жалко! Кускомъ попрекать стали?

— Я не попрекаю, а такъ говорю: не изъ одного, говорю, интереса люди...

— То-то „говорю“! Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь ты! изъ интересу я служу! А позвольте спросить, какой такой интересъ я у васъ нашла? Окромя квасу да огурцовъ...

— Ну, не одинъ квасъ да огурцы... — не удержался, увлекся, въ свою очередь, Порфирій Владимірычъ.

— Что жъ, сказывайте! сказывайте, что еще?

— А кто къ Николѣ каждый мѣсяцъ четыре мѣшка муки посылаетъ?

— Ну-съ, четыре мѣшка? еще чего нѣтъ-ли?

— Круцъ, масла постнаго... словомъ, всего...

— Ну, круцъ, масла постнаго... ужъ для родителей-то жалко стало!

Ахъ, вы!

— Я не говорю, что жалко, а вотъ ты...

— Я же виновата сдѣлалась! Мнѣ куска безъ попрековъ съѣсть не дадутъ, да я же виновата состою!

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тѣмъ прѣлъ да прѣлъ на канфюркъ, такъ что Порфирій Владимірычъ не на шутку встревожился. Поэтому онъ перемогъ себя, тихонько подошелъ къ Евпраксеюшкѣ и потрепалъ ее по спинѣ.

— Ну, добро, наливай-ка чай... чего разрюмилась!

Но Евпраксеюшка еще раза два-три всхлинула, надула губы и уперлась мутными глазами въ пространство.

— Вотъ ты сейчасъ объ молоденькихъ говорила, — продолжалъ онъ, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацію: — что жъ, вѣдь и мы тово... не перестарки, чай, тоже!

— Нашли чего! отстаньте отъ меня!

— Право-ну! Да я... знаешь ли ты... когда я въ департаментъ служилъ, такъ за меня директоръ дочь свою выдать хотѣлъ!

— Протухлая, видно, была... кособокая какая-нибудь!

— Нѣтъ, какъ слѣдуетъ дѣвица... А какъ она „Не шей ты мнѣ, матушка“ пѣла! такъ пѣла! такъ пѣла!

— Она-то пѣла, да поддѣватель-то былъ плохой!



— Нѣтъ, я, кажется...

Порфирій Владимірычъ недоумѣвалъ. Онъ не прочь былъ даже поподличать, показать, что и онъ можетъ въ парочкѣ пройтись. Въ этихъ видахъ онъ началъ какъ-то нелѣпо раскачиваться всеѣмъ корпусомъ и даже покусился обнять Евпраксеюшку за талію, но она грубо уклонилась отъ его протянутыхъ рукъ и сердито крикнула:

— Говорю честию: уйди, домовой! не то кипяткомъ ошпарю! И чаю миѣ вашего не надо! ничего не надо! Ишь чтѣ вздумали—кускомъ попрекать начали! Уйду я отсюда! вотъ-те Христось, уйду!

И она дѣйствительно ушла, хлопнувъ дверью и оставивъ Порфирія Владимірыча одного въ столовой.

Гудушка былъ всеѣмъ озадаченъ. Онъ началъ-было самъ наливать себѣ чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.

— Нѣтъ, этакъ нельзя! надо какъ-нибудь это устроить... сообразить!— шепталъ онъ, въ волненіи расхаживая взадъ и впередъ по столовой.

Но именно ни „устроить“, ни „сообразить“ онъ ничего не былъ въ состояніи. Мысль его до того привыкла перескакивать отъ одного фантастическаго предмета къ другому, нигдѣ не встрѣчая затрудненій, что самый простой фактъ обыденной дѣятельности заставлялъ его врасплохъ. Едва начиналъ онъ „соображать“, какъ цѣлая масса пустяковъ обступала его со всеѣхъ сторонъ и закрывала для мысли всякій просвѣтъ на дѣйствительную жизнь. Лѣнь какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная анемія. Такъ и тянуло его прочь отъ дѣйствительной жизни на мягкое ложе призраковъ, которые онъ могъ переставлять съ мѣста на мѣсто, одни пропускать, другіе выдвигать, словомъ,—распоряжаться, какъ ему хочется.

И опять цѣлый день провелъ онъ въ полномъ одиночествѣ, потому что Евпраксеюшка на этотъ разъ уже ни къ обѣду, ни къ вечернему чаю не явилась, а ушла на цѣлый день на село къ попу въ гости и возвратилась только поздно вечеромъ. Даже заняться ничѣмъ онъ не могъ, потому что и пустяки на время какъ будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила: „надо какъ-нибудь устроить, надо!“ Ни праздныхъ выкладокъ онъ не могъ дѣлать, ни стоять на молитвѣ. Онъ чувствовалъ, что къ нему приступаетъ какой-то недугъ, котораго онъ покуда еще не можетъ опредѣлить. Не разъ останавливался онъ передъ окномъ, думая къ чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чѣмъ-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворѣ начиналась весна, но деревья стояли голыя, даже свѣжей травы еще не показывалось. Вдали виднѣлись черныя поля, по мѣстамъ испещренныя бѣлыми пятнами снѣга, еще державшагося въ низкихъ мѣстахъ и ложбинахъ. Дорога сплошь чернѣла грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сѣтку. Около мокрыхъ службъ царствовало полнѣйшее безлюдье, хотя вездѣ всѣ двери были настежь; въ домѣ тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха безпрестанно долетали какіе-то звуки, въ родѣ отдаленнаго хлопанья дверьми. Вотъ бы теперь невидимкой оборотиться хорошо, да поделушать, чтѣ объ немъ хамово отродье говоритъ! Понимаютъ ли подлецы его милости, или, можетъ быть, за его же добро да его же судачать? Вѣдь имъ хотъ съ утра до вечера въ хайло-то пихай—все мало, все какъ съ

гуса вода! Давно ли, кажется, новую кадку съ огурцами начали, а ужъ... Но только-что онъ началъ забываться на этой мысли, только-что начиналъ соображать, сколько въ кадкѣ можетъ быть огурцовъ и сколько слѣдуетъ, при самомъ широкомъ разчетѣ, положить огурцовъ на человѣка, какъ опять въ головѣ мелькнулъ лучъ дѣйствительности и разомъ перевернулъ вверхъ дномъ всѣ его разсчеты.

— Ишь ты, вѣдь! даже не спросилась—ушла!—думалось ему, покуда глаза бродили въ пространствѣ, усиливаясь различить поповскій домъ, въ которомъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ эту минуту соловьемъ разливалась Евпраксеюшка.

Но вотъ и обѣдъ подали; Порфирій Владимірычъ сидитъ за столомъ одинъ и какъ-то вяло хлебаетъ пустой супъ (онъ терпѣть не могъ супъ безъ ничего, но она сегодня нарочно велѣла именно такой сварить).

— Чай, и попу-то до смерти тошно, что она къ нему напросилась!—думается ему: — все же лишній кусокъ подать надо! И щецъ, и каши... а для гостыи, пожалуй, и жарковца какого-нибудь...

Опять фантазія его разыгрывается; опять онъ начинаетъ забываться, словно сонъ его заводитъ. Сколько лишнихъ ложекъ щецъ пойдетъ? сколько каши? и чтѣ попъ съ попадей говорятъ по случаю прихода Евпраксеюшки? какъ они промежду себя ругаютъ ее... Все это—и кушанья, и рѣчи—такъ и мечется у него, словно живое, передъ глазами.

— Поди изъ чашки такъ всѣ вмѣстѣ и хлебаютъ!... Ушла! сдумѣла гдѣ себя найти лакомство! на дворѣ слякоть, грязь — долго ли до бѣды! Придетъ ужѣ, хвосты обтрепанные принесетъ... ахъ, ты, гадина! именно гадина! Дѣа, надо, надобно какъ-нибудь...

На этой фразѣ мысль неизмѣнно обрывалась. Послѣ обѣда легъ онъ по обыкновенію заснуть, но только измучился, проворочавшись съ боку на бокъ. Евпраксеюшка пришла домой ужъ тогда, когда стемнѣло, и такъ прокралась въ свой уголъ, что онъ и не замѣтилъ. Приказывалъ онъ людямъ, чтобъ непременно его предупредили, когда она воротится; но и люди, словно стакнулись, смолчали. Попробовалъ онъ опять толкнуться къ ней въ комнату, но и на этотъ разъ нашелъ дверь запертою.

На третій день, утромъ, Евпраксеюшка хотя и явилась къ чаю, но заговорила еще грознѣе и шибче.

— Гдѣ-то Володюшка мой теперь?—начала она, притворно давая своему голосу слезливый тонъ.

Порфирій Владимірычъ совсѣмъ помертвѣлъ при этомъ вопросѣ.

— Хоть бы глазкомъ на него взглянула, какъ онъ, родимый, тамъ мается! А то, пожалуй, и померъ ужъ... право!

Гудушка трепетно шевелилъ губами, шепча молитву.

— У насъ все не какъ у людей! Вотъ у мазулинскаго господина Палагеюшка дочку родила — сейчасъ ее въ батистъ-дикосъ нарядили, постельку розовенькую для ей устроили... Одной мамкѣ сколько сарафановъ да кокошниковъ надарили! А у насъ... э-эхъ... вы!

Евпраксеюшка круто повернула голову къ окну и шумно вздохнула.

— Правду говорятъ, что всѣ господа проклятые! Народятъ дѣтей—



и забросятъ въ болото, словно щеняты! И горюшка имъ мало! И отвѣта ни передъ кѣмъ не дадутъ, словно и Бога на нихъ нѣтъ! Волкъ—и тотъ этого не сдѣлаетъ!

У Порфирія Владимірыча такъ и вертѣло все нутро. Онъ долго перемогалъ себя, но наконецъ не выдержалъ и процѣдилъ сквозь зубы:

— Однако... новыя моды у тебя завелись! ужъ третій день сряду я твои разговоры слушаю!

— Что жъ, и моды! Моды—такъ моды! не все вамъ однимъ говорить—можно, чай, и другимъ слово вымолвить! Право-ну! Ребѣнка прижили—и что съ нимъ сдѣлали! Въ деревнѣ, чай, у бабы въ избѣ стноили! ни призору за нимъ, ни пищи, ни одежи... лежитъ, поди, въ грязи да едеку проеислукъ сосетъ!

Она прослезилась и концомъ шейнаго платка утерла глаза.

— Вотъ ужъ правду погорѣлковская барышня сказала, что страшно съ вами. Страшно и есть. Ни удовольствія, ни радости, однѣ только каверзы... Въ тюрьмѣ арестанты лучше живутъ. По крайности, еслибъ у меня теперича ребенокъ былъ—все бы я забаву какую ни на есть видѣла. А то натко! былъ ребенокъ—и того отняли.

Порфирій Владимірычъ сидѣлъ на мѣстѣ и какъ-то мучительно моталъ головой, точно его и въ самомъ дѣлѣ къ стѣнѣ прижали. По временамъ изъ груди его даже вырывались стоны.

— Ахъ, тяжело!—наконецъ произнесъ онъ.

— Нечего „тяжело“! сама себя раба бьетъ, коли плохо жнетъ! Право, съѣзжу я въ Москву, хоть глазкомъ на Володьку взгляну! Володька! Володенька! ми-и-и-лый! Баринъ! съѣзжу-ка, что-ли, я въ Москву?

— Незачѣмъ!—глухо отозвался Порфирій Владимірычъ.

— Анъ съѣзжу! и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мнѣ не можетъ! Потому я—мать!

— Какая ты мать! Ты дѣвка гулящая—вотъ ты кто! — разразился наконецъ Порфирій Владимірычъ: — сказывай, что тебѣ отъ меня надобно?

Къ этому вопросу Евпраксеюшка повидимому не приготовилась. Она уставилась въ Іудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей въ самомъ дѣлѣ надобно?

— Вотъ какъ! ужъ дѣвкой гулящей звать стали! — вскрикнула она, заливаясь слезами.

— Да! дѣвка гулящая! дѣвча, дѣвка! тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирій Владимірычъ окончательно вышелъ изъ себя, вскочилъ съ мѣста и почти бѣгомъ выбѣжалъ изъ столовой.

Это была послѣдняя вспышка энергіи, которую онъ позволилъ себѣ. Затѣмъ онъ какъ-то быстро осунулся, оступѣлъ и струсилъ, тогда какъ при-ставаньямъ Евпраксеюшки и конца не было видно. У нея была въ распоряженіи громадная сила—упорство тупоумія, и такъ какъ эта сила постоянно была въ одну точку: досадить, изгадить жизнь, то по временамъ она являлась чѣмъ-то страшнымъ. Мало-по-малу арена столовой сдѣлалась недостаточною для нея; она врывалась въ кабинетъ и тамъ достигала Іудушку (прежде она и подумать не посмѣла бы войти туда, когда баринъ „занятъ“).

Придетъ, сядетъ къ окну, упрется посоловѣлыми глазами въ пространство, почешется лопатками объ косякъ и начнетъ колобродить. Въ особенности же припала ей по сердцу одна тема для разговоръ — тема, въ основаніи которой лежала угроза оставить Головлево. Въ сущности она никогда серьезно объ этомъ не думала и даже была бы очень изумлена, еслибъ ей вдругъ предложили возвратиться въ родительскій домъ: но она догадывалась, что Порфирій Владимірычъ пуще всего боится, чтобъ она не ушла. Приговаривалась она къ этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчить, почешетъ въ ухъ и вдругъ словно бы чтò вспомнить.

— Сегодня, у Николы, поди, блины пекутъ!

Порфирій Владимірычъ при этомъ вступленіи зеленѣетъ отъ злости. Передъ этимъ онъ только-что началъ очень сложное вычисленіе — на какую сумму онъ можетъ продать въ годъ молока, ежели всѣ коровы въ округѣ примрутъ, а у него одного, съ Божьею помощью, не только останутся невредимы, но даже будутъ давать молока противъ прежняго вдвое. Однако, въ виду прихода Евпраксеюшки и поставленнаго ею вопроса о блинахъ, онъ оставляетъ свою работу и даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же тамъ блины пекутъ? — спрашиваетъ онъ, осклабяясь вѣсмъ лицомъ своимъ: — ахъ, батюшки, да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ родительская сегодня! а я-то, ротозѣй, и позабылъ! Ахъ, грѣхъ какой! маменьку-то покойницу и помянуть будетъ нечѣмъ!

— Поѣла бы я блинковъ... родительскихъ!

— А кто жъ тебѣ не велитъ! распорядись! Кухарку Марьюшку за бока! а не то такъ Улитку! Ахъ, хорошо Улита блины печетъ!

— Можетъ, она и другимъ чѣмъ на васъ потрафила? — язвить Евпраксеюшка.

— Нѣтъ, грѣхъ сказать, хорошо, даже очень хорошо Улитка блины печетъ! Легкіе, мягкіе — ай, поѣшь!

Порфирій Владимірычъ хочетъ шуткой да смѣшкомъ развлечь Евпраксеюшку.

— Поѣла бы я блиновъ, да не головлевскихъ, а родительскихъ! — кобанился она.

— И за этимъ у насъ дѣло не станетъ! Архипушку-кучера за бока! вели парочку лошадушекъ заложить, кати себѣ да покатывай!

— Нѣтъ ужъ! чтò ужъ! попалась птица въ западню... сама глупа была! Кому меня, этакую-то, нужно? Сами гулящей дѣвкой недавно назвали... чего ужъ!

— Ахъ-ахъ-ахъ! и не стыдно тебѣ напраслину на меня говорить! А ты знаешь ли, какъ Богъ-то за напраслину наказываетъ?

— Назвали! прямо такъ-таки гулящей и назвали! вотъ и образъ тутъ: при немъ, при Батюшкѣ! Ахъ, распостылое мнѣ это Головлево! сбѣгу я отсюда! право, сбѣгу!

Говоря это, Евпраксеюшка ведетъ себя совершенно непринужденно: раскачивается на стулѣ копается въ носу, почесывается. Очевидно, она разыгрываетъ комедію, дразнить.



— Я, Порфирій Владимірьчъ, вамъ что-то хотѣла сказать, — продолжаетъ она колобродить: — вѣдь мнѣ домой надобно!

— Погостить, что-ли, къ отцу съ матерью собралась?

— Нѣтъ, я совсѣмъ. Останусь, значить, у Николя.

— Чтò такъ? обидѣлась чѣмъ-нибудь?

— Нѣтъ, не обидѣлась, а такъ... надо же когда-нибудь... Да и скучно у васъ... инда страшно! Въ домѣ-то словно все вымерло! Людишки — вольница, все по кухнямъ да по людскимъ прячутся, сиди въ цѣломъ домѣ одна: еще зарѣжутъ, того гляди! Ночью спать ляжешь — изъ всѣхъ угловъ шопоты ползутъ!

Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить въ исполненіе свою угрозу. Тѣмъ не менѣе дѣйствіе этой угрозы на Порфирія Владимірьча было очень рѣшительное. Онъ вдругъ какъ-то понялъ, что, несмотря на то, что съ утра до вечера изнывалъ въ такъ-называемыхъ трудахъ, онъ, собственно говоря, ровно ничего не дѣлалъ и могъ бы остаться безъ обѣда, не имѣть ни чистаго бѣлья, ни исправнаго платья, еслибъ не было чьего-то глаза, который смотрѣлъ за тѣмъ, чтобъ его домашній обиходъ не прерывался. До сихъ поръ онъ какъ бы не чувствовалъ жизни, не понималъ, что она имѣетъ какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шелъ однажды заведеннымъ порядкомъ; все въ домѣ группировалось лично около него и ради него; все дѣлалось въ свое время; всякая вещь находилась на своемъ мѣстѣ — словомъ сказать, вездѣ царствовала такая неизмѣнная точность, что онъ даже не придавалъ ей никакого значенія. Благодаря этому порядку вещей, онъ могъ на всей своей волѣ предаваться и празднословію, и праздномыслію, не опасаясь, чтобы уколы дѣйствительной жизни когда-нибудь вывели его на свѣжую воду. Правда, что вся эта искусственная махинація держалась на волоскѣ; но человѣку, постоянно погруженному въ самого себя, не могло и въ голову придти, что этотъ волосокъ есть нѣчто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно, навсегда... И вдругъ все это должно рушиться въ одинъ мигъ, по одному дурацкому слову: „нѣтъ ужъ! чтò ужъ! уйду!“ Гудушка совершенно растерялся. Чтò, ежели она въ самомъ дѣлѣ уйдетъ? думалось ему. И онъ мысленно начиналъ строить всевозможныя, нелѣпыя комбинаціи, съ цѣлью какъ-нибудь удержать ее, и даже рѣшался на такія уступки въ пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которыя ему никогда бы прежде и въ голову не пришли.

— Тыфу! тыфу! тыфу! — отплеывался онъ, когда возможность столкновенія съ кучеромъ Архипушкой или съ конторщикомъ Игнатомъ представлялась ему во всей обидной наготѣ своей.

Скоро однакожъ онъ убѣдился, что страхъ его насчетъ ухода Евпраксеюшки былъ по малой мѣрѣ неоснователенъ, и вслѣдъ затѣмъ существованіе его какъ-то круто вступило въ новый и совершенно для него неожиданный фазисъ. Евпраксеюшка не уходила, но даже замѣтно пріутихла съ своими приставаніями. Взамѣнъ того, она совершенно бросила Порфирія Владимірьча. Наступалъ май, пришли красные дни, и она ужъ почти совсѣмъ не являлась въ домъ. Только по постоянному хлопанью дверей Гудушка догадывался, что

она зачѣмъ-нибудь прибѣжала къ себѣ въ комнату, съ тѣмъ, чтобы вслѣдъ затѣмъ опять исчезнуть. Вставая утромъ, онъ не находилъ на обычномъ мѣстѣ своего платья и долженъ былъ вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое бѣлье; чай и обѣдъ ему подавали то спозаранку, то слишкомъ поздно, причѣмъ прислуживалъ полупьяный лакей Прохоръ, который являлся къ столу въ запятнанномъ сюртукѣ и отъ котораго вѣчно воняло какою-то противною смѣсью рыбы и водки.

Тѣмъ не менѣе, Порфирій Владимірычъ ужъ и тому былъ радъ, что Евпраксеюшка оставляла его въ покоѣ. Онъ примирялся даже съ безпорядкомъ, лишь бы знать, что въ домѣ все-таки есть нѣкто, кто этотъ безпорядокъ держитъ въ своихъ рукахъ. Его страшила не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личнаго вмѣшательства въ обстановку жизни. Съ ужасомъ представлялъ онъ себѣ, что можетъ наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. Въ предвидѣніи этой минуты онъ старался подавить въ себѣ всякій протестъ, закрывалъ глаза на наступавшее въ домѣ безначаліе, ступевывался, молчалъ. А на барскомъ дворѣ между тѣмъ шла ежедневная открытая гульба. Съ наступленіемъ тепла головлевская усадьба, дотолѣ степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечеромъ все населеніе дворовыхъ, и заштатные, и состоящіе на дѣйствительной службѣ, и старъ, и младъ — все высыпало на улицу. Пѣли пѣсни, играли на гармоникѣ, хохотали, взвизгивали, бѣгали въ горѣлки. На Игнатѣ-конторщикѣ появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслышанно узенькая жакетка, борты которой совсѣмъ не закрывали его молодецки выпяченной груди; Архипъ-кучеръ самовольно завладѣлъ выѣздною полковой рубашкой и плисовой безрукавкой и очевидно соперничалъ съ Игнатомъ въ планахъ насчетъ сердца Евпраксеюшки. Евпраксеюшка бѣгала между ними и, словно шальная, кидалась то къ одному, то къ другому. Порфирій Владимірычъ боялся взглянуть въ окно, чтобы не сдѣлаться свидѣтелемъ любовной сцены, но не слышать не могъ. По временамъ въ ушахъ его раздавался звукъ полновѣснаго удара: это кучеръ Архипушка всей пятерней далъ разѣ Евпраксеюшкѣ, гоняясь за нею въ горѣлкахъ (и она не разсердилась, только присѣла слегка); по временамъ до него доносился разговоръ:

— Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишна! — вызываетъ пьяненькій Прохоръ съ барскаго крыльца.

— Чего надобно?

— Ключъ отъ чаю пожалуйста, баринъ чаю просятъ!

— Подождеть... кикимора!

Въ короткое время Порфирій Владимірычъ совсѣмъ одичалъ. Весь обычный ходъ его жизни былъ взбодораженъ и извращенъ, но онъ какъ-то ужъ пересталъ обращать на это вниманіе. Онъ ничего не требовалъ отъ жизни, кромѣ того, чтобы его не тревожили въ его послѣднемъ убѣжищѣ — въ кабинетѣ. Насколько онъ прежде былъ придирчивъ и надоѣдливъ въ отношеніяхъ къ окружающимъ, настолько же теперь сдѣлался боязливъ и угрюмо-покоренъ. Казалось, всякое общеніе съ дѣйствительною жизнью пре-



кратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видѣть — вотъ чего онъ желалъ. Евпаксеюшка могла цѣлыми днями не показываться въ домѣ; людишки могли сколько хотѣли вольничать и бездѣльничать на дворѣ — онъ ко всему относился безучастно, какъ будто ничего не было. Прежде, еслибъ конторщикъ позволилъ себѣ хотя малѣйшую неаккуратность въ доставленіи рапортчиковъ о состояніи различныхъ отраслей хозяйственного управленія, онъ навѣрное истиранилъ бы его поученіями; теперь — ему по цѣлымъ недѣлямъ приходилось сидѣть безъ рапортчиковъ, и онъ только изрѣдка тяготился этимъ, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрѣпленія какихъ-нибудь фантастическихъ расчетовъ. За то, въ кабинетѣ, одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, онъ чувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ, имѣющимъ возможность праздномыслить сколько душѣ угодно. Подобно тому, какъ оба брата его умерли, одержимые запоемъ, такъ точно и онъ страдалъ тою же болѣзнью. Только это былъ запой иного рода — запой праздномыслія. Запершись въ кабинетъ и засѣвши за письменный столъ, онъ съ утра до вечера изнывалъ надъ фантастической работой: строилъ всевозможныя несбыточные предположенія, учитывалъ самого себя, разговаривалъ съ воображаемыми собесѣдниками и создавалъ цѣлыя сцены, въ которыхъ первая случайно взбрѣдшая на умъ личность являлась дѣйствующимъ лицомъ.

Въ этомъ омутѣ фантастическихъ дѣйствій и образовъ главную роль играла какая-то болѣзненная жажда стяжанія. Хотя Порфирій Владимірычъ и всегда вообще былъ мелочень и наклоненъ къ кляузѣ, но, благодаря его практической нелѣпости, никакихъ прямыхъ выгодъ лично для него отъ этихъ наклонностей не получалось. Онъ надоѣдалъ, томилъ, тиранилъ (преимущественно самыхъ незащитныхъ людей, которые, такъ сказать, сами напрашивались на обиду), но и самъ чаще всего терялъ отъ своей затѣйливости. Теперь эти свойства всецѣло перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, гдѣ уже не имѣлось мѣста ни для отпора, ни для оправданій, гдѣ не было ни сильныхъ, ни слабыхъ, гдѣ не существовало ни полиціи, ни мировыхъ судовъ (или, лучше сказать, существовали, но единственно въ видахъ огражденія его, Іудушкиныхъ, интересовъ) и гдѣ, слѣдовательно, онъ могъ свободно опутывать цѣлый міръ сѣтью кляузъ, притѣсненій и обидъ.

Онъ любилъ мысленно вымучить, разорить, обездолить, высосать кровь. Перебиралъ одну за другой всѣ отрасли своего хозяйства: лѣсъ, скотный дворъ, хлѣбъ, луга и проч., и на каждой созидалъ узорчатое зданіе фантастическихъ притѣсненій, сопровождаемыхъ самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общія бѣдствія, и приобрѣтеніе цѣнныхъ бумагъ — словомъ сказать, цѣлый запутанный міръ праздныхъ помѣщичьихъ идеаловъ. А такъ-какъ тутъ все зависѣло отъ произвольно предполагаемыхъ переплатъ или недоплатъ, то каждая переплаченная или недоплаченная копѣйка служила поводомъ для передѣлки всего зданія, которое такимъ образомъ видоизмѣнялось до безконечности. Затѣмъ, когда утомленная мысль уже не въ силахъ была слѣдить съ должнымъ вниманіемъ за всѣми подробностями спутанныхъ выкладокъ по операціямъ стяжанія, онъ переносилъ арену своей фантазіи на вымыслы болѣе растяжимые. Припоминалъ всѣ столкновенія и пререканія, какія случались у него съ людьми

не только въ недавнее время, но и въ самой отдаленной молодости, разрабатывалъ ихъ съ такимъ расчетомъ, что всегда изъ всякаго столкновенія выходилъ побѣдителемъ. Онъ мстилъ мысленно своимъ бывшимъ сослуживцамъ по департаменту, которые опередили его по службѣ и растравили его самолюбіе настолько, что заставили отказаться отъ служебной карьеры; мстилъ однокашникамъ по школѣ, которые нѣкогда пользовались своею физическою силой, чтобъ дразнить и притѣвлять его; мстилъ сосѣдямъ по имѣнію, которые давали отпоръ его притязаніямъ и отстаивали свои права; мстилъ слугамъ, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстилъ маменькѣ Аринѣ Петровнѣ за то, что она просадила много денегъ на устройство Погорѣлки, денегъ, которыя, „по всемъ правамъ“, слѣдовали ему; мстилъ братцу Стѣпкѣ-балбесу за то, что онъ прозвалъ его Іудушкой; мстилъ тетенькѣ Варварѣ Михайловнѣ за то, что она, въ то время, когда ужъ никто этого не ждалъ, вдругъ народила дѣтей „съ бѣру да съ сосенки“, влѣдствіе чего сельцо Гаврюшкино навсегда ускользнуло изъ Головлеваго рода. Мстилъ живымъ, мстилъ мертвымъ.

Фантазируя такимъ образомъ, онъ незамѣтно доходилъ до оцѣнѣнія; земля исчезала у него изъ-подъ ногъ, за спиной словно выросли крылья. Глаза блестѣли, губы тряслись и покрывались пѣной, лицо блѣднѣло и принимало угрожающее выраженіе. И по мѣрѣ того, какъ росла фантазія, весь воздухъ кругомъ него населялся призраками, съ которыми онъ вступалъ въ воображаемую борьбу.

Существованіе его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь міръ былъ у его ногъ, — разумѣется, тотъ немудреный міръ, который былъ доступенъ его скудному міросозерцанію. Каждый простѣйшій мотивъ онъ могъ варьировать безконечно, за каждый могъ по нѣсколько разъ приниматься сызнова, разрабатывая всякій разъ на новый манеръ. Это былъ своего рода экстазъ, ясновидѣніе, нѣчто подобное тому, что происходитъ на спиритическихъ сеансахъ. Ничѣмъ неограничиваемое воображеніе создаетъ мнимую дѣйствительность, которая, влѣдствіе постоянного возбужденія умственныхъ силъ, претворяется въ конкретную, почти осязаемую. Это — не вѣра, не убѣжденіе, а именно умственное распутство, экстазъ. Люди обезчеловѣчиваются, ихъ лица искажаются, глаза горятъ, языкъ произноситъ произвольныя рѣчи, тѣло производитъ произвольныя движенія.

Порфирій Владимірьчъ былъ счастливъ. Онъ плотно запиралъ окна и двери, чтобъ не слышать, спускалъ шторы, чтобъ не видѣть. Всѣ обычные жизненныя отправленія, которыя прямо не соприкасались съ міромъ его фантазій, онъ дѣлалъ на скорую руку, почти съ отвращеніемъ. Когда пьяненькій Прохоръ стучался въ дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, онъ нетерпѣливо вбѣгалъ въ столовую, наперекоръ всемъ прежнимъ привычкамъ, спѣша сѣдалъ свои три пережѣныя кушанья и опять скрывался въ кабинетъ. Даже въ манерахъ у него, при столкновеніи съ живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмѣшливое, какъ будто онъ, въ одно и то же время, и боялся, и вызывалъ. Утромъ онъ спѣшилъ встать какъ можно раньше, чтобы сейчасъ же приняться за работу Молитвенное



стояніе сократилъ: слова молитвы произносилъ безучастно, не вникая въ ихъ смыслъ; крестныя знаменія и воздѣянія рукъ творилъ машинально, неотчетливо. Даже представленіе объ адѣ и его мучительныхъ возмездіяхъ (за каждый грѣхъ — возмездіе особенное), повидимому, покинуло его.

А Евпраксеюшка между тѣмъ мѣла въ чадѣ плотского вожделѣнія. Гарцуя въ нерѣшимости между конторщикомъ Игнатомъ и кучеромъ Архипушкой, и въ то же время кося глазами на краснорожаго плотника Илюшу, который съ цѣлой артелью подрядился вывѣсить господскій погребъ, она ничего не замѣчала, чтѣ дѣлается въ барскомъ домѣ. Она думала, что баринъ какую-нибудь „новую комедію“ разыгрываетъ, и не мало веселыхъ словъ было произнесено по этому поводу въ дружеской компаніи почувствовавшихъ себя на свободѣ людишекъ. Но однажды, какъ-то случайно, зашла она въ столовую въ то время, когда Іудушка на-скоро доѣдалъ кусокъ жаренаго гуся, и вдругъ ей сдѣлалось жутко.

Порфирій Владимірычъ сидѣлъ въ засаленномъ халатѣ, изъ котораго мѣстами выбивалась ужъ вата; онъ былъ блѣденъ, нечесанъ, обросъ какой-то щетиной вмѣсто бороды.

— Баринушка! чтѣ такое? чтѣ случилось? — бросилась она къ нему въ испугѣ.

Но Порфирій Владимірычъ только глупо-язвительно улыбнулся въ отвѣтъ на ея восклицаніе, словно хотѣлъ сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чѣмъ-нибудь уязвить!

— Баринушка! да чтѣ такое? Говорите! чтѣ случилось? — повторила она.

Онъ всталъ, уставилъ въ нее исполненный ненависти взглядъ и съ разстановкой произнесъ:

— Если ты, дѣвка распутная, еще когда-нибудь... въ кабинетъ ко  
мнѣ... Убью!

Благодаря этой случайности, существованіе Порфирія Владимірыча съ вѣшной стороны измѣнилось къ лучшему. Не чувствуя никакихъ матеріальныхъ помѣхъ, онъ свободно отдался своему одиночеству, такъ что даже не видалъ, какъ прошло лѣто. Августъ ужъ перевалилъ на вторую половину; дни сократились; на дворѣ непрерывно сѣялъ мелкій дождь; земля взохла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтѣвшіе листья. На дворѣ и около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своимъ угламъ, частью вслѣдствіе хмурой погоды, частью вслѣдствіе того, что догадались, что съ баринѣмъ происходитъ что-то неладное. Евпраксеюшка окончателно очнулась; забыла и о шолковыхъ платьяхъ, и о милыхъ дружкахъ, и по цѣлымъ часамъ сидѣла въ дѣвичьей на ларѣ, не зная, какъ ей быть и чтѣ предпринять. Пьяненькій Прохоръ дразнилъ ее, что она извела барина, опоила его, и что не миновать ей за это по владимірѣмъ погулять.

А Іудушка между тѣмъ сидитъ, запершись, у себя въ кабинетѣ и мечтаетъ. Ему еще лучше, что на дворѣ свѣжѣе сдѣлалось; дождь, безъ устали дребезжащій въ окна его кабинета, наводитъ на него полудремоту,

въ которой еще свободнѣе, шире развертывается его фантазія. Онъ представляетъ себя невидимкою и въ этомъ видѣ мысленно инспектируетъ свои владѣнія, въ сопровожденіи стараго Ильи, который еще при папенькѣ, Владимірѣ Михайловичѣ, старостой служилъ и давнымъ-давно на кладбищѣ схороненъ.

— Умный мужикъ Илья! старинный слуга! Нынче такіе-то люди выводятся. Нынче чтѣ: поюлить да потарантить, а чуть до дѣла коснется — и нѣтъ никого! — разсуждаетъ самъ съ собою Порфирій Владимірычъ, очень довольный, что Илья изъ мертвыхъ воскресъ.

Не торопясь да Богу помолясь, никѣмъ невидимые, черезъ поле и овраги, черезъ доли и дуга, пробираются они въ пустошь Уховщину — и долго не вѣрятъ глазамъ своимъ. Стоитъ передъ ними лѣсище стѣна стѣной, стоитъ да только вершинами въ вышинѣ гудеть. Деревья всѣ одно къ одному, красныя — соснякъ, которыя въ два, а которыя и въ три обхвата; стволы у нихъ прямые, обнаженные, а вершины могучія, пушистыя: долго, значить, еще этому лѣсу стоять можно!

— Вотъ, братъ, такъ лѣсокъ! — въ восхищеніи восклицаетъ Іудушка.

— Заказничекъ! — объясняетъ старикъ Илья: — еще при покойномъ дѣдушкѣ вашемъ, при Михайлѣ Васильичѣ, съ образами обошли — вонъ онъ какой выросъ!

— А сколько, по твоему, тутъ десятинъ будетъ?

— Да въ ту пору ровно семьдесятъ десятинъ мѣрили, ну, а нынче... тогда десятина-то хозяйственная была, противъ нынѣшней въ полтора раза побольше!

— Ну, а какъ ты думаешь, сколько на каждой десятинѣ, примѣрно, деревъ сидитъ?

— Кто ихъ знаетъ, у Бога они сосчитаны!

— А я такъ думаю, что непременно шестьсотъ-семьсотъ на десятину будетъ. Да не на старую десятину, а на нынѣшнюю, на тридцатку. Постой! погоди! ежели по шестьсотъ... ну, по шестисотъ по пятидесяти положить — сколько же на ста-пяти десятинахъ деревъ будетъ?

Порфирій Владимірычъ беретъ листъ бумаги и умножаетъ 105 на 650: оказывается 68.250 деревъ.

— Теперича, ежели весь этотъ лѣсъ продать... по разнотѣ... какъ ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?

Старикъ Илья трясетъ головой.

— Мало! — говоритъ онъ: — вѣдь это — какой лѣсъ! изъ каждаго дерева два мельничныхъ вала выйдетъ, да еще строевое бревно, хоть въ какую угодно стройку, да семеричекъ, да товарничку, да сучья... По вашему, мельничный-то валъ — сколько онъ стоитъ?

Порфирій Владимірычъ притворяется, что не знаетъ, хотя онъ давно ужъ все до послѣдней копѣйки опредѣлилъ и установилъ.

— По здѣшнему мѣсту одинъ валъ десяти рублей стѣдитъ, а кабы въ Москву, такъ и цѣны бы ему, кажется, не было! Вѣдь это — какой валъ! его на тройкѣ только-только увезти! да еще валъ, потоньше, да бревно, да семе-



ричекъ, да дровъ, да сучьевъ... Анъ дерево-то, бѣдно-бѣдно, въ двадцати рублѣхъ пойдетъ.

Слушаетъ Порфирій Владиміръчъ Ильины рѣчи и не наслушается ихъ! Умный, вѣрный мужикъ—этотъ Илья! Да и все вообще управленіе ему какъ-то необыкновенно удачно привелъ Богъ сладить! Въ помощникахъ у Ильи старый Вавило служить (тоже давно на кладбищѣ лежитъ) — вотъ, братъ, такъ кряжъ! Въ конторщикахъ маменькинъ земскій Филиппъ-перевезенецъ (изъ вологодскихъ деревень его, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, перевезли); полѣсовщики все испытанные; неутомимые; псы у амбаровъ—злые! И люди, и псы—все готовы за барское добро хоть чорту горло перегрызть!

— А нутка, братъ, давай прикинемъ: сколько это будетъ, ежели всю пустошь по разнотѣ распродать?

Порфирій Владиміръчъ снова разсчитываетъ мысленно, сколько стѣить большой валъ, сколько валъ поменьше, сколько строевое бревно, семерикъ, дрова, сучья. Потомъ складываетъ, умножаетъ, въ иномъ мѣстѣ отсѣкаетъ дробь, въ другомъ прибавляетъ. Листъ бумаги наполняется столбцами цифръ.

— Натко, братъ, смотри, чтѣ вышло!—показываетъ Іудушка воображаемому Ильѣ какую-то совсѣмъ неслыханную цифру, такъ что даже Илья, который и со своей стороны не прочь отъ пріумноженія барскаго добра, и тотъ словно съѣжился.

— Чтѣ-то какъ-будто и многовато! — говоритъ онъ, въ раздумьи поводя лопатками.

Но Порфирій Владиміръчъ уже откинулъ все сомнѣнія и только веселенько хихикаетъ.

— Чудакъ, братецъ, ты! Это ужъ не я, а цифра говоритъ... Наука, братецъ, такая есть, ариметикой называется... ужъ она, братъ, не солжетъ! Ну, хорошо, съ Уховщиной теперь покончили; пойдѣмъ-ка, братъ, въ Лисьи-Ямы, давно я тамъ не бывалъ! Сдается мнѣ, что мужики тамъ пошаливаютъ, ой, пошаливаютъ мужики! Да и Гаранька-сторожъ... знаю! знаю! Хорошій Гаранька, усердный сторожъ, вѣрный—это чтѣ говорить! а все-таки... Маленько онъ какъ будто сшибаться сталъ!

Идутъ они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую едва пробиваются, и вдругъ останавливаются, притаивши дыханіе. На самой дорогѣ лежитъ на боку мужицкій возъ, а мужикъ стоитъ и тужить, глядячи на сломанную ось. Потужилъ-потужилъ, выругалъ ось, да и себя кстати ругнулъ, вытянулъ лошадь кнутомъ по спинѣ („ишь, ворона!“), однако дѣлать что-нибудь надо—не стоять же на одномъ мѣстѣ до завтра! Озирается воръ-мужиченко, прислушивается: не ѣдетъ ли кто, потомъ выбираетъ подходящую березку, вынимаетъ топоръ... А Іудушка все стоитъ, не шелохнется... Дрогнула березка, зашаталась и вдругъ, словно снопъ, повалилась на земь. Хочетъ мужикъ отрубить отъ комля, сколько на ось надобно, но Іудушка ужъ рѣшилъ, что настоящій моментъ наступилъ. Крадучись, подползаетъ онъ къ мужику и мигомъ выхватываетъ изъ рукъ его топоръ.

— Ахъ!—успѣваетъ только крикнуть застигнутый врасплохъ воръ.

— „Ахъ!“—передразниваетъ его Порфирій Владиміръчъ:—а чужой лѣсъ воровать дозволяется? „Ахъ!“—а чью березку-то, свою что-ли срубилъ?

— Простите батюшка!

— Я, братецъ, давно всѣмъ простилъ! Самъ Богу грѣшенъ и другихъ осуждать не смѣю. Не я, а законъ осуждаетъ. Ось-то, которую ты срубилъ, на усадьбу привези, да и рубликъ штрафа кстати ужъ захвати; а покуда пускай топорикъ у меня полежитъ! Небось, братъ, сохранный будетъ!

Довольный тѣмъ, что успѣлъ на самомъ дѣлѣ доказать Ильѣ справедливость своего мнѣнія насчетъ Гараньки, Порфирій Владимірычъ съ мѣста преступленія заходитъ мысленно въ избу полѣсовщика и дѣлаетъ приличное поученіе. Потомъ онъ отправляется домой и по дорогѣ ловитъ въ господскомъ овсѣ трехъ крестьянскихъ куръ. Воротившись въ кабинетъ, онъ опять принимается за работу, и дѣлая особенная хозяйственная система вдругъ зарождается въ его умѣ. Все растущее и прозябающее на его землѣ, сѣянное и несѣянное, обращается въ деньги по разнотѣ, и притомъ со штрафомъ. Всѣ люди вдругъ сдѣлались порубщиками и потравщиками, а Іудушка не только не скорбитъ объ этомъ, но, напротивъ, даже руки себѣ потираетъ отъ удовольствія.

— Травите, батюшки, рубите! мнѣ же лучше! — повторяетъ онъ совершенно довольный.

И тутъ же беретъ новый листъ бумаги и принимается за выкладки и вычисленія.

Сколько на десятинахъ овса растетъ и сколько этотъ овесъ можетъ денегъ принести, ежели его куры мужицкія помнутъ и за все помятое штрафъ уплатятъ?

— А овесъ-то хоть и помятъ, анъ послѣ дождичка и опять поправился! — мысленно присовокупляетъ Іудушка.

Сколько въ Лисихъ-Ямахъ березокъ растетъ и сколько за нихъ можно денегъ взять, ежели ихъ мужики воровскимъ манеромъ порубятъ и за все порубленное штрафъ заплатятъ?

— А березка-то, хоть она и срублена, ко мнѣ же въ домъ на отопленіе пойдеть! стало быть, дровъ самому пилить не надо! — опять присовокупляетъ Іудушка мысленно.

Громадныя колонны цифръ испещряютъ бумагу; сперва рубли, потомъ десятки, сотни, тысячи... Іудушка до того устаеъ за работой и, главное, такъ волнуется ею, что весь въ поту встаетъ изъ-за стола и ложится отдохнуть на диванъ. Но взбунтовавшееся воображеніе и тутъ не укрощаетъ своей дѣятельности, а только избираетъ другую, болѣе легкую тему.

— Умная женщина была маменька Арина Петровна, — фантазируетъ Порфирій Владимірычъ: — умѣла и спросить, да и приласкать умѣла — отъ того и служили ей всѣ съ удовольствіемъ! однако и за ней грѣшки водились! Ой, много было за покойницей блохъ!

Не успѣлъ Іудушка помянуть объ Аринѣ Петровнѣ, а она ужъ и тутъ какъ тутъ; словно чуетъ ея сердце, что она отвѣтъ должна дать: сама къ милому сыну изъ могилы явилась.

— Не знаю, мой другъ, не знаю, чѣмъ я передъ тобой провинилась! — какъ-то уныло говоритъ она: — кажется, я...

— Те-те-те, голубушка! лучше ужъ не грѣшите! — безъ церемоніи обли-



часть ее Гудушка:—коли на то пошло, такъ я все передъ вами сейчасъ выложу! Почему вы, напримѣръ, тетеньку Варвару Михайловну въ ту пору не остановили?

— Какъ же ее останавливать! она и сама въ полныхъ лѣтахъ была, сама имѣла право распоряжаться собою!

— Ну, нѣтъ-съ, позвольте-съ! Мужъ-то какой у нея былъ? Старенькій да пьяненькій — ну, самый, самый, значить... бесплодный! А между тѣмъ у нея четверо дѣтей проявилось... Откуда — спрашиваю я васъ—эти дѣти взялись?

— Чтò это, другъ мой, какъ ты странно говоришь! какъ будто я въ этомъ причина!

— Причинны не причинны, а все-таки повліять могли! Смѣшкѣмъ бы да шуточкой, „голубушка“ да „душенька“ — смотришь, она бы и посовѣстилась! А вы все напротивъ! На дыбы да съ кандачка! Варька да Варька, да подлая, да безстыжая! чуть не со всей округой ее перевѣнчали! вотъ она и того... и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было!

— Далось тебѣ это Горюшкино! — говоритъ Арина Петровна, очевидно становясь втупикъ передъ обвиненіемъ сына.

— Мнѣ чтò Горюшкино! Мнѣ, пожалуй, и ничего не надо! Было бы на свѣчку да на маслице! — вотъ я и доволенъ! А вообще, по справедливости... Да, маменька, и радъ бы смолчать, а не сказать не могу: большой грѣхъ на вашей душѣ лежитъ, очень, очень большой!

Арина Петровна уже ничего не отвѣчаетъ, а только руками разводитъ, не то подавленная, не то недоумѣвающая.

— Или бы вотъ, напримѣръ, другое дѣло, — продолжаетъ между прочимъ Гудушка, любясь смущеніемъ маменьки: — зачѣмъ вы для брата Степана въ ту пору домъ въ Москвѣ покупали?

— Надо было, мой другъ; надо же было и ему какой-нибудь кусокъ выбросить, — оправдывается Арина Петровна.

— А онъ взялъ да и промоталъ его! И добро бы вы его не знали: и буянъ-то онъ былъ, и сквернословъ, и непочтительный — нѣтъ-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотѣли ему отдать! А деревенька-то какая! вся въ одной межѣ! ни сосѣдей, ни черезполосицы; лѣсокъ хорошенькій, озерцо... стоитъ какъ облупленное яичко, Христеѣ съ ней! Хорошо, что я въ то время случился да воспрепятствовалъ... Ахъ, маменька, маменька, и не грѣхъ это вамъ!

— Да вѣдь сынъ онъ... пойми, все-таки — сынъ!

— Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого дѣлать, не слѣдовало! Домъ-то двѣнадцать тысячъ серебромъ заплаченъ — гдѣ онъ? Вотъ тутъ двѣнадцать тысячъ плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бѣдно--бѣдно, тысячъ на пятнадцать одѣнить нужно... Анъ денегъ-то и многолько выйдетъ!

— Ну, ну, полно! ужъ перестань! не сердись, Христа ради!

— Я, маменька, не сержусь, я только по справедливости сужу... чтò правда, тò правда — терпѣть не могу лжи... съ правдой родился, съ правдой

жилъ, съ правдой и умру! Правду и Богъ любить, да и намъ велить любить. Вотъ хоть бы про Погорѣлку; всегда скажу: много, ахъ, какъ много денегъ вы извели на устройство ея!

— Да вѣдь я сама въ ней жила...

Гудушка очень хорошо читаетъ на лицѣ маменьки слова: „кровопивецъ ты несуразный!“ — но дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ ихъ.

— Нужды нѣтъ, что жили, а все-таки... Кіотка-то и до сихъ поръ въ Погорѣлкѣ стоитъ, а чья она? Лошадь маленькая — тоже; шкатулочка чайная... самъ собственными глазами еще при папенькѣ въ Головлевъ ее видѣлъ! а вещичка-то хорошенькая!

— Ну, чтѣ ужъ!

— Нѣтъ, маменька, не говорите! оно, конечно, сразу не видно, однако какъ тутъ рубль, въ другомъ мѣстѣ — полтина, да въ третьемъ — четвертачекъ... Какъ посмотришь да поглядишь... А впрочемъ, позвольте, я лучше сейчасъ все на цифрахъ прикину! Цифра — святое дѣло; она ужъ не солжетъ!

Порфирій Владимірычъ опять устремляется къ столу, чтобъ привести наконецъ въ полную ясность, какіе убытки ему нанесла добрый другъ маменька. Онъ стучитъ на счетахъ, выводитъ на бумагѣ столбцы цифръ — словомъ, готовитъ все, чтобъ изобличить Арину Петровну. Но, къ счастью для послѣдней, колеблющаяся его мысль не можетъ долго удержаться на одномъ и томъ же предметѣ. Незамѣтно для него самого къ нему подкрадывается новый предметъ стяжанія и словно какимъ волшебствомъ даетъ его мысли совѣтъ иное направленіе. Фигура Арины Петровны, еще за минуту передъ тѣмъ такъ живо мелькавшая у него въ глазахъ, вдругъ окунулась въ омутъ забвенія. Цифры смѣшались...

Давно ужъ собирался Порфирій Владимірычъ высчитать, чтѣ можетъ принести ему полеводство, и вотъ теперь наступилъ самый удобный для этого моментъ. Онъ знаетъ, что мужикъ всегда нуждается, всегда ищетъ занятій и всегда же отдаетъ безъ обмана, съ лихвой. Въ особенности щедръ мужикъ на свой трудъ, который „ничего не стѣбитъ“, и на этомъ основаніи всегда при расчетахъ принимается ни во чтѣ, въ знакъ любви. Много-таки на Руси нуждающагося народа, ахъ, какъ много! Много людей, не могущихъ опредѣлить сегодня, чтѣ ждетъ ихъ завтра; много такихъ, которые куда бы ни обратили тоскливые взоры — вездѣ видятъ только безнадежную пустоту, вездѣ слышатъ только одно слово: „отдай! отдай!“ И вотъ вокругъ этихъ-то безнадежныхъ людей, около этой-то перекатной голи стелеть Гудушка свою безконечную паутину, по временамъ переходя въ какую-то неистовую фантастическую оргію.

На дворѣ апрѣль, и мужику по обыкновенію нечего ѣсть. „Проѣлисъ, голубчики! зиму-то пропраздновали, а къ веснѣ животы подвело!“ разсуждаетъ Порфирій Владимірычъ самъ съ собою, а онъ, какъ нарочно, только-только всѣ счета по прошлогоднему полеводству въ ясность привелъ. Въ февралѣ были обмолочены послѣднія скирды хлѣба, въ мартѣ зерно лежало ссыпанное въ закрома, а на дняхъ вся наличность уже разнесена по книгамъ въ соответствующія графы. Гудушка стоитъ у окна и поджидаетъ. Вотъ вдали,



на мосту, показался въ телѣженкѣ мужикъ Фока. На повороткѣ въ Головлево онъ какъ-то торопливо задергалъ возжами и, за неимѣніемъ кнута, пугнулъ рукой лошадь, еле передвигающую ногу.

— Сюда! — шепчетъ Іудушка: — ишь у него лошадь-то! какъ только жива! А покормить ее съ мѣсяцъ, другой — ничего, животѣкъ будетъ! Рубликовъ двадцать-пять, а не то и всѣ тридцать отдашь за нее.

Между тѣмъ Фока подѣхалъ къ людской избѣ, привязалъ къ изгороди лошадь, подкинулъ ей охапку сѣнной трухи и черезъ минуту уже переминается съ ноги на ногу въ дѣвичей, гдѣ Порфирій Владимірычъ имѣетъ обыкновеніе принимать подобныхъ просителей.

— Ну, другъ! чтò скажешь хорошенькаго? — начинаетъ Порфирій Владимірычъ.

— Да вотъ, сударь, ржицы бы...

— Чтò такъ! свою-то, видно, ужъ съѣли? Ахъ, ахъ, грѣхъ какой! Вотъ кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да Богу молились, и земляца то чувствовала бы? Гдѣ нынче зерно — смотришь, анъ въ ту пору два или три получилось бы! Занимать-то бы и не надо!

Фока какъ-то нерѣшительно улыбается вмѣсто отвѣта.

— Ты думаешь, Богъ-то далеко, такъ онъ и не видитъ? — продолжаетъ морализировать Порфирій Владимірычъ: — анъ Богъ то — вотъ онъ-онъ. И тамъ, и тутъ, и вотъ съ нами, покуда мы съ тобой говоримъ — вездѣ онъ! И все онъ видитъ, все слышитъ, только дѣлаетъ видъ, будто не замѣчаетъ. Пускай, молъ, люди своимъ умомъ поживутъ; посмотримъ, будутъ ли они меня помнить! А мы этимъ пользуемся, да вмѣсто того, чтобъ Богу на свѣчку изъ достатковъ своихъ удѣлить, мы въ кабакъ, да въ кабакъ! Вотъ за это за самое и не подаетъ Богъ ржицы — такъ ли, другъ?

— Это ужъ чтò говорить! Это такъ точно!

— Ну, такъ вотъ видишь ли, и ты теперь понялъ. А почему понялъ? потому что Богъ милость свою отъ тебя отвратилъ. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить сталъ, а вотъ какъ Богъ-то...

— Справедливо это, и кабы ежели мы...

— Постой! дай я скажу! И всегда такъ бываетъ, другъ, что Богъ забывающимъ его напоминаетъ объ себѣ. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы дѣлается. Кабы мы Бога помнили, и онъ бы объ насъ не забывалъ. Всего бы намъ подаль: и ржицы, и овсеца, и картофельцу — нѣ, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюдаю — вишь, лошадь-то у тебя! въ чемъ только духъ держится! и птицѣ, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направленіе далъ!

— И это вся ваша правда, Порфирій Владимірычъ.

— Бога чтить, это — первое, а потомъ — старшихъ, которые отъ самихъ царей отличіе получили; помѣщиковъ, напримѣръ.

— Да мы, Порфирій Владимірычъ, и то, кажется...

— Тебѣ вотъ „кажется“, а поразмысли да посуди — анъ, можетъ, и не такъ на повѣрку выйдетъ. Теперь, какъ ты за ржицей ко мнѣ пришелъ — грѣхъ сказать! очень ты ко мнѣ почтителенъ и ласковъ; а въ позапрошломъ году, помнишь, когда жней мнѣ понадобились, а я къ вамъ, къ мужичкамъ,

на поклонъ пришелъ? помогите, молъ, братцы, вызвольте! вы что на мою просьбу отвѣтили? Самимъ, говорятъ, жать надо! Нынче, говорятъ, не прежнее время, чтобъ на господъ работать, нынче — воля! Воля, а ржицы нѣтъ!

Порфирій Владиміръчъ учительнo взглядываетъ на Фоку; но тотъ не шелохнется, словно оцѣпенѣлъ.

— Горды вы очень, отъ этого самого вамъ и счастья нѣтъ. Вотъ я, напримѣръ: кажется, и Богъ меня благословилъ, и царь пожаловалъ, а я — не горжусь! Какъ я могу гордиться! что я такое? червь! козявка! тьфу! А Богъ-то взялъ, да за смиренность за мое и благословилъ меня! И самъ милостью своею разыскалъ, да и царю внушилъ, чтобы меня пожаловалъ!

— Я такъ, Порфирій Владиміръчъ, мекаю, что прежде, при помѣщикахъ, не въ примѣръ лучше было! — лѣстить Фока.

— Да, братъ, было наше времечко! по празднивали, пожили! Всего было у васъ: и ржицы, и сѣнца, и картофельцу! Ну, да что ужъ старое поминать! я не злопамятенъ: я, братъ, давно объ жнеяхъ позабылъ, только такъ, къ слову вспомнилось! Такъ какъ же ты говоришь, ржицы тебѣ понадобилось?

— Да, ржицы бы...

— Купить, что-ли, собрался?

— Гдѣ купить! въ одолженіе, значить, до новой!

— Ахти-хти! Ржица-то, другъ, нынче кусается! Не знаю ужъ, какъ и быть мнѣ съ тобой...

Порфирій Владиміръчъ впадаетъ въ минутное раздумье, словно и дѣйствительно не знаетъ, какъ ему поступить: „и помочь человѣку хочется, да и ржица кусается“...

— Можно, мой другъ, можно и въ одолженіе ржицы дать, — наконецъ говоритъ онъ: — да, признаться сказать, и нѣтъ у меня продажной ржи: терпѣть не могу божьимъ даромъ торговать! Вотъ въ одолженіе — это такъ, это я съ удовольствіемъ. Я, братъ, вѣдь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра — ты меня одолжишь! Сегодня у меня избытокъ — бери, одоляйся! четверть хочешь взять — четверть бери! осьминка понадобилась — осьминку отсыпай! А завтра, можетъ быть, такъ дѣло повернетъ, что и мнѣ у тебя подъ окошкомъ постучать придется: одолжи, молъ, Фокушка, ржицы осьминку — вѣтъ нечего!

— Гдѣ ужъ! пойдете ли, сударь, вы!..

— Я-то не пойду, а къ примѣру... И не такіе, другъ, повороты на свѣтѣ бываютъ! Вонъ въ газетахъ пишутъ: какой столбъ Наполеонъ былъ, да и тотъ прогадалъ, не потрафилъ. Такъ-то, братъ. Сколько же тебѣ требуется ржицы-то?

— Четвертцу бы, коли милость ваша будетъ.

— Можно и четвертцу. Только раньше я тебѣ говорю: кусается, другъ, нынче рожь, куда какъ кусается! Такъ вотъ какъ мы съ тобой сдѣлаемъ: я тебѣ шесть четверичковъ отмѣрить велю, а ты мнѣ черезъ восемь мѣсяцевъ два четверичка приполни отдашь — такъ оно четвертца въ аккумуля и будетъ! Процентовъ я не беру, а отъ избытка ржицей...



У Фоки даже духъ занялся отъ Іудушкина предложенія; нѣкоторое время онъ ничего не говоритъ, только лопатками пошевеливаетъ.

— Не многовато ли будетъ, сударь?—наконецъ произноситъ онъ, очевидно робѣя.

— А много—такъ къ другимъ обратись! Я, другъ, не неволю, а отъ души предлагаю. Не я за тобой посылалъ, самъ ты меня нашелъ. Ты — съ запросцемъ, я—съ отвѣтцемъ. Такъ-то, другъ!

— Такъ-то такъ, да словно бы приполну-то ужъ много?

— Ахъ, ахъ, ахъ! А я еще думалъ, что ты — справедливый мужикъ, степенный! Ну, а мнѣ-то, скажи, чѣмъ мнѣ-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои долженья удовлетворять? Вѣдь у меня сколько расходовъ—знаешь ли ты? Конца краю, голубчикъ, расходамъ у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положи! Всѣмъ надо, всѣ Порфирія Владимірыча теребятъ, а Порфирій Владимірычъ отдувайся за всѣхъ! Опять и то: кабы я купцу рожъ продалъ—я бы денежки сейчасъ на столъ получилъ. Деньги, братъ, — святое дѣло. Съ деньгами накуплю я себѣ билетовъ, положу въ вѣрное мѣсто и стану пользоваться процентами! Ни заботушки мнѣ, ни горюшка, отрѣзалъ купончикъ—пожалуйте денежки. А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нея, да постарайся! Сколько ея усохнетъ, сколько на розсыпь пойдетъ, сколько мышь съѣстъ! Нѣтъ, братъ, деньги — какъ можно! И давно бы мнѣ за умъ взяться пора! давно бы въ деньги обратить, да и уѣхать отъ васъ!

— А вы съ нами, Порфирій Владимірычъ, поживите.

— И радъ бы, голубчикъ, да силъ моихъ нѣтъ. Кабы прежнія силы, конечно, еще пожилъ бы, повоевалъ бы. Нѣтъ! пора, пора на покой! Уѣду отсюда къ Троицѣ-Сергію, укроюсь подъ крылышко угоднику — никто и не услышитъ меня. А ужъ мнѣ-то какъ хорошо будетъ: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума—точно на небеси!

Словомъ сказать, какъ ни вертится Фока, а дѣло слаживается какъ хочется Порфирію Владимірычу. Но этого мало: въ самый моментъ, когда Фока ужъ согласился на условія займа, является на сцену какая-то Шелепиха. Такъ, пустошонка лядящая, съ десятинку покосцу, да и то врандъ-ли... Такъ вотъ бы...

— Я тебѣ одолженіе дѣлаю—и ты меня одолжи, — говоритъ Порфирій Владимірычъ:—это ужъ не за проценты, а такъ, въ одолженіе! Богъ за всѣхъ, а мы другъ по дружкѣ! Ты десятинку-то шута скосишь, а я тебя напередки попомню! я, братъ, вѣдь простъ! Ты мнѣ на рубликъ послужишь, а я...

Порфирій Владимірычъ встаетъ и въ знакъ окончанія дѣла молится на церковь. Фока, слѣдуя его примѣру, тоже крестится.

Фока исчезъ. Порфирій Владимірычъ беретъ листъ бумаги, вооружается счетами, а костяшки такъ и прыгаютъ подъ его проворными руками... Мало-по-малу начинается цѣлая оргія цифръ. Весь міръ застилается въ глазахъ Іудушки словно дымкой: съ лихорадочною торопливостью переходитъ онъ отъ счетовъ къ бумагѣ, отъ бумаги къ счетамъ. Цифры растутъ, растутъ...

## VII.—Разсчетъ.

На дворѣ декабрь въ половинѣ; схваченная неогляднымъ снѣжнымъ са-  
ваномъ, окрестность тихо цѣпенѣтъ; за ночь намело на дорогѣ столько сугро-  
бовъ, что крестьянскія лошади тяжело барахтаются въ снѣгу, вывозя пустыя  
дровнишки. А къ головлевской усадьбѣ и слѣда почти нѣтъ. Порфирій Вла-  
димирѣчъ до того отвыкъ отъ посѣщеній, что и главные ворота, ведущія къ  
дому, и парадное крыльцо, съ наступленіемъ осени, наглухо заколотилъ, пре-  
доставивъ домохозяевамъ сообщаться съ вѣшнимъ міромъ посредствомъ дѣ-  
вичьяго крыльца и боковыхъ воротъ.

Утро; бѣтъ одиннадцать. Іудушка, одѣтый въ халатъ, стоитъ у окна  
и безцѣльно поглядываетъ впередъ. Спозаранку бродилъ онъ взадъ и впередъ  
по кабинету и все объ чемъ-то думалъ и высчитывалъ воображаемые доходы,  
такъ что наконецъ запутался въ цифрахъ и усталъ. И плодovitый садъ, рас-  
кинутый противъ главнаго фасада господскаго дома, и поселокъ, пріютив-  
шійся на западъ сада—все утонуло въ снѣжныхъ сувояхъ. Послѣ вчерашней  
вьюги день выдался морозный, и снѣжная чепела сплошь блеститъ на солнцѣ  
милліонами искръ, такъ что Порфирій Владимирѣчъ невольно щуритъ глаза.  
На дворѣ пустынно и тихо; ни малѣйшаго движенія ни у людской, ни около  
скотнаго двора; даже крестьянскій поселокъ уgomонился, словно умеръ. Только  
надъ поповымъ домомъ вьется сизый дымокъ и останавливаетъ на себѣ вни-  
маніе Іудушки.

— Одиннадцать часовъ било, а попада въ еще не отстрипалась, — думается  
ему:—вѣчно эти попы трескаютъ!

Выйдя изъ этого пункта, онъ начинаетъ соображать: будни или празд-  
никъ сегодня, постный или скоромный день, и что должна стряпать попада въ  
—какъ вдругъ вниманіе его отвлекается въ сторону. На горкѣ, при самомъ  
выѣздѣ изъ деревни Нагловки, показывается черная точка, которая посте-  
пенно придвигается и растетъ. Порфирій Владимирѣчъ вглядывается, и,  
разумѣется, прежде всего задается цѣлой массой праздныхъ вопросовъ. Кто  
ѣдетъ? мужикъ или другой кто? Другому, впрочемъ, некому — стало быть,  
мужикъ... да, мужикъ и есть! Зачѣмъ ѣдетъ? ежели за дровами, такъ вѣдь  
нагловскій лѣсъ, по ту сторону деревни... навѣрное, шельма, въ барскій лѣсъ  
воровать собрался! Ежели на мельницу, такъ тоже, выѣхавши изъ Нагловки,  
надо взять вправо... Можетъ быть, за попомъ? кто-нибудь умираетъ или  
ужъ и умеръ?.. А можетъ быть и родился кто? Какая же это баба родила?  
Ненила по осени съ прибылью ходила, да той, кажется, еще рано... Ежели  
уродился мальчикъ, такъ въ ревизію современемъ попадетъ—сколько, бишь,  
въ Нагловкѣ, по послѣдней ревизіи, душъ? А ежели дѣвочка, такъ тѣхъ въ  
ревизію не записываютъ, да и вообще... А все-таки и безъ женскаго пола  
нельзя... тѣфу!

Іудушка отплеывается и смотритъ на образъ, какъ бы ища у него  
защиты отъ лукаваго.

Очень вѣроятно, что онъ долго блуждалъ бы такимъ образомъ мыслью,  
еслибъ показавшаяся у Нагловки черная точка обыкновеннымъ порядкомъ



помелькала и исчезла; но она все росла и росла и наконец повернула назад, ведущую къ церкви. Тогда Гудушка совершенно отчетливо увидѣла, что ѣдетъ небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой гусемъ. Вотъ она поднялась на взлобокъ и поровнялась съ церковью („не благочинный ли?“ мелькнуло у него: „то-то у попа не отстрипались о сю пору!“), вотъ повернула вправо и направилась прямо къ усадьбѣ: „такъ и есть, сюда!“ Порфирій Владимірычъ инстинктивно запахнулъ халатъ и отпрянулъ отъ окна, словно боясь, чтобъ проѣзжіи не замѣтили его.

Онъ отгадалъ: повозка подъѣхала къ усадьбѣ и остановилась у боковыхъ воротъ. Изъ нея поспѣшно выскочила молодая женщина. Одѣта она была совсѣмъ не по сезону, въ городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашкомъ, и видимо закопченѣла. Особа эта, никѣмъ не встрѣченная, въ прискочку побѣжала на дѣвичье крыльцо, и черезъ нѣсколько секундъ ужъ слышно было, какъ хлопнула въ дѣвичьей дверь, а слѣдомъ за этимъ опять хлопнула другая дверь, а затѣмъ во всѣхъ ближайшихъ къ выходу комнатахъ началась ходьба, хлопанье и суета.

Порфирій Владимірычъ стоялъ у двери кабинета и прислушивался. Онъ такъ давно не видалъ никого посторонняго и вообще такъ отвыкъ отъ общества людей, что его взяла оторопь. Прошло съ четверть часа; ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что пріѣзжая принадлежала къ числу лицъ, которыя, въ качествѣ „присныхъ“, не даютъ никакого повода сомнѣваться относительно своихъ правъ на гостепріимство. Кто же у него „присные“? Онъ началъ припоминать, но память какъ-то тупо ему служила. Былъ у него сынъ Володька, да сынъ Петька, была маменька Арина Петровна... давно, ахъ, давно это было! Вотъ въ Горюшкинѣ, съ прошлой осени, поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары Михайловны дочь — неужто-жъ она? Да нѣтъ, та ужъ однажды пыталась ворваться въ Головлево капище, да шишъ съѣла! „Не смѣетъ она! не посмѣетъ!“ твердилъ Гудушка, приходя въ негодованіе при одной мысли о возможности пріѣзда Галкиной. Но кто же можетъ быть еще?

Покуда онъ такимъ образомъ припоминалъ, Евпраксеюшка осторожно подошла къ двери и доложила:

— Поторѣлковская барышня, Анна Семёновна, пріѣхала.

Дѣйствительно, это была Аннинька. Но она до такой степени измѣнилась, что почти не было возможности узнать ее. Въ Головлево явилась на этотъ разъ ужъ не та красивая, бойкая и кипящая молодостью дѣвушка, съ румянымъ лицомъ, сѣрыми глазами на выкатѣ, съ высокою грудью и тяжелой пепельной косой на головѣ, которая пріѣзжала сюда вскорѣ послѣ смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо съ впалую грудью, вдавленными щеками, нездоровымъ румянцемъ, съ вялыми тѣлодвиженіями — существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолѣпная ея коса выглядѣла какъ-то мизерно, и только глаза, вслѣдствіе общей худобы лица, казались еще больше, нежели прежде, и горѣли лихорадочнымъ блескомъ. Евпраксеюшка долгое время вглядывалась въ нее, какъ въ незнакомую, но наконецъ-таки узнала.

— Барышня! вы ли?—вскрикнула она, всплеснувъ руками.

— Я. А что?

Сказавши это, Аннинька тихонько засмѣялась, точно хотѣла прибавить: да, вотъ какъ! отдѣлали-таки меня!

— Дядя здоровъ?—спросила она.

— Что дяденька! такъ нѣшто... Только слава, что живутъ, а то и не видимъ ихъ почестъ никогда!

— Что же съ нимъ?

— Да такъ... отъ скуки, видно, съ ними сдѣлалось...

— Неужто и на бобахъ разводить пересталъ?

— Нынче они, барышня, молчатъ. Все говорили—и вдругъ замолчали. Слышимъ иногда, какъ промежду себя въ кабинетѣ что-то разговариваютъ, и даже смѣются будто, а выдуть изъ комнаты—и опять замолчатъ. Сказываютъ, съ покойнымъ ихнимъ братцемъ, Степаномъ Владимырьчемъ, то же было... Все были веселы — и вдругъ замолчали. Вы-то, барышня, все-ли здоровы?

Аннинька только махнула рукою въ отвѣтъ.

— Сестрица все-ли здорова?

— Ужъ цѣлый годъ, какъ въ Кречетовѣ при большой дорогѣ въ могилѣ лежить.

— Чтѣй-то, спаси Господи! ужъ и при дорогѣ?

— Извѣстно, какъ самоубійцъ хоронять.

— Господи! все барышни были — и вдругъ сами на себя ручку наложили... Какъ же это такъ?

— Да, сперва „были барышни“, а потомъ отравились—только и всего. А я вотъ струсила, жить захотѣла! къ вамъ вотъ пріѣхала! Не надолго, не пугайтесь... умру!

Евпраксеюшка глядѣла на нее во всѣ глаза, словно не понимала.

— Что на меня глядите? хороша? Ну, какová есть... А впрочемъ, послѣ объ этомъ... послѣ... Теперь велите-ка ямщика расчитать да дядю предупредить.

Говоря это, она вынула изъ кармана старенькій портмонé и достала оттуда двѣ желтенькихъ бумажки.

— А вотъ и имущество мое!—прибавила она, указывая на жиденекій чемоданъ:—тутъ все: и родовое, и благопріобрѣтенное! Иззябла я, Евпраксеюшка, очень иззябла! Вся я больна, ни одной косточки во мнѣ небольшой нѣтъ, а тутъ, какъ нарочно, холодище... Ёду, да объ одномъ только думаю: вотъ доберусь до Головлева, такъ хоть умру въ теплѣ! Водки бы мнѣ... есть у васъ?

— Да вы бы, барышня, чайку лучше; самоваръ сейчасъ будетъ готовъ.

— Нѣтъ, чай—потомъ, а теперь водки бы... Вы дядѣ, впрочемъ, не сказывайте объ водкѣ-то покуда... Все само собой послѣ увидится.

Покамѣстъ въ столовой накрывали къ чаю, явился и Порфирій Владимырьчъ. Въ свою очередь, и Аннинька съ изумленіемъ встрѣтилась съ нимъ: до такой степени онъ похудѣлъ, выпвѣлъ и задичалъ. Онъ обошелся съ Аннинькой какъ-то странно: не то чтобы прямо холодно, а какъ будто



ему до нея совѣмъ дѣла нѣтъ. Говорилъ мало, вынужденно, точно актеръ, съ трудомъ припоминающій фразы изъ давнишнихъ ролей. Вообще, былъ разсѣянъ, какъ будто въ головѣ его въ это время шла совѣмъ другая и очень важная работа, отъ которой его досаднымъ образомъ оторвали по пустякамъ.

— Ну, вотъ ты и пріѣхала! — сказала онъ: — чего хочешь? чаю? кофейю? распорядись!

Въ прежнее время, при родственныхъ свиданіяхъ, роль чувствительнаго человѣка обыкновенно разыгрывалъ Іудушка; но на этотъ разъ расчувствовалась Аннинька, и расчувствовалась вѣдливо. Должно быть, очень у нея наболѣло внутри, потому что она бросилась къ Порфирію Владимірычу на грудь и крѣпко его обняла.

— Дядя! я къ вамъ! — крикнула она, и вдругъ залилась слезами.

— Ну, что-жъ! милости просимъ! комнатъ у меня довольно — живи!

— Больна я, дяденька! очень, очень больна!

— А больна, такъ Богу молиться надо! Я и самъ, когда боленъ — все молитвой лечусь!

— Умирать я пріѣхала къ вамъ, дядя!

Порфирій Владимірычъ испытующимъ окомъ взглянулъ на нее, и чуть замѣтная усмѣшка скользнула по его губамъ.

— Доигралась? — произнесъ онъ чуть слышно, почти про себя.

— Да, доигралась. Любинька — та „доигралась“ и умерла, а я вотъ... живу!

При извѣстіи о смерти Любиньки Іудушка набожно покрестился и молитвенно пошепталъ. Аннинька между тѣмъ сѣла къ столу, облокотилась и, смотря въ сторону церкви, продолжала горько плакать.

— Вотъ плакать и отчаиваться — это грѣхъ! — учительно замѣтилъ Порфирій Владимірычъ: — по-христіански-то знаешь ли, какъ надо? не плакать, а покоряться и уповать — вотъ какъ по-христіански надлежить!

Но Аннинька откинулась на спинку стула и, тоскливо повѣсивъ руки, повторяла:

— Ахъ, ужъ и не знаю! не знаю, не знаю, не знаю!

— Ежели ты объ сестрицѣ такъ убиваешься — такъ и это грѣхъ! — продолжалъ между тѣмъ поучать Іудушка: — потому что хотя и похвально любить сестрицъ и братцевъ, однако если Богу угодно одного изъ нихъ или даже и нѣсколькихъ призвать къ себѣ...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! вы, дядя, добрый? добрый вы? скажите! — Аннинька опять бросилась къ нему и обняла.

— Ну, добрый, добрый! ну, говори! хочется чего-нибудь? закусочки? чайку, кофейку! требуй! распорядись!

Аннинькѣ вдругъ вспомнилось, какъ въ первый пріѣздъ ея въ Головлево дяденька спрашивалъ: „телятинки хочется? поросеночка? картофельцу?“ — и она поняла, что никакого другого утѣшенія ей здѣсь не сыскать.

— Благодарю васъ, дядя, — сказала она, снова присаживаясь къ столу: — ничего особеннаго мнѣ не нужно. Я заранѣе увѣрена, что буду всею довольна.

— А будешь довольна, такъ и слава Богу! Въ Погорѣлку-то поѣдешь, что-ли?

— Нѣтъ, дядя, я покажѣть у васъ поживу. Вѣдь вы ничего не имѣете противъ этого?

— Христось съ тобой! живи! Ежели я и спросилъ про Погорѣлку, такъ потому, что на случай поѣздки распоряженіе нужно сдѣлать: кибиточку, лошадушекъ.

— Нѣтъ! послѣ! послѣ!

— И прекрасно. Когда-нибудь послѣ съѣдшишь, а покудова съ нами поживи. По хозяйству поможешь — я вѣдь одинъ! Краля-то эта — Гудушка почти съ ненавистью указаль на Евпраксеюшку, разливавшую чай: — все по людскимъ рыскаетъ, такъ иной разъ и не докличешься никого, весь домъ пустой! Ну, а покажѣть прощай. Я къ себѣ пойду. И помолюсь, и дѣломъ займусь, и опять помолюсь... такъ-то, другъ! Давно ли Любинька-то скончалась?

— Да съ мѣсяцъ, дядя.

— Такъ мы завтра ранехонько къ обѣденкѣ сходимъ, да кстати и панихидку по новопреставившейся рабѣ божіей Любви отслужимъ... Такъ прощай покуда! Кушай-ко чай-то, а ежели закусочки захочется съ дорожки, и закусочки подать вели. А въ обѣдъ опять увидимся. Поговоримъ, побесѣдуемъ; коли нужно что — распорядимся, а не нужно — и такъ посидимъ!

Такъ произошло это первое родственное свиданіе. Съ окончаніемъ его Аннинька вступила въ новую жизнь въ томъ самомъ постыломъ Головлевѣ, изъ котораго она ужъ дважды въ теченіе своей недолгой жизни не знала, какъ вырваться.

Аннинька пошла подъ гору очень быстро. Вызванное головлевской поѣздкой (послѣ смерти бабушки Арины Петровны) сознаніе, что она „барышня“, что у нея есть свое гнѣздо и свои могилы, что не все въ ея жизни исчерпывается вонью и гвалтомъ гостинницъ и постоялыхъ дворовъ, что есть наконецъ убѣжище, въ которомъ ее не настигнутъ подлѣя дыханья, зараженные запахомъ вина и конюшни, куда не ворвется тотъ „усатый“, съ охрипшимъ отъ перепоя голосомъ и воспаленными глазами (ахъ, что онъ ей говорилъ! какіе жесты въ ея присутствіи дѣлалъ!) — это сознаніе улетучилось почти сейчасъ велѣдъ за тѣмъ, какъ только пропало изъ вида Головлево.

Аннинька отправилась въ ту пору изъ Головлева прямо въ Москву и начала хлопотать, чтобъ ее и сестру приняли на казенную сцену. Съ этой цѣлью она обращалась и къ маман, директрисѣ института, въ которомъ она воспитывалась, и къ нѣкоторымъ институтскимъ товаркамъ. Но вездѣ ее принимали какъ-то странно. Маман, отнесшаяся къ ней въ первую минуту довольно радушно, какъ только узнала, что она играетъ въ провинціальномъ театрѣ, вдругъ перемѣнила благосклонное выраженіе лица на важное и строгое, а товарки, большею частью замужнія женщины, взглянули на нее съ такимъ нахальнымъ изумленіемъ, что она просто-на-просто струсила. Только одна, болѣе добродушная, нежели другія, желая показать участіе, спросила:

— А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одѣваетесь въ уборныхъ, то вамъ стягиваютъ корсеты офицеры?



Однимъ словомъ, ея попытки утвердиться въ Москвѣ такъ и остались попытками. Надо, впрочемъ, сказать правду, что и настоящихъ задатковъ она для успѣха на столичной сценѣ не имѣла. И она, и Любинька принадлежали къ числу тѣхъ бойкихъ, но не особенно даровитыхъ актрисъ, которыя всю жизнь играютъ одну и ту же роль. Аннинькѣ удалась „Перикола“, Любинькѣ— „Анютинны глазки“ и „Полковникъ старыхъ временъ“. И затѣмъ, за чтѣ бы онѣ не принимались—вездѣ выходили „Периколы“ и „Анютинны глазки“, а въ большинствѣ случаевъ, пожалуй, и совсѣмъ ничего не выходило. Приходилось Аннинькѣ играть и „Прекрасную Елену“ (по обязанностямъ службы даже и часто); она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парикъ, дѣлала въ туникѣ разрѣзъ до самаго пояса, но и за всѣмъ тѣмъ выходило посредственно, вяло, даже нецинично. Отъ „Елены“ она перешла къ „Отрывкамъ изъ герцогини Герольштейнской, и такъ какъ тутъ къ безцвѣтной игрѣ прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсѣмъ глупое. Наконецъ взялась играть Клеретту въ „Дочери Рынка“, но здѣсь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и непривычнымъ провинціальнымъ зрителямъ показалось, что по сценѣ мечется даже не актриса, желающая „угодить“, а просто какая-то непристойная лахань. Вообще объ Аннинькѣ составила репутація, что она актриса проворная, обладающая недурнымъ голосомъ, а такъ какъ при этомъ у нея была красивая внѣшность, то въ провинціи она могла, пожалуй, дѣлать сборы. Но и только. Заставить говорить объ себѣ она не могла и никакой опредѣленной фізіономіи не имѣла. Даже въ средѣ провинціальной публики ея партію составляли исключительно служители всѣхъ родовъ оружія, главная претензія которыхъ заключалась въ томъ, чтобы имѣть свободный входъ за кулисы. Въ столицѣ же она была мыслима не иначе, какъ навязанная очень сильнымъ покровительствомъ, но и за всѣмъ тѣмъ отъ публики она навѣрное заслужила бы только незавидное прозвище „арфистки“.

Приходилось возвращаться въ провинцію. Въ Москвѣ Аннинька получила отъ Любиньки письмо, изъ котораго узнала, что ихъ труппа перекочевала изъ Кречетова въ губернскій городъ Самоваровъ, чему она, Любинька, очень рада, потому что подружилась съ однимъ самоваровскимъ земскимъ дѣятелемъ, который до того увлекся ею, что „готовъ, кажется, земскія деньги украсть“, лишь бы выполнить все, чтѣ она ни пожелаетъ. И дѣйствительно, пріѣхавши въ Самоваровъ, Аннинька застала сестру среди роскошной сравнительно обстановки и легкомысленно рѣшившею бросить сцену. Въ минуту пріѣзда у Любиньки находился и „другъ“ ея, земскій дѣятель Гаврило Степановичъ Люлькинъ. Это былъ отставной гусарскій штабсъ-ротмистръ, еще недавно belhomme, но теперь уже слегка отяжелѣвшій. Лицо у него было благородное, манеры благородныя, образъ мыслей благородный, но въ то же время все вмѣстѣ взятое внушало увѣренность, что человѣкъ этотъ отнюдь не обратится въ бѣгство передъ земскимъ ящикомъ. Любинька приняла сестру съ распростертыми объятіями и объявила, что въ ея квартирѣ для нея приготовлена комната.

Но подъ вліяніемъ недавней поѣздки въ „свое мѣсто“ Аннинька разсер-

дилась. Между сестрами завязался горячій разговоръ, а потомъ произошла и размолвка. Невольно вспомнилось при этомъ Аннинькѣ, какъ воплинскій батюшка говорилъ, что трудно въ актерскомъ званіи „сокровище“ соблюсти.

Аннинька поселилась въ гостинницѣ и прекратила всякія сношенія съ сестрой. Прошла Святая; на Оминой начались спектакли, и Аннинька узнала, что на мѣсто сестры уже выписана изъ Казани дѣвица Налимова, актриса неважная, но за то совершенно безпрепятственная въ смыслѣ тѣлодвиженій. По обыкновенію Аннинька вышла передъ публикой въ „Периколѣ“ и привела самоваровскихъ обывателей въ восторгъ. Возвратившись въ гостинницу, она нашла въ своемъ нумерѣ пакетъ, въ которомъ оказались сто-рублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: „А въ случаѣ чего, и еще столько же. Купецъ, торгующій моднымъ товаромъ, Кукишевъ“. Аннинька разсердилась и пошла жаловаться хозяину гостинницы, но хозяинъ объявилъ, что у Кукишева такое ужъ „обнаковеніе“, чтобъ всѣхъ актрисъ съ пріѣздомъ поздравлять, а впрочемъ-де онъ человѣкъ смирный и обижаться на него не стоитъ. Слѣдуя этому совѣту, Аннинька запечатала въ конвертъ письмо и деньги и, возвративъ на другой день все по принадлежности, успокоилась.

Но Кукишевъ оказался болѣе упорнымъ, нежели какъ объ немъ отзывался хозяинъ гостинницы. Онъ считалъ себя въ числѣ друзей Люлькина и находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ къ Любинькѣ. Человѣкъ онъ былъ состоятельный и сверхъ того, подобно Люлькину, въ качествѣ члена городской управы, состоялъ въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ относительно городского ящика. И при семъ, подобно тому же Люлькину, обладалъ неустрашимостью. Наружность онъ имѣлъ, съ гостинодворской точки зрѣнія, обольстительную. А именно, напоминалъ того жука, котораго, по словамъ пѣсни, выѣсто ягодъ, нашла въ полѣ Маша:

Жука чернаго съ усами  
И съ курчавой головой,  
Съ чернобурими бровями—  
Настоящій милый мой!

Затѣмъ, заручившись такою наружностью, онъ тѣмъ болѣе считалъ себя вправѣ дерзать, что Любинька прямо общала ему свое содѣйствіе.

Вообще Любинька повидимому окончательна сожгла свои корабли, и объ ней ходили самые непріятные для сестрина самолюбія слухи. Говорили, что каждый вечеръ у нея собирается кутежная ватага, которая ужинаетъ съ полуночи до утра. Что Любинька предсѣдаетъ въ этой компаніи и, представляя изъ себя „цыганку“, полураздѣтая (при этомъ Люлькинь, обращаясь къ пьянымъ друзьямъ, восклицалъ: „посмотрите! вотъ это такъ грудь!“), съ распушенными волосами и съ гитарой въ рукахъ, поетъ:

Ахъ, какъ было мнѣ пріятно  
Съ этимъ милымъ усачомъ!

Аннинька слушала эти рассказы и волновалась. И что всего болѣе изумляло ее — это то, что Любинька поетъ романсъ объ усачѣ на цыганскій манеръ: точъ въ точъ какъ московская Матреша! Аннинька всегда отдавала



полную справедливость Любинькѣ, и еслибъ ей сказали, напримѣръ, что Любинька „неподражаемо“ поетъ куплеты изъ „Полковника старыхъ временъ“ — она, разумѣется, нашла бы это совершенно натуральнымъ и охотно повѣрила бы. Да этому нельзя было и не вѣрить, потому что и курская, и тамбовская, и пензенская публика до сихъ поръ помнятъ, съ какою неподражаемою наивностью Любинька своимъ маленькимъ голоскомъ заявляла о желаніи быть *подполковникомъ*... Но чтобы Любинька могла пѣть по-цыгански, на манеръ Матрешы — это извините-сь! это — ложь-сь! Вотъ она, Аннинька, *можетъ* такъ пѣть — это несомнѣнно. Это ея жанръ, это ея амплуа, и весь Курскъ, видѣвшій ее въ пьесѣ „Русскіе романы въ лицахъ“, охотно засвидѣтельствуетъ, что она „можетъ“.

И Аннинька брала въ руки гитару, перекидывала черезъ плечо положатую перевязь, садилась на стулъ, клала ногу на ногу, и начинала: „и-эхъ! и-ахъ!“ И дѣйствительно: выходило именно, точка въ точку, такъ, какъ у цыганки Матрешы.

Какъ бы то ни было, но Любинька роскошничала, а Люлькинь, чтобы не омрачить картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, повидимому уже приступилъ къ позимствованіямъ изъ земскаго ящика. Не говоря о массѣ шампанскаго, которая всякую ночь выпивалась и выливалась на полъ въ квартирѣ Любиньки, она сама дѣлалась съ каждымъ днемъ капризницею и требовательницею. Явились на сцену сперва выписанныя изъ Москвы платья отъ m-me Минангуа, а потомъ и брилліанты отъ Фюльда. Любинька была разсчетлива и не пренебрегала цѣнностями. Пьяная жизнь — сама по себѣ, а золото и камешки, въ особенности выигрышные билеты — сами по себѣ. Во всякомъ случаѣ жилось не то чтобы весело, а буйно, безпардонно, изъ утара въ угаръ. Одно было непріятно: оказывалось нужнымъ заслуживать благосклонное вниманіе господина полиціѣмейстера, который хотя и принадлежалъ къ числу друзей Люлькина, но иногда любилъ дать почувствовать, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ власть. Любинька всегда угадывала, когда полиціѣмейстеръ бывалъ недоволенъ ея угощеніемъ, потому что въ такихъ случаяхъ къ ней являлся на другой день утромъ частный приставъ и требовалъ паспортъ. И она покорялась: утромъ подавала частному приставу закуску и водку, а вечеромъ собственноручно дѣлала для господина полиціѣмейстера какой-то „шведскій“ пуншъ, до котораго онъ былъ большой охотникъ.

Кукишевъ видѣлъ это разливанное море и старалъ отъ зависти. Ему захотѣлось, во что бы ни стало, имѣть точно такой же вѣзжій домъ и точъ въ точъ такую же „краву“. Тогда можно было бы и время разнообразіе проводить: сегодня ночь — у Люлькинской „крави“, завтра ночь — у его, Кукишева, „крави“. Это была его завѣтная мечта, мечта глупаго человѣка, который чѣмъ глупѣе, тѣмъ упорнѣе въ достиженіи своихъ цѣлей. И самую подходящую личность для осуществленія этой мечты представлялась Аннинька.

Однакожъ Аннинька не сдавалась. До сихъ поръ кровь еще не говорила въ ней, хотя она имѣла много поклонниковъ и не стѣснялась въ обращеніи съ ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить мѣстнаго трагика, Милославскаго 10-го, который и въ свою очередь,

новидимому, сгараль къ ней страстью. Но Милославскій 10-й былъ такъ глупъ и притомъ такъ упорно нетрезвъ, что ни разу ничего ей не высказалъ, а только таращилъ глаза и какъ-то нелѣпо икалъ, когда она проходила мимо. Такъ эта любовь и заглохла въ самомъ зачаткѣ. На всѣхъ же остальныхъ поклонниковъ Аннинька просто смотрѣла какъ на неизбѣжную обстановку, на которую провинціальная актриса осуждена самыми условіями своего ремесла. Она покорялась этимъ условіямъ, пользовалась тѣми маленькими льготами (рукоплесканія, букеты, катанья на тройкахъ, пикники и проч.), которыми они ей предоставляли, но дальше этого, такъ сказать, вишняго распутства, не шла.

Такъ поступила она и теперь. Въ продолженіе цѣлаго лѣта она неуклонно пребывала на стезѣ добродѣтели, ревниво ограждая свое „сокровище“ и какъ бы желая заочно доказать воплинскому батюшкѣ, что и въ средѣ актрисъ встрѣчаются личности, которымъ не чуждо геройство. Однажды она даже рѣшилась пожаловаться на Кукишева начальнику края, который благосклонно ее выслушалъ и за геройство похвалилъ, рекомендовавъ и на будущее время пребывать въ ономъ. Но вмѣстѣ съ симъ, увидѣвъ въ ея жалобѣ лишь предлогъ для косвеннаго нападенія на его собственную, начальника края, персону, изволилъ присовокупить, что, истративъ силы въ борьбѣ съ внутренними врагами, не имѣетъ твердаго основанія полагать, чтобы онъ могъ быть въ требуемомъ смыслѣ полезнымъ. Выслушавъ это, Аннинька покраснѣла и ушла.

Между тѣмъ Кукишевъ дѣйствовалъ такъ ловко, что успѣлъ заинтересовать въ своихъ домогательствахъ и публику. Публика какъ-то вдругъ догадалась, что Кукишевъ правъ, и что дѣвица Погорѣльская 1-я (такъ она печаталась въ афишахъ) не Богъ вѣсть какая „фря“, чтобы разыгрывать изъ себя нестрогу. Образовалась цѣлая партія, которая поставила себѣ задачей обуздать строптивую выскочку. Началось съ того, что закулисные за-всегдатая стали обѣгать ея уборную и свили себѣ гнѣздо по сосѣдству, въ уборной дѣвицы Налимовой. Потомъ—не выказывая, впрочемъ, прямо враждебныхъ дѣйствій—начали принимать дѣвицу Погорѣльскую, при ея выходахъ, съ такою убійственною воздержностью, какъ будто на сцену появился не первый сюжетъ, а какой-нибудь оглашенный статистъ. Наконецъ настояли на томъ, чтобы антрепренеръ отобралъ у Анниньки нѣкоторыя роли и отдалъ ихъ Налимовой. И что еще любопытнѣе—во всей этой подпольной интригѣ самое дѣятельное участіе принимала Любинька, у которой Налимова состояла на правахъ напереницы.

Къ осени Аннинька съ изумленіемъ увидѣла, что ее заставляютъ играть Ореста въ „Прекрасной Еленѣ“, и что изъ прежнихъ первыхъ ролей за ней оставлена только Перикола, да и то потому, что сама дѣвица Налимова не рѣшилась соперничать съ нею въ этой пьесѣ. Сверхъ того, антрепренеръ объявилъ ей, что, въ виду охлажденія къ ней публики, жалованье ея сокращается до 75 рублей въ мѣсяцъ съ однимъ полубенефисомъ въ теченіе года.

Аннинька струсила, потому что при такомъ жалованьи ей приходилось переходить изъ гостинницы на постоялый дворъ. Она написала письма къ двумъ-тремъ антрепренерамъ, предлагая свои услуги, но отовсюду получила



отвѣтъ, что нынче и безъ того отъ Периколъ отбою нѣтъ, а такъ какъ-сверхъ того, изъ достовѣрныхъ источниковъ сдѣлалось извѣстно объ ея строптивости, то и тѣмъ больше надеждъ на успѣхъ не предвидится.

Аннинька проживала послѣднія запасныя деньги. Еще недѣля — и ей не миновать было постоялаго двора, наравнѣ съ дѣвицей Хорошавиной, игравшей Пароенису и пользовавшейся покровительствомъ квартальнаго надзирателя. На нее начало находить что-то въ родѣ отчаянія, тѣмъ больше, что въ ея нумеръ каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержанія: „Перикола! покорись! Твой Кукишевъ“. И вотъ, въ эту тяжелую минуту къ ней совѣмъ неожиданно ворвалась Любинька.

— Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь? — спросила она кратко.

Аннинька оторопѣла. Прежде всего ее поразило, что и воплинскій батюшка, и Любинька въ одинаковомъ смыслѣ употребляютъ слово „сокровище“. Только батюшка видитъ въ сокровищѣ „основу“, а Любинька смотритъ на него какъ на пустое дѣло, отъ котораго, впрочемъ, „подлецы-мужчины“ способны доходить до одурѣнія.

Затѣмъ она невольно спросила себя: что такое, въ самомъ дѣлѣ, это сокровище? дѣйствительно ли оно сокровище и стоитъ ли беречь его? — и увы! — не нашла на этотъ вопросъ удовлетворительнаго отвѣта. Съ одной стороны, какъ будто совѣстно остаться безъ сокровища, а съ другой... ахъ, чортъ побери! да неужели же весь смыслъ, вся заслуга жизни въ томъ только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище?

— Я въ полгода успѣла тридцать выигрышныхъ билетовъ скопить, — продолжала между тѣмъ Любинька: — да вещей сколько... Посмотри, какое на мнѣ платье!

Любинька повернулась кругомъ, обдернулась сперва спереди, потомъ сзади и дала себя осмотрѣть со всѣхъ сторонъ. Платье было дѣйствительно и дорогое, и изумительно сшитое: прямо отъ Минангуа изъ Москвы.

— Кукишевъ — добрый, — опять начала Любинька: — онъ тебя какъ куколку вырядить, да и денегъ дать. Театръ-то можно будетъ и по боку... достаточно!

— Никогда! — горячо вскрикнула Аннинька, которая еще не забыла словъ: „святое искусство!“

— Можно и остаться, если хочешь. Старшій окладъ опять получишь, впереди Налимовой пойдешь.

Аннинька молчала.

— Ну, прощай. Меня внизу ждутъ наши. И Кукишевъ тамъ. Ыдемъ? Но Аннинька продолжала молчать.

— Ну, подумай, коли есть надъ чѣмъ думать... А когда надумаешь — приходи. Прощай!

17-го сентября, въ день Любинькиныхъ именинъ, афиша самоварновскаго театра возвѣщала *экстраординарное* представленіе. Аннинька явилась вновь въ роли „Прекрасной Елены“, и въ тотъ же вечеръ, „на сей только разъ“, роль Ореста выполнила дѣвица Потгорѣльская 2-я, то-есть Любинька. Къ довершенію торжества, и тоже „на сей только разъ“, дѣвицу Налимову

одѣли въ трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили желѣзнымъ листомъ и выпустили на сцену въ роли кузнеца Клеона. Въ виду всего этого и публика была какъ-то восторженно настроена. Едва показалась изъ-за кулис Аннинька, какъ ее встрѣтилъ такой гвалтъ, что она, совѣмъ уже отвыкшая отъ овацій, почувствовала, что къ ея горлу подступаютъ рыданія. А когда, въ третьемъ актѣ, въ сценѣ ночного пробужденія, она встала съ кушетки почти обнаженная, то въ залѣ поднялся въ полномъ смѣслѣ слова стонъ. Такъ что одинъ черзчуръ наэлектризованный зритель крикнулъ появившемуся въ дверяхъ Менелаю: „да уйди ты, постылый чловѣкъ, вонъ!“ Аннинька поняла, что публика простила ее. Съ своей стороны, Кукишевъ, во фракѣ, въ бѣломъ галстукѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, съ достоинствомъ заявлялъ о своемъ торжествѣ и въ антрактахъ поилъ въ буфетѣ шампанскимъ знакомыхъ и незнакомыхъ. Наконецъ и антрепренеръ театра, преисполненный ликованія, явился въ уборную Анниньки и, вставъ на колѣна, сказалъ:

— Ну, вотъ, барышня, теперь—вы пайнька! И потому съ нынѣшняго же вечера, по прежнему, переводитесь на высшій окладъ съ соотвѣтствующимъ числомъ бенефисовъ-съ!

Однимъ словомъ, всѣ ее хвалили, всѣ поздравляли и заявляли о сочувствіи, такъ что она и сама, сначала робѣвшая и какъ бы не находившая мѣста отъ гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убѣжденіемъ, что она... выполнила свою миссію!

Послѣ спектакля всѣ отправились къ иманинницѣ, и тутъ поздравленія усугубились. Въ квартирѣ Любиньки собралась такая толпа и сразу такъ надымилъ табакъ, что трудно было дышать. Сейчасъ же сѣли за ужинъ и полилось шампанское. Кукишевъ ни на шагъ не отходилъ отъ Анниньки, которая повидимому была слегка смущена, но въ то же время уже не тяготилась этимъ ухаживаніемъ. Ей казалось немножко смѣшно, но и лестно, что она такъ легко приобрѣла себѣ этого рослаго и сильнаго купчину, который шутя можетъ подкову согнуть и разогнуть, и которому она можетъ все приказать, и чтѣ захочетъ, то съ нимъ и сдѣлаетъ. За ужиномъ началось общее веселье, то пьяное, безпорядочное веселье, въ которомъ не принимаютъ участія ни умъ, ни сердце и отъ котораго на другой день болитъ голова и ощущаются позывы на тошноту. Только одинъ изъ присутствующихъ, трагикъ Милославскій 10-й, глядѣлъ угрюмо и, уклоняясь отъ шампанскаго, рюмка за рюмкой хлопалъ водку-простеца. Что касается до Анниньки, то она нѣкоторое время воздерживалась отъ „упоенія“; но Кукишевъ былъ такъ настоятеленъ и такъ жалко умолялъ на колѣняхъ: „Анна Семеновна! за вами дѣбетъ-съ (debet)! Позвольте просить-съ! за наше блаженство-съ! совѣтъ да любовь-съ! Сдѣлайте ваше одолженіе-съ!“ — что ей хоть и досадно было видѣть его глупую фигуру и слушать его глупыя рѣчи, но она все-таки не могла отказаться, и не успѣла опомниться, какъ у нея закружилась голова. Любинька, съ своей стороны, была такъ великодушна, что сама предложила Аннинькѣ спѣть: „Ахъ, какъ было мнѣ пріятно съ этимъ милымъ усачомъ“, чтѣ послѣдняя и выполнила съ такимъ совершенствомъ, что всѣ воскликнули: „вотъ это такъ ужъ точно... по Матрешкиному!“



Взамѣнъ того Любинька мастерски спѣла куплеты о томъ, какъ пріятно быть подполковникомъ, и всѣхъ сразу убѣдила, что это настоящій ея жанръ, въ которомъ у нея точно такъ же нѣтъ соперницъ, какъ у Анниньки — въ пѣсняхъ съ цыганскимъ подшибомъ. Въ заключеніе Милославскій 10-й и дѣвица Налимова представили „сцену-маскарадъ“, въ которой трагикъ декламировалъ отрывки изъ „Уголино“ („Уголино“, трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, соч. Н. Полевого), а Налимова подавала ему реплики изъ неизданной трагедіи Баркова. Выходило нѣчто до такой степени неожиданное, что дѣвица Налимова чуть-чуть не затмила дѣвицъ Погорѣльскихъ и не сдѣлалась героинею вечера.

Было уже почти свѣтло, когда Кукишевъ, оставивши дорогую имяниницу, усаживалъ Анниньку въ коляску. Благочестивые мѣщане возвращались отъ заутрени и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся дѣвицу Погорѣльскую 1-ю, угрюмо ворчали:

— Люди изъ церкви идутъ, а они вино жрутъ... пропасти на васъ нѣтъ!

Отъ сестры Аннинька отправилась уже не въ гостиницу, а на *свою* квартиру, маленькую, но уютную и очень мило отдѣланную. Туда же, слѣдомъ за ней, вошелъ и Кукишевъ.

Вся зима прошла въ какомъ-то неслыханномъ чадѣ. Аннинька окончательно закружилась, и ежели по временамъ вспоминала объ „сокровищѣ“, то только для того, чтобы сейчасъ же мысленно присовокупить: „какая я, однакожь, была дура!“ Кукишевъ, подъ вліяніемъ гордаго сознанія, что его идея насчетъ „крали“ равнаго достоинства съ Любинькой осуществилась, не только не жалѣлъ денегъ, но, подстрекаемый соревнованіемъ, выписывалъ непременно два наряда, когда Люлькинъ выписывалъ только одинъ, и ставилъ двѣ дюжины шампанскаго, когда Люлькинъ ставилъ одну. Даже Любинька начала завидовать сестрѣ, потому что послѣдняя успѣла за зиму накопить сорокъ выигрышныхъ билетовъ, кромѣ порядочнаго количества золотыхъ бездѣлушекъ съ камешками и безъ камешковъ. Онѣ, впрочемъ, опять сдружились и рѣшили все накопленное хранить сообща. При этомъ Аннинька все еще о чемъ-то мечтала и въ интимной бесѣдѣ съ сестрой говорила:

— Когда *все это* кончится, то мы поѣдемъ въ Погорѣлку. У насъ будутъ деньги, и мы начнемъ хозяйничать.

На что Любинька очень цинично возражала:

— А ты думаешь, что *это* когда-нибудь кончится... дура!

На несчастье Анниньки, у Кукишева явилась новая „идея“, которую онъ началъ преслѣдовать съ обычнымъ упорствомъ. Какъ человѣку неразвитому и притомъ несомнѣнно неумному, ему казалось, что онъ очутится наверху блаженства, если его „краля“ будетъ „дѣлать ему акомпаниментъ“, т. е. вмѣстѣ съ нимъ станетъ пить водку.

— Хлопнете-съ! вмѣстѣ-съ! по одной-съ! — приставалъ онъ къ ней безпрестанно (онъ всегда говорилъ Аннинькѣ „вы“, во-первыхъ, цѣня въ ней дворянское званіе и, во-вторыхъ, желая показать, что и онъ не даромъ жилъ „въ мальчикахъ“ въ московскомъ гостиномъ дворѣ).

Аннинька нѣкоторое время отпѣкивалась, ссылаясь на то, что и Люлькинъ никогда не заставлялъ Любиньку пить водку.

— Однакожь онѣ изъ любви къ господину Люлькину, все-таки, кушаютъ-съ! — возразилъ Кукишевъ: — да и позвольте вамъ доложить, краличка-съ, развѣ намъ господа Люлькины образецъ-съ? Они—Люлькины-съ, а мы съ вами — Кукишевы-съ! Отъ того мы и хлопнемъ по нашему-съ, по Кукишевски-съ!

Однимъ словомъ, Кукишевъ настоялъ. Однажды Аннинька приняла изъ рукъ своего возлюбленнаго рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разомъ опрокинула ее въ горло. Разумѣется, не взвидѣла свѣта, поперхнулась, закашлялась, закружилась и этимъ привела Кукишева въ неистовый восторгъ.

— Позвольте вамъ доложить, краличка! вы не такъ кушаете-съ! вы слишкомъ ужъ скоро-съ! — поучаль онъ ее, когда она немного успокоилась: — пальчикъ (такъ называлъ онъ рюмку) слѣдуетъ держать въ ручкахъ вотъ какъ-съ! Потомъ поднести къ устамъ, и не торопясь: разъ, два, три... Господи баславй!

И онъ спокойно и серьезно опрокинулъ рюмку въ горло, точно вылилъ содержаніе ея въ лаханъ. Даже не поморщился, а только взялъ съ тарелки миниатюрный кусочекъ чернаго хлѣба, обмакнулъ въ солонку и пожевалъ.

Такимъ образомъ Кукишевъ добился осуществленія и второй своей „идеи“, и началъ ужъ помышлять о томъ, какую бы такую новую „идею“ выдумать, чтобы господамъ Люлькинымъ въ носъ бросилось. И, разумѣется, выдумалъ.

— Знаете ли что-съ? — вдругъ объявилъ онъ: — ужъ, какъ лѣто наступить, отправимтесь-ка мы съ господами Люлькиными за компанію ко мнѣ на мельницу-съ, возьмемъ съ собою сакваяжъ-съ (такъ называлъ онъ коробокъ съ виномъ и закуской) и искупаемся въ рѣчкѣ-съ съ обоюднаго промежду себя согласія-съ!

— Ну, ужъ этому-то никогда не бывать! — возражала съ негодованіемъ Аннинька.

— Отчего такъ-съ? Сначала искупаемся-съ, потомъ чуточку хлопнемъ-съ, а потомъ немного проклажѣ и опять искупаемся-съ! Расчудесное будетъ дѣло-съ!

Неизвѣстно, осуществилась ли эта новая „идея“ Кукишева, но извѣстно, что цѣлый годъ длился этотъ пьяный угаръ, и въ продолженіе этого времени ни городская управа, ни земская таковая жъ не обнаружили ни малѣйшаго безпокойства относительно господъ Кукишева и Люлькина. Люлькины впрочемъ ѣздили, для вида, въ Москву и, воротившись, сказывалъ, что продалъ на срубъ лѣсъ, а когда ему напомнили, что онъ ужъ четыре года тому назадъ, когда жилъ съ цыганкой Домашкой, продалъ лѣсъ, то онъ возражалъ, что тогда онъ сбылъ урочище Дрыгаловское, а теперь пустошь Дашкину-Стыдобушку. Причемъ, для приданія своему разсказу бѣльшаго вѣроятія, присовокупилъ, что проданная пустошь была такъ названа потому, что при крѣпостномъ правѣ въ этомъ лѣсу „застали“ дѣвку Дашку и тутъ же на мѣстѣ наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то онъ, для отвода глазъ, распускалъ подъ рукою слухъ, что безпошлинно привезъ изъ-за границы въ карандашахъ партію кружевъ, и этою операціей нажилъ хорошій барышъ.

Тѣмъ не менѣе въ сентябрѣ слѣдующаго года полиціймейстеръ попро-



силъ у Кукишева заимообразно тысячу рублей, и Кукишевъ имѣлъ неблаго-разуміе отказать. Тогда полиціймейстеръ началъ о чемъ-то перешептываться съ товарищемъ прокурора („оба у меня шампанское каждый вечеръ лакали!“ показывалъ впослѣдствіи на судѣ Кукишевъ). И вотъ, 17-го сентября, въ годовщину Кукишевскихъ „любвей“, когда онъ, вмѣстѣ съ прочими, вновь праздновалъ именины Любиньки, прибѣжалъ гласный изъ городской управы и объявилъ Кукишеву, что въ управѣ собралось присутствіе и составляется протоколъ.

— Стало быть, „дюбѣтъ“ нашли? — довольно развязно воскликнулъ Кукишевъ и безъ дальнихъ разговоровъ послѣдовалъ за посланнымъ въ управу, а оттуда въ острогъ.

На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали въ казначейство за денежнымъ ящикомъ, считали, пересчитывали, но какъ ни хлопали на счетахъ, а въ концѣ концовъ оказалось, что и тутъ „дюбѣтъ“. Люлькинъ присутствовалъ при ревизіи, блѣдный, угрюмый, но... благородный! Когда „дюбѣтъ“ обнаружился вполне осязательно и члены, каждый про себя, обсуждали, какое Дрыгаловское урочище придется каждому изъ нихъ продавать для пополненія растраты, Люлькинъ подошелъ къ окну, вынулъ изъ кармана револьверъ и тутъ же всадилъ себѣ пулю въ високъ.

Много говору надѣлало въ городѣ это происшествіе. Судили и сравнивали. Люлькина жалѣли, говорили: „по крайней мѣрѣ благородно покончилъ!“ Объ Кукишевѣ отзывались: „аршинникомъ родился, аршинникомъ и умереть“. А объ Аннинькѣ и Любинькѣ говорили прямо, что это — „онѣ“, что это — „изъ-за нихъ“, и что ихъ тоже не мѣшало бы засадить въ острогъ, чтобы подобнымъ прощальнымъ въпредъ неповадно было.

Слѣдователь, однакожъ, не засадилъ ихъ въ острогъ, но за то такъ настрашалъ, что онѣ совсѣмъ растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые пріятельски совѣтовали припрятать что поцѣннѣе, но онѣ слушали и ничего не понимали. Благодаря этому, адвокатъ истцовъ (обѣ управы наняли одного и того же адвоката), отважный малый, въ видахъ обезпеченія исковъ, явился, въ сопровожденіи судебного пристава, къ сестрамъ, и все, что нашелъ, описалъ и опечаталъ, оставивъ въ ихъ распоряженіи только платья и тѣ золотыя и серебряныя вещи, которыя, судя по выгравированнымъ надписямъ, оказывались приношеніями восхищенной публики. Любинька успѣла однакожъ при этомъ захватить пачку бумажекъ, подаренную ей наканунѣ, и спрятать за корсетъ. Въ этой пачкѣ оказалась тысяча рублей — все, чѣмъ сестры должны были неопредѣленное время существовать.

Въ ожиданіи суда ихъ держали въ Самоварномъ мѣсяца четыре. Затѣмъ начался судъ, на которомъ онѣ, а въ особенности Аннинька, выдержали цѣлую пытку. Кукишевъ былъ циниченъ до мерзости; даже надобности не было въ тѣхъ подробностяхъ, которыя онъ выложилъ; но онъ, очевидно, хотѣлъ порисоваться передъ самоварновскими дамами, и излагалъ рѣшительно все. Прокуроръ и частный обвинитель, люди молодые и тоже желавшіе доставить самоварновскимъ дамамъ удовольствіе, воспользовались этимъ, чтобы сообщить процессу игривый характеръ, въ чемъ, конечно, и успѣли. Аннинька нѣсколько разъ падала въ обморокъ, но частный обвинитель, озабочи-

ваясь обезпеченіемъ иска, рѣшительно не обращалъ на это вниманія и ставилъ вопросы за вопросами. Наконецъ слѣдствіе кончилось и предоставлено было слово заинтересованнымъ сторонамъ. Уже поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвинительный приговоръ съ смягчающими, впрочемъ, обстоятельствами, вслѣдствіе чего онъ былъ тутъ же присужденъ къ ссылкѣ на житье въ Западную Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя.

Съ окончаніемъ дѣла сестры получили возможность уѣхать изъ Самоварнаго. Да и время было, потому что спрятанная тысяча рублей подходила подъ исходъ. А сверхъ того и антрепренеръ Кречетовскаго театра, съ которымъ онѣ предварительно сошлись, требовалъ, чтобы онѣ явились въ Кречетовъ немедленно, грозя въ противномъ случаѣ прервать переговоры. О деньгахъ, вещахъ и бумагахъ, опечатанныхъ, по требованію частнаго обвинителя, не было ни слуха, ни духа...

Таковы были послѣдствія небрежнаго обращенія съ „сокровищемъ“. Измученныя, истерзанныя, подавленные общимъ презрѣніемъ, сестры утратили всякую вѣру въ свои силы, всякую надежду на просвѣтъ въ будущемъ. Онѣ похудѣли, опустились, струсили. И къ довершенію всего, Анниньеа, побывавши въ школѣ Кукишева, приучилась пить.

Дальше пошло еще хуже. Въ Кречетовѣ едва успѣли сестры выйти изъ вагона, какъ ихъ тотчасъ же разобрали по рукамъ. Любиньку принялъ ротмистръ Папковъ, Анниньку — купецъ Забвенный. Но прежнихъ приволій уже не было. И Папковъ, и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умѣренно (Забвенный выражался: „глядя по товару“), а черезъ три-четыре мѣсяца и значительно охладѣли. Къ довершенію, рядомъ съ умѣренными любовными успѣхами шли и черезчуръ умѣренные успѣхи сценическіе. Антрепренеръ, выписавшій сестеръ въ расчетъ на скандалъ, произведенный ими въ Самоварновѣ, совсѣмъ неожиданно просчитался. На первомъ же представленіи, когда обѣ дѣвицы Погорѣльскія были на сценѣ, кто-то изъ райка крикнулъ: „эхъ, вы, подсудимыя!“ — и кличка эта такъ и осталась за сестрами, сразу рѣшивъ ихъ сценическую судьбу.

Потянулась ваялая, глухая, лишенная всякаго умственного интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренеръ дулся, покровители — не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечталъ, какъ онъ будетъ „понуждать“ свою кралоу прохаживаться съ нимъ по маленькой, какъ она сначала будетъ жеманиться, а потомъ мало-по-малу уступить, былъ очень обиженъ, когда увидѣлъ, что школа уже пройдена сполна, и что ему остается только одна утѣха: собирать пріятелей и смотрѣть, какъ Анютка „водку жреть“. Съ своей стороны и Папковъ былъ недоволенъ и находилъ, что Любинька похудѣла, или, какъ онъ выражался, „постервѣла“.

— У тебя прежде тѣлеса были, — допрашивалъ онъ ее: — сказывай, куда ты ихъ дѣвала?

И вслѣдствіе этого не только не церемонился съ нею, но даже не разъ, подъ цыганую руку, бивалъ.

Къ концу зимы сестры не имѣли ни покровителей „настоящихъ“, ни „постояннаго положенія“. Онѣ еще держались кое-какъ около театра, но о „Периколлахъ“ и „Полковникахъ старыхъ временъ“ не было ужъ и рѣчи.



Любинька впрочемъ выглядѣла нѣсколько бодрѣе; Аннинька же, какъ болѣе нервная, совсѣмъ опустилась и, казалось, позабыла о прошломъ и не сознавала настоящаго. Сверхъ того, она начала подозрительно кашлять: на встрѣчу ей видимо шелъ какой-то загадочный недугъ...

Слѣдующее лѣто было ужасно. Мало-по-малу сестеръ начали возить по гостинницамъ къ проѣзжающимъ господамъ, и на нихъ установилась умѣренная такса. Скандалы слѣдовали за скандалами, побоища за побоищами, но сестры были живучи какъ кошки и все льнули, все желали жить. Онѣ напоминали тѣхъ жалкихъ собаченокъ, которыя, несмотря на опшариванія, израненія, съ перешибленными ногами, все-таки лѣзутъ въ облюбованное мѣсто, визжать и лѣзутъ. Держать при театрѣ подобныя личности оказывалось неудобнымъ.

Въ эту мрачную годину только однажды лучъ свѣта ворвался въ существованіе Анниньки. А именно: трагикъ Милославскій 10-й прислалъ изъ Самоварнова письмо, въ которомъ настоятельно предлагалъ ей руку и сердце. Аннинька прочла письмо и заплакала. Цѣлую ночь она металась, была, какъ говорится, сама не своя, но на утро послала короткій отвѣтъ: „для чего? для того, что-ли, чтобъ вмѣстѣ водку пить?“ Затѣмъ мракъ сгустился пуще прежняго и снова начался безконечный подлый угаръ.

Любинька первая очнулась, или, лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работы впереди уже не предвидѣлось: и молодость, и красота, и зачатки дарованія—все какъ-то вдругъ пропало. О томъ, что есть у нихъ пріютъ въ Погорѣлкѣ, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсѣмъ забытое. Если ихъ прежде не манило въ Погорѣлку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать съ голода, теперь-то меньше всего и манило туда. Съ какимъ лицомъ она явится?—съ лицомъ, на которомъ всевозможныя пьяныя дыханія выжгли тавро: „подлая!“ Вездѣ они легли, эти проклятыя дыханія; вездѣ они чувствуются, на всякомъ мѣстѣ. И что всего ужаснѣе—и она, и Аннинька настолько освоились съ этими дыханіями, что незамѣтно сдѣлали ихъ неразрывною частью своего существованія. Имъ неомерзительны ни трактирная вонь, ни гвалтъ постоянныхъ дворовъ, ни цинизмъ пьяныхъ рѣчей, такъ что еслибъ онѣ ушли въ Погорѣлку, то имъ навѣрное всего этого будетъ не доставать. Но, кромѣ того, вѣдь и въ Погорѣлкѣ надо чѣмъ-нибудь существовать. Сколько ужъ лѣтъ онѣ мыкаются по бѣлу-свѣту, а объ доходахъ съ Погорѣлки что-то не слышать. Не миѣ ли она? не вымерли ли тамъ всѣ? Всѣ эти свидѣтели далекаго и вѣчно памятнаго дѣтства, когда ихъ, сиротокъ, бабенку Арина Петровна воспитывала на кисломъ молокѣ и попорченной солонинѣ... Ахъ, что это было за дѣтство! что это за жизнь... вся вообще! Вся жизнь... вся, вся, вся жизнь!

Ясно, что надо умереть. Разъ эта мысль освѣтила совѣсть, она дѣлается ужъ неотвязною. Обѣ сестры нерѣдко пробуждались отъ угара; но у Анниньки эти пробужденія сопровождались истериками, рыданіями, слезами и проходили быстрѣе. Любинька была холоднѣе по природѣ, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она „подлая“. Сверхъ того, Любинька была разсудительна и какъ-то совершенно ясно сообразила, что

жить даже и разсчета нѣтъ. Совсѣмъ ничего не видится впереди, кромѣ позора, нищеты и улицы. Позоръ—дѣло привычки, его можно перенести, но нищеты—никогда! Лучше покончить разомъ, со всѣмъ.

— Надо умереть, — сказала она однажды Аннинкѣ тѣмъ же холодно-разсудительнымъ тономъ, которымъ, два года тому назадъ, спрашивала ее, для кого она бережетъ свое сокровище.

— Зачѣмъ? — какъ-то испуганно возразила Аннинька.

— Я тебѣ серьезно говорю: надо умереть! — повторила Любинька: — пойми! очнись! постарайся!

— Что жъ... умремъ! — согласилась Аннинька, едва-ли однакожъ сознавая то суровое значеніе, которое заключало въ себѣ это рѣшеніе.

Въ тотъ же день Любинька наломала головокъ отъ фосфорныхъ спичекъ и приготовила два стакана настоя. Одинъ изъ нихъ выпила сама, другой подала сестрѣ. Но Аннинька мгновенно струсила и не хотѣла пить.

— Пей... подлая! — кричала на нее Любинька: — сестрица! милая! голу-бушка, пей!

Аннинька, почти обезумѣвъ отъ страха, кричала и металась по комнатѣ. И въ то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно пыталась задушить.

— Пей! пей... подлая!

Артистическая карьера дѣвицы Погорѣльскихъ кончилась. Въ тотъ же день вечеромъ Любинькинъ трупъ вывезли въ поле и зарыли. Аннинька осталась жива.

По пріѣздѣ въ Головлево, Аннинька очень быстро внесла въ старое Гудушкино гнѣздо атмосферу самаго безпардоннаго кочеванья. Вставала поздно; затѣмъ, неодѣтая, нечесанная, съ отяжелѣвшей головой, слонялась вплоть до обѣда изъ угла въ уголъ, и до того вымученно кашляла, что Порфирій Владимірычъ, сидя у себя въ кабинетѣ, всякій разъ пугался и вздрагивалъ. Комната ея вѣчно оставалась неприбранною; постель стояла въ безпорядкѣ; принадлежности бѣлья и туалета валялись разбросанныя по стульямъ и на полу. Въ первое время она видѣлась съ дядей только во время обѣда и за вечернимъ чаемъ. Головлевскій владыка выходилъ изъ кабинета весь одѣтый въ черное, говорилъ мало и только по прежнему изнуриительно-долго ѣлъ. Повидимому онъ присматривался, и Аннинька, по скошеннымъ въ ея сторону глазамъ его, догадывалась, что онъ присматривался именно къ ней.

Вслѣдъ за обѣдомъ наступали раннія декабрскія сумерки и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладѣ парадныхъ комнатъ. Аннинька любила слѣдить, какъ постепенно потухаютъ мерцанія сѣраго зимняго дня, какъ меркнетъ окрестность и комнаты наполняются тѣнями и какъ потомъ вдругъ весь домъ окунется въ непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака, и потому почти никогда не зажигала свѣчей. Только въ концѣ длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свѣчка, образуя своимъ пламенемъ небольшой свѣтящійся кругъ. Нѣкоторое время въ домѣ происходило обычное послѣобѣденное движеніе: слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стукъ выдвигаемыхъ и задвигаемыхъ ящи-



ковъ, но вскорѣ доносилось топанье удаляющихся шаговъ и затѣмъ наступала мертвая тишина. Порфирій Владимірычъ ложился на послѣобѣденный отдыхъ, Евпраксеюшка зарывалась въ своей комнатѣ въ перину, Прохоръ уходилъ въ людскую, и Аннинька оставалась совершенно одна. Она ходила взадъ и впередъ, напѣвая вполголоса и стараясь утомить себя и, главное, ни о чемъ не думать. Идя по направленію къ залѣ, вглядывалась въ свѣтящійся кругъ, образуемый пламенемъ свѣчи; возвращаясь назадъ, усиливалась различить какую-нибудь точку въ сгустившейся мглѣ. Но на зло усиліямъ воспоминанія такъ и плыли ей на встрѣчу. Вотъ уборная, оклеенная дешовенькими обоями по досчатой перегородкѣ, съ неизбѣжнымъ трюмъ и не менѣе неизбѣжнымъ букетомъ отъ подпоручика Папкова 2-го; вотъ сцена съ закопченными, захватанными и скользкими отъ сырости декораціями; вотъ и она сама вертится на сценѣ, именно только вертится, воображая, что играетъ; вотъ театральнй залъ, со сцены кажущійся такимъ наряднымъ, почти блестящимъ, а въ дѣйствительности убогій, темный, съ сборною мебелью и съ ложами, обитыми обшарпаннымъ малиновымъ плисомъ. И въ заключеніе—оберъ-офицеры, оберъ-офицеры, оберъ-офицеры безъ конца. Потомъ гостиница съ вонючимъ корридормъ, слабо освѣщеннымъ коптящею керосиновой лампой; номеръ, въ который она, по окончаніи спектакля, впопыхахъ забѣгаетъ, чтобъ переодѣться для дальнѣйшихъ торжествъ, номеръ съ неприбранною съ утра постелью, съ умывальникомъ, наполненнымъ грязной водой, съ валяющеюся на полу простыней и забытыми на спинкѣ кресла кальсонами; потомъ общая зала, полная кухоннаго чада, съ накрытымъ по срединѣ столомъ; ужинъ, котлеты подъ горошкомъ, табачный дымъ, гвалтъ, толкотня, пьянство, разгулъ... И опять оберъ-офицеры, оберъ-офицеры, оберъ-офицеры безъ конца...

Таковы были воспоминанія, относившіяся къ тому времени, которое она когда-то называла временемъ своихъ успѣховъ, своихъ побѣдъ, своего благополучія...

За этими воспоминаніями начинался рядъ другихъ. Въ нихъ выдающуюся роль игралъ постоянный дворъ, уже совѣмъ вонючій, съ промерзающими зимой стѣнами, съ колеблющимися полами, досчатою перегородкой, изъ щелей которой выглядывали глянцовитые животы клоповъ. Пьяныя и драчливыя ночи; проѣзжіе помѣщики, торопливо вынимающіе изъ тощихъ бумажниковъ зелененькую; хваты-купцы, подбадривающіе „актерокъ“ чуть не съ нагайкой въ рукахъ. А на утро—головная боль, тошнота и тоска, тоска безъ конца. Въ заключеніе—Головлево...

Головлево—это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вѣчно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тутъ умерли; двое двоюродныхъ братьевъ здѣсь получили „особенно тяжкія“ раны, послѣдствіемъ которыхъ была смерть; наконецъ и Любинька... Хотя и кажется, что она умерла гдѣ-то въ Кречетовѣ „по своимъ дѣламъ“, но начало „особенно тяжкихъ“ ранъ несомнѣнно положено здѣсь, въ Головлевѣ. Всѣ смерти, всѣ отравы, всѣ язвы—все идетъ отсюда. Здѣсь происходило кормленіе протухлой солониной, здѣсь впервые раздались въ ухахъ сиротъ слова: постылые, нищіе, дармоѣды, ненасытныя утробы и проч.; здѣсь ничто не проходило имъ даромъ,

ничто не укрывалось отъ пронизательнаго взора черетвой и блажной старухи: ни лишній кусокъ, ни изломанная грошовая кукла, ни изорванная тряпка, ни стоштаннй башмакъ. Всякое правонарушеніе немедленно возстановлялось или укоризной, или шлепкомъ. И вотъ когда онѣ получили возможность располагать собой и поняли, что можно бѣжать отъ этого поскудства, онѣ и бѣжали... *туда!* И никто не удержалъ ихъ отъ бѣгства, да и нельзя было удержать, потому что хуже, постылѣе Головлева не предвидѣлось ничего.

Ахъ, еслибъ все это забыть! еслибъ можно было хоть въ мечтѣ создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный міръ, который заслонилъ бы собою и прошедшее, и настоящее. Но, увы! дѣйствительность, которую она пережила, была одарена такою желѣзною живучестью, что подъ гнетомъ ея сами собой потухли всѣ проблески воображенія. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиковъ съ серебряными крылышками — изъ-за этихъ ангельчиковъ неумолимо выглядываютъ Кукишевы, Люлькины, Забенные, Папковы... Господи! да неужто же все утрачено? неужто даже способность лгать, обманывать себя — и та потонула въ ночныхъ кутежахъ, въ винѣ и развратѣ? Надо, однакожъ, какъ-нибудь убить это прошлое, чтобъ оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца! Надо, чтобъ налегло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсѣмъ, до тла!

И какъ все это странно и жестоко сложилось! нельзя даже вообразить себѣ, что возможно какое-нибудь будущее, что существуетъ дверь, черезъ которую можно какъ-нибудь выйти, что можетъ хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не можетъ. И чтò всего несноснѣе: въ сущности, она ужъ умерла, а между тѣмъ виѣшніе признаки жизни — на-лицо. Надо было *тогда* кончать, вмѣстѣ съ Любинькой, а она зачѣмъ-то осталась. Какъ не раздавила ее та масса срама, которая въ то время со всѣхъ сторонъ надвинулась на нее? И какимъ ничтожнымъ червемъ нужно быть, чтобы выползти изъ-подъ такой груды разомъ налетѣвшихъ камней?

Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бѣгала и кружилась по залѣ, стараясь уговорить взбудораженныя воспоминанія. А на встрѣчу такъ и плыли: и герцогиня Герольштейнская, потрясающая гусарскимъ ментикомъ, и Клеретта Ангѣ, въ подвѣнечномъ платьѣ, съ разрѣзомъ спереди до самаго пояса, и Прекрасная Елена, съ разрѣзами спереди, сзади и со всѣхъ боковъ... Ничего, кромѣ безстыдства и наготы... вотъ въ чемъ прошла вся жизнь! Неужели все это было?

Около семи часовъ домъ начиналъ вновь пробуждаться. Слышались приготовленія къ предстоящему чаю, а наконецъ раздавался и голосъ Порфирія Владимірыча. Дядя и племянница сажались у чайнаго стола, размѣнивались замѣчаніями о проходящемъ днѣ; но такъ какъ содержаніе этого дня было скудное, то и разговоръ оказывался скудный же. Напившись чаю и выполнивъ обрядъ родственнаго цѣлованія на сонъ грядущій, Гудушка окончательно заползла въ свою нору, а Аннинька отправлялась въ комнату къ Евпраксеюшкѣ и играла съ ней въ мельники.

Съ 11-ти часовъ начинался разгулъ. Предварительно удостовѣрившись, что Порфирій Владимірычъ уговорился, Евпраксеюшка ставила на столъ



разное деревенское соленье и графинъ съ водкой. Припоминались безсмысленныя и безстыжія пѣсни, раздавались звуки гитары, и въ промежуткахъ между пѣснями и подлымъ разговоромъ Аннинька выпивала. Пила она сначала „по-Кукишевски“, хладнокровно, „Господи баславі!“ , но потомъ постепенно переходила въ мрачный тонъ, начинала стонать, прокливать...

Евпраксеюшка смотрѣла на нее и „жалѣла“.

— Посмотрю я на васъ, барышня, — говорила она: — и такъ мнѣ васъ жалко! такъ жалко!

— А вы выпейте вмѣстѣ — вотъ и не жалко будетъ! — возражала Аннинька.

— Нѣтъ, мнѣ какъ возможно! Меня и то ужъ изъ-за дяденьки вашего чуть изъ духовнаго званія не исключили, а ежели да при этомъ...

— Ну, нечего, стало быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вамъ „Усача“ спою.

Опять раздавалось брянчанье гитары, опять поднимался гикъ: „и-ахъ! и-охъ!“ Далеко за-полночь на Анниньку, словно камень, сваливался сонъ. Этотъ желанный камень на нѣсколько часовъ убивалъ ея прошедшее и даже утомлялъ недугъ. А на другой день, разбитая, полуобезумѣвшая, она опять выползала изъ-подъ него и опять начинала жить.

И вотъ, въ одну изъ такихъ поскудныхъ ночей, когда Аннинька лихо распѣвала передъ Евпраксеюшкой репертуаръ своихъ поскудныхъ пѣсень, въ дверяхъ комнаты вдругъ показалась изнуренная, мертвенно-блѣдная фигура Гудушки. Губы его дрожали; глаза ввалились и, при тускломъ мерцаніи пальмовой свѣчи, казались какъ бы незрищими впадинами: руки были сложены ладонями внутрь. Онъ постоялъ нѣсколько секундъ передъ обомлѣвшими женщинами и затѣмъ, медленно повернувшись, вышелъ.

Бываютъ семьи, надъ которыми тяготѣетъ какъ бы обязательное предопредѣленіе. Особливо это замѣчается въ средѣ той мелкой дворянской сошки, которая, безъ дѣла, безъ связи съ общою жизнью и безъ правящаго значенія, сначала ютилась, подъ защитой крѣпостного права, разбѣянная по лицу земли русской, а нынѣ, уже безъ всякой защиты, доживаетъ свой вѣкъ въ разрушающихся усадьбахъ. Въ жизни этихъ жалкихъ семей и удача, и неудача — все какъ-то слѣпо, не гадаю, не думано.

Иногда надъ подобной семьей вдругъ прольется какъ бы струя счастья. У захудалыхъ корнета и корнетши, смирно хирѣющихъ въ деревенскомъ захолустьи, внезапно появляется цѣлый выводокъ молодыхъ людей, крѣпovýchъ, чистенькихъ, проворныхъ и чрезвычайно быстро усвоющихъ жизненную суть. Однимъ словомъ, „умницъ“. Всѣ сплошь умницы — и юноши, и юницы. Юноши — отлично кончаютъ курсъ въ „заведеніяхъ“ и уже на школьныхъ скамьяхъ устраниваютъ себѣ связи и покровительства. Въ-время умѣютъ выказать себя скромными (*j'aime cette modestie!*! — говорятъ про нихъ начальники), и въ-время же — самостоятельными (*j'aime cette indépendance!*!); чутко угадываютъ всякаго рода вѣянія, и ни съ однимъ изъ нихъ не порываютъ, не оставивъ назади надежной лазейки. Благодаря этому, они на всю жизнь обезпечиваютъ для себя возможность безъ скандала и во всякое время сбро-

сить старую шкуру и облечься въ новую, а въ случаѣ чего и опять надѣть старую шкуру. Словомъ сказать, это истинные дѣлатели вѣка сего, которые всегда начинаютъ искательствомъ и *почти всегда* кончаютъ предательствомъ. Что же касается до юницъ, то и онѣ, въ мѣрѣ своей специальности, содѣйствуютъ возрожденію семьи, т.-е. удачно выходятъ замужъ, и затѣмъ обнаруживаютъ столько такта въ распоряженіи своими атурами, что безъ труда завоевываютъ видныя мѣста въ такъ-называемомъ обществѣ.

Благодаря этимъ случайно сложившимся условіямъ, удача такъ и плыветъ на встрѣчу захудалой семьи. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, въ свою очередь воспитываютъ новое чистенькое поколѣніе, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намѣчены, но и проторены. За этимъ поколѣніемъ вырастутъ еще поколѣнія, покуда наконецъ семья естественнымъ путемъ не войдетъ въ число тѣхъ, которыя ужъ безъ всякой предварительной борьбы, прямо считаютъ себя имѣющими приращенное право на пожизненное ликованіе.

Въ послѣднее время, по случаю возникновенія запроса на такъ-называемыхъ „свѣжихъ людей“, — запроса, обусловленнаго постепеннымъ вырожденіемъ людей „не-свѣжихъ“, — примѣры подобныхъ удачливыхъ семей начали прорываться довольно часто. И прежде бывало, что отъ времени до времени на горизонтѣ появлялась звѣзда съ „косицей“, но это случалось рѣдко, во-первыхъ, потому, что стѣна, окружавшая ту безпечальную область, на вратахъ которой написано: „здѣсь во всякое время ѣдятъ пироги съ начинкой“, почти не представляла трещинъ, а во-вторыхъ, и потому, что для того, чтобы въ сопровожденіи „косицы“ проникнуть въ эту область, нужно было воистину имѣть за душой что-либо солидное. Ну, а нынче и трещинъ порядочно прибавилось, да и самое дѣло проникновенія упростилось, такъ какъ отъ пришельца солидныхъ качествъ не спрашивается, а требуется лишь „свѣжестъ“ и больше ничего.

Но на ряду съ удачливыми семьями существуетъ великое множество и такихъ, представителямъ которыхъ домашніе пенаты съ самой колыбели ничего, повидимому, не дарятъ, кромѣ безвыходнаго злополучія. Вдругъ, словно вша, нападаетъ на семью не то невзгода, не то порокъ, и начинается со всѣхъ сторонъ ѣсть. Расползается по всему организму, прокрадывается въ самую сердцевину и точитъ поколѣніе за поколѣніемъ. Появляются коллекціи слабосильныхъ людишекъ, пьяницъ, мелкихъ развратниковъ, бессмысленныхъ празднолюбцевъ и вообще неудачниковъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ мельче вырабатываются людишки, пока наконецъ на сцену не выходятъ худосочные зауморыши, въ родѣ однажды уже изображенныхъ мною Головлять \*), зауморыши, которые при первомъ же натискѣ жизни не выдерживаютъ и гибнутъ.

Именно такого рода злополучный фатумъ тяготѣлъ надъ Головлевакской семьей. Въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній три характеристическія черты проходили черезъ исторію этого семейства: праздность, непригодность къ какому бы то ни было дѣлу и запой. Первые двѣ приводили за собой пустословіе, пустомысліе и пустоутробіе; послѣдній являлся какъ бы обязательнымъ заключе-

\*) См.: „Семейные Итоги“.



ніемъ общей жизненной неурядицы. На глазахъ у Порфірія Владимірыча сторѣло нѣсколько жертвъ этого фатума, а кромѣ того преданіе гласило еще о дѣдахъ и прадѣдахъ. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда непригодные пьянчуги, такъ что Головлева семья навѣрное захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайнымъ метеоромъ не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергіи довела уровень благосостоянія семьи до высшей точки, но и за всѣмъ тѣмъ ея трудъ пропалъ даромъ, потому что она не только не передала своихъ качествъ никому изъ дѣтей, а, напротивъ, сама умерла, опутанная со всѣхъ сторонъ праздношью, пустословіемъ и пустоутробіемъ.

До сихъ поръ Порфірій Владимірычъ однакожъ крѣпился. Можетъ быть, онъ сознательно оберегался пьянства, въ виду бывшихъ примѣровъ, но, можетъ быть, его покуда еще удовлетворялъ запой пустомыслія. Однакожъ окрестная молва не даромъ обрекала Гудушку заправскому, „пьяному“ запою. Да онъ и самъ по временамъ какъ бы чувствовалъ, что въ существованіи его есть какой-то пробѣлъ, что пустомысліе даетъ многое, но не все. А именно: недостаетъ чего-то оглушающаго, остраго, которое окончательно упразднило бы представленіе о жизни и разъ навсегда выбросило бы его въ пустоту.

И вотъ вождѣлѣнный моментъ подвернулся самъ собою. Долгое время, съ самаго пріѣзда Анниньки, Порфірій Владимірычъ, запершись въ кабинетѣ, прислушивался къ смутному шуму, доносившемуся до него съ другого конца дома; долгое время онъ отгадывалъ и недоумѣвалъ... И наконецъ учуялъ.

На другой день Аннинька ожидала поученій, но таковыхъ не послѣдовало. По обычаю Порфірій Владимірычъ цѣлое утро просидѣлъ запершись въ кабинетѣ, но когда вышелъ къ обѣду, то вмѣсто одной рюмки водки (для себя) налилъ двѣ и молча, съ глуповатой улыбкой, указавъ рукой на одну изъ нихъ Аннинькѣ. Это было, такъ сказать, молчаливое приглашеніе, которому Аннинька и послѣдовала.

— Такъ ты говоришь, что Любинька умерла? — спохватился Гудушка въ срединѣ обѣда.

— Умерла, дядя.

— Ну, царство небесное! Роптать — грѣхъ, а помянуть — слѣдуетъ. Помянемъ, что-ли?

— Помянемте, дядя.

Выпили еще по одной, и затѣмъ Гудушка умолкъ: очевидно, онъ еще не вполне оправился послѣ своей продолжительной одичалости. Только послѣ обѣда, когда Аннинька, выполняя родственный обрядъ, подошла поблагодарить дяденьку поцѣлуемъ въ щеку, онъ въ свою очередь потрепалъ ее по щекѣ и вымолвилъ:

— Вотъ ты кака!

Вечеромъ въ тотъ же день, во время чая, который на сей разъ длился продолжительнѣе обыкновеннаго, Порфірій Владимірычъ нѣкоторое время съ той же загадочной улыбкой поглядывалъ на Анниньку, но наконецъ предложилъ:

— Закусочки, что-ли, велѣтъ поставить?

— Что-жь... велите!

— То-то; лучше ужъ у дяди на глазахъ, чѣмъ по закоулкамъ... По крайней мѣрѣ дяди...

Иудушка не договорилъ. Вѣроятно онъ хотѣлъ сказать, что дядя по крайней мѣрѣ „удержитъ“, но слово какъ-то не выговорилось.

Съ этихъ поръ каждый вечеръ въ столовой появлялась закуска. Наружныя ставни оконъ затворялись, прислуга удалялась спать, и племянница съ дядей оставались глазъ-на-глазъ. Первое время Иудушка какъ бы не поспѣвала, но достаточно было недолговременной практики, чтобъ онъ вполне сравнялся съ Аннинькой. Оба сидѣли, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и бесѣдовали. Разговоръ, сначала безразличный и вялый, по мѣрѣ того, какъ головы разгорячались, становился живѣе и живѣе и наконецъ неизмѣнно переходилъ въ беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминанія о Головлевскихъ умертвіяхъ и увѣчіяхъ.

Зачинщицею этихъ ссоръ всегда являлась Аннинька. Она съ безпощадною назойливостью раскапывала Головлевскій архивъ и въ особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всѣхъ увѣчіяхъ, на ряду съ покойной бабушкой, принадлежала ему. При этомъ каждое слово ея дышало такою циническою ненавистью, что трудно было себѣ представить, какимъ образомъ въ этомъ замученномъ, полупотухшемъ организмѣ могло еще сохраняться столько жизненнаго огня. Эти поддразниванія уязвляли Иудушку до безконечности; но онъ возражалъ слабо и больше сердился; а когда Аннинька, въ своемъ озорливомъ науськиваньи, заходила слишкомъ далеко, то кричалъ крикомъ и проклиналъ.

Такого рода сцены повторялись изо дня въ день, безъ измѣненія. Хотя всѣ подробности скорбнаго семейнаго синодика были исчерпаны очень быстро, но синодикъ этотъ до такой степени неотступно стоялъ передъ этими подавленными существами, что всѣ мыслительныя ихъ способности были какъ бы прикованы къ нему. Всякій эпизодъ, всякое воспоминаніе прошлаго растравляли какую-нибудь язву, и всякая язва напоминала о новой свитѣ Головлевскихъ увѣчій. Какое-то горькое, мстительное наслажденіе чувствовалось въ разоблаченіи этихъ отравъ, въ ихъ расцѣнкѣ и даже въ преувеличеніяхъ. Ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ не оказывалось ни одного нравственнаго устоя, за который можно бы удержаться. Ничего, кромѣ жалкаго скопидомства съ одной стороны, и бессмысленнаго пустоутробія — съ другой. вмѣсто хлѣба — камень, вмѣсто поученія — колотушка. И въ качествѣ варіанта — поскудное напоминаніе о дармоѣдствѣ, хлѣбогадствѣ, о милостынѣ, объ утаенныхъ кускахъ... Вотъ отвѣтъ, который получало молодое сердце, жаждавшее привѣта, тепла, любви. И что жъ! по какой-то горькой насмѣшкѣ судьбы, въ результатъ этой жестокой школы оказалось не суровое отношеніе къ жизни, а страстное желаніе насладиться ея отравami. Молодость сотворила чудо забвенія; она не дала сердцу окаменѣть, не дала сразу развиться въ немъ начаткамъ ненависти, а, напротивъ, опьянила его жаждой жизни. Отсюда безшабашный, закулисный угаръ, который въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не далъ придти въ себя и далеко отодвинулъ вглубь все Головлевское. Только теперь, когда уже почуялся конецъ, въ сердцѣ вспыхнула сосущая боль; только



теперь Аннинька настоящимъ образомъ поняла свое прошлое и начала настоящимъ образомъ ненавидѣть.

Хмельныя бесѣды продолжались далеко за полночь, и еслибъ ихъ не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей и рѣчей, то онѣ на первыхъ же порахъ могли бы разрѣшиться чѣмъ-нибудь ужаснымъ. Но къ счастью, ежели вино открывало неистощимые родники болѣе въ этихъ замученныхъ сердцахъ, то оно же и умиротворяло ихъ. Чѣмъ глубже надвигалась надъ собесѣдниками ночь, тѣмъ безсвязнѣе становились рѣчи и безсильнѣе обуревавшая ихъ ненависть. Подъ конецъ не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезала изъ глазъ и замѣнялась свѣтящеюся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, тѣлодвиженія коснѣли. И дядя, и племянница тяжело поднимались съ мѣстъ и, пошатываясь, расходились по своимъ логовищамъ.

Само собой разумѣется, что въ домѣ эти ночныя похождения не могли оставаться тайной. Напротивъ того, характеръ ихъ сразу опредѣлился настолько ясно, что никому не показалось страннымъ, когда кто-то изъ домашнихъ, по поводу этихъ походовъ, произнесъ слово: „уголовщина“. Головлевскія хоромы окончательно оцѣпенѣли; даже по утрамъ не видно было никакого движенія. Господа просыпались поздно, и затѣмъ до самаго обѣда изъ конца въ конецъ дома раздавался надрывающій душу кашель Анниньки, сопровождаемый непрерывными проклятіями. Гудушка со страхомъ прислушивался къ этимъ раздирающимъ звукамъ и угадывалъ, что и къ нему тоже идетъ на встрѣчу бѣда, которая окончательно раздавитъ его.

Отовсюду, изъ всѣхъ угловъ этого постылаго дома, казалось, выползали „умертвія“. Куда ни пойдешь, въ какую сторону ни повернешься, вездѣ шевелятся сѣрые призраки. Вотъ папенька Владиміръ Михайловичъ, въ бѣломъ колпакѣ, дразнящійся языкомъ и цитирующий Баркова; вотъ братецъ Степка-балбесъ и рядомъ съ нимъ братецъ Пашка-тихоня; вотъ Любинька, а вотъ и послѣдніе отпрыски Головлевскаго рода: Володька и Петька... И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью... И надъ всѣми этими призраками витаетъ живой призракъ, и этотъ живой призракъ — не кто иной, какъ самъ онъ, Порфирій Владимірычъ Головлевъ, послѣдній представитель выморочнаго рода.

Въ концѣ концовъ, постоянныя припоминанія старыхъ умертвій должны были оказать свое дѣйствіе. Прошлое до того выяснилось, что малѣйшее прикосновеніе къ нему производило боль. Естественнымъ послѣдствіемъ этого былъ не то испугъ, не то пробужденіе совѣсти, — скорѣе даже послѣднее, нежели первое. Къ удивленію, оказывалось, что совѣсть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и какъ бы позабыта. И вслѣдствіе этого утратила ту дѣятельную чуткость, которая обязательно напоминаетъ человѣку о ея существованіи.

Такія пробужденія одичалой совѣсти бываютъ необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательнаго ухода, не видя никакого просвѣта впереди, совѣсть не даетъ примиренія, не указываетъ на возможность новой

жизни, а только бесконечно и бесплодно терзаетъ. Человѣкъ видитъ себя въ каменномъ мѣшкѣ, безжалостно отданнымъ въ жертву агоніи раскаянія, именно одной агоніи, безъ надежды на возвратъ къ жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодно разъѣдающую боль, кромѣ шанса воспользоваться минутою мрачной рѣшимости, чтобы разбить голову о камни мѣшка...

Гудушка, въ теченіе долгой пустоутробной жизни, никогда даже въ мысляхъ не допускалъ, что тутъ же, о-бокъ съ его существованіемъ, происходитъ процессъ умертвія. Онъ жилъ себѣ потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь, и отнюдь не предполагалъ, что именно изъ этого-то и выходитъ болѣе или менѣе тяжелое увѣчье. А слѣдовательно тѣмъ меньше могъ допустить, что онъ самъ и есть виновникъ этихъ увѣчій.

И вдругъ ужасная правда освѣтила его совѣсть, но освѣтила поздно, безъ пользы, уже тогда, когда передъ глазами стоялъ лишь безповоротный и непоправимый фактъ. Вотъ онъ состарѣлся, одичалъ, одной ногой въ могилѣ стоитъ, а нѣтъ на свѣтѣ существа, которое приблизилось бы къ нему, „пожалѣло“ бы его. Зачѣмъ онъ одинъ? зачѣмъ видитъ кругомъ не только равнодушіе, но и ненависть? отчего все, чтò ни прикасалось къ нему—все погибло? Вотъ тутъ, въ этомъ самомъ Головлевѣ, было когда-то цѣлое человѣчье гнѣздо—какимъ образомъ случилось, что и пера не осталось отъ этого гнѣзда? Изъ всѣхъ выпестованныхъ въ немъ птенцовъ уцѣлѣла только племянница, но и та явилась, чтобъ надругаться надъ нимъ и доканать его. Даже Евпраксейка—ужъ на что простодушна—и та ненавидитъ. Она живетъ въ Головлевѣ, потому что отцу ея, пономарю, ежемѣсячно посылается отсюда домашній запасъ, но живетъ, несомнѣнно, ненавидя. И ей онъ, Иуда, нанесъ тягчайшее увѣчье, и у нея онъ сѣумѣлъ отнять свѣтъ жизни, отнявъ сына и бросивъ его въ какую-то безыменную яму. Къ чему привела вся его жизнь? Зачѣмъ онъ лгалъ, пустословилъ, притѣснялъ, скопидомствовалъ? Даже съ матеріальной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія „наслѣдства“—кто воспользуется результатами этой жизни? кто?

Повторяю: совѣсть проснулась, но бесплодно. Гудушка стоналъ, злился, метался и съ лихорадочнымъ озлобленіемъ ждалъ вечера не для того только, чтобы бестіально ухнуть, а для того, чтобы утопить въ винѣ совѣсть. Онъ ненавидѣлъ „распутную дѣвку“, которая съ такою холодною наглостью бередила его язвы, и въ то же время неудержимо влекся къ ней, какъ будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которыя тоже необходимо было растравить. Каждый вечеръ онъ заставлялъ Анниньку повторять рассказъ о Любинькиной смерти, и каждый вечеръ въ умѣ его больше созрѣвала идея о саморазрушеніи. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но по мѣрѣ того, какъ процессъ умертвій выянялся, она прокрадывалась глубже и глубже и наконецъ сдѣлалась единственною свѣтащеюся точкой во мглѣ будущаго.

Къ тому же и физическое его здоровье рѣзко пошатнулось. Онъ уже серьезно кашлялъ и по временамъ чувствовалъ невыносимые приступы удушья, которые, независимо отъ нравственныхъ терзаній, сами по себѣ въ состояніи наполнить жизнь сплошной агоніей. Всѣ внѣшніе признаки спеціального Головлевскаго отравленія были на-лицо, и въ ушахъ его уже раздавались стоны



брatца Павлушки-тихони, задохшагося на антресоляхъ дубровинскаго дома. Однакожъ эта впалая, худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучею. Съ каждымъ днемъ вмѣщала она все болѣшую и болѣшую массу физическихъ мукъ, а все-таки держалась, не уступала. Какъ будто и организмъ, своею неожиданною устойчивостью, метилъ за старыя умертвія. „Неужто-жъ это не конецъ?“ каждый разъ съ надеждой говорилъ Гудушка, чувствуя приближеніе припадка; а конецъ все не приходилъ. Очевидно, требовалось насиліе, чтобы ускорить его.

Однимъ словомъ, съ какой стороны ни подойди, всѣ расчеты съ жизнью покончены. Жить и мучительно, и не нужно; всего нужнѣе было бы умереть; но бѣда въ томъ, что смерть не идетъ. Есть что-то измѣннически-подлое въ этомъ озорливомъ замедленіи умирающаго, когда смерть призывается всѣми силами души, а она только обольщаетъ и дразнить...

Дѣло было въ исходѣ марта, и Страстная недѣля подходила къ концу. Какъ ни опустился въ послѣдніе годы Порфирій Владимірычъ, но установившееся еще съ дѣтства отношеніе къ святости этихъ дней подѣйствовало и на него. Мысли сами собой настраивались на серьезный ладъ; въ сердцѣ не чувствовалось никакого иного желанія, кромѣ жажды безусловной тишины. Согласно съ этимъ настроеніемъ, и вечера утратили свой безобразно-пьянный характеръ и проводились молчаливо, въ тоскливомъ воздержаніи.

Гудушка и Аннинька сидѣли вдвоемъ въ столовой. Не далѣе, какъ часъ тому назадъ, кончилась всенощная, сопровождаемая чтеніемъ двѣнадцати евангелій, и въ комнатѣ еще слышался сильный запахъ ладана. Часы пробили десять, домашніе разошлись по угламъ, и въ домѣ водворилось глубокое, сосредоточенное молчаніе. Аннинька, взявши голову въ обѣ руки, облокотилась на столъ и задумалась; Порфирій Владимірычъ сидѣлъ напротивъ, молчаливый и печальный.

На Анниньку эта служба всегда производила глубоко-потрясающее впечатлѣніе. Еще будучи ребенкомъ, она горько плакала, когда батюшка произносилъ: „И сиплетше вѣнецъ изъ тернія, возложиша на главу Его, и трость въ десницу Его“, и всхлипывающимъ дискантикомъ подпѣвала дьячку: „Слава долготерпѣнію Твоему, Господи! слава Тебѣ!“ А послѣ всенощной, вся взволнованная, прибѣгала въ дѣвичью, и тамъ, среди сгустившихся сумерекъ (Арина Петровна не давала въ дѣвичью свѣчей, когда не было работы), рассказывала рабынямъ „Страсти Господни“. Лились тихія рабы слезы, слышались глубокія рабы воздыханія. Рабыни чуяли сердцами своего Господина и Искупителя, вѣрили, что Онъ воскреснетъ, воистину воскреснетъ. И Аннинька тоже чуяла и вѣрила. За глубокой ночью истязаній, подлхъ издѣвокъ и поживаній—для всѣхъ этихъ нищихъ духомъ видѣлось царство лучей и свободы. Сама старая барыня, Арина Петровна, обыкновенно грозная, дѣлалась въ эти дни тихою, не брюзжала, не попрекала Анниньку сиротствомъ, а гладила ее по головкѣ и уговаривала не волноваться. Но Аннинька даже въ постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась по нѣскольку разъ въ теченіе ночи, вскакивала и разговаривала сама съ собой.

Потомъ наступили годы ученія, а затѣмъ и годы странствованія. Пер-

вые были безсодержательны, вторые — мучительно пошлы. Но и тутъ, среди безобразій актерскаго кочевья, Аннинька ревниво выдѣляла „святые дни“ и отыскивала въ душѣ отголоски прошлаго, которые помогали ей по-дѣтски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснялась вся, до послѣдней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а въ будущемъ не предвидѣлось ни раскаянія, ни прощенья, когда изсякъ источникъ умиленія, а вмѣстѣ съ нимъ изсякли и слезы — впечатлѣніе, произведенное только-что выслушаннымъ сказаніемъ о скорбномъ пути, было по истинѣ подавляющимъ. И тогда, въ дѣтствѣ, надъ нею тяготѣла глубокая ночь, но за тьмою, все-таки, предчувствовались лучи. Теперь — ничего не предчувствовалось, ничего не предвидѣлось: ночь, вѣчная, безсмѣнная ночь — и ничего больше. Аннинька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чемъ не думала, а только впала въ глубокое оцѣпенѣніе.

Съ своей стороны, и Порфирій Владимірычъ, съ не меньшею аккуратностью, съ молодыхъ ногтей чтилъ „святые дни“, но чтилъ исключительно съ обрядной стороны, какъ истый идолопоклонникъ. Каждогодно, наканунѣ великой пятницы, онъ приглашалъ батюшку, выслушивалъ евангельское сказаніе, вздыхалъ, воздѣлывалъ руки, стучался лбомъ въ землю, отмѣчалъ на свѣчѣ восковыми катышками число прочитанныхъ евангелій, и все-таки ровно ничего не понималъ. И только теперь, когда Аннинька разбудила въ немъ сознаніе „умертвѣ“, онъ понялъ впервые, что въ этомъ сказаніи идетъ рѣчь о какой-то неслыханной неправдѣ, совершившей кровавый судъ надъ Истиной...

Конечно, было бы преувеличеніемъ сказать, что по поводу этого открытія въ душѣ его возникли какія-либо жизненные сопоставленія, но несомнѣнно, что въ ней произошла какая-то смута, почти граничащая съ отчаяніемъ. Эта смута была тѣмъ мучительнѣе, чѣмъ безсознательнѣе прожилося то прошлое, которое послужило ей источникомъ. Было что-то страшное въ этомъ прошломъ, а чтѣ именно — въ массѣ невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Чтѣ-то громадное, которое до сихъ поръ неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завѣсою, и только теперь двинулось на встрѣчу, каждоминуто угрожая раздавить. Еслибъ еще оно взаправду раздавило — это было бы самое лучшее; но вѣдь онъ живучъ — пожалуй, и выползетъ. Нѣтъ, ждать развязки отъ естественнаго хода вещей — слишкомъ гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить съ непосильною смутѣю. Есть такая развязка, есть. Онъ уже съ мѣсяцъ приглядывается къ ней, и теперь, кажется, не проминѣтъ. „Въ субботу приобщаться будемъ — надо на могилку къ покойной маменькѣ проститься сходить!“ вдругъ мелькнуло у него въ головѣ.

— Сходимъ, что-ли? — обратился онъ къ Аннинькѣ, сообщая ей вслухъ о своемъ предположеніи.

— Пожалуй... съѣздимте...

— Нѣтъ, не съѣздимте, а... — началъ было Порфирій Владимірычъ, и вдругъ оборвалъ, словно сообразилъ, что Аннинька можетъ помѣшаться.

„А вѣдь я передъ покойницей-маменькой... вѣдь я ее замучилъ... я!“ бродило между тѣмъ въ его мысляхъ, и жажда „проститься“ съ каждой ми-



нutoй сильнѣе и сильнѣе разгоралась въ его сердцѣ. Но „проститься“ не такъ, какъ обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть въ вопляхъ смертельной агоніи.

— Такъ ты говоришь, что Любинька сама отъ себя умерла?—вдругъ спросилъ онъ, видимо съ цѣлью подбодрить себя.

Сначала Аннинька словно не разслышала вопроса дяди, но очевидно онъ дошелъ до нея, потому что черезъ двѣ-три минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться къ этой смерти, измучить себя ею.

— Такъ и сказала: „пей... подлая!“? — переспросилъ онъ, когда она подробно повторила свой рассказъ.

— Да... сказала.

— А ты осталась?.. не выпила?

— Да... вотъ живу...

Онъ всталъ и нѣсколько разъ въ видимомъ волненіи прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ. Наконецъ подошелъ къ Аннинькѣ и погладилъ ее по головѣ.

— Бѣдная ты! бѣдная ты моя!—произнесъ онъ тихо.

При этомъ прикосновеніи въ ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ея начало искажаться-искажаться, и вдругъ цѣлый потокъ истерическихъ, ужасныхъ рыданій вырвался изъ ея груди.

— Дядя! вы добрый? скажите, вы добрый?—почти крикомъ кричала она.

Прерывающимся голосомъ, среди слезъ и рыданій, твердила она свой вопросъ, тотъ самый, который она предложила еще въ тотъ день, когда, послѣ „странствія“, окончательно воротилась для водворенія въ Головлевъ, и на который онъ въ то время далъ такой нелѣпный отвѣтъ.

— Вы добрый? скажите! отвѣйте! вы добрый?

— Слышала ты, чтò за всенощной сегодня читали? — спросилъ онъ, когда она наконецъ затихла: — ахъ, какія это были страданія! Вѣдь только такими страданіями и можно... И простилъ! всѣхъ навсегда простилъ!

Онъ опять началъ большими шагами ходить по комнатѣ, убиваясь, страдая и не чувствуя, какъ лицо его покрывается каплями пота.

— Всѣхъ простилъ!—вслухъ говорилъ онъ самъ съ собою: —не только тѣхъ, которые *тогда* напоили Его оцтомъ съ желчью, но и тѣхъ, которые и послѣ, вотъ теперь, и впредь, во вѣки вѣковъ, будутъ подносить къ Его губамъ оцтъ, смѣшанный съ желчью... Ужасно! ахъ, это ужасно!

И вдругъ, остановившись передъ ней, спросилъ:

— А ты... простила?

Вмѣсто отвѣта она бросилась къ нему и крѣпко его обняла.

— Надо меня простить!—продолжалъ онъ: —за всѣхъ... И за себя... и за тѣхъ, которыхъ ужъ нѣтъ... Чтò такое! чтò такое сдѣлалось!?—почти растерянно восклицалъ онъ, озираясь кругомъ: —гдѣ... *есть*?..

Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатамъ. Но Порфирію Владимірычу не спалось. Онъ ворочался съ боку на бокъ въ своей постели

и все припоминалъ, какое еще обязательство лежитъ на немъ. И вдругъ въ его памяти совершенно отчетливо возстановились тѣ слова, которыя случайно мелькнули въ его головѣ часа за два передъ тѣмъ: „Надо на могилку къ покойницѣ маменькѣ проститься сходить“... При этомъ напомнимъ ужасное, томительное безпокойство овладѣло всею существомъ его...

Наконецъ, онъ не выдержалъ, всталъ съ постели и надѣлъ халатъ. На дворѣ было еще темно и ни откуда не доносилось ни малѣйшаго шороха. Порфирій Владимірычъ нѣкоторое время ходилъ по комнатѣ, останавливался передъ освѣщеннымъ лампадкой образомъ Искупителя зъ терновомъ вѣнцѣ и вглядывался въ него. Наконецъ онъ рѣшился. Трудно сказать, насколько онъ самъ сознавалъ свое рѣшеніе, но черезъ нѣсколько минутъ онъ, крадучись, добрался до передней и щелкнулъ крючкомъ, замыкавшимъ входную дверь.

На дворѣ вылъ вѣтеръ и крутилась мартовская мокрая мятелица, посылая въ глаза цѣлые ливни талого снѣга. Но Порфирій Владимірычъ шелъ по дорогѣ, шагая по лужамъ, не чувствуя ни снѣга, ни вѣтра и только инстинктивно запахивая полы халата.

---

На другой день, рано утромъ, изъ деревни, ближайшей къ погосту, на которомъ была схоронена Арина Петровна, прискакалъ верховой съ извѣстіемъ, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дороги найденъ закоченѣвшій трупъ головлевскаго барина. Бросились къ Аннинкѣ, но она лежала въ постели въ безсознательномъ положеніи, со всею признаками горячки. Тогда снарядили новаго верхового и отправили его въ Горюшкино, къ „сестрицѣ“ Надеждѣ Ивановнѣ Галкиной (дочкѣ тетеньки Варвары Михайловны), которая уже съ прошлой осени зорко слѣдила за всею, происходившимъ въ Головлевѣ.







# БЛАГОНАМЪРЕННЫЯ РЪЧИ





## КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Положеніе мое, какъ русскаго фрондѣра, имѣетъ ту выгоду, что оно оставляетъ мнѣ много досужаго времени. Никто отъ меня ничего не ждетъ, никто на меня не возлагаетъ ни надеждъ, ни упованій. Я не состою членомъ ни единого благотворительно-просвѣтительнаго общества, ни одной издающей сто одинъ томъ трудовъ комиссіи. Я не обязанъ распространять ни грамотность, ни малограмотность, ни даже безграмотность; ни полезныхъ свѣдѣній, ни бесполезныхъ. Никто не требуетъ отъ меня ни проектовъ, ни рефератовъ, ни даже присутствія при празднованіи годовщинъ, пятилѣтій, десятилѣтій и т. д. Я просто скромный обыватель, пользующійся своимъ свободнымъ временемъ, чтобы посѣщать знакомыхъ и бесѣдовать съ ними, и совершенно довольный тѣмъ, что начальство не видитъ въ этомъ занятіи ничего предосудительнаго.

Знакомыхъ у меня тьма-тьмушая, и притомъ самыхъ разношерстныхъ. Не забудьте, что я ничего не ищу, кромѣ „благихъ начинаній“; а такъ какъ едва-ли сыщется въ мірѣ человѣкъ, въ которомъ не притаилась бы хотя маленькая соринка этого добра, то понятно, какой перепутанный калейдоскопъ долженъ представлять кругъ людей, въ которомъ я обращаюсь. Я жму руки пустошамъ всѣхъ партій и лагерей, и не только не чувствую при этомъ никакой неловкости, но даже вполне убѣжденъ, что русскій фрондѣръ, у котораго нѣтъ ничего на умѣ, кромѣ „благихъ начинаній“ (въ родѣ, на примѣръ, земскихъ учрежденій), иначе не можетъ и поступать. Въ свою очередь, и знакомые мои, зная, что у всякаго изъ нихъ есть хоть какой-нибудь пунктикъ, которому я сочувствую, тоже не оставляютъ меня своими рукожатіями. И такимъ образомъ мы живемъ. Пріятели сходятся у меня и диспутируютъ. Одинъ (аристократъ) говоритъ, что хорошо бы обуздать мужика; другой (демократъ) возражаетъ, что мужика обуздывать нечего, ибо онъ „преданъ“, а что слѣдуетъ ли, нѣтъ ли обуздать дворянское вольномысліе; третій (педагогъ), не соглашаясь ни съ первымъ, ни со вторымъ, выражаетъ такое мнѣніе, что ни дворянъ, ни мужиковъ обуздывать нѣтъ надобности, потому что дворяне — опора, а мужики — почва, а слѣдуетъ обуздать „науку“. Я слушаю эти диспуты, и благодушествую. Выслушаю одного — кажется, что у него



есть кусочекъ „благихъ начинаній“; выслушаю другого — кажется, и у него есть кусочекъ „благихъ начинаній“. Ибо, повторяю: нѣтъ въ мірѣ выжатаго лимона, изъ котораго нельзя было бы выжать хоть капельку „благихъ начинаній“. А чтѣ, думаю я себѣ, подберу-ка я эти кусочки: можетъ быть, чтѣ-нибудь да и выйдетъ!

Я знаю, впрочемъ, что не выйдетъ ничего. Я знаю даже, что привычка подбирать дрянные кусочки — привычка негодная, изнурительная. Она держитъ человѣка между двухъ стульевъ и отнимаетъ у него всякую возможность дѣйствовать въ какомъ бы то ни было смыслѣ. Когда кусочковъ наберется много, то изъ нихъ образуется не картина и даже не собраніе полезныхъ матеріаловъ, а простая куча хламу, въ которой едва-ли можно разобрать, чтѣ куда принадлежить. Рыться въ этой кучѣ, вытаскивая наудачу то одинъ, то другой осколокъ — работа унижительная и совершенно безплодная. Я знаю все это, но и за всѣмъ тѣмъ — не только остаюсь при этой дурной привычкѣ, но и виновнымъ въ преднамѣренномъ бездѣльничествѣ признать себя не могу.

Во-первыхъ, скажите, на какой-такой „образъ дѣйствія“ я, русскій фронтёръ, могу претендовать? Агитировать — запрещено; революціи затѣвывать — тѣмъ паче. Вездѣ, куда бы я ни сунулъ свой носъ, я слышу: „чтѣ вы! куда вы! да имѣйте же терпѣніе! развѣ вы не видите... благія начинанія!“ И это говорятъ мнѣ безъ смѣха, безъ озоретва, безъ малѣйшаго желанія мистифицировать меня. Напротивъ того, я чувствую, что субъектъ, произносящій эти предостереженія, самъ ходитъ на цыпочкахъ, словно боится кого разбудить; что онъ серьезно чего-то ждетъ, и въ ожиданіи, пока придетъ это „нѣчто“, боится не только за будущее ожидаемаго, но и за меня, фронтёра, за меня, который непрощеннымъ участіемъ можетъ скомпрометировать и „дѣло обновленія“, и *самого себя*. Чтѣ долженъ я ощутить при видѣ этой благоговѣйной оторопи, еслибы даже въ головѣ моей и вполнѣ созрѣла потрясающая рѣшимость агитировать страну по вопросу о необходимости яснаго закона о потравахъ? Очевидно, что прежде всего я долженъ ощутить ту же благоговѣйную оторопь, которую ощущаетъ и предостерегающій меня субъектъ. Онъ ходитъ на цыпочкахъ — стало быть, и впрямь что-нибудь да готовится. Онъ такъ благожелательно предостерегаетъ меня отъ опасныхъ увлеченій — стало быть, и впрямь я рискую услышать: „фюить!“, если не буду держать руки по швамъ. Оторопѣлый, пораженный пророческимъ тономъ предостереженій, я впадаю въ недоумѣніе и инстинктивно останавливаю свой бѣгъ. За минуту я горѣлъ агитаціонною горячкою и готовъ былъ сложить голову, лишь бы добиться „яснаго“ закона о потравахъ; теперь — я значительно хладнокровнѣе смотрю на это дѣло и разсуждаю о немъ нѣсколько иначе. — А чтѣ въ самомъ дѣлѣ, — говорю я себѣ: — ежели потравы могутъ быть устранены безъ агитаціи, то зачѣмъ же агитировать? Ежели нужно только „подождать“, то отчего же не „подождать“? Все это до того резонно, что такъ и кажется, будто кто-то стоитъ и подталкиваетъ сзади: подожди да подожди! И вотъ я начинаю ждать, не зная, чего собственно я жду, и когда должно произойти тѣ, чтѣ я жду. А такъ какъ, въ ожиданіи, надобно же мнѣ какъ-нибудь провести время, то я располагаюсь у себя въ кабинетѣ и

выслушиваю, какъ одинъ пріятель говоритъ: „надо обуздать мужика“, а другой: „надо обуздать науку“. Скажите, могу ли я поступить иначе?

Во-вторыхъ, какъ это ни парадоксально на первый взглядъ, но я могу сказать утвердительно, что всѣ эти люди, въ кругу которыхъ я обращаюсь и которые взаимно видятъ другъ въ другѣ „политическихъ враговъ“ — въ сущности, совсѣмъ не враги, а просто безтолковые люди, которые не могутъ или не хотятъ понять, что они болтаютъ совершенно одно и то же. Какъ ни стараются они провести между собою разграничительную черту, какъ ни увѣряютъ другъ друга, что такіа-то мнѣнія можетъ имѣть лишь несомнѣнный жуликъ, а такіа-то — бесспорнѣйшій идиотъ, мнѣ все-таки сдается, что мотивъ у нихъ одинъ и тотъ же, что вся разница въ томъ, что одинъ дѣлаетъ руладу вверхъ, другой же обращаетъ ее внизъ; и что нѣтъ даже повода задумываться надъ тѣмъ, кого цѣлесообразнѣе обуздать: мужика или науку. Все это одинаково цѣлесообразно въ томъ смыслѣ, что про эту „цѣлесообразность“ одинаково цѣлесообразно можно сказать: „наплевать“... Слѣдовательно, если я и могу быть въ чемъ-нибудь обвиненъ, то единственно только въ томъ, что вступаю въ сношеніе съ людьми, разговаривающими объ обузданіи вообще, и выслушиваю ихъ. Но вѣдь не бѣжать же мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, на необитаемый островъ, чтобы скрыться отъ нихъ!

Я родился въ атмосферѣ обузданія, я таинственно пуповиной прикрѣпленъ къ людямъ обузданія. Отъ раннихъ лѣтъ дѣтства я не слышу иныхъ разговоровъ, кромѣ разговоровъ объ обузданіи (хотя самое слово „обузданіе“ и не всегда въ нихъ упоминается), и полагаю, что эти же разговоры проводятъ меня и въ могилу. Все относящееся до обузданія вошло, такъ сказать, въ интимную обстановку моей жизни, примелькалось, какъ плоскій русскій пейзажъ, прислушалось, какъ сказка старой няньки, и этого, мнѣ кажется, совершенно достаточно, чтобы объяснить то равнодушіе, съ которымъ я отношусь къ обуздывательной средѣ и къ вопросамъ, ее волнующимъ. Я до такой степени *привыкъ* къ нимъ, что, право, не приходитъ даже на мысль вдумываться, въ чемъ собственно заключаются тѣ тонкости, которыми одинъ обуздательный проектъ отличается отъ другого такового-жъ. Спросите меня, чтѣ либеральнѣе: обуздывать ли человѣчество при помощи земскихъ управъ, или при помощи особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствій — клянусь, я не найдусь даже отвѣтить на этотъ вопросъ. Я не понимаю, въ чемъ состоитъ сущность его, не могу себѣ объяснить, зачѣмъ тутъ привлеченъ либерализмъ? Мнѣ кажется, что оба рѣшенія, на которыя указываетъ вопросъ, одинаково стоятъ на почвѣ обузданія и различаются между собою лишь совершенно недоступною для меня діалектической тонкостью. Поэтому я съ одинаковымъ равнодушіемъ протягиваю руку какъ сторонникамъ земскихъ управъ, такъ и защитникамъ особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствій. Вѣдь и тѣ, и другіе одинаково говорятъ мнѣ объ „обузданіи“ — зачѣмъ же я буду цѣловаться съ однимъ и отворачиваться отъ другого изъ-за того только, что первый даетъ мнѣ на копѣйку менѣе обузданія, нежели второй? Лучше я дамъ каждому по копѣйкѣ своихъ — и пускай себѣ они сотрясаютъ воздухъ разсказами о преимуществахъ земскихъ управъ надъ особыми о земскихъ повинностяхъ присутствіями, и наоборотъ...



Очень возможно, что я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что всё эти частныя попытки, направленные или къ тому, чтобы на вершокъ укоротить принципъ обузданія, или къ тому, чтобы на вершокъ удлинить его, не имѣютъ никакого существеннаго значенія. Сегодня на вершокъ короче, завтра — на вершокъ длиннѣе: все это еще больше удерживаетъ дѣло на почвѣ внезапностей и колебаній, нимаю не разъясняя самаго принципа обузданія. Невольно приходитъ на мысль: если такъ много спорять объ укорачиваніяхъ и удлиненіяхъ принципа, то почему же не перенести споръ прямо на самый принципъ?

Міросозерцаніе громаднаго большинства людей все сплошь зиждется на принципѣ „обузданія“. Я знаю, что многіе удивятся, услышавъ, что къ нимъ примѣняютъ эпитетъ „обуздывателей“, но удивятся единственно потому, что слишкомъ ужъ буквально понимаютъ слово „обузданіе“. Вдумайтесь въ смыслъ этого выраженія, и вы увидите, что „обузданіе“ совсѣмъ не равносильно тому, что на мѣстномъ жаргонѣ извѣстно подъ именемъ „подтягиванія“, и что дѣйствительное значеніе этого выраженія гораздо обширнѣе и универсальнѣе. Стоить только припомнить сказки о „почвѣ“ со всею свитою условныхъ формъ общечитія, союзовъ и проч., чтобы понять, что вся наша бѣдная жизнь замкнута тутъ, въ безчисленныхъ и перепутанныхъ развѣтвленіяхъ принципа обузданія, изъ которыхъ мы тщетно усиливаемся выбраться то съ помощью устнаго и гласнаго судопроизводства, то съ помощью переложенія земскихъ повинностей изъ натуральныхъ въ денежные... Увы! мы стараемся устроиться какъ лучше, мы враждуемъ другъ съ другомъ по вопросу о переименованіи земскихъ судовъ въ полицейскія управленія, а въ концѣ концовъ все-таки убѣждаемся, что даже передача слѣдственной части отъ станovýchъ приставовъ къ судебнымъ слѣдователямъ (мѣра сама по себѣ очень полезная) не избавляетъ насъ отъ тупого чувства недовольства, которое и послѣ учрежденія судебныхъ слѣдователей попрежнему продолжаетъ окрашивать всё наши поступки, всё житейскія отношенія наши.

Ясно, что тутъ скрывается крупное недоразумѣніе, довольно близкое ко лжи, разрѣшеніе котораго совершенно не зависитъ отъ того, чью руку, помѣщицью или крестьянскую, держать мировые посредники. Какъ же поступить въ данномъ случаѣ? Что предпринять, чтобы освободиться отъ чувства недовольства, отравляющаго жизнь? Ужъ не начать ли съ того, на что большинство современныхъ „дѣльцовъ“ смотрятъ именно какъ на ненужное и непрактичное? Не начать ли съ ревизіи самаго принципа обузданія, съ облаченія той массы лганья, которая непроницаемымъ облакомъ окружаетъ этотъ принципъ и мѣшаетъ какъ слѣдуетъ разсмотрѣть его?

Говоря по совѣсти, это именно самое подходящее средство. Я совсѣмъ не отрицатель. Я не отвергаю той пользы, которая можетъ произойти для человѣчества отъ улучшенія быта станovýchъ приставовъ, или отъ того, что всё земскія управы будутъ относиться къ своему дѣлу съ рачительностью. Но я стою на одномъ: что частныя вопросы не имѣютъ права загромождать до такой степени человѣческіе умы, чтобы исключать вопросы общіе. Я думаю даже, что ежели въ обществѣ существуетъ вкусъ къ общимъ вопросамъ, то это не только не вредитъ частностямъ, но даже помогаетъ имъ. При освѣщеніи

общихъ вопросовъ и вопросъ о всеобщей воинской повинности будетъ разрѣшенъ сознательно, и вопросъ объ устройствѣ земскихъ больницъ получить болѣе рациональное осуществленіе. Иногда кажется: вотъ вопросъ не отъ міра сего, вотъ вопросъ, который ни съ какой стороны не можетъ прикасаться къ насущнымъ потребностямъ общества — для чего же, дескать, говорить о такихъ вещахъ? Но вѣдь это вздоръ, любезный читатель! Это только жалкая уловка лгуновъ-дѣльцовъ! Сообразите только: возможное ли это дѣло, чтобы вопросъ глубоко-человѣчскій, вопросъ, затрагивающій основныя отношенія человѣка къ жизни и ея явленіямъ, могъ хотя на одну минуту оставаться для человѣка безъинтереснымъ, а тѣмъ болѣе могъ бы помѣшать ему устраиваться на практикѣ возможно выгоднымъ для себя образомъ — и вы сами навѣрное скажете, что это вздоръ! Это до такой степени вздоръ, что даже мы, современные практики и дѣльцы, отмаливающиеся отъ общихъ вопросовъ, какъ отъ проказы — даже мы, сами того не понимая, дѣйствуемъ не иначе, какъ во имя тѣхъ общечеловѣческихъ опредѣленій, которыя продолжаютъ теплиться въ насъ, несмотря на компактный слой наноснаго практическаго хлама, стремящагося заглушить ихъ! Еслибъ это было иначе, откуда же явились бы земскія управы? И откуда получила бы тверская земская управа рѣшимость ассигновать необходимыя суммы для поддержанія артельныхъ сыроваренъ?

Какъ бы то ни было, но принципъ обузданія продолжаетъ стоять неизблемый, неизслѣдованный. Онъ написанъ во всѣхъ азбукахъ, на всѣхъ фронтисписахъ, на всѣхъ лбахъ. Онъ до того неизблемъ, что даже говорить о немъ не всегда удобно. Не потому ли — спрашивается — онъ такъ живучъ, не потому ли о немъ неудобно говорить, что около него ютятся и кормятся цѣлыя арміи лгуновъ?

И такъ, побесѣдуемъ о лгунахъ.

Лгуны, о которыхъ идетъ рѣчь и для которыхъ „обузданіе“ представляетъ отправную точку всей дѣятельности, бываютъ двухъ сортовъ: лицемерные, сознательно-лгушіе, и искренніе, фанатическіе.

Лицемерные лгуны суть истинные дѣльцы современности. Они лгутъ, какъ говорились когда-то, при крѣпостномъ правѣ, „пуръ лѣ жансъ“, нимало не отрицая ненужности принципа обузданія въ отношеніи къ себѣ и людямъ своего круга. Они забрасываютъ васъ всевозможными „краеугольными камнями“, загромождаютъ вашу мысль всякими „основами“, и тутъ же, на вашихъ глазахъ, на камни поскудять и на основы плюютъ. Въ обществѣ эти люди носятъ названіе „дѣльцовъ“, потому что они не прочь отъ компромиссовъ, и „добрыхъ малыхъ“, потому что они всегда готовы на всякое двоедушіе. И Богу помолиться, и покошуствовать. Это ревнители тихаго разврата, рыцари бездѣлицы, показывающіе свои патенты лишь такимъ же рыцарямъ, какъ и они, посѣтители „отдѣльныхъ кабинетовъ“, устраиватели всевозможныхъ комбинацій на основаніи правила: „и волки сыты, и овцы цѣлы“, антрететтеры высшей школы, политическія и нравственныя кукучки, потихоньку кладущія свои яйца въ чужія гнѣзда, при случаѣ — разбойники, при случаѣ — карманные ворышки.

Лгуны искренніе суть тѣ утописты „обузданія“, передъ которыми содрогается даже современная, освоившаяся съ лганьемъ дѣйствительность. Это



чудища, которыя лгутъ не потому, чтобы имѣли умыселъ вводить въ заблужденіе, а потому, что не хотятъ знать ни свидѣтельства исторіи, ни свидѣтельства современности, которыя ежели и видятъ фактъ, то признають въ немъ не фактъ, а капризъ человѣческаго своеволія. Они брессаютъ въ васъ краеугольными камнями вполне добросовѣстно, нисколько не помышляя о томъ, что камень можетъ убить. Это угрюмые люди, никогда не покидающіе марева, созданнаго ихъ воображеніемъ, и съ неумолимою послѣдовательностью проводящіе это марево въ дѣйствительность. Всегда вооруженные, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только передъ насиліемъ, но и передъ пустотою. „Если въ результатъ нашихъ усилій оказывается только пустота“, говорятъ они, „то слѣдовательно оно не можетъ иначе быть“. И вновь начинаютъ безумную работу данаидъ, совершая мимоходомъ злодѣянія, вырывая крики ужаса и нисколько не наполняя бездны. Лично каждый изъ этихъ господъ можетъ вызвать лишь изумленіе передъ безграничностью человѣческаго тупоумія, изумленіе впрочемъ значительно умѣряемое опасеніемъ: вотъ-вотъ сейчасъ налетитъ! вотъ сейчасъ убьетъ, сотретъ съ лица земли этотъ ураганъ безсознательнаго и тупоумнаго лганья, отстаивающій свое право убивать во имя какой-то личной „искренности“, до которой никому нѣтъ дѣла и передъ которой, тѣмъ не менѣе, сотни глупцовъ останавливаются съ разинутыми ртами: это, дескать, „искренность“!—а искренность надобно уважать!

Вотъ теоретики „обузданія“, вотъ тѣ, которые съ неслыханною наглостью держатъ въ осадѣ человѣческое общество. Если хотите знать, которая изъ указанныхъ выше двухъ категорій лгуновъ кажется на мой взглядъ болѣе терпимою, я, не обинуясь, отвѣчу: лгуны сознательные, лицемѣрные. Лично, быть можетъ, каждый изъ нихъ во сто кратъ омерзительнѣе, нежели лгунъ-фанатикъ, но личный характеръ людей играетъ далеко не первостепенную роль въ дѣлахъ міра сего. Я отъ души уважаю искренность, но не люблю костровъ и пытокъ, которыми она сопровождается, въ товариществѣ съ тупоуміемъ. Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ искренность, примѣненная къ насилію, и общество, руководимое фанатиками лжи, можетъ навѣрное рассчитывать на предстоящее превращеніе его въ пустыню. Я предпочитаю лгуналищамъ уже по тому одному, что онъ никогда не лжетъ до конца, но лжетъ и оглядывается. Хотя онъ тоже не прочь отъ пытки, но у него нѣтъ того устоя, который окружаетъ пытку ореоломъ величія. У мелкаго плута и сердце, и руки всегда короче, нежели у подлиннаго, искренняго душегуба. Вора законъ посылаетъ въ смиренный домъ, душегуба — на каторгу. Не потому онъ дѣлаетъ это различіе, чтобы воръ былъ болѣе достоинъ уваженія, а потому, что онъ менѣе вреденъ. Наконецъ, лицемѣра-лгуна я могу презирать, тогда какъ въ виду лгуна-фанатика мнѣ ничего другого не остается, какъ трепетать. Какъ хотите, а право презирать, все-таки, хоть сколько-нибудь да облегчаетъ меня...

Освободиться отъ „лгуновъ“ — вотъ насущная потребность современнаго общества, потребность, во всякомъ случаѣ, не менѣе настоятельная, какъ и потребность въ правильномъ разрѣшеніи вопроса о дешевѣйшихъ способахъ околѣки льда на волжскихъ пристаняхъ.

Убѣждать теоретиковъ обузданія въ необходимости ревизіи этого принципа было бы, однакожъ, совершенно напрасною тратой времени. Большинство изъ нихъ (лгуны-лицемѣры) не только не страдаетъ отъ того, что общество изнемогаетъ подъ игомъ насильно навязанныхъ ему и не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ жизни принциповъ, но даже извлекаетъ изъ общественной заботности извѣстныя личныя удобства. Меньшинство же (лгуны-фанатики) хотя и подвергается себя обузданію, наравнѣ съ массою простецовъ, но неизвѣстно еще, почему люди этого меньшинства такъ сильно вѣрятъ въ творческія свойства излюбленнаго ими принципа: потому ли, что онъ влечетъ ихъ къ себѣ своими внутренними свойствами, или потому, что имъ извѣстны только легчайшія формы его. Есть много постниковъ, которые охотно держатъ постъ, сопровождающійся постною стерляжью ухаю, но которые навѣрное совѣмъ не такъ ретиво пропагандировали бы теорію умерщвленія плоти, еслибъ она осуществлялась для нихъ въ формѣ ржаного хлѣба, приправленнаго лебедой.

На дѣлѣ героемъ обузданія оказывается совѣмъ не теоретикъ, а тотъ бѣдный простецъ, который несетъ на своихъ плечахъ всѣ практическія примѣненія этого принципа. Онъ несетъ ихъ безъ усладъ, которыя могли бы обмануть его насчетъ свойствъ лежащаго на немъ бремени, безъ надежды на возможность хоть временныхъ экскурсій въ область запретнаго; несетъ потому, что вся жизнь его такъ сложилась, чтобъ сдѣлать изъ него живую, способную выдерживать всевозможные обуздательные опыты. Онъ чтитъ всѣ союзы, но чтитъ не постольку, поскольку они защищаютъ его самого, а поскольку они ограждаютъ другихъ. Для него лично нѣтъ въ мірѣ угла, который не считался бы заповѣднымъ, хотя онъ самъ открытъ со всѣхъ сторонъ, открытъ для всѣхъ воздѣйствій, на изобрѣтеніе которыхъ такъ тароватъ досужій человѣческій умъ.

Вотъ для него-то именно и необходимы тѣ разъясненія, о которыхъ идетъ рѣчь.

Нельзя себѣ представить положенія болѣе запутаннаго, какъ положеніе добродушнаго простеца, который изъ всѣхъ силъ сгибаетъ себя подъ игомъ обузданія, и въ то же время чувствуетъ, что жизнь на каждомъ шагѣ такъ и подмываетъ его выскользнуть изъ-подъ этого ига. Строго обдуманной теоріи у него нѣтъ; онъ никогда не пробовалъ доказать себѣ необходимость и пользу обузданія; онъ не знаетъ, откуда оно пришло и какъ сложилось; для него это просто *modus vivendi*, который онъ всосалъ себѣ вмѣстѣ съ молокомъ матери. Съ другой стороны, онъ никогда не разсуждалъ и о томъ, почему жизнь такъ настойчиво подстрекаетъ его на бунтъ противъ обузданія; ему сказали, что это происходитъ оттого, что „плоть немощна“ и что „врагъ силенъ“ — и онъ на слово повѣрилъ этому объясненію. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ опереться ему, все-таки, не на что. Онъ не имѣетъ надежной крѣпости, изъ которой могъ бы дѣлать набѣги на бунтующую плоть; не имѣетъ и укромной лазейки, изъ которой могъ бы послать „бодрому духу“ справедливый укоръ, что вотъ, какъ ни дрянна и ни немощна плоть, а все-таки почему-нибудь да беретъ же она надъ тобою, „бодрымъ духомъ“, верхъ. Словомъ сказать, онъ открытъ и беззащитенъ со всѣхъ сторонъ...



Но какъ ни жалка эта всесторонняя беззащитность, а для него, простеца, неизвѣстно зачѣмъ живущаго, неизвѣстно къ чему стремящагося, даже и она служить чѣмъ-то въ родѣ спасительной пристани. Устраните изъ жизни простеца элементъ безсознательности, и вы увидите передъ собою человѣка, отданнаго въ жертву непрерывному ужасу. Ужась — въ виду безрадостности существованія, со всѣхъ сторонъ опутаннаго обузданіемъ, и ужась же — въ виду угрызений, которыя необходимо должны отравить торжество немощной плоти надъ бодрымъ духомъ. Куда ни оглянись — вездѣ огненная геенна. Ясно, что при такой обстановкѣ совѣтъ невозможно было бы существовать, еслибъ не имѣлось въ виду облегчительнаго элемента, позволяющаго взглянуть на всѣ эти ужасы глазами пьянаго человѣка, который готовъ и море переплыть, и съ колокольни соскочить безъ всякой мысли о томъ, что изъ этого можетъ произойти. Ясно, что только одна безсознательность можетъ выручить простеца въ его затруднительномъ положеніи. Если человѣкъ беззащитенъ, если у него нѣтъ средствъ бороться ни за, ни противъ немощной плоти, то ему остается только безусловно отдаться на волю гнетущей необходимости, въ какой бы формѣ она ни представлялась. Исполнивши это, онъ по крайней мѣрѣ освобождаетъ себя отъ вмѣняемости передъ судомъ собственной совѣсти, отъ ужасовъ, которыми она грозитъ ему на каждомъ шагѣ. Подобно луна-тику, онъ идетъ на встрѣчу препятствію, столь же чуждый сознательному намѣренію преодолѣть его, какъ и сознательному опасенію разбить себѣ лобъ. Случись первое — онъ совершаетъ подвигъ безъ всякой мысли о его совершеніи; случись второе — онъ встрѣчаетъ смерть, какъ одну изъ внезапностей, сдѣленіемъ которыхъ была вся его жизнь.

Но — скажутъ, быть можетъ, многіе: — что же намъ до того, сознательно или безсознательно примиряется человѣкъ съ жизнью? Вѣдь дѣло не въ томъ, въ какой формѣ совершается это примиреніе, а въ томъ, что оно, несмотря на форму, совершается до такой степени полно, что самъ примиряющійся не замѣчаетъ никакой фальши въ своемъ положеніи! Вѣдь примирившійся счастливъ — оставьте же его быть счастливымъ въ его безсознательности! не будите въ немъ напраснаго недовольства самимъ собою, недовольства, которое только производитъ въ немъ внутренній разладъ, но, въ концѣ концовъ, все-таки не сдѣлаетъ его ни болѣе способнымъ къ правильной оцѣнкѣ явленій, изъ которыхъ складается ни для кого неинтересная жизнь простеца, ни менѣе беззащитнымъ противъ вторженія въ эту жизнь всевозможныхъ внезапностей.

Возраженіе это, прежде всего, не весьма нравственно, хотя по преимуществу слышится со стороны людей, считающихъ себя охранителями добрыхъ нравовъ въ обществѣ. Въ основаніи его лежатъ темные виды на человѣческую эксплуатацію, которая, какъ извѣстно, ничѣмъ такъ не облегчается, какъ нахожденіемъ массъ въ состояніи безсознательности. Во-вторыхъ, если и есть основаніе допустить возможность сочетанія счастья съ безсознательностью, то счастье такого рода имѣть столь же мало шансовъ на прочность, сколь мало имѣть ихъ и сама безсознательность. Последняя хотя и можетъ служить примирителемъ между человѣкомъ и жизнью, но лишь до тѣхъ поръ, покамѣстъ тому благопріятствуетъ спокойно-сложившаяся внѣшняя обстановка.

Съ измѣненіемъ обстановки, съ вторженіемъ въ нее новаго элемента, смягчающія свойства безсознательности истираются съ поразительною быстротою, и услуги, доставляемыя ею, дѣлаются не только ничтожными, но и прямо назойливыми, почти омерзительными. Такого рода метаморфозы вовсе не рѣдкость даже для насъ; мы на каждомъ шагѣ встрѣчаемъ мечущихся изъ стороны въ сторону простецовъ, и если проходимъ мимо нихъ въ недоумѣніи, то потому только, что ни мы, ни сами мечущіеся не даемъ себѣ труда формулировать не только источникъ ихъ отчаянія, но и свойство претерпѣваемой ими боли. А источникъ этотъ всегда одинъ и тотъ же: это — непроизвольное прекращеніе состоянія безсознательности.

Простецъ выносивъ — это правда. Покуда жизнь его идетъ обычною прозябательною колеей, гнетъ обузданія остается для него почти нечувствительнымъ. Но едва-ли въ цѣломъ мірѣ найдется такое неосмысленное существованіе, которое можно было бы навсегда удержать на исключительно прозябательной колѣѣ. У самаго простѣйшаго изъ простецовъ найдется въ жизни такая минута, которая разомъ выведетъ его изъ инерціи, разобьетъ въ прахъ его безсознательное благополучіе и заставитъ безнадежно метаться на прокустовомъ ложѣ обузданія. Вспомните, сколько въ этомъ бѣдномъ существованіи больныхъ мѣсть, которыя такъ и напрашиваются на уязвленіе! Вспомните, что оно обставлено цѣлою свитой азбучныхъ афоризмовъ, изъ которыхъ ни одинъ не защищаетъ, а, напротивъ того, представляетъ легко отворяющуюся дверь для всевозможныхъ наѣздовъ! А между тѣмъ простецъ сжилъ съ этими афоризмами; онъ чувствуетъ себя сросшимся съ ними, онъ по нимъ устроилъ всю свою жизнь! И вдругъ является что-то неожиданное, непредвидѣнное, вслѣдствіе чего онъ чувствуетъ, что съ него, не имѣющаго никакого понятія о самозащитѣ, живьемъ сдираютъ наносную кожу, которую онъ искони считалъ своею собственною! Какъ поступитъ онъ въ такомъ случаѣ?

Нѣтъ сомнѣнія, случись что-нибудь подобное съ теоретикомъ-дѣльцомъ, онъ скажетъ себѣ: „наплевать!“ и пойдетъ туда, куда укажетъ ему его личная выгода. Случись то же самое съ теоретикомъ-фанатикомъ, онъ скажетъ себѣ: „это дьявольское навожденіе“ — и постарается отбиться отъ него съ помощью пытки, костровъ и т. д. Но простецъ въ подобныхъ случаяхъ видитъ себя какъ въ лѣсу. Онъ не можетъ сказать себѣ: „устрою свою жизнь по новому“, потому что онъ весь опутанъ афоризмами, и нѣтъ для него другого выхода, кромѣ изнурительнаго маяченія отъ одного афоризма къ другому. Онъ никогда ничего не ждалъ, ни къ чему не готовился. Онъ самый процессъ собственного существованія выносилъ только потому, что не понималъ ни причинъ, ни послѣдствій своихъ и чужихъ поступковъ. И вдругъ для него наступаетъ моментъ какой-то загадочной ликвидаціи, въ которой онъ ровно ничего не понимаетъ. Жена обѣжала съ юнкеромъ, сосѣдъ завладѣлъ полемъ, другъ оказался предателемъ. „Что случилось? — въ смущеніи спрашиваетъ онъ себя: — обрушился ли міръ? не прекратила ли дѣйствіе завѣщанная преданіемъ общественная мудрость?“ Но и міръ, и общественная мудрость стоятъ неприкосновенныя и нимало не тронутыя тѣмъ, что въ ихъ глазахъ гибнетъ простецъ, котораго бросила жена, которому измѣнилъ другъ, у котораго сосѣдъ отнялъ поле. Ничто не измѣнилось кругомъ, ничто не прекратило обычнаго ликован-



нія, и только онъ, злосчастный простецъ, тщетно вопіетъ къ небу по дѣлу о побѣгѣ его жены съ юнкеромъ, съ тѣмъ самымъ юнкеромъ, который при немъ столько разъ и съ такимъ искреннимъ чувствомъ говорилъ о святости семейныхъ узъ!

Понятно, какъ долженъ онъ быть изумленъ. Въ томъ общемъ равнодушіи, которое встрѣчаетъ его горе, онъ видитъ какой-то странный внутренній разладъ, какую-то двойную, саму себя побивающую мораль. Мало того: самые поступки его жены, сосѣда, друга кажутся ему загадочными. Эти люди совсѣмъ не отрицатели и протестанты; напротивъ того, они сами не разъ утверждали его въ правилахъ общежитія, сами являлись пламенными защитниками тѣхъ афоризмовъ, которыми онъ, съ ихъ же словъ, окружилъ себя. Чтò побудило ихъ уклониться отъ прямой дороги, не стѣсняясь даже тѣмъ, что это уклоненіе разбиваетъ чье-то существованіе? Нѣтъ ли въ ихъ поступкѣ двойной морали, притворства, порочнаго дѣйствія, за которыя ихъ должны были бы преслѣдовать угрызенія совѣсти?

Увы! тутъ вовсе нѣтъ никакой двойной морали, а что касается до угрызеній совѣсти, то самая надежда на нихъ оказывается пустымъ ребячествомъ. Тутъ была простая мораль „пуръ лё жансъ“, которую ни одинъ дѣлецъ обузданія никогда не считаетъ для себя обязательною и въ которой всегда имѣется достаточно широкая дверь, чтобы выйти изъ области азбучныхъ афоризмовъ самому и вывести изъ нея своихъ присныхъ. Если простецъ не видитъ этой двери, тѣмъ хуже для него, но для дѣльца-теоретика эта слѣпота представляетъ даже выгоду, ибо устраняетъ толкотню. Онъ свободно дѣлаетъ черезъ эту дверь свои экскурсіи и свободно же возвращается черезъ нее въ область афоризмовъ, когда это нужно для подкрѣпленія морали „пуръ лё жансъ“. Какъ истинно развитой человѣкъ, онъ гуляетъ и тутъ, и тамъ, никогда не налагая на себя никакихъ узъ, но въ то же время отнюдь не воспрещая, чтобы другіе считали для себя наложеніе узъ полезнымъ. Напротивъ того, онъ охотно даже поддерживаетъ вкусъ къ узамъ, ибо вкусъ этотъ развязываетъ ему руки, расчищаетъ передъ нимъ больше мѣста...

Но какъ ни просто такое объясненіе обстоятельства, смутившаго жизнь бѣднаго простеца, для него оно, все-таки, представляетъ тарабарскую грамоту. Онъ не понимаетъ, что причину поразившей его смуты составляетъ особенная, не имѣющая ничего общаго съ жизнью теорія, которую сочинители ея, нимало не скрываясь, называютъ моралью „пуръ лё жансъ“, и которую онъ, простецъ, принялъ за нѣчто вполне серьезное. Видя, что исконные регуляторы его жизни поломаны, онъ не задается мыслью: чтò жь это за регуляторы, которые ломаются при первомъ прикосновеніи къ нимъ? не они ли именно и измяли и скомкали всю его жизнь?—но прямо и искренно чувствуетъ себя несчастнымъ. Несчастіе вызоветъ въ немъ протестъ, но протестъ настолько смутный, насколько смутенъ и источникъ, породившій его. Отъ изумленія онъ переходитъ къ унынію и отчаянію. Онъ мечется какъ въ предсмертной агоніи; онъ предпринимаетъ тысячу дѣйствій, одно нелѣпѣе и безсильнѣе другого, и попеременно клянется то отмстить своимъ обидчикамъ, то самому себѣ разбить голову...

Вотъ вѣроятный практическій результатъ, къ которому, въ концѣ кон-

цовъ, долженъ придти самый выносливый изъ простецовъ при первомъ жизненномъ уколѣ. Ясно, что безсознательность, которая дотолѣ примиряла его съ жизнью, уже не даетъ ему въ настоящемъ случаѣ никакихъ разрѣшеній, а только вносить элементъ раздраженія въ непроницаемый хаосъ понятій, составляющій основу всего его существованія. Она не примиряетъ, а приводитъ къ отчаянію.

Ужели зрѣлища этого безсильнаго отчаянія недостаточно, чтобъ всмотрѣться нѣсколько пристальнѣе въ эту спутанную жизнь? чтобъ спросить себя: чтѣ же, наконецъ, скомкало и спутало ее? чтѣ сдѣлало этого человѣка такъ глубоко неспособнымъ къ какому-либо противодѣйствію? чтѣ поставило его втупикъ передъ самымъ простымъ явленіемъ, потому только, что это простое явленіе вышло изъ размѣровъ рутинной колеи?

Допустимъ, однакожь, что жизнь какого-нибудь простеца не настолько интересна, чтобъ вникать въ нее и сожалѣть о ней. Вѣдь простецъ—это незамѣтная тля, которую высшій организмъ ежемгновенно давитъ ногой, даже не сознавая, что онъ что-нибудь давитъ! Пусть такъ! Пусть гибнетъ простецъ жертвою недоумѣвій! Пусть осуществляется на немъ великій законъ борьбы за существованіе, въ силу котораго крѣпкій пріобрѣтаетъ еще большую крѣпость, а слабый безъ разговоровъ отбрасывается за предѣлы жизни!

Но не забудьте, что имя простеца—легионъ, и что никакой законъ, какъ бы онъ ни былъ безповоротенъ въ своей послѣдовательности, не въ силахъ окончательно стереть этого легиона съ лица земли. Простецъ нарождается непрерывно, какъ та тля, которой онъ служитъ представителемъ въ человѣческомъ обществѣ и которую не передавить и не истребить цѣлому сонмищу хищниковъ. Не простецовъ, не тли, а „крѣпкихъ“ мало, да притомъ же на современномъ общественномъ языкѣ, по какому-то горькому извращенію понятій, „крѣпкимъ“ называется совѣтъ не тотъ, кто дѣйствительно борется за существованіе, а тотъ, кто, подобно кукушкѣ, кладетъ свои яйца въ чужія гнѣзда. Ужели, хотя въ виду того, что простецъ сѣдобенъ, что онъ представляетъ собою лучшую *anima vilis*, на которой можетъ осуществляться законъ борьбы за существованіе—ужели въ виду хоть этихъ удобствъ найдется себялюбецъ изъ „крѣпкихъ“, настолько ограниченный, чтобы желать истребленія „прстеца“ или его окончательнаго обезсиленія?

Надо сказать правду: нельзя указать ни одной книжки въ литературѣ „крѣпкихъ“, гдѣ бы фантазіи подобнаго рода нашли для себя сознательное выраженіе. Напротивъ того, всѣ книжки свидѣтельствуютъ единогласно, что простецъ имѣетъ столь же неотъемлемое право на существованіе, какъ „крѣпкій“, исключая, разумѣется, тѣхъ случаевъ, когда законъ борьбы, независимо отъ указаній филантропіи, безжалостно посягаетъ перваго и щадитъ второго. Но, къ сожалѣнію, эта похвальная осмотрительность въ значительной степени подрывается тѣмъ обстоятельствомъ, что общее міросозерцаніе „крѣпкихъ“ столь же мало отличается цѣлностью, какъ и міросозерцаніе „прстецовъ“. Говоря по совѣсти, оно не только лишено какой бы то ни было согласованности, но все сплошь какъ бы склеено изъ кусочковъ и изолированныхъ теорій, изъ которыхъ каждая питаетъ самое себя, организуя такимъ образомъ какъ бы непрекращающееся вавилонское столпотвореніе.



Отъ этого происходитъ, что едва, напримѣръ, социологическая или позитивная теорія успѣють найти мѣсто для простеца, какъ теорія теологическая или экономическая уже спѣшатъ отнять у него это мѣсто и указываютъ на другое. И такимъ образомъ, за спорами, простецъ остается непристроеннымъ. А тутъ, какъ бы на помощь смутѣ, является еще практика „крѣпкихъ“, которая уже окончательно смѣшиваетъ шашки и истребляетъ даже послѣднія крохи теоретической стыдливости. Теорія говоритъ свое: нужно пристроить простеца, нужно освободить его отъ колебаній, которыя тяготѣютъ надъ его жизнью — а практика *дѣлаетъ* свое, то-есть служитъ самымъ обнаженнымъ выраженіемъ людской ограниченности, не видящей впереди ничего, кромѣ непосредственныхъ результатовъ, приобретаемыхъ самолюбивою хищностью...

А между тѣмъ никто такъ не нуждается въ свободѣ отъ призраковъ, какъ простецъ, и ничье освобожденіе не можетъ такъ благотворно отозваться на цѣломъ обществѣ, какъ освобожденіе простеца.

Подумайте! Покуда „крѣпкій“, благодумствуя, придумываетъ теоріи союзовъ — простецъ несетъ на себѣ все бремя дѣйствительнаго производительнаго труда. Покуда „крѣпкій“ кладетъ свои яйца въ чужое гнѣздо (увы! въ гнѣздо того же простеца!) — простецъ обязывается устроить это гнѣздо, сдѣлать его удобнымъ для высиживания чужихъ яицъ. Но какая же можетъ пойти на умъ работа, если этотъ умъ подавленъ призраками, если онъ вращается въ какой-то нескончаемой пустотѣ, изъ которой нѣтъ другого выхода, кромѣ отчаянія? Подумайте, сколько тутъ теряется нравственныхъ силъ! А если нравственныя силы ни почемъ на современномъ базарѣ житейской суеты, то переложите ихъ на гроши и сообразите, какъ великъ окажется недочетъ послѣднихъ, вслѣдствіе одного того только, что простецъ, пораженный уныніемъ, не видитъ ясной цѣли ни для труда, ни даже для самаго существованія!

О, теоретики пѣвко-снимательства! о, вы, которые съ пытливостью за-служивающей лучшей участи, допытываетесь, сколько грошей могло бы быть сэкономлено, еслибъ суммы, отпускаемыя на околку льда на волжскихъ пристаняхъ, были расходуеть болѣе осмотрительнымъ образомъ! Подумайте, не цѣлесообразнѣ ли поступили бы вы, обративъ вашу всепожирающую пѣвко-снимательную дѣятельность на изслѣдованіе тѣхъ нравственныхъ и матеріальныхъ ущербовъ, которые несетъ человѣческое общество, благодаря господствующимъ надъ нимъ призракамъ!

## I.—Въ дорогѣ.

Я ѣхалъ недовольный, измученный, разстроенный. Въ М\*\*\*, гдѣ были у меня дѣла по имѣнію, ничто мнѣ не удалось. Дѣла оказались запущенными; мои требованія встрѣчали или прямой отпоръ, или такую уклончивость, которая не предвѣщала ничего добраго. Предвидѣлось судебное разбирательство, разѣзды, расходы. Обладаніе правомъ представлялось чѣмъ-то сомнительнымъ, почти тягостнымъ.

— Очень ужъ вы, сударь, просты! — утѣшали меня мои м — скіе пріятели. Но и это утѣшеніе дѣйствовало плохо. Въ первый разъ въ жизни мнѣ показалось, что едва-ли было бы не лучше, еслибъ про меня говорили: „вотъ молодецъ! налетѣлъ, ухватилъ за горло — и дѣлу конецъ!“

Дорога отъ М. до Р. идетъ семьдесятъ верстъ проселкомъ. Дорога тряска и мучительна; лошади сморены и еле живы; таранта съколоченъ на живую нитку; на половинѣ дороги надо часа три кормить. Но на этотъ разъ дорога была для меня поучительна. Сколько разъ проѣзжалъ я по ней, и никогда ничто не поражало меня: дорога какъ дорога, и лѣсомъ идетъ, и перелѣсками, и полями, и болотами. Но вотъ лѣтъ десять, какъ я не былъ на родинѣ, не былъ съ тѣхъ поръ, какъ помѣщики взяли въ руки гитары и заплѣли:

На рѣкахъ вавилонскихъ — тамо сѣдохомъ и плакахомъ...

и до какой степени все измѣнилось кругомъ!

Съ тѣхъ поръ и народъ „сталъ слабъ“, и всѣ мы оказались „просты... ахъ, какъ мы просты!“ и „нѣмецъ насъ одолѣлъ!“ Дѣа, нѣмецъ. Доить нѣмецъ, да и шабашъ!“ — вопіють въ одинъ голосъ всѣ кабатчики, всѣ лабазники, всѣ содержатели постоянныхъ дворовъ. И вамъ ничего не остается дѣлать, какъ согласиться съ этимъ воплемъ, потому что вы видите собственными глазами и чувствуете сердцемъ, какъ всюду — и на землѣ, и подъ землею, и на водѣ, и подъ водою — всюду ползетъ нѣмецъ. Въ этихъ коренныхъ русскихъ мѣстахъ, гдѣ нѣкогда попирали ногами землю русскіе угодники и благочестивые русскіе цари и царицы — въ настоящую минуту почти всевластно господствуетъ нѣмецъ. Онъ снимаетъ рощи, корчуетъ пни, разводитъ плантаціи, овладѣваетъ всѣми промыслами, отъ которыхъ, при менѣ черной сравнительно работѣ, можно ожидать болѣе прибылей, и даже угрожаетъ забрать въ свои руки исконный здѣшній промыселъ „откармливанія пѣуновъ“. И чѣмъ ближе вы подѣзжаете къ Троицкому Посаду и къ Москвѣ, этому средоточію русской святыни, тѣмъ болѣе убѣждаетесь, что нѣмецъ совсѣмъ не перелетная птица въ этихъ мѣстахъ, что онъ не на шутку задумалъ здѣсь утвердиться, что онъ устроивается прочно и надолго и вѣрною рукой раскидываетъ мрежи, въ которыхъ суждено барахтаться всевозможнымъ Трифонычамъ, Сидорычамъ и прочей неуклюжей бѣлужинѣ и сомовинѣ, заспавшейся, опухшей, спившейся съ круга.

— Чей это домикъ? — спрашиваю я, указывая на стоящій въ сторонѣ новенькій, съ иголочки, домикъ, кругомъ котораго уже затѣянъ молодой садъ.



— Это Крестьянь Иваныча! — отвѣчаетъ ямщикъ: — онъ тутъ рошу у помѣщика купилъ. Вонъ онъ лѣсъ-то! Ишь сколько повалилъ! Словно городъ, костровъ-то наставилъ!

Я смотрю по указываемому направленію и вижу, что вдали дѣйстви-тельно раскинулось словно большое село. Это сложенные стопы бревенъ, тесу, досокъ, сажени всякаго рода дровъ: швырковыхъ, угольныхъ, хворосту и т. д.

— Кто же этотъ Крестьянь Иванычъ?

— Нѣмецъ. Онъ ужъ лѣтъ пять здѣсь орудуетъ. Тощой пришелъ, а теперь, смотри, какую усадьбу взбодрилъ!

— Хороній человѣкъ?

— Душа-человѣкъ. Какъ есть русскій. И не скажешь, что нѣмецъ. И вино пьетъ, и сморкается по нашему; въ церковь только не ходитъ. А на ра-ботѣ — дошлый-предошлый! все самъ! И хозяйка у него — все сама!

— А дорого за рошу далъ?

— Пустое дѣло. Почестъ-что за даромъ купилъ. Иванъ Матвѣичъ, помѣщикъ тутъ былъ, господинъ Сибириковъ прозывался. Крестьянь-то онъ въ казну отдалъ. Остался у него лѣсокъ — самъ онъ въ него не заглядывалъ, а лѣсокъ ничего, хоть на какую угодно стройку гожи! — да болотце десятинь съ сорокъ. Ну, онъ и говоритъ, Матвѣй-то Иванычъ: гдѣ мнѣ, говоритъ, съ этимъ дерьмомъ возжаться! Взялъ да и продалъ Крестьянь Иванычу за без-цѣнокъ. Владей!

— Отчего же свои крестьяне не купили, коли дешево?

— А крестьяне покудова проклаждались, покудова чтѣ... Да и засилья настоящаго у мужиковъ нѣтъ: все въ разсрочку да въ годы — жди тутъ! А Крестьянь Иванычъ — настоящій человѣкъ! вѣроятный! Онъ тебѣ вынулъ бумажникъ, отсчиталъ денежки — поѣзжай на всѣ на четыре стороны! Хошь — въ Москвѣ, хошь — въ Питерѣ, хошь — на теплыхъ водахъ живи! Болотце-то вотъ, которое просто въ придачу, задаромъ пошло, Крестьянь Иванычъ нынче высушилъ да засѣялъ — такая ли трава расчуденная пошла, что теперича этому болотцу и цѣвы по нашему мѣсту нѣтъ!

— Однако этотъ Крестьянь Иванычъ, если въ засилье взойдетъ, онъ у васъ скоро съ лѣсами-то порѣжнитъ!

— Это ты насчетъ того, что-ли, что лѣсовъ-то не будетъ? Нѣтъ, за имъ безъ опаски насчетъ этого жить можно. Потому онъ умный. Нашъ русскій — купецъ или помѣщикъ — это такъ. Этому дай въ руки топоръ, онъ все безо времени сдѣлаетъ. Или съ весны рошу валить станеть, или скотину по вырубкѣ пустить, или подъ покосъ отдавать зачнетъ, — ну, и останутся на томъ мѣстѣ одни пеньки. А Крестьянь Иванычъ — тотъ съ умомъ. У него, смотри, какой лѣсъ на этомъ самомъ мѣстѣ лѣтъ черезъ сорокъ вырастетъ!

Бѣдемъ еще верстъ пять-шесть; проѣзжаемъ мимо усадьбы. Большой каменный двухъ-этажный домъ, съ башнями по бокамъ и вышкой по сере-динѣ; штукатурка мѣстами обвалилась; направо и налево каменные флигеля, службы, скотные и конные дворы, оранжереи, теплицы; во всѣ стороны тя-нуты проспекты, засаженные столѣтними березами и липами; сзади — темный, густой садъ; сквозь листву деревь и кустовъ мѣстами мелькаетъ стальной

блескъ прудовъ. И домъ, и садъ, и проспекты, и пруды — все запущено, все заглохло; на всемъ печать забвенія и сиротливости.

— Чья усадьба?

— Величкина Павла Павлыча была, а нынче Ѳедоръ Карлычъ купилъ.

— Какой Ѳедоръ Карлычъ?

— Нѣмецъ. Сибирянь (Зильберманъ) прозывается. Хорошій баринъ. Умный.

— Отчего же у него такъ запущено?—удивляетесь вы, уже безотчетно подчиняясь какому-то странному внушенію, влѣдствіе котораго выраженія: „нѣмецъ“ и „запущенность“ вамъ самимъ начинаютъ казаться несовмѣстимыми, тогда какъ та же запущенность показалась бы совершенно естественною, еслибъ рядомъ съ нею стояло имя Павла Павловича господина Величкина.

— Только по веснѣ купилъ. Онъ верхній-то этажъ снести хочетъ. Ранжереи тоже нарушилъ. Некому, говорить, здѣсь этого добра ѣсть. А въ ранжереяхъ-то кирпича одного тысячъ на пять будетъ.

— А много денегъ отдалъ?

— Сибирянь-то? Задаромъ взялъ. Десятинъ съ тысячу мѣста здѣсь будетъ, только все лоскутками: въ одномъ мѣстѣ клочокъ, въ другомъ клочокъ. Ну, Павелъ Павлычъ и видитъ, что возжаться тутъ нѣ изъ чего. Взялъ да на кругъ по двадцать рублей десятину и продалъ. Анъ одна усадьба кирпичомъ того стѣитъ. Лѣску тоже не мало, покосы!

— Да что же, наконецъ, за крайность была отдавать за безцѣнокъ?

— А та и крайность, что ничего не подѣлаешь. Павелъ-то Павлычъ, покудова у него крѣпостные были, тоже съ умомъ былъ, а какъ отошли, значить, крестьяне въ казну,—онъ и узналъ себя. Остались у него отъ надѣла клочочки — самъ оставилъ: все получше, съ лѣскомъ, мѣстечки себѣ выбиралъ—ну, и не соберетъ ихъ. Помаялся, помаялся—и бросилъ. А Сибирянь эти клочочки всѣ къ мѣсту пристроить.

Еще десять верстъ—впереди рѣчка. На рѣчкѣ плотина; слышенъ шумъ падающей воды, двигающихся колесъ; на берегу, въ лощинкѣ ютится красивая, вновь выстроенная мельница.

— Чья мельница?

— Была мельница—теперь фабрика. Адамъ Абрамычъ купилъ. Увидаль, что по здѣшнему мѣсту молоть нѣчего, и поворотилъ на фабричку. Бумагу дѣлаетъ.

Я уже не спрашиваю, кто этотъ Адамъ Абрамовичъ и за сколько онъ приобрѣлъ мельницу. Я знаю. Но мною всецѣло овладѣваетъ вопросъ: и это земля, которую нѣкогда прославили чудеса русскихъ угодниковъ! Земля, которую нѣкогда попирали стопы благочестивыхъ царей и благовѣрныхъ царицъ русскихъ, притекавшихъ сюда, подъ тихую сѣнь святыхъ обитателей, отдохнуть отъ царственныхъ заботъ и трудовъ и излить воздыханія сокрушенныхъ сердецъ своихъ! Это ужасно! Вѣдь онъ, наконецъ, жидъ, этотъ Адамъ Абрамовичъ! Непремѣнно онъ жидъ! Жидъ—и гдѣ? въ какомъ мѣстѣ?!

А вотъ кстати, въ сторонѣ отъ дороги, за сосновымъ боромъ, значительно впрочемъ порѣдѣвшимъ, блеснули и золоченыя главы одной изъ ти-



хихъ обителѣй. Вдали, изъ-за лѣса, выдвинулось на просторъ темное плёсо монастырскаго озера. Я зналъ и этотъ монастырь, и это прекрасное, глубокое рыбное озеро! Какіе водились въ немъ лещи! и какъ я объѣдался ими въ годы моей юности! Вяленые, сушеные, копченые, жареные въ сметанѣ, вареные и обсыпанные яйцами—во всѣхъ видахъ они были превосходны!

— Озеро-то у монастыря нынче Иванъ Карлычъ снялъ!—оборачивается ко мнѣ ямщикъ.

— Чтѣ ты!

— Истинно. Прежде все русскимъ сдавали, да, слышь, безо времени рыбу стали ловить — ну, и выловили все. Прежде какіе лещи водились, а нынче только щурята да головль. Ну, и отдали Иванъ Карлычу.

Еще ударъ чувствительному сердцу! Еще язва для оскорбленнаго національнаго самолюбія! Иванъ Парамоновъ! Сидоръ Терентьевъ! Антипъ Егоровъ! Столпы, на которыхъ утверждалось благополучіе отечества! Вы, въ три дни созидавшіе и въ три минуты разрушавшіе созданное! Гдѣ вы? Гдѣ мрежи, которыми вы уловляли вселенную? Ужели и онѣ лежатъ заложенные въ кабаки и ждутъ покупателя въ лицѣ Ивана Карлыча? Ужели и ваши таланты, и ваша „удача“, и ваше „авось“, и ваше „небось“ — все, все погибло въ волнахъ очищенной?

— Нынче русскіе только кабаками занимаются, — какъ бы отвѣчаетъ ямщикъ на мою тайную мысль: — а прочее все къ нѣмцамъ отошло.

— Но вѣдь не всѣ же кабаками занимаются! Прочіе-то чѣмъ же nibудь да живутъ?

— А прочіе—кто невинно падшимъ объявился, а кто въ приѣзчики къ нѣмцу нанялся. Ничего — нѣмцы нашими не гнушаются покудова. Прохора-то Петрова, чай, знаете?

— Это Голубчикова-то?

— Ну, вотъ, его самого. Теперь онъ у Адама Абрамыча первый чело-вѣкъ состоятъ. И у него своя фабричка была подлѣ Адамъ Абрамычевой; и тоже пофордыбачилъ онъ по началу, какъ Адамъ-то Абрамычъ здѣсь поселился. Я-ста да мы-ста, да куда-ста кургузому противъ насъ устоятъ! Анъ черезъ годъ вылетѣлъ. Однако Адамъ Абрамычъ простилъ. Нынче Прохоръ-то Петровъ у него всѣмъ дѣломъ заправляетъ—оба другъ дружкой не нахвалятся.

Мы ѣдемъ съ версту молча. Наконецъ ямщикъ снова оборачивается ко мнѣ.

— Я вотъ чтѣ думаю, — говоритъ онъ: — теперича я ямщикъ, а задумай нѣмецъ свою тройку завести — ни въ жизнь мнѣ противъ его не устоятъ. Потому сбруйка у него аккуратненькая, животы не мученые, тарантасецъ покойный—ѣдетъ да посвистываетъ. Ни онъ лошадь не задергаетъ, ни онъ лишній разъ кнутомъ ее не хлеснетъ—право-ну! Намеднись я съ Крестьянъ Иванычемъ въ Высоково на базаръ ѣздилъ, такъ онъ мнѣ: „какъ это вы, русскіе, лошадей своихъ такъ калѣчите? говоритъ: неужтожъ, говоритъ, ты не понимаешь, что лошадь твоя тебѣ хлѣбъ даетъ?“ Ну, а намъ какъ этого не понимаемъ? Понимаемъ!

— Ну, и чтѣ жъ?

— Извѣстно, понимаемъ. Я вотъ тоже Крестьяну-то Иванчу и говорю: а тебя, Крестьянъ Иванычъ, по зубамъ-то, вѣрно, не чищивали? — „Нѣтъ, говорить, не чищивали“. — Ну, а насъ, говорю, чистили. Только и всего. Эй вы, колѣбля!

Мы съ версту мчимся во весь духъ. Ямщикъ то-и-дѣло оглядывается назадъ, очевидно съ желаніемъ уловить впечатлѣніе, которое произведетъ на меня эта безумная скачка. Наконецъ лошади мало-по-малу начинаютъ сами убавлять шагъ и кончаютъ обыкновенною лѣнливою рысью.

— Ужъ такъ нынче народъ слабъ сталъ! такъ слабъ! — произносить наконецъ ямщикъ, какъ бы вдругъ открывая предо мной свою завѣтную мысль.

— А что?

— Это чтобы обмануть, обвѣсить, утащить — на все первый сортъ. И не то чтобы себѣ на пользу — все въ кабакъ! У насъ въ М. девятнадцать кабаковъ числится — какіе тутъ прибыли на умъ пойдутъ! Онъ тебя утормъ на базарѣ обманулъ, анъ къ полудню, смотришь, его самого кабатчикъ до нитки обобралъ; а тамъ, по истеченіи времени, гляди, и у кабатчика либо выручку украли, либо безменомъ по темю — и духъ вонъ. Такъ оно колесомъ и идетъ. И за дѣло! потому дураковъ учить надо. Только вотъ что диво: куда деньги дѣваются, ни у кого ихъ нѣтъ!

— А нѣмцы на что?

— И то правда. Денежка свое мѣсто знаетъ. Ползкомъ-ползкомъ, а доползетъ-таки до хозяина!

Опять восклицаніе: „эй вы, колѣбля!“ и опять скачка.

— А вонъ и Пчельники! вонъ на горѣ-то!

Въ Пчельникахъ кормежка.

Восклицаніе: „ужъ такъ нынче народъ слабъ сталъ!“ составляетъ въ настоящее время модный припѣвъ градовъ и весей російскихъ. Вездѣ, гдѣ бы вы ни были — вы можете быть увѣрены, что услышите эту фразу черезъ девять словъ на десятое. Вельможа въ раззолоченныхъ палатахъ, кабатчикъ за стойкой, земледѣлецъ за сохою — всѣ въ одно слово вопіють: „слабъ сталъ народъ!“ То же самое слышали мы и на постояломъ дворѣ.

Жена содержателя двора, почтенная и дѣятельнѣйшая женщина, была въ избѣ одна, когда мы пріѣхали; прочіе члены семейства разошлись: кто на жнитво, кто на сѣнокосъ. Изба была чистая, свѣтлая, и все въ ней глядѣло запасливо, полною чашей. Меня накормили отличнымъ ситнымъ хлѣбомъ и совершенно свѣжими яйцами. За чаемъ зашелъ разговоръ о хозяйствѣ вообще и въ частности объ огородничествѣ, которое въ здѣшнемъ мѣстѣ считается главнымъ и почти общимъ крестьянскимъ промысломъ.

— Нѣтъ нынче прежней обѣщи! — говорила хозяйка, вынимая изъ печи лопатой небольшіе румяные хлѣбцы: — горохи — и тѣ противъ прежняго на половину родиться стали!

— Отчего же? земля, что-ли, отошала?

— Нѣтъ, и не земля, а народъ сталъ слабъ. Ахъ, какъ слабъ нынче народъ!



Черезъ часъ пришелъ съ покоса хозяинъ, а за нимъ собрались и остальные члены семейства. Началось безконечное чаепитіе, подъ конецъ котораго изъ чайника лилась только чуть-чуть желтоватая вода.

— Я прежде паръ триста пѣуновъ въ Питеръ отправлялъ, — говорилъ хозяинъ: — а прошлой зимой и ста паръ не выходилъ!

— Невыгодно, что-ли?

— Нѣтъ, выгода должна быть, только птицы совѣмъ нонѣ не стало. А ежели и есть птица, такъ не кормна, прѣстлива. Какъ ты ее со двора-то у мужичка кости да кожа возьмешь — начини-ка ее кормить, она самое себя съѣстъ.

— Отчего жъ это?

— Да оттого, что народъ сталъ слабъ. Слабъ нынче народъ, ни на что не похоже!

Хозяева отобѣдали и ушли опять на работы. Пришелъ пастухъ, который въ деревняхъ обыкновенно кормится по ряду то въ одной крестьянской избѣ, то въ другой. Ямщикъ мой призналъ въ пастухѣ знакомаго, который нѣсколько лѣтъ сряду пасъ стадо въ М.

— Ты что же отъ насъ ушелъ, Мартынъ!

— У васъ въ М. дверей у кабаковъ больно много.

— А ты бы не во всякую попадалъ!

— Да, уберешься у васъ! развѣ я одинъ! Нынче и весь народъ вообще слабъ сталъ.

— Ужъ такъ слабъ! такъ слабъ! — вторили пастухъ, ямщикъ и хозяйка.

Частое повтореніе этой фразы подѣйствовало на меня раздражительно. Ужели же, думалось мнѣ, достаточно поставить передъ глазами русскаго человѣка штофъ воды, достаточно отворить дверь кабака, чтобъ онъ тотчасъ же растерялся, позабылъ и о горохѣ, и о пѣунахъ, и даже о священной обязанности бодро и неуклонно пасти ввѣренное ему стадо коровъ? Нѣтъ, тутъ что-нибудь да не такъ. Это выдумали клеветники русскаго народа или, по малой мѣрѣ, противники нынѣ дѣйствующей акцизной системы. Допустимъ, что водка имѣетъ притягивающую силу, но вѣдь не сама же по себѣ, а развѣ въ качествѣ отуманивающего, одуряющаго средства. Некуда дѣваться, не о чемъ думать, нечего жалѣть, нѣ для чего жить — въ такомъ положеніи водка, конечно, есть единственное средство избавиться отъ тоски и гнетущаго однообразія жизни. Зачѣмъ откармливать пѣуновъ? зачѣмъ растить горохи? Вотъ хозяинъ постоялаго двора, который скупаетъ пѣуновъ и горохи, тотъ, конечно, можетъ дать ясный отвѣтъ на эти вопросы, потому что пѣуны и горохи даютъ ему извѣстный барышъ. Но вѣдь онъ и не „слабъ“. А мужикъ, то-есть первый производитель товара — онъ ничего передъ собой не видитъ, никакой политико-экономической игры въ спросъ и предложеніе не понимаетъ, барышей не получаетъ, и потому можетъ сказать только: „наплевать“ — и ничего больше. Чтобы предаться откармливанію пѣуновъ абсолютно, трансцендентально и безкорыстно, надо по малой мѣрѣ хоть азбуку политической экономіи знать; но этого-то знанія именно у насъ и нѣтъ. Оттого и пѣуны выходятъ не кормные, а горохи плохіе. Прежде, когда русская политическая экономія была въ завѣдываніи помѣщиковъ, какихъ индѣекъ выкармливали

—подумать страшно! Теперь, когда политическая экономія перешла въ руки мужиковъ, самое названіе индѣйки грозитъ сдѣлаться достояніемъ исторіи. „Индѣйка, — объявляетъ мужикъ прямо, — птица проѣстливая, дворянская, мужику кормить ее не изъ чего“. Но — ради самого Бога! — кто же будетъ откармливать индѣекъ?

Нѣтъ, хозяинъ постоялаго двора былъ неправъ, объясняя некормность нынѣшнихъ пѣуновъ такъ-называемою „слабостью“ русскаго народа. И прежде крестьянская птица была тонца и хила, и нынче она тонца и хила; разведеніемъ же настоящей, сильной и здоровой птицы занимался исключительно помѣщикъ, у котораго были и надлежащіе приспособленія, чтобъ сдѣлать индѣйку жирною, пухлою, бѣлою. „Уѣхалъ на теплыя воды“ помѣщикъ — исчезла и птица; но погодите, имѣйте терпѣніе — птица будетъ! Придетъ Крестьянъ Иванычъ — и такихъ представитъ индѣекъ, что самъ Иванъ Ѳеодоровичъ Шпонька — и тотъ залюбуется ими!

То же самое должно сказать и о горохахъ. И прежніе мужицкіе горохи были плохіе, и нынѣшніе мужицкіе горохи плохіе. Идеаль гороха представлялъ собою крупный и полный помѣщичій горохъ, котораго нынче нѣтъ, потому что помѣщикъ уѣхалъ на теплыя воды. Но идеаль этотъ живъ еще въ народной памяти, и вотъ, подъ обаяніемъ его, скупщикъ восклицаетъ: нѣтъ нынче гороховъ! слабъ сталъ народъ! Но погодите! имѣйте терпѣніе! Придетъ Карлъ Иванычъ и такихъ гороховъ представить, какихъ и во снѣ не снилось помѣщикамъ!

Остается, стало быть, единственное доказательство „слабости“ народа — это недостатокъ неуклонности и непреоборимой вѣрности въ пастбѣ сельскихъ стадъ. Признаюсь, это доказательство мнѣ самому, на первый взглядъ, показалось довольно вѣскимъ, но, по нѣкоторомъ размысленіи, я и его не то чтобы опровергнулъ, но нашелъ возможнымъ обойти. Смѣшно, въ самомъ дѣлѣ, изъ-за какого-нибудь десятка тысячъ пастуховъ обвинить весь русскій народъ чуть не въ безуміи! Ну, запилъ пастухъ — ну, и смѣните его, ежели не можете простить!

Но вотъ и опять дорога. И опять по обѣимъ сторонамъ мелькаютъ все нѣмцы, все нѣмцы. Чуть только клочокъ поуютнѣе — непременно тамъ нѣмецъ копошится, рубить, колетъ, пилить, корчуетъ пни. И все это только еще пионеры, развѣдчики, за которыми уже виднѣется цѣлая армія.

— А позволю, твое благородіе, сказать, что я еще думаю! — вновь заводитъ рѣчь ямщикъ: — я думаю, что мы противъ этихъ нѣмцевъ очень ужъ просты — оттого и задачи намъ нѣтъ.

— То-есть, что же ты хочешь этимъ сказать?

— Нѣмецъ — онъ умный. Онъ изъ пятиалтыннаго норовитъ цѣлковыхъ надѣлать. Ну, и знаетъ тоже. Землю-то онъ сперва пальцемъ поковыряетъ, да на языкъ попробуетъ, каковъ у ней скусъ. А мы до этого не дошли... Просты.

Часъ отъ часу не легче. То слабы, то-есть, пьяны, то просты, то-есть... Мы просты! Мы, у которыхъ сложилась даже пословица: „простота хуже воровства“. Не вѣрю!

И я невольно припомнилъ, какъ м — скіе пріатели говорили мнѣ:



— Ужъ очень вы, сударь, просты! ахъ, какъ вы просты!

И не одно это припомнилъ, но и то, какъ я краснѣлъ, выслушивая эти восклицанія. Не потому краснѣлъ, чтобъ я сознавалъ себя дуракомъ, или чтобъ считалъ себя вправѣ поступать иначе, нежели поступалъ, а потому, что эти восклицанія напоминали мнѣ, что я *могъ поступать иначе*, то-есть съ выгодною для себя и въ ущербъ другимъ, и что самый фактъ непользованія этою возможностью у насъ считается уже глупостью.

Стыдно сказать, но дѣлается какъ-то обидно и больно, когда разомъ цѣлый кагалъ смотритъ на васъ какъ на дурака. Не самое названіе смущаетъ, а то указываніе пальцами, которое васъ преслѣдуетъ на каждомъ шагу. Вы имѣли, напримѣръ, случай обыграть въ карты — и не обыграли:

— Очень ужъ вы просты! ахъ, какъ вы просты!

Васъ надули при покупкѣ, вы дались въ обманъ, не потому чтобъ были глупы, а потому, что вамъ на умъ не приходило, чтобы въ странѣ, снабженной полиціей, мошенничество было одною изъ формъ общечитія:

— Очень ужъ вы просты! ахъ, какъ вы просты!

Вы управляли чужимъ имѣніемъ, и ничѣмъ не воспользовались въ ущербъ своему довѣрителю, хотя имѣли такъ-называемые „случаи“, „дѣла“ и т. п.

— Очень вы ужъ просты! ахъ, просты!

Нѣтъ, мы не просты. Ямщикъ совралъ. Не простъ тотъ народъ, который къ простотѣ относится съ такою язвительностью, который такъ рѣшительно бичуетъ ее.

Но, можетъ быть, мы недалковидны и невѣжественны? Можетъ быть, мы самонадѣянны и черезчуръ ужъ способны? Можетъ быть, даровой прибытокъ насъ соблазняетъ больше, нежели прибытокъ, сопряженный съ трудомъ!

Таковы были мысли, съ которыми я въѣхалъ въ Р.

Между уѣздными городами Р. занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ. Въ немъ есть свой кремль, въ которомъ когда-то ютилась митрополія; черезъ него протекаетъ шоссе, которое, впрочемъ, въ настоящее время не играетъ въ жизни города никакой роли; наконецъ, по веснѣ, тутъ бываетъ значительная ярмарка. Въ двухъ верстахъ отъ города протекаетъ желѣзная дорога и имѣется станція.

Когда я пріѣхалъ въ Р., было около девяти часовъ вечера, но городская жизнь уже затихала. Всенощныя кончались; послѣдніе трезвоны замирали на колокольняхъ церквей; черезъ четверть часа улицы оживились богомольцами, возвращающимися домой; еще четверть часа — и городъ словно застылъ.

Есть что-то удручающее въ фізіономіи уѣзднаго города, оканчивающаго свой день. Сумерки еще прозрачны, дневной зной только-что улегся; изъ садовъ несутся благоуханія; воздухъ мало-по-малу наполняется свѣжестью, а движеніе уже покончено. Покончено рѣзко, разомъ, словно оборвалось. Ото всюду несутся звуки запираемыхъ желѣзныхъ засововъ и болтовъ. Въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ еще мелькаютъ въ окнахъ каменныхъ купеческихъ домовъ огоньки, свидѣтельствующіе о вечерней трапезѣ, а сквозь

запертыя ставни маленькихъ деревянныхъ домиковъ слышится смутный говоръ. Но вотъ словно вздохъ пронесся надъ городомъ; все разомъ погасло и притихло. Мракъ погустѣлъ; вы на улицѣ одни; изъ подъ ногъ что-то вдругъ шмыгнуло...

До прихода поѣзда оставалось еще около четырехъ часовъ. Въ „почтовой гостинницѣ“, когда-то бойкой и оживленной, съ проведеніемъ желѣзной дороги все напоминало о заустѣннѣ. Въ нумерахъ пахло прокислымъ и затхлымъ; загаженные мухами окна растворялись съ трудомъ; на кровати, вмѣсто тюфяка, лежалъ замасленный и притоптанный блинъ. Нельзя ни спать, ни бодрствовать. Я вышелъ на улицу и, не встрѣтивъ тамъ ни души, направился къ озеру. Озеро въ Р. неопрятное, низменное; вода въ немъ тухлая, никуда непригодная; даже рыба имѣетъ затхлый, болотный вкусъ; но вдали, по берегу, разбросано довольно количество селъ, которыя въ яркій солнечный день представляютъ пріятную панораму для глазъ. Со стороны горожанъ, набережная озера не въ чести. Богатый людъ удалился отъ нея поближе къ кремлю и предоставилъ берегъ озера людю бѣдному: мелкимъ чиновникамъ и мѣщанамъ. Маленькіе деревянные домики вразбросъ лѣнятся по береговой покатости, давая на ночь убѣжище людямъ, трудно сколачивающимъ, въ теченіе дня, мѣдные гроши на базарныхъ столахъ и рундукахъ и въ душныхъ камерахъ присутственныхъ мѣстъ.

Я спустился къ самой водѣ. Въ этомъ мѣстѣ дневное движеніе еще не кончилось. Чиновники только-что воротились съ вечернихъ занятій и передъ ужиномъ разсѣлись по крылечкамъ, въ виду завтрашняго праздничнаго дня, обѣщающаго имъ отдыхъ. Тутъ же бѣгали и заканчивали свои игры и чиновничьи дѣти.

Сзади меня, на крыльцѣ одинокаго домика, не защищеннаго даже дворомъ, сидѣло двое мужчинъ въ халатахъ, которые курили папиросы и вели на сонъ грядущій бесѣду.

— А Харинъ-то вѣдь проигралъ дѣло!—говорилъ одинъ.

— Чтò ты!

— Проигралъ—это вѣрно. Дуракъ—ну, и проигралъ.

— Да вѣдь у всѣхъ на знати, что покойникъ рукой не владѣлъ передъ смертью! Весь городъ знаетъ, что Маргарита Ивановна ужъ на другой день духовную поддѣлала! И писалъ-то отецъ протопопъ!

— И поддѣлала, и всѣ это знаютъ, и даже самъ отецъ протопопъ подъ веселую руку не разъ проговаривался, и все же у Маргариты Ивановны теперь миллионъ чистоганомъ, а у Харина—кошель черезъ плечо. Потому,—дуракъ!

— Дуракъ-то дуракъ! однако все-таки...

— Дуракъ—и больше ничего. Маргарита Ивановна предлагала ему мириться: „бери, говоритъ, двадцать тысячъ, и ступай съ Богомъ“—зачѣмъ онъ не мирился! Зачѣмъ не мирился, коли знаетъ, что онъ дуракъ! Нѣтъ, говоритъ, подавай все! Это дураку-то! Гдѣ эти моды писаны! Опять и отецъ протопопъ, и Иванъ Ѳерапонтычъ — предлагали они ему! Предлагали они ему: дай намъ по десяти тысячъ—все по чистой совѣсти покажемъ! Скажемъ: подписались по неосмотрительности — и дѣло съ концомъ. Зачѣмъ онъ не



соглашался! Зачѣмъ не соглашался, коли самъ знаетъ, что онъ дуракъ! Маргарита Ивановна—та слова не сказала: сейчасъ вынула и отдала! А онъ кочевряжился! И хоть бы деньги съ него просили, а то векселя. Ну, даль бы, а потомъ еще бабушка на-двое сказала, какова бы по векселямъ-то поллучка была! Можетъ быть, они совсѣмъ не его рукой подписаны? А можетъ быть они бездежные? Дуракъ!!

— Такъ неуштожь Маргарита Ивановна такъ-таки ничего и не дастъ?

— И не дастъ. Потому—дуракъ, а дураковъ учить надо. Ежели дураковъ да не учить, такъ это что жъ такое будетъ! Пущай-ко теперь попробуетъ, каково съ сумой-то щеголять!

Собесѣдники смолкаютъ. Слышится позѣвываніе; папироски еще раздругой вспыхнули и погасли. Черезъ минуту я уже вижу въ окно, какъ оба халата сидятъ у ненакрытаго стола и крошатъ въ чашку хлѣбъ.

— Дурракъ!—раздается въ темнотѣ.

А у сосѣдняго домика смѣхъ и визгъ. На самой улицѣ дѣвочки играютъ въ горѣлки, несутся взапуски, ловятъ другъ друга. На крыльцѣ сидятъ мужчина и женщина, должно быть отецъ и мать семейства.

— Этакой случай былъ—и упустилъ! Дуракъ!—укоряетъ женщина.

— Да ты знаешь ли, дура, чѣмъ Сибирь пахнетъ?—возражаетъ мужчина.

— Для дурака, куда ни оглянись — вездѣ Сибирь. Этакой случай упустилъ!

Женщина вздыхаетъ и умолкаетъ, но ненадолго.

— Дуракъ!—повторяетъ она.

— Не муди ты меня ради Христа! Дуракъ да дуракъ! Нешто я не вижу! И словно вѣдь дьяволъ меня ослѣпилъ!

— И чего ты глядѣлъ! Счастье само въ руки лѣзетъ, а онъ, смотри, носъ отъ него воротитъ! Дурракъ!

Мужчина, уличенный и подавленный, не возражаетъ. Раздаются вздохи и позѣвота; изрѣдка, сквозь сонъ, произносится слово—„дуракъ!“—и опять тихо. Но на улицѣ, между играющими дѣвочками, происходитъ смятеніе.

— Не въ десятый разъ мнѣ горѣтъ! Я первая ударила!—протестуетъ жалобный голосъ одной изъ дѣвочекъ.

— Ань я ударила! Я первая ударила! ты дура! ты и гори! — возражаетъ другой голосъ, болѣе мужественный и крѣпкій.

— Я первая ударила! не мнѣ горѣтъ! Манькѣ горѣтъ!

Споръ оживляется, но протестующая сторона видимо слабѣетъ. Слышится возгласъ: „дура! криворотая! ишь, чтѣ выдумала!“ и т. д. Возгласы готовы перейти въ побоище.

— Цыцъ, поскуда!—раздается съ крыльца.

Протесты мгновенно смолкаютъ; горѣлки продолжаются ужъ безъ шума, и только изрѣдка безмолвіе нарушается крикомъ: „дура! чтѣ взяла?“

На третьемъ крыльцѣ бесѣдуютъ двѣ сибирки.

— Нашъ хозяинъ нынче такую афѣру сдѣлалъ! такую афѣру, что страсть!—отзывается одна сибирка.

— Ужъ что о нашемъ хозяинѣ говорить! Хозяинъ—первый сортъ!—отзывается другая сибирка.

— Нѣтъ, да ты вообрази! Продалъ онъ Семену Архиписчу партію сѣмени, а Семень-то Архиписчъ сдуру и деньги ему отдалъ. Стали потомъ сортировать, а нѣ сѣмя-то только сверху чистое, а внизу-то все съ пескомъ, все съ пескомъ!

— Дуракъ!

— Нѣтъ, ты вообрази! Все вѣдь съ пескомъ! Семень-то Архиписчъ даже глаза вытаращилъ: „такъ, говорить, хорошіе торговцы не дѣлаютъ!“

— Дуракъ!

— А хозяинъ нашъ стоитъ да покатывается. „А у тебя гдѣ глаза были? говорить. Долженъ-ли ты имѣть глаза, когда товаръ покупаешь! говорить. Нѣтъ, говорить, васъ, дураковъ, учить надо!“

— Дуракъ!

Дуракъ! дуракъ! и дуракъ! — вотъ единственные выраженія, которыя раздаются въ моихъ ушахъ. Мнѣ становится наконецъ страшно. Куда дѣваться отъ этого поскуднаго, поганого слова? Десять дней сряду, прямо или косвенно, оно преслѣдуетъ меня; десять дней сряду я слышу наглый панегирикъ мошенничеству, присвоивающему себѣ наименованіе ума. Даже тутъ, въ виду этой примиряющей ночи, только одно это слово и имѣетъ какой-нибудь опредѣленный смыслъ. Прислушайтесь къ остальному говору—и вы навѣрное ничего изъ него не вынесете. Это сбродъ какихъ-то обрывковъ, рядъ бродячихъ, ничѣмъ несвязанныхъ восклицаній, не имѣющихъ даже характера проявленія мысли. Дѣтскій, неосмысленный лепетъ, полусонное бормотаніе, въ которомъ не за что ухватиться и нечего понимать — вотъ что прежде всего поражаетъ вашъ слухъ. И вдругъ прорывается слово: „дуракъ“ — и рѣчь оживляется, начинаетъ течь плавно и получаетъ смыслъ. Все, что до сихъ поръ бормоталось, всѣ безсмысленные обрывки, которыми бесплодно сотрясался воздухъ—все это бормоталось, копилось, называлось и собиралось въ виду одного всеразрѣшающаго слова: „дуракъ“!

Я скорѣе побѣжалъ въ гостиницу и, благо часы показывали одиннадцать, поѣхалъ на станцію желѣзной дороги.

Нѣтъ! мы не просты!

Станція была тускло освѣщена. Въ залѣ перваго класса господствовала еще пустота; за стойкой, при мерцаніи одинокой свѣчи, буфетчикъ дышалъ въ стаканы и перетиралъ ихъ грязнымъ полотенцемъ. Даже мой приходъ не смутилъ его въ этомъ наивномъ занятіи. Казалось, онъ говоритъ: вотъ я въ стаканъ дышу, а коли захочется, такъ и плюну, а ты будешь чай изъ него пить... дурракъ!

Чтобъ не сидѣть одному, я направился въ залу третьяго класса. Тутъ, вслѣдствіе обширности залы, освѣщенной единственною лампой, темнота казалась еще гуще. На полу и на скамьяхъ сидѣли и лежали мужики. Большинство спало, но въ нѣкоторыхъ группахъ слышался говоръ.

— И какъ же онъ его нагрѣлъ!—восклицаетъ нѣкто въ одной группѣ:—да это еще что—нагрѣлъ! Грѣетъ, братецъ ты мой, да приговариваетъ: „помни! говорить: въ другой разъ умнѣ будешь!“ Сколько у насъ смѣху тутъ было!



— Дуракъ!

— Дуракъ и есть! Потому, ежели ты знаешь, что ты дуракъ, зачѣмъ же не въ свое дѣло лѣзешь? Ну, и терпи, значить!

Я иду далѣе, и слышу:

— Нѣтъ, ты слушай, какъ онъ нѣмца объегорилъ. Вотъ такъ ужъ объегорилъ! Купилъ, братецъ, онъ у нѣмца въ рошѣ четыреста сажень дровъ для фабрики, по три рубля за сажень. Ну, перевозилъ, значить, складъ: милости просимъ, молъ, Богданъ Богданычъ, ко мнѣ въ домъ рассчитаецъ получить. Пришелъ Богданъ Богданычъ—онъ его честь-честью: зафдочиковъ, шипучки и все такое. „Ну, говоритъ, пиши, Богданъ Богданычъ, расписку, пока я долгъ готовить буду“. Сталъ это, какъ и путный, деньги считать, а нѣмецъ ему тѣмъ временемъ живо расписку обработалъ. Только взялъ у нѣмца расписку посмотрѣть, видитъ — вѣрно: тысячу двѣсти рублей сполна получилъ. Да, вмѣсто того, чтобъ деньги-то отдать, онъ расписку-то вмѣстѣ съ деньгами — въ карманъ. „Самъ ты, говоритъ, передо мной, Богданъ Богданычъ, сейчасъ сознался, что деньги съ меня сполна получилъ, слѣдственно и дожидаться тебѣ больше здѣсь нечего“.

— Ха-ха! вотъ, братъ, такъ штука!

— Сколько смѣху у насъ тутъ было — и не приведи Господи! Слушай, что еще дальше будетъ. Вотъ только нѣмецъ сначала будто не понималъ, да вдругъ какъ равняется: „воръ ты!“ говоритъ. А нашъ ему: „ладно, говоритъ: ты, нѣмецъ, обезьяну, говорятъ, выдумалъ, а я, русскій, въ одну минуту всю твою выдумку опровергъ!“

— Молодецъ!

— Нѣтъ, ты бы на нѣмца-то посмотрѣлъ, какая у него въ ту пору рожа была! И испугался-то, и не вѣрить-то, и за карманъ-то хватается — смѣхота да и только!

— Просты еще насчетъ этихъ дѣловъ нѣмцы! не выучены!

— Чего проще! просто дураки! совсѣмъ какъ оглашенные!

Далѣе: въ третьей группѣ идетъ еще разговоръ.

— Нѣтъ, нынче какъ можно, нынче не въ примѣръ нашему брату лучше! А въ четвертомъ году я чуть-было даже ума не рѣшилъ, такъ онъ меня истиранилъ!

— Чтò такъ?

— А вотъ какъ. Порядился я у него съ артелью за тысячу рублей въ деревнѣ домъ оштукатурить. Только онъ и говоритъ: „нѣтъ, братъ, Максимъ Потапычъ, этакъ нельзя; надо, говоритъ, письменное условіе намъ промежду себя написать“. — Чтò же, говорю, Василій Порфирычъ, условіе такъ условіе, мы отъ условіевъ не прочь: писывали! — Вотъ онъ и сочинилъ, братецъ, условіе, прочиталъ, растолковалъ; одно слово, все какъ слѣдуетъ. „Подпишися теперь“, говоритъ! Ну, мнѣ чего! взялъ въ руки перо, обмакнулъ, подписалъ — на бѣду грамотный! Только, чтò бы ты думалъ, какую онъ, шельма, штуку со мной выкинулъ! Чтò я-то исполнить долженъ, то-есть работу-то мою, всю расписалъ, какъ должно, а объ себѣ вотъ чтò сказалъ: „а я, говоритъ, Василій Порфиоровъ, обязуюсь заплатить за такую работу тысячу рублей, *буде мнѣ то заблагодарсудится*!“

— Вотъ-те и капуста съ масломъ!

— И безъ масла хорошо будетъ. Слушай, что дальше. Кончили мы работу — я за расчетомъ къ нему. „Ну, говорить спасибо, Пстапычъ, нечего сказать, работа — первый сортъ! Ты, говорить, въ разное время двѣсти рублей ужъ получилъ, такъ вотъ тебѣ еще двѣсти рублей — ступай съ Богомъ!“ Какъ, говорю, двѣсти? мнѣ восемьсотъ приходится! — Слово за слово — контрактъ! Тутъ, братецъ, и объяснилъ онъ мнѣ, какую онъ, значитъ, пружину подъ меня подвелъ! По нынѣшнему, сейчасъ бы его къ мировому — и шабашъ! а въ ту пору — ступай за сорокъ верстъ въ полицейское управленіе. Гонялъ я, гонялъ — одна мнѣ резолюція: самъ подписывалъ, самъ на себя и надѣйся! Два мѣсяца мучился я такимъ манеромъ — такъ ничего и не получилъ.

— Ловко онъ тебя объѣхалъ! Однако, простъ вѣдь и ты!

— Чего простъ! совсѣмъ дуракъ!

— А дураковъ, братъ, учить надо! Это и въ законѣ такъ сказано! Вотъ онъ тебя и поучилъ!

Меня беретъ зло. Я возвращаюсь въ залу перваго класса, гдѣ застаю уже въ полномъ разгарѣ приготовленія къ ожидаемому поѣзду. Первые слова, которыя поражаютъ мой слухъ, суть слѣдующія:

— Такъ онъ меня измучилъ! такъ надо мной насмѣялся! Вѣрите ли: даже во снѣ его увижу — такъ вся и задрожу.

— Очень ужъ вы, сударыня, просты!

Не ожидая дальнѣйшихъ объясненій, я быстро перехожу черезъ залу и достигаю платформы.

— Дуракъ! разиня! — объясняетъ жандармъ стоящему передъ нимъ растерявшемуся малому: — изъ-подъ ногъ мѣшокъ вытащили — не чуетъ! Такъ васъ и надо! Долго еще васъ, дураковъ, учить слѣдуетъ!

Нѣтъ, мы не просты!

Бьетъ часъ; слышится сигнальный свистъ; поѣздъ близко. Станція приходитъ въ движеніе; поднимаются шумъ, бѣготня, суета. Въ моихъ ушахъ, словно перекрестный огонь, раздаются всевозможныя привѣтствія и поощренія: — Дуракъ! — разиня! — простофиля! — фалалѣй! — Наконецъ я добираюсь до вагона втораго класса и бросаюсь на первую порожнюю скамью, въ надеждѣ уснуть.

Но, увы! лѣтнія ночи недолги. Не успѣваемъ мы проѣхать трехъ станцій, какъ въ вагонѣ уже совсѣмъ свѣтло. Сквозь безпокойную дорожную дремоту я слышу говоръ проснувшихся сосѣдей, который, постепенно оживляясь и оживляясь, усиливается наконецъ до того, что нечего и думать о снѣ. Било четыре часа утра, когда я окончательно открылъ глаза. Весь вагонъ бодрствовалъ; во всѣхъ углахъ шла оживленная бесѣда. Мой визави, чистенькій старичокъ, какъ послѣ оказалось стараго покроя страпцій по дѣламъ, переговаривался съ сидѣвшимъ наискосокъ отъ меня мужчиной среднихъ лѣтъ въ цилиндрѣ и щегольскомъ пальто. Повидимому знакомство началось не далѣе какъ вчера вечеромъ, но въ рѣчахъ обоихъ собесѣдниковъ уже царствовала та интимность, которою вообще отличаются изліянія людей вполне чистыхъ сердцемъ и неимѣющихъ на душѣ ничего завѣтнаго.



— Да вы знаете ли, какъ Балясины состояніе приобрѣли? — спрашивалъ старичокъ стряпчій.

— Слыхаль... да ужъ давно какъ-то...

— Такъ извольте, я вамъ разскажу. Жилъ-былъ въ Москвѣ нѣкто Скачковъ...

— Позвольте! это тотъ Скачковъ, который...

— Ну, ну, ну — онъ самый! Еще въ Новой-Слободѣ свой домъ былъ... Капитолина Егоровна потомъ купила...

— Это какъ отъ Каретнаго-то ряда пойдешь...

— Ну, вотъ! вотъ онъ самый и есть! Такъ жилъ-былъ этотъ самый Скачковъ, и остался онъ послѣ родителя лѣтъ двадцати-двухъ, а состояніе получилъ — счету нѣтъ! Въ гостиномъ дворѣ пятнадцать лавокъ, въ Зарядьѣ два дома, на Варваркѣ домъ, за Москвой-рѣкой домъ, въ Новой-Слободѣ... Чистоганомъ миллионъ... въ товарѣ...

— Сс!!

— Словомъ сказать, тузъ! Только вотъ почувствовалъ молодой человекъ, что родительской воли надъ нимъ нѣтъ — и устремился! Прохожаго на улицѣ увидитъ — хватай! лей ему на голову шампанскаго! — вотъ тебѣ двадцать-пять рублей! Женщину увидитъ — волоки! Мажь дегтемъ! — вотъ тебѣ пятьдесятъ! Тузъ да и только! Разъ даже княгиню какую-то изъ бѣдныхъ вымазали, такъ на силу потомъ за четыре тысячи помирились! Я и мировую писалъ. Ну, само собой, окружили его друзья-пріатели, пьютъ, ѣдятъ, на рысакѣхъ по Москвѣ гоняютъ, народъ давятъ — словомъ сказать, всѣ удовольствія, что только можно вообразить! Примазался тутъ и Балясинъ Петрушка. Видитъ нашъ Петръ Ѳеодорычъ, что парень-то очень хорошъ, коли, тоись, въ обдѣлку его пустить. И умомъ простъ, и сердце мягкое, и рука машистая. Одно нехорошо: пріателевъ очень ужъ много. Ежели между всѣми въ раздѣлку его пустить — по скольку достанется? Пустяки какіе-нибудь! Такъ-ли-съ?

— Да, коли женскій полъ дегтемъ часто мазать... не надолго — это такъ!

— Ну, вотъ изволите видѣть. А Петру Ѳеодорычу надо, чтобъ и не долго возжаться, и чтобъ все было въ сохранности. Хорошо-съ. И сталъ онъ теперича подумывать, какъ бы господина Скачкова отъ пріателевъ уберечь. Сейчасъ-это составилъ свой плантъ, и къ Аннѣ Ивановнѣ — онъ ужъ и тогда на Аннѣ-то Ивановнѣ женатъ былъ. Да вы, чай, изволили Анну-то Ивановну звать?

— Какъ же! какъ же! Красавица была! всей Москвѣ извѣстна.

— Вотъ-вотъ-вотъ. Вотъ и говоритъ онъ ей: „ты бы, Аннушка...“ понимаете? — Чтожъ, говоритъ, я съ моимъ удовольствіемъ! — И начали они вдвоемъ Скачкова усовѣщивать. „И чтò это ты все шампанское да шампанское — ты водку пей! И капиталъ цѣлѣе будетъ, и пьянъ все одно будешь!“ Словомъ сказать, такое омерзѣніе къ иностраннымъ винамъ внушили, что подъ конецъ онъ даже никакой другой посуды видѣть не могъ — непременно чтобъ былъ полштофъ! Поселился онъ въ ту пору у Балясиныхъ, какъ въ своемъ домѣ: и всталъ, и легъ тамъ. Проснется утромъ — полштофъ! пиши

вексель въ тысячу рублей. Проснется къ обѣду — полштофъ! пиши вексель въ двѣ тысячи рублей! Ужинать встанетъ — полштофъ! опять вексель въ тысячу рублей. Выткнули они у него такимъ родомъ векселей на полмилліона — онъ и душу Богу отдалъ! Вотъ съ тѣхъ поръ и пошло у Балясиныхъ состояніе. И пошло имъ, и пошло! Теперь однихъ домовъ по Москвѣ семь штукъ считаютъ! На Ильинкѣ-то домъ чего стоитъ!

— Гм... простъ былъ этотъ Скачковъ, сказываютъ!

— Чего простъ! одно слово: дуракъ! Дуракъ! какъ есть скотина!

— Ну, а Балясинъ-то умненько живетъ... этотъ не разсорить!

— Помилуйте! прекраснѣйшіе люди! Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ умеръ Скачковъ... словно рукой сняло! Пить совсѣмъ даже пересталъ, въ подряды вступилъ, откупа держалъ... Дальше — больше. Теперь церковь строить... въ Елоховѣ-то, изволите знать? — онъ-съ! А благодѣяніевъ сколько! И какъ, сударь, благодѣянія-то дѣлаетъ! Одна рука даетъ, другая не вѣдаетъ!

— А Анна-то Ивановна... говорятъ, съ приказчикомъ?

— Женщина-съ! Слабость ихъ женская!

— Ну, конечно. А впрочемъ, коли по правдѣ говорить: чтò же такое Скачковъ? Ну, стѣить ли онъ того, чтобъ его жалѣть!

— Помилуйте! дуракъ! какъ есть скотина! Ду-у-р-ракъ! Ну, а Петръ Ѳеодорычъ, смотрите, какой домъ на Солянкѣ по веснѣ застроилъ! Всей Москвѣ украшеніе будетъ!

— Такъ-съ, а скажите, Капитолину-то Егоровну вы хорошо знаете?

— Капитолину-то Егоровну? Помилуйте! Еще въ дѣвицахъ, сударь, зналъ! Какъ она еще у отца, у Егора Прохорыча, въ дому у Калужскихъ воротъ жила! вотъ когда зналъ! Въ переулкѣ-то большой домъ, еще булочная рядомъ!

— Чтò у нихъ за исторія съ мужемъ была?

— Съ дуракомъ-то! Помилуйте! скотина! Да все какъ нельзя проще произошло! Изволите видѣть: задумалъ онъ въ ту пору невинно-падшимъ себя объявить — ну, она, какъ христіанка и женщина умная, разумѣется, на всякій случай мѣры приняла. Дома и лавки на свое имя переписала, капиталъ тоже къ рукамъ прибрала. Ну, разумѣется, покуда чтò, покуда въ коммерческомъ судѣ дѣло вели, покуда конкурсъ, покуда объявили невинно-падшимъ — его, голубчика, въ яму! А какъ выпустили изъ ямы-то, она ужъ его и не приняла! „Нѣтъ, говоритъ, ты, голубчикъ, по всѣмъ острогамъ сидѣть будешь, а мнѣ съ тобой жить послѣ того! Не приходится!“ Только всего и дѣла было.

— Се!.. чѣмъ же онъ, однако, теперь живетъ?

— Такъ кое-когда Капитолина Егоровна изъ своихъ средствъ кое-что даетъ. Да зачѣмъ и давать! Сейчасъ получилъ — сейчасъ въ кабакъ снесъ!

— Да, простъ-таки Иванъ Гаврилычъ! на порядкахъ простъ!

— Помилуйте! дуракъ! Коли этакихъ дураковъ не учить, кого жъ послѣ того учить надо?

Нѣсколько секундъ молчанія.

— Такъ вы говорите, что это можно? — вновь заводитъ рѣчь цилиндръ, повидимому возвращаясь къ прежде прерванному разговору.



— Помилуйте! какъ не можно! въ субботу торги назначены! Какъ мнѣ не знать: я самъ со стороны купца Толстопятова въ конкурсъ состою!

— Можно, стало быть?

— Да ужъ будьте покойны! Вотъ какъ: теперича въ Москву пріѣдемъ — и не безпокойтесь! Я все самъ... я самъ все сдѣлаю! Вы только въ субботу придите пораньше. Не пробьете двѣнадцати, а ужъ домъ...

— Право, мнѣ совѣстно! для перваго знакомства, и, можно сказать, такое одолженіе!

— Помилуйте! за что-же-съ! Вотъ еслибъ Иванъ Гаврилычъ просилъ или господинъ Скачковъ — ну, тогда дѣло другое! А то просить человѣкъ основательный, можно сказать, солидный... да я за честь...

Цилиндръ протягиваетъ стряпчему руку и крѣпко пожимаетъ руку послѣдняго.

— Одного я боюсь, — говоритъ онъ: — чтобъ Тихонъ Никанорычъ самъ не явился на торги!

— Онъ-то! помилуйте! статочное ли дѣло! Онъ ужъ съ утра муху ловить! А ежели явится — такъ что жъ? Милости просимъ! Сейчасъ ему въ руки бутылъ — и дѣло съ концомъ! Что угодно — все подпишетъ!

Цилиндръ сладко вздыхаетъ и нѣсколько секундъ молча улыбается.

— Да, простенекъ-таки почтеннѣйшій Тихонъ Никанорычъ! — наконецъ произноситъ онъ съ новымъ вздохомъ.

— Помилуйте! Скотина! На дняхъ-это вообразилъ себѣ, что онъ свинья: не ѣсть никакого корма, кромѣ какъ изъ корыта — да и шабашъ! Да ежели этакихъ дураковъ не учить, такъ кого же послѣ того и учить!

Между тѣмъ поѣздъ замедляетъ ходъ; мы приближаемся къ станціи.

— Станція Александровская! поѣздъ стоитъ десять минутъ! — провозглашаетъ кондукторъ.

Мы высыпаемъ на платформы и спѣшимъ проглотить по стакану сквернаго чая. При послѣднемъ глоткѣ я вспоминаю, что пью изъ того самаго стакана, въ который, за пять минутъ до прихода поѣзда, дышалъ заспанный мужчина, стоящій теперь за прилавкомъ, дышалъ и думалъ: „пьете и такъ... дураки!“ Возвратившись въ вагонъ, я пересаживаюсь на другое мѣсто, противъ двухъ купцовъ, съ бородами и въ сибиркахъ.

— Да, — говоритъ одинъ изъ нихъ: — нынче надо держать ухо востро! Нынче чуть ты отвернулся, анъ у тебя тысяча, а пожалуй и цѣлый десятокъ изъ кармана вылетѣлъ. Вы Маркова-то Александра знавали? Вотъ что у Бакулина въ магазинѣ въ приказчикахъ служилъ? Бывало, все Сашка да Сашка! Сашка, сбѣгай туда! Сашка, рыло вымой! А теперъ, смотри, какой домъ на Волхонкѣ взбодрилъ! Вотъ ты и думай съ ними!

— Да... народъ нынче! Да вѣдь и Бакулинъ-то простъ! ну, какъ-таки такъ? — замѣчаетъ другая сибирка.

— Чего простъ! Дуракъ какъ есть! Дуракомъ родился, дуракомъ и умереть! Потому и учать. Кабы на дураковъ да не плетъ, отъ нихъ житья бы на свѣтѣ не было!

Я опять пересаживаюсь на другое порожнее мѣсто, противъ двоихъ молодыхъ людей, которые оказываются приказчиками.

— Нашъ хозяинъ „генеальный“! — говоритъ одинъ изъ нихъ: — не то что просто умный, а поднимай выше! Знаешь ли ты, какую онъ на дняхъ штуку съ братомъ съ роднымъ сыгралъ?

— А что?

— Да такую, братецъ, штуку... вотъ такъ ужъ штука! Приѣзжаетъ онъ къ брату на именинный пирогъ, а стряпчій — братнинъ, тоись, стряпчій — и говоритъ ему: „поздравьте, говоритъ, братца! какую они вчера съ покупку сдѣлали!“ — Какая такая покупка? — спрашиваетъ нашъ-то. — „А вотъ, говоритъ, за двадцать верстъ отселъ у господина помѣщика лѣсъ за сорокъ тысячъ купили, а лѣсу-то тамъ по дешевой цѣнѣ тысячъ на двѣсти будетъ“. — Вѣрно ты говоришь? — „Вотъ какъ передъ Истиннымъ!“ — Задатокъ данъ? — „Нѣтъ, сегодня вечеромъ отдавать будетъ“. — Айда! пять тысячъ тебѣ въ зубы — молчокъ! — И притворился онъ, будто какъ у него животъ болитъ — ей-Богу! — да отъ именинника-то прямо къ помѣщику. Сорокъ-пять тысячъ посулили, задатокъ отдали, да не глядя лѣсъ и купили!

— Молодецъ! Братъ-то что-жъ?

— Ничего; даже похвалилъ. „Ты, говоритъ, дуракомъ меня сдѣлалъ — такъ меня и надо. Потому ежели мы дураковъ учить не будемъ, такъ намъ самимъ на полку зубы класть придется“.

Наконецъ я рѣшаюсь, такъ сказать, замереть, чтобы не слышать этотъ разговоръ; но едва я намѣреваюсь привести это рѣшеніе въ исполненіе, какъ за спиной у меня слышу два старушечьихъ голоса, разговаривающихъ между собою:

— Ему, сударыня, только понравиться нужно, — рассказываетъ одинъ голосъ: — пошутить, что-ли, мимику тамъ какую-нибудь сдѣлать, словомъ, разсмѣшить... Сейчасъ онъ тебѣ четвертную, а подъ веселую руку и двѣ. Ну, а мой-то и не понравился!

— Простъ, что-ли, онъ у васъ, сударыня?

— Какое ужъ простъ! Прямо надо сказать: дуракъ! Ни онъ пошутить, ни представить что-нибудь... ну, и выгнали! И за дѣло, сударыня! Потому ежели дураковъ да не учить...

Я окончательно замираю, но и сквозь дремоту слышу:

— Дуракъ! Скотина — и больше ничего!

Нѣтъ! мы не просты!

Въ Пушкинѣ въ нашъ вагонъ врывается цѣлая толпа нѣмцевъ и французовъ. Все это мѣстные воротилы: фабриканты, заводчики, лѣсопромышленники и проч. Между ними есть нѣсколько и русскихъ. На сцену выдвигаются мѣстные вопросы: во-первыхъ, вопросъ сѣнной, причемъ предсказывается, что сѣно будетъ зимой продаваться въ Москвѣ по рублю за пудъ; во-вторыхъ, вопросъ дровяной, причемъ предугадывается, что въ непродолжительномъ времени дрова въ Москвѣ повысятся до двадцати рублѣй за сажень швырка. Русскіе воротилы надъ всѣми этими „вопросами“ посмѣиваются; нѣмецкіе смотрятъ солидно.



— Вы все смѣтаете, господа!—говорить одинъ изъ нѣмцевъ русскому воротилѣ:—но подумайте, куда вы идете!

— Ничего, Ѳедоръ Ивановичъ—отвѣчаетъ воротила-русакъ: — покуда на свѣтѣ дураки есть—жить можно!

А между тѣмъ какой-то французъ патетически выкрикиваетъ панегирикъ Москвѣ, сравниваетъ ее съ Петербургомъ и восклицаетъ:

— Pétersbourg est beau! Moscou est grand! Moscou est sublime! Jamais, au grand jamais, même à Paris, mon coeur n'a battu avec autant de force, comme au moment, lorsque la sainte cité de Moscou („святая Москва!“ перевелъ онъ по-русски) s'est découverte pour la première fois à mes yeux! C'était quelque chose d'ineffable! Parole d'honneur!

— Барышки хорошіе получаете, Анатолій Филиппычъ! вотъ и по-правилось!—сшутилъ кто-то изъ русскихъ.

Нѣтъ! мы не просты!

— Что-жъ дальше?—спросить меня читатель.—Зачѣмъ написанъ рассказъ? Будетъ ли нравоученіе?

Далѣе мы пролетѣли мимо Сокольниковъ рощи и приѣхали въ Москву. Вагоны, въ которыхъ мы ѣхали, не разбились въ дребезги, и земля, на которую мы ступили, не разверзлась подъ нами. Мы разѣхались каждый по своему дѣлу, и на всѣхъ перекресткахъ слышали одинъ неизмѣнный припѣвъ: „дуррракъ!“

Будетъ ли нравоученіе? Нѣтъ, его не будетъ, потому что нравоученія вообще скучны и бесполезны. Вспомните пословицу: ученаго учить только портить—и разъ навсегда откажитесь отъ роли моралиста и проповѣдника. Иначе вы рискуете на первомъ же перекресткѣ услышать: „дуракъ!“

Зачѣмъ писанъ рассказъ? А хоть бы затѣмъ, милостивые государи, чтобъ констатировать, какія бываютъ на свѣтѣ *благодѣтельные рчи*.

## II. — Охранители.

Въ семь омутѣ, гдѣ съ вами я  
Купаюсь, милые друзья..  
*Пушкинъ.*

Троекратный пронзительный свистъ возвѣщаетъ пассажирамъ о приближеніи парохода къ пристани. Публика первого и второго классовъ высипаетъ изъ каютъ на палубу; мужики крестятся и наваливаются на плечи мѣшки. Жаркій іюльскій полдень; на небѣ облака; рѣка сверкаетъ. Изъ-за изгиба виднѣется большое торговое село Л., все залитое въ лучахъ стоящаго на зенитѣ солнца.

Но вотъ и пристань. Пароходъ постепенно убавляетъ ходу; рокочущія колеса его поворачиваются медленнѣе и медленнѣе; лоцмана стоятъ на-го-

товѣ, съ причалами въ рукахъ. Еще два-три взмаха — пароходъ дрогнулъ и остановился. Въ числѣ прочихъ пассажировъ ссаживаюсь въ Л. и я, въ ожиданіи лошадей для дальнѣйшаго путешествія.

Прежде, когда все было просто, и здѣсь была пристань простая. Устройство ея какъ будто говорило пассажиру: бѣги сихъ мѣсть! лѣзь на кручу, нанимай лошадей и поѣзжай на всѣ четыре стороны. И лѣзетъ, бывало, пассажиръ, мѣся ногами глину, по отвѣсной почти крутизнѣ, лѣзетъ изо всѣхъ силъ, спотыкаясь и тяжело дыша. Теперь прежней простоты не осталось и слѣда. Отъ баржи, на которой устроена пароходная пристань, ведетъ въ гору деревянная лѣстница, довольно отлогая; въ двухъ мѣстахъ ея, въ горѣ вырыты площадки, на которыхъ устроены тесовые навѣсы и поставлены столы и скамьи; на самомъ верху береговой кручи стоитъ трактиръ. Всѣ эти удобства обязаны своимъ существованіемъ мѣстному трактирнику, человѣку предприимчивому и ловкому, котораго старожилы здѣшніе еще помнятъ, какъ онъ мальчикомъ бѣгалъ на босу ногу по улицамъ, и который вдругъ какъ-то совсѣмъ неожиданно изъ простого полового сдѣлался „хозяиномъ“.

Молва не любитъ этого человѣка и называетъ его воромъ и кровопивцемъ. Говорятъ, что онъ соблазнилъ жену своего хозяина и вмѣстѣ съ нею обокралъ послѣдняго, что онъ судился за это и даже былъ оставленъ въ подозрѣніи; но это не мѣшаетъ ему быть однимъ изъ мѣстныхъ воротилъ и водить компанію съ становымъ и тузами-капиталистами, которыхъ въ Л. довольно много. Трактиръ свой онъ устроилъ на городскую ногу: съ половыми въ бѣлыхъ рубашкахъ и съ поваромъ, однимъ изъ вымирающихъ обломковъ крѣпостного права, который можетъ готовить не только селянку, но и настоящее кушанье. Сюда стекается не только контингентъ, ежедневно привозимый пароходами, но и весь дѣловой людъ, снующій съ утра до вечера по базарной площади и за парой чая кончающій значительныя сдѣлки. Здѣсь гремитъ недавно выписанная изъ Москвы машина (а иногда и странствующій жидовскій оркестръ), и подъ ея гудѣніе, среди духоты и кухонныхъ испареній, обдѣлываютъ свои дѣла „новые люди“ (они же и краугольные камни) нашего времени: маклаки, кулаки, сводчики, кабатчики, закладчики, лѣсники и пр.

Вмѣстѣ со мной сошелъ въ Л. молодой человѣкъ, котораго я замѣтилъ еще на пароходѣ. Онъ сѣлъ за одинъ переходъ до Л. и въ теченіе этого переѣзда велъ себя совершенно молчаливо. Вошелъ въ каюту и улегся на диванъ, не спросивъ даже рюмки водки — поступокъ, которымъ, какъ извѣстно, ознаменовываетъ свое прибытіе всякій сколько-нибудь сознающій свое достоинство русскій пассажиръ. Наружность онъ имѣлъ совершенно приличную, даже джентльменскую; одѣтъ былъ въ легкую визитку и вещей имѣлъ очень мало: небольшой ручной сакъ, сумку черезъ плечо и пледъ. Съ перваго взгляда я принялъ его за одного изъ ближнихъ помѣщиковъ, отправляющагося въ гости къ сосѣду.

Поднимаясь въ гору, мы разговорились.

— Вы, кажется, здѣшній? — спросилъ онъ меня.

— Верстъ двадцать отсюда мое имѣніе.

— И авторъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“?

— Да.



— Читаль-сь.

Нѣсколько ступенекъ мы прошли молча.

— Не совсѣмъ одобряю я вашу манеру, — продолжалъ онъ. — Неясно. Умаленіе семейныхъ добродѣтелей, неуваженіе чужой собственности, запутанность понятій о любви къ отечеству... Конечно, это программа очень благодарная, но вѣдь тутъ самое важное — отношеніе автора къ этимъ вопросамъ дня. Читая васъ, кажется, что вы на всѣ эти „признаки времени“ не шутя прогнѣваны. Вамъ хотѣлось бы, чтобъ мужья жили съ женами въ согласіи, чтобъ дѣти повиновались родителямъ, а родители заботились о нравственномъ воспитаніи дѣтей, чтобъ не было ни воровства, ни мошенничества, чтобъ всякій считалъ себя вправѣ стоять въ толпѣ, разиня ротъ, не опасаясь ни за свои часы, ни за свой портмоне, чтобъ, наконецъ, представленіе объ отечествѣ было чисто какъ кристалль... такъ, кажется?

— Предоставляю вамъ, какъ читателю, выводить тѣ заключенія, какія вы сочтете нужнымъ...

— Или, говоря другими словами, вы находите меня, для первой и случайной встрѣчи, слишкомъ нескромнымъ... Умолкаю-сь. Но такъ какъ, во всякомъ случаѣ, для васъ должно быть совершенно индифферентно, одному ли коротать время въ трактирномъ заведеніи, въ ожиданіи лошадей, или въ компаніи, то надѣюсь, что вы не откажетесь напиться со мною чаю. У меня есть здѣсь дѣльце одно, и ручаюсь, что вы проведете время не безъ пользы.

— Согласенъ, но прежде позвольте...

— Сергѣй Ивановъ Колотовъ къ вашимъ услугамъ. Здѣшній исправникъ.

Я взглянулъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я понимаю: вамъ кажется страннымъ, что такой, можно сказать, юнецъ, какъ я, несетъ столь непосильное бремя, какъ бремя, сопряженное съ званіемъ исправника. Но не забудьте, что въ настоящее время мы всѣ живемъ очень быстро и что вообще чиновничья мудрость измѣряется нынче не годами, а плотностью и даже, такъ сказать, врожденностью консервативныхъ убѣжденій, сопровождаемыхъ готовностью, по первому трубному звуку, устремляться куда глаза глядятъ. Мы всѣ здѣсь, то-есть вся воинствующая бюрократическая армія, мы всѣ — молодые люди и всѣ урожденные консерваторы. Есть старшіе молодые люди, есть и младшіе молодые люди. Исправникомъ я лишь съ недавняго времени, а прежде состоялъ при старшемъ молодомъ человѣкѣ въ качествѣ младшаго молодого человѣка, и, должно сознаться, блаженствовалъ, потому что обязанности мои были самыя легкія. Я возлежалъ на лонѣ моего принцепала (онъ мой товарищъ по школѣ, но болѣе счастливый карьеристъ, нежели я), сказывалъ ему консервативныя сказки, вмѣстѣ съ нимъ мечталъ объ англійскихъ лордахъ и правящихъ сословіяхъ и вообще кормилъ его печатными пряниками. Но въ скоромъ времени все это измѣнилось. Пошли въ ходъ „превратныя толкованія“; явилось на сцену „настроеніе умовъ“, а тамъ недалеко ужъ и до *doctrines les plus détestables*... Словомъ сказать, понадобился „глазъ“. Et, ma foi!.. me voilà *ispravnik*!

Высказавши эту рацею, онъ бойко взглянулъ мнѣ въ лицо, какъ будто

хотѣлъ внушить: а что, братъ, не ожидалъ ты, что въ этомъ захолустьи встрѣтишь столь интереснаго и либеральнаго собесѣдника?

Я догадался, что имѣю дѣло съ бюрократомъ самаго новѣйшаго закала. Но—странное дѣло!—чѣмъ больше я вслушивался въ его рекомендацію самого себя, тѣмъ больше мнѣ казалось, что, несмотря на вѣншній закалъ, передо мною стоитъ все тотъ же достолюбезный Держиморда, съ которымъ я когда-то былъ такъ пріятельски знакомъ. Да, именно Держиморда! Почищенный, приглаженный, выправленный, но все такой же балагуръ, готовый во всякое время и отца родного съ кашей съѣсть, и самому себѣ въ глаза наплевать...

Я всегда чувствовалъ слабость къ русской бюрократіи, и именно за то, что она всегда представляла собой въ моихъ глазахъ какую-то неразрѣшимую психологическую загадку. Несмотря на всѣ усилія выработать изъ нея бюрократію, она ни подъ какимъ видомъ не хочетъ сдѣлаться ею. Еще на глазахъ у начальства она и туда и сюда, но какъ только начальство за дверь—она сейчасъ же языкъ высунетъ и сама надъ собою хохочетъ. Представить себѣ русскаго бюрократа, который относился бы къ себѣ самому яко къ бюрократу, безъ нѣкотораго глумленія, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тѣмъ бюрократствуютъ тысячи, сотни тысячъ, почти миллионы людей. Милліонъ ходячихъ психологическихъ загадокъ! Милліонъ людей, которые сами на себя безъ смѣха смотрѣть не могутъ—развѣ это не интересно?

Я думаю, что наше бывшее взяточничество (съ удовольствіемъ употребляю слово: „бывшее“, и даже могу удостовѣрить, что двугривенныхъ нынѣ во истину никто не беретъ) очень значительное содѣйствіе оказало въ этомъ смыслѣ. Взятничество располагало къ изліяніямъ дружества и къ простотѣ отношеній; оно уничтожало преграды и сокращало разстоянія; оно прекращало бюрократическій индифферентизмъ и дѣлало сердце чиновника доступнымъ для обывательскихъ невзгодъ. Какая, спрашивается, была возможность выработать бюрократа изъ Держиморды, когда онъ за двугривенный въ одну минуту готовъ былъ сдѣлаться изъ блюстителя и сократителя другомъ дома? Предположите, напримѣръ, хоть такой случай: Держиморда имѣетъ порученіе превратить ваше бытіе въ небытіе. Что онъ очень хорошо знаетъ, какую механику слѣдуетъ подвести, чтобъ вы въ одну минуту перестали существовать—въ этомъ, конечно, сомнѣваться нельзя; но, къ счастью, онъ еще лучше знаетъ, что отъ прекращенія чьего-либо бытія не только для него, но и вообще ни для кого ни малѣйшей пользы послѣдовать не должно. И вотъ онъ начинаетъ маневрировать. Прежде всего онъ старается поразить ваше воображеніе, и съ этою цѣлью является въ сопровожденіи цѣлаго арсенала прекратительныхъ орудій. Потомъ онъ напускаетъ на себя юпитеровскую важность, потрясаетъ плечами, жестикулируетъ и сквернословитъ басомъ. Словомъ сказать, приступаетъ къ дѣлу словно и путный. Но не падайте духомъ передъ этими военными хитростями, не убѣждайте, не оправдывайтесь, но прямо вынимайте двугривенный. Какъ только двугривенный блеснулъ ему въ глаза—вся его напускная, ненатуральная важность мгновенно исчезла. Прекратительныхъ орудій словно какъ не бывало: дѣло о небытіи погружается



въ одинъ карманъ, двугривенный—въ другой; въ комнатѣ дѣлается свѣтло и радостно; на столѣ появляется закуска и водка... И вотъ передъ вами Держиморда-другъ дома, Держиморда-мужъ совѣта. Двугривенный прояснилъ его мысли и вызвалъ въ немъ тѣ лучшіе инстинкты, которые склоняютъ человѣка понимать, что бытіе лучше небытія, а препровожденіе времени за закуской лучше, нежели препровожденіе времени въ писаніи бесплодныхъ протоколовъ, на которые еще Богъ вѣсть, какимъ окомъ взглянетъ Сквозникъ-Дмухановскій (за полтинникъ вѣдь и онъ во всякое время готовъ сдѣлаться другомъ дома). Сообразивъ все это, онъ выпиваетъ рюмку за рюмкой и не только предастъ забвенію вопросъ о небытіи, но васъ же уму-разуму учить, какъ вамъ это бытіе продолжить, упрочить и вообще привести въ цвѣтущее состояніе. Черезъ полчаса его уже нѣтъ; онъ все выпилъ и съѣлъ, что видѣлъ его глазъ, ушелъ за другимъ двугривеннымъ, который уже давно запримѣтилъ въ карманѣ у вашего сосѣда. Вы расквитались, и хотя въ вашей кошмѣ сдѣлалось однимъ двугривеннымъ меньше, но не ропщите на это, ибо, благодаря этой монетѣ, при васъ остался драгоцѣннѣйшій даръ Творца: ваше бытіе.

Какъ хотите, а это своего рода *habeas corpus*.

Это до такой степени справедливо, что когда Держиморда умеръ и приемники его начали относиться къ двугривеннымъ съ презрѣніемъ, то жить сдѣлалось многимъ тяжелѣе. Точно вотъ въ знойное, бездождное лѣто, когда и безъ того некуда дѣваться отъ духоты и зноя, а тутъ еще чуются въ воздухѣ признаки какой-то неслыханной повальной болѣзни.

— Тяжело, милый другъ, народушкѣ! ничѣмъ ты отъ этой болѣсти не откупишься!—жаловались въ то время другъ другу обыватели, и по неопытности одинъ за другимъ прекращали свое существованіе.

Но, къ счастью, такое суровое время проскочило довольно скоро. Благодаря Держимордѣ и долговременной его практикѣ, убѣжденіе, что дѣло о небытіи не имѣетъ въ себѣ ничего серьезнаго, установилось настолько прочно, что обыватели скоро одумались. Не помогли ни неуклонность, ни неумытность, ни вразумленія, ни мѣропріятія; жертвою ихъ сдѣлались лишь первые, застигнутые врасплохъ обыватели. Затѣмъ все постепенно вошло въ колею. Напрасно старались явившіеся на смѣну Держимордамъ безукоризненные молодые люди увѣрять и доказывать, что бюрократія не праздное слово—никто не повѣрилъ имъ. У всѣхъ еще на памяти замасленный Держимординъ халатъ, у всѣхъ еще въ ушахъ звенить раскатистый Держимординъ смѣхъ—о чемъ же тутъ, слѣдовательно, толковать! И вотъ молодые бюрократы корчатся, хмурятъ брови, насаживаютъ свои груди, принимаютъ юпитеровскія позы, а имъ говорить:

— Ты не пугай—не слишкомъ-то испугались! У самого Антона Антоныча (Сквозникъ-Дмухановскій) въ передѣлѣ бывали—и то живы остались! Ты дѣло говори: сколько тебѣ слѣдуетъ?

— Ничего мнѣ не надо! мнѣ надо, чтобъ вы прекратили свое существованіе!—усовѣщивали молодые бюрократы невѣрующихъ.

— Да ты подумай, что ты сказалъ! Ты на Бога-то посмотри!

Разсудите сами, какой олимпіецъ не отступить передъ этою беззавѣт-

ною наивностью? „Посмотри на Бога!“ — шутка сказать! А ну, какъ посмотришь, да тутъ же сквозь землю провалишься! Какъ не смутиться передъ этимъ напоминаніемъ, какъ не воскликнуть: Богъ съ вами! живите, множтесь и наполняйте землю!

Такъ именно и поступили молодые преемники Держиморды. Нѣкоторое время они упорствовали, но, повсюду встрѣчаясь съ невозмутимымъ: „посмотри на Бога!“ — поняли, что имъ ничего другого не остается, какъ отступить. Впрочемъ они отступили въ порядкѣ. Отступили не ради двугривеннаго, но гордые сознаниемъ, что независимо отъ двугривеннаго нашли въ себѣ силу простить обывателей. И чтобы маскировать неудачу предпринятаго ими похода, сами поспѣшили сдѣлать изъ этого похода юмористическую эпопею.

Съ тѣхъ поръ отличительнымъ характеромъ русской бюрократіи сдѣлалось ироническое отношеніе къ самой себѣ. Прегніе Держиморды халатничали; нынѣшніе Держиморды увеселяютъ и амикошонствуютъ.

Словомъ сказать, настоящихъ, „отитыхъ“ бюрократовъ, которые не прощаютъ, очень мало, да и тѣ вынуждены вести уединенную жизнь. Даже такихъ немного, которые прощаютъ безъ подмигиваній. Большая же часть прощаетъ съ пѣніемъ и танцами, прощаетъ и во всѣ колокола звонитъ: вотъ, дескать, какой мы маскарадъ устраиваемъ!

Я знаю многихъ строгихъ моралистовъ, которые находятъ это явленіе отвратительнымъ. Я же хотя и не имѣю ничего противъ этого мнѣнія, но не могу, съ своей стороны, не присовокупить: живемъ помаленьку!

Только въ одномъ случаѣ и донинѣ русскій бюрократъ всегда является истиннымъ бюрократомъ. Это — на почтовой станціи, когда смотритель не даетъ ему лошадей для продолженія его административнаго бѣга. Тутъ онъ вытягивается во весь ростъ, надѣваетъ фуражку съ кокардой (хотя бы это было въ комнатѣ), скрежещетъ зубами, суетъ въ самый носъ подорожную и возглашаетъ:

— Да ты знаешь ли, курицынъ сынъ, съ кѣмъ дѣло имѣешь? ты это видишь? уткнись рыломъ-то въ подорожную! уткнись! прочитай!

Но Богу споспѣшествующу, надо надѣяться, что, съ развитіемъ желѣзныхъ путей, и на почтовыхъ станціяхъ число случаевъ проявленія бюрократизма въ значительной степени сократится.

Кстати: говоря о безуспѣшности усилій по части насажденія русской бюрократіи, я не могу не сказать нѣсколько словъ и о другомъ, хотя не особенно дорогомъ моему сердцу явленіи, но которое тоже играетъ не послѣднюю роль въ экономіи народной жизни и тоже прививается съ трудомъ. Я разумѣю соглядатайство.

Соглядатай французъ — вотъ истинный мастеръ своего дѣла. Это соглядатай — бритва. Во-первыхъ, онъ убѣжденъ, что дѣлаетъ дѣло; во-вторыхъ, онъ знаетъ, что ему надобно, и, въ-третьихъ, онъ никогда самъ не втюряется. Вотъ три капитальныя качества, которыя дѣлаютъ изъ него мастера. Онъ подслушиваетъ со смысломъ, и въ массѣ подслушаннаго умѣетъ палету различить существенное отъ ненужныхъ околичностей. Это сберегаетъ ему пропасть времени. Онъ не остановитъ своего вниманія на пустякахъ, не пожалуется, напримѣръ, на то, что такой-то тогда-то говорилъ, что человѣкъ



происходитъ отъ обезьяны, или что такой-то, будучи въ пьяномъ видѣ, выразился: хорошо бы, молъ, Верхоянскъ вольнымъ городомъ сдѣлать и порто-франко въ немъ учредить. Ему нѣтъ дѣла ни до верхоянской автономіи, ни до происхожденія человѣка. Онъ подслушиваетъ только то, что въ данный моментъ и при извѣстныхъ условіяхъ представляетъ дѣйствительный подслушивательный интересъ. Подслушаетъ, устроитъ всю нужную обстановку и тогда уже и пожалуется. И при этомъ непременно самого себя убережетъ. Онъ не станетъ, въ видахъ поощренія, воровать вмѣстѣ съ воромъ, и не полѣзетъ въ заговоръ вмѣстѣ съ заговорщикомъ. Однимъ словомъ, никогда не поступитъ такъ, что потомъ и не разберешь, согладалъ ли онъ, или дѣйствительный воръ и заговорщикъ. Онъ облюуетъ и натравитъ свою жертву издалека, почти не прикасаясь къ ней и строго стараясь держаться въ сторонѣ, въ качествѣ благороднаго свидѣтеля.

И такъ, настоящій, серьезный согладалъ—это французъ. Онъ быстръ, сообразителенъ, неутомимъ; сверхъ того, сухощавъ, непотливъ и обладаетъ такъ-называемыми *jarrets d'acier*. Нѣмецъ, съ точки зрѣнія усердія, тоже хорошъ, но онъ уже робокъ, и потому усердіе въ немъ часто извращается опасеніемъ быть побитымъ. Жидъ могъ бы быть отличнымъ согладатаемъ, но слишкомъ торопится. О голландцахъ, датчанахъ, шведахъ и проч. ничего не знаю. Но русскій согладалъ—положительно никуда негоденъ.

Прежде всего онъ рохля; онъ—тотъ человѣкъ, про котораго сказано, что онъ въ водѣ онучи сушить. Онъ никогда не знаетъ, что ему надобно, и потому подслушиваетъ зря, и, подслушавши, все кладетъ въ одну кучу. Вторыхъ, онъ невѣжественъ, и потому всегда поражается пустяками и пугается самыхъ обыкновенныхъ вещей. Прокаливъ ихъ въ горниль своего разнузданнаго воображенія, онъ съ необыкновенною любовью размазываетъ ихъ, и этимъ очень легко вводитъ въ заблужденіе. Онъ лжетъ искренно, безъ всякой для себя пользы, и притомъ почти всегда со слезами на глазахъ, и вотъ это-то именно и составляетъ главную опасность его лжей, опасность, къ сожалѣнію, весьма немногими замѣчаемую и вслѣдствіе этого служащую источникомъ безчисленныхъ промаховъ. Въ-третьихъ, русскій согладалъ или повадливъ, или тщеславенъ. Ежели онъ повадливъ, то всегда начинаетъ съ выпивки, и потомъ, постепенно сдружаясь съ предметомъ своихъ наблюденій, незамѣтно принимаетъ его нравы и обычаи. Слѣдя за воромъ, украдетъ самъ; слѣдя за заговорщикомъ, самъ напишетъ прокламацію. И за это, къ собственному удивленію, попадетъ на каторгу. Ежели онъ тщеславенъ, то любитъ, чтобъ его разумѣли благороднымъ человѣкомъ, называли масономъ и относились къ нему съ ласкою и довѣріемъ. Онъ обожаетъ слезы и безъ ума отъ раскаянія. Выплачьте у него на груди ваше заблужденіе, скажите ему при этомъ, что онъ масонъ — онъ проститъ. Онъ даже предупредитъ васъ въ случаѣ надобности, разумѣется, оговорившись: „пожалуйста, между нами“. И впрочемъ тутъ же и другому, и третьему скажетъ: „это я! я предупредилъ! нужно спасти благороднаго молодого человѣка!“

Но попробуйте сказать ему, что онъ совѣмъ не масонъ...

И такимъ образомъ проходятъ годы, десятки лѣтъ, а настоящихъ, серьезныхъ согладатаевъ не нарождается, какъ не нарождается и серьезныхъ

бюрократовъ. Я не говорю, хорошо это, или дурно, созрѣли мы, или не созрѣли, но знаю многихъ, которые и въ этомъ готовы видѣть своего рода *habeas corpus*.

Такого рода мысли невольно представились мнѣ, покуда Колотовъ зарекомендовывалъ себя.

— А знаете ли, — сказалъ я: — прежде, право, лучше было. Ни о какихъ настроеніяхъ никто не думалъ, исправники внутреннюю политикой не занимались... отлично!

— Да-съ, но вы забываете, что у насъ нынче смутное время стоитъ. Суды оправдываютъ лицъ, нагрубившихъ квартальнымъ надзирателямъ, земства разговариваютъ объ учительскихъ семинаріяхъ, объ артеляхъ, о сыровареніи. Да и представителей нравственного порядка до пропасти развелось: чтò ни шагъ, тò доброхотный ревнитель. И всякій считаетъ долгомъ предупредить, предостеречь, предупредить, указать на предстоящую опасность... Какъ тутъ не встревожиться?

— Слѣдовательно въ настоящую минуту вы находитесь въ экскурсіи по предмету „настроенія умовъ“?

— Да, я ѣду изъ З., гдѣ, по „достовернымъ свѣдѣніямъ“, засѣло цѣлое гнѣздо неблагонамѣренныхъ, и намѣренъ пробыть до сегодняшняго вечерняго парохода въ Л., гдѣ, по тѣмъ же „достовернымъ свѣдѣніямъ“, засѣло другое цѣлое гнѣздо неблагонамѣренныхъ. Вы понимаете, два гнѣзда на разстояніи какихъ-нибудь 30—40 верстъ!

— Однако, какая пропасть гнѣздъ! А мы-то, простаки, ѣдимъ, ходимъ, ѣдимъ, пьемъ, посягаемъ—и даже не подозреваемъ, что всѣ эти отправления совершаются нами въ самомъ, такъ сказать, круговоротѣ неблагонамѣренностей!

— Да-съ; вотъ вы теперь, предположимъ, въ трактирѣ чай пьете, а противъ васъ за однимъ столомъ другой господинъ чай пьетъ. Ну, вы и смотрите на него, и разговариваете съ нимъ просто какъ съ человѣкомъ, который чай пьетъ. Бацъ—анъ онъ неблагонадежный!

— Сколько опасностей!

— Опасностей нынче очень много, а главную опасность представляетъ дурная привычка употреблять въ разговорѣ мудренныя слова. Надобно непременно оставить эту привычку и стараться говорить какъ можно проще, особливо въ трактирахъ и въ домахъ терпимости. Возьмемъ, для примѣра, хоть слово „ассоціація“. Въ сущности, оно до того вошло въ литературный обиходъ, что никого уже не пугаетъ. Но трактиры и дома терпимости придерживаются еще академическаго словаря, въ который это слово не попало. Поэтому, ежели вы тамъ произнесете слова въ родѣ: ассоціація, ирригація, абerraція—все равно: половые и погибшія созданія, все-таки, поймутъ, что вы распространяете революцію.

— Приму ваше наставленіе къ свѣдѣнію. Но скажите на милость, чѣмъ же собственно занимаются лица, принадлежащія къ сословію неблагонамѣренныхъ?

— Занимаются они, по большей части, неблагонамѣренностями, откуда происходитъ и самое названіе: „неблагонамѣренный“. Въ частности же, не по-



дворянски себя ведутъ. Такъ напримѣръ, помѣщикъ Анпетовъ пригласилъ нѣсколькихъ крестьянъ, поселилъ ихъ вмѣстѣ съ собою, принялъ ихъ образъ жизни (только онъ Лаферма папирасы курилъ, а они тютюнъ) и самъ наравнѣ съ ними обрабатываетъ землю.

— Самъ пашетъ?

— Самъ въ первой сохѣ и въ первой косѣ. Барыши, однако, они дѣлать совершенно сообразно съ указаніями экономической науки: сначала вычитываютъ проценты на основной и оборотный капиталы (эти проценты не-благодѣтельный беретъ въ свою пользу); потомъ откладываютъ извѣстный процентъ на вознагражденіе за трудъ по веденію предпріятія (этотъ процентъ тоже беретъ неблагодѣтельный, въ качествѣ руководителя работъ); затѣмъ остальное складываютъ въ общую массу.

— Гм... капиталъ-то, стало быть, уважаетъ?

— Даже очень уважаетъ.

— Чтѣ же тутъ... ахъ, да! понимаю! „Остальное складываютъ въ общую массу“... стало быть, и лѣнивый, и ретивый... да! это такъ! Вѣдь это почти что „droit au travail“.

— Ну, до этого-то еще далеко! Они объясняютъ это гораздо проще; во-первыхъ, дробностью расчетовъ, а во-вторыхъ тѣмъ, что изъ-за какого-нибудь гривенника не стоитъ хлопотать. Вѣдь при этой системѣ всякій старается сдѣлать все, чтѣ можетъ, для увеличенія чистой прибыли, слѣдовательно стоитъ ли усчитывать человѣка въ томъ, что онъ однимъ-двумя фунтами травы накосилъ меньше, нежели другой.

— Такъ чтѣ же тутъ... впрочемъ, конечно, оно странновато: помѣщикъ —и самъ пашетъ! Однако вѣдь, съ другой стороны, онъ, быть можетъ, ни къ чему другому и неспособенъ примѣнить свой трудъ, кромѣ обдѣлки земли! Можетъ быть, все его самолюбіе въ томъ именно и заключается, чтобъ быть въ первой сохѣ и въ первой косѣ? Вѣдь вы знаете, что Людовикъ XVI, напримѣръ, даже хвастался тѣмъ, что былъ отличнымъ токаремъ? Я даже думаю, что самая система вознагражденія рабочихъ, въ формѣ участія въ чистой прибыли, есть штука очень хитрая, потому что она заставляетъ рабочаго тщательно относиться къ своей работѣ и тѣмъ косвенно содѣйствуетъ возвышенію цѣнности земли. То-есть, опять же въ карманъ собственнику капитала.

— Все это возможно, а все-таки „странно нѣкакѣ“. Помните, у Островскаго двѣ свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству. Вообразите себѣ, что сваха по дворянству вдругъ начинаетъ дѣйствовать какъ сваха по купечеству, — вѣдь зазорно? Такъ-то и тутъ. Мы привыкли представлять себѣ землевладѣльца или отдыхающимъ, или пьющимъ на лугу чай, или ловающимъ въ прудѣ карасей, или проводящимъ время въ кругу любезныхъ гостей, — и вдругъ: первая соха! Неприлично-сь! Непринято-сь! Возмутительно-сь!

— Но вѣдь нынѣ значительное число „дворянскихъ гнѣздъ“ попало въ руки купцовъ, кабатчиковъ, лѣсниковъ; стало быть, и самые способы распоряженія земельною собственностью, силою вещей, измѣнили характеръ?

— Это такъ; но вѣдь и кабатчики нынѣ стараются дѣйствовать „по

благородному". Сидятъ въ тѣни, чай пьютъ, варенье варятъ, да тутъ же между отдыхомъ и мужичковъ обесчечиваютъ.

— Черезъ кого же вы эти свѣдѣнія о настроеніи умовъ получаете?

— А мало ли отставныхъ поручиковъ, штабсъ-капитановъ, губернскихъ и коллежскихъ секретарей безъ дѣла шатаются! Всѣ они нынче возмнили себя представителями нравственнаго порядка и борьбы. Живется этимъ ревнителямъ, правду сказать, довольно-таки холодно и голодно, а къ дѣлу они никакимъ манеромъ пристроиться не могутъ. Такъ-таки со времени упраздненія крѣпостного права и „висятъ на воздухахъ". Ни въ управу, ни въ мировые судьи — никуда ихъ не пускаютъ. Вотъ какъ забаллотируютъ ихъ, они и начинаютъ полегоньку перебирать то того, то другого изъ той партіи, которая восторжествовала на выборахъ. И сейчасъ — предостереженьице!

— Однако, какая гадость у васъ здѣсь завелась!

Все больше отъ бѣдности и отъ огорченія. Какія у этихъ ревнителей нравственнаго порядка усадьбы, чѣмъ они въ этихъ усадьбахъ кормятся, въ какихъ рубищахъ ходятъ! — это даже представить себѣ трудно. Дрянной народъ, сплетникъ народъ. Да вотъ я сейчасъ познакомлю васъ съ однимъ капитаномъ изъ этой породы. Когда-то онъ служилъ здѣсь по выборамъ, потомъ судился за скрытіе убійства и былъ изгнанъ со службы; потомъ засѣкъ свою дворовую дѣвку, опять судился и оставленъ въ подозрѣніи... словомъ, цѣлый формуляръ. А теперь вотъ „добрыя начала" поддерживаетъ! Да еще какой ехидный — что ни недѣля, то извѣщеніе!

— И вы вѣрите этимъ сплетнямъ?

— Ну, я-то собственно съ юмористической точки зрѣнія...

— Позвольте! Но вѣдь вы должны же дать отчетъ... ну, хоть въ томъ, что имѣетъ произойти сегодня?

— Отчетъ? А помнится, у васъ же довелось мнѣ вычитать выраженіе: „ожидать поступковъ". Такъ вотъ въ этомъ самомъ выраженіи резюмируется программа всѣхъ моихъ отчетовъ, прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ. Скажу даже больше: отчетъ свой я могъ бы совершенно удобно написать въ моей к—ской резиденціи, не ѣздивши сюда. И ежели вы видите меня здѣсь, то единственно только для того, чтобы констатировать мое присутствіе.

Онъ снова бойко взглянулъ мнѣ въ лицо, и я постарался воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы уловить въ его фیزیономіи хоть тѣнь замѣшательства. Но, къ сожалѣнію, ничего подобнаго поймать не могъ. Бываютъ люди, которые накидываютъ на себя бойкость именно для того, чтобы маскировать извѣстную неловкость положенія, но въ Колотовѣ повидимому даже не было ни малѣйшаго сознанія какой-либо неловкости. Онъ вполне искренно пользовался наилучшимъ настроеніемъ духа и остроумничалъ на свой собственный счетъ совершенно непринужденно и весело.

Мы вели разговоръ на площадкѣ передъ трактиромъ. Изъ „заведенія" до насъ доносился безтолковый говоръ угощающагося люда, смѣшанный съ звономъ чайной посуды и съ звуками „*misere*", наигрываемого машиною. Обоняніе наше было тоже не совсѣмъ пріятно поражаемо запахомъ прѣли,



помоевъ, табачнаго дыма и кухоннаго чада, вылетавшимъ изъ открытыхъ настежь оконъ трактира. Въ виду свѣжести, несшейся съ рѣки, среди царствующаго окрестъ безмолвія, трактиръ казался какою-то безобразною клоакой, населенной неугомонными, поѣдающими другъ друга гадами. Все это дѣлало перспективу предстоявшаго чаепитія до того несоблазнительною, что и ужъ подумывалъ, не улепетнуть ли мнѣ въ болѣе скромное убѣжище отъ либеральско-полицейскихъ разговоровъ моего случайнаго собесѣдника.

— А вотъ и мой капитанъ! — воскликнулъ Колотовъ: — эге! да съ нимъ еще кто-то: пощъ, кажется! Они тоже нонче ударились во веѣ тяжкія по части охранительныхъ началъ!

Я взглянулъ на вышку трактира. Тамъ, въ открытомъ окнѣ, стояла длинная фигура и махала платкомъ въ нашу сторону. Изъ-за нея выглядывало дѣйствительно нѣчто похожее на попа. Длинная фигура показалась мнѣ какъ будто знакомою.

Черезъ минуту мы уже были на вышкѣ, въ маленькой комнатѣ, которой стѣны были разрисованы деревьями на манеръ сада. Солнце въ упоръ палило сюда своими лучами, но капитанъ и его товарищъ повидимому не замѣчали нестерпимаго жара и порядкомъ-таки урѣзали, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствовалъ графинъ съ водкой, опорожненный почти до самаго дна.

Да, это былъ онъ, свидѣтель дней моей юности, отставной капитанъ Никифоръ Петровичъ Терпибѣдовъ. Но какъ онъ постарѣлъ, полинялъ и износился! какъ мало онъ походилъ на того дѣятельнаго куроцапа, какимъ я его зналъ въ дни моего счастливаго, рѣзваго дѣтства! Боже! какъ все это было давно, давно!

Наружность Терпибѣдова очень оригинальная. Это человѣкъ лѣтъ шестидесяти слишкомъ, необыкновенно длинный и весьма узкій въ кости. На этомъ длинномъ туловищѣ посажена непропорціонально маленькая головка, почти лишенная подбородка, съ крошечнымъ остаткомъ волосъ на вискахъ и затылкѣ, съ заостреннымъ носомъ, какъ у копчика, съ воспаленными глазами на выкатѣ и съ совершенно покатымъ лбомъ. Изъ внутренностей его, словно изъ пустого пространства, безъ всякихъ съ его стороны усилій, вылетаетъ громкій, словно лающій голосъ — особенность, которая, я помню, еще въ дѣтствѣ поражала меня, потому что при первомъ взглядѣ на его сухопарую, словно колеблющуюся фигуру, скорѣе можно было ожидать ноющаго свиства иволги, нежели собачьяго лая.

Одѣтъ онъ тоже не совсѣмъ обыкновенно. На немъ свѣтлокоричневый фракъ съ узенькими фалдочками стариннаго покроя, сѣрые клѣтчатые штаны со штрипками и темномалиновый кашемировый двубортный жилетъ. На шеѣ волосяной галстухъ, мѣстами сильно обившійся, изъ-подъ котораго высовываются туго накрахмаленные заостренные воротнички, словно стрѣлы врѣзывающіеся въ его обрюзглыя щеки. По всему видно, что онъ постепенно донашиваетъ гардеробъ, накопленный въ лучшія времена.

— Ба! сочинитель! — залаялъ онъ, увидавъ меня.

На меня вдругъ пахнуло словно сыростью. Какъ будто распахнулись двери давно неотпиравшагося подвала, въ которомъ безъ толку наваленъ былъ старый, заплѣсневѣвшій отъ времени хламъ. Я вспомнилъ былое, когда

Терпибѣдовъ былъ еще, какъ говорится, въ самой порѣ и служилъ дворянскимъ засѣдателемъ въ земскомъ судѣ. Какъ видите, это было еще до появленія становыхъ приставовъ на аренѣ внутренне-политической дѣятельности (сосчитайте, сколько мнѣ лѣтъ-то!). Онъ довольно часто наѣзжалъ къ намъ и по службѣ, и въ качествѣ сосѣда по имѣнію, и всегда обращалъ на себя мое вниманіе въ особенности тѣмъ, что домашніе наши какъ-то ужъ черезчуръ безцеремонно обращались съ нимъ.

— Ну, чтѣ, куроцапъ, каково курчатъ полавливаешь? — неизмѣнно при-  
вѣтствовалъ покойный отецъ мой появленіе капитана.

— Какіе нонче курчата! — неизмѣнно же отвѣтствовалъ на это при-  
вѣтствіе капитанъ: — нынѣшніе, сударь, курчата некормленные, а ежили и  
есть которые покормѣе, такъ на тѣхъ ужъ давно капитанъ-исправникъ  
петлю закинулъ.

Вслѣдъ затѣмъ подавалась закуска и начинались „шутки“, на которыя  
былъ такъ неистощимъ помѣщичій строй добраго стараго времени. Похлопы-  
вали Терпибѣдова по животу, какъ бы нащупывая спрятанныхъ тамъ кур-  
чатъ, пугали его, убирали со стола его тарелку съ недоѣденнымъ кушаньемъ,  
словомъ, продѣлывали на немъ весь скудный репертуаръ домашнихъ театраль-  
ныхъ представленій. Я даже помню, какъ онъ судился по дѣлу о сокрытіи  
убійства, какъ его дразнили за это фофаномъ и какъ онъ оправдывался, го-  
воря, что „одну минуточку только не опоздай онъ къ секретарю губернскаго  
правленія — ничего бы этого не было“.

Впослѣдствіи Терпибѣдовъ исчезъ въ той общей пучинѣ, въ которую  
кануло крѣпостное право. Даже фамиліи его какъ-то никто не упоминалъ,  
хотя связь моя съ родными мѣстами не прерывалась. И вдругъ оказывается,  
что онъ живъ-живехонекъ, что какимъ-то образомъ онъ ухитрился ухватиться  
за какое-то бревнышко въ то время, когда прорвало и смыло плотину крѣ-  
постного права, что онъ притаился, претерпѣлъ либеральныхъ мировыхъ по-  
средниковъ и, все-таки, не погибъ. Да и не только не погибъ, но даже всталъ  
на стражѣ, всталъ безкорыстно, памятуя и зная, что ремесло стража обще-  
ственной безопасности вознаграждается у насъ больше пинками, нежели кре-  
дитными рублями.

— А голосъ-то у васъ, Никифоръ Петровичъ, прежній остался! По-  
мните, какъ вы однажды тетеньку Прасковью Ивановну испугали? — сказалъ  
я, здороваясь съ нимъ.

— Помните, сударь! не забыли! — воскликнулъ онъ, слегка дрогнувъ:  
—прежнее-то, хорошее-то время... не забыли?

— Помню.

— Да-съ, примерли! всѣ примерли! Одинъ я да вотъ Григорій Алек-  
сандровичъ въ здѣшнихъ мѣстахъ изъ стариковъ остались. Стары, сударь!  
ветхи! Морковкина Лётра Александровича, предводителя-то нашего бывшаго,  
помните?

— А гдѣ онъ теперь?

— Въ Москвѣ, сударь! въ ямѣ за долги года съ два высидѣлъ, а те-  
перь у нотариуса въ писцахъ, въ самыхъ, знаете, маленькихъ... десять рублей  
въ мѣсяцъ жалованья получаетъ. Да и какое ужъ его писанье! и перо-то онъ



не въ чернильницу, а больше въ ротъ себѣ суетъ. Изъ-за того только и держать, что предводителемъ быть, такъ купцы на него смотрѣть ходятъ. Ну, иной смотреть-смотреть, а между прочимъ — и актецъ совершить.

— Скажите, пожалуйста! — вѣдь въ тысячахъ душахъ былъ! а какой хлѣбосоль! свой оркестръ держалъ! пѣвчихъ! три трехлѣтія предводителемъ выслужилъ!

— Не три, а цѣлыхъ пять-съ!

— И теперь... писцомъ!

— Да-съ, въ конторѣ у нотариуса сидитъ... духота-то какая! да еще прочіе служащіе въ трактиръ за кипяткомъ заставляютъ бѣгать!

— Ну, а имѣніе его?

— Имѣніе его Пантелѣй Егоровъ, здѣшній хозяинъ, съ аукціона купилъ. Такъ, за ничто подлещу досталось. Домъ снесъ, паркъ вырубилъ, лѣса свелъ, скотъ выпродалъ... Послѣ музыкантовъ какой инструментъ остался — и тотъ въ здѣшній полкъ спустилъ. Не узнаете вы Грѣшищева! Пантелѣй Егоровъ по немъ словно французъ прошелъ! Помните, какіе карасы въ прудахъ были — и тѣхъ всѣхъ до одного выловилъ да здѣсь въ трактиръ мужикамъ на порціи скормилъ! Сколько деньжищъ выручилъ — страсть!

Онъ свистнулъ, поникъ головой и задумался.

— Ну, а вы какъ, Никифоръ Петровичъ?

— Нехорошо-съ. То-есть, такъ плохо, такъ плохо, что если начать рассказывать, такъ въ своемъ родѣ „Тысяча и одна ночь“ выйдетъ. Ну, а все-таки еще ратуемъ.

— Служите?

— Нѣтъ, такъ, по своей охотѣ ратуемъ. А впрочемъ и то сказать, горевые мы ратники! Вотъ кабы тузы-то наши козырные живы были — ну, и намъ бы поповаднѣ было за одно съ ними помѣряться. Да отъ нихъ, вишь, только могилки остались а намъ-то, мелкотѣ, не очень и довѣряютъ нынѣшніе правители-то!

— А вамъ бы еще послужить, Никифоръ Петровичъ.

— Слуга покорный-съ. Нынче, сударь, все молодежь пошла. Химіи да физики въ ходу, а мы вѣдь безъ химіи вѣкъ прожили, а наипаче на Божью милость надѣялись. Не годимся-съ. Такое ужъ нынче время настало, что въ церкву не ходятъ, а больше, съ позволенія сказать, въ удобреніе вѣруютъ.

— Не черезъ край ли вы хватили, Никифоръ Петровичъ?

— Нѣтъ-съ, до краевъ еще далеко будетъ. Вездѣ нынче этотъ развратъ пошелъ, даже духовные — и тѣ невѣрующіе какіе-то сдѣлались. Этта, доложу вамъ, затесался у насъ въ земскіе гласные попъ одинъ, такъ и тотъ намеренъ при всей публикѣ такъ и ляпнуть: „цифру мнѣ подайте! цифру! ни во чтѣ, кромѣ цифры, не повѣрю!“ Это духовное-то лицо!

— Это дѣйствительно-съ. Отецъ Спиридоній Благосклоновъ, села Бекова іерей. Верстъ десять отсюда будетъ.

Слова эти произнесъ пріѣхавшій съ Терпибѣдовымъ священникъ. Это былъ человѣкъ уже пожилой, небольшого роста, тучный, съ большою и почти совсѣмъ лысою головою, которую онъ держалъ нѣсколько закинувъ назадъ.

Характеристическимъ отличіемъ его плоскаго лица представлялись широкія, пещеристыя ноздри, которыя, такъ сказать, и опредѣляли всю его фізіономію. Все прочее утопало въ какомъ-то рыжевато-бѣлесоватомъ колоритѣ. Маленькіе, полупотухшіе глаза неподвижно смотрѣли сквозь очки и казались невидящими; тонкія, выцвѣвшія губы едва раскрывались даже въ то время, когда онъ говорилъ. Рѣдкіе свѣтло-рыжіе волосы на головѣ висѣли въ беспорядкѣ; на бородѣ и усахъ почти совсѣмъ волосъ не было. Говорилъ онъ солидно и пріятнымъ басомъ, но въ голосѣ звучала рѣзкая подыскивающая нотка, отъ которой становилось неловко. Вообще это было какое-то загадочное существо, котораго видъ вселялъ опасеніе. Даже Терпибѣдовъ, при всемъ сознаніи своей несомнѣнной благонамѣренности, побаивался его, и повидимому находился подъ сильнымъ его вліяніемъ, что не мѣшало ему, однакожъ, шутить надъ своимъ менторомъ довольно смѣлыя шутки. Несмотря на жаркое іюльское время, на священниѣ была черная суконная ряса, сильно порывѣвшая и запыленная.

— Рекомендую! — представилъ его намъ Терпибѣдовъ: — отецъ Арсеній, бывшій священникъ нашего прихода, а нынѣ запрещенный попъ-сѣ. По навѣтамъ, а больше за кляузы-сѣ. До двадцати приходоу въ свою жизнь пере-мѣнилъ, нигдѣ не ужился, а теперь и вовсе скапутился!

При этой неожиданной аттестаціи, отецъ Арсеній молча вскинулъ своими незрячими глазами въ сторону Терпибѣдова. Подъ вліяніемъ этого взора, расходившійся капитанъ вдругъ съежился и засуетился. Онъ схватилъ со стола дорожный чубукъ, вынулъ изъ кармана засаленный кисетъ и началъ торопливо набивать трубку.

— Извольте же продолжать, Никифоръ Петровичъ! — солидно протянулъ отецъ Арсеній: — вы сказали: „за кляузы“... извольте же объяснить, какого рода и по какому случаю эта называемая вами кляуза начало свое получила?

— Нѣтъ ужъ, слуга покорный! ты и на меня еще кляузу напишешь! — попробовалъ отшутиться Терпибѣдовъ. — Вотъ, сударь! — перемѣняя разговоръ, обратился онъ ко мнѣ: — нынче и трубку ужъ самъ закуриваю! а *прежде* сталъ ли бы я! Прощка! венé-зис! — и трубка въ зубахъ!

— Дѣйствительно, прежде не малое было поощреніе лѣности и тунеядству! — уязвилъ отецъ Арсеній.

— Да, сударь, было-сѣ, было наше времячко! — продолжалъ Терпибѣдовъ, словно не слыша поповскаго замѣчанія: — такъ вотъ и вы родное гнѣздо посѣтить собрались? Дѣльно-сѣ. Лѣску малую толику спустить-сѣ, насчетъ пустошей распорядиться-сѣ... полезно-сѣ!

— Скажите, капитанъ, вѣдь, и у васъ тутъ, кажется, неподалеку усадьба была?

— Какъ же-сѣ, какъ же-сѣ! И по сейчасъ есть-сѣ. Только прежде я ее Монрепé прозывалъ, а нынче Монсуфрансомъ зову. Нельзя, сударь. Потому во всѣхъ комнатахъ течъ! Въ прошлую весну всѣ дожди на своихъ бокахъ принялъ, а вотъ онъ, іерей-то, называетъ это благораствореніемъ воз-духовъ!

— Это дѣйствительно, — пояснялъ отецъ Арсеній. — Весна у насъ нынче для произрастанія злаковъ весьма благопріятная была. Капуста, огурцы —



даже сейчас во всем блескѣ. Но у кого крыша въ неисправности, тотъ, конечно, не мало огорченій претерпѣлъ.

— Да-съ, претерпѣлъ-таки. Ужъ давно думаю я это самое Монрепо по боку — да никому, вишь, не требуется. Пантелею Егорову предлагалъ: купи, говорю! тебѣ, говорю, все одно, чью кровь ни сосать! Такъ нѣтъ, и ему не нужно! „Въ твоёмъ, говорить, Монрепо не людямъ, а лягушкамъ жить!“ Вотъ, сударь, какъ нынче бывшіе холопы-то съ господами со своими поговариваютъ!

Онъ усиленно потянулъ дымъ, и мнѣ показалось, что внутри у него словно что зарычало.

— Такъ-то вотъ мы и живемъ, — продолжалъ онъ. — Это бывшіе слуги-то! Главная причина: никакъ забыть не можемъ. Кабы ежели Богъ намъ забвеніе послалъ, все бы, кажется, лучше было. Сломалъ бы хоромы-то, выстроилъ бы избу рублей въ двѣсти, надѣлъ бы зипунъ, трубку бы тютюномъ набилъ... царствуй! Такъ нѣтъ, все хочется, какъ получше. И зальце чтобъ было, кабинетецъ тамъ, что-ли, „мадамъ! перметте бонжуръ!“ человекъ! рюмечу водки и закусить!“ Вотъ что конфузится-то насъ! А то какъ бы не жить! Житье — первый сортъ!

— И то еще ладно, капитанъ, что вы хорошее расположеніе духа не утратили! — усмѣхнулся я.

— Помилуйте! съ ними театровъ не надобно-съ! никогда не соскучитесь! — прибавилъ отецъ Арсеній. — Только вотъ на языкъ не воздержны маленько.

— Да-съ, будешь и театры представлять, какъ въ зной-то палить, а въ дождь поливаетъ! Смиряемся-съ. Терпимъ и молчимъ. Въ терпѣніи хотимъ стяжать души наши... такъ, что-ли, батя?

— При ветхости крыши, и это утѣшеніемъ послужить можетъ!

— Однимъ словомъ, прежде лучше жилось — такъ, что-ли, капитанъ? — поддразнивалъ Колотовъ.

— Прежде! прежде-то! прежде-съ!

Терпибѣдовъ словно прогремѣлъ эту фразу и даже поперхнулся отъ волненія.

— Прежде, я вамъ доложу, настоящихъ-то слугъ цѣнили-съ! — продолжалъ онъ, захлебываясь на каждомъ словѣ: — а нынче настоящихъ-то слугъ...

Онъ вдругъ оборвалъ, словно чуя, что незрячій взоръ отца Арсенія покоится на немъ. И дѣйствительно, взоръ этотъ какъ бы говорилъ: продолжай! добалтывайся! твои будутъ рѣчи, мои — перо и бумага. Поэтому очень естятіи появился въ эту минуту чайный приборъ.

— А какую я вамъ, Сергѣй Ивановичъ, рыбку принасъ, обратился Терпибѣдовъ къ Колотову: — ужъ если эта рыбка невкусна покажется, такъ хоть всю рѣчную муть перешарьте — пустое дѣло будетъ.

— Осѣтрикъ во всѣхъ статьяхъ-съ, — мягко, даже почти благосклонно пояснялъ отецъ Арсеній, дуя въ блюдечко и прищелкивая зубами сахаръ.

— Знаю; вы писали, капитанъ. Господинъ Парначевъ, кажется?

— То-есть, писалъ собственно я-съ, а они токмо подписомъ своимъ утвердить пожелали, — замѣтилъ отецъ Арсеній.

— Парначевъ! не Павла ли Николаича сынъ? да вѣдь онъ тутъ въ земствѣ, кажется, — вспомнилъ я.

— Онъ самый-съ. Въ земствѣ-съ, да-съ. Шайку себѣ подобралъ... разночинцевъ разныхъ... все мѣста имъ роздалъ — ну, и держитъ уѣздъ въ осадѣ. Скоро дождемся, что по большимъ дорогамъ разбойничать будутъ. Артели, банки, коммуны... Это дворянинъ-съ! Дворянинъ, сударь, а какими дѣлами занимается! Да вотъ батюшка лучше меня распишетъ!

— Дѣйствительно, могу свидѣтельствовать. Много неповинныхъ душъ Валеріанъ Павлычъ совратилъ; даже всю округу, можно сказать, своимъ тлетворнымъ дыханіемъ заразилъ, — сентенціозно подтвердилъ отецъ Арсеній.

— И добро бы изъ долгогривыхъ — все бы не такъ обидно! А то вѣдь дворянинъ-съ!

— Однако вы довольно-таки несносно объ нашемъ сословіи выражаетесь, Никифоръ Петровичъ! — обидѣлся отецъ Арсеній. — Прощу, оставьте!

— Ну, батя, не взъщи! Долгогривые — они вѣдь... примѣры-то эти были!

— Чувствительнѣйше васъ прошу! оставьте-съ!

— Позвольте, господа! не въ томъ совсѣмъ вопросъ! Чтò же собственно дѣлаетъ господинъ Парначевъ, чтò могло въ такой степени возбудить ваше негодованіе? Объясните сначала вы, капитанъ!

— Все дѣлаетъ. Коммуны дѣлаетъ, протолеріать проповѣдуетъ, прокламацію распускаетъ... все, словомъ сказать, весь ядъ!

— Главнѣйше же путямъ Провидѣнія не покоряется, — пояснилъ отецъ Арсеній: — дождь, напримѣръ, не отъ Бога, а отъ облаковъ... Да облака-то откуда?

— А вы, батюшка, имѣли разговоръ съ господиномъ Парначевымъ объ этомъ предметѣ?

— Прямого разговору собственно съ ними не было, а отъ крестьянъ довольно-таки наслышанъ. У здѣшнихъ крестьянъ, позвольте вамъ доложить, издавна такой обычай: ненастье ли продолжительное, засуха ли — лекарство у нихъ на этотъ счетъ одно: молебствіе. И завсегда они соглашались на это съ готовностью, нынче же стропивость выказали. Прошлую весну совсѣмъ-было здѣсь насъ залило — ну, я, признаться, самъ даже предложилъ: не помолебствовать ли, друзья? А они въ отвѣтъ: „дождь-то вѣдь отъ облаковъ; облака, что-ли, ты заговаривать станешь?“ Отъ кого, смѣю спросить, они столь неистовыми мыслями заимствоваться могли?

Я слушалъ этотъ обвинительный актъ, и, признаюсь откровенно, слушалъ не безъ страха. Я спрашивалъ себя не о томъ, какія послѣдствія для Парначева можетъ имѣть эта галиматья — для меня было вполне ясно, что о послѣдствіяхъ тутъ не можетъ быть и рѣчи — но о томъ, можно ли жить въ подобной обстановкѣ, среди столь необыкновенныхъ разговоровъ? Вѣдь пошлость не всегда ограничивается однимъ тѣмъ, что оскорбляетъ здравый человѣческій смыслъ; въ большинствѣ случаевъ она вызываетъ, кромѣ того, и очень рѣзкія поползновенія къ прозелитизму. Не она покоряется убѣжденіямъ разума, но требуетъ, чтобъ разумъ покорился ея убѣжденіямъ. Столкновеніе приходитъ не вдругъ, но что оно несомнѣнно придетъ — въ этомъ служить



ручательствомъ тотъ громадный запасъ досужества, который всегда находится въ распоряженіи пошлости. Подумайте, сколько варварскаго трагизма скрыто въ этой предстоящей коллизіи!

На сторонѣ пошлости — привычка, боязнь неизвѣстности, отсутствіе знанія, недостатокъ отваги. Все, что отдастъ человѣка въ жертву темнымъ силамъ, все это предлагаетъ ей союзъ свой. Заручившись этими пособниками и имѣя на-готовѣ свой собственный жизненный кодексъ, она до такой степени насыщаетъ атмосферу его мiasмами, что вдыханіе этихъ послѣднихъ становится обязательнымъ. Всякое явленіе она обозначаетъ своими примѣтами, всякому факту находитъ готовое, полу-эмпирическое, полу-мистическое толкованіе. Какъ сложились эти примѣты и толкованія — этого она, конечно, не объяснитъ, да ей и не нужно объясненій, ибо необъяснимость не только не подрываетъ ея кодекса, но даже еще больше удостовѣряетъ въ его непреложности. И ежели она встрѣчаетъ отказъ или сомнѣніе, то это нимало не заставляетъ ее вдуматься въ свои требованія, но только возбуждаетъ удивленіе. Отъ удивленія она переходитъ къ назойливости, отъ назойливости къ застрачиванію. Досугъ даетъ ей чудовищныя средства въ смыслѣ прозелитизма; всегда праздная, всегда суетящаяся, она неутомимо кружитъ около сомнѣвающегося и постепенно стягиваетъ, сгущиваетъ свои круги. И вотъ наступаетъ моментъ, когда она приступаетъ уже настоятельно и, не стѣсняясь формальностями, прямо объявляетъ свою сентенцію. Вы не вѣрите примѣтамъ — вы безбожникъ; вы не раболѣпствуете — вы насадитель революціонныхъ идей, возмутитель, ниспровергатель авторитетовъ; вы относитесь критически къ извѣстнымъ общественнымъ явленіямъ — вы развратникъ, ищущій разрушить общественныя основы...

Спрашиваю вновь: какъ жить и не погибнуть въ подобной обстановкѣ, среди вѣчнаго жужжанія глупыхъ рѣчей, не имѣя ничего передъ глазами, кромѣ зрѣлища глупыхъ дѣлъ?

— И вы можете доказать, что господинъ Парначевъ все то дѣлалъ, что вы о немъ сейчасъ рассказывали? — обратился между тѣмъ Колотовъ къ Терпибѣдову.

— Какихъ доказательствъ! всей округѣ извѣстно!

— Знаете ли однакожъ, что это до того любопытно, что мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы кой-что разъяснили. Что значитъ, напримѣръ, выраженіе: „распространять протолеріатъ“? или другое: „распущать прокламацію“?

— Извините, Сергѣй Ивановичъ, я вреднымъ идеямъ не обучался-сь. Въ университетахъ не бывалъ-сь. Знаю, что вредныя, и больше мнѣ ничего не требуется! да-сь!

— Все-таки, не мѣшаетъ хоть понимать, въ чемъ заключается вредъ.

— Говорю вамъ, вся округа подтвердить. Первый — здѣшній хозяинъ. И опять еще — батюшка: какого еще лучше свидѣтеля! Духовное лицо!

— Могу свидѣтельствовать, и не токмо самъ, но и другихъ достойныхъ свидѣтелей представить могу. Хоша бы изъ тѣхъ же совращенныхъ господиномъ Парначевымъ крестьянъ. Потому мужикъ хотя и охотно склоняетъ свой слухъ къ зловреднымъ ученіямъ и превратнымъ толкованіямъ,

однако онъ и не безъ раскаянія. Особенно ежели видить, что начальство требуетъ отъ него чистосердечнаго сознанія.

— Прекрасно; расскажите же сначала, что вы лично имѣете свидѣтельствовать о господинѣ Парначевѣ?

Отецъ Арсеній задумался и съ минуту пощипывалъ рѣдкіе, чуть замѣтные волоски своей бороды.

— Не бесполезно ли будетъ?—наконецъ выговорилъ онъ, смотря черезъ очки на Колотова.

— Отчего?

— Да видится мнѣ, что слова-то наши какъ будто не внушаютъ вамъ большого довѣрія...

— Гм... значитъ, и я ужъ сдѣлался въ вашихъ глазахъ подозрительнымъ... Скоренько! Нѣтъ, коли такъ, то рассказывайте. Поймите, что вѣдь до сихъ поръ вы ничего еще не сказали, кромѣ того, что дождь — отъ облаковъ.

— А этого мало-съ?

— Немного-съ. Рассказывайте, прошу васъ.

— Даже съ превеликимъ моимъ удовольствіемъ-съ. Былъ и со мною лично случай; былъ-съ. Прихожу я, напримѣръ, прошлую осенью, къ господину Парначеву, какъ къ духовному моему сыну, въ домъ...

— Такъ господинъ Парначевъ и на духу у васъ бываетъ?

— Бывалъ-съ. Только, по замѣчанію моему, съ ихъ стороны это больше одно притворство было...

— Вы это вѣрно знаете?

— Перстовъ своихъ въ душевныя раны господина Парначева не вкладывалъ, но судя по прочимъ поступкамъ...

— А о прочихъ поступкахъ судя по этому... Впрочемъ продолжайте.

— Слѣдственно, прихожу я къ нимъ въ родѣ какъ бы для бесѣды, а самъ, между прочимъ, въ головѣ свой особый предметъ держу. И вижу я, значитъ, что въ прихожей у нихъ никого нѣтъ, а между тѣмъ изъ кабинета, рядомъ съ прихожей, слышится говоръ. Всталъ я этакъ около двери, будто ноги вытираю, а самъ, между прочимъ, прислушиваюсь. И слышу я эти самыя слова: протолеріатъ, эмансипація, бюрократія, плутократія... А затѣмъ и насчетъ сыроваренія. Одинъ голосъ говоритъ: „вы, говоритъ, въ недоимки по уши влѣзли; устраивайте артели, варите сыры—и недоимкамъ вашимъ конецъ“. Другой голосъ отвѣчаетъ: „хорошо бы это, только какъ же тутъ быть? теперича у насъ молоко-то ребята хлебають, а тогда оно, значитъ, на недоимки пойдетъ?“ И опять первый голосъ говоритъ: „варите сыры, потому что вамъ, какъ ни вертитесь, другихъ зайцевъ не поймать: либо дѣтей молокомъ кормить, либо недоимки очищать“. А другой голосъ отвѣчаетъ: „по моему, пусть лучше дѣти хлебають“. „А по моему—это опять первый голосъ—лучше недоимки очищать, потому что своевременная уплата повинностей есть первый признакъ чловѣка, созрѣвшаго для свободы“. Хорошо-съ. Только-что, значитъ, онъ это слово „свобода“ выговорилъ, анъ, какъ на грѣхъ, подо мной половица и скрипнула. Сейчасъ это Валеріанъ Павлычъ потихоньку-потихоньку, на цыпочкахъ, на цыпочкахъ—и прямо къ двери. И такъ это у нихъ скоро сдѣ-



лалось, что я даже потрафить не успѣлъ. Словомъ сказать, такъ меня пристигли, что я даже совѣмъ безъ словъ сдѣлался. Стою это въ дверяхъ и вижу только одно: что у нихъ сидитъ нашъ крестьянинъ Лука Прохоровъ, по замѣчанію моему, самый то-есть злѣйшій бунтовщикъ. „Вы, — говоритъ мнѣ господинъ Парначевъ: — коли къ кому въ гости приходите, такъ прямо идите, а не подслушивайте!“ А Лука Прохоровъ сейчасъ же за шапку, и такъ-таки прямо и говоритъ: „мы, говоритъ, Валеріанъ Павлычъ, объ этомъ предметѣ въ другое время побесѣдуемъ, а теперь между нами лишнее бревнышко есть“. Однако я сдѣлалъ видъ, какъ будто не обратилъ вниманія, и взошелъ. Сѣли мы съ Валеріаномъ Павлычемъ другъ противъ друга, и вижу я, что онъ сидитъ у письменнаго стола, на креслѣ покачивается, смотритъ на меня и молчитъ. Довольно долго онъ эту комедію продолжалъ, однако и я помаленьку съ своей стороны оправился: сначала легонько, потомъ побольше, а наконецъ и прямо ему въ лицо заглянулъ. И пришло мнѣ въ эту минуту откровеніе: дай, думаю, я ему правоученіе сдѣлаю! можетъ быть, онъ и раскается! И сталъ я ему говорить: не для забавы, Валеріанъ Павлычъ, и не для празднословія пришелъ я къ вамъ, а по душевному дѣлу! — „Слушаю-съ“, говоритъ. — Грѣхъ, говорю, великій грѣхъ вы содѣлываете! — „Любопытно“, говоритъ. — Любопытнаго, говорю, въ грѣхѣ мало, а слезъ достойнаго много! — „Забавно!“ — Нынче забавно, говорю, а завтра и горько показаться можетъ! Спрошу васъ: зачѣмъ вы малыхъ сихъ въ соблазнъ вводите!? Тутъ ужъ онъ, знаете, и смѣяться пересталъ. „А вы, говоритъ, увѣрены въ этомъ?“ — Не только, говорю, увѣренъ, но даже достовѣрныхъ свидѣтелей представить могу. — „Такъ извольте, говоритъ, сейчасъ изъ моего дома вонъ! Я, говоритъ, къ вамъ не хожу и васъ къ себѣ подслушивать не прошу!“

— Каковъ гусь! это съ духовнымъ-то лицомъ такъ поговариваетъ! — прервалъ Терпибѣдовъ: — а вы еще доказательствъ требуете!

— Какъ выгнали это они меня, иду я къ себѣ домой и думаю: за чтѣ онъ меня обидѣлъ? Я къ нему съ утѣшеніемъ, а онъ мнѣ на это: пошелъ вонъ! Иду это и вижу: на улицѣ мальчишки играютъ. И только, значить, завидѣли меня, какъ всѣ разомъ закричали: „попъ! попъ! выпусти собаку!“ \*) Подошелъ я къ одному: — другъ мой! кто тебя научилъ? — „Новый учитель“, говоритъ. Къ другому: — тебя кто научилъ? — „Новый учитель“, говоритъ. — Нехорошо, говорю, дѣти! Когда я у васъ въ школѣ учителемъ былъ, то вы подобныхъ неистовыхъ словъ не говаривали!.. А новаго-то учителя, только за двѣ недѣли передъ тѣмъ, господинъ Парначевъ изъ губерніи вывезъ. Въ столь короткое время — и ужъ столь быстрые успѣхи ученики сдѣлали!

— Такъ вы прежде учителемъ въ школѣ были?

— Былъ-съ, и прошедшею осенью, по проискамъ господина Парначева, смѣненъ-съ.

— За чтѣ-жъ васъ смѣнили?

— А за то собственно и смѣнили, что, по словамъ господина Парна-

---

\*) Дѣтская крестьянская игра. Берутъ полевой цвѣтокъ и ждуть, пока изъ чашечки его выползетъ букашка; въ ожиданіи кричатъ: „попъ! попъ! выпусти собаку!“

чева, я крестьянскихъ мальчиковъ естеству вещей не обучалъ, а обучалъ якобы пустякамъ. У меня и засвидѣтельствованная копія съ ихъ доношенія земскому собранію, на всякій случай, взята. Коли угодно...

— Гм... да! возвратимся прежде къ вашему случаю. Изъ разсказа вашего я понялъ, что вы не совѣмъ осторожно слушали у дверей, и господину Парначеву это не понравилось. Въ чемъ же тутъ собственно злоумышленіе?

— Позволю себѣ спросить васъ: ежели бы теперича они не злоумышляли, зачѣмъ же имъ было бы опасаться, что ихъ подслушаютъ? Теперича, къ примѣру, если вы, или я, или господинъ капитанъ... сидимъ мы, значить, разговариваемъ... И какъ у насъ злыхъ помышленій нѣтъ, то неужели мы станемъ опасаться, что насъ подслушаютъ? Да милости просимъ! Сердце у насъ чистое, помысловъ нѣтъ — хоть до завтра слушайте!

— Да, но, съ точки зрѣнія общественной безопасности, этого факта, все-таки, недостаточно. Повторяю: изъ разсказа вашего я вижу только одно, что вы подслушивали...

— Не подслушивалъ, а какъ бы сказать — хотѣлъ достойныя примѣчанія вещи усмотрѣть.

— Ну, да, подслушивали. Вотъ это самое подслушиваніемъ и называется. Вѣдь вы же сами сейчасъ сказали, что даже не успѣли „попасть“, когда господинъ Парначевъ отворилъ дверь? Стало быть...

— А по моему мнѣнію это не только не къ оправданію, но даже къ отягченію ихъ участи должно послужить. Потому позвольте васъ спросить: зачѣмъ съ ихъ стороны поспѣшность такая вдругъ потребовалась? И зачѣмъ, кабы они ничего не опасались, имъ было на цыпочкахъ идти? Не явствуется ли...

— А я полагаю, что это затѣмъ было сдѣлано, чтобъ вы впередъ подслушивали умѣючи. А вы вотъ подслушиваете, да ничего не слышите!

— Извините меня! Довольно неистовыхъ словъ слышалъ: свобода, эмансипація, протолеріатъ!.. И опять-таки случай съ ребяташками... не достаточно ли изъ онаго явствуется...

— Слушайте-ка! вѣдь, вы сами отлично знаете, что это дѣтская игра?

— Но почему же они предприняли именно ее, а не другую какую игру, и предприняли именно въ такой моментъ, когда меня завидѣли? Позвольте спросить-съ!

— Объ этомъ вы бы у нихъ спросили!

— Стало быть, по мнѣнію вашему, все это — дѣло возможное и ненаказуемое? Стало быть, и аттестація, что я дѣтей естеству вещей не обучалъ — и это дѣло допустимое?

— Ежели вы находили эту аттестацію для себя обидною, то вамъ слѣдовало ее той инстанціи обжаловать, отъ которой зависитъ опредѣленіе сельскихъ учителей.

— Позвольте мнѣ сказать! Имѣю ли же я, наконецъ, основаніе законныя свои права отыскивать, или долженъ молчать? Я вашему высокородію объясняю, а вы мнѣ изволите на какую-то инстанцію указывать! Я вамъ объясняю, а не инстанціи-съ! Вѣдь они всего меня лишили: сперва учительскаго званія, а теперъ, можно сказать, и собственнаго моего званія...



— Ну, это что-то ужъ мудрено!

— Напротивъ того, даже очень легко-сь. Позвольте мнѣ объяснить. Послѣ того случая, о которомъ я имѣлъ честь вамъ сообщить, поселилась между нами замѣтная холодность, а съ ихней стороны, можно сказать, даже ненависть. Я доношеніе — и они доношеніе; я въ губернію — и они въ губернію. Чтѣ они тамъ говорили, какія оправданія противъ моихъ доношеній принесли — этого я не знаю. Знаю только, что наряжено было надо мною слѣдствіе, якобы надъ безпокойнымъ и ябедникомъ, а двѣ недѣли тому назадъ пришло и запрещеніе. И выходить теперь, что я запрещенный попъ-сь! Ужели и этого въ глазахъ начальства еще не достаточно?

Сказавъ послѣднія слова, отецъ Арсеній даже измѣнилъ своей сдержанности. Онъ всталъ со стула и обѣ руки простеръ впередъ, какъ бы взывая къ отмщенію. Мы все смолкли. Колотовъ пощипывалъ бородку и барабанилъ по столу; Терпибѣдовъ угрюмо сосалъ чубукъ; я тоже чувствовалъ, что любопытство мое удовлетворено вполне, и что не мѣшало бы куда-нибудь улизнуть. Наконецъ капитанъ первый нарушилъ тишину.

— Стало быть, теперича нужно дневного разбоя... тогда только начальство вниманіе обратитъ? — сказалъ онъ, не обращаясь ни къ кому въ особенности.

— Да, чего-нибудь въ этомъ родѣ, — пошутилъ Колотовъ.

— Чтобы васъ, значить, грабить начали?

— Да, вообще... протолеріать бы какой-нибудь произвели.

Я невольно усмѣхнулся.

— Смѣется... писатель! Смѣйтесь, батюшка, смѣйтесь! И такъ намъ никуда несутъ показать нельзя! Намеднисъ выхожу я въ свой палисадникъ — смотрю, а на клумбахъ цѣлое стадо Васюткиныхъ гусей пасется. Ну, я его честь честию: позвалъ-сь, показалъ-сь. — Смотри, говорю, мерзавецъ! любуйся! вѣдь по настоящему въ острогѣ сгноить за это тебя мало! И что жъ бы вы думали онъ мнѣ на это отвѣтилъ? „Отъ мерзавца слышу-сь!“ Это Васютка-то такъ поговариваетъ! ась? отъ кого, позвольте узнать, идеи-то эти къ нимъ попали?

— Вы бы у Васютки и спросили: кто, молъ, тебя выучилъ на „мерзавца“ „мерзавцемъ“ отвѣчать?

— Стало быть, господину Парначеву такъ-таки ничего и не будетъ?

— Не знаю; до сихъ поръ ничего замѣчательнаго не вижу... Понялъ я изъ вашихъ словъ одно: что господинъ Парначевъ пропагандируетъ своевременную уплату недоимокъ — такъ вѣдь это не возбраняется!

— Не понравился, батя! не понравился нашъ осѣтрикъ господину молодому исправнику! Что-жъ, и прекрасно! Очень даже это хорошо-сь! Пускай Васютки мерзавцами насъ зовутъ! пускай своихъ гусей въ нашихъ палисадникахъ пасутъ! Теперь я знаю-сь. Уждѣ, какъ домой приѣду — сейчасъ двери настѣжъ, и всѣхъ хамовъ созову. Пасите, скажу, подлещи! хоть въ залѣ у меня гусей пасите! Жгите, рубите, рвите! Исправникъ, скажу, разрѣшилъ!

— Гм... Это недурно! только вѣдь вы, пожалуй, не скажете, капитанъ?

— Ну, вотъ вамъ крестъ! провалиться мнѣ на семь мѣстѣ, ежели не скажу!

— Скажите, скажите! я не обижусь. Ну-съ, конференція, стало быть, кончена; о господинѣ Парначевѣ вы никакихъ больше свѣдѣній сообщить не имѣете?

— По замѣчанію моему, хозяинъ здѣшній словно бы изъяслялъ готовность свидѣлствовать! — отозвался отецъ Арсеній: — впрочемъ думаю, что врядъ ли его свидѣтельство во вниманіе примется.

— Нѣтъ, отчего-жъ! пускай свидѣлствуетъ! Только я долженъ васъ предупредить, что мнѣ извѣстны нѣкоторые эпизоды изъ жизни здѣшняго хозяина...

— Эпизодовъ, ваше высокоблагородіе, въ жизни каждого человѣка довольно бываетъ-съ! а у другого, можетъ быть, и больше ихъ... Говорить только не хочется, а ежели бы, значить, біографію каждого изъ здѣшнихъ помѣщиковъ начертать — не многимъ бы по вкусу пришлось!

— Какіе же это эпизоды про здѣшняго хозяина? — полюбопытствовалъ я у отца Арсенія.

— Пустое дѣло-съ. Молва одна. Сказываютъ-это, будто онъ у здѣшняго купца Мосягина жену соблазнилъ и вмѣстѣ, будто бы, они въ ту пору дурманомъ его опоили и капиталомъ его завладѣли... Судбище у нихъ тутъ большое по этому случаю было, съ полгода мѣста продолжалось.

— Мосягинъ? Это не яичникъ-ли? — вспомнилось мнѣ.

— Олѣ самый-съ. Яйца по окрестности скупалъ и въ Петербургъ отправлялъ.

— Живъ оятъ?

— И по сейчасъ здѣсь живетъ. И прелюбодѣйственная жена съ нимъ. Только не при капиталахъ находятся, а кое-чѣмъ пропитываются. А Пантелей Егорычъ, между прочаго, свое собственное заведеніе открылъ.

— И какое еще заведеніе-то! Въ Москвѣ не стыдно! за одну машину восемьсотъ заплатилъ! — вставилъ Терпибѣдовъ.

— Мужикъ умный. А въ настоящее время даже и христіанинъ-съ.

— Ну, батя! что христіанинъ-то онъ — это еще бабушка на-двое сказала! Умница — это такъ! Изъ шельмовъ шельма — это я и при немъ скажу! — откомендовалъ Терпибѣдовъ.

— Позвольте, батюшка! — вновь началъ я: — вотъ вы сейчасъ сказали, что Мосягинъ и теперь здѣсь живетъ? Чтò-жъ онъ такъ-таки просто и живетъ?

— А чтò же ему больше и дѣлать, сударь?

— Да вѣдь вы говорите, что Пантелей Егоровъ жену у него соблазнилъ, капиталъ отнял...

— То-есть, какъ бы вамъ сказать! Кто говоритъ: отнял, а кто говоритъ: Мосягинъ самъ оплошалъ. Прогорѣлъ, значить. А главная причина, Пантелей Егоровъ теперича очень большое засиліе взялъ — ну, Мосягину противъ его вѣры и нѣту.

— Тѣмъ, стало быть, и кончено?

— По здѣшнему мѣсту эти концы очень часто, сударь, бываютъ.



Смотришь-это на человѣка: ростеть, кажется... ну, такъ ростеть! такъ ростеть! Шире да выше, краше да лучше, и конца краю, по видимостямъ, деньгамъ у него нѣтъ. И вдругъ-это — прогорить. Словно даже свѣчка въ одну минуту истаетъ. Либо самъ запыетъ, либо жена сбѣсится... разумѣется, больше отъ собственной глупости. И пойдетъ это книзу да книзу, уже да хуже...

— И дѣльно! потому — дуракъ! Учить дураковъ надо! — выпалилъ Терпибѣдовъ.

— По здѣшнему мѣсту насчетъ дураковъ даже очень строго. Въ родѣ какъ даже имѣніемъ своимъ владѣть недостойными почитаются... Сейчасъ-это или самъ отъ своей глупости прогорить, или унести у него кто-нибудь...

— Дуракъ—это по здѣшнему значить: выморочный человѣкъ,—пояснилъ Колотовъ.

— Такъ прикажете позвать Пантелея Егорыча?

— Позовите! позовите! пускай свидѣтельствуетъ!

На окликъ Терпибѣдова вошелъ человѣкъ, составлявшій совершенную противоположность съ запрещеннымъ попомъ. Насколько отецъ Арсеній былъ солиденъ и сдержанъ въ своихъ движеніяхъ, настолько же Пантелей Егоровъ былъ юрокъ и быстръ. Несмотря на нѣсколько лѣтъ благополучнаго хозяйничанья, онъ все еще рѣзко напоминалъ собой бойкаго полового, хотя, впрочемъ, уже свысока относился къ этой незавидной должности и изо всѣхъ силъ старался подражать „настоящимъ хозяевамъ“. Это былъ малый лѣтъ тридцати, съ круглымъ, чистымъ и румянымъ лицомъ, курчавою головою, небольшою свѣтлорусою бородкой и маленькими, беспокойно высматривающими глазками. Одѣтъ онъ былъ въ полу-русскій, полу-нѣмецкій костюмъ, состоявшій изъ двубортнаго застегнутаго сюртука, жилета и брюкъ, запущенныхъ въ длинные, до колѣнъ, сапоги. Вся фигура его была въ непрестанномъ движеніи: голова поминутно встряхивалась, глаза бѣгали, ноздри раздувались, плечи вздрагивали, руки то закидывались за спину, то закладывались за борты сюртука. Да и самъ онъ безпрестанно то садился на стулъ, то опрометью вскакивалъ съ него, какъ бы вѣлѣдствіе давленія какой-то скрытой пружины. Вообще съ перваго же взгляда можно было заключить, что это человѣкъ, устраивающій свою карьеру и считающій себя еще далеко не въ концѣ ея, хотя, съ другой стороны, замѣтное развитіе брюшной полости уже свидѣтельствовало о рождающейся наклонности къ сибаритству. Какъ видно, онъ ожидалъ, что его позовутъ на вышку, потому что слѣдомъ за нимъ въ нашу комнату вошло двое половыхъ съ подносами, изъ которыхъ на одномъ стояли графинъ съ водкой, а на другомъ—тарелки съ закуской.

— Для перваго знакомства, позвольте просить! Ваше высокородіе! — обратился онъ къ Колотову, указывая рукой на подносы.

— Благодарю васъ, я потомъ обѣдать спрошу. Вотъ капитанъ, вѣроятно, не откажется. Садитесь пожалуйста.

— Постоимъ-съ.

Онъ дѣйствительно минуты двѣ постоялъ, потомъ какъ-то бокомъ придвинулъ стулъ и бокомъ же сѣлъ на него. Но вслѣдъ затѣмъ опять вскочилъ, словно его обожгло. Терпибѣдовъ и отецъ Арсеній тыкали между тѣмъ вилками въ кусочки колбасы и икры и проглатывали рюмку за рюмкой.

— Вы знаете господина Парначева?—спросилъ Колотовъ хозяина.

Пантелей Егоровъ вдругъ встрепенулся.

— Позвольте вамъ доложить!—зачастилъ онъ, становясь на вытяжку, словно у допроса, и складывая назади руки.—Не токма что знаемъ, а даже очень хорошо, можно сказать, понимаемъ ихъ!

— Чтò же вы понимаете?

— А такъ мы ихъ понимаемъ, какъ есть они по всей здѣшней округѣ самый вредный господинъ-сѣ. Теперича, ежели взять ихъ, да еще господина Анпетова, такъ это именно можно сказать: два сапога—пара-сѣ!

— Это тотъ Анпетовъ, который самъ пашетъ?

— Они самые-сѣ. Позвольте вамъ доложить! скажемъ теперича хошь про себя-сѣ. Довольно я низкаго званія чловѣкъ, однако, при всемъ томъ, такъ себя понимаю, что, кажется, тыщъ бы не взялъ, чтобы, значить, на одной линіи сѣ мужикомъ идти! Помилуйте! одной, сѣ позволенія сказать, вѣдн... И Боже ты мой! Ну, а они—они ничего-сѣ! для нихъ это, значить, замѣсто какъ у благородныхъ господъ амбрѣ.

— Ну-сѣ, господинъ Анпетовъ пашетъ, а господинъ Парначевъ чтò дѣлаетъ?

— Они не пашутъ — это дѣйствительно-сѣ. Только, осмѣлюсь вамъ доложить, большая отъ нихъ смута промежду черняди идетъ-сѣ! Такая смута! такая смута! И ежели теперича, примѣрно, хоть между крестьянъ... или даже между господъ помѣщиковъ, которые изъ молодыхъ-сѣ... маленечко, значить, позамялось,—такъ это именно ихъ, господина Парначева, дѣло-сѣ!

— Чтò же собственно позамялось-то?

— Все-сѣ, ваше высокородіе! Словомъ сказать, все-сѣ. Хоша бы, на-примѣръ, артели, кассы... когда жъ это видано? Прежде всякій, ваше высокородіе, при своемъ дѣлѣ состоялъ-сѣ: господинъ на службѣ былъ, купецъ торговалъ, крестьянинъ, значить, на господина работалъ-сѣ... А нынче, можно сказать, сѣ этими кассами, да сѣ училищами, да сѣ артелями, вся чернядъ въ гору пошла!

— Но почему же вы думаете, что это отъ Парначева идетъ?

— Помилуйте! позвольте вамъ доложить! какъ же намъ-то не знать! Всей округѣ довольно извѣстно. Конечно, они себя берегутъ, и даже, какъ бы сказать, не всякому объ себѣ высказываютъ; однако и изъ прочіихъ ихъ поступковъ очень достаточно это видно.

— Вотъ это прекрасно, что вы объ поступкахъ упомянули. Можете назвать хоть одинъ?

— Помилуйте! даже очень могу-сѣ. Теперича, возьмемъ къ примѣру хошь такой случай. Пріѣзжаютъ они на дняхъ въ наше селеніе... насчетъ школы, значить. Собрали это сходъ, сами къ нему вышли и зачали сѣ стариками говорить: „Селеніе, говоритъ, у васъ обширное, кабаковъ нѣсть числа,



а школы нѣтъ. И какъ вы люди темные, то отъ этого самаго, значить, всѣ васъ обижаютъ. Купцы обесчипываютъ и обмѣриваютъ, чиновники—притѣсняютъ. И нигдѣ вы себѣ правъ не можете найти, потому, ежели даже въ судъ вы жаловаться пойдете, такъ и тамъ своего дѣла порядкомъ разсказать не можете. И все, будто бы, потому, что школы нѣтъ. А будетъ школа, и пойдетъ это, значить, вездѣ свѣтъ. Не вы, молъ, такъ дѣти у васъ ученые будутъ, и всякое себѣ удовлетвореніе сдѣлать будутъ въ состояніи. И никто ихъ не обидитъ, потому что у ученаго человѣка противъ всякой обиды средство есть!“ Хорошо-съ. Говорятъ-это они, а я между народомъ стою и слушаю-съ. И все мнѣ думается: что-то какъ будто они неловко говорятъ! Чиновники, молъ, обижаютъ, а вѣдь чиновники-то — слуги царскіе; какъ же, молъ, это такъ! Опять и это: всякій будто человѣкъ можетъ самъ себѣ удовлетвореніе сдѣлать — гдѣ же это видано! въ какихъ безсудныхъ земляхъ-съ! Ахъ! думаю, далеконокъ вы, Валеріанъ Павлычъ, камешкомъ-то забрасываете, да какъ бы самимъ потомъ вытаскивать его не пришлось! И сейчасъ же мнѣ, сударь, послѣ того мысль вошла. Покуда онъ съ ними разговаривалъ, а я бѣгомъ-бѣгомъ, да въ трактиръ: постой, думаю, устрою я тебѣ сюрпризъ! Пришелъ въ трактиръ-съ, всталъ за стойку, и жду, какъ они, наговорившись, придутъ чай пить. И дѣйствительно-съ, черезъ полчаса времени, какъ только они на крыльцо, а я сейчасъ, значить, къ машинѣ: *Комъ славенъ...* это значить, въ Сіонъ-съ! И что жъ бы вы думали! хошь бы онъ бровью пошевелинулъ! Посѣтителі сидятъ, чай пьютъ, всѣ, можно сказать, въ умиленіи, а онъ, какъ вошелъ въ фуражкѣ, такъ и шмыгнулъ на верхъ-съ! Ну, и точно-съ! Посмотрѣлъ я тогда на нихъ, да только влѣдъ головой строгонько покачалъ. Даже многіе посѣтителі въ то время это замѣтили. И такъ это мнѣ обидно сдѣлалось, глядя на ихнее невѣжество, что, кажется, деньги эти самыя, которыя они мнѣ за чай потомъ заплатили... кажется, скорѣе за окно бы ихъ вышвырнулъ, не-чѣмъ такихъ посѣтителевъ у себя принимать!

— Ну, братъ, деньги-то ты за окно не бросишь, хоть бы онѣ отъ самага антихриста были!—по своему обыкновенію, сюрпризомъ вставилъ Терпибѣдовъ.

Отца Арсенія передернуло; Пантелей Егоровъ поблѣднѣлъ.

— Мелко вы, сударь, плаваете!—сказалъ онъ, блистая глазами на Терпибѣдова:—вотъ что скажу вамъ, Никифоръ Петровичъ!

— Позвольте! оставимъ, капитанъ, эпизоды!—вступился Колотовъ:—и будемъ заниматься предметомъ нашей конференціи. И такъ, вы говорите, что господинъ Парначевъ этимъ поступкомъ сильно васъ оскорбилъ?

— Такъ оскорбилъ! такъ оскорбилъ-съ, даже душа во мнѣ вся перевернулась! какъ передъ Истиннымъ-съ! Помилуйте! тутъ публика... чай кушаютъ... въ умиленіи-съ... а они въ фуражкѣ! Всѣ, можно сказать, такъ и ахнули!

— И вы полагаете, что со стороны господина Парначева тутъ былъ умыселъ?

— Позвольте вамъ доложить! какъ же возможно, чтобы безъ умысла! Тутъ, значить, публика... чай кушаютъ... въ умиленіи... а они въ фуражкѣ!

— Поймите меня, тутъ все дѣло въ томъ, былъ ли умыселъ, или нѣтъ? Беретесь ли вы доказать, что умыселъ былъ?

— Помилуйте! зачѣмъ же-съ? И какъ же возможно это доказать! Это дѣло душевное-съ! Я, значитъ, чтò видѣлъ, тò и докладываю! Видѣлъ, къ примѣру, что тутъ публика... въ умиленіи-съ... а они въ фуражкѣ!

— Зачѣмъ же вы тогда прямо не замѣтили господину Парначеву, что онъ поступаетъ оскорбительно для васъ и вашихъ гостей! Можетъ быть, дѣло-то и разъяснилось бы?

— Кажется, такихъ правилъ нѣтъ, чтобы мужикамъ господъ учить! Они здѣсь всѣхъ учать, а не то чтобы что-съ!

— Однако, ежели теперь господину Парначеву сообщить ваше показаніе, такъ вѣдь онъ пожалуй и въ амбіцію вломиться можетъ!

— Сдѣлайте ваше одолженіе! зачѣмъ же имъ сообщать! И безъ того они ко мнѣ ненависть питаютъ! Такую, можно сказать, мораль на меня пускаютъ: и закладчикъ-то я, и монетчикъ-то я! Даже на каторгѣ словно мнѣ мѣста нѣтъ! Два раза дѣло мое съ господиномъ Мосягинымъ поднимали! Прошлой зимой, въ самое, то-есть, бойкое время—рекрутскій наборъ былъ—а у меня, по ихъ проискамъ, два питейныхъ заведенія прикрыли! Бунтуютъ противъ меня—и кончено дѣло! Стало быть, ежели теперича имъ еще сказать—чтò же такое будетъ!

— Вотъ видите! вы дѣла завязываете, а на очную ставку стать не хотите!

— Зачѣмъ-же-съ! я, ваше высокородіе, по простотѣ-съ! Думалъ это, значитъ, что ихъ только на замѣчаніе возьмутъ—тѣмъ, молъ, дѣло и кончится!

— А вы полагаете, что взять человѣка на замѣчаніе—это ничего?

Пантелей Егоровъ вдругъ смолкъ. Онъ нервно сѣменилъ ногами на одномъ мѣстѣ и бросалъ тревожные взгляды на отца Арсенія. Но запрещенный попъ стоялъ въ сторонѣ и тыкалъ вилкой въ пустую тарелку. На минуту въ комнатѣ воцарилось глубокое молчаніе.

— Стало быть, господину Парначеву, такъ-таки, ничего и не будетъ!!—вдругъ, словно громомъ, раскатился Терпибѣдовъ.

### III. — Переписка.

„Любезная маменька!

„Мѣсяцъ тому назадъ я увѣдомлялъ васъ, что получилъ мѣсто товарища прокурора при здѣшнемъ окружномъ судѣ. Съ тѣхъ поръ я произнесъ уже восемь обвинительныхъ рѣчей, и вотъ результатъ моей дѣятельности: два приговора *безъ смягчающихъ вину обстоятельствъ*; шесть приговоровъ, по которымъ содѣянное преступленіе признано подлежащимъ наказанію, но съ допущеніемъ смягчающихъ обстоятельствъ; оправданій—ни одного. Можете себѣ представить, въ какомъ я восторгѣ!!



„Начальство замѣтило меня; между обвиняемыми мое имя начинаетъ вселять спасительный страхъ. Я не смѣю еще утверждать рѣшительно, что послѣдствіемъ моей дѣятельности будетъ непосредственное и быстрое уменьшеніе проявленій преступной воли (а какъ бы это было хорошо, милая маменька!), но, кажется, не ошибусь, если скажу, что года черезъ два-три я буду призванъ къ болѣе высокому жребію.

„Двадцати-шести, двадцати-семи лѣтъ я буду прокуроромъ—это почти вѣрно. Я имѣю полное основаніе рассчитывать на такое повышеніе, потому что если уже теперь начальство безъ содроганія поручаетъ мнѣ защиту государственнаго союза отъ угрожающихъ ему опасностей, то ясно, что въ будущемъ меня ожидаютъ очень и очень серьезныя служебныя перспективы.

„Принявъ во вниманіе все вышеизложенное, а равнымъ образомъ имѣя въ виду, что казенное содержаніе, сопряженное съ званіемъ сенатора кассационныхъ департаментовъ, есть одинъ изъ прекраснѣйшихъ удѣловъ, на которые можетъ претендовать смертный въ сей земной юдоли, я бодро гляжу въ глаза будущему! Я не ропщу даже на то, что нѣкоторые изъ моихъ товарищей по школѣ, сдѣлавшись адвокатами, держатъ своихъ собственныхъ лошадей, а нѣкоторые, сверхъ того, имѣютъ и клеперовъ!

„Всѣмъ этимъ я обязанъ вамъ, милая маменька, или, лучше сказать, той безграничной проникающей материнской любви, которая сразу умѣла угадать мое настоящее назначеніе. Вы удержали меня на краю пропасти въ ту минуту, когда душа моя, по неопытности и легкомыслію, уже готова была устремиться въ зіяющія бездны адвокатуры!

— Другъ мой!—сказали вы мнѣ:—въ Россіи безъ казенной службы прожить нельзя; непременно что-нибудь такое сдѣлаешь, что вдругъ очутишься сосланнымъ въ Сибирь, въ мѣста не столь отдаленныя!—Святая истина!

„Теперь, покуда пора увлеченія еще не прошла, адвокаты спѣшатъ пользоваться дарами жизни. Они имѣютъ лучшіе экипажи, пользуются лучшими кокетками, пьютъ лучшія вина! Но тѣмъ печальнѣе будетъ часъ пробужденія... особливо для тѣхъ, которыхъ онъ настигнетъ въ не столь отдаленныхъ мѣстахъ Сибири!

„Я рожденъ прокуроромъ, милая маменька! Обвиненіе, такъ сказать, гнѣздится въ крови моей!

„Однажды содѣянное преступленіе находитъ во мнѣ мстителя безпощаднаго, неумолимаго и неутомимаго! Ибо что такое преступленіе, милая маменька?

„Съ одной стороны, преступленіе есть осуществленіе, или, лучше сказать, проявленіе злой человѣческой воли. Съ другой стороны, злая воля есть тотъ всемогущій рычагъ, который до тѣхъ поръ двигаетъ человѣкомъ, покуда не заставитъ его совершить что-либо въ ущербъ высшей идеѣ правды и справедливости, положенной въ основаніе пятнадцати томовъ свода законовъ Россійской Имперіи.

„Таково, милая маменька, преступленіе!

„Но ежели правда и справедливость нарушены, то можетъ ли законъ равнодушно взглянуть на фактъ этого нарушенія? Не вправѣ ли онъ потребовать, чтобы нарушенное было восстановлено быстро, немедленно, по горя-

чимъ слѣдамъ? чтобы преступленіе, пристигнутое, разоблаченное отъ всѣхъ покрововъ, явилось передъ лицомъ юстиціи въ приличной ему наготѣ и притомъ снабженное неизгладимымъ клеймомъ позора на мрачномъ челѣ?

„Отсюда: необходимость наказанія.

„Наказаніе, милая маменька, не есть что-либо самостоятельное. Это не что иное, какъ естественное и неизбѣжное послѣдствіе самого преступленія — и ничего болѣе.

„Кто мыслить „преступленіе“, тотъ въ то же время неизбѣжно, такъ сказать, фаталистически, мыслить и „наказаніе“!

„Таковъ неумолимый законъ логики!

„Не потому долженъ быть наказанъ преступникъ, что этого требуетъ безопасность общества или величіе закона, но потому, что объ этомъ вопіетъ сама злая воля, служащая источникомъ содѣяннаго преступленія. Она сама настаиваетъ на необходимости наказанія, ибо въ противномъ случаѣ она не совершила бы *всего* естественнаго круга, который обязывается совершить!

„Преступленіе, оставленное безъ наказанія — это недоговоренное слово, это недоконченная мысль, это недоносокъ, который осужденъ умереть при самомъ рожденіи!

„Предположеніе это такъ нелѣпо и, можно сказать, даже чудовищно, что ни одинъ адвокатъ никогда не осмѣлится остановиться на идеѣ ненаказуемости, и всѣ такъ-называемыя оправдательныя рѣчи суть не что иное, какъ болѣе или менѣе унизительныя варьяціи на тему: „не пойманъ — не воръ“!

„На комъ же — спросите вы — лежитъ обязанность возстановлять нарушенную правду?

„Священная эта обязанность лежитъ, во-первыхъ, на самомъ законѣ, а во-вторыхъ — на судѣ, который однакожъ безсильнъ, если не подвигнуть къ тому инициативой прокурора.

„Прокуроръ — это излюбленный человѣкъ закона, это око его, это преданнѣйшій и, такъ сказать, всегда стоящій на стражѣ исполнитель его вѣдѣній.

„Прокуроръ!!

„Онъ ни на минуту не покидаетъ величественнаго храма правосудія, онъ неустанно бодрствуетъ и неустанно же совершаетъ возліанія! Это его долгъ, милая маменька, это провиденціальное его назначеніе. Безъ этого — прокуроръ немислимъ!!

„Онъ заколаетъ законопреступную волю человѣческую и, очистивъ ее при посредствѣ наказанія, приносить въ жертву вѣчной идеѣ правды и справедливости!

„И рядомъ съ этимъ поразительнымъ зрѣлищемъ вы видите жалкую, безсильную страпню адвоката, который надѣется, что подъ дѣйствіемъ его тлетворнаго дыханія самое солнце правды утратитъ свою лучезарность!

„Не безумная ли это надежда, милая маменька?

„Засимъ, испрашивая вашего благословенія и цѣлуя ваши ручки, остаюсь неизмѣнно любящій васъ сынъ —

„Николай Батигцевъ“.



„Р. S. Помните ли вы Ерошеева, милая маменька? того самого Ерошеева, который къ намъ по праздникамъ изъ школы хаживалъ? Теперь онъ адвокатъ, и представьте себѣ, какую штуку удралъ!—взялъ да и объявилъ себя специалистомъ по части скопцовъ! До тѣхъ поръ у него совсѣмъ дѣлъ не было, а теперь отъ скопцовъ отбою нѣтъ! На дняхъ выигралъ одно дѣло и получилъ сорокъ тысячъ. Сорокъ тысячъ, милая маменька!! А вѣдь онъ даже не очень умный!“

„Милый дружокъ Николенка.

„Живя нѣсколько лѣтъ безвыѣздно въ деревнѣ, я такъ отъ нынѣшнихъ порядковъ отстала, что, признаюсь, не совсѣмъ даже поняла, какая-такая это должность, въ которой все обвинять нужно. Да, спасибо, братецъ Григорій Николаичъ растолковалъ. Въ нынѣшнее время—сказалъ онъ—во всѣхъ образованныхъ государствахъ судопроизводство устроено на манеръ извѣстныхъ *pièces à tiroir* (помню я эти пьесы, мой другъ; еще будучи въ институтѣ, въ „*La fille de Dominique*“ игрывала). Выдвинь одинъ ящикъ—обвиненіе; выдвинь другой ящикъ—оправданіе. А потомъ: *du choc des opinions jaillit la vérité*—точь-въ-точь, какъ въ „*La fille de Dominique*“, гдѣ, сколько я ни переодѣвалась, а въ концѣ пьесы, все-таки, объяснилось, что я—дочь Доминика, и больше ничего. Не знаю, такъ ли объяснилъ братецъ (онъ у насъ привыкъ обо всемъ въ проницескомъ смыслѣ говорить, за что и по службѣ успѣха не имѣлъ), но ежели такъ, то, по моему, это очень хорошо.

„Зная твое доброе сердце, я очень понимаю, какъ тягостно для тебя должно быть всѣхъ обвинять; но если начальство твое желаетъ этого, то что же дѣлать, мой другъ!—обвиняй! Неси сей крестъ съ смиреніемъ и утѣшай себя тѣмъ, что въ мірѣ не однѣ радости, но и горести! И кто же изъ насъ можетъ сказать навѣрное, что для души нашей полезнѣе: первыя или послѣднія! Я по крайней мѣрѣ еще въ институтѣ была на сей счетъ въ недоумѣніи, да и теперь въ ономъ же нахожусь.

„Благородныя твои чувства, въ письмѣ выраженные, очень меня утѣшили, а сестрица Аня даже прослезилась, читая философическія твои размышленія насчетъ человѣческой закоренѣлости. Сохрани этотъ пламень, мой другъ! сохрани его навсегда. Это единственная наша отрада въ жизни, гдѣ, какъ тебѣ извѣстно, всѣ мы странники, и ни одинъ волосъ съ головы нашей не упадетъ безъ воли Того, Который заранѣе все знаетъ и опредѣляетъ!

„Я никогда не была озабочена насчетъ твоего будущаго: я знаю, что ты у меня умница. Поэтому меня не только не удивило, но даже обрадовало, что ты такую твердую и вѣрную рукой съумѣлъ начертить себѣ цѣль для предстоящихъ стремленій. Сохрани эту твердость, мой другъ! сохрани ее навсегда! Ибо жизнь безъ сего свѣточа все равно, что утлая ладья безъ кормила и весла, несомая въ бурную ночь по волнамъ океана *au gré des vents*.

„Ты пишешь, что стараешься любить своихъ начальниковъ и дѣлать имъ угодное. Судя по воспитанію, тобою полученному, я иного и не ожидала отъ тебя. Но знаешь ли, другъ мой, почему начальники такъ дороги твоему сердцу и почему *мы все, tous tant que nous sommes*, обязаны любить данное намъ отъ Бога начальство? Прошу тебя, выслушай меня.

„Мы должны любить его, во-первыхъ, потому, что начальство есть, прежде всего, другъ человѣчества, или, какъ у насъ въ институтѣ, въ одномъ водевилѣ, пѣли:

Il voit tout,  
Il sait tout,  
Et il fourre son nez partout!

„А во-вторыхъ потому, что оно награждаетъ любящихъ его и наказуетъ противящихся ему.

„Подумай объ этомъ, другъ мой, и сообразно съ симъ располагай своимъ поведеніемъ!

„Поэтому, ежели начальство приказываетъ тебѣ обвинять, то, значить, что это такъ слѣдуетъ. Когда же наступитъ время оправдывать, то, конечно, оно же безъ труда прикажетъ тебѣ и оправдывать.

„При старости лѣтъ моихъ, я ко многому въ жизни сдѣлалась равнодушна, но по временамъ и я не могу не содрогнуться! Много, — ахъ, слишкомъ много злодѣяній скрывается въ нѣдрахъ міра сего, особливо же съ тѣхъ поръ, какъ всѣмъ сказана воля. Нигдѣ ужъ нѣтъ ни почтенія, ни преданности, а о потрахъ и о прочемъ — и говорить нечего. Посему теперь именно такое время настало, когда не оправдывать, а обвинять надлежитъ, дабы хотя этимъ постигнувъ насъ волю нѣсколько остепенить. Даже братецъ Григорій Николаичъ, который, какъ ты знаешь, самъ этой воли желалъ, доколѣ она не пришла — и тотъ теперь смирился и говоритъ: „*je crois, que le knout ferait bien mieux leurs affaires!*“ Я же, съ своей стороны, прибавляю: *et les nôtres!* Вотъ какъ Богъ-то ведетъ человѣка неисповѣдимымъ путемъ своимъ! Былъ нашъ Григорій Николаичъ волтерьянецъ, и Лафайетъ съ языка у него не сходилъ, а теперь лежитъ разбитый параличомъ да „все упованіе мое на Тя возлагаю“ шепчетъ!

„Да, другъ мой, неисповѣдимы пути Божіи! Сколько прежде насъ съ сестрицей Анютой огорчалъ братецъ, столько же теперь утѣшаетъ и радуется. Ты знаешь, какой у него необузданный умъ былъ, а теперь, какъ мужиковъ отняли, такимъ христіаниномъ сдѣлался, что дай Богъ всякому. Намедни даже удивилъ насъ. Читаемъ мы вечеромъ „житіе“, только онъ вдругъ на одномъ мѣстѣ остановилъ насъ: „Сестрицы! говоритъ: если я, по старой привычкѣ, скопунствую, такъ вы меня, Христа ради, простите!“ И скопунствовалъ-таки, не удержался. Ну, да ужъ Богъ съ нимъ! Хорошо и то, что хоть какіе-нибудь признаки смиренія въ немъ показались!

„Знаешь ли что, другъ мой! Я думаю, что это у него такая болѣзнь! Представь себѣ, сидитъ онъ намеренъ въ своемъ большомъ креслѣ и четки перебираетъ... ну, совсѣмъ, въ полномъ видѣ христіанинъ! И вдругъ — что жъ слышимъ! „А что, говоритъ, не объясните ли вы мнѣ, сестрицы, чего во мнѣ больше: малодушія или малоумія?“ Мы смотримъ на него во все глаза, думаемъ,



не пароксизмъ ли съ нимъ. „Да поймите же вы меня, говоритъ: вѣдь я доподлинно знаю, что ничего этого нѣтъ, а между тѣмъ вотъ сижу съ вами и четки перебираю!“ Такъ это насъ съ сестрицей оффраппировало, что мы сейчасъ же за отцомъ Оедоромъ гонца послали. И что жъ!—все какъ рукой сняло! Такой опять христіанинъ едѣлся! такой христіанинъ! Ни рукой, ни ногой не шевельнетъ, только головой качаетъ!

„Какой это урокъ для всѣхъ насъ, другъ мой!

„Затѣмъ, благословляя тебя на новомъ поприщѣ, сердечный другъ мой, и желая тебѣ блестящихъ успѣховъ на ономъ, остаюсь любящая тебя мать—

„*Надежда Батищева*“.

„P. S. А что ты насчетъ адвоката Ероеева, пишешь, будто бы со скопца сорокъ тысячъ получилъ, то не завидуй ему. Сорокъ тысячъ тогда полезны, если на оныя хорошій процентъ получать; Ероеевъ же навѣрное сего направленія своимъ деньгамъ не дастъ, а либо по портнымъ да на галстухи оныя разсорить, либо въ кондитерской на пирожкахъ проѣсть. Еще смолоду онъ эту склонность имѣлъ и никогда утѣшеніемъ для своихъ родителей не былъ“.

„Любезная маменька.

„Спѣшу сообщить вамъ объ одномъ весьма важномъ успѣхѣ, полученномъ мною, — успѣхѣ, который вѣроятно послужитъ къ окончательному обезпеченію моего будущаго.

„Третьяго-дня меня призвалъ мой генераль и сказалъ мнѣ:

„— На дняхъ здѣсь напали на слѣдъ цѣлаго скопища злоумышленниковъ...

„Я поклонился.

„— Слѣдствіе по этому дѣлу уже начато. Производить его люди, извѣстные своею дѣятельностью и ловкостью, но я долженъ сознаться, что до сихъ поръ никакого существеннаго результата не достигнуто.

„Я поклонился вновь.

„— Я пришелъ къ тому убѣжденію, что недостаточность результатовъ происходитъ оттого, что тутъ употребляются совсѣмъ не тѣ приемы. Я не знаю, что именно нужно, но безсиліе старыхъ, традиціонныхъ уловокъ для меня очевидно. Онѣ безъ пользы ожесточаютъ злоумышленниковъ, между тѣмъ какъ нужно, чтобы дѣло само собой, такъ сказать, скользя по своей естественной покатоности, пришло къ неминуемому концу. Вотъ мой взглядъ. Вы, мой другъ, человѣкъ новый и современный — вы должны понять меня. Поэтому я рѣшился поручить это дѣло вамъ.

„Съ начальниками нужно быть очень сдержаннымъ, милая маменька. Никогда не слѣдуетъ забѣгать имъ впередъ, потому что это можетъ показаться навязчивостью. Только въ крайнемъ случаѣ, когда уже вполне несомнѣнно, что начальникъ находится въ затрудненіи насчетъ предмета предстоящей бесѣды, можно помочь ему, бросивъ вскользь какую-нибудь мысль. Но и тутъ слѣдуетъ устроить такъ, чтобы генераль ни на минуту не усо-

мнилъ, что эта мысль его собственная. Вотъ почему я ни слова не отвѣчалъ на обращенную ко мнѣ рѣчь генерала и только новымъ безмолвнымъ поклономъ засвидѣтельствовалъ о моей твердой готовности слѣдовать начальственнымъ предписаніямъ.

— Дѣло въ томъ, — продолжалъ генералъ, — что нѣсколько злоумышленниковъ образовали изъ себя „Общество для предвкушенія гармоній будущаго“. По „уставу“ общества — онъ находится въ нашихъ рукахъ — цѣль его заключается „въ непрерывномъ созерцаніи гармоній будущаго и въ терпѣливомъ перенесеніи бѣдствій настоящаго“. Вы понимаете однако, что это только хазовая, такъ сказать, официальная цѣль общества, и несомнѣнно, что у него должны быть другія, болѣе опасныя цѣли, которыя оно, разумѣется, сочло нужнымъ скрыть. Но этихъ-то цѣлей мы именно и не знаемъ.

„Высказавъ это, генералъ остановился, какъ бы приглашая меня къ дальнѣйшимъ развитіямъ.

„ — Осмѣлюсь повергнуть на усмотрѣніе вашего превосходительства только одинъ почтительнѣйшій вопросъ, — началъ я: — если найденъ „уставъ“ общества, то, можетъ быть, имѣется въ виду и списокъ членовъ его?

„ — Да, списокъ есть! найдена бумажка, на которой карандашомъ написано пятнадцать фамилій, и, что всего прискорбнѣе, въ числѣ участниковъ общества значится одинъ уланскій офицеръ.

„ — Напротивъ того, смѣю думать, что это признакъ очень хорошій, ваше превосходительство. Участіе уланскаго офицера, если позволено такъ выразиться, открываетъ передъ нами цѣлый міръ интригъ. Чтобы настичъ этого человѣка, превратныя толкованія должны были слишкомъ самоувѣренно и слишкомъ далеко распространять свои корни и нити. Не будь уланскаго офицера, мы могли бы еще колебаться насчетъ важности злоумышленія: теперь — мы имѣемъ право провидѣть уже цѣлую организацію! Уланскій офицеръ — это ключъ; уланскій офицеръ — это все! Я спрашиваю себя: зачѣмъ нуженъ уланскій офицеръ? — и смѣло отвѣчаю: онъ нуженъ въ качествѣ эксперта по военной части! Я не смѣю утверждать, но мнѣ кажется... и если вашему превосходительству угодно будетъ выслушать меня...

„ — Говорите, мой другъ!

„ — Я положительно убѣжденъ, что найденный списокъ съ пятнадцатью фамиліями представляетъ собой силы далеко не всего общества, а лишь одного изъ отдѣловъ его!

„Голосъ, которымъ я высказалъ это убѣжденіе, звучалъ такою искренностью, что генералъ былъ видимо пораженъ.

„ — Такова была и моя первоначальная мысль, — сказалъ онъ: — но что прикажете дѣлать! Эти старые рутинеры... они никогда не видятъ дальше своего носа!

„ — И сверхъ того я убѣжденъ, что съ помощью этого ничтожнаго клочка бумаги, которому, повидимому, придается такое узкое значеніе, можно, при нѣкоторой ловкости, дойти до поразительнѣйшихъ развѣтвленій и заключеній! — продолжалъ я, увлекаясь больше и больше, и даже незамѣтно для самого себя переходя въ запальчивость.

„Но запальчивость эта не только не оскорбила генерала, но, напротивъ



того, понравилась, ему. На губахъ его скользнула ангельская улыбка. Это до такой степени тронуло меня, что и на моихъ глазахъ показались слезы. Клянусь однакожъ, что тутъ не было лицемѣрія съ моей стороны, а лишь только счастливое стеченіе обстоятельствъ!

„ — И такъ, молодой человѣкъ, въ походъ?! — весело сказалъ онъ, голосомъ и взоромъ ободряя меня.

„ — Всѣ силы... вся кровь... ваше превосходительство... — говорилъ я прерывающимся голосомъ.

„ — Вѣрю!

„ — Я не имѣю словъ, ваше превосходительство, но если позволено такъ выразиться...

„ — Успокойтесь, великодушный молодой человѣкъ! Увы! Мы не имѣемъ права даже быть чувствительными! И такъ, въ походъ! Но прежде, чѣмъ приступить къ дѣлу, скажите, не имѣете ли вы сообщить мнѣ что-нибудь насчетъ плана вашихъ дѣйствій?

„ — На первый разъ позвольте мнѣ просить васъ объ одной милости, ваше превосходительство!

„ — Говорите, мой другъ!

„ — Позвольте мнѣ называть этихъ людей не злоумышленниками, а заблуждающимися!

„ Генеральъ взглянулъ на меня изумленными глазами, но черезъ минуту я убѣдился, что онъ понялъ мою мысль.

„ — Благородный молодой человѣкъ! — сказалъ онъ, протягивая мнѣ руку.

„ — Осмѣлюсь высказать мою мысль вполнѣ, — продолжалъ я съ чувствомъ: — не нужно обезкураживать, ваше превосходительство! нужно, чтобы они всегда съ полнымъ довѣріемъ, съ возможною, такъ сказать, искренностью... Быть можетъ, я слишкомъ смѣлъ, ваше превосходительство! быть можетъ, мои скромныя представленія...

„ — Напротивъ! всегда будьте искренни! Что же касается до вашего великодушнаго желанія, то я тѣмъ болѣе ничего не имѣю противъ удовлетворенія его, что въ самое время, безъ вреда для дѣла, наименованіе „заблуждающихся“ вновь можно будетъ замѣнить наименованіемъ злоумышленниковъ... Не правда ли?

„ — Точно такъ, ваше превосходительство!

„ Затѣмъ онъ позвонилъ и приказалъ передать мнѣ дѣло о злоумышленникахъ, которые отнынѣ, милая маменька, благодаря моей инициативѣ, будутъ уже называться „заблуждающимися“. На прощанье генеральъ опять протянулъ мнѣ руку.

„ Не знаю, какъ я дошелъ до своей квартиры. Нервы мои были такъ возбуждены, что я буквально цѣлые полчаса рыдалъ. О, еслибъ всѣ подчиненные умѣли понимать и цѣнить сердца своихъ начальниковъ!

„ И вчера, и третьяго-дня, обѣ ночи я употребилъ на ознакомленіе съ дѣломъ. Генеральъ сказалъ правду: всѣ эти „предвкусенія“ представляютъ только виѣшній предлогъ, за которымъ скрываются очень важныя преступныя дѣла. Нѣтъ, господа, шалите! ужъ меня вы не проведете своими „пред-

вкусеніями"! Я самъ человѣкъ современный и кой-что понимаю въ вашихъ такъ-называемыхъ „предвкусеніяхъ"! Я съ перваго же абцуга почувствовалъ, въ чемъ тутъ штука! И представьте себѣ, милая маменька, до сихъ поръ *ровно* ничего не сдѣлано для раскрытія настоящихъ цѣлей „Общества"! Ничего! И за всѣмъ тѣмъ, благодаря неутомимой дѣятельности моихъ предшественниковъ, дѣло уже развилось до четырехъ томовъ при пятнадцати обвиняемыхъ. Пятнадцать обвиняемыхъ, милая маменька, которые томятся въ заключеніи — за что? — за то, что совмѣстно занимались „предвкусеніями"! Гдѣ же справедливость?

„Теперь моя черновая работа кончена и планъ будущихъ дѣйствій составленъ. Этотъ планъ ясенъ и можетъ быть выраженъ въ двухъ словахъ: строгость и снисхожденіе! Прежде всего — душа преступника! Произвести въ ней спасительное движеніе и посредствомъ него придти къ раскрытію истины — вотъ цѣль! Затѣмъ, въ походъ! но не противъ злоумышленниковъ, милая маменька, а противъ бѣдныхъ неопытныхъ заблуждающихся! Мнѣ кажется, что это именно тотъ настоящій тонъ, на которомъ можно разыграть какую угодно пьесу...

„Пользуюсь минутой свободы, чтобъ сообщить вамъ, милая маменька, объ этомъ новомъ знакѣ довѣрія, которымъ я почтенъ. Затѣмъ, цѣлуя ваши ручки и испрашивая вашего благословенія, въ настоящую минуту болѣе, нежели когда-либо для меня драгоценнаго, остаюсь любящій и глубоко преданный сынъ вашъ —

*„Николай Батищевъ“.*

„Р. S. А Ерошеевъ еще штуку удралъ. Заманилъ къ себѣ другого скопца и опять сорвалъ съ него сорокъ тысячъ. Повидимому цифра сорокъ тысячъ дѣлается для него въ родѣ прецедента, на который онъ рѣшился ссылаться въ будущемъ, подобно тому, какъ другіе ссылаются на рѣшенія кассационныхъ департаментовъ сената. Устроился онъ отлично: за монтажку одного кабинета заплатилъ пятнадцать тысячъ, въ пріемной поставилъ золоченую мебель, а на полкахъ размѣстилъ полное собраніе законовъ. На душу кліента это производитъ впечатлѣніе почти неотразимое. Нѣтъ, какъ хотите, а Ерошеевъ, право, не такъ глупъ, какъ до сихъ поръ о немъ думали!“

„По полученіи твоего письма, голубчикъ Николенька, сейчасъ же послала за отцомъ Θεодоромъ, и всѣ вмѣстѣ соединились въ теплой мольбѣ Всевышнему о ниспосланіи тебѣ духа бодрости, а начальникамъ твоимъ долготїя и нетлѣнныхъ наградъ. И когда все это исполнилось, такое въ душѣ моей сдѣлалось спокойствіе, какъ будто тихій ангелъ въ ней пролетѣлъ!

„Не ропщи, другъ мой! Я знаю, что тебѣ не легко, но Богъ и начальники не оставятъ тебя. Немногимъ на долю такое счастье выпадаетъ, какое тебѣ выпало. Другой весь вѣкъ на одномъ мѣстѣ сидитъ, и никто его не замѣчаетъ: все равно, что онъ есть, что его нѣтъ. А тебя среди отличныхъ отличили — вотъ какое важное дѣло довѣрили! Другіе хлопочутъ, и имъ не даютъ; ты же и не просилъ, а тебѣ дали. Неси же сей крестъ съ смиреніемъ



и вѣрою! Помни, что все въ семъ мірѣ отъ Бога и что мы въ Его рукахъ не что иное, какъ орудіе, которое само не знаетъ, куда устремляется и что въ сей жизни достигнуть ему предстоитъ.

„Читала твое письмо и содрогалась: ахъ, какіе могутъ быть ужасные люди, мой другъ! Помню, когда намъ въ институтѣ изъ исторіи уроки задавали, то тамъ тоже злодѣи описывались. Стало быть, это такъ свыше определено, чтобъ имъ быть, и определено для того, чтобы отъ сравненія съ ними добродѣтель еще больше возвышалась и заслуживала награды. А мы живемъ среди этихъ людей и даже не знаемъ! Ничего мы не знаемъ, мой другъ, и еслибы начальство за насъ не бодрствовало — что бы мы были! И признаюсь откровенно: когда то мѣсто въ письмѣ твоѣмъ прочитала, гдѣ ты своему благодѣтелю предложилъ ужасныхъ этихъ злодѣевъ называть не злоумышленниками, а заблуждающимися, то весьма была симъ офранпирована. Тѣмъ болѣе, зная благородство твоихъ чувствъ. Но когда увидѣла, что все это есть не что иное, какъ обдуманый съ твоей стороны подходъ, и что впоследствии вновь эти люди въ злоумышленниковъ переименованы будутъ, опять утѣшилась. Знай, другъ мой, что горшихъ злоумышленниковъ не было, нѣтъ и не будетъ! Отецъ Θεодоръ говоритъ, что они паче душегубцевъ и воровъ, что сіи немногимъ зло причиняютъ, а они по всему міру распространяютъ его. Помни это, душа моя! помни и блюди юношескій пламень твой!

„Братецъ Григорій Николаичъ такой нынче истинный христіанинъ сдѣлался, что мы смотрѣть на него безъ слезъ не можемъ. Ни рукой, ни ногой пошевелить не можетъ и что говорить — не разберемъ. И ему мы твое письмо прочитали, думая, что при недугахъ оное его утѣшитъ, однако онъ, выслушавъ, только глаза шире обыкновеннаго раскрылъ.

„Пишу къ тебѣ кратко, зная, что теперь тебѣ не до писемъ. Будь бодръ, мой другъ, и впредь утѣшай меня, какъ всегда утѣшалъ. Благословляя тебя на новый трудъ, остаюсь любящая тебя—

*„Надежда Батищева“.*

„P. S. А что ты объ адвокатѣ Ерошеевѣ пишешь, то мнѣ даже очень прискорбно, что ты такъ на семъ настаиваешь. Неужто же ты завидуешь сему врагу религіи, который по мнѣяльнымъ рядамъ ходитъ и отъ изуродованныхъ людей поживы ищетъ! Прошу тебя, другъ мой, оставь сію мысль!“

„Милая маменька!

„Дѣло, о которомъ я писалъ вамъ въ прошломъ письмѣ, развивается такъ быстро, что теперь у меня, вмѣсто пятнадцати, уже восемьдесятъ-три человѣка обвиняемыхъ. Восемьдесятъ-три человѣка! Восемьдесятъ-три жертвы пагубныхъ заблужденій! Это ужасно!

„Но какіе это люди, милая маменька! сколько бы они могли принести пользы отечеству, еслибъ не заблуждались! Какіе величественные замыслы! Какія грандіозныя задачи! Люди, которые по всей справедливости могли бы претендовать на титулъ благодѣтелей человѣчества — эти люди не имѣютъ теперь впереди ничего, кромѣ справедливой кары закона! И они подверг-

нутя ей, этой карѣ (въ этомъ я могу служить вамъ порукою)... подвергнутся, потому что заблуждались!

„Не вдругъ, однакожъ, удалось мнѣ проникнуть въ святилище душъ ихъ. Много пришлось выслушать дерзкихъ выходокъ и очень непрозрачныхъ намековъ, но терпѣніе и особаго рода выдержка и въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ не оставили меня. Я восторжествовалъ. Мой взглядъ былъ вѣренъ: это именно неопытные заблуждающіеся, которыхъ молодыя души прежде всего доступны чувствительности. Не чувствительность ли ввергла ихъ и въ бездну заблужденія? Не она ли причиной, что молодыя ихъ силы, не успѣвъ развернуться въ пышный цвѣтъ, уже являются преждевременно обреченными на гибель? Да, это еще вопросъ! и даже очень важный вопросъ, милая маменька, ибо та же чувствительность, которая служитъ источникомъ омерзительнѣйшихъ преступленій, можетъ подвигать человѣка и къ дѣяніямъ высочайшей благонамѣренности и преданности. Стало быть, нужно только съ умѣньемъ пользоваться этимъ двигателемъ, нужно только умѣть направить его, однимъ словомъ, нужно внимательно пересмотрѣть уставъ пресѣченія и предупрежденія преступленій — и тогда все будетъ благополучно! Я, по крайней мѣрѣ, сильно склоняюсь въ пользу этого предположенія, хотя, увы, и понимаю, что мое личное убѣжденіе и безсильно въ виду предписаній закона! А законъ ясенъ... и неумолимъ!

„Повторяю: много стоило мнѣ усилій, чтобы найти ключъ къ сердцамъ этихъ людей. Людей чувствительныхъ, но, къ несчастію, уже испорченныхъ недоувѣріемъ къ лицамъ, которыя, въ сущности, искренно желаютъ имъ добра. Въ особенности заботилъ меня нѣкто Оеофанъ Филаретовъ, съ отличіемъ кончившій курсъ въ московской духовной академіи и въ качествѣ многообѣщающаго юноши названный Филаретовымъ—въ честь покойнаго московскаго митрополита. Вы знаете, какъ прозорливъ былъ покойный преосвященный; но на этотъ разъ неисповѣдимые пути Провидѣнія и его прозорливости готовили важное и прискорбное испытаніе. Преосвященный готовилъ Оеофана для высшихъ ступеней духовной іерархіи, а вмѣсто того онъ нынѣ томится въ заключеніи, изъ котораго долженъ будетъ перейти непосредственно на скамью обвиненныхъ! Какъ не подивиться столь неожиданному перевороту судебъ, милая маменька!

„Знакомство мое съ Оеофаномъ было очень оригинально. Это человѣкъ невысокаго роста, плотный, даже коренастый, на первый взглядъ угрюмый, но съ необыкновенно кроткими глазами. Несомнѣнно, онъ ожидалъ, что я относительно его буду поступать, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ дѣлается, то-есть сниму формальный допросъ и затѣмъ отпущу въ тюрьму, сказавъ въ заключеніе нѣсколько укорительныхъ фразъ. Ничуть не бывало; я встрѣтилъ его какъ равный равнаго, или, лучше сказать, какъ счастливца встрѣчаетъ несчастливца, которому отъ всей души сочувствуетъ, хотя, къ сожалѣнію, и не въ силахъ преподать всѣхъ утѣшеній, какъ бы желалъ. Я самъ придвинулъ ему стулъ, предложилъ стаканъ чаю, папирсъ и проч. Это видимо его поразило, хотя нѣкоторое время онъ, все-таки, еще не оставлялъ своего недоувѣрія ко мнѣ. Но и тутъ онъ былъ прекрасенъ! Онъ высказалъ



мнѣ такъ много истинъ и притомъ съ такимъ пламеннымъ убѣжденіемъ, что, несмотря на горечь формы, я внутренно не могъ не согласиться съ нимъ!

„Онъ говорилъ мнѣ: — Вы фарисеи и лицемеры! Вы, какъ Исаѣ, готовы за горшокъ чечевицы продать всѣ такъ-называемыя основы ваши! вы говорите о святости вашего суда, а сами между тѣмъ на каждомъ шагѣ дѣлаете изъ него или львиный ровъ, или сиренскую прелесть! вы указываете на бракъ, какъ на основу вашего гнилого общества, а сами прелюбодѣйствуете! вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! вы со слезами на глазахъ разглагольствуете о любви къ отечеству, а сами сапоги съ бумажными подметками ратникамъ ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу! — И такъ далѣе, все въ духѣ пророка Іліи.

„Милая маменька! какъ хотите, а тутъ есть доля правды! Особенно насчетъ ратниковъ — вѣдь это даже фактъ, что нашъ бывший предводитель такими сапогами ихъ снабдилъ, что они, пройдя тридцать верстъ, очутились босы! Быть можетъ, слова: „жрете Ваалу“ — слишкомъ уже смѣлы, но не знаю, какъ вамъ, а мнѣ эта смѣлость нравится! Въ ней есть что-то рыцарское...

„Но когда я, со слезами на глазахъ, просилъ его успокоиться; когда я доказалъ ему, что въ видахъ его же собственной пользы лучше, ежели дѣло его будетъ въ рукахъ человѣка, ему сочувствующаго (я могу признавать его обличенія несвоевременными, но не сочувствовать имъ — не могу!), когда я наконецъ подаль ему стаканъ чаю и предложилъ папиросу, онъ мало-помалу смягчился. И теперь, милая маменька, изъ этого чувствительнаго, но не питающаго къ началству довѣрія человѣка я вью веревки!

„Постепенно онъ открылъ мнѣ все, всѣ свои замыслы, и указалъ на всѣхъ единомышленниковъ своихъ. Повѣрите ли, что въ числѣ послѣднихъ находятся даже многія высокопоставленныя лица! Когда-нибудь я покажу вамъ чувствительныя письма, въ которыхъ онъ изливаетъ передо мной свою душу: я снялъ съ нихъ копіи, приложивъ подлинныя къ дѣлу. Ахъ, какія это письма, милая маменька!

„О замыслахъ его я тоже когда-нибудь лично сообщу вамъ, потому что боюсь повѣрить письму тѣ, что покуда составляетъ еще тайну между небомъ, моимъ генераломъ и мной. Теперь же могу сказать только одно: они хотѣли переформировать всю Россію, и между прочимъ требовали, чтобы каждый, находясь у себя дома, имѣлъ право считать себя въ безопасности. Какая плодотворная мысль, еслибы въ ней не скрывался червь заблужденія! Но именно этотъ-то червь и испортилъ все, ибо подъ „безопасностью“ они разумѣли не огражденіе обывателей отъ разбойниковъ и воровъ (что было бы вполне плодотворно), но воспрещеніе полиціи входить въ обывательскія квартиры!

„Сверхъ того, подъ величайшимъ секретомъ могу сообщить вамъ и еще одну, очень характеристичную подробность. Они предполагали уничтожить всѣ нынѣшнія министерства и замѣнить ихъ только двумя: министерствомъ оплодотворенія и министерствомъ отчаянія. Въ составъ перваго должны были войти нынѣшнія министерства: финансовъ, народнаго просвѣщенія и путей сообщенія; въ составъ втораго — министерства: внутреннихъ дѣлъ и юстиціи, а также государственный контроль. По плану преступнаго замысла, актив-

ную роль должно было играть только министерство оплодотворенія, ибо лишь чрезъ развитіе промышленности, народнаго богатства, просвѣщенія и чрезъ устройство путей сообщенія можетъ быть достигнуто благоденствіе страны. Министерство же отчаянія должно постоянно бездѣйствовать и играть роль чисто коммеморативнаго свойства, т. е. унылымъ видомъ своимъ напоминать гражданамъ о тѣхъ бѣдствіяхъ, которымъ они подвергались въ то время, когда это министерство было, такъ сказать, переполнено жизнью. Но что еще оригинальнѣе: чиновникамъ министерства отчаянія присвояются двойные оклады жалованья противъ чиновниковъ министерства оплодотворенія, на томъ основаніи, что первые хотя и бездѣйствуютъ, но самое это бездѣйствіе имѣетъ настолько укоризненный характеръ, что требуетъ усиленнаго вознагражденія.

„Когда я докладывалъ объ этомъ моему генералу, то даже онъ не могъ воздержаться отъ благосклонной улыбки. — А вѣдь это похоже на дѣло, мой другъ! — сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ. На что я весело отвѣтилъ: — Всякое заблужденіе, ваше превосходительство, имѣетъ крупицу правды, но правды преждевременной, которая по этой причинѣ и именуется заблужденіемъ. — Отвѣтъ этотъ такъ понравился генералу, что онъ эту же мысль не разъ послѣ того въ англійскомъ клубѣ отъ себя повторялъ.

„Много помогъ мнѣ и уланскій офицеръ, особливо когда я открылъ ему раскаяніе Филаретова. Вотъ истинно добрыйшій малый, который даже самъ едва ли знаетъ, за что подъ арестомъ сидитъ! И сколько у него смѣшныхъ анекдотовъ! Многіе изъ нихъ я генералу передалъ, и такъ они ему прилипли по сердцу, что онъ всякій день, какъ я вхожу съ докладомъ, встрѣчаетъ меня словами: — Ну что, какъ нашъ уланъ! поберегите его, мой другъ! тѣмъ больше, что намъ съ военнымъ вѣдомствомъ ссориться не приходится!

„Тороплюсь закончить письмо мое, ибо положительно не имѣю минуты свободной. Вѣрите ли, милая маменька: днемъ допросы снимаю, ночью записки составляю и пишу рапорты, отношенія и предписанія. Товарищи по службѣ увѣряютъ, что я похудѣлъ, но въ глубинѣ души, я увѣренъ, завидуютъ мнѣ. Усиѣхъ придалъ мнѣ бодрость, такъ сказать, окрылилъ меня. Несмотря на безсонныя ночи, я положительно не чувствую усталости. Веселъ, неутомимъ, готовъ поболтать, а при случаѣ даже и посмѣяться. Вчера вечеромъ урвалъ минуту, чтобы взглянуть „La fille de m-me Angot“, но не успѣлъ и одного акта досидѣть, какъ потребовали къ генералу...

„Прощайте, милая маменька, и проч.

*„Николай Батищевъ“.*

„Р. S. Адвокатъ Ерошеевъ третьяго скопца заманилъ и сорвалъ съ него какую-то совѣшъ ужъ баснословную сумму. Слышно, что онъ пятипроцентныя бумаги на биржѣ скупаетъ. Какъ хотите, а онъ не только не дуракъ, какимъ его многіе почитаютъ, но, по моему, даже очень уменъ“.



„Милый сынъ Николенъка.

„Никогда, даже когда была молода, ни одного романа съ такимъ интересомъ не читывала, съ какимъ прочла послѣднее твое письмо. Да, мой другъ! мрачны, ахъ, какъ мрачны тѣ ущелія, въ которыхъ лишенная христіанской поддержки душа человѣческая преступныя свои ковы строить!

„Сестрица Аня въ полномъ отъ твоего Филаретова восхищеніи. —Представляю себѣ, говорить, какъ хорошъ бы онъ былъ въ саккосѣ! —Но я, съ своей стороны, его не одобряю, и думаю, что озлобленіе этого человѣка оттого происходитъ, что онъ не дворянинъ. Еслибы онъ былъ дворяниномъ, то, какъ образованный, безъ труда понялъ бы, что все сіе неизбежно, и при слабости нашей даже не безъ пользы. Хорошо по воскресеньямъ въ церкви проповѣди на этотъ счетъ слушать (да и то не каждое воскресенье, мой другъ!), но ежели каждый день всячески будутъ тебя костить, то подъ конецъ оно и многонокъ покажется. Отецъ Ѳеодоръ тоже со мной соглашается, что хотя вразумлять и необходимо, однакоже безъ потери чувствъ. Всѣ мы люди, всѣ въ мірѣ живемъ и всѣ Богу и царю виноваты, и какъ безъ сего обойтись —не знаемъ. Вотъ о чемъ надлежало бы твоему Филаретову помнить. Однако, такъ какъ и генералу твоему предики этого изувѣра понравились, то оставляю это на его усмотрѣніе, тѣмъ больше, что, судя по письму твоему, какъ тамъ ни разглагольствуй въ духѣ пророка Іліи, а все-таки разглагольствіямъ этимъ одинъ неизбежный конецъ предстоитъ.

„Гораздо больше понравился мнѣ уланскій офицеръ, фамилію котораго ты, однакоже, не пишешь. Пожалуйста анекдотовъ его побольше собери и тетрадку намъ пришли. Въ деревенскомъ нашемъ уединеніи большое утѣшеніе намъ составишь.

„Пишешь ты также, что въ дѣлѣ твоёмъ много высокопоставленныхъ лицъ замѣшано, то, признаюсь, извѣстіе это до крайности меня встревожило. Знаю, что ты у меня умница и пустого дѣла не затѣешь, однако не могу воздержаться, чтобы не сказать: побереги себя, другъ мой! не поставляй симъ лицамъ въ тяжкую вину того, что, быть можетъ, они лишь по легкомыслію своему допустили. Ограничь свои дѣйствія Филаретовымъ и ему подобными.

„На этотъ счетъ отъ опытности моей могу сказать тебѣ слѣдующее. Очень часто мы видимъ, что высшія лица опыты разные производятъ, а низшія этимъ соблазняются и за настоящее принимаютъ. А такъ-какъ безъ опытовъ прожить нельзя, то и въ грѣхъ этимъ лицамъ ставить не слѣдуетъ, а слѣдуетъ ставить въ грѣхъ лишь тѣмъ, которые не тѣ опыты производятъ, какіе отъ Бога имъ предназначены. Есть люди высшіе, средніе и низшіе —и сообразно съ симъ опыты. Высшій человѣкъ можетъ и высшіе опыты производить, потому что онъ же во всякое время и отмѣнить ихъ можетъ. Низшій же человѣкъ, какъ напримѣръ твой Филаретовъ, коль скоро начинаетъ не принадлежащія ему опыты производить, то сейчасъ же ими воспламеняется —и оттого производитъ злоумышленность!

„Поэтому, другъ мой, ежели ты и видишь, что высшій человѣкъ прощтрафился, то имѣй въ виду, что у него всегда есть отвѣтъ: „я, по должности своей, опыты производилъ“! И все ему простится, потому что онъ и самъ себя

давно во всемъ простилъ. Но тебѣ онъ никогда того не проститъ, что ты его передъ начальствомъ въ сомнѣніе или въ погрѣшность ввелъ.

„Вотъ почему я, какъ другъ, прошу и, какъ мать, внушаю: берегись этихъ людей! Отъ нихъ всякое покровительство на насъ нисходитъ, а между прочимъ и напасть. Ежели же ты несомнѣнно предвидишь, что такому лицу въ разставленную передъ нимъ сѣть попасть надлежитъ, то лучше объ этомъ потихоньку его предvarить, и совѣта его спросить, какъ въ этомъ случаѣ поступить прикажетъ. Эти люди всегда таковыя поступки помнятъ и цѣнятъ.

„Братецъ Григорій Николаичъ, по вѣснмъ видимостямъ, къ концу жизни своей приближается. Даже глазъ почти не открываетъ, а все больше въ усыпленіи находится. Истинно многмятежная жизнь его была! сколько онъ за гнусныя свои идеи пострадалъ — такъ это даже вчужѣ вспомнить больно! А подъ конецъ, однако, смирился, и даже рабовъ имѣть за необходимое полагалъ! И все-таки, несмотря на суровые уроки, въ немъ эта старая дрянная искорка осталась! Намедни прочли мы ему письмо твое, думали мнѣніе его узнать, а онъ, вмѣсто того, двусмысленность сдѣлалъ. Но мы ужъ и тому рады, что онъ продолжаетъ христіаниномъ быть. Боюсь только, какъ бы подъ конецъ какого баламуту не надѣлалъ!

„Прощай, мой другъ, и проч.

*„Надежда Батищева“.*

„P. S. А что ты насчетъ Ерооеева пишешь, то удивляюсь: неужто у васъ, въ Петербургѣ, скопцы какъ грибы растутъ? Не лжетъ ли онъ? Еще смолоду онъ къ хвастовству непомѣрную склонность имѣлъ! Или, можетъ быть, изъ зависти тебя соблазняетъ! Но ты соблазнамъ его не поддавайся и бодро шествуй впередъ, какъ начальство тебѣ приказываетъ!“

„Любезная маменька!

„Планы мои разрушились вдругъ, въ одну минуту...

„Вы знаете мои правила! Вамъ извѣстно, что я не могу быть преданъ не всецѣло! Ежели я кому-нибудь предаюсь, то дѣлаю это безгранично... беззавѣтно! Я весь тутъ. Я люблю, чтобъ начальникъ ласкалъ меня, и ежели онъ ласкаетъ, то отдаюсь ему совсѣмъ! Если сегодня я отдаюсь душой судебному генералу, то его одного люблю и всѣхъ его соперниковъ ненавижу! Но ежели завтра меня полюбитъ контрольный генералъ, то я и его буду любить одного и всѣхъ его соперниковъ буду ненавидѣть!

„Дѣло, о которомъ я говорилъ вамъ въ послѣднемъ письмѣ моемъ, продолжало развиваться съ ужасающею быстротой. Каждый день приносилъ новую животрепещущую подробность. Новые замыслы, новые планы, новыя развѣтвленія! Отдѣлъ „общества“ въ Весъегонскѣ, отдѣлъ въ Тетюшахъ, отдѣлъ въ Елабугѣ... однимъ словомъ, что-то ужасное! Вся Россія, пропитанная ядомъ „предкувшеній“! Вся Россія, ничѣмъ другимъ не занимающаяся, кромѣ „терпѣливаго перенесенія бѣдствій настоящаго“! Какое потрясающее душу зрѣлище! И какіе ужасные люди! Укоры, которые нѣкогда высказалъ мнѣ Теофанъ, уже представлялись мнѣ чѣмъ-то въ родѣ дѣтскаго лепета!



Передо мной предстали люди совершенно особенные, почти необыкновенные, которые даже не укоряли, а просто-на-просто ругательски-ругали меня! Въ ихъ глазахъ Теофанъ слылъ уже консерваторомъ и даже ретроградомъ! Онъ еще допускалъ существованіе министерствъ (вы помните, милая маменька, его остроумную гипотезу двухъ министерствъ: оплодотворенія и отчаянія), а слѣдовательно и возможность административнаго воздѣйствія, они же равно ничего не допускали, а только, по выраженію моего товарища, Коли Персіанова, требовали милліонъ четыреста тысячъ головъ.

„Обо всемъ я, разумѣется, каждодневно докладывалъ моему генералу, и повидимому онъ выслушивалъ меня охотно. Не разъ мы содрогались вмѣстѣ, но и не разъ удавалось мнѣ возбуждать на его устахъ улыбку...

„Милая маменька! Помнится, что въ одномъ изъ предыдущихъ писемъ я разъяснялъ вамъ мою теорію отношеній подчиненнаго къ начальнику. Я говорилъ, что съ начальниками нужно быть сдержаннымъ и всячески избѣгать назойливости. Никогда не слѣдуетъ утомлять ихъ... даже заявленіями преданности. Все въ мѣру, милая маменька! все настолько, чтобы фizioномія преданнаго подчиненнаго не примелькалась, не опротивѣла!

„Но, начертавъ себѣ эту *ligne de conduite*, я, къ сожалѣнію, самъ не удержался на ней. Я былъ усерденъ и преданъ *болѣе, нежели требовалось*...

„Я не знаю, какъ это случилось, но послѣ цѣлаго мѣсяца неслыханныхъ съ моей стороны усилій и бессонныхъ ночей я почувствовалъ въ голосѣ генерала ноту усталости. Горько прозвучала въ душѣ моей эта нота, но на первыхъ порахъ, по неопытности моей, я приписалъ это обстоятельство или подпольной интригѣ, или простой случайности. Я не понималъ, какъ много скрывается здѣсь для меня рокового, и, вмѣсто того, чтобы обуздать свое усердіе, еще больше усилилъ его. Каждое утро я приходилъ къ генералу съ новымъ, болѣе и болѣе обильнымъ запасомъ подробностей, но, увы, уже не возбуждалъ ими ни содроганія, ни улыбки. Генералъ усталъ, охладѣлъ—это было ясно. Тогда, чтобы сразу поднять мой упавшій кредитъ, я придумалъ такой *coup de théâtre*, который, по мнѣнію моему, долженъ былъ *непретѣнно* разбудить въ немъ гаснущій интересъ къ дѣлу.

„Надо вамъ сказать, что передъ этимъ я только-что открылъ нѣчто новое и въ высшей степени замѣчательное. Оказалось, что злоумышленники на общія деньги выписывали „Труды Вольно-экономическаго Общества“ и собирались въ разныхъ мѣстахъ для совмѣстнаго ихъ чтенія. Для чего они это дѣлали? Развѣ они не могли читать „Труды“ каждый въ своей квартирѣ? Развѣ стоятъ того „Труды“, чтобы по поводу ихъ затѣвать недозволенные сборища и тратиться на извозчиковъ? — вотъ вопросы, которыми я задался, милая маменька, и на которые самъ себѣ далъ отвѣтъ: нѣтъ, это не спроста!

„Я не буду описывать вамъ, съ какимъ восторгомъ я стремился утромъ къ генералу, чтобы доложить ему о своемъ новомъ открытіи, но едва началъ свой рассказъ, какъ уже меня поразило какое-то зловѣщее выраженіе, свѣтившееся въ его глазахъ.

„— Я долженъ вамъ сказать, — произнесъ онъ холодно, — что еще вчера мною сдѣлано распоряженіе о совершенномъ прекращеніи этого дѣла.

„Я ничего не понял. Я стоялъ противъ него, затаивъ дыханіе, и ждалъ.

„— Я ничего не могу сказать,—продолжалъ онъ: — насколько важно или неважно производимое вами дѣло, потому что дѣйствія ваши не только не объяснили, но даже запутали и то, что было сдѣлано вашими предмѣстниками. Но я могу сказать положительно, что вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ вы подвергаете меня самымъ непростительнымъ истязаніямъ. Я думалъ, что вы сами, наконецъ, поймете все неприличіе вашей настойчивости, но, къ сожалѣнію, даже эта скромная надежда моя не оправдалась. Вчера вы хотѣли увѣрить меня, что въ Конотопѣ свила гнѣздо измѣна, а сегодня вы уже хотите заставить меня даже въ такомъ фактѣ, какъ совмѣстное чтеніе „Трудовъ Вольно-экономическаго Общества“, видѣть преступный умыселъ.

„Я раскрылъ ротъ, чтобы заявить о моемъ раскаяніи и завѣрить, что его превосходительству стоитъ только указать мнѣ путь...

„— Я знаю, что вы хотите сказать,—остановилъ онъ меня: — вы усердны, молодой человѣкъ! въ этомъ отказать вамъ нельзя! Но вы *слишкомъ* усердны, а это такой недостатокъ, передъ которымъ даже совершенная бездѣтельность представляется качествомъ далеко не бесполезнымъ. Я болѣе ничего не имѣю прибавить вамъ.

„Да; онъ сказалъ мнѣ все это, и голосъ его ни разу не дрогнулъ... И я долженъ былъ оставить его кабинетъ, не выразивъ ни оправданія, ни даже раскаянія...

„Я не могу передать вамъ въ настоящемъ письмѣ всѣхъ подробностей этой печальной исторіи: до такой степени она подавляетъ меня! Но, во всякомъ случаѣ, вѣроятный ея результатъ вполне уже для меня выяснился: карьера, о которой я такъ недавно и такъ восторженно писалъ вамъ, разрушена навсегда! Конечно, еще можетъ подвернуться какой-нибудь особенный, сверхъестественный случай, который дастъ мнѣ возможность вынырнуть, но до тѣхъ поръ—я долженъ сознаться въ этомъ — шансы мои очень и очень слабы!

„Усердіе, на которое я такъ надѣялся—это самое усердіе погубило меня. Не будь я такъ усерденъ, я не очутился бы въ той безпримѣрной тоскѣ, въ которую меня повергла неудача моего предпріятія. Но я превзошелъ самого себя — и палъ жертвою своихъ собственныхъ усилій! Какой поразительный урокъ, милая маменька! И какъ поучителенъ онъ долженъ быть для тѣхъ, которые проводятъ жизнь, по всѣмъ министерствамъ влача беззавѣтную свою преданность!

„Къ довершенію всего, неудача моя съ быстротою молніи облетѣла все наше вѣдомство. Товарищи смотрятъ на меня съ двусмысленными улыбками и при моемъ появленіи шепчутся между собою. Вчера—зависть, сегодня—недоброжелательство и насмѣшки. Вотъ кругъ, въ которомъ осуждена вращаться преданность...

„И всѣ эти люди, которые завтра же съ полною готовностью продѣлаютъ все то, что я продѣлалъ вчера, безъ всякаго стыда говорятъ вамъ о какихъ-то основахъ и краеугольныхъ камняхъ, посягательство на которые равносильно посягательству на безопасность цѣлаго общества!

„О, Теофанъ Филаретовъ! какъ часто и съ какою отрадой я вспоминаю



о тебѣ въ моемъ уединеніи! Ты сказалъ святую истину: въ нашемъ обществѣ (зачеркнуто: „вѣдомствѣ“) человѣкъ, ищущій справедливости, находитъ одно изъ двухъ: или ровъ львиный, или прелесть сиренскую!..

„Прощайте, милая маменька! благословите и пожалѣйте несчастного, цѣлующаго ваши ручки, сына—

*„Николая Батищева“.*

„P. S. Вы положительно несправедливы къ Ерошееву, милая маменька. Это человѣкъ ума очень обширнаго, и ежели умѣетъ сыскать полезнаго для себя скопца, то не потому, что они какъ грибы въ Петербургѣ растутъ, а потому, что у него есть особенная къ этому предмету склонность. Въ несчастіи моемъ онъ одинъ не усомнился отнестись ко мнѣ симпатически и пріѣхалъ позвать мою руку. Онъ помнитъ гостепріимство, (которое вы оказывали ему, когда онъ къ намъ изъ школы по праздникамъ хаживалъ, и еще недавно съ большимъ участіемъ объ васъ разспрашивалъ. Онъ даже предлагалъ мнѣ вступить съ нимъ въ компанію по веденію дѣлъ, и хотя я ни на что еще покуда не рѣшился, однако будущность эта довольно-таки мнѣ улыбается. Какъ хотите, а нигдѣ кромѣ частной дѣятельности нельзя чaitи настоящей самостоятельности! Это единственная арена, на которой дорожать знающими и усердными людьми“.

„Милый дружокъ Николенъка.

„Получивъ твоѣ письмо, такъ была имъ поражена, что даже о братцѣ Григоріи Николаичѣ забыла, который, за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ, тихо, на рукахъ у сестрицы Анюты скончался. Христосъ съ нимъ! слава Богу, онъ умеръ утѣшенный! Не только никакой шутки надъ отцомъ Ѳеодоромъ не позволилъ себѣ, но даже съ истинно-христіанскимъ благоговѣніемъ напутствіе его выслушалъ. Теперь онъ взираетъ на насъ съ высотъ небесныхъ, а можетъ быть и до днесь душа его между нами витаетъ и видитъ какъ горестъ нашу, такъ и приготовленія, которыя мы къ погребенію его дѣлаемъ.

„Какъ ни прискорбна превратность, тебя постигшая, но и теперь могу повторить лишь то, что неоднократно тебѣ говорила: не однѣ радости въ семьѣ, мой другъ, но и горести, а потому не ропщи. Ты все сдѣлалъ, что доброду и усердному подчиненному сдѣлать надлежало — стало быть, совѣсть твоя чиста. По усердію твоему, ты хотѣлъ до конца твоего генерала прельстить; если же ты въ томъ не успѣлъ, то, стало быть, Богу не угодно было. Смирись же, другъ мой! ибо на все Его святая воля, мы же всѣ странники, а бездыханный трупъ братца Григорія Николаича даже сильнѣе, нежели прежде, меня въ этой мысли утверждаетъ!

„Я не только на тебя не сержусь, но думаю, что все это современемъ еще къ лучшему поправиться можетъ. Такъ напримѣръ: отчего бы тебѣ, немного погодя, вновь передъ генераломъ не открыться и не завѣрить его, что все это отъ неопытности твоей и незнанія произошло? Генералы это любятъ, мой другъ, и раскаивающимся еще больше протежируютъ!

„Впрочемъ предоставляю это твоему усмотрѣнію, потому что хотя бы

и хотѣла что-нибудь еще въ поученіе тебѣ сказать, но не могу: хлопотъ по горло. Теперь приготовляемся послѣдній долгъ усоншему другу отдать, а послѣ того и объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства подумать надо. Братецъ послѣ себя прекраснѣйшее имѣніе въ Курской губерніи оставилъ, а теперь, по Божьему соизволенію, оно должно перейти къ намъ. Сказывалъ старый камердинеръ его, Платонъ, что у покойнаго старая пассія въ Москвѣ жила и отъ оной, будто бы, дѣти, но она, по закону, никакого притязанія къ имѣнію покойнаго имѣть не можетъ; мы же, по христіанскому обычаю, отъ всего сердца грѣхъ ей прощаемъ и даже не желаемъ знать, какой отъ этого грѣха плодъ былъ! Жаль, конечно, дѣтей, но ежели законъ имъ правъ не даетъ, то что же мы противъ закона сдѣлать можемъ!

„Прощай, другъ мой; пиши, не удастся ли тебѣ постигшую грозу отъ себя отклонить и попрежнему въ любви твоего генерала утвердиться. А какъ бы это хорошо было! Любящая тебя мать —

„Надежда Батищева“.

„Р. S. Прости, Христа ради, что объ Ерооеевѣ такъ низко заключила. Теперь и сама вижу, что дѣла о сконцахъ не безъ выгоды. Быть можетъ, Провидѣніе нарочно послало его, чтобы тебя утѣшить. Не даромъ же ты въ каждомъ письмѣ объ немъ писалъ: должно быть, предчувствіе было, что понадобится“.

„Любезная маменька.

„Я подаль въ отставку.

„Такое рѣшеніе можетъ вамъ показаться внезапнымъ, но я сейчасъ докажу, что оно далеко не было съ моей стороны внезапностью.

„Я разсудилъ такъ: послѣ моей катастрофы надѣяться на скорое возстановленіе въ мнѣніи моего генерала было бы глупостью. Меня будутъ заставлять каждодневно обвинять, я каждый день буду одерживать побѣды надъ присяжными засѣдателями — и генералъ будетъ говорить, что я только исполняю свою обязанность. Составъ моихъ товарищей будетъ мнѣяться, вслѣдствіе повышеній, и я одинъ останусь незыблیمъ, покуда не сдадутъ меня наконецъ, въ видѣ милости, въ архивъ, членомъ бѣлозерскаго окружного суда, гдѣ я и буду до конца жизни судить бѣлозерскихъ снѣтковъ. Ясно, что такое будущее не имѣетъ въ себѣ ничего блестящаго.

„Поэтому, въ видахъ моей же собственной пользы, необходимо, чтобы меня забыли, или, лучше сказать, чтобы я напомнилъ о себѣ на другомъ поприщѣ. Доселѣ — я обвинялъ; отнынѣ — буду оправдывать. Я хочу доказать, и докажу, что въ области правосудія нѣтъ ничего для меня недоступнаго. Убѣдившись въ этомъ, генералъ, безъ сомнѣнія, самъ пойметъ, чего онъ лишился, пренебрегши моими заслугами, и тогда мнѣ останется только дать знать стороной, что и мое сердце не недоступно для раскаянія. И я вновь верну себѣ благосклонность моего начальника, и вновь, еще съ болѣею пламенностью, возьму въ свои руки бразды обвиненія. Но уже не иначе, милая маменька, какъ въ качествѣ настоящаго прокурора, а не товарища.



„Весь этотъ планъ отлично объяснилъ мнѣ Ерошеевъ, а покуда далъ мнѣ отличнѣйшій и очень выгодный способъ проявить свои способности на поприщѣ оправданія.

„На дняхъ предстоитъ Петербургу небывалое и величественное зрѣлище: будутъ судиться восемьдесятъ скопцовъ. Собственно Ерошеевъ взялъ на себя лишь декоративную часть этого дѣла, на судѣ же у каждаго изъ обвиненныхъ будетъ по два защитника и по два подручныхъ. Но такъ-какъ въ Петербургѣ нѣтъ такого количества способныхъ на защиту скопцовъ адвокатовъ, то нѣкоторымъ изъ защитниковъ предоставлено будетъ участвовать въ нѣсколькихъ парахъ и, такимъ образомъ, кююлировать нѣсколько гонораровъ. Каждой парѣ назначается говорара сорокъ тысячъ, изъ которыхъ должно удѣлить нѣкоторую часть подручнымъ, въ вознагражденіе за нѣкоторыя занятія, требующія болѣе тѣлесныхъ упражненій, нежели умственного труда.

„Ерошеевъ обѣщалъ мнѣ участіе въ нѣсколькихъ парахъ, при чемъ, на первый разъ, на меня возложена будетъ защита самыхъ легкихъ скопцовъ, дабы на нихъ я могъ, такъ сказать, переломить первое мое копые на аренѣ защиты. Успѣхъ кажется мнѣ до такой степени несомнѣннымъ, что я уже заранѣе далъ назначеніе своему гонорару. Съ вашего позволенія, милая маменька, я приобрѣту ту пустошь, о покупке которой такъ часто мечталъ покойный дяденька. Тогда имѣніе наше будетъ вполнѣ округлено и навсегда обезпечено дугами, въ которыхъ оно такъ сильно до сихъ поръ нуждалось.

„И такъ, я бодрѣ попрежнему. Я сдѣлался даже бодрѣе, ибо теперь уже не боюсь, что кто-нибудь меня внезапно обругаетъ или оборветъ.

„Благословите же меня, добрый другъ мой, потому что въ настоящую минуту ваше благословеніе, болѣе нежели когда-нибудь, для меня дорого. Остаюсь и проч.

„Николай Батищевъ“.

#### IV. — Столпъ.

Въ прежнія времена, когда еще „свои мужички“ были, родовое наше имѣніе Чемезово недаромъ слыло золотымъ дномъ. Всего было у насъ довольно; отъ хлѣба ломились сусѣки; тальками, полотнами, бараными шкурами, сушеными грибами и другимъ деревенскимъ продуктомъ полны были кладовыя. Все это скупалось мѣстными т—скими прасолами, которые зимою и глухою осенью усердно развѣзжали по барскимъ усадьбамъ.

Между этими скупщиками въ особенности памятенъ мнѣ т—скій мѣщанинъ, Осипъ Ивановъ Деруновъ. Я какъ сейчасъ вижу его передъ собою. Человѣкъ онъ былъ среднихъ лѣтъ (лѣтъ тридцати-пяти или съ небольшимъ) и чрезвычайно пріятной наружности. Изъ лица бѣлъ, румянъ и чистъ; глаза голубые; на губахъ улыбка; зубы бѣлые, ровные; волосы бѣлокурые, слегка вьющіеся; походка мягкая; голосъ—ясный и звучный теноръ. Въ домѣ у насъ его рѣшительно всѣ какъ-то особенно жаловали. Папенька любилъ за

то, что онъ былъ словоохотливъ, покладливъ и прекрасно читалъ въ церкви апостола; маменька—за то, что онъ безъ разговоровъ накидывалъ на четверть ржи лишній гривенникъ и лишнюю копѣйку на фунтъ сушеныхъ грибовъ; горничныя дѣвушки—за то, что у него для каждой былъ или подарочекъ, или ласковое слово. Поэтому, когда наѣзжалъ Дерунсѣй, то всѣ лица пресвѣтлялись. Господа видѣли въ немъ, такъ сказать, выразителя ихъ годового дохода; дворовые люди радовались изъ инстинктивного сочувствія къ человѣку оборотливому и живому. Позовутъ, бывало, Дерунова въ столовую и посадятъ вмѣстѣ съ господами чай пить. Сидитъ онъ скромно, пьетъ не торопко, блюдечко съ чаемъ всей пятерней держитъ. Рассказываетъ, гдѣ былъ, чтò у кого купилъ, какъ преосвященный, объѣзжая епархію, въ К—нѣ объѣдную служилъ, какой у протодьякона голосъ и въ какихъ отношеніяхъ находится новый становой къ исправнику и секретарю земскаго суда. Рассказываетъ, что нынче на все дороговизна пошла, и пошла оттого, что „прежнія деньги на сигнаціи были, а теперьче на серебро счетъ пошелъ“; рассказываетъ, что дѣло торговое трудное, что „рынокъ на рынокъ не потрафишь: иной разъ дорого думаешь продать, анъ ни за что спустишь, а другой разъ и совсѣмъ, кажется, дѣловъ нѣтъ, анъ вдругъ Богъ подходящаго человѣка послалъ“; рассказываетъ, что въ скоромъ времени „объявленія набору ждать надо“, и что хотя наборъ—„оно конечно“... „одначе и безъ набору быть нельзя“. Слушаетъ папенька всѣ эти рассказы, и тоже не вытерпитъ—молвить:

— Башка, братъ, у тебя, Осипъ Ивановичъ! Не здѣсь бы, не въ захолустьи бы тебѣ сидѣть! Министромъ бы тебѣ быть надо!

Такъ за Деруновымъ и утвердилась навсегда кличка: „министръ“. И не только у насъ въ домѣ, но и по всей округѣ, между помѣщиками, которыхъ дѣла онъ, конечно, зналъ лучше, нежели они сами. Вездѣ его любили, всѣ совѣтовались съ нимъ и удивлялись его уму, а многіе даже вѣрили ему болѣе или менѣе значительные куши подъ оборотъ, въ полной увѣренности, что Деруновъ не только полностью отдастъ деньги въ срокъ, но и съ благодарностью.

Въ то время Деруновъ только-что начиналъ набираться силы. Въ Т\*\*\* у него былъ постоянный дворъ и при немъ большой хлѣбный лабазъ. Памятенъ мнѣ и этотъ постоянный дворъ, и вся обстановка его. Длинное, одноэтажное строеніе выходило фасадомъ на неоглядную базарную площадь, по которой кружились столбы пыли въ сухое лѣтнее время и на которой тонули въ грязи мужицкіе возы осенью и весною. Крытъ былъ домъ соломой подъ щетку и издали казался громаднымъ, ошетинившимся наметомъ; некрашенныя стѣны отъ времени и непогодъ сильно почернѣли; маленькія, съ незапамятныхъ временъ немытыя оконца поделѣновато глядѣли на площадь и вслѣдствіе осѣвшей на нихъ грязи отливали снаружи всевозможными цвѣтами; тесовыя, почернѣвшія ворота вели въ громадный темный дворъ, въ которомъ непривычный глазъ съ трудомъ могъ что-нибудь различать, кромѣ безчисленныхъ полосъ свѣта, которыя врывались сквозь дыры соломеннаго навѣса и яркими пятнами пестрили навозъ и улитый скотскою мочою деревянный помостъ. Пріѣзжій въѣзжалъ въ ворота и поглощался дворомъ, словно пропастью.



Слышались: фырканье лошадей, позвякиванье колокольцовъ и бубенчиковъ, гулкѣй летъ голубей, хлопанье крыльями домашней птицы; гдѣ-то, въ самомъ темномъ углу, забранномъ старыми досками, хрюкалъ поросенокъ, откармливаемый на убой къ одному изъ многочисленныхъ храмовыхъ праздниковъ. Обдавало запахомъ дегтя, навоза, самоварнаго чада и вареной убоины, паръ отъ которой валилъ во дворъ черезъ отворенную дверь черной избы. Направо отъ воротъ спускалось во дворъ крыльцо съ колеблющимися ступеньками и съ небольшими сѣнцами вверху, въ которыхъ постоянно пыхтѣлъ самоваръ съ вѣчно наставленною трубою. Выйдя изъ сѣней, вы встрѣчали нѣчто въ родѣ холоднаго корридора съ чуланчиками и кладовушками на каждомъ шагу, въ которомъ царствовала такая кромѣшная тьма, что надо было идти ощупью, чтобъ не стукнуться лбомъ объ какую-нибудь перекладину или не споткнуться. Изъ этого корридора шли двери, прежде всего въ черную избу, въ которой останавливались подводчики и прочій сѣрый людъ, и затѣмъ въ „чистые покои“, гдѣ останавливались проѣзжіе помѣщики. Черная изба была довольно обширная о трехъ окнахъ комната, въ которой, за перегородкой, съ молодою женой (женился онъ довольно поздно, когда ему было уже около тридцати лѣтъ) ютился самъ хозяинъ. „Чистые покои“ были маленькія, узенькія комнатки; въ нихъ пахло затхлостью, мышами и тараканами; половицы шатались и изобиловали щелями и дырами, прогрызенными крысами; газетная бумага, которою обклеены были стѣны, мѣстами висѣла клочьями, мѣстами совсѣмъ была отодрана. Оконныя рамы чуть держались на петляхъ и при всякомъ порывѣ вѣтра съ шумомъ отворялись или захлопывались. И сколько тутъ было мухъ, таракановъ, клоповъ!

Несмотря на эту незавидную обстановку, проѣзжій людъ такъ и валилъ къ Осипу Иванову. Для чернаго люда у него были такія щи, „что не продаешь“; для помѣщиковъ—привѣтливое слово и умное разсужденіе въ родѣ того, что „прежде счетъ на сигнаціи былъ, а нынче на серебро пошелъ“. Мнѣ, юношѣ лѣтъ тринадцати-четырнадцати, было столько разъ говорено объ умѣ Осипа Иваныча, что я даже побаивался его. Когда я останавливался на его постояломъ дворѣ, проѣздомъ, во время каникулъ, въ родное гнѣздо, онъ обращался со мною ласково и въ то же время учительно. Войдетъ, бывало, въ занятую мною комнату, сядетъ, покуда я закусываю, у стола противъ меня и начнетъ экзаменовать.

— Въ побывку, паренекъ, собрался?

— На каникулы, Осипъ Иванычъ.

— Гм... каникулы... это когда песьи мухи одолѣваютъ? Ну, надо экзаментъ тебѣ сдѣлать. Учителямъ потрафлялъ ли?

— Потрафлялъ, Осипъ Иванычъ.

— Это хорошо, что учителямъ потрафляешь. Въ науку пошелъ—надо потрафлять. Иной разъ и занапрасно учитель побьетъ, а ты ему: „покорно, молъ, благодарю, Августъ Карлычъ!“ Вѣдь нѣмцы, поди, у васъ?

— Нѣмцы, Осипъ Иванычъ; только у насъ учителямъ бить не позволяется.

— И не позволяется, а все же, чай, потихоньку исправляются. И насъ царь побивать не велѣлъ, а кто только насъ не побиваетъ!

— Ей-Богу, Осипъ Иванычъ, у насъ не бьютъ!

Но Осипъ Иванычъ только покачиваетъ въ отвѣтъ головой, что меня всегда очень обижало, потому что я воспитывался въ одномъ изъ тѣхъ рѣдкихъ въ то время заведеній, гдѣ дѣйствительно тѣлесное наказаніе допускалось лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ.

— А заповѣдямъ учился? — продолжаетъ между тѣмъ экзаменовать Осипъ Иванычъ.

— Знаю.

— А коли знаешь, такъ, значить, прежде всего Бога люби да родителейъ чти. Почитаешь ли родителейъ-то?

— Почитаю, Осипъ Иванычъ.

— Чти родителей, потому что безъ нихъ вашему брату дѣваться некуда, даромъ что ты востеръ. Вотъ изъ ученья выйдешь — кто тебѣ на прожитокъ дастъ? Жениться захочешь — кто невѣсту припасетъ? — все родители! Такъ ты и утромъ, и вечеромъ за нихъ Бога моли: спаси, молю, Господи, папынку, мамынку, сродственниковъ! Всѣхъ, сударь, чти!

— И то чту!

— То-то, говорю: чти! Вотъ мы, чернядь, какъ въ совершенныя лѣта придемъ, такъ сами домой несемъ! Родитель-то тебѣ мѣдную копѣечку дастъ, а ты ему рубль принеси! А и мы родителей почитаемъ! А вы, дворяна, ровно малолѣтныя, до старости все изъ дому тащите — какъ же вамъ родителей не любить!

— Выйду изъ ученья, на службу поступлю, самъ буду жалованье получать.

— Велико твое жалованье — въ баню на него сходить! Жалованья-то дадутъ тебѣ алтынъ, а прихотей у тебя на сто рублей. Тутъ только тебѣ подавай!

Я не возражалъ; наступало нѣсколько минутъ затишья, въ продолженіе которыхъ Осипъ Иванычъ громко зѣвалъ и крестилъ свой ротъ. Но не такой онъ былъ человѣкъ, чтобы скоро отстать.

— Я тоже родителей чтилъ, — продолжалъ онъ прерванную бесѣду: — за это меня и Богъ благословилъ. Бывало, родитель-то гнѣвается, а я ему въ ножки! Зато теперь я съ домкомъ; своимъ хозяйствомъ живу. Все у меня какъ слѣдуетъ; пороковъ за мной не состоитъ. Не пьяница, не тать, не прелюбодѣй. А вотъ братецъ у меня, такъ тотъ передъ родителями-то фордыбаченьемъ думалъ взять — анъ и до сихъ поръ въ кабалѣ у купцовъ состоитъ. Курицы у него своей нѣтъ!

— Можетъ быть, его обдѣлили?

— Не кто обдѣлилъ, самъ себя обдѣлилъ. Сама себя раба бьетъ, коли плохо жветъ. На все, сударь, воля родительская!

Проекзаменовавши меня такимъ родомъ и оставшись испытаніемъ доволенъ, Осипъ Иванычъ предлагалъ мнѣ отдохнуть съ дороги и уводилъ въ баньку, гдѣ разстилалось душистое одворичное сѣно и куда ни одна муха, ни одинъ клопъ не смѣли проникнуть. Тамъ я засыпалъ тѣмъ глубокимъ и освѣжительнымъ сномъ, которымъ можетъ засыпать только юноша, испытавшій сряду нѣсколько дней тряской и бессонной дороги. Часа черезъ три меня,



полусоннаго, поднимали съ мягкаго ложа, укладывали въ тарантасъ и увозили изъ Т\*\*\* въ Чemezovo, гдѣ ждали меня новыя экзамены въ томъ же родѣ и духѣ, какъ и сейчасъ выдержанный экзаменъ Осипа Иваныча.

Но тогда было время тугое, и, несмотря на оборотливостъ Дерунова, дѣла его развивались не особенно быстро. Онъ выписался изъ мѣщанъ въ купцы, слылъ за человѣка зажиточнаго, но долго и крѣпко держался постоялаго двора и лабаза. Можетъ быть и скопился у него капиталецъ, да по тогдашнему времени пристроить его было некуда.

Рисковать было не въ обычаѣ; жили осторожно, прижимисто, какъ будто боялись, что увидятъ — отнять. Конечно, и тогда встрѣчались аферисты и пройдохи, но чтобы идти по ихъ слѣдамъ, нужно было имѣть большую рѣшимость и несомнѣнную готовность претерпѣть. Человѣкъ робкій, или, какъ тогда говорилось, „основательный“, неохотно ввязывался въ операціи, которыя были сопряжены съ рискомъ и хлопотами. Богатства пріобрѣтались терпѣніемъ и неустаннымъ присовокупленіемъ гроша къ грошу, для чего не требовалось ни особенной развязности ума, ни той канальской изворотливости, безъ которой не можетъ ступить шагу человѣкъ, изъявляющій твердое намѣреніе выбрать изъ кармановъ своихъ ближнихъ все, что въ нихъ обрѣтается.

Съ тѣхъ поръ прошло около двадцати лѣтъ. Въ продолженіе этого времени я вынесъ много всякаго рода жизненныхъ толчковъ, странствуя по морю житейскому. Исколесовалъ отъ конца въ конецъ всю Россію, перебивалъ во всевозможныхъ градахъ и весяхъ: и соломенныхъ, и голодныхъ, и холодныхъ, но не видалъ ни Т\*\*\*, ни родного гнѣзда. И вотъ, однакожъ, судьба бросила меня и туда...

Пріѣзжаю въ Т\*\*\* и съ перваго же взгляда убѣждаюсь, что умы развязались. Во-первыхъ, къ самымъ, такъ сказать, воротамъ города проведена желѣзная дорога. Двадцать лѣтъ тому назадъ, никто бы не догадался, что изъ Т\*\*\* можно что-нибудь возить; теперь не только возятъ, но даже прямо говорятъ, что и конца этой возкѣ не будетъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ, почти весь мѣстнаго производства хлѣбъ потребляли на мѣстѣ; теперь — запросъ на хлѣбъ сталъ такъ великъ, что съѣдать его весь сдѣлалось какъ бы щекотливымъ. Свистнеть паровозъ, загрохочетъ поѣздъ, и увозить, и увозить бунты за бунтами куда-то въ синюю даль. И даже не знаетъ бессмысленная чернь, куда исчезаетъ ея трудовой хлѣбъ и кого онъ будетъ питать...

Во-вторыхъ, кабаковъ было не больше пяти-шести на весь городъ; теперь на каждый переулочекъ не менѣе пяти-шести кабаковъ.

Въ-третьихъ, городъ осенью и весной утопалъ въ грязи, а лѣтомъ задыхался отъ пыли; теперь — соборную площадь ужъ вымостили, да, того гляди, вымостятъ и Московскую улицу.

Въ-четвертыхъ, прежде былъ городничій, который всѣмъ вѣдалъ, всѣхъ каралъ и миловалъ; теперь — до того доведено самоуправленіе, что даже въ городскіе головы избранъ отставной корнетъ.

Въ-пятыхъ, прежде правосудіе предоставлялось уѣзднымъ судамъ, и я какъ сейчасъ вижу толпу голодныхъ подъячихъ, которые за рубль серебра готовы были вамъ всякое удовлетвореніе сдѣлать. Теперь настоящаго суда нѣтъ, а судить и рядить какой-то совершенно безразсудный отставной по-

ручикъ изъ мѣстныхъ помѣщиковъ, который, не ожидая даже рубля серебромъ, въ силу одного лишь собственнаго легкомыслія, готовъ во всякую минуту въ конецъ обездолжить васъ.

Въ-шестыхъ, наконецъ, прежде совѣмъ не было адвокатовъ, а были люди, носившіе названіе „ябедниковъ“, „приказныхъ строкъ“, „крапивнаго сѣмени“ и т. д., которые ловили кліентовъ по кабакамъ и писали неосновательныя просьбы за косушку. Нынче и въ Т\*\*\* завелось до десяти „аблакатовъ“, которые и за самую неосновательную просьбу меньше красненькой не возьмутъ.

Вмѣстѣ съ общимъ обновленіемъ, измѣнилось и положеніе Дерунова. Еще ѣхавши по желѣзной дорогѣ въ Т\*\*\*, я уже слышалъ, что имя его упоминалось какъ имя главнаго мѣстнаго воротилы. Разбогатѣлъ онъ страшно, и уже не сколачивалъ по копѣчкѣ, а прямо орудовалъ. Арендовалъ у помѣщиковъ винокуренные заводы, въ большинствѣ городовъ губерніи имѣлъ винныя склады, содержалъ громадное количество кабаковъ, скупалъ и откармливалъ скотъ и всю мѣстную хлѣбную торговлю прибралъ къ своимъ рукамъ. Однимъ словомъ, это былъ монополистъ, который всякую чужую копѣйку считалъ гулящею и не успокоивался до тѣхъ поръ, пока не залучитъ все въ свой карманъ.

Раннимъ утромъ поѣздъ примчалъ насъ въ Т\*\*\*. Я надѣялся, что найду тутъ своихъ лошадей, но за мной еще не пріѣхали. Въ ожиданіи я кое-какъ пріютился въ довольно грязной мѣстной гостиницѣ и, имѣя сердце чувствительное, разумѣется, не утерпѣлъ, чтобы не повидаться съ дорогими свидѣтелями моего дѣтства: съ постояннымъ дворомъ и его бывшимъ владѣльцемъ.

Старого постоялаго двора уже не было и слѣда. На мѣстѣ его возвышались двухъ-этажныя каменныя палаты, съ пространными флигелями и амбарами, въ которыхъ помѣщались контора и склады. Ужасно это меня огорчило. Вотъ тутъ, на самомъ этомъ мѣстѣ, была любезнѣйшая сердцу грязь; вотъ здѣсь я лакомился сдобными лепешками со сливками; вотъ тамъ я дразнилъ индюка... И вдругъ—ничего этого нѣтъ! Какія-то каменныя палаты, отъ которыхъ не вѣетъ ничѣмъ, отзывающимся сердечною теплотою! До такой степени это поразило меня, что, взойдя на парадное крыльцо, я даже предложилъ себѣ вопросъ: не дать ли тягу? Кто знаетъ, не окаментѣлъ ли и самъ Деруновъ, подобно своимъ палатамъ! Вспоминаетъ ли о прежнихъ сѣренькихъ дняхъ, или же онъ и прошлое свое, вмѣстѣ съ другою ненужною ветошью, сбылъ куда-нибудь въ такое мѣсто, гдѣ его никакими способами даже отыскать нельзя! Я несчастливъ, и потому очень понятно, что для меня всякая подробность прошлаго имѣетъ цѣну свѣтлаго воспоминанія. Напротивъ того, Деруновъ счастливъ—зачѣмъ же, спрашивается, ему прошлое, въ которомъ, все-таки, было не безъ плутней, а слѣдовательно и не безъ потасовокъ за оныя?

Теперь Деруновъ — опора и столпъ. Авторитеты уважаетъ, собственность чтитъ, насчетъ семейнаго союза нимало не сомнѣвается. Онъ много и безпрекословно жертвуетъ и получаетъ за это медали; на немъ почіетъ мно-



жество благословеній синода; у него въ домѣ останавливается, во время ревизіи, губернаторъ; его чуть не боготворить исправникъ и тщетно старается подкузъмить мировой судья. Въ довершеніе всего, у него дочь выдана за полковника. Какое значеніе могу я имѣть въ его глазахъ, кромѣ значенія ненужнаго напоминанія прошлаго? Я не могу ничего ни продать, ни купить, ни даже предложить какія-нибудь услуги. Я—ветошь прошлаго, очевидецъ замасленной сибирки, загаженныхъ мухами счетовъ, на которыхъ онъ когда-то щелкалъ, приговаривая: „за самоваръ пять копѣчекъ, овсеца мѣру брали—двадцать копѣчекъ, за тепло—сколько пожалуете“ и т. д. Зачѣмъ я пришелъ?

Но куда я раздумывалъ, въ воротахъ дома показался самъ старикъ Деруновъ, который только-что окончилъ свои распоряженія во дворѣ.

Несмотря на свои слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ, онъ былъ совершенно бодръ и свѣжъ. Онъ представлялъ собою совершеннѣйшій типъ той породы крѣпкихъ, сильныхъ и румяныхъ стариковъ, которыхъ называютъ благолѣпными. Голубые глаза его слегка потускнѣли, влѣдствіе старческой слезы, но смотрѣли попрежнему благодушно, какъ будто говорили: зачѣмъ тебѣ въ душу мою забираться? я и безъ того весь тутъ! Волоса побѣлѣли, но еще кудрявились, обрамливая обнаженный черепъ и образуя вокругъ головы родъ облака. Та же пріятная улыбка на губахъ, тотъ же мягкій, лишь слегка надтреснутый теноръ. Словомъ сказать, передо мной стоялъ прежній Осипъ Ивановъ, но только посановитѣе и въ то же время поумѣтѣе и пощеголеватѣе.

— Вамъ до меня?—обратился онъ ко мнѣ съ вопросомъ. Я назвалъ себя.

Старикъ постоялъ съ минуту, какъ бы ища въ своей памяти, но наконецъ вспомнилъ. И, сказать по правдѣ, вспомнилъ съ видимымъ удовольствіемъ.

— Господи!—засуетился онъ около меня:—лѣгко ли дѣло, сколько годовъ не видались! Поди, ужъ лѣтъ сорокъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ ты у меня махонькой на постояломъ лошадей кармливаль!

— Сорокъ не сорокъ, а много-таки воды утекло!

— Чтѣ и говорить! Вотъ и у васъ, сударь, головка-то бѣленька стала, а объ старикахъ и говорить нечего. Впрочемъ я на себя не пожалуюсь: ни единой во мнѣ хворости до сей поры нѣтъ! Да чтѣ же мы здѣсь стоимъ! Милости просимъ наверхъ!

Пошли въ домъ; лѣстница отличная, свѣтлая; въ комнатахъ—благолѣпіе. Сначала мнѣ любопытно было взглянуть, каковъ-то покажется Осипъ Ивановичъ среди всей этой роскоши, но я тотчасъ же убѣдился, что для моего любопытства нѣтъ ни малѣйшаго повода: до такой степени онъ освоился со своею новою обстановкой.

— Вотъ какую хижу я себѣ выстроилъ!—привѣтствовалъ онъ меня, когда мы вошли въ кабинетъ:—теперь у меня простора вдоволь, хоть въ дрожкахъ по горницамъ разѣзжай. А прежде-то чтѣ на этомъ мѣстѣ было... чай, помните?

— Да, не забылъ-таки. И знаете ли, Осипъ Ивановичъ, какъ подходилъ къ вашему дому, да увидѣлъ, что прежняго постоялаго двора нѣтъ—какъ будто жаль стало!

— Чтò жалѣть-то! Вони да грязи мало, что-ли, было? Послѣ постоялаго-то у меня тутъ другой домѣкъ, чистый, былъ, да и въ томъ тѣсно стало. Скоро пять лѣтъ будетъ, какъ вотъ эти палаты выстроилъ. Жить надо такъ, чтобъ и свѣтло, и тепло, и во всемъ чтобъ приволье было. При деньгахъ да не пожить? за это и люди осудятъ! Ну, а теперь побесѣдуйте, сударь, закусимте; я ужъ васъ отъ себя не пущу! Сказывай, сударь, зачѣмъ пріѣхалъ? нужды нѣтъ ли какой?

Старикъ, очевидно, не зналъ, какой тонъ установить въ отношеніи ко мнѣ, и потому непрерывно переходилъ отъ „вы“ на „ты“.

— Да у васъ, чай, дѣла; еще задержишь...

— Какія дѣла! всѣхъ дѣлъ не передѣлаешь! Для дѣловъ дѣльцы есть — ну, и пускай ихъ, съ Богомъ, бѣгаютъ! Господи! сколько годовъ, сколько годовъ-то прошло! Голова-то у тебя вѣдь почестъ бѣлая! Чай, въ городъ-то въ родной вѣхали, такъ диву дались!

— Да, порядочно-таки измѣнился!

— Пстой, чтò еще впередъ будетъ! Площадь-то какая прежде была? экипажи изъ грязи народомъ вытаскивали! А теперь, посмотри — какъ есть красавица! Соборъ-то, соборъ-то! на кумполь-то взгляни! За пятнадцать верстъ, какъ по острѣченскому тракту ѣдешь, видно! Какъ съ послѣдней станціи выѣдешь — все передъ глазами, словно вотъ рукой до города-то подать! Каменныхъ домовъ сколько понастроили! А ужò, какъ Московскую улицу вымостимъ да гостинный дворъ выстроимъ — чѣмъ не Москва будетъ!

— Хорошо-то хорошо... да вѣдь и прежде...

— Нечего, сударь, прежняго жалѣть! Надо дѣло говорить: ничего въ „прежнемъ“ хорошаго не было! Я и старикъ, а не жалѣю. Только вонь и грязь была. А этого добра, коли кому пріятно, и нынче вдоволь достать можно. Поѣзжай въ „пѣшую слободу“, да и живи тамъ въ навозѣ!

Осипъ Ивановичъ на минуту остановился, и не то восторженно, не то иронически воскликнулъ:

— Однихъ питейныхъ заведеній у насъ нынче числомъ шестьдесятъ-пять штукъ!

— Да? ну, это, конечно, усовершенствованіе немаловажное...

— Не нравится? А мнѣ такъ любо смотрѣть! ровно часовые по улицѣ-то стоятъ! впускать впускать, а выпустить — и думать не мочи!

— Чтò жъ тутъ хорошаго!

— А то и хорошо, что вольному воля! Прежде насчетъ всего запретъ былъ, а нынче — воля! А впрочемъ, доложу вамъ, умному человѣку на этотъ счетъ все едино: чтò запретъ, чтò воля. Когда запретъ былъ — у умнаго человѣка на предметъ запрета выдумка была; воля пришла — у него на предметъ этой самой воли выдумка готова! Умный человѣкъ никогда безъ хлѣба не оставался. А что касается до прочихъ, такъ вѣдь и для нихъ все равно. Только на выворотъ... ха-ха!

Осипъ Ивановичъ звонко и добродушно засмѣялся и даже нѣсколько, кажется, удивился, что и я вмѣстѣ съ нимъ не смѣюсь.

— Да чтò жъ ты унылой какой сдѣлался! — сказалъ онъ: — а ты побравѣ,



поповоротливѣе взглядывай! потрафляй! На меня смотри: чѣмъ былъ и чѣмъ сталъ!

— Да, вамъ-таки посчастливилось, кажется!

— Благословилъ Господь! А все-таки, скажу, въ нашемъ дѣлѣ, какъ кому потрафится! Съумѣлъ потрафить — съ рублемъ будешь; не съумѣлъ — въ трубу вылетѣлъ! Одно вѣрно: руки склавши сидѣть будешь — много не наживешь! Не мало тоже я думы передумалъ, покуда рѣшился колесо-то это завести. Прежде и я позернышку клевалъ, ну, а потомъ вижу — люди горстями хватаютъ, подумалъ: не все же людямъ, и намъ, можетъ, частица перепадеть! Да объ этомъ послѣ! Чтò мы такъ-то сидимъ! Эй, чаю сюда! да закусочки! Господи! сколько лѣтъ, сколько зимъ! Еще отъ родителей вашихъ, сударь, ласку видѣлъ, вотъ оно, когда знакомство-то началось! Недавно еще мимо Чemezова-то проѣзжалъ — вспоминалъ! какъ же! Домъ-то барскій, сказываютъ, ужъ обвалился; ни замковъ, ни заслонокъ, даже кирпичи изъ печей — и тѣ повытасканы. Пожалѣлъ я: стоитъ машина безъ оконъ, словно инвалидъ безъ глазъ!

Осипъ Иванычъ неодобрительно покачалъ головой. Между тѣмъ подали чай, а на другомъ столѣ приготавливали закуску.

— Туда, что-ли, сударь, ѣдете? — обратился ко мнѣ Деруновъ.

— Туда.

— Чтò дѣлать предполагаете?

— Да посмотрю...

— По правдѣ сказать, невелико вамъ нынче веселье, дворянамъ. Очень ужъ оплошали вы. Начнемъ хоть съ тебя: шутка сказать, двадцать лѣтъ въ своемъ родномъ гнѣздѣ не бывалъ! Гдѣ былъ? зачѣмъ странствовалъ? — спросилъ бы я тебя — такъ самъ, чай, отвѣта не дашь! Служилъ семь лѣтъ, а выслужилъ семь рѣшъ!

— Всякому свое, Осипъ Иванычъ. Можетъ быть, и на нашей улицѣ будетъ праздникъ!

— Знаю я, сударь, что начальство пристроить васъ куда-нибудь желаетъ. Да врядъ-ли. Не туда вы глядите, чтобъ къ какому-ни-на-есть дѣлу приспособиться!

— Ужъ будто и дѣла для насъ никакого не найдется?

— Какое же дѣло! Вино вамъ предоставлено было однимъ курить — кажется, на что статья подходящая! — а много ли барыша нажили! Побились, побились, да къ тому же Дерунову на поклонъ пришли — выручай! Нечего дѣлать — выручилъ! Теперь всѣ заводы въ округѣ у меня въ арендѣ состоятъ. Плачу аренду исправно, до отвѣтственности не допускаю — загребай помѣщикъ денежки да живи на теплыхъ водахъ!

— Воспитаніе, Осипъ Иванычъ, не такое мы получили, чтобъ объ матеріальныхъ интересахъ заботиться. Я вотъ по-латыни прежде хорошо зналъ, да, жалъ, и ее позабылъ. А кабы не позабылъ, тоже утѣшался бы теперь!

— На пустыя поля да на бѣлоусъ гляючи. Такъ, сударь. А надолго ли, смѣю спросить, въ Чemezово-то собрались?

— Нѣтъ, зачѣмъ надолго! Посмотрѣть да кой-чѣмъ распорядиться — и опять въ Петербургъ!

— То-то. Въ деревнѣ вѣдь тоже пить-ѣсть надо. Земля есть, да ее не укусишь. А въ Петербургѣ, все-таки, что-нибудь добудешь. Да ты не обидься, чтѣ я тебя спрошу: кончать, что-ли, съ вотчиной-то хочешь?

— Хотѣлось бы. Крестьяне на выкупѣ, земля — обрѣзки кое-какіе остались; не къ рукамъ мнѣ, Осипъ Иванычъ!

— А не къ рукамъ, такъ продать нужно. Дерунова за бока! Чтѣ жъ, я и теперь послужить готовъ, какъ въ старину служивалъ. Даромъ денегъ не дамъ, а настоящую цѣну отчего не заплатить? Заплачу!

— Да вѣдь настоящая-то цѣна... кто ее знаетъ, какая она?!

— Настоящая цѣна — христіанская цѣна. Чтобъ ни мнѣ, ни тебѣ — никому не обидно; вотъ какая это цѣна! У тебя какая земля? И тебѣ она не нужна, и мнѣ не нужна! Вотъ по этому самому мачтабу и прикладывай, чего она стѣдитъ!

— Однако вѣдь вы охотитесь же купить!

— Такъ, балую. У меня теперь почесть четверть уѣзда земли-то въ рукахъ. Скупаю по малости, ежели кто отъ нужды продаетъ. Да и услужить хочется — какъ хорошему человѣку не услужить! Всѣ мы Боговы слуги, всѣ другъ дружкѣ тяготы нести должны. И съ твоей землей у меня купленная земля по смежности есть. Твои-то клочки къ прочимъ ежели присовокупить — анъ дача выйдетъ. А у тебя развѣ дача?

— Ну, кромѣ васъ, и крестьяне, можетъ быть, пожелаютъ приобрѣсти.

— Крестьяне? крестьянину, сударь, дани платить надо, а не о приобрѣтеніи думать. Это не нами заведено, не нами и кончится. Всѣмъ онъ данъ несетъ; не только казнѣ-матушкѣ, а и мнѣ, и тебѣ, хоть мы и не замѣчаемъ того. Такъ ему свыше прописано. И по моему слабому разуму, ежели человѣкъ бѣдный, такъ чѣмъ меньше у него, тѣмъ даже лучше. Лишней обузы нѣтъ.

Сужденіе это было такъ неожиданно, что я невольно взглянулъ на моего собесѣдника, не разсердился ли онъ на что-нибудь. Но онъ попрежнему былъ румянъ; попрежнему невозмутимо, благодушно смотрѣли его глаза; попрежнему на губахъ играла пріятная улыбка.

— Да ужъ не разсердили ли васъ чѣмъ-нибудь крестьяне, что вы отъ лишней обузы облегчить ихъ хотите?—спросилъ я.

— Я-то сержусь! Я ужъ который годъ и не знаю, чтѣ за сердце такое на свѣтѣ есть! На мужичка сердиться! И-и! да отъ кого же я и пользу имѣю, какъ не отъ мужичка! Я вотъ только тебѣ по христіанскому говорю: не вяжись ты съ мужикомъ! не твое это дѣло! Предоставь мнѣ съ мужика получать! ужъ я своего не упущу, все до копѣйки выберу!

— Послушайте, однакожъ: почему же вы полагаете, что я не получу? Вѣдь это странно: вы получите, а я не получу!

— Ничего тутъ страннаго нѣтъ. Вы только подумайте, сударь, мое ли дѣло, или ваше? Я вотъ аблаката нанимаю, полторы тысячи ему плачу, такъ онъ у меня и въ пирѣ, и въ мирѣ. Ѣздитъ себѣ да покатывается. У меня въ годъ-то, можетъ, больше сотни дѣлъ во всѣхъ мѣстахъ перебываетъ. Тутъ и въ грошъ есть, и въ тысячу. Такъ разложите эти полторы тысячи на сто дѣлъ—чтѣ выйдетъ! Плѣвое дѣло? А тебѣ изъ-за каждой срубленной елки,



изъ-за каждой гривенной потравы аблакаты нанимать нужно! Резонъ ли это? Гдѣ ты столько денегъ найдешь, чтобъ эту прорву насытить? Да и аблакаты-то гдѣ еще найдешь? за нимъ тоже въ городъ ѣхать нужно, харчиться, убытчиться! Во что это тебѣ вскочитъ? А земля-то, сударь, хоть и нѣтъ у нея души, а чувствуетъ она, матушка, что у ней настоящаго радѣтеля нѣтъ!

— Да я не объ землѣ. Я знаю, что я не радѣтель землѣ. Я землю мужикамъ продамъ, а съ мужиковъ деньги получу.

— Разомъ ничего вы, сударь, съ нихъ не получите, потому что у нихъ и денегъ-то настоящихъ нѣтъ. Придется въ разсрочку дѣло оттягивать. А разсрочка эта вотъ что значитъ: поплатятъ они съ грѣхомъ-пополамъ годокъ, другой, а потомъ и надоѣстъ: все плати да плати!

— Надоѣстъ! Это развѣ резонъ! вѣдь не безсудная же земля!

— И земля не безсудная, и резону не платить нѣтъ, а только вѣдь и деньга защитника любить. Нѣтъ у нея радѣтеля—она промежъ пальцевъ прошла! есть радѣтель — она и сама собой въ карманѣ запутается. Ну, положимъ, разсрочилъ ты крестьянамъ уплату на десять лѣтъ... примѣрно, хоть по полторы тысячи въ годъ...

„По полторы тысячи! стало быть, пятнадцать тысячъ въ десять лѣтъ!“ мелькнуло у меня въ головѣ. „Однако, братъ, ты ловокъ! сколько же *разомъ*-то ты намѣренъ былъ мнѣ отсыпать?!“

— Ну, продалъ, заключилъ условіе, уѣхалъ. Не управляющаго же тебѣ нанимать, чтобъ за полуторами тысячами смотрѣть. Уѣхалъ — и вся недолга! Ну, годъ они тебѣ платятъ, другой платятъ; на третій — пишутъ: „сѣновъ не родилось, скотъ выпалъ“ ... Неужтожъ ты изъ Питера сюда поскачешь, чтобъ съ ними судиться?!

— Не поскачу, а напишу кому слѣдуетъ.

— Да вѣдь у нихъ и взаправду скотъ выпалъ — неужто ты ихъ зорить будешь!

— Однако вѣдь вы взыскали бы?

— Я — другое дѣло. Я радѣтель. Я и землю соблюду, и деньги взыщу. Я всякое дѣло порядкомъ поведу. Ежели бы я, на примѣръ, и совсѣмъ за землей не смотрѣлъ, такъ у меня крестьянинъ синь-пороха не украдетъ. Потому у него изстари составилось мнѣніе, что у Дерунова ничего плохо не лежитъ. Опять же и насчетъ взысканій: не разоряю я, а исподволь взыскиваю. Вижу, коли у котораго силы нѣтъ — въ работу возьму. Дрова заставляю пилить, сѣно косить — мнѣ всего много нужно. Ему пріятно, потому что онъ гроша изъ кармана не вынулъ, а ровно бы на гулянкахъ отработался, а мнѣ и того пріятнѣе, потому что я работой-то съ него вмѣсто рубля — два получу!

— Ну, а вы... сколько бы вы мнѣ за землю предложили?

— Пять тысячъ — самая христіанская цѣна. И деньги сейчасъ въ столѣ — словно бы для тебя припасены. Пять тысячъ на кругъ! тутъ и худая, и хорошая десятина — все въ одной цѣнѣ!

— Ну, нѣтъ, это дешевенько. Лучше ужъ я посмотрю!

— Посмотри! что жъ, и посмотрѣть не худое дѣло! Старики говаривали: свой глазокъ — смотрокъ! И я вотъ старъ-старъ, а вездѣ самъ посмотрю. Боль-

шая у меня сѣтъ раскинута, и не оглядишь всеё — а все какъ-то сердце не на мѣстѣ, какъ гдѣ самъ не досмотришь! Такъ день-деньской и маюсь. А, право, пять тысячъ далъ бы! и деньги припасены въ столѣ — ровно какъ тебя ждалъ!

Однако я ничего не отвѣтилъ на этотъ новый вызовъ. Мы оба на минуту смолкли, но я инстинктивно почувствовалъ, что между нами вдругъ образовалась какая-то натянутость. Я смотрѣлъ въ сторону. Осипъ Ивановичъ тоже поглядывалъ куда-то въ уголь.

— Ну, а ваши дѣла какъ? — прервалъ я первый молчаніе.

— Нечего Бога гнѣвить — дѣла хороши! Нынѣче только мозгами шевелить не лѣнись, а деньга сама къ тебѣ привалить!

— Хлѣбомъ торгуете?

— Хлѣбомъ нынѣче за первый сортъ торговать. Насчетъ податей строго стало, выкупные требуютъ — ну, и везутъ. Иному и самому нужно, а онъ отъ нужды везетъ. Очень эта операція нынѣче выгодная.

— Скотъ скупаєте тоже, я слышалъ?

— И скотъ скупать хорошо, коли ко время. Вотъ въ мартѣ кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнутъ — тутъ только не плошай! За безцѣнокъ цѣлые табуны покупаемъ, да на винокуренныхъ заводахъ на барду ставимъ! Хорошій барышъ бываетъ.

— Лѣса, вино?

— И лѣсами подобрались — дрова въ цѣнѣ стали. И вино — статья полезная, потому — воля. Я нынѣче фабрику миткалевую завелъ: очень ужъ народъ дешевъ, а провозъ-то по чугункѣ не Богъ знаетъ чего стѣдитъ! Да чтѣ! Я хочу тебя спросить: пошли нынѣче акціи, и мнѣ тоже предлагали, да я не взялъ!

— Что жъ такъ?

— Опаску имѣю. Намеднишь даже генераль ко мнѣ изъ Питера приѣзжалъ. Снялъ, вишь, желѣзную дорогу, такъ въ учредители звалъ. Очень хвалилъ!

— Зачѣмъ же стало?

— То-то, что Сибирь-то еще у меня въ памяти! Забыть бы объ ней надо! Еще бы вольнѣ орудовать можно было!

— Съ какой же тутъ стати Сибирь?

— Да вѣдь на грѣхъ мастера нѣтъ. Толковалъ онъ мнѣ много, да мудрено что-то. Я ему говорю: вотъ рубль — желаю на него пятнадцать копѣчекъ получить. А онъ мнѣ: „Зачѣмъ твой рубль? Твой рубль только для прилику, а ты просто задаромъ еще другой такой рубль получишь!“ Ну, я и поусумнился. Сибирь, думаю. Вотъ сынъ у меня, Николай Осипычъ — тотъ сразу эту механику понималъ!

— Должно быть, вашъ генераль помѣщеніе для облигаціи выгодное нашель; ну, акціи-то и пойдутъ какъ будто на придачу.

— Вотъ это самое и онъ толковалъ, да вычурно что-то. Много, ахъ, много нынѣче безмѣстныхъ-то шляется! То съ тѣмъ, то съ другимъ. Намеднишь тоже Прокофій Ивановичъ — помѣщикъ здѣшній, Томилинымъ прозывается — съ каменнымъ углемъ напрашивался: будто бы у него въ имѣніи не



есть этому уголю конца. Счастливики вы, господа дворяне! Нѣтъ-нѣтъ, да что-нибудь у васъ и окажется! Совсѣмъ-было капутъ вамъ — анъ вдругъ на лѣсъ потребитель явился. Лѣсъ извели — уголь явился. Того гляди, золото окажется — ей-Богу, такъ!

— Вотъ какъ вы всѣ земли-то купите, вамъ все и достанется: и уголь, и золото! Ну, а семейство ваше какъ?

— Живемъ помаленьку. Жена, слава Богу, поперекъ себя шире стала. Въ проферанецъ играть выучилась! Я ей, для спокою, и компанію составилъ: капитанъ тутъ одинъ, да бывшій судья, да Глафиринъ Николай Петровичъ.

— Это предводитель-то?

— Былъ предводителемъ, а нынче онъ, какъ и прочіе, на Бога да на каменный уголь надежду имѣетъ. Сколь прежде былъ лютъ, столь нынче смиренъ. Собираются съ обѣда да и обыгрываютъ Анну Ивановну помаленьку. Мнѣ неубыточно, имъ — рублишко на молочишко, а ей — моціонъ!

— А дѣти?

— Старшій сынъ, Николай, дѣльный парень вышелъ. Съ понятіемъ. Теперь онъ за сорокъ верстъ, въ С\*\*\* хлѣбъ закупать уѣхалъ! Съ часу на часъ домой жду. Здѣсь-то мы хлѣбъ нынче не покупаемъ; станція — такъ конкурентовъ много развелось, приказчиковъ съ Москвы насылаютъ, цѣны набиваютъ. А подальше — поглуше. Ну, а младшій сынъ, Яковъ Осипычъ — тотъ съ изъянцемъ. Съ годъ мѣста на глаза его не пуцаю, а по времени, пожалуй, и совсѣмъ отъ себя отпихну!

— Жалко.

— Непочтителенъ. Я ужъ его и въ смиренный за непочтеніе сажалъ — все неймется. Теперь на фабрику къ Астафью Астафичу — англичанинъ, въ управителяхъ у меня живетъ — подъ начало его отдалъ. Жаль малаго — да не чтò станешь дѣлать! Кажется, кабы не жена у него да не дѣти — давно бы въ солдаты сдалъ!

— И женатъ?

— Женатъ, четверо дѣтей. Жена у него, въ добрый часъ молвить, хорошая женщина! Ужъ такъ она мнѣ пріятна! и покорна, и къ дому радѣльна, словомъ сказать — для родителейъ лучше не надо! Всѣ здѣсь, со мною живутъ, всѣхъ у себя пріютилъ! Потому, хоть и противникъ онъ мнѣ, а все родительское-то сердце болитъ! Не по немъ, такъ по приснымъ его! Кровь вѣдь моя! ты это подумай!

— Чтò говорить! — Стало быть, только двое сыновей у васъ и есть?

— Сыновъ двое, да дочь еще за полковника выдана. Хорошій человекъ, настоящій. Не пьетъ; только одну рюмку передъ обѣдомъ. Бережливъ тоже. Живутъ хорошо, съ деньгами.

— Еще бы не съ деньгами! чай, порядочный кушъ въ приданое-то отсыпали!

— Нѣтъ, я на этотъ счетъ съ оглядкой живу. Ласкать ласкаю, а баловать — Боже храни! Не видѣвши-то денегъ, она все лишній разъ къ отцу съ матерью забѣжитъ, а дай ей деньги въ руки — только ты ее и видѣлъ. Э, эхъ! всѣ мы, сударь, люди, всѣ человѣки! всѣ денежку любимъ! Вотъ поми-

рать стану — всёмъ распредѣлю, ничего съ собой не унесу. Да ты что объ семьѣ-то заговорилъ? или самъ обзавестись хочешь?

— Куда мнѣ! И одному-то врядъ прожить, а то еще съ семьей!

— Не говори ты этого, сударь, не грѣши! Въ семьѣ ли человѣкъ, или безъ семьи? Теперича мнѣ хоть какую угодно принцессу предоставь — развѣ я ее на мою Анну Ивановну промѣняю! Спаси Господи! Въ семью-то придешь — ровно въ раю очутишься! Право! Благодать, тишина, всякій при своемъ мѣстѣ — истинный рай земной!

Осипъ Ивановичъ зѣвнулъ и перекрестилъ ротъ. Разговоръ видимо истощился. Я уже всталъ съ намѣреніемъ проститься, но гостепріимный хозяинъ и слышать не хотѣлъ, чтобъ я уѣхалъ, не отвѣдавъ его хлѣба-соли. Кстати, въ эту самую минуту послышался стукъ подъѣзжающаго къ крыльцу экипажа.

— Да вотъ и Николай Осипычъ воротился! — сказалъ Осипъ Ивановичъ, подходя къ окну: — такъ и есть, онъ самый! — Познакомитесь! Онъ хоть и не воспитывался въ коммерческомъ, а малый съ понятіемъ! Кстати, можетъ, и мимо Чemezова проѣзжалъ.

Черезъ минуту въ комнату вошелъ среднихъ лѣтъ мужчина, точь въ точь Осипъ Ивановичъ, какимъ я зналъ его въ ту пору, когда онъ былъ еще мелкимъ прасоломъ. Тѣ же ласковые голубые глаза, та же пріятнѣйшая улыбка, тѣ же вьющіеся каштановые съ легкою просѣдью волосы. Вся разница въ томъ, что Осипъ Ивановичъ ходилъ въ сибирскѣ, а Николай Осипычъ носить пиджакъ. Войдя въ комнату, Николай Осипычъ помолился и подошелъ къ отцу, къ рукѣ. Осипъ Ивановичъ отрекомендовалъ насъ другъ другу.

— Ну, что, какъ торги?

— Торговалъ, папенька, за первый сортъ. Только въ С\*\*\* задержечка вышла. Ыздилъ въ Р\*\*\* — тамъ купилъ.

— Что такъ? не чикуновскіе-ли приказчики наѣхали?

— Нѣтъ, благодареніе Богу, окромя насъ, еще никого не видать. А такъ, промежду мужичковъ капризъ сдѣлался. Цѣну, кажется, давали имъ настоящую, шесть гривенъ за пудъ — а нѣтъ: „нынче, видишь ты, и во снѣ такихъ цѣнъ не слыхано“!

— Во снѣ и все хорошія цѣны снятся! Такъ и не продали?

— Не продали. Всѣ, какъ есть, въ Р\*\*\* уѣхали. Пріѣхали — а тамъ опять мы же. Только ужъ я тамъ, папенька, по пятидесяти копѣчекъ купилъ.

— И дѣло. Впередъ наука. Вотъ десять копѣекъ на пудъ убытку понесъ да задаромъ тридцать верстъ проѣхалъ. Слѣдственно, въ предбудущемъ, что ему ни дай — возьметъ. Однако это, братъ, въ нашихъ мѣстахъ новость! Скажи пожалуй, стачку затѣяли! Да за стачки-то нынче, знаешь ли, какъ! Что жъ ты исправнику не шепнулъ!

— Ничего, папенька, покамѣстъ еще своими мѣрами справляемся-сь.

— Ну, ладно. И то сказать, окромя насъ и покушниковъ-то солидныхъ здѣсь нѣтъ. Испугать вздумали! Нѣтъ, братъ! ростомъ не вышли! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунтъ былъ! Просто, какъ есть, стали всѣ



за-одно — и шабашъ. „Вы, говорятъ, изъ всего уѣзда кровь пьете!“ Даже смѣшно-сь.

— Никогда прежде бунтовъ не бывало, а нынче, смотри-ка, бунты начались!

— Да какой же это бунтъ, Осипъ Ивановичъ! — вступился я.

— А по-твоему, баринъ, не бунтъ! Мнѣ для чего хлѣбъ-то нуженъ? самъ, что-ли, экую махину съѣмъ! въ амбарѣ, что-ли, я гноить его буду? Въ казну, сударь, въ казну я его ставлю! Армію, сударь, хлѣбомъ продовольствую! А ну, какъ у меня изъ-за нихъ, курицыныхъ сыновъ, хлѣба не будетъ! Помирать, что-ли, арміи-то? По-твоему, это не бунтъ?

На сей разъ Осипъ Ивановичъ совершенно явно и довольно нагло говорилъ мнѣ „ты“. Онъ возмущался такъ искренно, что даже измѣнилъ своему обычному благодушію. Признаюсь откровенно, я и не подумалъ, возразить ему. Соображеніе, что, по милости мужиковъ, не соглашающихся взять *настоящую* цѣну, армія можетъ встрѣтить препятствіе въ продовольствіи, было такъ рѣшительно и притомъ такъ полно современности, что я даже самъ испугался, какимъ образомъ оно прежде не пришло мнѣ въ голову. Конечно, я понималъ, что и противъ такого капитальнаго соображенія не невозможны возраженія, но, съ другой стороны, что можетъ произойти, если вдругъ Осипу Ивановичу въ моемъ скромно выраженномъ мнѣніи вздумается заподозрить или „превратное толкованіе“, или наклонность къ „распространенію вредныхъ идей“? Скажу я, напримѣръ, что при неисправности подрядчика военное вѣдомство можетъ распорядиться насчетъ его залоговъ, а онъ вдругъ растолкуетъ, что я арміи и флоты отрицаю, основы потрясаю, авторитетовъ не признаю! Развѣ этихъ примѣровъ не бывало? Развѣ не обвиняли фабриканты своихъ рабочихъ въ бунтѣ за то, что они соглашались работать не иначе, какъ подъ условіемъ увеличенія заработной платы? Поэтому я призывалъ на помощь возможное при подобныхъ обстоятельствахъ гражданское мужество и воскликнулъ:

— Ну, да, армія... конечно! армія! Представьте, я и не подумалъ!

— А я такъ денно и ночью объ этомъ думаю! Одна подушка моя знаетъ, сколь много я безпокойствъ изъ-за этого переносу! Ну, да ладно. Давали христіанскую цѣну — не взяли, такъ на предбудущее время и пятидесяти копѣекъ напроситесь. Нѣтъ ли еще чего новаго?

— Кандауровскаго барина чуть-чуть не увезли-сь.

— Какъ увезли? куда?

— Неизвѣстно-сь. И за что — никто не знаетъ. Сказывали этта, будто господинъ становой писалъ. Ни съ кѣмъ будто не знакомится, книжки читаетъ, дома по вечерамъ сидитъ...

— Не было ли поступковъ за нимъ какихъ?

— Поступковъ не было. И становой, сказываютъ, писалъ: поступковъ, говорить, нѣтъ, а ни съ кѣмъ не знакомится, книжки читаетъ... такъ и ожидали, что увезутъ! Однако отвѣтъ отъ вышняго начальства вышелъ: дожидаться поступковъ. Да баринъ-то самъ догадался, что нынче съ становымъ шутка плохая: сѣлъ на машину — и айдѣ въ Петербургъ-сь!

— Да, строгонько нонѣ на счетъ этихъ чтеніевъ стало. Насчетъ вина свободно, а насчетъ чтеніевъ строго. За умъ взялись.

— А развѣ что-нибудь у васъ было? Безпокойства какія-нибудь?—полюбопытствовалъ я.

— Мало-ли у насъ тутъ сквернословіевъ было!

— Однако вѣдь вы сами говорите, что за кандауровскимъ баринѣмъ никакихъ поступковъ не было?

— А кто его знаетъ! Можетъ, онъ промежду себя революцію пушалъ. Не по-людски живетъ! ни съ кѣмъ хлѣба-соли не водить! Кому въ домекъ, что у него на умѣ!

— Позвольте, Осипъ Иванычъ! вѣдь, если такъ разсуждать, то, пожалуй, кандауровскій-то баринъ и хорошо сдѣлалъ, что въ Петербургъ бѣжалъ! Одинъ бѣжить, другой бѣжить...

— А коли кто задумалъ бѣжать — никто не держить! Слава Богу! И окромя довольно народу останется!

Сказавши это, Осипъ Иванычъ опрокинулся на спину и, положивъ ногу на ногу, лѣвую руку откинулъ, а правою забарабанилъ по ручкѣ дивана. Очевидно было, что онъ собрался прочитать намъ предіку, но съ такимъ при этомъ разсчетомъ, что онъ будетъ и разглагольствовать, и на бобахъ разводить, а мы будемъ слушать да поучаться.

— Мы здѣсь живемъ въ тишинѣ и во всякомъ благомъ поспѣшеніи, — сказалъ онъ солидно: — каждый при своемъ занятіи находится. Я, напримѣръ, при торговлѣ состою; другой — рукомесо при себѣ имѣетъ; третій — отъ земли питается. Что кому свыше опредѣлено. Чтеніевъ для насъ не полагается.

Осипъ Иванычъ умолкъ на минуту и окинулъ насъ взглядомъ. Я сидѣлъ съѣжившись и какъ бы сознаваясь въ какой-то винѣ; Николай Осипычъ, какъ говорится, ѣлъ родителя глазами. Повидимому это поощрило Дерунова. Онъ сложилъ обѣ руки на животѣ и глубокомысленно вертѣлъ однимъ большимъ пальцемъ вокругъ другого.

— Главная причина, — продолжалъ онъ: — коли ежели безъ пользы читать, такъ отъ чтеніевъ даже для разсудка не безъ ущерба бываетъ. День чело-вѣкъ читаетъ, другой читаетъ — смотришь, по времени и мечтать начнетъ. И возмечтаетъ неявленная и неудобъ-глаголемая. Отобьется отъ дѣла, почтеніе къ старшимъ потеряетъ, начнетъ сквернословить. Вотъ его въ ту пору сцарапаютъ, раба Божьяго — и на цугундеръ. Веди себя благородно, не мути, унылости на другихъ не наводи. Такъ ли, по-твоему, сударь?

— Да что жъ „по-моему“! Меня вѣдь не спросятъ!

— Вотъ это ты дѣльное слово сказалъ. Не спросятъ — это такъ. И ни тебя, ни меня, никого не спросятъ, сами все какъ слѣдуетъ сдѣлаютъ! А почему тебя не спросятъ, не хочешь ли знать? А потому, баринъ, что уши выше лба не растутъ, а у кого ненарокомъ и вырастутъ сверхъ мѣры — подрѣзать маленечко можно!

Видя, что мысли Дерунова принимаютъ унылый и не совсѣмъ безопасный оборотъ, я серьезно обезпокоился. Несмотря на смутную форму его предіки, ясно было, что она направлена въ мой огородъ. Какъ ни робко выражено было мною сомнѣніе насчетъ правильности наименованія бунтовщиками мужи-



ковъ, не соглашавшихся взять предлагаемую имъ за хлѣбъ цѣну, но даже и оно видимо омрачило благодушіе старика. Стало быть, кромѣ благодушія въ немъ, съ теченіемъ времени и подъ вліяніемъ постоянной удачи въ дѣлахъ, развилась еще и другая черта: претензія на непререкаемость. Съ минуты на минуту я ждалъ, что отъ намековъ онъ перейдетъ къ прямымъ обвиненіямъ, и что я, къ ужасу своему, встрѣчусь лицомъ къ лицу съ вопросомъ: нужны ли арміи или нѣтъ? Напрасно буду я завѣрять, что тутъ даже вопроса не можетъ быть—моего отвѣта не захотятъ понять и даже не выслушаютъ, а будутъ съ настойчивостью, достойною лучшей участи, приставать: „нѣтъ, ты не отлынивай! ты говори прямо: нужны ли арміи или нѣтъ“? И если я, наконецъ, отъ всей души и отъ всего моего помышленія возопію: нужны! и въ подтвержденіе искренности моихъ словъ, потребую шампанскаго, чтобъ провозгласить тостъ за процвѣтаніе армій и флотовъ, то и тогда удостоюсь только иронической похвалы, въ родѣ: „ну, братъ, ловкій ты парень!“ или: „знаетъ кошка, чье мясо съѣла“ и т. д.

Поэтому, въ отвращеніе дальнѣйшихъ бѣдствій, я воспользовался первою паузой, чтобъ переимѣнить разговоръ.

— Вы давно не бывали въ Чемезовѣ?—обратился я къ Николаю Осипчу.

— Сегодня только проѣзжалъ. Слѣдомъ за мной и старикъ Лукьянычъ за вами пріѣхалъ. Въ гостинницѣ кормить остановился.

— Ну, вотъ и прекрасно. Стало быть, я и поѣду.

— Постой! погоди! какъ же насчетъ земли-то! берешь, что-ли, пять тысячъ?—остановилъ меня Осипъ Ивановичъ и, обращаясь къ сыну, прибавилъ:—вотъ, западѣльную землю у барина покупаю, пять тысячъ надавалъ.

— Пять тысячъ-съ!—удивился Николай Осипычъ.

— Много денегъ, самъ знаю, что много! Ради родителейъ вызволить барина хотѣлъ, какъ, еще маленькимъ человѣкомъ будучи, ласку отъ нихъ видѣлъ!

— Берите-съ!—обратился ко мнѣ Николай Осипычъ, какъ будто даже со страхомъ:—этакая цѣна! да за такую цѣну обѣими руками ухватиться надобно!

— И я тоже говорю, а баринъ вотъ ломается.

— Не ломаюсь, а осмотрѣться желаю. Надѣюсь, что имѣю на это право!

— Кто о твоихъ правахъ говоритъ! Любуйся! смотри! А главная причина: никому твоя земля не нужна, слѣдственно, смотри на нее или не смотри—краше она отъ того не будетъ. А другая причина: деньги у меня въ столѣ лежатъ, готовы. И въ Чемезово ѣхать не нужно. Взялъ, получилъ и кати безъ хлопотъ обратно въ Питеръ!

Но я всталъ и рѣшительно началъ откланиваться.

— Стало быть, ты и хлѣба-соли моей отвѣдать не хочешь! Ну, баринъ, не ждалъ я! А родители-то! родители-то какіе у тебя были!

Осипъ Ивановичъ тоже всталъ съ дивана и по всѣмъ правиламъ гостепріимства взялъ мою руку и обѣими руками крѣпко сжалъ ее. Но въ то же время онъ не то печально, не то укоризненно покачивалъ головой, какъ бы говоря: какіе были родители и какія вышли дѣти!

— Да не обидѣлъ ли я тебя тѣмъ, что насчетъ чтеніевъ-то спроста сказалъ? — продолжалъ онъ, стараясь сообщить своему голосу особенно простодушный тонъ: — такъ вѣдь у насъ, стариковъ, ужъ обычай такой: не все по головкѣ гладимъ, а иной разъ и противъ шерсти причесать вздумаемъ! Не погнѣвайся!

— Полноте! Мнѣ и въ голову не приходило, что ваши слова могли относиться ко мнѣ!

— Къ тебѣ не къ тебѣ, а ты тоже на усъ мотай! Отъ стариковъ-то не отворачивайся. Ежели когда и поучать, тебя жалѣючи — не сколько тебѣ убытку отъ этого будетъ! Кандауровскій-то баринъ недалеко отъ твоей вотчины жилъ! Такъ-то!

Мы простились довольно холодно, хотя Деруновъ соблюлъ весь заведенный въ подобныхъ случаяхъ этикетъ. Жаль мнѣ руки и въ это время смотрѣлъ въ глаза, откинувшись всѣмъ корпусомъ назадъ, какъ будто не могъ на меня наглядѣться, проводилъ до самого крыльца и на прощанье сказалъ:

— Забѣги, какъ изъ Чемезова въ обратный поѣдешь! И съ крестьянами коли насчетъ земли не поладишь — только слово шепни — Деруновъ купить! Только-что ужъ въ ту пору я пяти тысячъ не дамъ! Ау, братъ! Ты съ перваго слова не взялъ, а я со втораго слова — не дамъ!

Лукьянычъ выѣхалъ за мной въ одноколкѣ, на одной лошади. На вопросъ, неужто не нашлось попросторнѣе экипажа, старикъ отвѣтилъ, что экипажей много, да въ ломъ ихъ лучше отдать, а лошадь одна только и осталась, прочія же „кои пали, а кои такъ изничтожились“.

— Ну, братъ, не красиво же у васъ тамъ! — вздохнулъ я.

— Какая красота! Былъ-было дворянинъ да чортъ перемѣнилъ! Вотъ полюбуется на усадьбу-то!

Въ Лукьянычѣ олицетворялась вся исторія Чемезова. Онъ былъ охранителемъ его во времена помѣщичьяго благоденствія, и онъ же охранялъ его и теперь, когда Чемезово сдѣлалось, по его словамъ, такимъ мѣстомъ, гдѣ, „куда ни плюнь, все на пусто попадешь“. Не разъ писывалъ онъ мнѣ письма, въ которыхъ изображалъ упадокъ родного гнѣзда, но наконецъ, убѣдившись въ моемъ равнодушіи, прекратилъ всякое настояніе. Съ немногими оставшимися въ живыхъ стариками и старухами, изъ бывшихъ дворовыхъ, ютился онъ въ подвальномъ этажѣ барскаго дома, получая ничтожное содержаніе изъ доходовъ, собираемыхъ съ кой-какихъ сѣнныхъ покосовъ, и не безъ тайнаго ропота на мое легкомысліе взиралъ, какъ разрушеніе постепенно клало свою руку на все окружающее. Упала оранжерея; вымерзъ грунтовой сарай; заглохъ садъ; перевелся скотъ; лошади выстаивали свои лѣта и падали. Потомъ сначала въ одной изъ комнатъ дома грохнулся потолокъ, за нею въ другой комнатѣ... Птицы и градъ повывили изъ оконъ стекла, крыша прожавѣла и дала течъ. Долгое время кое-какъ, своими средствами замазывали и законопачивали, но когда наконецъ изъ всѣхъ щелей вдругъ полилось и посыпалось — бросили, и заботились только о томъ, какъ бы сохранить отъ разрушенія нижній этажъ, въ которомъ жили старики-дворовые.



Вотъ зрѣлище, которое ожидало меня впереди и отъ присутствованія при которомъ я охотно бы отказался, еслибъ въ послѣднее время меня съ особенною назойливостью не начала преслѣдовать мысль, что надо, во что бы то ни стало, покончить...

И вотъ, я ѣхалъ „кончать“. Съ чѣмъ кончать, какъ кончать—я самъ хорошенъко не зналъ, но зналъ навѣрное, что тѣмъ или другимъ способомъ я „кончу“, то-есть уѣду отсюда свободный отъ Чемезова. Куда-нибудь! Какъ-нибудь! во что бы ни стало!—вотъ единственная мысль, которая работала во мнѣ и которая еще болѣе укрѣпилась послѣ свиданія съ Деруновымъ. Должно быть, и Лукьянычъ угадалъ эту мысль, потому что лицо его, на минуту просвѣтлѣвшее при свиданіи со мною, вдругъ нахмурилось подъ вліяніемъ недобраго предчувствія. Съ старческою медленностью, безпрестанно вздыхая, закладывавалъ онъ лохматаго мерина въ убогую одноколку, и, быть можетъ, въ это время въ его воображеніи особенно ярко рисовалась сравнительная картина прежняго помѣщичьяго приволья и теперешняго убожества. Покуда меня не было на-лицо, онъ могъ и роптать, и сожалѣть, и даже сравнивать, но яснаго пониманія положенія вещей у него, все-таки, не было. Теперь передъ нимъ стоялъ самъ „баринъ“ — и вотъ къ услугамъ этого „барина“ готова не рессорная коляска, запряженная четверней караковыхъ жеребцовъ, съ молодцомъ-кучеромъ въ шолоховой рубашкѣ на козлахъ, а ободранная одноколка съ хромымъ меринкомъ, который отъ старости едва волочилъ ноги, и съ нимъ, Лукьянычемъ, посѣдѣвшимъ, сгорбившимся, одѣтымъ въ какой-то неслыханный затрапезъ! Лукьянычъ вдругъ, въ одну минуту понялъ. „Баринъ“, одноколка, домъ безъ потолковъ, усадьба безъ оранжерей, садъ безъ дорожекъ—все это ярко сопоставилось въ его старческой головѣ. И затѣмъ, словно искра, засвѣтилась мысль: да, надо кончить! То-есть, та самая мысль, до которой инымъ, болѣе сложнымъ и болѣзненнымъ процессомъ додумался и я...

Мы сѣли рядомъ, кое-какъ скрючились и поѣхали.

Долго мы ѣхали большою дорогой и не заводили разговора. Мнѣ все мерещился „кандауровскій баринъ“. „Чуть-чуть не увезли!“—какъ просто и естественно вылилась эта фраза изъ устъ Николая Осипыча! Ни страха, ни сожалѣнія, ни даже изумленія. Какъ будто рѣчь шла о поросенкѣ, котораго *чуть-чуть* не задавили дорогой!

За что? по какому резону? что случилось? — никому неизвѣстно! Извѣстно только, что „въ гости не ходилъ“ и „книжки читалъ“...

Но, можетъ быть, онъ дома одинъ-на-одинъ въ потолокъ плевалъ? Можетъ быть, онъ „Собраніемъ иностранныхъ романовъ“ зачитывался? Неужто и это зазорно? Неужто и это занятіе настолько подозрительно, что даже и ему нельзя предаваться въ тишинѣ, но должно производить публично, въ виду всѣхъ!

И кто же этотъ сердцевѣдецъ, который счелъ своею обязанностью проныбнуть въ душу „кандауровскаго барина“ и обличить ея тайные помыслы? — Увы! это становой приставъ, это бывший куроѣдъ, а теперешній экспертъ по части благонадежности или неблагонадежности обывательскихъ убѣжденій!

Вотъ мы, жители столицъ, часто на начальство ропщемъ. Говоримъ:

стѣсняеть, правъ не даетъ. Нѣтъ, съѣздите-ка въ деревню да у становаго подѣ началомъ поживите!

Что было бы съ „кандауровскимъ бариномъ“, еслибъ начальство не написало: „дождаться поступковъ“! Что стало бы съ нимъ, еслибъ судьба его зависѣла единственно отъ усмотрѣнія сердцеѣдца-становаго!

Становой! какая метаморфоза, если посравнить съ добрымъ старымъ временемъ!

Я помню, смотрить, бывало, папенька въ окошко и говорить: „вотъ пьяницу-становаго везутъ“. Приѣдетъ ли становой къ помѣщику по дѣламъ — первое ему привѣтствіе: „что, пьяница! видно, куръ по уѣзду собирать ѣздишь!“ Занеется ли становой насчетъ починки мостовъ — отвѣтъ: „кромѣ тебя, ѣздитъ здѣсь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты — таковскіе“. Словомъ сказать, кромѣ „пьяницы“ да „куроѣда“, и словъ ему никакихъ нѣтъ!

Я знаю, что такую манеру обращаться съ агентомъ полицейской власти похвалить нельзя; но согласитесь однакожъ, что и метаморфоза черезчуръ ужъ рѣзка. Все былъ „куроѣдъ“, и вдругъ — сердцеѣдъ!

Въ прежнія времена говаривали: тайныя помышленія Богъ судить, ибо Онъ одинъ въ совершенствѣ видитъ сокровенную человѣческую мысль... Нынче все такъ упростилось, что даже становой, нимало не робѣя, говорить себѣ: а дай-ка и я понюхаю, чѣмъ въ человѣческой душѣ пахнетъ! И нюхаетъ.

Я сижу дома и, запершись отъ людей, Поль-де-Кока читаю, а становой уже нѣчто насчетъ „превратныхъ толкованій“ умозаключилъ! Не по случаю Поль-де-Кока умозаключилъ (въ этомъ смыслѣ онъ такъ образованъ, что даже Баркова наизустъ знаетъ), а по случаю моей любви къ уединенію. Онъ думаетъ: зачѣмъ я уединяюсь, когда прочіе въявь всѣ срамоты производятъ? И вотъ онъ начинаетъ сослѣжать меня. Я держу у себя Гришку лакея, думаю, что живу за нимъ, какъ за каменною стѣной, а онъ ужъ и Гришку развратилъ, и потихоньку его выспросилъ, что и какъ, почтителенъ ли я къ начальству, не затѣваю ли революцій и т. п. Онъ даже не ждетъ съ моей стороны „поступковъ“, а просто, на основаніи Гришкиныхъ показаній, проникаетъ въ тайники моей души и однимъ почеркомъ пера производитъ меня или въ званіе „столпа и опоры“, или въ званіе „опаснаго и безпокойнаго человѣка“, смотря по тому, какъ Богъ ему на душу положить! Это бывшій-то куроѣдъ!

Куроѣдъ, совмѣстившій въ своемъ одномъ лицѣ всю академію нравственныхъ и политическихъ наукъ! Куроѣдъ — сердцеѣдъ, куроѣдъ — психологъ, куроѣдъ — политиканъ! Куроѣдъ, принимающій на себя расцѣнку обывательскихъ убѣжденій и съ самымъ невозмутимымъ видомъ однимъ выдающій аттестатъ благонадежности, а другимъ — аттестатъ неблагонадежности!

Ужели же и впрямь нѣтъ другого дѣла для куроѣдовъ?

Очевидно, тутъ есть недоразумѣніе, въ существованіи котораго много виноватъ т — скій исправникъ. Онъ призвалъ къ себѣ подвѣдомственныхъ ему куроѣдовъ и сказалъ имъ: „вы отвѣчаете мнѣ, что въ вашихъ участкахъ тихо будетъ!“ Но при этомъ не разъяснилъ, что читать книжки, не ходить въ



гости и вообще вести уединенную жизнь — вовсе не противорѣчитъ общепринятому понятію о „тишинѣ“.

И вотъ курофды взбаламутились, и съ помощью Гришекъ, Прошекъ и Ванекъ начинаютъ орудовать. Не простой тишины они ищутъ, а тишины прозрачной, обитающей въ открытомъ со всѣхъ сторонъ помѣщеніи. Вездѣ, даже въ самой несомнѣнной тишинѣ, они видятъ или нарушеніе тишины, или подстрекательство къ таковому нарушенію.

Еще на дняхъ одинъ становой-щеголь мнѣ говорилъ: „по настоящему, насъ не становыми приставами, а начальниками становъ называть бы надо, потому что я, напримѣръ, за весь свой станъ отвѣчаю: чуть ежели кто ненадеженъ, или въ мысляхъ нетвердъ — сейчасъ же къ свѣдѣнію долженъ дать знать!“ Взглянулъ я на него — во всѣхъ статьяхъ курофды! И глаза врозь, и руки растопырилъ, словно курицу поймать хочетъ, и носомъ воздухъ нюхаетъ. Только вотъ мундиръ — мундиръ, это точно, что ловко сидитъ! У прежнихъ курофдовъ такихъ мундирчиковъ не бывало!

И этотъ-то щеголь судить „моя тайная и сокровенная“, судить, потому что я живу у него въ стану, а онъ „за весь станъ отвѣчаетъ“. Онъ залѣзаетъ въ мою душу и барахтается въ ней на всей своей волѣ!

А „кандауровскій баринъ“ между тѣмъ плюетъ себѣ въ потолокъ и думаетъ, что это ему пройдетъ даромъ. Какъ бы не такъ! Еще счастливъ твой Богъ, что начальство за тебя заступилось, „пустяковъ ожидать“ велѣло, а то быть бы бычку на веревочкѣ! Да и тутъ ты не совсѣмъ отболярился, а вынужденъ былъ въ Петербургъ удирать! Ты надѣялся всю жизнь въ Кандауровѣ, въ халатѣ и въ туфляхъ, изжить, ни одного потолка неисплеваннымъ не оставить — ахъ нѣтъ! Одѣвайся, обувайся, надѣвай сапоги, и кати, невѣдомо зачѣмъ, въ Петербургъ!

Какія жестокія времена!

Да и одинъ ли становой! одинъ ли исправникъ! Вонъ Деруновъ и партикулярный человѣкъ, которому ничего ни отъ кого не поручено, а попробуй, поговори-ка съ нимъ по душѣ! Ничего-то онъ въ психологіи не смыслить, а ежели нужно — право, не хуже любого доктора философіи всю твою душу по ниточкѣ разберетъ!

Проста наша психологія! ахъ, какъ проста! Только одно слово отъ себя прилги, или скрой одно слово — и вся человѣческая подноготная словно на ладони! Вотъ, напримѣръ, я давеча насчетъ бунтовъ говорилъ, что нельзя назвать бунтовщиками крестьянъ за то только, что они хлѣбъ по шести гривенъ отдать не соглашались! Прибавь Деруновъ отъ себя только десять слѣдующихъ словъ: „и при семъ, яко бы арміи совсѣмъ не нужно, говорилъ“ — и дѣло въ шляпѣ. Я знаю, меня не казнятъ даже и за это, но знаю также, что ни въ Навозномъ, ни въ Соломенномъ мнѣ не будетъ житья. Удирай! бѣги во всѣ лопатки въ Петербургъ, чтобы тамъ на глазахъ у начальства невинную свою душу спасти!

Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержанны. Имѣй я ихъ взгляды на бунты и тѣ удобства, которыми они пользуются для приведенія этихъ взглядовъ, я всякаго бы человѣка, который мнѣ нагрубилъ или просто не понравился, со свѣту бы сжилъ. Писалъ бы

да пописывалъ: „и при семъ, яко бы армій совѣмъ не нужно, говорилъ!“ И навѣрное получилъ бы удовлетвореніе...

Какой необыкновенный міръ — этотъ міръ Деруновыхъ! какъ все въ немъ перепутано, скомкано, захлащено всякаго рода противорѣчивыми приѣсами! Какъ все колеблется и проваливается, словно половицы въ парадныхъ комнатахъ стараго чemezовскаго дома, въ которыхъ даже крысы отказались жить!

Имѣетъ ли, напримѣръ, Осипъ Ивановичъ право называться столпомъ? Или же, напротивъ того, онъ принадлежитъ къ числу самыхъ злыхъ и отвѣянныхъ отрицателей собственности, семейнаго союза и другихъ основъ? Бьюсь объ закладъ, что никакой мудрецъ не дастъ на эти вопросы сколько-нибудь положительныхъ отвѣтовъ.

Что онъ всемъ своимъ нутромъ рьяный и упорный поборникъ всевозможныхъ союзовъ — въ этомъ я, конечно, не сомнѣваюсь. Это доказывается однимъ тѣмъ, что онъ богатъ (слѣдовательно, чтить „собственность“), что онъ держитъ въ порядкѣ семью (слѣдовательно, чтить „семейный союзъ“), что онъ, изъ уваженія „къ вышему начальству“, жертвуетъ на „общепольное устройство“ (слѣдовательно, чтить союзъ государственный). Но повиноватъ ли онъ самъ, что онъ „поборникъ“? Не говоритъ ли въ этомъ случаѣ одно его нутро, которое влечетъ его быть „радѣтелемъ“ и „защитникомъ“ безъ всякаго участія въ томъ его сознанія?

Вотъ этого-то я именно и не могу себѣ объяснить.

Вѣдь самъ же онъ, и даже не безъ самодовольства, говорилъ давеча, что по всему округу сѣтъ разостлалъ? Стало быть, онъ кого-нибудь въ эту сѣтъ ловить? кого ловить? не такихъ ли же представителей принципа собственности, какъ и онъ самъ? Воля ваша, а есть тутъ нѣчто сомнительное!

Когда давеча Николай Осипычъ рассказывалъ, какъ онъ ловко мужиковъ окружилъ, какъ онъ и въ С., и въ Р. сѣтъ закинулъ, и довелъ людей до того, что хоть задаромъ хлѣбъ отдавай — развѣ Осипъ Ивановичъ вознегодовалъ на него? развѣ онъ сказалъ ему: бездѣльникъ! помни, что мужику точно такъ же дорога его собственность, какъ и тебѣ твоя!? Нѣтъ, онъ даже похвалилъ сына, онъ назвалъ мужиковъ бунтовщиками и накричалъ съ три короба о вредѣ стачекъ, отнюдь повидимому не подозрѣвая, что „стачку“, собственно говоря, производилъ онъ одинъ.

Или, наконецъ, насчетъ меня. Съ какимъ злорадствомъ доказывалъ онъ мнѣ, чтѣ я ничего изъ Чemezова не извлеку и что нѣтъ для меня другого выхода, кромѣ какъ прибѣгнуть къ нему, Дерунову, и порѣшить это дѣло на всей его волѣ! Предположимъ, что онъ правъ; допустимъ, что я, дѣйствительно, не способенъ къ „извлеченіямъ“ и, въ концѣ-концовъ, долженъ буду признать въ Деруновѣ того суженаго, котораго, по пословицѣ, конемъ не объѣдешь. Но развѣ онъ имѣлъ бы право поступать со мною такъ, какъ онъ поступилъ, еслибъ былъ дѣйствительный и сознательный поборникъ принципа собственности? Не обязанъ ли онъ былъ утѣшить меня, наставить, укрѣпить? Не обязанъ ли былъ представить мнѣ самый подробный и самый истинный расчетъ, ничего не утаивая и даже обѣщая, что буде современемъ и



еще найдутся какіе-нибудь лишки, то и они пойдутъ не къ нему, а ко мнѣ въ карманъ?

Нѣтъ, какъ хотите, а съ точки зрѣнія собственности—онъ не „столпъ“!

И кто же знаетъ, столпъ ли онъ по части зрѣнія союзовъ семейнаго и государственнаго? Можетъ быть, въ государственномъ союзѣ онъ усматриваетъ однѣ медали, которыми уснащена его грудь? Можетъ быть, въ союзѣ семейномъ...

Но здѣсь нить моихъ размышленій порвалась, и я, несмотря на неловкое положеніе тѣла, заснулъ настолько глубоко и сладко, что даже увидѣлъ сонъ.

Видѣлся мнѣ становой приставъ. Окончилъ, будто бы, онъ курсъ наукъ и даже получилъ въ геттингенскомъ университетѣ дипломъ на доктора философіи. Сидитъ, будто, этотъ испытанный психологъ и пишетъ:

„Проявился въ моемъ станѣ купецъ 1-й гильдіи Осипъ Ивановъ Деруновъ, который собственности не чититъ и въ дѣйствіяхъ своихъ по сему предмету представляется не безъ опасности. Искусственными мѣрами понижаетъ онъ на базарахъ цѣну на хлѣбъ и тѣмъ вынуждаетъ мѣстныхъ крестьянъ сбывать свои продукты за безцѣнокъ. И даже на дняхъ, встрѣтивъ чемезовскаго помѣщика (имя рекъ), нагими и безстыжими способами вынуждалъ онаго продать ему свое имѣніе за самую ничтожную цѣну.

„А потому благоволить вышнее начальство онаго Дерунова изъ подвѣдомственнаго мнѣ стана извлечь и поступить съ нимъ по законамъ, водворивъ въ мѣста болѣе отдаленныя и безопасныя“.

— Знать, сударь, уснули!—привѣтствовалъ меня Лукьянычъ, когда я, при первомъ сильномъ толчкѣ одноколки, очнулся: — даже кричали во снѣ. Крикнете: „воръ!“—и опять уснете!

Я чувствую, что сейчасъ завяжется разговоръ, что Лукьянычъ горитъ нетерпѣніемъ что-то спросить, но только не знаетъ, какъ приступить къ дѣлу. Мы ѣдемъ молча еще съ добрую версту по мостовнику; я истребляю папиросу за папиросою; Лукьянычъ исподлобья взглядываетъ на меня.

— Кончатъ пріѣхали?—наконецъ произноситъ онъ.

— Да надо бы... всему есть конецъ, Лукьянычъ!

— Это такъ точно. (Лукьянычъ нервно передергиваетъ возжами.) У Осипа Иванова побывали?

— Былъ.

— Покупаетъ, значитъ?

— Надавалъ пять тысячъ.

— Ловокъ толстобрюхой!

Молчаніе.

— Конечно, — вновь начинаетъ Лукьянычъ: — многіе нынче такъ-то говорятъ: пропади, молъ, оно прѣпадомъ!

Опять молчаніе.

— Какъ же быть-то, Лукьянычъ?

— Вотъ и я это самое говорю: ничего не подѣлаешь! пропади, молъ, оно, прѣпадомъ!

Опять молчаніе.

— Прежде люди по мѣстамъ сидѣли. Нынче всѣ, ровно жида, разбѣжались.

— Согласись однакожь, что мнѣ здѣсь дѣлать нечего.

— Папенька съ маменькой нашли бы, чтѣ дѣлать. А вамъ чтѣ! Пропади оно прѣпадомъ—и дѣлу конецъ!

— Заладилъ одно! Ты бы лучше сказалъ, подходящую ли цѣну даетъ Деруновъ?

— Стало быть, для него подходящая, коли даетъ!

— Да для меня-то подходящая ли?

— И для васъ, коли ежели...

— Не лучше ли крестьянамъ предложить?

— Чтѣ жъ, и крестьянамъ... тоже съ удовольствіемъ...

— Вотъ Деруновъ говоритъ, что крестьянамъ-то подати впору платить!

— Знаетъ, толстобрюхой!

Въ этомъ родѣ мы еще съ четверть часа поговорили, и все настоящаго разговора у насъ не было. Ничего не поймешь. Хороша ли цѣна Дерунова? — „знамо хороша, коли самъ даетъ“. Выстоятъ ли крестьяне, если имъ землю продать? — „знамо выстоятъ, а може и не придется выстоятъ, коли ежели“...

— Слушай! ты чтѣ такое говоришь?

— Чтѣ говорю! знамо мы рабы, и слова у насъ рабскія.

— Я тебя объ дѣлѣ спрашиваю, а ты меня или дразнишь, или говорить не хочешь!

— Объ чемъ говорить, коли вы сами никакого дѣла не открываете!

— Я кончать хочу! Понимаешь, хочу кончать!

— И кончать тоже съ умомъ надо. Сами въ глаза своего дѣла не видѣли, а кругомъ пальца обернуть его хотите. Ни съ мужиками разговору не имѣли, ни какова-такова земля у васъ есть — не знаете. Сколько лѣтъ терпѣли, а теперь въ двѣ минуты конецъ хотите сдѣлать!

Въ самомъ дѣлѣ вѣдь я ничего не знаю. Ни земли не знаю, ни „своего дѣла“. Странно, какъ это соображеніе ни разу не пришло мнѣ въ голову. Въ теченіе многихъ лѣтъ одно у меня было въ мысляхъ: кончить. И вотъ, наскучивъ быть столько времени подъ гнетомъ одного и того же вопроса, я сѣлъ въ одно прекрасное утро въ вагонъ и помчался въ Т\*\*\*, никакъ не предполагая, что „конецъ“ есть нѣчто сложное, требующее осмотра, покушниковъ, разговоровъ, запрашиваній, хлопаній по рукамъ и т. п. Оказывается однакожь, что въ мірѣ ничто не дѣлается спуста рукава, и что еслибъ я захотѣлъ даже, въ видахъ сокращенія переписки, покончить самымъ безвыгоднымъ для меня образомъ, то и тутъ мнѣ предстояло безчисленное множество всякаго рода формальностей. Какъ бы, вмѣсто „конца“-то, не придти къ самому ужаснѣйшему изъ всѣхъ „началъ“: къ началу цѣлаго ряда процессовъ, которые могутъ отравить всю жизнь? При этой мысли мнѣ сдѣлалось такъ скверно, что даже померещилось: не лучше ли бросить? то-есть, оставить все попрежнему и воротиться назадъ?



Во всякомъ случаѣ, я рѣшилъ до времени не докучать Лукьянычу разговорами о „концѣ“ и свелъ рѣчь на Дерунова.

— А ходко пошелъ Осипъ Ивановъ!

— Голова на плечахъ есть! Оттого!

— Крестьянъ, говорятъ, шибко притѣсняетъ?

— Чѣмъ притѣсняетъ? нынче—воля!

— Чудакъ! развѣ вольнаго человѣка нельзя притѣснить?

— Засиліе взялъ, а потому и окружилъ кругомъ. На какой базаръ ни сунься — вездѣ отъ него приказчики. Какое слово скажутъ, такъ тому и быть!

— Повезло ему! Богатъ, у всѣхъ въ почтеніи, въ семьѣ счастливъ!

— Въ двухъ семьяхъ...

— Какъ въ двухъ! неужто у него и на сторонѣ семья есть?

— Не на сторонѣ, а въ своемъ дому. Анну-то Ивановну онъ нынче отставилъ—у сына, у Яшеньки, жену отнялъ!

Признаюсь, это извѣстіе меня озадачило. Какъ! этотъ благолѣпный старикъ, который праздника въ праздникъ не вмѣняетъ, ежели двухъ обѣденъ не отстоитъ, который еще давеча говорилъ, что свою Анну Ивановну ни на какую принцессу не промѣняетъ... снохачъ!!

— Да не врутъ ли, Лукьянычъ? — Сказываютъ, Яшенька-то вѣдь у него непутный!

— Запиваетъ, извѣстно!

— Ну, видишь ли!

— Съ этого самаго и запилъ, что сраму стерпѣть не могъ!

Кончено. Съ невыносимою болью въ сердцѣ я долженъ былъ сказать себѣ: Деруновъ—не столпъ! Онъ не столпъ относительно собственности, ибо признаетъ неприкосновенной только лично ему принадлежащую собственность. Онъ не столпъ относительно семейнаго союза, ибо снохачъ. Наконецъ, онъ *не можетъ* быть столпомъ относительно союза государственнаго, ибо не знаетъ даже географическихъ границъ русскаго государства...

Но гдѣ же искать „столповъ“, если даже Осипъ Иванычъ не столпъ?

## V.—Кандидатъ въ столпы.

Какая, однакожъ, загадочная, запутанная среда! Какіе жестокіе, немолимые нравы! До какой поразительной простоты формъ доведенъ здѣсь законъ борьбы за существованіе! Горе „дуракамъ“! Горе простецамъ, кои „съ суконнымъ рыломъ“ суются въ калашный рядъ чай пить! Горе „карасямъ“, дремлющимъ въ невѣдѣніи, что провиденціальное ихъ назначеніе заключается въ томъ, чтобъ служить кормомъ для щукъ, наполняющихъ омутъ жизненныхъ основъ!

Все это я и прежде очень хорошо зналъ. Я зналъ и то, что „дураковъ учить надо“, и то, что „съ суконнымъ рыломъ“ въ калашный рядъ соваться

не слѣдуетъ, и то, что „на то въ морѣ щука, чтобы карась не дремалъ“. Словомъ сказать, всё изреченія, въ которыхъ, какъ въ неприступной крѣпости, заключалась наша столповая, безапелляціонная мудрость. Мало того, что я *зналъ*—при одномъ видѣ избранныхъ этой мудрости я всегда чувствовалъ инстинктивную оторопь.

Мнѣ казалось, что эти люди во всякое время готовы растерзать меня на клочки. Не за то растерзать, что я въ чемъ-нибудь виноватъ, а за то, что я или „ротъ разинулъ“, или „слюни распустилъ“. Начавши жизненную карьеру съ процесса простого, такъ сказать, не-тенденціознаго „отнятія“, они постепенно приходятъ въ восторженное состояніе и возвышаются до ненависти. Имъ мало отнять у „разини“, имъ нужно сократить „разиню“, чтобы она не болталась по бѣлу свѣту, не обременяла понапрасну землю. Ненависть къ „дураку“ возводится почти на степень политическаго и соціальнаго принципа.

Какъ тутъ жить?!

Но я живу, и слѣдовательно волею и неволею дѣлаюсь причастникомъ жизненнаго процесса. Въ сущности, этотъ процессъ даже для „разини“ не представляетъ ничего головокружнаго. Наравнѣ со всѣми прочими, я могу и купить, и продать, и объявить войну, и заключить миръ. Купить такъ купить, продать такъ продать, говорю я себѣ, и мнѣ даже въ голову не приходитъ, что нужно принадлежать къ числу семи мудрецовъ, чтобы сладить съ подобными бросовыми операціями. Но когда наступаетъ моментъ „ладить“—вотъ тутъ-то именно я и начинаю путаться. Мнѣ дѣлается неловко, почти совѣстно. Мнѣ начинаетъ казаться, что на меня со всѣхъ сторонъ устремлены подозрительные взоры, что въ головѣ человѣка, съ которымъ я имѣю дѣло, сама собою созрѣваетъ мысль: а вѣдь онъ меня хочетъ надуть! И кто же можетъ поручиться, что и въ моей головѣ не зрѣетъ та же мысль? не думаю ли и я съ своей стороны: а вѣдь онъ меня хочетъ надуть!

Это чувство обоюдной подозрительности до того противно, что я немедленно начинаю ощущать страстную потребность освободиться отъ него. И потому на практикѣ я почти всегда дѣйствую „безъ ума“ то-есть—спѣшу. Когда я продаю, то мои дѣйствія сами собою принимаютъ такой характеръ, какъ будто покушникъ дѣлаетъ мнѣ благодѣяніе и выручаетъ меня изъ неслыханнаго затрудненія. Когда я покупаю, и продавецъ, по осмотру предмета покупки, начинаетъ увѣрять меня, что все видѣнное мною ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что я, съ Божьею помощію, впереди увижу, то я не только не вступаю съ нимъ въ споръ, не только не уличаю его во лжи, но, напротивъ того, начинаю восклицать: да помиуйте! да неужели же я не понимаю! и т. д. Когда я объявляю войну, то какимъ-то образомъ всегда такъ устраивается, что я нахожу своего противника вооруженнымъ прекраснѣйшимъ шассепо, а самъ нападаю на него съ кремневымъ ружьемъ, у котораго, вдобавокъ, вмѣсто кремня вставлена крашеная подъ камень чурочка. Когда заключаю миръ, то говорю: возьми все—и отстань!

Но что всего удивительнѣе: я не только не питаю никакой ненависти къ этимъ людямъ, но даже скорѣе склоненъ оправдывать ихъ. Такъ что, еслибъ я былъ присяжнымъ засѣдателемъ и мнѣ, въ этомъ качествѣ, при-



шло бы судить различные случаи „отнятія“ и „устраненія изъ жизни“, то я положительно убѣжденъ, что и тутъ поступилъ бы какъ „разиня“, „слухачъ“ и „дуракъ“. Какимъ образомъ занести руку на вора, когда сама народная мудрость сочинила пословицу о карасѣ, которому не полагается дремать? какимъ образомъ обрушиться на нарушителя семейнаго союза, когда мнѣ достовѣрно извѣстно, что „чуждыхъ удовольствій любопытство“ (такъ опредѣляетъ прелюбодѣяніе „Письмовникъ“ Курганова) представляетъ одну изъ утонченнѣйшихъ формъ новѣйшаго общежитія? Вотъ почему я совсѣмъ неспособенъ быть судьей. Я не могу ни карать, ни миловать; я могу только бояться...

Увы! я не англосаксъ, а славянинъ. Славянинъ съ головы до ногъ, славянинъ до мозга костей. Историки удостовѣряютъ, что славяне изстари славились гостепріимствомъ — вотъ это-то именно качество и преобладаетъ во мнѣ. Я люблю всякаго странника угостить, со всякимъ встрѣчнымъ по душѣ покалякать. И ежели подъ видомъ странника вдругъ окажется разбойникъ, то я и тутъ не смущусь: возьми все — и отстань. Я даже не попытаюсь оборониться отъ него, потому что вѣдь, въ сущности, все равно, какъ обездолить меня странникъ: приставши ли съ ножомъ къ горлу, или разговаривая по душѣ. Пусть только онъ спрячетъ свой ножъ, пусть объѣдаетъ и опиваетъ меня по душѣ! Грѣха меньше.

Говоря по правдѣ, меня и „учили“ не разъ, да и опытностью житейскою судьба не обдѣлила меня. Я многое испыталъ, еще больше видѣлъ и даже — о, странная игра природы! — ничего изъ видѣннаго и испытаннаго не позабылъ...

Но все это прошло мимо, словно скользнуло по мнѣ. Какъ будто я видѣлъ во снѣ какое-то фантастическое представленіе, надъ которымъ и плакать, и хохотать хочется...

Я помню, какъ пришла мнѣ однажды въ голову мысль: куплю я себѣ подмосковную. Зачѣмъ Чemezovo? Чтò такое Чemezovo? Чemezovo — глушь, болотина, трясина! Въ Чemezovѣ съ голоду помрешь! Въ Чemezovo никто покалякать по душѣ не заѣдетъ! То-ли дѣло „подмосковная“! И вотъ, вмѣсто того, чтобъ „съ умомъ“ повести дѣло, я по обыкновенію началъ спѣшить, а меня тоже по обыкновенію начали „объегоривать“. Какіе-то благочестивые мерзавцы явились; вздыхаютъ, Богу молятся — и объегориваютъ! Чужой лѣсъ показывают и тутъ же, смѣючись, говорятъ: „да вы бы, сударь, съ планомъ провѣрили! вѣдь это дѣло не шуточное: на вѣ — вѣтъ!“ А я-то такъ и надрываюсь: да что вы! да помиуйте! да неужто-жъ вы предполагаете! да я! да вы! и т. д. И что же въ результатѣ вышло? Вышло, что я до сего дня на проданный мнѣ лѣсъ люблюсь, но войти въ него не могу: чужой!

Памятны мнѣ „крѣпостныя дѣла“ въ московской гражданской палатѣ. Выходишь, бывало, сначала подъ навѣсъ какой-то, оттуда въ темныя сѣни съ каменными сводами и съ кирпичнымъ, выбитымъ просительскими ногами поломъ, нащупаешь дверь, пропитанную пѣтомъ просительскихъ рукъ, и очутишься въ узкомъ корридорѣ. Корридоръ свѣтлый, потому что идетъ вдоль наружной стѣны съ окнами; но по правую сторону онъ ограниченъ рѣшет-

чатой перегородкой, за которою виднѣется пространство, наполненное сумерками. Тамъ, въ этихъ сумеркахъ, словно въ громадной звѣриной клѣткѣ, кружатся служители купли и продажи и словно затѣвуютъ какую-то исполнинскую стряпню. Осипшіе съ похмелья голоса что-то бормочутъ, дрожащія руки что-то скребутъ. Здѣсь, по манію этихъ звѣрообразныхъ людей, получается принципъ собственности свою санкцію! здѣсь съ восхода до заката солнечнаго поются ему немолчные гимны! Здѣсь стригутъ и брѣютъ и кровь отворяютъ! Здѣсь, за этой рѣшеткой. А по сю сторону перегородки, прислонившись къ замасленному карнизу ея, стоятъ люди кабальные, подневольные, люди, обуреваемые жаждой стяжанія, стоятъ и въ безысходной тоскѣ внемлютъ гимну собственности, который вопіетъ изъ всѣхъ стѣнъ этого мрачнаго зданія! И въ каждомъ изъ этихъ кабальныхъ людей словно нарывъ назрѣваетъ мучительная мысль: вотъ сейчасъ! сейчасъ налетитъ „подвохъ“! — сейчасъ развернется подъ ногами трапъ... хлопъ! И начнутъ тебя свѣжевать вотъ эти самые немытые, нечесанные, вонючіе служители купли и продажи! Свѣжевать и приговаривать: — Не суйся, дуракъ, съ суконнымъ рыломъ въ калашный рядъ чай пить! забылъ, дуракъ, что на то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ! Дуракъ!

Помню я и уѣздный судъ. Помню судью, лихого малаго, который никогда не затруднялся „для своего брата-дворянина одолженіе сдѣлать“, но всегда какъ-то такъ устраивалъ, что вмѣсто одолженія выходила пакость. Помню секретаря, у котораго щека была насквозь прогрызена фистулою и весь организмъ пораженъ трясеніемъ, и который, за всѣмъ тѣмъ, всѣмъ своимъ естествомъ, казалось, говорилъ: погоди, ужъ я завяжу тебѣ узелочекъ на память, и будешь ты всю жизнь его развязывать! Помню весь этотъ кагалъ, у котораго, начиная со сторожа, никакихъ другихъ словъ на языкѣ не было, кромѣ: урвать, облопошить, объегорить, пустить по міру...

Помню тетюшекъ, сестрицъ, дяденекъ, братцевъ, постоянно ведущихъ между собою какую-то безконечную ташбу, подличавшихъ передъ всевозможными секретарями, столоначальниками, писцами, открывавшихъ передъ ними всю срамную подноготную своего домашняго очага, не отступавшихъ ни передъ лестью, ни передъ сплетней, ни передъ клеветой.

— Безпремѣнно эта расписка фальшивая! — восклицала одна тетенька.

— Безпремѣнно онъ столоначальника перекупилъ! — восклицала другая тетенька.

— Ужъ это какъ святъ Богъ, что они его дурманомъ опоили! — вошіяла сестрица.

И такъ далѣе, то-есть цѣлый рядъ возгласовъ, въ которыхъ такъ и сыпались, словно жемчугъ бурмицкій, слова: „подкупилъ“, „надулъ“, „опоилъ“ и проч.

Надѣюсь, что это школа хорошая и вполне достаточная, чтобы изъ самаго несомнѣннаго „ротозѣя“ сдѣлать осторожнаго и опытнаго практика. Но повторяю: ни опытъ, ни годы не вразумили меня. Я знаю, я помню — и ничего больше. И теперь, какъ всегда, я остаюсь при своемъ славянскомъ гостепріимствѣ, и ничего другого не понимаю, кромѣ разговора по душѣ... со всякимъ встрѣчнымъ, не исключая даже человѣка, который вотъ-вотъ сей-



часть начнетъ меня „облопошивать“. И теперь, какъ всегда, я „спѣшу“, то-есть смотрю на своего покупателя и своего продавца — какъ на избавителей, безъ помощи которыхъ я навѣрное погрязъ бы въ бѣдѣ... Возьми все — и отстань!

Говорятъ, что теперь ничего этого уже нѣтъ. Нѣтъ ни уѣздныхъ судовъ, ни гражданскихъ палатъ, ни рѣшетокъ, за которыми сидятъ „крѣпостныя дѣла“. Конечно, это фактъ утѣшительный, но я долженъ сознаться, что даже и отъ него немного прибавилось во мнѣ куражу. Я все-таки боюсь, и всякій разъ, какъ приходится проходить мимо конторы нотаріуса, мнѣ кажется, что у него на вывѣскѣ все еще стоитъ прежнее: „здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ“. Что здѣсь меня въ чемъ угодно могутъ увѣрить и разуувѣрить. Что здѣсь меня могутъ заставить совершить такой актъ, котораго ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не имѣетъ права совершить. Что здѣсь мнѣ несовершеннолѣтняго выдадутъ за совершеннолѣтняго, каторжника за столпа, глухонѣмого за витію, явнаго прелюбодѣя за ревнителя семейныхъ добродѣтелей. И въ заключеніе скажутъ: „что же дѣлать, милостивый государь! это косвенный налогъ на ваше невѣжество!“ И даже потребуютъ, чтобъ я этимъ объясненіемъ утѣшился.

Какая загадочная, запутанная среда! И какое жалкое положеніе „дурака“ среди этихъ тоже не умныхъ, но несомнѣнно сноровистыхъ и хищныхъ людей!

На этотъ разъ однакожъ, въ виду предстоявшаго мнѣ „конца“, я твердо рѣшился окаменѣть и устранить всякую мысль о славянскомъ гостепріимствѣ. „Пера наконецъ и за умъ взятыся!“ сказалъ я себѣ, и приступилъ къ дѣлу съ мыслью ни на іоту не отступать отъ этой рѣшимости.

Старикъ Лукьянычъ тоже повидимому убѣдился, что „конецъ“ неизбеженъ и что отдавать его — значитъ только бесполезно поддерживать тревожное чувство, всецѣло овладѣвшее мною. Поэтому онъ впалъ въ какую-то суетливую дѣятельность, въ одно и то же время знакомя меня съ положеніемъ моего имѣнія и развѣдывая подъ рукой, не навернется ли гдѣ подходящаго покушника.

Я кое-какъ устроился въ одной изъ комнатъ гостинаго флигеля, которая не представляла еще большой опасности. Первые дни были посвящены осмотрамъ. Деруновъ былъ правъ: громадный барскій домъ стоялъ безъ оконъ, словно старый инвалидъ безъ глазъ. Стѣны почернѣли, красная краска на желѣзной крышѣ частью выгорѣла, частью пестрила ее безобразными пятнами; крыльцо обвалилось; внутри дома — полъ колебался, потолки частью обрушились, частью угрожали обрушеніемъ. Но расхищенія не было, и Деруновъ положительно пригаль, говоря, что даже кирпичъ изъ печей растасканъ.

— Тутъ одного гвоздья сколько! — восторгался Лукьянычъ, безстрашно вода меня по опустѣлымъ комнатамъ. — Кирпичу, изразцу, заслонокъ — страсть! Опять же и дерево! только нижніе вѣнцы подгнили, да балки поперечныя сопрѣли, а прочее — хоть опять сейчасъ въ дѣло! Сейчасъ взялъ, балки перемѣнилъ, верхнюю половину дома вывѣсилъ, нижніе вѣнцы подрубилъ — и опять ему вѣку не будетъ, дому-то!

Осмотрѣвши домъ, перешли къ оранжереямъ, скотному и конному дво-

рамъ, флигелямъ, людскимъ, застольнымъ... Все было ветхо, все покровилось и накренилось, вездѣ пахло опальною затхлостью, но гвоздья вездѣ было пропасть. Садъ загдохъ, дорожекъ не было и помина, но березы, тополи и липы разрослись такъ роскошно, что мнѣ самому стало какъ-то не по себѣ, когда я подумалъ, что, быть можетъ, черезъ мѣсяцъ или черезъ два, пріѣдетъ сюда Деруновскій приказчикъ и по манію его ляжетъ, посѣченная топоромъ, вся эта великолѣпная растительность. И эти отливающіе серебромъ тополи, и эти благоухающія липы, и эти стройныя, до самой верхушки обнаженныя отъ сучьевъ березы, неслышно помагающія въ вышинѣ своими всключенными, чуть видными вершинами... Еще мѣсяцъ—и старый чemezовскій садъ будетъ представлять собою ровное мѣсто, усаженное пеньками и загромажденное полсаженками дровъ, готовыхъ къ отправленію на фабрику. Казалось, вся эта загложная, одичалая чаща въ одинъ голосъ говорила мнѣ: вырастили! выхолили! и вотъ пришелъ „скупающій“ человѣкъ, которому неизвѣстно почему, неизвѣстно что надоѣло, пришелъ, черкнулъ какое-то дурацкое слово—и разомъ уничтожилъ весь этотъ процессъ рощенія и холенія!

— Ишь какой выросъ—говорилъ между тѣмъ Лукьянычъ:—вотъ недѣли черезъ двѣ зацвѣтутъ липы, пойдетъ это духъ—и не выйдешь отсюда! Грибовъ сколько—все бѣлые! Орѣшникъ вонъ въ томъ углу засѣлъ—и не додерешься! Малина, ежевика...

Въ тонѣ голоса Лукьяныча слышалось обольщеніе. Меня самого такъ и подмывало, такъ и рвалось съ языка: „а что, братъ, коли ежели“ и т. д. Но, вспомнивъ, что если однажды я встану на почву разговора по душѣ, то все мои намѣренія и предположенія относительно „конца“ разлетятся какъ дымъ, я промолчалъ.

— Ежели даже теперича срубить ихъ, парки-то,—продолжалъ Лукьянычъ:—такъ отъ одного молодятника черезъ десять лѣтъ новыя парки вырастутъ! Вонъ она липка-то—робенокъ еще! Купятъ, начнутъ кругомъ большія деревья рубить—и ее тутъ же зря замнутъ. Потому у него, у купца-то, ни бережи, ни жалѣнія: онъ взялъ деньги—и прочь пошелъ... хоть бы тотъ же Осипъ Ивановъ! А сруби теперича эти самыя парки настоящій хозяинъ, да сруби жалѣючи—въ десять лѣтъ эта липка такъ выхолится, что и не узнаешь ее!

Обольщеніе шло crescendo; я чувствовалъ себя, такъ сказать, на краю пропасти, но все еще оставался неколебимъ.

— Опять ежели теперича самимъ рубить начать,—вновь началъ Лукьянычъ:—изъ каждой березы вѣрно полсаженокъ выйдетъ. Ишь она какая стеколистая выросла—и вершины-то не видать! А подъ парками-то восемь десятинъ—однихъ дровъ полторы тыщи саженой выпилить можно! А молодятникъ самъ по себѣ! Молодатникъ еще лучше послѣ вырубки пойдетъ! Черезъ десять лѣтъ и не узнаешь, что тутъ рубка была!

— А что коли-ежели...—невольно сорвалось у меня съ языка.

Однако Богъ спасъ, и я успѣлъ остановиться въ-время.

— Коли ежели этотъ паркъ Дерунову въ руки,—поправился я:—вѣдь онъ тутъ кучу деньжищъ загребеть!

— И Деруновъ загребеть, и другой загребеть. Главная причина: у



кого голова на плечахъ состоитъ, тотъ и загребеть. Да парки чтò! Вотъ ужъ запряжемъ мерина, въ Филиппцево съѣздимъ, лѣсъ посмотримъ — вотъ такъ лѣсъ!

Съѣздили въ Филиппцево, потомъ въ Ковалиху съѣздили, потомъ въ Тараканиху. И звездъ оказался лѣсъ. Въ одномъ мѣстѣ настоящій лѣсъ, „хоть въ какую угодно стройку пущай“, въ другомъ — молодятникъ засѣлъ.

— Вотъ тутъ вашъ папенька пятнадцать лѣтъ назадъ лѣсъ вырубилъ, — хвалилъ Лукьянычъ: — а смотри, какой ужъ стеколистый березнячокъ на его мѣстѣ засѣлъ. Коли ежели только терпѣніе, такъ черезъ двадцать лѣтъ цѣны этому лѣсу не будетъ.

Словомъ сказать, столько богатствъ оказалось, что и не сосчитать. Только поля около усадьбы плохи. Заглубѣли, задерневѣли, поросли лознякомъ. А впрочемъ, „коли-ежели къ рукамъ“, то и поля, пожалуй, недурны.

— Одною лозняку тутъ на всю жизнь протопиться станетъ! Мы ужъ сколько лѣтъ имъ протапливаемся, а все его, каторжнаго, не убываетъ. Хитеръ толстомясой (т. е. Деруновъ)! За всю палестину пять тысячъ надавалъ! Ахъ, дуй-те горой! Да тутъ одного гвоздя... да кирпича... да дровъ... окромя всего прочаго... ахъ, ты, Господи!

Зрѣлище этихъ богатствъ поколебало и меня. Шутка сказать! Въ Филиппцевѣ, по малой мѣрѣ, пятнадцать тысячъ сажень дровъ, въ Ковалихѣ пять тысячъ, въ паркѣ полторы, а тамъ еще Тараканиха, Опалиха, Ухова, Волчи-Ямы... Срубить лѣсъ, продать дрова (ежели даже хоть по рублю за сажень очистится)... сколько тутъ денегъ-то! А земля-то, все-таки, будетъ моя! И опять пошелъ на ней лѣсъ расти!.. Черезъ двадцать лѣтъ опять Тараканиху да Опалиху по боку... и опять пошелъ лѣсъ! А отопиться и лознякомъ можно! Лѣсъ и лознякъ! Лѣсъ, лѣсъ, лѣсъ! Просто, хотъ сойти съ ума!

Но вѣдь для этого надобно жить въ Чemezовѣ, надобно беспокоиться, разговаривать, хлопать по рукамъ, запрашивать, уступать... А главное, жить тутъ, жить съ чистымъ сердцемъ, на глазахъ у всевозможныхъ сердцевѣдцевъ, официальныхъ и партикулярныхъ, которыми кишитъ современная русская провинція! Вотъ чтò страшить. Еще въ Петербургѣ до меня доходили — черезъ разныхъ пріѣзжихъ изъ провинціи — слухи объ этихъ новоявленныхъ сердцевѣдцахъ.

— Теперь, братъ, не то, чтò прежде! — говорили одни пріѣзжіе: — прежде, бывало, живешь ты въ деревнѣ, и никому нѣтъ дѣла, въ потолокъ ли ты плюешь, химіей ли занимаешься, или Поль-де-Кока читаешь! А нынче, братъ, ахъ! Химію-то изволь по боку, а читай Поль-де Кока, да еще такъ читай, чтобы всѣ твои домочадцы знали, что ты именно Поль-де-Кока, а не „Общепонятную физику“ Писаревского читаешь!

— Теперь, братъ, деревню бросить надо! — говорили другіе: — теперь тамъ цѣлая стѣна сердцевѣдцевъ образовалась. Смотрятъ, уставивъ браны, да умозаключаютъ каждый сообразно со степенью собственной невѣжественности! Чѣмъ больше который невѣжественъ; тѣмъ больше потрясаній и подкоповъ видитъ. Молви ты въ присутствіи сердцевѣдца какое-нибудь неизвѣстное ему слово — ну, хотъ „моветонъ“, что-ли — сейчасъ: „фюить!“ и пошла писать губернія.

Да, это такъ; въ этомъ я самъ теперь убѣдился, поговоривъ съ Деруновымъ. Я былъ на одинъ шагъ отъ опасности, и ежели не попался въ бѣду, то обязанъ этимъ лишь тому, что Деруновъ самъ еще не вполне объялъ всю обширность полномочій, которыя находятся въ его распоряженіи. Конечно, онъ не настоящій, то-есть не официальный сердцевѣдецъ, онъ только „подспорье“... Но вѣдь и съ подспорьемъ нынче шутить нельзя! Посмотрить, умозаклѣчить, возьметъ въ руки перышко — смотришь, анъ и сѣло на тебя пятнышко... Положимъ, крошечное, съ булавочную головку, а все-таки пятнышко! Поди, потомъ, соскребывай его!

Какъ все измѣнилось! какъ все вдругъ шарахнулось въ сторону! Давно ли исправники пламенѣли либерализмомъ! Давно ли частные пристава обливались слезами, дѣлая домовныя выемки! Давно ли?.. да не больше десяти лѣтъ тому назадъ!

— Ne croyez pas à ces larmes! ce sont des larmes de crocodile! — еще въ то время предостерегалъ меня одинъ знакомый французъ, свидѣтель этихъ выемочныхъ слезъ.

Но, признаюсь, несмотря на это образное предостереженіе, я вѣрилъ не ему, а полицейскимъ слезамъ. Я думалъ, что разъ полились эти слезы, и будутъ онѣ литься безъ конца... что въ этихъ слезахъ заключается только зародышъ, которому суждено развиваться дальше и дальше.

Я столько видѣлъ въ то время чудесъ, что не могъ, не имѣлъ права быть скептикомъ. Я зналъ губернатора, который былъ до того либераленъ, что не вѣрилъ даже въ существованіе тверди небесной.

— Ничему я этому не вѣрю! — говорилъ онъ: — какъ будто земля подъ стекляннымъ колпакомъ виситъ и кто-то тамъ ею ворочаетъ — какіе пустяки!

Я зналъ генерала, который до того скептически относился къ „чудесамъ кровоусканія“, что говорилъ мнѣ:

— Конечно... есть случаи... какъ это ни прискорбно... когда безъ кровоусканія обойтись невозможно... Это такъ! это я допускаю! Но чтобы во всякомъ случаѣ... сейчасъ же... съ перваго же раза... такъ сказать, не разобравши дѣла... не вѣрять этому, милостивый государь! не вѣрять этому никогда! Это... неправда!

И все это я видѣлъ своими глазами, все это я слышалъ своими ушами не дальше, какъ десять лѣтъ тому назадъ!

И вдругъ весь этотъ либерализмъ исчезъ! Исправникъ „подтягиваетъ“, частный приставъ обыскиваетъ и гогочетъ отъ внутренняго просвѣтленія. Всѣ повѣрили, что земля подъ стекляннымъ колпакомъ виситъ, всѣ увѣровали въ „чудеса кровоусканія“, да не только сами увѣровали, но хотѣть, чтобы и другіе тому же вѣрили, чтобы ни въ комъ не осталось ни тѣни прежняго либерализма.

„Насчетъ вина свободно, насчетъ чтеніевъ — строго!“ вотъ собственныя слова Дерунова, которыя, конечно, никогда не изгладятся изъ моей памяти. И какой загадочный человѣкъ этотъ Деруновъ! Велушаешься въ тонъ, которымъ онъ произноситъ свои „предики“, — кажется, что онъ говоритъ серьезно и даже съ нѣкоторою нажимкой. И вдругъ прорвется нотка... ну, смѣется эта нотка, да и все тутъ! Смѣется, словно вотъ такъ и говоритъ: ви-



дишь, какія я чудеса въ рѣшетѣ передъ тобой выкладываю! а ты, все-таки, слушай, да на усъ себѣ мотай! Потому что я—столпъ!

Жестокіе правы! Загадочный, запутанный міръ!

Нѣтъ, лучше уйти! Какія тутъ тысячи, десятки тысячъ саженой дровъ! Пойдетъ ли на умъ все это обиліе гвоздья, кирпича, изразца, которымъ со-блазняетъ меня старикъ! Кончить и уйти—вотъ это будетъ хорошо!

— Нѣтъ, Лукьянычъ, мнѣ здѣсь жить незначѣмъ!—сказалъ я однажды, когда старикъ съ особеннымъ рвеніемъ началъ разводить передо мною на бобахъ.

— А почему жъ бы?

— А вотъ почему: скажи я теперь хоть тебѣ, что, напримѣръ, не Илья пророкъ громомъ распоряжается...

— Чтò вы, сударь! Христось съ вами!

— Ну, видишь! ты вотъ отъ моихъ словъ только ротъ разинулъ, а дру-гой рта-то не разинетъ, а свиснетъ...

— А вы, сударь, не говорите! За это тоже не похвалятъ.

— Знаю; поэтому и ухожу отъ грѣха. Такъ вотъ что! подыскивай-ка ты покупщика.

Въ теченіе мѣсяца передъ моими глазами прошла цѣлая портретная галерея лицъ. Я видѣлъ всѣ оттѣнки любостязанія, начиная съ заискиваю-щаго, въ основаніи котораго лежитъ робкое чувство зависти, и кончая на-глымъ, отъ котораго такъ и пышетъ беззавѣтною вѣрою въ несокрушимую силу хищничества. Мирное Чемезово сдѣлалось ареною борьбы, которая, бла-годаря элементу соревнованія, нерѣдко принимала характеръ ненависти. Вся-кій являлся на арену купли, съ головы до ногъ вооруженный темными подо-зрѣніями, и потому не шелъ прямою дорогою къ дѣлу, но выбиралъ окольные пути. Всякій старался не только отбить у другого облюбованный кусокъ, но еще подставить конкуренту ногу и по возможности очернить его. Сначала меня занимала эта безпардонная игра страстей, разгаравшаяся по поводу ка-кой-нибудь Ковалихи или Тараканихи, потому что я имѣлъ наивность ви-дѣть въ ней выраженіе настоятельно говорившаго чувства собственности; но потомъ, всмотрѣвшись ближе, я убѣдился, что принципъ собственности, въ смыслѣ общественной основы, играетъ здѣсь самую жалкую, почти призрач-ную роль.

Конечно, я былъ бы неправъ, еслибъ утверждалъ, что въ моихъ гла-захъ происходило прямое воровство, или кража, или грабежъ. Но тутъ въ постоянномъ ходу было дѣйствіе, называемое въ просторѣчій „подвохомъ“ — это несомнѣнно. Только теперь я увидѣлъ, сколько можетъ существовать видовъ „отнятія“, которыхъ не только законъ, но даже самый тонкій психо-логъ ни предусмотрѣть, ни поименовать не можетъ. Весь процессъ купли и продажи основанъ на психологическихъ тонкостяхъ, относительно которыхъ немыслимы какія бы то ни было юридическія опредѣленія. Вы слабохарак-терны—я налетаю на васъ орломъ; вы тщеславны—я опутываю васъ паути-ной самой тонкой лести; вы недалъновидны или глупы—я показываю вамъ чудеса въ рѣшетѣ, отъ которыхъ вы одурѣете окончательно. Очень часто

„подвохъ“ является даже въ самой цинической и грубой формѣ, безъ всякаго участія психологіи; но и тутъ онъ недоступенъ для изобличенія, потому что въ основаніи его предполагается обоюдное согласіе. Своими ли ты глазами смотрѣлъ? своими ли руками бралъ?—таковы афоризмы, на которыхъ твердо стоитъ „подвохъ“. Двѣ стороны находятся другъ противъ друга, и обѣ стараются другъ друга обойти. Не украсть, а именно обойти. Даже „дуракъ“ не прочь бы обойти умнаго, но только не умѣетъ. И только тогда, когда „подвохъ“ возымѣлъ уже свое дѣйствіе, когда психологическая игра совершила весь свой кругъ и получила отъ потаріуса надлежащую санкцію, когда участвовавшіе въ ней стороны уже получили возможность провѣрить самихъ себя, только тогда начинаютъ онѣ ощущать нѣчто странное. Я уже не говорю о сторонѣ „объегоренной“, „облопощенной“ и т. д., которая съ растерявшимся видомъ ощущиваетъ себя, какъ будто съ нею наяву произошло что-то въ родѣ сновидѣнія; я думаю, что даже сторона „объегорившая“, „облопошившая“ и т. д. — и та чувствуетъ себя изубытченною, на томъ основаніи, что „мало еще дурака нагрѣли“. Конечно, кражи тутъ нѣтъ, но, какъ хотите, есть нѣчто до такой степени похожее, что самая неопредѣлительность факта возбуждаетъ чувство еще болѣе тревожное, нежели настоящая кража. Куда идти? гдѣ искать отмщенія? Ежели искать его въ сферѣ легальности, то ни одинъ правильно-организованный судъ не признаетъ себя компетентнымъ въ дѣлѣ психологическихъ игръ. Ежели искать его въ сферѣ такъ-называемаго общественнаго мнѣнія, то всѣ эти „рохли“, „разини“ и „дураки“ занимаютъ на жизненномъ пирѣ такое приниженное, постылое мѣсто, что внезапный протестъ ихъ можетъ возбудить только чувство изумленія.

Собственно говоря, я почти не принималъ участія въ этой любостязательной драмѣ, хотя и имѣлъ воспользоваться плодами ея. Самымъ процессомъ ликвидаціи всецѣло овладѣлъ Лукьянычъ, который чувствовалъ себя тутъ какъ рыба въ водѣ. Покупщики приходили, уходили, опять приходили, и старикъ не только не утомлялся этою безконечною сутолокою, но даже какъ будто помолодѣлъ.

— Вотъ погодите! — говорилъ онъ, сноровивъ какого-нибудь претендента на обладаніе Опалихой: — онъ еще ужь придетъ, мы его тутъ съ однимъ человѣкомъ стравимъ!

И сстравливалъ. Сстравливалъ всегда внезапно, какъ бы ненарокомъ, и притомъ такъ язвительно, что у конкурентовъ наливались кровью глаза и выступала пѣна у рта. Конечно, это въ значительной степени оттягивало ликвидацію моихъ дѣлъ, но въ этомъ отношеніи всѣ мои настоянія оставались безсильными. Лукьянычъ не только не хотѣлъ понимать, но даже просто-напросто не понималъ, чтобъ можно было какое-нибудь дѣло сдѣлать, не проведя его съвозъ всѣхъ мытарства запрашиваній, оговорокъ, обмолвоковъ и всей безконечной свиты мелкихъ подвоховъ, которыми сопровождается всякая такъ-называемая полюбовная сдѣлка, совершаемая въ мірѣ столовъ и основъ.

Я, конечно, не намѣренъ рассказывать читателю всѣ перипетіи этой драмы, но считаю нелишнимъ остановиться на одномъ эпизодѣ ея, которымъ впрочемъ и кончились мои деревенскія похождения по предмету продажи и купли.



Между прочимъ, Лукьянычъ счелъ долгомъ запастись сводчикомъ. Однимъ утромъ, сию я у окна — вижу, къ барскому дому подъѣзжаетъ такъ-называемая купецкая телѣжка. Лошадь сильная, широкогрудая, длинногровая, сбруя такъ и горитъ, дуга расписная. Изъ телѣжки бойко соскакиваетъ чловѣкъ въ синемъ армякѣ, привязываетъ возжами лошадь къ крыльцу и направляется въ помещеніе, занимаемое Лукьянычемъ. Не проходитъ десяти минутъ, какъ старикъ является ко мнѣ.

— Заяцъ изъ Долгинихи пріѣхалъ, — докладываетъ онъ.

— Покушникъ, что-ли?

— Говорить, что „Волчьи-Ямы“ купить охотится.

— Что-жъ, переговоры съ нимъ!

— Стало быть, онъ до васъ дойти хочетъ.

— А коли хочетъ, такъ зови.

Но вмѣсто того, чтобъ уйти, Лукьянычъ, переминается съ ноги на ногу, видимо желая что-то сказать еще.

— Только онъ покушникъ не настоящій, — произноситъ онъ наконецъ, по своему обыкновенію загадочно понижая голосъ: — у него всего и имущества вонъ эта телѣга съ лошадыю.

— Такъ о чемъ же я буду съ нимъ говорить?

— Поговорите, можетъ и польза будетъ.

— Да кто онъ такой?

— Здѣшній, изъ Долгинихи, Ѳеодоръ Никитинъ Чурилинъ. А Зайцемъ прозванъ оттого, что онъ на всякомъ мѣстѣ словно бы изъ-подъ куста выпрыгнулъ. Гдѣ его и не ждешь, а онъ тутъ. Крестьянствомъ не занимается, а только маклеритъ. Чуть гдѣ прослышитъ, что въ раздѣлку пошло — ему ужъ и не сидится. Съ недѣлю мѣста есть, какъ онъ около насъ кружить, да я все молчалъ. Самъ, думаю, придетъ — анъ вотъ и пришелъ.

— Чѣмъ же онъ для насъ-то можетъ быть полезенъ?

— Первое дѣло, покупателя приведетъ. Второе дѣло, и самъ для виду подторговывать будетъ, коли прикажемъ. Только баловать его не нужно.

— То-есть, какъ же не „баловать“?

— Много денегъ давать не надо. Онъ тоже ловокъ на чужія-то деньги чай пить. Вы сами-то не давайте, ко мнѣ посылайте.

Лукьянычъ уходитъ и черезъ минуту является вмѣстѣ съ Зайцемъ. Это средняго роста чловѣкъ, жиденькій, бѣлокуренькій, съ подстриженною рыжеватою бородкой, съ маленькими бѣгающими глазками, обрамленными розовыми, какъ у кролика, вѣками, съ востренькимъ носомъ. Вообще фигурой своей онъ напоминаетъ отчасти лисицу, отчасти зайца. Одѣтъ щеголемъ; въ синей тонкаго сукна сибиркѣ, подпоясанной алымъ кушакомъ, сверхъ которой надѣтъ такой же синій армякъ; на ногахъ высокіе смазные сапоги. Подходить онъ на цыпочкахъ, почти не слышно, къ самому столу, за которымъ я сию. Къ разговору приступаетъ шопотомъ, словно секретъ вывѣдать хочеть. При этомъ непрерывно оглядывается по сторонамъ и при малѣйшемъ шорохѣ вздрагиваетъ.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Наслышаны, что ваша милость вотчину продать желаете?

— Да, желалъ бы.

— Такъ-съ. А какая, примѣрно, цѣна ваша будетъ?

— Да вы осматривали дачу-то?

— Даже очень довольно осмотрѣли. Мы, ваше благородіе, здѣшніе жители. Можетъ, около каждаго куста разъ десять обошли. Очень довольно знаемъ. Въ Филиппцевѣ это точно, что есть лѣсокъ, а въ прочихъ мѣстахъ лѣтъ двадцать настоящаго лѣсу дожидаться надо!

— Мнѣ кажется однако, что и въ нѣкоторыхъ другихъ пустошахъ порядочный лѣсъ есть.

— Помилуйте, ваше благородіе! позвольте вамъ доложить! Лѣсъ, одно слово, это такое дѣло: возьмемъ теперича одну десятину — ей одна цѣна; возьмемъ другую десятину — ей другая цѣна! Стало быть, коли ежели я, или къ примѣру, другой покупщикъ...

— Постой, Ѳеодоръ Никитичъ! — вмѣшивается Лукьянычъ: — ты вѣдь не для себя торговаться пришелъ? Зачѣмъ же ты нашъ лѣсъ хайшь! А ты похвали! Можетъ, отъ твоего-то слова, гдѣ и нѣтъ лѣсу — онъ вырастетъ!

— Это такъ точно-съ. Главная причина, какъ его показать покупателю. Можно, теперича, и такъ показать, что куда онъ ни взглянулъ — вездѣ у него лѣсъ въ глазахъ будетъ, и такъ показать, что онъ только одну рѣдочъ увидитъ. Проѣхалъ я давеча Ковалихой: въ бочку-то, направо-то... ахъ, хорошъ лѣсокъ! Ну, а ежели полѣвѣе взять — пилыщикамъ заплатить не изъ чего!

— А ты бы вотъ съѣздивъ да показалъ барину-то, какъ оно по твоему выходитъ!

— Чего же лучше-съ! Вотъ не угодно ли на моей лошади хоть въ Филиппцево съѣздить. И Степана Лукьяныча съ собой захватимъ.

Поѣхали. Я съ Зайцемъ сѣлъ рядомъ; Лукьянычъ спустился корпусомъ въ телѣжный рыдванъ, а ноги вздралъ на ободокъ. Заяцъ былъ видимо польщенъ и весело пошевеливалъ возжами; онъ напоминалъ собой фокусника, собирающагося показать свои лучшіе фокусы и нимало не сомнѣвающагося что публика останется имъ довольна. Съ полчаса мы ѣхали дорогою, потомъ свернули въ сторону и поѣхали цѣликомъ по луговинѣ, тамъ и сямъ усѣянной небольшими куртинами березника, перемежаннаго съ осиною. Долго мы кружили тутъ и все никакъ не доѣдемъ до Филиппцева, т. е. до „настоящаго лѣса“. Выдастся мѣстами изрядная десятинка, мелькнетъ — и опять пошла писать рѣдочъ.

— Да ты чтѣ такое показываешь? — возрился наконецъ Лукьянычъ.

— Филиппцево показываю! или своего мѣста не узналъ! Вонъ и осина, на которой прошлую осенью Онисимъ Дылда повѣсился!

Лукьянычъ не выдержалъ и выругался, чѣмъ впрочемъ Заяцъ нимало не смутился.

— Теперича, какъ по вашему? Много ли, примѣрно, ваше Филиппцево стѣбитъ? — обратился онъ ко мнѣ.

— Да, но вѣдь...

— Это такъ точно-съ. Однако, вотъ хоть бы ваша милость! — говорите



вы теперича мнѣ: покажи, молъ, Ѳеодоръ, Филиппево! Смѣю ли я, примѣрно, не показать? Такъ точно и другой покушникъ: покажи, скажетъ, Ѳеодоръ, Филиппево—долженъ ли я, значить, ему удовольствіе сдѣлать? Стало быть, я и показываю. А можно, пожалуй, и по другому показать... но, но! пошевеливай!—крикнулъ онъ на коня, замедлившаго ходъ на дорогѣ, усаженной цѣплымъ переплетомъ древесныхъ корней.

Черезъ пять минутъ мы опять выѣхали на торную дорогу, съ которой уже нельзя было своротить, потому что по обѣимъ ея сторонамъ стояла сплошная стѣна высокихъ и толстыхъ елей.

— Вотъ и опять тоже Филиппево, только въ этомъ самомъ мѣстѣ цѣны ему нѣтъ!—съ нѣкоторымъ торжествомъ провозгласилъ Заяцъ.

— Да вы зачѣмъ же показываете либо одно, либо другое? Вы бы какъ слѣдуетъ все показали!

— Помилуйте! позвольте вамъ доложить! Неужто я своего дѣла не знаю! Къ примѣру возьмемъ, теперича, хоть покупателя—могу ли я его принуждать! Привезъ я его, теперича, хоть въ это самое мѣсто, показалъ ему, онъ сейчасъ взглянулъ: ахъ, хорошъ лѣсокъ, Ѳеодоръ! Главная причина, значить, облюбовалъ. Чтѣ же я, теперича, противъ этого сдѣлать могу? Само собой, чтобы, примѣрно, въ отвѣтъ передъ нимъ не остаться, скажешь ему: не весь, молъ, такой лѣсъ, есть и прогалинки. Однако, какъ онъ сразу въ своемъ дѣлѣ увѣрился, такъ тутъ ему чтѣ хочешь говори: онъ все мимо ушей пропускаетъ! Айда домой, Ѳеодоръ! говорить:—лѣсъ первый сортъ; нечего и смотрѣть больше! теперь только маклери, какъ бы подешевле намъ этотъ лѣсъ купить! И купить, и цѣну хорошую дать, потому что онъ настоящій лѣсъ видѣлъ! А какъ начнешь съ рѣдочи-то показывать, такъ послѣ хоть и привези его сюда, къ настоящему лѣсу — онъ все про рѣдочъ поминалъ будетъ!

— Скажите, вы имѣете въ виду какого-нибудь покушника?

— У меня, ваше благородіе, по здѣшней округѣ очень знакомства довольно. Хорошіе господа довѣряютъ мнѣ, а не то чтобы чтѣ! Ну, и купцы тоже: и въ Р., и въ К., и въ Т.

— Дерунова вы знаете?

— Какъ не знать Осипа Иваныча! Довольно знаемъ. Послужилъ тоже его степенству. Да, признаться, зацѣпочка этта небольшая у насъ вышла.

— А чтѣ?

— Да такъ-съ. Тоже онамеднись лѣсъ показывалъ, генераль Голозадовъ продавалъ. Признаться, маленько спалашился я тогда, а молодецъ Деруновскій и догадайся. Очень они на меня въ ту пору обидѣлись, Осипъ Иванычъ.

— Чай, и за вихры досталось! — вставилъ свое слово Лукьянычъ.

— Этого Богъ миновалъ. Сколько на свѣтѣ живу, а за вихры, кромѣ тятеньки съ маменькой, никто еще не диралъ. А не велѣлъ, значить, Осипъ Иванычъ до себя допускать.

— Да, братъ, ваша должность тоже—и-и! Плутовать — плутуй, а по сторонамъ не заглядывайся!

— Наша должность, ваше благородіе, осмѣлюсь вамъ доложить, даже

очень довольно строгая. Смотрите, примѣрно, теперича хоть вы или другой кто: гуляетъ, молъ, Ѳеодоръ, въ баклуши бьетъ! А я, между прочимъ, нисколько не гуляю, все промежду себя обдумываю. Какъ, значить, кому угодить и кому что, къ примѣру, требуется. Все это я на замѣчаніи держать долженъ. Къ примѣру, хоть бы такой случай: иной купецъ самъ доходитъ, а другой—черезъ приказчиковъ.

— Съ приказчиками, я думаю, скорѣе дѣло-то сдѣлаешь!

— И приказчикъ приказчику розь, Степанъ Лукьянычъ — вотъ какъ надо сказать. Одно дѣло Деруновскій приказчикъ, и одно дѣло — Владыкинскій приказчикъ. А въ прочихъ частяхъ, разумѣется, коли ежели господинъ маслица не пожалѣетъ, съ приказникомъ, все-таки, складнѣе дѣло сдѣлать можно.

— Подкупить, значить, нужно?

— Зачѣмъ подкупать? а просто, къ примѣру, пообщать. Кошѣйку, что-ли, съ рубля, или хоша бы и двѣ, если, значить, дѣло хорошо доложить хозяину.

— Ну, двѣ-то кошѣйки—это, братъ, ты совралъ!—вступился Лукьянычъ:—кошѣйку—это точно! это по-христіански будетъ!

— Эхъ, Степанъ Лукьянычъ, какъ это, братецъ, ты говоришь: „совралъ“! Могу ли я, теперича, господина обманывать! Можетъ, я черезъ это самое кусокъ хлѣба себѣ получить надѣюсь, а ты говоришь: совралъ! А я все одно что передъ Богомъ, то и передъ господиномъ! Возьмемъ теперича хоть это самое Филиппцево! Будемъ говорить такъ: что для господина пріятнѣе, пять ли тысячъ за него получить, или три? Сказывай!

— Оно, конечно, кабы пять... да наврядъ...

— Ты говоришь: наврядъ, а я тебѣ говорю: никто какъ Богъ! Владыкина Петра Семеныча знаешь?

— Слыхивалъ.

— А слыхивалъ, такъ и про Тихона Иванова, про приказчика его, значить, слыхивалъ. Вотъ ужъ поѣду въ К., шепну Тихону Иванову: Тихонъ, молъ, Иванычъ! доложите, молъ, хозяину, что хорошій баринъ лѣсокъ продаетъ!

— Да, кабы пять тысячъ... не жаль бы и двухъ копѣекъ...

— И не пять тысячъ, а больше дастъ—вотъ что! Потому, сейчасъ ты его въ трактиръ сводилъ, закуску потрафилъ: Тихонъ Иванычъ! сдѣлай милость!

— Закуска—это точно; закуска—это первое дѣло!

Заяцъ постепенно разгорячался и началъ лгать; съ своей стороны, и Лукьянычъ, постепенно поддаваясь обаянію лганья, съ какимъ-то беззавѣтнымъ простодушіемъ вторилъ ему.

— Потому что у насъ все на чести!—ораторствовалъ Заяцъ.—Будемъ такъ говорить: баринъ лѣсъ продаетъ, а Тихонъ Ивановъ его осматриваетъ. Въ одномъ мѣстѣ посмотреть—ахъ, хорошъ лѣсокъ! въ другомъ поглядить—вотъ такъ, братъ, лѣсокъ! Правильно ли я говорю?

— Это такъ... правильно... это такъ точно!

— Ты думаешь, мало у васъ въ Филиппцевѣ добра?



— Мало ли тутъ добра!

— Я тебѣ вотъ какъ скажу: будь я, теперича, при капиталѣ — не глядя бы, семь тысячъ за него далъ! Потому что сейчасъ бы я первымъ дѣломъ этотъ самый лѣсъ разсортировалъ. Начать хоть со строевого... видѣлъ, какія по дорогѣ деревья-то стоятъ... ужастѣ-енныя!

— Мало ли тутъ дерева! Хотя въ какую угодно стройку!

— Хорошо. Стало быть: перво-на-перво строевой лѣсъ... сколько тутъ, по твоему, корней будетъ? Тысячи три будетъ?

— Коли не побольше... какъ трехъ тысячъ не быть!

— Ну, клади три!.. Анъ дерево-то, оно три рубля... на мѣ-ѣстѣ! А на станціи за него дашь и шесть рублей... какъ калачъ! Вотъ ужъ девять тысячъ. А потомъ дрова... Сколько тутъ дровъ-то!

— Мало ли тутъ дровъ!

— Опять же товарникъ... сучья... по нашему мѣсту всякій сучокъ денегъ стѣдитъ! А земля-то! земля-то вѣдь опять за покупателемъ останется!

— И опять по ней лѣсъ пойдетъ!

— И какой еще лѣсъ-то пойдетъ! Въ десять лѣтъ и не узнаешь, была ли тутъ рубка, или нѣтъ! Мѣсто же здѣсь боровое, ходкое!"

— Эхма!

— А я чтò же говорю! Я то же и говорю: кабы теперича капиталъ въ руки — сейчасъ бы я это самое Филиппево... то-есть, ни въ жизнь бы никому не уступилъ! Да тутъ, коли человѣкъ съ дарованіемъ... тутъ конца-краю деньгамъ не будетъ!

— Такъ ты такъ и дѣйствуй. Улещай покупателя. Старайся.

— И то стараюсь. Потому вижу: господинъ добрый, несвѣдущій — для кого же намъ и стараться-то! Слава Богу! я всѣмъ господамъ по здѣшнему мѣсту довольно извѣстенъ! Голозадовъ генералъ, Порфирьевъ господинъ... всѣ хоть сейчасъ аттестатъ мнѣ подписать готовы!

— Вотъ ты объ Владыкинѣ давеча помянулъ... такъ онъ врядъ-ли у насъ купитъ. Онъ, слышь, у кандауровскаго барина всю палестину торгуетъ! У насъ ему не рука.

— А Владыкинъ не захочетъ, такъ къ Бородавкину, къ Филиппу Ильичу, толкнемся. Мужикъ денежный. Этотъ самъ осматривать поѣдетъ, приказчику не поручить.

— Ну, самому-то двухъ копѣчекъ не посулишь!

— У этого опять другой фортель: пунштъ любить. Какъ пріѣхалъ — такъ чтобы сейчасъ ему пунштъ готовъ былъ! И пьетъ онъ этотъ пунштъ, куда глаза у него круглые не сдѣлаются! А въ ту пору, чтò хочешь, то у него и бери!

— Проспится, небось?

— Проспится — и опять чтобы сейчасъ пунштъ! Само собой, ужъ тутъ не зѣвай. Главная причина все такъ подстроить, чтобы въ эвтомъ самомъ видѣ хорошей неустойкой его обязать. Страсть, какъ онъ этихъ неустоекъ боится!словно робенокъ!

— Ишь ты, парень!

— А Бородавкинъ ежели не поѣдетъ — Хмелева Павла Ѳомича за

бока приволокѣмъ! И насчетъ его опять есть фортель: амбицію большую имѣть! Скажи ему только: Деруновъ, молъ, Осипъ Ивановичъ, пять тысячъ давалъ—сейчасъ онъ, не глядя, шесть тысячъ отвалить!

— Житье имъ, этимъ аршинникамъ!

— И какое еще житье-то! Скажемъ, къ примѣру, хоть объ томъ же Хмелевѣ—давно ли онъ сѣрымъ мужикомъ состоялъ! И вдругъ ему Господь разумъ развязалъ! Зачалъ онъ и направо загребать, и налѣво загребать... Страсть! Сядетъ это, словно котъ въ темномъ углу, выпуститъ когти и ждетъ... только глаза мерцаютъ!

Изъ Филиппева заѣхали мы въ Опалиху, а по дорогѣ осмотрѣли и Волчи-Ямы. И тутъ оказалось тоже: полѣвѣе проѣхать—цѣны нѣтъ, поправѣе взять—вся цѣна грошъ.

— Главная причина, какъ показать!—настойчиво утверждаетъ Заяцъ.

— Это чтò и говорить! Какъ показать... это такъ точно!—вторить ему Лукьянычъ.

Словно во снѣ слушаю я этотъ разговоръ. Въ ушахъ моихъ раздаются слова: фортель... загребать... какъ показать... никто какъ Богъ... тысячи, три тысячи... семь тысячъ... Картины одна другой фантастичнѣе рисуются въ моемъ воображеніи. То мнѣ кажется, что я—волкъ, а всѣ эти Деруновы, Владыкины, Хмелевы, Бородавкины—мирно пасущееся стадо барановъ, въ виду котораго я сижу и щелкаю зубами. И вотъ я начинаю гарцовать и, распустивъ хвостъ по вѣтру, описываю круги. Одинъ смѣлый прыжокъ—и я уже тамъ, въ самой серединѣ стада! Но, о ужасъ! Не успѣлъ я еще хорошенько раскрыть пасть, какъ всѣ эти бараны, вмѣсто того, чтобы смиренно подставить мнѣ свои загривки, вдругъ оскаливаютъ на меня зубы и поднимаютъ побѣдный вой! Картина перемѣняется. Я оказываюсь не волкомъ, а бараномъ, на котораго Заяцъ обманнымъ образомъ напялилъ волчью шкуру! Я слышу хохотъ и вой: „жарь его!“—„наяривай!“,—„накладывай!“,—„въ загривокъ-то! въ загривокъ его!“—раздается въ моихъ ушахъ!—„дуракъ! дуракъ! дуракъ!“

Пообѣдавши, Заяцъ уѣхалъ.

— Ты смотри! по сторонамъ не заглядывайся! за это, братъ, тоже не похвалить!—напутствовалъ его Лукьянычъ.

— Зачѣмъ по сторонамъ глядѣть! мы на чести дѣло поведемъ! Счастливо оставаться, ваше благородіе! Увидите, коли я завтра же вамъ Бородавкина Филиппа Ильича не предоставлю!

Телѣжка загремѣла, и вскорѣ цѣлое облако пыли окутало и ее, и фигуру деревенскаго маклера. Я сѣлъ на крыльцо, а Лукьянычъ всталъ нѣсколько поодаль, одну руку положивъ поперекъ груди, а другою упершись въ подбородокъ. Нѣкоторое время мы молчали. На дворѣ была тишь; солнце стояло низко; въ воздухѣ чуялась вечерняя свѣжесть и весь онъ былъ пропитанъ ароматомъ отъ только-что зацвѣвшихъ липъ.

— Ишь, вѣдь!—вдругъ отозвался Лукьянычъ, озирая глазами высь и отирая платкомъ потъ, выступившій на лбу.

— Да, братъ, хорошо теперь на вольномъ воздухѣ.

— И не вышелъ бы!



Въ самомъ дѣлѣ, такъ было хорошо среди этой тишины, этой теплоты угасающаго дня, этихъ благоуханій, что разговоръ нашъ непремѣнно принялъ бы sentimentalный характеръ, еслибъ изрѣдка долетавшій стукъ Зайцевой телѣжки не возвращалъ насъ къ дѣйствительности.

— Не нравится мнѣ этотъ Заяцъ, — сказалъ я.

— Чего въ немъ нравится!

— Зачѣмъ же ты привелъ его?

— А намъ развѣ „нравится“ надо! Намъ нужно, чтобъ дѣло сдѣлалъ, а тамъ пожалуй хоть вѣкъ его не видать!

— Однако вѣдь ты самъ видишь, что онъ просто-на-просто мошенникъ!

— Мошенникъ — много про него сказать. А лодырь!.. нестоющій, значить, человѣкъ!

— Вотъ ты говоришь: нестоющій человѣкъ, а между тѣмъ самъ же его привелъ! Какъ же такъ жить? Ну, скажи, можно ли жить, когда безъ подвоха никакого дѣла сдѣлать нельзя?

— Живемъ помаленьку. Стало быть, не до конца еще прегрѣшили.

— Да ты пойми же, Лукьянычъ, вотъ завтра Бородавкинъ пріѣдетъ: неужто-жъ и въ самомъ дѣлѣ ты будешь его пуншемъ спаивать?

— А коли ему нравится! пушай пить!

— Да вѣдь это значить прямо мошенничать! Съ пьянымъ человѣкомъ въ сдѣлку входить!

Лукьянычъ изумленными глазами взглянулъ на меня.

— Да никакъ вы въ самъ-дѣлѣ думаете, что вы Бородавкина обидѣть можете? — удивился онъ.

— Обидѣть! Не обидѣть, а коли по твоему дѣлать, такъ просто-на-просто обмануть!

— Христось съ вами! Да вы слыхали ли про Бородавкина-то? Онъ вѣдь два раза невинно-падшимъ объявлялся! Два раза въ острогѣ сидѣлъ, и всякій разъ чистъ выходилъ! На-тко! нашли кого обмануть! Да его и пунштомъ-то для того только поятъ, чтобы онъ не слишкомъ ужъ лютъ былъ!

Сказавши это, Лукьянычъ махнулъ рукой и ушелъ въ свое логово готовиться къ завтрашнему дню. Черезъ полчаса вышелъ оттуда еще такой же ветхій старикъ и началъ вмѣстѣ съ Лукьянычемъ запрягать въ одноколку мерина.

Посылали въ городъ за кизляркой и другими припасами для предстоящихъ „пунштовъ“.

Но я не выдержалъ.

Ежедневные разъѣзды по однимъ и тѣмъ же мѣстамъ, непрерывные разговоры объ однихъ и тѣхъ же предметахъ до того расшатали мои нервы, что мнѣ почти всю ночь не спалось. Передо мной, въ теченіе нѣсколькихъ бессонныхъ часовъ, прошли всѣ подробности любостяжательной драмы, которой я былъ очевидцемъ и участникомъ. Вспомнился благолѣпный Деруновъ и его самодовольныя предки насчетъ „бунтовъ“, въ которыхъ такъ ясно

выразилась наша столповая мораль; вспомнилась свита мелких торгашей-прасоловъ, которые въ теченіе цѣлаго мѣсяца, съ утра до вечера, держали меня въ осадѣ, и которые хотя и не успѣли еще, подобно Дерунову, уловить вселенную, но уже имѣли на-готовѣ все нужныя для этого уловленія мрежи; вспомнилась и безконечная канитель разговоровъ между Лукьянычемъ и безчисленными претендентами на обладаніе разрозненными клочьями нѣкогда великолѣпнаго чemezовскаго имѣнія...

Эти разговоры въ особенности раздражали меня. Все они велись въ одной и той же формѣ, все одинаково не имѣли никакого содержанія, кромѣ совершенно бессмысленной укоризны. На русскомъ языкѣ даже выработался особенный терминъ для характеристики подобныхъ разговоровъ. Этотъ терминъ: „собачиться“.

— А ты настоящую цѣну давай!—собачился, напимѣръ, Лукьянычъ.

— И то настоящую цѣну даемъ! — съ своей стороны отсобачивался прасоль-покупщикъ.

— А ты дѣло говори!

— И то дѣло говоримъ!

— Слушай! сколько ты тутъ дровъ напилить хочешь?

— Сколько напилимъ—все наше будетъ.

— Опять товарникъ! Ты думаешь, сколько ты товарнику тутъ напилить?

— Опять-таки, сколько ни напилимъ—все наше будетъ!

— Бога ты не боишься!

— Ты одинъ, видно, боишься!

И такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока запасъ „собаченья“ не истощался на время. Тогда наступало затишье, въ продолженіе котораго Лукьянычъ пощипывалъ бородку, язвительно взглядывалъ на покупателя, а покупатель упорно смотрѣлъ въ уголъ. Но обыкновенно Лукьянычъ не выдерживалъ и, по прошествіи нѣсколькихъ минутъ, съ судорожнымъ движеніемъ хватался за счеты и начиналъ на нихъ выкладывать какія-то фантастическія суммы.

— Слушай! Боишься ли ты Бога!—принимался онъ вновь за прежнюю канитель укоризнъ.

Вспомнился мнѣ наконецъ и Заяцъ, за нѣсколько часовъ передъ тѣмъ съ такою безцеремонною торжественностью посвящавшій меня въ тайны искусства „показыванія“, котораго я нѣкогда былъ жертвою.

Теперь это искусство „показыванія“ уже не меня обездоливало, а, напротивъ того, *мнѣ* предлагало свои услуги.

Ясно, что передо мной, въ теченіе цѣлаго мѣсяца, каждодневно производился тотъ самый актъ „потрясанія“, который поселяетъ такой наивный ужасъ въ сердцахъ нашихъ столповъ. Да, это было оно, это было „потрясаніе“, и вотъ эти люди, которые такъ охотно блѣднѣютъ при произнесеніи самаго невиннаго изъ заклеяемыхъ преданіемъ „страшныхъ словъ“ — эти люди, говорю я, повидимому даже и не подозреваютъ, что рядомъ съ ними, чуть-ли не ими самими, каждый часъ, каждую минуту, производится самое дѣйствительное изъ всехъ потрясаній, какое только можетъ придумать чело-вѣческая злонамѣренность!



И съ какою наивною безсознательностью, съ какимъ простодушнымъ невѣдѣніемъ производится этотъ актъ „потрясанія общественныхъ основъ“! Это даже не актъ, а почти простой обрядъ. Даже добрякъ Лукьянычъ, которому, конечно, и на мысль никогда не приходило кого-нибудь ограбить, и тотъ является чуть не грабителемъ, или по крайней мѣрѣ попустителемъ и пособникомъ грабежа. Не услаждался ли онъ всѣмъ существомъ своимъ фокусами „показыванія“, представленными Зайцемъ? Не послалъ ли онъ въ городъ за кизляркой, въ надеждѣ, что Бородавкинъ, подъ вліяніемъ „пунштовъ“, ходчѣ пойдетъ въ устраиваемую ему Зайцемъ ловушку?

И чѣмъ дольше я думалъ, тѣмъ больше и больше таяла моя недавняя рѣшимость дѣйствовать съ умомъ. И по мѣрѣ того, какъ она исчезала, на ея мѣсто, сначала робко, но потомъ все настойчивѣе и настойчивѣе всплывала другая рѣшимость: бросить! бросить все и бѣжать!

Какъ-то вдругъ для меня сдѣлалось совсѣмъ ясно, что мнѣ совсѣмъ не къ лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать. Что мое мѣсто совсѣмъ не тутъ, не въ мірѣ продажъ, войнъ, трактатовъ и союзовъ, а гдѣ-то въ безвѣстномъ углу, изъ котораго мнѣ никто не препятствовалъ бы кричать вслѣдъ несущейся мимо меня жизни: возьми все — и отстань!..

Утромъ, едва я успѣлъ забыться тревожнымъ сномъ, какъ меня разбудилъ громъ и звонъ, раздававшійся на дворѣ. Одѣвшись нѣско, я выбѣжалъ на крыльцо, и глазамъ моимъ представилась картина необычной для Чemezова суеты. Старики и старухи, мирно доживавшіе свой вѣкъ въ подвальныхъ этажахъ барскаго дома, всѣ разомъ выползли на барскій дворъ, сновали взадъ и впередъ, отъ амбара къ кладовой, отъ кладовой къ погребу, гремѣли ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка; вблизи нея, на лужку, ходили три спутанныя лошади и кормились, встряхивая бубенчиками. На вопросъ мой, что случилось, мнѣ отвѣчали, что пріѣхалъ купецъ Бородавкинъ и вмѣстѣ съ Зайцемъ и Лукьянычемъ отправился осматривать дачу.

Я ждалъ довольно долго. Наконецъ, часа черезъ три, осторожно, словно крадучись, вошелъ въ мою комнату Заяцъ. Лицо его, въ буквальномъ смыслѣ слова, было усыяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность...

— Желаютъ васъ видѣть, — доложилъ онъ шопотомъ.

Я чувствовалъ, что рѣшительный часъ насталъ, но все еще колебался.

— Ваше высокоблагородіе! позвольте вамъ доложить! — продолжалъ онъ таинственно: — они теперича въ такомъ пунктѣ состоятъ, что всего у нихъ, значить, просить можно. Коли ежели, къ примѣру, всю дачу продать пожелаете — они всю дачу купятъ; коли ежели пустошь какую, или парки, или хоша бы и домъ — они и на это согласны! Словомъ сказать, съ ихъ стороны на все согласіе будетъ полное!

И надо было видѣть его изумленіе и даже почти негодованіе, когда я объявилъ ему, что въ настоящую минуту ничего продавать не намѣренъ!

## VI. — Превращеніе.

На дняхъ иду по Невскому, мимо парикмахерской Дюбюра, смотрю и глазамъ не вѣрю: по лѣстницѣ магазина сходить... самъ Осипъ Ивановичъ Деруновъ!!

Нужно было въ свое время очень запечатлѣть въ памяти лицо Осипа Иваныча, чтобы узнать его въ томъ обличіи, въ какомъ онъ предсталъ передо мной въ эту минуту. На плечахъ накинута соболья шуба рѣдчайшей воды (въ „своемъ мѣстѣ“ онъ носитъ желтую лисью шубу, а въ дорогу такъ и волчьей не брезгуетъ), на головѣ надѣтъ самаго новѣйшаго фасона цилиндръ, изъ-подъ котораго высыпались наружу серебряныя кудри; борода расчесана, мягкая какъ пухъ и разить духами; румянецъ на щекахъ даже пріятнѣе прежняго; глаза блестятъ... Словомъ сказать, лѣтъ двадцать-пять съ плечъ долой—никакъ не меньше.

И прежде случалось, что Деруновъ по временамъ наѣзжалъ въ Петербургъ по своимъ дѣламъ, но пріѣзды эти всегда совершались болѣе чѣмъ скромно. Останавливался онъ обыкновенно у кума своего, Ивана Иваныча Зачатіевского, сына к—скаго пономаря, который служилъ въ одномъ изъ департаментовъ столоначальникомъ, досидѣлся до чина статскаго совѣтника и съ полученіемъ его воспользовался титуломъ управляющаго столомъ. Если же у кума было нельзя пріютиться (Зачатіевскій былъ необыкновенно плодущъ, и не всегда въ его квартирѣ имѣлся свободный уголъ), въ такомъ случаѣ Деруновъ нанималъ дешевенькій номеръ въ гостинницѣ „Рига“ или у Ротина, и тамъ всѣ его издержки, сверхъ платы за номеръ, ограничивались требованіемъ самовара, потому что чай и сахаръ у него были свои, а вмѣсто обѣда онъ насыщался холодными закусками съ сайкой, покупаемыми у лоточниковъ. Франтить онъ не только не франтилъ, но даже, ступая на петербургскую почву, какъ бы съ расчетомъ усугублялъ невзрачность своего костюма. Иногда, во время этихъ наѣздовъ, онъ удостоивалъ посѣщать и меня.

— Охота вамъ, Осипъ Иванычъ, себя изнурять!—бывало, скажешь ему:—человѣкъ вы состоятельный, а другіе говорятъ—и богатый, могли бы въ Петербургѣ шкуру задать, а вы вотъ въ сибиркѣ ходите да бѣлужиной, вмѣсто обѣда, пробавляетесь!

— А ты слушай-ко, другъ, чтѣ я тебѣ скажу!—благосклонно объяснял онъ мнѣ въ отвѣтъ:—ты говоришь, я человѣкъ состоятельный, а знаешь ли ты, какъ я капиталъ-то свой приобрѣлъ! все постепенно, другъ, все пятачками да гривенничками! Кабы платье-то у меня хорошее было, мнѣ бы въ каретѣ ѣздить надо, а за нее, поди, пять рублей въ день отдать мало! А теперь я отъ Ивана Иваныча (Зачатіевского, изъ Измайловскаго полка) выйду—платье-то у меня таковское: и забрызгаетъ—терпите! Вотъ я иду—иду на биржу, да и даю извозчику сначала двугривенничекъ, а потомъ, у Вознесенья, и пятиалтыничекъ. Времени передо мной достаточно, на пожаръ спѣшить нечего. Не возьметъ извозчикъ пятиалтыничика, я и до адмиралтейства, замѣсто прогулки, дойду, а оттолъ ужъ за гривенничекъ и сяду до биржи.



Анъ сочти-ка ты, сколько гривенниковъ-то за день въ карманѣ останется—вѣдь, шутя-шутя, полтора, два въ сутки набѣжить!

— А вамъ очень эти полтора, два рубля дороги?

— Мнѣ все дорого, потому на полу и гривенника не поднимешь. Опять и то скажу: я вѣдь всякою операціей орудую, и сало покупаю, и масло постное, всякій, значить, товаръ. Во все пальцемъ колупнуть долженъ, а иное и на языкъ испробовать. Кабы теперича я въ хорошемъ платьѣ да въ перчаткахъ ходилъ, какъ бы къ товару-то я приступился? Вѣдь около него хорошее-то платье изгадишь, а оно, поди, денегъ стоитъ. Вотъ и сталъ бы я, вмѣсто того, чтобъ самъ до всего доходить, приказчика за себя посылать, а приказчику-то плати, да онъ же тебя за твои деньги продастъ! А теперь—святое дѣло! Нужды нѣтъ, что по пяточкамъ да по гривенничкамъ собираемъ: курочка и по зернышку клюетъ, да сыта бываетъ!

— Ну, вы-то, чай, не все по зернышку клюете! Какъ сало-то на языкъ попробуете—въ карманѣ, смотри, и изрядный кушъ очутится!

— Бываютъ и куши — и отъ кушей не отказываемся. Да вѣдь и тутъ опять: отчего эти самые куши до насъ доходятъ? Все черезъ нашу же экономію да осмотрительность! Лучше скажу тебѣ: давно нѣмецъ здѣшній такое мнѣніе объ насъ, русскихъ, имѣетъ, что въ худомъ-то платьѣ человѣку больше вѣрить, нежели который человѣкъ къ нему въ каретѣ да на рыскахъ къ крыльцу подѣдетъ. Теперича хоть бы я: миткалевая фабрика у меня есть, хлопокъ нуженъ; какъ приду я къ нѣмцу въ своемъ природномъ, русскомъ видѣ, мнѣ и поклониться ему не стыдно! Да и онъ тоже, глядя на мою одѣжу, соображаетъ: этотъ человѣкъ, говоритъ, основательный! Глядишь—анъ мнѣ и уступочка за мою основательность. Нѣтъ, сударь, видно, намъ, русскимъ, еще предѣлъ не вышелъ въ хорошемъ-то платьѣ ходить!

И вотъ этотъ самый человѣкъ, возведшій хожденіе въ худомъ платьѣ чуть не въ теорію, является передо мной совершеннымъ франтомъ. Изъ-за распахнувшейся на мгновеніе шубы я замѣтилъ отлично сшитый сюртукъ и ослѣпительной бѣлизны рубашку съ крупными брилліантовыми запонками; на рукахъ перчатки *à double couture*, на шеѣ—узенькій черный *col*... Только сапоги на-выпускъ обличаютъ русскаго человѣка, да и то, быть можетъ, онъ сохранилъ ихъ потому, что видѣлъ такіе же у какого-нибудь знакомаго кирасира.

— Осипъ Ивановичъ—вы?—спросилъ я нерѣшительно.

— Самолично-съ.

Онъ высунулъ изъ-подъ шубы два пальца, одинъ изъ которыхъ я слегка и потянулъ къ себѣ, сказавъ:

— Вотъ вы и въ перчаткахъ! а помните, недавно еще вы говорили, что вамъ непременно голый палецъ нуженъ, чтобъ сало ловчѣе было колупать и на языкъ пробовать?

— Было... и это!—отвѣтилъ онъ, нѣсколько сконфузясь:—а что только два пальца вамъ подалъ, такъ этому есть причина: шубу поддерживаю.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ! Не шутя вѣдь узнать васъ нельзя, Осипъ Ивановичъ! Похорошѣли! помолодѣли! Просто двадцать-пять лѣтъ съ костей долой! Надолго ли въ Петербургъ?

— Думаю недѣльки двѣ еще побыть.

— А помнится, вы не очень-то Петербургъ долюбивали? По дѣламъ?

— По дѣламъ... ну, и провѣтриться тоже... Сидишь-сидишь эта въ захолустьи — захочется и на свѣтъ Божій взглянуть!

— И прекрасно. Теперь, стало быть, вамъ остается только „штучку“ какую-нибудь подцѣпить — и дѣло въ шляпѣ! А можетъ быть, вы ужъ и подцѣпили?

— Есть ихъ, „штучекъ“ -то... довольно здѣсь! Я впрочемъ не столько для нихъ, сколько для того, что ужъ оченно генераль пріѣхать просилъ.

— Какой генераль?

— Да вотъ что лѣтось къ намъ въ К. пріѣзжалъ... сказывалъ вамъ, помнится! Насчетъ облигаціевъ...

— Стало быть, объ концессіи хлопотать пріѣхали?

— Парень-то ужъ больно хорошъ. Говорить: можно сразу капиталъ на капиталъ нажить. Ну, а мнѣ что жъ! Состояніе у меня достаточное: думаю, не все же по гривенникамъ сколачивать, и мы попробуемъ, какъ люди разомъ большіе куши гребутъ. А сверхъ того, кстати ужъ и Марья Потапьевна провѣтриться пожелала.

— Какая Марья Потапьевна?

— Ужъ и забыли? Яшенькина, сына моего, супруга...

Мнѣ показалось, что, говоря это, онъ какъ-то посмотрѣлъ совсѣмъ ужъ вкось.

— Не видалъ я ее, Осипъ Ивановичъ, не привелось въ ту пору. А красавица она у васъ, сказываютъ. Такъ, значитъ, вы не одни? Это отлично. Получите концессію, а потомъ, можетъ быть, и совсѣмъ въ Петербургъ оснуетесь. А впрочемъ, чтожъ я! Переливаю изъ пустого въ порожнее, и не спрошу, какъ у васъ въ К., всѣ ли здоровы? Анна Ивановна? Николай Осипычъ?

— Чтѣ имъ дѣлается! Цвѣтутъ красотой — и шабашъ. Я нынче со всѣми въ миру живу, даже съ Яшенькой поладилъ. Да и онъ за умъ взялся: сколь прежде строптивъ былъ, столь нынче покорень. И такъ это родительскому сердцу пріятно...

— Еще бы! какой онъ, однакожъ, чудакъ у васъ! Марью Потапьевну въ Петербургъ отпустилъ, а самъ въ захолустьи остался!

— Вѣдь не одну онъ ее отпустилъ, а съ родителемъ. Да ему-то, признаться, въ хорошую-то компанію и войти покуда нельзя.

— Чтѣ такъ?

— Да все тоже. Вино мы съ нимъ очень достаточно любимъ. Да не заѣдете ли къ намъ, сударь: я здѣсь, въ Европейской гостинницѣ, по близости, живу. Марью Потапьевну увидите; она же который день ко мнѣ пристаеъ: покажъ да покажъ ей господина Тургенева! А онъ, слышь, за границей. Ну, да вѣдь и вы писатель — все одно, значитъ. Э-эхъ! загоняла меня совсѣмъ молодая сношенька! Вотъ къ французу послала, прическу новомодную сдѣлать велѣла, а сама съ „калегвардами“ разговаривать осталась.

— Вотъ какъ!

— Да, сударь, всякаго люду къ намъ теперь ходитъ множество. Ко мнѣ — отцы, народъ дѣловой, а къ Марьѣ Потапьевнѣ — сынки навѣдываются.



Да вѣдь и то сказать: съ молодыми-то молодой повадѣе, не чѣмъ со стариками. Смѣху у нихъ тамъ... ну, а иной и глаза таращить — бабенкѣ-то и лестно, будто какъ по ней калегвардское сердце сохнетъ! Народъ военный, свѣжій, саблями побрякиваетъ — а время-то между тѣмъ идетъ да идетъ. Бываютъ и штатскіе, да все такіе же румяные, да пшеничные — за-одно я и всѣхъ „калегвардами“ прозвалъ.

— Чтожъ, чай, любезности напѣваютъ Марья Потапьевнѣ?

— Не безъ того. Вѣдь у васъ, въ Питерѣ, насчетъ женскаго-то полу утѣснительно; офицерства да чиновничества пропасть заведено, а провизіи про нихъ не припасено. Слѣдственно, они и гогочутъ, эти самыя „калегварды“. Такъ идемъ, что-ли, къ намъ?

Я согласился.

Деруновъ занималъ въ гостинницѣ отлично меблированный апартаментъ, комнатъ въ пять. Прямо изъ передней—столовая (здѣсь въ настоящую минуту былъ накрытъ столъ, уставленный разнообразнѣйшими закусками и цѣлою батареей водокъ и винъ), изъ столовой налѣво—кабинетъ и спальня Осипа Иваныча, направо—гостиная и будуаръ Марьи Потапьевны. Въ гостиной раздавались голоса и смѣхъ. Когда мы вошли (было около двухъ часовъ утра), то глазамъ нашимъ представилась слѣдующая картина: Марья Потапьевна, въ прелестнѣйшемъ дезабилье, изъ какой-то неслыханно дорогой матеріи, лежала съ ножками на кушеткѣ и играла кистями своего пеньюара; кругомъ на стульяхъ сидѣло четверо военныхъ и одинъ штатскій. Военные принадлежали къ разнымъ родамъ оружія, но всѣ были одинаково румяны и бѣлы и всѣ одинаково глядѣли крѣпышами; даже штатскій былъ такъ бѣлъ и румянъ, что сразу его нельзя было признать за штатскаго.

— А я тебѣ, Машенька, писателя привелъ! шутя на улицѣ нашелъ! — балагурилъ Осипъ Иванычъ, рекомендуя меня Марья Потапьевнѣ.

Марья Потапьевна поспѣшно сошла съ кушетки и какъ-то оторопѣла, словно институтка, передъ которой выросъ изъ земли учитель и требуетъ ее къ отвѣту въ ту самую минуту, когда она всѣми силами души призывала къ себѣ „калегварда“. Очень возможно, что она думала, что передъ нею стоитъ самъ Тургеневъ, но я, разумѣется, поспѣшилъ ее успокоить, назвавъ себя. И, увы! я съ горестью долженъ сознаться, что фамилія моя ровно ничего не сказала ей, кромѣ того, что я к—скій помѣщикъ и какъ-то лѣтомъ былъ у Осипа Иваныча съ предложеніемъ какихъ-то земельныхъ обрѣзковъ.

Впрочемъ она очень предупредительно подала руку и даже на мгновенье задумалась, словно стараясь что-то припомнить.

— Ахъ, да! вѣдь вы по смѣшной части! — наконецъ вспомнила она.

— Горестей не имѣю—отъ этого,—отвѣтитъ я, и, не знаю отчего, мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ весело, точно я цѣлый вѣкъ былъ знакомъ съ этою милою особой. „Сколько тутъ хохоту должно быть въ этой маленькой гостиной и сколько вранья!“ думалось мнѣ при взглядѣ на этихъ краснощекихъ крупнчатыхъ „калегвардовъ“, изъ которыхъ каждый, кажется, такъ и готовъ былъ ежеминутно прыснуть со смѣху.

— Садитесь — гости будете! — пригласила меня Марья Потапьевна, принимая прежнее положеніе на кушеткѣ.

Я сѣлъ и тутъ только всмотрѣлся въ нее. Дѣйствительно, это была женщина, въ матеріальномъ смыслѣ, очень привлекательная. Рослая, широко-костая, высокогрудая, съ румяннымъ, нѣсколько болѣе чѣмъ нужно круглымъ лицомъ, съ большими сѣрыми на выкатѣ глазами, съ роскошною темнорукою косою, съ алыми пухлыми губами, освѣненными чуть замѣтно темнымъ пушкомъ, она представляла собой совершенный типъ великорусской красавицы въ самомъ завидномъ значеніи этого слова. Мнѣ досадно было смотрѣть на роскошный ея пенюаръ и на ту нелѣпную позу, въ которой она раскинулась на кушеткѣ, считая ее вѣроятно за *pas plus ultra* аристократичности; мнѣ показалось даже, что всѣ эти „калегварды“, въ другихъ случаяхъ придающіе блескъ обстановкѣ, здѣсь только портятъ. Хотѣлось бы видѣть ее въ штофномъ малиновомъ сарафанѣ, въ кисейной рубашкѣ, среди хоровода. Одна рука уперлась въ бокъ, другая полукругомъ застыла въ воздухѣ, голова склонена на бокъ, роскошныя плечи чуть вздрагиваютъ, ноги каблучками притопываютъ, и вотъ она, словно павушка-лебедушка, истово плыветъ по хороводу, а парни такъ и стонутъ кругомъ, не „калегварды“, а настоящіе русскіе парни, въ синихъ распашныхъ сибиркахъ, въ красныхъ александрійскихъ рубашкахъ, въ сапогахъ на-выпускъ, въ поярковыхъ шляпахъ, утыканныхъ кругомъ разноцвѣтными перьями...

Какъ по морю по Хвалынскому  
Выплывала лебедь бѣлая

раздается въ моихъ ушахъ...

Ну, скажите на милость, зачѣмъ тутъ „калегварды“? чтѣ они могутъ тутъ подѣлать, несмотря на всю свою крупчатость? Вотъ кабы Дерунову, Осипу Иванычу, годовъ сорокъ съ плечъ долой—это точно! Можно было бы залюбоваться на такую парочку!

— Ну-съ, господа „калегварды“, о чемъ ласы точите?—между тѣмъ фамильярно обратился къ присутствующимъ Деруновъ.

— Да вотъ, Осипъ Иванычъ, хотимъ вамъ на Марью Потапьевну пожаловаться! никакого хорошаго разговору не допускаетъ! сразу такъ оборветъ—хоть на Кавказъ переводись!—отвѣтилъ одинъ юный корнетъ, съ самымъ легкимъ признакомъ усомъ, совсѣмъ-совсѣмъ херувимъ.

— Стало быть, перепустили маленько. А вы, господа, не все за разъ. Посрамословьте малость, да и на завтра что-нибудь оставьте! Дней-то вѣдь впереди много у Бога!

— Да мы и то крошечку... объ Шнейдершъ чуть-чуть вспомнили!

— Знаю я вашу „крошечку“. Взглянуть на васъ—ужъ такъ-то вы молоды, такъ-то молоды! Однѣмъ любого въ сарафанѣ—отъ дѣвки не отличишь! А какъ начнете говорить—кажется, и габвахта ваша, и та отъ вашихъ словъ со стыда сгорѣть должна!

Общій смѣхъ.

— Вотъ я и привелъ нарочно писателя: авось, молъ, онъ васъ остепенить. Я ужъ Иванъ Иваныча (Зачатіевскаго) къ нимъ не однажды въ компанію припускалъ—для степенности, значить—а они, не будь просты, возьмутъ да и откомандируютъ его въ кондитерскую за конфектами!



Сказавъ это, Осипъ Ивановичъ тоже взялъ стулъ, придвинулъ его къ кружку и сѣлъ верхомъ.

— Ну, что же притихли! — прикрикнулъ онъ: — безъ меня, небось, словно мельница безъ мелева, а пришелъ — языки прикусили! Сказывайте, о чемъ безъ меня срамословили?

— Да что при васъ... безъ васъ свободнѣе! — отозвался кто-то, и все вдругъ смолкло.

Дѣйствительно, съ нашимъ приходомъ болтовня словно оборвалась; „калегварды“ переглядывались, обдергивались и гремѣли оружіемъ; штатскій „калегвардъ“ нѣсколько разъ обѣими руками брался за тулью шляпы и шевелилъ губами, порываясь что-то сказать, но ничего не выходило; Марья Потапьевна тоже молчала; да вѣроятно она и вообще не была разговорчива, а болѣе отличалась по части млѣнія.

— Ну, батюшка, это вы страху на нихъ нагнали! — обратился ко мнѣ Деруновъ: — думаютъ, вотъ въ смѣшномъ видѣ представить! Ахъ, господа, господа! а еще подъ хивинца хотите идти! А я, Машенька, по приказанію вашему, къ французу ходилъ. Обнатурилъ меня въ лучшемъ видѣ и бороду духами напыскалъ!

Марья Потапьевна лѣниво вскинула глазами на Осипа Ивановича; изъ рядовъ „калегвардовъ“ послышалось нѣсколько панегирическихъ восклицаній.

— Скажите хоть вы что-нибудь! — вдругъ обратилась ко мнѣ Марья Потапьевна.

Обращеніе это застало меня совершенно врасплохъ. Вообще я робокъ съ дамами; въ одной комнатѣ быть съ ними — могу, но разговаривать опасуюсь. Все кажется, что вотъ-вотъ *она* спроситъ что-нибудь такое совсѣмъ неожиданное, на что я ни подъ какимъ видомъ отвѣтить не смогу. Вотъ „калегвардъ“ — тотъ отвѣтитъ; тотъ, напротивъ, при мужчинѣ совѣстится, а дама никогда не застанетъ его врасплохъ. И будутъ *они* вмѣстѣ разговаривать долго и безъ умолку, будутъ смѣяться, и — кто знаетъ — будутъ, можетъ быть, и понимать другъ друга!

— Вы ко мнѣ?.. Но вѣдь я... право, со мной не случилось ничего такого... — бормоталъ я сконфуженно.

И въ то время мнѣ думалось: а ну, какъ она скажетъ „какой вы, одинакожь, невѣжа!“ Литераторъ, въ нѣкоторомъ родѣ служитель слова — и ничего не умѣетъ разсказать! вѣроятно ли это?

Къ счастью, меня озарила внезапная мысль. Я вспомнилъ, что когда-то въ дѣтствѣ я читалъ разсказъ подъ названіемъ: „Происшествіе въ Абруцскихъ горахъ“; сверхъ того, я вспомнилъ еще, что когда наши русскіе Александры-Дюма-фисы желаютъ очаровывать дамъ (дамы — ихъ спеціальность), то всегда разсказываютъ имъ это самое „Происшествіе въ Абруцскихъ горахъ“, и всегда выходитъ прекрасно.

„А что, не пройтись ли и мнѣ насчетъ „Происшествія въ Абруцскихъ горахъ“? — пришло мнѣ на умъ. — Правда, я тамъ никогда не бывалъ, но вѣдь и они тоже, навѣрное, не бывали... Слѣдственно“...

Я нѣскоро припомнилъ басню разсказа, читаннаго мною въ дѣтствѣ, и

въ то же время озаботился позаимствоваться нѣкоторыми подробностями изъ оперы „Фра-Діаволо“, для соблюденія *couleur locale*.

— Позвольте!—воскликнулъ я, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ: —есть у меня одна вещичка: „Происшествіе въ Абруццскихъ горахъ“... Происшествіе это случилось со мной лично, и если угодно, я охотно расскажу вамъ его.

Предложеніе мое встрѣтило радужный пріемъ. Марья Потапьевна томно улыбнулась и даже, оставивъ горизонтальное положеніе на кушеткѣ, повернулась въ мою сторону; „калегварды“ переглянулись другъ съ другомъ, какъ бы говоря: *nous allons rire*.

— И такъ,—началъ я:—я общалъ вамъ, милая Марья Потапьевна, рассказать случай изъ моей собственной жизни, случай, который въ свое время произвелъ на меня громадное впечатлѣніе: Вотъ онъ:

### „Происшествіе въ Абруццскихъ горахъ“.

(Посвящается русскимъ беллетристамъ, очаровывающимъ русскихъ дамъ рассказами изъ собственной жизни.)

„Въ 1848 году путешествовали мы съ извѣстнымъ адвокатомъ Евгеніемъ Легкомысленнымъ (для чего я привлекъ къ моему рассказу адвоката Легкомысленнаго—этого я и теперь объяснить себѣ не могу; ежели для правдоподобія, то вѣдь въ 1848 году и адвокатовъ, въ нынѣшнемъ значеніи этого слова, не существовало!!) по Италіи, и, какъ сейчасъ помню, жили мы въ Неаполѣ, волочились за миловидными неаполитанками, ѣли *frutti della mare* и пили *una fiasca dal vino*! Вотъ только однажды говорить мнѣ Легкомысленный:

„— А не съѣздить ли намъ въ Абруццскія горы?

„— Съ какой стати въ Абруццскія горы загорѣлось?—спрашиваю я.

„— А тамъ, говоритъ, разбойники!

„Взглянулъ я, знаете, на Легкомысленнаго, а онъ такъ и горитъ храбростью. Сначала меня это озадачило: вѣдь разбойники-то, думаю, убить могутъ!—однако вижу, что товарищъ мой кипитъ, ну, и я какъ будто почувствовалъ угрызеніе совѣсти.

„— Идетъ, говорю:—ѣдемъ!

„Ну-съ, только ѣдемъ мы съ Легкомысленнымъ, а въ Неаполѣ между тѣмъ насъ предупредили, что разбойники всего чаще появляются подъ видомъ мирныхъ пастуховъ, а потомъ уже оказываются разбойниками. Хорошо. Взяли мы съ собой запасъ *frutti della mare* и *una fiasca dal vino*, ѣдемъ въ коляскѣ и калякаемъ.

„— А знаешь ли,—говоритъ Легкомысленный:—я понимаю поступокъ гимназиста Полозова!

„— Чтò жъ тутъ понимать-то?

„— Нѣтъ, какъ хочешь, а нанять тройку и безъ всякой причины убить ямщика—тутъ есть своего рода дикая поэзія! я за себя не ручаюсь... можетъ быть, и я сдѣлалъ бы то же самое!



„ — Наплевать мнѣ на твою поэзію, а ты бы вотъ объ чемъ подумалъ: Абрुцскія горы близко, страшные-то разговоры оставить бы надо!

„ — Помилуй! говорить. — Да я затѣмъ и веду страшные разговоры, чтобъ падшій духъ въ себѣ подкрѣпить! Но знаешь, что иногда приходитъ мнѣ на мысль? — прибавилъ онъ печально: — что въ этихъ горахъ, въ виду этой суровой природы, мнѣ суждено испустить многоятежный мой духъ!

„Ладно. Между этими разговорами прѣзжаемъ на станцію. Тутъ, говорятъ намъ, коляску оставить нужно, а придется намъ ѣхать на ослахъ!“ Что жъ, на ослахъ, такъ на ослахъ? — сѣли, поѣхали.

„Отѣхали мы верстъ десять — и вдругъ гроза. Вѣтеръ; снѣгъ откуда-то взялся; небо черное, воздухъ черный и молніи, совсѣмъ не такія, какъ у насъ, а толстыя-претолстыя. Мы къ проводникамъ: долго ли, молъ, этакъ будетъ? — не повимають. А сами между тѣмъ по своему что-то лопочутъ да посвистываютъ.

„ — Молись! — кричитъ мнѣ Легкомысленный.

„И вдругъ, при этомъ его словѣ, показался въ сторонѣ огонекъ. Смотримъ — хижина, и на порогѣ крыльца бѣдные пастухи съ факелами въ рукахъ.

„ — Помнишь, что намъ въ Неаполѣ о пастухахъ говорили? — шепнулъ мнѣ на ухо Легкомысленный.

„Признаюсь откровенно, въ эту минуту я именно только объ этомъ и помнилъ. Но дѣлать было нечего: пришлось сойти съ ословъ и воспользо-ваться гостепріимствомъ въ разбойничьемъ пріютѣ. Первое, что поразило насъ при входѣ въ хижину — это чистота, почти запустѣлость, царствовавшая въ ней. Ясное дѣло, что хозяева, имѣя постоянный промыселъ на большой дорогѣ, не нуждались въ частомъ посѣщеніи этого пріюта. Затѣмъ, на стѣнахъ было развѣшено нѣсколько ружей, которыя тоже не предвѣщали ничего добраго.

„ — Видишь? — спросилъ я шопотомъ Легкомысленнаго.

„Но онъ, въ отвѣтъ, только стучалъ зубами.

„Не успѣли мы снять съ себя верхнее платье и расположиться, какъ намъ принесли овечьяго сыру, козьяго молока и горячихъ лепешекъ. Но такихъ вкусныхъ лепешекъ, милая Марья Потапьевна, я ни прежде, ни послѣ — никогда не ѣдалъ! А шельмы пастухи прислуживаютъ намъ, и между тѣмъ все что-то по своему лопочутъ.

„Поѣли, надо ложиться спать. Я заперъ дверь на крючокъ и, по разсѣянности, совершенно машинально потушилъ свѣчку. Представьте себѣ мой ужасъ! — ни у меня, ни у Легкомысленнаго ни единой спички! Очутиться среди непроглядной тьмы — и при этомъ слышать, какъ товарищъ, безъ малѣйшаго перерыва, стучитъ зубами! Согласитесь, что такое положеніе вовсе не благопріятно для „покойнаго сна“...

„Надо вамъ сказать, милая Марья Потапьевна, что никто никогда въ цѣломъ мірѣ не умѣлъ такъ стучать зубами, какъ стучалъ адвокатъ Легкомысленный. Слушая его, я иногда переносился мыслью въ Испанію, и начиналъ вѣрить въ существованіе кастаньетъ. Во всякомъ случаѣ, этотъ стукъ до того раздражалъ мои возбужденные нервы, что я, несмотря на всѣ старанія, не могъ ни на минуту уснуть.

„Въ полночь мы совершенно явственно услышали шорохъ...

„— Слышишь?—полушопотомъ спросилъ меня Легкомысленный, переставъ стучать зубами.

„— Слышу, — отвѣтилъ я.

„— Я полагаю, что теперь самое время выстрѣлить изъ револьвера!

„— А я такъ думаю, что покуда мы съ тобой разговариваемъ, разбойники давно ужъ догадались и спрятались. Будемъ же молчать и ожидать.

„И дѣйствительно, едва мы умолкли, какъ шорохъ прекратился.

„Черезъ полчаса онъ, однакожъ возобновился съ новою силой.

„— Слышишь?—вновь спросилъ меня Легкомысленный.

„— Стрѣлай!—отвѣчалъ я рѣшительно.

„— Но я боюсь стрѣлять.

„— И все-таки стрѣлай, потому что ты адвокатъ. Въ случаѣ чего, ты можешь цѣлый романъ выдумать, сказать, напримѣръ, что на тебя напала толпа разбойниковъ и ты находился въ состояніи самозащиты, а я сказать этого не могу, потому что лгать не привыкъ.

„Не успѣлъ я высказать всего этого, какъ раздался выстрѣлъ. И въ тоже время два вопля поразили мой слухъ: одинъ раздирающій, похожій на визгъ, другой—въ которомъ я узналъ искаженный голосъ моего друга.

„— Легкомысленный! ты убить, или ты убитъ?—воскликнулъ я, пораженный ужасомъ.

„Но прежде, нежели я получилъ отвѣтъ, снаружи послышались голоса. Проводники, пастухи—все это всполошилось и стучалось къ намъ въ дверь. Разумѣется, я уперся и не отпиралъ, но дюжие молодцы въ одну минуту высадили дверь, и безъ того чуть державшуюся на ржавыхъ петляхъ. И что же представилось нашимъ взорамъ при свѣтѣ факеловъ?! Во-первыхъ, на полу простерта была прострѣленная насквозь кошка, и, во-вторыхъ, на лавѣ лежалъ въ глубокомъ обморокѣ мой другъ. Разумѣется, мы прежде всего употребили энергическія усилія, чтобъ возвратить Легкомысленнаго къ сознанию, а остальное время ночи посвятили разъясненію недоразумѣній. Оказалось, что наши хозяева совсѣмъ не разбойники, а дѣйствительно добродушные пастухи, которые на другой день опять накормили насъ сыромъ и лепешками и даже напутствовали своими благословеніями.

„На этотъ разъ Легкомысленный спасся. Но предчувствіе не обмануло его. Не успѣли мы сдѣлать еще двухъ переходовъ, какъ на него напали три голодные зайца и въ нашихъ глазахъ растерзали на клочки! Бѣдный другъ! съ какою грустью онъ предсказывалъ себѣ смерть въ этихъ негостепріимныхъ горахъ! И какъ онъ хотѣлъ жить!

„Хотите вѣрьте, хотите не вѣрьте этой исторіи, милая Марья Потапьевна, но вы видите предъ собою не только очевидца, но и участника ея.

„Конецъ“.

Я кончилъ, но, къ удивленію исторія моя не произвела никакого эффекта. Очевидно, я адресовался съ нею не туда, куда слѣдуетъ. „Калегварды“ переглядывались. Марья Потапьевна какъ-то вяло проговорила:

— Я думала, что вы смѣшное что-нибудь расскажете, а вы, напротивъ, печальное...



А Осипъ Иванычъ сказалъ:

— Слышалъ я что-то; одинъ купецъ у насъ сказывалъ, что съ нимъ подъ Корчевой на постояломъ такое же дѣло приключилось...

Затѣмъ всѣ вдругъ зѣвнули.

— А чтѣ, господа „калегварды“! въ столовой закуска-то зачѣмъ же нибудь да поставлена! Ходимъ!— провозгласилъ Осипъ Иванычъ.

Дѣйствительно, это былъ самый лучшій и повидимому даже давно желанный исходъ изъ затрудненія, въ которомъ неожиданно очутилась веселая компанія. Оружіе загремѣло, стулья задвигались, и мы всѣ, вслѣдъ за поднявшеюся Марьей Потапьевной, направились въ столовую.

Въ столовой всѣмъ стало какъ-то поваднѣе. „Калегварды“ выпили по двѣ рюмки водки, и затѣмъ, по мѣрѣ закусыванья, поглощали соотвѣтствующее количество хересеу и другихъ напитковъ. Разговоръ едѣлся шумнымъ; предметомъ его служила Жюдикъ. Нѣкоторые хвалили; одинъ „калегвардъ“ даже всталъ въ позу и спѣлъ „la Chatouilleuse“. Другіе, напротивъ того, порицали, находя, что Жюдикъ слишкомъ добродѣтельна, и что, напримѣръ, Шнейдерша...

— Чортъ ли мнѣ въ ея добродѣтели!—восклицалъ одинъ изъ порицателей:—если я на добродѣтель хочу любоваться, я, конечно, въ Буффъ не пойду!

— Ты не понимаешь, душа моя!—возражалъ одинъ изъ хвалителей:—это только такъ кажется, что она добродѣтельна, а въ сущности—*c'est une coquine accomplie!* Вслушайся, напримѣръ, какъ она поетъ:

Assez!

Finissez!

Monsieur! vous me faites mal!

вѣдь она произносить это какъ будто она совсѣмъ-совсѣмъ невинная, а взглядишь-ка въ нее поближе...

— Elle est tellement innocente  
Qu'elle ne comprend presque rien!

запѣлъ штатскій „калегвардъ“.

— То-то вотъ и есть!—подхватилъ панегиристъ Жюдикъ:—„qu'elle ne comprend presque rien!“—это очень тонко, душа моя!

— Очень хорошо она это представляетъ,—подтвердила и Марья Потапьевна.

— Хорошо-то хорошо,—подался порицатель:—а все-таки... Помните Шнейдеръ въ „Dites lui“—вотъ это... масло! Нѣтъ, воля твоя! мнѣ въ „Буффъ“ добродѣтели не нужно! Добродѣтель—я ее уважаю, это опора, это, такъ сказать, основаніе... *je n'ai rien à dire contre cela!* но въ „Буффъ“...

— А я такъ, право, дивлюсь на васъ, господа „калегварды“!—по своему обыкновенію нѣсколько грубо прервалъ эти споры Осипъ Иванычъ:—чтѣ вы за скусъ въ этихъ Жюдикахъ находите! Смотрѣлъ я на нее намеренно: вертитъ хвостомъ ловко—это такъ! А настоящаго фундаменту, чтобъ, значить, во всѣхъ статьяхъ состоятельность чувствовалась—ничего такого у нея нѣтъ! Да и не можетъ его быть у французенки!

— Ха-ха! „Фундаментъ!“ *délicieux!* про какой же это „фундаментъ“ вы изволите говорить, Осипъ Ивановичъ?—подстрекнулъ старика одинъ изъ „калегвардовъ“.

— А про такой, чтобы и поясища, и бѣдра—все чтобы въ настоящемъ видѣ было! Ты французенкѣ-то не вѣрь: она передъ тобой бѣдрами шевелить—ахъ тамъ одинъ юпки. Вотъ какъ наша русская, которая ежели утробистая, такъ это точно! Какъ почнетъ въ хороводѣ бѣдрами вздрагивать—инда все нутро у тебя переберетъ!

— А вы-таки, Осипъ Ивановичъ, любитель!

— Въ стары годы охочъ былъ. А впрочемъ, скажу прямо: и молодъ былъ—никогда этихъ соусовъ да трюфелей не любилъ. По-моему, коли ежели все какъ слѣдуетъ на-лицо, такъ трюфель тутъ только препятствуетъ.

— Однако вы тоже, папаша! только молодымъ предики читаете, а сами, ишь ты, какой разговоръ завели!—укорила Марья Потапьевна.

— Я, сударыня, настоящій разговоръ веду. Я натуральные виды люблю, которые, значитъ, отъ Бога такъ созданы. А чтѣ создано, то все на потребу, и никакой въ томъ гнусности или разврату нѣтъ, кромѣ того, что говорить о томъ пріятно. Вотъ имъ, „калегвардамъ“, натуральный видъ противенъ—это точно. Для нихъ главное дѣло, чтобы вывертъ былъ, да погнусяе чтобы... Настоящаго чтобы ничего, а только чтобы подлость одна!

— Ну, господа, бѣда! Теперь намъ всѣмъ одно отъ Осипа Ивановича рѣшеніе—въ молчанку играть!—воскликнулъ одинъ изъ „калегвардовъ“.

— Нѣтъ, я ничего! По мнѣ чтѣ! пожалуй хоть до завтрага языкомъ мели! Я вотъ только насчетъ срамословія: не то, говорю, срамословіе, которое отъ избытка естества, а то, которое отъ мечтанія. Такъ ли я, сударь, говорю?—обратился Осипъ Ивановичъ ко мнѣ.

— Да какъ вамъ сказать! Я думаю, что вообще, и „отъ избытка естества“, и „отъ мечтанія“, матерія эта сама по себѣ такъ скудна, что если съ утра до вечера о ней говорить, то непременно, въ концѣ концовъ, должно почувствоваться утомленіе.

— Вотъ объ этомъ самомъ я и говорю. Естества, говорю, держись, потому естество—оно отъ Бога, и предѣлъ ему отъ Бога положенъ. А мечтанію этому—конца-краю ему нѣтъ. Даль ты ему волю однажды—оно ежеминутно тебѣ пакость за пакостью представлять будетъ!

Покуда мы такимъ образомъ морализировали, „калегварды“ втихомолку вели свой особенный разговоръ: слышалось шушуканье и тихое, сдержанное хихиканье; казалось, что вотъ-вотъ сама Марья Потапьевна сейчасъ запоетъ:

Assez!

Finissez!

Monsieur! vous me faites mal!

Вообще старики нерасчетливо поступаютъ, смѣшиваясь съ молодыми. Увы! какъ они ни стараются поддѣлаться подъ молодой тонъ, а все-таки, подъ конецъ, на мораль сводутъ. Вотъ я, напримѣръ—ну, зачѣмъ я это несчастное „Происшествіе въ Абруццескихъ горахъ“ рассказать? То ли бы дѣло, еслибъ я провелъ параллель между Шнейдершей и Жюдикъ! провелъ бы ве-



село, умно, съ самымъ тонкимъ запахомъ милой бездѣлицы! Какъ бы я всёхъ оживилъ! Какъ бы все это разомъ встрепенулось, зашѣло, загоготало!

Словомъ сказать, я почувствовалъ себя лишнимъ, и потому, улучивъ первую удобную минуту, взялъ шляпу и сталъ раскланиваться.

— Вы лучше вечеркомъ къ намъ зайдите, — любезно пригласилъ меня Осипъ Ивановичъ: — по пятницамъ у насъ хорошіе люди собираются. Можетъ быть, въ стуколку сыграете, а не то такъ Иванъ Ивановичъ и по маленькой партію составить.

Несмотря на богатство обстановки, которое я сейчасъ видѣлъ, впечатлѣніе, вынесенное мною, было очень непріятно. Мнѣ было жаль прежняго Дерунова, въ старозавѣтномъ синемъ сюртукѣ, желающаго „худымъ платьемъ“ вселить въ нѣмцѣ-негоціантѣ увѣренность въ своей „обстоятельности“, пробоющаго на языкъ сало, дающаго извозчику сначала двугривенный и потомъ постепенно съѣзжающаго на гривенникъ и т. д. Несмотря на всю несомнѣстность подобныхъ поступковъ съ миллионнымъ состояніемъ, въ личности Осипа Ивановича не было ничего такого, что бы сразу претило. Посторонній человѣкъ рѣдко проникаетъ глубоко, еще рѣже задается вопросомъ, какимъ образомъ изъ ничего полагается основаніе миллионамъ и на что можетъ быть способенъ человѣкъ, который создалъ себѣ какъ бы ремесло изъ выжиманія пятаковъ и гривенниковъ. Ему видится въ Деруновѣ какая-то искренность и простота, которыя дѣлаютъ отношенія къ нему до крайности легкими. Осипъ Ивановичъ могъ прямо смотрѣть въ глаза своему собесѣднику, рассказывая о гривенникахъ, пятакахъ, о колупаніи сала и о пользѣ „худого платья“ въ коммерческомъ дѣлѣ. Онъ былъ въ этомъ случаѣ только юмористомъ, добродушно подсмѣивающимся надъ самимъ собой и въ то же время снисходительно выдерживающимъ и чужую шутку. Другое дѣло, еслибы онъ рассказалъ самую подноготную выжимательнаго процесса; но вѣдь и то сказать: еще вопросъ, понималъ ли онъ самъ, что тутъ существуетъ какая-то подноготная и что она можетъ быть подвергаема нравственной оцѣнкѣ.

По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то хотя я и понималъ довольно отчетливо, что Деруновъ своего рода вампиръ, но наружное его добродушіе всегда какъ-то подкупало меня. А еще болѣе подкупали его практическій умъ и его бывалость. Въ первомъ смыслѣ, никто не могъ подать болѣе дѣловаго совѣта, какъ въ данномъ случаѣ поступить (разумѣется, можно было слѣдовать или не слѣдовать этому совѣту — это уже зависѣло отъ болѣшей или мѣншей нравственной безразличности — но нельзя было не сознавать, что при извѣстныхъ условіяхъ это именно тотъ самый совѣтъ, который наиболѣе выгоденъ); во второмъ смыслѣ, никто не зналъ столько „Приключеній въ Аббруцскихъ горахъ“ и никто не умѣлъ рассказать ихъ такъ занятно. Даже явно неправдоподобные рассказы его о чудодѣйственной силѣ скапливаемыхъ гривенниковъ и пятаковъ не казались особенно непріятными, потому что въ самой манерѣ рассказыванія уже слышалось его собственное ироническое отношеніе къ предмету рассказовъ. Видно было, что при этомъ онъ имѣлъ въ виду одну цѣль: такъ-называемое „заговариванье зубовъ“, но, какъ человѣкъ

умный, онъ и тутъ различалъ людей, и зналъ, кому можно „заговаривать зубы“ наголд, и кому съ тонкимъ оттѣнкомъ юмора, придающаго рѣчи пріятный полузагадочный характеръ.

Теперь, съ исчезновеніемъ старозавѣтной обстановки, исчезла и прежняя загадочность; выживаніе гроша втихомолку смѣнилось наглымъ вождельніемъ грабежа, и хотя старинный юморъ по временамъ еще сказывается, но имѣетъ уже характеръ случайный, искусственный. Очевидно, что Деруновъ ужъ оставилъ всякую оглядку, что онъ не будетъ впредь ни колоколовъ лить, ни пудовыхъ свѣчей къ образамъ ставить, что онъ совсѣмъ бросилъ мысль о гривенникахъ и пятакахъ и задумалъ грабить наголд и въ болѣе приличной формѣ. Всѣ мелкіе виды грабежа, производимые надъ живымъ матеріаломъ, и потому сопровождаемые протестомъ въ формѣ оханья и криковъ, онъ предоставляетъ сыну Николашенькѣ и приказчикамъ, самъ же на будущее время исключительно займется грабежомъ „отвлеченнымъ“, не сопряженнымъ съ оханьями и криками, но дающимъ въ нѣсколько часовъ рубль на рубль. „И голова у тебя слободна, и совѣсть чиста — потому „разговоръ“ нѣтъ!“ — такъ, я увѣренъ, разсуждаетъ онъ въ настоящее время. Генералъ, который нарочно пріѣзжалъ въ К., чтобъ доказать Осипу Иванычу, что въ его рублѣ даже надобности никакой нѣтъ, что онъ нуженъ только для прилику, для видимости, а что два другихъ рубля на этотъ мнимый рубль придутъ сами собой — успѣлъ въ этомъ больше, чѣмъ надо. Деруновъ вдругъ утратилъ присущее всякому русскому кулаку представленіе о существованіи Сибири, или, лучше сказать, онъ и теперь еще помнитъ объ ней, но знаетъ навѣрное, что Сибирь существуетъ не для него, а для „другихъ-прочихъ“.

И вотъ, хотя отвлеченный грабежъ повидимому гораздо меньше рѣжетъ глаза и слухъ, нежели грабежъ, производимый въ формѣ операциі надъ живымъ матеріаломъ, но глаза Осипа Иваныча почему-то уже не смотрятъ такъ добродушно-ясно, какъ сматривали во время оно, когда онъ въ „худой одежѣ“ за гривенникъ доѣзжалъ до биржи; напротивъ того, онъ старается ихъ скосить въ бокъ, особливо при встрѣчѣ съ старымъ знакомымъ. Онъ какъ бы чувствуетъ, что его уже не защищаетъ больше ни „глазокъ-смотрокъ“, ни „колупанье пальцемъ“, ни та безконечная суতোлка, которой онъ съ утра до вечера, въ качествѣ истаго хозяина-пріобрѣтателя, предавался и которая оправдывала его въ его собственномъ мнѣніи, а пожалуй и въ мнѣніи другихъ. Теперь онъ оголенъ, онъ ходитъ праздно съ утра до вечера и только соображаетъ, въ какой степени выгодна новая финансовая пакость, которую предложилъ ему „генералъ“. По изстари установившемуся въ немъ самомъ понятію, все это никоимъ образомъ не осуществляетъ представленія объ „дѣлѣ“, какъ объ чемъ-то сопряженномъ съ трудомъ. Онъ вполне сознаетъ, что тутъ нѣтъ и тѣни „труда“, а есть только ничѣмъ неприкрытое ёрничество, сопровождаемое наглымъ бросаніемъ денегъ и бражничаньемъ безъ конца.

Самыя отношенія его къ Марьѣ Потапьевнѣ утратили прежнюю загадочность. Нагота ихъ разомъ всплыла наружу и для своего прикрытія потребовала такой обстановки, которая сообщаетъ этимъ отношеніямъ характеръ еще бѣдшей пошлости. Въ обществѣ „сквернослововъ“ Осипъ Ивано-



вичь самъ незамѣтно сдѣлался сквернословомъ, и хотя еще держится въ этомъ отношеніи на реальной почвѣ, но кто же можетъ поручиться, что дальнѣйшая практика не сведетъ и его, въ ближайшемъ будущемъ, на ту почву мечтанія, о которой онъ покуда отзывается съ негодованіемъ. Благо въ жизнь вошелъ элементъ срамословія, а что градаціи его будутъ пройдены все до конца — это неминуемо. И тогда — Марья Потапьевнѣ мать; Осипъ Ивановичъ войдетъ во вкусъ и не станетъ смотрѣть, „утробиста“ ли женщина, или „неутробиста“, а будетъ подмѣчать только, какъ она „влияетъ хвостомъ“. И останется онъ постояннымъ жителемъ города С.-Петербурга, и найметъ себѣ дѣвицу Сузетту, а Марью Потапьевну ушлетъ въ К., въ жертву издѣвкамъ Анны Ивановны и семьи Николая Осиповича...

Тѣмъ не менѣе, въ одну изъ пятницъ я отправился въ Европейскую гостиницу, отправился отъ скуки, самъ не сознавая зачѣмъ. Было довольно поздно, когда я пришелъ. Въ столовой стоялъ раздвинутый столъ, уставленный фруктами, конфетами и кружонами съ шампанскимъ; въ кабинетъ у Осипа Иваныча, вокругъ трехъ соединенныхъ ломберныхъ столовъ, сидѣло человѣкъ десять, которые играли въ стуколку. Было страшно накурено; тамъ и сямъ около играющихъ виднѣлись стаканы съ шампанскимъ. Среди плавающихъ облаковъ дыма я замѣтилъ нѣсколько фizioномій, несомнѣнно принадлежащихъ тузамъ финансоваго міра, — фizioномій, по носамъ которыхъ можно было безошибочно заключить о восточномъ ихъ происхожденіи. Нѣсколько перетней съ крупными брилліантами блеснуло мнѣ въ глаза. Тутъ же сидѣлъ и „генералъ“, человѣкъ очень угрюмаго вида, когда-то бывшій полководецъ, совершившій знаменитую переправу черезъ рѣку Вьюлку \*) и побѣдившій мятежныхъ семендяевцевъ \*\*), но теперь, за побѣдой и одолженіемъ, оставшійся за штатомъ и нашедшій пріютъ около концессионеровъ. Тишина царствовала невозмутимая, прерываемая только условнымъ стуканьемъ пальцевъ и хлясканіемъ картъ. Одинъ Осипъ Иванычъ изрѣдка балагурилъ, немилосердно мусля при этомъ карты. Посреди стола лежала изрядная куча скомканныхъ бумажекъ.

Мое появленіе взбудоражило всю компанію. Осипъ Иванычъ выразилъ какъ бы недоумѣніе, увидѣвъ меня; когда же онъ назвалъ мою фамилію, то такое же недоумѣніе сказалося и на другихъ лицахъ.

— Съ нами, что-ли, въ стуколку играть сядете? — тѣмъ не менѣе, любезно обратился ко мнѣ хозяинъ, дѣлая видъ, что очищаетъ мѣсто подлѣ себя.

— Нѣтъ, я ужъ къ Марьѣ Потапьевнѣ...

— Ну, къ Марьѣ Потапьевнѣ, такъ къ Марьѣ Потапьевнѣ! А у ней соскучитесь, такъ съ Иваномъ Ивановичемъ займетесь. Иванъ Иванычъ! вотъ, братецъ, гость тебѣ! Займи! да смотри, чтобъ не соскучился! Да чаю имъ, да по питейной части чтобъ неустойки не было! Милости просимъ, сударь!

Иванъ Иванычъ Зачатіевскій, куда-то исчезавшій въ минуту моего прихода, словно изъ земли выросъ на зовъ своего патрона и стоялъ уже сзади меня, готовый по первому манію увлечь меня хоть въ преисподнюю.

\*) Тверской губерніи, Калязинскаго уѣзда.

\*\*) Торговое село Семендяево, тамъ же.

— Пожалуйте-съ! Марья Потапьевна будутъ очень рады-съ! — говорилъ Иванъ Ивановичъ, уводя меня подъ руку изъ кабинета.

— Помѣщикъ изъ нашихъ мѣстовъ... Еще родителя ихняго знаваль... — объяснялъ, слѣдомъ за мной, Деруновъ, повидимому все еще недоумѣвающимъ игрокамъ, и, сказавъ это, намусилил карты и стукнулъ.

Въ гостиной, вокругъ Марьи Потапьевны, тоже собралось человѣкъ около десяти, въ числѣ которыхъ былъ даже одинъ дипломатъ, сухой, длинный, желтый, со звѣздой на груди. Въ ту минуту, когда я вошелъ, дипломатъ объяснялъ Марьѣ Потапьевнѣ происхожденіе, значеніе и цѣль брюссельскихъ конференцій.

— Представьте себѣ, chère Марья Потапьевна, что одна изъ воюющихъ сторонъ вошла въ непріятельскую землю, — однозвучно цѣдилъ онъ сквозъ зубы, отчего его рѣчь была похожа на гудѣнье: — что мы видимъ теперь въ подобныхъ случаяхъ? А то, что мѣстное населеніе старается всячески повредить побѣдоносному врагу, устраиваетъ ему измѣнническія засады, бѣжитъ въ лѣса, заранѣе опустошая и предавая огню все, что стоитъ на его пути, предательски убиваетъ солдатъ и офицеровъ, словомъ сказать, совершаетъ все, что дикость и варварство могутъ внушить ему... тогда какъ тогда...

Мой приходъ помѣшалъ дальнѣйшему развитію объясненій. Но и въ гостиной Марьи Потапьевны я былъ не болѣе счастливъ, чѣмъ въ кабинетѣ Осипа Ивановича. Она словно забыла мое лицо и одно мгновеніе какъ бы колебалась; потомъ однакожь вспомнила и подала мнѣ руку, нѣсколько кисло улыбувшись. „Калегварды“, которыхъ я уже встрѣтилъ во время моего перваго утренняго визита, приняли меня радушнѣе. Казалось, имъ надобѣлъ дипломатъ (онъ навѣрное надобѣлъ и Марьѣ Потапьевнѣ), и они надѣялись, что мой приходъ дастъ бесѣдѣ новое направленіе. Многіе зѣвали, и ежели не уходили, то только благодаря крющонамъ, стоявшимъ въ столовой, и ожидаемой перспективѣ ужина. Что касается до дипломата, то онъ взглянулъ на меня съ недоумѣніемъ, почти неприязненно.

— Помѣщики изъ нашихъ мѣстовъ, — какъ бы оправдывалась Марья Потапьевна, называя меня по фамиліи.

— Вы, кажется, писатель? — спросилъ дипломатъ, сопровождая этотъ вопросъ какимъ-то невыразимо загадочнымъ взглядомъ, въ которомъ въ одинаковой степени смѣшались и брезгливость, и смутное опасеніе быть угаданнымъ, и желаніе подольститься, показать, что и мы, дескать, не чужды...

Я поклонился, думая въ то же время (эта мысль преслѣдуетъ меня вездѣ и всегда): а ну, какъ послѣдуетъ назначеніе... вѣдь бывали же примѣры!

— Они по смѣшной части! — объяснила Марья Потапьевна.

— Ah! Ah! „по смѣшной части“! joli! именно, именно по „смѣшной части“! Faites nous rire, monsieur! Мы такъ бѣдны смѣхомъ, что нужно, чтобы кто-нибудь расправлялъ наши морщины.

Онъ благосклонно подалъ мнѣ руку, затѣмъ обратился къ прерванному разговору и окончательно разъяснилъ Марьѣ Потапьевнѣ пользу брюссельскихъ конференцій.



Исполнивъ это, онъ любезно обратился къ „калегвардамъ“.

— Ну-съ, господа, какъ идуть дѣла съ м-мъ Жюдикъ?

— Да что, баронъ! Нельзя сказать, чтобы очень... добродѣтельна черезъ-чуръ! — отозвался тотъ самый „калегвардъ“, который и въ первый визитъ мой заявилъ себя противникомъ Жюдикъ.

— Ну, нѣтъ-съ; я вамъ скажу, это женщина... это, какъ по-испански говорится, *salado... salada...* такъ кажется?

— Такъ-то такъ, баронъ, но къ чему эта строгость... *ce puritanisme, enfin!*

— Не знаю, не замѣтилъ... а по моему мнѣнію, бываетъ воздержность, которая гораздо больше говоритъ, нежели самая недвусмысленная жестикующая... Впрочемъ вы, молодежь, лучшіе цѣнители въ этомъ дѣлѣ, нежели мы, старики. Вамъ и книги въ руки.

— Что касается до меня, то я совершенно вашего мнѣнія, баронъ! — вступился „калегвардъ“, приверженецъ Жюдикъ: — я говорю: жестъ актрисы никогда не долженъ давать все сразу! онъ долженъ оставлять желать, долженъ возбуждать воображеніе, открывать передъ нимъ перспективы... *Schneider!* что такое *Schneider*? — это нѣсколько усовершенствованная *Alphonsine* — и ничего больше! Она сразу даетъ все, она не оставляетъ моему чувству никакого повода для самодѣятельности... *je vous demande un peu, si c'est de l'art!*

— Такъ-съ, такъ-съ, совершенно съ вами согласенъ... *Vous avez saisi mon idée!* А впрочемъ вы, кажется, и изъ корпуса вышли первымъ, если не ошибаюсь...

— Точно такъ, баронъ.

— Н-да... это такъ... Жюдикъ... *Salado, salada...* Ну-съ, *chère Марья Потапьевна*, я васъ долженъ оставить! — произнесъ дипломатъ, съ достоинствомъ взвываясь во весь ростъ и взглядывая на часы: — одиннадцать! А меня ждетъ еще цѣлый ворохъ депешъ! Пойти на минуту къ почтеннѣйшему Осипу Иванычу — и затѣмъ домой!

— А я думала, что вы съ нами отъ ужинаете, баронъ?

— Нѣтъ, *chère Марья Потапьевна*, я въ этомъ отношеніи строго слѣдую предписаніямъ гигіены: стаканъ воды на ночь — и ничего больше! — И подавъ Марьѣ Потапьевнѣ руку, а прочимъ сдѣлавъ общій поклонъ, онъ вышелъ изъ гостиной, въ сопровожденіи Ивана Иваныча, который, выпятивъ круглый животикъ и граціозно виляя имъ, послѣдовалъ за нимъ. Пользуясь передвиженіемъ, которое произвело удаленіе дипломата, поспѣшилъ и я ускользнуть въ столовую.

— Ну, теперь я васъ не выпущу! — шепнулъ мнѣ по дорогѣ Иванъ Иванычъ: — вотъ дайте только проводить генерала.

Дипломатъ прослѣдовалъ въ кабинетъ и благосклонно присѣлъ около Осипа Иваныча, который въ эту самую минуту загребъ цѣлую уйму денегъ.

— Ну-съ, господа, какъ поигрываете? — спросилъ дипломатъ.

— Да вотъ его превосходительство побѣждаетъ, — шутилъ Осипъ Иванычъ, указывая на бывшаго полководца.

— Да? непобѣдимъ, какъ и вездѣ! и на полѣ сраженія, и на зеленомъ

полѣ! А я съ вами, генераль, когда-нибудь намѣренъ серьезно поспорить! Переправа черезъ Вьюлку — это, безспорно, одно изъ славнѣйшихъ дѣлъ новѣйшей военной исторіи, но ошибочка съ вашей стороны таки-была!

— Толкуй больной съ подлекаремъ! — проворчалъ себѣ подъ носъ полководецъ.

— Нечего, ваше превосходительство, сердиться, — съ своей стороны подшучивалъ Осипъ Ивановичъ: — ихъ превосходительство это правильно замѣтитъ изволили! Была ошибочка, дѣйствительно ошибочка была!

— Я, по крайней мѣрѣ, позволяю себѣ думать, что еслибы вы въ то время взяли направленіе чуть-чуть влѣво, то талдомцы \*) не успѣли бы придти на помощь мятежнымъ семендлевцамъ, и вы не были бы вынуждены пробивать кровавый путь, чтобъ достигнуть соединенія съ генераломъ Голотыловымъ. Сверхъ того, вы успѣли бы обойти Никитскія болота и не потопили бы въ нихъ своей артиллеріи!

— Да чтò говорить, ваше превосходительство, — подзадоривалъ Осипъ Ивановичъ: — я самъ тамошній житель, и вѣрно это знаю. Сдѣлай теперича генераль направленіе влѣво, къ тому, значить, мѣсту, гдѣ и безъ того готовый мостъ черезъ Вьюлку выстроенъ, первое дѣло — не нужно бы совсѣмъ переправы дѣлать, второе дѣло кровопролитія не было бы, а третье дѣло — артиллерія осталась бы цѣла!

— Ну, вотъ видите! я хоть и не тактикъ, а сейчасъ замѣтилъ... Впрочемъ, господа, побѣдителя не судятъ! — рѣшилъ дипломатъ, и съ этимъ словомъ окончательно всталъ, чтобъ удалиться.

Осипъ Ивановичъ кинулся-было за нимъ, но дипломатъ благосклоннымъ жестомъ руки усадилъ его на мѣсто. Это не помѣшало, однако, Дерунову вновь встать и постоять въ дверяхъ кабинета, слѣдя взоромъ за Иваномъ Ивановичемъ, провожавшимъ дорогого гостя.

— Ну, слава Богу, проводили! — сказалъ мнѣ Зачатіевскій, возвращаясь изъ передней: — теперь вы — нашъ гость; садитесь-ка сюда, поближе къ источнику! — прибавилъ онъ, усаживая меня къ столу, уставленному фруктами и питьями.

Я не разъ бывалъ у Зачатіевского во время наѣздовъ Дерунова въ Петербургъ, но зналъ его вообще довольно мало. Помню, что онъ называлъ Осипа Ивановича благодѣтелемъ, но я никогда особенно не вѣрилъ искренности его изліяній. Въ сущности, благодѣянія, изливаемые семействомъ Деруновыхъ на Зачатіевского, были очень скудны и едва-ли вознаграждали послѣдняго за хлопоты и стѣсненія. Несмотря на неприхотливость Осипа Ивановича, правила гостепрѣмства требовали и успокоить его, то-есть отдать въ его распоряженіе лучшій уголь, и приготовить лишнее блюдо къ обѣду. Все это дѣлалось почти безкорыстно, потому что Деруновъ отбодрялся домашнею провизіей, присылаемой изъ К., и тѣмъ, что крестилъ дѣтей у Зачатіевского, причемъ давалъ на зубокъ выигранный билетъ съ пожеланіемъ двухъ сотъ тысячъ. Но таково уже магическое дѣйствіе богатства: Зачатіевскій, быть можетъ, и ругалъ втихомолку Дерунова, но никогда не позволялъ себѣ отказать

\*) Талдомъ — тоже торговое село въ Калезинскомъ уѣздѣ.



ему въ какой-либо услугѣ, хотя бы для этого онъ вынужденъ былъ бѣгать нѣсколько дней сряду высуня языкъ.

Впрочемъ сама природа, казалось, создала Зачатіевскаго для услуги. Онъ былъ средняго роста и весь круглый. Круглый животъ, круглая спина, округлыя ляжки, круглые, какъ сосиски, пальцы—все это съ перваго раза дѣлало впечатлѣніе, что вотъ-вотъ этотъ человѣкъ сейчасъ засѣменить ногами и побѣжить, куда приказано. Круглое, одутловатое и нѣсколько сѣуженное кверху лицо не свидѣтельствовало о значительныхъ умственныхъ способностяхъ, но постоянно выражало возбужденность и беззавѣтную готовность что-то выслушать и сейчасъ же исполнить. И на лицѣ у него все было кругло: полныя щеки, носъ картофелиной, губы сердечкомъ, маленькій лобъ горбикомъ, глаза кругленькіе и свѣтящіеся, словно можжевельновыя ягодки у хлѣбнаго жаворонка, и поверхъ ихъ круглые очки, которые онъ безпрестанно снималъ и вытиралъ. Даже лысина на его головѣ имѣла видъ пятачка, получившаго постепенно значительное распространеніе. Проворенъ онъ былъ изумительно, и я думаю, что въ этомъ случаѣ ему въ весьма большой степени помогала бочковатость его существа. Онъ устремлялся впередъ и при этомъ учтиво вилялъ всѣмъ тѣломъ, что особенно пріятно поражало начальствующихъ лицъ.

Несмотря, однакожъ, на услуживость, дѣйствительной доброты въ немъ не было. Собственно говоря, онъ былъ услужливъ помимо своей воли, потому только, что тѣло его очень удобно для этого было приспособлено. Но, оказывая услугу, вскакивая и устремляясь словно на пружинахъ, онъ внутренно ропталъ и завидовалъ. Въ этой зависти впрочемъ скорѣе сказывалось завидующее пономарское естество, которое всю жизнь какъ будто куда-то человѣка подманиваетъ и всю жизнь оставляетъ его на бобахъ. На дѣлѣ онъ довольствовался очень малымъ, но глазами захапалъ бы, кажется, цѣлый міръ. Вообще это былъ очень своеобразный малый, въ которомъ полное отсутствіе воли постоянно препятствовало установленію сознательныхъ отношеній къ людямъ.

— Такъ вотъ мы здѣсь, у источника, и побесѣдуемъ! — сказалъ онъ, садясь возлѣ меня: — намъ съ вами тамъ дѣлать нечего, а вотъ около крышончиковъ... Пойдите! я сейчасъ велю новый принести... съ земляничкой!

— Да нужно ли, Иванъ Ивановичъ?

— Что вы! что вы! да Осипъ Иванычъ обидится! Не тѣ ужъ мы нынче, что прежде были! — прибавилъ онъ, уже стоя, мнѣ на ухо.

И прежде нежели я успѣлъ остановить его, онъ быстрыми шагами юркнулъ въ переднюю.

— А не то, можетъ быть, вы закусить бы предпочли? продолжалъ онъ, возвратившись: — и закуска въ передней совсѣмъ готовая стоитъ. У насъ все такъ устроено, чтобъ по первому манію... Угодно?

Но въ эту минуту лакей уже внесъ новый крышонъ, и вопросъ насчетъ путешествія въ переднюю для закусыванья остался открытымъ.

— Да, не тѣ мы нынче! — возобновилъ онъ прерванную матерію, нервно передвигая на носу очки: — гривеннички-то да пятачки оставили, а жалаемъ разомъ...

— Да, большую перемяну и я въ Осипъ Иванычъ замѣчаю.

— Въ каретахъ мы нынче ѣздимъ — да-съ! за карету десять рубликовъ въ сутки-съ; за номеръ пятьдесятъ рубликовъ въ сутки-съ; прислугѣ, чтобы проворнѣе была, три рублика въ сутки; да ужины, да закуски-съ; цѣлый день у насъ труба нетолченная-съ; одни „калегварды“ что за сутки слопаютъ-съ; греки, армяне-съ; опять генераль-съ; вотъ хоть бы сегодня вечерокъ-съ... одного шампанскаго сколько вылакаютъ!

При этомъ перечисленіи меня такъ и подмывало спросить: ну, а вы? что вы получаете? Само собою разумѣется, что я однакожъ воздержался отъ этого вопроса.

— Здѣсь въ одинъ вечеръ тысячи летятъ, — продолжалъ, какъ бы угадывая мою мысль, Зачатіевскій: — а старому пріятелю, можно сказать, слугѣ — грибковъ да маслица-съ. А бѣготни сколько! съ утра до вечера словно въ котлѣ кипишь! Повѣрите ли, даже службой negliжировать сталъ.

— Вольно же вамъ!

— Нельзя, сударь, нравъ у меня легкій — онъ знаетъ это и пользуется. Опять же землякъ, кумъ, дѣтей отъ купели воспринималъ — надо и это во вниманіе взять. Вѣдь онъ, батюшка, оболтусъ оболтусомъ, порядковъ-то здѣшнихъ не знаетъ: ни подать, ни принять — ну, и руководствуешь. По его, какъ собрались гости, онъ на всѣхъ готовъ одну селедку выставить да полштофъ очищеннаго! Ну, а я и воздерживай. Эти крющончики да фрукты — кто обо всемъ подумалъ? — Я-съ! А кому почетъ-то?

— Иванъ Ивановичъ! распорядись, братецъ! — раздался изъ кабинета голосъ Дерунова: — съ гостемъ со своимъ занялся, а насъ бросилъ!

Зачатіевскій засѣмнилъ ногами по направленію къ передней, и вслѣдъ затѣмъ прошли въ кабинетъ два лакея съ подносами, обремененными налитыми стаканами.

— Ваше превосходительство! позелите! Новенькаго! — раздавалось въ кабинетѣ.

— Не велѣтъ ли закуску подавать? — обратился ко мнѣ Иванъ Ивановичъ, смотря на часы: — первый въ половинѣ!

— Не знаю; по-моему, спать пора.

— У насъ вѣдь до четырехъ часовъ матерія-то эта длится... Н-да-съ, такъ вы, значить, удивлены? А уже мнѣ-то какой сюрпризъ былъ, такъ и вообразить трудно! Для васъ-то, бывало, онъ, все-таки, принарядится, хоть сюртучишко надѣнетъ, а вѣдь при мнѣ... Вѣрите ли, — шепнулъ онъ мнѣ на ухо: — даже при семейныхъ моихъ, при женѣ-съ...

— Но чѣмъ же вы объясняете эту перемѣну?

— Да какъ вамъ сказать? первое дѣло, кровь на старости лѣтъ заиграла, а главное, я вамъ доложу, все-таки жадность.

— Онъ и мнѣ что-то объ концессіи говорилъ.

— Да-съ, вотъ этотъ генераль... вонъ онъ, полководецъ! Онъ первый его обрящилъ. Нарочно въ К. ѣздилъ, чтобы залучить. Я, знаете, такъ полагаю, что думали они, вся эта компанія, на простачка напасть, анъ вышло, что сами къ простачку въ передѣлъ попали. Грека-то видите, что возлѣ генерала сидитъ? — онъ собственно воротило и есть, а генераль не самъ по себѣ, а на содержаніи у грека живетъ. Вотъ они и затѣяли эту самую механику,



думали: мужикъ жадный, ходко на прикормку поидеть!—Анѣ Осипъ-то Иванычъ жаднѣ всякаго жаднаго вышелъ, ходить около прикормки да посматриваетъ: не трогъ, говоритъ, другіе сперва потерebaтъ, а я увижу, что на пользу, тогда уже за-одно подилыву, да вмѣстѣ съ прикормкой всѣхъ разомъ и заглону! И такъ этотъ грекъ его теперь ненавидитъ, такъ ненавидитъ!

— Ну, а Осипъ Иванычъ что?

— Смѣется — ему что! Помилуйте! развѣ возможная вещь въ торговѣ дѣлѣ ненависть питать! Тутъ, сударь, именно смѣяться надо, чтобы всегда въ человѣкѣ свободный духъ былъ. Онъ генерала-то смѣшками кругомъ пальца обвелъ! сунулъ ему это въ руку пакетъ съ виду толстый-пре-толстый: какъ, моль?—ну, тотъ и смалодушествовалъ. А въ пакетѣ-то ассигнаціи все трехъ-рублевныя. Такимъ манеромъ онъ за какихъ-нибудь триста рублей сразу человѣка за собой закрѣпилъ. Объясняться генералъ-то потомъ пріѣзжалъ.

— И что же?

— Велѣлъ закуску подать — и только. „Коли, говоритъ, отъ тебя, ваше превосходительство, и впредь заслуга будетъ, и впредь не оставлю, а теперь, говоритъ, закусимъ, да въ кабинетъ поидемъ, тамъ по душѣ потолкуемъ“. Заперлись они-это, пошущукали тамъ, только на сей разъ остался нашъ генералъ уже доволенъ. Веселый вышелъ, да не успѣлъ, знаете, уйти, какъ слѣдомъ этотъ самый грекъ является. „Купите, говоритъ, мои акціи — одни хозяиномъ дѣла останетесь!“ — „А я, говоритъ (это нашъ-то), Христофоръ Златоустычъ, признаться сказать, погорячился маленько: полчаса тому назадъ его превосходительству, довѣренному отъ васъ лицу, всѣ свои акціи запродалъ — да дешево, говоритъ, какъ!“

— Скажите! и все-таки продолжаютъ видѣться?

— И дѣло даже продолжаютъ вмѣстѣ дѣлать! Только грекъ серьезнѣе сталъ на Осипа Иваныча смотрѣть. И по сейчасъ каждый день бесѣдуютъ. Грекъ этотъ, знаете, больше насчетъ выдумки, а нашъ — насчетъ понятія. Тотъ выдумаетъ, а нашъ пойметъ. Тотъ пока съ духомъ собирается, а нашъ, смотри, уже и дѣло сдѣлалъ. И представьте себѣ, вѣдь во всемъ ему счастье такое! Вотъ хоть бы стуколка эта — рѣдкій разъ пройдетъ, чтобы онъ у нихъ карманы не обчистилъ! Намедни даже самъ говоритъ мнѣ: „помилуй, говоритъ, да мнѣ здѣсь дешевле, нежели въ нашей уѣздной мурьѣ жить, потому, сколько ни есть кармановъ, всѣ они теперь мои стали!“

— Ну, это до поры, до времени!

— Нѣтъ, сударь, это сущую правду онъ сказалъ: поколѣ онъ живъ, всѣ карманы его будутъ! А котораго, онъ видитъ, ему сразу не одолѣть — онъ и самъ отъ него на время отойдетъ, да издали и поглядываетъ, ровно бы посторонній человѣкъ. Уже такъ-то воровать, такъ-то воровать!

Опять возгласъ изъ кабинета: „Иванъ Иванычъ! заснулъ, что-ли, братецъ!“ и опять торопливое движеніе со стороны Зачатіевского.

— Первый часъ въ исходѣ, закуску не прикажете ли подавать? — докладываетъ онъ Осипу Иванычу.

— А тебѣ, видно, спать къ женѣ загорѣлось! Отпустить, что-ли, его, господа честная компанія! — предложилъ Деруновъ.

— Отпустить! Отпустить!

— Ну, что съ тобой дѣлать! волоки закуску!

Иванъ Ивановичъ распорядился и опять подсѣлъ ко мнѣ.

— Вотъ вы сказали давеча, — началъ я: — что у Дерунова кровь на старости лѣтъ заиграла? Я вѣдь и самъ объ этомъ въ К. мелькомъ слышалъ: неужели это правда?

— Вѣрно-съ!

— А отецъ протоіерей к — скій еще „пріятнѣйшимъ сыномъ церкви“ его величаетъ!

— Будешь величать! Сторублевку-то на полу не поднимешь!

— Но Яковъ Осипычъ, какъ онъ это терпитъ?

— А онъ съ утра до вечера въ туманѣ: помнитъ ли даже, что и женать-то! Нынче ему насчетъ вина ужъ не вѣльно препятствія дѣлать.

— Ну, а Анна Ивановна?

— А Глафирина Николая Петровича знаете?

— Такъ что жъ?

— Ну, онъ самый и есть... мужчина! У насъ, батюшка, нынче всѣ дѣла любовнымъ манеромъ кончаются. Это прежде онъ лютъ былъ, а нынче смекнулъ, что безъ огласки да потихоньку не въ примѣръ лучше.

— А знаете ли что! Вѣдь я это семейство до сихъ поръ за образецъ патріархальности нравовъ почиталъ. Такъ это у нихъ тихо да просто... Ну, опять и медалей у него на шеѣ сколько! Думаю: стало быть, много у этого человѣка добродѣтелей, коли начальство его отличаетъ!

— Да вы спросите, кто медали-то ему выхлопоталъ! — вѣдь я-же-съ! — Вы меня спросите, что эти медали-то стоятъ! Можетъ, за каждую не одинъ мѣсяцъ высуня языкъ бѣгалъ... а онъ съ грибами да съ маслицемъ! — Конечно, я за большимъ не гонюсь... Слава Богу! самъ отъ царя жалованье получаю... ну, частная работишка тоже есть... Сытъ, одѣтъ... А все-таки, какъ подумаешь: этакой аспидъ, а на даровщину все норовитъ! Да еще и притѣсняетъ! Чуть позамѣшкаешься — ужъ онъ и тово... голосъ подаетъ: — распорядись! „... Развѣ я слуга... помилуйте!

Сказавши это, онъ даже отъ меня отвернулся и столь плотно усѣлся въ кресло, что я такъ и ждалъ: вотъ-вотъ Деруновъ кликнетъ изъ кабинета, и Зачатіевскій останется глухъ къ этому кличу.

— Конечно, ежели разсудить, то и за обѣдомъ, и за ужиномъ мнѣ за-всегда лучшій кусокъ! — продолжалъ онъ, нѣсколько смягчаясь: — въ этомъ онъ мнѣ не отказываетъ! — Да вѣдь и то сказать: отказывай, братъ, или не отказывай, а я и самъ возьму, что мнѣ принадлежитъ! Не хотите ли, — обратился онъ ко мнѣ, едва ли не съ затаеннымъ намѣреніемъ показать свою власть надъ „кусками“: — покуда они тамъ еще рѣжутся, а мы предварительную! Икра, я вамъ скажу, какая! семга... царская!

— Понуждай, Иванъ Ивановичъ! понуждай, братецъ! — раздался голосъ Осипа Ивановича.

Но Зачатіевскій на этотъ разъ не ринулся съ мѣста и ограничился отвѣтомъ: „сейчасъ!“ потому что закуска была почти уже сервирована.

— А все она-съ, — сказалъ онъ, вновь обращаясь къ разоблаченіямъ



тайнъ Деруновской семьи: — она сюда его и привезла. Мало ей к—скихъ приказчиковъ, захотѣлось на здѣшнихъ „калегвардовъ“ посмотрѣть!

— Однако, Осипъ Ивановичъ, кажется, не ревнуетъ?

— Хитеръ, сударь, онъ — вишь ихъ какую ораву нагналъ! ну, ей и неспособно. А впрочемъ кто жъ къ нему въ душу влѣзетъ! можетъ, и тутъ у него расчетъ есть!

— Ну, какой же тутъ расчетъ!

— Не говорите, сударь! Такого подлеца, какъ этотъ самый Осипъ Ивановъ, днемъ съ огнемъ поискать! Живого и мертвого готовъ ободрать! У насъ въ К. такую механику завелъ, что хоть брось торговать. Одно обидно: всѣ видѣли, у всѣхъ на знати, какъ онъ на постояломъ, лѣтъ тридцать тому назадъ, извозчиковъ овсомъ обмѣривалъ!

— Счастье, Иванъ Ивановичъ, счастье!

— Не счастье-съ, а вся причина въ томъ, что онъ проѣзжаго купца обворовалъ. Останавливался у него на постояломъ купецъ, да и занемогъ. Туда-сюда, за попомъ, за лекаремъ, анъ онъ и душу Богу отдалъ. И оказалось у этого купца денегъ всего двадцать-пять рублей, а Осипъ Ивановичъ пообождалъ немного, да и сталъ потихоньку да полегоньку, шире да глубже, да такъ, сударь это дѣло умненько повелъ, что и сейчасъ у насъ въ К. никто не разберетъ, когда именно онъ разбогатѣлъ.

— Иванъ Ивановичъ! батюшка! да вѣдь это уголовщина!

— А вы думали какъ? вы, можетъ быть, думали, что миллионеръ изъ безпортошника такъ, самъ собою, и дѣлается?

— Да, я слыхалъ и про такіе случаи... Вотъ, напримѣръ, былъ одинъ мальчишка, спичками торговалъ, а потомъ четырехъ-этажный домъ выстроилъ.

— И я отъ матушки покойницы слыхивалъ, что она меня не родила, а подъ капустнымъ листомъ нашла.

Говоря это, Зачатіевскій нервно подергивалъ свои очи, и я убѣжденъ положительно, что въ эту минуту онъ искренно, отъ всего сердца ненавидѣлъ Дерунова.

— Эти „столпы“, я вамъ доложу...—началъ онъ и вдругъ осѣлся.

Въ кабинетъ послышалось движеніе отставляемыхъ стульевъ. Иванъ Ивановичъ вскочилъ и всталъ въ позу почтительнѣйшаго метрдотеля; даже губы у него какъ-то вспухли и замаслились. Съ обѣихъ сторонъ, и изъ кабинета, и изъ гостиной, показались процессіи гостей и ринулись на закуску.

— Вотъ онъ каковъ!—шепнулъ мнѣ на ухо Зачатіевскій:—даже не хотѣлъ подождать, покуда я доложу! А осетрины-то въ соку между тѣмъ нѣтъ! да и стерлядь копченая...

— Гдѣ стерлядь копченая? Что жъ копченая стерлядь?—ринулся онъ въ толпу лакеевъ, покуда я въ передней отыскивалъ свое пальто.

## VII.—Отецъ и сынъ.

На сѣверѣ дикомъ растетъ одиноко  
 На голомъ утесѣ сосна,  
 И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ выпучимъ,  
 Какъ ризой, одѣта она.  
 И снится ей...

Снятся консервативныя начала, благонадежные элементы, правящія сословія, англійскіе лорды и, какъ неизбѣжное къ нимъ въ русскомъ стилѣ дополненіе: Сидорова коза и Макаръ, телятъ не гоняющій...

На обрывистомъ берегу рѣки Вопли стоитъ дворянская усадьба и дремлетъ. Снятся ей новый съ иголки домъ, стоящій на противоположномъ низменномъ берегу рѣки, домъ словно облупленное яичко, весь свѣтящійся въ лучахъ солнца, домъ съ обширнымъ дворомъ, обнесеннымъ досчатымъ заборомъ, съ цѣлымъ рядомъ хозяйственныхъ строеній по обѣимъ бокамъ, строеній совсѣмъ новыхъ, свѣжихъ, въ которыхъ помѣщаются: кабакъ, называющійся впрочемъ „бѣлой харчевней“, лавочка, скотопрогонный дворъ, амбаръ и проч.

Въ барской усадьбѣ живетъ старый генералъ Павелъ Петровичъ Утробинъ; въ новомъ домикѣ, напротивъ — хозяйствуетъ Антошка кабатчикъ, Антошка прасоль, Антошка закладчикъ, словомъ, Антошка — homo novus, выброшенный волнами современной русской цивилизаціи на поверхность житейскаго моря.

Генералъ называетъ Антошку „подлецомъ“ и „христопродавцемъ“; Антошка называетъ генерала „гнилою колодою“. Оба избѣгаютъ встрѣчъ другъ съ другомъ, оба стараются даже не думать другъ объ другѣ и оба не могутъ ступить шагу, чтобы одному не бросился въ глаза новый съ иголки домикъ „новаго человѣка“, а другому — тоже не старая, но уже несомнѣнно потухающая усадьба „ветхаго человѣка“...

Въ сумерки, когда надвигающіяся со всѣхъ сторонъ тѣни ночи уже препятствуютъ ясно различать предметы, генералъ не утерпитъ и выѣдетъ на крутой берегъ рѣки. Долгое время стоитъ онъ недвижно, уставясь глазами въ противоположную сторону.

— Ежели вѣрить Токвилю... — начинаютъ шептать его губы (генералъ — членъ губернскаго земскаго собранія, въ которомъ Токвиль, какъ извѣстно, пользуется славой почти народнаго писателя), но мысль вдругъ перескакиваетъ черезъ Токвиля и круто заворачиваетъ въ сторону родныхъ представлений: — въ бараній рогъ бы тебя, подлеца! — уже не шепчетъ, а гремитъ генералъ: — туда бы тебя, христопродавца, куда Макаръ телятъ не гонялъ!

И въ тотъ же таинственный часъ, крадучись, выходитъ изъ новенькаго дома Антошка, садится на берегъ и тоже не можетъ свести лисихъ глазъ съ барской усадьбы.

— Ежели теперича за домъ, — шепчутъ его губы: — ну, хоть полторы, ну, положимъ, за паркъ съ садомъ тысячу... а впрочемъ зачѣмъ же! Можетъ, и такъ, безъ денегъ, изморомъ... такъ-то, старая колода!



И намечтавшись досыта, оба, не замѣтивъ другъ друга, расходятся по домамъ...

Генеральская усадьба имѣетъ видъ очень странный, чтобъ не сказать загадочный. Она представляетъ собой богатую одежду, усыянную множествомъ безобразныхъ заплатъ. Дѣло въ томъ, что она соединила въ себѣ два элемента: старую усадьбу, слѣды которой замѣчаются и теперь, въ видѣ незаровненныхъ ямъ и разбросанныхъ кирпичей и осколковъ бутоваго камня, и новую усадьбу, съ обширными затѣями, оставшимися, по произволѣнію судьбы, недоконченными.

Старая барская усадьба еще не такъ давно стояла нѣсколько поодаль отъ рѣки, на берегу впадающаго въ нее оврага. Оврагъ этотъ былъ изстари запруженъ въ своемъ устьѣ и образовалъ громадный, глубокий и хорошо содержанный прудъ, въ водахъ котораго отражался старинный и длинный, словно казарма, господскій домъ. Вправо отъ дома, по берегу пруда, раскинулся обширный паркъ, разбитый по старинному на квадраты, засаженные внутри березами, елями и соснами, а по бокамъ вѣковыми липами, которыя образовали такимъ образомъ длинныя и темныя аллеи. Сзади дома, подъ руками, находились службы: конный и скотный дворы, застольныя, флигеля для дворовыхъ, амбары, погреба и проч. За паркомъ, на трехъ десятинахъ былъ разведенъ плодovitый садъ съ оранжереями и теплицами, съ яблонями и вишенъемъ, съ громадными ярусами грядъ клубники и ягодныхъ кустовъ. Напротивъ дома, чрезъ прудъ, бокомъ къ барской усадьбѣ и лицомъ къ Воинѣ, расположился крестьянскій поселокъ, дворовъ около двадцати.

Въ то время (съ небольшимъ лѣтъ двадцать-пять тому назадъ) генеральскій домъ кипѣлъ млекою и медомъ. Самъ генераль, Павелъ Петровичъ Утробинъ, былъ старикъ лѣтъ пятидесяти, бодрый, дѣятельный, изъ себя краснощекий и тучный. Служилъ онъ нѣкогда, лѣтъ пятнадцать сряду, губернаторомъ и былъ, какъ тогда говорилось, хозяиномъ своей губерніи. Почтовые дороги сбсидилъ по бокамъ березками, почтовые станціи выстроилъ съ иглочками, хлѣбныя запасныя магазины пополнилъ, недоимки взыскалъ, для губернскаго города выписалъ новую пожарную трубу, а для губернской типографіи новый шрифтъ. Затѣмъ, когда все земное было имъ совершено, онъ самъ, *motu proprio*, вышелъ въ отставку съ приличною пенсіей (это было лѣтъ за десять до упраздненія крѣпостного права) и поселился у себя въ Воинѣ. Сюда онъ перенесъ ту же кипучую дѣятельность, которая отличала его и на губернаторскомъ мѣстѣ, а для того, чтобъ не было скучно одному посреди холоповъ, привезъ съ собою, въ качествѣ секретаря, одного довольно жалконькаго чиновника приказа общественнаго призрѣнія, Іону Чибисова, предварительно женивъ его на на шустренькой маленькой поповнѣ, по имени Агніи.

Съ прїѣздомъ хозяина, прадѣдовская, нѣсколько запущенная усадьба ожила. Дворовые вострепнулись; генераль — лѣтомъ въ бѣломъ пижамномъ сюртучкѣ съ форменными пуговицами, зимой въ коротенькомъ дубленомъ полушубкѣ и всегда въ сѣро-синеватыхъ брюкахъ съ выпушкой, въ обтяжку, и въ сапогахъ со шпорами — съ утра до вечера бродилъ по полямъ, садамъ и огородамъ; за нимъ по пятамъ, какъ тѣнь, всюду слѣдовалъ Іона Чибисовъ

для принятія приказаній. Аллеи парка утрамбовали и посыпали густымъ слоемъ песка; оранжереи и плодовый садъ подчистили, конный и скотный воры обрядили такъ, что взойти любо. Генераль былъ строгъ, но справедливъ: любя наказывалъ, но и добрымъ словомъ не обходилъ. Румяный, плотный, довольный собой, онъ бодро ходилъ по усадьбѣ, позвякивая шпорами, играя селезенкою и зоркимъ старческимъ глазомъ подмѣчая малѣйшую неисправность. Шустрая поповна Агнушка, кругленькая, пухленькая, находилась при ключахъ, и генераль только языкомъ прищелкивалъ, глядя, какъ она, словно комочекъ, съ утра до вечера перекатывается отъ погреба къ амбару, отъ амбара къ молочной и т. д.

Въ скоромъ времени Воплино сдѣлалось почти ежедневнымъ сборнымъ пунктомъ для всѣхъ окрестныхъ помѣщиковъ. Генераль водилъ ихъ по усадьбѣ, хвастался вводимыми порядками, кормилъ, предоставлялъ въ ихъ распоряженіе ломберные столы и не отказывалъ въ перинахъ для отдохновенія. Вслѣдствіе этого любовь и довѣріе дворянства къ гостепріимному воплинскому хозяину росли не по днямъ, а по часамъ, и не разъ шла даже рѣчь о томъ, чтобъ почтить Утробина крайнимъ знакомъ дворянскаго довѣрія, то-есть выборомъ въ предводители дворянства; но генераль, еще полный воспоминаній о недавнемъ славномъ губернаторствѣ, самъ постоянно отклонялъ отъ себя эту честь.

Однимъ словомъ, все шло какъ нельзя лучше желать, и ни о какихъ признакахъ, предвѣщающихъ пришествіе Антошки *homo novus*, не было и въ поминѣ. Но въ 1856 году смутилъ генерала бѣсъ. Пріѣхалъ къ нему въ побывку сынъ, новоиспеченный двадцатилѣтній титулярный совѣтникъ, молодой человекъ, съ честью прошедшій курсъ наукъ въ самыхъ лучшихъ танцъ-классахъ того времени и основательно изучившій всего Поль-де-Кока. Петенька Утробинъ на чемъ свѣтъ стоитъ раскостилъ папашину усадьбу. И виду нѣтъ, и скотнымъ дворомъ воняетъ, и домъ на казарму похожъ, и рѣка далеко. Попалъ однажды Петенька, на крестьянской поселокъ—и восхитился. Мѣсто высокое, почти утесъ; у подошвы течетъ глубокая Вопля, которая тутъ же неподалеку, принявъ въ себя оврагъ, на которомъ стояла старая усадьба, дѣлаетъ крутой поворотъ направо. Черезъ рѣку—видъ на безграничное пестрое пространство луговой поймы и деревень. По низменному берегу вьется почтовая дорога, упирающаяся прямо въ загибъ Вопли, черезъ которую въ этомъ мѣстѣ ходитъ на канатѣ досчаникъ. На мыску, образуемому рѣчнымъ изгибомъ (тамъ, гдѣ нынѣ выстроилъ почти цѣлый поселокъ Антошка-подлецъ), чернѣетъ постоянный дворъ, отдаваемый генераломъ въ аренду богобоязненному и смирному мужику Калинѣ Силантьеву изъ своихъ же крѣпостныхъ. Около постоялаго двора и досчаника всегдашняя живописная суета: отпряженные лошади, вozy съ завороченными вверхъ оглоблями, мужики, изрѣдка почтовые тройки и большіе экипажи, кареты, коляски. Вотъ *идъ* надобно быть усадьбѣ, а не *тамъ*,—разомъ рѣшилъ Петенька. Вотъ тутъ на берегу, лицомъ къ рѣкѣ, слѣдуетъ выстроить новый домъ съ башенками, балконами, террасами, и весь его утопить въ зелени кустарниковъ и деревьевъ; обрывистый берегъ срыть и между домомъ и рѣкой устроить покатость, которую убрать газономъ, а по газону расплани-



ровать цвѣтникъ; сзади дома, параллельно съ прудомъ, развести изящный молодой паркъ, соединивъ его красивымъ мостомъ черезъ прудъ съ старымъ паркомъ. Крестьянъ, разумѣется, выселить за старый паркъ и плодовый садъ. Таковъ былъ планъ, который начертилъ Петенька и изъ котораго долженъ былъ выйти настоящій *château*, а не какая-нибудь мурья, въ окна которой безпрестанно врываються гнусные запахи со скотныхъ дворовъ и изъ застольныхъ и въ которой немыслимо никакое другое развлеченіе, кромѣ мрачнаго истребленія ерофеича.

Къ удивленію, преобразовательныя затѣи Петеньки не встрѣтили почти никакого отпора со стороны генерала. Во-первыхъ, Петенька былъ единственный сынъ, и притомъ такъ отлично кончилъ курсъ наукъ и стоялъ на такой прекрасной дорогѣ, что старикъ-отецъ не могъ безъ сердечной тревоги видѣть, какъ это дорогое его сердцу чадло фыркаетъ, бродя по лабиринту отчаго хозяйства и нигдѣ не находя удовлетворенія своей потребности изящнаго. Во-вторыхъ, генераль былъ такъ долго „хозяйномъ губерніи“, что всякая ломка и перетасовка ему самому была по душѣ. Сообразивъ составленный Петенькой планъ, онъ понялъ, что тутъ предстоитъ цѣлое море построекъ, переносокъ, посадокъ-присадокъ—и селезенка пуще, чѣмъ когда-либо, заиграла въ немъ.

Одно только обстоятельство заставляло генерала задуматься: въ то время уже сильно начали ходить слухи объ освобожденіи крестьянъ. Но Петенька, который, посѣщая въ Петербургѣ танцъ-классы, былъ, какъ говорится, *au courant de toutes les choses*, удостовѣрилъ его, что никакого освобожденія не будетъ, а будетъ „только такъ“.

— Полно, такъ ли, мой другъ?—допытывался старикъ:—въ народѣ ужъ сильно поговаривать начали.

— *Niaiseries, mon père!* — отвѣчалъ Петенька: — вы подумайте только, есть ли въ этомъ человѣческій смыслъ! Вотъ и Архипушку, стало быть, освободить!

Архипушка, деревенскій дурачокъ, малый лѣтъ ужъ за пятьдесятъ, какъ нарочно шелъ въ это время мимо господской усадьбы, поднявши руки въ уровень съ головой, болтая рукавами своей пестрядинной рубахи, свистя и мыча. Взглянулъ генераль на Архипушку, подумалъ: „въ самомъ дѣлѣ, неужели, Архипушку освободятъ?“ и рѣшилъ: „нѣтъ, это было бы даже не великодушно!“ Тѣмъ не менѣе, чтобы окончательно быть удостовѣреннымъ, что „зла“ не будетъ, онъ, по отъѣздѣ сына въ Петербургъ на службу, съѣздилъ въ губернский городъ и тамъ изложилъ свои сомнѣнія губернатору и архіерею. Губернаторъ, человѣкъ стараго закала, только улыбнулся въ отвѣтъ, присовокупивъ, что хотя подобные слухи и распространяются врагами отечества, но что вѣрить имъ могутъ только люди, не понимающіе истинныхъ потребностей Россіи. Преосвященный же прямо сказалъ, что какъ въ древности были господа и рабы, такъ и напредъ сего таковые имѣютъ остаться безъ измѣненія.

Заручившись столь вѣскими авторитетами, Утробинъ успокоенный возвратился въ Воплино и при первомъ удобномъ случаѣ приступилъ къ преобразованіямъ. На его бѣду, весна и лѣто 1857 года прошли совсѣмъ тихо. Онъ

живо перенесъ крестьянскій поселекъ за плодовый садъ, выстроилъ вчернѣ большой домъ, съ башнями и террасами, лицомъ къ Волгѣ, возвелъ на первый разъ лишь самыя необходимыя службы, выписалъ садовника нѣмца, вмѣстѣ съ нимъ проектировалъ англійскій садъ передъ домомъ къ рѣкѣ и паркъ позади дома, прорѣзалъ двѣ-три дорожки, но ни къ нивелировкѣ береговой кручи, ни къ посадкѣ деревьевъ, долженствовавшей положить начало новому парку, приступить не успѣлъ. Какъ ни усердствовали крестьяне, какъ ни старались сельскіе начальники, но къ концу осени окрестности будущаго château представляли собою скорѣе картину недавняго геологическаго переворота, нежели что-нибудь съ чѣмъ-нибудь сообразное; даже ямы, свидѣтельствовавшія о пребываніи въ этомъ мѣстѣ крестьянскихъ дворовъ и гуменъ, не были заровнены.

А между тѣмъ грозный часъ не медлилъ, и въ концѣ 1857 года уже сдѣланъ былъ первый шагъ къ разрѣшенію крестьянскаго вопроса.

Генералъ былъ такъ озадаченъ, что опять поскакалъ въ губернскій городъ. Тамъ уже сидѣлъ другой губернаторъ, изъ молодыхъ ранній, но архіерей былъ прежній. На вопросъ генерала: „что сей сей сонъ значить?“ — губернаторъ нѣсколько нахмурился, ибо просторѣчія даже въ разговорѣ не любилъ, а какъ самъ говорилъ слогомъ докладныхъ записокъ, такъ и отъ другихъ того требовалъ. Впрочемъ, въ виду преклонныхъ лѣтъ, прежнихъ заслугъ и слишкомъ яркой непосредственности Утробина, губернаторъ снисшелъ и процѣдилъ съвозъ зубы, что хотя фактъ обращенія къ генералъ-губернатору Западнаго Края есть фактъ единичный, такъ какъ и положеніе этого края исключительное, и хотя за симъ виды и предположенія правительства неисповѣдимы, но что, впрочемъ, идея правды и справедливости, съ одной стороны подкрѣпляемая идеей общественной пользы, а съ другой стороны побуждаемая и, такъ сказать, питаемая высшими государственными соображеніями...

Генералъ слушалъ эту рацею, выпучивъ глаза, и къ ужасу своему — понималъ.

— А я, вашество, въ нынѣшнемъ году переформировку у себя затѣялъ, — произнесъ онъ какъ-то машинально, словно эта идея одна и была въ его головѣ.

— Очень радъ-съ! очень радъ-съ! — отвѣтилъ губернаторъ: — очень радъ видѣть, что господа дворяне оставляютъ прежніе рутинные пути и выказываютъ духъ предпріимчивости, этотъ, такъ сказать, нервъ...

На этомъ мѣстѣ Утробинъ шаркнулъ ножкой, откланялся и направился къ архіерею.

Архіерей принялъ генерала съ распростертыми объятіями и сейчасъ же велѣлъ подать закуску.

— Слышали? — спросилъ генералъ.

— Не токмо слышалъ, но и возвеселился! — отвѣтилъ преосвященный.

— Истинно любезная для христіанскаго сердца минута сія была.

Генералъ побагровѣлъ.

— Какъ же такъ, преосвященнѣйшій! А помните: „и въ древности были господа и рабы, и напредъ таковыя должны остаться безъ измѣненія“? — огрызнулся онъ.



— Да, да, да! то-то вотъ всѣ мы, бѣсу смущающу, умствовать дерзновеніе имѣемъ! И предполагаемъ, и планы строимъ — и все на песчѣ. Думалось вотъ: должны оставаться рабы, а вдругъ воспослѣдовало благочестивѣйшаго Государя повелѣніе: не быть рабамъ! При чемъ же, скажи ты мнѣ, предположенія и планы-то наши остались? Истинно говорю: на песчѣ строимъ!

Генераль просидѣлъ у преосвященнаго съ четверть часа, но не проронилъ больше ни слова и даже не прикоснулся ни къ балыку, ни къ свѣжей икрѣ. Казалось, онъ былъ въ летаргическомъ снѣ.

Пріѣхавши изъ губернскаго города въ Воплино, Утробинъ двое сутокъ сряду проспалъ непробуднымъ сномъ. Проснувшись, онъ увидѣлъ на столѣ письмо отъ сына, который тоже извѣщалъ о предстоящей катастрофѣ, и писалъ: „самое лучшее теперь, милый папаша — это переселить крестьянъ на неудобную землю, въ родѣ песковъ: такъ, по крайней мѣрѣ, всѣ дальновидные люди здѣсь думаютъ“.

— Ну, нѣтъ, слуга покорный! надо еще объ окончаніи своего собственнаго переселенія подумать! — воскликнулъ генераль и тутъ же мысленно присокупилъ: — а впрочемъ, можетъ быть, ничего и не будетъ!

Но въ январѣ 1858 года отовсюду посыпались адреса, а слѣдующимъ лѣтомъ уже было приступлено къ выборамъ членовъ комитета объ улучшеніи быта крестьянъ, и генераль былъ въ числѣ двоихъ, избранныхъ за К — ій уѣздъ.

Тѣмъ не менѣе, на глазахъ генерала работа по возведенію новой усадьбы шла настолько успѣшно, что онъ могъ уже въ іюлѣ перейти въ новый, хотя далеко еще не отдѣланный домъ и сломать старый. Но въ августѣ онъ долженъ былъ переселиться въ губернскій городъ, чтобы принять участіе въ работахъ комитета, и дѣло по устройству усадьбы замялось. Іону и Агнушку генераль взялъ съ собою, а староста, на котораго было возложено приведеніе въ исполненіе генеральскихъ плановъ, на всѣ заочныя понужденія отвѣчалъ, что крестьяне къ труду охладѣли.

Въ комитетѣ между тѣмъ Утробинъ выказалъ себя либераломъ. Онъ не только говорилъ, но и кричалъ, что „сдѣлать что-нибудь надобно“. Впрочемъ, предостерегалъ отъ излишествъ и отъ имени большинства представилъ проектъ, который начинался словами: „но ежели“, и кончался словомъ: „однако“. Надъ оригинальной редакціей этого проекта въ то время много смѣялись, не сообразивъ, что необычная форма вступленія въ бесѣду съ читателемъ посредствомъ „но ежели“ была лишь порожденіемъ той страстности и убѣжденности, которая постоянно присутствовала при составленіи проекта. Утробинъ просто-на-просто былъ убѣжденъ, что все, предшествовавшее словамъ „но ежели“, всякому слишкомъ извѣстно, чтобы требовалось повторять. Какъ прожектерь, онъ былъ посланъ отъ большинства въ комисію, въ качествѣ эксперта. Это было лѣтомъ. Въ Петербургѣ его, вмѣстѣ съ прочими экспертами, возили по праздникамъ гулять въ Павловскъ, въ Царское-Село, въ Петергофъ и даже въ Баблово, гдѣ показывали громадную гранитную купальню, въ которой никогда никто не купался. Остальное время онъ проводилъ въ номерѣ гостиницы Демуть, каждый день все болѣе и болѣе убѣждаясь, что его „но ежели“ не выгорить. Единственнымъ свѣтлымъ воспоминаніемъ этого періода

его жизни былъ вечеръ, проведенный вмѣстѣ съ Агнушкой на Минерашкахъ, причѣмъ они сообща отлично надули Іону, сказавъ ему, чтобъ онъ ожидалъ ихъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

1861-й годъ засталъ генеральскую усадьбу въ слѣдующемъ положеніи: домъ отстроены и обиты тесомъ, но не выкрашенъ; крыша покрыта желѣзомъ, но тоже не выкрашена и мѣстами уже проржавѣла и дала течъ. Внутри дома три комнаты оштукатурены совсѣмъ, въ двухъ сдѣланы приготовленія, т.-е. приколочена къ стѣнамъ дрань, въ прочихъ — стѣны стояли голыя. Передъ домомъ, гдѣ надлежало сдѣлать нивелировку кручи, существовали слѣды нѣкоторыхъ попытокъ въ этомъ смыслѣ, въ видѣ канавъ и дыръ; сзади дома были прорѣзаны дорожки, по бокамъ которыхъ посажены кленки, ясенки и липки, изъ которыхъ принялась одна часть, а все остальное посохло и въ видѣ голыхъ прутьевъ стояло на мѣстахъ посадки, раздражая генеральское сердце. Изъ службъ были перенесены только кухня и погребъ; все прочее осталось на прежнемъ мѣстѣ за прудомъ. Ямы, гдѣ стояли крестьянскія избы и гумна, остались незаровненными и густо поросли крапивой и дикимъ малинникомъ. Старый паркъ заросъ и одичалъ; по дорожкамъ началъ пробиваться осинникъ; на мѣстѣ стараго дома валялись осколки кирпича и поднялась цѣлая стѣна крапивы и лопуховъ. Оранжереи потемнѣли, грунтовые сараи задичали; яблони, по случаю немилостивой зимы 1861 года, почти всѣ вымерзли, такъ что въ плодовомъ саду, на мѣстѣ роскошныхъ когда-то деревьевъ, торчали голые и корявые остоны ихъ.

Въ первое время генералу было впрочемъ не до усадьбы: онъ наблюдалъ, кто изъ крестьянъ ломаетъ передъ нимъ шапку и кто не ломаетъ. Собственно говоря, ломали всѣ безъ исключенія; но генералъ сдѣлался до того уже прозорливъ, что въ самой манерѣ ломанія усматривалъ очень тонкіе, почти неуловимые оттѣнки. Затѣмъ онъ велъ ожесточенную полемику съ мировымъ посредникомъ, самолично ѣздивъ къ нему на разбирательство и съ какою-то страстностью подвергалъ себя „единовременному и унижительному для него совмѣстному сидѣнію“ съ какимъ-нибудь Гришкой-поваромъ, который никакъ не хотѣлъ отслужить заповѣдныя два года.

Мало-по-малу, однако, страсти улеглись. Прекратилась полемика съ мировымъ посредникомъ; прошла пора „унижительнаго совмѣстнаго сидѣнія“ съ Гришками, Прошками и Марѣушками. Но тутъ, какъ нарочно, случилась катастрофа съ Антошкой-хриstopродавцемъ, о которой ниже и которая по-дѣйствовала еще горчѣе, нежели „совмѣстныя сидѣнія“. Генералъ былъ окончательно надломленъ. Унылая сиротливость словно пологомъ окутала и его самого, и недавнія его затѣи. Дикъ и угрюмъ шумитъ въ сторонѣ за прудомъ старый паркъ — и рядомъ съ нимъ голо и мизерно выглядитъ окопанное канавой пространство, гдѣ предполагалось быть новому парку. Генералъ посѣдѣлъ, похудѣлъ и осунулся; онъ поселился въ трехъ оштукатуренныхъ комнатахъ своего новаго дома и на все остальное повидимому махнулъ рукой. Заложивъ руки назадъ и понутивъ сѣдую голову, онъ бродитъ по этимъ комнатамъ, словно дремлетъ. Но по временамъ взоръ его вспыхиваетъ и какъ бы магнетическою силой приковывается къ тому берегу Вопли, гдѣ свѣтлѣется выстроенная съ иголки усадьба Антошки-хриstopродавца.



Антонъ Валерьяновъ Стрѣловъ былъ мѣщанинъ сосѣднаго уѣзднаго города, и большинство мѣстныхъ обывателей еще помнитъ, какъ онъ съ утра до вечера стрѣлой леталъ по базару, исполняя порученія и приказы купцовъ-толстосумовъ. Отсюда—прозвище Антонъ-Стрѣла, которое и оставалось за нимъ до тѣхъ поръ, пока онъ самъ не переименовалъ себя въ Стрѣлдова. Долгое время Антошка погрязалъ въ ничтожествѣ и никакъ не могъ выбиться изъ колеи мелкаго торговца-завывателя и облопошивателя, да и то не за свой счетъ, а за счетъ какого-нибудь капиталиста, зорко слѣдившаго, чтобы лишній пятакъ не задерживался межъ Антошкиныхъ пальцевъ. Способности были у него богатые; никто не умѣлъ такъ быстро обшарить мыши норки, такъ бойко клясться и распинаться, такъ ловко объегорить, какъ онъ; ни у кого не было въ головѣ такого обилія хищническихъ проектовъ; но ни изобрѣтательность, ни настойчивая дѣятельность лично ему никакой пользы не приносили: какъ былъ онъ голякъ, такъ и оставался голякомъ до той минуты, когда пришелъ его чередъ. Время тогда было тугое, темное; сословная обособленность царилъ во всей силѣ, поддерживаемая всевозможными искусственными перегородками; благодаря этимъ послѣднимъ, всякій имѣлъ возможность крѣпко держаться предоставленнаго ему судьбою мѣста, не употребляя даже особенныхъ усилій чтобы обороняться отъ вторженія незваныхъ элементовъ. Пробыть при такихъ условіяхъ было мудрено, и какъ бы ни изворотливъ былъ умъ человѣка, брошеннаго общественною табелью ранговъ на послѣднюю ступень лѣстницы—лично для него эта изворотливость пропадала даромъ и много-много ежели давала возможность кое-какъ свести концы съ концами.

Антошка былъ дѣятеленъ необыкновенно. Каждое утро онъ начиналъ изнурительную работу сколачиванія грошей, бѣгалъ высуня языкъ отъ базарной площади къ заставѣ и обратно, махалъ руками, торопился, проталкивался впередъ, божился, даже терпѣлъ побои — и каждый вечеръ ложился спать все съ тѣмъ же грузомъ, съ какимъ всталъ утромъ. Всталъ—грошъ, и легъ—грошъ. Посмотритъ, бывало, Антошка на этотъ заколдованный грошъ, помнѣтъ его, щельнетъ языкомъ—и полѣзетъ спать на палати, съ тѣмъ, чтобы завтра чуть свѣтъ опять пустить тотъ грошъ въ оборотъ, да чтобы не зѣвать, а то, чего Боже сохрани, и послѣдній грошъ прахомъ пойдетъ. И что всего замѣчательнѣе—несмотря на эту вѣчно преслѣдующую бѣдность, никто не обращалъ на нее вниманія, никто не сострадалъ къ ней, а напротивъ, всякій до того былъ убѣжденъ въ „дарованіяхъ“ Антошки, что звалъ его „стальною душой“ и охотно подшучивалъ, что онъ „родного отца на кобеля промѣнять готовъ“.

Такъ шло до тѣхъ поръ, пока на русскую землю не повѣяло новымъ духомъ. Антошка былъ однимъ изъ первыхъ, воспользовавшихся ближайшими результатами этого вѣянія. Онъ разомъ смекнулъ, что упраздненіе крѣпостного права должно въ значительной степени понизить старинныя перегородки и создать совершенно новое положеніе, въ которомъ свѣжему и алчному человѣку слѣдуетъ только не зѣвать, чтобы обрѣсти сокровище. Арена промышленной дѣятельности несомнѣнно расширилась: не однимъ мѣстнымъ толстосумамъ понадобились подручные люди, свободно продающіе за грошъ свою душу, но и другимъ всякаго званія шлющимся людямъ, вдругъ вспомнившимъ

изреченіе: „земля наша велика и обильна“, и на этомъ шаткомъ основаніи вознамѣрившимся воздвигнуть храмъ будущей славы и благополучія.

Во множествѣ появились невѣдомые люди (тѣ же Антошки, но только называвшіе себя „изслѣдователями“), съ пронзительными, почти колющими взорами, съ острымъ и развитымъ обоняніемъ и съ непоколебимою рѣшимостью въ Тетюшахъ открыть Америку. Эти люди ничего не покупали и не законтрактовывали, а нюхали, разспрашивали встрѣчныхъ и поперечныхъ, шатались по базарамъ и торгамъ и увѣряли всѣхъ и каждого, что полагаютъ основаніе для какихъ-то сношеній, отыскиваютъ новые рынки и новые истоки для отечественной производительности. Для подобныхъ субъектовъ Антошка былъ сущій кладъ. Онъ отлично понималъ, что имѣетъ дѣло съ людьми легкомысленными, которымъ нужно одно: чтобъ „идея“, зашедшая въ голову имъ самимъ или ихъ патронамъ, была подтверждена такъ-называемымъ „мѣстнымъ изслѣдованіемъ“. Поэтому онъ охотно пристраивался къ вѣстникамъ воспріянушаго промышленнаго духа, и не только остерегался имъ противорѣчить, но лгалъ въ ихъ смыслѣ что было мочи, лишь бы они остались довольны.

Изслѣдованіе обыкновенно производилось очень просто: пріѣзжій Улиссъ бралъ записную книжку и начиналъ допросъ.

— Скажите пожалуйста, я слышалъ, что у васъ здѣсь въ значительномъ количествѣ хмель разводится?

Улиссъ развертываетъ при этомъ карту, на которой Россія разрисована разными красками, смотря по большей или меньшей производительности хмеля.

— Хмель-то! Позвольте вамъ, ваше сіятельство, доложить! Хмелю у насъ въ одномъ здѣшнемъ городѣ такъ довольно, такъ довольно, что можно сказать не одна тыща пудовъ сгніетъ его... потому сбыта ему у насъ нѣтъ.

— Ну, такъ я и зналъ! Это изумительно! Изумительно, какія у насъ странныя свѣдѣнія объ отечествѣ! — горячится Улиссъ: — а что касается до сбыта, то объ этомъ беспокоиться нечего: сбытъ мы найдемъ.

— А какое бы, ваше сіятельство, здѣшнимъ жителямъ удовольствіе сдѣлали!

— Сбытъ мы найдемъ. Да. Ну, а какъ у васъ обрабатываютъ хмель? прессуютъ?

— Это что же такое „прессуютъ“?

— Ну, да; вотъ въ Англіи, напримѣръ, тамъ хмель прессуютъ и въ этомъ видѣ снабжаютъ всѣ рынки во всѣхъ частяхъ свѣта... Да-съ, батюшка! вотъ это такъ страна! Во всѣхъ частяхъ свѣта—все англійскій хмель! Да-съ, это не то, что мы-съ!

Антошка слушаетъ и въ тактъ качаетъ головой.

— И ни Боже мой! — говоритъ онъ: — у насъ и заведеніевъ этихъ нѣтъ! Помилуйте! примѣрно, ежели теперича мужикъ, или хоша мѣщанинъ... ну, гдѣ же имъ этой самой прессовкѣ обучиться!

— Ну, этого, батюшка не говорите, потому что русскій народъ — талантливый народъ.

— Это насчетъ того, чтобы перенять, что-ли-съ? Ваше сіятельство! помилуйте! да покажите хоть мнѣ! Скажите: сдѣлай, Антонъ Верельяновъ, вотъ



эту самую машину... ну, то-есть вотъ какъ съ мѣста, значить, не сойду, а ужъ дойду и представлю!

— То-то вотъ и есть. Тутъ только руку помощи нужно подать. Стало быть, вы думаете, что ежели устроить здѣсь хмелепрессовальное заведеніе...

— Самая это, ваше сіятельство, полезная вещь будетъ! А для простого народа, для черняди, легкость какая — и Боже ты мой! Потому что возьмемъ къ примѣру хоть этотъ самый хмель: сколько теперича его даромъ пропадаетъ! Просто, съ позволенія сказать, въ навозъ валять! А тогда, значить, всякій, кто даже отроду хмелемъ не занимался, и тотъ его будетъ разводить. Потому тутъ дѣло чистое: взявъ, собралъ въ мѣшокъ, представилъ въ прессовальное заведеніе, получилъ денежки — и шабашъ!

— Гм... а лень въ нашихъ мѣстахъ — тоже въ большомъ количествѣ разводится?

Улиссъ развѣртываетъ другую карту, на которой Россія разрисована тоже разными красками, показывающими большее или меньшее развитіе льняной промышленности. К\*\*\* покрыть краскою жидко, что означаетъ слабое развитіе.

— Лень-то! Да наше мѣсто, можно сказать, изстари... Позвольте вамъ, ваше сіятельство доложить: что теперича хмель, что лень — все, значить, едино, все — первыя по здѣшнему мѣсту статьи-сь! То-есть, столько тутъ льну! столько льну!

— Ну, такъ я и зналъ! Напередъ зналъ, что всѣ эти предварительныя свѣдѣнія — все пустяки! Однако хорошо мы знаемъ наше отечество... можно сказать! Посмотрите-ка, батюшка! вотъ эта карта! вотъ на ней положеніе нашей льняной промышленности представлено, и противъ нашего уѣзда значится: льняная промышленность — слабо.

— Ваше сіятельство! да неужели же я! Сколько лѣтъ, значить, здѣсь живу! да, можетъ, не одна тыща пудовъ...

— Еще бы! Разумѣется, кому же лучше знать! Я объ томъ-то и говорю: каковы въ Петербургѣ свѣдѣнія! Да-съ, вотъ извольте съ такими свѣдѣніями дѣло дѣлать! Я всегда говорилъ: господа! покуда у насъ нѣтъ *живого* изслѣдованія, до тѣхъ поръ все равно, что вы ничего не имѣете! Правду я говорю? правду?

— Это истинное слово, ваше сіятельство, вы сказали!

— Ну, да. А впрочемъ я вѣдь одинъ... Прискорбно это... Трудно, батюшка, трудно!

— Ужъ на что больше труда, ваше сіятельство!

— Ну-съ, а теперь будемъ продолжать наше изслѣдованіе. Такъ вы говорите, что лень... какъ же его у васъ обрабатываютъ! Вотъ въ Бельгій, въ Голландіи кружева дѣлаютъ...

— Позвольте вамъ, ваше сіятельство, доложить! Это точно, что по нашему мѣсту... по нашему, можно сказать, необразованію... лень у насъ, можно сказать, въ большомъ упущеніи... Это такъ-съ. Однако, ежели бы теперича обучить, какъ его сѣять, или хоша бы, на примѣръ, сѣмена хорошія предоставить... большую бы пользу можно отъ этого самаго льна получить!

Опять хоша бы и наша деревенская баба... нѣшто она хуже галанской бабы кружева сплететь, коли ежели ей показать?

И такъ далѣе. Изслѣдованіе обходило всѣ предметы мѣстнаго производства, и притомъ не только тѣ, которые уже издавна получили право промысловой гражданственности, но и тѣ, которые даже вовсе не были въ данной мѣстности извѣстны, но, при обращеніи на нихъ должнаго вниманія, могли принести значительныя выгоды. Въ заключеніе изслѣдователь обыкновенно спрашивалъ:

— А не можете ли вы назвать мнѣ главнѣйшихъ здѣшнихъ промышленниковъ?

Антошку при этомъ вопросѣ подергивало: онъ уже начиналъ ревновать своего Улисса.

— Деруновъ Осипъ Ивановичъ, — отвѣчалъ онъ, запинаясь: — большое колесо у нихъ заведено... Только позвольте, ваше сіятельство, вамъ доложить...

— Чтò такое?

— Не повраятся они вамъ, господинъ то-есть Деруновъ...

— Отчего такъ?

— Да такъ-съ... немножечко они какъ будто по старинѣ-съ... Насчетъ предпріятіевъ очинно осторожны... Опасаются. Это чтобы вотъ насчетъ прессовки хмелю или насчетъ кружевъ-съ — и ни Боже мой!

— Рутинными, значить, путями идетъ? Рутинными? старыми?

— Еще какими старыми-то! Какъ, значить, ваше сіятельство, отцы и дѣдушки калю наѣздили — такъ и мы!

Но изслѣдователь, все-таки, отправлялся къ Дерунову (нельзя: во-первыхъ, мѣстный Ротшильдъ, а во-вторыхъ, и „сношенія“ надо же завести), калякалъ съ нимъ, удивлялъ его легкостью воззрѣній и быстротою мысленныхъ переходовъ — и въ концѣ концовъ, какъ и предсказывалъ Антошка, выходилъ отъ него недовольный.

— Да, батюшка! — говорилъ онъ Антошкѣ: — вы правду сказывали! Это не промышленникъ, а истуканъ какой-то! Ни духа предпріимчивости, ни пониманія экономическихъ законовъ... ничего! Нѣтъ-съ! намъ не такихъ людей надобно! Намъ надобно совѣмъ другихъ людей... понимаете? Вотъ какъ мы съ вами, напримѣръ! А? Понимаете? вотъ какъ мы съ вами?

— Сказывалъ я вашему сіятельству, что понапрасну только время терять изволите. Самый, чтò называется, закоренѣлый это человѣкъ!

Непосредственнымъ результатомъ этихъ наѣздовъ было то, что въ короткое время Антошка успѣлъ сколотить нѣсколько сотенъ рублей. Главный же результатъ сказался въ томъ, что цѣна на Антошкину услугу внезапно повысилась и отношенія къ нему мѣстныхъ обывателей въ значительной степени измѣнились. Съ этихъ поръ онъ дѣлается солиднымъ человѣкомъ, вмѣсто „Антошки“ начинаетъ именоваться „Антономъ Верельянычемъ“, а прозвище „Стрѣла“ замѣняетъ фамилію „Стрѣловъ“. И дѣйствительно, въ городѣ начали ходить удивительныя слухи. Сперва начали говорить, что учреждается компанія для „разведенія и обдѣлки льна“, а еще черезъ нѣсколько мѣсяцевъ прошелъ слухъ о другой компаніи, которая поставила себѣ задачей



вытѣснить изъ торговли англійскій прессованный хмель и замѣнить его такимъ же русскимъ. Наконецъ пришла вѣсть и о желѣзной дорогѣ. Хотя же первые два слуха такъ и остались слухами, а послѣдній осуществился лишь гораздо позднѣе, тѣмъ не менѣе репутація Антошки установилась уже настолько прочно, что даже самому Дерунову не приходило въ голову называть его по-прежнему Антошкою.

Въ это же самое время и въ средѣ помѣщиковъ обнаружилось движеніе. Нѣкоторые просто-на-просто сознали свое неумѣніе вести хозяйство на новыхъ основаніяхъ; другіе же, не отказываясь отъ надежды достигнуть плодотворныхъ результатовъ въ будущемъ, требовали капиталовъ, капиталовъ, капиталовъ... Отсюда — общее желаніе ликвидировать или все, или по крайней мѣрѣ то, что казалось менѣе необходимымъ. Неумѣлые готовы были сбыть все и во что бы ни стало, лишь бы бѣжать изъ постылаго мѣста; мнившіе себя умѣлыми отдѣлывались отъ пустошей и тѣхъ обрѣзковъ, которые, благодаря ихъ же настояніямъ, образовались при написаніи уставныхъ грамотъ. Эти затѣи тоже требовали бойкихъ и ходкихъ посредниковъ, потому что толстосумы, въ родѣ Дерунова, ежели обращались къ нимъ непосредственно, безъ зазрѣнія совѣсти предлагали за рубль грошъ. Въ числѣ этихъ посредниковъ-маклеровъ, само собою разумѣется, на первомъ планѣ оказался Антонъ Стрѣловъ; и дѣйствительно, онъ устроилъ на первыхъ порахъ нѣсколько такихъ сдѣлокъ, которыми обѣ стороны остались довольны.

То была именно та самая минута, когда заскучалъ генераль Утробинъ. Оброки шли туго; земля не только ничего не приносила, но еще требовала затратъ. Генераль вдругъ почувствовалъ себя одинокимъ и безпомощнымъ. Всякій интересъ къ жизни въ немъ словно погасъ; онъ уже пересталъ ревниво присматриваться къ выраженію лицъ временно-обязанныхъ; онъ даже разомъ прекратилъ, словно оборвалъ, полемику съ мировымъ посредникомъ. Все это было хорошо, покуда теплились еще остатки прежней барской жизни; но теперь, когда пошла рѣчь объ удовлетвореніи потребностей ежедневнаго расхода, шутки шутить было уже не къ лицу. Безучастнымъ, скучающимъ взоромъ глядѣлъ генераль изъ оконъ новаго дома на воды Вопли и на изрытый, изуродованный берегъ ея, тотъ самый, гдѣ было когда-то предположено быть дугу и цвѣтнику. Изрѣдка, выходя изъ дома, онъ обводилъ удивленными, словно непонимающими взорами, засохшія деревца, ямы, оставшіяся неравненными, неубранный хламъ — и въ сѣдой его головѣ копошилась одна мысль: что гдѣ-нибудь долженъ быть человѣкъ, который придетъ и все это устроить разомъ, однимъ махомъ. Что онъ, генераль, въ одно утро проснется — и *вдругъ* увидитъ, что все цвѣтетъ, красуется, благоухаетъ и никакихъ признаковъ недавняго геологическаго переворота въ поминѣ нѣтъ. Для опытнаго, свыше-шестидесятилѣтняго старика, конечно, это была надежда совсѣмъ дѣтская, но когда нервы человѣка почти убиты, то волшебство невольнымъ образомъ дѣлается единственнымъ исходомъ, на которомъ успокоивается мысль.

На Іону генераль не надѣялся. Со времени освобожденія крестьянъ Іона нѣсколько разъ нагрубилъ генералу, а раза два даже позволилъ себѣ явиться къ нему „не въ своемъ видѣ“. По этому поводу произошла баталія, во время которой генераль напомнилъ Іонѣ, что онъ его „изъ грязи выта-

щилъ“, а Иона, въ свою очередь, сдѣлалъ генералу циническое замѣчаніе насчетъ Агнушки. Конечно, на другой день Иона проспался и принялъ прежній смиренный видъ, но въ сердце генерала уже заползла холодность. Холодность эта мало-по-малу перешла и на Агнушку, особливо съ тѣхъ поръ, какъ генераль, однажды стоя у окна, увидалъ, что Агнушка, озираясь, идетъ со скотнаго двора и что-то хоронитъ подъ фартукомъ. Генераль, разумѣется, ни однимъ словомъ не намекнулъ о своемъ открытіи, но сталъ примѣчать и услѣдиль чудовищныя вещи. Въ его глазахъ, съ быстротой молніи, исчезали громадные куски сахару, а расходъ чухонскаго масла, чая и кофея становился просто-на-просто скандальнымъ. Былъ у генерала цѣлый запасъ перинъ, а недавно пріѣхалъ становой и не на чемъ было положить его спать. Наконецъ стали исчезать подсвѣчники, а о мелкахъ, карточныхъ щеткахъ и т. п. давно и въ поминѣ не было. „Куда все это дѣвалось?“ спрашивалъ себя генераль и продолжалъ молча наблюдать, съ какимъ-то дикимъ наслажденіемъ растравляя собственыя раны.

— Это они на всякій случай прикапливаютъ! — разсуждалъ онъ самъ съ собою: — только куда они прячутъ?

И онъ съ злорадствомъ ожидалъ, что вотъ-вотъ придетъ нѣкто, который всю эту шваль погонитъ и все разомъ устроитъ.

Этотъ таинственный „нѣкто“ явился въ лицѣ Антона Стрѣлова. Это уже былъ не прежній худой и замученный Антошка, съ испытаннымъ лицомъ, съ вдавленной грудью, съ полнымъ отсутствіемъ живота, который въ обшарпанномъ длиннополомъ сюртукѣ ждалъ только мановенія, чтобы бѣжать впередъ, куда глаза глядятъ. Напротивъ того, передъ лицо генерала предсталъ малый солидный, облеченный въ синюю поддевку тонкаго сукна, плотно обтягивавшую довольно объемистое брюшко, который говорилъ сдержанно-резоннымъ тономъ и притомъ умѣлъ сообщить своей почтительности такой характеръ, какъ будто источникомъ ея служило не грубое раболѣпство, а лишь сознаніе заслугъ и высоты званія того лица, которому онъ, Антонъ, имѣлъ честь „доглаживать“. Это до того пріятно поразило генерала, что и онъ, въ свою очередь, не счелъ возможнымъ отнестись къ Стрѣлову въ томъ презрительно-фамиллярномъ тонѣ, въ какомъ онъ вообще говорилъ съ людьми низкаго званія.

— Ну, Антонъ... какъ по отчеству — не знаю... — сказалъ онъ, самъ очевидно смущенный необходимостью допущенной имъ уступки.

— Валерьянычъ-съ, — спокойно отвѣтилъ Стрѣловъ.

— Ну, такъ вотъ, стало быть, Антонъ Валерьянычъ, надобно намъ ладкомъ объ дѣлахъ поговорить!

— Съ великимъ моимъ удовольствіемъ, ваше превосходительство! Дѣла вашего превосходительства я даже и сейчасъ очень хорошо знаю. Нехороши дѣла, ваше превосходительство! то-есть, такъ нехороши! такъ нехороши!

— Затѣмъ, братецъ, я тебя и позвалъ. Поправить надо.

— Ваше превосходительство! какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами! Поправку тутъ даже очень хорошую можно сдѣлать! Одно слово — извольте приказать! Только кликнуть извольте: Антонъ, молъ, Валерьяновъ!.. и коли ежели...



— Ну, да, вотъ этого-то я и хочу. Самъ видишь, какъ я живу. Усадьба — не достроена; въ садъ войдешь — сухіе прутья да ямы изъ-подъ овиновъ...

— На что хуже-съ!

— А оброки между тѣмъ поступаютъ плохо, земля—въ убытокъ...

— Земля... въ убытокъ! Помилуйте! это даже удивительно для меня! — усомнился Антонъ и словно бы даже укоризненно покачалъ головой.

— И я, братецъ, удивляюсь...

— По-нашему, ваше превосходительство, такъ нужно сказать: не токма что убытокъ, а пользу должна земля принести! вотъ какое объ этомъ дѣлѣ мы разсужденіе имѣемъ.

— И я, братъ, это разсужденіе-то имѣю...

— Ваше превосходительство! позвольте вамъ доложить! Какъ же эта самая земля можетъ убытокъ приносить, коли ежели ей, можно сказать, отъ самого Бога такъ опредѣлено, чтобы человѣкъ отъ нея пропитанье себѣ имѣлъ! Это точно, что по нынѣшнему время всѣ господа большую претензію имѣють... Вотъ Толстопятовъ господинъ или кандауровскій баринъ — всѣ они меня точно такъ же спрашивали: „отчего, молъ, Антонъ, землю нынче работать — себѣ въ убытокъ?“ Однако, какъ осмотрѣлъ я все какъ слѣдуетъ, и вижу: тутъ мѣстечко полезное, тамъ мѣстечко, въ другомъ мѣстѣ — десятинка-съ... Смотришь, десятинка да десятинка — анъ, можно сказать, и пользу сыскали!

Рѣчь эта сильно пришлась по сердцу генералу. Онъ даже унынье съ себя сбросилъ и нѣсколько дней сряду ходилъ по усадьбѣ орломъ. Стрѣловъ въ это время осматривалъ земельную дачу и каждый вечеръ докладывалъ о результатѣ осмотра.

— Ну, дачка у васъ, ваше превосходительство! — восхищался онъ: — такая дачка! такая дачка! И коли ежели эту самую дачу да къ рукамъ — и Господи Боже мой!

— Гм... стало быть, пользу можно получить?

— Позвольте вамъ, ваше превосходительство, доложить! — Возьмемте теперича къ примѣру хоша бы лѣсъ... чтò такое этотъ самый лѣсъ? Есть лѣсъ всякой-съ: есть теперича дровяникъ, есть угольникъ, а есть, примѣрно, и строевой-съ. Главная причина — какъ разсортить. Ежели теперича дрова, скажемъ примѣрно, къ дровамъ, угольникъ — къ угольнику, а строевой, значить, чтобы особо... сколько теперича отъ одного угольника пользы получить можно! А при семъ сучья. Крестьянину, значить, отопиться нужно — гдѣ онъ возьметъ? А земля-то, ваше превосходительство! По ней вѣдь и опять лѣсъ пойдетъ! Мѣста же здѣсь вольныя, боровыя...

— Такъ ты полагаешь: пилить самимъ?

— Полагаю, что такъ бы слѣдовало. Потому ежели, теперича, лѣснику на сводъ продать, онъ первое дѣло — лѣсъ затопчетъ и загадитъ, и второе дѣло — половиной цѣны противъ настоящихъ барышовъ не дастъ!

— Что же, братъ, съ Богомъ!

Черезъ десять дней Стрѣловъ окончательно поселился въ генеральской усадьбѣ въ качествѣ главноуправляющаго.

Устроившись такимъ образомъ, Стрѣловъ счелъ первымъ долгомъ освободить генерала отъ всякихъ „безпокойствъ“. Съ помощью безчисленныхъ мелкихъ предупредительностей онъ довелъ генерала до того, что послѣдній даже утратилъ потребность выходить изъ дому, а не то чтобы дѣлать какія-нибудь распоряженія. Но что всего важнѣе—генераль сейчасъ же почувствовалъ непосредственный результатъ Стрѣловскаго управленія: отъ него перестали требовать денегъ на расходы по веденію полевого хозяйства. Обработка земли не только не приносила убытка, но въ самое короткое время дала 57½ копѣекъ барыша.

— Ты, братецъ, волшебникъ! — воскликнулъ генераль внѣ себя отъ изумленія.

— Всѣ силы-мѣры, ваше превосходительство! — скромно отвѣтилъ Стрѣловъ: — тутъ урвешь, тамъ сократишь... а ваше превосходительство изволите говорить: волшебникъ-съ! Да кабы мы волшебствами могли заниматься, такъ ли бы мы передъ вашимъ превосходительствомъ заслужили!

И дѣйствительно, волшебства никакого не было, а просто-на-просто Стрѣловъ покрывалъ расходы по полемому хозяйству изъ доходовъ по лѣсной операціи. Генераль этого не видѣлъ, да и некому было указать ему на это волшебство, потому что и относительно окружающихъ Стрѣловъ принималъ свои мѣры. Весь служебный персоналъ онъ измѣнилъ, Иону съ утра до вечера держалъ въ полубезчувственномъ отъ вина положеніи, а съ Агнушкой прямо вошелъ въ амурныя отношенія, сказавъ ей:

— Теперича, ежели вы его превосходительство безпокоить будете, такъ у насъ въ городѣ дѣвицъ очень довольно на ваше мѣсто найдется.

Въ первый разъ послѣ мучительныхъ двухъ лѣтъ генераль почувствовалъ себя спокойно. Конечно, это было спокойствіе очень однообразное, которое скоро бы надоѣло генералу, несмотря ни на какія ухищренія Стрѣлова, еслибъ не нашлось подходящаго предмета, который вполнѣ поглотилъ все вниманіе старика. Этимъ предметомъ явились пресловутые безпорядки 1862 года. Съ самодовольствомъ вычитывалъ генераль изъ газетъ загадочныя, но захватывающія духъ извѣстія и торжествуяще улыбался при мысли, что все это онъ предвидѣлъ и предрекалъ еще въ то время, когда писалъ свой проектъ: „но ежели“. Сынъ тоже слалъ ему извѣстіе за извѣстіемъ: молодой человѣкъ шелъ въ гору и подробно увѣдомлялъ объ увольненіяхъ, перемѣщеніяхъ и назначеніяхъ. Все говорило генералу, что горячка новшествъ должна въ скоромъ времени стихнуть. Сверхъ того Петенька писалъ еще о какихъ-то нигилистахъ, присовокупляя при этомъ, что въ Москвѣ вырабатывается проектъ изслѣдованія корней и нитей. Генераль пріосанился и запомнилъ слово: „нигилистъ“. Быть можетъ, ему даже показалось, что его время еще не прошло, что объ немъ вспомнятъ, его призовутъ. Тогда это многимъ казалось. Такое было это время, что всякій плющійся человѣкъ могъ мысленно дерзать. Генераль началъ даже готовиться по секрету къ какой-то важной миссіи, какъ бы опасаясь, чтобы его не застали врасплохъ. Съ этою цѣлью онъ началъ сочиненіе, которому, по бывшему уже примѣру, присвоилъ названіе: „О поврежденіи нравовъ“ и которое должно было служить, такъ сказать, готовою программой на случай, если его „призовутъ“.



Сочиненіе писалось въ разлинованной тетрадь, и по старинному раздѣлялось на параграфы, причѣмъ сбоку обозначалось кратко содержаніе каждаго. Ежедневно прибавлялъ онъ по одному параграфу, приблизительно въ пять строкъ. Параграфъ: „въ чемъ заключается современное поврежденіе?“ — гласилъ такъ: „всякому времени особливое поврежденіе свойственно; такъ, при блаженной памяти императрицѣ Екатеринѣ II введены были фижмы и господствовалъ геройскій духъ, въ послѣдствіи же къ сему присоединилась наклонность къ военнымъ поселеніямъ. Нашему времени свойственное поврежденіе — есть нигилизмъ“. Въ параграфъ: „видимое происхожденіе нигилизма и тайныя предтечи его“ — говорилось: „явное мѣсторожденіе нигилизма открыто недавно въ Москвѣ, на Цвѣтномъ бульварѣ, въ домѣ Селиванова, въ гостинницѣ „Крымъ“, въ особомъ оной отдѣленіи, именуемомъ „Адъ“; тайныя же предтечи онаго уже съ 1856 года изливали свой ядъ въ той же Москвѣ, въ редакціи нѣкотораго поврежденнаго изданія, въ послѣдствіи принесшаго въ томъ раскаяніе“. Въ параграфъ: „въ чемъ оное поврежденіе состоитъ?“ значилось: „въ отверженіи промысла Божія и пользы, предрержащими властями приносимой. Равнымъ образомъ: въ непочтеніи, неуваженіи, разрушеніи и неповиновеніи. Сущее отрицаютъ, крѣпкое шаткимъ почитаютъ, а несущее и некрѣпкое за сущее и крѣпкое выдаютъ. Нелѣпость сего очевидна“. Въ параграфъ: „какъ въ семъ случаѣ поступать?“ — объяснялось: „по усмотрѣнію. Но ежели бы сіе до таковаго лица относилось, которое, бывъ нѣкогда опытно, а потомъ въ отставкѣ, внезапно подверглось призванію съ облеченіемъ довѣрія, то, кажется, лучше въ семъ случаѣ было бы поступить такъ: разыскавъ корни и нити и отдѣливъ вредныя плевелы отъ подлинныхъ и полезныхъ классовъ, первыя исторгнуть, вторымъ же дать надлежащій по службѣ ходъ“.

Однимъ словомъ, въ жизнь генерала всецѣло вторгнулся тотъ могущественный элементъ, который въ то время былъ извѣстенъ подъ именемъ борьбы съ нигилизмомъ.

Тѣмъ не менѣе сначала это была борьба чисто платоническая. Генералъ одинъ-на-одинъ бесѣдовалъ въ кабинетѣ съ воображаемымъ нигилистомъ, старался образумить его, доказывалъ опасность *сего*, и хотя постоянно уклонялся отъ объясненія, чтò слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ *сіе*, но по тѣмъ огонькамъ, которые бѣгали при этомъ въ его глазахъ, ясно было видно, что дѣло идетъ совсѣмъ не о невѣдомомъ какомъ-то нигилизмѣ, а о совершившихся новшествахъ, которыя собственно и составляли неизбывную обиду, подлежащую генеральскому отмщенію.

Впрочемъ такое платоническое отношеніе не могло быть продолжительно. Явилась потребность осуществить безкровный идеалъ нигилиста въ сколько-нибудь подходящемъ живомъ образѣ, и генералъ былъ отменно доволенъ, когда потребность эта нашла себѣ удовлетвореніе въ лицѣ его мелкопомѣстнаго сосѣда, Анпетова.

Анпетовъ былъ малый лѣтъ двадцати-семи, получившій очень ограниченное образованіе, но неглупый по природѣ и, главное, очень сочувствующій. Когда случился тотъ переломъ, который повергъ генерала въ уныніе, Анпетовъ, напротивъ того, какъ-то особенно закопошился: онъ развѣзжалъ ве-

селый по селамъ и весямъ, обнимался, цѣловался, плакалъ, хохоталъ и въ заключеніе даже принялъ безмездно мѣсто писмоводителя при мировомъ посредникѣ. Въ то время подобныхъ людей не причисляли къ лику нигилистовъ, но считали опорами и дѣлали имъ лестныя предложенія. Но Анпетовъ до того былъ зарытъ въ толпѣ, что даже тогдашнее сильное движеніе не выдвинуло его впередъ, какъ выдвинуло, напримѣръ, Луку Кисловскаго, добившагося, *à son corps défendant*, чести служить волостнымъ писаремъ. Анпетовъ попрежнему остался въ толпѣ, заявляя о себѣ однимъ лишь ликованіемъ и нося въ своемъ чистомъ сердцѣ только одну гражданскую зависть — къ Лукѣ Кисловскому. Онъ изъ первыхъ покончилъ съ крестьянами выкупною сдѣлкой, что, впрочемъ, доставило ему больше радости, нежели матеріальныхъ выгодъ. Подобно большинству энтузіастовъ того времени, онъ съ жаромъ обратился къ вольнонаемному труду, и подобно всѣмъ повелъ это дѣло безъ разсчета и съ перваго же раза осѣкся. Однако это не подѣйствовало на него одурающимъ образомъ: онъ не бросился вонъ изъ „своего мѣста“ и не осовѣлъ, запершись въ четырехъ стѣнахъ полуразвалившейся хранины, въ которой предки его съ незапамятныхъ временъ истребляли ерофеичъ. Въ немъ было черезчуръ много потребности жить, чтобъ запереться, и онъ слишкомъ любилъ „свое мѣсто“, чтобы бѣжать изъ него въ уѣздный или губернской городъ на службу. Онъ любилъ приволье, любилъ охоту, любилъ лѣсъ, рѣку, лугъ, любилъ народъ. Вслѣдствіе всего этого, не желая умереть съ голода, онъ сломалъ ветхія отцовскія хоромы, на мѣсто ихъ вывелъ просторную избу и сдѣлался самъ, въ одно и то же время, и землевладѣльцемъ, и работникомъ. Само собою разумѣется, что во всемъ этомъ не было ни тѣни намека ни на социализмъ, ни на коммунизмъ, о которыхъ онъ, впрочемъ, и понятія не имѣлъ, но тѣмъ не менѣе поступокъ его произвелъ сенсацію.

Вѣдшимъ поводомъ для этой сенсаціи послужило то, что дворянинъ „занимается несвойственными дворянскому званію поступками“; дѣйствительно же, внутреннею причиною служило просто желаніе къ чему-нибудь придратъ, на комъ-нибудь сорвать накинѣвшее зло. Вся окрестность загудѣла; дворяне негодовали, мужики-торгаши посмѣивались, даже крестьянская масса — и та съ какимъ-то пренебрежительнымъ любопытствомъ присматривалась.

Генеральъ взглянулъ на Анпетова сначала съ недоумѣніемъ; но потомъ, припомнивъ тѣ тысячи досадъ, которыя онъ въ свое время испыталъ отъ однихъ извѣстій о новаторской рьяности молодого человѣка, нашелъ, что теперь настала настоящая минута отмстить. Какъ-то вдругъ вырвалось изъ устъ его восклицаніе: — ну вотъ! ну да! ну „онъ“! — Онъ, то-есть нигилистъ, то-есть то загадочное существо, которое, подобно древнему козлу очищенія, обязывалось понести на себѣ наказаніе за реформаторскую приткось вѣка. Сейчасъ же генеральъ охарактеризовалъ Анпетова именемъ „негодяй“, и съ тѣхъ поръ это прозвище вошло въ волинской усадьбѣ въ употребленіе вмѣсто собственнаго имени.

Трудно представить себѣ, что можетъ произойти и на что можетъ сдѣлаться способенъ человѣкъ, коль скоро обиженное и возбужденное воображеніе его усвоить себѣ какое-нибудь убѣжденіе, найдетъ подходящий образъ. Генеральъ глубоко увѣровалъ, что Анпетовъ негодяй, и сквозь призму этого убѣж-



денія начать строить его жизнь. Само собою разумѣется, что это былъ вымышленный и совершенно фантастическій романъ, но романъ, у котораго было свое незыблемое основаніе и который можно было пополнять и варьировать до бесконечности.

Во всякомъ случаѣ все это наполняло бездну празднаго времени и въ то же время окончательно уничтожало въ генералѣ чувство дѣйствительности. Стрѣловъ понималъ это отлично и съ большимъ искусствомъ поддерживалъ фантастическое настроеніе генеральскаго духа.

Каждое утро генералъ, сидя за чаемъ и попыхивая трубку, машинально выслушивалъ рапортъ Стрѣлова о вчерашнихъ операціяхъ и тотчасъ же свертывалъ на любимый предметъ.

— Ну, а какъ... негодяй?

Въ отвѣтъ Антонъ, не то скорбно, не то какъ бы едва воздерживаясь отъ смѣха, махалъ рукой.

— Новенькое что-нибудь начудилъ?

— Дѣлежка у нихъ этта была! — говорить Стрѣловъ, словно умирая отъ смѣха.

— И что-жь?

— Вычисленіе дѣлалъ. „Это, говоритъ, мнѣ процентъ на капиталъ, это — моя часть, значитъ, какъ хозяина“, а остальное поровну раздѣлилъ. Рабочіе даже сейчасъ рассказываютъ — смѣются.

— Однако... это важно! это даже очень важно!

— Помилуйте, ваше превосходительство! нестоющій это совсѣмъ чловѣкъ, чтобы вамъ, можно сказать, такъ объ немъ беспокоиться!

— Нѣтъ, мой другъ, не говори этого! не въ такомъ я званіи, чтобы это дѣло втунѣ оставить! Не Анпетовъ важенъ, а тотъ ядъ, который онъ разливаетъ! вотъ что я прошу тебя понять!

— Ядъ — это такъ точно-съ! Отравы этой они и посейчасъ промежду черняди довольное число распространили. Довольно, кажется, съ ихней стороны было ужъ низко изъ одной чашки съ мужиками хлебать — такъ нѣтъ, и этого мало показалось!

— А что еще?

— Помилуйте! позвольте вамъ доложить! теперича, сами съ сохой въ поле выходить, за-одно съ мужиками всѣ работы исполняютъ!

— Негодай!

— Истинное, ваше превосходительство, вы это слово сказали. Именно не иначе объ нихъ, теперича, заключить можно!

— Да ты видѣлъ?

— Самолично-съ. Вечоръ иду я изъ „Пѣтуховъ“, и онъ тоже за сохой домой возвращается. Только я, признаться, имъ камешѣкъ тутъ забросилъ: „что, говорю, Петръ Иванычъ, видно нынче и баре за соху принялись?“ Ну, онъ ничего — смолчалъ.

— Негодай! — почти давленнымъ голосомъ произносилъ генералъ.

— А все-таки, позвольте вамъ доложить: напрасно себя изъ-за нихъ беспокоить изволите!

— Нѣтъ, мой другъ, это слишкомъ важно! это такъ важно! такъ важно! Знаешь ли ты, чѣмъ такіе поступки пахнутъ?

— Оно, конечно, ваше превосходительство, большая смута черезъ это самое промежду черняди идетъ!

— Ну, вотъ видишь-ли!.. Значить, и простой народъ... крестьяне... какъ они на эти поступки смотрятъ?

— Которые хорошіе мужички—ни одинъ не одобряетъ. Взять хоть бы Александра-телятникъ, или Пѣтра-бумажникъ—ни одинъ, то-есть, и ни-ни! Ну, а промежду черняди—тоже не безъ сумлѣнія!

— А что въ писаніи сказано? „Пасите овцы ваша“—вотъ что сказано! Ты говоришь: не „извольте безпокоиться“—а кто въ отвѣтъ будетъ?

— Въ отвѣтъ—это такъ точно, другому некому быть! Ахъ! только посмотрю я, ваше превосходительство, на чины на эти! Почетъ отъ нихъ—это слова нѣтъ! ну, однако, и отвѣту на нихъ лежитъ много! то-есть — столько отвѣту! столько отвѣту!

— Кому много дано, съ того много и взыщется. Такъ-то, мой другъ!

— Это такъ точно, ваше превосходительство. Только коли ежели, теперича, все сообразить...

Стрѣловъ махаль рукой и умолкалъ, какъ бы нѣмѣя передъ необъятностью открывшихся ему перспективъ.

Такъ проходили дни за днями, и каждый день генераль становился серьезнѣе. Но онъ не хотѣлъ начать прямо съ крутыхъ мѣръ. Сначала онъ потребовалъ Анпетова къ себѣ — Анпетовъ не пришелъ. Потомъ, подъ видомъ прогулки верхомъ, онъ отправился на Анпетовское поле и тамъ самолично убѣдился, что „негодяй“ дѣйствительно пробиваетъ борозду за бороздой.

— Стыдно, сударь! званіе дворянина унижаете!—крикнулъ ему Утробинъ; но такъ какъ въ эту минуту Анпетовъ находился на другомъ концѣ полосы, то неизвѣстно, слышалъ ли онъ генеральское вразумленіе, или нѣтъ.

Наконецъ генераль надумался и обратился къ „батьшкѣ“. Отецъ Алексѣй былъ человѣкъ молодой, очень приличнаго вида и страстно любимый своею попадѣй. Онъ щеголялъ шолковою рясою и возвышеннымъ образомъ мыслей и плѣнилъ генерала, сказавъ однажды, что „вѣра — главное, а разумъ—все равно, что слуга на запяткахъ; есть надобность за чѣмъ-нибудь его послать — хорошо, а нѣтъ надобности — и такъ простоятъ на запяткахъ!“

Генераль любилъ батьшку; онъ вообще охотно разговаривалъ отъ писанія и даже хвалился начитанностью своей по этой части. Сверхъ того, батьшка давалъ ему случай припоминать объ архіереяхъ, которыхъ онъ зналъ во времена своего губернаторства, и о томъ, какъ и кто изъ нихъ служилъ заутреню въ Свѣтлое Христово Воскресенье.

— При мнѣ у насъ преосвященный Иракламонъ \*) былъ, —разсказывалъ генераль: — такъ тотъ, бывало, по военному, къ двумъ часамъ и заутреню, и обѣдню отпоетъ. Чуть, бывало, пѣвчіе зазѣваются: а-а-э-э... онъ сейчасъ съ горняго мѣста: „распѣлись!“

\*) Празднуется 12-го іюня.



— Значить, скорое и свѣтлое пѣніе любилъ?

— Да; а вотъ преосвященный Памфалонъ \*) — тотъ, бывало, полчаса чешется да полчаса облачается, а пѣвчіе въ это время: а-а-а-а...

— Торжественность, значить, предпочиталъ?

Одного не любилъ генераль въ отцѣ Алексѣѣ: что онъ елеемъ волосы себѣ мазалъ. И потому, поговоривъ объ архіеряхъ, всегда склонялъ разговоръ и на этотъ предметъ:

— И охота тебѣ, батя, маслицемъ этимъ...

— Прошу, ваше превосходительство, извинить; еще времени не избралъ помады купить! — оправдывался отецъ Алексѣй.

Однажды изъ-за этого обстоятельства даже чуть не вышло между ними серьезное столкновение. Генераль не вытерпѣлъ и, слѣдуя традиціямъ старинной русской шутливости, послалъ отцу Алексѣю копытной мази. Отецъ Алексѣй обидѣлся.

Вотъ къ нему-то и обратился генераль въ настоящемъ случаѣ.

— Слышалъ, батя?

— Чтѣ изволите, ваше превосходительство, приказать?

— Про „негодя“?

— Недоумѣваю...

— Про Анпетова, про Ваньку Анпетова говорю! да ты никакъ, съ попадейкой-то цѣлуясь, и не видишь, чтѣ у тебя въ паствѣ дѣлается?

— У господина Анпетова бываю и даже ревнивымъ окомъ за нимъ слѣжу. До сихъ поръ однако душепагубнаго ничего не примѣтилъ. Ведетъ себя добродично, къ церкви Божіей нельзя сказать, чтобъ особливо прилеженъ, но и непрілежнымъ назвать нельзя.

— Землю пашетъ! — прогремѣлъ генераль, вдругъ вытянувшись во весь ростъ: — самъ! самъ! самъ съ сохой по полю ходить! Это — дворянинъ-съ!

Батюшка потупился. Онъ и самъ примѣтилъ, что Анпетовъ поступаетъ „странно нѣкакъ“, но до сихъ поръ ему не представлялся еще вопросъ: возбраниется или не возбраниется?

— Дворянинъ-съ! — продолжалъ восклицать между тѣмъ генераль. — Знаешь-ли ты, чѣмъ это пахнетъ! Ядъ, сударь! возмущеніе! Ты вотъ сидишь да съ попадей цѣлуешься; „добродично“ да „душепагубно“ — и откуда только ты эти слова берешь! Чѣмъ бы вразумить да пристыдить, а онъ лукошко въ руку да съ попадейкой въ лѣсъ по грибы!

Рѣшили на томъ, чтобъ идти отцу Алексѣю къ Анпетову и попробовать его усовестить. Эту миссію выполнилъ отецъ Алексѣй въ ближайшій воскресный день, но успѣха не имѣлъ. Началъ отецъ Алексѣй съ того, что сказалъ, что всегда были господа и всегда были рабы.

— А теперь вотъ рабовъ нѣтъ! — отвѣтилъ Анпетовъ.

— И теперь они есть, только въ сокровенномъ видѣ обрѣтаются, — продолжалъ усовѣщивать отецъ Алексѣй.

— Ты, батя, на тощакъ, должно быть — оттого вздоръ и городишь! —

---

\*) Празднуется 17-го мая.

замѣтилъ на это Анпетовъ и затѣмъ отперъ шкафъ, вынулъ оттуда полуштофъ и налилъ двѣ рюмки.—Выпьемъ!

Однимъ словомъ, кончилось ничѣмъ, и батюшка, придя въ тотъ же вечеръ къ генералу, заявилъ, что Анпетовъ, даже по многомъ увѣщаніи, остался непреклоненъ.

Тогда генерала вдругъ осѣнила мысль, что батюшка въ одно изъ ближайшихъ воскресеній произнесетъ краткое поученіе, направленное противъ Анпетова, которое взялся написать самъ генераль.

И дѣйствительно, поученіе было написано и гласило слѣдующее:

„Давно собирался я, братія, побесѣдовать съ вами объ отцѣ лжи, но доселѣ не представлялось удобнаго къ тому случая. Нынѣ же случай сей несомнѣнно представился, ибо между нами появился одинъ изъ ревностнѣйшихъ аггеловъ его. Не думайте однако, чтобъ онъ имѣлъ видъ унылый и душепагубный, свойственный дьяволу, обрѣтающемуся въ первобытномъ состояніи. Нашъ аггелъ не таковъ; онъ не имѣетъ ни крыль темныхъ, ни копытъ громкозвонныхъ, ни турьяго рога на челѣ, ни раскаленнаго угля въ гортани своей. Онъ носитъ видъ обыкновеннаго человѣка, съ тѣмъ лишь отличіемъ, что во внутренностяхъ его сокрытъ адъ. Или прямѣе: это не человѣкъ, но человѣкоадъ. Человѣкъ по наружному виду, но адъ по виду внутреннему. Воистину, человѣкоадъ, ибо ни о чемъ другомъ не мыслить, ничего другого не дѣлаетъ, какъ только сѣять плевелы. Сѣять на землѣ грѣхопаденія, срѣзаетъ серпомъ умерщвленія и сыпаетъ зерна въ житницѣ погубленія.

„Но, сказавъ вамъ достаточно о появившемся между нами человѣкоадѣ и прелестяхъ его, я еще не открылъ вамъ его самого. Кто же ты, столь часто упоминаемый мной человѣкоадъ? Кто ты, носящій въ сердцѣ ядъ, а руками сѣющій измѣну? Ты—сынъ почтеннаго коллежскаго регистратора, съ честью служившаго засѣдателемъ въ земскомъ судѣ и потомъ почившаго отъ трудовъ въ дому отцовъ своихъ! Ты — сынъ достойнѣйшей родительницы, которая вскормила и воспитала тебя, отнюдь не думая, что у почтеннѣйшей груди ея вскармливается и воспитывается младенецъ, которому суждено сдѣлаться ближайшимъ совѣтникомъ отца лжи! Ты — юноша, на казенный счетъ, по причинамъ отъ начальства независѣвшимъ, не кончившій курса въ среднемъ учебномъ заведеніи и на казенный же счетъ взлелѣявшій въ сердцѣ своемъ сѣмя разврата! Почтенные и добродѣтельные родители — и душепагубный сынъ! попечительное начальство — и результатъ сей благопопечительности... ужаснѣйшій человѣкоадъ! Размыслимъ о семъ, братія, и поскорбимъ!“

Отецъ Алексѣй даже похолодѣлъ, когда генераль прочиталъ ему произведеніе своей фантазіи. Но съ генераломъ спорить было мудрено, а заставить его добровольно отступить отъ однажды принятаго рѣшенія — и совсѣмъ невозможно.

Два воскресенья сряду батюшка сказывался больнымъ и не служилъ обѣдни, но на третье такая отговорка оказалась уже неудобною. Такъ-какъ по всей окрестности разнесся слухъ, что генераль устами отца Алексѣя будетъ обличать Анпетова, то народу въ церковь собралось видимо-невидимо. Явился и самъ Анпетовъ. Генераль всталъ на возвышенное мѣсто и обводилъ орлинымъ взглядомъ толпу. Но вотъ прочитана была заамвонная молитва,



Анпетовъ уже вытянулъ шею, чтобы принять публичный репримандъ, все вдругъ притихло... увы! аналоя не появилось! Батюшка не рѣшился...

Послѣ обѣдни Анпетовъ взомель въ генеральскій домъ, пробрался въ кабинетъ къ генералу и сказалъ:

— Еслибъ вы были умны, то, вмѣсто того, чтобы полемизировать со мной въ церкви, вы прогнали бы вора Антошку, а меня взяли бы на его мѣсто въ управляющіе. Я бы васъ не обкрадывалъ.

— Вонъ!—заревѣлъ на него не своимъ голосомъ генераль.

Покуда генераль боролся съ Анпетовымъ и мнилъ на немъ отомстить поражение старыхъ порядковъ, Антонъ Стрѣловъ распоряжался въ имѣніи полнымъ господиномъ. Ни Ионы, ни Агнушки въ генеральскомъ домѣ уже не было. Иону генераль опредѣлилъ въ к—скій уѣздный судъ протоколистомъ, на имя Агнушки — купилъ въ К. домъ. Мѣсто Агнушки заняла дородная и краснощекая дѣвица Евпраксея, которую Стрѣловъ самолично разыскалъ и представилъ. Самъ Антонъ къ этому времени раздобылъ такъ, что сталъ почти неузнаваемъ. Обличіе у него сдѣлалось настоящее купеческое; широкое и скулистое отъ природы лицо налилось; сѣрые, нѣкогда прозительные глаза слегка заплыли. Ѣздилъ онъ по дѣламъ въ купеческой телѣжкѣ, на породистомъ коренникѣ-иноходцѣ, котораго генераль подарилъ ему въ ознаменованіе побѣды надъ сердцемъ Евпраксеи. Но чтѣ всего важнѣе—въ теченіе года съ небольшимъ онъ представилъ генералу до десяти тысячъ рублей денегъ.

Генераль не справлялся, откуда и какимъ образомъ пришли къ нему эти деньги: онъ былъ доволенъ. Онъ зналъ, что у него есть гдѣ-то какіе-то „Пѣтухи“, какое-то „Разуваево“, какая-то „Лѣтесиха“ и проч., и зналъ, что все это никогда не приносило ему ни полушки. Кромѣ того, онъ давно уже не имѣлъ въ рукахъ разомъ столько денегъ. Онъ былъ такъ доволенъ, что однажды даже, въ порывѣ гордыни, позволилъ себѣ сказать:

— Антонъ, проси у меня, чего хочешь!

Но на этотъ разъ Антонъ еще не осмѣлился. Въ отвѣтъ на приглашеніе генерала онъ только повалился ему въ ноги и произнесъ:

— Ничего мнѣ, окромя спокойствія вашего превосходительства, не надобно! коли ежели ваше превосходительство... ахъ, ваше превосходительство!

И былъ такъ при этомъ взволнованъ, что генераль, чтобы успокоить его, трикратно съ нимъ облобызался.

Но черезъ короткое время Антонъ одумался. Однажды, принеся генералу выручку, полученную за проданный лѣсъ, онъ скромно доложилъ, что имѣетъ попросить у его превосходительства милости.

— Говори, мой другъ!—благодарно отвѣтилъ генераль.

— Не будетъ ли вашей милости это самое мѣстечко мнѣ уступить?

Антонъ произнесъ эти слова робко, какъ будто ему давили горло. При этомъ онъ взмахнулъ глазами на Мысокъ, на противоположномъ берегу рѣки, гдѣ и до сихъ поръ стоялъ постоянный дворъ Калины Силантьева. Генераль словно очнулся отъ сна.

— А какъ же Калина?—спросилъ онъ.

— Калина Силантычъ довольно попользовались. А при семь они и на деревнѣ осѣдлость имѣють — могутъ, коли ежели, и тамъ свою торговлю производить.

— Гм... да... стало-быть Калина...

— А между прочаго, ежели такое ихъ желаніе будетъ, чтобъ безпремѣнно на семь мѣстѣ остаться, такъ они и отъ меня могутъ онное кортомить!

— Что!! такъ ты купить, значить, „Мысокъ“ задумалъ!? — вскочилъ генераль, словно ужаленный.

— Коли ежели ваша милость...

— Натко!

И генераль сдѣлалъ такой жестъ, вслѣдствіе котораго Антошка на цыпочкахъ убрался во-свояси, наклонивъ голову, словно избѣгая удара.

Цѣлую недѣлю потомъ Стрѣловъ ходилъ точно опущенный въ воду и при докладѣ генералу говорилъ печально и какъ-то особенно глубоко вздыхалъ. Въ то же время дѣвица Евпраксея сдѣлалась сурова и неприступна. Прочая прислуга, вся подобранная Стрѣловымъ, приняла какой-то особенный тонъ, не то жалостливый, не то пренебрежительный. Словомъ сказать, въ домѣ воцарился страшный порядокъ, въ которомъ генераль очутился въ роли школьника, съ которымъ за фискальство или другую подлость положено не говорить.

Одинокъ ходилъ онъ по комнатамъ барскаго дома и какъ-то фаталистически влекся къ балконной двери, изъ которой, какъ на ладони, виднѣлся „Мысокъ“ и постоянный дворъ Калины Силантыева. Какъ будто онъ что-то смутно предчувствовалъ. Онъ видѣлъ отпряженныхъ телѣги, видѣлъ восьмидесятилѣтняго Калину, который сидѣлъ на заваленкѣ, грѣлся на солнцѣ и чертилъ что-то палкой на землѣ; видѣлъ цѣлое поколѣніе здоровыхъ и кражистыхъ Калинычей, сновавшихъ взадъ и впередъ; потомъ переносилъ свою мысль на Агнушку, на Іону, даже на Анпетова... и никакъ не могъ освободиться отъ предчувствія.

Въ одно прекрасное утро онъ получилъ письмо отъ Петеньки, которому писалъ о „дерзкомъ поступкѣ“ Антона (Стрѣловъ и съ своей стороны написалъ Петенькѣ слезное письмо).

„Не понимаю, — писалъ Петенька, — изъ-за чего вы кипятитесь на Антона. По моему мнѣнію, это — единственный человѣкъ, который стоитъ *au niveau de la position*. Онъ очень хорошо понималъ, что намъ нужно продавать, продавать и продавать, то-есть обращать въ деньги. Всѣ эти „Пѣтухи“, „Разуваевы“ и проч., которые не приносили вамъ ни обола — онъ ихъ утилизировалъ и доставилъ вамъ деньги. Почему же „Мысокъ“ святѣ ихъ, если Антонъ за него хорошую цѣну даетъ? Вы пишете, что „Мысокъ“ прямо противъ оконъ усадьбы — ну, и пусть будетъ прямо противъ оконъ усадьбы. Если вы боитесь, что Стрѣловъ будетъ передъ вашими глазами живыя картины представлять, такъ насчетъ подобныхъ случайностей можно въ купчей крѣпости оговорить. А что касается до того, что „жалъ Калину обидѣть“, то это просто смѣшно. Насъ никто не жалѣетъ, а мы весь міръ будемъ жалѣть — когда же этимъ великодушнымъ будетъ конецъ?!“

Прочитавъ это письмо, генераль окончательно поникъ головой. Онъ



даже по комнатам бродить пересталъ, а сидѣлъ, не вставаючи, въ большомъ креслѣ и дремалъ. Антошка очень хорошо понялъ, что письмо Петеньки произвело эффектъ, и сдѣлался еще мягче, раболѣпнѣе. Евыпраксея, съ своей стороны, прекратила неприступность. Всѣ люди начали ходить на цыпочкахъ, смотрѣли въ глаза, старались угадать желанія.

Однажды утромъ, при докладѣ, Антонъ опять осмѣлился.

— Такъ какъ же насчетъ „Мыска“, ваше превосходительство? какое распоряженіе сдѣлать изволите?—спросилъ онъ, переминаясь съ ноги на ногу.

— Гм... это насчетъ того, что-ли, что ты купить его хочешь?

— Такъ точно, ваше превосходительство. А ужъ какъ бы я за васъ Бога молилъ... ужъ такъ бы!

Генералъ потупилъ глаза въ землю и молчалъ.

— А ежели что насчетъ услуги касается, такъ ужъ на что спокойнѣе! Только кликните отседѣ: Антонъ! а ужъ я на томъ берегу и слышу-съ.

— Да... вотъ и сынъ тоже...

— Одобряють-съ? ну, хоша за Петра Павлычево здоровье Богу помолимъ, ежели, теперича, у родителя заслужить не съумѣли...

— Вонъ съ моихъ глазъ, негодяй!

Тѣмъ не менѣе недѣли черезъ двѣ купчая была совершена, и притомъ безъ всякихъ ограниченій насчетъ „живыхъ картинъ“, а напротивъ, съ обязательствомъ со стороны генерала оберегать мѣщанина Антона Валерьянова Стрѣлова отъ всякихъ вступщиковъ. А черезъ недѣлю по совершеніи купчей генералъ—даже черезъ затворенныя окна своей усадьбы—слышалъ тотъ почти волчій вой, который подняли кражистые сыны Калины, когда Антонъ объявилъ имъ, что имѣютъ они въ недѣльный срокъ снести постоянный дворъ и перебраться куда пожелаютъ.

Стрѣловъ имѣлъ теперь собственность, которая заключалась въ „Мыскѣ“, съ прибавкомъ четырехъ десятинъ луга по Волгѣ. За все это онъ внесъ наличными деньгами пятьсотъ рублей, а купчую, чтобы не ѣхать въ губернской городъ, написали въ триста рублей и совершили въ мѣстномъ уѣздномъ судѣ. При этомъ генералъ былъ твердо убѣжденъ, что продалъ только „Мысокъ“, безъ всякой прибавки луговой земли.

Антонъ сдѣлалъ несомнѣнно выгодное дѣло. Мѣсто было бойкое; къ тому же какъ разъ въ это время объявили въ ближайшемъ будущемъ свободную продажу вина.

Мало-по-малу отношенія выяснились. Зимѣ 1862—1863 года Антонъ, „для ради признательности“, еще оставался у генерала, но уже исподволь заготавливалъ лѣсъ для построекъ. Когда же окончательно сказали вину волю, то онъ не вытерпѣлъ и явился за расчетомъ.

— Куда?—снова какъ бы проснулся генералъ.

— Послужили-съ, — кротко отвѣтилъ Стрѣловъ, стоя на благоразумной дистанціи.

Генералъ бросился-было впередъ, но Антонъ уже не на цыпочкахъ, а полнымъ ходомъ ушелъ изъ дому, а затѣмъ и совсѣмъ изъ усадьбы.

Генералъ попробовалъ не расчесться съ Антономъ, но расчелся; за-

тѣмъ онъ попробовалъ потребовать отъ него отчета по лѣсной операціи; но такъ-какъ Антонъ дѣйствовалъ безъ довѣренности, въ качествѣ простого рабочаго, то и въ требованіи отчета полученъ былъ отказъ. Въ довершеніе всего дѣвица Евпраксея сбѣжала, и на вопросъ: „куда?“ — генералу было отвѣтствовано, что къ Антону Валерьянычу, у котораго она живетъ „въ родѣ какъ въ наложницахъ“.

Съ начала марта, несмотря на неполнѣ стаявшій снѣгъ, на той сторонѣ рѣки уже кипѣла необычная дѣятельность. Антошка выводилъ какое-то длинное зданіе съ двумя крылечками, изъ которыхъ одно вело въ горницу, а другое — въ закрытое помѣщеніе, въ родѣ амбара. Рядомъ продолжалъ возвышаться старый постоялый дворъ, который Стрѣловъ за безцѣнокъ купилъ у Калины. Въ самое Свѣтлое Христово Воскресенье въ новомъ зданіи открытъ былъ кабакъ, и генералъ имѣлъ случай убѣдиться, что все село, не исключая и сыновъ Калины, праздновало это открытіе, горлая пѣсни, устроивая живыя картины и нимало не стѣняясь тѣмъ, что генералъ нѣсколько разъ самолично выходилъ на балконъ и грозилъ пальцемъ.

Но всего больше поразила генерала картина, представившаяся его глазамъ въ послѣдовавшій затѣмъ Петровъ день. Вставши еще задолго до обѣдни, онъ увидѣлъ, что на самомъ лучшемъ его лугу собрался какой-то людской сбродъ и косить его. Антонъ Стрѣловъ ходитъ между рядами косцовъ съ полштофомъ въ одной рукѣ и стаканомъ въ другой и потчуетъ виномъ; а Проська раздаетъ куски пирога. Въ себя генералъ попробовалъ послать рабочихъ, чтобъ унять мерзавцевъ, но былъ отбитъ. Тогда онъ отправился въ уѣздный городъ, и съ изумленіемъ, почти дошедшимъ до параличнаго удара, узналъ, что онъ самъ, вмѣстѣ съ „Мыскомъ“, продалъ Антошкѣ четыре десятины своего лучшаго луга по Волпѣ...

Съ этихъ поръ жизненная колея стараго генерала начала видимо съуживаться. Тщетно слалъ онъ письмо за письмомъ къ Петенькѣ, описывая продержостные поступки „негодяя“ (увы! съ Анпетова онъ уже перенесъ эту кличку на Стрѣлова!): на всѣ его жалобы сынъ отвѣчалъ одними сарказмами. „Извините меня, милый папенька (писалъ онъ), но вы, живучи въ деревнѣ, до того переплелись со всякимъ сбродомъ, что вещи, нестоющія ломанаго гроша, принимаютъ въ вашихъ глазахъ размѣры чего-то важнаго“. Или: „пожалуйста, милый папенька, не волнуйте меня вашими дрызгами съ Стрѣловымъ — иначе я, право, подумаю, что вы впадаете въ дѣтство“. Письма эти постоянно сопровождались требованіемъ денегъ, причѣмъ представлялись такія убѣдительныя доказательства необходимости неотложныхъ и обильныхъ субсидій въ видахъ поддержанія Петенькиной карьеры, что генералъ стоналъ какъ раненный звѣрь.

Къ счастью, генерала не оставила благородная страсть къ литературнымъ упражненіямъ; но и тутъ случилось нѣчто неожиданное, доведшее и это развлеченіе до самыхъ крайнихъ размѣровъ. Надумавши (чтобы забыться отъ преслѣдовавшаго его представленія о „негодяѣ“) писать свои мемуары, онъ съ изумленіемъ замѣтилъ, что все позабылъ. Отъ цѣлаго славнаго прошлаго



въ его памяти осталось что-то смутное, несвязное, порою даже какъ будто неожиданное. То учебный сигналъ, то бѣлая лошадь, то аллеи почтовыхъ дорогъ, то жидовская корчма, то деньщикъ Макарка... И все это безъ малѣйшей послѣдовательности и связано только фразой: „и еще припоминаю такой случай“... Въ заключеніе онъ началъ-было: „и еще расскажу, какъ я отъ графа Аракчеева однажды благосклонною улыбкой взысканъ былъ“, но едва вознамѣрился рассказать, какъ вдругъ покраснѣлъ и ничего не рассказалъ. Въ одной коротенькой главѣ, въ три страницы разгонистаго письма, умѣстилась вся жизнь генерала Утробина, тогда какъ объ одномъ пятнадцатилѣтнемъ славномъ губернаторствѣ можно было бы написать цѣлые томы. Онъ тѣмъ болѣе удивился этому, что въ то же самое время въ „Русской Старинѣ“ многіе генералы, гораздо меньше совершившіе подвиговъ, писали о себѣ безъ малѣйшаго стѣсненія. Пришлось, оставивъ въ покоѣ „исторію“, прибѣгнуть къ вымыслу, для чего онъ и выбралъ форму притчей, наиболѣе подходящую къ роду его дарованія. Но и притчей онъ написалъ въ теченіе шести лѣтъ только двѣ, которыя здѣсь и приводятся цѣликомъ.

## I. Притча о нѣкоторомъ неосторожномъ генералѣ.

„Одинъ генералъ, служившій по гражданской части (впрочемъ съ сохраненіемъ военнаго чина и эполетъ), не бывъ никогда въ лѣсу, пожелалъ войти во внутрь онаго. И, будучи храбръ отъ природы, рѣшилъ идти въ лѣсъ одинъ, безъ свиты, но въ мундирѣ. Напрасно секретарь его упреждалъ, что въ лѣсу томъ водятся волки, которые могутъ генерала растерзать; на всѣ таковыя упрежденія генералъ отвѣтствовалъ одно: „не можетъ этого случиться, чтобы дикіе звѣри сего мундира коснулись!“ И съ сими словами отправился въ путь. Чтò же, однако, случилось? прошелъ одинъ день — генерала нѣтъ; прошелъ другой день — опять нѣтъ генерала; на третій день, обезпokoенные подчиненные идутъ въ лѣсъ — и чтò находятъ? обглоданный дикими звѣрьми генеральскій остовъ, и при семъ столь искусно, что мундиръ и даже сапоги со шпорами оставлены нимало нетронутыми.

„Смыслъ сей притчи таковъ: и содержащее не всегда для содержимаго защитой быть можетъ“.

## II. Притча о двухъ расточителяхъ: умномъ и глупомъ.

„Нѣкоторые два расточителя получили отъ дальнихъ родственниковъ въ наслѣдство по одной двадцатипятирублевой бумажкѣ. Нимало не думая, оба рѣшили невеликіе сіи капиталы проѣсть; но при семъ одинъ, накупивъ себѣ на базарѣ знатныхъ яствъ и питій и получивъ, за всеми расходами, полтинникъ сдачи, сдѣлалъ изъ купленнаго матеріала обѣдъ и со вкусомъ съѣлъ оный; другой же, взявъ кастрюлю, наполнивъ оную водою и вскипятивъ, сталъ въ кипяткѣ варить наслѣдственную двадцатипятирублевую бумажку, исполняя сіе дотолѣ, пока отъ бумажки не осталось одно тѣсто. И

велико было его удивленіе, когда, испробовавъ отъ сего новоявленного вара, онъ нашель, что оно не токмо отмѣннаго, по цѣнѣ своей, вкуса не имѣеть, но еще смердитъ по причинѣ жира отъ множества потныхъ рукъ, коими та бумажка была захватана.

„Читатель! размысли, не имѣтъ ли притча сія отношенія къ тѣмъ нашимъ реформаторамъ-нигилистамъ (увы! генераль все еще не могъ забыть мировыхъ посредниковъ начала шестидесятихъ годовъ!), кои полученное отъ отцовъ наслѣдіе въ котлѣ переформировокъ варятъ, но варевомъ симъ никому удовольствія не дѣлають, а токмо смрадъ!“

Но занятія эти не наполняли и миллионной доли той бездны досуга, которая оставалась въ распоряженіи генерала. Онъ сдѣлался апатиченъ, брюзгливъ, почти близокъ къ разрушенію. Прежде онъ былъ консерваторъ, теперь — постоянно смѣшивалъ консерваторовъ съ нигилистами и какъ-то загадочно говорилъ: давно пора. Прежде онъ былъ душою уѣздной охранительной оппозиціи, теперь — только щелкалъ языкомъ, когда ему рассказывали о новыхъ реформаторскихъ слухахъ. Всѣ помнили его гордую и смѣлую позу въ тотъ моментъ, когда катастрофа, несмотря на всѣ контрпрожекты, явилась совершившимся фактомъ. „Сгною подлецовъ во временно-обязанныхъ, а на выкупъ не пойду... нѣтъ! никогда!“ — воскликнулъ онъ тогда — и что же? теперь онъ не только *пошелъ* на выкупъ, но и вынужденъ былъ совершить его „по требованію одного владѣльца“...

Всѣ его оставили, и онъ не могъ даже претендовать на такое забвеніе, а могъ только удивленными глазами слѣдить, какъ все спѣшитъ ликвидировать и бѣжать изъ своего мѣста. Оставались только какіе-то мрачные наемники, которымъ удалось, при помощи ненавистныхъ мужиковъ, занять по земству и мировымъ судамъ мѣста, съ которыми сопряжено кое-какое жалованье.

А Стрѣловъ между тѣмъ цвѣлъ. Онъ вписался въ купцы, женился на молодой купеческой дочери и выглядѣлъ совершенно природнымъ купцомъ. Старого постоялаго двора уже не было; на мѣстѣ его возвышался полу-каменный двухъ-этажный домъ, въ верхнемъ этажѣ котораго помѣщался самъ хозяинъ, а внизу — его многочисленные приказчики и рабочіе. Дѣятельность его кипѣла. Онъ торговалъ кабаками, рощами, скупалъ гурты и проч. До десяти кабаковъ и столько же лавочекъ со всякимъ крестьянскимъ товаромъ въ окрестностяхъ Воплина держали все населеніе въ кабалѣ. Постепенно оперяясь, Стрѣловъ началъ скупать земли и заводить хутора.

Ничего легкомысленнаго, напоминавшаго прежнюю, пущенную изъ лука стрѣлу, не осталось въ этомъ человѣкѣ. Даже рѣчь его измѣнилась. Прежде онъ говорилъ тѣропко, склонивъ голову на бокъ и непрерывно озираясь по сторонамъ, какъ будто освѣдомляясь, не хочетъ ли кто дать ему сзади треуха по затылку. Теперь онъ выпускалъ слова точно жемчугъ, мазалъ, уснащалъ рѣчь околичностями, но такъ, что это было не смѣшно, а казалось какъ бы принадлежностью высокаго купецкаго слога. Онъ не покинулъ русской одежды, но послѣдняя, особенно въ праздничные дни, глядѣла на немъ такъ щеголевато, что никому не приходило даже въ голову видѣть его въ нѣмецкомъ неуклюжемъ костюмѣ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова русскій бѣль-омъ: бѣлый, рыхлый, съ широкимъ лицомъ, съ пушистою свѣтлорусою бородкой и



съ узенькими, бѣгающими глазами. Любо было посмотрѣть, какъ онъ, нарядившись въ синій тонкаго сукна кафтанъ, въ купецкомъ шарабанѣ, катилъ въ воскресенье съ разряженною въ пухъ женой въ волинскую церковь, самъ правя откормленнымъ иноходцемъ, стариннымъ генеральскимъ подареньемъ. Генераль постоянно блѣднѣлъ, когда видѣлъ этого коня, привязаннаго на время обѣдни къ церковной оградѣ. Но дѣлать было нечего, потому что Стрѣловъ представлялъ уже силу. Мужики ломали передъ нимъ шапки даже поспѣвши, чѣмъ передъ генераломъ, и считали за счастье бѣжать къ нему, если онъ поманить кого пальцемъ. Самъ батюшка постепенно привыкъ смотрѣть на Стрѣлова какъ на благонадежнѣйшаго сына церкви, и по окончаніи обѣдни всегда высылалъ ему съ дьячкомъ просвиру.

При всей этой благополучной обстановкѣ была, однакожъ, язва, которая точила существованіе Стрѣлова. Этою язвой была господская волинская усадьба. При воспоминаніи о ней фантазія его болѣзненно разыгрывалась. Тамъ было приволье, былъ паркъ, была кака-то особенная прохлада въ тѣнистыхъ аллеяхъ. Здѣсь, въ этой низинѣ, несмотря на все довольство, онъ все-таки — пѣсъ, а настоящій *баринъ* все-таки тотъ, который сидитъ тамъ, наверху волинской кручи, въ недостроенномъ домѣ, среди признаковъ геологическаго переворота. И только онъ, сидящій тамъ, имѣетъ законное основаніе считать себя властелиномъ окрестности, по праву, издавна признанному, а не купленному при содѣйствіи кабаковъ, и только онъ же всегда былъ и будетъ подлиннымъ сыномъ церкви, а не нахальнымъ пришлецомъ, воровски восхитившимъ непринadleжащее ему званіе.

И онъ тосковалъ, выходилъ въ сумерки любоваться на барскій домъ, рассчитывалъ на пальцахъ и втайнѣ давалъ себѣ клятву во что бы то ни стало быть тамъ.

Таково было положеніе дѣлъ на Воллѣ, когда наконецъ давно желанный и ожидаемый Петенька пріѣхалъ къ отцу.

Прошло уже лѣтъ шестнадцать съ тѣхъ поръ, какъ онъ не бывалъ въ Волинѣ, и въ теченіе этого времени онъ успѣлъ значительно пойти кверху. Уже года четыре онъ несъ на плечахъ своихъ генеральскій чинъ, но, къ сожалѣнію, я долженъ сознаться, что онъ несъ его какъ рабъ лукавый, постоянно вводившій въ заблужденіе благодѣющее ему начальство.

Увы! я не могу скрыть, что наше неустойчивое во всѣхъ отношеніяхъ время выработало особенную породу чиновниковъ-карьеристовъ, которые хотя прикидываются преданными, но, въ сущности, никакой любви къ начальству не питаютъ. Эти люди обладаютъ чрезвычайнымъ чутьемъ относительно мелочей жизни и замѣчательною подвижностью, которая позволяетъ имъ вездѣ попадаться въ глаза, такъ сказать, съ оника. Съ проницательностью, достойной лучшей участи, они намѣчаютъ „человѣка судьбы“, приснащаются къ нему, льстятъ, изучаютъ его характеръ и иногда даже раздѣляютъ колебанія и невзгоды его карьеры... разумѣется, если есть увѣренность, что „человѣкъ судьбы“ съумѣетъ вынырнуть вновь. Если „человѣкъ судьбы“ либеральничаетъ — они захлебываются отъ либерализма; если „человѣкъ судьбы“ впадаетъ въ консервативное озлобленіе — они озлобляются вдвое. Шалопай по натурѣ и по воспитанію, они никогда не несутъ никакой дѣлательной службы,

и потому постоянно состоятъ въ качествѣ безсмѣнныхъ паразитовъ при административномъ механизмѣ и принимаютъ дѣятельнѣйшее участіе во всѣхъ канцелярскихъ интригахъ. Кромѣ того, они обладаютъ небольшимъ запасомъ общихъ мѣстъ и взглядовъ, которые, при неуклонномъ повтореніи и благодаря современному оскудѣнію, принимаются за что-то дѣйствительно похожее на нѣкоторый нравственный и умственный фондъ. Я зналъ, напримѣръ, много такихъ карьеристовъ, которые, никогда не читавъ ни одной русской книги и получивъ научно-литературное образованіе въ театрѣ Верга, такъ часто и такъ убѣжденно повторяли: „la littérature russe — parlez moi de ça!“ или: „ah! si l'on me laissait faire, elle n'y verrait que du feu, votre charmante littérature russe!“ — что люди даже болѣе опытные, но тоже ничего не читавшіе и получившіе научно-литературное образованіе въ танцклассѣ Кесенихъ \*), не на шутку повѣрили имъ. И вотъ, благодаря какому-нибудь глупому, но во-время попавшемуся на языкъ слову, эти паразиты далеко проекакиваютъ впередъ и даже современемъ становятся на стражѣ.

Но повторяю: они не имѣютъ никакой серьезной преданности къ своимъ начальникамъ и благодѣтелямъ. Напротивъ того: бывали примѣры самой черной неблагодарности и изумительно гнуснаго предательства.

Я не виню начальства за то, что оно не всегда провидитъ въ сердцахъ подобныхъ людей. Во-первыхъ, оно обременено высшими государственными соображеніями, а во-вторыхъ — оно не всевидяще. Передъ глазами его мелькаютъ молодые и цвѣтущіе здоровьемъ люди, которые ничего другого не являютъ, кромѣ небрежливой готовности — и это, разумѣется, нравится. Конечно, тутъ есть немножко пристрастія („Ужъ сколько разъ твердили міру“ и т. д.), но пристрастія совершенно естественнаго. Естественнѣе брать живой административный матеріалъ между своими, въ томъ вѣчно полномъ садкѣ, гдѣ во всякое время можно зачерпнуть „дѣкающаго человѣка“, нежели въ той несослѣдимой массѣ, о которой извѣстно только то, что она не вѣдаетъ никакой дисциплины, и которая, слѣдовательно, имѣетъ самыя сбивчивыя понятія о „тонѣ“, представляющемся въ данную минуту желательнымъ. Последнее и хлопотливо, и рискованно. Хлопотливо — потому что приходится убѣждать, разговаривать, что замедляетъ теченіе дѣлъ. Рискованно — потому что можно ждать ироническаго отношенія. Тогда какъ свой человѣкъ, прямо животрепещущимъ вынутый изъ садка, ни малѣйшихъ хлопотъ не представляетъ (только мигни — и онъ готовъ!), кромѣ, конечно, возможнаго предательства... Но вѣдь къ предательству мы ужъ такъ привыкли, что оно, такъ сказать, уже вошло въ нашъ домашній обиходъ и даже названіе носить не предательства, а *savoir-vivre*'а.

Къ такимъ именно обманывающимъ довѣріе начальства карьеристамъ принадлежалъ и Петенька Утробинъ. Въ 1860—1861 годахъ онъ былъ прогрессистъ; въ 1862 году онъ поглядывалъ по сторонамъ и обнюхивалъ, чѣмъ пахнетъ; въ 186\* году — прямо объявилъ себя консерваторомъ.

Петенька не шутилъ, вознамѣрился сообщить блескъ фамиліи Утробиныхъ.

\*) Танцклассъ этотъ былъ знаменитъ въ сороковыхъ годахъ и помѣщался въ домѣ Тарасова, у Измайловскаго моста.



Уже въ школѣ онъ смотрѣлъ государственнымъ младенцемъ; теперь же, въ тридцать-пять лѣтъ, онъ прямо и не шутя мнилъ себя государственнымъ чело-вѣкомъ en herbe. Носились слухи, что въ ресторанѣ Бореля, по извѣстнымъ днямъ, собирается какая-то компанія государственныхъ людей en herbe (тутъ были и Одея, и Сережа, и Володя, и даже какой-то жидокъ, которому въ воображаемыхъ комбинаціяхъ представлялась блестящая финансовая будущность), душою которой былъ Петька Утробинъ и которая постоянно злоумышляла противъ установленныхъ порядковъ. Тамъ, за изящнымъ обѣдомъ, обсуждались текуція правительственныя распоряженія (où allons-nous!) и развивались насущные государственные вопросы (je ne vous dis que ça!). Въ заключеніе, компанія, закончивъ свои занятія, отправлялась въ циркъ или въ театръ Буффъ.

Самъ Петенька не готовилъ себя спеціально ни по какой части, но дѣйствовалъ съ такимъ расчетомъ, чтобъ быть необходимымъ всюду, гдѣ бы ни пришлось. Только военную, морскую и финансовую части признавалъ онъ стоящими вѣдъ его компетентности. Военную—потому что тутъ былъ уже кандидатомъ какой-то полководецъ, стоявшій, въ ожиданіи, на службѣ у нѣ-когого концессионера; морскую—потому что боялся морской болѣзни; финансо-вую — потому что не смѣлъ обойти жидка, у котораго постоянно занималъ деньги. Ко вѣмъ прочимъ частямъ онъ готовился неуклонно, и каждую ночь, ложась спать, разрѣшалъ, хотя кратко, по одному государственному вопросу.

*Вопросъ:* Какое необходимо образованіе для высшихъ классовъ?

*Отвѣтъ:* Классическое, ибо только высшіе классы обладаютъ необходи-мымъ для чтенія Кошанскаго („Universus mundus“, мелькаетъ въ это время въ его головѣ) досугомъ.

*Вопросъ:* Какое необходимо образованіе для среднихъ классовъ?

*Отвѣтъ:* Реальное, съ такимъ, впрочемъ, расчетомъ, чтобы каждый былъ обучаемъ въ предѣлахъ своей специальности, не вторгаясь въ специаль-ности другихъ.

*Вопросъ:* Какое наиболѣзньшее образованіе для низшихъ классовъ?

*Отвѣтъ:* Никакого. Должны быть воспитываемы въ страхѣ Божиѣмъ.

*Вопросъ:* Есть ли необходимость, при управленіи извѣстною частью, знать составныя части ея механизма и дѣйствіе сихъ послѣднихъ?

*Отвѣтъ:* Не только нѣтъ необходимости, но даже вредъ, ибо даетъ поводъ къ умствованіямъ. Необходимъ лишь даръ сердцевѣдѣнія и удача въ выборѣ подчиненныхъ чиновниковъ.

*Вопросъ:* Нуженъ ли судъ присяжныхъ?

*Отвѣтъ:* Съ удобствомъ можетъ быть замѣненъ судомъ постоянныхъ дворянскихъ засѣдателей, коимъ необходимо присвоить приличное содержаніе, снабдивъ, при томъ, надлежащими отъ начальства наставленіями.

И такъ далѣе.

Рѣшивши такимъ образомъ насущные вопросы, онъ съ такимъ аплом-бомъ пропагандировалъ свои „идеи“, что не только Сережа и Володя, но даже и нѣкоторые начальники увѣровали въ существованіе этихъ „идей“. И когда это мифіе установилось прочно, то онъ легко достигъ довольно важнаго второстепеннаго поста, гдѣ имѣлъ своихъ подчиненныхъ, которыхъ

могъ исполнѣ развязно говорить: „вотъ вамъ моя идея! вамъ остается только развить ее!“ Но уже и отсюда онъ прозрѣвалъ далеко и видѣлъ въ будущемъ перспективу совсѣмъ иного свойства...

Тѣмъ не менѣе и у этого человѣка былъ червь, который грозилъ подточить всѣ эти импровизированныя перспективы: онъ по уши погрязъ въ долгахъ. Игра въ государственныя подростки составляла лишь малую часть его существованія; большая часть послѣдняго была посвящена женщинамъ, обжорству и вину. Нынѣшніе кокодеесы не любятъ ни домашнего очага, ни такъ-называемаго „свѣта“, ни женщинъ его, ни его удовольствій. Они любятъ нанять женщину (иногда даже въ кредитъ) и пользоваться ею на всей своей волѣ, какъ пользуются стаканомъ хорошаго вина или вкуснымъ блюдомъ. Поэтому нѣтъ ресторана, въ которомъ они не были бы кругомъ должны, нѣтъ кокотки, которой бы они, въ концѣ концовъ, самымъ постыднымъ образомъ не надули. Часто эти подвиги сходятъ съ рукъ, но иногда они вліяютъ на ходъ карьеры и даже получаютъ трагическій конецъ.

Петенька былъ именно въ подобномъ положеніи, такъ что въ послѣднее время у него окончательно закружилась голова. Почти непрерывно онъ обращался къ отцу съ требованіемъ денегъ, и надо отдать справедливость генералу—онъ рѣдко отказывалъ. Выкупныя свидѣтельства сбывались одно за другимъ и вырученныя деньги отсылались въ Петербургъ на поддержаніе Петенькиной карьеры. Но когда на днѣ шкатулки оказались какіе-то смѣшныя остатки, то генераль застоналъ. Онъ не спросилъ себя, чѣмъ онъ будетъ жить лично (у него впрочемъ оставалась въ резервѣ пенсія),—онъ понялъ только, что посылать больше нечего.

Въ эту минуту пріѣхалъ Петенька. Онъ явился взбѣшенный и совершенно непонимающій, какимъ образомъ могло случиться, что денегъ нѣтъ.

Свиданіе двухъ генераловъ было странное. Старый генераль расчувствовался и пролилъ слезы. Молодой генераль смотрѣлъ строго, какъ будто пріѣхалъ судить старика. „Рабъ лукавый!—какъ бы говорилъ его холодный, почти стеклянный взоръ:—куда ты зарылъ ввѣренный тебѣ талантъ?“

Старикъ впрочемъ не примѣтилъ этого съ перваго раза. Онъ помолдѣлъ и стряхнулъ съ себя сонливость. Съ почти дѣтскою жадностью разспрашивалъ онъ объ увольненіяхъ, перемѣщеніяхъ, опредѣленіяхъ, о слухахъ и предположеніяхъ, но молодой генераль на всѣ вопросы отвѣчалъ нѣхотя, сквозь зубы. Наконецъ зашла рѣчь и о деньгахъ. Старый генераль какъ бы сконфузился и только вздыхалъ; но молодой генераль настаивалъ. Тогда старикъ изложилъ положеніе дѣлъ довольно подробно и даже связно. Оказывалось, что воплинская экономія, со всѣми ея обезлѣсенными угодами, стѣдитъ много-много двадцать тысячъ рублей; сверхъ того, оставалось еще одно выкупное свидѣтельство въ десять тысячъ рублей. Въ суммѣ все состояніе фамиліи Утробинныхъ представляло цѣнность отнюдь не свыше тридцати тысячъ рублей.

— Это чортъ знаетъ что!—фыркнулъ молодой генераль.

— Да, другъ мой; еще я, благодаря пенсіону, могу кой-какъ концы съ концами сводить...—заикнулся-было старый генераль.



Но молодой генераль уже окончательно вышелъ изъ себя и не далъ ему окончить.

— Вы! вы! „вы можете“! еще бы... вы! Вы посмотрите только, какъ вы живете... вы! Это что? это что?—восклицалъ онъ бѣшено, указывая пальцами на хаосъ, царствовавшій въ комнатахъ, и на изрытый берегъ Волги, видѣвшійся черезъ отворенную балконную дверь.

Старый генераль ни слова не сказалъ въ отвѣтъ. Онъ покорно понурилъ сѣдую голову, словно сознавая себя безъ оправданія.

— Вы! — продолжалъ между тѣмъ молодой генераль, рассказывая тревожными шагами взадъ и впередъ по кабинету:—вы! вамъ нужна какая-нибудь тарелка шей, да еще чтобъ трубка Жукова не выходила у васъ изъ зубовъ... вы! Посмотрите, какъ у васъ вездѣ нагажено, насрамлено пепломъ этого поганого табачища... какая подлая вонь!

Наконецъ онъ остановился противъ отца и пустилъ ему въ упоръ:

— Но объясните же наконецъ, какимъ образомъ *это* могло случиться? Говорите же! что такое вы тутъ дѣлали? балы, что-ли, для уѣздныхъ коко-токъ устраивали? Говорите! я желаю знать!

— Мой другъ! я... я... ты самъ отчасти... Въ послѣднее время... требованія денегъ...

— Ну, да! вотъ это прекрасно! Я—виновать! Я—много требовалъ! Я!! Je vous demande un peu! А впрочемъ я зналъ заранее, что у васъ есть готовое оправданіе! Я — долженъ былъ жить на хлѣбѣ и водѣ! Я долженъ былъ рисковать своею карьерой! Я—долженъ былъ довольствоваться ролью *rique-assiette*'а при болѣе счастливыхъ товарищахъ! Вы *это*, конечно, хотите сказать?

— Сохрани Богъ, мой другъ! но...

— Безъ всякихъ „но“! Point de „mais“, mon père! Я очень хорошо понимаю и вижу! Я заранее знаю все, что вы можете сказать! О! я травленный звѣрь, mon père, меня провести не такъ-то легко! Ионы... Агнушки! вотъ куда *дозволительно* бросать деньги! Имъ дома покупаютъ, имъ отдають домашнюю движимость, имъ—все! А сынъ—что такое сынъ?! On l'en-gendre — et tout est dit! И за это онъ обязывается почитать родителей и цѣловать у нихъ ручки... ces chers parents! Нѣтъ, вы скажите, зачѣмъ вы, вмѣсто того, чтобъ дѣйствовать, извлекать, добывать цѣнности, въ нелѣпныя пререканія съ Стрѣловымъ вошли!

— Но, другъ мой, онъ-то и есть та причина...

— Нѣтъ, вы, вы, вы! Онъ доставалъ вамъ деньги! онъ умѣлъ это! И, конечно, онъ сдумалъ бы достать и теперь! онъ нашелъ бы, изъ чего извлечь пользу! Вы! развѣ вы имѣете понятіе о томъ, что у васъ есть? Развѣ можно повѣрить, чтобы все... чтобы не было... ну, пустоши какой-нибудь... une prairie... une forêt... А онъ... въ пререканія входитъ! Ему, изволите видѣть, оскорбительно, что въ виду его усадьбы поселился честный труженикъ... oui, un honnête travailleur... который, быть можетъ, подомъ и кровью...

Петенька такъ расчувствовался, что произнесъ послѣднія слова почти дрожащимъ голосомъ („au fond je suis démocrate!“ мелькнуло въ его головѣ). Въ это же самое время онъ взглянулъ въ окно.

— Э! да онъ тамъ премило устроился! — воскликнулъ онъ: — цѣлый городокъ... право!

— Онъ, другъ мой, нашъ лугъ обманомъ...

— Обманомъ! а кто виноватъ? Вы, вы и вы! Зачѣмъ вы подписываете бумаги, не читая? а? на Іону понадѣялись? а? И хотите, чтобъ этимъ не пользовались люди, у которыхъ практическій смыслъ — все! Mais vous êtes donc bien naïf, mon père!

Въ такомъ духѣ разговоръ продолжался около двухъ часовъ. Наконецъ это надоѣло Петенькѣ. Онъ оставилъ старика подъ бременемъ обвиненій, и, сказавъ: „il faut que je mette ordre à ça!“ выбѣжалъ изъ дома во вновь разведенный садъ. Тамъ все смотрѣло уныло и заброшенно; рѣдко-рѣдко гдѣ весело поднялись и одѣлись листвою липки, но и то какъ бы для того, чтобы сдѣлать еще болѣе рѣзкимъ контрастъ съ окружающею наготой. Желая пробраться въ старый паркъ, который все еще сохранялъ прежнюю дикую прелесть, Петенька спустился-было по заросшей дорожкѣ къ пруду, который въ этомъ мѣстѣ суживался и черезъ переузину былъ когда-то перекинутъ мостъ, но вмѣсто моста торчали сгнившіе столбики. Вздвигаясь, побѣждалъ онъ назадъ, прибѣжалъ на скотную — никого не нашелъ, потомъ на конный дворъ — опять никого не нашелъ, и наконецъ случайно набрелъ на мужика, спавшаго подъ деревомъ, растолкалъ его ногою и далъ волю сквернословію. Къ обѣду пришелъ онъ усталый, озлобленный, съ пересохшимъ горломъ и безъ малѣйшаго признака аппетита.

Обѣдъ прошелъ молчаливо. Петенька брезгливо расплескивалъ ложкой превосходныя лѣтнія щи (старый генералъ хотѣлъ похвастаться, что у него, несмотря на „катастрофу“, въ началѣ іюля все-таки есть новая капуста) и съ какимъ-то неизреченнымъ презрѣніемъ швырялся вилкой въ соусъ изъ телячьей головки. Вино тоже не понравилось ему, хотя это былъ добрый St.-Julien, года четыре лежавшій въ подвалѣ у генерала. Только по временамъ онъ прерывалъ тяжелое молчаніе (онъ впрочемъ не чувствовалъ его тяжести, и фыркалъ совсѣмъ хладнокровно, какъ ни въ чемъ не бывало), чтобы высказать поученіе въ родѣ слѣдующаго:

— Да-съ, любезнѣйшій родитель! Не могу похвалить ваши порядки! не могу-съ! Пошелъ въ садъ — ни души! на скотномъ — ни души! на конномъ — хоть шаромъ покати! Одного только ракалюю и нашелъ — спитъ брюхомъ кверху! И надобно было видѣть, какъ негодяй изумился, когда я ему объяснилъ, что онъ нанятъ не для сна, а для работы! Да-съ! нельзя похвалить-съ! нельзя-съ!

— Они въ это время отдыхаютъ, мой другъ, полдни... — попробовалъ оправдаться старый генералъ.

— У васъ повидимому всегда полдни! И давеча полдни, и теперь полдни! Наспятся, потомъ начнутъ потягиваться да почесываться — опять полдни! Нѣтъ-съ, этакъ нельзя-съ! этакъ не управляютъ имѣніями! такимъ манеромъ, конечно, никакого дохода никогда получить нельзя!

Генералъ молча выслушивалъ эти реприманды, наклонивъ лицо къ тарелкѣ, и ни разу не пришло ему даже на мысль, что, несмотря на старость,



онъ настолько еще сильнѣе и крѣпче своего пащенка, что стѣило ему только протянуть руку, чтобъ раздавить эту назойливую гадину.

Послѣ обѣда, едва старикъ успѣлъ вымолвить: „ну, теперь я пойду“, какъ уже Петенька схватился за фуражку и исчезъ изъ дома...

Старый генераль удалился въ спальную и по обыкновенію легъ отдохнуть. Но ему не спалось. Что-то горькое до остроты, до жгучести шевелилось въ его душѣ, хотя онъ и самъ ясно не сознавалъ, что именно. Сомнительно впрочемъ, чтобъ это было чувство негодованія, возбужденное поведеніемъ сына при встрѣчѣ послѣ шестнадцатилѣтней разлуки; скорѣе это было чувство упорнаго самообвиненія. Дѣйствительно, вѣдь онъ отъ отца своего получилъ полную чашу, а самъ оставляетъ сыну — что? Правда, что черезъ него прошла, такъ сказать, цѣлая катастрофа; но все же, еслибъ повести дѣло умненько... да, именно, еслибъ умненько повести!.. еслибъ не воевать съ дворовыми, не полемизировать съ Анпетовымъ, еслибъ сразу обрѣзать себя по новому, еслибъ не ввѣряться Антошкѣ, еслибъ... Генераль насчиталъ столько „еслибъ“, что объ отдохновеніи нечего было и думать. Проворочавшись цѣлый часъ съ боку на бокъ, онъ всталъ съ тяжелою головою и прежде всего спросилъ:

— Петръ Павлычъ не возвращался?

— Они къ Антону Валерьянову ушли, — услышалъ онъ въ отвѣтъ.

Старикъ широко раскрылъ глаза, словно сразу не понялъ.

А Петенька былъ дѣйствительно тамъ, у того самаго Антошки, котораго одно имя производило нервную дрожь во всемъ организмѣ стараго генерала. Онъ рѣшилъ этотъ вопросъ очень скоро. Онъ сказалъ себѣ: „Все это вздоръ, въ которомъ почтеннѣйшій мой родитель можетъ, если ему угодно, купаться хоть до скончанія вѣковъ, но который я имѣю полное право игнорировать. Для меня ясно одно: что мнѣ необходимы деньги и что на фатера надежда плоха. Антошка же человѣкъ оборотливый; у него должны быть деньги, и онъ обязывается снабдить меня ими. Прежде всего я долженъ знать навѣрное, нѣтъ ли еще какихъ-нибудь ресурсовъ... на примѣръ, лѣсъ, земля... и если нѣтъ, то... та foi! надо будетъ поступить рѣшительно!“

Антошка словно предчувствовалъ, что молодой генераль посѣтитъ его, и едва лодка, перевезшая Петеньку, успѣла причалить къ „Мысу“, какъ уже Стрѣловъ, облеченный въ праздничный костюмъ, помогалъ ему выйти на берегъ.

— Если не ошибаюсь, Антонъ... — заговорилъ первый Петенька и остановился: онъ позабылъ отчество Стрѣлова.

— Верельянычъ-съ, — поправилъ спокойно Стрѣловъ: — вотъ и вы, ваше превосходительство, изволили въ наши, можно сказать, палестины пожаловать?

— Да, не надолго. А вы тутъ премило устроились... право! — любезно бесѣдовалъ Петенька, оглядывая рядъ построекъ, выведенныхъ Стрѣловымъ: — этотъ домъ... двухъ-этажный... вы въ немъ, конечно, сами живете?

— Точно такъ, ваше превосходительство, благодареніе Богу-съ. Все отъ него, отъ Создателя Милостиваго! Скажемъ, теперича, такъ: иной человѣкъ и старается, а все ему милости нѣтъ, коли ежели онъ, значить, Созда-

теля своего прогнѣвилъ! А другой человѣкъ, ежели, къ примѣру, и не совсѣмъ потрафить съумѣлъ, а смотришь, Создатель все ему посылаетъ да посылаетъ, коли ежели передъ нимъ съумѣлъ заслужить! Такъ-то и мы, ваше превосходительство: своей заслуги не приписываемъ, а все Богу-съ!

— Гм... это похвально! Всѣ должны бы такъ думать... Но вы, надѣюсь, напоите меня чаемъ?

— Помилуйте, ваше превосходительство, съ превеликимъ нашимъ удовольствіемъ. Даже за счастье-съ... какъ мы еще наши вашего благодѣянія помнимъ... Не токма что чашку чаю, а даже весь домъ-съ... все, можно сказать, имущество... просто, значить, какъ есть...

— Да... вотъ видите! сейчасъ вы сказали, что помните добро, которое вамъ сдѣлалъ отецъ, а между тѣмъ ссоритесь со старикомъ! Дурно это, Антонъ Валерьянычъ, нехорошо-съ! — не то укорялъ, не то шутилъ Петенька.

— Ваше превосходительство! Какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами-съ! Съ моей стороны, окромѣ, можно сказать, услуги... чтобы его превосходительству, значить, спокой былъ... Да помилуйте! кабы не они, что же бы я безъ нихъ былъ? Червь-съ, червякъ — и больше ничего! Неужто-жъ я не обязанъ это помнить! Да я, можно сказать, и денно, и ночью... А что съ ихней стороны — это дѣйствительно-съ... Позвольте вамъ доложить! даже подходя скверными словами обзываютъ! Иной разъ, сядешь-этта у окошка, плачешь, плачешь: Господи! думаешь, съ моей стороны и услуга, и стараніе... ну, крикни его превосходительство съ того берега... ну, такъ бы... И за все за это награда — просто, можно сказать, подходя...

— Ну, ничего! я это устрою! я собственно и пріѣхалъ... всѣ эти недоразумѣнія... Уладимъ, почтеннѣйшій мой, уладимъ мы это!

— А ужъ какъ бы мы-то, ваше превосходительство, рады были! точно бы промежъ насъ тутъ царствіе небесное поселилось! ни шуму, ни гаму, ни свары, тихо, благородно! И сколько мы, ваше превосходительство, васъ здѣсь ждемъ — такъ это даже сказать невозможно! точно вотъ ангела небеснаго ждемъ — истинное это слово говорю!

Комната, въ которую Стрѣловъ привелъ Петеньку, смотрѣла свѣтло и опрятно; некрашенный полъ былъ начисто вымытъ и снабженъ во всю длину полотняною дорожкой; по стѣнамъ и у оконъ стояли краснаго дерева стулья съ деревянными выгнутыми спинками и волосянымъ сидѣньемъ; по срединѣ задней стѣны былъ поставленъ такой же формы диванъ и передъ нимъ продолговатый столъ съ двумя креслами по бокамъ; въ углу виднѣлась этажерка съ чашками и небольшимъ количествомъ серебра. Стѣны были нештукатуренныя, въ чемъ впрочемъ Стрѣловъ немедленно извинился, сказавъ, что еще „не избралъ времени“.

— Вы вѣдь женаты, кажется? — спросилъ Петенька.

— Въ законѣ-съ.

— Надѣюсь, что познакомите меня съ супругой?

— Помилуйте, ваше превосходительство! даже осчастливите-съ! Авдотья Григорьевна! — крикнулъ онъ, пріотворивъ дверь въ сосѣдную комнату: — чайку-то! да сами-съ! сами подайте! Большого гостя принимаемъ! Такого го-



стя, такого гостя, что, кажется, и не чаяли себѣ никогда такой чести! — продолжалъ онъ, уже обращаясь къ Петенькѣ.

Черезъ минуту, съ подносомъ, уставленнымъ чашками, вошла или, вѣрнѣе сказать, выплыла и сама Авдотья Григорьевна. Это была женщина средняго роста, блѣлая, разрынчатая, съ сахарными грудями, съ сѣрыми глазами на выкатѣ, съ алыми губами сердечкомъ, словомъ сказать, по-купчески — красавица.

— Въ Кашинѣ у купца взялъ-съ! — похвастался Стрѣловъ: — старинные купцы ихъ родители! Еще когда Москва всей Рассеѣ голова была — еще тогда они торговали!

— Очень, очень пріятно, — любезничалъ Петенька, между тѣмъ какъ Авдотья Григорьевна, стоя передъ нимъ съ подносомъ въ рукахъ, кланялась и алѣла. — Да вы что-жъ это, Авдотья Григорьевна, съ подносомъ стоите? Вы съ нами присядьте! поговоримъ-съ.

— Что-жъ, сядьте, Авдотья Григорьевна, коли его превосходительство такое, можно сказать, вниманіе къ вамъ имѣютъ! — поощрилъ Стрѣловъ и, обращаясь къ Петенькѣ, прибавилъ: — онъ у меня, ваше превосходительство, городскія-съ! въ монастырѣ у монашены обучались! Какой угодно разговоръ имѣть могутъ.

— Тѣмъ лучше-съ, тѣмъ лучше-съ, милая Авдотья Григорьевна! Вотъ мы и поговоримъ! Скучаете здѣсь, конечно?

— Нѣтъ-съ, намъ скучать некогда, потому что мы завсегда въ трудахъ.

— Онъ у меня, ваше превосходительство, къ своему дѣлу приставлены-съ, потому мы такъ насчетъ этого судимъ, что коли ежели эта самая... хочъ бы дама-съ... да ежели по нашему мѣсту безъ трудовъ-съ... большихъ тутъ мечтаніевъ ожидать нужно-съ!

— Да, это такъ; я это самъ... А все-таки, милая Авдотья Григорьевна, сознайтесь, что скучно?

— Конечно, коли ежели сравнить съ Кашиномъ... тамъ одинъхъ церквей сколько! Опять же родители...

— А въ Петербургъ хотѣлось бы? Ну, признайтесь, хотѣлось бы?

— Нѣтъ ужъ, куда въ Петербургъ! вотъ въ Кашинъ... въ Угличъ тоже весело живутъ! ну, а Калязинъ — нѣтъ, кажется, этого города постылѣ!

— Ну, Угличъ тамъ, Кашинъ, Калязинъ... А все, я думаю, сердечко-то такъ въ Петербургъ и рвется?

— Нѣтъ ужъ... Въ одномъ только я петербургскимъ господамъ завидую: что они царскую фамилію постоянно видѣть могутъ!

— Это дѣлаетъ вамъ честь, сударыня. Что же! современемъ, когда дѣла Антона Валерьяновича разовьются, можетъ быть, вамъ и представится случай удовлетворить вашему похвальному чувству.

— Нѣтъ ужъ... А вотъ у насъ, въ Кашинѣ, одинъ купецъ въ Петербургѣ былъ, такъ сказывалъ: каждый день, говорить, на Невскимъ въ золотыхъ каретахъ...

— Ну, это-то онъ, положимъ, отъ себя присочинилъ, а все-таки... Знаете ли чтѣ? потормозите-ка вы Антона Валерьяновича вашего, да и махнемъ... а я бы вамъ все показалъ!

- Нѣтъ ужъ... А вы и во дворцѣ бывали?
- Сколько разъ, милая Авдотья Григорьевна!
- И Государя видѣть изволили?
- Сколько разъ! Однажды даже...

Петенька вдругъ ощутилъ потребность лгать. Онъ далъ волю языку и цѣлый часъ болталъ безъ умолку. Разсказывалъ про придворные балы, про то, какія платья носятъ петербургскія барыни, про итальянскую оперу, про Патти; однимъ словомъ, истощилъ весь репертуаръ. Подъ конецъ, однако, спохватился, взглянулъ на часы и вспомнилъ, что ему надо еще объ дѣлѣ переговорить.

— А я вѣдь къ вамъ, Антонъ Валерьянычъ, между прочимъ и по дѣлу, — сказалъ онъ.

— Извольте только приказать, ваше превосходительство! Всѣ силы-мѣры, то-есть сколько есть силы-возможности...

— Скажите, неужели дѣла отца такъ плохи?

— Такъ плохи! такъ плохи! то-есть какъ только живутъ еще его превосходительство! Усадьба, теперича, безъ призору... Скотный дворъ, конный... опять же поля... такъ худо! такъ худо!

— Да, и я ужъ замѣтилъ. Давеча, бѣгалъ — нигдѣ ни одной души не нашель. Одинъ только мерзавецъ сыскался, да и тотъ вверхъ брюхомъ дрыхнетъ!

— Ужъ коли ваше превосходительство въ короткую, можно сказать, минуту замѣтили, такъ ужъ намъ-то что и говорить!

— А вѣдь, знаете, генералъ немного и васъ обвиняетъ. Говоритъ, что вы весь лѣсъ за десять тысячъ продали, тогда какъ...

— Первое дѣло, не десять, а пятнадцать тысячъ я его превосходительству предоставилъ. Пять-то тысячъ они на покупку Агнушкѣ дома извели... Богъ имъ судья, ваше превосходительство! конечно, маленькаго человека обидѣть ничего не значить, однако я завсегда, можно сказать, и денно, и ночью, словомъ, всѣмъ сердцемъ... Ваше превосходительство! позвольте вамъ доложить! что я такое? можно сказать, червь ползучій, а можетъ быть и того хуже-сѣ! Стало быть, ежели, теперича, сказать про меня: Антонъ, молъ, Стрѣловъ воръ! — кому въ этомъ разѣ стыдъ будетъ? Мнѣ-ли, который, примѣрно, всѣ силы-мѣры... или тому, кто меня обидѣлъ?

— Такъ-то такъ, голубчикъ, только вотъ отецъ говоритъ, что за одни Пѣтухи можно было десять тысячъ выручить, а вы тамъ всего на четыре тысячи дровъ продали.

— А коли ежели можно было десять тысячъ выручить, кто же, позвольте вамъ доложить, имъ въ этомъ препятствіе дѣлалъ? А при семъ, позвольте, ваше превосходительство, еще одно слово сказать! Все — отъ ихняго нетерпѣнія-сѣ. Можетъ быть, возможно было бы и больше выручить, да что-жъ, ежели они внимать ничему не хотятъ! Кто я таковъ и кто они-сѣ? позвольте васъ спросить. Я рабъ-сѣ, а они господинъ-сѣ. Слѣдственно, ежели, теперича, мой господинъ мнѣ приказываетъ: Антонъ! продай такую-то пустошь за пять тысячъ! И я, значить, видючи, что эта пустошь, примѣрно, не пять тысячъ стоитъ, а восемь, докладываю: не лучше ли, молъ, ваше пре-



восходительство, попридержаться до времени? И коли ежели при семъ господинъ мнѣ вторительно приказываетъ: безпремѣнно эту самую пустошь чтобъ за пять тысячъ продать—долженъ ли я господина послушаться?

— Ну, все-таки... Впрочемъ это дѣло прошлое, я не объ томъ... Скажите, неужели же у отца совѣмъ-совѣмъ никакого лѣсу не осталось?.. Ну, понимаете, который бы продать было можно?

— Теперича, ваше превосходительство, ежели всю дачу насквозь обшарить, кажется, ни одного путнаго дерева не найти. Для своего продовольствія кой-какой лѣсшшко остался... Такъ, небольшое количество.

Петенька задумался.

— Ну, а зѣмли? вѣдь есть же лишнія?

— Зѣмли, ваше превосходительство, по здѣшнему мѣсту, самый, значить, нестойкій товаръ. А при семъ у папаша вашего въ пустошахъ—одинъ пенекъ-съ. Даже поросли нѣтъ, потому что мужицкій скотъ безвыходно, теперича, по порубкѣ ходить.

Петенька задумался еще больше и испустилъ глубокое „гм“.

— Чудеса!—вымолвилъ онъ наконецъ.

— Уже такъ чудно! такъ чудно, ваше превосходительство! Первые, можно сказать, по здѣшней округѣ помѣщики были, и вдругъ...

— Ну-съ, такъ я того... постараюсь какъ-нибудь васъ со старикомъ уладить. Можетъ быть, сообща что-нибудь и придумаемъ!—сказалъ Петенька, поднимаясь.

— Сообща—какъ же можно-съ! сообща—завсегда лучше! Ладкомъ да миркомъ—смотришь, анъ шутя что-нибудь полезное и представится.

Петенька воротился домой довольно поздно. Старый генераль ходилъ въ это время по залѣ, заложивъ руки за спину. На столѣ стоялъ недочитый стаканъ холоднаго чая.

— Тамъ былъ?—спросилъ старикъ, указывая глазами на балконъ.

— Тамъ. А знаешь ли, фѣтеръ, вѣдь этотъ Антонъ — онъ вовсе...

— Ни слова, мой другъ!—серьезно вымолвилъ старый генераль и, махнувъ рукой, отправился въ спальную, откуда уже и не выходилъ цѣлый вечеръ, приславъ сказать сыну, что у него болитъ голова.

Несмотря на безмолвный протестъ отца, путешествія Петеньки на „Мысокъ“ продолжались. Онъ сдѣлалъ въ этомъ отношеніи лишь ту уступку, что производилъ свои посѣщенія во время послѣ-обѣденнаго сна старика. Вообще въ поведеніи Петеньки и Стрѣлова было что-то таинственное, шли между ними какіе-то дѣятельные переговоры, причемъ Петенька нѣкоторое время не соглашался, а Стрѣловъ настаивалъ, и наконецъ настоялъ.

Дѣло въ томъ, что Петенькѣ до зарѣзу нужно было имѣть пятнадцать тысячъ рублей, которыя онъ и предположилъ занять или у Стрѣлова лично, или черезъ его посредство, подъ документъ. Стрѣловъ и съ своей стороны не прочь былъ дать деньги, но требовалъ, чтобы долговой документъ былъ подписанъ самимъ старикомъ-генераломъ.

— Позвольте вамъ, ваше превосходительство, доложить! — вы еще не

отдѣленные-съ! — объяснилъ онъ обязательно: — слѣдственно, ежели какова пора ни мѣра, какъ же я въ семь разѣ долженъ поступить? Ежели начальство ваше изъ-за пустяковъ утруждать, и вамъ конфузъ, а мнѣ-то и вдвое противъ того! Такъ вотъ, собственно, по этой самой причинѣ, чтобы, значить, непріятнаго разговору промежду насъ не было...

Петенька сдѣлалъ еще нѣсколько попытокъ къ примиренію отца съ Стрѣловымъ, но всякій разѣ слышалъ одинъ отвѣтъ: „ни слова, мой другъ!“ — послѣ чего старый генералъ удалялся въ спальную и запирался тамъ.

Наконецъ Петенька рѣшился: въ одно прекрасное утро въ карманѣ у Стрѣлова очутились четыре заемныя обязательства, срокомъ на шесть мѣсяцевъ, каждое въ суммѣ пять тысячъ рублей.

— На силу уломалъ старика! — сказалъ молодой генералъ, вручая документы Стрѣлову и получая отъ него, взаменъ ихъ, пятнадцать тысячъ рублей разношерстными пятипроцентными бумагами.

Миссія Петеньки была окончена, и онъ немедленно заторопился въ Петербургъ. Въ послѣдніе два дня онъ уже не посѣщалъ „Мысокъ“ и былъ почти нѣженъ съ отцомъ. Старый генералъ, съ своей стороны, по мѣрѣ приближенія отъѣзда сына, дѣлался тревоженъ и взволнованъ, повидимому тоже принимая какое-то рѣшеніе.

Наконецъ наступила и минута разлуки. Экипажъ стоялъ у крыльца; по старинному обычаю, отецъ и сынъ на минуту присѣли въ залѣ. Старый генералъ всталъ первый. Онъ былъ блѣденъ, пошатываясь подошелъ къ сыну и слабѣющими руками обнялъ его.

— Другъ мой! — сказалъ онъ прерывающимся голосомъ: — служи! А это — вотъ...

Съ этими словами онъ сунулъ въ карманъ Петеньки свое послѣднее выкупное свидѣтельство, съ довѣренностью на продажу его и на употребленіе вырученныхъ денегъ по усмотрѣнію.

Петенька поцѣловалъ у папаши ручку, попробовалъ смигнуть съ глазъ слезу, но не смигнулъ, выбѣжалъ изъ комнаты и поспѣшно сѣлъ въ экипажъ.

Ровно черезъ шесть мѣсяцевъ генералу были предъявлены четыре документа, въ которыхъ значилось: „я, нижеподписавшійся, повиненъ“ ... и въ концѣ которыхъ весьма отчетливо изображена была его собственноручная подпись: „Отставной генералъ-лейтенантъ Павелъ Петровъ Утробинъ“, съ характернымъ росчеркомъ, въ формѣ вскинутой вверхъ леси, къ концу которой прикрѣпленъ крючокъ.

Генералъ не сдѣлалъ даже вида, что не понимаетъ. Онъ спокойно призналъ документы за подлинныя и предоставилъ приступить къ описи и оцѣнкѣ Воплина.

Вечеромъ того же дня онъ лежалъ въ спальной, разбитый параличомъ.



## VIII.—Опять въ дорогѣ.

Какъ-то не вѣрится, что я снова въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были свидѣтелями моего дѣтства. Природа ли, люди ли здѣсь измѣнились, или я слишкомъ долго велъ бродячую жизнь среди иныхъ людей и иной природы — какъ бы то ни было, но я съ трудомъ узнаю родную окрестность.

Съ освобожденіемъ крестьянъ помѣщиками овладѣло какое-то страстное желаніе ликвидировать. Безденежье, неумѣлость, неприготовленность, гнѣтъ старыхъ привычекъ и пріемовъ — все соединилось, чтобы поддерживать въ нихъ это стремленіе. Выраженіе: „у насъ все свое, некупленное“ — сдѣлалось уже преданіемъ. Теперь у всѣхъ все купленное, и притомъ въ три-дорога, потому что сдѣлать нужныя закупки оптомъ, въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, нѣтъ средствъ, а мѣстный торговецъ-монополистъ на все назначаетъ цѣну по душѣ. Доходы же приходится собирать двугривенными и пятаками, да при этомъ имѣть еще разговоръ съ мировымъ судьей. Какъ будто впервые всѣхъ поразила мысль, что существуетъ какой-то процессъ, безъ котораго пашня не производить хлѣба, луга — травы. Прежде все это производилось безъ всякаго процесса, такъ какъ-то, само собой; теперь — нѣтъ. Побьется, побьется помѣщикъ и придетъ къ убѣжденію, что единственный для него выходъ — ликвидировать. А такъ-какъ помѣщикъ здѣсь изстари былъ властелиномъ лѣсовъ, полей, луговъ и всего, что на землѣ, и всего, что подъ землею, то и выходитъ, что какъ будто вся мѣстность разомъ ликвидируется...

Въ настоящее время все составляетъ бремя для помѣщика: и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящій къ разрушенію домъ. Пашни лежатъ запустѣлыя, потому что хотя и пробовали сгоряча на первыхъ порахъ пахать, но напахали себѣ въ карманъ и бросили. Луга заѣзжены и отравлены, потому что прежнее властное слово: „не смѣть!“ никого ужъ не сдерживаетъ. Пустоши никому ненужны и поросли чортъ знаетъ чѣмъ. Естественно, что при такомъ положеніи дѣла нѣтъ иного спасенія, кромѣ ликвидаціи. Но — вопросъ: какъ ликвидировать? Продать землю? — за землю даютъ грошъ, да и тотъ съ разсрочкой. Воспользоваться выкупною ссудой? — она давно ужъ пущена въ оборотъ, на затычку старинныхъ помѣщичьихъ легкомысленностей. И вдругъ всѣ какъ-то разомъ прозрѣли: нашлась статья настоящая, серьезная — лѣса. Лѣса здѣсь были сплошные, бережные; на лѣсъ не было покупателя, потому что нечего было съ нимъ дѣлать. Лѣсомъ исключительно и притомъ безплатно пользовались крѣпостные крестьяне, которые курили смолу, сидѣли деготь, дѣлали кадки, чашки, ложки и другой щепной товаръ. Теперь въѣздъ въ помѣщичій лѣсъ крестьянамъ возбраненъ, лѣсной промыселъ палъ, и, конечно, надолго остался бы лѣсъ мертвымъ капиталомъ и для помѣщиковъ, и для края, еслибъ на выручку не подоспѣли желѣзные дороги, которыя значительно приблизили пункты сбыта. Въмѣстѣ съ первымъ слухомъ о желѣзныхъ дорогахъ появились и личности изъ мѣстныхъ прасоловъ, кабатчиковъ, бывшихъ приказчиковъ, бурмистровъ и прочаго деревенскаго дѣловаго люда, которыя начали неумоимо развѣзжать на бѣговыхъ дрожкахъ отъ помѣщика къ помѣщику, предлагая свое содѣйствіе по устрой-

ству ликвидаціи. Помѣщики ободрились. „Продать! продать! — завопили они хоромъ: — продать, и затѣмъ бѣжать!“

Я ѣду и положительно ничего не узнаю. Вотъ здѣсь, на самомъ этомъ мѣстѣ, стояла сплошная стѣна лѣса; теперь по обѣимъ сторонамъ дороги лежатъ необозримыя пространства, покрытыя пеньками. Помѣщикъ зря продалъ лѣсъ; купецъ зря срубилъ его; крестьянинъ зря выпустилъ на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядываетъ въ будущее; всякій свѣштитъ сорвать все, что въ данную минуту сорвать можно. И вотъ, давно ли началась эта вакханалія, а окрестность уже имѣетъ обнаженный, почти безнадѣжный видъ. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-гдѣ тощій лознякъ.

— Нехороши наши мѣста стали, неприглядны, — говоритъ мой спутникъ, старинный житель этой мѣстности, знающій ее какъ свои пять пальцевъ: — покуда лѣса были цѣлы — жить было можно, а теперь словно послѣднія времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы — ничего не будетъ. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не даетъ. Шутка сказать: май въ половинѣ, а изъ полунубковъ не выходитъ!

И точно: холодный вѣтеръ пронизываетъ насъ насквозь, и мы пожимаемся, несмотря на то, что небо безоблачно и солнце заливаетъ блескомъ окрестныя пеньки и побѣлѣвшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть пробиваются тощія свѣжія травинки. Вотъ вамъ и радостный май. Прежде въ это время скотина была ужо сыта въ полѣ, лѣса стонали птичьимъ гомономъ, воздухъ былъ тихъ, влаженъ и нагрѣтъ. Выйдешь, бывало, на балконъ — такъ и обдаешь тебя душистымъ паромъ распустившейся березы или смолистымъ запахомъ сосны и ели.

— Помнишь, Софронъ Матвѣичъ, въ прежнее время, бывало, въ сеицкій четвергъ дѣвки вѣнки завивали? — обращаюсь я къ моему спутнику.

— Да и вы, чай, помните, какъ въ Троицынъ-день въ бѣленькихъ панталонцахъ, съ цвѣточками въ рукахъ, въ церковь хаживали?

Да, все это было. И дѣвки вѣнки завивали, и дворянскія дѣти, съ букетами піоновъ, нарцисовъ и сирени, ходили въ Троицынъ-день въ церковь. Теперь не то что піона, а и дворянскаго дитяти по всей окрестности днемъ съ огнемъ не отыщешь! Теперь семикъ на дворѣ, и не то что цвѣтка не сыщешь, а скотина ходитъ въ полѣ голодомъ!

— Вонъ она, Григорій-Александровичева усадьба-то! — говоритъ между тѣмъ Софронъ Матвѣичъ: — была усадьба, а нынче смотри, какъ изныла!

Въ сторонѣ стоитъ что-то длинное, черное, домъ не домъ, казарма не казарма. По одному наружному виду этого жалкаго строенія можно объ закладъ побиться, что въ немъ нѣтъ ни единой живой половицы, что въ щели стѣнъ его дуетъ, что на стѣнахъ этихъ обои повисли клочьями. Половина оконъ (въ бывшихъ парадныхъ комнатахъ) закрыта ставнями; на другой половинѣ ставни открыты, но едва держатся на петляхъ, вздрагиваютъ и колотятся объ стѣны, чуть посильнѣе подуетъ вѣтеръ. Ни одного цѣльнаго стекла, а въ иныхъ мѣстахъ вмѣсто стеколъ вмазана синяя сахарная бумага. Нигдѣ — ни плетня, ни изгороди. Бывшій передъ домомъ палисадникъ невѣдомо куда исчезъ — тоже, должно быть, изнылъ; бывшій „проспектъ“ на половину вырубленъ; бывшій прудъ заросъ и покрытъ плесенью, а берега изрыты ко-



пытами домашнихъ животныхъ; отъ плодоваго сада остались двѣ-три полу-вымерзшія яблони, едва показывающія признаки жизни...

Усадьба эта и въ цвѣтущія свои времена не могла назваться красивою, но за то она постоянно кипѣла млекою и медомъ. Григорій Александрычъ Гололобовъ, стараго закала помѣщикъ, не заботился ни о красотѣ, ни объ удобствахъ, но за то его домъ уподоблялся трактирному заведенію, въ которомъ всякій „прилично одѣтый“ могъ съ утра до вечера пить и ѣсть. Онъ даже не былъ особенно богатъ, и я очень хорошо помню, что сосѣди удивлялись, какимъ образомъ Григорій Александрычъ отъ какихъ-нибудь ста душъ могъ такъ роскошествовать. Но онъ повидимому слишкомъ хорошо постигъ тайны крѣпостного права, и на все удивленія относительно его житья-бытья объяснялся такъ:

— Сто душъ — большое, батенька, дѣло! Сто душъ — это сто хребтовъ-съ!

И продолжалъ кормить и поить до тѣхъ поръ, пока не ударилъ грозный часъ...

— А живъ еще Григорій Александрычъ? — спрашиваю я.

— Живетъ! Вонъ окно-то — тамъ и ютится. Былъ я у него напереднись — нагажено у него, насорено въ горницы-то! Ни у дверей, ни у оконъ настоящихъ запоровъ нѣтъ; войди къ нему ночью, задуши — никто три дня и не провѣдаетъ! Да и самъ-то онъ словно ужъ не въ умѣ!

— Старъ!

— Одно дѣло — старъ, другое дѣло — разоренье. Теперь онъ, можно сказать, весь обнажился; ни у него хлѣба, ни травы — хуже, чѣмъ у иного мужика!

— Что такъ?

— Да сначала, какъ уставную-то грамоту писалъ, перестарался ужъ очень. Землю, коя получше, за собой оставилъ, а нѣ дача-то и вышла у него ключьями. Тоже плутъ вѣдь онъ! думалъ: коли я около самой ихней околицы землю отрѣжу, такъ имъ и курицы некуда будетъ выпустить! — а нѣ вышло, что курицы-то и зѣвсе у него въ овсѣ!

— Чай, судится съ крестьянами-то?

— Пыталъ тоже судиться, да смѣхъ одинъ вышелъ: хотъ каждый день ты съ курицей судись, а она все пойдетъ, гдѣ ей лакомо. Надзору у него нѣтъ; самому досмотрѣть нѣтъ возможности, а управителя нанять — три полсотни отдать ему надо. Да и управителю тутъ ни въ жизнь не угладѣть, потому въ одномъ мѣстѣ онъ смотреть, а въ другомъ, гляди, озоруютъ!

— На чемъ же онъ порѣшилъ?

— Да не поймешь его. Сначала куда какъ сердить былъ, и суды-то трѣклялъ: „какіе, говорить, это праведные суды, это притоны разбойничьи!“ — а нынче, слышь, надѣяться началъ. Все около своихъ бывшихъ крестьянъ похаживаетъ, лаской ихъ донять хочетъ, литки съ ними пьетъ. „Мы, говорить, все нынче на равной линіи стоимъ; я васъ не замаю, и вы меня не замайте“. Все, значить, насчетъ потравъ просить, чтобъ потравъ у него не дѣлали.

— Ну, и чтѣ-жъ, крестьяне... чувствуютъ?

— Нельзя сказать, чтобъ очень. Намеднись одинъ мужичокъ при мнѣ ему говоритъ: „ты, говоритъ, Григорій Александрычъ, нѣче сказать, нынче парень отмѣнный сталъ, не обидчикъ, не ругатель, не чтѣ; а прежнее-то, по твоему, какъ?“ — А прежнее, говоритъ, простить надо!

— Отчего жъ бы и не простить, въ самомъ дѣлѣ!

— Отчего не простить! Вотъ и я въ тѣ поры тоже подумалъ: „старъ, молъ, ты старъ, а тоже знаешь, гдѣ раки зимуютъ! прежнее чтобы простить, а впередъ чтобы опять попрежнему!“ Да вотъ никакъ и самъ онъ!

Смотримъ: невадалекъ отъ дороги, у развалившихся воротъ, отъ которыхъ остались одни покосившіеся на бокъ столбы, стоитъ старикъ въ засаленномъ стеганномъ архалукѣ, изъ котораго мѣстами торчитъ вата, и держитъ руку щиткомъ надъ глазами, вематриваясь въ насъ. На головѣ у него теплый картузъ, щеки и губы обвисли, борода не брита, жидкіе волосы развѣваются по вѣтру; въ лѣвой рукѣ березовая палка, которую онъ тщетно старається установить.

— Неужто это Григорій Александрычъ?—спрашиваю я, до такой степени изумленный, что мнѣ не приходится даже на мысль остановить лошадей, чтобъ поздороваться съ маститымъ свидѣтелемъ игры моего дѣтства.

— Онъ самый и есть. Смотри, какъ палка-то у него въ рукахъ прыгаетъ; съ палкой совладать ужъ не можетъ.

— Господи! а какой былъ прежде бѣлый да румяный!

— Былъ румянъ, поколь свои мужики на барщину ходили, а теперь вонъ какой сталъ. Сердитыя нынче, сударь, времена настали.

— Чѣмъ же такъ ужъ очень сердиты?

— Да тѣмъ, что спустя-то рукава нынче ужъ, видно, рѣдко кому прожить доведется!

— Ну, чтѣ-жъ такое! стало быть, дѣло надо дѣлать—вотъ и все.

— Да и на дѣло-то нынѣшнее посмотришь, такъ словно бы оно на мошенничество похоже стало. Прежде совсѣмъ дѣловъ не было, а нынче ужъ слишнимъ ихъ много, а настоящего, постоянного дѣла все-таки нѣту — все съ наскоку. Перерывъ горло, утащилъ, надулъ — и убѣгъ. Вотъ нынѣшнее дѣло. Настоящій-то, постоянный-то человѣкъ промежъ дошлыхъ и пропадетъ. Со всѣхъ сторонъ его окружили, нигдѣ ни расчета, ни суда ему нѣтъ. Да и соблазнъ великъ. Станетъ человѣкъ постоянное-то дѣло дѣлать — анъ тутъ его сейчасъ лукавый смутитъ! Зачѣмъ, скажетъ, работать, коли обманомъ да колотырничествомъ жить можно! А иной съ непривычки и обмануть-то путемъ не умѣетъ! Смотришь, анъ современемъ или по судамъ его таскаютъ, или онъ въ кабакъ смертную чашу пьетъ!

— Такъ неужто-жъ прежде лучше было?

— Лучше не лучше, только прежде мы объ своихъ качествахъ-то по-малчивали да потихоньку ихъ прикапчивали. При крѣпостномъ-то правѣ мы словно въ тюрьмѣ сидѣли, и какі-такі были у насъ добродѣтели — никому о томъ было невѣдомо. А теперь всѣ свои капиталы вдругъ объявили. А капиталовъ-то у насъ всего два: жрать да баклуши бить. Жрать хочется, а работать не хочется (прежде, стало быть, при крѣпостномъ правѣ вдосталь наработались!) — ну, и ищутъ, какъ бы въюномъ извернуться. Иной всю



жизнь безъ штановъ жить, да и дѣла отродясь въ глаза не видалъ — анъ, смотришь, онъ въ трактирѣ чай пьетъ, поддѣвку себѣ изъ синяго сукна сшилъ! Спроси его, чтѣ онъ сработалъ, откуда у него чтѣ проявилось — онъ не то что тебѣ, да и себѣ-то настоящаго отвѣта дать не съумѣетъ! Такъ, маклаченьемъ да карманной выгрузкой и живетъ. Да чтѣ и говорить! всякаго спроси, всякій скажетъ: сердитыя нынче времена пришли!

— Богъ милостивъ, Софронъ Матвѣичъ! Перемелется — все мука будетъ!

— Извѣстно, Богъ не безъ милости! Однако вотъ пошли пожары, падежи — значить же это что-нибудь!

— Да вѣдь и прежде это не въ рѣдкость было!

— Было и прежде, да прежде-то отъ глупости, а нынче все отъ ума. Воровать сталъ народъ, началъ самъ себя узнавать. Вонъ она, деревня-то! смотри, много ли въ ней старыхъ домовъ осталось!

Мы вѣхали въ довольно большую деревню, въ которой было два порядка избъ; одинъ изъ нихъ былъ совершенно новый, частью даже не вполне достроенный; другой порядокъ тоже не успѣлъ еще почернѣть отъ времени.

— Прошлаго года въ Покровъ сгорѣли: престольный праздникъ у нихъ тутъ; а три года назадъ другой порядокъ горѣлъ! А сибирская язва и не переводится у насъ. Въ иной деревнѣ чтѣ ни годъ, то половину стада выхватить!

— Божья воля, Софронъ Матвѣичъ, вотъ и все!

— Божья воля — само собой. А главная причина — строгія времена пришли. Всякому чужого хочется, а между прочимъ никому никого не жаль. Возьмемъ хоть Григорья Александрыча. Ну, подумалъ ли онъ, какъ уставную-то грамоту писалъ, что мужика обездоливаетъ? подумалъ ли, что мужику либо землю пахать, либо за курами смотрѣть? Нѣтъ, онъ ни крошки объ этомъ не думалъ, а, напротивъ того, еще надѣялся; то-то, молъ, я штрафовъ съ мужиковъ наберу!

— А вѣдь самое это выгодное дѣло, Софронъ Матвѣичъ, съ мужиковъ штрафы брать!

— Выгодное — какъ не выгодное. Теперича, ежели мужика со всѣхъ сторонъ запереть, чтобъ ему ни входу, ни выходу — чего еще выйдѣ! Да вѣдь разсчитать-то этотъ нужно тоже съ умомъ вести, сосчитать нужно, стдѣтъ ли овчинка выдѣлки! Ну, а Григорій Александрычъ не сосчиталъ, думалъ, что штрафы-то сами къ нему въ карманъ полѣзутъ — анъ вышло, что за ними тоже походить надо!

— Чай, и кается же онъ теперь?

— Кается, какъ не каяться, да потому только и кается, что выдумка его не удалась. А кабы удалась, такъ и онъ бы теперь пироги съ начинкой ѣлъ.

— Видишь, стало быть, не всегда это вѣрно на чужой-то карманъ расчитывать!

— Какъ вамъ сказать, сударь! Григорій Александрычъ тутъ не примѣръ. У него хоть и не задашний, а все свой кусъ есть. Вотъ онъ теперь и казнится на него, думаетъ: лучше было бы, кабы по-божески спервоначалу

поступить! Ну, а другому и каяться-то резону нѣтъ. Народъ поньче все гольтепа, бездомовый пошелъ: на чтѣ ни пустись—все ему хуже прежняго не будетъ. Хоть лишнюю рюмку вина выпьетъ — и то въ барышахъ. Скажемъ теперича хоть про престольные праздники. Найдеть тутъ народу въ деревню видимо-невидимо, и всякій вина просить. Не далъ ты ему вина — онъ тебя съ сердцовъ спалилъ, да и соеѣдей твоихъ заурядъ!

— Не можетъ быть! изъ такихъ пустяковъ!

— Вѣрное слово говорю. Чтобы ему на умъ пришло, что чужое добро жжетъ—ни въ жизнь! Иной даже похвально, чтобы его боялись. И не токма что похвальба эта съ рукъ ему сходитъ, а еще каждый день пьянъ бываетъ!

— Ну, а падежи-то отчего-жъ?

— Да тоже главная причина та, что всякій норовитъ поскорѣй нажить. У насъ въ городѣ и сейчасъ всѣ лавки больной говядиной полнехоньки. Торговецъ-то не смотритъ на то, какой отъ этого раззоръ будетъ, а норовитъ, какъ бы ему барыша поскорѣй нажить. Мужикъ купить на праздникъ говядинки, привезетъ домой, вымоетъ, помои выплеснетъ, корова понохаетъ—и пошла язва косить!

— Однако, нехороши у васъ дѣла!

— Чего хуже! День живемъ, а завтра чтѣ будетъ—не вѣдаемъ.

— А знаешь, вѣдь насъ учатъ, что нигдѣ такъ не крѣпко насчетъ собственности, какъ между крестьянами!

— Вѣдомое дѣло, кому своего не жалъ!

— Нѣтъ, не насчетъ только „своей“ собственности, а вообще. У васъ, говорятъ, и заповоръ въ заводѣ нѣтъ!

— Не знаю, какъ въ другихъ мѣстахъ, а у насъ на этотъ счетъ строго. У насъ тѣхъ, которые чужое-то добро жалѣютъ, дураками величаютъ—вотъ какъ!

— Да вѣдь не пойдешь же, напимѣръ, ты за чужимъ добромъ?

— Мнѣ на чтѣ! у меня свое есть!

— Представь себѣ однако, что у тебя своего или нѣтъ, или мало: неужто же ты...

— Зачѣмъ представлять! чтѣ вы!

— Ну, да представь же!

— Пустое дѣло вы говорите! — зачѣмъ я стану представлять, чего нѣтъ!

Вопросъ этотъ такъ и остался неразрѣшеннымъ, потому что въ эту минуту на встрѣчу намъ попались бѣговья дрожки. На дрожкахъ сидѣлъ верхомъ мужчина въ нѣмецкомъ платьѣ, не то мѣщанинъ, не то бывшій барскій приказчикъ, и самъ правилъ лошадей.

— Хрисанфъ Петровичъ! куда? — кричитъ Софронъ Матвѣичъ, высовываясь всѣмъ корпусомъ изъ тарантаса и даже привставая въ немъ.

Проѣзжій отвѣчаетъ что-то, указывая рукой по направленію Гололобовской усадьбы.

— Ну, такъ и есть, къ Гололобову ѣдетъ. То-то Григорій Александрычъ высматривалъ. Это онъ его поджидалъ. Ну, и окружить же его Хрисашка!



— Развѣ дѣла у нихъ есть?

— Лѣску у Гололобова десятинь съ полсотни, должно быть, осталось — вотъ Хрисашка около него и похаживаетъ. Лѣсокъ нешто, на худой конецъ, по нынѣшнему времени, тысячь пятокъ надо взять, но только Хрисашка теперича такъ его опуталь, такъ опуталь, что ни въ жизнь ему больше двухъ тысячь не получить. Даже всѣхъ прочихъ покупателейъ отъ него отогналъ!

— Кто же этотъ Хрисашка? давно онъ въ здѣшнихъ мѣстахъ?

— Хрисанфъ Петровичъ господинъ Полушкинъ-съ? Да у Бакланихи, у Дарьи Ивановны, приказчикомъ былъ — неужто-жъ не помните! Онъ еще при мужѣ имѣньемъ-то управлялъ, а послѣ, какъ мужъ-то померъ, сластитъ ее сталъ. Только до денегъ очень жаденъ. Сначала тихонько поворовывалъ, а послѣ нахаломъ брать зачалъ. А обравши, бросилъ ее. Нынче усадьбу у Коробейникова, у Петра Ивановича, на Воллѣ на рѣкѣ, купилъ, живетъ себѣ помѣщикомъ да лѣсами торгуется.

— Хрисаша! помню! помню! какой прежде скромный былъ!

— Былъ скромный, а теперь выше лѣсу стоячаго ходить. Медаль, сказываетъ, во снѣ видѣлъ. Всю здѣшнюю сторону подъ свою державу подвель, ни одинъ помѣщикъ дыхнуть безъ его воли не можетъ. У насъ, у Николы на Воллѣ, амвонъ себѣ въ церкви устроилъ, гдѣ прежде дворяне-то стаивали, алымъ сукномъ обиль — стоитъ да охорашивается!

— Вотъ какъ!

— Ужъ такая выжига сдѣлался — наскрозъ на четыре аршина въ землю видить! Хватаетъ словно у него не двѣ, а четыре руки. Лѣсами торгуется — разъ; двѣнадцать кабаковъ держитъ — два; да при каждомъ кабакѣ у него лавочка — три. И вездѣ обманываетъ. А все-таки, помяните мое слово, не бывать тому, чтобъ онъ самъ собой отъ сытости не лопнулъ! И ему тоже голу свернуть!

— Проворуетъ, значить?

— Не то что проворуетъ, а нынче этихъ прожженныхъ словно воронья развелось. Кусковъ-то про всѣхъ не хватаетъ, такъ изо рту другъ у дружки рвутъ. Сколько ихъ въ здѣшнемъ мѣстѣ за послѣдніе года лопнуло, сколько черезъ нихъ, канальевъ, народу по міру пошло, такъ, кажется, кто самъ не видѣлъ — не повѣритъ!

— А у насъ, братъ, толкуютъ, что въ русскомъ человѣкѣ предпріимчивости мало! А какъ тебя послушать, такъ, пожалуй, ея даже больше, чѣмъ слѣдуетъ!

— Ужъ на чтѣ вороватѣе. Завелось, напрімѣръ, нынче арендательвъ много: земли снимаютъ, мельницы, скотные дворы, словомъ, всю помѣщичью угодъ въ свои руки забрали. Спроси ты у него, кто онъ таковъ? Придетъ онъ къ тебѣ: въ карманѣ у него грошъ, на лицѣ званія нѣтъ, а тысячнымъ дѣломъ орудовать берется. Одно только и держитъ на умѣ: возму, разорю и убѣгу! И точно, въ два-три года все до нитки спустить: скотину выпродаетъ, стройку сгноить, поля выпашетъ, даже кирпичъ, какой есть — и тотъ выломаетъ и вывезетъ. А подъ конецъ и самъ въ трубу вылетитъ!

— Такъ, значить, насчетъ собственности-то и у васъ не особенно крѣпко?

Ну, по крайней мѣрѣ, хоть насчетъ чистоты нравовъ... надѣюсь, что въ этомъ отношеніи...

— Это насчетъ нохачей, что-ли?

— Какіе тутъ снохачи!.. Снохачи — это, братецъ, исключеніе... Я не объ исключеніяхъ тебѣ говорю, а вообще...

— А вообще — такъ у насъ французская болѣзнь есть. Нынче ея во всякой деревнѣ довольно завелось.

— Какъ же это такъ, однако-жъ! Ни къ собственности уваженія, ни къ нравственности! Согласись, что такъ, наконецъ, жить нельзя!

— Да кабы не палка — и то давно бы врозь пошло.

— Позволь! ты говоришь: кабы не палка! Но вѣдь нельзя же вѣкъ свой съ палкой жить! Представь себѣ, что палки нѣтъ... вѣдь можно себѣ это представить?

— Никакъ этого представить нельзя!

— Ну, да представь однако! Все только палка да палка — это даже безнравственно! *Должно* же когда-нибудь это кончиться! Чтѣ-жъ будетъ, если палку наконецъ сократятъ!

— А то и будетъ, что все врозь пойдетъ!

— Послушай! Да какой же еще больше розни, чѣмъ та, которая, по твоимъ же словамъ, теперь идетъ? Ни собственности, ни нравственности... французская болѣзнь... чего хуже!

— Это такъ точно!

— Такъ чтѣ же палка-то твоя дѣлаетъ? отчего жъ она никого не исправляетъ?

— Ну, все же поберегаются!

— Поберегаются... Хрисашка, напримѣръ! И вѣдь, поди-чай, этотъ самый Хрисашка, если не только-что украсть у него, а даже если при немъ насчетъ собственности что-нибудь неладно сказать — поди-чай, какъ завопить!

— Само собой, завопить!

— А онъ, какъ ты самъ говоришь, чуть не пѣходя воруетъ. Вотъ и теперь, пожалуй, Гололобову въ карманъ руку запускаетъ!

— Запускаетъ — это вѣрно. Трещить Григорій Александрычъ, да еще его же, подлеца, безпремѣнно водкой поить!

— А коли ты знаешь, что онъ подлецъ, зачѣмъ же ты подлецу вляешься? зачѣмъ картузъ передъ нимъ снимаешь?

Софронъ Матвѣичъ при этомъ вопросѣ на минуту словно опѣшилъ, но тотчасъ же впрочемъ опять оправился.

— Позвольте-съ! Какъ же я ему не поклонюсь, — отвѣтилъ онъ мнѣ уже совершенно резонно: — коли онъ у насъ теперь въ округѣ первый чловѣкъ?

— Нѣтъ, ты не вилай! ты отвѣть, чтѣ все это значитъ?

— А то и значитъ, что „не пойманъ — не воръ“!



И такъ, изреченіе: „не пойманъ—не воръ“, какъ замѣна гражданскаго кодекса, и французская болѣзнь, какъ замѣна кодекса нравственнаго... ужели это и есть та таинственная подоплѣка, то искомое „новое слово“, по поводу которыхъ въ свое время было писано и читано столько умильныхъ рѣчей? Гдѣ же основы и краеугольные камни? Ужели они сосланы на огородъ и стоятъ тамъ въ видѣ пугалъ для „дураковъ“?

Григорій Александрычъ обездоливаетъ крестьянъ; Хрисашка обездоливаетъ Григорія Александрыча; пропоецъ изъ-за рюмки водки обездоливаетъ цѣлую деревню; мѣщанинъ-мясникъ изъ-за грошоваго барыша обездоливаетъ цѣлую палестину... Никому ничего не жаль, никто не заглядываетъ впередъ, всякій ищетъ, какъ бы сорвать сейчасъ, сію минуту, и потомъ... потомъ и самому, пожалуй, вылетѣть въ трубу.

Еслибъ мнѣ сказалъ это человѣкъ легкомысленный — я не повѣрилъ бы. Но Софронъ Матвѣичъ не только человѣкъ вполне знакомый со всѣми особенностями здѣшнихъ обычаевъ и нравовъ, но и самъ въ нѣкоторомъ родѣ столпъ. Онъ консерваторъ, потому что у него есть кубышка, и въ то же время либераль, потому что ни подъ какимъ видомъ не хочетъ допустить, чтобъ эту кубышку могли у него отнять. Какихъ еще столповъ надо!

Но все-таки должно сознаться, что и въ разсказахъ Софрона Матвѣича есть слабая сторона. Если довѣриться ему безусловно со всѣми выводами, какіе онъ дѣлаетъ, то непонятно было бы, какимъ образомъ люди живутъ. А между тѣмъ люди не только живутъ, но и преуспѣваютъ. Ясно, что Софронъ Матвѣичъ слишкомъ исключительно моралистъ, и въ то же время не менѣе ясно и то, что мораль его имѣетъ довольно узкую исходную точку. Онъ самъ аккуратенъ и требуетъ такой-же аккуратности отъ другихъ — развѣ такая низменная мораль можетъ быть навязана міру, какъ обще-обязательный жизненный принципъ?

То, въ чемъ онъ видитъ развращеніе нравовъ, есть собственно безтолочь, происшедшая вслѣдствіе смѣшенія понятій уже извѣстныхъ, отверженныхъ, съ понятіями искомыми, еще не имѣющими на рынкѣ опредѣленнаго курса. Человѣкъ чувствуетъ себя спутаннымъ, и вмѣсто того, чтобъ искать этихъ путей около себя, шарить руками въ пространствѣ. Человѣкъ ищетъ, гдѣ лучше, но, не имѣя даже приблизительныхъ свѣдѣній насчетъ того, гдѣ раки зимуютъ, естественнымъ образомъ вынуждается безпрестанно перебѣгать изъ области дозволеннаго въ область запретнаго — и наоборотъ. Если его ограбятъ, онъ старается изловить грабителя, и буде изловить, то говорить: „стой! законами грабить не позволено!“ Если онъ самъ ограбитъ, то старается схоронить концы въ воду, и если ему удастся, то говорить: „какіе-такіе ты законы для дураковъ нашелъ! для дураковъ одинъ законъ: учить надо!“ И все кругомъ смѣются: въ первомъ случаѣ смѣются тому, что дурака поймали, во-второмъ — тому, что дурака выучили. Чтѣ можетъ тутъ сдѣлать мораль, когда ея отправные пункты давнымъ-давно всѣми внутренне осмѣяны и оставлены, въ видѣ реторической шумихи, въ назиданіе... дуракамъ! Но даже и для дураковъ они страшны лишь потоліку, поколіку за ними стоитъ острогъ...

Должно быть, иначе ужъ нельзя жить, коли люди такъ живутъ и впредь такъ жить надѣются. Ворчитъ Софронъ Матвѣичъ (хоть онъ же вмѣстѣ съ

тѣмъ сознается, „что не пойманъ — не воръ“), а Хрисашки свое дѣло дѣлають. Видно, они ужъ раскинули умомъ, что не такъ чѣренъ чортъ, какъ его малюють. А въ дѣлѣ воровства—это главное. По началу, воровать дѣйствительно страшно: все кажется, что чужой рубль жжется; а потомъ, какъ увидить человѣкъ, что чужой рубль имѣетъ лишь то свойство, что легче всего другого обращается въ свой собственный рубль, станеть и походя поворовывать. Точно также и насчетъ чистоты нравовъ; только сначала есть опасеніе, какъ бы бока не намяли, а потомъ, какъ убѣдится человѣкъ, что и противъ этого есть мѣры, и что за симъ, кромѣ сладости, ничего тутъ нѣтъ — станеть и почаще въ чужое гнѣздо заглядывать. „Заведи свою жену! заведи свой рубль!“ говоритъ негодующій Софронъ Матвѣичъ; а Хрисашка ему въ отвѣтъ: „а зачѣмъ мнѣ заводить, коли ты для меня и жену, и рубль припасъ!“

Нѣкоторые видятъ въ подобныхъ фактахъ войну и протестъ. Это, дескать, война незваныхъ противъ званыхъ; это глухой протестъ обдѣленныхъ противъ общественной несправедливости. А по моему, такъ тутъ и войны никакой нѣтъ. Еслибъ въ область запретнаго врывались одни обдѣленные, тогда еще можно было бы, хоть съ натяжкою, сказать: да, это протестъ! Но вѣдь сплошь и рядомъ званые-то еще ходятъ въ эту область заглядывать. Стало быть, не только незванымъ, но и званымъ туго пришлось. Да и какъ, наконецъ, опредѣлить, кто обдѣленъ, кто не обдѣленъ? Конечно, сытому воровать стыднѣе, нежели голодному, и Софронъ Матвѣичъ, я знаю, первый упрекнетъ сытаго: „не стыдно ли тебѣ, скажетъ: добро бы у тебя своего куска не было!“ А Хрисашка ему въ отвѣтъ: „а ты мой аппетитъ знаешь? мѣрялъ ты мой аппетитъ?“

Я не говорю, что Хрисашка представляетъ собой образецъ добродѣтели; я знаю, что онъ кругомъ виноватъ, а, напротивъ того, критикъ его, Софронъ Матвѣичъ (впрочемъ снимающій передъ Хрисашкой картузъ), кругомъ правъ. Но я знаю также, что Софронъ Матвѣичъ влачить свое сѣренькое существованіе съ грѣхомъ пополамъ, между тѣмъ какъ Хрисашка блеститъ паче камня самоцвѣтнаго, и, конечно, не все видитъ во снѣ медаль. Софронъ Матвѣичъ придетъ въ церковь, станеть скромненько въ уголокъ, и попъ не назоветъ его ни истиннымъ сыномъ церкви, ни ангельскаго житія ревнителемъ и не вынесетъ просвиры. А Хрисашка взойдетъ въ церковь, такъ словно свѣтлѣе въ ней сдѣлается, взойдетъ и полѣзетъ прямо на свой собственный, крытый алымъ сукномъ, амвонъ. И попъ скажетъ ему притчу, начнетъ съ „яко солнцу просіявающу“ и кончитъ: „такъ да возсіяешь ты добродѣтелями во вѣкъ“, а въ заключеніе самъ вручитъ ему просвиру. По выходѣ же изъ церкви, Софрону Матвѣичу поклонится развѣ рѣдкій аматѣръ добродѣтелей (да и то, можетъ быть, въ томъ разчетѣ, что у него, все-таки, кубышка водится), а Хрисашкѣ *все* поклонятся, да не просто поклонятся, а со страхомъ и трепетомъ, ибо въ рукахъ у Хрисашки хлѣбъ *всѣхъ*, всей этой чающей и не могущей наѣсться до сыта братіи, а въ рукахъ у Софрона Матвѣича—только собственная его кубышка.

„Я въ трубу не вылечу, а Хрисашка—вотъ помяните мое слово!—не долго нагуляетъ!“—говорилъ мнѣ Софронъ Матвѣичъ. Прекрасно, но для



Хрисашки это, все-таки, доводъ не убѣдительный. Развѣ ты когда-нибудь жилъ, Софронъ Матвѣичъ? Развѣ ты испыталъ, какое значеніе имѣютъ слова: „пожить въ свое удовольствіе“? Нѣтъ, ты не жилъ, а только уберегался отъ жизни да поученья себѣ читалъ. Захочется тебѣ иной разъ во всѣ лопатки ударить (я знаю, и у тебя эти порывы-то бывали!) — анъ ты: нѣтъ, погоди — вотъ ужѣ! Ужѣ да ужѣ — такъ ты и кончилъ на томъ, что ухватился обѣими руками за кубышку, да брюзжишь на Хрисашку, а самъ ему же кланяешься! А у Хрисашки кубышки и въ заводѣ нѣтъ, ему не надъ чѣмъ дрожать, потому что у него деньга вольная. Всякая деньга — его деньга: и та, которая у тебя въ карманѣ тщетно хоронится отъ его прозорливости, и та, которая скрывается въ груди, въ мышцахъ, въ спинѣ вотъ у этого прохожаго, который съ пилой да съ заступомъ на плечѣ пробирается путемъ-дорогой на промыселъ. Или опять насчетъ чистоты нравовъ — развѣ ты настоящей сладости-то вкусилъ? Пригланется тебѣ, бывало (еще при крѣпостномъ правѣ это было) Дунька, старостина жена, а ты: нѣтъ, погоди! неравно староста обидится! Погоди да погоди, и дожилъ до того, что теперь нечего тебѣ другого и сказать, кромѣ: „хорошо дома; пріѣду къ Маремьянѣ Маревнѣ, постелимся на печи, да и захрапимъ во всю ивановскую!“ А у Хрисашки и тутъ все вольное: и своя жена вольная, и чужая жена вольная — какъ подойдетъ! Безнравственъ Хрисашка, прелюбодѣй онъ и воръ — что говорить! И въ трубу вылетитъ, и въ острогъ попадетъ — это вѣрно. Но и въ острогѣ ему будетъ чѣмъ свою жизнь помянуть да поразсказать „прочимъ каторжнымъ“, какъ попъ его истиннымъ сыномъ церкви величалъ да просвирами жаловалъ, а ты и на теплой печи, съ Маремьяной Маревной лежа, ничего, кромѣ распостылаго острога, не обрѣтешь!

Ты говоришь: „попъ завидуешь; захочу, десять рублей пошлю — онъ и не такую притчу мнѣ взбодритъ!“ Знаю я это. Но вспомни, что вѣдь ты добродѣтельный, а Хрисашка воръ и прелюбодѣй. Если о тебѣ и за десять копѣекъ попъ скажетъ, что ты ангельскаго житія ревнитель — онъ немного солжетъ; а каково о Хрисашкѣ-то это слышать! Хрисашка, сіяющій добродѣтелями! Хрисашка, аки благопотребный дождь, упоющій ниву, жаждущу, како освѣтитися! Слыхана ли такая вещь! А развѣ ты не слыхалъ?

Да взгляни же ты, наконецъ, на Хрисашку, какъ онъ невозмутимъ, спокоенъ, самодоволенъ! Съ какимъ неизреченнымъ состраданіемъ взираетъ онъ съ своего амвона на тебя, героя собственной кубышки, поборника невоспрещеннаго закономъ храпѣнья на собственной печкѣ, возлѣ собственной Маремьяны Маревны! Именно съ состраданіемъ, даже не съ ироніей. Не тебя жалѣетъ онъ, а твою кубышку, держа которую ты такъ сладко похрапываешь на собственной печи, въ свободные отъ копленья часы! „Эхъ, думается ему, кабы эту самую кубышку да въ настоящія руки... задали бы ей копоты!“ Всмотрись же въ Хрисашку пристальнѣе и крѣпче прижми къ груди кубышку, потому что съ такимъ озорникомъ всяко случиться можетъ: вздумается — и отниметъ!

Да, Хрисашка еще слишкомъ добръ, что онъ только поглядываетъ на твою кубышку, а не отнимаетъ ея. Еслибъ онъ захотѣлъ, онъ взялъ бы у тебя все: и кубышку, и Маремьяну Маревну на придачу. Хрисашка! воспрянь!

чего ты робѣешь! Воспрянь—и плюнь въ самую лохань этому идеологу кубышки! Воспрянь и бери у него все: и жену его, и вола его, и осла его—и пусть хоть однажды въ жизни онъ будетъ приведенъ въ необходимость *представить себя*, что у него *своего* или ничего, или очень мало!

И такъ, всякій хочетъ жить — вотъ общій законъ. Если при этомъ встрѣчаются на пути краугольные камни, то стараются умненько ихъ обойти. Но съ мѣста ихъ, все-таки, не сворачиваютъ, потому что подобнаго рода камень можетъ еще и службу сослужить. А именно: онъ можетъ загородить дорогу другимъ и тѣмъ значительно сократить размѣры жизненной конкуренціи. Стало быть: умѣлый пусть пользуется, неумѣлый — пусть колотится лбомъ о краугольные камни. Вотъ и все.

Между тѣмъ какъ я предавался этимъ размышленіямъ, лошади какъ-то сами собой остановились. Выглянувши изъ тарантаса, я увидѣлъ, что мы стоимъ у такъ-называемаго постоялаго двора, на дверяхъ котораго красуется надпись: „распивночнo и на выносъ“. Ямщикъ разнуздываетъ лошадей, которыми трясуть головами и громяхаютъ бубенчиками.

— Лошадей хочу попоить! — обращается къ намъ ямщикъ.

— Чего „лошадей попоить“! вижу я, куда у тебя глаза-то скосило! — ворчить Софронъ Матвѣичъ.

— Что-жъ, на свои деньги и самъ выпить могу!

— То-то „самъ“... до мѣста-то, видно, нельзя подождать! на пароходъ опоздаемъ!

— На пароходъ еще за сутки прїѣдемъ. Ты, чай, и выпилъ, и закусилъ дома съ „баринoмъ“, а я на пустыхъ-то щахъ только зубы себѣ нахлопалъ!

Дверь кабака визжитъ, и ямщикъ скрывается за нею.

— А много пьютъ? — спрашиваю я.

— Такъ довольно, такъ довольно, что если, кажется, еще немного, совсѣмъ наша сторона какъ дикая сдѣлается. Многіе даже заговариваться стали.

— То-есть, какъ же это — заговариваться?

— Совсѣмъ не тѣ слова говорить, какія хочетъ. Хочетъ сказать, къ примѣру, сѣно, а говорить — телѣга. Иного и совсѣмъ не поймешь. Не знаетъ даже, что у него подъ ногами: земля ли, крыша ли, рѣка ли. Да вонъ смотрите, черезъ поле молодецъ бѣжитъ... ишь поспѣшаетъ! Это сюда, въ кабакъ.

И дѣйствительно, черезъ нѣсколько секундъ съ нашимъ тарантасомъ поровнялся рослый мужикъ, имѣвшій крайне озабоченный видъ. Лицо у него было блѣдное, глаза мутные, волосы взъерошенные, губы сочились и что-то безъ умолку лепетали. Въ каждой рукѣ у него было по подковѣ, которыми онъ звякалъ одна объ другую.

— Давно не пиваль, почтенный? — обратился къ нему Софронъ Матвѣичъ.

— Завтра пиваль!.. Реговоно табъ... талды... Веней пина! Заррроетъ! — бормоталъ мужикъ, остановившись и словно испуганный человѣческой рѣчью.

— Вотъ и разговаривай съ нимъ, какъ этакой-то къ тебѣ въ работ-



нии наймется!—А что, почтенный, тебѣ бы и въ кабакъ-то ходить не дѣлаче! Ты только встряхнись—безъ вина пьянъ будешь!

Мужикъ стоялъ, блуждая глазами по сторонамъ и какъ бы нѣчто соображая.

— Подковы-то укралъ, поди! чужія, небось!

— Ч-ч-ч! веней пина... реговоно... талды!

— Ну, ну! ступай своей дорогой!

— Веней! — крикнулъ мужикъ не своимъ голосомъ, дѣлая всѣмъ корпусомъ движеніе въ нашу сторону.

— Ступай, ступай! нехорошо! видишь—баринъ!

Мужикъ плюетъ („какіе грубіяны!“ вертится у меня въ головѣ) и обращается къ кабаку. Опять визжитъ дверь, принимая въ свои объятія новаго потребителя.

— Хороши наши палестины?—подсмѣивается Софронъ Матвѣичъ.

— Чудакъ ты, однако-жъ! Говоришь такъ, какъ будто ужъ всѣ загоняются!

— Всѣ не всѣ, а что многіе въ винѣ занятіе находятъ — это вѣрно. Да вотъ увидите. Версты съ четыре пройдемъ, тутъ въ деревнѣ, черезъ Воплю перевозъ будетъ, а при перевозѣ, какъ и слѣдуетъ, кабакъ. Паромишка ледащій, телѣга съ нуждой уставится, не то что экипажъ, вотъ они и пользуются. Какъ есть, у кабака вся деревня ждетъ. Чуть покажемся — всѣ высыплютъ. На рукахъ тарантасъ на паромъ спустятъ, весь переѣздъ заднія колеса на вѣсу держать будутъ—все за двугривенный. Получатъ двугривенный—сейчасъ въ кабакъ. И идетъ у нихъ съ утра до вечера веселье, даже вчужѣ завидно!

— Однако славно ты земляковъ-то своихъ рекомендуешь!

— Распостылые они мнѣ—вотъ что! всякая пакость—все черезъ нихъ идетъ! Попы носъ задираютъ, чиновники тиранятъ, Хрисашки грабятъ — все не черезъ кого, а черезъ нихъ! Ощирина Павла Потапыча знавали?

— Это владыкинскаго? молодого?

— Какой онъ молодой—сорокъ лѣтъ слишкомъ будетъ! Приѣхалъ онъ сюда, жилъ смирно, къ помѣщикамъ не ѣздилъ, хозяйствомъ не занимался, землю своимъ же бывшимъ крестьянамъ почестъ за ничто сдавалъ — а выжили!

— Какъ такъ?

— Да такъ и выжили: зачѣмъ въ церковь рѣдко ходитъ! Попъ, вишь, къ нему повадился гостить; сегодня пришелъ, завтра пришелъ — ну, Павлу Потапычу это и не понравилось. Сгрубилъ, что-ли, онъ попу, только попъ обидѣлся, да не будь простъ, и науськалъ на него мужиковъ. И въ Бога, говоритъ, не вѣритъ, и въ церковь не ходитъ—фармазонъ. Пошла-это слава, провѣдали помѣщики, а спустя время и исправникъ приѣхалъ. „Какой-такой вы примѣръ мужикамъ подаете?“.. Ну, посмотрѣлъ-посмотрѣлъ Павелъ Потапычъ, плюнулъ и уѣхалъ. Да нынче по веснѣ приказъ съ Москвы прислалъ: обрыть всю землю канавой, а крестьянъ чтобы ни ногой! А они его землей только и жили!

— Ну, это-то ужъ лишнее! крестьяне вѣдь по невѣжеству!

— Знамо, что не по вѣжеству! А поколь у нихъ невѣжество будетъ, стало быть, подражать имъ надо? Ну, хорошо, будемъ такъ говорить: надо ихъ учить, надо школы для нихъ заводить. А поколь какъ? А поколь онъ тебя стоялому жеребцу за косушку продать, да когда тебя къ чортовой матери невѣдомо за что ссылатъ будутъ — онъ надъ тобой же глумиться станетъ! Нѣтъ, нынче постоянные-то люди сторониться начали! Больше все изъ столицъ пишутъ: школы, молъ, устраивать надо! а сами что-то и носу не показываютъ! Только тотъ и остался здѣсь, который съ мужика послѣднюю рубашку снять рассчитываетъ, или тотъ, кому — вотъ какъ Григорью Александрычу — свѣтъ клиномъ сошелся, некуда, кромѣ здѣшняго мѣста, бѣжать!

Совершивши выпивку, ямщикъ сдѣлался замѣтно развязнѣе. Посвистывалъ, помахивалъ кнутомъ, передергивалъ коренную, крутилъ пристяжную въ кольцо и безпрестанно обращался на насъ. Да и дорога пошла повеселѣе, все озимями и яровою пашней; пространства, усѣянные пеньками, встрѣчались рѣже, горизонтъ сдѣлался шире и чѣще; по сторонамъ виднѣлись церкви, помѣщичьи усадьбы, деревни. Поровнявшись съ одной усадьбой, ямщикъ взмахнулъ кнутомъ, гикнулъ, во весь опоръ промчался мимо воротъ господскаго дома и какимъ-то неестественнымъ голосомъ крикнулъ:

— Ахъ, сахарница ты наша... любе-е-знай!

— Кого это онъ такъ величаетъ? — спросилъ я Софрона Матвѣича.

— Вдова тутъ, Меропы Петровна Кучерявина, живетъ: видно, ее ублажаетъ. А что, Иванъ, сладка?

— Ужъ такъ сладка! такъ сладка! Мероша! Мерончикъ!

— Да ты-то изъ чего себѣ кишки надрываешь? чай, по усамъ текло, а въ ротъ не попало?

Ямщикъ весело взглянулъ Софрону Матвѣичу въ лицо.

— Знаешь, что я тебѣ, Софронъ Матвѣичъ, скажу? — молвилъ онъ.

— Сказывай, только не ври.

— Зачѣмъ врать! Намеднисъ везу я ее въ этомъ самомъ тарантасѣ... Только, везу я, и пришла мнѣ въ голову блажь. Дай, думаю, попробую. — А знаешь ли, говорю, Меропы Петровна, что я вамъ скажу? — „Сказывай“, говорить. — Скажу я тебѣ, говорю, что хоша я и мужикъ, а въ иномъ разѣ противъ двухъ генераловъ выстою!

— Такъ-таки и сказалъ?

— Вотъ-те Христось! Сказалъ, знаешь, а самъ боюсь. Однако ничего, молчитъ. Только проѣхали и еще версты съ двѣ, я опять: — Право, говорю, выстою! — а самъ полегоньку съ козелъ въ тарантасъ... словно какъ ненарокомъ. И вдругъ, братецъ ты мой, какъ свиснетъ она меня по рылу кулакомъ... инда звѣзды въ глаза вступили!

— Строга, значить?

— Не то что строга, а не по порядку, стало быть, дѣло повелѣе...

— Кто такая эта Кучерявина? — обращаюсь я къ Софрону Матвѣичу.

— А былъ тутъ помѣщикъ... въ родѣ какъ полоумненькій. Женился онъ на ней, ну и выманила она у него векселей, да изъ дому и выгнала. Умеръ ли, живъ ли онъ теперь — неизвѣстно, только она вдовой числится. И



кто только въ этой усадьбѣ не отдыхалъ—и старъ, и младъ! Теперь на пона сказываютъ...

— Да ты постой, дай досказать-то! — снова вступился ямщикъ. — Обидно мнѣ стало, и Боже мой какъ обидно! Ъду я, и смотрѣть на нее не хочу. Постой, думаю, я-те уважу! я-те въ канаву вывалю! — А знаешь ли, говорю, Мерона Петровна, что я тебя могу въ канаву сейчасъ вывалить! — „Не смѣешь“, говоритъ. — Смѣлости, говорю, теперь во мнѣ очень довольно, а ты мнѣ вотъ что скажи: чѣмъ я хуже пона? — „Ну, ну, ври больше!“ говоритъ. — Нѣтъ, не ври, а вѣрное дѣло, что я ничѣмъ твоего пона не хуже... даже званіе у насъ съ нимъ одно! И я изъ простыхъ, и онъ изъ простыхъ; и я сапоги дегтемъ смазываю, и онъ сапоги дегтемъ смазываетъ... И началъ я, значить, ее урезонивать. Ъду и все резоны говорю: сякая ты, молъ, такая, за что человѣка обидѣла! И не замѣтилъ, какъ къ городу, къ самой околицѣ подѣхали...

— А въ городу-то кутузка, слышь, есть...

— Стой... да ты не загадывай впередъ... экой ты, братецъ, непостоянной! Ъдемъ мы это городомъ, а я тоже парень бывалый, про кутузку-то слыхивалъ. Подѣхали къ постоялому; я ее, значить, за ручку высаживаю, жду... И вдругъ, братецъ ты мой, какую перемену слышу! „А что, говоритъ, Иванъ, я здѣсь только ночь переночую, а завтра опять къ себѣ въ усадьбу— доставилъ бы ты меня!“

— Вотъ такъ важно!

— И что послѣ того у насъ съ ней было! что только было! Только сказывать не велѣла!

— То-то ты и помалчиваешь!

— Тебѣ-то! Тебѣ я все одно, что отцу духовному! Только ты ужъ помалчивай, Христа ради!

Въ это время дорога сдѣлала крутой загибъ, и Кучерявинская усадьба снова очутилась у насъ въ глазахъ, какъ на ладони.

— Сахарница!—завылъ опять ямщикъ.

— Сахарница-то сахарница, а ужъ выжига какая—не приведи Богъ! — обратился ко мнѣ Софронъ Матвѣичъ. — Ты только погости у ней — не выскочишь! Все одно, что въ Москвѣ на Дербеновѣхъ: тамъ у тебя бумажники оберутъ, а она тебя напоить да вексель подсунеть!

— И оходить съ рукъ?

— Ничего. Взыщеть деньги—и полно. Хоть опять приѣзжай гостить, и опять допить до того, что вексель подпишешь! И вездѣ ей почетъ, все къ ней ѣздить, многіе даже руки цѣлуютъ. Теперь, слышь, генерала Голозадова обсахариваетъ.

— Это кто? фамилія, что-ли, такая?

— Древняя, сказывается. Еще дѣдушки его кантонистами были. Вонъ и усадьба его, вонъ на горѣ! Недавно у насъ поселился, а ужъ мужичокъ одинъ отъ него повѣсился.

— Какъ такъ?

— Да пустосвятъ онъ и кляузникъ, Голозадовъ-то. На всѣхъ прошенія пишетъ, и хоть нигдѣ ему, ни въ какихъ мѣстахъ, резону нынче не

даютъ, а онъ все пишетъ. Ну, и изымалъ онъ этта мужичка въ потравѣ, и пошла у него мельница въ ходъ. Къ мировому—отказъ, на сѣздѣ—отказъ. Въ сенатъ, въ Петербургъ — тамъ прицѣпу выдумали, велѣли сызнова судить. Опять къ мировому, къ другому, за сорокъ ужъ верстъ — отказъ! на сѣздѣ—отказъ; въ сенатъ—прицѣпу выдумали, въ третій разъ судить велѣли. Намедни съѣду: на четырехъ подводахъ народъ встрѣчу ѣдетъ.— Чьи такіе?— „Генерала Голозадова, говорятъ, свидѣтелей изъ города веземъ“.— Рѣшили ли дѣло-то?— „Чего, говорятъ, рѣшать: Андрей-то Герасимовъ удался!“

— Однако, братъ, это штука!

— Да ужъ гдѣ эта кляуза заведется — пиши пропало. У насъ до Голозадова насчетъ этого тихо было, а поселился онъ—того и смотри, не подѣ судъ, такъ въ свидѣтели попадешь! У всякаго, сударь, свое дѣло есть, у него одного нѣтъ; вотъ онъ и разсчитываетъ: я, молъ, на гулянкахъ-то такъ его доѣду, что онъ послѣднее отдастъ, отвязишь только!

— Ну, этого, по крайней мѣрѣ, не уважаютъ, ты говоришь?

— Покамѣстъ еще не уважаютъ; а вотъ какъ одинъ повѣсится, да другой повѣсится—не мудрено, что и уважать будутъ!

— А тамъ вонъ, влѣво, чья усадьба?

— Талалыкина господина. Онъ у насъ въ тѣ поры, какъ наши въ Крыму воевали, предводителемъ былъ, да сапоги для ополченія ставилъ. Самъ поставщикъ, самъ и пріемщикъ. Ну, и не доглядѣлъ, значить, что подошвы-то у сапоговъ картонныя!

— Тес... видно, у васъ и насчетъ отечества-то... не шибко-таки любятъ!

— Какъ не любить! любятъ, коли другого не предвидится... Только вотъ ежели сапоги или полшубки ставить... это ужъ шабашъ! Самый здѣсь, сударь, народъ насчетъ этого легкій!

Въ воздухѣ чувствуется близость большой рѣки. Вѣтеръ свѣжѣетъ, дорога идетъ поймою; мѣстами, сквозь купы кустовъ, показывается сверкающій изгибъ Волги. Вдали, на крутомъ берегу рѣки то вынырнетъ изъ-за холма, то опять нырнетъ въ яму торговое село К., съ каменными домами вдоль набережной и обширнымъ пятиглавымъ соборомъ надъ самою пароходною пристанью. Исколесивши вавилонами верстъ пять по поемному берегу, мы оста-навливаемся наконецъ у перевоза, прямо противъ села. Паромъ на другой сторонѣ, то-есть по обыкновенію тамъ, гдѣ его не нужно, а между тѣмъ по случаю завтрашняго базара на луговомъ берегу уже набралась цѣлая вереница возовъ, ожидающихъ переправы. Значительное число расшивъ и судовъ покрываетъ рѣку; однѣ бросили якорь, другія медленно двигаются вверхъ по рѣкѣ съ помощью бичевы. На противоположной сторонѣ на пристани идетъ суэта; нагружаются и разгружаются воза съ кладью; взбираются по деревянной лѣстницѣ въ гору крѣпкіе съ пятипудовыми тяжестями за плечыми. Воздухъ, въ буквальный смыслъ этого слова, насыщенъ сквернословіемъ.

— Мать-мать-мать-ма-а-ть! — словно горохъ перекачивается отъ одного берега до другого.



— Дедулинскіе! что ротъ-то разинули! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Вороти носовую! мать-мать-ма-ать!

Поощряемый этими возгласами, нашъ ямщикъ, въ свою очередь, во всю силу легкихъ горлаинтъ:

— Перевозчики! заснули! мать-мать-ма-ать!

— Лодку не вскричать ли?—обращается ко мнѣ Софронъ Матвѣичъ.

— Да, на лодкѣ скорѣе бы переѣхали.

И вотъ мой цѣломудренный спутникъ, поборникъ копилки и чистоты нравовъ, нимало не смущаясь, вопіетъ:

— Лодку подавай! Мать-мать-мать-ма-а-ть!

И вдругъ вся собравшаяся на берегу ватага обозчиковъ, словно остервенившись, возглашаетъ:

— Паромъ давай! перевозъ! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Сейчасъ! черти! что ругаетесь! Мать-мать-ма-а-ть!—слабо доносится съ другого берега.

— Однако, братъ, насчетъ сквернословія-то у васъ здѣсь свободно!—обращаюсь я къ одному изъ обозчиковъ.

— Отъ самаго Селижарова и вплоть до Астрахани у насъ эта рѣчь идетъ!

— И понимаете другъ друга?

— Въ лучшемъ видѣ!

Наконецъ мы убѣждаемся, что паромъ отчаливаетъ отъ другого берега. Наступаетъ внезапное затишье, прерываемое лишь посвистываніемъ бурлаковъ на лошадей, тянущихъ бичеву. Страшно смотрѣть. Изморенныя, сплеченныя животныя то карабкаются на крутизну, то спускаются внизъ въ рывтины, скользять, падаютъ на переднія ноги и вновь вскакиваютъ подъ градомъ ударовъ кнута.

— Вотъ ты давеча увѣрялъ,—говорю я Софрону Матвѣичу,—что народъ отъ работы отбился! А это, по твоему, не работа?

— Эти не дошли!—отвѣчаетъ онъ съ самоувѣренностью истиннаго моралиста:—да, надо полагать, и не дойдутъ никогда!

— Богъ труды любитъ!—сентенціозно вмѣшиваются одинъ изъ хозяевъ-обозчиковъ, мелочной торговецъ:—это имъ, значить, отъ Бога назначено, чтобы всегда въ трудѣ время проводить!

— Кому же это „имъ“?

— Простонародью, чернеди-сь, — отвѣчаетъ обозчикъ, не моргнувъ глазомъ.

— И прочимъ всѣмъ трудиться назначено,—поправляетъ другой обозчикъ:—да у иного достатки есть, такъ онъ удовольствіе доставить себѣ можетъ, а у нихъ достатковъ нѣтъ! Поэтому они преимущественно...

Но вотъ приволокли и паромъ, а лодки не подали. Пришлось переправляться вмѣстѣ съ возами. Покуда паромъ черепашимъ ходомъ переплываетъ на другую сторону, между переправляющимися идетъ оживленный разговоръ:

— Сапогъ въ заминкѣ (эта мѣстность славится производствомъ громаднаго количества сапоговъ)! совсѣмъ сапогъ остановился!—говоритъ одинъ.

— Сердитыя времена настали! — отзывается другой. — Сочти, сколько теперь народу безъ хлѣба осталось!

— Чтò, видно, въ чувство пришли! — иронически замѣчаетъ Софронъ Матвѣичъ.

— Будешь чувствовать, почтенный, какъ ѣсть нечего.

— Зачѣмъ же прежде не чувствовали?

— Чувствовали и прежде, да ничего такого не было... Линія, значить, тогда была одна, а теперь — другая!

— Да чтò же такое случилось, что здѣшній сапогъ остановился? — люблю испытывать я.

— Аршавскій сапогъ въ ходъ пошелъ — вотъ чтò!

— Какъ будто это причина? Почему же варшавскій сапогъ перебилъ дорогу вашему, а не вашъ варшавскому?

— Пошелъ аршавскій сапогъ въ ходъ — вотъ и вся причина!

— Ловки ужъ очень они стали! — объясняетъ Софронъ Матвѣичъ: — прежде хотъ кардону не жалѣли, а нынче и кардону жалъ стало: думали, вовсе безъ подошвы сойдетъ! Анъ и не угадали!

— Много ты смыслишь! — вмѣшивается изъ толпы недовольный голосъ.

— Ты и больше моего смыслишь, да не все сказываешь!

— Нечего сказывать-то! Извѣстно, отъ начальства поддержки не видимъ — вотъ и бѣдствуемъ!

— По твоему, значить, всѣхъ надо заставить въ вашихъ сапогахъ ходить?

— Зачѣмъ заставлятъ! Тебѣ, къ примѣру, и въ лаптяхъ ходить — въ самую препорцію будетъ! А надо аршавскій сапогъ запретить — вотъ чтò!

— Какія же такія права ты для этой выдумки отыскалъ?

— А такія права, что мы сапожники старинные, извѣчные. И отцы, и дѣды наши изстари землю покинули и никакого у нихъ, кромѣ сапога, занятія не было. Стало быть, съ голоду намъ теперича, по твоему, помирать?

— А вы бы не фальшивили. По чести бы дѣлали.

— И все-таки скажу тебѣ: говоришь ты ровно балалайка бренчишь, а ничего въ нашемъ дѣлѣ не смылишь. У насъ колесо-то съ какихъ поръ заведено? Ты знаешь ли?

— Здѣшній житель — какъ не знать! Да не слышимъ ли шибко за-вертѣлось оно у васъ, колесо-то это? Вамъ только бы сбыть товаръ, а про то, что другому, за свои деньги, тоже въ сапогахъ ходить хочется, вы и забыли совсѣмъ! Сказалъ бы я тебѣ одно слово, да боюсь, не обидно ли оно для тебя будетъ!

— Слово — брехъ; и я, пожалуй, слово знаю...

— Знаешь, такъ говори!

— Ты свое прежде скажи!

— Нѣтъ, ты мое угадай, а я твое слово давно угадалъ! Намъ, молъ, умнымъ, чай надо пить, а вы, дураки, невелики бары: и за деньги босикомъ проходите!

Разговоръ въ этомъ тонѣ и духѣ продолжался почти во все время переправы. Какъ я ни старался вникнуть въ смыслъ этого сапожнаго кризиса,



но изъ перекрестныхъ мнѣній не могъ извлечь никакого другого практическаго вывода, кромѣ того, что „отъ начальства поддержки нѣтъ“, что „варшавскій сапогъ истребить надо“ и что „стариннымъ сапожникамъ слѣдуетъ предоставить вести заведенное колесо на всей ихъ волѣ“. Эти виды и предположенія обсуждались на всѣ лады, перемежаясь вздохами, ахами, напоминаніями о сердитыхъ временахъ и извѣстіями о новыхъ пожарахъ, происшедшихъ въ разныхъ деревняхъ по случаю Николина дня.

— Каюрово-то, слышь, выгорѣло!

— А въ нашей сторонѣ Мокряги опять до тла сгорѣли!

.....

Публика въ каютѣ перваго класса была немногочисленна, всего человѣкъ семь-восемь. Изъ К. ѣхала депутація отъ дворянъ, съ цѣлью, какъ потомъ оказалось, ходатайствовать „въ губерніи“ объ удаленіи изъ уѣзда одного изъ мировыхъ судей за вредный образъ мыслей и строптивый нравъ. Два помѣщика отпраплялись въ Т., чтобы ликвидировать, и въ ожиданіи минуты, когда пужно будетъ предстать передъ очи старшаго нотаріуса, пропускали по маленькой и съ какимъ-то блаженнымъ видомъ сообщали другъ другу предполагаемые результаты ликвидаціи. Двѣ заспанныя личности уныло слонялись между диванами и отъ времени до времени вопіяли: „господа! въ табельку! по маленькой!“ Наконецъ тутъ же сидѣли: педагогъ и адвокатъ. Педагогъ имѣлъ видъ скорбный, какъ будто даже здѣсь, на пароходѣ, вдали отъ классической гимназіи, его угнетала мысль: нельзя ли кого-нибудь притѣснить или огоршить такимъ вопросомъ, который сразу бы поставилъ человѣка въ безпомощное положеніе? Напротивъ того, отъ адвоката такъ и отдавало внутреннимъ ликованіемъ. Лицо его сіяло, и онъ съ какимъ-то безапелляціоннымъ легкомысліемъ, быстро и рѣшительно выбрасывалъ изъ себя одинъ афоризмъ за другимъ, повидимому даже не допуская мысли, чтобы можно было что-нибудь ему возразить.

— Въ гражданскихъ дѣлахъ нѣтъ безотносительной истины, — говорилъ адвокатъ, продолжая начатый до прихода моего разговоръ. — Когда мнѣ поручаютъ веденіе процесса, я не имѣю никакой надобности заглядывать въ совѣсть моего довѣрителя. Я говорю себѣ: онъ начинаетъ дѣло, стало-быть онъ искренно думаетъ, что онъ правъ. Анализировать его побужденія — значило бы возбуждать въ его совѣсти такія сомнѣнія, которыя, быть можетъ, и не будутъ оправданы дальнѣйшимъ ходомъ дѣла. Поэтому я ставлю вопросъ гораздо проще; я спрашиваю себя: можетъ ли поручаемый мнѣ процессъ быть выигранъ, или нѣтъ — и только. И согласно съ тѣмъ или другимъ рѣшеніемъ этого вопроса — принимаю веденіе процесса или не принимаю его.

— Но вѣдь такимъ образомъ и адвокатъ противной стороны... вѣдь и онъ, пожалуй, можетъ имѣть подобный же упрощенный взглядъ на юридическую истину? — возразилъ педагогъ.

— Не только можетъ, но и обязанъ-сѣ. Въ этомъ отношеніи юридическая практика требуетъ, чтобы стороны признавали другъ за другомъ самую широкую свободу. Еслибъ не было полной свободы воззрѣній на гражданскую истину, не существовало бы цѣлой громады сочиненій по каждому вопросу гражданского права, не было бы, наконецъ, и самого процесса. Въ вопросахъ

гражданскаго права все зависитъ отъ обстановки, умѣнья пользоваться ошибками противника и отъ способности дѣлать именно тѣ выводы, которые наиболѣе отвѣчаютъ интересамъ кліента. Если мое дѣло обставлено прочно, если я не лишенъ дара противопоставлять выводамъ моего противника другіе, еще болѣе логичные выводы, и если при этомъ я умѣю одни обстоятельства оставить въ тѣни, а на другія бросить яркій свѣтъ — я заранѣе могу быть увѣренъ, что дѣло мое будетъ выиграно. Но не слѣдуетъ думать, что это вещь легкая. Независимо отъ ума, ловкости, знанія законовъ и въ особенности кассационныхъ рѣшеній, тутъ необходима и извѣстная доля самопожертвованія. Кліентъ требователенъ, господа, и часто даже несправедливъ и горячъ. Вотъ объ чемъ не слѣдуетъ забывать при обсужденіи дѣятельности адвоката!

— Ну, да ужъ это само собой. Умѣешь денежки брать — умѣй и шиаги глотать! не прогнѣвайся! — безцеремонно вмѣшивается одинъ изъ депутатовъ по части истребленія вредныхъ мыслей.

— Если вы подъ этимъ разумѣете гонораръ, то считаю нелишнимъ объяснить вамъ, что размѣръ его исключительно обусловливается высшимъ или низшимъ уровнемъ юридическаго развитія общества. Высокое вознагражденіе за адвокатскую услугу есть налогъ на юридическое невѣжество общества — и ничего болѣе.

— Ну, батенька, про юридическое или тамъ другое развитіе вы намъ не рассказывайте! Знаемъ мы васъ, мудрецовъ! Не тамъ подписалъ „къ сему“ да не на той гербовой бумагѣ подать... вотъ тебѣ и юридическое развитіе!

— Съ одной стороны, въ послѣднее время все это значительно упрощено, и нынче меньше, нежели когда-нибудь, мы вправѣ отговариваться невѣдѣніемъ законовъ. Съ другой стороны, повѣрьте, что еслибъ законодатель не оградилъ гражданскаго процесса извѣстными формальностями, то шансы на достиженіе юридической истины, конечно, были бы еще болѣе сомнительными, нежели даже въ настоящее время. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde*, сказалъ одинъ знаменитый философъ, и сказалъ великую истину. Отмѣните, напримѣръ, апелляціонные и кассационные сроки — и передъ вами хаосъ, передъ вами бездна, на поверхность которой навѣрное не всплыветъ ни одного рѣшеннаго дѣла!

— Но позвольте однакожъ! какъ же это такъ: въ гражданскихъ дѣлахъ нѣтъ истины?! гм... нѣтъ истины?! — недоумѣвалъ педагогъ.

— Я не говорю: нѣтъ истины; я говорю только: нѣтъ *безотносительной* истины. Если угодно, я поясню вамъ это примѣромъ. Недавно у меня на рукахъ было одно дѣло по завѣщанію. Купецъ отказалъ женѣ своей имѣніе, но при этомъ употребилъ въ завѣщаніи слѣдующее выраженіе: „женѣ моей, такой-то, за ея любовь, отказываю *въ вѣчное владѣніе* то-то и то-то“. Какъ, по вашему мнѣнію, слѣдуетъ ли считать жену покойнаго собственницею завѣщаннаго имѣнія?

— Кажется, что слѣдовало бы... а впрочемъ...

— Чего „впрочемъ“! Просто чортъ ногу переломить — и все тутъ!

— Вотъ видите, вы сомнѣваетесь сами. Это ужъ признакъ очень важ-



ный. Вы говорите: „кажется, слѣдуетъ, а впрочемъ“ ... не доказываетъ ли это съ осязательностью неопровержимѣйшей истины, что въ гражданскихъ вопросахъ нѣтъ ничего безотносительно вѣрнаго? Тѣмъ не менѣе, въ данномъ случаѣ, я остановился на той мысли, что кліентку мою *слѣдуетъ* признать собственницею завѣщаннаго. Я сказалъ себѣ: моя кліентка желаетъ быть собственницею — *ma foi*, постараемся устроить дѣло такъ, чтобъ она была удовлетворена. И чтобъ достичь этого результата, я употребилъ довольно оригинальный приемъ. Я обратился къ вопросу: что такое завѣщаніе? — и на этомъ простомъ вопросѣ, играя имъ, такъ сказать, во всѣхъ направленіяхъ, я въ буквальномъ смыслѣ слова кругомъ пальца обвертѣлъ все дѣло. Въ самомъ дѣлѣ, господа, что такое завѣщаніе? — завѣщаніе, говорите вы, есть выраженіе воли завѣщателя. Это ясно и съ этимъ вполне согласенъ и я. Но въ чемъ преимущественно выражается воля завѣщателя? въ буквѣ ли завѣщанія, или въ смыслѣ его? Опять вопросъ, на который, я надѣюсь, вы отвѣтите: конечно, не въ буквѣ, а въ смыслѣ, и даже не въ томъ внѣшнемъ смыслѣ, который водить неопытною рукою какого-нибудь невѣжественнаго купца, а въ томъ интимномъ смыслѣ, который соприсутствуетъ его мысли, его, такъ сказать, намеренію! Утверждать противное — значить допускать въ судебную практику прецедентъ въ высшей степени странный, отчасти даже скабрѣзный. И такъ, до сихъ поръ мы были съ вами согласны. Но вотъ вы приступаете къ самому разбору завѣщанія и говорите: тѣмъ не менѣе, *вѣчное* владѣніе невозможно. Вѣчна собственность, говорите вы, но владѣніе, по самому существу своему, есть нѣчто временное, почти эфемерное. Прекрасно, отвѣчаю я: я первый соглашаюсь въ вами, я даже иду далѣе васъ и утверждаю, что совмѣстное существованіе такихъ представленій, какъ вѣчность и владѣніе, есть не что иное, какъ неестественнѣйшій конкубинатъ. Допустить подобный конкубинатъ, говорю я, значило бы потрясти самое основаніе собственности — а кто же изъ насъ не остановится въ ужасѣ передъ подобнымъ предположеніемъ! *Mais entendons-nous, messieurs!* не будемте торопливы, постараемся проникнуть въ самое сердце вопроса — и лишь тогда рѣшимтесь произнести ему окончательный приговоръ! А чтобы легче достигнуть этого, я попрошу васъ припомнить исходный пунктъ, изъ котораго вышло дѣло, подавшее поводъ для нашихъ разногласій. Припоминаемъ, и находимъ, что этотъ исходный пунктъ таковъ: завѣщаніе есть выраженіе воли завѣщателя. Ни больше, ни меньше. Опредѣленіе это до такой степени вѣрно, что тутъ нельзя ни убавить, ни прибавить ни одного слова, ни одной буквы, ни одной іоты. Завѣщаніе есть выраженіе воли завѣщателя — этимъ все сказано. Затѣмъ намъ ничего другого не остается, какъ идти далѣе и постараться отыскать ту *волю* завѣщателя, которой выраженіемъ должно служить его завѣщаніе. Чтобъ отыскать эту волю, мы обращаемся, какъ уже сказано выше, не къ буквѣ завѣщанія, а къ внутреннему смыслу его. Къ тому смыслу, который несомнѣнно соприсутствовалъ завѣщателю во все время, употребленное имъ на составленіе завѣщанія, къ тому смыслу, который былъ ясенъ и для лицъ, подписавшихъ завѣщаніе, въ качествѣ свидѣтелей, и для жены завѣщателя. И вотъ здѣсь-то, на первыхъ порахъ, мы встрѣчаемся съ словами: *вѣчное* владѣніе! Кто писалъ эти слова, милостивые государи? — Ихъ писалъ человѣкъ, съ одной стороны не искусив-

шійся въ юридическихъ тонкостяхъ, но который, съ другой стороны, несомнѣнно бы содрогнулся, еслибъ понималъ всю необъятность бездны, раздѣляющей такія понятія, какъ „вѣчность“ и... „владѣніе“! Эти слова писалъ простой купецъ, который не имѣлъ въ жизни иного культа, кромѣ культа собственности. Невѣрная, быть можетъ, изможденная болѣзнію рука его (завѣщаніе было писано на одрѣ смерти, при общемъ плачѣ друзей и родныхъ... когда же тутъ было думать о соблюденіи юридическихъ тонкостей!) писала выраженіе, составляющее нынѣ предметъ споровъ, но бодрая его мысль несомнѣнно была полна другимъ выраженіемъ, — выраженіемъ, насчетъ котораго, къ счастью для человечества, не можетъ быть двухъ разныхъ мнѣній. Нужно ли говорить здѣсь, какое это выраженіе? Я, съ своей стороны, не находилъ бы это излишнимъ, такъ какъ оно и безъ того, конечно, вертится у каждаго на языкѣ. Но если ужъ непременно нужно произнести его, ежели этого во что бы ни стало требуетъ противная сторона — извольте, я не отступлю и передъ этою обязанностью! Я произнесу это интересующее васъ выраженіе, произнесу его скромно, но увѣренно, безъ ненужнаго пафоса, но во всеуслышаніе! Выраженіе это, которое такъ сильно васъ интригуетъ, господинъ повѣренный противной стороны... это страшное для васъ выраженіе — **ЕСТЬ СОБСТВЕННОСТЬ!**

Подъ конецъ адвокатъ очевидно забылся и повторилъ недавно сказанную имъ на судѣ рѣчь. Онъ дѣлалъ такъ-называемые красивые жесты и даже насканивалъ на педагога, мня видѣть въ немъ противную сторону. Когда онъ умолкъ, въ каютѣ на нѣсколько минутъ воцарилось всеобщее молчаніе; даже ликвидаторы какъ будто усомнились въ правильности задуманныхъ ими ликвидацій и, съ безпокойствомъ взглянувъ другъ на друга, разомъ, для храбрости, выпили по большой.

— Да-ст, батенька, ежели такимъ манеромъ... да ежели при этомъ еще ночнымъ временемъ... это точно, что безъ мыла куда хочешь влѣзть можно! — процѣдилъ депутатъ-помѣщикъ, когда улеглось общее изумленіе, произведенное внезапнымъ пролітіемъ словеснаго дождя.

— И выиграла-сь? — въ свою очередь какъ-то отрывисто спросилъ педагогъ.

— Выиграла-сь. Но, съ другой стороны, я очень хорошо понимаю, что на дѣло моей довѣрительницы можно было взглянуть и съ иной точки зрѣнія (поощренный успѣхомъ, адвокатъ до того разыгрался, что съ самою любезною откровенностью, казалось, всѣмъ и каждому говорилъ: я шалопай очень разносторонній, господа! я и не такія штуки продѣлать согласенъ!). Какъ я уже имѣлъ честь объяснить, господа, главная обязанность адвоката относительно поручаемыхъ ему дѣлъ — это обстановка, ловкость и умѣнье освѣтить предметъ тѣмъ свѣтомъ, который наиболѣе благоприятствуетъ интересамъ его кліента. Въ подтвержденіе этой мысли я могъ бы привести вамъ множество разнообразнѣйшихъ случаевъ, но остановлюсь на одномъ, подобномъ сейчасъ же рассказанному мной дѣлу, въ которомъ я игралъ уже роль не отвѣтчика, а истца. Точь-въ-точь такой же купецъ и точь-въ-точь такое же завѣщаніе. Но тутъ я, конечно, уже остерегся отъ обращенія къ вопросу, что такое духовное завѣщаніе, а прямо поставилъ дѣло на почву строгой законности, на



почву несовмѣстимости понятія о владѣннн съ понятіемъ о собственности. — Господа! говорилъ я: не будемъ обманываться! взглянемъ на предметъ спора прямо, безъ адвокатскихъ увертокъ и въ особенности безъ такъ-называемыхъ цвѣтовъ краснорѣчія! Передъ нами два выраженія: „владѣніе“ и „собственность“. Чтобы опредѣлить ихъ, намъ стѣдуетъ только заглянуть вотъ въ эту книгу (я поднимаю десятый томъ и показываю публикѣ), и мы убѣдимся, что владѣніе, какими бы эпитетами мы ни одобрявали его, не только не однородно съ собственностью, но даже исключаетъ послѣднюю. Признаки того и другого до такой степени различны, и различіе это такъ наглядно, почти осязаемо, что никто не вправѣ его игнорировать. Здѣсь больше, нежели гдѣ-нибудь, умѣстна угроза закона: никто не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ закона. Допустить смѣшеніе въ такомъ основномъ вопросѣ — значитъ допустить, чтобы обществу постоянно угрожала очень существенная опасность. Единственный оплотъ противъ подобной опасности — это судъ, который, конечно, и не допустить, чтобы законъ былъ обойденъ и намѣренія законодателя попораны. Къ нему мы и обращаемся; къ его помощи мы взываемъ, чтобы оградить оскорбленную правду. Намъ говорятъ, что *вѣчное* владѣніе и собственность — одно и то же; но, спрашиваю я васъ, что же станется съ священнымъ принципомъ собственности, если мы допустимъ подобную юридическую ересь? Намъ говорятъ еще, что завѣщатель былъ невѣжественъ, что онъ не получилъ юридическаго образованія, что онъ только *не умѣлъ* различить „вѣчнаго владѣнія“ отъ „собственности“, но что мысль его несомнѣнно тяготѣла къ сей послѣдней. Но остережемся, милостивые государи! Спросимъ себя прежде всего, имѣемъ ли мы право отдавать на поруганіе невѣжеству самыя дорогія основы нашей гражданственности! До сихъ поръ невѣжество считалось однимъ изъ неудобствъ общежитія; теперь насъ хотятъ увѣрить, что это — привилегія! Привилегія — въ отношеніи къ чему? — въ отношеніи къ священнѣйшему изъ всѣхъ правъ человѣческихъ, къ праву собственности! Не чувствуете ли вы какую-то неловкость при подобномъ неслышанномъ притязаніи? Не чувствуете ли вы себя незащищенными, свою жизнь — отданною на произволъ всевозможнымъ случайностямъ? Невѣжество имѣетъ привилегію попираеть собственность, невѣжество имѣетъ привилегію игнорировать ее, невѣжество имѣетъ привилегію упразднить ее и на мѣсто ея поставить нѣчто фантастическое и призрачное! Не правда ли, какая кровавая иронія? Къ счастью, у насъ есть судъ, который не допуститъ этого! вмѣстѣ съ нимъ мы станемъ на стражѣ у входа величественнаго храма собственности и скажемъ: юридическая ересь не имѣетъ права войти сюда! Господа! не будемъ обманывать себя! Свойства юридическихъ ересей таковы, что они неслышно проникаютъ въ самыя сокровенныя святилища и, разъ проникнувъ, утверждаются тамъ навсегда. Кто знаетъ? быть можетъ, благодаря этимъ неслышнымъ вторженіямъ, уже колеблется и тотъ всѣмъ намъ дорогой храмъ собственности, о которомъ я сейчасъ говорилъ и на стражѣ котораго мы стоимъ... Быть можетъ, въ то самое время, когда мы собираемъ рать на защиту его — его ужъ нѣтъ... онъ потрясенъ! Вотъ почему, въ данномъ случаѣ, я прошу, чтобы выраженіемъ „собственность“ было оставлено то чистое, строгое представленіе, которое имѣлъ объ немъ самъ законодатель. Требуя этого, я не высказы-

ваю никакой дерзкой самонадѣянности, а только, по мѣрѣ моихъ слабыхъ силъ, защищаю общество отъ грозящей ему опасности! Я кончилъ, господа.

Всѣ тоскливо переглянулись. Казалось, надъ всѣми тяготѣла мысль: да, этотъ обчистить! хоть и не яко разбойникъ, а все-таки... Педагогъ потиралъ себѣ колѣнки; помѣщики-депутаты переглядывались между собой, какъ бы говоря: ужъ на что мы ловки, а противъ этого, братъ, — ау! Ликвидаторы, какъ встрепанные, выбѣжали изъ каюты. Послѣдовалъ за ними на налубу и я. Тамъ, въ самомъ уголку носовой части, спиной къ вѣтру, расположились двое Хрисашекъ, повидимому еще не выросшихъ въ мѣру настоящаго Хрисашки, и, разложивши на колѣняхъ синюю сахарную бумагу, раздирали руками валенную воблу. Ликвидаторы подбѣжали къ нимъ и начали шептаться, по временамъ возвышая голосъ. Отрывки этого совѣщанія долетали и до меня.

— Въ судъ — чтобы ни-ни! аблакатовъ — ни-ни! — восклицали ликвидаторы: — вести дѣло на чистоту!

— Зачѣмъ аблакатовъ! на чтò лучше, коли ежели дѣло на чистоту! — успокоивалъ одинъ Хрисашка.

— Чистое-то дѣло — ровно какъ яичко облупленное! и глядѣть-то на него весело! — присовокуплялъ другой Хрисашка.

Успокоенные ликвидаторы, потребовавъ на бѣгу еще графинъ очищенной, вновь скрылись въ каюту, и я за ними. Адвокатъ окончательно разыгрался и сыпалъ случаями изъ своей юридической практики. Онъ весь сіялъ; изъ каждой поры его организма, словно отъ свѣтящагося червяка, исходилъ загадочный свѣтъ.

— Вы удивляетесь, вы восклицаете: вотъ такъ „штука“! — говорилъ онъ, когда мы вошли: — я тоже, въ свою очередь, скажу: да, это „штука“, но въ томъ лишь смыслѣ, что здѣсь слово „штука“ означаетъ побѣду знанія надъ невѣжествомъ, ума надъ глупостью, таланта надъ бездарностью. Недавно въ моей практикѣ былъ слѣдующій оригинальный случай, который я, можно сказать, не доводя до суда, устроилъ въ пользу моей кліентки. Является ко мнѣ дама и говорить, что у нея есть вексель отъ одного лица, уже не находящагося въ живыхъ. Мнѣ стоило бросить только одинъ взглядъ на эту даму, чтобы понять, что тутъ есть что-нибудь неладное. И въ самомъ дѣлѣ, взявъ въ руки вексель — чортъ знаетъ чтò! подпись не подпись, а такъ какія-то каракули, навараканныя и вкривь, и вкось. — Это собственноручная подпись должника? — спрашиваю я. „Да, это его подпись“. — Но это *обыкновенная* его подпись? *всегда* онъ подписывался *такимъ образомъ*? — „Нѣтъ... да... болѣзнь“... — *Слѣдовательно-съ?*.. — Бабамнется, краснѣетъ, блѣднѣетъ... — Достаточно, говорю я: я не желаю искушать вашу совѣсть. Я не знаю, выиграется-ли *это* дѣло, но знаю, что *подобныя* дѣла выигрываются. — Затѣмъ я условливаюсь насчетъ гонорара, подаю вексель ко взысканію, а черезъ недѣлю уже удостоиваюсь посѣщенія наслѣдника должника. „Вы взыскиваете съ меня по векселю, говоритъ онъ мнѣ: но это документъ фальшивый; вотъ настоящія и притомъ современныя документу подписи должника“. — Не смѣю съ вами спорить, отвѣчаю я: по согласитесь, что ежели дѣлать фальшивый документъ, то гораздо выгоднѣе поддѣлать подпись какъ слѣдуетъ, нежели



такъ, какъ она въ настоящемъ случаѣ сдѣлана. Здѣсь самое неряшество подписи доказываетъ, что она дѣйствительная. — „Словомъ сказать, отвѣчаетъ онъ мнѣ: если бы подпись была хорошо поддѣлана, вы бы доказывали, что нельзя подписаться подъ чужую руку такъ отчетливо; теперь же, когда подпись похожа чортъ знаетъ на что, вы говорите, что это-то именно и доказываетъ ея подлинность?“ — Не смѣю съ вами спорить, говорю я: но мое убѣжденіе таково, что эта подпись подлинная. — „Позвольте-съ! ну, предположимъ! ну, допустимъ, что подпись настоящая; но развѣ вы не видите, что она сдѣлана въ безсознательномъ положеніи и что вашъ документъ во всякомъ случаѣ безденежный?“ — Опять-таки, не смѣю спорить съ вами, но позволю себѣ замѣтить, что все это требуетъ доказательствъ и сопряжено съ нѣкоторымъ рискомъ... — Затѣмъ, мы пожимаемъ другъ другу руки и расстаемся какъ джентльмены. Черезъ недѣлю онъ, однакоже вновь удостоиваетъ меня посѣщеніемъ. „Слушайте! говорить: я человѣкъ спокойный, въ судахъ никогда не бывалъ, и теперь долженъ судиться, нанимать адвокатовъ... поймите, какъ это непріятно!“ — Совершенно понимаю-съ, но интересы моихъ кліентовъ для меня священны, и я, къ сожалѣнію, ничего не могу сдѣлать для вашего спокойствія. — „Позвольте! если бы ваша кліентка сдѣлала уступку... если бы, на примѣръ, половину... вѣдь задаромъ и половину получить недурно... не правда ли, недурно!“ — Правда-съ; но извините, я не имѣю права даже останавливаться на подобномъ предположеніи; это была бы правда, еслибъ *было доказано*, что деньги, которыя вы изволите предлагать на мировую, *дѣйствительно* приобрѣтаются *задаромъ*, а для меня это далеко не ясно. — „Ну, такъ какъ же? нельзя стало-быть... задаромъ-то?“ — Извольте, я сдѣлаю, что отъ меня зависитъ, я переговорю съ моей довѣрительницей... — И черезъ нѣсколько дней, дѣйствительно, устраиваю дѣло къ общему удовольствію!..

— То-есть взяли деньги задаромъ? — отрубилъ одинъ изъ депутатовъ.

— Повторяю: я не считаю себя вправѣ тяготѣть надъ совѣстью моихъ кліентовъ. Въ настоящемъ случаѣ моя роль была ясна: облегчить пути для мирнаго соглашенія, и я достигъ этого. Исполнивши это, я могъ бы считать свои обязанности оконченными, но я пошелъ даже дальше. Во вниманіе къ тому, что противная сторона предупредительно избавила меня отъ грустной обязанности ходатайствовать предъ судомъ, я далъ ей полезный совѣтъ. — Берегитесь! сказалъ я наслѣднику должника: передъ вами еще цѣлыхъ десять лѣтъ, въ продолженіе которыхъ васъ могутъ тревожить подобными документами!

Это было сказано такъ ясно, отчетливо и вразумительно, что депутатъ-помѣщикъ уже безъ всякой церемоніи запѣлъ:

— Но я-я-ко разбо-ойникъ!

Однакожъ педагогъ не унялся и рискнулъ возразить.

— Позвольте, — сказалъ онъ: — не лучше ли возвратиться къ первоначальному предмету нашего разговора. Признаться, я больше насчетъ дѣточекъ-съ. Я воспитатель-съ. Есть у насъ въ заведеніи каеэдра гражданскаго права, ну и, разумѣется, тутъ на первомъ мѣстѣ вопросъ о собственности. Но ежели возможенъ изложенный вами взглядъ на юридическую истину, если

онъ, какъ вы говорите, даже обязательнъ въ юридической практикѣ... что же такое послѣ этого собственность?

Вопросъ этотъ до такой степени изумилъ адвоката своею наивностью, что онъ смѣрилъ своего возражателя съ головы до ногъ.

— Собственность! — отвѣтилъ онъ докторальнымъ тономъ: — но кто же изъ насъ можетъ имѣть сомнѣніе насчетъ значенія этого слова. Собственность — это краеугольный камень всякаго благоустроеннаго общества-съ. Собственность — это объектъ, въ которомъ человѣческая личность находитъ наибудобнѣйшее для себя проявленіе-съ. Собственность — это та вещь, при несуществованіи которой человѣческое общество рисковало бы превратиться въ стадо дикихъ звѣрей-съ. Я полагаю, что для „дѣточекъ“ этихъ опредѣленій совершенно достаточно!

Сказавъ это, онъ, не торопясь, всталъ съ мѣста и вышелъ на палубу.

Усталый послѣ безсонной ночи, проведенной въ тарантасѣ, я прилежъ на диванъ, съ намѣреніемъ заснуть, но выполнить это намѣреніе не представлялось никакой возможности. Съ уходомъ адвоката, въ каютѣ сдѣлалось какъ-то вольнѣе, какъ будто отсутствіе его всемъ развязало языки.

— Ушелъ! — воскликнулъ одинъ изъ депутатовъ. — И чортъ его знаетъ... вотъ уже именно чортъ его знаетъ!!

— Необыкновенные нынче люди пошли, — отозвался другой депутатъ: — глаза у него словно свѣрла, языкъ суконный... что захочетъ, то на тебя и наплететъ!

— Долго ли наплести!

— Вотъ хоть бы сейчасъ. Говорилъ-это, говорилъ... Только-что вотъ уцѣпишься за что-нибудь — глядь, онъ опять, шельма, изъ рукъ выскочилъ!

— И какъ онъ это просто сказалъ: налогъ-дескать на ваше невѣжество! До сихъ поръ казна налоги собирала, а нынче, изволите видѣть, новые сборщики проявились!

— То-ли дѣло прежніе порядки! Придешь, бывало, къ секретарю, сунешь ему барашка въ бумажкѣ: плети, не торопись!

— А куда онъ плететъ — ты переѣзжай изъ усадьбы въ усадьбу!

— Нѣтъ, этотъ и изъ-за тридцать земель выколупаетъ! отъ него ни горами, ни морями — ничѣмъ не загородишься!

Съ своей стороны, педагогъ былъ неутѣшенъ.

— Теперича, каеэдра гражданскаго права... какъ тутъ учить! Какъ я скажу дѣточкамъ, что въ гражданскомъ процессѣ нѣтъ безотносительной истины! Вѣдь дѣточки — умныя! А какъ же, скажутъ, ты давеча говорилъ, что собственность есть краеугольный камень всякаго благоустроеннаго общества?!

Одинъ изъ заспанныхъ празднопатающихъ воспользовался этимъ смутнымъ настроеніемъ общества и, остановившись противъ педагога, сказалъ:

— Слушайте! давайте, ради Христа, въ преферансъ играть!

Педагогъ съ минуту колебался, но потомъ махнулъ рукой и согласился. Его примѣру слѣдовали и депутаты. Черезъ пять минутъ въ каютѣ были раскинуты два стола, за которыми шла игра, перемежаемая бесѣдой по душѣ.

— А вы слышали, что лекаръ-то нашъ женился?



— Не можетъ быть! неужто на предводительской французенкѣ?

— Вѣрно изволили угадать. Шестого числа у Петра Петровича въ Вороновѣ и свадьба была.

— Ну, едва ли однакожъ нашъ эскулапъ въ расчетѣ останется!

— Чего въ расчетѣ! Сразу такъ и разыгралъ пословицу: по усамъ текло, въ ротъ не попало!

— Чтò вы!

— Такая тутъ у насъ вышла исторія! такая исторія! Надо вамъ сказать, что еще за недѣлю передъ тѣмъ встрѣчаетъ меня Петръ Петровичъ въ городѣ и говоритъ: „пріѣзжай шестого числа въ Вороново, я Машу замужъ выдаю!“ Ну, я, знаете, изумился, потому ничего этакого не видно было...

— Помилуйте! какъ же не видно было! Да она съ эскулапомъ-то, говорить, ужъ давненько!..

— Говорятъ-то говорятъ, а кто видѣлъ? Конечно, можетъ быть, она и приголубливала его, но чтобы дойти до серьезнаго—ни-ни! Не такая это женщина, чтобы стала изъ-за пустого каприза вѣрнымъ положеніемъ рисковать. Ну-съ, такъ слушайте. Пріѣзжаю я передъ вечеромъ, а они ужъ и въ церковь совсѣмъ готовы. Да, надо вамъ, впрочемъ, сказать, что Петръ Петровичъ передъ этимъ въ нашу вѣру ее окрестилъ, чтобы послѣ, знаете, разговоровъ не было... Ну-съ, въ церковь... изъ церкви... шабашъ, значить! Въ десять часовъ ужинъ. Весела она, обольстительна—какъ никогда! Кружева, блонды, атласъ, брильянты; ну, думаю, кого-то ты, голубушка, будешь своими парюрами въ нашемъ городишкѣ прельщать? Хорошо. Не успѣли мы отужинать, а у нихъ ужъ и экипажи готовы: молодые — къ себѣ въ городъ, Петръ Петровичъ — въ Москву. И представьте, среди тостовъ, вдругъ встаетъ нашъ эскулапъ и провозглашаетъ: „господа! до сихъ поръ шли тосты, такъ сказать, официальные: теперь я предлагаю мой *личный*, задушевный тостъ: здоровье отъѣзжающаго!“ Это Петра Петровича-то!

— Отъѣзжающаго! ха-ха!

— Признаться, я тогда же подумалъ: не прогадай, mon cher! какъ бы не пришлось тебѣ пить за здоровье пріѣзжающаго... ну, да это такъ къ слову... Часовъ этакъ въ одиннадцать ушли молодые переодѣться на дорогу, и Петръ Петровичъ за ними слѣдомъ. Черезъ полчаса возвращается эскулапъ: щегольская жакетка, сумка черезъ плечо. Понимаете, весь костюмъ для него Петръ Петровичъ въ Москвѣ заказывалъ... Только сидимъ мы еще полчаса—ни Марьи Павловны, ни Петра Петровича! Ну, думаю, житейское дѣло: прощаются! Однако проходитъ и еще время: эскулапъ мой начинаетъ уже на часы поглядывать (Петръ Петровичъ ему великолѣпный хронометръ подарилъ)! Стало ужъ и мнѣ его жалко; я, знаете, спроста и говорю лакею: голубчикъ! попросилъ бы ты Петра Петровича къ намъ! „Да они, говоритъ, ужъ съ часъ времени съ Марьей Павловной въ Москву уѣхали“.

— Вотъ такъ случай!

— Ну, мы все, кто тутъ былъ—поскорѣе за шапки. А ужъ онъ какъ до города добрался—этого не умѣю сказать!

— Однакожъ!.. исторія!!

— И представьте, только тѣмъ и попользовался, что хронометръ да двѣ пары платья получилъ!

— А не дуракъ вѣдь!

— Какой же дуракъ! Какія въ нынѣшнемъ году, во время рекрутскаго набора, симфоніи разыгрывалъ — геніальнѣйшій человѣкъ-съ! А тутъ вотъ слѣпота нашла.

— Да, знаете, не мудрено и опростоволоситься-то. Вѣдь еслибъ онъ съ купцомъ дѣло имѣлъ, а то вѣдь Петръ Петровичъ... вѣдь благороднѣйшій человѣкъ-съ!

— Такъ-то такъ... слова нѣтъ; Петръ Петровичъ...

— Если онъ ему общалъ... положимъ, десять или пятнадцать тысячъ... ну, какимъ же образомъ онъ этакому человѣку вѣры не дастъ? Вотъ такъ исторія!! Ну, а скажите, вы послѣ этого видѣли эскулапа-то?

— Какъ же; встрѣтились. Ничего. „Погода, говоритъ, стоитъ холодная, прозябаніе развивается туго“...

— Это онъ, должно быть, еще въ Вороновъ наблюдалъ... ха-ха!

— Ха-ха... пожалуй! Ха-ха... пожалуй, что и такъ!

— Господа! что-нибудь одно: либо въ карты играть, либо анекдоты рассказывать! — тоскливо восклицаетъ одинъ изъ играющихъ: — пасть!

Нѣкоторое время въ каютѣ ничего не слышно, кромѣ: „пасть! куплю! мизеръ! семь!“ и т. д. Но мало-по-малу душевный разговоръ опять вступаетъ въ свои права.

— Впрочемъ я ужъ не разъ замѣчалъ, что какъ-то плохо расчеты-то эти удаются. Вотъ еще недавно въ Москвѣ съ княземъ Зубровымъ случай былъ...

— Какой это князь Зубровъ? что-то не слыхалъ такой фамиліи.

— Литовская-съ. Ихъ предокъ князь Зубръ, въ Литвѣ былъ — еще въ Бѣловѣжской пушѣ имѣніе у нихъ... Потомъ они возсоединились, и изъ Зубровъ сдѣлались Зубровыми, настоящими русскими. Только разорились они нынче, такъ что и Бѣловѣжскую-то пушу у нихъ въ казну отобрали... Ну-съ, такъ вотъ этотъ самый князь Андрей Зубровъ... Была въ Москвѣ одна барыня: сначала она въ арфисткахъ по трактирамъ пѣла, потомъ на воздержанье понала... Какъ баба однакожъ не глупая, скопила капитадецъ и открыла нумера...

— Позвольте! это не та ли, что въ гостинницѣ „Неаполь“ нумера снимаетъ? Варвара Ивановна!

— Ну, такъ-такъ-такъ! Она самая!

— И какъ до сихъ поръ сохранилась!

— Ничего, въ тѣлахъ барыня. Только какъ открыла она нумера, князь Зубровъ — въ ту пору онъ студентомъ былъ — и сталъ, знаете, около нея похаживать. То въ корридорѣ встрѣтится, помычить, то въ контору придеть — лбомъ въ нее уставится. Видитъ Варвара Ивановна, что дѣло подходящее: князь, молодой человѣкъ, статьи хорошія, образованный... стала его приголубливать. Только все, знаете, пустячками: рюмку водки изъ собственныхъ рукъ поднесетъ, бутербродцемъ попотчуетъ. Словомъ сказать, всякую аттенцію оказываетъ, а настоящаго дѣла не открываетъ. Задумался мой кня-



зекъ: въ настоящемъ ничего, въ будущемъ — еще того меньше. Женюсь! Разумѣется, главный расчетъ — деньги; женюсь, говорить, и буду съ деньгами отдыхать! Чтѣ жъ — и женился-съ! Только чтѣ бы вы думали? — отвела она ему нумеръ... ну, разумѣется, обѣдъ тамъ, чай, ужинъ, а денегъ — ни-ни! И такимъ манеромъ идетъ у нихъ и по сейчасъ! Ни его ни къ кому, ни къ нему никого! А себѣ, между прочимъ, независимо отъ сего, орденскаго драгуна завела! Такъ вотъ они каковы эти расчеты-то бываютъ!

— Ужъ очень, должно быть, простъ вашъ князекъ?

— Простъ-то простъ. Представьте себѣ, украдется какъ-нибудь тайкомъ въ общую залу, да и рассказываетъ, какъ его Бобоша обдѣлала! И такъ его многіе за эти рассказы полюбили, что даже потчуютъ. Кто пива бутылку спросить, кто графинчикъ, а кто и шампанскаго. Ну, а ей это на-руку: пускай, молъ, болтають, лишь бы вина больше пили! Я даже подозреваю, не съ ея ли вѣдома онъ и вылазки-то въ общую залу дѣлаетъ.

— Да, съ этими барынями... ой-ой, нужно ухо остро держать!

— Вотъ кабы векселя... это такъ! Тогда по крайней мѣрѣ въ уздѣ ее держать можно. Обмунштучилъ, знаете... пляши! Вотъ у меня сосѣдка, Бучерявина есть, такъ она все мужа водкой поила да векселя съ него брала. Набрала сколько ей нужно было, да и выгнала изъ имѣнія!

— Господа! сдѣлайте ваше одолженіе! мы въ карты играемъ! Держу семь въ бубнахъ!

— Позвольте-съ! двадцать-двѣ копѣйки выигралъ — и за карты долженъ платить! гдѣ же тутъ справедливость! — протестуетъ за другимъ столомъ педагогъ.

Начинается споръ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ. Я убѣждаюсь, что спать мнѣ не суждено, и отправляюсь вверхъ на палубу.

Восьмого половина; солнце уже низко; вѣтеръ крѣпчаетъ; колеса парохода мѣрно разбѣгаютъ мутныя волны рѣки; раздается тоекратный неистовый свистъ, возвѣщающій близость пристани. Виднѣется сѣренкій городишко, у котораго пароходъ долженъ, по положенію, имѣть полчасаовую остановку. Пассажиры третьяго класса какъ-то безнадежно слоняются по палубѣ, и между ними, накинувъ на плеча пледъ и заложивъ руки въ карманы пальто, крупными шагами расхаживаетъ адвокатъ.

— Вы въ Петербургъ? — спрашиваетъ онъ, подходя ко мнѣ.

— Да, въ Петербургъ.

— Я тоже. Чортъ знаетъ, какъ этотъ проклятый пароходъ тихо движется! Просто не знаешь, какъ убить время. А завтра еще въ Т. полсутокъ поѣзда дожидаться нужно.

— Вы бы въ карты... въ баятѣ играютъ ужъ...

— Ну ихъ! Я и то раскаиваюсь, что давеча погорячился. Пожалуй еще на шпиона наткнешься.

— Ну вотъ! еслибъ на всѣ пароходы шпионовъ посылать, такъ тутъ никакого бюджета бы не хватило!

— Нѣтъ, батенька, вы не знаете. У насъ тѣмъ-то и скверно, что добровольныхъ, бесплатныхъ шпионовъ не оберешься! А скажите, я давеча не проврался?

— Ничего, кажется, все какъ слѣдуетъ. А закончили даже отлично.

— Это насчетъ краугольныхъ камней-то? А что, развѣ вы не согласны?

— Помилуйте! что вы! да я на томъ стою! Въ „нашей уважаемой газетѣ“ я только объ этомъ и пишу!

— Да? такъ вы тоже писатель?

— Еще бы. Вотъ эти статьи, въ которыхъ говорится: „съ одной стороны должно признаться, хотя съ другой стороны нельзя не сознаться“ — это все мои!

— Такъ позвольте мнѣ рекомендовать себя: мы борцы одного и того же лагеря. Если вы читали статьи подъ названіемъ: „Еженедѣльные плевки въ пустопорожнее мѣсто“ — то это были мои статьи!

Мы обнялись. Быть можетъ, въ другомъ мѣстѣ мы не сдѣлали бы этого, но здѣсь, въ виду этого поганого городишка, въ средѣ этихъ людей, считающихъ лакомствомъ вяленую воблу, мы, забывъ всякій стыдъ, чувствовали себя далеко не шуточными дѣятелями русской земли. Хотя мы оба путешествовали по дѣламъ, отъ которыхъ зависитъ только нашъ личный интересъ, но въ то же время насъ ни на минуту не покидала мысль, что, кромѣ личныхъ интересовъ, у нашей жизни есть еще высшая цѣль, извѣстная подъ названіемъ „украшенія столбцовъ“. Онъ мечталъ о томъ, какъ бы новымъ „плевкомъ“ окончательно загадить пустопорожнее мѣсто, я же съ своей стороны обдумывалъ обременительнѣйшій рядъ статей, изъ которыхъ каждая начиналась бы словами: „съ одной стороны нужно признаться“ и оканчивалась бы словами: „объ этомъ мы поговоримъ въ другой разъ“...

Въ отличнѣйшемъ расположеніи духа мы воротились въ каюту. На одномъ столѣ игра еще продолжалась; кончившіе игру сидѣли тутъ же и наблюдали.

— Вы въ Т. ѣдете?—спросилъ педагогъ у одного изъ депутатовъ.

— Мы туда всѣ четверо по одному и тому же дѣлу.

— Къ господину губернатору?

— Да, депутаціей отъ уѣзда. Негодяй одинъ у насъ завелся. Собственности не признаетъ, надъ семействомъ издѣвается... такъ мы его пробрать хотимъ!

— И проберемъ-съ.

— Молодой человекъ?

— Какъ вамъ сказать... онъ у насъ мировымъ судьей служить. Да онъ здѣсь, съ нами же ѣдетъ, только во второмъ классѣ. Почуяла кошка, чье мясо съѣла—предупредить грозу хочеть! Да нѣшто ему: спѣши! поспѣшай! мы свое дѣло сдѣлаемъ!

— Пропаганда, стало быть, съ его стороны была!

— И пропаганда, и все — мы ужъ расскажемъ! Мы все какъ на картинѣ изобразимъ! Вотъ какъ придется ему холодные-то климанты посѣтить, кровь-то у него и поостынетъ!

Говоря это, депутатъ взялъ взятку и съ такимъ судорожнымъ движеніемъ щелкнулъ ею по столу, что даже изогнулъ карты.

— Ну, что! я вамъ говорилъ!—шопотомъ замѣтилъ мнѣ адвокатъ: —



каковъ народецъ! Кому-нибудь судья-то отказать, дѣло рѣшилъ не въ пользу —сейчасъ и донось! Повѣрьте мнѣ, батенька...

Но я уже не слушалъ: я какъ-то безучастно осматривался кругомъ. Въ глазахъ у меня мелькали огни разставленныхъ на столахъ свѣчей, засти- лаемые густымъ облакомъ дыма; въ ухахъ раздавались слова: „насъ“, „про- беремъ“, „не признаетъ собственности, семейства“... И въ то же время въ головѣ какъ-то назойливѣе обыкновеннаго стучала излюбленная фраза: „съ одной стороны должно сознаться, хотя съ другой стороны — нельзя не при- знаться“...

На другой день съ почтовымъ поѣздомъ я возвращался въ Петербургъ. Дорогой, я опять слышалъ „благодѣтельные рѣчи“, и мчался дальше и дальше, съ твердою надеждой, что и впредь, гдѣ бы я ни былъ, куда бы ни кинула меня судьба, всегда и вездѣ будутъ преслѣдовать меня *благодѣ- тельныя рѣчи*...

## IX. — По части женскаго вопроса.

Я возвращался съ вечера, на которомъ былъ свидѣтелемъ споровъ о такъ-называемомъ женскомъ вопросѣ. Говоря по совѣсти, это были впрочемъ не споры, а скорѣе обрывки всевозможныхъ предположеній, пожеланій и устремленій, откуда-то внезапно появившихся и куда-то столь же внезапно исчезавшихъ. Говорили всѣ вдругъ, говорили громко, стараясь перекричать другъ друга. Въ сознаниі не сохранилось ни одного ясно сформулированнаго вывода, но взаимно того передъ глазами такъ и мелькали живые образы спорящихъ. Вотъ кто-то вскакиваетъ и кричитъ крикомъ, захлебывается, жестикулируетъ, а рядомъ, какъ бы соревнуя, вскакиваютъ двое другихъ, и тоже начинаютъ захлебываться и жестикулировать. Вотъ четыре спорящія фигуры заняли середину комнаты и одновременно пропекаютъ другъ друга на перекрестномъ огнѣ восклицаній, а въ углу безнадежно выкрикиваетъ пѣкто пятый, котораго осаждаютъ еще трое ораторовъ и, буквально, не да- ютъ сказать слова. Всѣ глаза горять, всѣ руки въ движеніи, всѣ голоса на- дорваны и тянутъ какую-то недостижимо высокую ноту; во всѣхъ горлахъ пересохло. Среди моря гула слухъ поражаютъ фразы, скорѣе имѣющія видъ междометій, нежели фразъ.

— Хотъ бы позволили въ медико-хирургическую академію поступать! —восклицаютъ одни.

— Хотъ бы позволили университетскіе курсы слушать! —отзываются другіе.

— Не доказали ли телеграфистки? —убѣждаютъ третьи.

— Наконецъ, кассиры на желѣзныхъ дорогахъ, наборщицы въ типо- графіяхъ, сидѣлицы въ магазинахъ — все это не доказываетъ ли? —допраши- ваютъ четвертые.

И въ заключеніе склоненіе: — Суслова, Сусловой, Суслову, о, Суслова!  
и т. д.

Наконецъ, когда всѣ пожеланія были высказаны, когда исчерпались всѣ междометія, пренія упали сами собою, и всѣ стали расходиться. Въ числѣ прочихъ вышелъ и я, сопровождаемъ другомъ моимъ, Александромъ Петровичемъ Тебенковымъ.

Я либераль, а между „своими“ слышу даже „краснымъ“. „Наши дамы“, разумѣется въ шутку, но тѣмъ не менѣе такъ мило называютъ меня Гамбеттой, что я никакъ не могу сердиться на это. Скажу по секрету, названіе это мнѣ даже льститъ. Что жъ, думаю, Гамбетта такъ Гамбетта — не повѣсятъ же въ самомъ дѣлѣ за то, что я Гамбетта, переложенный на русскіе нравы! Не знаю, по какому поводу пришло ко мнѣ это прозвище, но предполагаю, что я обязанъ ему не столько революціонернымъ моимъ наклонностямъ, сколько тому, что съ измалѣтства сочувствую „благимъ начинаніямъ“. Въ сороковыхъ годахъ я съ увлеченіемъ аплодировалъ Грановскому и зачитывался статьями Бѣлинскаго. Въ срединѣ пятидесятихъ годовъ я помню одну ночь, которую я всю напролетъ прошагалъ по Невскому, и чувствовалъ, какъ все мое существо словно уноситъ куда-то высоко, на встрѣчу какой-то зарѣ, которую совершенно явственно видѣлъ мой умственный взоръ. Въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ я просто-на-просто ощущалъ, что подо мною горитъ земля. Я не жилъ въ то время, а рѣялъ и трепеталъ при звукахъ: „гласность“, „устность“, „свобода слова“, „вольный трудъ“, „независимость труда“ и т. д., которыми былъ полонъ тогдашній воздухъ. Въ довершеніе всего — я былъ мировымъ посредникомъ. Даже и нынѣ, когда все уже совершилось и желать больше нечего, я все-таки не прочь посочувствовать тѣмъ людямъ, которые продолжаютъ нѣчто желать. По старой привычкѣ, мнѣ все еще кажется, что во всякихъ желаніяхъ найдется хоть крупица чего-то подлежащаго удовлетворенію (особливо, если тщательно рассортировывать желанія настоящія, разумныя, отъ излишнихъ и неразумныхъ, какъ это дѣлаю я), и что если я люблю на досугѣ послушать, какія бываютъ на свѣтѣ вольныя мысли, то вѣдь это ни въ какомъ случаѣ никому и ничему повредить не можетъ. Вѣдь я не выхожу съ оружіемъ рукахъ! Вѣдь я люблю вольныя мысли лишь постольку, поскольку онѣ представляютъ *matière à discussion*! Будемте спорить, господа! *raisonnons, messieurs, raisonnons!* Но чтобы, съ Божьею помощію, выйти съ вольными мыслями куда-нибудь на площадь... Нѣтъ, это ужъ позвольте, господа! — Это запрещено-съ!

А такъ какъ „наши дамы“ знаютъ мои мирныя наклонности и такъ какъ онѣ очень добры, то прозвище „Гамбетта“ звучитъ въ ихъ устахъ скорѣе ласково, чѣмъ сердито. Къ тому же, быть можетъ, и домашніе Руэры нѣсколько понадоѣли имъ, такъ что въ Гамбеттѣ онѣ подозреваютъ что-нибудь болѣе пикантное. Какъ бы то ни было, но наши дамы всегда спѣшатъ взять меня подъ свое покровительство, какъ только услышатъ, что на меня начинаютъ нападать. Такъ что когда однажды князь Левъ Кирилычъ, выслушавъ одну изъ моихъ „благоначинательныхъ“ діатрибъ, воскликнулъ: — Вы, мой любезнѣйшій другъ — человѣкъ очень добрый, но



никогда никакой карьеры не достигнете! Потому что вы есть „красный“! — то княгиня Наталья Борисовна очень мило заступилась за меня, сказавъ:

— *Ce pauvre Gambetta! Il est dit qu'il restera toujours méconnu et calomnié! Et il ne deviendra ni sénateur, ni membre du Conseil de l'Empire!*

Однимъ словомъ, я представляю собой то, что въ нашемъ кружкѣ называютъ „un libéral très prononcé“, или, говоря другими словами, я человекъ, котораго никто никогда не слушаетъ и которому, еслибъ онъ сунулся къ кому-нибудь съ совѣтомъ, безцеремонно отвѣтили бы: „mon cher, vous digagez!“ И я сознаю это; я понимаю, что я неспособенъ, и что въ мнѣнии моемъ дѣйствительно никому существенной надобности не предстоитъ. Такъ что однажды, когда два дурака, изъ породы умѣренныхъ либераловъ (то-есть, два такіе дурака, о которыхъ даже пословица говоритъ: „два дурака сѣдуются—инно лошади одурѣютъ“), при мнѣ вели между собой одушевленный обмѣнъ мыслей о томъ, слѣдуетъ ли или не слѣдуетъ принять за благопріятный признакъ для судебной реформы то обстоятельство, что тайный совѣтникъ Проказниковъ не получилъ къ празднику никакой награды, то одинъ изъ нихъ, видя, что и я горю нетерпѣніемъ посодѣйствовать разрѣшенію этого вопроса, просто-на-просто сказалъ мнѣ: „mon cher! ты можешь только запутать, помѣшать, но не разрѣшить!“ И я не только не обидѣлся этимъ, но простодушно отвѣтилъ: — да, я могу только запутать, а не разрѣшить! — и скромно удалился, оставивъ дураковъ переливать изъ пустого въ порожнее на всей ихъ волѣ...

Но какъ ни велико мое сочувствіе благимъ начинаніямъ, я не могу выносить шума; я страдаю, когда въ ухахъ моихъ раздается крикъ. Я росъ и воспитывался въ такой средѣ, гдѣ такъ-называемыя „рѣзкости“ считаются первымъ признакомъ неблаговоспитанности. Поэтому, когда передо мной начинаютъ „шумѣть“, мнѣ дѣлается не по себѣ, и я способенъ даже потерять изъ вида предметъ, по поводу котораго производится „шумъ“. Случалось, что я отворачивался отъ многихъ „благихъ начинаній“, къ которымъ я несомнѣнно отнесся бы благосклонно, еслибъ не примѣшались тутъ „шумъ“ и „рѣзкости“. „Помилуйте!—говорю я:—развѣ можно имѣть дѣло съ людьми, у которыхъ губы дрожатъ, глаза выпучены и руки вертятся какъ крылья у мельницы? Съ людьми, которые не демонстрируютъ, а кричатъ? Сядемте, господа! будемте разговаривать спокойно! сперва пусть одинъ скажетъ, потомъ другой пусть выскажется, послѣ него третій и т. д. Тогда я, конечно, готовъ и выслушать, и взвѣсить, и сообразить, а ежели окажется возможнымъ и своевременнымъ... отчего же и не посочувствовать! Но вы хотите кричать на меня! вы хотите палить въ меня, какъ изъ пушки—ну, нѣтъ-съ, на это я не согласенъ!“

А такъ какъ только-что проведенный вечеръ былъ отъ начала до конца явнымъ опроверженіемъ той теоріи поочередныхъ высказовъ, которую я, какъ либераль и притомъ „красный“, считаю необходимымъ условіемъ истиннаго прогресса, то очевидно, что впечатлѣніе, произведенное на меня всѣмъ слышаннымъ и видѣннымъ, не могло быть особенно благопріятнымъ.

Но еще болѣе неблагопріятно подѣйствовалъ вечеръ на друга моего Тебенькова. Онъ, который обыкновенно бывалъ словоохотливъ до болтливости,

въ настоящую минуту угрюмо запахивался въ шубу, и лишь изрѣдка, изъ-подъ воротника, разрѣшался афоризмами, въ родѣ: „*Quel taudis! Tudieu, quel exécrable taudis!*“ или „*ah! pour l’amour du ciel! où me suis-je donc fourré!*“ и т. д.

Тебеньковъ — тоже либераль, хотя, разумѣется, не такой красный, какъ я. Я — Гамбетта, то-есть человѣкъ отпѣтый и не признающій ничего святого (не понимаю, какъ только земля меня носитъ!). „Наши давно махнули на меня рукой, да и я самъ, признаться, начинаю подозрѣвать, что двери сената и государственнаго совѣта заперты для меня навсегда. Я могъ бы еще поправить свою репутацию (да и то едва-ли!), написавъ, на примѣръ, вторую „Парашу Сибирячку“ или что-нибудь въ родѣ: „Съ бѣлыми Борей власами“, но, во-первыхъ, все это ужъ написано, а во-вторыхъ, къ моему несчастію, въ послѣднее время меня до того одолѣла оффенбаховская музыка, что какъ только я размахнусь, чтобъ изобразить монологъ „Неизвѣстнаго“ (воображаемый монологъ этотъ начинается такъ: „И я могъ усомниться! О, судебная реформа! о, земскія учрежденія! И я могъ недоумѣвать!“) или — что одно и тоже — какъ только приступлю къ написанію передовой статьи для „Старѣйшей Россійской Пѣнокосимательницы“ (статья эта начинается такъ: „Есть люди, которые не прочь усомниться даже передъ такими безспорными фактами, какъ на примѣръ судебная реформа и наши все еще молодыя, все еще неокрѣпшія, но тѣмъ не менѣе чреватые благими начинаніями земскія учрежденія“, и т. д.), такъ сейчасъ, словно буря, въ мою голову вторгаются совсѣмъ неподходящіе стихи:

*Je suis gai!  
Soyez gais!  
Il le faut!  
Je le veux!*

И далѣе я уже продолжать не могу, а прямо бѣгу къ фортепьяно и извлекаю изъ клавишъ цѣлое море веселыхъ звуковъ, которое сразу поглощаетъ всѣ горькія напоминанія о необходимости монологовъ и передовыхъ статей...

Совсѣмъ другое дѣло — Тебеньковъ. Во-первыхъ, онъ, какъ говорится, *toujours à cheval sur les principes*; во-вторыхъ, не прочь отъ „святого“ и выражается о немъ такъ: „*convenez cependant, mon cher, qu’il y a quelque chose, que notre pauvre raison refuse d’approfondir*“, и въ-третьихъ, пишетъ и монологи, и передовыя статьи столь неослабно, что никакой Оффенбахъ не въ силахъ заставить его положить оружіе, покуда существуетъ хоть одинъ несраженный врагъ. Поэтому, хотя онъ въ настоящую минуту и не у дѣлъ, но считаетъ карьеру свою далеко не оконченною, и когда проѣзжаетъ мимо сената, то всегда хоть однимъ глазкомъ да поглядитъ на него. Въ сущности онъ даже не либераль, а фрондёръ, или, выражаясь иначе: почитательно, но съ независимымъ видомъ лающій русскій человѣкъ.

Происхожденіе его либерализма самое обыкновенное. Кто-то когда-то съдѣлалъ что-то не совсѣмъ такъ, какъ онъ имѣлъ честь почительнѣйше полагать. По настоящему, ему тогда же слѣдовало, не конфузясь, объяснить недоразумѣніе и возразить: „да я именно, ваше превосходительство, такъ и



имѣлъ честь почтительнѣйше полагать!“ — но, къ несчастію, обстоятельства какъ-то такъ сложились, что онъ не успѣлъ ни назадъ отступить, ни броситься въ сторону, да такъ и остался съ почтительнѣйшимъ докладомъ на устахъ. Вотъ съ этихъ поръ онъ и держитъ себя особнякомъ и не безъ дерзости доказываетъ, что еслибъ вотъ тутъ на вершокъ убавить, а тамъ на вершокъ прибавить (именно какъ онъ въ то время имѣлъ наглость почтительнѣйше полагать), то все было бы хорошо и ничего бы этого не было. Но въ то же время онъ малый зоркій и очень хорошо понимаетъ, что будущее еще не ускользнуло отъ него.

— Я теперь въ загонѣ, *mon cher*, — откровенничаетъ онъ иногда со мной: — я въ загонѣ, потому что вѣтеръ дуетъ не съ той стороны. Теперь — честь и мѣсто князю Ивану Семенычу: *c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tant qu'il reste là, je m'éclipse — et tout est dit.* Но это не можетъ продолжаться. *Cette bagarre gouvernementale ne saurait durer.* Придетъ минута, когда вопросъ о князѣ Львѣ Кирилъчѣ самъ собою, такъ сказать, силою вещей, выдвинется впередъ. И тогда...

Дойдя до этого „тогда“, онъ скромно умолкаетъ, но я очень хорошо понимаю, что „тогда“ — то именно и должно наступить царство того серьезнаго либерализма, который понемножку да помаленьку, съ Божьею помощію, выдастъ сто-одинъ томъ „Трудовъ“, съ таковымъ притомъ заключеніемъ, чтобы всѣмъ участвовавшимъ въ „Трудахъ“, въ вознагражденіе за рвеніе и примѣрную твердость спинного хребта, дать въ вѣчное и потомственное владѣніе хоть по одной половинѣ уѣзда въ плодороднѣйшей полосѣ Россійской Имперіи и затѣмъ уже всякій либерализмъ навсегда прекратить.

За всѣмъ тѣмъ онъ человѣкъ добрый или, лучше сказать, мягкій, и тѣ вершки, которые онъ предлагаетъ здѣсь убавить, а тамъ прибавить, всегда свидѣтельствуютъ скорѣе о благосклонномъ отношеніи къ жизни, нежели объ ожесточеніи. Выраженія: согнуть въ бараній рогъ, стереть съ лица земли, вырвать вонъ съ корнемъ, зашвырнуть туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ — никогда не принимались имъ серьезно. По нуждѣ онъ, конечно, терпѣлъ ихъ, но никакъ не могъ допустить, чтобы они могли служить выраженіемъ какой бы то ни было административной системы. Онъ былъ убѣжденъ, что даже въ простомъ разговорѣ нелишне ихъ избѣгать, чтобы какъ-нибудь по ошибкѣ, вслѣдствіе несчастнаго *lapsus linguae*, въ самомъ дѣлѣ кого-нибудь не согнуть въ бараній рогъ. Первая размолвка его съ княземъ Иваномъ Семенычемъ (сначала они нѣкоторое время служили вмѣстѣ) произошла именно по поводу этого выраженія. Князь утверждалъ, что „этихъ людей, *mon cher*, непременно надобно гнуть въ бараній рогъ“; Тебеньковъ же имѣлъ смѣлость почтительнѣйше полагать, что самое выраженіе: „гнуть въ бараній рогъ“ — *est une expression de nationalgarde, à peu près vide de sens.*

— Смѣю думать, ваше сіятельство, — доложилъ онъ: — что и заблуждающійся человѣкъ можетъ отъ времени до времени что-нибудь полезное сдѣлать, потому что заблужденія не такая же специальность, чтобы человѣкъ только и дѣлалъ всю жизнь, что заблуждался. Франклинъ, напримѣръ, имѣлъ очень многія и очень вредныя заблужденія, но по прочему по всему и онъ

былъ человѣкъ небезполезный. Стало быть, еслибъ его въ то время взять и согнуть въ бараній рогъ, то хотя бы онъ и прекратилъ по этому случаю свои заблужденія, но, съ другой стороны, и полезнаго ничего бы не совершилъ!

Выслушавъ это, князь обрубилъ разомъ. Онъ всталъ и поклонился съ такимъ видомъ, что Тебенькову тоже ничего другого не оставалось, какъ въ свою очередь встать, почтительно расшаркаться и выйти изъ кабинета. Но оба вынесли изъ этого случая надлежащее для себя поученіе. Князь написалъ на бумажкѣ: „Франклинъ — имѣть въ виду, какъ одного изъ главныхъ зачинщиковъ и возмутителей“; Тебеньковъ же, воротясь домой, тоже записалъ: „Франклинъ — имѣть въ виду, дабы на будущее время избѣгать разговоровъ объ немъ“.

Такимъ образомъ Тебеньковъ очутился за предѣлами жизненнаго пира и началъ фрондировать. Съ этихъ поръ репутація его, какъ либерала, дотолѣ мало замѣтная, утвердилась на незыблемомъ основаніи. Идетъ ли рѣчь о женскомъ образованіи — Тебеньковъ тутъ какъ тутъ; напишетъ ли кто статью о преимуществахъ реального образованія передъ классическимъ — прежде всего спѣшитъ прочесть ее Тебенькову; задумается ли кто-нибудь о средствахъ къ устраненію чумы рогатаго скота — идетъ и передъ Тебеньковымъ изливаетъ душу свою. Народныя чтенія, читальни, изданіе дешевыхъ книгъ, распространеніе въ народѣ здравыхъ понятій о томъ, что ученье свѣтъ, а неученье тьма — вездѣ сѣмѣлъ пріютиться Тебеньковъ и во всемъ даетъ чувствовать о своемъ присутствіи. Здѣсь скажетъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ, тамъ — подаритъ десятирублевую бумажку. И вмѣстѣ съ тѣмъ добръ, ну, такъ добръ, что я самъ однажды видѣлъ, какъ одна нигилисточка трепала его за бакенбарды, и онъ ни однимъ движеніемъ не далъ почувствовать, что это его беспокоитъ. Словомъ сказать, человѣкъ хоть куда, и я даже очень многихъ знаю, которые обращаютъ къ нему свои взоры съ гораздо болѣею надеждою, нежели ко мнѣ...

Но, подобно мнѣ, Тебеньковъ не выноситъ „шума“ и „рѣзкостей“.

— Зачѣмъ онъ такъ кричать! à quoi mènent toutes ces crudités! — жалуется онъ иногда: — зачѣмъ онъ привскакиваютъ, когда говорятъ? Премиленькія — а вотъ этого не понимаютъ, что надобно, чтобъ сперва одинъ высказался, потомъ другой бы представилъ свои соображенія, потомъ третій бы присовокупилъ... право! И какіе у нихъ голоса — точь-въ-точь, какъ у актрисъ въ Александринкѣ! Тоненькіе — вотъ какъ булавка! Послушай, напримеръ, какъ Паскà говоритъ — вотъ это глосось! А наши — ну, ни дать, ни взять, шавочки: амъ-амъ-амъ! — хоть ты что хочешь, ничего не разберешь!

И такъ, мы возвращались домой. Покуда я вдыхалъ всѣми легкими свѣжій воздухъ начинающейся зимы, мнѣ припоминались тѣ „кабы позволили“ да „когда же, наконецъ, позволятъ“, которыя въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ преслѣдовали мой слухъ.

Мнѣ казалось, что я цѣлый вечеръ видѣлъ передъ собой человѣка, который зашелъ въ безконечный, темный и извилистый корридоръ, и ждетъ чуда, которое вывело бы его оттуда. Съ одной стороны, его терзаетъ мысль: а что, если мнѣ всю жизнь суждено бродить по этому корридору? Съ другой — стремленіе увидѣть свѣтъ само по себѣ такъ настоятельно, что оно, даже



въ виду полнѣйшей безнадежности, нѣтъ-нѣтъ, да и подскажетъ: а вотъ, погоди, упадутъ стѣны по обѣ стороны корридора, или снесетъ маніемъ волшебства потолокъ, и тогда...

Я знаю, что въ корридоры никто собственно охотой не заходитъ; я знаю, что есть корридоры обязательные, которые самою судьбою устраиваются въ виду извѣстныхъ вопросовъ; но положеніе человѣка, поставленнаго въ необходимость блуждать и колебаться между страхомъ гибели и надеждой на чудесное паденіе стѣнъ, отъ этого отнюдь не дѣлается болѣе яснымъ. Это все-таки положеніе человѣка, котораго умъ поглощенъ не дѣйствительнымъ предметомъ извѣстныхъ и ясно сознанныхъ стремленій, а тѣми несносными околичностями, которыя Богъ вѣсть откуда легли на пути и ни на волосъ не приближаютъ къ цѣли.

— Такого рода именно положеніе совершенно отчетливо рисовалось мнѣ по срединѣ этихъ безпрестанно повторявшихся двухъ фразъ, изъ которыхъ одна гласила: „неужли-жъ, наконецъ, не позволять?“ а другая: „а что, если не позволять?“

„Что, ежели позволять?“ думалось, въ свою очередь, и мнѣ... „Вѣдь начальство—оно снисходительно; оно, чего добраго, все позволить, лишь бы ничего изъ этого не вышло. Что тогда будетъ? Будутъ ли онѣ усердны въ исполненіи лежащихъ на нихъ обязанностей? — Конечно, будутъ, ибо не доказываютъ ли телеграфистки? Окажутъ ли себя способными охранять казенный интересъ? — Конечно, окажутъ, ибо не доказываютъ ли кассирши на желѣзныхъ дорогахъ?“

Въ моихъ глазахъ это было такъ ясно, что, еслибъ зависѣло отъ меня, я, конечно, ни одной минуты не колебался бы: я бы позволилъ...

Скажите, какой вредъ можетъ произойти отъ того, что въ Петербургѣ, а быть можетъ и въ Москвѣ явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдушихъ казенный интересъ? — Женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобы восклицать: „*bonjour, chère mignonne!*“ какое вчера на *princesse N.* платье было!“ будутъ говорить: „а что, *mesdames*, не составить ли намъ компанію для защиты Мясниковаго дѣла?“

Какая опасность можетъ предстоять для общества отъ того, что женщины желаютъ учиться, стремятся посѣщать медико-хирургическую академію, слушать университетскіе курсы? Допустимъ даже самый невыгодный исходъ этого дѣла: что онѣ *ничему* не научатся и потратятъ время *задаромъ*—все-таки, спрашивается: кому отъ этого вредъ? Кто пострадаетъ отъ того, что онѣ *задаромъ* проведутъ свое и безъ того даровое время?

Какъ ни повертывайте эти вопросы, съ какими іезуитскими приемами ни подходите къ нимъ, а отвѣтъ все-таки будетъ одинъ: нѣтъ, ни вреда, ни опасности не предвидится никакихъ... За что же это жестокое осужденіе на безсрочное блужданіе въ корридорѣ, которое, представляя собою фактъ безпричинной нетерпимости, служить, кромѣ того, источникомъ „шума“ и „рѣзкостей“?

Я знаю, многіе полагаютъ, будто женская работа не можетъ быть такъ чиста, какъ мужская. Но, во-первыхъ, мы этого еще не знаемъ. Мы даже

приблизительно не можемъ опредѣлить, какимъ образомъ женщина обработала бы, напимѣръ, Мясникова дѣло, и не чище ли была бы ея работа противъ той мужской, которую мы знаемъ. Во-вторыхъ, мы забываемъ, что опредѣленіе степени чистоты работы должно быть вполнѣ предоставлено давальцамъ; не станетъ женщина чисто работать — растеряетъ давальцевъ. Въ-третьихъ, наконецъ, не напрасно же сложилась на міру пословица: не боги горшки обжигаютъ, а чѣмъ же, кромѣ „обжиганія горшковъ“, занимается современный русскій человѣкъ, къ какому бы онъ полу или возрасту ни принадлежалъ?

Я знаю другихъ, которые не столько опасаются за чистоту работы, сколько за „возможность увлеченій“. Но эти опасенія ужъ просто не выдерживаютъ никакой критики. Что женщина охотно увлекается — это правда, но не менѣе правда и то, что она всегда увлекается въ извѣстныхъ границахъ. Начертивъ себѣ эти границы, она все пространство, въ нихъ заключающееся, наполнитъ благороднымъ энтузіазмомъ, но только *это* пространство — ни больше, ни меньше. Она извлечетъ весь сокъ изъ даннаго „позволенія“, но извлечетъ его лишь въ предѣлахъ самаго *позволенія* — и отнюдь не дальше. Если даже мужчина способенъ упереться лбомъ въ уставы судопроизводства и не идти никуда дальше, то женщина упрется въ нихъ тѣмъ съ бѣльшимъ упоеніемъ, что для нея это дѣло вновь. Она и дома, и на улицѣ будетъ декламировать: „Кто похититъ или съ злымъ умысломъ повредить или истребить „... и ежели вы прервете ее вопросомъ: какъ здоровье мамы? — то она нѣскоро отвѣтитъ (словно отъ мухи отмахнется): „благодарю васъ“, и затѣмъ опять задекламируетъ: „если влѣдствіе составленія кѣмъ-либо подложнаго указа, постановленія, опредѣленія, предписанія или иной бумаги“ и т. д.

Нѣтъ, какъ хотите, а я бы позволилъ. Ужъ одно то, что онѣ будутъ у дѣла, и слѣдовательно не останется повода ни для „шума“, ни для „рѣзкостей“ — одно это представило бы для меня несомнѣнное основаніе, чтобы не медлить разрѣшеніемъ. Но, кромѣ того, я увѣренъ, что тутъ-то именно, то-есть въ средѣ женщинъ, которымъ *позволено*, я и нашелъ бы для себя настоящую опору, настоящихъ столбовъ. Не спору, есть много столбовъ и между мужчинами, но, ради Бога, развѣ мужчина можетъ быть настоящимъ, то-есть пламеннымъ, исполненнымъ энтузіазма столбомъ?! Нѣтъ, онъ и на это занятіе смотритъ равнодушно, ибо знаетъ, что оно ему разрѣшено искони и что никто его права быть столбомъ не оспариваетъ. То-ли дѣло столбъ, который еще самъ хорошенько не знаетъ, столбъ онъ или нѣтъ, и потому пламенѣетъ, славословитъ и изъявляетъ желаніе сложить свою жизнь! И за что готовъ сложить жизнь? за то только, что ему „позволено“ быть столбомъ наравнѣ съ мужчинами!

Ну, просто, позволилъ бы — и дѣлу конецъ!

Разумѣется, еслибы меня спросили, достигнется ли черезъ это „позволеніе“ разрѣшеніе такъ-называемаго „женскаго вопроса“, я отвѣтилъ бы: не знаю, ибо это не мое дѣло.

Еслибы меня спросили, подвинется ли хоть на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣчный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество — я отвѣтилъ бы: опять-таки, это не мое дѣло.



Но потому-то именно я, кажется, даже еще охотнѣе позволилъ бы. Какъ либераль, какъ русскій Гамбетта, я люблю, чтобъ вопросы стояли особняками, каждый въ своихъ собственныхъ границахъ, и смотрю съ нетерпѣніемъ, когда они слишкомъ цѣпляются другъ за друга. Я представляю себѣ, что я начальникъ (опять-таки, какъ русскій Гамбетта, я не могу представить себѣ, чтобъ у какого бы то ни было вопроса не имѣлось подлежащаго начальника) и что нѣсколько десятковъ женщинъ являются утруждать меня по части улучшенія женскаго быта. Прежде всего, какъ *galant homme*, я принимаю ихъ съ утонченною вѣжливостью (я настолько благовоспитанъ, что во всякой женщинѣ вижу женщину, а не кобылицу изъ татар-сала).

— *Mesdames! charmé de vous voir!* чѣмъ могу быть полезенъ? — спрашиваю я.

— Намъ хотѣлось бы посѣщать университетскіе курсы, ваше превосходительство.

— Прекрасно-съ. Сядемте и будемте обсуждать предметъ вашихъ желаній со всѣхъ сторонъ. Но прежде всего прошу васъ: будемте обсуждать именно тотъ вопросъ, по поводу котораго вы удостоили меня посѣщеніемъ. Остережемся отъ набѣговъ въ область другихъ вопросовъ, ибо наше время не время широкихъ задачъ. Будемъ скромны, *mesdames!* Не станемъ расплываться! И такъ, вы говорите, что вамъ угодно посѣщать университетскіе курсы?

— Точно такъ, ваше превосходительство.

— Извольте-съ. Я готовъ дать соотвѣтствующее по сему предмету предписаніе. (Я звоню; на мой призывъ прибѣгаетъ мой главный подчиненный.) Ваше превосходительство! потрудитесь сдѣлать надлежащее распоряженіе о допущеніи русскихъ дамъ къ слушанію университетскихъ курсовъ! И такъ, сударыни, по надлежащемъ и всестороннемъ обсужденіи, ваше желаніе удовлетворено; но я надѣюсь, что вы воспользуетесь даннымъ вамъ разрѣшеніемъ не для того, чтобы сѣять сѣмена революцій, а для того, чтобы оправдать доброе мнѣніе объ васъ начальства.

— Рады стараться, ваше превосходительство!

— Вы рады, а я въ восторгѣ-съ. Я всегда и вездѣ говорилъ, что вы скромны. Вы по природѣ переводчицы — я это знаю. Поэтому я всѣхъ, всегда и вездѣ убѣждалъ: господа! дадимте имъ книжку — пусть смотрятъ въ нее! Не правда ли, *mesdames!*

— Точно такъ, ваше превосходительство!

И еслибъ въ это время отдѣлился какой-нибудь робкій голосъ, чтобъ замѣтить: „Но женскій вопросъ, ваше превосходительство“... — я сейчасъ же остановилъ бы возражательницу, сказавъ ей:

— Позвольте-съ. Мы условились не выходить изъ предѣловъ вопроса, подлежащаго нашему обсужденію, а вопросъ этотъ таковъ: предоставить женщинамъ посѣщать университетскіе курсы. Вы скажете, можетъ быть, что кромѣ этого есть еще много другихъ, не менѣе важныхъ вопросовъ — я знаю это, милостивыя государыни! Я знаю, что вопросовъ существуетъ больше, чѣмъ нужно. Но знаю также, что всякому вопросу свой чередъ — да-съ! Впослѣд-

ствій, идя постепенно, потихоньку да помаленьку, исподволь да не торопясь, мы, съ Божьею помощію, всѣ ихъ по очереди переберемъ, а быть можетъ по каждому издадимъ сто-одинъ томъ „Трудовъ“; но теперь мы должны проникнуться убѣжденіемъ, что намъ слѣдуетъ глядѣть въ одну точку, а не во множество-съ. Вы желаете посѣщать университетскіе курсы — я удовлетворилъ вашему желанію! Затѣмъ я больше не имѣю причинъ васъ задерживать, mesdames! Прощайте, и Богъ да просвѣтитъ сердца ваши!

И только. Въ результатѣ оказалось бы, что я позволилъ бы женщинамъ учиться, что допустилъ бы ихъ въ званіе стенографистокъ и что, въ то же время, съ Божьею помощію, на долгое время эскамотировалъ „женскій вопросъ“!

Такъ было бы, еслибъ я „позволилъ“...

„Но еслибъ я не позволилъ?“ — мелькнуло у меня въ головѣ. „Что было бы тогда?“

Да очень ясно, что было бы! Было бы то, что есть и теперь, а именно, что въ качествѣ либерала и русскаго Гамбетты я былъ бы обязанъ ходить по „умнымъ вечерамъ“ и выслушивать безнадежныя: „ахъ, кабы позволили!“ да „не доказали ли телеграфистки?“ и т. д.

Конечно, и „позволь“ я, и „не позволь“ — ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ общественное спокойствіе не было бы нарушено; но развѣ это достаточный резонъ, чтобы непремѣнно не дозволить? Ужели же перспектива пріобрѣсти либеральную репутацію имѣетъ въ себѣ такъ мало заманчиваго, чтобы предпочитать ей перспективы, обѣщаемыя хладнымъ и безплоднымъ восклицаніемъ: „цыцъ!“?

Но въ эту минуту размышленія мои были прерваны восклицаніемъ Тебенькова:

— Какіе, однако, это неблагонамѣренные люди!

Признаюсь, со стороны Тебенькова высказъ этотъ былъ такъ неожиданъ, что я нѣкоторое время стоялъ молча, словно ошибенный.

— Тебеньковъ! ты! либераль! и ты это говоришь! --наконецъ произнесъ я.

— Да, я. Я либераль, mais entendons-nous, mon cher. Въ обществѣ я, конечно, не высказалъ бы этого мнѣнія; но не высказалъ бы его именно только потому, что я представитель русскаго либерализма. Какъ либераль, я ни въ какомъ случаѣ не могу допустить аркебузирования ни въ видѣ частной мѣры, ни въ видѣ общаго мѣропріятія. Но внутренно я все-таки долженъ сказать себѣ: да, это люди неблагонамѣренные!

— Но что же тебя такъ поразило во всемъ, что мы слышали?

— Все! и эта дерзкая назойливость (ces messieurs et ces dames ne demandent pas, ils commandent!), и это полу-презрительное отношеніе къ авторитету благоразумія и опытности, и наконецъ это поруганіе всего, что есть для женщины драгоцѣннаго и святого! Все!

— Надъ чѣмъ же поруганіе, однакожъ?

— Надъ женскимъ стыдомъ, сударь! Если ты не хочешь понимать этого, то я могу тебѣ объяснить: надъ женскою стыдливостію! надъ цѣломудріемъ женскаго чувства! надъ этимъ милымъ невѣдѣніемъ, ce je ne sais quoi, cette



saveur de l'innocence, которыя душистымъ ореоломъ окружають женщину! Вотъ надъ чѣмъ поруганіе!

Я зналъ, что для Тебенъкова всего дороже въ женщинѣ—ея невѣдѣніе, и что онъ стоитъ на этой почвѣ тѣмъ болѣе твердо, что она уже составила ему репутацію въ глазахъ „нашихъ дамъ“. Поэтому я даже не пытался возражать ему на этомъ пунктѣ.

— Страшно!—продолжалъ онъ между тѣмъ:—не за *нихъ* страшно (*les pauvres, elles ont l'air si content en débitant leurs mesquineries, qu'il serait inutile de les plaindre!*), но за *женщину*!

— Позволь, душа моя! Если ты всего больше цѣнишь въ женщинѣ ея невѣжество...

— Не невѣжество-съ, mais cette pieuse ignorance, ce délicieux parfum d'innocence qui fait de la femme le chef d'oeuvre de la création! Вотъ чтò-съ!

— Ну, хорошо, не будемъ спорить. Но, все-таки, гдѣ же ты видишь неблагонамѣренность?

— Вездѣ-съ. По вашему, подкапываться подъ драгоцѣннѣйшее достояніе женщины --- это благонамѣренность? По вашему, топтать въ грязь авторитеты, подкапываться подъ священнѣйшія основы общества — это благонамѣренность? Ces gens... эти люди... ces gens, qui traînent la femme dans la fange... по вашему, они благонамѣренны? Поздравляю-съ.

— Да, но вѣдь это еще вопросъ: чтò собственно составляетъ „драгоцѣннѣйшее достояніе“ женщины?

— Нѣтъ-съ, это не вопросъ. На этотъ счетъ сомнѣнія непозволительны-съ!

Сказавъ это, Тебенъковъ взглянулъ на меня такъ строго, что я счелъ нелишнимъ умолкнуть. Увы! наше время такъ грозно насчетъ „принципій“, что даже узы самой испытанной дружбы не гарантируютъ человѣка отъ вторженія въ его жизнь выраженій въ родѣ „неблагонадежнаго элемента“, „сторонника выдохшагося радикализма“ и проч. Тебенъковъ уже измѣнилъ „ты“ на „вы“—кто же могъ поручиться, что онъ вдругъ, въ виду городского (не съ намѣреніемъ, конечно, а такъ, невзначай), не начнетъ обличать меня въ безвѣріи и поправіи авторитетовъ? Долгое время мы шли молча, и я другого ничего не слышалъ, кромѣ того какъ изъ взволнованной груди моего друга вылетало негодующее фырканье.

— Нѣтъ, ты замѣть!—наконецъ произноситъ онъ, опять измѣняя „вы“ на „ты“:—замѣть, какъ *она* это сказала: „а вы, говорить, милый старецъ, и до сихъ поръ думаете, что Ева изъ Адамова ребра выскочила?“... И изъ-за чего она меня огорошила? Изъ-за того только, что я осмѣлился выразиться, что съ одной стороны исторія, а съ другой стороны священное писаніе... Ah, sapristi! Les gueuses!

— Но вѣдь это, наконецъ, твои личные счеты, мой другъ...

— А эта... маленькая... — продолжалъ онъ, не слушая меня:—эта... въ буколькахъ! Замѣтилъ ты, какъ она подсакивала! „Подчиненность женщины... я говорю, подчиненность женщины... если, съ другой стороны, муж-

чины... если, какъ говоритъ Милль, вѣковой деспотизмъ мужчинъ "... Au nom de Dieu!

— Но скажи, гдѣ же все-таки тутъ неблагонамѣренность?

— Это дерзость-сь, а дерзость есть уже неблагонамѣренность. „Женщина порабощена“! Женщина! этотъ живой олимпіамъ! эта живая молитва чело-вѣка къ Богу! Она — „порабощена“! Кто имъ это сказалъ? Кто позволилъ имъ это говорить?

— Стало быть ты, просто-на-просто не признаешь женскаго вопроса?

— Нѣтъ-сь... то-есть да-сь, признаю-сь. Но признаю совѣмъ въ дру-гомъ смыслѣ-сь. Я говорю: женщина — это святня, которой не долженъ ка-саться ни одинъ нечистый помыселъ! Вотъ мой женскій вопросъ-сь! И муж-чина, и женщина — это, такъ сказать, двоица; это, какъ говоритъ поэтъ, „Ладъ и Лада“, которымъ суждено взаимно другъ друга восполнять. Они гуляютъ въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ пѣніе соловья. Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ друга — и наконецъ устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говоритъ: „réposons-nous!“ Ладъ же отвѣчаетъ: „ce que femme veut, Dieu le veut“ — и ведетъ ее подъ сѣнь деревь... A mon avis, toute la question est là!

— Да хорошо тебѣ говорить: ce que femme veut, Dieu le veut! Согла-сись однако, что и пословицы не всегда говорятъ правду! Вѣдь для того, чтобъ женщина дѣйствительно достигла, чего желаетъ, ей пужно, даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, лукавить и дѣйствовать исподтишка!

— Не исподтишка-сь, а съ соблюденіемъ приличій-сь.

— Но „приличія“... чтѣ же это такое? вѣдь приличія... это, нако-нецъ...

— Приличія-сь? вы не знаете, чтѣ такое приличія-сь? Приличія — это, государь мой, основы-сь! приличія — это краеугольный камень-сь. Отбросьте приличія — и мы все очутимся въ анатомическомъ театрѣ... que dis-je! не въ анатомическомъ театрѣ — это только первая ступень! — а въ Воронинскихъ баняхъ-сь! Вотъ чтѣ такое эти „приличія“, о которыхъ вы изволите такъ иронически выражаться-сь!

Однимъ словомъ, мой либеральный другъ такъ разгорячился, началъ говорить такія непріятныя вещи, что я не въ шутку сталъ бояться, какъ бы не произошелъ въ немъ какой-нибудь „спасительный“ кризисъ! А ну, какъ онъ вдругъ, пользуясь симъ случаемъ, возьметъ да и повернетъ оглобли? Хотя и несомнѣнно, что онъ повздорилъ съ княземъ Иваномъ Семенычемъ — это съ его стороны былъ очень замѣчательный гражданскій подвигъ! — но кто же знаетъ, что онъ не тоскуетъ по этой размовкѣ? Что, ежели онъ ищетъ только повода, чтобъ прекратить безплодное фрондерство, а затѣмъ явиться къ князю Ивану Семенычу съ повинной, сказать: „la critique est aisée, mais l'art est difficile — ваше сіятельство, я вчера окончательно убѣдился въ святости этой истинны!“ Чтѣ будетъ, если это случится?! Вѣдь Тебеньковъ — это столпъ современнаго русскаго либерализма! Вѣдь если онъ дрогнетъ — чтѣ станется съ другими столпами? Чтѣ станется съ княземъ Львомъ Кирилычемъ, который въ Тебеньковѣ видитъ своего вѣрнѣйшаго выразителя? Чтѣ станется съ тою массою серьезныхъ людей, которые выбрали либерализмъ, какъ временный



*modus vivendi*, въ ожиданіи свободнаго пропуска къ пирогу? Что́ станется, наконецъ, съ „Старѣйшею Всероссійскою Пѣнькоснимательницею“, этимъ лучшимъ проводникомъ Тебеньковскихъ либеральныхъ идей?

— Другъ мой! — воскликнулъ я почти умоляющимъ голосомъ: — сообрази однакожь! вѣдь онъ только въ медико-хирургическую академію просится!

— Да-съ, въ академію, — отвѣчалъ онъ мнѣ сухо: — въ академію-съ, но только не художествъ, а въ медико-хирургическую. Знаю-съ. Я самъ смотрѣлъ на это снисходительными глазами... до нынѣшняго вечера-съ! Онъ топтали въ грязь авторитеты — и я молчалъ; онъ подрывали общественныя основы — и я не противорѣчилъ. Я говорилъ себѣ: эти люди заблуждаются, но заблужденія — вѣдь это, наконецъ, въ вѣдомствѣ князя Ивана Семеныча! Пусть онъ и вразумитъ ихъ — *je m'en lave les mains!* Но женщина-съ! Но бракъ-съ! Но святость семейныхъ узъ-съ! Это ужъ превосходитъ все! Женщина! эта святыня! благоуханіе! этотъ кристаллъ! *Et l'on veut trainer tout ça dans la fange!* Въ медико-хирургическую академію! *Vous êtes bien bonnes, mesdames!*

Сказавши это, онъ холодно кивнулъ головой и, даже не пожавъ мнѣ руки, исчезъ въ темнотѣ переулка.

Въ теченіе ночи мои опасенія насчетъ того, что въ Тебеньковѣ, чего добраго, произойдетъ „спасительный кризисъ“, послѣдствіемъ котораго будетъ соглашеніе съ княземъ Иваномъ Семенычемъ, превратились въ жгучее, почти несносное безпокойство. Если это соглашеніе состоится, думалось мнѣ, то все кончено — либеральнымъ идеямъ капутъ. Нашъ юный либерализмъ такъ слабъ, такъ слабъ, что только благодушіе Тебенькова и поддерживаетъ его. Откажись Тебеньковъ — и все это зданіе, построенное на песцѣ, рухнетъ, не оставивъ послѣ себя ничего, кромѣ пыли, способной возбудить одно чиханіе. Тебеньковъ тѣмъ опасенъ, что онъ знаетъ (или по крайней мѣрѣ убѣжденъ, что знаетъ), въ чемъ суть либеральныхъ русскихъ идей, и потому, если онъ разъ рѣшится покинуть гостепріимныя сѣни либерализма, то, сильный своими познаніями по этой части, онъ на всѣ резоны будетъ уже отвѣчать одно: „Нѣтъ, господа! меня-то вы не надуете! я самъ былъ „онымъ“! я знаю“! И тогда вы не только ничего съ нимъ не подѣлаете, а, напротивъ того, дождетесь пожалуй того, что онъ, просто изъ одного усердія, начнетъ открывать либерализмъ даже тамъ, гдѣ есть лишь невинность.

А для князя Ивана Семеныча это воссоединеніе Тебенькова будетъ настоящимъ кладомъ. До сихъ поръ князь былъ силенъ не столько основательностью, сколько живостью своихъ намѣреній. На практикѣ его намѣренія очень рѣдко получали надлежащее осуществленіе, и это происходило именно вслѣдствіе того, что, по неполному знанію признаковъ русскаго либерализма, князь довольно часто попадалъ, какъ говорится, пальцемъ въ небо. Такъ случилось, напримѣръ, съ распоряженіемъ о разысканіи Франклина, въ которомъ этотъ послѣдній былъ названъ сначала „эmissаромъ“, потомъ „человѣкомъ, потрясшимъ западную Европу“, и наконецъ просто „злѣдѣмъ“. Конечно, въ этомъ прежде всего виноватъ секретарь князя, который не досмотрѣлъ

(онъ былъ немедленно за это уволенъ), но все-таки даже въ клубахъ всё ахнули, когда узнали, что ищутъ „эмиссара“ Франклина, а Тебеньковъ прямо такъ-таки и выразился: „*ça fait pitié!*“ Теперь Тебеньковъ всё эти смѣшенія устранить. Онъ прямо въ настоящую точку ударить, онъ сдѣлаетъ это уже по тому одному, что самое соединеніе его въ лоно князя Ивана Семеныча можетъ произойти лишь цѣною сожженія Тебеньковскихъ кораблей. Сколько погибнетъ тогда невинныхъ людей! Сколько несчастныхъ, никогда не имѣвшихъ въ головѣ другой идеи, кромѣ: „какъ прекрасенъ Божій міръ съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ существуютъ земскія учрежденія!“ — вдругъ вынуждены будутъ убѣдиться, что это идея позорная, потрясая западную Европу, и потому достойная аркебузирования! Да, Тебеньковъ будетъ и аркебузировать, несмотря на то, что до сихъ поръ онъ горячо ратовалъ противъ аркебузирования! Онъ скажетъ: „*mon cher!* я самъ былъ противъ этого, но—*que veux-tu!*—у насъ такъ мало средствъ, что это все-таки одно изъ самыхъ подходящихъ!“ И напрасно будутъ молить его „невинные“, напрасно будутъ они сплетничать на другихъ со-либераловъ, напрасно станутъ клясться и доказывать свою невинность! На всё извороты ихъ Тебеньковъ дастъ одинъ холодный и ясный отвѣтъ: „господа! вы меня не надуете! я самъ былъ „онымъ“! я знаю“!

Понятно, что, въ виду такого темнаго будущаго я рѣшился во что бы то ни стало, даже съ пожертвованіемъ своего самолюбія, воспрепятствовать союзу Тебенькова съ княземъ. При одной мысли, что въ адъ реакціи проникнетъ новый Орфей и начнетъ пѣть тамъ свои чарующія пѣсни, въ умѣ моемъ рисовались самыя мрачныя перспективы. Поэтому я принялъ всю вину на себя, я сдѣлалъ видъ, что не Тебеньковъ говорилъ мнѣ вчера колкости, но я, по своей необдуманности и неопытности, былъ виною происшедшаго скандала. И вотъ, на другой день, около полудня, я уже былъ у моего друга.

— Тебеньковъ!—привѣтствовалъ я его:—ужели изъ-за того, что произошло вчера, изъ-за нѣсколькихъ необдуманныхъ съ моей стороны выраженій, ты захочешь разорвать со мною?

Мой другъ дрогнулъ. Я очень ясно прочиталъ на лицѣ его, что у него ужъ готовъ былъ виць-мундиръ, чтобъ ѣхать къ князю Ивану Семенычу, что опоздай я еще минуту—и кто бы поручился за то, что могло бы произойти! Однако замѣшательство его было моментальное. Раскаяніе мое видимо тронуло его. Онъ протянулъ мнѣ обѣ руки, и мы долгое время стояли рука въ руку, чувствуя по взаимнымъ трепетнымъ пожиманіямъ, какъ сильно взволнованы были наши чувства.

— Разорвать! Съ тобой, мой бѣдный Гамбетта!—наконецъ произнесъ онъ:—никогда!

— Но... съ либерализмомъ?!—спросилъ я, почти задыхаясь отъ страха.

Онъ дрогнулъ опять. Идея, что виць-мундиръ вычищенъ и что, затѣмъ, стѣдуетъ только взять извозчика и ѣхать—видимо угнетала его. Но такова сила либеральнаго прошлаго, что оно, даже въ виду столь благопріятныхъ обстоятельствъ, откликнулось и восторжествовало.

— Никогда! — воскликнулъ онъ совершенно твердымъ голосомъ. — *Plutôt la mort que le déshonneur!*



— La mort—c'est trop dire! Но подумай однакожь, мой друг! вотъ ты ждалъ къ празднику черезъ плечо... вотъ какъ бы это...

— A bah! ça viendra!—сказалъ онъ весело, и махнулъ рукою.

Затѣмъ мы обнялись. Тебеньковъ велѣлъ сервировать завтракъ, и всѣ недоразумѣнія были сейчасъ же покончены.

— Мнѣ—разорвать съ либерализмомъ! мнѣ? — говорилъ мой другъ, покуда мы дигюстировали какой-то необыкновенной красоты лафитъ: — но развѣ ты не понимаешь, что это значило бы разбить въдребезги всю мою жизнь! Знаешь ли ты, съ которыхъ поръ я либераль? ты еще въ рубашечкахъ ходилъ, какъ я ужъ былъ испытаннѣйшимъ либераломъ въ цѣломъ Петербургѣ! Уже тогда я проектировалъ всѣ тѣ идеи, которыми теперь нашъ общій другъ, Менаандръ Прелестновъ, волнуешь умы въ „Старѣйшей Русской Пѣнокснимательницѣ“! Покойный князь Ѳеодоръ Ѳеодорычъ не даромъ говорилъ: „Тебеньковъ тѣмъ болѣе опасенъ, что никогда нельзя понять, чего собственно онъ добивается!“ Ты понимаешь! Это была цѣлая система, именно въ томъ и заключающаяся, чтобъ никто не могъ уличить, а между тѣмъ всякій бы чувствовалъ, что нѣчто есть, и только вотъ теперь эта система пошла настоящимъ образомъ въ ходъ! Либерализмъ, mon cher, это для меня цѣлое семейное преданіе! C'est tout un culte. Мой отецъ, моя мать, мой дѣдъ... всѣ были либералы! Мой отецъ первый подаль мысль объ обязательномъ посѣвѣ картофеля.. tu sais, потомъ изъ этого еще произошли знаменитыя „картофельныя войны“? Моя мать еще въ 1818 году порѣшила съ женскимъ вопросомъ, выйдя, при живомъ мужѣ, замужъ за моего отца! И ты могъ думать, что я измѣню этимъ преданіямъ! Mon cher! позволь тебѣ сказать: ты грубо, ты непростительно грубо ошибался!

Тебеньковъ такъ былъ взволнованъ, говоря это, что даже закусилъ нижнюю губу.

— Тебеньковъ! Я ошибался! я глубоко, грубо, непростительно ошибался! я сознаю это!—лепеталъ я.

— Поймай! я не все сказалъ. Возьми теперешнія связи — онѣ всѣ до одной либеральныя. Отъ кого я жду обновленія Россіи—отъ князя Льва Кириллыча! Какую газету я читаю—„Старѣйшую Всероссійскую Пѣнокснимательницу“! J'espère que c'est assez concluant! Учрежденіе читаленъ, народнаго театра, распространеніе полезныхъ знаній — во всемъ и вездѣ я играю первую роль! Я всегда и вездѣ говорилъ: господа! не полагайте движенію препонъ, но умѣйте овладѣть имъ. Овладѣйте, господа! дайте движенію надлежащее направленіе—et alors tout ça ira comme sur des roulettes! Только овладѣйте! Сколько я потерялъ черезъ это—ты знаешь самъ. Ты знаешь очень хорошо, чѣмъ бы я могъ быть, еслибъ принялъ въ то время предложеніе князя Ивана Семеныча! Онъ предлагалъ мнѣ Анны... Ты понимаешь! святая Анна... помимо Станислава! въ мои лѣта! Ah! c'était bien joli! Но я сказалъ прямо: еслибы къ этому прибавили три тысячи аренды, то и тогда я еще подумаю! Почему я такъ смѣло отвѣтилъ? а потому, мой другъ, что, во-первыхъ, у меня есть своя административная система, которая несомнѣнно когда-нибудь понадобится, а во-вторыхъ и потому, что я знаю навѣрное, что отъ меня мое не уйдетъ. Система моя очень проста: *никогда ничего прямо*

не позволять и никогда ничего прямо не воспрещать. C'est simple comme bonjour. Но чтобы ты могъ лучше понять мой административный идеаль, я попрошу тебя вообразить себѣ, что въ настоящую минуту я нахожусь у дѣла. Первое, что я дѣлаю—это ослабляю бразды. Хотя, въ сущности, въ этомъ еще нѣтъ ничего опредѣленнаго, но для насъ, русскихъ, уже одно это очень и очень важно. Мы такъ чувствительны къ браздамъ, что малѣйшее измѣненіе въ манерѣ держать ихъ уже цѣнится нами. И вотъ, когда я ослабилъ бразды, когда всѣ почувствовали это—вдругъ начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai festin d'idées libérales. Литература ликуетъ, студенты ликуютъ, женщины ликуютъ, всѣ вообще, какъ бы сговорившись, выходятъ на Невскій съ папирсами и сигарами въ зубахъ! И замѣть: я ничего прямо не позволялъ, а *только ничего прямо* не воспрещалъ! Я, съ своей стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивныя, малымъ довольныя лица, я указываю на нихъ и говорю: вотъ доказательства разумности моей системы! J'espère que j'ai bien mérité mon cordon rouge de s-te Anna! Такимъ образомъ проходитъ годъ, а можетъ быть и два—я все продолжаю мою систему, то-есть ничего прямо не позволяю, но и ничего прямо не воспрещаю. Тогда начинаютъ тамъ и сямъ прорываться проявленія такъ-называемой licence. Подчиненные Держиморды бѣгутъ ко мнѣ въ ужасѣ и докладываютъ, что такого-то числа въ Канонерскомъ переулкѣ, въ домѣ подъ № такимъ-то шла рѣчь о непризнаніи авторитетовъ. Но я еще не раздѣляю опасеній моихъ сослуживцевъ и настаиваю на томъ, что мѣръ кротости совершенно достаточно, чтобъ обратить заблудшихъ на путь истины. Pas trop de zèle, messieurs, говорю я, surtout pas trop de zèle! Затѣмъ я призываю зачинщиковъ и келейнымъ образомъ дѣлаю имъ внушеніе: „Господа! говорю я, вы должны понять, что у насъ безъ авторитетовъ нельзя! Если вы хотите, чтобъ я имѣлъ возможность защитить васъ, то поберегите и меня! если не хотите, то скажите прямо — я удалюсь въ отставку!“ Разумѣется, моя угроза дѣйствуетъ. Всѣ кричатъ: „осторожнѣе! осторожнѣе! потому что если оставить насъ Тебенъковъ — мы погибли!“ Такъ проходитъ, быть можетъ, еще цѣлый годъ. Mais hélas! les idées subversives—c'est quelque chose de très peu solide, mon cher! Съ ними никогда нельзя быть увѣреннымъ, гдѣ онѣ остановятся, и не перейдутъ ли ту границу „недозволеннаго“, но и „не воспрещеннаго“, въ прочномъ установленіи которой и заключается вся задача истиннаго либерализма. И вотъ, по прошествіи извѣстнаго времени, la licence relève la tête и прямо утверждаетъ, что „невоспрещеніе“ равняется „дозволенію“. Начинается шумъ, mesquineries, рѣзкости, въ родѣ тѣхъ, которыя мы слышали вчера вечеромъ. Тогда я говорю уже прямо: messieurs! je m'en lave les mains! и уступаю мое мѣсто князю Ивану Семенычу. Hein? tu comprends?

— Гм... да... это въ своемъ родѣ...

— Не правда ли? Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit!

И такъ, на мое мѣсто приходитъ и начинаетъ оперировать князь Иванъ Семенычъ. Собственно говоря, я ничего не имѣю противъ князя Ивана Семеныча, и даже въ ряду прочихъ феноменовъ признаю его далеко не бесполезнымъ. Въ общей административной экономіи такіе люди необходимы. Въ минуты, когда дурныя страсти доходятъ до своего апогея, всегда являются



такъ-называемые божіи бичи и очищаютъ воздухъ. Не нужно только, чтобъ они слишкомъ долго оставались въ должности воздухоочистителей, потому что тогда это дѣлается наконецъ скучнымъ. Но по временамъ очищать воздухъ — не бесполезно. Такимъ образомъ, покуда князь Иванъ Семенычъ выполняетъ свое провиденціальное назначеніе, я остаюсь въ сторонѣ; я только слѣжу за нимъ и слегка критикую его. Этою критикою я, такъ сказать, напоминаю о себѣ; я не даю забыть, что существуетъ и другая система, которая состоитъ не столько въ очищеніи воздуха, сколько въ умѣренномъ пользованіи его благораствореніями. И дѣйствительно, не проходитъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ страсти уже утихли, волненія отчасти умирены, отчасти подавлены, и существованіе князя Ивана Семеныча само собой утрачиваетъ всякій *raison d'être*. Напрасно старается онъ устраивать бури въ стаканѣ воды: его время прошло, онъ не нуженъ, онъ надобѣнъ, онъ даже не забавенъ. Тогда опять прихожу я и опять приношу съ собой свою систему... И такимъ образомъ мы чередуемся: сперва я, потомъ князь Иванъ Семенычъ, потомъ опять я, опять князь Иванъ Семенычъ и такъ далѣе... *Mais n'est-ce pas que c'est le vrai système?*

— Да; это система... я назвалъ бы ее системою равновѣсія, — твердо замѣтилъ я.

— Именно такъ. Именно система равновѣсія. *C'est toi qui l'as dit, Gambetta! Pauvre ami! tu n'as pas de système à toi, mais tu as quelquefois des révélations!* Ты иногда однимъ словомъ опредѣляешь цѣлое положеніе! Система равновѣсія — *c'est le mot, c'est le vrai mot!* Сегодня я, завтра опять Иванъ Семенычъ, послѣ завтра опять я — какого еще равновѣсія нужно? *Mais revenons à nos moutons*, то-есть къ цѣли твоего посѣщенія. И такъ, ты находишь, что вчера я былъ къ нимъ слишкомъ строгъ?

— Да, строгонекъ-таки...

— Нельзя, *mon cher!* Ты забываешь, что я имъ же добра хочу. Нельзя этого допустить... ты понимаешь: нельзя!

— Но вѣдь ты самъ же сейчасъ говорилъ, что твоя „система“, между прочимъ, заключается въ томъ, чтобъ „не воспрещать“!

— Ah, *mais entendons-nous, mon cher!* Прямо не воспрещать, но и прямо не позволять — *voici la formule de mon système*. Сверхъ того, ты забываешь еще, что, какъ поправку къ моей системѣ, я допускаю періодическое вмѣшательство князя Ивана Семеныча — а это очень важно! Ah! *c'est très grave, mon cher!* потому что безъ князя Ивана Семеныча *tout mon système s'écroule et s'évanouit!* Я необходимъ, но и князь Иванъ Семенычъ... о! онъ тоже въ своемъ родѣ... ah! *c'est une utilité! c'est très grande utilité!*

— Послушай однакожъ! Сообрази, чего же онъ собственно хотять!

— Онъ хотять извратить характеръ женщины — *excusez du peu!* Представь себѣ, что онъ достигнуть своей цѣли, что всѣ женщины вдругъ разбредутся по академіямъ, по университетамъ, по окружнымъ судамъ... что тогда будетъ? *Où sera le plaisir de la vie?* Что станетъ съ нами? съ тобой, со мной, которые не можемъ существовать безъ того, чтобъ не баловать женщину?

Вопросъ, предложенный Тебенковымъ, нѣсколько сконфузилъ меня. Признаюсь, онъ и мнѣ нерѣдко приходилъ въ голову, но я какъ-то всегда отлынивалъ отъ его разрѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, что станетъ со мной, если женщины будутъ пристроены къ занятію? Кого я буду баловать? Теперь, куда женскій вопросъ еще находится на старомъ положеніи, я знаю, гдѣ мнѣ „въ минуту жизни грустную“ искать утѣшенія. Когда мнѣ горько жить, или просто когда мое сердце располагается къ чувствительности, я ищу женскаго общества, и знаю навѣрное, что тамъ обрѣту забвеніе всѣхъ несносностей, которыя отуманиваютъ мое существованіе *ici bas*. Тамъ я найду ту милую *causerie*, полную неумовимыхъ *petits riens*, которая, не прибавляя ничего существеннаго къ моему благополучію, тѣмъ не менѣе разливаетъ извѣстный *bien être* во всемъ моемъ существѣ и помогаетъ мнѣ хоть на время забыть, что я не болѣе, какъ печальный осколокъ сороковыхъ годовъ, живущій воспоминаніемъ прошлыхъ лучшихъ дней и тщетно усиливающійся примкнуть къ настоящему, съ его „шумомъ“ и его „*crudités*“. Тамъ я отдохну душой, въ самомъ изящномъ значеніи этого слова. Тамъ, на этихъ волнахъ кружевъ и блондъ, на этомъ граціозномъ смѣшеніи бархата и атласа мой взоръ успокоится отъ сермяжныхъ впечатлѣній дѣйствительности. Тамъ я найду тотъ милый обманъ, то чудесное смѣшеніе идеальнаго и реальнаго, котораго такъ жаждетъ душа моя и котораго, конечно, не дадутъ никакіе диспуты о прародителяхъ человѣка. Тамъ все уютно, все тепло; тамъ и свѣтъ не рѣжетъ глазъ, и тѣни ложатся мягче, ровнѣе. И всего этого вдругъ не будетъ! И на мой вопросъ: дома ли Катерина Михайловна? — мнѣ отвѣтятъ: „онъ сегодня зѣ окружающъ судѣ Мясниковское дѣло защищаютъ“!? Что со мной станетъ, когда всѣ эти *petits riens* исчезнутъ, уступивъ мѣсто крикливымъ возгласамъ о фаллопиевыхъ трубахъ и объ околоплодной жидкости? Кого я буду баловать? Передъ кѣмъ стану сжигать ошмѣи моего сердца? Кому буду дарить конфеты? Кого стану называть „*belle dame*“?

Но развѣ надо мной однимъ стрясется бѣда — что будетъ съ литературой, съ романомъ? Если бездѣлица отойдетъ на второй планъ, о чемъ будутъ трактовать романисты? Что ни говори, какъ ни притворяйся романистъ публицистомъ и гражданиномъ, ему никогда не скрыть, что настоящая болячка его сердца — это все-таки улучшение быта бездѣлицы. Не будетъ дѣвицъ, томящихся подъ сѣнью развѣсистыхъ липъ въ ожиданіи кавалеровъ, не будетъ дамъ, изнемогающихъ въ напрасной борьбѣ съ адюльтеромъ — не будетъ и романа! Вотъ что ясно для меня, какъ дважды-два. Но, ради самого Бога, что же тогда будетъ? Кто меня утѣшитъ? кто заставитъ пролить слезу? Нѣтъ! ежели не ради себя, то ради романа, ради „изящной словесности“ — я протестую!! Возьмите все, что угодно! Попирайте авторитеты! подкапывайтесь подъ основы! Оспаривайте русское происхожденіе Микулы Селяниновича! но сохраните дѣвицъ, глядящихъ на большую дорогу, по которой имѣютъ обыкновеніе прѣзжать кавалеры, и дамъ, выходящихъ на борьбу съ адюльтеромъ! Ah! c'est si joli — une femme qui reste indécise entre le devoir et l'adultère! Сколько тутъ перипетій! сколько непредвидѣннаго! Какая горькая, почти безнадежная борьба! Даже суровые моралисты — и тѣ поняли, какъ великъ предстоящій въ этомъ случаѣ женщинѣ жизненный подвигъ, и по-



тому назвали побѣду надъ адюльтеромъ — *торжествомъ добродѣтели*. — Вотъ эта женщина „добродѣтельна“, говорятъ они, ибо съ успѣхомъ боролась въ Чугуевѣ съ цѣлымъ штабомъ военныхъ поселеній. А вотъ эта женщина не можетъ быть названа „добродѣтельною“, потому что не могла устоять передъ настойчивостью одного землемѣра... Однимъ словомъ, всякая женская „добродѣтель“ заключена тутъ, въ этомъ ограниченномъ, завѣтномъ кругѣ...

— И за всѣмъ тѣмъ я, все-таки, снисходителенъ, — продолжалъ мой другъ: — до тѣхъ поръ, пока онѣ разглагольствуютъ и сотрясаютъ воздухъ междометіями, я готовъ смотрѣть на ихъ домогательства сквозь пальцы. *Mais malheur à elles*, если онѣ начнутъ обобщать эти домогательства и приискивать для нихъ надлежащую формулу... ah, qu'elles y prennent garde!

— Но вѣдь онѣ ничего же и не формулируютъ!

— Гм... ты думаешь? ты полагаешь, что женскій вопросъ, по ихъ мнѣнію, въ томъ только и состоитъ, чтобъ женщины получили доступъ въ телеграфистки и къ слушанію университетскихъ лекцій? Ты серьезно такъ полагаешь?

— Позволь! дѣло не въ томъ, какъ я или онѣ полагаютъ, а въ томъ, чѣмъ онѣ *ограничиваютъ* свои домогательства!

— *A d'autres, mon cher! Un vieux soursnois, comme moi, ne se laisse pas tromper si facilement.* Сегодня къ вамъ лѣзутъ въ глаза съ какою-нибудь медико-хирургическою академіею, а завтра на сцену выступить уже вопросъ объ отношеніяхъ женщины къ мужчинамъ и т. д. *Connu!*

— Да не выступить этотъ вопросъ! А ежели и выступить, то именно только какъ теоретическій вопросъ, который нелишне обсудить! Ты знаешь, какъ онѣ охотно становятся на отвлеченную точку зрѣнія! Вѣдь въ ихъ глазахъ даже мужчина — только вопросъ, и больше ничего!

— Да! но вотъ это-то именно и опасно. *C'est justement là que git le danger.* Въ твоихъ глазахъ абстрактность — смягчающее обстоятельство, въ моихъ — это обстоятельство усугубляющее. Еслибъ онѣ разрѣшили этотъ вопросъ практически, каждая сама для себя — *ça serait une question de tempérament, et voilà tout.* Но онѣ хотятъ, чтобъ имъ разрѣшеніе на бумажкѣ было написано. Онѣ *законовъ* требуютъ! Понимаешь ли: онѣ хотятъ, чтобъ законодатель взялъ въ руки перо и написалъ: *permettez à ces demoiselles* и т. д. Нѣтъ-съ! Этого нельзя-съ!

Опять мысль, и опять откровеніе! Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь онѣ какъ будто о томъ больше хлопочутъ, чтобъ было что-то на бумажкѣ написано! Ихъ интригуетъ не столько фактъ, сколько то, что вотъ въ такой-то книжкѣ объ этомъ такъ-то сказано! — Спрашивается: необходимо ли это, или же представляется достаточнымъ, просто, безъ всякихъ законовъ, признать совершившійся фактъ, да и дѣло съ концомъ?

— Наши дамы давно уже порѣшили съ этимъ вопросомъ, и міръ нимало не пострадалъ отъ этого! — продолжалъ ораторствовать Тебеньковъ. — На дняхъ la princesse Nathalie — tu sais qu'il lui arrive quelquefois d'avoir des moments de charmante intimité avec ses amis! — сказала мнѣ: „mon cher! nous autres, femmes du monde, nous avons depuis longtemps

tranché la question! Nous ne faisons pas de radottages, mais nous agissons!

— La princesse Nathalie! est-ce possible? Une „sainte“!

— Да-съ, une „sainte“! Et elle a parfaitement raison, la belle princesse! Потому что вѣдь, ты понимаешь, ежели извѣстныя формы общежитія становятся слишкомъ узкими, то весьма естественно, что является желаніе расширить ихъ. Не объ этомъ споръ: это дажно всѣми признано, подписано и рѣшено. Saperlotte! не дѣлаться же монахиней изъ-за того только, чтобъ князь Левъ Кирилычъ имѣлъ удовольствіе свободно надѣвать на голову свой ночной колпакъ! Но *какъ* расширить эти формы — вотъ въ чемъ весь вопросъ! Voici la grande, la grrrandissime question.

— Стало быть, по твоему, лучшее средство это — протестовать на манеръ „Belle Hélène“?

— А ты шутишь съ „Belle Hélène“? Нѣтъ, ты подумай! Вотъ онъ, протестъ-то, съ которыхъ поръ начался! и замѣть: въ этой формѣ никто никогда не видѣлъ въ немъ ни малѣйшей опасности. Еще во времена троянской войны женскій вопросъ былъ уже рѣшенъ, но рѣшенъ такъ ловко, что это затрогивало только одного Менелая. Ménélas! on s'en moque — et voilà tout! Всѣ эти Фрины, Лаисы, Аспазіи, Клеопатры — что это такое, какъ не прямое разрѣшеніе женскаго вопроса? А *онъ* волнуется, требуютъ какихъ-то разъяснительныхъ правилъ, говорятъ: напишите намъ все это на бумажкѣ! Согласись, что это нѣсколько странно? Согласенъ?

— Да... для „Belle Hélène“... дѣйствительно едва-ли требуются разъяснительныя правила!

— Ну, вотъ видишь! *онъ* сохнуетъ о правилахъ! Мы всѣ, tant que nous sommes, понимаемъ, что первозданная Таутова азбука отжила свой вѣкъ, но, какъ люди благоразумные, мы говоримъ себѣ: зачѣмъ подрывать то, что и безъ того стоитъ еле живо, но на чемъ покуда еще виситъ проржавѣвшая отъ времени вывѣска съ надписью: „Здѣсь начинается царство запретнаго“? Зачѣмъ публично и съ какимъ-то дурнымъ шикомъ вторгаться въ предѣлы этого царства, коль скоро мы всѣмъ этимъ quasi-запретнымъ можемъ пользоваться подъ самыми удобными псевдонимами? Для бѣльшей вразумительности приведу тебѣ хоть слѣдующій примѣръ. И ты, и я, и всѣ мы, люди современной интеллигенціи, любимъ отъ времени до времени посѣщать театръ Берга. Для чего мы ѣздимъ туда? что привлекаетъ насъ? — Это, конечно, личное дѣло. И вдругъ выискивается какой-нибудь intrus и выпаливаетъ намъ въ упоръ: „вы, господа, ѣздите къ Бергу смотрѣть, какъ французки юбки поднимаютъ!“ Согласись, что это было бы крайне непріятно! По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я сразу осадилъ бы наглеца. „Нѣтъ, милостивый государь! сказалъ бы я: вы ошибаетесь! я хожу къ Бергу совсѣмъ не для юбокъ и проч., а для того, чтобъ видѣть французскую веселость, la bonne et franche gaîté française!“ Понимаешь? *Онъ* сказалъ: „юбки поднимаютъ“, а я ему отвѣтилъ: „французская веселость“. Вотъ это-то и есть псевдонимъ, одинъ изъ тѣхъ псевдонимовъ, которые позволяютъ намъ не слишкомъ тяготиться игомъ первозданной Таутовой азбуки!



Тебеньковъ говорилъ такъ убѣдительно и въ то же время такъ просто и мило, что мнѣ оставалось только удивляться: гдѣ почерпнулъ онъ такія разнообразныя свѣдѣнія о Таутѣ, Фринѣ и Клеопатрѣ и проч.? Ужели все въ томъ же театрѣ Берга, который уже столь многимъ изъ насъ послужилъ отличнѣйшею воспитательной школой?

— Жизнь наша полна подобнаго рода экскурсій въ область запретнаго, или, лучше сказать, вся она — не чтѣ иное, какъ сплошная экскурсія. Азбука говоритъ, на примѣръ, очень ясно, что всѣ дѣти имѣютъ равное право на заботы и попеченія со стороны родителей; но еслибы я или ты дали одному сыну рубль, а другому грошъ, то развѣ кто-нибудь позволилъ бы себѣ сказать, что подобное дѣйствіе есть прямое отрицаніе семейственнаго союза? Нѣтъ, всякій сказалъ бы себѣ: это только экскурсія въ область запретнаго, — экскурсія, въ которой всякій смертный можетъ встрѣтить нужду! Другой примѣръ: кто не знаетъ, что похищеніе чужой собственности есть прямое нарушеніе гражданскихъ законовъ, но ежели бы Х., благодаря какимъ-нибудь формальнымъ упущеніямъ со стороны Z., оттягалъ у послѣдняго съ плечъ рубашку, развѣ кто-нибудь скажетъ, что такой исходъ процесса есть отрицаніе права собственности? Нѣтъ, всякій выразится, что и это только экскурсія, въ которой каждый смертный можетъ встрѣтить нужду! Представь же себѣ теперь, что вдругъ выступаетъ впередъ наглець и, заручившись этими фактами, во все горло оретъ: „Господа! посмотрите-ка! вѣдь собственность-то, семейство-то, основы-то ваши... фюю!“ Не виправѣ ли мы будемъ замазать этому человѣку ротъ и сказать: „Дуракъ! чему обрадовался? догадался?! велика штука! ты догадался, а мы и подавно! Только мы не хотимъ, чтобъ ты насъ беспокоилъ! Не беспокой насъ, ибо дураковъ-горлановъ на цѣпь сажаютъ!“ Но впрочемъ *pardon, cher!* Я, кажется, слишкомъ заболталъ тебя этими *mesquineries*, которыя слывуть у насъ подъ пышнымъ именемъ „вопросовъ“.

— Ахъ, нѣтъ! нѣтъ! сдѣлай милость! Съ твоей стороны это такая откровенность! такая, можно сказать, драгоценнѣйшая откровенность!

— И такъ, *continuons*. Я самъ не дорого цѣню эту первозданную азбуку, и очень хорошо понимаю, что стоить ткнуть въ нее пальцемъ — и она развалится сама собой. Но для черни, *mon cher*, это неоцѣненнѣйшая вещь! Представь себѣ, что вдругъ *все* сказали бы, что запретнаго нѣтъ — вѣдь это было бы новое нашествіе печенѣговъ! Вѣдь они подвергли бы домъ наши разграбленію, они осквернили бы нашихъ женъ и дѣвъ, они уничтожили бы все памятники цивилизаціи! Но, *Dieu merci*, этого нѣтъ и не будетъ, потому что это запрещено. Они знаютъ, *saperlotte*, что въ каждой губерніи существуетъ окружной судъ, а въ иныхъ даже по два и по три, и что при каждомъ судѣ имѣется прокуроръ, который относительно печенѣговъ неумолимъ. Вотъ это-то именно и заставляетъ меня видѣть въ первозданной азбукѣ нѣ-котораго рода палладіумъ. Я говорю себѣ: свойства этой азбуки таковы, что для меня лично она можетъ служить только огражденіемъ отъ печенѣжскихъ набѣговъ — съ какой же стати я буду настаивать на ея упраздненіи?

— Позволь, душа моя! Я понимаю твою мысль: если *все* захотятъ имѣть безпрепятственный входъ къ Бергу, то понятно, что твои личныя же-

ланія въ томъ смыслѣ уже не найдутъ такого полного удовлетворенія, какое они находятъ теперь. Но, признаюсь, меня страшитъ одно: а что, если они, то-есть печенѣги... тоже начнутъ вдругъ паставать?

— Impossible! это именно тотъ предразсудокъ, который уже не разъ ввергалъ въ бездну гибели цѣлыя націи. Съ тѣхъ поръ какъ печенѣги перестали быть номадами, ихъ нечего опасаться. У нихъ есть оскѣдность, есть домъ, поле, домашняя утварь, и хотя все это, вмѣстѣ взятое, стоитъ двугривенный, но вѣдь для человѣка, не выдававшего ни гроша, и двугривенный уже представляетъ довольно солидную цѣнность. Сверхъ того, они „боятся“, и что всего замѣчательнѣе—боятся именно того, что всего менѣе способно возбуждать страхъ въ мыслящемъ человѣкѣ. Они боятся грома, боятся домовыхъ, боятся свѣтопреставленія. Et plus ils sont bêtes, plus ils sont souples. Слѣдовательно самая лучшая внутренняя политика относительно печенѣговъ—это разъ навсегда сказать себѣ: чѣмъ меньше имъ давать, тѣмъ больше они будутъ упорствовать въ удовольствіи. Я либераль, но мой взглядъ на печенѣговъ до такой степени ясенъ, что самъ князь Иванъ Семенычъ, конечно, позавидовалъ бы ему, еслибы онъ могъ понять, въ чемъ состоитъ настоящій, разумный либерализмъ. Печенѣгъ смиренъ, покуда ему ничего не даютъ. Какъ только ему попало что-нибудь на зубы—онъ дѣлается ненасытенъ, et puis—c'est fini! L'histoire des peuples est là pour attester la vérité de ce que j'avance!

— Такъ ли это, однакожъ? Вотъ у меня былъ знакомый, который тоже такъ думалъ: попробую-моль я не кормить свою лошадь: можетъ быть, она и привыкнетъ! И точно, дней шесть не кормилъ, и только-что, знаешь, успѣлъ сказать: ну, слава Богу! кажется, привыкла!—ахъ лошадь-то возьми да и издохни!

— Гм... да... ты все смѣешься, Гамбетта! А знаешь ли ты, что эта смѣшливость очень и очень тебѣ вредитъ? Tu ne parviendras jamais — и я первый объ этомъ жалѣю, parceque tu as quelquefois des idées. Даже наши либералы, и тѣ выражаются о тебѣ: „ce n'est pas un homme sérieux!“ Разумѣется, я заступаюсь за тебя, сколько могу. Я всѣмъ и всегда говорю: въ государствѣ, господа, и въ особенности въ государствѣ обширномъ, и Гамбетта имѣетъ право на существованіе! — но вѣдь противъ установившагося общаго мнѣнія и мое заступничество безсильно!

Сдѣлавши этотъ выговоръ, Тебеньковъ такъ дружески-мило подаль мнѣ руку, что я самъ созналъ все неприличіе моего поведенія, и далъ себѣ слово никогда не рассказывать анекдотовъ, когда идетъ рѣчь о выѣденномъ яйцѣ.

— Затѣмъ возвратимся вновь къ такъ-называемому женскому вопросу и постараемся придти къ заключенію. Я утверждалъ, что вопросъ этотъ давнымъ-давно разрѣшенъ, и берусь подтвердить эту мысль примѣрами. Оглянись кругомъ: la princesse de P., la baronne de K., наконецъ Катерина Михайловна, наша добрѣйшая Катерина Михайловна — развѣ не разрѣшили онѣ этого вопроса совершенно опредѣленно и къ полному своему удовольствію? Что онѣ не посѣщаютъ медико-хирургической академіи — mais c'est simplement parcequ'elles s'en moquent bien... de l'académie!



А еслибы захотѣли, то и въ академію бы ѣздили, и никто бы не имѣлъ ничего сказать противъ этого! А почему никто ничего не сказалъ бы? потому просто, что всякій понялъ бы, что это одинъ изъ тѣхъ *jolis caprices de femme*, которымъ уже по тому одному нельзя противорѣчить, что *ce que femme veut, Dieu le veut*.

— Но коли такъ, то почему же не удовлетворить желанію этихъ *demoiselles*, которыхъ ты слышалъ вчера?

— Да именно потому, что въ первомъ случаѣ *c'est un de ces jolis caprices, que toute femme a le droit d'avoir*. Женщина, и въ особенности хорошенькая, имѣетъ право быть капризною — это ея привилегія. Если она можетъ *вдругъ* пожелать парюру въ двадцать тысячъ, то почему же *вдругъ* не пожелать ей посѣтить медицинскую академію? И вотъ она желаетъ, но желаетъ такъ мило, что достоинство женщины нимало не терпитъ отъ этого. Напротивъ, тутъ-то именно, въ этомъ оригинальномъ желаніи, и выступаетъ та женственность, которую мы, мужчины, такъ цѣнимъ. *La baronne de K.*, слушающая господина Сѣченова — можно ли вообразить себѣ *quelque chose de plus gracieux, de plus piquant*?! Поэтому я не только не буду препятствовать желанію баронессы, но самъ поѣду сопровождать ее, самъ предупреджу господина Сѣченова. *Monsieur! lui dirai-je, la baronne est bonne fille! Elle ne déteste point les crudités, mais à condition qu'on sâche leur donner une forme piquante, qui permette à son sentiment de femme de ne pas s'en formaliser!* Затѣмъ мы ѣдемъ, мы беремъ съ собой Катерину Михайловну и ея *jeunes gens*, мы садимся на тройки, устраиваемъ *quelque chose comme un piquenique*, и выслушиваемъ курсъ фیزیологіи à l'usage des dames et des demoiselles, который г. Сѣченковъ прочтетъ намъ. Оттуда — къ Дороту или въ другой какой-нибудь кабачокъ. Вотъ и все. О томъ, чтобъ интернировать господина Сѣченова въ сердцахъ нашихъ дамъ, о томъ, чтобы сдѣлать его лекціи настольной книгой нашихъ будуаровъ, о томъ, чтобъ укоренить въ нашихъ салонахъ фیزیологическій жаргонъ — нѣтъ и помину. Мы разрѣшили женскій вопросъ, мы узнали *comment cela leur arrive* — этого съ насъ довольно! Напротивъ того, дѣвицы, въ обществѣ которыхъ мы находились вчера, о томъ только и думаютъ, чтобы навсегда интернировать господина Сѣченова въ своемъ домашнемъ обиходѣ. Чистота женскаго чувства, *ce sentiment de pudeur qui fait monter le feu au le visage d'une femme*, это благоуханіе невѣдѣнія, эта прелесть непочатости — *elles mettent tout ça hors de cause!* Онѣ требуютъ господина Сѣченова *tout de bon*, et elles traînent le reste dans la fange! Halte là, mesdames!

— Но все-таки нѣтъ же прямого повода называть ихъ неблагонамѣренными? Онѣ любятъ Сѣченова, но вѣдь онѣ не неблагонамѣренныя? Не правда ли? Вѣдь ты согласенъ со мною?

— „Неблагонамѣренныя“ — это слишкомъ сильно сказано, *j'en conviens*. Mais ce sont des niaises — отъ этого слова я никогда не откажусь. Это какія-то утопістки стенографистки и телеграфистки! А утопизмъ, *mon cher*, никогда до добра не доводитъ. Можно упразднить азбуку *de facto*: взявъ и упразднилъ — это я понимаю; но чтобъ придти и требовать какихъ-то законовъ объ упраздненіи — *c'est tout bonnement exorbitant*.

Я задумался. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ дожидаться закона объ упраздненіи, когда никто не препятствуетъ *de facto* совершить самый актъ упраздненія? Вѣдь вотъ и *la princesse de P.* и *la baronne de K.*, и наконецъ наша милѣйшая Катерина Михайловна — вѣдь упраздняють же онѣ! О, Наденька Лаврецкая! о, Гапочка Перерепенко! Вы, которыя чуть не пѣшкомъ прибѣжали въ Петербургъ изъ нашихъ захолустьевъ ради разрѣшенія женскаго вопроса — вы не понимаете, что вопросъ этотъ разрѣшается такъ легко! Стоить только подобрать компанію *jeunes gens bien comme il faut*, затѣмъ нанять нѣсколько троекъ и покатить, съ бубенчиками, прямо въ театръ Берга, эту наицѣлесообразнѣйшую медико-хирургическую академію à l'usage des dames et des demoiselles! Тамъ дѣвица Филиппо прочтетъ вамъ лекцію: „*L'impôt sur les célibataires*“, а дѣвица Лафуркадъ, пропѣвъ „*A bas les hommes!*“ вмѣстѣ съ тѣмъ провозгласить и окончательную эмансипацію женщинъ...

Тебеньковъ между тѣмъ торжествовалъ. Онъ замѣтилъ мое раздумье, и до того увѣровалъ въ неотразимую убѣдительность своихъ доводовъ, что все лицо его какъ бы сіяло вдохновеніемъ.

— Я не называю ихъ неблагонамѣренными, — говорилъ онъ: — à Dieu ne plaise! Но полиція, *mon cher!* полиція не можетъ быть либеральною, какъ я или ты! Она не имѣетъ права терпѣть, чтобы общественная нравственность была подрываема, такъ сказать, при свѣтѣ дня. Она смотритъ сквозь пальцы, она благосклонно толерируетъ, когда ты, я, всякій другой, наконецъ, разрѣшаемъ женскій вопросъ келейнымъ образомъ и на свой страхъ. Но когда мы выходимъ изъ нашей келейности и съ дерзостью начинаемъ утверждать, что разговоръ объ околлодной жидкости есть единственный, достойный женщины разговоръ — *alors la police intervient et nous dit: halte là, mesdames et messieurs! respectons la morale et n'embêtons pas les passans par des mesquineries inutiles!* Согласитесь, что оно и не можетъ быть иначе!

— Да какъ бы тебѣ сказать... оно точно... на практикѣ оно такъ и бываетъ!

— Нѣтъ, не „бываетъ“, а „должно быть“, не можетъ иначе быть! Ты, Гамбетта, неисправимъ! Ты думаешь, что то, что совершается такъ, а не иначе, совершается по какому-то озорству! Нѣтъ, оно совершается такъ, потому что не можетъ иначе совершиться. *L'histoire a sa logique, mon cher*, и для какихъ-нибудь двухъ-трехъ десятковъ дѣвицъ не можетъ измѣнить свое величественное теченіе! Не распывайтесь, *messieurs!* Помните, что наше время — не время широкихъ задачъ! Вотъ лозунгъ, къ которому пришла вся наша либеральная партія, *et tant qu'elle restera dans ces convictions, la police n'aura rien à y redire!* Но впрочемъ къ чему продолжать безплодный разговоръ! Чтобы убѣдить тебя нагляднымъ образомъ, насколько эти дамы неправы, добываясь какого-то разрѣшенія женскаго вопроса, тебѣ достаточно пройти со мной по Невскому и потомъ зайти позавтракать къ Дюсс. Здѣсь ты на каждомъ шагѣ десять разъ убѣдишься, что женскій вопросъ давнымъ-давно разрѣшенъ, и притомъ самымъ радикальнымъ образомъ. И такъ, идемъ. Кстати, ужъ третій часъ, а это именно моментъ моей прогулки и моего завтрака...



День стоялъ сѣрый, не холодный, но съ легкимъ морозцемъ, одинъ изъ тѣхъ дней, когда Невскій, около трехъ часовъ, гудитъ народомъ. Слышалось бряцаніе палашей, шарканье калошъ, постукиваніе палокъ. Пестрая говорящая толпа наполняла тротуаръ солнечной стороны, сгущаясь около особенно бойкихъ мѣстъ и постепенно рѣдѣя по мѣрѣ приближенія къ Аничкину мосту. Тамъ и сямъ истоиво выступали „наши дамы“, окруженные молоденькими, послѣдняго выпуска офицерами и сопровождаемыми лакеями въ богатыхъ ливреяхъ. Между ними, словно ящерицы, проползали ревнительницы женскаго вопроса, по поводу которыхъ у насъ чуть-чуть не произошла ссора съ Тебенъковымъ, бойко стуча каблучками и держа подъ мышками книги. Сановники *faisaient leur tournée de matin*, и нѣкоторые изъ нихъ очень мило вставляли въ глазъ стеклышко и не безъ пріятности фредонировали: „J'ai un pied qui r'mue!“ Четыре брата С. видѣлись на всѣхъ перекресткахъ и своимъ сходствомъ вводили проходящихъ въ заблужденіе. Дѣловой людъ не показывался или жался къ стѣнамъ домовъ. Напротивъ, гуляшій людъ шелъ вольно, цѣлыми шеренгами и партіями, заложивъ руки въ карманы и занимая всю середину тротуара. У Полицейскаго моста остановились два бывшіе губернатора и объясняли другъ другу, какъ бы они въ данномъ случаѣ поступили. Выходецъ изъ провинціи, въ фуражкѣ съ краснымъ околышкомъ, съ широкимъ затылкомъ, съ трепещущимъ подъ кашнѣ кадыкомъ и съ осовѣлыми глазами, уставился противъ елисейскихъ оконъ и только-что не вслухъ думалъ: хорошо бы тутъ родиться, тутъ получить воспитаніе, тутъ жениться и тутъ умереть, буде безсмертіе не дано человѣку! Передъ магазиномъ эстамповъ остановилась цѣлая толпа и глядѣла на эстампъ, изображавшій дѣвицу съ поднятою до колѣнъ рубашкою; внизу эстампа было подписано: „L'oiseau envolé“. Изъ ресторана Доминика выходили полинялыя личности, жертвы страсти къ бильярду и къ желудочной. По серединѣ улицы царствовала сумятица въ полномъ смыслѣ этого слова. Кареты, сани, дилижансы, желѣзнодорожные вагоны—все это появлялось и исчезало, какъ въ сонномъ видѣніи. Въ самомъ разгарѣ суматохи, рискуя передавить пѣшеходовъ, мчались на тысячныхъ рыскахъ молодые люди, обгоняя кокотокъ, которыхъ коляски и соболя зажигали неугасимое пламя зависти въ сердцахъ „нашихъ дамъ“. Газъ въ магазинахъ еще не зажигался, но по мѣстамъ изъ-за оконъ уже виднѣлась протягивавшаяся къ газовому рожку рука. Еще минута — и весь Невскій загорится огнями, а вмѣстѣ съ огнями моментально исчезнетъ и та пестрая, фантастическая публика, которая переполняетъ теперь его тротуары.

### Группа 1-я.

На углу Большой Конюшенной; шеренга изъ четырехъ молодыхъ людей неизвѣстнаго оружія.

1-й молодой человѣкъ (*докторальнымъ тономъ*). Чтобъ утверждать что-нибудь, надо прежде всего знать, чтѣ утверждаешь. Вѣдь ты незнакомъ съ Муриными?

2-й молодой человѣкъ. Я... да... нѣтъ... но я слышалъ... *quelqu'un, qui est très intime dans la maison, m'a raconté...*

1-й молодой человекъ. Ну, вотъ видишь! ты только слышалъ, а утверждаешь! И что ты утверждаешь? Qu'Olga est jusqu'à nos jours fidèle à son grand dadais de colonel! Olga! je vous demande un peu, si ça a le sens commun!

### Группа 2-я.

У Казанскаго моста; трое штатскихъ молодыхъ людей.

1-й молодой человекъ. И представь себѣ: сразу!

2-й и 3-й молодые люди (*вмѣстѣ*). Pas possible!

1-й молодой человекъ. Я самъ не успѣлъ хорошенько понять, что со мной дѣлается, какъ ужъ былъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ!

### Группа 3-я.

У Михайловской; два несомнѣнные кавалериста.

Первый. И мужъ, ты говоришь, въ сосѣдней комнатѣ... ха, ха!

Второй. Да, въ сосѣдней комнатѣ, за преферансомъ сидитъ. И мы слышимъ, какъ онъ говорить: пассъ!!

Первый. Ah, c'est unique!

### Группа 4-я.

У одной изъ Садовыхъ; начальникъ и подчиненный.

Подчиненный. Онъ, вашество, какъ мѣсто-то получилъ? Вы Глафиру-то Ивановну изволите знать?

Начальникъ. Какъ же! какъ же! Хорошенькая! Ахъ, да! вѣдь она съ графомъ Николаемъ Петровичемъ... по-ни-маю!

Подчиненный. Ну, вотъ-съ! ну, вотъ-съ! ну, вотъ-съ!

Начальникъ. Пон-ни-маю!!

. . . . .

### Группа 5-я.

У подъѣзда Дюсс; Тебенъковъ и я.

Тебенъковъ. А ты еще сомнѣвался, что женскій вопросъ рѣшенъ! Давно, mon cher! Еще „Прекрасная Елена“ — ужъ та порѣшила съ нимъ!



## Х. — Семейное счастье.

21 іюля, наканунѣ своихъ именинъ, Марья Петровна Воловитинова съ самаго утра находится въ тревожномъ ожиданіи. Она лично надзираетъ за тѣмъ, какъ горничныя убираютъ комнаты и устриваютъ постели для дорогихъ гостей.

— Пашенькѣ-то! Пашенькѣ-то! подушечку-то маленькую не забудьте подъ бочокъ положить! — командуетъ она направо и налево.

— А Семену Иванычу гдѣ постелить прикажете? — спрашиваетъ ее ключница Степанида.

— Ну, Сеничка пусть съ Петенькой поспитъ! — отвѣчаетъ она послѣ минутнаго колебанія.

— А то угольная порожнемъ стѣить!

— Нѣтъ, пусть ужъ, Христосъ съ нимъ, съ Петенькой поспитъ! Оеденькѣ-то! Матрена! Оеденькѣ-то не забудьте, чтобъ графинъ съ квасомъ на ночь стоялъ!

— А перинку какую Семену Иванычу прикажете?

— Попроще, Степанидушка, попроще! изъ тѣхъ... знаешь? — отвѣчаетъ Марья Петровна, томно вздыхая.

Сдѣлавъ эти распоряженія, Марья Петровна удаляется въ дѣвичью, гдѣ ждетъ ее поваръ съ разложенною на столѣ провизіей.

— Я сегодня дорогихъ гостей къ себѣ жду, Аэоня! — говоритъ она повару.

— Слушаю-съ.

— Такъ какъ же ты думаешь, чтѣ бы намъ такое стотовить, чтобъ дорогихъ гостей порадовать?

— На холодное галантиръ можно-съ.

— Чтѣ это, Господи! только и словъ у тебя, что галантиръ да галантиръ!

— Какъ вамъ угодно-съ.

— Нѣтъ, ужъ ты лучше... да чтѣ ты жуешь? чтѣ ты все жуешь! — Аэоня проворно подноситъ ко рту руку и что-то выплевываетъ.

— Тараканъ залѣзъ-съ! — отвѣчаетъ онъ.

— Ахъ ты, дурной, дурной! (Марья Петровна рѣшила не омрачать праздника крѣпкими словами.) Вѣрно ужъ клюкнулъ?

— Виновать-съ.

— Вотъ то-то вы, дурачки! огорчаете вы старую барыню, а потомъ и заѣдаете всякой дрянью!

— Виновать-съ.

— Ты бы вотъ, дурачокъ, подумалъ, что завтра-молъ день барынина ангела; чѣмъ бы, молъ, мнѣ ее, матушку, порадовать!

— Виновать-съ...

— Молчать! Чтѣ ты, подлець, какую власть надо мной взялъ! я слово, а онъ два! я слово, а онъ два!... Такъ вотъ ты бы и подумалъ: чтѣ бы, молъ,

такое стоговить, чтобъ барыня передъ дорогими гостями не совѣстно было! а ты, вмѣсто того, галантиръ да галантиръ!

— Можно ветчину съ горошкомъ подать-съ! — отвѣчаетъ поваръ съ нѣкоторымъ озлобленіемъ.

— Ну, да; ну, хоть ветчину съ горошкомъ... а съ боковъ-то котлеточекъ...

Марья Петровна высчитываетъ, сколько у нея будетъ гостей. Будутъ: Оеденька, Митенька и Пашенька; еще будетъ Сеничка, но его Марья Петровна почему-то пропускаетъ.

— Такъ ты три котлеточки къ одному боку положи, — говоритъ она: — ну, а на горячее что?

— Щи изъ свѣжей капусты можно сдѣлать-съ.

Марья Петровна разсчитываетъ: свѣжей капусты еще мало, а щи надобно будетъ всѣмъ подавать!

— Щи ты изъ крапивы сдѣлай! или нѣтъ, вотъ что: сдѣлай ты щи изъ крапивы для всѣхъ, да еще маленькій горшочекъ изъ свѣжей капусты... понимаешь?

— Слушаю-съ.

— А на жаркое сдѣлай ты намъ баранинки, а сбоку положи три бекасика.

— Можно-съ.

— А пирожное, ужъ такъ и быть, общее: малиновый пирогъ! И я, старуха, съ ними полакомлюсь!

Кончивши съ поваромъ, Марья Петровна призываетъ садовника, который приходитъ съ горшками, наполненными фруктами. Марья Петровна раскладываетъ ихъ на четыре тарелки, поровну на каждую, и въ заключеніе, отобравъ особо самые лучшіе фрукты, отправляется съ ними по комнатамъ дорогихъ гостей. Каждому изъ нихъ она кладетъ въ потаенное мѣсто по нѣсколько отборныхъ персиковъ и сливъ, исключая Сенички, около комнаты котораго Марья Петровна хотя и останавливается на минуту, какъ бы въ бореніи, но выходитъ изъ борьбы побѣдительницей.

Марья Петровна — женщина очень почтенная; сосѣди знаютъ ее за чадолубивѣйшую изъ матерей, а отецъ Павлинъ, мѣстный сельскій священникъ и духовникъ Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ея всегда съ благопоспѣшеніемъ стремится къ благоутѣшенію ближняго, а десница никогда не оскудѣваетъ благоготовностью къ благоукрашенію храмовъ Божиихъ. Марья Петровна сама знаетъ, что она хорошая женщина, и нерѣдко, находясь наединѣ съ самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразныхъ своихъ добродѣтелей. Сядетъ этакъ у окошечка, раздумается и даже всплакнетъ маленько. Все-то она устроила: Сеничку въ генералы вывела; Митеньку на хорошую дорогу поставила; Оеденька — давно ли изъ корпуса вышелъ, а ужъ тоже штабсъ-ротмистръ; Пашенька выдана замужъ за хорошаго человѣка; одинъ только Петенька... „Ну, да этотъ убогонькій, за насъ Богу помолить!“ думаетъ Марья Петровна: „надо же кому-нибудь и Богу молиться!..“ И все-то она одна, все-то своимъ собственнымъ хребтомъ устроила, потому что хоть и былъ у нея мужъ, но покойникъ ни во что не



входилъ, кромѣ какъ подавалъ батюшкѣ кадило во время всенощной да каждодневно вздыхалъ и за обѣдомъ, и за ужиномъ, и за чаемъ о томъ, что не можетъ самъ обѣдню служить. А храмы-то, храмы-то Божіи! Тогда-то Марья Петровна пелену на престолъ пожертвовала, тогда-то воздуха прекрасные вышила, тогда-то паникадило посеребрила... Какъ вспомнить это Марья Петровна да сообразить, что все это она, одна она сдѣлала и что вся жизнь ея есть не что иное, какъ рядъ благопотребныхъ подвиговъ, такъ у нея все внутри и заколышется, и сдѣлается она тихонькая-претихонькая, Агашку называетъ Агашенькой, Степашку — Степанидушкой, и все о чемъ-то сокрушается, все-то благодумствуетъ.

У Марьи Петровны три сына: Сеничка, Митенька и Ѳеденька; были еще двѣ замужнія дочери, но обѣ умерли, оставивъ послѣ себя Пашеньку (отъ старшей дочери) и Петеньку (отъ младшей).

Сеничка, какъ сказано выше, уже генераль (разумѣется, штатскій) и занимаетъ довольно видный постъ въ служебной іерархіи. Начальники Сенички не нахвалятся имъ; мало того, что онъ держитъ въ страхѣ своихъ подчиненныхъ, но что всего драгоцѣннѣе — самъ повиноваться умѣетъ. Окончивъ съ успѣхомъ курсъ въ училищѣ правовѣдѣнія, Сеничка съ гордостью могъ сказать, что ни одного чина не получилъ за выслугу, а все за отличіе, и наконецъ, тридцати лѣтъ отъ роду, довель свою исполнительность до того, что начальство нашлось вынужденнымъ наградить его чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Поздравляя его съ этой наградой, Сеничкинъ начальникъ публично улыбнулся и назвалъ его „général-enfant“, а Сеничка, съ своей стороны, разревновался до того, что въ одинъ годъ сочинилъ пять проектовъ, изъ коихъ два даже по совершенно постороннему вѣдомству. Начальство просто растерялось и не знало, какъ наградить молодого генерала. Сеничка же, съ своей стороны, слушая со всѣхъ сторонъ себѣ похвалы, застѣнчиво краснѣлъ, что придавало еще болѣе цѣны его усердію. Я не читалъ сочиненныхъ Сеничкою проектовъ, но, признаюсь, очень хотѣлъ бы почитать ихъ. А такъ какъ, съ другой стороны, я достовѣрно знаю, что всѣ они кончались словами: *вмѣнить начальникамъ губерніи въ обязанность* и т. д., то, положивъ руку на сердце, я съ увѣренностью могу сказать, что содержаніе ихъ мнѣ заранѣе извѣстно до точности, а слѣдовательно и читать ихъ особенной надобности для меня не настоятъ.

И такъ, со стороны службы, Сеничка былъ счастливъ; онъ имѣлъ прекрасный шитый золотомъ мундиръ, былъ баловнемъ своихъ начальниковъ, служилъ предметомъ зависти для сверстниковъ и примѣромъ подражанія для подчиненныхъ. Сверхъ того, онъ имѣлъ очень пріятную наружность и тѣ прекрасныя манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правовѣдѣнія. И въ наружности, и въ манерахъ его прежде всего поражала очень милая смѣсь откровенной преданности съ застѣнчивою почтительностью; сверхъ того, онъ имѣлъ постоянно бодрый видъ, а когда смотрѣлъ въ глаза старшимъ, то взглядъ его такъ отливалъ довѣрчивостью и признательностью, что старшіе, въ свою очередь, не могли оторвать отъ него глазъ, и по этой причинѣ называли его „василискомъ благонаравія“. Замѣчательно, что до всего этого онъ дошелъ своимъ собственнымъ умомъ, безъ малѣйшей протекціи, по-

тому что татап Воловитинова хотя была женщина съ состояніемъ, но жила безвыѣздно въ деревнѣ и никакихъ знатныхъ связей не имѣла. Вообще Сеничка могъ дерзать въ будущемъ очень далеко, и хотя предположеній своихъ по этому предмету не высказывалъ, но я знаю, что и онъ былъ не чуждъ мечтаній. Я знаю, напримѣръ, что нерѣдко ему снились мундиры самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ и покрововъ, но всегда съ великолѣпнымъ шитьемъ; однажды онъ даже увидѣлъ себя во снѣ сплошь утыканнымъ павлиньими перьями, которыя такъ и играли на солнцѣ всевозможными радужными цвѣтами. Сонъ оказался вѣщунъ, потому что на другой же день его представили къ наградѣ. Повторяю: Сеничка былъ счастливъ. Однако было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось въ томъ, что онъ никакъ не могъ плѣнить сердце маменьки Марьи Петровны. Повидимому, онъ заключалъ въ себѣ всѣ данныя для увеселенія материнскаго сердца; повидимому онъ былъ и благовращенъ, и почителенъ, не пропускалъ ни одного праздника, чтобъ не пожелать милой маменькѣ „встрѣтить его въ полномъ душевномъ спокойствіи и въ той сердечной тишинѣ, которыхъ вы, милая маменька, вполне достойны“, однако материнское сердце оставалось холодно къ нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не „утѣшалась“ имъ: когда онъ въ первый разъ пріѣхалъ къ ней показаться въ генеральскомъ чинѣ, она даже потрепала его по щекѣ и сказала: „ахъ, ты мой!“ но денегъ не дала и ограничилась ласковымъ внушеніемъ, что люди для того и живутъ на свѣтѣ, чтобъ другъ другу тяготы носить.

— Маменька, мнѣ надо будетъ мундиръ новый сшить! — сказалъ Сеничка, думая деликатнымъ образомъ дать понять объ истинной цѣли своего посѣщенія.

— Сшей, душенька, сшей! — снисходительно отвѣчала Марья Петровна, а денегъ такъ-таки и не дала.

Сосѣди всячески истолковывали себѣ причины холодности Марьи Петровны къ своему первенцу. Приплетали тутъ и какихъ-то двухъ офицеровъ пошехонскаго пѣхотнаго полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сеничка — первый и единственный сынъ своего отца, и что Марья Петровна, не питавшая никогда нѣжности къ своему мужу, перенесла эту холодность и на сына...

Я, съ своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смѣя ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеровъ и аптекаря (потому что я и самъ этого обстоятельства не привелъ въ положительную извѣстность), я объясняю себѣ холодность Марьи Петровны нѣсколько иначе. Она была женщина простая, дѣятельная и весьма сообразительная; Сеничка же, напротивъ того, былъ молодой человѣкъ вычурный, лимфатическій и слегка словно пришибленный. Марья Петровна любила, чтобъ у нея дѣло въ рукахъ горѣло; Сеничка же любилъ всякое дѣло обсудить, т.-е. не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его съ три короба всякаго рода предварительныхъ пошлостей. Марья Петровна терпѣть не могла, когда къ ней лѣзли съ нѣжностями, и даже цѣлованіе руки считала хотя необходимою, но все-таки скучною формальностью; напротивъ того, Сеничка, казалось, только и спалъ и видѣлъ, какъ бы влѣпить мамашѣ безешку взасосъ, и шагу не могъ ступить



безъ того, чтобы не сказать: „вы, милая маменька“, или: „вы, добрый другъ, моя дорогая маменька“. Весьма натурально, что, будучи отъ природы нетерпѣлива и не видя конца рѣчи, Марья Петровна выходила наконецъ изъ себя и готова была выкусить языкъ этому „подлецу Сенькѣ“, который прехладнокровно сидѣлъ передъ нею и размазывалъ цвѣты своего краснорѣчія. „Какъ начнеть онъ это разводить, да размазывать, да душу изъ меня выматывать, какъ начнеть-это свои слюни распускать, — говорила Марья Петровна по этому случаю, — такъ, повѣрите ли, родная моя, я даже свѣту не взвижу; такъ бы, кажется, изодрала ему ротъ-то его поганый, чтобы онъ кашу-то эту изъ себя скорѣй выблевалъ!“ Когда Марья Петровна ѣла, то совсѣмъ не жевала, а проглатывала пищу, какъ жука; напротивъ того, Сеничка любилъ всякій кусокъ разсмотрѣть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцемъ, и къ довершенію всего разрѣзывалъ кушанье на маленькіе кусочки, а съ огурца непременно срѣзывалъ кожу. Поэтому, когда имъ случалось вдвоемъ обѣдать, то у Марьи Петровны всегда до того раскипалось сердце, что она, какъ ужаленная, выскакивала изъ-за стола и, не говоря ни слова, выбѣгала изъ комнаты, а Сеничка слѣдомъ за ней приставалъ: „кажется, я, добрый другъ маменька, ничѣмъ васъ не огорчилъ?“ Наконецъ, когда Марья Петровна утромъ просыпалась, то, сплеснувъ себѣ нѣскольکو лицо и руки холодною водою и накинувъ старенькую ситцевую блузу, тотчасъ же отправлялась по хозяйству и ужъ затѣмъ цѣлое утро переходила отъ погреба къ конюшнѣ, отъ конюшни въ контору, а тамъ въ оранжерею, а тамъ на скотный дворъ. Сеничка, напротивъ того, и спалъ какъ-то не по-человѣчески: во-первыхъ, на ночь умачалъ свое лицо притираньями; во-вторыхъ, проснувшись, цѣлый часъ разсматривалъ, не вскочило ли гдѣ прыщика, потомъ цѣлый часъ чистилъ ногти, потомъ цѣлый часъ изучалъ передъ зеркаломъ различнаго рода улыбки, причемъ даже ротъ какъ-то на сторону выворачивалъ, словно выкидывалъ губами артикулъ. Хотя Марья Петровна до всего этого было очень мало дѣла, потому что она и не желала, чтобы дѣти у нея въ домѣ чѣмъ-нибудь распорядились, однако она и на конюшнѣ, бывало, вспомнить, что вотъ „Сенька-фатой“ теперь передъ зеркаломъ гримасы строить, и даже передернуть ее всю при этомъ воспоминаньи. Однимъ словомъ, встрѣчаясь въ жизни на каждомъ шагу, они не только не могли ни въ чемъ сойтись, но положительно и постоянно точили другъ друга. Ясно, что причина этого явленія лежала совсѣмъ не въ офицерахъ пошехонскаго полка, но объяснялась гораздо проще. Они видѣть другъ друга не могли безъ того, чтобы мысленно не произнести — она: „ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ меня отъ одного твоего вида тошнить!“ — онъ: „ахъ, еслибъ ты знала, съ какимъ бы я удовольствіемъ ноги своей сюда не поставилъ, кабы только отъ меня это зависѣло!“ Какой же тутъ аптекарь! тутъ просто люди не понимаютъ другъ друга, потому что говорятъ на разныхъ языкахъ!

Однажды Сеничка на смерть перессорился съ маменькой изъ-за бани. Пріѣхавши лѣтомъ въ отпускъ, вздумалъ онъ вымыться въ банькѣ, и пришелъ доложить объ этомъ маменькѣ. Онъ тогда только-что былъ произведенъ въ статскіе совѣтники и назначенъ вице-директоромъ какого-то департамента.

— У меня есть до васъ, милая маменька, большая просьба!— приступилъ Сеничка, по своему обыкновенію, съ предисловія.

— Говори, мой другъ!

— Вы меня извините, добрый другъ, маменька, я только-что пріѣхалъ, и рѣшаюсь уже васъ безпокоить...

— Говори, мой другъ!

— Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мнѣ расположеніе, и какъ вы всегда были снисходительны ко всѣмъ моимъ нуждамъ...

— Да говори же, дуракъ!

— Я, право, не знаю, дорогая маменька, чѣмъ я могъ заслужить вашу гнѣвъ...

— Долго ли ты меня притѣснять будешь? долго ли тебѣ мной командовать?

— Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбѣжала изъ комнаты. Сеничка побрелъ къ себѣ, уныло размышляя по дорогѣ, за что его наказалъ Богъ, что онъ ни подъ какимъ видомъ на маменьку потрафить не можетъ. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала дѣвку Палашку спросить „у этого, прости Господи, чорта“, чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семенъ Ивановичъ въ баньку желаютъ сходить.

— На-тко!— сказала Марья Петровна и показала при этомъ Палашкѣ указательный палецъ правой руки: — на дворѣ сѣнокосъ, люди въ полѣ, а онъ въ баньку выдумалъ! Поди, доложи, что некому сегодня топить.

Однако черезъ нѣсколько минутъ Марья Петровна опять обдумалась, велѣла затопить баню и послала за Сеничкой.

— Ну, ступай въ баню, мой другъ,— сказала она кротко.

— Но если это затрудняетъ васъ въ вашихъ распоряженіяхъ, милый другъ маменька...

— Ступай въ баню, мой другъ,— опять повторила Марья Петровна, и, чтобъ не увлечься, занялась раскладываніемъ гранъ-пасьянса.

— Если всѣ люди въ полѣ, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвѣчала, но, судорожно повертываясь на стулѣ, думала: „неужели это я такого дурака родила!“

— Я не знаю, милая маменька, что я такое сдѣлалъ, чѣмъ я могъ васъ огорчить?

Молчаніе...

— Я благодаріемъ своимъ заслужилъ любовь всѣхъ моихъ начальниковъ, нынѣ назначенъ уже вице-директоромъ и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена...

То же молчаніе, нарушаемое только шлепаньемъ картъ.

— Во всѣхъ семействахъ первородные сыновья...

— Уйдешь ли ты въ баню, мерзавецъ!— крикнула наконецъ Марья Петровна, но такимъ голосомъ, что Сеничкѣ стало страшно. И долго потомъ волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чемъ-то сама съ собой, и все повторяла: „лишу! ну, какъ Богъ святъ, лишу я этого подлеца



наслѣдства! и передъ Богомъ не отвѣчу!“ Съ своей стороны Сеничка хоть и пошелъ въ баню, но не столько мылся въ ней, сколько размышлялъ: „Господи, да отчего же я всѣмъ угодилъ, всѣмъ заслужилъ, только маменькѣ Марьѣ Петровнѣ ничѣмъ угодить и заслужить не могу!“

Второй сынъ Марьи Петровны, Митенька — дипломатъ. Онъ воспитывался въ лицѣѣ, прекрасно владѣетъ французскимъ діалектомъ, смотритъ урожденнымъ камеръ-юнкеромъ и отлично танцуетъ. Лицо его выразительно и напоминаетъ скорѣе прекрасный худошавый итальянскій типъ, нежели нашъ мясистый русскій. Поговариваютъ, будто онъ пользуется значительными успѣхами у дамъ; тѣмъ не менѣе онъ ведетъ себя очень осторожно; исторій, которыя могли бы его скомпрометировать, никогда не имѣлъ и, какъ видно, предпочитаетъ обдѣлывать свои дѣла полегоньку. Вообще это малый довольно глубокомысленный, понимающій, что счастье человѣческое заключается въ скромности, терпѣннѣи и небрезгливости, и, вслѣдствіе того, всегда предпочитающій даму опытную, знакомую съ жизненною дипломатіей, какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но въ то же время неосновательной бабенкѣ. Носились слухи, что онъ сѣмъ „сыскать“ въ какой-то княгинѣ, знаменитой не столько настоящей, сколько прошедшею своею красотой; говорили, что онъ не только пользуется ея благосклонностью, но не пренебрегаетъ и другими, болѣе вещественными выгодами. Какъ бы то ни было, но квартира его была дѣйствительно отдѣлана какъ игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей расчетливости, не слишкомъ-то щедро давала дѣтямъ денегъ на прожитіе; сверхъ того, княгиня почти публично называла его сыномъ, давала ему цѣловать свои ручки и безъ усталѣи напоминала Митенькинымъ начальникамъ, что это перлъ современныхъ молодыхъ людей. Мнѣ, какъ автору, кромѣ того, извѣстно, что однажды княгиня, въ порывѣ чувствительности, даже написала къ Марьѣ Петровнѣ письмо, въ которомъ называла ее доброю маман и просила благословенія. Это былъ единственный случай, когда Митенька вышелъ изъ своего обычнаго хладнокровія и чуть-было не поссорился съ своею покровительницей. Въ первомъ увлеченіи гнѣва онъ нашель, что поступокъ этотъ черезчуръ ужъ нелѣпъ, *que ça n'a l'air de rien*, что это срамъ; однакожъ, по зрѣломъ размышленіи, успокоился, и даже разсудилъ, что нелѣпая сантиментальность княгини можетъ возвысить его въ маминыхъ глазахъ и, вмѣсто вреда, принести пользу. И дѣйствительно, почти вслѣдъ за тѣмъ онъ получилъ отъ мамы письмо полное самыхъ шутивыхъ намековъ, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось порученіемъ поцѣловать милую княгиню и передать ей, что ея материнское сердце отнынѣ будетъ видѣть въ ней самую близкую, нѣжно любимую дочь. Разумѣется, Митенька порученія этого не исполнилъ.

Въ своемъ обществѣ Митенька называлъ Марью Петровну *ma bonne pôte de mère*, и очень трогательно рассказывалъ, какъ она тамъ хозяйничаетъ въ деревнѣ, чтобъ прилично содержать своихъ дѣтей. Къ Сеничкѣ онъ относился дружелюбно, но видѣлся съ нимъ рѣдко и въ отношенія его къ матери не входилъ, ибо считалъ, что это не его дѣло. Онъ зналъ, что Сеничка не потеряется и въ концѣ концовъ, все-таки, женится на купчихѣ, которая соблазнится его генеральствомъ. Оеденьку, младшаго брата, онъ въ

душѣ презиралъ и даже боялся, что онъ когда-нибудь непременно или казенныя деньги украдетъ, или подъ судъ попадетъ, или получить непріятность по лицу. Тѣмъ не менѣе это опасеніе, быть можетъ, было причиной, что онъ поддерживалъ съ Ѳеденькой сношенія даже болѣе дѣятельныя, нежели съ Сеничкой: онъ надѣялся, что если и возникнетъ какая-нибудь непріятность, то можно будетъ своевременно-принятыми мѣрами предотвратить ее. Повторяю: это былъ малый очень глубокомысленный, принявшій свое положеніе въ томъ видѣ, въ какомъ оно дѣйствительно представлялось, и употреблявшій всѣ свои усилія на то, чтобъ вывернуться изъ него какъ можно приличнѣе. Еслибы можно было унечъ Ѳеденьку куда-нибудь подальше, но такъ, чтобъ это было прилично (ему часто даже во снѣ видѣлось, что Ѳеденька оказался преступникомъ и что его ссылаютъ въ Сибирь), то онъ бы ни на минуту не усомнился оказать въ этомъ дѣлѣ все свое содѣйствіе.

Съ своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одномъ его имени она чувствовала какой-то паническій страхъ—точно вотъ онъ сейчасъ возьметъ да и проглотитъ ее. Митенька дома держалъ себя таинственно-строга, съ матерью никогда не ссорился, но и въ откровенности не пускался. Въ сущности, онъ и Сеничка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основъ, то же отсутствіе всякой живой мысли, но вслѣдствіе особенностей характера и жизненной выдержки то, что въ Сеничкѣ сказывалось прямою, неподкрашеною нелѣпостью, въ Митенькѣ являлось твердостью характера, переходившаго въ холодную и разчетливую злость. Оба они говорили и дѣлали однѣ и тѣ же пошлости, но проводили эти пошлости въ жизнь совершенно различными путями. Сеничка суетился и сантиментальничалъ; онъ не смотрѣлъ на себя какъ на государственнаго человѣка, но, надѣясь на милость начальства, былъ преданъ и выигрывалъ единственно усердіемъ и ничтожествомъ. Взирая на него, какъ онъ хлопочетъ и надрывается, усматривая на каждомъ шагу несомнѣнныя доказательства его почтительности, начальство говорило: „о! это молодой человѣкъ вѣрный! этотъ не выдастъ!“ Напротивъ того, Митенька былъ неприступенъ и непроницаемъ; онъ хранилъ свою пошлость про себя и совершенно искренно вѣрилъ, что въ ней заключаются истинныя задатки будущаго государственнаго человѣка; онъ не хлопоталъ, не суетился, но дѣлалъ свои маленькія нелѣпости серьезно и методически и поражалъ при этомъ благородствомъ манеръ. Взирая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпійскаго спокойствія, начальство говорило: „да! это молодой человѣкъ положительный! этотъ не выдастъ!“ Результаты въ обоихъ случаяхъ выходили одинаковыя; и дѣйствительно, Митенька шелъ впередъ столь же быстрыми шагами, какъ и Сеничка, съ тою только разницей, что Сеничка могъ надѣяться всплыть наверхъ въ такомъ случаѣ, когда будетъ запросъ на пошлецовъ восторженныхъ, а Митенька въ такомъ, когда будетъ запросъ на пошлецовъ непромокаемыхъ. Марья Петровна радовалась успѣхамъ Митеньки, во-первыхъ, потому, что это не позволяло Сеничкѣ говорить: „всѣ у васъ дѣти пастухи—я одинъ генералъ!“ и, во-вторыхъ, потому, что Митенька одинъ умѣлъ сдерживать Ѳеденьку, эту скорбь и, вмѣстѣ съ тѣмъ, радость и чаянье ея материнскаго сердца.



И дѣйствительно, Оеденька представлялъ собою совершеннѣйшій типъ не только пустѣйшаго малаго, но и положительнаго ерыги. „Всѣ у него удовольствія какія-то неблагородныя! все-то у него либо подолъ поднять, либо рожу раскровянить!“ часто думала втихомолку Марья Петровна про Оеденьку, и болѣло же—охъ, болѣло!—ея материнское сердце! И припоминала ей безпощадная память всѣ оскорбленія, на которыя былъ такъ щедръ ея любимчикъ; подсказывала она ей, какъ онъ однажды, пьяный, ворвался къ ней въ комнату и, ставши передъ ней съ кулаками, заревѣлъ: „сейчасъ послать въ городъ за шампанскимъ, не то весь домъ своими руками передешу!“ „И передушилъ бы!“—невольно повторяетъ Марья Петровна при этомъ воспоминаніи. Подсказывала ей память, какъ онъ въ другой разъ преданную ей ключницу Степаниду собирался за что-то повѣсить, какъ онъ даже вбилъ гвоздь въ стѣну, приготовилъ веревку и наконецъ заставилъ Степаниду стать на колѣни и молиться Богу. Подсказывала ей память, какъ онъ однажды дьячку потихоньку косу обстригъ, и какъ дьячокъ былъ отъ того въ великомъ смущеніи и хотѣлъ даже доходить до епархіальнаго начальства... Вообще каждый пріѣздъ Оеденьки въ родительскій домъ равнялся непріятельскому погрому, послѣ котораго обыватели долго не могли придти въ себя. Во-первыхъ, всѣхъ горничныхъ непременно перепортить, и не то чтобъ лаской или резоннымъ усовѣщиваньемъ, а все арапникомъ да нагайкой; во-вторыхъ, божьяго дара не столько припеть—пріѣсть, сколько озорствомъ разбрасаетъ; въ-третьихъ, изъ всего дома словно конюшню сдѣлаетъ. „Другая бы мать давно этакаго молодца въ суздаль-монастырь уекла!“ разсуждаетъ сама съ собою Марья Петровна, совершенно убѣжденная, что есть на свѣтѣ какой-то суздаль-монастырь, въ который чадолюбивые родители имѣютъ право во всякое время уекать неправящихся имъ дѣтей. Никто въ домѣ не любилъ Оеденьку; всѣхъ-то онъ или побилъ, или оборвалъ; только горничныя дѣвки оказывали какое-то трепетное малодушіе при одномъ его взглядѣ, несмотря на жестокое его обращеніе.

Тѣмъ не менѣе сердце Марьи Петровны ни къ кому изъ дѣтей такъ не лежало, какъ къ Оеденькѣ. Быть можетъ, ей именно то въ немъ и нравилось, что онъ такимъ коршуномъ налеталъ: „разбойникъ!“—громко говорилъ ея разсудокъ; „молодецъ!“—подсказывали внутренности, и, какъ и водится, послѣднія всегда одерживали побѣду въ этой неравной борьбѣ. Будучи сама характера рѣшительнаго и смѣлаго, она весьма естественно симпатизировала Оеденькѣ, который ни передъ чѣмъ не задумывался, ничѣмъ не затруднялся. Никогда не имѣвъ случая испытать надъ собой гнетъ чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелѣвая, она исполнялась какимъ-то наивнымъ удивленіемъ передъ Оеденькой, который сразу подчинялъ ее себѣ. Это былъ совсѣмъ не страхъ, въ родѣ того, который внушала ей Митенька,—это именно было удивленіе. Митеньку она боялась, потому что знала, что ужъ если этотъ человѣкъ чего захочетъ, то не станетъ много разговаривать, не станетъ горячиться, а просто ехиднѣйшимъ образомъ подкопается подо все существованіе и изведетъ, измучитъ въ конецъ, покуда не поставитъ на своемъ. Напротивъ того, Оеденька, какъ буянъ по натурѣ, дѣйствовалъ убѣжденіемъ, такъ сказать, механическимъ: вспылитъ, подыметъ дымъ коромысломъ, по-

рой чуть-чуть не убьетъ, но черезъ десять минутъ опять успокоится и опять пошелъ шутки шутить.

Ко всему этому Оеденька былъ и по наружности молодецъ молодцомъ. Высокій, плечистый, изкрасна бѣлокурый, онъ олицетворялъ собою типъ чисто русскій, мясистый типъ, отъ котораго млѣютъ и ноютъ неиспорченныя сердца русскихъ помѣщичъ и ихъ горничныхъ. Часто, глядя на него, Марья Петровна невольно думала: „Господи! да какъ же и противиться-то этакому молодцу!“ — и въ этомъ, быть можетъ, была вторая причина ея предпочтенія младшему сыну. Когда же, бывало, натянеть онъ на себя свой кавалерійскій мундиръ, а на голову надѣнетъ мѣдную, какъ жаръ горящую, каску, да войдетъ такимъ чудачкомъ въ мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтобъ не упасть въ обморокъ отъ полноты чувствъ.

— Экъ! ужъ и расползлся! — скажетъ, бывало, Оеденька и дикоторжественно загогочетъ.

— Да помилуй, мой другъ! — вымолвить только Марья Петровна и долго смотритъ на своего идола, смотритъ безъ всякихъ мыслей, кромѣ одной: „Господи! да неужто же есть на свѣтѣ такая женщина, которая можетъ противиться моему молодцу!“

Кромѣ сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петенька. Пашенька — кругленькое, маленькое и мяконькое существо — вотъ все, что можно сказать объ ней. Она менѣе года какъ замужемъ за „хорошимъ человѣкомъ“, занимающимъ въ губернскомъ городѣ довольно видное мѣсто, котораго, однакъ, Оеденька откровенно называетъ „слюняемъ“ и „фофаномъ“; Марья Петровна души въ ней не слышитъ, потому что Пашенька любитъ копить деньги. Петенька — четырнадцатилѣтній мальчикъ, полуидіотъ и единственный постоянный собесѣдникъ Марьи Петровны, которая обращается съ нимъ снисходительно и жалуется только на то, что онъ, по своей нечистоплотности, слишкомъ много бѣлья изнашиваетъ. Единственный разговоръ, которымъ всѣхъ и каждого потчивалъ Петенька, заключался въ томъ, какъ онъ однажды заблудился въ лѣсу, легъ спать подъ дерево, и на другой день, проснувшись, увидѣлъ, что кругомъ обросъ грибами.

— Что-жь, ты, чай, такъ ихъ сырые и прѣлъ? — спрашивалъ его обыкновенно Оеденька.

— Ый! — отвѣчалъ Петенька, который, помимо малоумія, былъ до такой степени косноязыченъ, что трудно было понять, что онъ говоритъ.

— Ну, братъ, скотина же ты!

— *Кати...*

И такъ, вотъ то семейство, среди котораго Марья Петровна Воловятинова считала себя совершенно счастливою.

Часу въ первомъ усмотрѣно было по дорогѣ первое облако пыли, предвѣщавшее экипажъ. Дѣвки засовались, домъ наполнился криками: „ѣдутъ! ѣдутъ!“ Петенька, на палочкѣ верхомъ, выѣхалъ на крыльцо и во все горло дралъ какую-то вновь сочиненную имъ галиматью: „пяти-маля, маля-тата-бумъ-бумъ!“ Марья Петровна тоже выбѣжала на крыльцо и по дорогѣ наградила Петеньку такимъ шлепкомъ по головѣ, что тотъ такъ и покатился. Первая прибыла Пашенька: она была одна, безъ мужа.



— Другъ ты мой! а что же другъ-то твой, Максимъ Александрычъ? — воскликнула Марья Петровна, заключая въ свои объятія возлюбленную внучку.

— Максиму Александрычу никакъ нельзя, милая бабенка; у насъ, бабенка, скоро торги, такъ онъ готовится! Здравствуй, Петька!

— *Пати-маля, маля-тата, бумъ-бумъ!*

— Это онъ что-то новое у васъ, бабенка, выучилъ!

— Не слыхала еще! сегодня, должно быть, выдумалъ! это онъ „репри-мандъ“ дорогимъ гостямъ дѣлаетъ.

— А я, бабенка, полторы тысячи накопила! — сообщаетъ Пашенька, какъ только унялись первые восторги.

— Ахъ, ты моя ягодка! да никакъ ты тяжела!

— Я, милая бабенка, тяжела ужъ съ одиннадцатаго февраля!

— Ахъ, малютка ты моя милая! гдѣ-жъ ты рожать-то будешь?

— Максимъ Александрычъ говоритъ, что у себя, въ городѣ.

— Да есть ли у васъ бабка-то тамъ?

— У насъ, бабенка, такая бабка... такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую изъ Петербурга прислали!

— Стало быть, у васъ губернаторша-то еще рождаетъ?

— Ахъ, бабенка! у насъ губернаторша... это ужасъ! Ужъ немолодая женщина, а каждый годъ! каждый годъ!

— Ну, это хорошо, что бабка у васъ такая... Куда же ты деньги-то положила?

— Нѣтъ, бабенка, Максимъ Александрычъ мнѣ класть не совѣтовалъ; проценты нынче въ опекунскомъ совѣтѣ маленькіе, такъ я въ ростъ за большіе проценты отдала.

— Смотри, чтобъ онъ у тебя денегъ-то не выманилъ!

— Кто это?

— А Максимушка-то твой; бываютъ, Пашенька, мой другъ, бываютъ такіе озорники, что и жену готовы живую съѣсть, только бы деньги изъ нея вымучить!

— Ну, ужъ это, бабенка, тогда развѣ будетъ, когда онъ жилы изъ меня потянетъ!

— То-то, ты смотри!

Бабенка смотритъ Пашенькѣ въ глаза и не налюбуется на нее; Пашенька, съ своей стороны, докладываетъ, что приходилъ къ ней недавно въ городъ мужикъ изъ Жостова, Михай Пантелеевъ, просилъ оброкъ простить, потому что погорѣлъ: „да я ему, милая бабенка, не простила“.

— Ну, душенька, иногда, по-божески, нельзя и не простить! — замѣчаетъ Марья Петровна.

— Ну, ужъ нѣтъ, бабенка! этакъ они такъ объ себѣ возмечтаютъ, что послѣ съ ними и не сговоришь!

— Однако, душечка...

— Нѣтъ, бабенка, нѣтъ! Я ужъ рѣшилась никогда никому никакихъ снисхожденій не дѣлать!

Потомъ Пашенька рассказываетъ, какой у нихъ въ городѣ домъ слав-

ный, какъ ихъ всѣ любятъ и какіе у Максима Александрыча доходы по службѣ прекрасные.

— Въ прошлый наборъ, бабенка, такъ это ужаси, сколько Максимъ Александрычъ пріобрѣлъ!—говоритъ она.

— Да, это хорошо, коли въ домъ, а не изъ дому! Ты, Пашенька, раз-узнай подъ рукой про его доходы-то, а не то какъ разъ на сторонѣ метрессу заведетъ!

— Чтò вы, бабенка, да я ему глаза выцарапаю!

— Ахъ ты моя ягодка!

Пашенька чувствуетъ приливъ нѣжности, которая постепенно переходитъ въ восторгъ. Она ластится къ бабенкѣ, цѣлуетъ у нея ручки и глазки, называетъ царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хотъ и порывается она замѣтить, по поводу Михея Пантелеева, что все-таки слѣдуетъ иногда „этимъ подлецамъ“ снисходить, но замѣтка эта утопаетъ въ другомъ разсужденіи, выражающемся словами: „а коли по правдѣ, чтò ихъ, канальевъ, и жалѣть-то!“ Такимъ образомъ время проводится незамѣтно до самаго пріѣзда дяденекъ.

Наконецъ и они пріѣхали. Оеденька, какъ соскочилъ съ телѣги, прежде всего обратился къ Пашенькѣ съ вопросомъ: „ну, чтò, а слюняй твой гдѣ?“ Петеньку же взялъ за голову и сряду три раза на ней показалъ, какъ слѣдуетъ ковырять масло. Но какъ ни спѣшилъ Сеничка, однако все-таки опоздалъ пятью минутами противъ младшихъ братьевъ, и Марья Петровна, въ радостной суетѣ, даже не замѣтила его пріѣзда. Безъ шума подѣхалъ онъ къ крыльцу, слѣзъ съ перекладной, осматривалъ ямщика укоризнами и даже пригрозилъ отправить къ становому.

— Милости просимъ! милости просимъ! хотъ и поздній гость—говоритъ ему Марья Петровна, когда онъ входитъ въ ея комнату.

— Я, милая маменька, выѣхалъ прежде всѣхъ...

— А ты умѣй послѣ всѣхъ выѣхать, да прежде всѣхъ пріѣхать!—говоритъ Оеденька:—право, мы выѣхали со станціи полчасу послѣ него: думаемъ, пускай его угодить маменькѣ... Сеня! а, Сеня! признайся, вѣдь тебѣ очень хотѣлось угодить маменькѣ?

Сеничка улыбается; онъ хочетъ притвориться, что Оеденька—и его фаворитъ, и что, по любви къ нему, онъ смотритъ на его выходки снисходительно.

— Только на половинѣ дороги смотримъ, кто-то передъ носомъ у насъ трюхъ-трюхъ!—продолжаетъ Оеденька:—вѣдь просто даже глядѣть было на тебя тошно, какимъ ты разумаемъ ѣхалъ! а еще генераль... ха-ха!

— Ну, Христось съ нимъ, Оеденька!

— Да нѣтъ, маменька! не могу я равнодушно видѣть... его, да вотъ еще Пашенькинова слюняя... Шипятъ себѣ да шипятъ втихомолку!

— Чтò такое тебѣ мой слюняй сдѣлалъ?—горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла къ этому прозвищу, что и сама нерѣдко, по ошибкѣ, называетъ мужа слюняемъ.

Митенька сидитъ и хмуритъ брови. Онъ спрашиваетъ себя: куда онъ попалъ? Онъ безъ ужаса не можетъ себѣ представить, чтò сказала бы кня-



гиня, еслибъ видѣла всю эту обстановку? и даетъ себѣ слово уѣхать изъ родительскаго дома, какъ только будутъ соблюдены необходимыя приличія. Марья Петровна видитъ это дурное расположеніе Митеньки и принимаетъ мѣры къ прекращенію непріятнаго разговора.

— Ну, вы, пѣтухи индѣйскіе! какъ сошлись, такъ и наскочили другъ на друга!—говоритъ онъ ласково:—разсказывайте-ка лучше каждый про свои дѣла! Начинай-ка, Оеденька!

Митенька думаетъ про себя: „Господи, и слова-то какія! „пѣтухи индѣйскіе!“ да куда жъ это я попалъ!“ Сеничка думаетъ: „а вѣдь, это она не меня пѣтухомъ-то назвала! Это она все Оедьку да Пашку ласкаетъ!“

— Да чтѣ я скажу!—начинаетъ Оеденька:—жуируемъ!

— Да ты разсказывай!—настаиваетъ Марья Петровна.

— Недавно одну корифейку затравили!

— Чтѣ ты!

— Уговаривали добромъ—не хотѣла, ну, и завели обманомъ въ одно мѣсто и затравили!

— Ахъ, вы, бѣдокуры! бѣдокуры!—говоритъ Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.

— Тебя, Оеденька, за эти продѣлки непремѣнно въ солдаты разжалуютъ,—очень серьезно замѣчаетъ Митенька.

— Еще чтѣ?

— Ахъ, боюсь и я этого! боюсь я, что ты очень ужъ шаловливъ сталъ, Оеденька!

— Такъ неужто-жъ имъ спуска давать!

— Да ужъ очень ты неосторожно, другъ мой! Чай, вѣдь она, Оеденька, плакала!

— Ну, чтожъ... и плакала! смотрѣть, что-ли, на ихнія слезы!

Марья Петровна опять вздыхаетъ, но въ этомъ вздохѣ не слышится ни малѣйшей укоризны, а скорѣе какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.

— Вотъ еслибъ онъ вздумалъ такую продѣлку сдѣлать, — продолжаетъ Оеденька, указывая на Сеничку:—ну, это точно: сейчасъ бы его, раба божьяго, сграбастали... нѣтъ, да вѣдь я позабыть не могу, какимъ онъ фофаномъ давеча ѣхалъ!

— Ну, гдѣ ужъ ему!

— Нѣтъ, маменька,—прерываетъ вдругъ Сеничка, которому хочется вступить за свою честь:—я тоже однажды имѣлъ случай въ этомъ родѣ...

— Полно! полно хвастаться-то! ужъ гдѣ тебѣ, убогому!

Сеничка стыдливо умолкаетъ и весь погружается въ самого себя; онъ думаетъ, чтѣ бы такое ему сказать пріятное, когда маменька станетъ разспрашивать о его житьѣ-бытьѣ.

— Я, маменька, опять Эндоурова обыгралъ,—продолжаетъ повѣствовать Оеденька.

— Скажи, сдѣлай милость! и много выигралъ?

— Да тысячь на пять обжегъ.

— Что это за Эндоуровъ такой? должно быть, хорошій человѣкъ?

— Просто филинъ... въ карты шагу ступить не умѣть — ну, и обжечь! Не суйся впередъ, коли лапти плетешь!

— Ну, и за это тебя когда-нибудь въ солдаты разжалуютъ, — холодно-жрово замѣчаетъ Митенька.

— Ахъ, чтò это ты, Митенька, точно ворона каркаешь! — съ неудовольствіемъ отзывается Марья Петровна.

— Не тянутъ же мнѣ канитель по двѣ копѣйки въ ералашъ, какъ Семену Иванычу! — огрызается Ѳеденька.

— Извините-съ, я нынче по пяти играю, а не по двѣ-съ! — отвѣчаетъ Сеничка не безъ волненія.

— Такъ ты по пяти играешь! ахъ ты, развратникъ! но только ты, все-таки, не повѣришь, какимъ ты фoфаномъ давеча ѣхалъ!

— Для тебя бы, Сеничка, такая-то игра и дорогонька! — сухо замѣчаетъ Марья Петровна и обращается къ Митенькѣ: — ё ву, ля метрессъ... тужуръ бьенъ?

— Желалъ бы я знать, отчего вы вдругъ по-французски заговорили? — угрюмо спрашиваетъ Митенька.

— Отчего-жъ мнѣ и не заговорить по-французски?

— Нѣтъ, я желалъ бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вотъ какъ вамъ взошла въ голову пакость, сейчасъ принялись за французскій языкъ?

— Ахъ, Господи! да неужто-жъ это преступленіе какое?

— И сколько я разъ говорилъ вамъ, чтобы вы со мной о подобныхъ предметахъ не заигрывали?

— Вѣдь ты, чай, сынъ мнѣ! всякой матери лестно слышать, коли сынъ успѣхи имѣетъ!

— А я вамъ говорилъ, и вновь повторяю, что имѣю ли я успѣхи, или нѣтъ, это до васъ не касается!

— Ну, ужъ не знаю...

— Такъ знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи.

Я не знаю, какъ вывернулась бы изъ этого пассажа Марья Петровна и сѣумѣла ли бы она защитить свое материнское достоинство; во всякомъ случаѣ Сеничка оказалъ ей неоцѣненную услугу, внезапно фыркнувъ во все-услышаніе. Вѣроятно его точно такъ же, какъ и Митеньку, поразилъ французскій языкъ матери, но онъ нѣкоторое время крѣпился, какъ вдругъ Митенька своимъ вовсе не остроумнымъ сравненіемъ вызвалъ наружу всю накопившуюся смѣшливость.

— Ты еще чтò? — строго обратилась къ нему Марья Петровна.

— Я, маменька, одинъ смѣшной случай вспомнилъ-съ...

— Надъ матерью-то посмѣяться тебя станеть, а вотъ какъ заслужить чѣмъ-нибудь, такъ тутъ тебя нѣтъ!

— Я, маменька...

Но здѣсь опять — и, конечно, противъ всякаго желанія — Сеничка разразился самымъ неестественнымъ фырканьемъ, такъ что самъ понялъ все неприличіе своего поведенія и инстинктивно поднялся со стула.



— Поди въ свою комнату... очнись! — говорила ему вслѣдъ до глубины души оскорбленная мать.

Только къ обѣду явился Сеничка, но и то единственно за тѣмъ, чтобы испить до дна чашу униженія. За обѣдомъ все шло по сказанному; Марья Петровна сама выбирала и накладывала лучшіе куски на тарелки Митенькѣ, Ѳеденькѣ и Пашенькѣ, и потомъ, обращаясь къ Сеничкѣ, прибавляла: „ну, а ты, какъ старшій, самъ себѣ положишь, да кстати ужъ и Петенькѣ наложитъ“. Очевидно, что при такой простотѣ обращенія только относительно щей дѣло могло принять оборотъ нѣсколько затруднительный, но и тутъ обстоятельства выручили Марью Петровну, потому что Ѳеденька, какъ воинъ грубый, предпочелъ крапивныя щи лѣнливымъ, и вслѣдствіе этого оказалось возможнымъ полтарелки послѣднихъ удѣлить Сеничкѣ. Наѣвшись баранины, Сеничка почувствовалъ такую тяжесть въ желудкѣ, что насилу дошелъ до своей комнаты и какъ снопъ свалился на постель: Ѳеденька отправился послѣ обѣда на конюшню; Пашенька, какъ *тяжелая*, позволила себѣ часочекъ, другой отдохнуть. Марья Петровна осталась съ Митенькой наединѣ.

— Вотъ вы смѣтаетесь надо мной, мои друзья, — сказала она въ видѣ предисловія: — а я, какъ мать, можно сказать, денно и нощно только о васъ думаю.

Митенька молчалъ и думалъ про себя: „ну, вѣрно, по обыкновенію пойдутъ разговоры о завѣщаніи!“

— Вотъ я теперь и стара, и дряхла становлюсь, — продолжала Марья Петровна: — мнѣ бы и о душѣ пора подумать, а не то чтобы имѣніемъ управлять или свѣтскими дѣлами заниматься!

Митенька продолжалъ молчать, совершенно хладнокровно пуская ртомъ кольца дыма.

— Паче всего сокрушаюсь я о томъ, что для души своей мало полезнаго сдѣлала. Все за заботами да за дѣтьми, анъ о душѣ-то и не подумала. А надо, мой другъ, ахъ, какъ надо! И какой это грѣхъ передъ Богомъ, что мы совѣмъ-таки... совѣмъ о душѣ своей не рачимъ!

Но Митенька словно окаменѣлъ. Только чуть замѣтная ироническая улыбка блуждала на губахъ его.

— Вотъ я, мой другъ, и придумала... Да что же ты, однако, молчишь? Я, какъ мать, можно сказать, передъ тобой свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!

— Вы объ завѣщаніи хотите говорить... я знаю! — процѣдилъ сквозь зубы Митенька.

— Ну, да, объ завѣщаніи... можно бы, кажется, на слова матери вниманіе обратить!

— Говорите.

— Нѣтъ, это обидно! Я, какъ мать, покоя себѣ не знаю, все присовокупляю, все присовокупляю... кажется, щепочку на улицѣ увидишь, и ту несешь да въ кучку кладешь, чтобы дѣтямъ было хорошо и покойно, да чтобы нужды никакой не знали, да жили бы въ холѣ да въ нѣженіи...

— Да мы, маменька, очень вамъ благодарны...

— Нѣтъ, мнѣ, видно, Богъ ужъ за васъ заплатитъ! Одинъ онъ, Царь

Милосердый, все знаетъ и видитъ, какъ материнское-то сердце не то чтобъ, можно сказать, въ постоянной тревогѣ объ васъ находится, а еще пуще того объ судьбѣ вашей сокрушается... Чтобы жили вы, мои дѣти, въ веселостяхъ да въ нѣженъи, чтобъ и вѣтромъ-то на васъ какъ-нибудь неосторожно не дунуло, чтобъ и не посмотрѣлъ-то на васъ никто непривѣтливо...

— Да говорите же, маменька, я васъ слушаю.

Мало-по-малу, однакожъ, Марья Петровна успокоилась. Она очень хорошо понимала, что весь этотъ разговоръ — не что иное, какъ представленіе, да, сверхъ того, понимала и то, что и Митенька знаетъ, что все это представление; но такова уже была въ ней потребность порисоваться и посекретничать, что не могла она лишиться себя этого удовольствія, несмотря на то, что оно, очевидно, не достигало своей цѣли.

— Ну, такъ видишь ли, другъ мой, чтѣ я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче ужъ не то, чтѣ прежде бывало: вотъ и хочется мнѣ теперь, чтобъ вы меня, старуху, успокоили, грѣхъ-то съ меня этотъ сняли, что вотъ я всю жизнь все объ мамонѣ да объ мамонѣ, а на хорошее да на благочестивое — и нѣтъ ничего. Такъ снимите же вы, Христа ради, съ меня эту тягость; вѣдь замучилась ужъ я, день-деньской маявшись: освободите вы мою душу грѣшную отъ муки-мученической! Вѣдь ты знаешь ли, какой я себѣ грѣхъ беру на душу: кажется, и не отмолить мнѣ его во вѣкъ!

Марья Петровна даже прослезилась — такъ оно выходило хорошо да чувствительно. Нѣсколько минутъ она все вздыхала и вытирала платкомъ слезы, обильно струившіяся изъ глазъ. Но мысль ея не спала въ это время. Странное дѣло! эта мысль подсказывала ей совсѣмъ не тѣ слова, которыя она произносила; она подсказывала: „да куда-жъ я, чортъ побери, дѣнусь, коли имѣніе-то все раздамъ! все жила, жила да командовала, а теперь, натко, на старости-то лѣтъ да подъ команду къ дѣтямъ идти!“ И вслѣдствіе этого тайнаго разсужденія слезы текли еще обильнѣе, а материнское горе казалось еще горчѣе и безысходнѣе.

— Такъ что же вы предполагаете сдѣлать? — спокойно спросилъ Митенька.

— Отдамъ! все отдамъ! — съ какимъ-то почти злобнымъ крикомъ отвѣчала Марья Петровна: — нѣтъ моихъ силъ! нѣтъ моихъ силъ! Слушай ты меня; вотъ я какое завѣщаніе составила!

Марья Петровна отверла денежный ящикъ и вынула оттуда бумагу.

— Да вѣдь вы мнѣ ужъ нѣсколько разъ это завѣщаніе читали, — иронически замѣтилъ Митенька.

— Нѣтъ, это я другое... я то перемѣнила.

— Ну-съ, читайте.

— *Во имя...* ну, тамъ все какъ слѣдуетъ, по старому... *первое*, сыну моему Семену, какъ непочтительному...

— Кто же замъ повѣритъ, что Сеничка былъ къ вамъ непочтителенъ?

— Да мнѣ какое дѣло, повѣритъ ли кто, или нѣтъ; я мать — я и судья; имѣніе-то, чай, мое, благопріобрѣтенное...

— Ну-съ, хорошо-съ...

— „Сыну моему Семену — село Вырыпаево съ деревнями, всего триста



пятьдесятъ пять душъ; второе, сыну моему Дмитрію — село Послѣдово съ деревнями, да изъ вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горѣлки, всего девятьсотъ шестьдесятъ одну душу“... Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотѣлось, чтобъ онъ хоть ручку у нея поцѣловалъ, но тотъ даже не моргнулъ глазомъ. — Да чтожъ ты молчишь-то! чтѣ ты, деревянный, что-ли! — почти крикнула она на него.

— Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.

— „Третье, сыну моему Ѳедору — селцо Дятлово съ деревнею Околицей и село Нагорское съ деревнями, а всего тысяча сорокъ двѣ души“.

Митенька пускалъ дымъ уже не кольцами, а клубами. Онъ зналъ, конечно, что всѣ эти завѣщанія — вздоръ, что Марья Петровна пишетъ ихъ отъ нечего дѣлать, что она на слѣдующей же недѣлѣ, немедленно послѣ ихъ отъѣзда, еще два завѣщанія напишетъ, но какая-то робкая и вмѣстѣ съ тѣмъ безпокойная мысль шевелилась у него въ головѣ. „А ну, какъ она умретъ!“ говорила эта мысль: „вѣдь всѣ эти бредни, пожалуй, перейдутъ въ дѣйствительность“. Справедливость, однакожъ, заставляетъ меня сказать, что ни разу не пришло ему въ голову, что каково бы ни было завѣщаніе матери, все-таки, братьямъ слѣдуетъ раздѣлить имѣніе поровну. Въ этомъ отношеніи онъ очень хорошо понималъ, что долгъ его повиноваться волѣ матери, тѣмъ болѣе, что повиновеніе это для него выгодно.

— Ну-съ? — сказалъ онъ.

— Вотъ и все; тамъ, обыкновенно, формальности разныя...

— А капиталъ?

— Какой же у меня капиталъ? а коли и есть капиталъ, такъ вѣдь надо же мнѣ, вдовѣ, прожить на что-нибудь до смерти!

— Да вѣдь это завѣщаніе, а не раздѣльный актъ...

— Неужто-жъ вы потребуєте, чтобъ я послѣднее отдала? чтобъ я и рубашку съ себя сняла?

— Это завѣщаніе, маменька, а не раздѣльный актъ...

— Ну, нѣтъ! не ожидала я этого отъ тебя! что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, выгоняйте мать! И по дѣломъ старой дурѣ! по дѣломъ ей за то, что себѣ, на старость лѣтъ, ничего ни припасала, а все дѣтямъ да дѣтямъ откладывала! пускай съ сумой по дворамъ таскается!

— Извините меня, маменька, но мнѣ кажется, что все это только фантазіи ваши, и напрасно вы съ этимъ дѣломъ обратились ко мнѣ! („Это она Ѳедкѣ весь капиталъ-то при жизни еще передать хочетъ!“ шевельнулось у него въ головѣ.) Вы лучше обратились бы къ Сеничкѣ: онъ на эти дѣла мастеръ; онъ и пособолѣзновалъ бы съ вами, и натолковался бы до сыта, и предположеній бы всякихъ надѣлалъ!

И дѣйствительно, въ то самое время, какъ между Марьей Петровной и Митенькой происходила описанная выше сцена, Сеничка лежалъ на кровати въ Петенькиной комнатѣ, и, несмотря на ощущаемую въ желудкѣ тяжесть, никакъ-таки не могъ сомкнуть глаза свои. Предположенія и планы, одинъ другого чуднѣе, одинъ другого разнообразнѣе, являлись его воображенію. То видѣлъ онъ, что Марья Петровна умираетъ, что онъ одинъ успѣлъ пріѣхать къ послѣднимъ ея минутамъ, что она прозрѣла и оцѣнила его любовь, что

она цѣпенѣющею рукою указываетъ ему на шкатулку и говоритъ: „другъ мой сердечный! Сеничка мой милый! это все твое!“ То представлялось ему, что и маменька умерла, и братья умерли, и Петенька умеръ, и даже дядя, маменькинъ братъ, съ которымъ Марья Петровна была въ ссорѣ за то, что подозрѣвала его въ похищеніи отцовскаго духовнаго завѣщанія, и тотъ умеръ, и онъ, Сеничка, остался общимъ наслѣдникомъ... То видится ему, что маменька призываетъ его и говоритъ: „слушай ты меня, другъ мой сердечный Сеничка! лѣта мои преклонныя, да и здоровье не то, что было прежде“... и въ заключеніе читаетъ ему завѣщаніе свое, читаетъ безъ пропусковъ (не такъ, какъ Митенькѣ: „тамъ, дескать, извѣстныя формальности“), а сплошь, начиная съ *во имя* и кончая „здравымъ умомъ и твердою памятью“, и по завѣщанію этому оказывается, что ему, Сеничкѣ, предоставляется село Дятлово съ деревнею Околицей и село Нагорное съ деревнями, а всего тысяча сорокъ двѣ души...

— А капиталъ, милый другъ мой, маменька?—мысленно спрашиваетъ Сеничка.

— А капиталъ, другъ мой Сеничка, я тебѣ при жизни изъ рукъ въ руки передамъ... Только успокой ты мою старость! Дай ты мнѣ, при моихъ немогахъ, угодникамъ послужить! Лѣта мои пришли преклонныя, и здоровье ужъ не то, что прежде бывало...

Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всенощной. Въ образной никого изъ домашнихъ не было; отецъ Павлинъ, уже совершенно облаченный, уныло расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, по временамъ останавливаясь передъ иконостасомъ и почесывая въ бородѣ; пономарь раздувалъ кадило и повидимому былъ совершенно доволенъ собой, когда отъ горящихъ въ немъ угольевъ внезапно вспыхивало пламя; дьячокъ шуршалъ замасленными листами требника и что-то бормоталъ про себя. Изъ залы долеталъ хохотъ Ѳеденьки и Пашеньки.

— Съ дорогими гостями,—привѣтствовалъ отецъ Павлинъ:—начинать прикажете?

— Начинай, батюшка, начинай! Да чтожъ это Сенички нѣтъ! Дѣвки, позовите Семена Иваныча!

По обыкновенію и въ этомъ случаѣ Сеничка служилъ, такъ сказать, очистительною жертвою за братьевъ. За всенощной онъ долженъ былъ молиться. Но на этотъ разъ ему какъ-то не молилось; машинально водилъ онъ рукою по груди и задумчиво вглядывался въ облака дыма, изобильно выходившія изъ батюшкина кадила. Тщетно заливался дьячокъ, выводя руладу за руладой; тщетно вторилъ ему пономарь, заканчивая каждый кантъ какимъ-то тонкимъ дребезжаньемъ, очень похожимъ на дребезжанье, которымъ заканчиваетъ свой свистъ чижики; тщетно самъ отецъ Павлинъ вразумительно и явно произносилъ возгласы: Сеничка не внималъ ничему и весь былъ погруженъ въ мечтанія, мечтанія глупыя, но тѣмъ не менѣе отнюдь не имѣвшія молитвеннаго характера. Марья Петровна, любившая, чтобъ Сеничка за нее молился, тотчасъ же замѣтила это.

— Помилуй, мой другъ,—сказала она ему:—что ты это рукою-то словно на балалайкѣ играешь! Или за мать-то помолиться ужъ лѣнь?



Вообще весь вечеръ прошелъ какъ-то неудачно для Сенички, потому что Марья Петровна, раздраженная послѣобѣденнымъ разговоромъ, то-и-дѣло придиралась къ нему. Неизвѣстно, съ чего вздумалъ вдругъ Сеничка вступить за чаемъ въ диспутъ съ батюшкой и сталъ доказывать ему преимущество католической вѣры передъ православною (совсѣмъ онъ ничего подобнаго и не думалъ, да вотъ пришла же вдругъ такая несчастная мысль въ голову!), и доказывалъ именно тѣмъ, что въ католической вѣрѣ просфоры пекутся прѣсныя, а не кислыя. Батюшка, съ своей стороны, разревновался и сталъ обличать Сеничку въ ереси.

— Позвольте, — говорилъ онъ: — вѣдь такимъ манеромъ и лютерцевъ оправдывать можно!

— Я не объ лютеранахъ говорю...

— Нѣтъ, позвольте! я спрашиваю васъ: оправдываете ли вы лютерцевъ?

— Да вѣдь мы...

— Нѣтъ, прошу отвѣтъ дать: заслуживаютъ ли лютерцы, по вашему мнѣнію, быть оправданными? — повторялъ батюшка, и, повторяя, хохоталъ какимъ-то закатыстымъ, веселымъ хохотомъ и выказывалъ при этомъ рядъ бѣлыхъ, здоровыхъ зубовъ.

— И охота тебѣ, батька, съ нимъ спорить! — вмѣшалась Марья Петровна: — развѣ не видишь, что онъ съ ума сбрендилъ! Смотри ты у меня Семенъ Ивановичъ! ты, пожалуй, и дворяно-то мнѣ всю развратишь!

Тѣмъ этотъ достославный споръ и кончился: Сеничка думалъ удивить маменьку разнообразіемъ познаній и полетомъ фантазіи, но вмѣсто того осрамился прежде, нежели успѣлъ что-нибудь высказать. Послѣ того онъ нѣсколько разъ порывался вернуть еще что-нибудь насчетъ эмансипаціи (блаженное время! ея тогда не было!), но Марья Петровна разъ навсегда такъ дико взглянула на него, что онъ едва-едва не проглотилъ языкъ.

Оставалась одна надежда на подарокъ, который Сеничка приготовилъ маменькѣ для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся онъ очень рано, да и вообще дурно спалъ ночью. Во-первыхъ, его осаждала прискорбная мысль, что всѣ усилія, какія онъ ни дѣлалъ, чтобъ заслужить маменькино расположеніе, остались тщетными; во-вторыхъ, Петенька всю ночь метался на постели и испускалъ какое-то совсѣмъ неслыханное мычаніе; наконецъ кровать его была до такой степени наполнена блохами, что онъ чувствовалъ себя какъ бы окутаннымъ крапивою и нѣсколько разъ не только вскакивалъ, но даже произносилъ какія-то непонятныя слова, какъ будто бы приведенъ былъ сильными мѣрами въ восторженное состояніе.

Узнавши, что маменька только-что встала, что къ обѣднѣ еще не начинали благовѣстити и что братцы еще почиваютъ, Сеничка осторожно вынулъ изъ чемодана щегольской бѣлый муаръ-антиковый зонтикъ и отправился къ маменькѣ. Но каково же было его удивленіе, когда онъ засталъ ее за письменнымъ столомъ въ созерцаніи цѣлыхъ трехъ зонтиковъ! Онъ сейчасъ же догадался, что это были подарки Митеньки, Оеденьки и Пашеньки, которые наканунѣ еще распорядились о врученіи ихъ иманинницѣ, какъ только „душенька-маменька“ откроетъ глаза. Сеничка до того смутился, что даже вытаращилъ глаза и уронилъ зонтикъ.

— Здравствуй, другъ мой!.. да чтожъ ты на меня, вытараща глаза, смотришь! или на мнѣ грибы со вчерашняго дня выросли! — привѣтствовала его Марья Петровна.

— Я, маменька... позвольте мнѣ, милый другъ мой маменька, поздравить васъ съ днемъ ангела и пожелать провести оный среди любящаго васъ семейства въ совершенномъ спокойствіи, котораго вы вполнѣ достойны...

— Благодарствуй, благодарствуй! да что это ты словно уронилъ что-то?

— Это, милая маменька, я желалъ принести вамъ слабую дань моей благодарности за тѣ ласки и попеченія, которыми вы меня, добрый другъ маменька, постоянно осыпаете!

— Да что вы, взбѣсились, что-ли? всѣ по зонтику привезли! — напустилась на него Марья Петровна при видѣ новой прибавки къ коллекціи зонтиковъ, уже лежавшей на столѣ: — смѣяться, что-ли, ты надо мной вздумалъ?

— Я, милая маменька, всею душою...

— Сговориться вы, что-ли, между собой не можете, или и въ самомъ дѣлѣ вы другъ другу не братья, а звѣри, что никакой между вами откровенности нѣтъ?

— Я, милая маменька...

— Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! ты думаешь, на глупенькую напалъ? ты думаешь, что вотъ такъ сейчасъ и проведешь! такъ нѣтъ, ошибаешься, другъ любезный, я всѣ твои проекты и вдоль, и поперекъ знаю... все вижу, все вижу, любезный другъ!

— Я, маменька, никакихъ проектовъ не имѣю...

— Ты... ты... ты всей смуть заводчикъ! Еслибъ не доброта моя, давно бы тебя въ суздаль-монастырь упечь надо! не посмотрѣла бы, что ты генералъ, а такъ бы вышкололила, что позабылъ бы, да и другимъ бы заказалъ въ семействѣ смутьянничать! Натко, прошу покорно, въ одномъ городѣ живутъ, вмѣстѣ почти всю дорогу ѣхали и не могли другъ дружкѣ открыться, какой кто матери презентъ везетъ!

— Маменька! чѣмъ же я виноватъ, что Оеденька не хочетъ мнѣ почтенія дѣлать?

— Да что ты, обалдѣлъ, что-ли? Какое тебѣ почтеніе! Вѣдь ты ему, чай, братъ!

— Я, маменька, старшій братъ, и Оеденька обязанъ мнѣ почтеніе оказывать!

Богъ знаетъ, чѣмъ бы разыгралась эта исторія, еслибъ въ эту минуту не заблагоувѣстили къ обѣднѣ. Марья Петровна такъ и осталась съ раскрытымъ ртомъ, только махнула рукой на Сеничку. Но за то послѣ обѣдни она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьямъ рассказала, что Сеничка требуетъ, чтобъ ему было оказываемо почтеніе, но даже всѣхъ сосѣдей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей въ одинъ день, и всю вину складывала на Сеничку, который, какъ старшій братъ, обязанъ былъ уговориться съ младшими, какой презентъ маменькѣ сдѣлать. Вслѣдствіе этого Оеденька цѣлый день трунилъ надъ Сеничкой, называлъ его „ва-



шимъ превосходительствомъ“, привставалъ на стулѣ при его появленіи, и даже одинъ разъ бросился со всѣхъ ногъ, чтобъ пододвинуть ему кресло, но въ разсѣянности тотчасъ же выдернулъ его изъ-подъ него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщій смѣхъ, къ которому оставался равнодушенъ только Митенька. И такимъ образомъ прошелъ цѣлый мучительный день, въ продолженіе котораго Сеничка могъ въ сотый разъ убѣдиться, что подаваемые за обѣдомъ дупеля и бекасы составляютъ навсегда недостижимый для него идеаль.

А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она въ жизни устроила, всѣхъ-то дѣтей въ люди вывела, всѣхъ-то на дорогу поставила. Сеничка вотъ ужъ генераль—того гляди, губернію получить! Митенька — поди-ка, какой случай имѣетъ! Оденька самъ по себѣ, а Пашенька за хорошимъ человѣкомъ замужемъ! Одинъ Петенька сокрушаетъ Марью Петровну, да вѣдь надо же кому-нибудь и Бога молить!

Съ своей стороны, Сеничка разсуждаетъ такъ: „когого чорта я здѣсь ищу! ну, кого чорта! начальники меня любятъ, подчиненные бояться... того гляди, губернаторомъ буду да женюсь на купчихѣ Безсенендеевой—ну, что мнѣ еще надо!“ Но какой-то враждебный голосъ такъ и преслѣдуетъ, такъ и нашептываетъ: „а ну, какъ она Дятлово да Нагорное-то подлецу Оедькѣ отдастъ!“ — и опять начинаются мучительныя мечтанія, опять напрягается умственное око и представляетъ болѣзненному воображенію цѣлый рядъ мнимыхъ картинъ, героемъ которыхъ является онъ, Сеничка, единственный наследникъ и обладатель всѣхъ материнскихъ имѣній и сокровищъ.

Пашенька на другой же день имянинъ уѣхала, но Сеничка все еще остается, все чего-то ждетъ, хотя ему до смерти надо въ Петербургъ, гдѣ ожидаютъ его начальники и подчиненные. Онъ ждетъ, не уѣдутъ ли Митенька съ Оеденькой, чтобъ одному на просторѣ остаться съ маменькой и объяснить ей, какъ онъ ее обожаетъ. Но проходитъ пять дней, и ожиданія его напрасны. Мало того, что братья не уѣзжаютъ, но онъ видитъ, какъ мать безпрестанно съ ними о чемъ-то шушукается, и какъ только онъ входитъ—перемѣняетъ разговоръ и начинаетъ бесѣдовать о погодѣ. „Это они объ духовномъ завѣщаніи шепчутся!“ думаетъ Сеничка, и въ то же время невольно прибавляетъ: „да для какого же чорта я здѣсь живу!“

Митенька первый сжалился надъ нимъ и предложилъ вмѣстѣ ѣхать въ Петербургъ. Оеденька такъ и остался полнымъ властелиномъ материнскаго сердца.

Ѣдетъ Сеничка на перекладной, ѣдетъ и дремлетъ. Снится ему, что маменька костенѣющими руками благословляетъ его и говоритъ: „Сеничка, другъ мой! вижу, вижу, что я была несправедлива противъ тебя, но такъ какъ ты генераль, то оставляю тебѣ... мое материнское благословеніе!“ Сеничка вздрагиваетъ, кричитъ на ямщика: „пошелъ!“ и мчится далѣе и далѣе, до слѣдующей станціи.

## XI.—Еще переписка.

„Наконецъ, chère petite mère, для меня началась упоительная жизнь полка.

„Я принять прекрасно, и совсѣмъ не жалѣю, что не попалъ въ гвардію. Это еще не уйдетъ, а покамѣстъ, право, мнѣ нечего завидовать тому, что мои товарищи по училищу сокращаютъ свою жизнь, дегюстируя коньяки и ликеры въ закуской Одинцова. Правда, что К\*\*\*, въ которомъ расположенъ нашъ полковой штабъ, городокъ довольно мизерный, но по крайней мѣрѣ я имѣю здѣсь просторъ и приволье, и узнаю на практикѣ ту поэтическую бивачную жизнь, которая производитъ героевъ. А главное, я вижу здѣсь настоящихъ женщинъ, *des femmes à passions*, а не какихъ-нибудь Эрнестинокъ, которыя за умѣренную плату показываютъ приходящимъ „l'amour — ce n'est que ça!“

„Я цѣлые дни въ движеніи. Утромъ—ученье; послѣ ученья—отдыхъ въ кругу товарищей, завтракъ въ кабачкѣ, игра на бильярдѣ и проч.; обѣдъ—у полкового командира; послѣ обѣда—прогулка верхомъ съ полковыми дамами; вечеромъ—въ гостяхъ, всего чаще опять у полкового командира. По временамъ дежурство въ караулъ: каска, мундиръ на всѣ пуговицы, кожаная подушка, жесткій диванъ и какой-то особенный солдатскій запахъ... Но даже и это имѣетъ свою прелесть, не говоря уже о томъ, что подобная суровая обстановка есть лучшая школа для человѣка, котораго назначеніе быть героемъ. Домой я захожу на самое короткое время, чтобъ полежать, потянуться, переодѣться и поругаться съ Оедькой, котораго, *entre nous soit dit*, за непотребство и кражу моихъ папиросъ, я уже три раза отсылалъ въ полицію для „наказанія на тѣлѣ“ (сюда еще не проникла „вольность“, и потому здѣшній исправникъ очень обязательно наказываетъ на тѣлѣ, если знаетъ, что его проситъ объ этомъ *un homme comme il faut*).

„Разумѣется, первую мою мысль по пріѣздѣ въ К. была мысль о женщинѣ, *cet être indicible et mystérieux*, къ которому мужчина фаталистически осужденъ стремиться. Ты знаешь, что двѣ вещи: *l'honneur et le culte de la beauté*—всегда были краеугольными камнями моего воспитанія. Поэтому ты безъ труда поймешь, какъ должно было заботить меня это дѣло. Но и въ этомъ отношеніи все повидимому благопріятствуетъ мнѣ.

„Почти всѣ наши старшіе офицеры женаты; стало быть, еслибъ даже не было помѣщицъ (а ихъ, по слухамъ, достаточно, и притомъ большая часть принадлежитъ къ числу такихъ, которымъ, какъ у насъ въ школѣ говаривали, ничто человѣческое не чуждо), то можно будетъ ограничиться и своими дамами. *Nous en avons de tous les types*, чему, конечно, не мало способствовала кочевая жизнь полка. Нашъ полкъ перебивалъ всюду, и вездѣ ремонтировался хорошенькими женщинами. Роскошныя малороссіянки, съ бѣлыми какъ кипень зубами, обаятельныя брюнетки-польки, мечтательныя золотокудрыя нѣмки, знойныя молдаванки, *enfin tout ce que les diverses nationalités peuvent offrir d'exquis et de recherché en fait de femmes*. У одного дивизіонера жена даже персіянка (говорятъ, съ пучковыми волосами),



но къ сожалѣнію онъ ее никому не показываетъ, а по слухамъ даже бьетъ нагайкой... *le cher homme!* Конечно, въ манерахъ нашихъ женщинъ (не всѣхъ, однакожъ; даже и въ этомъ смыслѣ есть замѣчательныя исключенія) нельзя искать той женственной прелести, *se fini, se varoqueux*, которые такъ поразительно дѣйствуютъ въ женщинахъ высшаго общества (*tu en sais quelque chose, pauvre petite mère, toi, qui, à trente six ans, as failli tourner la tête au philosophe de Chizzlhurst*), но за то у нихъ есть непринужденность жеста и очень большая свобода слова, что, согласись, имѣетъ тоже очень большую цѣну. Эта свобода, въ соединеніи съ адскимъ равнодушіемъ мужей (представь себѣ, нѣкоторые изъ нихъ такъ-таки прямо и называютъ своихъ женъ „взжалыми бабами“!), дѣлаетъ ихъ общество настолько пикантнымъ, что поневолѣ забываешь столицу и ея увлеченія...

„Нашъ командиръ, полковникъ баронъ фонъ-Шпекъ, принялъ меня совершенно по-товарищески. Это добрый, пожилой и очень простодушный нѣмецъ, который изъ всѣхъ силъ хлопочетъ, чтобъ его считали за русскаго, а потому принуждаетъ себя пить квасъ, ѣсть щи и кашу, а прелестную жену свою называетъ не иначе, какъ „мой бабъ“.

„— Мы, русски, безъ церемоніи! — сказалъ онъ мнѣ съ перваго же раза: — въ три часа у насъ щи-каша — милости прошу! — я васъ мой бабъ представлять буду!

„Разумѣется, я не заставилъ повторять приглашеніе, и ровно въ три часа былъ уже представленъ прелестной командиршѣ.

„Я, не преувеличивая, могу сказать, что это одна изъ очаровательнѣйшихъ женщинъ, какихъ я когда-либо видѣлъ въ своей жизни. Прежде всего ей тридцать — тридцать-пять лѣтъ, и она блондинка, почти съ такимъ же темно-золотистымъ отливомъ, какъ у тебя, *petite mère*. Ты знаешь, я никогда не былъ охотникъ ни до очень молоденькихъ женщинъ, ни до женщинъ съ черными волосами и темными глазами. Молоденькія бабенки глупы и надоедливы. Онѣ поминутно лѣзутъ цѣловаться, сами не понимая, зачѣмъ. Что же касается до брюнетокъ, то хотя и говорятъ, будто онѣ страстны, но, по моему мнѣнію, *c'est une réputation usurpée*. Въ сущности, онѣ только деспотичны и рѣзки — вотъ что многими принимается за страстность. Я, еще будучи въ училищѣ, изучилъ этотъ вопросъ *à fond*. *Une brune est toujours froide et dénuée de ressources*. Я не говорю уже о формахъ, которыя у брюнетки никогда не достигаютъ такой полноты и роскоши развитія, такой, если можно такъ выразиться, лучезарности, какъ у блондинки. Брюнетка пикантна — и ничего больше. Это не женщина наслажденія. Даже каштановая женщина, въ смыслѣ наслажденія, представляетъ передъ брюнеткой неоспоримыя преимущества. *Dans sa façon d'aimer une femme maron a déjà quelque chose de blond*. Но блондинка, настоящая блондинка — это масло...

„И такъ, она блондинка; глаза у нея большіе, сѣрые и очень хорошо поставленные. Она не хуже любой *Camille de Lyon* умѣетъ подрисовать себѣ вѣки, и потому глаза ея кажутся, въ одно и то же время, и блестящими, и влажными. Носъ прелестный, съ тонкими, удивительно очерченными ноздрями. Ротъ съ нѣсколько вздернутой верхней губой, что придаетъ всей фізіономіи вызывающее выраженіе. Подбородокъ круглый, мягкій, слегка пушистый, съ

ямочкой по серединѣ... on dirait, un nid d'amour! Уши маленькія, сухія, почти прозрачныя. Общій тонъ лица нѣжно-золотистый, какъ у свѣлой сливы. Ничего розоваго, вульгарнаго, напоминающаго дурно свареннаго поросенка. Формы — роскошь, не доходящая, однакожъ, до пресыщенія; ножка... но про ножку достаточно сказать, что она сама ею кокетничаетъ!

„Прибавь къ этому бездну женственности и того неуволимаго кокетства, которое всякую свѣтскую красавицу окружаетъ словно облакомъ аромата (она была въ гвардіи, прежде нежели попала сюда) — и ты получишь приблизительное понятіе о томъ сокровищѣ, которое я былъ такъ счастливъ найти въ одномъ изъ самыхъ мизерныхъ уголковъ нашего любезнаго отечества.

„Съ перваго же взгляда на эту женщину я почувствовалъ въ сердцѣ неотразимое желаніе покорить ее.

„Не даромъ любовь править міромъ, chère maman! Не даромъ она проникаетъ и въ раззолоченныя палаты владыкъ міра, и въ скромную хижину земледѣльца! Все живущее снѣшится покориться жестокому и въ то же время сладкому закону ея. Даже дикій звѣрь, и тотъ подъ вліяніемъ ея забываетъ апетитъ и сонъ! Вы видите бѣгущаго по лѣсу волка: пасть его открыта, языкъ высунутъ, глаза мутны; онъ рветъ землю когтями, бросается на своихъ собратьевъ, грызетъ ихъ... à propos de quoi, je vous demande un peu? ужели только потому, что онъ видитъ передъ собой эту отвратительную волчицу, которая бѣжитъ впереди стада съ оскаленными зубами? — Да-съ, потому-съ! ибо такова сила любовныхъ чаръ, таково могущество любви! Другой причины нѣтъ... и не можетъ быть!

„Quel mystère, chère maman!

„Читайте великихъ мастеровъ искусства: Paul de Kock, Ponson du Terail, Feydeau... что вы найдете у нихъ? — Любовь, любовь и любовь! Et „la belle Hélène“ donc!

„Впрочемъ повидимому мое предпріятіе не обойдется безъ препятствій. Я уже намѣтилъ двухъ конкурентовъ, борьба съ которыми общаетъ не мало трудностей. Одинъ изъ нихъ — предсѣдатель мѣстной земской управы Травниковъ, другой — полковой казначей, ротмистръ Цыбуля.

„Травниковъ — либераль. Онъ выжилъ два года въ Парижѣ, гдѣ познакомился съ Бастиа, который, de vive voix, передалъ ему тайны своей науки. Это сдѣлало его до того обаятельнымъ между здѣшними гласными, что когда онъ, воротившись изъ Парижа, поселился въ своемъ имѣніи, то его единогласно выбрали предсѣдателемъ управы. Теперь онъ пропагандируетъ Бастиа между полковыми дамами. Наружностью своей и манерами онъ напоминаетъ выцвѣвшаго трактирнаго маркера. En somme c'est un pauvre sire, и было бы даже удивительно, что Полина (c'est le petit nom de la dame en question) интересуется имъ, еслибъ онъ не былъ богатъ. Но это слово объясняетъ многое.

„Ротмистръ Цыбуля — неуклюжій малороссъ, который говоритъ: „фостъ“, вмѣсто: „хвостъ“. Но онъ тридцати вершковъ роста и притомъ такъ крѣпокъ и силенъ, что, я увѣренъ, могъ бы свободно пройти сквозь строй черезъ тысячу человѣкъ...

„Повидимому однакожъ и моя смиренная рожица произвела недурное



впечатлѣніе. По крайней мѣрѣ, послѣ обѣда, когда Травниковъ и Цыбуля ушли къ полковнику въ кабинетъ, она окинула меня взглядомъ и сказала:

„—Какой вы молодой!

„На чтѣ я успѣшилъ отвѣтить, что молодое сердце хотя и не можетъ похвалиться опытностью, но зато умѣетъ горячо любить и быть преданнымъ. И отвѣтъ мой былъ выслушанъ благосклонно...

„Я впередъ предвижу, чтѣ будетъ. Сначала меня будутъ называть „сынкомъ“, и на этомъ основаніи позволять мнѣ цѣловать ручки. Потомъ мнѣ дадутъ, въ награду за какую-нибудь дѣтскую услугу, поцѣловать плечико, и когда замѣтятъ, что это производитъ на меня эффектъ, то скажутъ: „какіе однакожь у тебя смѣшные глаза!“ Потомъ тррахъ!—et tout sera dit!

„Таковъ неумолимый законъ любви!

„Я воротился домой очарованный и весь вечеръ предавался возвышеннымъ мыслямъ. Ночь была тихая, теплая. Я сидѣлъ у раствореннаго окна, смотрѣлъ на полную луну и мечталъ. Сначала мои мысли были обращены къ ней, но мало-по-малу онѣ приняли серьезное направленіе. Мнѣ живо представилось, что мы идемъ походомъ и что гдѣ-то изъ-за лѣса показался непріятель. Я по обыкновенію гарцюю на конѣ, впереди полка, и даю сигналъ къ атакѣ. Тррахъ!.. ружейные выстрѣлы, крики, стоны, „руби!“ „коли!“ Et, ma foi! черезъ пять минутъ отъ непріятеля осталась одна крошка!

„Вотъ первыя впечатлѣнія моей новой жизни. Я буду писать тебѣ часто, но надѣюсь, что „Butor“ не узнаетъ объ нашей перепискѣ. Пиши и ты ко мнѣ какъ можно чаще, потому что твои совѣты теперь для меня болѣе нежели когда-нибудь, драгоцѣнны. Цѣлую тебя.

„Серій Проказникъ“

„P. S. Противъ квартиры моей стоитъ большой каменный домъ. Сегодня утромъ, подойдя къ окну, я увидѣлъ на балконѣ этого дома очень недурную и еще молодую женщину. Не говоря худого слова, я взялъ бинокль и навелъ его на нее. Она не только не оскорбилась этимъ, но даже слегка усмѣхнулась и поиграла въ мою сторону глазками. Отъ Оедьки я узналъ, что это вдова купца Лиходѣева и что она ежегодно отправляетъ значительное число барокъ съ хлѣбомъ. Говорятъ также (все тотъ же Оедька, у котораго на этотъ счетъ изумительное чутье), что тутъ ужъ примазался здѣшній исправникъ. И дѣйствительно, въ ту минуту, какъ я закрываю это письмо, его дрожжи подѣхали къ крыльцу Лиходѣевского дома.

„Vous êtes un noble coeur, Serge! ты понялъ меня! Ты понялъ, что мнѣ нужна переписка съ тобой, чтобъ отдохнуть отъ той безвыходной прозы, которая отнынѣ должна составлять все содержаніе моей бѣдной, неудавшейся жизни!

„Ахъ, какая это жизнь! Вежетиловать изо дня въ день въ деревнѣ, видѣть налитую водкой фizioномію Butor'a, слышать, какъ онъ, запершись съ Филаткой въ кабинетъ, выкрикиваетъ кавалерійскіе сигналы, ежеминутно быть подъ страхомъ, что ему вдругъ вздумается сдѣлать нашествіе на мой будуаръ... Это ужасно, ужасно, ужасно!

„Представь себѣ, что я узнала! До сихъ поръ я думала, что должна была оставить Парижъ, потому что Butor отказался прислать мнѣ деньги; теперь мнѣ извѣстно, что онъ подавалъ объ этомъ официальную записку, и въ этой запискѣ... просилъ о высылкѣ меня изъ Парижа *по étang*!! L'animal!

„Et moi qui croyais autrefois à l'idéal, au sublime, à l'infini... que sais-je! Я, которая думала, что вся моя жизнь будетъ непрерывнымъ гимномъ божеству! И чтожъ! достаточно было прикосновенія грубой руки одного человека, чтобъ разбудить меня отъ моихъ золотыхъ грезъ. И этотъ человекъ... c'est le Butor! Le sublime—et l'horrible, le ciel—et l'enfer, l'ange—et le démon... какой поразительный урокъ!

„Я не знаю, что случилось бы со мной, еслибъ я не нашла утѣшенія въ религіи. Религія — это наше сокровище, мой другъ! Безъ религіи мы путники, колеблемые вѣтромъ сомнѣній, какъ говорить le père Basile, очень миленькій молодой попикъ, который недавно опредѣленъ въ нашъ приходъ и котораго нашъ Butor ужъ успѣлъ окрестить именемъ Васьки-шалыгана. Я собственнымъ горькимъ опытомъ убѣдилась въ истинѣ этихъ словъ — и знаешь ли, гдѣ? Тамъ... въ Парижѣ! Сознаюсь, я въ то время жила... comme une paupenne! Я ничего не понимала... c'était un rêve! И вдругъ мнѣ объявляютъ, что если я завтра не выѣду изъ Парижа, то меня посадятъ въ Clichy! C'était comme un trait du lumière! И сейчасъ же приказала уложить мои вещи... и съ этой минуты—ни малѣйшаго ропота, ни единого горькаго слова! Я вдругъ преобразилась, почувствовала, что мнѣ легко. Paul de Cassagnac, Villemessant, Détrouyat, Tarbé, Dugué de la Fauconnerie \*)—все приѣзжали, все хотѣли утѣшить меня, но я наотрѣзъ сказала: n-i—n-i, c'est fini! Que la volonté de Dieu soit faite И когда, на другой день, я садилась въ вагонъ, Villemessant, прощаясь со мной, сказалъ: —vous êtes une sainte! c'est Villemessant qui vous le dit!

„Но какъ онъ терзаетъ меня... le Butor! какъ онъ избобрѣтателенъ въ своихъ оскорбленіяхъ, какъ онъ умѣетъ повернуть ножъ въ незажившей еще ранѣ!

„На дняхъ — это было въ день моего рожденія (hélas! твоей pauvre mère исполнилось сорокъ лѣтъ, mon enfant!)—онъ является прямо въ мой будуаръ.

„— Честь имѣю поздравить!

„Я молчу.

„— Сорокъ годковъ изволили получить! Самая, значить, пора!

„Я дѣлаю чуть замѣтный знакъ нетерпѣнія.

„— По Бальзаку, это именно настоящая пора любви. Удивительно, говорятъ, какъ у этихъ сорокалѣтнихъ бабъ оно знойно выходитъ...

„— Только не для васъ!—холодно отвѣтила я и, окинувъ его презрительнымъ взглядомъ, поспѣшила запереться у себя въ спальнѣ.

„Я не знаю, какой эффектъ произвелъ на него мой отвѣтъ (Маша, моя горничная, увѣряетъ, что у него даже губы побѣлѣли отъ злости), но я

\*) Журналисты мазурницкаго оттѣнка.



очень отчетливо слышала, какъ онъ нѣсколько разъ сряду произнесъ мнѣ въ догонку:

„— Заставлю-сь! заставляю-сь! заставляю-сь!

„И такимъ образомъ — почти ежедневно. Я каждое утро слышу его неровные шаги, направляющіеся къ моей комнатѣ, и жду оскорбленія. Однажды — это былъ памятный для меня день, Serge! — онъ пришелъ ко мнѣ, держа въ рукахъ листокъ „Городскихъ и иногороднихъ афишъ“ (*c'est la seule nourriture intellectuelle qu'il se permet, l'innocent!*).

„— Ну-съ, вотъ и чизльгёрстскій философъ околѣлъ! — сказалъ онъ, посылая мнѣ въ упоръ свою пьяную улыбку.

„— Какъ? кто? Онъ? — только могла я произнести.

„— Да-съ! онъ-съ. Седанскій герой-съ; вашъ...

„Il a nommé la chose... le monstre! Онъ не пощадилъ ничего... даже этого славнаго воспоминанія моей жизни!

„Je le confesse, я была не деликатна. Я вцѣпилась ногтями въ его лицо, но впрочемъ сію же минуту опаматовалась и убѣжала отъ него. Я цѣлый часъ была какъ сумасшедшая! Я думала, что онъ нарочно обманываетъ, дразнить меня! Но вслѣдъ затѣмъ — конечно, изъ жестокаго желанія не оставить во мнѣ никакого сомнѣнія — онъ прислалъ мнѣ съ Машей листокъ... Это была правда! Онъ умеръ! Сперва Морни, потомъ Персиньи... наконецъ ОНЪ!! Цѣлый рой сновидѣній пронесся предо мной... *le rêve doré de mon passé!* Я, какъ безумная, бѣгала по залѣ и все напѣвала! *ah! j'ai un pied qui r'tme* — мотивъ кадрили, которая *тогда* рѣшила мою участь. Я помню, на мнѣ было платье совсѣмъ какъ изъ воздуха: *des bouillonées, des bouillonées et puis encore des bouillonées, toujours des bouillonées...* En un mot, tout-à-fait frou-frou... ОНЪ подошелъ ко мнѣ и сказалъ: „quelle gorge adorable!“ и только! Но при этомъ онъ посмотрѣлъ на меня, какъ только *онъ* одинъ умѣлъ смотрѣть... Это продолжалось не болѣе одной минуты, но участь моя была навсегда рѣшена... Но зачѣмъ растравлять воспоминаніемъ еще дымящуюся рану!.. Однимъ словомъ, я до того увлеклась моими воспоминаніями, что даже не замѣтила, что Butor стоитъ въ дверяхъ и во все горло хохочетъ. У него все лицо распухло отъ глубокихъ царапинъ, которыя сдѣлали мои ногти; *il était ignoble, dégoûtant, immonde...*

„Вотъ моя жизнь! И представь себѣ, что иногда.., бываютъ дни, когда этотъ человѣкъ объявляетъ о какихъ-то своихъ правахъ на меня... *le butor!*

„Послѣ всего этого ты можешь себѣ представить, какое блаженство для меня — твои письма. И чтò придаетъ имъ еще больше прелести — это тайна и даже опасность, съ которыми сопряжено ихъ полученіе. Я получаю ихъ черезъ Машу, и иногда по цѣлымъ часамъ бываю вынуждена держать ихъ подъ корсажемъ, прежде нежели прочитаты. Тогда я воображаю себя въ пансіонѣ, гдѣ я впервые научилась скрывать письма (и представь себѣ, это были письма Butor'a, который еще въ пансіонѣ „сослѣдилъ“ меня, какъ онъ выражался на своемъ грубомъ жаргонѣ), и жду, пока Butor не уляжется послѣ обѣда спать. Это пытка, мой другъ, это почти истязаніе, *mais c'est égal, c'est plein de poésie!* Иногда онъ, какъ нарочно, медлитъ, и тогда я готова надѣлать глупостей отъ нетерпѣнія... Но вотъ раздался сигнальный

храпъ — и я ужъ за дѣломъ. Я запираюсь у себя въ комнатѣ и читаю, и перечитываю твои письма... noble enfant de mon coeur!

„Я понимаю тебя и твои молодые стремленія, мой другъ. Я, твоя бѣдная мать, эта сорокалѣтняя женщина, *cette femme de Balzac, comme dit le Butor!* И я была молода, и я увлекалась... ты знаешь, *кто* меня любилъ! Теперь онъ въ могилѣ... всѣ въ могилѣ, мой другъ! Morny, Persigny... Lui!! Одины Базенъ остался, и тотъ сидитъ на какомъ-то островѣ \*), откуда онъ будетъ очень глупъ, ежели не бѣжитъ. Но я не забыла, я помню. Я *все* помню, и потому *все* могу понимать...

„Я отсюда вижу тебя и твою Полину... *toi, plein de sève et de vigueur, elle — rayonnante de ce doux parfum d'abnégation amoureuse qui est l'auréole et enmême temps l'absolution de la pauvre femme... coupable!* Tu es beau, elle est belle; вы оба молоды, сильны, оба горите избыткомъ жизни, оба чувствуете, какъ страсть катится по вашимъ жиламъ, давить васъ... Но отчего же признаніе дрожить на вашихъ губахъ — и не можетъ сказаться?.. Отчего глаза ваши ищутъ встрѣтить другъ друга — и, встрѣтившись, опускаются? Вы встревожены, васъ волнуетъ какая-то горькая мысль... Она — съ трепетомъ вглядывается въ будущее и падаетъ ницъ передъ идеею вѣчности... Ты — пугаешь себя ревнивыми воспоминаніями... Травниковъ, Цыбуля, даже самъ фонъ-Шпекъ!.. Ты никого не забудь! *Послѣ* — ты все забудешь, все простишь. *Послѣ* — ты скажешь себѣ: и Травниковъ, и Цыбуля, все это естественныя послѣдствія фонъ-Шпека! *Послѣ* — но не теперь! *Теперь* ты еще помнишь, хотя уже и жаждешь забыть.

„А покуда я надѣюсь, что ты выслушаешь воркотню старухи-матери, рѣшающейся высказать нѣсколько совѣтовъ, которые навѣрное не будутъ для тебя бесполезны.

„Любовь, мой другъ — это святыня, къ которой нужно приближаться съ осторожностью, почти съ благоговѣніемъ, и вотъ почему мнѣ не совѣмъ нравится слово „ттрахъ“, которое ты употребилъ въ письмѣ своемъ. Можетъ быть, все такъ и произойдетъ, какъ ты писалъ, но уже потому одному, что оно именно *такъ* и произойдетъ, т.-е. *сначала* назовутъ тебя „сыномъ“, *потомъ* дадутъ ручку, etc. — ты всего менѣе вправѣ употреблять се *malencontreux* „ттрахъ“. *Ça sent la caserne, mon cher, ça rue l'écurie, le fumier.* Салонъ свѣтской женщины (ты именно такую описываешь мнѣ Полину) — не манежъ и не одно изъ тѣхъ жалкихъ убѣжищъ, въ которыхъ вы, молодые люди, къ несчастію, получаете первыя понятія о любви... Это мѣсто очень приличное, гдѣ требуются совѣмъ другіе приемы, нежели... ты понимаешь гдѣ?

„Помни, мой другъ, что любовь — все для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь. Что, стало быть, оскорбить ея любовь — значитъ оскорбить ея *все*. Этого одного достаточно, чтобы понять, почему успѣхъ, въ бѣльшей части случаевъ, достается совѣмъ не тому, кто съ громомъ и трубами идетъ точно на приступъ, а тому, кто умѣетъ ждать. Во-первыхъ, всѣ эти самонадѣянныя люди почти всегда нескромны и хвастливы,

\*) Писано до полученія извѣстія о бѣгствѣ Базена.



что совѣмъ не входитъ въ расчеты замужней женщины, которая желаетъ сохранить *les décors*. Во-вторыхъ, женщины самолюбивы, и имъ всегда пріятно дать щелчокъ человѣку, у котораго на умѣ „тррахъ“. Въ-третьихъ — и это главное — женщины вовсе не такъ алчутъ грубыхъ наслажденій, какъ вы, мужчины, обыкновенно объ этомъ думаете.

„Женщина — это существо особенное, *c'est un être indicible et mystérieux*, какъ ты самъ очень мило опредѣлилъ ее въ твоемъ письмѣ (какъ странно звучитъ твое „тррахъ“ рядомъ съ этимъ милымъ опредѣленіемъ!). Разумѣется, я говорю здѣсь не объ институткахъ, а о настоящихъ женщинахъ, о тѣхъ, которыя испытаны жизнью и къ числу которыхъ, повидимому, принадлежитъ и Полина. Такія женщины любятъ медлить. *Elles aiment à savourer les préludes de l'amour*. Эти таинственные, безконечныя изліянія, въ которыхъ все отрывочно, недоконченно, неуловимо, но въ которыхъ каждое слово, каждый звукъ, каждая улыбка, каждый вздохъ имѣютъ глубокое значеніе. Женщина любитъ неслышно погружаться въ душистый паръ недоговоренныхъ словъ, затаенныхъ вздоховъ, взглядовъ, брошенныхъ украдкой. Она любитъ замѣнять слово „любовь“ словомъ „дружба“... Это доставляетъ ей минуты того сладкаго головокруженія, которое у самаго паденія отнимаетъ все, что въ немъ есть грубаго, сырого. *Ce n'est pas une chute grossière qu'elle ambitionne, c'est une jolie chute*.

„Вотъ почему женщинъ такъ увлекаютъ высокопоставленныя лица, даже старики. Съ точки зрѣнія матеріалистической, это кажется страннымъ, но дѣло въ томъ, что эти люди въ высшей степени обладаютъ тайною *de la jolie séduction*. *Tout en causant*, они неслышно подходятъ къ женщинѣ, неслышно овладѣваютъ ея вниманіемъ, и потомъ — неслышно же берутъ ее. *Tout en causant*. *La femme adore la causerie, les phrases bien tournées, les fines réparties, enfin tout ce joli caquetage qui rend la vie facile et charmante*.

„Я знаю, есть женщины, которымъ нравится грубость, которыя даже любятъ, чтобъ ихъ мальтретировали. Но это или очень молодыя бабенки, или такія бабы, которымъ совѣмъ нечего терять. Я и сама когда-то увлекалась Виторомъ потому только, что онъ гремѣлъ шпорами, вертѣлъ зрачками и какъ-то инъобильно причмокивалъ, *quand j'avais le sein trop découvert*; но вѣдь я тогда была дѣвчонка и положительно ничего не смыслила *dans les jolis raffinements du sentiment*.

„Быть можетъ, ты съ нетерпѣніемъ читаешь мое письмо и даже удивляешься, съ какой стати я принялась тебя морализировать. Но, рискуя даже надѣсть тебѣ, прошу выслушать меня до конца.

„Я сказала сейчасъ, что женщины любятъ то, что въ порядочномъ обществѣ извѣстно подъ именемъ *causerie*. Наединѣ съ женщиной мужчина еще можетъ, *à la rigueur*, ограничиться вращаніемъ зрачковъ, но въ обществѣ онъ непременно долженъ уметь говорить, или, точнѣе — занимать. Поэтому ему необходимо *всегда* имѣть подъ руками приличный сюжетъ для разговора, чтобы не показаться ничтожнымъ въ глазахъ любимой женщины. Ты понимаешь, надѣюсь, къ чему я веду свою рѣчь?

„Женщина прежде всего любитъ великодушныя идеи, *les idées géné-*

reuses. Она сама великодушна—это ея ахиллесова пята, которая всего чаще и губить ее. Поэтому, ежели мужчина высказываетъ въ ея присутствіи даже слишкомъ великодушныя идеи (*les idées dites subversives*), то ей, все-таки, нравится это. Конечно, я никогда не позволяла бы тебѣ сдѣлаться на самомъ дѣлѣ поклонникомъ субверсивныхъ идей, но въ смыслѣ экспозиціи, какъ *aperçu de morale* — это одинъ изъ лучшихъ *sujets de conversation*. Консервативныя идеи страдаютъ большимъ недостаткомъ: имъ никакъ нельзя придать тотъ лоскъ великодушія, который зажигаетъ симпатію въ сердцахъ. Консервативныя идеи хороши въ кабинетѣ, съ глазу на глазъ съ начальствомъ, но въ будуарѣ или въ обществѣ, гдѣ много молодыхъ женщинъ, *elles ne valent rien*. Великодушныя идеи придаютъ лицу говорящаго оживленное, осмысленное, почти могучее выраженіе, которое прямо свидѣтельствуетъ о силѣ и мощи. Напротивъ того, самый убѣжденный консерваторъ напоминаетъ собой мѣнялу, приведеннаго въ азартъ. Я знаю, что въ послѣднее время расплодилось много женщинъ, которыя охотно выслушиваютъ консервативныя разговоры и даже называютъ себя консерваторками; но онѣ положительно сами себя обманываютъ. Онѣ дурно окружены—вотъ отчего это происходитъ. Онѣ постоянно видятъ передъ собой манекеновъ консерватизма, постоянно слышать ихъ безцвѣтное и безсильное жужжаніе—и думаютъ, что такъ и должно быть. Что эти сумерки, эта мѣняльная канитель, этотъ безнадежно-сѣрый цвѣтъ—явленіе нормальное. Но все это дурная привычка—и ничего больше! Представь себѣ теперь, что въ эту ровную, едва не засыпающую атмосферу вдругъ врывается человѣкъ, который прямо, *à bout portant*, бросаетъ новое, кипучее слово! Въ какомъ положеніи должна очутиться женщина, которая до тѣхъ поръ ничего не слышала, кромѣ тягучаго переливанія изъ пустого въ порожнее? Ты скажешь, быть можетъ, что непрошенное врыванье—скандалъ, но почему же ты знаешь, что для женщины даже и тутъ не скрывается своего рода обаяніе? Не забудь, что она великодушна по природѣ, и слѣдовательно...

„Ахъ! тотъ, котораго въ насмѣшку прозвали чизльгёретскимъ философомъ, понималъ это отлично! Среди величайшихъ запутанностей и махинацій внутренней и вѣшной политики онъ никогда не забывалъ своего знаменитаго: *„tout pour le peuple et par le peuple!“* Онъ понималъ, конечно, что все это не болѣе, какъ *aperçu de morale*, но когда онъ говорилъ это, все лицо его свѣтилось и всѣ сердца трепетали. Я помню: я была въ бѣломъ платьѣ... *des bouillonnées... des bouillonnées... partout des bouillonnées!* Онъ подошелъ ко мнѣ...

„Et bien, ils sont tous morts! Morny... Persigny... Lui!! всѣ въ могилахъ, другъ мой! Остался одинъ Базень... *entreprendra-t-il quelque chose? n'entreprendra-t-il rien?*“

„Но это еще не все, мой другъ. Наука жить въ свѣтѣ—большая наука, безъ знанія которой мужчина можетъ нравиться только офицершѣ, но не женщинѣ.

„Однихъ *aperçus de morale*, о которыхъ я сейчасъ упомянула, недостаточно: *il faut savoir juger des choses de l'actualité et de l'histoire*. Однимъ словомъ, нужно всегда имѣть въ запасѣ нѣсколько *aperçus politiques*,



historiques et littéraires. Для самолюбія женщины большой ударъ, если избранникъ ея сердца открываетъ большіе глаза, когда при немъ говорятъ о феніанскомъ вопросѣ, объ интернаціоналѣ, о старокатоликахъ etc., если онъ смѣшиваетъ Геродота съ генераломъ Михайловскимъ-Данилевскимъ, Сафо съ г-жею Кохановскою, если на вопросъ о Гарибальди онъ отвѣчаетъ извѣстіемъ о новомъ фасонѣ гарибальдійки. Наединѣ, съ глазу на глазъ, все это можетъ сойти за наивность, но въ обществѣ, при свѣтѣ люстръ, подобныя смѣшенія не прощаются... никогда! Знаешь ли, чтò было первою причиною моей холодности къ Butor'у? А вотъ чтò. Однажды (это было въ первый мой прїѣздъ въ Парижъ, сейчасъ послѣ la belle échauffourée de 2 décembre), въ одинъ изъ моихъ приемныхъ дней, en plein salon, кому-то вздумалось faire l'apologie du chevalier Bayard — тогда вѣдь были въ модѣ рыцарскія чувства. Къ несчастію, я съ кѣмъ-то заговорила и забыла, что Butor требуетъ неусыпнаго наблюденія. И вдругъ, въ самомъ жару апологіи, я замѣчаю какое-то замѣшательство, и вижу, что всѣ глаза обращены на Butor'a, который самымъ неприличнымъ образомъ улыбается и даже всхлипываетъ... Спѣшу къ нему, спрашиваю, чтò съ нимъ... Представь себѣ мой ужасъ! онъ смѣшалъ le chevalier de Bayard съ le chevalier de Faublas! Et il se pâmait d'aise... отъ одного ожиданія, что вотъ-вотъ сейчасъ начнется рассказъ извѣстныхъ похожденій!

„Vous êtes un noble et généreux coeur, Serge! но, къ сожалѣнію, свѣтская молодежь нашего времени думаетъ, что одной физической силы (одинъ петербургскій адвокатъ de mes amis называетъ это современною гвардейскою правоспособностью) достаточно, чтобъ увлечь женщину. Не вѣрь этому, другъ мой! La femme aime à être initiée, entre deux baisers, aux mystères de l'histoire, de morale et de littérature! И она очень рада, когда не слышитъ, какъ близкій человѣкъ утверждаетъ, что Ликуртъ былъ главнымъ городомъ Греціи и славился божевенными и мыловаренными заводами, какъ это сдѣлалъ, лѣтъ пять тому назадъ, на моихъ глазахъ, одинъ національгардь (и какъ онъ идіотски улыбался при этомъ, чтобы нельзя было разобратъ, въ шутку ли онъ говоритъ это или вслѣдствіе серьезнаго невѣжества!).

„Но довольно. Я вижу, что надоѣла тебѣ своей воркотней. Кстати, до меня уже долетаютъ выкрики одиночнаго ученія: это значитъ, что Butor возсталъ отъ послѣбѣжденнаго сна. Надо кончить. Пиши обо всемъ, что касается Pauline. Je voudrais l'embrasser et la bénir. Dis-lui qu'il faut qu'elle aime bien mon garçon. Je le veux. A toi de coeur--

„*Nathalie de Prokaznine*“.

„Ты не теряешь однако времени, дурной мальчикъ! — Ухаживаешь за Полиной и въ то же время не упускаешь изъ вида вдовушку Лиходѣеву, которая „отправляетъ значительное количество барокъ съ хлѣбомъ“. Эта приписка мнѣ особенно нравится! Mais savez-vous, que c'est bien mal à vous monsieur le dameret, de penser à une trahison, même avant d'avoir reçu le droit de trahir!..“

„Я получилъ твое письмо, chère petite mère. Comme modèle de style — c'est un chef d'oeuvre, но, въ сожалѣнію, я долженъ сказать, что ты по крайней мѣрѣ на двадцать лѣтъ отстала отъ вѣка.

„Всѣ эти финессы и деликатессы, эти aperçus de morale et de politique, эти подходы и подвигиванья — все это старый хламъ, за который нынче гроша не дадутъ. De nos jours, on ne fait plus d'aperçus: on fait l'amour—et voilà tout!.. Мы — позитивисты (il me semble avoir lu quelque part ce mot), мы знаемъ, что time is money, и предпочитаемъ любовный телеграфъ самой благоустроенной любовной почтѣ.

„И знаешь ли, кто произвелъ этотъ коренной переворотъ въ обращеніи съ любовью?—это все тотъ же чизльгёретскій философъ, l'auteur de la belle échauffourée du 2 décembre, о которомъ ты такъ тожно воркуешь. Онъ и она... la résignée de Chizzlhurst, la belle Eugénie. Въ такое время, когда прелестнѣйшія женщины въ мірѣ забываютъ преданія de la vieille courtoisie française, pour fraterniser avec la soldatesque, когда весь міръ звучитъ любовными, но отнюдь не запечатлѣнными добродѣтелью мотивами изъ „La fille de m-me Angot“, когда въ наиболѣе высокопоставленныхъ салонахъ танцуютъ кадрили подъ звуки „ah, j'ai un pied qui r'mue“, когда всѣ „моды и робы“, турнюры и пuffed, всякій бантъ, всякая лента, всякая пуговица на платьѣ, все направлено къ тому, чтобы мужчина, не теряя времени на праздныя изысканія, смотрѣлъ прямо туда, куда нужно смотрѣть—въ такое время, говорю я, некогда думать объ aperçus, а нужно откровенно, franchement, сказать себѣ: хватай, лови, пей, ѣшь и веселись!

„Сознайся, petite mère, que tu as voulu faire de la blague et du joli style — et voilà tout. Въ дѣйствительности же ты сама очень хорошо знаешь, что все это одна меланхолія, какъ выражается ротмистръ Цыбуля. Морни, Персины... неужели ты думаешь, что ихъ можно было плѣнить разными aperçus politiques, historiques et littéraires? И сама „la belle résignée de Chizzlhurst“ — неужели „le philosophe“ плѣнилъ ее какимъ-нибудь ловкимъ изложеніемъ „Слова о полку Игоревѣ“? Нѣтъ, голубчикъ! ты сама не вѣришь этому, потому что тутъ же, черезъ двѣ-три строки, упоминаешь о существованіи d'une certaine robe, „сотканнаго точно изъ воздуха“... Вотъ это такъ! вотъ эти-то „сотканныя изъ воздуха“ платья одни и производятъ въ наше время эффектъ. C'est simple comme bonjour.

„И совсѣмъ я не такъ ужъ неотесанъ, какъ ты полагаешь. У меня даже больше sujets de conversation, нежели сколько требуется по тому роду оружія, въ которомъ я служу. Я учился и исторіи, и литературѣ, и кромѣ того владѣю французскимъ языкомъ. Я могу рассказать и про волчицу, вскормившую Ромула, и про Калигулу, котораго многіе (но не я) смѣшиваютъ съ Каракаллою. En fait de littérature, я знаю „Вихрь полунощный, летитъ богатырь“, „Оставимъ астрономамъ доказывать“ — une foule de choses en un mot. Правда я нѣсколько призабылъ греческую исторію, но, все-таки, напрасно ты думаешь меня сбить съ толку своимъ Ликургомъ. Кто же не знаетъ, что главный городъ Греціи былъ Солонъ!

„Вообще, хоть я не горжусь своими знаніями, но нахожу, что тѣхъ, какими я обладаю, совершенно достаточно, чтобы не ударить лицомъ въ



грязь. Что же касается до того, что ты называешь *les choses de l'actualité*, то для ознакомленія съ ними я, немедленно по прибытіи къ полку, выписалъ себя „Сынъ Отечества“ за весь прошлый годъ. Все же это получше „Городскихъ и иногородныхъ афишъ“, которыми пробавляетесь ты и *Butor* въ тиши уединенія.

„Не думай, однакожъ, *petite mère*, что я сержусь на тебя за твои правоученія и обиженъ ими. Во-первыхъ, я слишкомъ *bon enfant*, чтобъ обижаться, а во-вторыхъ, я очень хорошо понимаю, что въ твоёмъ положеніи ничего другого не остается и дѣлать, какъ морализировать. Еще бы! имѣй я ежедневно передъ глазами *Butor'a*, я или повѣсился бы, или такой бы *apercu de morale* настроилъ, что ты только руками бы развела!

„А теперь поговоримъ о моихъ маленькихъ дѣлахъ. То, что я писалъ тебѣ, начинаетъ сбываться. Меня ужъ назвали „сыномъ“ и дали мнѣ поцѣловать ручку (ручка у нея маленькая, тепленькая, съ розовыми ноготками). Конечно, это еще немного (я увѣренъ даже, что ты найдешь въ этомъ подтвержденіе твоихъ правоученій), но я, все-таки продолжаю думать, что ежели мои поиски и не увѣнчиваются со скоростью телеграфнаго сообщенія, то совсѣмъ не потому, что я не пускаю въ ходъ „*aperçus historiques et littéraires*“, а просто потому, что по заведенному порядку никакое представленіе никогда съ пятаго акта не начинается. Что дѣлать! Женщина такъ ужъ воспитана, что требуетъ, чтобы однажды принятая канитель была продѣлана отъ начала до конца, а исключеніе въ этомъ случаѣ допускается только въ пользу „чизльгёрстскихъ философовъ“...

„Это было вчера, послѣ обѣда. Въ этотъ день все офицерство праздновало на именинахъ у одного помѣщика версть за пять отъ города, а потому я одинъ обѣдалъ у полковника. Онъ самъ хотя и не поѣхалъ къ имениннику, отозвавшись нездоровьемъ, но послѣ обѣда тотчасъ исчезъ (представъ себѣ, я узналъ, что онъ дѣлаетъ экскурсіи къ женѣ нашего дивизионера, роскошной малороссіянкѣ, и что это даже очень недешево обходится старику). Мы сидѣли вдвоемъ. Погода на дворѣ стояла отвратительная, совсѣмъ осенняя, и хотя былъ всего шестой часъ, въ комнатахъ уже царствовалъ полусвѣтъ. Она полулежала на кушеткѣ, завернувшись въ шаль (*elle est frileuse, comme le sont toutes les blondes*); я сидѣлъ нѣсколько поодаль на стулѣ, чутко прислушиваясь къ малѣйшему шороху. На ней было шолковое сѣро-стальное платье, котораго цвѣтъ до того подходилъ къ этимъ сумеркамъ, что мягкіе контуры ея формъ, казалось, сливались съ общимъ полусвѣтомъ комнаты. Я долгое время молчалъ, но опять-таки совсѣмъ не потому, чтобы не имѣлъ *sujets de conversation*, а потому просто, что наединѣ съ хорошенькой женщиной какъ-то ничего не идетъ на умъ, кромѣ того, что она хорошенькая. Но за то я смотрѣлъ на нее... пристально, почти въ упоръ (*c'est une manière comme une autre de faire entendre certaines intentions*).

„— Не хотите ли творогу со сливками? — вдругъ обратилась она ко мнѣ.

„— *Madame!*..—сказалъ я, не понимая ея вопроса.

„— Вы такой молодой... *vous devez adorer le laitage*...

„Признаюсь, это меня какъ будто ожгло; но, къ счастью, я скоро нашелся.

„— Можетъ быть,—отвѣтилъ я:—но во всякомъ случаѣ обождать молоко все-таки лучше, нежели обожать... лукъ!

„Въ свою очередь она съ минуту въ недоумѣніи смотрѣла на меня... и вдругъ поняла!

„— Ахъ, да!—почти вскрикнула она, весело хохоча:— „лукъ“... „цыбуля“... c'est ça! Ce cher capitaine! Mais savez-vous, que c'est très mûchant! Лукъ... цыбуля... обожать Цыбулю... ah! ah!

„И она вновь такъ звонко засмѣялась, что я почувствовалъ себя довольно неловко. Ты не можешь себя представить, маман, какой это смѣхъ! Звукъ его ясный, чисто-дѣтскій и въ то же время раздражающій, ѣдкій. Нахохотавшись до-сыта, она вздохнула и сказала:

„— Какой вы молодой!

„— Послушайте, баронесса!—сказалъ я:— я ужъ однажды слышалъ отъ васъ это восклицаніе. Теперь вы его повторяете... зачѣмъ?

„— А хоть бы затѣмъ, чтобъ вы не смотрѣли такъ, какъ сейчасъ на меня смотрѣли. Vous avez des regards de conquérant qui sont on ne peut plus compromettants... ah, oui!

„— Въ чьихъ же глазахъ это можетъ компрометтировать васъ? Быть можетъ...

„Я остановился, какъ бы затрудняясь продолжать.

„— Въ глазахъ ротмистра, хотите вы сказать? А еслибъ и такъ?

„— Цыбуля, баронесса! Поймите меня... Цыбуля!!

„— Вамъ не нравится эта фамилія? Какой вы молодой!

„— De grâce, baronne!

„— Да, молодой! Еслибъ вы не были молоды, то поняли бы, что Цыбуля—отличный! Que c'est un homme charmant, un noble coeur; un ami à toute épreuve...

„— Rien qu'un ami?

„— Ah! ah! par exemple!

„Она опять залилась своими яснымъ, раздражающимъ смѣхомъ. Но я весь кипѣлъ: виски у меня стучали, дыханіе занималось. Вѣроятно въ лицѣ моемъ было что-то особенно горячее, потому что она пристально взглянула на меня и привстала съ кушетки.

„— Слушайте!—сказала она:—будемте говорить хладнокровно. Мнѣ тридцать лѣтъ, и вы могли бы быть моимъ сыномъ... à peu près...

„Вотъ оно! сыночекъ!“ мелькнуло у меня въ головѣ.

„— Чтò за дѣло!—началъ я.

„— Нѣтъ, очень большое дѣло. Я не хочу портить вашу жизнь... не хочу! Вы только въ началѣ пути, а я...

„— Неправда! неправда!—воскликнулъ я съ жаромъ:—красота, грація... la chasteté du sentiment!.. cette fraîcheur de formes... ce moelleux... ça ne passe pas! Это вѣчно!

„Она засмѣялась вновь, но уже тихонько, сладко и приняла задумчивый тонъ.



„— Хотите быть моимъ другомъ?—сказала она:—нѣтъ, не другомъ... а сыномъ?

„— Потому что „другъ“ у васъ ужъ есть?—съ горечью произнесъ я.

„— Ну, да, Цыбуля... *c'est convenu!* А вы будете сыномъ... *mon fils, mon enfant—n'est-ce pas?*

„Я молчалъ.

„— Но почтительнымъ, скромнымъ сыномъ... *pas de bêtises...* правда? И чтобъ я никогда не видѣла никакихъ ссоръ... съ Цыбулей?

„— И съ Травниковымъ?—бросилъ я ей въ упоръ.

„— И съ Травниковымъ... *ah! ah! par exemple!* Да, и съ Травниковымъ, потому что онъ присылаетъ мнѣ прелестные букеты и отлично устриваетъ въ земствѣ дѣла барона по квартирванію полка... *Eh bien! pas de bêtises... c'est convenu?*

„— *Mais comprenez donc...*

„— *Pas de mais! Un bon gros baiser de mère, appliqué sur le front du cher enfant, et plus—rien!* Слышите!—ничего!

„Съ этими словами она встала, подошла ко мнѣ, взяла меня обѣими руками за голову и поцѣловала въ лобъ. Все это сдѣлалось такъ быстро, что я не успѣлъ очнуться, какъ она уже отпрянула отъ меня и позвонила.

„Я былъ внѣ себя; я готовъ былъ или разбить себѣ голову, или броситься на нее (*tu sais, comme je suis impétueux!*), но въ это время вошелъ лакей и принесъ лампу.

„Затѣмъ кое-кто подѣхалъ, и, разумѣется, въ числѣ первыхъ явился Цыбуля. Онъ сіялъ такимъ отвратительнымъ здоровьемъ, онъ былъ такъ омерзительно доволенъ собою, усы у него были такъ подло нафабрены, голова такъ холопски напомажена, онъ съ такою деньщицкою самоувѣренностью чмокнулъ руку баронессы и потомъ оглядѣлъ осовѣлыми глазами присутствующихъ (послѣ имянинаго обѣда ему, очевидно, попало въ голову), что я съ трудомъ могъ воздержаться...

„И эта женщина хочетъ втереть мнѣ очки насчетъ какихъ-то платоническихъ отношеній... съ Цыбулей! Съ этимъ человѣкомъ, который пройдетъ сквозь строй черезъ тысячу человѣкъ—и не поморщится! Ну, нѣтъ-съ, Полина Александровна—это вы напрасно-съ! Мы тоже въ этихъ дѣлахъ кое-что смыслимъ-съ!

„Весь остатокъ вечера я провелъ въ самомъ поганомъ настроеніи духа, но велъ себя совершенно прилично. Холодно и сдержанно. Она замѣтила это и уллучила минуту, чтобъ подозвать меня къ себѣ.

„— *Vous vous conduisez comme un sage!*—сказала она:—вотъ вамъ за это!

„Она быстро поднесла къ моимъ губамъ руку, но я былъ такъ золъ, что только чуть-чуть прикоснулся къ этой хорошенькой, душистой ручкѣ...

„Бъ довершенію всего, мнѣ пришлось возвращаться домой вмѣстѣ съ Цыбулей, которому вдругъ вздумалось пооткровенничать со мною.

„— Ты, хвэндрикъ, не вздумай у меня Парасю отбить!—сказалъ онъ совсѣмъ неожиданно.

„Парася! *le joli nom!* И я увѣренъ, что съ глазу на глазъ, въ ми-

путы чувствительныхъ изліяній, онъ ее даже и Параськой зоветъ! Это окончательно взбѣсило меня.

„— Послушайте! — отвѣчалъ я: — во-первыхъ, я не понимаю, о чемъ вы говорите, а во-вторыхъ, объясните мнѣ, почему вы говорите „хвэндрикъ“, тогда какъ отлично произносите „фостъ“?

„— Эге! да вѣдь и въ самой же вещи такъ! — удивился онъ, и на всю улицу разразился хохотомъ...

„И такъ, первый актъ кончился. Но что это именно только первый актъ, за которымъ пойдутъ второй и послѣдующіе — въ этомъ ручаюсь тебѣ я!

„Цѣлую твои ручки. Ахъ, еслибъ ты могла улизнуть отъ несноснаго Butor'a и пріѣхать въ К\*\*\*! Мнѣ такъ нужны, такъ нужны твои совѣты!

„Твой С. Проказникъ“.

„P. S. Вчера, въ то самое время, какъ я разыгрывалъ роли у Полины, Лиходѣева зазвала Оедьку и поднесла ему стаканъ водки. Потомъ спрашивала, каковъ баринъ? На что Оедька отвѣтилъ: „баринъ насчетъ женскаго полу — огонь!“ Должно быть, ей это понравилось, потому что сегодня утромъ она опять вышла на балконъ и стояла тамъ все время, покуда я смотрѣлъ на нее въ бинокль. Право, она недурна!“

„Взвѣсимъ всѣ шансы, мой другъ, и будемъ говорить серьезно.

„Изъ послѣдняго твоего письма я вижу, что твое предпріятіе гораздо сложнѣе, нежели можно было предположить. C'est très sérieux, mon enfant, c'est presque insurmontable. Тутъ нужно много сдержанности, самоотверженія и — *— passe moi le mot —* ума. Потому что дѣло идетъ не о томъ только, чтобы наполнить праздное и скучающее существованіе, но о томъ, чтобы освободить это существованіе отъ тисковъ, которыми оно охвачено и которые со всѣхъ сторонъ заграждаютъ путь къ сердцу женщины.

„Я вижу два заинтересованныхъ лица: Цыбулю и Травникова. Ты приходишь третьимъ. Начнемъ съ Цыбули.

„Ротмистръ въ твоёмъ описаніи выходитъ очень смѣшонъ. И я увѣрена, что Полина вмѣстѣ съ тобой посмѣялась бы надъ этимъ напосаженнымъ деньщикомъ, еслибъ ты пришелъ съ своимъ описаніемъ въ то время, когда борьба еще была возможна для нея. Но я боюсь, что роковое рѣшеніе ужъ произнесено, — такое рѣшеніе, изъ котораго нѣтъ другого выхода, кромѣ самаго безумнаго скандала.

„Il doit y avoir une question d'argent — c'est presque certain. Цыбуля — казначей, а такіе люди нужны. Казначей всегда имѣютъ деньги — j'en sais quelque chose, moi, потому что Butor одно время былъ казначеемъ. Очень возможно, что баронъ скупъ и неохотно даетъ деньги на туалетъ жены; еще возможнѣе, что всѣ доходы его уходятъ на удовлетвореніе прихотей „прекрасной малороссіянки“. Въ такомъ случаѣ Цыбуля — настоящій кладъ не только для нея, но и для него. Онъ развязываетъ его руки, избавляетъ его отъ необходимости ремонтировать дорогую игрушку — жену, къ которой онъ уже не чувствуетъ ни малѣйшаго интереса.



„Ты молодъ, мой другъ! *tu ne connais rien dans les misères humaines*. Ты не можешь себя представить, какое горькое значеніе имѣютъ въ жизни женщины тѣпки, на которыя ты едва обращаешь вниманіе. Видѣть женщину хорошо одѣтою кажется до такой степени натуральнымъ, что вамъ, мужчинамъ, не приходитъ даже мысль спросить себя, какъ создается эта обаятельная обстановка, *cette masse de soies, de velours, de mousselines et de dentelles, qui rend la femme si séduisante, si désirable*. А между тѣмъ это цѣлая страдальческая эпопея. Тутъ все: и борьба, и покорность, и обманъ, и униженіе, и предательство, и слезы... *tout jusqu'à l'oubli du 7-me commandement inclusivement*.

„А отсюда вижу Полинну, *cette pauvre âme désolée*. Elle aime les bonnes choses; она съ удовольствіемъ прячетъ себя въ нѣжащія, мягкія волны шолка и кружевъ. *Ça habille si bien! ça communique à la physionomie la plus ordinaire quelque chose de distingué, de vapoureux, de céleste*. Et puis... viennent les messieurs. Они такъ страстно слѣдятъ за этою шолковою зыбью, такъ жадно хотятъ проникнуть тайну, которая за нею скрывается, такъ обаятельно льстятъ, что бѣдная женщина, незамѣтно для самой себя, *petit à petit*, погружается въ этотъ чарующій міръ, гдѣ все мягко, душисто, уютно, тепло...

„И вотъ въ ту минуту, когда страсть къ наряду становится господствующею страстью въ женщинѣ, когда мужъ, законный обладатель всѣхъ этихъ *charmes, tant convoités*, смотритъ на нихъ тупыми и сонными глазами, когда покушка каждой шляпки, каждаго бантика возбуждаетъ цѣлый потокъ упрековъ съ одной стороны и жалобъ — съ другой, когда наконецъ между обѣими сторонами устанавливается полуравнодушное, полупрезрительное отношеніе — въ эту минуту, говорю я, точно изъ земли вырастаетъ господинъ Цыбуля. Онъ очень ловко начинаетъ съ того, что накидываетъ на себя маску преданности и смиренія. Онъ ничего не требуетъ, кромѣ счастья оказывать тысячи безкорыстныхъ услугъ. Онъ устраиваетъ дѣла мужа, выводитъ его изъ затрудненій, покровительствуетъ его слабостямъ. И въ то же время выказываетъ безграничное, почти благоговѣйное баловство относительно жены. Такимъ образомъ мало-по-малу онъ становится необходимымъ для обоихъ. Это миротворецъ, это устранитель недоразумѣній, *c'est le coeur le plus noble, c'est l'ami à toute épreuve*.

„Но если заслуга однажды ужъ признана, то весьма естественно, что съ тѣмъ вмѣстѣ признается и право на вознагражденіе за нее. Это признаніе подкрадывается незамѣтно, въ одну изъ тѣхъ минутъ мечтательнаго состраданія, въ которыя такъ охотно погружается женщина и которыя Цыбули умѣютъ отлично ловить. *Dés lors, la femme ne s'appartient plus*. Она перестаетъ быть собою, она дѣлается собственностью, вещь... Цыбули! одного Цыбули, *sans partage!* Самъ мужъ, хотя и замѣчаетъ, что у него подъ носомъ происходитъ нѣчто, не входившее въ его первоначальные расчеты, но — поздно. Привычка и тысяча мелкихъ услугъ уже до того сковываютъ всѣ его дѣйствія, что онъ не протестуетъ, а думаетъ только о томъ, чтобы спасти приличія.

„Я знаю, ты скажешь опять, что Цыбуля смѣшонъ, что онъ не боляе,

какъ напoмаженный деньщикъ, что порядочная женщина не можетъ и т. д. Et pourtant, tu sais très bien qu'il y est. Ахъ, мой другъ! вы живете въ провинціи, въ маленькомъ городкѣ, гдѣ горизонты ужасно какъ суживаются. Та самая женщина, которая, живя въ одномъ изъ большихъ цивилизованныхъ центровъ, увидѣла бы въ Цыбулѣ не больше, какъ l'homme au gros magot, въ заходустыи—мирится съ нимъ совершенно, мирится какъ съ человѣкомъ, даже независимо отъ его magot. Глазъ легко привыкаетъ какъ къ изящному, такъ и къ безвкусному, и среди цѣлой массы деньщиковъ—деньщикъ Цыбуля уже не производитъ оскорбительнаго впечатлѣнія. Онъ „не противенъ“—этого одного достаточно, чтобы не разрывать съ нимъ, тѣмъ больше, что при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ произошло сближеніе, разрывъ равносильнъ такой огласкѣ, которая для свѣтской женщины тяжелѣе самыхъ тяжелыхъ цѣпей.

„Такимъ образомъ Цыбуля имѣетъ за себя: во-первыхъ, очень вѣскія обязательства, во-вторыхъ, привычку и, въ-третьихъ, молчаливое потворство мужа... И ты думаешь, что она разорветъ съ нимъ!

„Ни за что! Но этого мало, что она не разорветъ: она едва-ли даже рѣшится обмануть его въ твою пользу. Въ этомъ маленькомъ городкѣ, гдѣ произошла ея семейная драма, ни одна даже малѣйшая подробность частной жизни не можетъ ускользнуть отъ вниманія праздныхъ наблюдателей. Къ Цыбулѣ всѣ ужъ привыкли; всѣ видятъ въ немъ неизбѣжное дополненіе семейства барона Шпека, такъ что самая ничтожная переменѣ въ этомъ смыслѣ возбудить общее вниманіе и непременно будетъ извѣстна Цыбулѣ. Съ другой стороны, Цыбуля вовсе не такой человѣкъ, чтобы выпустить изъ рукъ свою добычу... и даже часть добычи. Повѣрь, что онъ ведетъ подробный счетъ своимъ издержкамъ, что у него всякая копѣйка записана въ книгу avec noms et prénoms. Это негодяй очень опасный, негодяй, который все помнить и все хранить. Навѣрное у него есть письма Полины, навѣрное въ этихъ письмахъ... ахъ! ничего не можетъ быть довѣрчивѣе бѣдной любящей женщины, и ничего не можетъ быть ужаснѣе деньщиковъ, когда они дѣлаются властелинами судьбы ея!

„И такъ, вотъ Цыбуля. Что касается до господина Травникова, то мнѣ кажется, что ты ошибаешься, подозрѣвая его въ интимныхъ отношеніяхъ къ баронессѣ. Я, напротивъ, увѣрена, что онъ à peu près находится въ томъ же положеніи, какъ и ты. Il est tout simplement un agréable blagueur, un chevalier servant, невинный поставщикъ конфетъ и букетовъ, за которые однакоже баронессѣ очень сильно достается отъ ревниваго Цыбули.

„Какъ бы то ни было, но ты приходишь третьимъ.

„Знаешь ли что! Я удивляюсь, что Полина даже настолько себя позволила, сколько она высказала при томъ случайномъ свиданіи, которое ты описываешь. C'est une âme vraiment héroïque. Другая на ея мѣстѣ совѣтъ бы притихла. Вѣдь эти деньщики... они дерутся! Сколько нужно имѣть твердости характера, самоотверженія и героизма, чтобы въ виду ихъ отважиться на какую-нибудь escapade! Однакожъ она отважилась, правда, осторожно, почти двусмысленно, но даже и это навѣрное ей не прошло даромъ. Цыбуля уже подозрѣваетъ, онъ ужъ слѣдитъ за нею, et il n'en démordera pas, sois



en certain. Онъ слишкомъ деньщикъ, чтобы забыть о деньгахъ, которыя онъ истратилъ!

„Вотъ соображенія, которыя я, какъ преданная мать, считаю себя обязанною передать тебѣ... только не поздно ли?

„Стало быть, нужно отступить? спросишь ты меня, и, конечно, спросишь съ негодованіемъ. Мой другъ! я слишкомъ хорошо понимаю это негодованіе, я слишкомъ цѣню благородный источникъ его, чтобы отвѣтить тебѣ сухимъ: да, лучше отступить! Я знаю, кромѣ того, что подобные отвѣты не успокоиваютъ, а только раздражаютъ. И такъ, понщемъ оба, не блеснетъ ли намъ въ темнотѣ лучъ надежды, не броситъ ли намъ благосклонная судьба какого-нибудь средства, о которомъ мы до сихъ поръ не думали?

„Скажу тебѣ прямо: это средство есть, но оно потребуетъ съ твоей стороны не только благоразумія, но почти самоотверженія. Это средство — совершенно довѣриться инстинкту и такту Полины. Une femme qui aime est intarrissable en matière d'expédients. Il faut que Pauline trouve un compromis — sans cela pas de salut! avec ou sans Tziboulla, n'importe! Ты долженъ сказать себѣ это, и въ особенности остановиться на послѣднемъ, подчеркнутомъ мною условіи. Повторяю: ты не только не имѣешь права быть придиричивымъ, но даже обязанъ всячески помогать Полинѣ въ ея миссіи. Во-первыхъ, не брюскуповать ея и не пугать своимъ нетерпѣніемъ; во-вторыхъ, выказать относительно ея много, очень много терпимости.

„Достанетъ ли у тебя героизма, чтобы выполнить это?

„Но можетъ быть, ты и на эти совѣты посмотришь какъ на пустую старушечью воркотню... Чтѣжь дѣлать, мой другъ! Nous autres, vieilles mamans, nous ne savons qu'aimer! Я давно ужъ освоилась съ мыслью, что для меня возможна только роль старухи. Butor слишкомъ часто произноситъ это слово въ примѣненіи ко мнѣ (и съ какою язвительностью онъ дѣлаетъ это, еслибъ ты зналъ!), чтобы я могла сохранять какія-нибудь сомнѣнія на этотъ счетъ... Хотя le père Basile и увѣряетъ, что я могла бы еще любить...

„Кого любить?.. Персиньи, Морни... Онъ!!

„Нѣтъ, я никого не могу любить, кромѣ Бога, ни въ чемъ не могу найти утѣшенія, кромѣ религіи! Знаешь ли, иногда мнѣ кажется, что у меня выросли крылья и что я лечу высоко-высоко надъ этимъ дурнымъ міромъ!

„А между тѣмъ сердце еще молодо... зачѣмъ оно молодо, другъ мой? зачѣмъ жестокій рокъ не разбилъ его, какъ разбилъ мою жизнь?

„На дняхъ, впрочемъ, и мое бѣдное существованіе озарилось лучемъ радости. Paul de Cassagnac вспомнилъ обо мнѣ и прислалъ длинное письмо, которое, будто волшебствомъ, перенесло меня въ міръ чудесъ. Всѣ они: и Cassagnac, и Dugué de la Fauconnerie, и Souillard, и Rouher — всѣ полны надеждъ. Гамбеттѣ готовится сюрпризъ, отъ котораго онъ долго не оправится. Всѣ веселы, бодры, готовы; всѣ зовутъ меня: „mais venez donc chez nous, pauvre cher ange incompris!“

„И представь себѣ, Butor имѣлъ низость перехватить это письмо и прочитать его. Съ тѣхъ поръ онъ не иначе зоветъ меня, какъ „pauvre cher ange incompris“. И все это — въ присутствіи Филатки. Такъ что даже тѣ

немногія бѣдныя радости, которыя мнѣ остались — и тѣ становятся для меня источникомъ досадъ и нравственныхъ истязаній!

„Я одна, одна, одна... Это ужасно! Я пробовала поставить *le père Basile au niveau de mon idéal*, но до сихъ поръ это какъ-то не удается мнѣ. Хуже всего то, что, говоря со мной, онъ всегда пускаетъ въ ходъ этотъ несносный высокій слогъ. А еще хуже, что онъ совсѣмъ не умѣетъ вести себя за столомъ, и когда кончить супъ, то всегда кладетъ ложку на скатерть. Но иногда онъ меня поражаетъ глубиною своихъ опредѣленій. На дняхъ мы говорили съ нимъ о вѣрѣ, и знаешь ли, чтѣ онъ мнѣ сказалъ? Что одна вѣра даетъ намъ твердое (*il prononce: „твёрдое“*) и извѣстное основаніе... ахъ, какая это истина, другъ мой! Это именно то самое, въ чемъ я убѣдилась тогда... въ Парижѣ!

„И онъ страдалъ! И ему знакома эта святая жажда сердца, которая, вслѣдствіе злой насмѣшки судьбы, какъ-то всегда остается неудовлетворенною. Представь себѣ: онъ долженъ былъ жениться на дурѣ, которая не можетъ отличить правую руку отъ лѣвой, — жениться, потому что иначе ему предстояло оставаться безъ мѣста на неопредѣленное время. Съ тѣхъ поръ вся его жизнь есть не чтѣ иное, какъ безконечная цѣпь самоотверженій. Онъ самъ говорилъ мнѣ, что еслибъ не сошелъ къ нему съ небесъ ангелъ (кажется, онъ называетъ этимъ именемъ меня; *tu vois, comme il est délicat*), то онъ давно бы началъ пить.

„Вотъ моя жизнь, мой другъ, вотъ жизнь твоей старухи-матери. Иногда мнѣ кажется, что я даже начинаю свыкаться съ ея однообразіемъ, особливо когда Витор оставляетъ меня въ покоѣ. Отъ времени до времени онъ уѣзжаетъ къ сосѣдямъ или на охоту, и тогда я цѣлыми днями остаюсь одна. Я пользуюсь этими минутами отдыха, чтобы освѣжить свою душу воспоминаніями. Я убѣгаю въ паркъ и долго брожу одна, совсѣмъ одна по пустыннымъ аллеямъ. Нашъ паркъ — прелесть, и особенно осенью. Онъ такъ таинственно дремлетъ, облитый золотыми лучами сентябрьскаго солнца, такъ тихо помахиваетъ багряными вершинами своихъ деревьевъ, какъ будто рассказываетъ какой-то безконечный, фантастическій сонъ. Воздухъ совсѣмъ-совсѣмъ прозраченъ и такъ гулокъ, что малѣйшій шелестъ, малѣйшій порхъ птицы отдается во всѣхъ углахъ парка. Я поминутно вздрагиваю. Свѣжо, бодро... чудо, какъ хорошо! Я скоро-скоро бѣгу по усыпаннымъ желтыми листьями дорожкамъ и вся отдаюсь своимъ мечтамъ. *Morny... Persigny... Lui!* Все это такъ недавно было... и всего этого нѣтъ! *Rien!* Понимаешь ли ты, какое безнадежное чувство я должна испытывать, ежеминутно повторяя себѣ это ужасное: *rien!*!

„*Rien! mais c'est le désespoir, c'est le néant, c'est la mort... За чтѣ?*!

„Иногда мнѣ кажется, что гдѣ-то, близко, меня подстерегаетъ катастрофа... Что вдругъ блеснетъ мнѣ въ глаза великая причина, которая вызоветъ съ моей стороны великое рѣшеніе...

„Я ничего не знаю, чтѣ дѣлается на свѣтѣ. Къ довершенію досады, даже „Городскія и иногородныя афиши“ почти цѣлый мѣсяцъ не доходятъ до меня. Чтѣ дѣлаетъ Базень? смирился ли *Plon-Plon*? неужели „*la belle*



résignée“ проводить все время въ томъ, что перебъзжаетъ изъ Чизльгёрста въ Арененбергъ и обратно? неужели Флѣри ничего болѣе умнаго не выдумалъ, кромѣ парадированія въ полномъ мундирѣ на смотру англійскихъ войскъ à côté de l'Ecolier de Woolwich? Къ чему же привели всѣ эти casse-têtes и sorties de bal, которые когда-то съ такимъ успѣхомъ зажимали рты слишкомъ болтливымъ canaille? Ужели ихъ никогда уже нельзя будетъ пустить въ ходъ?

„Tout pour le peuple et tout par le peuple“ —ужели и это наконецъ забыто?!

„Ты, можетъ быть, удивишься тому, что все это до сихъ поръ меня волнуетъ; но вспомни же, *кто* меня любилъ, и пойми, что я не могу оставаться равнодушною... хотя бы прошли еще годы, десятки лѣтъ, столѣтїя!

„Довольно. Еще разъ прошу: внимательно обсуди настоящее мое письмо и не забывай ту, которая сердцемъ всегда съ тобою, —

*N. de Prokaznine“.*

„P. S. Décidément, m-me Likhodéieff имѣетъ на тебя виды. Et vraiment, elle n'est pas à dédaigner, cette chère dame, которая „отправляетъ множество барокъ съ хлѣбомъ“. Повидимому даже она умна, потому что прямо обратилась къ тому человѣку, который всего лучше можетъ устроить ея дѣло, то-есть къ Оедькѣ. Quant à ce dernier, sa réponse à la belle amoureuse est incomparable de brio. Elle m'a rappelée les fines reparties de Jocrisse dans le „Jeu du hasard et de l'amour“.

„Vous êtes la meilleure des mères, maman, mais décidément vous donnez dans la mélancolie. Должно быть, присутствіе Butor'а такъ дѣйствуетъ на тебя. Неужели ты не можешь говорить своими словами, не прибѣгая къ хрестоматїи Ноэля и Шапсаля? Неужели ты и чизльгёрстскаго философа развлекала своими aperçus de morale? Воображаю, какъ ему было весело!

„Право, жизнь совсѣмъ не такъ сложна и запутанна, какъ ты хочешь меня увѣрить. Но ежели бы даже она и была такова, то существуетъ очень простая манера уничтожить запутанности — это разрубить тотъ узелъ, который мѣшаетъ больше другихъ. Не знаю, кто первый употребилъ въ дѣло эту манеру — кажется, князь Александръ Ивановичъ Македонскій —но знаю, что этимъ способомъ онъ разомъ привелъ армію и флоты въ блистательнѣйшее положеніе.

„Кажется, именно я такъ и поступлю.

„Ты просто бѣишь меня. Я и безъ того измученъ, почти искалѣченъ дрянною бабѣнкою, а ты еще пристаешь съ своими финессами да деликатессами, avec tes blâgues. Я раскрываю твое письмо, думая въ немъ найти *длинный* совѣтъ, а вмѣсто того встрѣчаю описанія какихъ-то „шолковыхъ зыбей“ да „masses de soies et de dentelles“. Connue, ma chère! Спрашиваю тебя: на кой чортъ мнѣ всѣ эти dentell'и, коль скоро я не знаю, что они собою прикрываютъ!

„Въ одномъ только ты права: въ томъ, что Полина дрянная, исковерканная бабенка. То-есть, тебѣ-то собственно эти коверканья нравятся, но, въ сущности, это просто гадость. Полина — одна изъ тѣхъ женщинъ, у которыхъ на первомъ планѣ не страсть и даже не темпераментъ, а какія-то противныя *minauderies*, то самое, что ты въ одномъ изъ своихъ писемъ называешь „*les préludes de l'amour*“. По моему, ничего гнуснѣе, развратнѣе этого быть не можетъ. Женщина, которая очень хорошо понимаетъ, чего она хочетъ и чего отъ нея хотить, и которая проводитъ время въ томъ, что сама себя дразнить... фуй, мерзость! Ты можешь острить сколько тебѣ угодно насчетъ „гвардейской правоспособности“ и даже намекать, что я принадлежу къ числу представителей этого солиднаго свойства, но могу тебя увѣрить, что мои открытыя, ничѣмъ не замаскированныя слова и дѣйствія, все-таки, въ стократъ нравственнѣе, нежели поскудные *aperçus politiques, historiques et littéraires*, которыми вы, женщины, занимаетесь... *entre deux baisers*.

„Цѣлуютъ меня безпрестанно — *cela devient presque dégoûtant*. Миѣ говорить „ты“, миѣ при каждомъ свиданіи суютъ украдкой въ руки записочки, написанныя точь-въ-точь по образцу и подобію твоихъ писемъ (у меня ихъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ накопились цѣлые вороха!). Однимъ словомъ, есть всѣ матеріалы для поэмы, нѣтъ только самой поэмы. Это до того наконецъ обозлило меня, что вчера я рѣшился объясниться.

„Я нарочно пришелъ пораньше вечеромъ.

„— Вы знаете, конечно, что Базень бѣжалъ?—сказалъ я, чтобы завязать разговоръ.

„Она удивленно взглянула на меня.

„— Да-съ, — продолжалъ я: — бѣжалъ съ помощью веревки, на которой даже остались слѣды крови... ночью... во время буря... И долженъ былъ долгое время плыть!

„Я остановился; она все смотрѣла на меня.

„— Какой странный разговоръ! — наконецъ сказала она.

„— Ничего нѣтъ страннаго... Объ чемъ говорить?

„— Вѣроятно это предисловіе?

„— А еслибы и такъ?

„— Предисловіе... къ чему?

„— А хоть бы къ тому, что всѣ эти поцѣлуи, эти записочки, передаваемые украдкой — все это должно же наконецъ чѣмъ-нибудь кончиться... къ чему-нибудь привести?

„Она взглянула на меня съ такимъ наивнымъ недоумѣніемъ, какъ будто я принесъ ей Богъ вѣсть какое возмутительное извѣстіе.

„— Да-съ, — продолжалъ я: — эти поцѣлуи хороши *между прочимъ*; но какъ *постоянный режимъ* они совсѣмъ не пристали къ гусарскому менту!

„— *Mais vous devenez fou, mon ami!*

„— Нѣтъ-съ, не *fou*-съ. А просто не желаю быть игралищемъ страстей-съ!

„Я былъ взбѣшенъ безконечно; я говорилъ громко и рѣшительно, безъ всякихъ *ménagemens* расхаживая по комнатѣ.



„ — Но чего же вы от меня хотите?

„ — Parbleu! la question me paraît singulière.

„ — Vous êtes un butor!

„ Признаюсь, въ эту минуту я готовъ былъ разорвать эту женщину на части! Въмѣсто того чтобы честно отвѣтить на вопросы, она отдѣливается какими-то общими фразами! Однако я сдержался.

„ — Быть можетъ, ротмистръ Цыбуля обращается деликатнѣе? — спросилъ я язвительно.

„ — Дѣ, Цыбуля — деликатный! C'est un chevalier, un ami à toute épreuve. Онъ никогда не обратится къ порядочной женщинѣ какъ къ какой-нибудь drôlesse!

„ — Еще бы! Мужчина четырнадцати вершковъ росту!

„ — Pardon! Il me semble que vous oubliez...

„ — Послушайте! неужели вы однако не видите, что я наконецъ измученъ?

„ Это восклицаніе повидимому польстило ей. Въдѣ эти авторши разныхъ aperçus de morale et de politique — въ сущности, самыя кровожадныя, тигровыя натуры. Ничто не доставляетъ имъ такого наслажденія, какъ увѣренность, что пушенная въ человѣка стрѣла не только вонзилась въ него, но еще ковыряетъ его рану. Въ ея глазахъ блеснула даже нѣжность.

„ — Voyons, asseyons-nous et tâchons de parler raison! — сказала она ласково.

„ Я опустился на диванъ, возлѣ нея. Опять начались поцѣлуи; опять одна рука ея крѣпко сжимала мою руку, а другая покоилась на моей головѣ и перебирала мои волосы. И вдругъ меня словно ожгло: я вспомнилъ, что все это по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ продѣлываетъ m-me Pasca на сценѣ Михайловскаго театра.

„ — И вы называете это „parler raison“?! почти закричалъ я.

„ — Mon ami! au nom du ciel!

„ — А! это на вашемъ языкѣ называется parler raison! Eh bien! je ne veux pas parler raison, moi! Je veux extravagner, je veux...

„ Я велъ себя глупо; кажется даже, я мальтретировалъ ее. Но эта женщина — змѣя въ полномъ смыслѣ этого слова! Она скользитъ, вьется... Черезъ четверть часа я сидѣлъ въ своей дурацкой квартирѣ, кусалъ ногти и рвалъ на себѣ волосы...

„ Къ довершенію всего, по дорогѣ мнѣ встрѣтился Цыбуля и словно угадалъ, что со мною произошло.

„ — А ну-те, хвэндрикъ! — сказалъ онъ: — добрые люди въ гости, а онъ изъ гостей бѣжитъ! Можетъ, гарбузъ получилъ?

„ И, говоря это, глупѣйшимъ образомъ улыбался... скотина!

„ Прощай, я слишкомъ озлобленъ, чтобы продолжать. Пиши ко мнѣ, пиши чаще, но, ради Бога, безъ меланхолій.

„С. Проказникъ“.

„Р. S. Лиходѣева опять залучила Оедьку, дала ему полтинникъ и сказала, что на дняхъ исправникъ уѣзжаетъ въ уѣздъ „выбивать недоимки“.

Кромѣ того, спросила: есть ли у меня шуба?... ужъ не хочетъ-ли она подарить мнѣ шубу своего покойнаго мужа... *cette naïveté!* Каждый день она проводить часъ или полтора на балконѣ, и я безъ церемоній осматриваю ее бинокль. Положительно она недурна, а сложена даже великолѣпно!“

„Все кончено. И тамъ, и тутъ. Вездѣ, во всемъ мірѣ кончено.

„Въ тотъ же день, какъ я отправилъ тебѣ послѣднее письмо, я по обыкновенію пошелъ обѣдать къ полковнику... Ахъ, тамаа! Вѣроятно я *тогда* сдѣлалъ что-нибудь такое, въ чемъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета!..

„Когда я вошелъ въ гостиную, я сейчасъ же замѣтилъ, что *ея* не было... Полковникъ что-то рассказывалъ, но при моемъ появленіи вдругъ все смолкло. Ничего не понимая, я подошелъ къ хозяину, но онъ не только не подалъ мнѣ руки, но даже заложилъ обѣ свои руки назадъ.

„— Господинъ субалтернъ-офицеръ!—сказалъ онъ мнѣ, возвысивъ голосъ, какъ на ученьи:—вы вели себя какъ ямщицки!

„Мнѣ ничего другого не оставалось, какъ повернуть налѣво кругомъ и исчезнуть.

„Послѣ обѣда я отправился однако въ городской садъ. Мнѣ было такъ скверно, такъ тоскливо, что я былъ готовъ придрасться къ первому встрѣчному; но товарищи, завидѣвъ меня, скрывались. Я слышалъ только, что при моемъ появленіи произносилось слово: „шуба“.

„На другой день все объяснилось. Ахъ, какая это адская интрига! И съ какимъ коварствомъ она пущена въ ходъ, чтобы забрызгать грязью одного меня и выгородить все остальное!.. Утромъ я сидѣлъ дома, обдумывая свое положеніе, какъ ко мнѣ пріѣхалъ одинъ изъ нашихъ офицеровъ. Онъ называлъ себя депутатомъ, и отъ имени всѣхъ товарищей пригласилъ меня оставить полкъ.

„— Но за чтò же?—спросилъ я:—чтò я сдѣлалъ такого, чтò не было бы согласно съ принятыми въ офицерскомъ званіи обычаями?

„— Очень жаль,—сказалъ онъ мнѣ:—что между нами существуетъ на этотъ счетъ разногласіе, но общество наше никакъ не можетъ терпѣть въ средѣ своей офицера, который унизился до того, что принялъ въ подарокъ отъ женщины... шубу! Затѣмъ прошу васъ уволить меня отъ дальнѣйшихъ объясненій и позвольте надѣяться, что вы добровольно и какъ можно скорѣе исполните просьбу бывшихъ вашихъ товарищей!

„Онъ шаркнулъ и былъ таковъ.

„Меня вдругъ точно озарило. Я вспомнилъ дурацкій вопросъ Лиходѣвой: есть ли у меня шуба? Я бросился къ Оедькѣ — и чтò же узналъ! что этотъ негодяй въ какомъ-то кабакѣ хвастался, что я не только въ связи съ Лиходѣвой, но что она подарила мнѣ шубу!.. Какой вздоръ!!

„Карьера моя разбита. Пойми, *petite mère*, что я даже не могу опровергнуть эту клевету, потому что никто не станетъ слушать мои объясненія. *C'est un parti pris*; „шуба“ тутъ ни при чемъ—это просто отводъ, придуманный фонъ-Шпеками и Цыбулей...

„Когда я думаю, что объ этомъ узнаетъ Butor, то у меня холодѣтъ



спина. Голубушка! брось ты свою меланхолю и помирись съ Butor'омъ. Au fond, c'est un brave homme! Вѣдь ты сама передъ нимъ виновата—право, виновата! Ну, что тебѣ стоитъ сдѣлать первый шагъ? Онъ глупъ и все забудетъ! Не могу же я погибнуть изъ-за того только, что ты тамъ какія-то меланхолиі соблюдаешь!

„С. Проказникъ“.

„Р. S. Пожалуйста поскорѣ уломай Butor'a, потому что я ужъ подалъ въ отставку. Я безъ копѣйки — пусть пришлетъ денегъ. Представь себѣ, даже Лиходѣва перестала показываться. Сегодня утромъ я смотрѣлъ въ окно — вдругъ дверь балкона отворяется, и въ ней показывается улыбающаяся рожа исправника... Стало быть, и съ этой стороны все кончено“.

„Bazaine s'est évadé! Я сегодня прочла объ этомъ въ „Городскихъ и иногородныхъ афишахъ“, которые доставлены сюда разомъ за цѣлый мѣсяцъ.

„Я не могу описать тебѣ, мой другъ, что я почувствовала, когда прочла это извѣстие. C'était comme une révélation. Помнишь, я писала тебѣ, что предчувствую катастрофу... et bien, la voici! Я заперлась въ своей комнатѣ, и цѣлый часъ, каждую минуту повторяла одно и то же: Базень бѣжалъ! Базень бѣжалъ! И потомъ: Рюль... Рюль... Рюль...

„Рюль! Il est brave! il est jeune! il est beau!

„И я вдругъ, почти машинально начала собираться. Мнѣ такъ ясно, такъ отчетливо представилось, что мое мѣсто... тамъ, à côté de ce brave et beau jeune homme!

„Oui, je dois être à mon poste! je le sens, jamais je ne l'ai senti avec autant d'irrésistibilité. Сначала ѣду въ Парижъ, чтобъ повидаться съ Sainte-Croix (celui qui a donné le soufflet à Gambetta), потомъ... потомъ, быть можетъ, и совѣмъ останусь въ Парижѣ... Ah! si tu savais, mon ami!

„Но, само собою разумѣется, что, гдѣ бы я ни была, сердцемъ я всегда съ тобою.

„Nathalie“.

„Негодяй!

„Всѣ письма твои я перечиталъ, а послѣднія два даже самъ лично получилъ.

„Butor—это я-съ?!

„Наталя Кирилловна, твоя мать, а моя жена, вчерашняго числа въ ночь бѣжала, предварительно унеся изъ моего стола (посредствомъ подобраннаго ключа) двѣ тысячи рублей. Пишетъ, будто бы для свиданія съ Базеномъ бѣжить, я же навѣрно знаю, что для канкановъ въ Closeries des lilas. Но я немного о томъ печалюсь, а трепещу только, какъ бы, навѣшавшись въ Парижѣ до-сыта, опять не воротилась ко мнѣ.

„До сихъ поръ я читалъ седьмую заповѣдь такъ: не прелюбодѣйствуй! Но вы съ матерью и симъ недовольны, а новую заповѣдь выдумали: не перепрелюбодѣйствуй! Вы простому прелюбодѣйству не можете остаться вѣрными,

но даже въ самый разгаръ онаго о томъ всечасно помышляете, какъ бы новое учинить!

„А по сему вотъ отъ меня тебѣ приказъ: немедленно съ посланнымъ прѣзжай въ деревню и паси свиней, доколѣ не исправиться. Буде же сего не исполнишь, то поѣзжай къ Базену, и отъ него жди милости, а меня не раздражай.“

„За симъ остаюсь навсегда разгнѣванный отецъ твой:

„Семенъ Проказникъ“.

## XII.—Кузина Машенька.

Саваны, саваны, саваны! Саванъ лежитъ на поляхъ и лугахъ; саванъ сковаль рѣку; саваномъ окутанъ дремлющій лѣсъ; въ саванъ спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цѣпчетъ; несмотря на трудную, слишкомъ тридцативерстную станцію, обиндевѣвшая тройка, не понуждаемая ямщикомъ, вскачь летитъ по дорогѣ; отъ быстрой ѣзды и лютаго мороза захватываетъ духъ. Пустыня, безнадежная, надрывающая сердце пустыня... Вотъ налетѣлъ круговой вихрь, съ визгомъ взбуривъ снѣжную пелену—и, кажется, словно гдѣ-то застонало. Вотъ звякнуло вдали; порывами доносится до слуха звонъ колокольчика обратной тройки, то прихлынетъ, то отхлынетъ, и опять кажется, что гдѣ-то стонетъ. Вотъ залаяла у деревенской околицы ледащая собачонка, зачуввъ волка—и снова чудятся стоны, стоны, стоны... Мнится, что вся окрестность полна жалобнаго ропота, что вѣтеръ захватываетъ попадающіеся по дорогѣ случайные звуки и собираетъ ихъ въ одинъ общій стонъ...

Саваны и стоны...

Для жителя столицы, знакомаго лишь съ желѣзными путями, зимнее путешествіе на лошадахъ, въ томъ видѣ, въ какомъ оно совершается въ наши дни, должно показаться почти анахронизмомъ. Если даже въ его памяти свѣжо сохранились воспоминанія о старинной ѣздѣ на почтовыхъ, сдаточныхъ и такъ-называемыхъ долгихъ, то и тутъ онъ долженъ будетъ сознаться, что въ настоящее время этого рода способы передвиженія, сохранивъ за собой прежнія неудобства, значительно измѣнились къ худшему. Прежде въ одинаковымъ способомъ, то-есть на лошадахъ, передвигались отъ мѣста до мѣста, и сообразно съ этимъ устраивали извѣстныя приспособленія: обряжали экипажъ, запасались провизіей, брали погребецъ съ посудой, походную кровать и проч. Нынче вездѣ по вашему пути врѣзалась желѣзная дорога и нигдѣ до „вашего мѣста“ не доѣхала. Желѣзныя дороги сдѣлали прежнія приспособленія немыслимыми, а между тѣмъ большинству смертныхъ приходится сворачивать въ сторону и ѣхать болѣе или менѣе значительное разстояніе на лошадахъ. Прежде по проѣзжимъ дорогамъ вездѣ встрѣчались постоянные дворы, гдѣ можно было найти хоть теплую отдѣльную комнату и, съ помощью



привезенныхъ съ собою приспособленій устроить кой-какой невзыскательный комфортъ. Нынче о постоянныхъ дворахъ и въ поминѣ нигдѣ нѣтъ, а мѣсто ихъ заняли сырые, на скорую руку выстроенные, вонючіе, исполненные гама и толкотни трактиры.

Вы оставили блестящій, быстро мчащійся желѣзно-дорожный поѣздъ и сразу окунулись въ самую глубину мерзости запустѣнія. Вы очутились на одной изъ третьестепенныхъ станцій, которую станціонный жандармъ насквозь прокурилъ тютюномъ и пропиталъ запахомъ овчиннаго полушубка. Холодно, сыро, воняетъ. Наружныя двери непрерывно хлопаютъ и ни до одной нельзя безъ омерзѣнія притронуться рукой: до того онѣ пропитаны жиромъ и слизью. Въ общей пассажирской комнатѣ дуетъ сквозной вѣтеръ и царствуетъ какой-то сизый полумракъ. Сидѣть въ шубѣ — душно и неловко, снять ее — непременно схватишь простуду. Вы уходите въ такъ-называемую „дамскую“ — тамъ невыносимый жаръ, угарно, негдѣ повернуться. Вы спрашиваете чаю — вамъ отвѣчаютъ, что на станціи, гдѣ нѣтъ буфета, проклажаться пассажиру не полагается, и указываютъ на трактиръ, который отстоитъ въ тридцати-сорока саженьяхъ и къ которому надо шагать по сугробамъ. Скрѣпя сердце, вы рѣшаетесь ѣхать не медля, и вотъ васъ обступаетъ стая ямщиковъ, которые, „глядя по пассажиру“, устанавливаютъ на васъ цѣну и мечутъ объ васъ жребій. Наконецъ, условились. Черезъ полчаса къ подѣзду станціи подкатываетъ тройка заиндевѣвшихъ лошадей, запряженная въ возокъ, снабженный съ обѣихъ сторонъ отверстиями, черезъ которыя пассажиръ обязывается влѣзть и вылѣзть и которыя занавѣшиваются откидными рогожами. Вы надѣваете тулупъ, потомъ шубу, и, чуть дыша подъ тяжестью одеждъ, направляетесь къ двери. По дорогѣ, шпалерой выстраиваются какіе-то люди. Одинъ бѣгалъ въ трактиръ за ямщиками, другой пришелъ съ извѣстіемъ, что лошадей запрягаютъ, третій помогалъ снять шубу, четвертый помогалъ надѣть ее, пятый принесъ чемоданъ, шестой что-то подержалъ, покуда вы укутывались. Тутъ же пріютился и мальчикъ, который чиркнулъ спичкой, когда вы вынули папиросницу. Никто явно не проситъ, но всѣ, словно по командѣ, возглашаютъ: „дай Богъ счастливо!“ Вы чувствуете, что каждый изъ этихъ людей, по своему, содѣйствовалъ факту вашего отъѣзда, и слѣдовательно каждый же имѣетъ на васъ какое-то право. Начинается процессъ влѣзанія въ повозку, подсаживанія, подталкиванія... „Трогай!“

Дорога. Подуваетъ, продуваетъ, выдуваетъ, задуваетъ. Рогожныя занавѣси хлопаютъ; то взвиваются на крышку возка, то съ шумомъ опускаются внизъ и врываются въ повозку. Путь замечаетъ; повозка по временамъ стучитъ по обнаженному черепу дороги; по временамъ, врѣзывается въ сугробъ и начинаетъ буровить. Если вы одни въ повозкѣ то при каждомъ ухабѣ, при малѣйшей неровности, васъ перекатываетъ изъ стороны въ сторону; если вы сидите вдвоемъ, то непрерывно наваливаетесь на сосѣда, или онъ на васъ. Всѣ старанія, которыя вы употребляли на станціи, чтобы поплотнѣе закутаться—старанія, сопровождаемыя поощрительными возгласами: „вотъ такъ! вотъ теперь хорошо! теперь хоть тысячу верстъ поѣзжай — не продуетъ!“ оказываются напрасными. Черезъ четверть часа вы уже растерзаны; шуба сбилась подъ васъ, ноги и весь передъ тѣла оголились и защищены только

тулуномъ и валенками. Начинается дорожная тоска, выражаемая ежеминутнымъ спрашиваніемъ: далеко ли? Изъ глазъ, изъ носу, съ усомъ каплетъ. Наконецъ вы рѣшаетесь лечь на бокъ и притулиться къ одной сторонѣ — тррахъ! — черезъ минуту вы на другомъ боку!

Черезъ три, три съ половиной часа — станція. Васъ привозятъ въ деревенскій трактиръ, гдѣ ужъ угощается толпа проѣзжаго и мѣстнаго люда. Въ минуту вашего появленія людской гомонъ стихаетъ; „гости“ сосредоточенно уткнулись въ наполненные чаемъ блюдечки, осторожно щелкаютъ сахаръ, чмокаютъ губами и искоса поглядываютъ на ввалившуюся „дворянскую шубу“, какъ будто ждутъ, что вотъ-вотъ изъ-за приподнятаго воротника раздается старинное: „эй вы, сиволапые — брысь!“ Но такъ какъ нынче подобныхъ возгласовъ не полагается, то вы просто-на-просто освобождаетесь отъ шубы, садитесь на первое свободное мѣсто и скромно спрашиваете чаю. Сквозной вѣтеръ, сырость, грязь, вонь. Приносятъ подлый, захватанный стаканъ, миниатюрный чайникъ, котораго крышка привязана къ ручкѣ жирною бичевкой, мельхиоровую ложку, красную отъ долговременнаго употребленія. Въ виду вашей скромности гомонъ возобновляется. „Гости“ постепенно становятся развязнѣе и развязнѣе; наконецъ заводится разговоръ о томъ, что „въ трактиръ за свой пятакъ всякій воленъ“, что „это прежде, бывало, дворяне форсу задавали, а нынче царь-батюшка всѣмъ волю далъ“, что „если, значитъ, пришелъ ты въ трактиръ, то сиди смирно, рядомъ со всѣми, и не фордыбачь!“

— Прежде очень для дворянъ вальготно было! — говоритъ одинъ гость: — прѣдетъ, бывало, баринъ на постоялый, гаркнетъ: „мужикомъ чтобъ не пахло!“ — ну, и ступай на улицу! А нынче — шабашъ!

— Нынче слободно! — излагаетъ другой гость: — нынче батюшка-царь всѣмъ волю далъ! Нынче, коли ты хочешь сидѣть — сиди! И ты сиди, и мужикъ сиди — всѣмъ сидѣть дозволено! То-есть, чтобы никому... чтобы ни-ни... сиди, значитъ, и оглядывайся... Вотъ какъ царь-батюшка повелѣлъ!

— Нынче, братъ, форсы-то оставить надо! и радъ бы пофорсить — да руки коротки! Коли хочешь смирно сидѣть — сиди! И мужикъ сиди, и ты сиди — всѣмъ сидѣть позволено! — разъясняетъ третій гость.

Среди этой поучительной бесѣды проходитъ часъ. Привезшій васъ ямщикъ бѣгаетъ по дворамъ и *продаетъ* васъ. Онъ порядилъ съ вами, примѣрно, на сто верстъ (до мѣста) со сдачей въ двухъ мѣстахъ, за пятнадцать рублей; теперь онъ проѣхалъ тридцать верстъ и норовитъ сдать васъ рублей за шесть, за семь. Покуда онъ торгуется, вы обязываетесь нюхать трактирные запахи и выслушивать поученія „гостей“. Наконецъ ямщикъ появляется въ трактиръ самолично и объявляетъ, что слѣдующую станцію повезетъ онъ же, на тѣхъ же лошадяхъ.

Протестовать бесполезно; остается только разъ навсегда изъяснить согласіе на всякія случайности — и замереть. И вотъ, если вы выѣхали въ восемь часовъ утра и рассчитывали попасть въ „свое мѣсто“ часовъ въ десять вечера, то уже съ перваго шага начинаете убѣждаться, что всѣ ваши расчеты писаны на водѣ и что въ десять-то часовъ врядъ вамъ попасть и на вторую станцію.



Какъ хотите, а при подобной обстановкѣ самое крѣпкое и испытанное чувство собственности, семейственности, государственности и проч.—и то не устоитъ!

Раннимъ утромъ, часовъ около шести, я наконецъ добрался до мѣста. Деревня пробуждалась. Окна избъ ярко пылали пламенемъ топящихся печей; черезъ улицу шмыгали бабы съ коромыслами на плечахъ; около деревенскаго колодца, кругомъ окованнаго льдомъ, слышались говоръ и суета; кое-гдѣ у воротъ мужики, позѣвывая и почесываясь, принимались снаряжать дровнишки. Зябко; въ воздухѣ плавала бѣлесоватая, насквозь пронизывающая мгла; лошади, какъ угорѣлыя, мчались по укатанной деревенской улицѣ и замерли передъ крыльцомъ небольшого барскаго флигеля.

Я счастливъ уже тѣмъ, что нахожусь въ теплой комнатѣ и сознаю себя дома, нескутаннымъ, свободнымъ отъ грязи и вони, вдали отъ поученій. Старикъ Лукьянычъ, о которомъ я уже не разъ упоминалъ на страницахъ „Благонамѣренныхъ рѣчей“ и который до сихъ поръ помогаетъ мнѣ нести иго собственности, встрѣчаетъ меня съ обычнымъ радушіемъ, хотя, я долженъ сознаться, въ этомъ радушіи по временамъ прорывается легкій, очень явный оттѣнокъ ироніи.

Я люблю Лукьяныча искренно и положительно убѣжденъ, что и онъ, съ своей стороны, готовъ въ мою пользу кому угодно горло перервать. Но въ то же время я знаю, что никто съ такою любовью не выскиываетъ средства отравить мою жизнь, какъ онъ. Независимо отъ обще-ироническаго характера его отношеній ко мнѣ, онъ всегда имѣетъ на-готовѣ или отвратительное извѣстіе, или какой-нибудь такой безнадежный выводъ, вслѣдствіе котораго я непременно долженъ почувствовать себя въ положеніи рыбы, бьющейся объ ледъ. Да, существуютъ еще люди этого закала, хотя несомнѣнно, что типъ крѣпостнаго Ментора уже вымираетъ. По мнѣнію моему, эти люди страдаютъ особенною болѣзнью, которую я назвалъ бы „бесиліемъ преданности“, и, кромѣ того, они никакъ не могутъ позабыть изреченіе: „любый накажетъ“. Лукьянычъ радъ бы вселенную разорить на мою пользу, но такъ какъ руки у него коротки, да и я, по той же причинѣ, не могу оказать ему въ этомъ смыслѣ ни малѣйшаго содѣйствія, то онъ и вымещаетъ на мнѣ наше обоюдное бесиліе. Можетъ быть, онъ на что-нибудь надѣется. Я знаю, ему хотѣлось бы, чтобъ я воспрянулъ духомъ, чтобъ я облекся въ звѣринный образъ и началъ бы косить направо и налево, „какъ папенка“. И вотъ онъ думаетъ, что его ироническое шипянье подѣйствуетъ на меня, что я дѣйствительно воспряну и начну „косить“...

Именно это самое ироническое отношеніе повторилось и теперь. Едва успѣлъ я глотнуть чаю, какъ Лукьянычъ уже поспѣшилъ метнуть въ меня камнемъ, который онъ, очевидно, съ любовью холилъ у себя за пазухой.

— Мужички опять несогласны! — вымолвилъ онъ злорадно-спокойнымъ голосомъ, стоя у косяка двери и сложивъ на груди руки кренделемъ.

Это извѣстіе заставило меня вздрогнуть. Я всѣ претерпѣнія принялъ, я оставилъ семейство и занятія именно въ твердой увѣренности, что „мужички согласны“ и что иго земельной собственности наконецъ перестанетъ тяготѣть надо мной.

— Какъ такъ?—спросилъ я испуганнымъ голосомъ.

— Несогласны, и шабашъ!

— Да не самъ ли же ты писалъ, что они „на все согласны“?

— И были третьего дня согласны, а вчера одумали и несогласны сдѣлались. Можетъ, сегодня не будетъ ли чего.

— Господи! да который же разъ я сюда ѣзжу!

— И сто разъ будете ѣздить—все то же будетъ!

— Заколдованное ваше мѣсто, что-ли?

— Не заколдовано, а жить въ немъ надо. Минуту, значить, ловить.

Я какъ-то вдругъ упалъ духомъ. Не далѣе, какъ четверть часа тому назадъ, я фхаль по деревенской улицѣ, видѣлъ пламя топящихся печей, видѣлъ мужиковъ, обряжающихъ дровни (нѣкоторые даже шапки сняли, завидѣвъ меня), бабъ, спѣшавшихъ къ колодцу, и былъ увѣренъ, что все это означаетъ: „согласны“. И вдругъ оказывается, что это-то именно и означаетъ: „несогласны“, что всѣ эти дѣйствія и признаки говорятъ о закоренѣлости и упорствѣ. Вотъ они совершаютъ свой обычный дневной обрядъ, поднимаются отъ сна съ полатей, съ лавокъ и съ пола, ѣдутъ въ поле за сѣномъ и въ лѣсъ за дровами, посылаютъ бабъ за водою, задаютъ кормъ лошадямъ и коровамъ, совершая все это рутинно, почти апатично, безъ всякихъ признаковъ закоренѣлости — и за всѣмъ тѣмъ они упорствуютъ, они несогласны. Кто измѣритъ глубину пучины, называемой мужицкимъ сердцемъ! кто сѣмъ-бѣтъ урегулировать воздушныя колебанія, которыя производятъ зыбъ на поверхности этой пучины!

— Вы бы, сударь, ослобонили меня!—пустилъ вдругъ шипъ по-змѣиному Лукьянычъ, покуда я въ безсиліи мысленно восклицалъ: — да гдѣ же конецъ этимъ оттяжкамъ!

Я ужъ не впервые слышу эту угрозу изъ устъ Лукьяныча. Всякій разъ, какъ я пріѣзжаю въ Чемезово, онъ считаетъ своимъ долгомъ пронзить меня ею. Мало того: я отлично знаю, что онъ никогда не рѣшится привести эту угрозу въ дѣйствіе, что съ его стороны это только попытка уязвить меня, заставить воспрянуть духомъ, и ничего больше. И за всѣмъ тѣмъ, всякій разъ, какъ я слышу эту просьбу „ослобонить“, я невольно вздрагиваю при мысли о той безпомощности, въ которой я найдусь, если вдругъ, паче чаянія, стрясется надо мной такая бѣда.

— Опомнись, Лукьянычъ! чтѣ ты говоришь!—обратился я къ нему.

— Да вѣдь умру—надо же тогда будетъ другого искать!

— А ты прежде кончи!

Онъ уставился глазами въ землю и пощипывалъ одной рукой бородеу.

— Кончать надо... это такъ. И самъ я вижу. Только кончимъ ли? Кабы вы настоящій „господинъ“ были — это точно... Вотъ какъ березниковская барыня, напимѣрь...

— Какая еще березниковская барыня?

— Порфирьева Марья Петровна. Сестрица вамъ будетъ... чтой-то ужъ забыли! А онъ вѣчоръ гонца въ Чемезово присылали, просили вѣсточку имъ дать, какъ пріѣдете.



— Машенька Величкина! кузина! Боже! да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ она здѣсь!

Цѣлый рой воспоминаній пронесся передо мной при этомъ имени. Я зналъ Машеньку еще шестнадцатилѣтнею дѣвушкой, да и самому мнѣ было въ то время не болѣе двадцати-шести, двадцати-семи лѣтъ. Въ то время я съ особеннымъ удовольствіемъ ѣзжалъ въ Березники (владѣлецъ ихъ приходился мнѣ двоюроднымъ дядей), верстахъ въ двѣнадцать отъ Чемезова, въ Березники, гдѣ была прекрасная барская усадьба, въ которой царствовало безграничное гостепріимство. Но, кажется, меня всего больше влекла туда Машенька. Ее нельзя было назвать красивою, но она была удивительно милостивая дѣвушка-ребенокъ. Именно ребенокъ. Маленькая, худенькая, почти прозрачная, точно бисквитная куколка. „Совѣмъ-совѣмъ куколка“, говорили тогда объ ней. Въ глазахъ у нея постоянно свѣтилось какое-то горе, которое всего точнѣе можно назвать горемъ ни объ чемъ; тонкія бровки были всегда сдвинуты; востренькій подбородокъ, при малѣйшемъ недоумѣніи, нервно вздрагивалъ; розовыя губы, въ минуты умиленія, складывались сердечкомъ. „Миленькая! миленькая!“ какъ-то естественно думалось при взглядѣ на нее.

Повторяю: я съ особеннымъ удовольствіемъ посѣщалъ Березники и еще съ болѣе большимъ удовольствіемъ бродилъ съ Машей по аллеямъ парка. Я помню, я говорилъ ей, что истина вѣчна, красота вѣчна, духъ вѣченъ, добро вѣчно. Что все остальное пройдетъ, какъ дурной сонъ, а эти четыре фактора чело-вѣческаго существованія навсегда пребудутъ неизблемыми и неприкосновенными. Что люди—братья, что они должны любить другъ друга, что счастье есть удѣлъ всѣхъ. И что, за всѣмъ тѣмъ, нельзя обойтись безъ страданія, потому что страданіе очищаетъ человѣка. Я помню, какъ она съ недоумѣніемъ вслушивалась въ мои слова, какъ глаза ея начинали свѣтиться сугубымъ горемъ „ни объ чемъ“ и какъ она вдругъ, въ самомъ патетическомъ мѣстѣ, пугливо прерывала меня.

— Голубчикъ! — говорила она мнѣ. — Я знаю, ты будешь смѣяться надо мной, но чтѣ же мнѣ дѣлать: мысль о вѣчности пугаетъ меня!

— Какое ребячество! — разувѣрялъ я ее: — чего жъ тутъ пугаться! Чтѣ такое вѣчность? Вѣчность — это красота, это истина, это добро, это жизнь духа — все, взятое вмѣстѣ и распространенное въ безконечность... Мысль объ вѣчности должна не утѣшать, а утѣшать насъ.

— Дѣ, это такъ... но вѣчность! вѣчности!

— Но почему же ты вдругъ заговорила о вѣчности? — допытывался я.

— Ахъ, я не знаю... но иногда... Иногда, послѣ разговоровъ съ тобой, мнѣ вдругъ приходитъ на мысль: чтѣ же такое мы? чтѣ такое вся наша жизнь?

И она такъ мило вздрагивала при этомъ, что я употреблялъ всѣ усилія, чтобъ утѣшить это прозрачное, маленькое существо.

Вообще она была большая трусиха. Блѣднѣла при видѣ пробѣгающей мыши, блѣднѣла, заслышавъ внезапный шумъ, но въ особенности сильно трусила совѣтника т — ской казенной палаты, Саввы Силыча Порфирьева.

Савва Силычъ былъ рослый, тучный и рыхлый губернской сановникъ, съ сѣроватымъ лицомъ, напоминавшимъ поздраватый известковый камень.

Онъ съ пятнадцатилѣтняго возраста облюбовалъ Машеньку, точно предвидѣлъ, что изъ этого хрупкаго матеріала можно выработать благонадежную мать семейства. Нѣсколько разъ онъ дѣлалъ ей предложеніе, но Машенька все отказывала. Однако она дѣлала эти отказы въ такой формѣ, что Порфирьевъ не только не отчаялся въ успѣхѣ, но продолжалъ по-прежнему дружески посѣщать домъ Величинныхъ. Она просто говорила: „боюсь“.

— А боитесь, барышня, такъ современемъ привыкнете! — любезно возражалъ Савва Силычъ, перебирая ногами на манеръ влюбленного цѣтуха: — спѣшить намъ нечего, я подожду-съ!

И, обращаясь къ Петру Матвѣичу Величину, тутъ же, при ней же, прибавлялъ:

— Ничего-съ! это въ нихъ дѣвичье-съ! Спѣшить нечего-съ! Онѣ — въ цвѣту-съ, я — въ порѣ-съ... подождемъ-съ!

И дождался-таки; я въ то время готовъ былъ сто противъ одного держать пари, что онъ никогда ничего не дожидется и что никогда къ грубому ноздреватому известковому камню не прикоснется нѣжный, хрупкій бисквитъ.

Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ. Я совершенно потерялъ Машу изъ вида и только мелькомъ слышалъ, что надежды Порфирьева осуществились и что „молодые“ поселились въ губернскомъ городѣ Т. Я даже совершенно забылъ о существованіи Березниковъ и никогда не задавался вопросомъ, страдаетъ ли Маша боязнью вѣчности, какъ въ былыя времена. Теперь я узналъ отъ Лукьяныча, что она два года тому назадъ овдовѣла и вновь переселилась въ родные Березники; что у нея четверо дѣтей, изъ которыхъ старшей дочкѣ — десять лѣтъ; что Березники хотя и не сохранили вполнѣ прежняго роскошнаго барскаго вида, но во всякомъ случаѣ представляютъ цѣнность очень солидную; что наконецъ сама Марья Петровна...

На другой день, часу во второмъ, я подъѣзжалъ къ Березникамъ. Въ противоположность чemezовскому и другимъ „дворянскимъ гнѣздамъ“, старинная березниковская усадьба и въ настоящее время смотрѣла бодро, почти уютно. Впрочемъ изъ всѣхъ свидѣтелей прежней барской жизни на широкую руку оставались только громадный домъ, оранжереи и паркъ. Но они не были въ забросѣ, какъ въ бѣльшей части сосѣднихъ имѣній, а, напротивъ того, съ перваго же взгляда можно было безошибочно сказать, что здѣсь живетъ тепло и удобно. Все лишнее, оказавшееся послѣ упраздненія крѣпостного права обременительнымъ, было сломано и снесено. Я помню, такъ-называемый красный дворъ былъ загроможденъ флигелями, людскими, амбарами, погребами; теперь на этомъ самомъ мѣстѣ былъ распланированъ довольно обширный садъ, который по срединѣ прорѣзывала дорога, ведущая къ барскому дому. Всѣ службы были сгруппированы въ одномъ мѣстѣ, черезъ дорогу, и бросались въ глаза новыми бревенчатыми стѣнами. Вѣроятно еще покойный Савва Силычъ началъ и привелъ къ окончанію всѣ эти преобразованія, однако и по смерти его заботливая рука поддерживала ихъ.

Машенька выбѣжала ко мнѣ въ переднюю со словами:

— Ахъ, родной мой... какъ давно! какъ давно!



— Машенька! ты ли?... да, это ты! — въ свою очередь восклицалъ я.

Я сжималъ ее руками за локти, словно желая приподнять, и съ любовью разглядывалъ ее. Она почти совсѣмъ не измѣнилась. Передо мной стояла все та же шестнадцатилѣтняя Машенька, которая когда-то такъ „боялась вѣчности“. Маленькая, худенькая, прозрачная, „совсѣмъ-совсѣмъ куклолка“, несмотря на то, что ей было уже за тридцать-пять лѣтъ. Въ глазахъ по-прежнему свѣтилось горе „ни объ чемъ“; по-прежнему вздрагивалъ востренькій подбородокъ; губы, отъ внутренняго умиленія, сложились сердечкомъ; бровки были сдвинуты. Въ ея черныхъ, какъ вороново крыло, волосахъ не было замѣтно ни одной сѣдинки. Ни единой морщины на лбу и около глазъ. Словомъ сказать, для нея какъ будто не было времени, тѣхъ двадцати лѣтъ, которыя такъ придавили и доканали меня. Больной всѣми старческими недугами, молча любовался я ею, внутренне переживая далекое прошлое, и съ какимъ-то удивленіемъ встрѣчаясь лицомъ къ лицу съ своею молодостью, тою безплодною молодостью, которая не дала ни привычки къ труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, а только научила „насъ возвышающимъ обманамъ“.

— Да, другъ мой, давно я тебя не видала, — продолжала она, вводя меня въ гостиную и усаживая на диванъ подлѣ себя: — многое съ тѣхъ поръ измѣнилось, а наконецъ Богу угодно было испытать меня и послѣднимъ ударомъ: недѣлю тому назадъ минуло два года, какъ отлетѣлъ нашъ ангелъ!

Высказавши это, она на минуту отвернула отъ меня лицо; вѣроятно на ея глаза навернулись двѣ крошечныя слезки, которыя она хотѣла незамѣтно для меня смигнуть.

— Да, слышалъ... Савва Силычъ... Впрочемъ я зналъ его такъ мало...

— Ты можешь даже сказать, что совсѣмъ не зналъ его. Ахъ, мой другъ, какъ мы были въ то время легкомысленны! Помнишь, какъ я боялась его! И скажу тебѣ откровенно, что даже послѣ выхода замужъ я года три еще боялась его; все казалось: ахъ, какой онъ большой! Глушенькая вѣдь я была. И представь себѣ: никогда онъ даже вида не подаль, что это для него обидно. Бывало, обниметъ меня рукой, а я вся дрожу. Другой бы забранилъ, а онъ, напротивъ, еще приголубитъ: „ничего, говорить, привыкнешь! намъ спѣшить некуда!“ И точно: потихоньку да помаленьку я и сама наконецъ стала удивляться, что можно было находить въ немъ страшнаго!

— Привыкла?

— Нѣтъ, не то, что привыкла, а такъ какъ-то. Я не принуждала себя, а просто само собой сдѣлалось. Терпѣливъ онъ былъ. Вотъ и хозяйствомъ я занялась — сама не знаю какъ. Когда я у папеньки жила, ничто меня не интересовало — помнишь? Любила я, правда, помечтать, а спроси, объ чемъ — и сама сказать не сумѣю. А тутъ вдругъ...

Я не могъ удержаться, чтобъ вновь не взять ее за руки. Да, это она! глазки, полные грустнаго недоумѣнія; бровки сдвинуты; губки вотъ-вотъ сейчасъ сложатся сердечкомъ... миленькая! миленькая! И я невольно подумалъ: возьми теперь эту тридцати-семилѣтнюю *дѣвочку* за руку и веди ее куда тебѣ хочется. *Вдругъ* — она очутится въ лѣсу, *вдругъ* — среди долины ровныя, *вдругъ* — сдѣлается хозяйкой-матерью, *вдругъ* — проникнется страстью

къ баламъ и пикникамъ. И повсюду одинаково грустно-недоумѣло будутъ смотрѣть ея глазки; повсюду останутся сдвинутыми ея хорошенькія бровки; а губки, въ данную минуту, сложатся сердечкомъ. И чтѣ всего важнѣе—нигдѣ она не пропадетъ, ничѣмъ ее не собьешь, кромѣ развѣ что найдетъ и еще кто-нибудь, и тоже возьметъ ее за ручку, и тоже поведетъ, куда ему хочется.

— А какой христіанинъ онъ былъ!—лепетала она:—и какой христіанской кончины удостоилъ его Богъ!

— Боленъ онъ былъ?

— Нѣтъ, вдругъ это какъ-то случилось. Къ обѣду пришелъ онъ изъ казенной палаты, скушалъ тарелку супу и говоритъ: „я, Машенька, прилягу“. А черезъ часъ велѣлъ послать за духовникомъ, и, покуда ходили, всѣ распоряженія сдѣлалъ. Представъ себѣ, я ничего не знала, а вѣдь у него очень хорошій капиталъ былъ!

— Стало быть, онъ скрывалъ его отъ тебя?

— Нѣтъ, не то что скрывалъ, а я сама тогда не понимала. Прямо-то онъ не открывался мнѣ, потому что я еще неготова была. Это онъ и передъ смертью мнѣ высказалъ.

— Стало быть, ты теперь обезпечена?

— Да, родной мой, благодаря святымъ его трудамъ. И вотъ какъ удивительно все на свѣтѣ дѣлается! Какъ я его, глушенькая, боялась—другой бы обидѣлся, а онъ даже не помнилъ! Весь капиталъ прямо изъ рукъ въ руки мнѣ передалъ! Только и сказалъ: „Машенька! теперь я вижу по всѣмъ поступкамъ твоимъ, что ты въ состояніи изъ моего капитала сдѣлать полезное употребленіе!“

Машенька слегка заалѣлась и закрыла глазки платкомъ.

— И ты совсѣмъ переселилась въ Березники?

— Да, совсѣмъ; надо же было его волю исполнить.

— Развѣ онъ требовалъ этого?

— Да. Онъ прямо сказалъ, что въ Березникахъ жить дешевле. Ну, и насчетъ помѣщенія капитала здѣсь удобно. Земля нынче дешева, лѣса тоже. Если умненько за это дѣло взяться, большія деньги можно нажить.

Я вновь взглянулъ на нее, но на этотъ разъ не столько съ любовью, сколько съ любопытствомъ. Такая маленькая, худенькая, совсѣмъ-совсѣмъ куколка—и вдругъ говорить: „большія деньги“, „нажива“...

— Да отчего же Савва Силычъ при жизни не скупалъ земель? вѣдь онъ могъ бы заняться этимъ, конечно, съ большимъ знаніемъ, нежели ты?

— Ахъ, голубчикъ, въ томъ-то и дѣло, что не могъ! Вѣдь онъ изъ духовнаго званія происходилъ (и никогда онъ этого не стыдился, мой другъ!), слѣдственно, когда на службу поступалъ—разумѣется, у него ничего не было! И вдругъ бы у него оказался капиталъ—откуда? какъ? чтѣ подумали бы! Ахъ, мой другъ, не мало онъ страдалъ отъ этого!

— Напрасно, мнѣ кажется, онъ затруднялся этими соображеніями.

— Не говори, мой родной! люди такъ завистливы, ахъ, какъ завистливы! Ну, онъ это зналъ, и потому хранилъ свой капиталъ въ тайнѣ, только пятью процентами въ годъ пользовался. Да и то въ Москву каждый разъ



бздилъ проценты получать. Бывало, какъ 1-е марта или 1-е сентября, такъ и ѣдетъ въ Москву съ позднимъ поѣздомъ. Ну, а процентныя бумаги — ты самъ знаешь, велика ли польза отъ нихъ?

— Покойно за то.

— Да, но имѣемъ ли мы право искать спокойствія, другъ мой? Я вотъ тоже, когда глупенькая была, объ томъ только и думала, какъ бы безъ заботы прожить. А выходить, что я заблуждалась. Выходить, что мы, какъ христіане, должны непрерывно печься о присныхъ нашихъ!

— Помилуй, душа моя! вѣдь христіанство-то прямо указываетъ на птицъ небесныхъ!

— Это въ древности было, голубчикъ! Тогда дѣйствительно было такъ, потому что въ то время все было дешево. Вотъ и покойный Савва Силычъ говаривалъ: „древніе христіане могли не жать и не сѣять, а мы не можемъ“. И батюшку, отца своего духовнаго, я не разъ спрашивала, не грѣхъ ли я дѣлаю, что присовокупаю, — и онъ тоже сказалъ, что по нынѣшнему дорогому времени нѣкоторые грѣхи въ обратномъ смыслѣ понимать надо!

— Если такъ, то понятное дѣло, что покойный Савва Силычъ долженъ былъ тяготиться, получая на свой капиталъ только пять процентовъ.

— И какъ еще тяготился-то! Очень-очень скучалъ!—Представь только себѣ: въ то время вольную продажу вина вдругъ открыли — всѣмъ вѣдь залоговъ понадобились! Давали подъ бумаги восемь и десять процентовъ, а по купонамъ получка — само по себѣ. Ты сочти: еслибъ руки-то у него были развязаны — вѣдь это пятнадцать, а ужъ бѣдно-бѣдно тринадцать процентовъ на рубль онъ получалъ бы!

Высказавъ это, Машенька умилилась и сложила губки сердечкомъ.

— А впрочемъ онъ не ропталъ,—продолжала она: — онъ слишкомъ христіанинъ былъ, чтобы роптать! Однажды онъ только позволилъ себѣ пожаловаться на Провидѣніе—это когда откупа уничтожили, но и тутъ помолился Богу, и все какъ рукой сняло.

— Чтò же мѣшало ему въ отставку выйти, чтобъ распорядиться съ капиталомъ съ болѣею выгодною?

— Ахъ, какъ это можно! Въ послѣднее время стали управляющихъ палатами изъ совѣтниковъ дѣлать — ну, онъ и надѣялся. А какъ онъ прозорливъ былъ—такъ это удивительно! Всякое его слово, все, все такъ именно и сбылось, какъ онъ предсказывалъ!

— Напримѣръ?

— Да вотъ хоть бы насчетъ земли. Сколько онъ разъ, бывало, говаривалъ: „Машенька! паче чаянныя, я умру—ты непременно земли покупай! Теперь, говоритъ, у помѣщиковъ выкупныя свидѣтельства пока водятся, такъ земли еще въ цѣнѣ, а скоро будетъ, что всѣ выкупныя свидѣтельства продадутъ—тогда земли ни по чемъ покупать будетъ можно! И все такъ именно, по его, и сбылось. Всѣ нынче стали земли распродавать, и ужъ такъ дешево, такъ дешево, что просто задаромъ. Вотъ я и покупаю, коли гдѣ сходно. Лѣсъ покупаю, земли. Лѣсъ свожу, а землю мужичкамъ въ кортому отдаю. Вѣдь имъ земля-то нужна, мой другъ! ахъ, какъ она имъ нужна!

— И выгодно это?

— Такъ выгодно! такъ выгодно! Разумѣется, и тутъ тоже надо съ оглядкой поступать: какая земля? Коли земля близко къ крестьянской околицѣ лежитъ — ту непременно покупать слѣдуетъ, потому что она мужикамъ нужна. Мужички за нее что хочешь дадутъ: бояться штрафовъ. Ну, а коли земля дальняя—за ту надо дешево давать, да и то, если на ней молодой березникъ или осинничекъ растетъ. Съ еловымъ молодятникомъ я совѣмъ земли не покупаю, потому что туго очень эта ель растетъ, а вотъ березка да осинничекъ—самый это выгодный лѣсъ! И представь себѣ, какъ это хорошо; вѣдь съ перваго-то взгляда кажется, что земля эта такъ, ничего нестоящая — ну, рублей по пяти за десятину и даешь. Смотришь, анъ на ней, лѣтъ черезъ двадцать, ужъ дрова порядочные будутъ—за ту же десятину, на худой конецъ, тридцать рублей дадутъ! Сообрази-ка теперь: вѣдь это въ шесть разъ капиталъ на капиталъ — въ двадцать-то лѣтъ!

Опять умиленіе и опять губы сердечкомъ. Это было до такой степени мило, что я не удержался, чтобъ не спросить:

— Ну, а какъ насчетъ вѣчности, Машенька? не боишься... помнишь, какъ прежде?

— Нѣтъ, мой другъ, я нынче совѣмъ-совѣмъ христіанкой сдѣлалась! Чего бояться вѣчности! надо только съ вѣрою приступать—и все легко будетъ! И покойный Савва Силычъ говаривалъ: бояться вѣчности—только одно баловство!

— Кто же у тебя всѣми этими дѣлами орудуетъ?

— И сама, и добрые люди совѣтомъ не оставляютъ. Вотъ Анисимушка — онъ еще при покойномъ папенькѣ бурмистромъ былъ; ну, и Филооей Павлычъ тоже.

— Какой такой Филооей Павлычъ?

— Промптовъ. Покойнаго Саввы Силыча другъ. Онъ здѣсь въ земской управѣ предсѣдателемъ служитъ. Хотѣлъ вотъ и сегодня, по пути въ городъ, заѣхать; познакомишься.

Она проговорила эти слова какъ-то неровно; мнѣ показалось, что даже немного сконфузилась при этомъ.

— Ужъ не женихъ ли? — пошутилъ я: — вѣдь въ твои годы...

— Ахъ, нѣтъ! ахъ, нѣтъ! что ты! что ты! Да что жъ это дѣти, однакожъ! — продолжала она, перемѣняя разговоръ: — вѣдь мы тебя не ожидали сегодня, по домашнему были — ну, и разбрелись по угламъ!

— А много у тебя дѣтей?

— Четверо, мой другъ. Старшенькая-то у меня дочь, Нонночка, а прочіе — мальчики. Θεогность — старшій, Коронатъ — средній, а Смарагдушка — меньшой. Савва Силычъ любилъ звучныя имена.

— И ты любишь дѣтей?

— Ахъ, мой другъ!

Она съ укоромъ посмотрѣла на меня, какъ будто я и невѣсть какую ересь высказалъ.

— Только скажу тебѣ откровенно, — продолжала она: — не во всѣхъ дѣтяхъ я одинаковое чувство къ себѣ вижу. Нонночка — та, можно сказать,



обожаешь меня; Θεογность тоже очень нѣженъ, Смарагдушка—ну, этотъ еще дитя, а вотъ за Короната я боюсь. Думается, что онъ будетъ непочтителенъ. То-есть, не то чтобы я что-нибудь замѣтила, а такъ, по всему видно, что холоденъ къ матери!

— Извини меня, Машенька, но, право, мнѣ кажется, что ты вздоръ говоришь! Ну, какіе же ты могла замѣтить признаки непочтительности въ семилѣтнемъ мальчикѣ?

— Ахъ, не говори этого, другъ мой! Материнское сердце далеко угадываетъ! Сейчасъ оно видитъ, что и какъ. Θεογностушка подойдетъ—обниметъ, поцѣлуетъ, однимъ словомъ, все, какъ слѣдуетъ любящему дитяти, исполнить. Ну, а Коронатъ—нѣтъ. И тоже сдѣлаетъ, да не такъ выйдетъ. Холоденъ онъ, ахъ, какъ холоденъ!

— Это бываетъ. Родители заберутъ себѣ случайно въ голову, что ребенокъ неласковъ, да и твердятъ ему объ этомъ. Ну, разумѣется, онъ тоже смекаетъ. Сначала только робѣетъ, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ становится холоденъ.

— Ахъ, нѣтъ, не я одна, и Савва Силычъ за нимъ это замѣчалъ! И при этомъ упрямы, ахъ, какъ онъ упрямы! Ни за что никогда родителямъ удовольствія сдѣлать не хочетъ! Представь себѣ, онъ однажды даже давиться вздумалъ!

— Что ты!

— Право! сдавилъ себѣ обѣими руками шею... весь посинѣлъ!

Въ эту минуту дѣти гурьбой вбѣжали въ гостиную. И всѣ, точно не видали сегодня матери, устремились къ ней здороваться. Первая, въ прыжку, подбѣжала Нонночка и долго цѣловала Машу и въ губки, и въ глазки, и въ подбородочекъ, и въ обѣ ручки. Потомъ, тоже стремительно, упали въ объятія мамы Θεογностушка и Смарагдушка. Коронатъ, дѣйствительно, шелъ какъ-то мѣшкотно и разинулъ ротъ, повидимому заглядѣвшись на чужого человѣка.

— Ну, вотъ и молодцы мои!—рекомендовала мнѣ Машенька дѣтей:—не правда ли, хорошія дѣти?

Нонночка сдѣлала книксенъ; прочіе шаркнули ножкой.

— Прелестныя!—поспѣшилъ согласиться я, цѣлуя всѣхъ по очереди.

— Хорошія, послушныя, заботливыя дѣти, и любятъ свою мамашу. Не правда ли... Коронатъ?

Коронатъ, надувшись, смотрѣлъ внизъ и молчалъ.

— Что жъ ты молчишь! Любишь маму?.. Анна Ивановна! вѣрно онъ опять сегодня шалилъ?

Вопросъ этотъ относился къ молодой особѣ, которая вошла вслѣдъ за дѣтьми и тоже подошла къ Машенькиной ручкѣ. Особа была крайне невзрачная, съ широкимъ, плоскимъ лицомъ и притомъ кривая на одинъ глазъ.

— По обыкновенію-съ,—отвѣчала Анна Ивановна голосомъ, въ которомъ звучала иронія; при этомъ единственный ея глазъ блеснулъ даже ненавистью, которой, конечно, она не ощущала на дѣлѣ, но которую, въ качествѣ опытной гувернантки, считала долгомъ показывать:—очень достаточно-таки помалилъ monsieur Coronat.

— Ну, что же дѣлать! оставайся, мой другъ, безъ пирожного! — тотчасъ же рѣшила Машенька: — ахъ, пожалуйста не кусись! Помнишь, что говорила я тебѣ объ дурныхъ поступкахъ? помнишь?

Коронатъ молчалъ.

— *Mais répondez donc!* — язвила Анна Ивановна.

— Отвѣчай же? помнишь? — приставала Машенька.

Но Коронатъ только пыхтѣлъ въ отвѣтъ.

— Ну, вотъ видишь, какой ты безразравственный мальчикъ! ты даже этого утѣшенія мамашѣ своей доставить не хочешь! Ну, скажи: вѣдь, помнишь?

— Помню, — процѣдилъ сквозь зубы Коронатъ.

— Ну, повтори! повтори же, что я говорила! Вотъ при дяденькѣ повтори!

— „Дурные поступки сами въ себѣ заключаютъ свое осужденіе“, — произнесъ красивый какъ ракъ Коронатъ, словно клещами вытянули изъ него эту фразу.

— Ну, видишь ли, другъ мой! Вотъ ты себя дурно велъ сегодня — слѣдовательно самъ же себя и осудилъ. Не я тебя оставила безъ пирожного, а ты самъ себя оставилъ. Вотъ и дяденька тоже скажетъ! Не правда ли, *cher cousin*?

— Ну, что касается до меня, то я полагаю, что если Коронатъ осудилъ себя самъ, то онъ же не только можетъ простить самого себя, но даже и даровать себѣ право на двойную порцію пирожного! — выразился я, стараясь впрочемъ, придать моему отвѣту шуточный оттѣнокъ, дабы не потрясти родительскаго авторитета.

— Видишь, какой дяденька добрый! Ну, такъ и быть, для дяденьки ты получишь сегодня пирожное. Но ты долженъ дать ему обѣщаніе, что впередъ будешь воздерживаться отъ дурныхъ поступковъ. Обѣщаешься?

На Короната опять находить „норовъ“, и онъ долгое время никакъ не соглашается „общаться“. Новое приставаньё: „*mais répondez donc, monsieur Coronat!*“ — со стороны Анны Ивановны, и „да скажи же, что обѣщаешься!“ — со стороны Машеньки.

— Да, Господи, общаюсь — выпаливаетъ наконецъ Коронатъ, который повидимому готовъ лопнуть отъ натуги.

— Ну, теперь шаркни ножкой и поблагодари дяденьку!

Но я стремительно вскакиваю съ дивана и, чтобъ положить конецъ дальнѣйшимъ сценамъ, обнимаю Короната.

— Можете идти куда въ залу и побѣгать; а вы, *chère* Анна Ивановна, потрудитесь сказать, чтобъ подавали кушать. Ахъ, предупредной, презабавный у него характеръ! — обратилась она ко мнѣ, указывая на удаляющагося Коронатушку и печально покачивая головкой: — очень, очень я за него опасаюсь!

— А я такъ нимало не опасаюсь. Вотъ скажи-ка мнѣ лучше, гдѣ ты такое сокровище достала?

— Это ты про Анну Ивановну? Дешевенькая, голубчикъ. Всего двѣсти рублей въ годъ, а между тѣмъ съ музыкой. Ну, конечно, иногда на платьѣ



подаришь: дурна-дурна, а нарядиться любить. Впрочемъ прекраснѣйшаго поведенія. Покорна, ласкова... никогда дурного слова!

— Ну, а я все-таки не взялъ бы ее въ гувернантки!

— Нѣтъ, мой другъ; Савва Силычъ — онъ ее изъ воспитательнаго привезъ — очень правильно на этотъ счетъ разсуждалъ. Хорошенькая-то, говаривалъ онъ, сейчасъ рядиться начнетъ, а потомъ пожалуй и глазами играть будетъ. Смотришь на нее — анъ врагъ-то и попуталъ!

— Вотъ какъ! стало быть, онъ не очень-то на себя надѣялся!

— Нѣтъ, не то чтобы, а такъ... Вообще онъ не любилъ себя искушать. Въ семейномъ быту надо вѣрную обстановку устраивать, покойную! Вотъ какъ онъ говорилъ.

Наконецъ пришли доложить, что подано кушать. Признаюсь, проголодавшись послѣ трехдневнаго поста, я былъ очень радъ настоящимъ образомъ пообѣдать. За столомъ было довольно шумно, и дѣти повидимому не особенно стѣснялись, кромѣ впрочемъ Короната, который сидѣлъ, надувшись, рядомъ съ Анной Ивановной и во все время ни слова не вымолвилъ.

— Вотъ видишь, какой онъ злопамятный! — шепнула мнѣ по этому поводу Машенька.

— И ты не скучаешь? — спросилъ я Машу, когда мы, послѣ обѣда, заняли прежнія мѣста въ гостиной.

— Нѣтъ, мнѣ скучать нельзя: у меня дѣти, мой другъ. Да и некогда. Еслибъ занятій не было, тогда другое дѣло... Вотъ я помню, когда я въ дѣвushкахъ была, то всегда скучала!

— Будто бы?

— Да, потому что на умѣ все глупости были. Ахъ, ты не можешь вообразить, какая я тогда была глупая и чтò я себѣ представляла!

— Напримѣръ?

— Ну, вотъ хоть бы... нѣтъ, ни за что не скажу! Помнишь, тогда сочиненіе это вышло.... „*Les misérables*“, что-ли... да нѣтъ, не скажу! Мнѣ самой стыдно, какъ вспомнишь иногда...

Она слегка потупилась и вздохнула.

— Стало быть, это Савва Силычъ выучилъ тебя не скучать?

— Да, все онъ; всему онъ меня научилъ. Онъ желалъ, чтобъ я всегда была занята. Вообще онъ былъ добръ, даже очень добръ до меня, но насчетъ этого строгъ. „Праздность не только порокъ, но и бѣдствіе: она суетныя мечтанія порождаетъ, а эти послѣднія ввергаютъ человѣка въ духовную и матеріальную нищету“ — вотъ какъ онъ говорилъ.

— Чѣмъ же ты при жизни его занималась?

— Мало ли, другъ мой, въ домѣ занятій найдется! Съ той минуты, какъ утромъ съ постели встанешь, и до той, когда вечеромъ въ постель ляжешь — все въ занятіяхъ. Всякому надо приготовить, за всѣмъ самой приглядѣть. Конечно, все больше мелочи, но вѣдь ежели съ мелочами справляться умѣешь, тогда и большое дѣло не испугаетъ тебя.

— Это тоже Савва Силычъ говорилъ?

— Да, мой другъ, онъ. А что?

— Ничего. Такъ спросилось. Хорошая мысль.

На эту тему мы бесѣдовали довольно долго (впрочемъ говорила все время почти одна она; я же, что называется, только реплику подавалъ), хотя и нельзя сказать, чтобъ разговоръ этотъ былъ разнообразенъ или поучителенъ. Напротивъ, должно думать, что онъ былъ достаточно прѣсенъ, потому что, подъ конецъ, я-таки не удержался и зѣвнулъ.

— Ахъ, что же я?—всполошилась она:—и не подумала, что съ дороги тебѣ отдохнуть хочется! А еще хозяйкой себяставляю.

— Успокойся, душа моя, я не сплю послѣ обѣда. А вотъ что я думаю: не уѣхать ли мнѣ? По настоящему, я вѣдь мѣшаю тебѣ!

— Ахъ, что ты! чѣмъ же ты мнѣ мѣшать можешь! Еслибъ и были у меня занятія, то я для родного должна ихъ оставить. Я родныхъ почитаю, мой другъ, потому что ежели мы родныхъ почитать не станемъ, то что же такое будетъ! И Савва Силычъ всегда мнѣ внушалъ, что почтеніе къ роднымъ есть первый нашъ долгъ. Онъ и объ тебѣ вспоминалъ, и всегда съ почтеніемъ!

— Ну, если я не мѣшаю тебѣ, то тѣмъ лучше.

— А я вотъ что, братецъ. Я велю вареньица подать, намъ и веселѣе будетъ. А потомъ и чаю; вѣдь ты чай любишь?

— Что жъ, это прекрасно. И вареньица, и чаю—не откажусь.

— Ахъ, какъ я рада! И какъ это хорошо, что ты откровенно мнѣ высказалъ, что тебѣ нравится. А вотъ другіе любятъ, чтобъ хозяева сами угадывали—вотъ мука-то!

Она взяла меня за обѣ руки и такъ грустно-грустно взглянула мнѣ въ лицо, словно хотѣла сказать: сиротка ты, бѣдненькій! надо же тебя приютить и подкормить!

Черезъ нѣсколько минутъ на столѣ стояло пять сортовъ варенья и еще смоквы какія-то, тоже домашняго издѣлія, очень вкусныя. И что всего удивительнѣе—намъ, дѣйствительно, какъ-то веселѣе стало, или, какъ выражаются крестьяне, поваднѣе. Я откинулся въ уголъ на спинку дивана, ѣлъ варенье и смотрѣлъ на Машу. При огняхъ она казалась еще моложавѣе.

— Машенька!—невольно вырвалось у меня.

— Ахъ, ты кончилъ? Вотъ покушай еще; дай я тебѣ положу... морошки или крыжовнику?

— Нѣтъ, я не о томъ. Я все хочу тебѣ сказать: какая ты еще молодая! Совсѣмъ-совсѣмъ ты не измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались!

— Это по наружности только, а внутри...

— Что такое „внутри“! Ты напускаешь на себя — и больше ничего! Право, ты такъ еще мила, что не грѣхъ и приволкнуть за тобой, и я увѣренъ, что этотъ Филоеѣй Павлычъ...

— Ахъ, нѣтъ! что ты! что ты!

— Нѣтъ, признайся! Навѣрное этотъ вертопахъ...

— Во-первыхъ, онъ совсѣмъ не вертопахъ, а во-вторыхъ, оставимъ это... Знаешь, вѣдь я объ чемъ-то хотѣла съ тобой поговорить!

— Объ чемъ же?

— Скажи, правда ли, что ты съ Чемезовымъ кончить хочешь?



— Правда.

— Вот какъ! А я все думала, что ты у меня въ сосѣдствѣ поселишься. Ахъ, какъ бы это было хорошо!

— Хорошо-то хорошо, да нельзя этого, голубушка! Ты знаешь, занятія, обстоятельства...

— Что такое „обстоятельства“! Не обстоятельства должны управлять человѣкомъ, а человѣкъ обстоятельствами!

— Это тоже Савва Силычъ говорилъ?

— Да и онъ.

— А Филоеей Павлычъ, быть можетъ, подтверждалъ?

— Ахъ, ты опять объ этомъ! Вотъ ты такъ не измѣнился! Все шутишь! А вѣдь я серьезный разговоръ хотѣла съ тобою вести!

— Ну, будемъ вести серьезный разговоръ.

Лицо ея, дѣйствительно, приняло озабоченное выраженіе; бровки сдвинулись больше обыкновеннаго.

— Скажи, пожалуйста, на чемъ же ты хочешь кончить? покупатели есть? — таинственно спросила она, причѣмъ даже по сторонамъ оглядѣлась, какъ бы желая удостовѣриться, не подслушиваетъ ли кто.

— Были покупатели. Деруновъ охотился, Бородавкина Заяцъ привозилъ смотрѣть.

— И чтожь?

— Мнѣ хотѣлось бы съ крестьянами сдѣлаться.

— Ахъ, нѣтъ! ахъ, пожалуйста! прошу тебя: не имѣй ты дѣла съ крестьянами!

— Что такъ?

— Ахъ, это такіе неблагодарные! такіе неблагодарные!

— Да мнѣ-то какое дѣло до того, благодарны они или неблагодарны! Я продавецъ, они покупатели.

— Помилуй! какъ это можно! они такіе неблагодарные! такіе неблагодарные! Представь себѣ, въ то время... ну, вотъ какъ уставныя грамоты составляли... вѣдь мон-то къ губернатору на Савву Силыча жаловаться ходили! Такъ онъ былъ тогда огорченъ этимъ! такъ огорченъ!

— А!

— И представь себѣ, какую клевету на него взвели: будто онъ у нихъ Гулино стнялъ! У нихъ! Гулино! знаешь: это какъ къ селу-то подъѣзжаешь, у самой почти-что околицы — тутъ у меня еще прехорошенькая сосновая рощица нынче пошла!

— Чтожь? разобрали дѣло?

— Ну, конечно, имъ отказали, потому что Савва Силычъ какъ дважды-два доказаль... За то теперь они и каются: вѣдь имъ, другъ мой, безъ Гулина-то курицы некуда выпустить!

— Какъ „за то!“ Да вѣдь еслибъ они и не жаловались, Гулино-то все-таки не осталось бы за ними!

— Ахъ, какой ты! Я тебѣ говорю: вотъ какіе они неблагодарные, что даже на Савву Силыча жаловались! Да, мой другъ! Столько мы безпокойствъ, столько, можно сказать, непріятностей черезъ нихъ имѣли, что Савва Силычъ

даже на ордѣ смерти меня предостерегъ: „прошу тебя, говорить, Машенька, никогда ты не имѣй дѣло съ этими неблагодарными, а дѣйствуй по закону!“

— Однако ты, несмотря на это, имѣешь-таки съ ними дѣла! вотъ землі въ коротку отдаешь...

— Это совѣмъ другое дѣло; тутъ ужъ я по закону. Да вѣдь и по-христіански, мой другъ, тоже судить надо. Имъ вѣдь земля-то нужна, ахъ, какъ нужна! Ну, стало быть, я по-христіански...

Она на минуту смолкла, потихоньку вздохнула и даже какъ бы закручинилась („миленькая!“ мелькнуло у меня въ головѣ).

— Ты не повѣришь, какъ они бѣдны! ахъ, какъ бѣдны! — продолжала она такимъ голосомъ, какъ будто ей вотъ-вотъ сейчасъ душу на части начнутъ рвать. — И представь себѣ: бѣдны, а въ кабацѣ у меня всегда толпа!

— Ты и кабакъ устроила?

— Да, тутъ у насъ строеньице ненужное осталось, такъ Анисимушко присовѣтоваль. Вѣдь это выгодно, родной мой!

— Да?

— Очень-очень даже выгодно. Но, представь себѣ: именно все, какъ говорилъ покойный Савва Силычъ, все такъ, по его, и сбывается. Еще въ то время, какъ въ первый разъ вину волю сказали — ужъ и тогда онъ высказался: „курить вино — нѣтъ моего совѣта, а кабаки держать — можно хорошую пользу получить!“

— Машенька! ты милая! — невольно вскрикнулъ я, и — каюсь — не удержался-таки, поцѣловаль ее въ щечку.

— Чтѣ ты! дѣти... ахъ, какой ты! — застыдилась она.

— Ну, хорошо, хорошо! не стану! Такъ чтѣ же ты мнѣ насчетъ Чемезова-то сказать хотѣла?

Она на мгновенье задумалась, потомъ вдругъ все лицо ея словно озярилось.

— Знаешь ли чтѣ! — вскрикнула она почти восторженно: — Лукьянычъ обманываетъ тебя!

— Чтѣ ты! Христосъ съ тобой! Старикъ семьдесятъ лѣтъ!

— Говорю тебѣ, обманываетъ! это такъ вѣрно, такъ вѣрно...

— Ну, оставимъ это! пускай себѣ обманываетъ, а мы возьмемъ да перехитримъ его. Чтѣ же ты мнѣ еще скажешь?

— А вотъ чтѣ, мой другъ. Признаюсь, я очень, даже очень въ твоѣ дѣло вникала. И могу сказать одно: жаль, что ты Кусточки въ то время крестьянамъ отдалъ! И Савва Силычъ говорилъ: „испортилъ братецъ все свое имѣніе“.

— Помилуй! да вѣдь Кусточки какъ разъ около Чемезова; крестьянамъ и обойтись безъ нихъ невозможно! Да и всегда, и при крѣпостномъ правѣ, Кусточками крестьяне владѣли!

— Въ томъ-то и дѣло, другъ мой, что крестьянамъ эта земля нужна — въ этомъ-то и выгода твоя! А владѣли ли они, или не владѣли — это всегда обдѣлать было можно: Савва Силычъ съ удовольствіемъ бы для родного похлопоталъ. Не отдай ты эти Кусточки — вѣдь цѣны бы теперь твоѣму имѣнію не было!



— Да чтожь объ Кусточкахъ говорить, коли они ужъ отданы! А безъ Кусточковъ какъ велика, по твоему, цѣна за всю землю?

— А сколько Осипъ Ивановичъ (Деруновъ) тебѣ давалъ?

— Пять тысячъ.

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ! Я бы на твоёмъ мѣстѣ продала. Конечно, кабы здѣсь жить... хорошенькія въ твоёмъ имѣньи мѣстечки есть... Вотъ хоть бы Филиппцево... хорошъ, очень хорошъ лѣсокъ!.. Признаться сказать, и я иногда подумывала твое Чemezovo купить—все-таки ты мнѣ родной!—ну, а пяти тысячъ не дала бы! Пять тысячъ — большія деньги! Ахъ, какія это большія деньги, мой другъ! Вотъ кабы Кусточки...

— Дались тебѣ Кусточки! Какихъ-нибудь двадцать десятинъ!

— Двадцать десятинъ, а за двѣсти отвѣтятъ! Это и Анисимушко скажетъ тебѣ. Вотъ почему я и думаю: обманываетъ тебя Лукьянычъ! Ну, такъ обманываетъ! такъ обманываетъ!

— Да полно же, ради Христа!

— Нѣтъ, мой другъ, это дѣло надо разыскать. Еслибъ онъ вѣрный слуга тебѣ былъ, согласился ли бы онъ допустить, чтобъ ты такое невыгодное условіе для себя сдѣлалъ? Вотъ Анисимушко—тотъ прямо Савва Силычу сказалъ: „держитесь Гулина, ни за что крестьянамъ его не отрѣзываютъ!“ Ну, Савва Силычъ и послушался.

— Слушай! да вѣдь я самъ уставную-то грамоту и составилъ, и подписалъ!

— Все-таки. Кабы Лукьянычъ настоящій христіанинъ былъ — все бы ему слѣдовало тебя предостеречь!

— Машенька! клянусь, ты милая!

— Ну, видишь ли! я вѣдь знала, что съ тобой серьезно нельзя говорить. Всегда ты былъ такой; всегда въ тебѣ эта неосновательность была. Съ тобой серьезно говорить, а у тебя все мысли какія-то. И Савва Силычъ это замѣчалъ; а онъ очень тебя любилъ.

— За чтожь онъ меня любилъ?

— Онъ всѣхъ родныхъ вообще почиталъ. Онъ всегда... онъ такой... Ну, вотъ ты и опять этими воспоминаніями разстроилъ меня, другой мой!

Дѣйствительно, ея глазки блеснули, и двѣ маленькія слезки скатились на ея щеки. Воспоминаніе ли о Саввѣ Силычѣ на нее подѣйствовало, или просто взгрустнулось... такъ—во всякомъ случаѣ, это было такъ мило, что я невольно подумалъ: „а вѣдь это Филоеей дуракъ будетъ, если Машеньку къ себѣ не приурочить“.

Такія женщины въ деревенской тиши—настоящій кладъ. И нѣжна, и Кусточковъ не проглядить, и приголубить можетъ, и весь домъ обѣгаетъ, за всѣмъ сама приглядитъ, все прикажетъ. Блаженствуй! Хорошо этакую „куколку“ по головкѣ погладить и потомъ сказать ей: „а что, Машенька, кабы теперь вареньица!“ Хорошо цѣловать эти глазки и читать въ нихъ, какъ они думаютъ: что бы еще велѣтъ съ погреба принести! Да и не надоѣдлива вѣдь она: прибѣжить, сядетъ къ тебѣ на колѣни, вспомнить, что нужно насчетъ бѣлья распорядиться—вскочить и убѣжить; потомъ опять прибѣжить, на колѣни сядетъ—и опять вспомнить, что Смарагдушкѣ нужно пупочекъ

бобковой мазью потереть... Вотъ настоящее *utile-dolce*; вотъ единственное условіе, при которомъ никакое деревенское захоlustье опостылѣть не можетъ! Но, можетъ быть, опостылѣетъ жизнь вообще?..

Нѣтъ, едва-ли и это. По крайней мѣрѣ Филоеой навѣрное совсѣмъ не такъ думаетъ. Не знаю, почему мнѣ вспалъ на умъ этотъ Филоеой, но я убѣжденъ, что онъ тутъ что-нибудь маклерить. Не даромъ два раза Машенька покраснѣла при его имени. Конечно, онъ такой же крупный и вальяжный, какъ и Савва Силычъ, и изъ такого же ноздреватаго известкового камня вырубленъ. Маленькія женщины сначала боятся такихъ идоловъ, а потомъ лнуть къ нимъ: защиту себѣ видятъ. Мужъ нервный, худощавый, болѣзненный не защититъ. А вотъ какъ цѣлая глыба подъ руками—стоять только присѣсть сзади, никто и не увидитъ. Таковъ первоначальный поводъ для привязанности, а потомъ, разумѣется, и другіе найдутся. А Машенька ужъ обтерпѣлась за Саввой Силычемъ, и Филоеой это знаетъ. Можетъ быть, онъ и тогда, при жизни мужа, ужъ думалъ: „мерзавецъ этотъ Савка! какую штучку поддѣлъ! вонъ какъ она ходитъ! ишь! ишь! такъ по стрункѣ и сѣменить ножками!“ И кто же знаетъ: можетъ быть, онъ этому Савкѣ, другу своему, даже подсыпалъ чего-нибудь, чтобъ поскорѣй завладѣть этою миленькою женщиной, которая такъ охотно пойдетъ за тѣмъ, кто первый возьметъ ее за ручку, и потомъ всю жизнь будетъ сѣменить ножками по стрункѣ супружества!

Но это было уже уголовщина, и я поспѣшилъ опомниться. Машенька правду сказала: нельзя со мной серьезно говорить! Сейчасъ я на окольную дорогу сверну и начну совсѣмъ о другомъ. И съ какой стати я къ этому Филоеой привязался! Можетъ быть, это просто семинаристъ какой-нибудь — и самъ семинаристъ, и, кромѣ того, еще другъ покойнаго семинариста — который, по старой сквалыжнической привычкѣ, заѣзжаетъ въ Березники, на перепутьи изъ деревни въ земскую управу, потому только, что у Машеньки сладенько поѣсть можно! Пріѣдетъ, наѣстся, выспится, наговоритъ изреченій изъ старыхъ прописей—и отправится дальше...

Покуда я такъ размышлялъ, доложили, что пришелъ Анисимушко.

Анисимушко—старикъ древній, лѣтъ подъ-восемьдесятъ, но еще бодрый на видъ, хотя и ходитъ съ палкою. Осанку онъ имѣетъ важную, лицо почтенное, выражающее, что онъ себѣ цѣну понимаетъ. Садится, не дожидаясь позволенія, и говорить барынѣ „ты“. Вообще это одна изъ тѣхъ личностей, безъ совѣта съ которыми, при крѣпостномъ правѣ, помѣщики шагу не дѣлали, которыхъ называли „министрами“ и которыя пользовались привилегіей „говорить правду“, но не забываться, подобно тѣмъ своимъ знатымъ современникамъ, которые, въ болѣе высокой сферѣ, имѣли привилегію:

Истину царямъ съ улыбкой говорить...

Анисимушко вошелъ степенно, важно; не торопясь помолился въ восточный уголъ гдѣ висѣлъ образъ, потомъ поклонился мнѣ и барынѣ, и сѣлъ.

— Вотъ и Анисимушко, рекомендую!—произнесла Машенька:—мой совѣтчикъ, руководитель и—можно сказать даже — другъ. Надѣюсь, что ты позволишь намъ поговорить?

— Ахъ, сдѣлай одолженіе!



— Ну, что, Анисимушко, скажешь?

— Клины, сударыня, продаютъ.

— Это гдѣ?

— Рядомъ съ Ульянцевымъ. Пустошонка десятины съ сорокъ, побольше, будетъ.

— А земля какова?

— Земля не то чтобы... Покосишко есть... не слишкомъ тоже... лѣску тоже молоденькаго десятинки съ двѣ найдется... земля не очень... Только больно ужъ близко къ Ульянцеву подошла!

— Дорого просять?

— Дорого. Восемьсотъ; по двадцати рублей за десятину на кругъ.

— Ой! что ты!

Машенька даже испугалась громадности цифры.

— А купить, все-таки, надо будетъ, — солидно продолжалъ Анисимушко.

— Ни за что! Разориться мнѣ, что-ли, прикажешь!

И она растерянно взглянула на меня. Навѣрное она вспомнила недавнія свои инсинуаціи насчетъ Лукьяныча и хотѣла угадать, не думаю ли я того же самаго объ ея Анисимушкѣ.

— До разоренья еще далеко, — иронически возражалъ Анисимушко: — ты сначала выслушай!

— Помилуй, Анисимушко!

— Слушай-ко. Первое дѣло — ульянцевскіе сейчасъ за нее тысячу даютъ. Сегодня ты восемьсотъ дашь, а завтра тысячу получишь.

— Такъ отчего жѣ они не покупаютъ? Тысячу-то тысячу, да, можетъ быть, въ разсрочку?

— И не въ разсрочку, а деньги на столъ. Да, вишь, баринъ негодование на нихъ имѣетъ, судились они съ нимъ за эту самую землю — онъ ее у нихъ и оттягалъ. Вотъ теперь онъ и говоритъ: „мнѣ эта земля не нужна, только я хотѣю задаромъ ее первому встрѣчному отдамъ, а вамъ, распостылые, не продамъ!“

— Ахъ, Боже мой! да если ты говоришь, что эта земля такъ имъ нужна, зачѣмъ же ее продавать? Можно и такъ съ пользою отдавать имъ же въ кортому!

— Ему это не рука, барину-то, потому онъ на теплыя воды спѣшитъ. А для насъ, ежели купить ее — хорошо будетъ. Къ тому я и веду, что продавать не надобно — и такъ по четыре рубля въ годъ за десятину на кругъ дадутъ. Земля-то клиномъ въ ихнюю угоду врѣзалась, имъ выйти-то и некуда. Безпремѣнно по четыре рубля дадутъ, ежели не побольше.

Машенька задумалась и перебирала пальчиками, словно разсчитывала.

— Такъ ты думаешь, купить? — робко спросила она.

— Послушай ты моего мужицкаго разума! не упущай ты этого случая!

— Денегъ-то очень ужъ много, Анисимушко!

— Мало ли денегъ! Да вѣдь и я не съ вѣтру говорю, а настоящее дѣло докладываю. Коли много денегъ кажется, поторговаться можно. Уступить и за семьсотъ. А и не уступить — все-таки упускать не слѣдъ. Деньги-то,

которыя ты тутъ отдашь, словно въ ламбартѣ будутъ. Еще лучше, потому что въ Москву за процентами ѣздить не нужно, сами придутъ.

— А ежели мужички не будутъ землю кортомить?

— Христось съ тобой! куда жъ они отъ насъ уйдутъ! Вѣдь это не то, что отъ прихоти: земля-дескать хороша! а отъ нужды отъ кровной: и не-хороша земля, да надо ее взять! Вѣрное это слово я тебѣ говорю: по четыре на кругъ дадутъ. И цѣна не то чтобы съ прижимкой, а самая настоящая христіанская...

— Да ужъ, Анисимушко! надо по-христіански! и ихъ тоже пожалѣть нужно!

— Извѣстное дѣло, и ихъ пожалѣть, про чтѣ-жъ я и говорю. Дѣло хоть обоюдное, вольное, а все же по-христіански нужно. Потому Богъ—Онъ все видитъ. Ты думаешь, Богъ-отъ далеко, а Онъ вонъ-онъ! По-христіански—какъ возможно! не въ примѣръ лучше! И мужичкамъ хорошо, и тебѣ спокой! Такъ-то. Ты тужишь, что у тебя рубликъ-другой промежъ пальцевъ будто ушелъ, а нѣ Богъ-отъ тебя въ другомъ мѣстѣ благословить! А совѣсть-то и завсе у тебя спокойна. И уснулъ ты сладко, и всталъ по утру, никакого побору за собой не знаешь! Такъ ли я, сударыня, говорю?

— Такъ, Анисимушко! Я знаю, что ты у меня добрый! Только я вотъ чтѣ еще сказать хотѣла: можетъ быть, мужички и совсѣмъ Клинды за себя купить пожелають—какъ тогда?

— Чтѣжъ, сударыня, съ Богомъ! отчего же и имъ, по-христіански, удовольствія не сдѣлать! Тысячу-то теперь ужъ даютъ, а черезъ годъ — и полторы давать будутъ, коли ежели степенно передъ ними держать себя будемъ!

Опять минута задумчивости; глазки грустные-грустные; подбородочекъ вздрагиваетъ.

— Такъ ужъ я куплю, Анисимушко,—вздыхнувъ, рѣшаетъ Машенька.

— Купи, матушка! Ты моего мужицкаго ума слушайся! Потоль и службу, поколь живъ.

— А ужъ я-то какъ благодарна тебѣ, Анисимушко! такъ благодарна! такъ благодарна! Дѣти! Оеогность! Нонночка! велите Анисимушку чаемъ на-поить! Съ Богомъ, Анисимушко!

Въ эту минуту у крыльца послышался звонъ колокольчика, и дѣти въ залѣ всполошились.

— Дядя пріѣхалъ! Дяденька!—кричали они.

Я не обманулъ: это была дѣйствительно глыба. И притомъ глыба, покушавшаяся быть любезною и отчасти даже граціозною. Вошелъ онъ въ гостиную какъ-то бокомъ, пріятно переплетая ногами, вынулъ изъ ушей канатъ, спряталъ его въ жилетный карманъ и подошелъ къ Машенькѣ къ ручкѣ.

— А вотъ и братецъ пріѣхалъ! — рекомендовала меня Машенька, складывая губки сердечкомъ.

— Пріятно-сѣ. Служить изволите?



— Нѣтъ, не служу, а такъ.

— Вотъ даже сейчасъ видно, что вы Марья Петровна родственникомъ доводитеесь! Онъ тоже очень часто это слово „такъ“ въ разговорѣ употребляютъ.

Онъ улыбнулся и не безъ вождельнiя скосилъ глазами въ сторону Машеньки, причемъ меланхолически склонилъ голову на бокъ, такъ что я замѣтилъ подъ лѣвою его скулой большой кружокъ англійскаго пластыря, прикрывавшій, очевидно, фистулу.

Однако замѣчанiе его смутило-таки меня. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я сказалъ это „такъ“? Чтò такое „такъ“? Чтò хотѣлъ я этимъ выразить? Вотъ Машенька—она дѣйствительно „такъ“; я и самъ это давеча замѣтилъ. И для нея это нимало не предосудительно; ей это даже прелесть придаетъ, потому что она женщина и притомъ вдова. Впрочемъ и она, я подозреваю, больше ради прелести употребляетъ это слово, потому что Филоею оно нравится. А я-то зачѣмъ? Зачѣмъ я сказалъ: „такъ“? И, можетъ быть, я только не замѣчаю за собою, а на дѣлѣ и частенько-таки этимъ словомъ щеголяю?

— Изъ Петербурга пріѣхать изволили?—любезничалъ со мной Промптовъ.

— Изъ Петербурга.

— Большой городъ. Парижъ, говорятъ, обширнѣе; ну, да вѣдь то ужъ Вавилонъ. Вотъ мы такъ и своимъ уѣзднымъ городомъ довольны. Вездѣ можно пользу приносить-сь. И океанъ, и малая капля водъ — кажется, разница, а какъ размыслишь, то и тамъ, и тутъ — вездѣ одно и то же солнце свѣтитъ. Такъ ли я говорю-сь?

— Да, философы утверждаютъ...

— Скажу хоша про себя: на нынѣшнее трехлѣтiе званiемъ председа-теля управы меня почтили. Дѣло оно, конечно, небольшое, а все же поль-зишку принести можно. Кто желаетъ, и въ такомъ дѣлѣ пишу для труда найдеть. А трудъ, я вамъ доложу, великая вещь: скуку онъ разгоняетъ. Вотъ и Марья Петровна трудится—и имъ не скучно.

— Не скучно, а такъ...—какъ-то лѣниво промолвила Машенька, и на сей разъ я положительно утверждаю, что она сказала это слово не просто, а съ желанiемъ пококетничать съ Филоею.

— Вотъ видите: и сейчасъ онъ это слово „такъ“ сказали,—хихикнулъ онъ, словно у него брюшко пощекотали:—чтò-же-сь! въ дамъ это даже очень прiятно, потому дама рѣдко когда въ опредѣленномъ кругѣ мыслей находится. Дама — женщина-сь, и имъ это простительно, и даже въ нихъ это нравится-сь. Дамъ мужчина защиту и вспомошествованiе оказывать долженъ, а дама съ своей стороны... хоть бы по части общества: гостей занять, удовольствiе доставить, потанцовать, спѣть, время прiятно провести—вотъ их-нее дѣло.

Онъ опять меланхолически скосилъ глаза въ сторону Машеньки и опять показалъ мнѣ свою фистулу. „Знаетъ ли она, что у него подъ скулой фи-стула?“ невольно спросилъ я себя, и тутъ же, внимательно обсудивъ всѣ об-стоятельства дѣла, рѣшилъ, что не только знаетъ, но что даже, быть можетъ, и пластырь-то на фистулу она сама, собственными ручками, налѣпляетъ.

— Слѣдовательно, вамъ не скучно?—обратился я къ нему.

— Докладываю вамъ: тружусь-сь. Кабы не трудился, можетъ быть и скучалъ бы. Можетъ быть, вино бы пить сталъ; можетъ быть, въ развратъ бы впалъ...

— Ахъ, что вы, Филофеей Павлычъ!—испугалась Машенька.

— Не извольте, сударыня, беспокоиться; со мной этого случиться не можетъ. Я себя очень довольно понимаю. Рюмка передъ обѣдомъ, рюмка передъ ужиномъ — для желудка сваренія-сь... Я вотъ и табакъ прежде, отъ скуки нюхалъ, — обратился онъ ко мнѣ: — да вижу, доброй сосѣдушкѣ не нравится (Машенька заалѣлась)—и оставилъ-сь!

— И вы постоянно здѣсь живете?

— Осѣдлость имѣю — ну, и живу. Слава Богу, послужилъ. Былъ въ Т. совѣтникомъ губернскаго правленія; теперь государя моего дѣйствительный статскій совѣтникъ въ отставку — чего нужно! Не растратилъ, а, по милости Божіей, приобрѣлъ-сь. На собственныя, на трудовыя денежки—наслѣдственнаго-то мнѣ родители не завѣщали!—купилъ здѣсь, по близости, имѣніе, да и катаюсь взадъ да впередъ: изъ имѣнія въ городъ, изъ города въ имѣніе. Вотъ къ Марьѣ Петровнѣ на перепутьи заѣзжаю. Чайкомъ напоить, вареньемъ полакомить, а иногда, грѣшнымъ дѣломъ, и отдохнуть разрѣшить.

Онъ всталъ и опять, переплетая ногами, подошелъ къ Машенькѣ къ ручкѣ.

— Сегодня-то вы у насъ ночуете?—спросила она.

— Всенепремѣнно-сь, ежели такая ваша милость будетъ. Я, сударыня, вчера утромъ фонтанель на обѣихъ рукахъ открылъ, такъ боюсь: дорогою-то въ шубѣ сидишь, какъ бы не разбередить.

— Давно ужъ я вамъ про эту фонтанель совѣтовала... чтожь, и удачно?

— Нельзя лучше-сь. Сегодня утромъ разсматривалъ: матерія идетъ — отличнѣйшая-сь. И даже сейчасъ ужъ лучше на оба уха слышу!

— Ну, и слава Богу!

Новое переплетанье ногами и новое чмоканье Машенькиной ручки.

— Такъ мы здѣсь и живемъ!—сказалъ онъ, усаживаясь: —помаленьку, да полегоньку, тихо да смирно, войнѣ не объявляемъ, тяжбъ и ссоръ опасаемся. Живемъ да поживаемъ. Въ умствованія не пускаемся, идей не распространяемъ—такъ-то-сь! Наше дѣло—пользу приносить. Потому мы — земство. Великое это, сударь, слово, хоть и неказисто на взглядъ. Вотъ, въ прошломъ году, на перервинскомъ трактѣ мостокъ черезъ Перерву выстроили, а въ будущемъ году, съ Божьею помощью, и черезъ Воплю мостъ соорудимъ...

— Ахъ, да, пожалуйста устройте! Я намеднишь чуть не провалилась! —пожаловалась Машенька.

— Ахъ, грѣхъ какой! А вы, сударыня, осторожнѣе!—Вотъ изволите, сударь, видѣть! всѣмъ до насъ дѣло! Марьѣ Петровнѣ мостокъ построить, другому — трактецъ починить, третьему — переправочку черезъ ручей устроить! Ань дѣла-то и многонько наберется. А вы, осмѣлюсь спросить, писательствомъ, кажется, заниматься изволите?



— Да, пишу.

— И это полезно, ежели въ учительномъ духѣ... Мы здѣсь, признаться, только „Московскія Вѣдомости“ выписываемъ, такъ настоящую-то литературу мало знаемъ.

— Братецъ, кажется, больше по сатирической части, — вмѣшалась Машенька.

— Чтѣжъ, и сатира не безъ пользы, коли въ предѣлахъ. *Ridendo castigat mores* — такъ, кажется? Дѣло писателей — изображать, а дѣло правительства — ихъ воздерживать. И въ древности сатирики были: Ювеналь, Персій, Кантемиръ. Даже Цицеронъ временами къ сатирѣ склонность выказывалъ, а Кантемира такъ самъ блаженной памяти государь Петръ Алексѣичъ изъ Молдавіи вывезти изволилъ. Современникамъ, конечно, не всегда пріятны ихнія стрѣлы были, а теперь, по прошествіи времени, даже въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ читать не возбраняется.

— А дорого, братецъ, за эти сатиры даютъ?

— Не знаю, какъ тебѣ сказать, голубушка, не считалъ.

— Писатели, сударыня, подробностей этихъ никогда не открываютъ. Хотя же и не отказываются отъ приличнаго за труды вознагражденія, однако все-таки желательнѣе для нихъ, чтобы другіе думали, яко бы они безкорыстно произведеніями своего вдохновенія досуги человѣчества услаждаютъ. Такъ, сударь?

— Ну, не совсѣмъ такъ, но во всякомъ случаѣ ничего опредѣлительнаго на вопросъ Машеньки отвѣтить не могу. Вознагражденіе за литературный трудъ такъ измѣнчиво, что точно опредѣлить его норму почти невозможно.

— А знаете ли, братецъ, вѣдь и у насъ здѣсь прошлымъ лѣсомъ чуть-чуть сатирикъ не проявился?

— Какъ-же-съ! молодой человѣкъ одинъ, Николо-Воплинскаго іерея сынокъ. Кончилъ курсъ въ семинаріи, да, вмѣсто того, чтобъ невѣсту искать, началъ здѣшній уѣздъ въ сатирическомъ смыслѣ описывать. Однако мы сейчасъ же его сократили.

— Какъ такъ?

— Въ настоящее время онъ въ дальнія губерніи, по распоряженію, высланъ-съ.

— Помилуйте! за чтѣ же!

— Возмущеніе отъ него большое выходило. Чуть чтѣ — сейчасъ опишетъ и начнетъ-это распространять. Всѣ мы, сударь, человѣки, и человѣческимъ слабостямъ причастны, а онъ выше всѣхъ себя мнилъ. Вотъ мы его однажды подкараулили, да къ господину становому, вмѣстѣ съ писаніями, и представили.

— Однако трудненько-таки у васъ сатирику жить!

— Жить у насъ, сударь, всякому можно. И даже сатирами заниматься никто не препятствуетъ. Вотъ только касаться — этого, дѣйствительно, нельзя.

Разговоръ принималъ такой любопытный оборотъ, что я счелъ долгомъ своимъ поближе взглянуть въ эту известковую глыбу. Слова Промптова

пахну́ли на меня чѣмъ-то знакомымъ, хотя и недосказаннымъ; они напомнили мнѣ о какой-то жгучей задачѣ, которую я постоянно старался обойти, но отъ разрѣшенія которой — я это смутно чувствовалъ — мнѣ ни подъ какимъ видомъ не избавиться. „Будь сатирикомъ, но не касайся!“ — да вѣдь это оно, это то самое рѣшеніе, котораго никто до сихъ поръ ясно не формулировалъ, но которое, несомѣнно, у всѣхъ на умѣ. Въ особенности въ Петербургѣ на этотъ счетъ существуетъ какое-то малодушное двоегласіе. Языкъ говоритъ: „кто же запрещаетъ! обличайте! преслѣдуйте! карайте!“ — а въ глазахъ въ это время бѣгаютъ огоньки. Ясно, что въ результатѣ такого двоегласія должно быть постоянное сатирическое безпокойство. Общечеловѣческая слабость нашеннываетъ сатирику: мужайся! вѣрь словамъ! огоньки — это „такъ“! А опытъ и подозрительность предостерегаютъ: помни объ огонькахъ, а слова — это „такъ“!

И вотъ простой рыбарь, какой-то безвѣстный Филоеѣй, взявъ на себя трудъ разрѣшить задачу ясно, просто и, главное, спокойно и безъ огоньковъ. „Будь сатирикомъ, но не касайся!“ — да, это оно, оно самое! Но вотъ вопросъ: способенъ ли Филоеѣй преподавать надлежащія къ выполнению своего афоризма наставленія? Гм... конечно, съ его точки зрѣнія, онъ способенъ. Не онъ ли сейчасъ сказалъ: „подкараулили, да къ господину становому вмѣстѣ съ писаніями и представили“. Вотъ вамъ и исполненіе. Только разрѣшаетъ ли оно самую задачу? Создастъ ли оно такого сатирика, который и сатиры будетъ писать, и въ то же время „касаться“ не станетъ? Въ этомъ-то я и позволяю себѣ усомниться. Да и въ Петербургѣ повидимому тоже сомнѣваются, а вслѣдствіе этого и допускаютъ „огоньки“ въ видѣ палліативной мѣры. Пусть-моль до времени огоньки служатъ предостереженіемъ, а вотъ ежели... Чтò „ежели“?

Подъ вліяніемъ этихъ мыслей я еще пристальнѣе взглянулъ на высившуюся передо мною известковую глыбу: не скажетъ ли она еще что-нибудь, не разъяснитъ ли? Но, увы, глыба такъ заурядно, почти безсмысленно покачивалась вмѣстѣ съ кресломъ, въ которомъ она сидѣла, и при этомъ такъ масляно косила глазами по направленію къ Машенькѣ, что мнѣ сдѣлалось ясно, что она ничего не сознавала. Афоризмъ вырвался у нея изъ глотки „такъ“, безъ пониманія и даже безъ малѣйшихъ претензій на дальнѣйшее развитіе. Онъ представлялъ собою одну изъ тѣхъ „благодѣтельныхъ“ рѣчей, которыми такъ изобилуетъ среда рыбарей. Такъ что я, который намѣревался просить разъясненій по этому поводу и даже не прочь былъ вступить въ споръ, я сразу же убѣдился, что самое лучшее въ этомъ случаѣ — это послѣдовать мудрому правилу: не тронь навоза — не воняетъ.

— А знаете ли чтò, Филоеѣй Павлычъ? — догадалась между тѣмъ Машенька: — вѣдь Коронать-то у насъ пожалуй сатирикомъ будетъ?

— Развѣ расположеніе выказываетъ?

— Нѣтъ, вообще... Безнравственность въ немъ какая-то... изъ всѣхъ дѣтей онъ какой-то... Вонъ и братецъ давеча видѣлъ...

— А вы бы, сударыня, березовой кашицей почаще... И я знавалъ эти примѣры: въ дѣтствѣ не остепеняли, а современемъ, отъ этой самой родительской слабости, люди злодѣями дѣлались.



— Ахъ, и я этого боюсь! боюсь я за него!

— Самое главное, сударыня, въ этомъ разѣ—всѣ силы-мѣры употреб-  
лять, чтобъ изъ ребенка человѣкъ вышелъ. Чтобы къ семейству привязан-  
ность имѣлъ, собственность чтобы уважалъ, отецъ тво любилъ бы. Лоза,  
конечно, прямо этому не научить, но споспѣшествовать можетъ.

— Да вѣдь и я тоже... вотъ и братецъ... Ахъ, кстати! вѣдь братецъ  
съ Чемезовымъ-то кончать хочетъ!

— Что такъ-съ? — огорчился Филоеѣй: — а мы-было думали, что вы  
здѣсь оснуетесь! Съ сестрицей бы, по сосѣдству, видались! очень бы пріятно!

— Неудобно мнѣ.

— Очень-очень было бы пріятно. А между тѣмъ и имѣніе... хоро-  
шенькое у васъ, сударь, имѣніице! Полезныя мѣстечки есть! Вотъ кабы вы  
Кусточковъ мужичкамъ не отдали—и еще бы лучше было!

— И я ему тоже говорила...

— Да-съ, близокъ локоть, да не укусишь. Это бы ужъ Лукьянычево  
дѣло васъ предостеречь. Онъ обязанъ былъ разъяснить вамъ, что Кусточки  
—это, такъ сказать, узелъ-съ...

— Слушайте! да какъ же я могъ не отдать Кусточковъ? Вѣдь  
чемезовскимъ крестьянамъ безъ этой земли просто жить нельзя!

— А они бы у васъ кортомили ее. Вы бы христіанскую цѣну назначили,  
а они бы пользовались. И имъ бы безъ обиды, и вамъ бы хорошая польза  
была.

— Да вѣдь они имѣли право на Кусточки! „Право“ — ясно ли  
это, наконецъ? Вы сами сейчасъ говорили, что собственность уважать надо,  
а по разъясненіямъ-то выходитъ, что уважать надо не собственность а при-  
жимку!

Высказавъ это, я сейчасъ же догадался, что очень опрометчиво посту-  
пилъ, употребивъ слово: „прижимка“. Это было и слишкомъ рѣзко, и въ то  
же время слишкомъ мягко. Рѣзко потому, что обличало во мнѣ человѣка,  
съ которымъ „по просту“ („мы съ нимъ по родственному, а онъ“ и т. д.)  
объясняться нельзя; мягко потому, что Филоеѣй, конечно, отлично понимаетъ,  
что на умѣ-то у меня совсѣмъ другое слово было, да только не сказалось  
оно. Тѣмъ не менѣе слово произвело свой эффектъ: Машенька вдругъ стѣ-  
жилась, Филоеѣй отвратительно перекосилъ ротъ. Минуты на двѣ разговоръ  
совершенно упалъ.

— А какая сегодня погода отличнѣйшая! — первый прервалъ молчаніе  
Промптовъ: — мягкость какая, тишина-съ!

— Да, давеча, какъ молотили, я выходила — очень было хорошо! —  
отозвалась Машенька.

— Для меня, какъ путешественника, въ особенности такая погода  
пріятна,—съ своей стороны присовокупилъ и я.

— Да вотъ и въ прошломъ году погода...—начала-было Машенька, но  
не кончила, слегка зѣвнула и потянулась.

Молчаніе.

— А сколько бы вы за чемезовскую землю получить желали?—вдругъ  
обратился ко мнѣ Промптовъ, словно бы его озарила новая мысль.

— Я вѣдь съ крестьянами въ соглашеніе войти желаю.

— Такъ-съ. Съ крестьянами—на что лучше! Они—настоящіе здѣшніе обыватели, коренники-съ. Имъ отъ земли и уйти некуда. Платежи вотъ съ нихъ... не очень-то, сударь, они надежны! А коли ежели по христіанству — это что и говорить! Съ Богомъ, сударь! съ Богомъ-съ! Впрочемъ, ежели бы почему-нибудь у васъ не состоялось съ крестьянами, просимъ имѣть въ виду-съ.

Онъ бокомъ повернулъ голову въ мою сторону и любезно искривилъ ротъ въ улыбку.

— Ахъ, что вы! — вступилась Машенька: — братцу вѣдь Осипъ Иванычъ пять тысячъ давалъ!

— Слышали и объ этомъ-съ. Впрочемъ это въ прошломъ году Осипъ Иванычъ такую цѣну давалъ, а нынче врядъ-ли. Пять тысячъ — много денегъ-съ!

— А по вашему какая же будетъ цѣна?

— По моему, три съ половиной, много четыре. Нѣтъ спору, есть въ вашей дачѣ мѣстечки полезныя, да покупатель вѣдь на-двое разсчитываетъ: будутъ прибыли—мои; а убытки будутъ—тоже мои.

— Поэтому-то я и думаю, что съ крестьянами все-таки прямѣе дѣло вести. Если и будетъ оттяжка въ деньгахъ, все-таки я не болѣе того потеряю, сколько потерялъ бы, уступивъ землю за четыре и даже за пять тысячъ. А хозяева у земли между тѣмъ будутъ настоящіе, тѣ, которымъ она нужна, которые не перепродадутъ ее на спекуляцію, потому что, какъ вы сами сейчасъ же высказались, имъ и уйти отъ земли некуда.

— Что говорить! съ крестьянами кончить—святое это дѣло!

Машенька опять зѣвнула и потянулась; било девять часовъ.

— Ну-съ, а теперь пора тебѣ, Машенька, и покой дать!—сказалъ я, вставая и отыскивая шапку. Машенька какъ бы встревожилась.

— Братецъ! куда же? а ночевать? Я вѣдь надѣялась, что и вечерокъ вмѣстѣ пріятно проведемъ!—молвила она, выражая глазками знакомую мнѣ грусть ни объ чемъ.

Но я уклонился и даже настоялъ, чтобъ она не провожала меня въ переднюю, что она и исполнила, слегка, разумѣется, покобенившись. Одѣваясь, я слышалъ, какъ она произнесла въ залѣ:

— А Анисимушко сегодня Клины для меня приторговаль!

Возвратившись въ Чемезово, я сообщилъ Лукьянычу, что Пронтовъ мнѣ за землю четыре тысячи надавалъ. Онъ даже лопатками передернулъ, словно спина у него зачесалась отъ этого извѣстія.

— Пронтовъ-то этотъ,—сказалъ онъ:—и съ Марьей Петровной, прошлымъ лѣтомъ, все по грибы въ Филиппово да въ Кавалиху ѣздили. Разъ съ пятокъ были.

— Ну?

— То-то. Чудно мнѣ это тогда показалось. Чтой-то, думаю, наши грибы имъ полюбились! Своихъ рощей дѣвать некуда, а они все къ намъ да къ намъ. А они вонъ что!



— Да, похоже на то, что присматривались.

— Такъ вотъ что, сударь. Сегодня передъ вечеромъ я къ мужичкамъ на сходку ходилъ. Порѣшили: какъ ни какъ, а кончить надо. Стало быть, завтра чѣмъ свѣтъ опять сходку—и совѣмъ ужъ съ ними порѣшить. Сразу чтобы. А то у насъ, черезъ этого самаго Пронтова, и конца-краю разговоровъ не будетъ.

### XIII.—Непочтительный Коронатъ.

Прошло лѣтъ шесть послѣ того, какъ я въ послѣдній разъ посѣтилъ родное Чемезово, и я совершенно утерять изъ вида Машеньку. Два раза, впрочемъ, она сама напоминала мнѣ о себѣ. Въ первый разъ увѣдомила о своемъ вступленіи во вторичный законный бракъ съ Филооеемъ Павлычемъ Промптовымъ, тѣмъ самымъ, которому она, еще будучи вдовою послѣ перваго мужа, приготовляла фонтанели на руки и налѣпляла пластырь на фистулу подъ лѣвою скулой. Во второй разъ писала объ отъѣздѣ въ Петербургъ двоихъ старшихъ сыновей: Теогноста и Короната, для поступленія въ казенныя заведенія и просила меня принять ихъ въ свое „родственное расположеніе“. „Поручаю тебѣ, мой родной,—писала она:—моихъ двоихъ молодцовъ, коихъ и прошу принять въ свое родственное расположеніе; я же, съ своей стороны, имъ лично внушала, чтобы они, какъ добронравнымъ поведеніемъ, такъ и прилежаніемъ, всемѣрно старались оное заслужить. Какъ мать и христіанка, я такъ разсудила, чтобы каждый изъ нихъ тотъ путь избралъ, который всего вѣрнѣе къ счастію ведетъ. И такъ какъ Теогностушка—мальчикъ характера откровеннаго, то я и заключила изъ сего, что онъ ближе всего найдетъ свое счастіе въ кавалеріи; Коронатушку же, какъ мальчика скрытнаго и осмотрительнаго, заблагоразсудила пустить по юридической части. Что же касается до Смарагдушки, то пускай онъ, по молодости лѣтъ, еще дома понѣжится, а впослѣдствіи, ежели Богу будетъ угодно, думаю пустить его по морской части, ибо онъ и теперь мастерски плаваетъ и, сверхъ того, имѣетъ большую склонность къ открытіямъ: на дняхъ въ такомъ мѣстѣ бѣлый грибъ нашелъ, въ какомъ никто ничего путнаго не находилъ“ и т. п.

И дѣйствительно, вслѣдъ за вторымъ письмомъ явились ко мнѣ Теогностъ и Коронатъ, шаркнули ножкой, поцѣловали въ плечико и въ одинъ голосъ просили принять ихъ въ свое родственное расположеніе, общаясь, съ своей стороны, добронравіемъ и успѣхами въ наукахъ выполнѣ оное заслужить. При этомъ я узналъ отъ нихъ, что они, по пріѣздѣ въ Петербургъ, поселились у какого-то отставнаго начальника отдѣленія департамента пода-тей и сборовъ, съ которымъ еще покойный отецъ ихъ, Савва Силычъ Порфирьевъ, состоялъ въ связяхъ по откупнымъ дѣламъ, и что этотъ же начальникъ отдѣленія обязался брать ихъ изъ „заведеній“ по праздникамъ къ себѣ.

Однакожь племянники не баловали меня визитами. Теогностушка еще заходилъ по временамъ; придетъ, брякнетъ саблею, скажетъ: „а меня, дя-

денька, вчера чуть въ карцеръ не посадили“ — и убѣжить. Но Коронатъ приходилъ не больше двухъ-трехъ разъ въ годъ, да и то съ такимъ видомъ, какъ будто его задолго передъ тѣмъ угнетала мысль: и создать же Господь Богъ родственниковъ, которыхъ нужно посѣщать! Вообще это былъ молодой человѣкъ несообщительный и угрюмый; чѣмъ старше онъ становился, тѣмъ неуклюжѣе и неотесаннѣе дѣлалась вся его фигура. Придетъ, бывало, сядетъ какъ-то особнякомъ, закуритъ папиросу и молчитъ. Смотритъ всегда исподлобья, иногда вдругъ замурлычить или засмѣется, словно хочетъ сказать что-то очень колкое, но ничего не выходитъ. Къ удивленію, я и съ своей стороны чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко въ его присутствіи. И угрюмое молчаніе, и отрывистые отвѣты, которые онъ давалъ на мои вопросы — все явно показывало, что онъ тяготится присутствіемъ въ моемъ домѣ и что—будь онъ свободенъ—порогъ моей квартиры никогда не увидѣлъ бы ноги его. Сначала я думалъ, что онъ, или неумыя, или запуганъ, но въ послѣдствіи по многимъ признакамъ убѣдился, что отчужденность его обдуманная, сознательная. Очевидно, въ головѣ этого юноши происходила какая-то своеобразная работа, но онъ считалъ ее настолько принадлежащею исключительно ему, что не имѣлъ ни малѣйшей охоты посвящать всякаго встрѣчнаго въ ея тайны. А на меня онъ повидимому именно смотрѣлъ какъ на „встрѣчнаго“, то-есть какъ на человѣка, передъ которымъ не стѣитъ метать бисера, и если не говорилъ прямо, что насилуетъ себя, поддерживая какія-то ненужныя и для него непонятныя родственныя связи, то во всякомъ случаѣ дѣйствовалъ такъ, что я не могъ не понимать этого.

И вотъ въ одно изъ воскресеній (это было уже лѣтъ пять спустя послѣ того, какъ онъ опредѣлился въ заведеніе по „юридической“ части) Коронатъ пришелъ ко мнѣ. На этотъ разъ онъ явился еще загадочнѣе, нежели когда-либо. По обыкновенію отыскалъ дальній уголь, сѣлъ и закурилъ папироску, но уже по тому, какъ дрожала его рука, зажигая спичку, я заключилъ, что онъ чѣмъ-то сильно взволнованъ. Нѣкоторое время онъ молчалъ; но плечи его безпрестанно вздрагивали, и онъ то обращалъ ко мнѣ свое лицо, какъ будто и рѣшался, и не рѣшался что-то высказать, то опять начиналъ смотрѣть прямо, испытывая пространство. Наконецъ онъ вдругъ выпалилъ:

— А я, дядя, въ медицинскую академію хочу!

— А школу какъ? по боку?—спросилъ я, нѣсколько испуганный этимъ внезапнымъ рѣшеніемъ.

— Стало быть — по боку.

— Христось съ тобой! чтѣ же за причина?

— Это было бы долго рассказывать, да притомъ и неинтересно для васъ. Словомъ сказать—я рѣшился.

Я былъ совсѣмъ озадаченъ. Меня всегда пугала та стремительность, съ которою нынѣшніе молодые люди принимаютъ самыя радикальныя рѣшенія и приводятъ ихъ въ исполненіе. Придетъ молодой человѣкъ (родственники у меня между *ними* есть), скажетъ: „прощайте! я завтра за границу удираю... совсѣмъ!“ Думаешь, что онъ шутку шутить, а нѣтъ, смотришь, и дѣйствительно завтра его слѣдъ простылъ! Или скажетъ: „прощайте! я на дняхъ туда нырну, откуда одна дорога: въ то мѣсто, гдѣ Макарь телятъ не гонялъ!“ Опять ду-



маешь, что онъ пошутилъ — не тутъ-то было! сказалъ, что нырну, и нырнулъ; а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, слышу, вынырнулъ, и именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ Макаръ телятъ не гонялъ. Словомъ, исполнилъ въ точности: стремительно, быстро, безъ колебаній. Я сначала полагалъ, что это у нихъ *такъ* дѣлается: ни съ того, ни съ сего, взялъ да и удралъ или нырнулъ; но потомъ убѣдился, что въ нихъ это мало-по-малу накапливается. Мы, старцы сороковыхъ годовъ, видимъ, какъ они молчатъ (при насъ они дѣйствительно молчатъ, словно имъ и говорить съ нами не о чемъ), и посмѣиваемся: вотъ, молъ, шалопай! чай, женскій вопросъ, съ точки зрѣнія Фонарнаго Переулка, разрѣшаютъ! А они совѣмъ не о томъ: у нихъ, просто, въ это время накапливается. Накопится, назрѣетъ, и вдругъ бацъ! — удару, нырну, исчезну... И какъ скажетъ, такъ и сдѣлаетъ.

И, все-таки, повторяю: какъ ни обыденна въ нынѣшнее время эта внезапность рѣшеній, она всегда меня пугаетъ. И странно, и жутко. Онъ, молодой-то человѣкъ, давно ужъ порѣшилъ, что ему *тамъ* лучше — благороднѣе! — а намъ, старцамъ, все думается: ахъ! да вѣдь онъ *тамъ* погибнетъ! И въ насъ вдругъ просыпается при этомъ вся сумма того теплаго, почти страстнаго соболѣзнованія къ гибнущему, которымъ вообще отличается сердобольная и непозабывшая принциповъ гуманности половина поколѣнія сороковыхъ годовъ. Сколько разъ я, на свою долю, принимался и уговаривать, и отклонять — и все напрасно.

— Послушайте, молодой человѣкъ! — говорилъ я: — что вамъ за охота гибнуть?

— Это было бы слишкомъ долго объяснять, да для васъ вѣдь оно и неинтересно.

— Но отчего же! Еслибъ съ вами говорилъ человѣкъ равнодушный или зложелательный, передъ которымъ вамъ было бы опасно душу открыть...

— Извольте-съ. Если вы ужъ такъ хотите, то души своей хотя я передъ вами и не открою, а на вопросъ отвѣчу другимъ вопросомъ: еслибъ вамъ, съ одной стороны, предложили жить въ сытости и довольствѣ, но съ условіемъ, чтобъ вы не выходили изъ дома терпимости, а съ другой стороны — предложили бы жить въ нуждѣ и не имѣть постоянного ночлега, но все-таки оставаться на волѣ — что бы вы выбрали?

Вопросъ странный, почти необыкновенный; но тѣмъ не менѣе коль скоро онъ однажды стоитъ передъ вами, то не отвѣтить на него невозможно. Стараешься, разумѣется, какъ-нибудь увильнуть, обратить дѣло въ шутку, но вѣдь есть совопросники, съ которыми даже шутить нельзя. Отвѣчайте, сударь, прямо; не увертывайтесь, а прямо говорите: что бы вы выбрали — сытный ли домъ терпимости, или голодную свободу? Ну, и отвѣчаешь: отвѣчаешь, конечно, въ такомъ смыслѣ, чтобъ самому себя лицомъ въ грязь не ударить и аттестатъ себѣ хорошей получить. Оно недурно, положимъ, въ довольствѣ да въ сытости пожить, да вѣдь дернула же нелегкая къ хорошему-то житью домъ терпимости пристегнуть. Домъ терпимости! каково-съ?!

— Стало быть, по вашему, мы въ домѣ терпимости живемъ? — попробуешь тоже отвѣтить вопросомъ на вопросъ.

— Стало быть-съ.

— И слѣдовательно я, который...

— Слѣдовательно-съ.

И только. Ни отступленія, ни раскаянія, ни даже самыхъ общеупотребительныхъ формулъ учтивости—ничего. Вотъ и старайся тутъ смягчать, да сглаживать, да компромиссы отыскивать! Чтò бы, напимѣрь, стоило сказать: „помилуйте! это я не объ васъ говорю!“ или хоть такъ: „о присутствующихъ, дескать, не говорить“, и т. д.,—нѣтъ, такъ-таки и преть: “стало быть-съ!“ Ничѣмъ, даже простою, ничего нестоющею вѣжливостію поступиться не хочеть! Посмотришь-посмотришь на эту необузданность, да и скажешь себѣ: нѣтъ, лучше съ этими господами не разговаривать! Подальше отъ нихъ—да-съ! Пускай они сами, какъ знаютъ, карьеру свою дѣлають, а мы, старцы, карьеру свою ужъ сдѣлали... да-съ!

А какъ бы покойно жить на свѣтѣ, еслибъ этой стремительности, этого самоуверенія не было! Шелъ бы всякій по своей части, одинъ по кавалергардской, другой по юридической, третій по морской, а маменька Марья Петровна сидѣла бы въ Березникахъ да умилялась бы, на дѣтокъ гляючи! И сдѣлался бы Коронатужка адвокатомъ, прослезился бы онъ въ Мясниковскомъ дѣлѣ и ужъ навѣрное упалъ бы въ обморокъ по дѣлу о поджогѣ Овсянниковской мельницы. И былъ бы онъ малый съ деньгами, обзавелся бы домкомъ, женился бы и вечеромъ, возвратясь изъ суда, говорилъ бы: „а я сегодня, душенька, Языкова подкузьмилъ: онъ—въ обморокъ, а я, не будь глупъ, да выкликать началъ!“ И вдругъ, вмѣсто всего этого—“хочу въ медицинскую академію!“

— Ты бы, однакожъ, прежде обдумалъ свое рѣшеніе, —обратился я къ Коронату послѣ минутнаго молчанія.

— Отчего же вы полагаете, что я не обдумалъ его?

— Ты, конечно, знаешь, что мать предназначила тебя не въ медики, а по юридической части...

— А ежели бы она меня по танцевальной части предназначила?

— Позволь, душа моя! Какъ ни остроумно твое сближеніе, но ты очень хорошо знаешь, что юридическая часть и танцевальная—двѣ вещи разныя. Твоя мать, желая видѣть въ тебѣ юриста, совсѣмъ не имѣла въ виду давать пищи твоему остроумію. Ты отлично понимаешь это.

— Но я еще лучше понимаю, что еслибъ она пожелала видѣть во мнѣ танцмейстера, то это было бы много полезнѣе. Я отплясывалъ бы, но по крайней мѣрѣ вреда никому бы не дѣлалъ. А впрочемъ дѣло не въ томъ: я не буду ни танцмейстеромъ, ни адвокатомъ, ни прокуроромъ — это я ужъ рѣшилъ. Я буду медикомъ; но для того, чтобъ сдѣлаться имъ, мнѣ нужно пять лѣтъ учиться и въ теченіе этого времени имѣть хоть какія-нибудь средства, чтобъ существовать. Вотъ по этому-то поводу я и пришелъ съ вами переговорить.

— А мать знаетъ о твоёмъ намѣреніи оставить школу?

— Знаеть.

— Чтò же она пишетъ?

— А вотъ прочтите.

Онъ вынулъ изъ кармана и подалъ мнѣ письмо, въ которомъ я прочи-



таль слѣдующее: „Любезный сынъ Коронатъ! Намѣреніе твое оставить юридическую часть и пойти по медицинской весьма меня удивило. Причину столь внезапнаго твоего предпочтенія, впрочемъ, очень хорошо понимаю: ты и прежде сего былъ непочтительнымъ сыномъ и впредь таковымъ быть намѣренъ. Ежели такъ, то пусть будетъ воля Божія! Хотя нынче и въ модѣ родителей не почитать, но я такой моды не признаю, и правила мои на этотъ счетъ очень тверды. Я всегда была христіанкой и матерью, и всегда буду. Слѣдовательно, ежели ты упорствуешь въ непочтительности, то и я въ своихъ правилахъ остаюсь непреклонною. И согласія моего на твою фантазію не изъясляю, а приказываю, какъ христіанка и мать: продолжай по юридической части идти, какъ тебѣ отъ меня и отъ Бога сіе предназначено. Въ противномъ же случаѣ надѣйся на себя, а на меня не пеняй. За симъ, да будетъ надъ тобой Божіе и мое благословеніе. Я же остаюсь навсегда неизмѣнно тебя любящая —

„Марія Промптова“.

— Это—отвѣтъ матери на мое письмо,—объяснилъ Коронатъ, когда я окончилъ чтеніе. —Я просилъ ее давать мнѣ по триста рублей въ годъ, куда я не кончу академическаго курса. Послѣ я обязуюсь отъ нея никакой помощи не требовать, и пожалуй даже возвратить тѣ полторы тысячи рублей, которые она употребитъ на мое содержаніе; но до тѣхъ поръ мнѣ нужно. То-есть, коли хотите, я могу обойтись и безъ этихъ денегъ, но это можетъ повредить моимъ занятіямъ.

Онъ остановился и взглянулъ на меня; я тоже глядѣлъ на него, волнуемый смутными подозрѣніями. Я зналъ, что Коронатъ не денегъ отъ меня хочетъ: на этотъ счетъ онъ всегда былъ очень брезгливъ. Одинъ разъ только, когда онъ былъ еще въ первомъ классѣ, онъ прислалъ ко мнѣ училищнаго сторожа съ запиской: „для нѣкотораго предпріятія необходимо 60 копѣекъ серебромъ, которыя и прошу вручить подателю сего; я же при первомъ удобномъ случаѣ возвращу“. И возвратилъ. Но ежели ничто не угрожало моимъ капиталамъ, то явно, что существовало какое-нибудь посягательство на мое спокойствіе, что на меня возлагалась надежда, быть можетъ сопряженная съ требованіемъ вмѣшательства. А между тѣмъ идеалъ всей моей жизни именно въ томъ и состоялъ, чтобы никогда ни во что не вмѣшиваться. Вмѣшательство! —при одномъ этомъ словѣ меня кидало въ дрожь! Поди, разговаривай, выслушивай тупоумныя возраженія, старайся опровергнуть мысли, въ которыхъ даже ухватиться не за что—сколько тутъ пошлаго празднословія, мелочныхъ уловокъ, дразгъ, утомительной суетни! А я ужъ и старъ, и усталъ. Состарѣлся — самъ не знаю какъ; усталъ — самъ не знаю отъ чего. Ахъ, лучше бы, во сто кратъ лучше бы, если бы онъ у меня денегъ попросилъ—право, я съ удовольствіемъ пятьдесятъ рублей, сто рублей отдалъ бы! Деньги—это, во-первыхъ, не сопряжено ни съ какими личными хлопотами: вынулъ изъ кармана, отсчиталъ—и пошелъ себѣ по Невскому щеголять; а во-вторыхъ—это жертва которую всякій оцѣнить и сосчитать въ состояніи. Давши деньги, можно, для облегченія сердца, кой-кому и пожаловаться. Вотъ-моль, самому были нужны, а бѣдный родственникъ пришелъ, да и утащилъ изъ-подъ носа. Такъ нѣтъ

же! не нужно ему, изволите видѣть, денегъ, а поди хлопочи, переливай изъ пустого въ порожнее, бей языкомъ, разстраивай себѣ печень — и все ради того, чтобъ въ результатѣ оказался пшикъ. Эхъ! сказано было: иди по юридической части — и иди! А если претитъ юридическая часть — ну, самъ и устраивайся, а другихъ не беспокой. Очень ужъ вы строги, господа, а между тѣмъ мало-ли между юристами хорошихъ людей! Да и не только между юристами — даже между шпионами бываютъ такіе, которые возвышенную душу имѣютъ. Я зналъ одного шпиона: придетъ, бывало, со службы домой, сядетъ за фортепьяно, начнетъ баллады Шопена разыгрывать, а слезы такъ и льются, такъ и льются изъ глазъ. Душа у него такъ и таетъ, сердце томительно надрывается, всемогущая, міровая скорбь охватываетъ все существо, а уста бессознательно шепчутъ „подлецъ я! великій, неисправимый подлецъ!“ И чтожь, пройдетъ какой-нибудь часъ или два — смотришь, онъ и опять при исполненіи обязанностей! Быстръ, находчивъ, бодръ, при случаѣ глубокомысленъ, при случаѣ сострадательнъ, при случаѣ шутливъ. А потомъ — и опять Шопенъ, и опять слезы, томительныя, сладкія слезы...

— Слѣдовательно, — продолжалъ между тѣмъ Коронать: — если вы желаете мнѣ быть полезнымъ, то этого можно достигнуть слѣдующимъ образомъ: вы съѣздите въ Березники и убѣдите мать, чтобъ она не глушила. Я желаю, чтобъ вы меня поняли, почтеннѣйшій дядюшка; я знаю, что вамъ мое предложеніе не можетъ нравиться, но такъ какъ тутъ дѣло идетъ о томъ, чтобъ вырвать чело-вѣка изъ омута и дать ему возможность остаться честнымъ, то полагаю, что можно и побезпокоить себя. Вы скажите матери, что я не больше пяти лѣтъ буду ей въ тягость, и что по выходѣ изъ академіи не только не обращусь къ ней за помощью, но пожалуй даже возвращу всѣ ея траты на меня.

Я разинулъ-было ротъ, чтобъ вставить и мое слово въ этотъ односторонній разговоръ, но онъ не далъ мнѣ.

— Вы поймите мое положеніе, — сказалъ онъ: — я и мать — мы смотримъ въ разныя стороны; впрочемъ объ ней даже нельзя сказать, смотреть ли она куда-нибудь. А между тѣмъ все мое будущее отъ нея зависитъ. Ничего я покуда для себя не могу. Не могу, не могу, не могу... Отъ одной этой мысли можно голову себѣ раздробить. Только нѣтъ, я своей головы не раздроблю... во всякомъ случаѣ! Прощайте. Надѣюсь, что я васъ не стѣс-нилъ.

Высказавши это, онъ всталъ, пожалъ мою руку и вышелъ изъ комнаты прежде, нежели я могъ очнуться отъ изумленія и что-нибудь возразить.

Не знаю, какъ это случилось, но черезъ недѣлю я былъ уже въ дорогѣ, а еще черезъ два дня — въ томъ самомъ Чemezовѣ, съ которымъ я уже столько разъ знакомилъ читателя.

Я остановился у Лукьяныча, который жилъ теперь въ своемъ домѣ, на краю села, при самомъ трактѣ, на собственномъ участкѣ земли, выговоренномъ при окончательной раздѣлкѣ съ крестьянами. До сихъ поръ я зналъ Лукьяныча исключительно какъ слугу. Приѣзжая въ Чemezово лишь изрѣдка и притомъ на самое короткое время, я останавливался въ старомъ господскомъ домѣ, куда являлся ко мнѣ и Лукьянычъ. Откуда онъ являлся, какое было его внѣ-служебное положеніе, могъ ли онъ обладать какою-либо иною



фізіономіей, кромѣ той, которую носилъ въ качествѣ старосты, радѣлъ ли онъ гдѣ-нибудь самостоятельно, за *свой* счетъ, въ *своемъ* углу, за *своимъ* горшкомъ шей, подѣ *своими* образами, или же, строго придерживаясь идеала „службѣ“, только о томъ и сохнулъ, какъ бы барское добро соблюсти — мнѣ какъ-то никогда не приходило въ голову поинтересоваться этимъ. Я зналъ смутно, что хотя онъ, въ моемъ присутствіи, ютился гдѣ-то въ подвальномъ этажѣ барскаго дома, но что у него, все-таки, есть на селѣ домъ, жена и семья; что два сына его постоянно живутъ въ Москвѣ по фруктовой части и что при немъ находятся только внучата да бабы, жены сыновей, при помощи которыхъ и справляется его хозяйство. Теперь я увидѣлъ его полнымъ хозяиномъ и самостоятельнымъ устроителемъ собственнаго муравейника, каждый членъ котораго по мѣрѣ силъ трудился на пользу общую. Онъ купилъ у крестьянъ на сносъ всю барскую стройку, половину продалъ, а изъ другой выбралъ матеріалъ покрѣпче и выстроилъ себѣ просторную избу. Въ одной половинѣ жилъ самъ съ семьей, а въ другую пускалъ проѣзжихъ извозчиковъ — благо трактъ былъ довольно оживленный.

Постарѣлъ онъ за эти восемь лѣтъ достаточно, но все еще былъ крѣпокъ, вполне сохранилъ зрѣніе и память и только на ноги жаловался, что въ погодѣ мозжать.

— Это я ихъ, должно быть, въ тѣ поры простудилъ, какъ въ первый холерный годъ рекрутовъ въ губернію сдавать ѣздилъ, — рассказывалъ онъ. — Схватили ихъ тогда наускори, сейчасъ же въ кандалы нарядили — и айда въ дорогу! Я-было за сапожниками домой побѣжалъ, а маменька ваша, царство небесное, увидѣла въ окошко да и поманила: „это, молъ, чтѣ еще за щеголь выискался — и въ валенкахъ будешь хорошъ!“ Анъ тутъ, какъ на грѣхъ, оттепель да слякоть пошла — ну, и схватилъ, должно полагать.

Принялъ онъ меня добродушно, почти съ радостью, но когда показывалъ свой домъ, то какъ будто сконфузился. Вѣроятно, думалъ: „увидитъ баринъ, какую Лукьянычъ махину соорудилъ, скажетъ: эге! стало быть, хорошо старостой-то служить!“ Представилъ мнѣ всю семью, отъ старшаго сына, котораго незадолго передъ тѣмъ изъ Москвы выписалъ, до мелконькаго-мелконькаго внучка Ёмушки, ползавшаго на полу на карачкахъ. Полюбопытствовалъ я на старое пепелище сходить — сводилъ и туда. На мѣстѣ господскаго дома стояли бугры и глубокія ямы, наполненныя осколками кирпича и штукатурки; поверхъ мусора густою стѣной разрослась крапива, а по мѣстамъ пробивались молодые березки. Но стараго сада покуда еще не тронули попрежнему былъ онъ полонъ прохлады и сумерокъ; попрежнему, старыя дуплистыя липы и березы задумчиво помавали въ вышинѣ всклокоченными вершинами; попрежнему волною неслись отовсюду запахи и прозрачною душистою массою стояли въ воздухѣ.

— Ишь парки-то! — молвилъ Лукьянычъ, когда я, охваченный волнами прошлаго, невольно остановился посреди одной изъ аллей. — Деруновъ мужичкамъ тысячу рублей сулилъ, чтобъ на дрова срубить, однако мужички согласія не дали. Развѣ что послѣ будетъ, а покуда у насъ здѣсь дѣвки по воскресеньямъ хороводы водятъ... гулянье! Такъ и въ приговорѣ написали.

Поговоривши о дѣлахъ, потревоживши старицу, спросилъ я Лукьяныча

и о Промтвыхъ; но, къ величайшей неожиданности, вѣсти были очень неутѣшительныя.

— Совсѣмъ нынче Марья Петровна Бога забыла, — сказалъ мнѣ Лукьянычъ: — прежде хотъ землей торговала, все не такъ было зазорно, а нынче ужъ кабаками торговать начала. Восемь кабаковъ на округѣ подъ чужими именами держитъ; а сколько она черезъ это крестьянамъ обиды дѣлаетъ — кажется, никакими слезами ей того не замолить!

— Да вѣдь крестьяне — не маленькіе, голубчикъ. Неужто-жъ стѣитъ только кабакъ поставить, чтобы вся деревня такъ и разорилась до тла! Не ходи въ кабакъ! не пей!

— Это что и говорить! чего лучше, коли совсѣмъ не пить! только вѣдь мужику время провести хочется. Книжекъ мы не читаемъ, мѣстовъ такихъ, гдѣ бы безъ вина посидѣть можно, у насъ нѣтъ — отъ того и идутъ въ кабакъ. А поналъ туда разъ — и въ другой придешь. Дѣла-то у мужика стѣны голыя, у другого и печка-то къ вечеру выстыла, а въ кабакъ онъ придетъ — тамъ и свѣтло, и тепло, и людно, и хозяинъ ласковый — таково весело косушечками постукиваетъ. Ну, и выходитъ, что хотъ мы и не маленькіе, а въ нашемъ сословіи одно что-нибудь: либо въ кабакъ иди, либо, ежели себя соблюсти хочешь, запишись дѣла, да и седи въ четырехъ стѣнахъ, словно чумной.

— Помнитъся, старостой-то ты не такъ говорилъ?

— Начальникомъ былъ, усердіе имѣлъ — ну, и говорилъ другое. Оброки сбиралъ: къ одному придешь — денегъ нѣтъ, къ другому придешь — хотъ шаромъ на дворъ покати! А баринъ съ теплыхъ водъ пишетъ: вынь да положи! Ходишь-ходишь — и скажешь грѣхомъ: ахъ, волкъ васъ задави! своего барина, мерзавцы, на кабакъ промѣняли! Ну, а теперь самъ мужикомъ сдѣлался.

— Да вѣдь ты самъ-то не пьешь?

— Отъ роду не пивалъ. Такъ вѣдь я не то чтобы за грѣхъ почиталъ, а настраиваю ужъ очень: мужикъ, молъ, ты, а коли мужикъ пить началъ — такъ тутъ ему и капутъ. Ну, и боишься. А отчего же въ другихъ сословіяхъ бываетъ, что и пьютъ, а себя все-таки помнятъ? И Степанъ у меня покуда въ кабакъ никогда ноги не ставилъ, только вотъ что я вамъ скажу: выписалъ я его изъ Москвы, а теперь вижу, что ему скучненько у насъ. День-то еще нешто, словно бы и дѣло дѣлаешь: въ анбаръ заглянешь, за ворота выйдешь, на дорогу поглядишь, а вечеръ наступитъ — и пошелъ сонъ долить. Ты зѣвнулъ, за тобой другой, третій зѣвнулъ — смотришь, анъ и вся семья зазѣвала.

— А какъ Машенька съ новымъ мужемъ живетъ? согласно?

— Да не слышать нішто. Видится, какъ будто она въ домѣ-то головой. Онъ все предсѣдателемъ въ управѣ состоитъ, больше въ городѣ живетъ, а она здѣсь распоряжается. Нынче, впрочемъ, у нихъ не очень здорово. Несчастья пошли. Сначала-то сынъ старшенькій изобидѣлъ...

— Какъ такъ?

— Долговъ, слышь, надѣлалъ. Какой-то мадамъ двѣ тысячи задолжалъ, да фруктовику тысячу. Ужъ пріятель какой-то покойнаго Саввы Си-



лыча изъ Петербурга написалъ: скорѣе деньги присылайте, не то изъ заведенія выключать. Марья-то Петровна три дня словно безумная ходила, все шептала: „три тысячи! три тысячи! три тысячи!“ Она трехъ-то тысячъ здѣсь въ годъ не проживетъ, а онъ, поди, въ одну минуту эти три тысячи матери въ шею наколотилъ!

— Чѣмъ же они рѣшили?

— Было тутъ всего. И молебны служили, и къ покойному Саввѣ Силычу на могилку ѣздили. Филоеей-то Павлычъ все просилъ, чтобъ она его проклала, однако она не согласилась: любимчикъ! Думала-думала и кончила тѣмъ, что у Дерунова выкупное свидѣтельство размѣняла, да и выслала денежки на уплату мадамѣ.

— Ну, а еще чтó у нихъ случилось?

— А потомъ вскорѣ дочка съ судебнымъ слѣдователемъ сбѣжала — тоже любимочка была. И тутъ дымъ коромысломъ у нихъ пошелъ; хотѣла-было Марья Петровна и къ губернатору-то на судъ ѣхать, и прошеніе подавать, да ночью ей, слышь, видѣніе было: Савва Силычъ, сказываютъ, явился, простить приказалъ. Ну, простила, теперь другъ къ дружкѣ въ гости ѣздить.

— Такъ что теперь Машенька одна съ мужемъ живетъ?

— Одна, и мужъ-то почти никогда дома не бываетъ. Еще больше въ кабаки ударились: усчитываетъ да усчитываетъ своихъ повѣренныхъ. Непонятлива ужъ очень: то копѣйки не найдетъ, то цѣлаго рубля не видитъ. Изъ-за самыхъ пустяковъ по цѣлымъ часамъ человѣка тиранить!

На другой день, утромъ рано, я отправился въ Березники. Изъ полученныхъ свѣдѣній я не могъ вывести никакого заключенія относительно будущности, ожидающей предпринимаемое мною дѣло, и потому старался припомнить себѣ нравственный образъ кузины Машеньки. Но ничего яснаго, отчетливаго составить себѣ не могъ. Что-то недодѣланное, обрывочное, въ высшей степени противорѣчивое мелькало у меня передъ глазами. Женщина съ ребяческими мыслями въ головѣ и съ пошло-старческими словами на языкѣ; женщина, пораженная недугомъ институтской мечтательности и вмѣстѣ съ тѣмъ по уши потонувшая въ мелочахъ самой скаредной обыденной жизни; женщина, снѣдаемая неутолимою жаждой пріобрѣтенія и въ то же время считающая не иначе какъ по пальцамъ; женщина, у которой съ первымъ ударомъ колокола къ „Достойной“ выступаютъ на глазахъ слезки и кончикъ носа неизмѣнно краснѣетъ, и которая, во время проскомидіи, считаетъ вполне дозволеннымъ думать: „а что, кабы у крестьянъ пустошь Клиницы перебить, да потомъ имъ же перепродать?“.. Зачѣмъ? ну, зачѣмъ я пріѣхалъ?

Признаюсь откровенно: давно я не чувствовалъ себя такъ непріятно, какъ въ ту минуту, когда Березники, залитые въ лучахъ іюльскаго солнца, открылись передъ моими глазами.

Березники смотрѣли такъ же солидно и запасливо, какъ и въ послѣднее мое посѣщеніе. Но ни около службъ, ни около дома никого не было видно: по случаю рабочей поры всякій былъ около своего дѣла. На крыльцѣ меня встрѣтила лохматая и босая дѣвчонка въ затрапезномъ платьѣ (Машенька особенно старалась сохранить за своею усадьбой характеръ крѣпостного права,

и потому держала на своихъ хлѣбахъ почти весь женскій штатъ прежней барской прислуги) и торопливо объявила, что Филоею Павлычъ въ городъ уѣхали, а Марья Петровна въ поле ушли. Впрочемъ она тутъ же опрометью бросилась черезъ дворъ, вѣроятно за барыней, такъ что я уже собственною властью вошелъ сначала въ переднюю, а потомъ и въ комнаты. Въ залѣ было жарко и душно, какъ на полкѣ въ банѣ; на полу, на разостланномъ холстѣ, сушили розовый листъ и липовый цвѣтъ; на окнахъ, на самомъ солнечномъ припекѣ, стояли бутылки, до горлышка набитыя ягодами и налитыя какою-то жидкостью; мухи мириадами кружились въ лучахъ солнца и какъ-то неистово гудѣли около потолка; гдѣ-то въ окнѣ бился слѣпень; вдали, въ перспективѣ, виднѣлась остановившаяся кошка съ птицей въ зубахъ. Въ гостиной было прохладнѣе, благодаря отворенной двери на балконъ, защищенный навѣсомъ. Тутъ я и остался въ ожиданіи хозяйки.

Минуты ожиданія длились довольно томительно. Сначала гдѣ-то вдали хлопнула дверь — и все смолкло. Потомъ кто-то стремглавъ пробѣжалъ по корридору — и опять воцарилось безмолвіе минутъ на десять. Наконецъ вдругъ всѣ двери точно сорвались съ петель, словно волна какая-то шла; началось всеобщее хлопанье и угорѣлая бѣготня; послышались голоса, то громкіе, то осторожные, отдававшіе различные приказанія.

— Галантирь изъ телячьей головки приготовить не забудь! — раздавалось гдѣ-то.

— Яицъ-то, яицъ на пирожное повару выдайте! — кричалъ кому-то въ догонку чей-то голосъ.

Машенька измѣнилась необыкновенно. Эта маленькая головка, эти мелкія черты лица, эта миниатюрная фигурка съ легкимъ, почти воздушнымъ станомъ — все это сморщилось, съжилось, свернулось въ комочекъ. Глаза ввалились и, вмѣсто прежней грусти ни объ чемъ, выражали простую тусклость; кожа на щекахъ и на лбу отливала желтизною; носъ вытянулся, губы выпвѣли, подбородокъ заострился; въ темныхъ волосахъ прокрадывались серебристыя змѣйки. Взамѣнъ того корпусъ отяжелѣлъ и обнаруживалъ явную наклонность сдѣлаться совсѣмъ шарообразнымъ. Увидѣвши меня, она сначала какъ бы удивилась, но сейчасъ же оправилась и протянула мнѣ обѣ руки.

— Ахъ, мой родной! Кто бы могъ думать! — восклицала она, обнимая меня: — вѣдь эта глупая Анютка сказала, что новый становой пріѣхалъ — ну, я и не тороплюсь! А это — вотъ кто! вотъ неожиданность-то! вотъ радость! И Филоею Павлычъ... вотъ удивится-то! вотъ-то будетъ радъ!

— Мнѣ сказали, что онъ въ городѣ...

— Будетъ, мой другъ, къ обѣду, непременно будетъ. И Нонночка съ мужемъ — всѣ вмѣстѣ пріѣдутъ. Чай, ты ужъ слышалъ: вѣдь я дочку-то замужъ выдала! а какой человекъ... преотличнѣйшій! Въ слѣдователяхъ служить у насъ въ уѣздѣ, на дняхъ цѣлую шайку подметчиковъ изловилъ! Вотъ радость-то, будетъ! Ахъ ты родной мой, родной!

Какъ ни порывисты были эти восклицанія радости, но на меня уже они не производили прежняго дѣйствія. Мнѣ слышалась въ нихъ только дань тѣмъ традиціямъ родственности, которыя предписываютъ во что бы то ни стало встрѣчать „добраго родного“ шумными изъясненіями радостнаго празд-



послословія. Это — такой же безсодержательный обычай, такое же лганье, какъ и причитаніе по покойникѣ. И прежде вѣроятно она лгала, и теперь лжетъ. Только прежде у нея полненькія щечки были — выходило мило, а теперь щечки съѣжились — выходитъ противно. Очень возможно, что она и сама не сознаетъ своего лганья, но я увѣренъ, что еслибъ она въ эту минуту порылась въ тайникахъ своей души, то нашла бы тамъ не родственное ликованіе, а очень простую и совершенно естественную мысль: вотъ, молю, принесла нелегкая „гостя“... въ рабочую пору!

Тѣмъ не менѣе она усадила меня на диванъ передъ неизбѣжнымъ овальнымъ столомъ, по бокамъ котораго, по преданію всѣхъ старинныхъ помѣщичьихъ домовъ, были симметрически поставлены кресла; усадивши, обезпокоилась, достаточно ли покойно мнѣ сидѣть, подложила мнѣ подъ руку подушку и даже выдвинула изъ-подъ дивана скамейку и заставила меня положить на нее ноги.

— За дѣломъ, что-ли, за какимъ пріѣхалъ, или такъ? — спросила она меня, когда кончились перыя изліянія, въ которыхъ главную роль играли пожиманія рукъ, оглядыванія и восклицанія: „ахъ, какъ постарѣлъ!“ или: „ахъ, какъ посѣдѣлъ!“ за которыми, впрочемъ, сейчасъ же слѣдовало: „чтожъ я, однакожъ: совсѣмъ не постарѣлъ! какой былъ, такой и остался... даже удивительно!“

— Нѣтъ, не за дѣломъ, — отвѣтилъ я: — а именно „такъ“.

— Ну, и слава Богу! на старинное пепелище посмотришь, могилкамъ поклонись, роднымъ воздухомъ подышешь — все-таки, освѣжишься! Чай, у Лукьяныча во дворцѣ остановился? да, дворецъ онъ себѣ нынче выстроилъ! тѣсно въ избѣ показалось, помѣщикомъ жить захотѣлъ... Ахъ, мой другъ!

Это было высказано не безъ ехидства, но не потому, чтобы она пыталась къ Лукьянычу какое-нибудь зло, а просто „такъ“. Какъ, молю, это мужикъ себѣ „дворецъ“ выстроилъ — что-то ужъ больно чудно!

Начались разспросы, хорошо ли живется, здоровье паче всего въ исправности ли, продолжаю ли я по сатирической части писать, и т. д.

— А я, мой другъ, такъ-таки и не читала ничего твоего. Показывалъ мнѣ прошлой зимой Филоеѣй Павлычъ въ вѣдомостяхъ объявленіе, что книга твоя продается — ну, и собралась все выписать, даже деньги отложила. А потомъ, за тѣмъ да за сѣмъ — и пошло дѣло въ длинный ящикъ! Ужъ извини, Христа ради, сама знаю, что не по родственному это, да ужъ...

— Помилуй, при чемъ же тутъ родство? — времени у тебя вѣроятно нѣтъ — вотъ и все.

— Ахъ, времени-то нѣтъ — это такъ; это ты правду сказалъ. Такъ мало, такъ мало у меня времени, что еслибы, кажется, сорокъ-восемь часовъ въ суткахъ было, и тѣхъ бы недостало, чтобы всѣ дѣла передѣлать. А впрочемъ ты не думай, чтобы я совсѣмъ не интересовалась тобой. Всякій разъ, какъ дѣтямъ пишу, всегда о тебѣ спрашиваю. Ну, Коронатъ — тотъ молчитъ, а Θεогностушка частенько-таки о тебѣ увѣдомляетъ. Ахъ, какъ ты, однакожъ, постарѣлъ! и въ особенности посѣдѣлъ! такъ посѣдѣлъ! такъ посѣдѣлъ! Постой-ка я поближе на тебя посмотрю... А чтожъ, впрочемъ...

нѣтъ! какой въ послѣдній разъ пріѣзжалъ, такимъ и теперь остался! Право-ну, ни на волосъ не перемѣнился!

— Да что же ты все обо мнѣ; ты лучше о себѣ Расскажи! — откликнулся я, когда она ужъ достаточно повертѣла меня во всѣ стороны.

— Что же я могу тебѣ о себѣ сказать! Моя жизнь — все равно, что озеро въ лѣсу: ни зыби, ни ряби, тихо, уединенно, безшумно, только небо сверху смотрится. Конечно, нельзя, чтобъ совсѣмъ безъ заботъ. Хотя и въ забытомъ углу живемъ, а все-таки приходится и о себѣ, и о другихъ хлопотать.

— И ты счастлива?

Я очень хорошо замѣтила, что при этомъ вопросѣ ея носъ слегка вздрогнулъ; но повидимому она сейчасъ же вспомнила, что, по кодексу родственныхъ приличій, никогда не слѣдуетъ упускать случая для лганья — и поправилась.

— Откровенно тебѣ скажу: очень я, мой другъ, счастлива! — лгала она: — такъ счастлива! такъ счастлива, что и не знаю, какъ Бога благодарить! Вотъ хоть бы Нонночка — никогда я худого слова отъ нея не слыхала! Опять и мужъ у нея... такъ ласковъ! такъ ласковъ!

Сказавши это, она быстро кинула на меня испытующій взглядъ, не слыхалъ ли, молъ, чего, но, должно быть, ничего не прочитала на моемъ лицѣ и успокоилась.

— Вотъ и Θεогностушка тоже — такъ меня радуетъ! — продолжала она лгать: — ни грубаго слова, ни претензіи — никогда! Ласковый мальчикъ! откровенный! А ежели иногда, по молодости лѣтъ, и впадетъ въ ошибку (она бросила на меня новый испытующій взглядъ) — ну, сейчасъ же и поправится: виновать, маменька! И обезоружить. Ахъ, мой другъ! великая эта милость Божія, коли дѣти родителей почитаютъ! Почтеніемъ да ласкою — только вѣдь этимъ и держится свѣтъ! Ежели дѣти родителей почитаютъ, то и родители, съ своей стороны... Вотъ Коронатъ — ну, про этого... А впрочемъ грѣхъ мнѣ роптать, другъ мой. Всѣмъ Господь свой крестъ посылаетъ, ну, и мнѣ, стало быть...

Она задумалась и сомнительно покачала головой.

— Чтожъ, и Коронатъ, кажется — хорошій молодой человѣкъ! — челъ долгомъ вступиться я.

— Какъ бы тебѣ сказать, голубчикъ! Для другихъ, можетъ быть, и хорошо, а для меня... Не знаю! не вижу я отъ него ласки! не вижу!

— Тебѣ бы все ласки! а ты пойми, что у людей разные темпераменты бываютъ. Одинъ любитъ приласкаться, маменькину ручку поцѣловать, а другому это просто въ голову не приходитъ. Коронатъ скромнень, учится хорошо, жалобъ на него нѣтъ; мнѣ кажется, что больше ты и требовать отъ него не вправѣ.

— Ну, а мнѣ ужъ позволъ *свое* мнѣніе объ этомъ имѣть.

— Имѣй сколько угодно, но только не забудь: если ты будешь избѣгать повѣрки этого „*мнѣнія*“, какъ теперь, напримѣръ, то скоро изъ мнѣнія у тебя вырастетъ *предубѣжденіе*...

— Нѣтъ ужъ... Хотя ты и родной мнѣ, и я привыкла мнѣнія родныхъ



уважать... Впрочемъ, это — ужъ не первый у насъ разговоръ: ты всегда защитникомъ Короната былъ. Помнишь, въ послѣдній твой прїѣздъ? Я его безъ парожнаго оставить хотѣла, а ты выпросилъ!

— Помню, помню; ты и тогда ужъ Короната въ категорію „непочтительныхъ“ записала!

Я взглянулъ на нее: лицо ея глядѣло совершенно спокойно; но что-то, не то чтобы злое, а глупо-непоколебимое сквозило сквозь это спокойствіе. Какъ будто бы она говорила: какъ ты тамъ ни ораторствуй, а у меня „свои правила“ есть. Это бываетъ особенно съ женщинами, ибо онѣ вообще какъ-то охотнѣе, нежели мужчины, составляютъ себѣ „правила“. Иная во всю свою молодость только и слышала: „ахъ, миленькая! какъ къ ней это платище идетъ!“ — смотришь, анъ она изъ этого какія-то „правила“ вывела! Потомъ выйдетъ замужъ, сначала попадетъ въ школу прописей подъ начальствомъ какого-нибудь Саввы Силыча, затѣмъ перейдетъ въ другую школу прописей подъ фирмою Филовея Павлыча — смотришь, и опять у нея „правила“. И такъ она за эти „правила“ держится, что, словно львица разъяренная, готова всякому горло зубами перервать и кровь выпить, кто къ нимъ безъ сноровки подойдетъ!

Главное свойство этихъ „правилъ“ — отсутствіе всякихъ правилъ и полная невозможность отдѣлится отъ шелухи ту руководящую мысль, которая послужила для нихъ основаніемъ. Это — какая-то неуловимая путаница, въ которой ни за что ухватиться нельзя, но потому-то именно она и обладаетъ своего рода неприступностью. Заберется „миленькая“ въ эту своеобразную крѣпость, и никакъ ее оттуда не вытащишь. И на убѣжденія, и даже на прямыя опроверженія жизни — на все будетъ говорить: у меня свои „правила“ есть. Единственное средство пролѣзть въ эту крѣпость — это начать *уговаривать* „миленькую“, то-есть взять ее за руки, посадить поближе къ себѣ и гладить по спинкѣ, какъ лошадку съ норовомъ: тпру, милая, тпру! но-но-но-но! Оглаживаешь, оглаживаешь — и видишь, какъ постепенно начинаютъ „правила“ таять. Таютъ, таютъ — и вдругъ образуются новыя „правила“, иногда тѣ самыя, какихъ нужно, а иногда и другія, совсѣмъ неожиданныя...

Лѣтъ восемь тому назадъ я непремѣнно употребилъ бы это средство въ отношеніи къ Машенькѣ, но теперь, въ виду измѣненій, которыя произошли въ ея вѣѣшности, оно показалось мнѣ нѣсколько рискованнымъ. Во всякомъ случаѣ я рѣшилъ прибѣгнуть къ нему лишь въ крайности.

— А я... много я пережѣнилась, братецъ? — спросила она меня, словно угадывая часть моихъ мыслей.

— Нѣтъ... ничего! Какъ была восемь лѣтъ тому назадъ, такъ и теперь... ничего! — солгалъ я „по рождественному“.

— Ну, ужъ, чай, гдѣ ничего! Состарѣлась я, голубчикъ, вотъ только духомъ еще бодра, а тѣло... А впрочемъ и то сказать! О красотѣ ли въ моемъ положеніи думать (она вздохнула)! Живу здѣсь въ углу, никого не вижу. Прежде хотъ Нонночка была, для нея одѣвалась, а теперь и одѣваться не для кого.

— Ты бы въ Петербургъ на зиму прїѣхала; на дѣтей бы посмотрѣла.

— И, чтò ты! въ Петербургъ! Я и отъ людей-то отвыкла. Право.

Мѣсяца съ два тому назадъ вице-губернаторъ нашъ уѣздъ ревизовалъ, такъ Филоеѣй Павлычъ его обѣдать сюда пригласилъ. Чтѣжь бы ты думалъ? Спрашиваетъ онъ меня за обѣдомъ... ну, однимъ словомъ, разговариваетъ, а я, какъ солдатъ, вскочила это изъ-за стола: „точно такъ, ваше превосходительство!“... Совсѣмъ-таки свѣтское обращеніе потеряла.

— Поживешь мѣсяць-другой въ Петербургѣ — опять привыкнешь.

— Поздно, другъ мой; въ Покровъ мнѣ ужъ сорокъ-три будетъ. Я вотъ въ шесть часовъ вставать привыкла, а у васъ, въ Петербургѣ, и извозчики раньше девяти не выѣзжаютъ. Чтѣжь я съ своею привычкою-то дѣлать буду? сидѣть да глазами хлопать! Нѣтъ ужъ! надо и здѣсь кому-нибудь хлопотать: дѣти вѣдь у меня. Ахъ, дѣтки, дѣтки!

— Чтѣжь „дѣтки“! Дѣтки и безъ тебя дорогу найдутъ, нечего ужъ очень-то убиваться объ нихъ. Вотъ, напримѣръ, Коронатъ: ну, могу тебя увѣрить, что онъ...

— Ахъ, братецъ! ты все объ немъ!

— Отчего же и не говорить объ „немъ“? Скажи на милость, развѣ онъ чѣмъ-нибудь тебя огорчилъ, что ты какъ будто имъ недовольна?

— Нѣтъ, ничего... Заварилась-было у насъ каша на дняхъ, ну, да вѣдь я...

— А чтѣ именно?

— Нѣтъ, такъ... Я ужъ ему отвѣтила. Умнѣе матери хотеть быть... Однако это еще бабушка на-двое сказала... да! А впрочемъ, и я хороша: тебя прошу не говорить о немъ, а сама твержу: Коронатъ да Коронатъ! Будемъ-ка лучше объ себѣ говорить. Вотъ я сперва закуску велю подать, а потомъ и поговоримъ; да и наши, того гляди, подѣдутъ. И препріятно денекъ вмѣстѣ проведемъ!

Подали завтракъ, сѣли, но объ себѣ какъ-то не говорилось. Это довольно часто случается съ людьми, которые когда-то были близки, потомъ надолго разстались, потомъ опять свидѣлись. И вдругъ оказывается, что не только имъ не объ чемъ говорить, но что они даже положительно въ тягость другъ другу. Мы хотя и не совсѣмъ были въ такомъ положеніи, но все-таки ощущали томительную неловкость. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ воспоминаніямъ, какъ къ такой нейтральной почвѣ, на которой всего легче выйти изъ затрудненія; но мнѣ какъ-то и вспоминать не хотѣлось. Напрасно Машенька заговаривала, указывая то на липовый кругъ, то на лужайку, обсаженную березами: „помнишь, какъ мы тутъ игравали?“ Или: „помнишь, какъ въ папенькины именины покойница Каролина Ѳедоровна (это была гувернантка Маши) подъ вонъ тѣми березами группу изъ насъ устроила: меня по срединѣ съ гирляндой изъ розановъ поставила, а ты и братецъ Владиміръ Ивановичъ — гдѣ онъ теперь? кажется, въ Москвѣ, въ адвокатахъ служить? — въ видѣ ангеловъ, въ васильковыхъ вѣнкахъ, по бокамъ стояли? Ахъ, времячко, времячко!“ Я отвѣчалъ на эти напомниманія односложными словами и съ неохотой. И разговоръ навѣрное упалъ бы совсѣмъ, еслибъ я не рѣшился вновь поворотить его на тотъ предметъ, который собственно и составлялъ цѣль моей поѣздки.



— Послушай! — сказалъ я: — я долженъ сознаться передъ тобой, что прїѣхалъ сюда собственно по желанію Короната.

При этихъ словахъ она нѣсколько поблѣднѣла, и сухая улыбка скользнула на ея губахъ.

— По желанію Короната? — повторила она: — вотъ какъ! стало быть, Коронатъ въ тебѣ адвоката нашелъ!

— Да, онъ просилъ меня. Онъ желалъ, чтобъ я лично тебѣ подтвердилъ, что онъ хочетъ оставить школу и поступить въ медицинскую академію.

— Хочеть!.. какъ-то это для меня странно... хочеть! Помнишь, мы въ эти года не смѣли хотѣть, а дожидались, какъ старшіе захотятъ!

— Дѣло не въ выраженіяхъ, мой другъ, и прошу тебя, ты меня на словахъ не лови. Если тебѣ не нравится слово „хочеть“...

— И откровенно тебѣ скажу: даже очень, очень не нравится... Такъ какъ-то пошло ужъ слишкомъ!

— Не онъ это слово сказалъ, а я, слѣдовательно ты можешь его замѣнить другимъ: „желалъ бы“, „предполагалъ бы“, „осмѣливался бы думать“ — словомъ сказать, выразиться, какъ тебѣ самой кажется почтительнѣе. И такъ, къ дѣлу. Онъ писалъ тебѣ о своемъ желаніи и получилъ отъ тебя двусмысленный отвѣтъ...

— Вотъ ужъ не двусмысленный! Напротивъ того, я даже слишкомъ ясно отвѣтила, что никакихъ перемѣщеній не хочу... не то что „не желаю“, а именно „не хочу“! Не хочу, не хочу и не хочу!

— Но ежели онъ желаетъ этого? Если онъ въ перемѣщеніи видитъ для себя пользу?

— Ахъ, Боже мой! Если онъ желаетъ! если онъ для себя видитъ пользу! Чтѣ же съ Богомъ! Нечего у матери и спрашиваться... если онъ желаетъ!

Она улыбалась и даже слегка подсмѣивалась, но уже не просто сухость, а злорадство откликнулось въ этомъ смѣхѣ. Злорадство и какое-то торжествующе-идіотское „хоть колъ на головѣ теши“!

— И прекрасно, что ты не препятствуешь: мы примемъ это къ свѣдѣнію. Но вопросъ не въ этомъ одномъ. Ему необходимо существовать въ теченіе пяти лѣтъ академическаго курса, и ежели онъ, ради насущнаго труда, долженъ будетъ удѣлять добрую часть времени постороннему труду, то это несомнѣнно повредитъ его учебнымъ занятіямъ... ты понимаешь меня?

— Не понимаю... нѣтъ, ничего я не понимаю! Какъ это трудъ можетъ повредить занятію?!

— Очень просто. Вотъ ты своимъ хозяйствомъ занимаешься, а предположи, что необходимость заставляла бы тебя, въ то же время, уроки танцованья давать; вѣдь хозяйство твое потеряло бы отъ этого, не такъ ли?

— Уроки танцованья, хозяйство... воля твоя, ничего я тутъ не понимаю, мой другъ!

— Однимъ словомъ, необходимо, чтобы ты, въ теченіе пяти лѣтъ, оказывала ему помощь.

— Ну, это... статья особенная!

То-есть, какъ же... ты отказываешь ему?

— Ничего я не „отказываю“, мой другъ, а только такъ говорю: особенная это статья.

— Но вѣдь ты тратишься же на него теперь? ты даешь ему денегъ на лакомство, ты платишь за него тому господину, который беретъ его къ себѣ по праздникамъ?

— Да, покуда онъ волю родительскую чтить.

— Но что же ты имѣешь противъ его намѣренія?

— Ничего я не имѣю, а вообще... Чтѣжь, коли хочеть по медицинской части идти—пусть идетъ, я препятствовать не могу! Можетъ быть, онъ и счастье себѣ тамъ найдетъ; можетъ быть, самъ Богъ ему невидимо на эту дорогу указываетъ! Только ужъ...

— Такъ помоги ему!

— Ну, это... особенная статья.

— А почему же?

— А почему... потому...

Машенька окончательно заволновалась и долго бормотала что-то, словно не могла совладѣть съ своими мыслями. Наконецъ она, однакожь, кое-какъ собрала ихъ.

— Ужъ коли ты хочешь непременно знать, почему, — сказала она, повышая голосъ: — такъ вотъ почему: правила у меня есть!

— Какія же это правила?

— А такія правила, что дѣти должны почитать родителей — вотъ какія!

— Въ чемъ же, однако, выразилась непочтительность Короната?

— И ежели родители что желаютъ, то дѣти должны повиноваться и не фантазировать! — продолжала Машенька, не слушая меня: — да, есть такія правила! есть! И правительству эти правила извѣстны, и всѣмъ! и никому эти правила пощады не дадутъ — не только дѣтямъ... непочтительнымъ, но и по-таковщикамъ ихъ!

— Такъ ты, значить, и меня... по-родственному?

— Нѣтъ, я не про тебя, а вообще... И Богъ непочтительнымъ дѣтямъ потачки не даетъ! Вотъ Хамъ: что ему было за то, что отца родного осудилъ! И до сихъ поръ хамское-то племя... только недавно милость имъ дана!

— Но ежели ты такъ вѣрно знаешь, что Богъ непочтительныхъ дѣтей наказываетъ, то пусть Онъ и накажетъ Короната! Предоставь это дѣло Богу, а сама жди и не вмѣшивайся!

Слова эти окончательно раздражили ее, такъ что она почти хриплымъ голосомъ кинула мнѣ въ отвѣтъ:

— Ахъ, мой родной! ужъ извини ты меня! не училась вѣдь я кощунствовать-то!

— Тутъ и нѣтъ кощунства. Я хочу сказать только, что если ты вмѣшиваешь Бога въ свои дѣла, то тебѣ слѣдуетъ сидѣть смирно и дожидаться результатовъ этого вмѣшательства. Но все это, впрочемъ, къ дѣлу не относится, и, право, мы сдѣлаемъ лучше, если возвратимся къ прерванному разговору. Скажи пожалуйста, съ чего тебѣ пришла въ голову идея, что Коронатъ непременно долженъ быть юристомъ?



— Стало быть, пришла... если такъ вздумалось!

— Вотъ видишь: тебѣ „вздумалось“, а Коронатъ, по твоему мнѣнію, не имѣетъ права быть даже сознательно убѣжденнымъ! Вѣдь ему, конечно, ближе извѣстно, какая профессія для него болѣе привлекательна.

— Хороша привлекательность... собакъ потрошить!

— Въ этомъ ли привлекательность, или въ чемъ-нибудь другомъ— это вопросъ особый. Важно тутъ убѣжденіе, на какомъ поприщѣ можешь наибольшую сумму пользы принести.

— Однако! по твоему, значить, дѣти умнѣе родителей стали! Чтѣжь, по нынѣшнему времени—пожалуй!

— Оставь, сдѣлай милость, нынѣшнее время въ покоѣ. Сколько бы мы съ тобой объ немъ ни судачили—намъ его не перемѣнить. Что же касается до того, кто умнѣе и кто глупѣе, то, по мнѣнію моему, всякій „умнѣе“ тамъ, гдѣ можетъ судить и дѣйствовать съ болѣшимъ знаніемъ дѣла. Вотъ почему я полагаю, что въ настоящемъ случаѣ Коронатъ — *умнѣе*. Вѣдь правда? вѣдь не можешь же ты не понимать, что поднятый имъ вопросъ гораздо ближе касается его, нежели тебя?

Я взглянулъ на нее въ ожиданіи отвѣта: лицо ея было словно каменное, безъ всякаго выраженія; глаза смотрѣли въ сторону; ни одинъ мускулъ не шевелился; только нога судорожно отбивала тактъ.

— Скажи же что-нибудь! Ну „да“ — не правда ли „да“? — настаивалъ я.

— Какъ христіанка и какъ мать... не могу, мой другъ! — отвѣчала она, постукивая въ тактъ ножкой съ тою неумолимо-наглою непреклонностью, которая составляетъ удѣлъ глупца, сознающаго себя силой.

Я понималъ, что мнѣ нужно замолчать; но темпераментъ требовалъ, чтобъ я сдѣлалъ еще попытку.

— Вспомни, — сказалъ я: — что ты одной минутой легкомыслія можешь испортить жизнь своего сына!

— Нѣтъ ужъ...

— Помни, что Коронатъ все-таки выполнить свое намѣреніе, что упорство твое, въ сущности, ничего не измѣнить, что оно только введетъ въ существованіе твоего сына элементъ нужды, и что это несомнѣнно раздражитъ его характеръ и отзовется на всей его дальнѣйшей жизни!

— Нѣтъ ужъ...

— Машенька! наконецъ, не Коронатъ, а я, я, я прошу тебя измѣнить свое рѣшеніе!

— Нѣтъ ужъ...

— Слушай же ты, однакожь...

Я остановился во-время. Но она, должно быть, сама замѣтила, что отвѣчала мнѣ не „по-родственному“, и потому поспѣшила прибавить:

— Я хочу сказать, что правила мои не дозволяютъ...

— Чего не дозволяютъ?

— Ну... сдѣлать... или, какъ это... уступить... Господи, Боже мой! да что же это за несчастіе на меня! Я такъ всегда тебя уважала, да и ты всегда со мной „по-родственному“ былъ... и вдругъ такой разговоръ! Право, хоть бы наши поскорѣе пріѣхали, а то ты меня точно въ плѣвъ взялъ!

— Такъ это — твое послѣднее слово?

— Какое же... „слово“! Никакого „слова“ я не говорила... ахъ, право, какой ты! Я только объ „правилахъ“ своихъ говорю, а онъ сейчасъ: „слово“!

Предметъ моей поѣздки въ нѣсколько минутъ былъ исчерпанъ сполна. Мнѣ оставалось только возвратиться въ Чemezovo, но какая-то смутная надежда на Филоея Павлыча, на Нонночку удерживала меня. Покуда я колебался, звонъ бубенцовъ раздался на дворѣ, и вслѣдъ затѣмъ цѣлая ватага влетѣла въ переднюю.

— А вотъ и наши пріѣхали! — весело воскликнула Машенька, поднимаясь на встрѣчу пріѣзжимъ.

Филоею Павлычъ сдѣлался какъ-то еще крупнѣе прежняго: повидимому земскіе хлѣбы пошли ему въ прокъ. Но граціи отъ этого въ немъ не убавилось, той своеобразно-семинарской граціи, которая выражалась въ томъ, что онъ, во время разговора, въ знакъ сочувствія, помахивалъ направо и налево головой, устраивалъ ротъ сердечкомъ, когда хотѣлъ что-нибудь сказать пріятное, и приближался къ лицамъ женскаго пола не иначе, какъ бочкомъ и сѣменя ножками. Фистула попрежнему красовалась подъ лѣвою его скулой и точно такъ же была залѣплена чернымъ тафтянымъ кружкомъ; на лбу возвышался кокъ и виски были зачесаны по направленію глазъ, словно приклеены. Онъ молодился, одѣтъ былъ въ щеголеватый свѣтло-сѣрый костюмъ и относился къ женѣ съ предупредительностью маркиза съ подмостковъ Александринскаго театра. Вообще онъ былъ игривъ и игралъ въ домѣ роль не деспота, а скорѣе избалованнаго молодого человѣка.

Нонночка нисколько не походила на мать. Это была рыхлая и валяжная молодая особа съ очень круглыми чертами лица, съ чувственнымъ выраженіемъ въ большихъ сѣрыхъ глазахъ на выкатѣ, съ узенькимъ придавленнымъ лбомъ, какъ у негритянки, съ толстымъ носомъ, пухлыми губами, высокою грудью и роскошною косой. Наружный типъ Саввы Силыча воплотился въ ней вполне, но такъ какъ воспитаніе было дано ей „нѣженное“, то-есть глупое, то внутренній типъ выработался свой, не похожій ни на отца, ни на мать. По всѣмъ признакамъ, это была личность лѣнивая, праздная и чувственная, которую могли занимать только сплетни, фда и супружескія ласки. Къ близкимъ она относилась капризно, къ мужу — какъ-то пошло-любовно. Безпрестанно присасывала она къ его губамъ свои пухлыя губы (у Машеньки всегда въ этихъ случаяхъ даже бѣлки глазъ краснѣли), и лицо ея при этомъ принимало то плотоядно-страдальческое выраженіе, которое можно подмѣтить только у очень чувственныхъ женщинъ. Ни чтеніе, ни такъ-называемые *talents de société*, ни даже наряды — ничто не занимало ее. Одѣта она была слишкомъ неряшливо для „молодой“, и я безъ труда счелъ нѣсколько пятенъ на ея платьѣ, которое вообще чересчуръ ужъ широко сидѣло на ней.

Мужъ ея, Павелъ Ѳеодорычъ Добрецовъ, одинъ изъ птенцовъ той школы, которая снабжаетъ всю Россію героями судоговоренія — молодой человѣкъ, небольшого роста, очень проворный, ходкій и съ чрезвычайными претензіями на дѣловитость и проницательность. Едва три года, какъ онъ кончилъ курсъ



— и уже уловлялъ вселенную въ качествѣ судебнаго слѣдователя. Маленькіе глаза его какъ-то пытливо перебѣгали съ одного предмета на другой, какъ будто хотѣли отыскать поличное; но я не думаю, чтобы это было въ немъ природненное ехидство, а скорѣе результатъ похвалъ и начальственныхъ поощреній. Очень часто молодые люди сначала только роль играютъ, а потомъ втягиваются и получаютъ дурныя привычки. На меня подобные люди, всегда что-то высматривающіе и поднюхивающіе, къ чему-то прислушивающіеся, производятъ непріятное впечатлѣніе. Все кажется, будто вотъ-вотъ у меня сейчасъ кошелекъ изъ кармана исчезнетъ. Конечно, я первый очень хорошо понимаю, что подозрѣніе мое неосновательное, но переломить невольнаго чувства, все-таки, не могу. Не кошелекъ, такъ другое что-нибудь — а непременно онъ у меня вытянетъ! думается мнѣ. Можетъ быть, онъ въ душѣ моей покопаться хочетъ, что-нибудь оттудова унести, ради иллюстраціи въ искренней бесѣдѣ съ начальствомъ... Много, ахъ, много нынче такихъ молодыхъ людей развелось! и глазки бѣгаютъ, и носикъ вздрагиваетъ, и ушки на макушкѣ — все ради того, что если начальство взглянетъ, такъ чтобы въ своемъ видѣ передъ нимъ быть...

Увидѣвъ меня, Филоѳей Павлычъ любезно потоптался на мѣстѣ, потомъ расцѣловался, потомъ взялъ меня за обѣ руки и откинувшись корпусомъ нѣсколько назадъ, чтобы и издали на меня взглянуть, потомъ опять расцѣловался и, въ заключеніе, радостно-изумленнымъ голосомъ воскликнулъ:

— Вотъ пріятная неожиданность! Сестрицу провѣдать пожелали?

Нонночка отнеслась ко мнѣ апатично и какъ-то лѣнливо произнесла:

— Ахъ, дядя—это вы!

Затѣмъ тотчасъ же обратилась къ матери и продолжала:

— А мы, маменька, мимо усадьбы Іудушки Головлева проѣзжали — къ нему маленькіе Головлята пріѣхали. Одинъ черненкій, другой бѣленькій — преуморительные! Стоять около да посвистываютъ — скука у нихъ, должно быть, адская! Черненкій-то ужъ офицеръ, а бѣленькій — штафирка отчаянный! Я, маменька, въ офицера-то апельсинной коркой бросила!

— Проказница ты! проказница!

— Да еще что-съ! одному-то апельсинную корку бросила, а другому безѣ ручкой послала! — пожаловался Филоѳей Павлычъ: — а тотъ, не будь глушь, да съ разбѣга въ коляску вскочилъ! Да ужъ Павла Ѳеодорыча — незнакомы они — увидѣлъ, такъ извинился! Стыдно, сударыня! стыдно, Нонна Савишна!

— Чтожь за стыдъ! мужчины и не то съ нами дѣлають, да не стыдятся. Поль! ты что со мной сдѣлалъ?

Поль, въ отвѣтъ, самодовольно оттопырилъ губы и закрылъ, въ знакъ стыда, глаза.

— Такъ тѣ мужчины, мой другъ! — наставительно замѣтила Машенька: — ихнее и воспитанье такое! Такъ вотъ какъ: стало быть, и Іудушка... то-бишь, и Порфирій Владимірычъ въ радости... сосѣдъ дорогой! Да чтожь ты, милочка, въ расскази пустилась, а мужа-то дяденькѣ и не представишь! Все, чай, не худо попросить въ рождественное расположеніе принять!

— Извольте. Почтеннѣйшій дядюшка! имѣю честь представить вамъ

моего... какъ бы вамъ это объяснить! Ну, однимъ словомъ, вы понимаете... всегда мы вмѣстѣ... Душка!!—прибавила она, жадно прилипая губами къ лицу своего мужа.

Павель Ѳедорычъ, какъ молодой человѣкъ благовоспитанный и современный, началъ съ литературы.

— А мы васъ читаемъ!—сказалъ онъ, бросая на меня взглядъ, въ которомъ однако виднѣлась оговорка, что онъ не вполне-таки одобряетъ и со многимъ согласиться не можетъ.

— Ахъ, дядя! я намедни съ что-то ваше читала! такъ хохотала! такъ хохотала!—съ своей стороны польстила Нонночка.

— Ну, видишь ты какова! небось сама читала, а нѣтъ того, чтобъ матери дать дяденькино сочиненіе почитать!—посѣтовала Машенька.

— Мы, Марья Петровна, сами соберемся да выпишемъ—тогда имъ и не дадимъ!—не преминулъ слюбезничать Филоеой Павлычъ.

— И точно что не дадимъ! Вотъ будете просить, а мы не дадимъ!

Словомъ сказать, я вдругъ очутился въ перекрестномъ огнѣ любезностей. Всякій стремился что-нибудь пріятное мнѣ сказать, чѣмъ-нибудь меня ублажить. Такъ что еслибъ я рѣшился быть, и съ своей стороны, „по-родственному“, то-есть не „вмѣшивался“ бы, не „фыркалъ“, то навѣрное я бы тутъ какъ сыръ въ маслѣ катался.

— А я, знаете ли, маменька, что придумала!—молвила вдругъ Нонночка: — вы бы теперь за Головлятами послали, а послѣ обѣда они пріѣдутъ, мы и потанцовали бы.

— А дамы-то гдѣ?

— Можно за сестрицами Корочкиными послать; три сестрицы Корочкины, да я--вотъ дамы; Поль, двое Головлятъ, дядя—и кавалеры на-лицо.

— Нѣтъ, на меня не рассчитывай. Во-первыхъ, мнѣ въ Чemezово нужно, а во-вторыхъ, я съ дѣтства не танцовалъ.

— Такъ папа за кавалера будетъ.

— Съ удовольствіемъ-съ. Только зачѣмъ же до послѣ-обѣда ждать? Это сейчасъ можно, благо лошади запряжены, четыре версты туда, да четыре версты назадъ—мигомъ оборотятъ. Вотъ Павель Ѳедорычъ—сѣздите, сударь! И вы—молодой человѣкъ, и господа Головлевы—молодые люди... тутъ же и познакомитесь! Чтѣжъ, въ самомъ дѣлѣ, неужто ужъ и повеселиться нельзя!

— Сѣзди, Поль... душка! Ахъ, маменька! какъ будетъ весело! Весело, весело, весело!—кричала она, хлопая въ ладоши и подпрыгивая такъ, что поль слегка вздрагивалъ и стеклышки гремѣли въ люстрѣ, висѣвшей посреди потолка.

Павель Ѳедорычъ уѣхалъ, а мы перешли въ гостиную. Филоеой Павлычъ почти толкнулъ меня на диванъ („вы, братецъ,—старшій въ семействѣ; по христіанскому обычаю, вамъ слѣдовало бы подъ образами сидѣть, а такъ какъ у насъ, по легкомыслію нашему, въ парадныхъ комнатахъ образовъ не полагается—ну, такъ хоть на диванъ попокойнѣ помѣститесь!“ сказалъ онъ при этомъ, крѣпко сжимая мнѣ руку), а самъ сѣлъ на кресло подлѣ меня.



Сбоку, около стола помѣстились маменька съ дочкой, и я слышалъ, какъ Машенька шепнула: „займи дядю-то!“

— И такъ, вы въ наши палестины пожаловали? — началъ Филоѳей Павлычъ, любезно пригибая голову по направленію ко мнѣ.

— Надобность есть, Филоѳей Павлычъ.

— И надобность даже! вотъ какъ пріятно!

Онъ опять взялъ мою руку, подержалъ ее въ обѣихъ своихъ и взглянулъ на меня такими елейными глазами, что я такъ и ждалъ: вотъ-вотъ онъ меня сейчасъ соборовать начнетъ.

— Изъ Петербурга чего нѣтъ ли? — спросила между тѣмъ Маша Нонночка.

— Ничего еще... такая досада! Нашъ прокуроръ пишетъ, что министръ за границей, такъ ждутъ его возвращенія, чтобъ о Полѣ доложить. А впрочемъ — общается.

— Павелъ Ѳедорычъ шайку подметчиковъ въ нашихъ мѣстахъ накрылъ, — объяснили мнѣ Филоѳей Павлычъ: — организація цѣлая... такъ вотъ награды себѣ ждетъ.

— Представьте, дядя, Богъ знаетъ что хотѣли тутъ натворить! — прибавила Нонночка: — Полъ пять человѣкъ въ острогъ засадили!

— Да-съ, собирались-таки, собирались-съ! Дьячка отъ Спаса Милостиваго сынокъ, да учителяшка тутъ у Троицы есть, да господинъ Анпетовъ... Изъ Петербурга, говорятъ, лозунгъ у нихъ былъ!

— Чтожъ они дѣлали?

— Да оуждали-съ. Промежду себя, конечно, ну, и при свидѣтеляхъ случалось. А по нашему мѣсту, знаете, оуждать еще не полагается! Вотъ, за границей — тамъ, сказываютъ, это можно; тамъ даже министрами за оужденья-то дѣлаютъ!

— И такую кутерьму они натворили! — вступилась Машенька: — все было у насъ тихо да смирно, а тутъ вдругъ... пошли-это спросы да допросы — весь околотокъ зацугали! Даже мужиковъ отъ работы отбили — страхъ, что тутъ было.

— И все Павелъ Ѳедорычъ раскрылъ?

— Да, все онъ, голубчикъ. Хочется у начальства на хорошее замѣчаніе попасть — ну, и старается! Много Нонночка отъ нихъ, отъ негодаевъ, слезъ приняла!

— Еще бы! Ночь, спать хочется, а у Поля допросы идутъ!

— И какая, братецъ, умора была! Дьячковъ-то сынъ вдругъ исчезъ! Ищутъ-ищутъ — сгинулъ да пропалъ, и все тутъ! А онъ — чтожъ бы ты думалъ! — не будь простъ, да въ грядяхъ на огородѣ и спрятался. Такъ въ бороздочкѣ между двухъ грядъ и нашли!

— Да... это... уморительно!

— Умора-то умора, а между прочимъ и перепугались всѣ. Такъ перепугались! такъ перепугались! Сперва-то съ одного началось, а потомъ шире да глубже, глубже да шире... Всякій думаетъ, что и его притянутъ! Иной и невиноватъ, да невѣрно нынче очень! Очень нынче невѣрно, ахъ, какъ невѣрно! Куда ступить, въ какую сторону идти — никто этого нынче не знаетъ!

— Выходить, стало быть, что оно и уморительно, да и невесело!

— Вы здѣсь, дядя, въ одну недѣлю соскучитесь, — какъ-то некстати молвила Нонночка: — у насъ даже и сосѣдей настоящихъ нѣтъ. Прежде, говорятъ, очень весело въ здѣшней сторонѣ бывало: по три дня помѣщики другъ у друга гашивали, танцовали, въ фанты играли, свои оркестры у многихъ были. А нынче хорошіе-то или повымерли, или въ разныя стороны разѣхались — все эта эмансипація надѣлала! Только остались, что сестрицы Корочкины, да вотъ мы, да еще старый Головель года съ четыре поселился. А вы, маменька, не слыхали, какъ наши „сестрицы“ себѣ жениховъ заманиваютъ? У нихъ на селѣ одинъ офицеръ изъ нашего полка квартировалъ, такъ онъ рассказывалъ. Встануть утромъ, да и пойдутъ все три въ Воплю купаться — прямо противъ его квартиры. И ужъ выдѣлываютъ онѣ штуки въ водѣ, выдѣлываютъ! А онъ стоитъ у окна да въ бинокль смотреть!

— А ему, коли онъ благородный человѣкъ, отвернуться бы слѣдовало или мать бы предупредить! — сентенціозно замѣтила Машенька.

— Есть радость жаловаться! Мать-то, можетъ, сама и учила... Да и ему... какой ему резонъ себя представленья лишать! Дядя! вы у насъ долго пробудете?

— Нѣтъ, сегодня въ Чемезово ѣду, а завтра чѣмъ свѣтъ — въ дорогу, въ Петербургъ.

— Въ городѣ бы у насъ побывали; на будущей недѣлѣ у головы балъ — головиха именинница. У насъ, дядя, въ городѣ весело: драгуны стоятъ, танцевальные вечера въ клубѣ по воскресеньямъ бываютъ. Вотъ въ К. — тамъ пѣхота стоитъ, ну, и скучно, даже клубъ жалкій какой-то. На дняхъ въ нашъ городъ новаго землемѣра прислали — такъ танцуетъ! такъ танцуетъ! Даже изъ драгунъ никто съ нимъ сравняться не можетъ! Словомъ сказать, у всехъ пальму первенства отбилъ!

— Ахъ ты, танцовальщица! и сегодня вотъ танцы затѣяла, а подумала ли, кто музыку-то вамъ играть будетъ!

— Вы, маменька. Фортепьяно-то у васъ не очень вѣдь разстроено?

— Не знаю; съ тѣхъ поръ, какъ ты уѣхала, не раскрывали. Да что же я вамъ играть-то буду? Какъ молода была — ну, дѣйствительно... даже варьяции игрывала, а теперь... Развѣ вотъ „ach, mein lieber Augustin!“ вспомню, да и то наврядъ!

— Вспомните, вспомните... какъ-нибудь... А вы, дядя, отчего не танцуете?

— Склонности, другъ мой, не имѣю.

— А вы принудите себя. Не все склонность, надо и другимъ удовольствіе сдѣлать. Вотъ папенька: ему только слово сказали — онъ и готовъ, а вы... фи, какой вы недобрый! Можетъ быть, вы любите, чтобы васъ упрашивали?

— Нѣтъ, ужъ сдѣлай милость, уволь!

— Дядя! душка! хотите, я на колѣни передъ вами встану?

— Коли охота есть на колѣняхъ стоять — становись!

— Фи, недобрый какой! а еще либераломъ считается! Дяденька! вѣдь



вы либераль—ха-ха! Меня намедни съ предводитель спрашивалъ: „что это вашъ дяденька-либераль какъ будто хвостъ поджалъ?“... въ риѹму, ха-ха!

Въ такомъ характерѣ длился разговоръ въ продолженіе цѣлаго часа, то-есть до тѣхъ поръ, когда наконецъ явился Павелъ Ѳеодорычъ съ обоими Головлятами. Дѣйствительно, одинъ былъ черненькій, другой бѣленькій. Оба шаркнули ножкой, подошли къ Машенькѣ къ ручкѣ, а Нонночкѣ и Филоеѹ Павлычу руку пожали.

— Внушки Арины Петровны—чай, помнишь, братецъ!—отрекомендовала ихъ мнѣ Машенька.—Пріятельница мнѣ была, а во многихъ случаяхъ даже учительница. А христіанка какая... даже кончина ся... ну, самая христіанская была! Пришла въ праздникъ отъ обѣдни, чайку покушала, легла отдохнуть—такъ мертвенькую въ постели и нашли!

На нѣсколько минутъ всѣ вдругъ смолкли. Машенька вздыхала. Нонночка улыбалась и обмѣнивалась съ молодыми Головлевыми взглядами, которые очень смѣшили ихъ.

— Подъ! а скоро старый Головель своихъ Головлятъ съ тобой отпустилъ?—первая прервала молчаніе Нонночка.

— Ну, нѣтъ, подумалъ-таки!

— Онъ, Нонна Савишна, боится, чтобъ мы нечаянно въ развратъ не впали!—сказалъ бѣленькій Головленокъ.

— Онъ насъ, Нонна Савишна, нынче по утрамъ все просвирами кормить!—присовокупилъ черненькій Головленокъ.

— Ужъ онъ крестилъ насъ, крестилъ! Мы ужъ въ коляску сѣли — а онъ все крестить. Какъ мостъ переѣхали, я нарочно назадъ оборотился, а онъ стоитъ на балконѣ и все крестить!

— Ахъ, молодые люди, молодые люди!—вступилась Машенька:—все-то бы вамъ покошунствовать! А развѣ худое дѣло — хоть бы просвиры! вѣдь онѣ... божественныя! Ну, или покрестить—отчего же и не перекрестить въ путь шествующихъ!

— Въ путь шествующихъ... въ Березники!—замѣтилъ Павелъ Ѳеодорычъ, и всѣ вдругъ засмѣялись.

Опять наступило молчаніе, и возобновилась прежняя игра глазами между молодыми людьми. Наконецъ, уже около четырехъ часовъ доложили, что кушать подано, и всѣ гурьбой потянулись въ залу.

За обѣдомъ всѣ языки развязались и сдѣлалось очень шумно, такъ что я начиналъ уже терять надежду возобновить разговоръ о Коронатѣ, какъ Нонночка совершенно неожиданно помогла мнѣ.

— Отъ Короната Савича какой-нибудь новенькой выходки не получили ли?—обратилась она къ матери.

— Нѣтъ, пока ничего...—отвѣтила Машенька, слегка сконфузясь и быстро взглядывая на меня.

— Вы знаете, дядя, что у насъ въ семействѣ нигилистъ проявился?—продолжала болтать Нонночка.

— Философъ-съ,—пояснилъ Филоеѹ Павлычъ:—юриспруденціей не удовлетворяется, считаетъ ее за науку эфемерную и преходящую-съ. Въ корень бытія проникнуть желаетъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ! Вы слышали, дядя, что Коронатъ Савичъ въ медицинскую академію перейти желаетъ... ха-ха!

— Слышалъ. Но что же тутъ смѣшного?

— Какъ что смѣшного! Мальчишка въ семнадцать лѣтъ—и самъ себѣ званіе опредѣляетъ... ха-ха! Медикомъ быть хочу... ха-ха!

— Онъ, можетъ быть, Нонна Савишна, ветеринаромъ быть желаетъ. Нынче земскія управы все ветеринаровъ вызываютъ — такъ вотъ онъ и прочелъ! — съострилъ бѣленькій Головлевъ.

— Ветеринаромъ — ха-ха! именно, именно 'ветеринаромъ! отлично! отлично! Вы — душка, Головлевъ! Палаша! пожалуйста вы его въ нашъ уѣздъ ветеринаромъ опредѣлите! Я его къ своей „Бижуткѣ“ годовымъ врачомъ приглашу!

Нонночка хохотала, и весь синклитъ вторилъ ей, кромѣ впрочемъ Машеньки, которая сидѣла уткнувшись въ тарелку, и Добрецова, который былъ серьезно печаленъ, словно страдалъ гражданскимъ недугомъ.

— Я не имѣю чести знать Короната Савича, — обратился онъ ко мнѣ: — и, конечно, ничего не могу сказать противъ выбора имъ медицинской карьеры. Но за всѣмъ тѣмъ позволяю себѣ думать, что съ его стороны пренебреженіе къ юридической карьерѣ по малой мѣрѣ легкомысленно, ибо въ настоящее время профессія юриста есть самая священная изъ всѣхъ либеральныхъ профессій, открытыхъ современному человѣку.

— Почему же вы такъ думаете?

— А потому просто, что общество никогда такъ не нуждалось въ защитѣ, какъ въ настоящее время.

— Въ защитѣ? противъ чего?

— Противъ современнаго направленія умовъ-сѣ. Противъ тѣхъ незрѣлыхъ и, смѣю такъ выразиться, нетерпимыхъ теорій, которыя предъявляютъ со стороны извѣстной части молодого поколѣнія, къ которому впрочемъ имѣю честь принадлежать и я.

— Но вѣдь такого рода защиту могутъ и становые пристава оказывать!

— Могутъ-сѣ; но безъ знанія дѣла-сѣ.

— Отчего же? Вѣдь доискаться, что человѣкъ между грядями спрятался, или допросить его такъ, чтобъ ему тепло сдѣлалось — право, все это становой можетъ сдѣлать если не лучше (не забудьте, на его сторонѣ опытъ прежнихъ лѣтъ!), то отнюдь не хуже, нежели любой юристъ.

— Да-сѣ, но вѣдь факты, на которые вы указали — ни больше, ни меньше, какъ простыя формальности. И даже печальныя формальности, прибавлю я отъ себя. Ихъ, конечно, могъ бы съ успѣхомъ выполнить и становой приставъ; но вѣдь не въ нихъ собственно заключается миссія юриста, а въ чемъ-то другомъ. Слѣдствіе будетъ мертво, если въ него не вложенъ духъ живъ. А вотъ этотъ-то духъ живъ именно и дается юридическимъ образованіемъ. Только юридическимъ образованіемъ, а не рутинною-сѣ.

— Гм... ежели вы съ точки зрѣнія „духа жива“... Скажите пожалуйста, этотъ „духъ живъ“ — вѣдь это то самое, что въ прежнія времена было извѣстно подъ именемъ „корней и нитей“?



— И это-съ. Вообще, юристъ прежде всего обращаетъ вниманіе не на частности, а на полноту общей картины, на тоны ея, на то, чтобы въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражалось дѣйствительное вѣяніе среды и минуты. Что преступленіе не должно остаться безнаказаннымъ — это, конечно, не можетъ подлежать ни малѣйшему спору. Но главное все-таки — это раскрыть глаза самому обществу, указать ему на сущность и источникъ вредныхъ поползновеній и возбудить въ немъ желаніе самозащиты. Этотъ послѣдній результатъ въ особенности важенъ; въ немъ, я полагаю, заключается самое безспорное доказательство преимущества современныхъ юридическихъ дѣятелей надъ прежними.

— Извините! я — человѣкъ стараго покроя и многое въ современныхъ порядкахъ не совѣмъ для меня ясно. Вотъ вы сейчасъ о самозащитѣ упомянули: скажите, часто бываютъ доносы въ вашихъ краяхъ?

— Не доносы-съ, а выраженія общественной самопомощи-съ.

— Ну, да; разумѣется, самопомощи... Часто?

— Да, общество наше повидимому съ каждымъ годомъ яснѣе и яснѣе сознаетъ свои права и обязанности.

— Гм... Конечно, это — не больше, какъ личное мое мнѣніе, но я все-таки долженъ сознаться, что сердце мое больше лежитъ къ становымъ приставамъ. И даже именно потому, что у нихъ мало юридическаго развитія.

— Ну, это ужъ — дѣло вкуса-съ.

Покуда мы такимъ образомъ бесѣдовали, всѣ остальные молчали. Нон-почка съ удовольствіемъ слушала, какъ ея Поль разговариваетъ съ дяденькой о чемъ-то серьезномъ, и только однажды бросила хлѣбнымъ шарикомъ въ бѣленькаго Головлева. Филоеей Павлычъ, какъ глиняный котъ, наклонялъ голову то по направленію ко мнѣ, то въ сторону Добрецова. Машенька по-прежнему не отрывала глазъ отъ тарелки.

— А впрочемъ, — кинулъ Добрецовъ въ заключеніе: — такъ какъ рѣчь у насъ началась съ Короната Савича, то я считаю долгомъ заявить, что ничего противъ его намѣреній не имѣю. Медицинское поприще, и даже ветеринарное, какъ замѣтилъ мсье Головлевъ...

Достаточно было возобновленія этой остроты, чтобы всѣ засмѣялись и разговоръ нашъ прекратился. Машенька вздохнула свободно и, чтобы дать другое направленіе мыслямъ, — обратилась къ черненькому Головлеву съ вопросомъ:

— Ну, а папенька какъ? здоровъ?

— Какъ быкъ-съ.

— Ну, и слава Богу. Благочестивый вашъ папенька человѣкъ. Вотъ я такъ не могу: въ будни рано встаешь, а въ воскресенье все какъ-то понѣжиться хочется. Ну, и не поспѣешь въ церковь раньше какъ къ Евангелію. А папенька вашъ, какъ въ колоколъ ударили — онъ ужъ и тамъ.

— Онъ у насъ самъ первый въ колоколъ и ударяетъ. Возьметъ за веревку и зазвонитъ.

— Любитъ Бога вашъ папенька! нечего сказать — очень любить! Не всякій это...

— Ояъ у насъ съ священникомъ все полемику ведетъ! — какъ-то высу-  
нулся впередъ, словно вынырнулъ, бѣленькій Головлевъ.

— Старозавѣтний вѣдь попъ-то у васъ!

— Да, все на ектеніяхъ сбивается — ну, отецъ и поправляетъ, да вслухъ,  
на всю церковь! „Николаевну! — врешь: Михайловну!“

— Вотъ какъ!

— А то у насъ такой случай былъ: въ Егорьевъ-день начали крестья-  
не пона по полю катать — примѣта у нихъ такая, что урожай лучше бу-  
детъ, если попъ по полю покатается — а отецъ на эту сцену и нагрянулъ!  
Ну, досталось тутъ всѣмъ на орѣхи!

— Скажите на милость — такъ вотъ у васъ попъ какой. Нѣтъ, у насъ  
попикъ — ничего, чистенькій. Все „Труды“ какіе-то читаетъ! За то, можетъ  
быть, вашъ малымъ довольствуется, а нашъ за свадьбы больно дорого беретъ!  
Ни на-что не похоже. Вотъ я земскому-то дѣятелю жаловалась: хотъ бы вы,  
земство, за неимущихъ вступились!

— Ничего-съ, погодите. Въ губернію съѣздимъ — и попка къ одному  
знаменателю приведемъ.

И вдругъ, въ самомъ разгарѣ „свѣтскаго“ разговора, Нонночку словно  
бѣсъ подъ бока толкнулъ.

— Дядя! вы давно ли Короната Савича видѣли? — обратилась она  
къ мнѣ.

Машеньку даже передернуло всю.

— Нонночка! финиссѣ... лессѣ! — заговорила она по-французски (когда  
она терялась, то всегда прибѣгала къ французскому языку): — ты видишь,  
что дяденькѣ этотъ разговоръ непріятенъ.

Нонночка съ наивнымъ изумленіемъ взглянула сперва на меня, потомъ  
на мать, и вдругъ что-то поняла.

— По-ни-маю! — пробормотала она какъ-бы про себя, ворочая крупными,  
воловыми глазами: — такъ вотъ что! Бѣленькій Головликъ! расскажите-ка  
намъ, какъ васъ папенька отъ соблазновъ оберегаетъ?

— Во-первыхъ, на ночь всѣ входы и выходы собственноручно запира-  
етъ на ключъ; во-вторыхъ, внезапно встаетъ по ночамъ и подслушиваетъ у  
нашихъ дверей; въ-третьихъ, аеонскій уставъ въ Головлевъ ввелъ: ни ко-  
ровъ, ни куръ — никакого животнаго женскаго пола...

Головлевъ долго что-то рассказывалъ, возбуждая общую веселость, но  
я уже не слушалъ. Теперь для меня было ясно, что меня *всѣ* поняли. Фило-  
еой Павлычъ вскинулъ въ мою сторону изумленно-любопытствующій взоръ;  
Добрецовъ — язвительно улыбнулся. Всѣ говорили себѣ: „каковъ! пріѣхалъ  
законы предписывать!“ — и единодушно находили мою претензію возмущи-  
тельною.

Подъ конецъ обѣда гостей прибавилось: три дѣвицы Корочкины по-  
спѣли къ мороженому. Наконецъ ѣда кончилась; отдавши приказаніе немед-  
ленно закладывать лошадей, я рѣшился сдѣлать послѣднюю попытку въ  
пользу Короната и съ этою цѣлью пригласилъ Промптова и Машеньку побесѣ-  
довать наединѣ.

— Филоеой Павлычъ! — началъ я, когда мы усѣлись втроемъ въ гости-



ной: — до вашего приѣзда я долго говорилъ съ Машенькой, но повидимому безъ успѣха. Позвольте теперь обратиться къ вамъ: можетъ быть, вашъ авторитетъ подѣйствуетъ на нее убѣдительно...

Я взглянулъ на нихъ: Филоеѣй Павлычъ дѣлалъ видъ, что слушаетъ... но не больше, какъ изъ учтивости. Машенька даже не слушала; она смотрѣла совсѣмъ въ другую сторону и вся фигура ея выражала: „Господи! сказано было разъ... чего бы кажется!“

— Дѣло вотъ въ чемъ, — продолжалъ я: — Коронать не чувствуетъ въ себѣ призванія къ юридической карьерѣ и желаетъ перейти въ медицинскую академію...

— Такъ что-же-съ?

— Но для того, чтобъ просуществовать въ продолженіе пяти лѣтъ академическаго курса, онъ нуждается въ помощи...

— Чтѣ-же-съ! вотъ мать — правъ ея-съ!

— Но матери кажется, что Коронать, поступаая такимъ образомъ, выходитъ изъ повиновенія родительской власти, что если она разъ, по какимъ-то необъяснимымъ соображеніямъ, сказала себѣ, что ея сынъ будетъ юристомъ, то онъ и долженъ быть таковымъ. Однимъ словомъ, что онъ — непочтительный.

— Никогда я этого не говорила! — вдругъ встрепенулась Машенька.

— Помилуй, душа моя! да въ этомъ весь и вопросъ!

— Никогда не говорила, что непочтительный! заблуждающій — вотъ это такъ!

— Позвольте, Марья Петровна! допустимте, что вы даже сказали: непочтительный! Что же, сударь! И по моему — довольно-таки близко около этого будетъ!

— Послушайте! Коронату ужъ семнадцать лѣтъ, и онъ самъ можетъ понимать свои склонности. Вопросъ о будущемъ, право, ближе касается его лично, нежели даже самыхъ близкихъ его родственниковъ. Всѣ удачи и неудачи, которыя ждутъ его впереди — все это его собственное. Онъ самъ вызвалъ ихъ и самъ же будетъ ихъ выносить. Кажется, это понятно?

— Помилуйте! даже очень-съ! Но вѣдь и родителямъ тоже смотрѣть на свое дѣтище... А впрочемъ я — чтѣ-же-съ! Вотъ мать — правъ ея-съ!

— Но еслибъ сынъ даже заблуждался, скажите: достаточная ли это для родителей причина, чтобъ оставлять его въ жертву лишеніямъ?

— Но если онъ самъ на лишенія напрашивается... А впрочемъ — вотъ мать-съ!

— Я долженъ сказать вамъ, что Коронать ни въ какомъ случаѣ намѣренія своего не измѣнитъ. Это я знаю вѣрно. Поэтому весь вопросъ въ томъ, будетъ ли онъ получать изъ дома помощь, или не будетъ?

— Нѣтъ ему моего благословенія по медицинской части! нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! — какъ-то восторженно воскликнула Машенька: — какъ христіанка и мать... не позволяю!

— Слушай, Машенька! ты готовишь для себя очень, очень горькое будущее!

— Будущее, братецъ, въ рукъ Божіей! — сентенціозно произнесъ Филоеѣй Павлычъ.

— Машенька! я... я прошу тебя объ этомъ!

— Ахъ, братецъ!

— Неужели же ты такъ и остановишься на этомъ рѣшеніи?

— Голубчикъ! пожалуйста... позволь мнѣ уйти! Меня тамъ ждутъ... потанцовать имъ хочется... Я бы поиграла... Право, позволь мнѣ...

Какъ разъ, совсѣмъ кстати, въ эту минуту въ дверяхъ гостиной показалась Нонночка и довольно безцеремонно крикнула:

— Дядя! вы скоро ихъ отъисповѣдуете? Мы танцовать хотимъ!

Ясно, что дѣлать мнѣ больше было нечего. Я вышелъ въ залу и началъ прощаться. Какъ и водится, меня проводили „по-родственному“. Машенька даже всплакнула.

— Братецъ, — сказала она: — можетъ, и еще въ нашу сторону заглянешь — не забудь, ради Христа! заверни!

Господинъ Добрецовъ сильно потрясъ мою руку и произнесъ:

— А мы васъ почитываемъ!

Нонночка, не желая отставать отъ другихъ, сказала:

— Дядя! вы чтѣ-жъ меня не цѣлуете?.. фи, недобрый какой!

Филоеей Павлычъ проводилъ меня до крыльца и, помахывая головой, воскликнулъ:

— Чтѣ прикажете — женщина-съ! — А впрочемъ мать — всѣ права ея-съ. Такъ и въ законѣ-съ...

Покуда ямщикъ собиралъ возжи и подавалъ тарантасъ, въ ушахъ моихъ раздалось:

A-ach, mein lieber Augustin!  
Augustin, Augustin!

Дружный хохотъ, встрѣтившій эту допотопную ритурнель, проводилъ меня до воротъ.

Быль часъ восьмой, когда я выѣхалъ отъ Промптовыхъ, и въ воздухѣ надвигались уже сумерки. Скоро мы вѣхали въ лѣсъ, и съ каждымъ шагомъ мгла становилась гуще и гуще. Казалось, что тѣни выползаютъ изъ глубины лѣсной чащи, бѣгутъ за экипажемъ, хватаются за него. Я началъ припоминать происшествія дня, и вдругъ мнѣ сдѣлалось страшно. Цѣлое море глупости, предразсудковъ, ничѣмъ не обусловленнаго упрямства развернулось передъ глазами — море по наружности тихое, но алчущее человѣческихъ жертвъ. „Такъ ужъ“, „нѣтъ ужъ“ — невольно припоминалось мнѣ, и сзади этихъ бессмысленныхъ словесныхъ обрывковъ появлялся упорствующій образъ непочтительнаго Короната, на которомъ, по какой-то удивительной логикѣ, непочтительность должна отзываться голодомъ, холодомъ и всяческими лишеніями.

Но, какъ ни простодушна Машенька, однако и у нея нечаянно вырвалось мѣткое слово.

„Невѣрно нынче! — сказала она: — очень даже, мой другъ, невѣрно! Куда ступить, въ которую сторону идти — никто нынче этого не знаетъ!“

Этимъ изреченіемъ я и заканчиваю.



## XIV.—Въ дружескомъ кругу.

Кромѣ Тебенькова, съ которымъ я уже познакомилъ читателя, у меня есть еще пріятель—Максимъ Михайлычъ Плѣшивцевъ.

Всѣ трое мы воспитывались въ одномъ и томъ же „заведеніи“, и всѣ трое еще на школьной скамьѣ обнаружили нѣкоторый вкусъ къ мысленію. Это былъ первый общій признакъ, который положилъ начало нашему сближенію—признакъ настолько вѣскій, что даже позднѣйшія разномыслія не имѣли достаточно силы, чтобъ поколебать образовавшуюся между нами дружескую связь.

Въ то время, и въ особенности въ нашемъ „заведеніи“, вкусъ къ мысленію былъ вещь очень мало поощряемая. Выказывать его можно было только втихомолку и подъ страхомъ болѣе или менѣе чувствительныхъ наказаній. Тѣмъ не менѣе мы усердно слѣдили за тогдашними русскими журналами, пламенно сочувствовали литературному движенію сороковыхъ годовъ и въ особенности съ горячимъ увлеченіемъ относились къ статьямъ критическаго и полемическаго содержанія. То было время поклоненія Бѣлинскому и ненависти къ Булгарину. Міръ не видалъ двухъ другихъ людей, изъ которыхъ одинъ былъ бы столь пламенно чтимъ, а другой—столь искренно ненавидимъ. Конечно, во всемъ этомъ было очень много юношескаго пыла и очень мало сознательности, но важно было то, что въ насъ уже существовало „предрасположеніе“ къ наслажденіямъ болѣе тонкимъ и сложнымъ, нежели, напримѣръ, наслажденіе прокатиться въ праздникъ на лихачѣ или забраться съ утра въ заднюю комнату рестораника и немедленно тамъ выпить. А именно этого рода наслажденіямъ страстно предавалось большинство товарищей.

Дружба, начавшаяся на школьной скамьѣ, еще болѣе укрѣпилась въ первое время, послѣдовавшее за выпускомъ изъ „заведенія“. Первое ощущеніе свободы было для насъ еще болѣе сильнымъ ощущеніемъ изолированности. Большинство однокашниковъ, съ свойственною юности рьяностью, поспѣшило занять соответственные мѣста: кто въ циркѣ Гверры, кто въ циркѣ Лежара, кто въ ресторанѣ Леграна, кто въ ресторанѣ Сентъ-Жоржа (дѣло идетъ о сороковыхъ годахъ). Съ другой стороны, новыя знакомства для насъ могли представлять только чиновническій кругъ канцелярій, въ который мы поступили, но съ этимъ кругомъ мы сходились туго и неохотно. Мы очутились втроемъ, ни съ кѣмъ не видясь, не разставаясь другъ съ другомъ, вмѣстѣ восхищаясь, пламенѣя и нисколько не скучая унисонностью нашихъ восхищеній. Мы не спорили, даже не комментировали, а просто-на-просто метафоризировали, чѣмъ въ особенности отличался Плѣшивцевъ, человѣкъ весь сотканный изъ пламени. Мы не подозревали, что за міромъ мысли и слова есть какой-то міръ дѣйствія и игры страстей, міръ насущныхъ нуждъ и эгоистическихъ вождѣлнй, съ которымъ мы, рано или поздно, должны встрѣтиться лицомъ къ лицу. Мы не думали, что этому дрянному міришку суждено будетъ вызвать въ каждомъ изъ насъ ту интимную подкладку, которая до сихъ поръ оставалась безмолвною. Что столкновеніе съ нимъ можетъ сдѣлать изъ насъ западниковъ, славянофиловъ, прогрессистовъ, консерваторовъ, феде-

ралистовъ, централизаторовъ и т. д. То-есть лицъ, обладающихъ убѣжденіями, рѣзкая противоположность которыхъ заставляетъ иногда людей ненавидѣть другъ друга.

Этотъ міръ практической дѣятельности, существованіе котораго мы такъ долго не подозрѣвали, представила намъ провинція, въ которую бросилъ насъ естественный ходъ нашей служебной карьеры. Служба разбросала насъ по разнымъ концамъ Россіи и положила конецъ нашимъ совмѣстнымъ восхищеніямъ. Въ провинціи мы выровнялись и приобрѣли ту драгоценную дѣловую складку, которая полагаетъ раздѣльную черту между дѣломъ и убѣжденіями и позволяетъ первому идти воплѣ независимо отъ послѣднихъ. И когда мы, послѣ долгихъ лѣтъ скитаній, вновь встрѣтились съ Петербургъ, то эта складка прежде всего бросилась въ глаза и вновь сдѣлалась для насъ соединительнымъ звеномъ. Подкрѣпленная воспоминаніями прошлаго, она помогла намъ вынести то разнорѣчіе въ убѣжденіяхъ, которое принесла намъ жизнь. Мы очень серьезно сказали себѣ: прежде всего—Россія! прежде всего отечество, призывавшее насъ къ обновительной дѣятельности! А потомъ ужъ — убѣжденія.

Это былъ самый удобный *modus vivendi* для того времени, когда начальство вездѣ искало „людей“ и охотно давало имъ мѣста съ хорошимъ жалованьемъ. Начальство было тогда снисходительное и сквозь пальцы смотрѣло на такъ-называемыя убѣжденія. Только не допускайте рѣзкостей, не призывайте къ оружію, а затѣмъ будьте хоть федералистомъ. Въдѣ ни сепаратизмъ, ни социализмъ не мѣшаютъ писать доклады, циркуляры, предписанія и отношенія. Съ такого-то часа до такого-то сиди въ Фонарномъ переулкѣ, развивай за стаканомъ чаю сепаратистическія соображенія насчетъ самостоятельности Сибири, покрывай міръ фаланстерами, а съ такого-то часа до такого-то сиди въ департаментѣ и пиши бумагу о „возсоединеніяхъ“, о средствахъ къ искорененію превратныхъ толкованій. Вотъ какъ думало тогдашнее начальство, и думало, по мнѣнію моему, правильно, потому что, несмотря на его снисходительность по сему предмету, Сибирь все-таки и по настоящую пору не отдѣлена. Такъ же точно думали и мы. Дѣло прежде всего! восклицали мы,—то обновительное дѣло, которое, въ званіи мировыхъ посредниковъ, можетъ одинаково пріютить и западниковъ, и славянофиловъ, и централизаторовъ, и федералистовъ.... и фельдфебелей.

Какъ бы то ни было, но мы подоспѣли съ своею дѣловою складкой совершенно ко времени, такъ что начальство всѣхъ возможныхъ вѣдомствъ припало насъ съ распростертыми объятіями. Въ его глазахъ уже то было важно, что мы до тонкости понимали прерогативы губернскихъ правленій и не смѣшивали городскихъ думъ съ городскими магистратами. Сверхъ того предполагалось, что, проживъ много лѣтъ въ провинціи, мы видѣли лицомъ къ лицу народъ, и слѣдовательно знаемъ его матеріальныя нужды и его нравственный образъ.

— Мы, ваше превосходительство, народъ-то не изъ книжекъ знаемъ! Мы его видѣли — вотъ какъ (рука поднимается и ставится на недалекомъ разстояніи передъ глазами, ладонью внутрь)! мы въ курныхъ избахъ, ваше



превосходительство, ночевывали! мы хлѣбъ съ лебедой ѣдали! — говорили мы бойко и весело.

По правдѣ сказать, въ этихъ словахъ была очень значительная доля преувеличенія. Окунувшись въ тину провинціальной жизни, мы вовсе не думали ни о матеріальныхъ нуждахъ, ни о нравственномъ образѣ народа. Мы засѣдали въ палатахъ и правленіяхъ, мы производили судъ и расправу, мы ревизовали, играли въ карты, ѣздили въ мундирные дни въ соборъ, танцевали и т. д. Проѣзжая мимо базарной площади въ присутствіе или мчась на почтовыхъ мимо селъ и деревень къ мѣсту производства слѣдствія, мы столь же мало видѣли народъ, какъ мало видитъ его и любой петербуржецъ, проѣзжающій мимо Сѣнной или Конной площади. Но, во-первыхъ, провинція несомнѣнно дала намъ хотя впечатлѣніе курной избы и сѣраго зипуна. Во-вторыхъ, провинціальная жизнь имѣетъ ту особенность, что она незамѣтно накопляетъ въ человѣкѣ значительную массу анекдотовъ, изъ совокупности которыхъ составляется какое-то смутное представленіе о томъ, что дѣйствительно кишитъ гдѣ-то далеко, на самомъ днѣ. И представленіе это, если имъ ловко воспользоваться, можетъ при случаѣ сослужить службу великую.

Сверхъ того, въ этомъ преувеличеніи немалое участіе принимала и нервная чиновническая впечатлительность. Трудно не снервничать, когда на лицѣ начальника видишь благосклонную улыбку, когда начальство, такъ сказать, само, подъ вліяніемъ нервной чувствительности, ко всякому встрѣчному вопіеть: искренности, только искренности, одной искренности!

Благонравенъ ли русскій мужикъ? Привязанъ ли онъ къ тѣмъ исконнымъ основамъ, на которыхъ зиждется человѣческое общество? Достаточно ли онъ обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи? Какую дозу свободы можетъ онъ вынести, не впадая въ самонадѣянные преувеличенія и не возбуждая въ начальствѣ опасеній? — вотъ нешуточные вопросы, которые обращались къ намъ, *людямъ, имѣвшимъ случай стоять лицомъ къ лицу съ русскимъ народомъ.*

Согласитесь, что для людей, имѣющихъ въ виду сдѣлать служебную карьеру, подобные вопросы — сущій кладъ.

Но мы, даже независимо отъ эгоистическихъ соображеній о карьерѣ, имѣли полную возможность дать именно тѣ отвѣты, которые всего больше подходили къ вѣяніямъ минуты. Подобные отвѣты вырываются какъ-то сами собою. Бываютъ торжественныя минуты, когда сердце подчиненнаго невольно настраивается въ унисонъ съ сердцемъ начальника и когда память, словно подкупленная, представляетъ цѣлую массу именно такихъ фактовъ, которые наиболѣе въ данный моментъ желательны. Это тѣ минуты, когда въ воздухѣ чувствуется особенно сильный запросъ на подчиненную искренность. Тогда мысли зарождаются въ головѣ мгновенно, слова льются изъ устъ безъ удержа, и все слова хорошія, настоящія. „Благонравенъ“, „привязанъ“, „обезпеченъ“, „способенъ и достоинъ“ и т. д. И мы видѣли, какъ, по мѣрѣ нашихъ отвѣтовъ, тѣни, лежавшія на лицахъ нашихъ начальниковъ, постепенно сбѣгали съ нихъ, и какъ эти люди, дотолѣ недоумѣвавшіе, а быть можетъ и снѣдаемые опасеніями, вдругъ загорались увѣренностью, что чортъ совсѣмъ не такъ страшенъ, какъ его малюють...

— Такъ что, если, въ видахъ пользы службы, нѣсколько усилить власть исправниковъ, то народъ это вынесетъ?

— Совершенно вынесетъ, ваше превосходительство!

— А ежели распорядиться насчетъ упроченія основъ при посредствѣ не отяготительной, но зрѣло соображенной системы штрафовъ, то народъ и этимъ останется доволенъ?

— Совершенно доволенъ, ваше превосходительство!

— Ну, а ежели поприкинуть кой-что къ повинностямъ... какъ вы думаете, это не произведетъ чувствительнаго вліянія на народное благосостояніе!

— Не только, ваше превосходительство, не произведетъ, но даже... ахъ, ваше превосходительство!

И такъ далѣе.

Однимъ словомъ, мы непререкаемыми фактами подтвердили всѣ тѣ предвидѣнія и чаянія, которыя смутно гнѣздились въ сердцахъ петербургскихъ начальниковъ насчетъ „достоинствъ“ и „способностей“ русскаго мужика. Въ Петербургѣ надѣялись, что русскій человѣкъ гостепріименъ — мы привели столько анекдотовъ насчетъ русскаго гостепріимства (нѣкоторые анекдоты даже свидѣтельствовали о гостепріимствѣ съ раскровяненіемъ), что отнынѣ фактъ этотъ изъ области „видовъ и предложеній“ перешелъ въ область самой неопровержимой дѣйствительности. Въ Петербургѣ предвидѣли, что русскій человѣкъ патріархаленъ — мы рассказали столько анекдотовъ изъ практики патріархальнѣйшаго снохачества, что и этотъ фактъ утвердился на незыблемомъ основаніи. Въ Петербургѣ догадывались, что русскій человѣкъ живетъ въ полномъ удовольствіи — мы и эту догадку подтвердили, рассказавъ, что многіе мужики разводятъ гусей, утокъ и поросятъ... для себя.

Если бы мы не подтвердили всего этого, то очень можетъ быть, что петербургскіе начальники огорчились бы, но, къ счастью для насъ, наши собственные наблюденія (по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ представляла ихъ наша память) до того сходились съ петербургскими предвидѣніями, что намъ не приходилось даже лицемерить.

Повторяю: мы были искренни. Мы дѣйствительно видѣли въ деревнѣ и гусей, и утокъ, дѣйствительно знали множество примѣровъ патріархальнаго снохачества, дѣйствительно производили слѣдствія о гостепріимствѣ съ раскровяненіемъ. И по мѣрѣ того, какъ мы рассказывали наши анекдоты, въ насъ самихъ происходилъ психологическій міражъ, вслѣдствіе котораго мужикъ становился передъ нами словно живой. Мужикъ благонравный, патріархальный, трудолюбивый, мужикъ угодный Богу и начальству не непріятный. И много прочувствованныхъ словъ сказали мы объ этомъ мужикѣ, и даже не одну слезу пролили по поводу его. То были сладкія, нервныя слезы, подъ тихое журчаніе которыхъ незамѣтно, сами собой, устраивались наши служебныя карьеры...

Тѣмъ не менѣе, какъ я сказалъ ваше, въ нашихъ теоретическихъ взглядахъ на жизнь существовало извѣстное разнорѣчіе, которое хотя и сглаживалось общемою намъ всею дѣловою складкою, но совсѣмъ уничтожено быть не могло. Разнорѣчіе это впрочемъ имѣетъ и свою хорошую сторону, потому что позволяетъ намъ, въ свободное отъ заботъ о служебной карьерѣ время,



разнообразить наши бесѣды живою полемикой по поводу безчисленныхъ вопросовъ, которыми такъ богата современная русская жизнь. Сегодня сойдемся, посидимъ, поспоримъ, наговоримъ другъ другу колкостей, а завтра, какъ ни въ чемъ не бывало, опять засядемъ за докладныя записки, за циркуляры и предписанія и даже будемъ подавать другъ другу совѣты на счетъ вѣщаго и успѣшнѣйшаго подкузвленія.

Я ничего не буду говорить о себѣ, кромѣ того, что во всѣхъ этихъ спорахъ и пререканіяхъ я почти исключительно играю роль свидѣтеля. Но считаю нелишнимъ обратить вниманіе читателей на Тебенъкова и Плѣшивцева, какъ на живое доказательство того, что даже самое глубоко разномысліе не можетъ людямъ препятствовать дѣлать одно и то же дѣло, если этого требуетъ начальство.

Оба они, какъ говорится, всегда à cheval sur les principes, то-есть прежде всего выкладываютъ свои принципы на столъ и потомъ уже, отираясь отъ нихъ, начинаютъ диспутировать. Но въ самой манерѣ того и другого относиться къ собственнымъ принципамъ замѣчается очень рѣзкая разница. Тебенъковъ называетъ себя западникомъ и въ этомъ качествѣ не прочь прослыть за esprit fort. Поэтому онъ относится къ своимъ собственнымъ принципамъ нѣсколько озорно, и хотя защищаетъ ихъ очень прилично, но не нужно быть чересчуръ проникательнымъ, чтобы замѣтить, что вся эта защита ведется какъ будто бы „пуръ лѣ жансъ“ и что, въ сущности, для него все равно, что востокъ, что западъ, по пословицѣ: была бы каша заварена, а тамъ хоть чортъ родись! Вообще онъ никогда не забываетъ, что у него есть вицъ-мундиръ, который хотя и виситъ теперь въ шкафу, но который завтра все-таки приведется надѣть. Напротивъ того, Плѣшивцевъ, спрятавши свой вицъ-мундиръ въ шкафъ, смотритъ на себя какъ на апостола и обращается съ своими принципами бережно, словно обѣдню служить. Какъ „почвенникъ“, онъ вѣритъ въ жизненность своихъ убѣжденій, и при защитѣ ихъ всегда имѣетъ въ виду „русскую точку зрѣнія“. Вслѣдствіе этого, въ разгарѣ спора, Плѣшивцевъ называетъ Тебенъкова „департаментской засушиной“, „гнуснецомъ“ и „поскудникомъ“, а Тебенъковъ Плѣшивцева — „юродствующимъ“ и „блаженненькимъ“.

— Тебѣ что! — говоритъ Плѣшивцевъ: — ты гнуснецъ! ты вотъ завтра встанешь, умоешься и смоешь съ себя все, что случайно сегодня на тебя на-сѣло!

— Не знаю, — отвѣчаетъ въ свою очередь Тебенъковъ: — но думаю, что чистоплотность не лишнее качество... даже въ юродствующемъ!

И только чувство деликатности мѣшаетъ ему прибавить: блаженненькій! вѣдь и ты каждый день умываешься въ департаментѣ! да еще какъ умываешься-то!

И Тебенъковъ, и Плѣшивцевъ — оба консерваторы. Ежели спросить ихъ, въ чемъ заключается ихъ консерватизмъ — они навѣрное назовутъ вамъ одни и тѣ же краеугольные камни, тѣ самые, о которыхъ вы услышите и въ любой обвинительной рѣчи прокурора, и въ любой защитительной рѣчи адвоката. Пойдите на улицу — вамъ объяснитъ ихъ любой прохожій; зайдите въ лавочку, любой сидѣлецъ скажетъ вамъ: кабы на человѣка да не узда, онъ и

Бога-то позабылъ бы! Всѣ — и прокуроры, и адвокаты, и прохожіе, и лавочники — понимаютъ эти камни точно такъ же, какъ понимаютъ ихъ Плѣшивцевъ и Тебенъковъ. А между тѣмъ какое глубокое разномысліе раздѣляетъ ихъ по этому коренному вопросу! Плѣшивцевъ утверждаетъ, что человѣкъ долженъ быть консерваторомъ не только за страхъ, но и за совѣсть; Тебенъковъ же объявляетъ, что прибавка словъ: „и за совѣсть“, только усложняетъ дѣло, и что человѣкъ вполнѣ правъ передъ обществомъ и закономъ, если можетъ доказать, что онъ консерваторъ „только за страхъ“.

— Мнѣ все равно, какъ ты подплясываешь, — говоритъ онъ: — за одинъ ли страхъ, или вмѣстѣ за страхъ и за совѣсть! Ты подплясываешь — этого съ меня довольно и больше ничего я не могу отъ тебя требовать! И не только не могу, но даже не понимаю, чтобы можно было далѣе простираť свои требованія!

— Ты не понимаешь, потому что ты поскудникъ! — возражаетъ ему Плѣшивцевъ: — ты вотъ и выраженія такія подыскиваешь, которыя доказываютъ, что въ тебѣ не душа, а департаментская засушина! Это ты „подплясываешь“, а я не подплясываю, а пламенѣю! Да, „пламенѣю“, вотъ чтѣ.

— Ну, и пламенѣй! — подсмѣивается Тебенъковъ.

И Тебенъковъ, и Плѣшивцевъ одинаково утверждаютъ, что для человѣка необходима „почва“, внѣ которой человѣкъ для обоихъ представляется висящимъ въ воздухѣ. Но, высказавши это, Тебенъковъ объясняетъ, что „почва“, въ его глазахъ, не чтѣ иное, какъ *modus vivendi*, какъ сборникъ извѣстныхъ правилъ (въ родѣ, напримѣръ, „Искусства нравиться женщинамъ“), на которыя человѣкъ дѣлающій себѣ карьеру можетъ во всякое время опереться. Въ жизни всякое можетъ случиться. Начальство вдругъ спроситъ: „а покажите-ка, молодой человѣкъ, есть ли у васъ правила!“, родителю любимой особы взбредетъ на мысль сказать: „охотно отдали бы мы, молодой человѣкъ, вамъ нашу Катеньку, да не знаемъ, какъ вы насчетъ правилъ“. Вотъ тутъ-то и можетъ сослужить службу „почва“, въ томъ смыслѣ, какъ понимаетъ ее Тебенъковъ. Сейчасъ въ карманъ, вынулъ книжку „Искусство нравиться начальникамъ“, и тутъ же вымолвилъ: „правила, ваше превосходительство, вотъ они-съ“. Словомъ сказать, „почва“, по мнѣнію Тебенъкова, есть все то, чтѣ не воспрещено, чтѣ не противорѣчитъ ни закону, въ его современномъ практическомъ примѣненіи, ни обычаямъ общественной среды. Если принято платить карточный долгъ на другой день по проигрышѣ — это „почва“; если можно воспользоваться несоблюденіемъ тѣхъ или другихъ формальностей, чтобы оттягать у сосѣда домъ — это тоже „почва“. Просто, ясно и вразумительно. Однако Плѣшивцевъ не только не удовлетворяется этимъ объясненіемъ, но называетъ его „поскудствомъ“. Къ сожалѣнію, самъ онъ подъ словомъ „почва“ разумѣетъ что-то очень загадочное, и когда принимается опредѣлять его, то болѣе вращаетъ глазами и вертитъ руками въ воздухѣ, нежели опредѣляетъ, надъ чѣмъ Тебенъковъ очень добродушно смѣется.

— А ну-ка, скажи! скажи-ка, чтѣ же, по твоему, почва? — подзадориваетъ онъ Плѣшивцева.

— Ты поскудникъ, — горячится въ свою очередь послѣдній: — тебѣ этого не понять! Ты все на свой ясный поскудный языкъ перевести хочешь!



Ты всюду съ своимъ поганымъ, жалкимъ умишкомъ пролѣзть усиливаешься! Шишъ выкусишь — вотъ что! „Почва не опредѣляется, а чувствуется — вотъ что! Безъ „почвы“ человѣкъ не можетъ сознать себя человѣкомъ — вотъ что! Почва, однимъ словомъ, это... вотъ *это*!

И, высказавшись такимъ образомъ, дѣлаетъ жестъ, какъ будто копается гдѣ-то глубоко руками...

И Тебенъковъ, и Плѣшивцевъ — оба аристократы, то-есть имѣютъ или думаютъ, что имѣютъ, кровь алую и кость бѣлую. Предки Тебенъкова доподлинно играли въ исторіи роль: одинъ былъ спальникомъ, другой — чапникомъ; у третьяго была выщипана по волоску борода. Насчетъ предковъ Плѣшивцева исторія была менѣе краснорѣчива. Извѣстно было только, что дѣдъ его былъ однажды посланъ свѣтлѣйшимъ княземъ Потемкинымъ, за двѣ тысячи верстъ, за свѣжею севрюжиной, исполнилъ это порученіе съ честью и съ тѣхъ поръ бойко пошелъ въ ходъ. Но, одинаково признавая принципъ аристократизма, Тебенъковъ и Плѣшивцевъ глубоко расходятся во взглядѣ на его основанія. Тебенъковъ въ основаніи аристократизма полагаетъ право завоеванія. „Первые дружинники — вотъ мои предки, — говоритъ онъ; — они своею кровью запечатлѣли свое право, и я, ихъ потомокъ, явилъ бы себя недостойнымъ ихъ, еслибъ поступился хотя однимъ атомомъ этого дорого добытаго права!“ Сверхъ того, подъ веселую руку, Тебенъковъ сознается, что аристократическій принципъ ему еще потому по душѣ, что вообще лучше воспользоваться земными благами, нежели не пользоваться ими. И такимъ образомъ онъ сообщаетъ своимъ объясненіямъ какой-то матеріалистическій, недостойный характеръ. Напротивъ того, Плѣшивцевъ основываетъ аристократизмъ на „любви“. „Первые излюбленные люди — вотъ мои предки! — говоритъ онъ: — и я былъ бы недостойнъ ихъ, еслибъ поступился хоть частицей ореола народной любви, которая освятила права ихъ!“

— Но ты забываешь, что у тебя никакой „любви“ не было, а просто была севрюжина! — подсмѣивается Тебенъковъ.

— Да вѣдь и тебѣ не мѣшало бы помнить, что и у тебя никакого „завоеванія“ не было, а былъ какой-то Митька Тебенъковъ, которому за „шатость и измѣну“ выщипали бороду по волоску! — явилъ съ своей стороны Плѣшивцевъ.

И Тебенъковъ, и Плѣшивцевъ — оба религіозны и оба очень усердно выполняютъ требуемые религіей обряды. Оба утверждаютъ, что общество безъ религіи — все равно, что тѣло безъ души, но въ то же время оба придаютъ своей религіозной практикѣ глубоко различный смыслъ. Тебенъковъ стоитъ на почвѣ государственной религіи, говоритъ, что религія есть одинъ изъ рычаговъ, которымъ государство имѣетъ право пользоваться для своихъ цѣлей. А лично о себѣ выражается, что онъ *обязанъ* быть религіознымъ, потому что долженъ подавать примѣръ „пурь лѣ жансъ“. Сверхъ того онъ не скрываетъ, что религіозность не безполезна, „какъ средство обратить на себя вниманіе начальства“ (бываютъ такія эпохи, когда начальство вдругъ все сплошь проникается набожностью, какъ бываютъ и такія, когда начальство сплошь проникается скептицизмомъ). Съ нимъ даже былъ очень любопытный случай въ этомъ родѣ. Сначала, въ томъ вѣдомствѣ, гдѣ служилъ Тебенъ-

ковъ, былъ начальникъ *esprit fort*, и любилъ крошечку покошунствовать. Въмѣстѣ съ нимъ крошечку же кошунствовалъ Тебеньковъ, и получилъ (конечно, не за это собственно, но все-таки немножко по поводу этого) повышение. Потомъ, на мѣсто прежняго *esprit fort*, поступилъ новый начальникъ, который не только усердно посѣщалъ подвѣдомственную ему домовую церковь, но даже любилъ пѣть на клиросѣ. Тогда Тебеньковъ являлся къ самому началу службы и не безъ дерзости выбивалъ поклоны передъ мѣстною иконой. И тоже получилъ повышение. Ничего подобного Плѣшивцевъ не допускаетъ: онъ религіозенъ безъ надежды на повышение. Онъ тоже считаетъ государство немислимымъ безъ религіи, но видитъ въ послѣдней не „подспорье“, какъ Тебеньковъ, а основаніе. И вслѣдствіе этого жалѣтъ о временахъ патріарховъ. Религія, почва и любовь — вотъ триада, которой поклоняется Плѣшивцевъ и въ которой онъ видитъ-такъ называемую русскую подоплёку. Онъ не можетъ болѣе ясно опредѣлить, въ чемъ собственно состоитъ эта подоплёка, но ожидаетъ отъ нея очень многого.

— Ты проходимецъ! — говоритъ онъ Тебенькову: — ты постное жрешь, потому что знаешь, что князь Иванъ Семенычъ посты блюдетъ! А я ѣмъ постное, потому что этимъ во мнѣ дѣйство русскаго духа проявляется! Вотъ ты и понимай!

— А кто въ прошлое воскресенье князю Ивану Семенычу просвирку принесъ? — неожиданно, словно изъ пистолета, выстрѣливаетъ въ отвѣтъ Тебеньковъ.

— Я принесъ! Но не страха ради іудейска принесъ, а потому, что въ этомъ приношеніи любви дѣйство проявляется — вотъ чтѣ!

На это Тебеньковъ уже не возражаетъ, а только потихоньку мурдыкаетъ себѣ подъ носъ:

A Provins, trou-la-la!  
On recolte des roses,  
Et du jasmin, trou la-la!  
Et beaucoup d'autres choses...

И Тебеньковъ, и Плѣшивцевъ — оба раздѣляютъ человѣчество на пасущихъ и пасомыхъ. Но Тебеньковъ видитъ въ этомъ раздѣленіи простое требованіе устава благоустройства и благочинія, а Плѣшивцевъ и тутъ ухитряется примостить „любви дѣйство“. Тебеньковъ говоритъ: „всѣ не могутъ повелѣвать; надобно, чтобы кто-нибудь и повиновался“. Плѣшивцевъ говоритъ: „нѣтъ, это не такъ, это слишкомъ сухо, черство, голо; это черезчуръ пахнетъ счетомъ, ариеметикой“. И предлагаетъ въ основаніе раздѣленія людей на повелѣвающихъ и повинующихся положить принципъ „любви“. Повелѣвающіе повелѣваютъ „любви ради“, а покоряющіеся покоряются тоже „любви ради“. И это первыхъ ободряетъ, а послѣднихъ утѣшаетъ.

— Да на кой чортъ тебѣ эти ободренія и утѣшенія! — спорить Тебеньковъ: — вѣдь суть-то въ томъ, чтобы покоряющіеся покорялись — и ничего больше!

— Ты поскудникъ! ты этого не понимаешь! — отвѣчаетъ Плѣшивцевъ: — ты всюду со своей ариеметикой лѣзешь, изъ всего сухую формулу хочешь сдѣлать, а для меня совсѣмъ другое важно. Для тебя, животворящій прин-



ципъ — палка! а для меня этого мало. И палка, сударь, нѣма, коли въ ней любви дѣйство не проявляется!

Наконецъ, и Тебенъковъ, и Плѣшивцевъ — оба уважаютъ народность; но Тебенъковъ смотритъ на этотъ предметъ съ точки зрѣнія армій и флотовъ, а Плѣшивцевъ — съ точки зрѣнія подоплѣки. Оба говорятъ: есть ли на свѣтѣ другой народъ, какъ русскій! Но Тебенъковъ относитъ свои похвалы преимущественно къ дисциплинѣ, а Плѣшивцевъ — къ смиренію.

Такимъ образомъ бойко и живо идутъ наши вечернія собесѣдованія. Подчасъ, благодаря пламенности Плѣшивцева и язвительнымъ замашкамъ Тебенъкова, они угрожаютъ перейти въ серьезные стычки, но насъ спасаетъ увѣренность, что на утро намъ всѣмъ троимъ придется встрѣтиться въ департаментѣ и всѣмъ троимъ приняться за общее дѣло подгузменія. И такимъ образомъ департаментская бездна пожираетъ всѣ разномыслія и на всѣ наши распри проливаетъ умиротворяющій бальзамъ.

Еслибы читатель спросилъ меня, чью сторону я держу во время этихъ полемическихъ собесѣдованій, я очень затруднился бы отвѣтомъ на этотъ вопросъ. Для меня вполне ясно только одно: что оба друга мои вполне благонамѣренные люди. Оба признаютъ необходимость „почвы“, оба консерваторы, оба сторонники аристократическаго принципа, оба религіозны, оба раздѣляютъ челоуѣчество на пасущихъ и пасомыхъ, оба уважаютъ народность. Этого для меня вполне достаточно, чтобъ находить ихъ общество вполне приличнымъ, — а затѣмъ, какимъ процессомъ достались имъ эти убѣжденія и въ какіе закоулки каждый изъ нихъ считаетъ нужнымъ зайти, чтобъ подкрѣпить свой нравственный строй — къ этому я совершенно равнодушенъ.

Я думаю даже, что въ ихъ разномысліи скорѣе играетъ роль различіе темпераментовъ, нежели различіе убѣжденій. Плѣшивцевъ пылокъ и нетерпѣливъ; Тебенъковъ разсудителенъ и сдержанъ. Плѣшивцевъ охотно лѣзетъ на стѣну; Тебенъковъ предпочитаетъ пролѣзть въ подворотню. Плѣшивцевъ проникаетъ въ челоуѣческую душу съ помощью взлома; Тебенъковъ дѣлаетъ тоже самое съ помощью подобранаго ключа. Вотъ и все.

Иногда мнѣ даже кажется, что передо мною лицедѣйствуютъ два субъекта: прокуроръ, въ пухъ и прахъ разбивающій адвоката, и адвокатъ, въ пухъ и прахъ разбивающій прокурора. Оба эти челоуѣка очень серьезно взаимно считаютъ себя противниками, оба отъ полноты сердца язвятъ другъ друга и отнюдь не догадываются, что только счастливое недоумѣніе не позволяетъ имъ видѣть, что оба они, въ сущности, дѣлаютъ одно и то же дѣло, и уязвленіями своими не разбиваютъ, а напротивъ того подкрѣпляютъ другъ друга. На дѣлѣ, передъ вами происходитъ замысловатая, но въ то же время нѣсколько шальная комедія, въ которой графъ, неизвѣстно зачѣмъ, разыгрываетъ роль лакея, а лакей, безъ всякаго разумнаго основанія, напаяливаетъ на себя графскій фракъ. Или нѣчто въ родѣ встрѣчи двухъ пьяныхъ, которые, собственно говоря, имѣютъ въ виду только поцѣловаться, но которыхъ взаимныя приставанья, обыкновенно сопровождающія процессъ пьянаго цѣлованія, нерѣдко доводятъ до потасовки.

Говорятъ, будто Плѣшивцевъ искреннѣе, нежели Тебенъковъ, и будто бы съ этой точки зрѣнія онъ заслуживаетъ болѣе симпатіи. Но, по моему,

они оба—равно симпатичны. Правда, я достовѣрно знаю, что если Плѣшивцеву придется кого-нибудь преслѣдовать, то не мудрено, что онъ или на дыбу того человѣка вздернетъ, или на кострѣ изжаритъ. Но я знаю также, что если и Тебенкову выдастся случай кого-нибудь преслѣдовать, то онъ тихимъ манеромъ, кроткими мѣрами... но все-таки того человѣка изведетъ.

Затѣмъ, если кто предпочитаетъ перспективу дыбы и костра перспективѣ тихаго и постепеннаго изведенія, или наоборотъ, то это ужъ дѣло личнаго вкуса, относительно котораго я судьей быть не берусь.

На дняхъ наша дружеская полемика получила новую богатую пищу. Въ газетахъ появилась рѣчь одного изъ эльзасъ-лотарингскихъ депутатовъ, Тейтча, произнесенная въ германскомъ рейхстагѣ. Рѣчь эта, очень мало замѣчательная въ ораторскомъ смыслѣ, задѣла насъ за живое внезапностью своего содержанія. Никто изъ насъ не ожидалъ, чтобы могъ выступить, въ качествѣ спорнаго, такой предметъ, о которомъ повидимому не могло существовать двухъ различныхъ мнѣнй. Этотъ оказавшійся спорнымъ предметъ—любовь къ отечеству.

Изъ обращенія Тейтча къ германскому парламенту мы узнали, во-первыхъ, что человѣкъ этотъ имѣетъ общее *à tous les coeurs bien nés* свойство любить свое отечество, которымъ онъ почитаетъ не Германію и даже не отторгнутія ею, вслѣдствіе послѣдней войны, провинціи, а Францію; во-вторыхъ, что, сильный этою любовью, онъ сомнѣвается въ правильности присоединенія Эльзаса и Лотарингіи къ Германіи, потому что съ разумными существами (каковыми признаются эльзасъ-лотарингцы) нельзя обращаться какъ съ перазумными, безсловесными вещами, или, говоря другими словами, потому что нельзя разумнаго человѣка заставить перемѣнить отечество такъ же легко, какъ онъ мѣняетъ бѣлье; а въ-третьихъ, что, по всѣмъ этимъ соображеніямъ, онъ находитъ справедливымъ, чтобы совершившійся фактъ присоединенія былъ подтвержденъ спросомъ населенія присоединенныхъ странъ, дѣйствительно ли этотъ фактъ соответствуетъ его желаніямъ.

„До сихъ поръ было въ обычай въ этой палатѣ,—говорилъ Тейтчъ, обращаясь къ рейхстагу,—что ежели кто-нибудь возвышалъ голосъ въ защиту угнетенныхъ вами населеній, то ему зажимали ротъ и карали его, какъ измѣнника отечеству (какому? вчерашнему или сегодняшнему?). Но измѣнникъ—не тотъ, который проклинаетъ неправду, а тѣ, которыхъ стремленія къ матеріальному преобладанію увлекаютъ къ поправленію всякаго права“.

Оставимъ въ сторону „проклинанія неправды“ и „поправленія права“; пусть будутъ эти слова пустыми цвѣтами краснорѣчія, которые въ людяхъ, „стремящихся къ матеріальному преобладанію“, могутъ возбудить только веселый смѣхъ. Фактъ ясенъ и простъ самъ по себѣ: Тейтчъ любитъ свое отечество, то отечество, которое онъ съ тѣхъ поръ, какъ помнитъ себя, всегда считалъ таковымъ. Съ другой стороны онъ обращается съ этою любовью не къ космополитамъ-теоретикамъ и не къ какимъ-нибудь проходимцамъ, которые вчера предлагали свои услуги американскимъ рабовладѣльцамъ, сегодня предлагаютъ ихъ Донъ-Карлосу, а завтра предложатъ Наполеону IV, или



ваканскому владыкѣ. Нѣтъ, онъ обращается къ такимъ же солиднымъ людямъ, какъ и онъ самъ, къ членамъ рейхстага, изъ которыхъ каждый отнюдь не меньше его любитъ *свое* отечество. И Тейтчъ, и эти люди стоятъ на одной и той же почвѣ, говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ и объ одномъ и томъ же предметѣ. Такъ что, напримѣръ, еслибъ Тейтчъ въ стѣнахъ берлинскаго университета защищалъ диссертацию на тему о любви къ отечеству, то Форкенбекъ (президентъ рейхстага) не только не оборвалъ бы его и не пригрозилъ бы ему призывомъ къ порядку, но первый же съ восторгомъ объявилъ бы его докторомъ отечестволюбия.

Между тѣмъ здѣсь, въ стѣнахъ рейхстага, гдѣ по всѣмъ правамъ любовь къ отечеству должна бы ожидать для себя торжественнаго практическаго подтвержденія — тутъ-то именно и происходитъ нѣчто совершенно неожиданное. Люди этого собранія такъ горячо любящіе свое отечество, не только не поощряютъ Тейтча, не только не приглашаютъ его дать полезный урокъ „безпочвенному космополитизму“, но, напротивъ того, глумятся надъ Тейтчемъ, какъ надъ блаженненькимъ, осыпаютъ его насмѣшками и бранью, какъ будто онъ самый вредный изъ вреднѣйшихъ членовъ интернаціоналки. Они скорѣе готовы примириться съ архіепископомъ Ресомъ, съ этимъ непонимающимъ родства субъектомъ, явившимся въ рейхстагъ во имя интересовъ папства, нежели съ чудаконъ, который никакъ не можетъ позабыть, что у него недавно было нѣчто такое, чтó онъ называлъ своимъ отечествомъ!

Какъ они смѣялись надъ нимъ! Какъ весело провели они эти полчаса, въ продолженіе которыхъ Тейтчъ, на ломаномъ нѣмецкомъ языкѣ, объяснялъ, какъ сладко любить отечество и какъ сильна можетъ быть эта любовь! И чтó всего замѣчательнѣе: они смѣялись во имя той же самой „любви къ отечеству“, именемъ которой и Тейтчъ посылалъ имъ въ лицо свои укоры!

Чтó скажутъ объ этомъ космополиты! Что подумаютъ тѣ чистые сердца, которые, говоря объ отечествѣ, не могутъ воздержаться, чтобы не произнести: да будетъ забвенна десница моя, ежели забуду тебя, Іерусалиме! Какъ глубоко поражены будутъ тѣ пламенные юноши, которыхъ еще въ школѣ напитывали высокими примѣрами Регуловъ и Муцій Сцеволлъ, которые еще въ колыбели засыпали подъ сладкіе звуки псалма: „на рѣкахъ вавилонскихъ, тамо сѣдохомъ и плакахомъ“?!

О чемъ „плакахомъ“? Увы! нынче нѣтъ ни Іерусалима, ни Регуловъ, ни Муційевъ Сцеволлъ! За то есть хохочущій рейхстагъ, есть президентъ Форкенбекъ, осушающій непрошенныя слезы призывомъ къ порядку, есть Бисмаркъ, освѣжающій разгоряченную воспоминаніями объ утраченномъ „Іерусалимъ“ голову насмѣшкою, почерпнутою изъ устава о благоустройствѣ и благочиніи!

Происшествіе это тѣмъ болѣе затронуло насъ, что наше время есть по преимуществу время превратныхъ толкованій, которыхъ мы, какъ извѣстно, боимся до страсти. Не далѣе, какъ наканунѣ, Плѣшивцевъ написалъ и представилъ князю Ивану Семенычу проектъ циркуляра, въ которомъ, именно въ виду постоянного распространенія „превратныхъ толкованій“, любовь къ отечеству рекомендовалась вниманію начальствующихъ лицъ, какъ такое чувство, которое заслужило со стороны ихъ особливаго вниманія и поощре-

нія. „Любовь къ отечеству, — писалось въ этомъ проектѣ, — родить героевъ. Она возвышаетъ нравственную температуру человѣка, изощряетъ его умъ и дѣлаетъ его способнымъ не только къ подвигамъ личной самоотверженности, но и къ изобрѣтенію орудій съ цѣлю истребленія враговъ... Науки обязаны ей своимъ непрерывнымъ развитіемъ, чему примѣромъ служить Ломоносовъ, который, будучи рожденъ въ податномъ состояніи, умеръ въ чинѣ статскаго совѣтника... Но наипаче существеннымъ оказывается ея вліяніе при отправленіи денежныхъ и натуральныхъ повинностей, ибо только при дѣятельномъ содѣйствіи сего жизненнаго стимула достигается безнедоумочное поступленіе принадлежащихъ казнѣ сборовъ... То же должно сказать и о бѣдствіяхъ, которыя, въ формѣ повальныхъ болѣзней, неурожаевъ и проч., постигаютъ человѣческій родъ, и которыя по истинѣ были бы непереносимы, еслибъ бѣдствующему человѣку не являлась на помощь любовь къ отечеству, споспѣшествуемая благотворнымъ сознаніемъ, что законъ неукоснительно преслѣдуетъ людей, не умѣющихъ быть твердыми въ бѣдствіяхъ“. Въ заключеніе изъяснялась надежда, „что, по всеѣмъ этимъ соображеніямъ, ваше превосходительство не оставите обратить ваше просвѣщенное вниманіе на столь важный предметъ, и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать распоряженіе, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство воспитывалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пресѣчены все способы къ омраченію и извращенію онаго“.

Эта бумага была плодомъ завѣтнѣйшихъ замысловъ Плѣшивцева. Онъ писалъ ее по секрету и по секрету же сообщилъ о ней лишь одному мнѣ. Читая ее, онъ говорилъ: „я здѣсь — Плѣшивцевъ! понимаешь? Плѣшивцевъ, а не чиновникъ!“ И затѣмъ, представивъ свою работу князю Ивану Семенычу, онъ даже нѣсколько побаивался за ея судьбу.

— Затѣмъ, братецъ, — говорилъ онъ: — о государствѣ ни одного слова! Отечество — и баста!

— Да, братъ, это — штука! — отвѣчалъ я съ своей стороны.

Тѣмъ не менѣе надежда на успѣхъ все-таки была, хотя, должно сознаться, она основывалась преимущественно на каламбурѣ. Предполагалось, что въ департаментской практикѣ нѣкоторыя выраженія до такой степени осинонимизировались, что нужно было нарочито подыскиваться, чтобъ употребленная Плѣшивцевымъ тонкость могла быть понята. Къ числу такихъ однородныхъ выраженій принадлежали „отечество“ и „государство“, которыя въ департаментѣ употреблялись не только безразлично, но даже чередовались другъ съ другомъ, въ видахъ избѣжанія частыхъ повтореній одного и того же слова. Поэтому Плѣшивцевъ имѣлъ очень вѣскія основанія надѣяться.

— Не догадаются! — таинственно шепталъ онъ мнѣ.

— Не догадаются! — отъ всей души отеликался и я.

Съ другой стороны, и Тебенковъ не дремалъ, но тоже по секрету представилъ князю Ивану Семенычу проектъ циркуляра, о которомъ тоже сообщилъ только мнѣ. Тамъ писалось: „Любовь къ отечеству, чувство, безподобное само по себѣ, пріобрѣтаетъ еще больше значенія, если взглянуть на него какъ на одно изъ самыхъ могущественныхъ административныхъ подспорьевъ... Будучи эксплуатируемо съ осторожностью, неукоснительно, оно



незамѣтно развивается въ чувство государственности, сіе же послѣднее, содѣлывая управляемыхъ способными къ быстрому постиженію административныхъ мѣропріятій, въ значительной степени упрощаетъ механизмъ оныхъ, и чрезъ то, въ ближайшемъ будущемъ, общаетъ существенныя сокращенія штатовъ, причемъ, однакожъ, чиновники усердные и вполне благонадежные не токмо ничего не потеряютъ, но даже приобретутъ... Главнѣйшее же вниманіе должно быть обращено на то, дабы отечество, въ сознаніи управляемыхъ, ни въ какомъ случаѣ не отдѣлялось отъ государства и дабы границы сего послѣдняго представлялись онымъ яко непремѣнныя и естественныя границы перваго... Исторія вѣхъ образованныхъ государствъ, съ самой глубокой древности и до нашихъ временъ, доказываетъ, сколь полезны бывали внушенія сего рода, не токмо въ години бѣдствій, не перестающихъ и понынѣ периодически удручать родъ человѣческій, но и во всякое другое, благопріятное для административныхъ мѣропріятій время. А посему ваше превосходительство не оставите обратить на сей важный предметъ ваше просвѣщенное вниманіе, и въ согласность сему озаботитесь сдѣлать зависящія распоряженія, дабы въ предѣлахъ ввѣреннаго вамъ вѣдомства упомянутое чувство любви къ отечеству развивалось и охранялось со всею неуклонностью, и дабы превратнымъ толкованіямъ были пересѣчены все способы къ омраченію и извращенію оного“.

И такъ, оба друга мои сочинили по циркуляру. Отъ одного разлило государственностью, въ другомъ очень осторожно, но въ то же время очень искусно былъ пущенъ запахъ подоплёки. А такъ какъ я лично оплошалъ, то-есть никакого циркуляра не сочинилъ, то мнѣ оставалось только выжидать, который изъ моихъ пріятелей восторжествуетъ.

И вдругъ въ газетахъ появляется рѣчь Тейтча, которая на все Плѣшивцевскія махинаціи проливаетъ яркій свѣтъ!

— Не пройдетъ! нечего и думать! — шепнулъ мнѣ Плѣшивцевъ еще утромъ, какъ только прочиталъ газетное извѣстіе.

Напротивъ того, Тебеньковъ сдѣлался веселѣе и самоувѣреннѣе обыкновеннаго.

— Теперь мое дѣло въ шляпѣ, — сказалъ онъ мнѣ: — придется, можетъ быть, нѣсколько почистить: „отечества“ поурѣзать да „государственности“ поприпустить — и готово!

Вечеромъ мы все были въ сборѣ, но долгое время, словно сговорившись, не приступали къ интересовавшему насъ предмету. Плѣшивцевъ молча ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, ерошилъ себѣ волосы, какъ бы соображая, нельзя ли и „подоплёку“ соблюсти, и рейхстагу германскому букетецъ приподнести. Я ни о чемъ особенномъ не думалъ, но въ ушахъ моихъ съ какою-то мучительною назойливостью звенѣло: вотъ тебѣ и „сѣдохомъ и плахихомъ“! Тебеньковъ тоже молчалъ, но это было молчаніе, полное торжества, и взглядъ его глазъ, и безъ того ясныхъ, сдѣлался до такой степени колючъ, что меня подиралъ морозъ по кожѣ.

— Однако чудеса на свѣтѣ дѣлаются! — сказалъ наконецъ я, чтобы завязать разговоръ.

— Да, братъ! ничего не подѣлаешь! — отозвался Плѣшивцевъ: — вотъ она! вотъ она, подоплѣка-то гдѣ сказалась!

— *Encore cette malheureuse podoplioka!* — весело воскликнуть Тебеньковъ.

— Не прогнѣвайтесь, Александръ Петровичъ! Малѣрёвъ подоплѣка — это такъ точно-съ! Съ канканчикомъ-съ, съ польдекоковщиной-съ, съ гнильдой-съ, съ государственнымъ обезличеніемъ-съ! Вотъ имъ, обладателямъ этой малѣрёвъ подоплѣка, и говорятъ: не трудитесь, молю, насчетъ отечества прохаживаться, потому что ваше отечество въ танцклассѣ у Марцинкевича... да-съ!

— Joli!

— Жоли или не жоли, а только это такъ-съ. Съ канканчикомъ, конечно, можно еще какъ-нибудь на идею государства — вашего, Александръ Петровичъ, Тебеньковского государства! — набрести; ну, а отечество — эта штука помудренѣе будетъ.

Я былъ смущенъ. Я зналъ, что со стороны Тебенькова оправданіе претерпѣнной Тейтчемъ неудачи не только возможно, но и вполне естественно, но признаюсь, выхода Плѣшивцева нѣсколько изумила меня.

— Какъ! и ты, Плѣшивцевъ! — воскликнулъ я: — и ты, значить, оправдываешь этотъ веселый хохотъ надъ человѣкомъ, оторченнымъ потерей отечества?

— Ничего, братецъ, не подѣлаешь! Когда у людей вмѣсто подоплѣки канканчикъ...

— Послушай, душа моя! зачѣмъ же ты приплетаешь сюда какой-то канканчикъ? Вѣдь у французовъ не одинъ же канканъ! Есть у нихъ и своя цивилизація, и своя литература, и своя промышленность! Всего этого, право, очень достаточно, чтобы въ человѣкѣ получилось представленіе о той совокупности вещей и явленій, изъ которой выводится идея отечества! Посмотри! не прошло трехъ лѣтъ послѣ разгрома, а почти незамѣтно и слѣдовъ его! Уплатили пять милліардовъ нѣмцу, а сколько еще милліардовъ потребовалось, чтобы собственныя внутреннія раны залечить! И все это совершилось во-очію! Какая сила! Какое неистощимое богатство!

— И богатство есть, и фабрики, и заводы; даже полиція есть. Но чтобы была цивилизація — вотъ съ чѣмъ я никогда не соглашусь! Плоха, братъ, та цивилизація, отъ которой мертвечиной пахнетъ, въ которой жизни духа нѣтъ!

— „Жизни духа, духа жизни!“ — поддразнилъ Тебеньковъ.

— Да-съ, Александръ Петровичъ, ни жизни духа, ни духа жизни — ничего, кромѣ гнили-съ! А потому и не жалуйся гнилой человѣчишко, что его въ полонъ взяли! Не сѣтуй, не растабарывай насчетъ отечества, которого у тебя нѣтъ!

— Но ты забываешь, что Франція въ продолженіе многихъ столѣтій была почти постоянно побѣдительницей, что французскія войска квартировали и въ Берлинѣ, и въ Вѣнѣ...

— *Et Moscou donc!* — озорно отозвался Тебеньковъ.

— Шить взяли!



— Что этотъ самый Эльзась, эта самая Лотарингія были когда-то нѣмецкими провинціями?

— Ну, да, и въ Берлинѣ были, и въ Вѣнѣ были, и Эльзась съ Лотарингіей отобрали у нѣмцевъ! Чтѣжь! сами никогда не признавали ни за кѣмъ права любить отечество — пусть же не пеняють, что и за ними этого права не признають.

— Постой! это другой вопросъ, правильно или неправильно поступали французы. Рѣчь идетъ о томъ, имѣеть ли французъ настолько сознательное представленіе объ отечествѣ, чтобы сожалѣть объ утратѣ его, или не имѣеть его? Ты говоришь, что у французовъ вмѣсто жизни духа — одинъ канканъ; но неужели они съ однимъ канканомъ прошли черезъ всю Европу? неужели съ однимъ канканомъ они офранцузили Эльзась и Лотарингію до такой степени, что провинціи эти никакого другого отечества, кромѣ Франціи, не хотятъ знать?

— Все это былъ одинъ пьяный порывъ! А вотъ какъ ихъ приперли хорошенько, да показали, что есть на свѣтѣ ружья почище шасспѣ — на днѣ-то порыва и оказалась гниль!

— Гниль! чтѣ же это за слово, однакожь! Третій разъ ты его повторяешь, а вѣдь, собственно говоря, это совсѣмъ не отвѣтъ, а простой восклицательный знакъ! Ты оставь метафоры и отвѣчай прямо: имѣлъ ли германскій рейхстагъ основаніе не признавать за Тейтчемъ право любить свое отечество!

— Да я съ того и началъ, что сказалъ: вотъ она подоплѣка-то! вотъ какъ она дала себя почувствовать!

— „Подоплѣка!“ „Гниль!“ Воля твоя, а это не разговоръ!

— Господинъ Плѣшивцевъ, конечно, полагаетъ, что чебоксарская подоплѣка (Плѣшивцевъ былъ родомъ изъ Чебоксаръ) будетъ мало-мало подобротѣе, нежели французская! — уязвилъ Тебеньковъ.

— Да-съ, подобротѣе-съ! Чебоксарская подоплѣка не деретъ глотки, а постоятъ за себя! Да-съ, постоятъ-съ! Мы, чебоксарцы, не анализируемъ своихъ чувствъ, не взвѣшиваемъ своихъ побужденій по гранамъ и унціямъ! Мы просто идемъ въ огонь и въ воду — и все тутъ! И насъ не отберутъ, какъ какихъ-нибудь эльзасцевъ-съ! Нѣтъ-съ, обожгутся-съ!

Тебеньковъ на эту діатрибу только свиснулъ въ отвѣтъ и, улегшись съ ногами на диванъ, замурыкалъ себѣ подъ носъ изъ „m-me Angôt“:

Elle est tellement innocente,  
Qu'elle ne comprend presque rien!

Я тоже недоумѣвалъ. Я мысленно спрашивалъ себя, въ какой степени возможно продолженіе разговора, предметъ котораго грозитъ перейти на чебоксарскую почву? Можно ли, напримѣръ, оспаривать, что чебоксарская подоплѣка добротѣе французской? не будетъ ли это противно тѣмъ инстинктамъ отечестволюбія, которые такъ дороги моему сердцу? не разсердить ли это наконецъ Плѣшивцева, который хоть и пріятель, а вдругъ возьметъ да и крикнетъ: караулъ! измѣна?! И ничего ты съ нимъ не подѣлаешь, потому что онъ крѣпко стоитъ на чебоксарской почвѣ, а ты колеблешься! Хороши

Чебоксары, прекрасен Наровчатъ, но когда передъ тобой начнутъ сравнивать ихъ съ Парижемъ въ ущербъ послѣднему — тебѣ все-таки совѣстно. А ему, Максиму Михайлову Плѣшивцеву, потомку маіора, ѣздившаго за двѣ тысячи верстъ за севрюжиной для Потемкина, не только не совѣстно, но онъ даже цвѣтище отъ этихъ сравненій дѣлается!

Тѣмъ не менѣе вопросъ, о которомъ зашла у насъ рѣчь, представлялъ для меня такой интересъ, что я рѣшился довести нашу бесѣду до конца, хотя бы даже Плѣшивцевъ и обвинилъ меня въ измѣнѣ.

— И такъ, ты въ цѣлой Франціи, въ ея исторіи, въ ея геніи ничего не видишь, кромѣ „La belle Hélène“? сказалъ я вновь.

— Ничего!

— „La belle Hélène“? Mais je trouve que c'est encor très joli ça! Она познакомила нашу армію и флоты съ классическою древностью! — воскликнулъ Тебенковъ. — На дняхъ приходитъ ко мнѣ капитанъ Потугинъ: „правда ли, говоритъ, Александръ Петровичъ, что въ древности греческій царь Менелай былъ?“ — А вы, говорю, откуда узнали? — „Въ Александринѣ“, говоритъ, господина Марковецкаго на дняхъ видѣлъ!“

— Вотъ она... французская-то цивилизація! Смотри на него! любуйся! — трагически произнесъ Плѣшивцевъ, протягивая руку по направленію Тебенкова.

— А ты хочешь отъ меня примѣровъ чебоксарской цивилизаціи! Успокойся, душа моя! ихъ много найдется и во Франціи! Есть, голубчикъ, есть! Вспомни лурдскія богомолья, вспомни паре-ле-моніальское посвященіе Іисусову сердцу! Право, хоть сейчасъ въ Чебоксары!

— И въ самомъ дѣлѣ! — ободрился я: — вѣдь это тоже своего рода подоплека!

— И даже едва ли не болѣе добротная, нежели чебоксарская! По крайней мѣрѣ это подоплека, выразившаяся независимо отъ начальственныхъ поощреній, тогда какъ если взглянуть попристальнѣе въ чебоксарскую подоплеку, то навѣрное увидишь на ней слѣды исправника или станового!

— А вѣдь это правда, что чебоксарская-то подоплека немного тово... какъ будто помята руками особъ, на заставахъ команду имѣющихъ... что ты скажешь на это, Плѣшивцевъ?

— Что говорить? Шутить изволите — ну, и шутите!

— Хорошо. Будемъ говорить серьезно, — сказалъ Тебенковъ. — Отбросимъ въ сторону „подоплеку“, „гнили“, „жизни духа“ и другія метафизы, которыми ты такъ охотно уснащаешь свой разговоръ, и постараемся резюмировать сущность сказаннаго тобою по поводу походженій господина Тейтча въ германскомъ рейхстагѣ. Эта сущность, выраженная въ грубой, но правдивой формѣ, заключается въ слѣдующемъ: человѣкъ, который въ свои отношенія къ явленіямъ природы и жизни допускаетъ элементъ сознательности, не долженъ имѣть претензій ни на религіозность, ни на любовь къ отечеству? Est-ce ça, mon vieux!

— Са да не са. Сознательность бываетъ разная. Я, на примѣръ, сознаю себя русскимъ — это сознательность здоровая, сильная, освѣжающая.



Но ежели сознательность родить Тебеньковыхъ... извини меня, я такой сознательности и уважать не могу!

— Благодарю—не ожидалъ! Такъ что, напримѣръ, ежели я не вѣрю, что будущій урожай или неурожай зависить отъ того, катали или не катали пона по полю въ егорьевъ-день, какъ вѣрятъ этому господа чебоксарцы, то я не могу называть себя религіознымъ человѣкомъ? Такъ вѣдь?

— Продолжайте, Александръ Петровичъ, продолжайте!

— Но вѣдь это логически выходитъ изъ всѣхъ твоихъ заявленій! Подумай только: тебя спрашиваютъ, имѣть ли право французъ любить свое отечество? а ты отвѣчаешь: нѣтъ, не имѣть, потому что онъ приобрѣлъ привычку анализировать свои чувства, развѣшивая ихъ на унцы и граны; а вотъ чебоксарецъ—тотъ имѣть, потому что онъ ничего не анализируетъ, а просто идетъ въ огонь и въ воду! Стало быть, по твоему, для патріотизма нѣтъ лучшаго помѣщенія, какъ невѣжественный и полудикій чебоксарецъ, который и границъ-то своего отечества не знаетъ!

— Для того, чтобы любить родину, нѣтъ надобности знать ея географическія границы. Человѣкъ любитъ родину, потому что объ ней говоритъ ему все нутро его! Въ человѣкѣ есть внутреннее чутье! Оно лучше всякаго учебника укажетъ ему тѣ границы, о которыхъ ты такъ много хлопочешь!

— То-есть, не столько „внутреннее чутье“, сколько начальственное распоряженіе. Скажетъ начальство чебоксарцу: вотъ городъ Золотоноша, въ которомъ живутъ все враги; любезный чебоксарецъ! возьми и предай Золотоношу огню и мечу! И чебоксарецъ исполнить все это.

— Врешь ты! Этого не можетъ быть!

— Это было, Плѣшивцевъ. Вспомни удѣльный періодъ; вспомни въ позднѣйшее время Тверь, Новгородъ, Псковъ...

— Это совсѣмъ не то! это были усобицы! это были внутреннія неурядицы! это...

Ясно было, что Плѣшивцевъ окончательно начинаетъ терять хладнокровіе, что онъ—вообще плохой спорщикъ—дошелъ уже до такой степени раздраженія, когда всякое возраженіе, всякій запросъ принимаютъ размѣры оскорбленія. При такомъ расположеніи духа одного изъ спорящихъ первоначальный предметъ спора постепенно затемняется и на сцену Богъ вѣсть откуда выступаютъ всевозможныя детали, совершенно ненужныя для разъясненія дѣла. Поэтому я рѣшился напомнить друзьямъ моимъ, что полемика ихъ зашла слишкомъ далеко.

— Къ вопросу, господа!—сказалъ я.—Вопросъ заключается въ слѣдующемъ: вслѣдствіе неудачъ, испытанныхъ Франціей во время послѣдней войны, Бисмаркъ отнялъ у послѣдней Эльзасъ и Лотарингію и присоединилъ ихъ къ Германіи. Имѣть ли онъ право требовать, чтобы жители присоединенныхъ провинцій считали Германію своимъ отечествомъ и любили это новое отечество точно такъ, какъ бы она была для нихъ старымъ отечествомъ?

— Не Бисмаркъ, а народъ! понимаешь! не германское государство, которое воплощаетъ собою Бисмаркъ, а германскій народъ!

— А народъ германскій, стало быть, имѣть это право?

— Имѣть.

— На какомъ же основаніи?

— А на томъ основаніи, что его нравственная фізіономія выше, нежели нравственная фізіономія какого-нибудь эльзасца, воспитаннаго въ растлѣвающей французской школѣ!

— Послушай! но вѣдь это своего рода дарвинизмъ, своеобразный, но все-таки дарвинизмъ. По твоему мнѣнію организмъ болѣе нравственный имѣетъ право поработать организмъ менѣе нравственный?

— Не поработать, а преобразжать, просвѣтлять. Для развращеннаго, лишеннаго нравственной подкладки эльзасца это че поработеніе, а просвѣтлѣніе. Да-съ.

— Но кто же судья въ этомъ дѣлѣ? кому принадлежитъ право рѣшать, какой организмъ болѣе нравственъ и какой организмъ менѣе нравственъ!

— Судья въ этомъ дѣлѣ — совѣсть самого болѣе нравственнаго организма, его собственное сознаніе принадлежащаго ему права и какъ результатъ этого сознанія — успѣхъ.

— Такъ что если, напримѣръ, ты признаешь себя относительно меня и Тебенькова болѣе нравственнымъ организмомъ, то ты имѣешь право просвѣтлять насъ на всей твоей волѣ?

— Имѣю-съ.

— И пѣмцы имѣютъ право сказать эльзасцамъ: отнынѣ вы обязываетесь любить насъ?

— Имѣютъ-съ. И не только имѣютъ основаніе теоретически заявить объ этомъ правѣ, но и достигать его осуществленія. И достигнуть-съ.

— Такъ что ежели эльзасцы будутъ продолжать упорствовать...

— То они докажутъ этимъ, что для нихъ нужна школа. И получаютъ ее.

— Mais c'est juste ce que je dis: люби не люби, а подплясывай! — вставилъ Тебеньковъ.

— Но ты забылъ, душа моя, что присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи есть результатъ войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей! ты забылъ, что случайности эти одинаковы для всѣхъ, и что такимъ образомъ и Чебоксары могутъ подвергнуться процессу просвѣтлѣнія... Опомнись.

— Не случайности, а пути Провидѣнія! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только Провидѣніе!

— Но Чебоксары?...

Это былъ крикъ моего сердца, мучительный крикъ, не встрѣтившій впрочемъ отзыва. И я, и Плѣшивцевъ — мы оба умолкли, какъ бы подавленные однимъ и тѣмъ же вопросомъ: „но Чебоксары?!“ Только Тебеньковъ попрежнему смотрѣлъ на насъ ясными, колючими глазами и втихомолку посмѣивался. Наконецъ онъ заговорилъ.

— Господа! — сказалъ онъ: — въ удивленію моему, я съ каждымъ днемъ все больше и больше убѣждаюсь, что какъ ни безпощадна полемика, которую ведетъ противъ меня нашъ общій другъ Плѣшивцевъ, но, въ сущности, мы ни по одному вопросу ни въ чемъ существенномъ не расходимся. Онъ требуетъ для человѣка почвы, и я требую для человѣка почвы. Онъ признаетъ, что есть извѣстныя основы, безъ которыхъ общество не можетъ



существовать, и я признаю, что есть извѣстныя основы, безъ которыхъ общество не можетъ существовать. Онъ уважаетъ религію, и я уважаю религію. Онъ консерваторъ, и я консерваторъ. Разница между нами заключается въ томъ, что я употребляю нѣкоторыя выраженія, которыя не по душѣ Плѣшивцеву, а онъ употребляетъ нѣкоторыя выраженія, которыя не по душѣ мнѣ. Но смѣю думать, что это только діалектическія особенности, ибо ежели резюмировать наши убѣжденія въ кратчайшей формѣ, отрѣшивъ ихъ отъ діалектическихъ приѣмовъ, а особенно ежели взять во вниманіе тѣ практическія примѣненія, которыя эти убѣжденія получаютъ, проходя сквозь горнило департамента, въ которомъ мы оба служимъ, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не чтò иное, какъ большое діалектическое недоразумѣніе. Мы оба требуемъ отъ массъ подчиненія, а во имя чего мы этого требуемъ — во имя ли принциповъ „порядка“, или во имя „жизни духа“ — право, это еще не суть важно. Blanc bonnet, bonnet blanc — вотъ и все. Слѣдовательно намъ нужно только отказаться отъ нѣкоторыхъ мудреныхъ и малоупотребительныхъ выраженій — и всѣ недоразумѣнія исчезнутъ. Не правда ли, Плѣшивцевъ? Скажи по совѣсти, вѣдь мы можемъ подать другъ другу руки?

Сказавши это, Тебеньковъ протянулъ Плѣшивцеву руку, но послѣдній не принялъ ея.

— Ну, нѣтъ! Это стара штука! — сказалъ онъ: — это споръ старый! Онъ еще при Петрѣ начался! Тутъ не одними мудреными словами пахнетъ! Тутъ есть кое-что поглубже!

— Очень жаль, что наружное разномысліе наше должно продолжаться безъ срока, хотя, повторяю, разномысліе это чисто наружное и отнюдь не мѣшаетъ полному внутреннему нашему единомыслію. Да, мой другъ! чтò ни говори, а всѣ эти „подоплѣки“, всѣ эти „жизни духа“ — все это діалектическіе приѣмы того же устава благочинія, во имя котораго ратую и я. Тебѣ по сердцу „просвѣтлѣніе“, мнѣ — „административное воздѣйствіе“, но и въ томъ и въ другомъ случаѣ, въ концѣ концовъ, все-таки прозрѣвается военная экзекуція. Тебѣ нравится московскій періодъ государства російскаго, мнѣ нравится петербургскій періодъ государства російскаго, но оба и несомнѣнно мы имѣемъ въ виду одну и ту же государственность. Не правда ли?

Отвѣта на этотъ вопросъ не послѣдовало.

— И такъ, будемъ продолжать. Ты говоришь: эльзась-лотарингцы обязываются примириться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое поставили ихъ результаты войны, и не имѣютъ права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельствъ подарила ихъ отечествомъ новымъ. Я говорю: эльзась-лотарингцы обязываются примириться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое поставили ихъ результаты войны, и не имѣютъ права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельствъ подарила ихъ отечествомъ новымъ. Воля твоя, но мы говоримъ совершенно одно и то же!

— Ты забылъ исходные пункты... малость!

— То-есть, нѣкоторые діалектическіе приѣмы...

— Нѣтъ, не діалектическіе приѣмы, а исходные пункты! Понимаешь! Исходные пункты!

— Ну, да, я ихъ-то и называю діалектическими приѣмами. Потому что еслибъ наши исходные пункты были дѣйствительно разные, то и результаты ихъ были бы разные. Но этого нѣтъ. А слѣдовательно, при одинаковыхъ результатахъ, какая же надобность знать, откуда кто отправляется: съ Плющихи ли въ столичномъ городѣ Москвѣ, или съ Офицерской въ столичномъ городѣ Петербургѣ?

Это было ясно. Въ сущности, откуда бы ни отправлялись мои друзья, но они, незамѣтно для самихъ себя, фаталистически всегда приѣзжали къ одному и тому же выходу, къ одному и тому же практическому результату. Но это была именно та „поганая“ ясность, которая всегда такъ глубоко возмущала Плѣшивцева. Признаюсь, на этотъ разъ она и мнѣ показалась не совсемъ умѣстной.

— Къ дѣлу, Тебеньковъ, къ дѣлу! — сказала я: — говори, правы ли, по твоему мнѣнію, члены германскаго рейхстага, такъ весело насмѣявшіеся надъ Тейтчемъ?

— То-есть, вотъ видишь ли: я никогда не одобряю не деликатности, и, по мнѣнію моему, смѣяться надъ огорченнымъ человѣкомъ во всякомъ случаѣ непростительно. *C'est bourgeois, c'est mesquin*. Но я не могу все-таки не сказать, что въ настоящемъ случаѣ смѣхъ имѣетъ въ свою пользу смягчающія обстоятельства. Помилуй! чтò же можетъ быть постылѣе, какъ назойливость по поводу выѣденнаго яйца! Люди занимаются дѣломъ, обсуждаютъ новый законъ о книгопечатаніи, предпринимаютъ реорганизацію армій и флотовъ, а къ нимъ лѣзутъ съ протестами противъ безповоротнаго удара судьбы!

— Но какъ же все это согласить съ тѣмъ... ну, съ тѣмъ циркуляромъ... въ которомъ любовь къ отечеству...

— Ah! mais entendons-nous, mon cher! Отечество любить обязательно, но необходимо все-таки объяснить себѣ, чтò такое это обязательно любимое отечество?

— Чтò же, по твоему, это отечество?

— Eh bien, nous y arrivons. Возражая Плѣшивцеву, я упомянулъ о необходимости имѣть точныя свѣдѣнія о географическихъ границахъ. По моему мнѣнію, вотъ вещь, необходимая для совершенно яснаго опредѣленія предѣловъ вѣдомства любви къ отечеству, вотъ вещь, безъ точнаго знанія которой мы всегда будемъ блуждать въ потьмахъ.

-- Но это ужасно! стало быть, если граница Россіи идетъ до Эмбы, я долженъ любить ее до Эмбы? а ежели эта граница идетъ только до Урала, то я долженъ любить только до Урала?

— C'est triste, mais c'est vrai.

— Но Чебоксары?! Опомнись, душа моя! Вѣдь географическія границы — дѣло назпвное! Вѣдь такимъ образомъ Ветлуга, Малмыжъ, Чебоксары...

На этомъ нашъ разговоръ кончился. Мы пожали другъ другу руки и разошлись. Но я увѣренъ, что даже въ холодной душѣ Тебенькова не разъ послѣ этого шевельнулся вопросъ:

— Но Чебоксары?!



## XV.—Въ погоню за идеалами.

Ежели мы, русскіе, вообще имѣемъ довольно смутныя понятія объ идеалахъ, лежащихъ въ основѣ нашей жизни, то особенною безалаберностью отличается наше отношеніе къ одному изъ нихъ и самому главному — къ государству. Даже люди культуры, какъ-то: предводители дворянства, члены земскихъ управъ и вообще представители такъ-называемыхъ дирижирующихъ классовъ — и тѣ какъ-то нерѣшительно и до чрезвычайности разнообразно отвѣчаютъ на вопросъ: чтѣ такое государство? Одни смѣшиваютъ его съ отечествомъ, другіе — съ закономъ, третьи — съ казною, четвертые — громадное большинство — съ начальствомъ. Одни, чтобъ отдѣлаться отъ вопроса, прибѣгаютъ къ нагляднымъ примѣрамъ: Швеція — государство, Великобританія — государство, Франція — государство и проч. Другіе говорятъ: государство! смѣшно даже спрашивать, чтѣ такое государство! Третьи таращатъ глаза, точно ихъ сейчасъ разбудили. А если, сверхъ того, предложить еще вопросъ: какую роль играетъ государство въ смыслѣ развитія и преуспѣянія индивидуальнаго человѣческаго существованія, то отвѣтомъ на это просто-на-просто является растерянный видъ, сопровождаемый несмысленнымъ бормотаніемъ. Однимъ словомъ, изъ всего видно, что выраженіе „государство“ даже въ понятіяхъ массы культурныхъ людей не представляетъ ничего опредѣленнаго, а просто принадлежитъ къ числу словъ, случайно вошедшихъ въ общій разговорный языкъ и силою привычки укоренившихся въ немъ. А такъ какъ съ подобнаго рода словами обыкновенно обращаются очень неряшливо, то выходитъ, что выраженіе, само по себѣ требующее опредѣленія, дѣлается, влѣдствіе частаго употребленія, опредѣляющимъ, дающимъ окраску цѣлой совокупности жизненныхъ подробностей. Изъ коренного слова „государство“ являются производныя: „государственность“, „государственный“, которыми предводители дворянства щеголяютъ въ клубахъ и на земскихъ собраніяхъ безъ малѣйшаго стѣсненія, точно такъ какъ бы слова эти были совершенно для нихъ понятны.

Но ежели такая смута въ понятіяхъ о государствѣ господствуетъ въ дирижирующихъ классахъ общества, то чтѣ же должны мы ожидать отъ непросвѣщенной черни! Увы! здѣсь представленіе объ этомъ важномъ предметѣ уже до такой степени отсутствуетъ, что трудно даже вообразить себѣ простолюдинна, произносящаго слово: „государство“. Простолюдинъ, конечно, знаетъ, что надъ нимъ поставленъ становой приставъ и что въ извѣстные сроки онъ обязанъ уплачивать подати и повинности; но какую роль во всемъ этомъ играетъ государство — этого онъ не знаетъ. Въ этомъ отношеніи передъ нимъ вѣчно стоитъ какое-то загадочное пространство, въ которое онъ тревожно вперяетъ взоры, но ничего, кромѣ становаго и повинностей, различить не можетъ.

Благодаря этой путаницѣ, мы вспоминаемъ о государствѣ (и даже не о государствѣ, въ собственномъ смыслѣ этого слова, а о чемъ-то подходящемъ къ нему) лишь тогда, когда насъ требуютъ въ участокъ для расправы. Чтѣ же касается до обыденной жизненной практики, то, кромѣ профессоровъ, чи-

тающихъ съ каеэдры лекціи государственнаго права, да школьниковъ, обязанныхъ слушать эти лекціи, врядъ-ли кто-нибудь думаетъ о той высшей правдѣ, осуществленіемъ которой служить государство и служенію которой должна быть всецѣло посвящена жизнь обывателей. Всякій живетъ и прозябаетъ по своему, самъ по себѣ, и дѣлаетъ свое маленькое дѣло совершенно независимо отъ государственныхъ соображеній. Сапожнику, тачающему сапоги, даже и на умъ никогда не придетъ, что его работа (да и вообще вся его жизнь) имѣетъ какое-нибудь отдаленное отношеніе къ тому общему строю вещей, которое носитъ названіе государства. Много-много, ежели онъ знаетъ связь своей жизни съ мѣстнымъ квартальнымъ надзирателемъ, да и то не съ квартальнымъ надзирателемъ вообще, а именно съ Иваномъ Ивановичемъ, который поступилъ на мѣсто Петра Петровича и увеличилъ дани вдвое. Поэтому въ такихъ захолустяхъ, куда квартальные не заглядываютъ вовсе, обыватели доходятъ до того, что вспоминаютъ о своей прикосновенности къ чему-то болѣе обширному и для нихъ загадочному только въ минуты уплаты повинностей. И вспоминаютъ, конечно, невесело. Въ городахъ и въ мѣстахъ болѣе населенныхъ эта неряшливость сказывается, конечно, въ меньшей степени; но въѣдъ и здѣсь, какъ уже упомянуто выше, руководящею нитью обывательской жизни все-таки служатъ взгляды и требованія ближайшаго начальства, а отнюдь не мысль о государствѣ. Да и сами квартальные надзиратели — развѣ они, заставляя, напримѣръ, обывателей очищать дворы отъ навоза, сознаютъ, что этимъ удовлетворяютъ высшей правдѣ, осуществляемой государствомъ? Нѣтъ: они исполняютъ это, во-первыхъ, потому, что такъ приказываетъ начальство, и, во-вторыхъ, потому, что выполнение приказаній начальства есть ихъ ремесло. А на вопросъ: чтѣ такое государство? и они могутъ точно такъ же, какъ и прочіе обыватели, отвѣчать только вздрагиваніемъ. Начальство же съ своей стороны...

Здѣсь я остановлюсь. Я знаю, мнѣ могутъ сказать, что я отсталъ отъ своего вѣка, что то, чтѣ я говорю объ отсутствіи чувства государственности въ квартальныхъ надзирателяхъ, относится къ дореформенному времени и что, напротивъ того, нынѣшнее поколѣніе квартальныхъ надзирателей очень тонко понимаетъ, чему оно служить и какой идеи является представителемъ. На это я могу отвѣтить слѣдующее: я не выдаю своихъ мнѣній за безусловно истинныя и первый буду очень радъ успѣхамъ господъ квартальныхъ надзирателей на поприщѣ государственности, ежели успѣхи эти будутъ доказаны. Но, признаюсь откровенно, я боюсь, что упомянутое сейчасъ возраженіе основано на недоразумѣніи и что характеристическою чертою настоящаго времени является не столько знаніе интересовъ и нуждъ государства и безкорыстное служеніе имъ, сколько самоувѣренная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знаніемъ, гдѣ раки зимуютъ, и надеждою на повышеніе. Согласитесь, что между тѣмъ и другимъ имѣется разница довольно существенная.

А между тѣмъ путаница въ понятіяхъ производитъ путаницу и въ практической жизни. Тутъ мы на каждомъ шагѣ встрѣчаемся и съ взяточничествомъ, и съ наглѣйшимъ обираніемъ казны, и съ полнымъ равнодушіемъ къ уплатѣ податей, и наконецъ съ особымъ явленіемъ, извѣстнымъ подъ именемъ сепаратизма. И все — слѣдствіе неясности нашихъ представленій о государствѣ.



Обратитесь къ первому попавшемуся на глаза чиновнику-взяточнику и скажите ему, что дѣйствія его дискредитируютъ государство, что по милости его страдаетъ высшая идея правды и справедливости, оберегать которую призванъ сенатъ и государственный совѣтъ — онъ посмотритъ на васъ такими удивленными глазами, что вы навѣрное скажете себѣ: да, этотъ человѣкъ беретъ взятки единственно потому, что онъ ничего не слыхалъ ни о государствѣ, ни о высшей идеѣ правды и справедливости. И дѣйствительно, все, что онъ знаетъ по этому предмету, заключается лишь въ слѣдующемъ: 1) что дѣйствія его противорѣчатъ такой-то статьѣ уложенія о наказаніяхъ и, буде достаточно изобличены, подлежатъ такой-то карѣ; 2) что прежде, нежели подпасть этой карѣ, нужно его судить, а прежде нежели судить, нужно еще предать суду; 3) что, слѣдовательно, взятки нужно брать съ осторожностью, а паче всего надѣяться на милосердіе начальства, отъ котораго зависить преданіе суду. Спрашивается: при чемъ же тутъ государство?

То же самое замѣчаніе, и даже съ болѣшимъ основаніемъ, можетъ быть примѣнено и къ той категоріи преступныхъ дѣйствій, которая извѣстна подъ названіемъ казнокрадства. Государство такъ часто продается за грошъ и притомъ такъ простоудушно продается, что даже исторія уже не слѣдитъ за подобными дѣяніями и не заноситъ ихъ на свои скрижали. Была горькая година въ жизни Россіи — година, во время которой шла рѣчь о ея значеніи въ сонмѣ европейскихъ государствъ и подвергалась сомнѣнію ея военная слава. И чтѣжь! въ это самое время находились люди, которые ставили ополченцамъ сапоги съ картонными подметками, продавали въ свою пользу воловъ, пожертвованныхъ на мясную порцію для нижнихъ чиновъ, снабжали солдатъ кремневыми ружьями, въ которыхъ вмѣсто кремня была вставлена выкрашенная чурочка и т. д. И въ то же время эти люди не только не имѣли злодѣйскаго вида, но и сами себя не считали злодѣями. Они пили, ѣли, провозглашали тосты, устраивали фестивали и даже очень искренно молились въ церквахъ о ниспосланіи побѣды и одолѣнія тѣмъ самымъ ратникамъ, которыхъ сейчасъ спустили по морозцу на картонныхъ подошвахъ. Ужели можно предположить, что, поступая такимъ образомъ, эти люди понимали, что они обездоливаютъ и продаютъ то самое государство, которое ихъ пріютило, поставило подъ защиту своихъ законовъ и даже дало средства нажитья? Нѣтъ, предположить это — значило бы допустить въ людяхъ такую нравственную одичалость, которая сдѣлала бы немислимымъ существованіе человѣческаго общества. Скорѣе всего упомянутые казнокрады отъ того такъ дѣйствовали, что не имѣли никакого понятія ни о ключахъ отъ храма гроба Господня, ни объ устьяхъ Дуная, которыми разрѣшался вопросъ объ ключахъ, ни объ отношеніи этихъ вопросовъ къ русскому государству. Они дѣйствовали совершенно простоудушно, полагая, что обездоливаютъ совсѣмъ не государство, а только казну. А о казнѣ-матушкѣ даже пословица такая сложилась, которая доказываетъ, до какой степени велико ея долготерпѣніе.

Затѣмъ, что касается уплаты податей и повинностей, то всѣ плательщики на этотъ счетъ единодушны. Всѣ уплачиваютъ что нужно, и втайнѣ все-таки думаютъ, что не платить было бы не въ примѣръ лучше. Рѣдкій понимаетъ, что своевременное и безнедоимочное очищеніе окладныхъ листовъ

есть дѣло государственной важности; большинство же исповѣдуетъ то мнѣніе, что казна и безъ того богата.

Наконецъ, если мы всмотримся ближе въ причины, обуславливающія такое явленіе, какъ сепаратизмъ, то легко увидимъ, что и тутъ главную роль играетъ неясность понятій о государствѣ: многіе смѣшиваютъ понятіе о государствѣ съ понятіемъ о родинѣ и даже о родной колокольнѣ; другіе приходятъ въ смущеніе вслѣдствіе частныхъ измѣненій государственныхъ граничныхъ рубежей. И ежели для вразумленія первыхъ достаточно домашнихъ мѣръ, то вторые не мало-таки причиняютъ безпокойствъ серьезнымъ людямъ, завѣдывающимъ дѣлами Европы. Достаточно указать на такія мѣстности, какъ альпійское побережье Средиземнаго моря, Шлезвигъ и наконецъ Эльзасъ и Лотарингію. Всѣ эти мѣстности кишатъ людьми, которые несмотря на увѣренія, что понятіе о государствѣ есть понятіе безразличное, независимое ни отъ національностей, ни даже отъ историческихъ преданій, никакъ не могутъ понять, почему они обязаны съ такого-то момента считать *своимъ* государствомъ Францію, а не Италію, Германію, а не Данію и не Францію. Единственное въ этомъ отношеніи исключеніе составляетъ Ташкентъ, но и то не потому, чтобы тамъ идеи о государствѣ были очень ясны, но потому, что правда, осуществлявшаяся въ лицѣ автобачей, не въ примѣръ менѣе доброкачественна, нежели правда, олицетвореніемъ которой явились русскіе уѣздные исправники.

Однимъ словомъ, какъ-то такъ выходитъ, что мы точно съ такимъ же правомъ называемъ себя членами государства, съ какимъ пустосвяты называютъ себя людьми религіи. Конечно, такое положеніе вещей не составляетъ новости (и въ прежнія времена, въ этомъ отношеніи, не лучше было), но ново то, что оно начинаетъ пробуждать пытливость человѣческаго ума. Покуда люди жили „безъ тоски, безъ думы роковой“, до тѣхъ поръ и столпы стояли твердо и прямо. Становые брали взятки, подрядчики надували и обирали казну, крестьяне копили недоимки, сепаратисты говорили: „нѣтъ, никогда москалямъ не пивать такихъ водокъ, какъ наши малороссійскія сливянка и запеканка!“ — и за всѣмъ тѣмъ никому не приходило на мысль, что отъ этого можетъ страдать государство. Но вотъ консерваторы первые замѣтили, что есть въ этомъ положеніи вещей что-то неладное, и, разумѣется, приписали это интригамъ злонамѣренныхъ людей. Это было съ ихъ стороны и неосторожно, и неполитично. Консерваторы лучше другихъ должны были понимать, что есть вещи, которыя слѣдуетъ молчаливо оставлять предметомъ боязливаго культа, даже и въ такомъ случаѣ, еслибъ интрига (притомъ же существующая только въ воображеніи) и дѣйствительно направляла противъ нихъ свое жало.

Но особенную дикость понятій относительно значенія слова „государство“ выказываютъ у насъ женщины. Вообще онѣ у насъ бойки только по части разговора о томъ, какое чувство слаще — любовь или дружба, или о томъ, какую роль игралъ кринолинъ въ исторіи женскаго преуспѣянія. Тѣмъ не менѣе, ежели вы спросите, напримѣръ, княжну Оболдуй-Тараканову, на



какую монету купецъ дать больше яблокъ — на гривенникъ или на цѣлко-  
вый, то, быть можетъ, найдутся свѣтлыя минуты, когда она и отвѣтитъ на  
этотъ вопросъ. Но спросите ее: чтѣ такое государство — и она, во-первыхъ,  
струситъ, а во-вторыхъ заподозритъ въ васъ или демагога, или шпиона.  
Она не только ничего тутъ не понимаетъ, но и считаетъ лишнимъ понимать.  
И въ своей обыденной жизни поступаетъ совершенно такъ, какъ бы не была  
связана никакими государственными узами.

А между тѣмъ, замѣтите, княжна — совсѣмъ не рядовая дѣвица изъ  
тѣхъ, которыя хохочутъ, когда имъ показываютъ палецъ (имена ихъ Ты,  
Господи, вѣси!). Нѣтъ, было время, когда она называла себя консерваторкой  
и въ этомъ качествѣ дѣлала изъ окна ручкой проѣзжему кавалергарду и вы-  
ходила гулять не иначе, какъ въ сопровожденіи ливрейнаго лакея. Теперь  
она называетъ себя нигилисткой и, въ согласность съ этимъ, постукиваетъ  
по тротуару каблучками, говорить о трудовой жизни и кавалергардовъ назы-  
ваетъ „пустоплясами“. Стало быть, на ней все-таки что-нибудь да отражается,  
и она понимаетъ, что выражать собою нѣчто — пріятнѣе, нежели не выражать  
ровно ничего.

Но ежели даже такая женщина, какъ княжна Оболюдова-Тараканова, не  
можетъ дать себѣ надлежащаго отчета ни въ томъ, чтѣ она охраняетъ, ни въ  
томъ, чтѣ отрицаетъ, то чтѣ же можно ждать отъ того несмѣтнаго легіона  
обыкновенныхъ женщинъ, изъ котораго, безъ всякой предвзятой мысли, но  
съ изумительнымъ постоянствомъ бросаются палки въ колеса человѣческой  
жизни? Нѣсколько примѣровъ, взятыхъ изъ обыденной жизненной практики,  
лучше всего отвѣтятъ на этотъ вопросъ.

Въ молодости я зналъ одну почтенную старушку (фамилія ея была Тер-  
пугова), обладательницу значительнаго имѣнія и большую охотницу до граж-  
данскихъ процессовъ, которая до смерти своей прожила въ полномъ невѣдѣ-  
ніи о „государствѣ“, несмотря на то, что самъ губернаторъ, встрѣчаясь съ  
нею, считалъ долгомъ цѣловать у нея ручку. И ни домашнее ея хозяйство,  
ни душевная ясность ея никогда не потерпѣли ни малѣйшаго ущерба отъ  
этого пробѣла. Она жила, распоряжалась, кормила чиновниковъ обѣдами,  
выдавала беременныхъ дѣвокъ замужъ за мужиковъ въ дальнія деревни, со-  
держала цѣлую стаю приказныхъ, которые именемъ ея вели тяжёбныя дѣла  
въ судахъ, и никогда ей даже на мысль не приходило, что она живетъ и  
дѣйствуетъ такимъ образомъ — въ государствѣ.

Однажды пріѣзжаетъ къ ней въ побывку сынъ, молодой человѣкъ,  
только лѣтъ пять тому назадъ покинувшій школьную скамью, и объявляетъ,  
что онъ уже получилъ мѣсто оберъ-секретаря въ сенатѣ.

— Я, маменька, хоть и молодъ, — похвастался онъ: — но начальство лю-  
бить и отличаетъ меня. Теперь я въ своей экспедиціи — все. Сенаторы будутъ  
дремать, а всё дѣла буду рѣшать — я! Согласитесь сами, что въ двадцать-  
пять лѣтъ это — штука не маленькая!

— Ну, вотъ и слава Богу! — отвѣчала почтенная старушка: — теперь,  
стало быть, ты какъ захочешь, такъ и будешь рѣшать! А у меня кстати съ  
птенцовскими мужиками дѣло объ лугахъ идетъ; двадцать лѣтъ длится — ни  
взадъ, ни впередъ! То мнѣ отдадутъ во владѣнье, то опять у меня отнимутъ

и имъ отдадутъ. Да этакъ разъ съ десять ужъ. А теперь, по крайности, хоть конецъ будетъ: какъ тебѣ захочется, такъ ты и рѣшишь.

Какъ ни упоенъ былъ молодой человѣкъ собственнымъ величіемъ, но и у него отъ маменькиныхъ словъ дыханіе въ зобу сперло.

— Помилуйте, маменька! — воскликнулъ онъ: — вѣдь я не за тѣмъ оберъ-секретаремъ сдѣланъ, чтобы свои дѣла въ свою пользу рѣшать? Вѣдь меня за это...

— А ты, мой другъ, потихоньку! Разумѣется, со всякимъ встрѣчнымъ объ такихъ дѣлахъ не слѣдъ болтать, а такъ, слегка... какъ будто тебя не-касающе...

— Некасающе! Да самъ-то я буду же знать! Ахъ, маменька, маменька! я вѣдь не личнымъ своимъ интересамъ, а государству служу.

— Такъ чтѣжъ что государству! Государство — само по себѣ, а свои дѣла — сами по себѣ. Объ своихъ дѣлахъ всякій долженъ радѣть: грѣхъ великій у того на душѣ, который объ устройствѣ своемъ не печется! Ты знаешь ли, чтѣ въ писаніи-то сказано: имущему прибавится, а у неимущаго и послѣднее отнимется!

— Да, но вѣдь это, голубушка, совсѣмъ не въ томъ смыслѣ сказано!

— Въ томъ ли смыслѣ, или въ другомъ — это какъ хочешь, такъ и можешь понимать. А только я всегда, и какъ мать, и какъ христіанка, скажу: кто объ своихъ дѣлахъ не радѣетъ, тотъ и Богу не слуга.

На первый разъ разговоръ этимъ кончился. Но такъ какъ за нимъ скрывались интересы очень существенные, то онъ возобновился и на другой день, и вообще повторялся въ теченіе всѣхъ двадцати-восьми дней, покуда длился отпускъ Терпугова. Молодой человѣкъ нарочно пріѣхалъ къ старухѣ-матери, чтобы обрадовать ее своимъ возвышеніемъ, и вдругъ, вмѣсто радости, чуть-было не сдѣлался причиной цѣлаго семейнаго переполоха! Тщетно старался онъ втолковать старухѣ, чтѣ такое государство и почему чувство государственности должно имѣть верхъ надъ чувствомъ индивидуализма — почтенная женщина на всѣ его толкованія отвѣчала одними и тѣми же словами:

— Знаю я, батюшка! Десять лѣтъ сряду за убылыя души плачу — очень хорошо знаю! Кого въ солдаты, кого въ ратники взяли, а кто и самъ собой померъ — а я плати да плати! Россія-матушка — вотъ тебѣ государство! Не маленькая я, что ты меня этимъ словомъ тычешь! Знаю, ахъ, какъ давно я его знаю!

— Но ежели вы, маменька, знаете...

— Знаю и все-таки говорю: государство тамъ какъ хочетъ, а свои дѣла впереди всего! А объ птенцовскихъ лугахъ такъ тебѣ скажу: ежели ты ихъ себѣ не присудишь, такъ лучше и усадьбу, и хозяйство — все зараньше нарушь! Плохо, мой другъ, то хозяйство, гдѣ скота заведено пропасть, а кормить его нечѣмъ!

Кончилось тѣмъ, что восторжествовалъ все-таки индивидуализмъ, а государственность должна была уступить. Правда, что Терпуговъ оставлялъ поле битвы понемногу: сначала просто потому, что говорить о пустякахъ не стѣдло, потомъ потому, что надо же старушку чѣмъ-нибудь почитать; но наконецъ, разговаривая, и самъ вошелъ во вкусъ птенцовскихъ луговъ.



— А что, въ самомъ дѣлѣ! — разсудилъ онъ: — вѣдь безъ птенцовскихъ луговъ, пожалуй, и плохо придется? Ну, самъ я, положимъ... ну, конечно, я самъ ни за что!.. А кого бы однакожь попросить, чтобъ это дѣло направить? То-то старушка обрадуется!

И дѣйствительно, года черезъ два процессъ о птенцовскихъ лугахъ былъ конченъ...

Другой примѣръ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ женился мой однокашникъ и другъ, Володя Гороховъ. Жена его — очень милая особа, только-что вышедшая изъ института (съ шифромъ) и наивная до безконечности. Однако медовый мѣсяцъ ей понравился. Къ сожалѣнью, Гороховъ состоитъ на государственной службѣ и, въ качествѣ столоначальника Департамента Препонъ, очень хорошо помнитъ мудрое изреченіе: „дѣлу—время, потѣхъ—часъ“. Это изреченіе имѣлъ онъ въ виду и при женитьбѣ, а именно: выпросился въ двадцативосьми-дневный отпускъ съ тѣмъ, чтобы всецѣло посвятить это время потѣхъ, а затѣмъ съ свѣжею головою приняться за дѣло.

Сказано—сдѣлано. На двадцать-девятый день, утромъ, проснулась Наденька Горохова—хватъ, мужа простылъ и слѣдъ! Живо надѣла она на босу ногу туфельки и въ одной кофточкѣ тихо-тихо подкралась къ мужнину кабинету. О, ужасъ! онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ совсѣмъ одѣтый и строилъ докладную записку „о мѣрахъ къ пресѣченію распространенія идей между инородцами, населяющими Мамадышскій Уѣздъ“. И передъ нимъ, и по обоимъ бокамъ лежали развернутыя объемистыя дѣла, въ которыя онъ заглядывалъ съ видимымъ нетерпѣніемъ, какъ будто они стѣсняли полетъ его административной фантазіи. Но что важнѣе всего—онъ до такой степени углубился въ свою работу, что не только не *почувствовалъ* присутствія Наденьки, но даже не слышалъ приближенія ея шаговъ.

На одно мгновеніе въ бѣлокурой головѣ Наденьки промелькнула мысль: обидѣться ей или нѣтъ? Но, къ чести ея должно сказать, что она перемогла себя и не обидѣлась. Потихоньку, на цыпочкахъ, приблизилась она къ креслу, на которомъ сидѣлъ мужъ, и зажала ему глаза своими крошечными ручками. Сюрпризъ засталъ Володю немного врасплохъ (въ эту минуту онъ только-что началъ загибать фразу: „слѣдовательно, ежели съ одной стороны злоумышленники...“), и на мгновеніе онъ даже поморщился. Но именно только на одно мгновеніе, потому что тотчасъ же вслѣдъ за этимъ онъ очень нѣжно отнялъ отъ глазъ ручки жены, поцѣловалъ ихъ и тономъ радостнаго изумленія сказалъ:

— Какъ, ты ужъ и встала, Наденька?

— И онъ говорить это... безсовѣстный! Ушелъ—и думаетъ, что я и не почувствую! А какъ мнѣ, Володька, безъ тебя было холодно! Сейчасъ же бери меня на колѣнки и согрѣй!

— Но, Наденька, ты знаешь... Сегодня срокъ моему отпуску; я долженъ явиться въ департаментъ, и вотъ докладная записка...

— Уже!—воскликнула Наденька.

Только всего она и сказала, но въ голосѣ ея звучало такое горе, что Гороховъ тревожно взглянулъ на нее. На голубыхъ ея глазкахъ дрожали

двѣ маленькія слезинки, щечки пылали, ротикъ полураскрылся подъ вліяніемъ горестнаго изумленія. Словомъ сказать, никогда она не была такъ очаровательна. Но Гороховъ былъ столоначальникъ всѣмъ естествомъ своимъ, и притомъ такой столоначальникъ, который съ минуты на минуту ждалъ, что его позовутъ въ кабинетъ директора и скажутъ: „не хотите ли мѣсто начальника отдѣленія?“ Поэтому, даже въ такую опасную минуту, когда кофточка на груди у Наденьки распахнулась—даже и тогда онъ не могъ выжать изъ своихъ мозговъ иной мысли, кромѣ: дѣлу время, потѣхѣ — часъ. Тѣмъ не менѣе, онъ понялъ, что нужно же какъ-нибудь утѣшить это милое дитя, которое такъ скоро забнетъ въ его отсутствіи. Поэтому онъ шутиливо искривилъ губы и сказалъ:

— А ты какъ думала, дурочка? Вѣдь я на государственной службѣ состою и, слѣдовательно, несу извѣстныя обязанности. Государство, мой другъ, не шутитъ. Оно уволило меня на двадцать-восемь дней, а на двадцать-девятый день требуетъ, чтобъ я былъ на своемъ посту. Ступай же, ангелъ мой, и постарайся заснуть! Въ десять часовъ я тебя разбужу, ты нальешь мнѣ чаю, а въ одиннадцать часовъ я беру шляпу и спѣшу въ департаментъ!

Но она стояла неподвижно, раскрывши глазки, въ которыхъ словно застыли двѣ слезинки, появившіяся еще въ началѣ семейной сцены. Казалось, она ровно ничего не понимала въ томъ сумбурѣ, который бормоталъ ей мужъ.

— Неужели?! — тихо шептала она, покуда мужъ разводилъ свою канитель.

— Чтò такое: „неужели“? обидѣлся онъ.

— Неужели ты уже промѣнялъ меня... *меня!*.. на эти дрянныя бумаги?—вырвался изъ груди ея вопль.

— Но неужели же ты не можешь понять, что сегодня истекаетъ срокъ моему отпуску? Наденька! да пойми же меня, мой другъ! Я состою на службѣ; я служу не какому-нибудь частному лицу, а государству... Государству, голубчикъ мой, государству!

— Ахъ, это противное государство!

Гороховъ улыбнулся и обнялъ Наденьку за талію. Онъ понималъ тайну Наденькиныхъ восклицаній и не безъ основанія надѣялся, что съ той минуты, какъ она назвала государство „противнымъ“, дѣло непременно должно пойти на ладъ. И дѣйствительно, какъ только Наденька почувствовала, что онъ гладитъ ее по спинѣ, такъ тотчасъ же всѣ ея сомнѣнія разсѣялись. Черезъ минуту она уже обвила руками его шею и говорила:

— Володька! гадкій! противный! не смѣй бумагами заниматься! Цѣлуй меня крѣпче... вотъ такъ!

Это было такъ мило, что даже вошедшій въ эту минуту въ кабинетъ лакей Иванъ—и тотъ не могъ удержаться, чтобъ не улыбнуться.

На этотъ разъ размолвка кончилась благополучно. Правда, что Гороховъ, вмѣсто надлежащихъ развитій, наскоро закончилъ свой докладъ такъ: „посему я полагаю раздѣлить сихъ людей на три категоріи: первую—разорить, вторую—расточить, третью — выдержавъ при полиціи, водворить въ мѣста жительства подъ строгій надзоръ. И тогда край несомнѣнно процвѣтетъ“ — но все-таки онъ поспѣлъ въ департаментъ какъ разъ за пять ми-



нутъ до того, какъ прибылъ туда директоръ. Директоръ принялъ его милостиво, пристально посмотрѣлъ ему въ глаза, какъ будто отыскивалъ тамъ слѣды чего-то и, взявъ изъ его рукъ докладную записку, дружески молвилъ:

— Впрочемъ, я думаю, едва-ли вы были въ состояніи дать моимъ мыслямъ надлежащее развитіе. Въ вашемъ положеніи... столь важная переменъна въ жизни... Поздравляю васъ, мой другъ! отъ души поздравляю!

Несмотря на такой исходъ, государственная карьера Горохова была уже подорвана. Миръ былъ заключенъ, но на условіяхъ очень и очень нелегкихъ. Наденька потребовала, во-первыхъ, чтобъ въ кабинетъ мужа была поставлена кушетка; во-вторыхъ, чтобъ Володька, всякій разъ, какъ идетъ въ кабинетъ заниматься, переносилъ и ее туда на рукахъ и клалъ на кушетку, и, въ-третьихъ, чтобы Володька, всякій разъ, какъ Наденькѣ вздумается, сейчасъ же бросалъ и свои гадкія бумаги, и свое противное государство, и садился къ ней на кушетку.

Понятно, что при такомъ положеніи вещей никакія идеи надлежащаго развитія получить не могли.

Результатъ оказался плачевный. Мало-по-малу Гороховъ совсѣмъ утратилъ довѣріе начальства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и надежду на полученіе мѣста начальника отдѣленія. И вотъ на дняхъ встрѣчаю я его на Невскомъ: идетъ сумрачный, повѣсивъ голову, какъ человѣкъ, у котораго на душѣ скребутъ мыши, но который въ то же время уже принялъ неизмѣнное рѣшеніе.

— Поздравь меня! я сейчасъ въ отставку подаю!—сказалъ онъ мнѣ.

— Чтò такъ? Помилуй, вотъ чего бы я никогда не ожидалъ! Такая блестящая карьера предстояла впереди—и вдругъ!

— Карьера моя... то, бишь, семейное мое положеніе... фу ты! Словомъ сказать, не клеится тутъ что-то, мой другъ! Быть можетъ, впослѣдствіи... современемъ... Прощай, голубчикъ!

И такимъ образомъ, благодаря Наденькѣ, государство лишилось одного изъ лучшихъ слугъ своихъ. И на этотъ разъ узкій индивидуализмъ побѣдилъ государственность. Спрашивается: могла ли бы Наденька такимъ образомъ поступать, еслибы въ институтѣ ей было своевременно преподано ясное и отчетливое понятіе о томъ, чтò такое государство? Но, увы! не о государствѣ и его требованіяхъ толковали ей, а на всѣ лады пѣли:

*L'amour—qu'est que c'est que ça, mam'zelle?*

*L'amour—qu'est que c'est que ça?*

И вотъ плоды.

Третій примѣръ.

Кормилицу мою, семидесятилѣтнюю старуху Домну, Богъ благословилъ семействомъ. Двѣнадцать человѣкъ дѣтей у нея, все—сыновья, и всѣ какъ на подборъ—одинъ другого краше. И вотъ, какъ только, бывало, пройдетъ въ народѣ слухъ о наборѣ, такъ старуха начинаетъ тосковать. Четырехъ сыновъ у нея въ солдаты взяли, двое послужили въ ополченцахъ. Теперь очередь доходить до внуковъ. Плачетъ старуха, убивается каждый разъ, словно по покойникѣ воетъ.

— Вотъ и Богъ благословилъ, а радости нѣту!—жалуется она мнѣ.

— Напротивъ того, — урезониваю я ее: — есть радость, и даже большая. Дѣти твои государству послужать, и этого одного достаточно, чтобъ утѣшить тебя въ разлукѣ съ ними.

И я начинаю ей разяснять, какъ, чтѣ и почему; но по мѣрѣ того, какъ развиваются мои разясненія, я и самъ незамѣтнымъ образомъ сбиваюсь съ толку. Въмѣсто того, чтобъ пропагандировать чистую идею государственности, я ударяюсь въ околичности, привожу примѣры, доказывающіе, что многіе солдаты до генеральскихъ чиновъ дослужились, а больше, конечно, до чина прапорщичьяго.

— Такъ-то такъ, — возражаетъ старуха: — да чтѣ радости! вотъ у Петра Васильича сынъ-офицеръ изъ полку пріѣхалъ, взялъ да отца по шеѣ изъ дома и выгналъ!

И затѣмъ опять начинается вой, вой безъ конца, вой, который нельзя утолить ни увѣщаніями, ни государственными соображеніями. Не понимаетъ глупая баба — и все тутъ.

Я могъ бы привести такихъ примѣровъ множество, но думаю, что достаточно и трехъ.

Быть можетъ, мнѣ скажутъ: все это — женщины, которымъ по неразумію многое прощается?

Позвольте, господа! Откупщики — развѣ женщины? желѣзно-дорожные дѣятели — развѣ женщины? Да и сами женщины — развѣ онѣ не по образу и подобию Божію созданы, хотя бы и изъ ребра Адамова?

Нѣтъ! я знаю одно: въ бывалыя времена, когда еще чудеса дѣйствовали, поступки и рѣчи, подобные тѣмъ, которые указаны выше, навѣрное не остались бы безъ должнаго возмездія. Либо земля разверзлась, либо огонь небесный опалилъ бы — словомъ сказать, непременно что-нибудь да случилось бы въ предостерегательномъ и назидательномъ тонѣ. Но ничего подобного мы нынче не видимъ. Люди на каждомъ шагѣ самымъ несомнѣннымъ образомъ попираютъ идею государственности, и земля не разверзается подъ ними. Чтѣ же это означаетъ, однакожъ?

Я знаю, впрочемъ, что не только иностранцы, но и многіе русскіе смотрятъ на свое отечество какъ на Украину Европы, въ которой было бы даже странно встрѣтиться съ живымъ чувствомъ государственности. Нельзя и ожидать, говорятъ они, чтобы оголтѣлые казаки сознавали себя живущими въ государствѣ; не здѣсь нужно искать осуществленія идеи государственности, а въ настоящей, заправской Европѣ, гдѣ государство является продуктомъ собственной исторіи народовъ, а не случайною административною поддѣлкой, устроенной ради наибольшей легкости административныхъ воздѣйствій.

Къ сожалѣнію, возраженіе это дѣлается больше по наслышкѣ, причемъ теоретическая разработка идеи государства, всепроникающаго и всеобъемлющаго, смѣшивается съ ея примѣненіемъ на практикѣ.

Несомнѣнно, что наука о государствѣ доведена на западѣ Европы до крайнихъ предѣловъ; правда и то, что всѣ усилія придерживающихъ властей направлены къ тому, чтобъ воспитать въ массахъ сознаніе, что существованіе



человѣка немислимо иначе, какъ въ государствѣ, подъ защитой его законовъ, для всѣхъ равно обязательныхъ и всѣмъ равно покровительствующихъ. Представительными собраніями издано великое множество положеній, которыя до мельчайшихъ подробностей опредѣляютъ отношенія индивидуума къ государству; съ другой стороны, учеными издано не меньшее количество трактатовъ, въ которыхъ съ послѣднею убѣдительною доказывается, что внѣ государства нѣтъ ни справедливости, ни обезпеченности, ни цивилизаціи. Зная и видя все это, конечно, ничего другого не остается, какъ радоваться и восклицать: вотъ благословенныя страны, для которыхъ ничто не остается неразъясненнымъ! вотъ счастливые люди, которые могутъ съ горделивымъ сознаниемъ сказать себѣ, что каждый ихъ поступокъ, каждый шагъ проникнутъ идеей государственности!

Но есть одно обстоятельство, которое въ значительной степени омрачаетъ эту прекрасную внѣшность. Обстоятельство это — глухая борьба, которая замѣчается всюду и существованіе которой точно такъ же не подлежитъ сомнѣнію, какъ и существованіе усилій къ ея подавленію. Трактаты пишутся, но читаются лишь самымъ незамѣтнымъ меньшинствомъ; законоположенія издаются, но не проникаютъ внутрь ядра, а лишь скользятъ по его поверхности. И здѣсь старуха Домна наполняетъ воздухъ своимъ воемъ и анти-государственными причитаніями.

Отношеніе массъ къ извѣстной идеѣ — вотъ единственное мѣрило, по которому можно судить о степени ея жизненности. Въ томъ еще нѣтъ ничего удивительнаго, что государственные люди и профессора государственнаго права имѣютъ совершенно отчетливое понятіе о значеніи государства въ жизни современныхъ обществъ. Это — ихъ ремесло, за которое они получаютъ соответствующее вознагражденіе. Можно бы даже и съ тѣмъ примириться, еслибъ съ ихъ стороны было меньше отчетливости, лишь бы массы отрѣшились отъ своей одичалости, и хотя до нѣкоторой степени (и притомъ, конечно, безъ вознагражденія), сообщили своимъ стремленіямъ и дѣйствіямъ характеръ сознательно-государственный. Но тутъ-то именно мы и встрѣчаемся съ тою же сумятицей, которая существуетъ и у насъ, съ незначительными лишь видоизмѣненіями въ подробностяхъ.

Вотъ уже цѣлый годъ, какъ я скитаюсь за границей: сперва жилъ въ южной Германіи, потомъ въ Парижѣ и наконецъ въ южной Франціи. И всѣ мои наблюденія сводятся къ слѣдующему: 1) люди культуры видятъ въ идеѣ государственности базисъ для извѣстнаго рода профессіи, дающей или прямыя выгоды въ видѣ жалованья, или выгоды косвенныя — въ видѣ преміи за принадлежность къ той или другой политической партіи; и 2) массы либо совсѣмъ игнорируютъ эту идею, либо относятся къ ней крайне робко и безалаберно. Я даже не думаю, чтобъ послѣднія почувствовали какое-нибудь безпокойство, еслибъ, напримѣръ, отбываніе воинской повинности — одна изъ существеннѣйшихъ прерогативъ государства — было объявлено навсегда упраздненнымъ.

Правда, что южная Германія — болѣное мѣсто имперіи, созданной войною 1870 — 71 г., но для наблюдателя важно то, что здѣсь даже рѣзкія перемѣны, произведенныя успѣхами Пруссіи, не помѣшали появленію нѣко-

торыхъ симптомовъ, которые въ другихъ частяхъ новосозданнаго государства находятся еще въ дремотномъ состояніи. Несмотря на замѣчательную ловкость прусскихъ государственныхъ людей и сильную поддержку, доставляемую имъ печатью, партикуляризмъ не только не успокоивается на югѣ Германіи, но повидимому съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе ожесточенный характеръ. Конечно (въ особенности въ городахъ), и теперь встрѣчается не мало людей убѣжденныхъ, которыхъ восторгаетъ мысль о единствѣ и могуществѣ Германіи, о той неувядаемой славѣ, которою покрыло себя нѣмецкое оружіе, раздавивши „наслѣдственнаго врага“, и о томъ прекрасномъ будущемъ, которое отнынѣ по праву принадлежитъ нѣмецкому народу; но вѣдь эти люди представляютъ собою только казѣвый конецъ современной южно-германской дѣйствительности. Подъ ними и за ними стоятъ цѣлыя массы субъектовъ, изнемогающихъ подъ гнетомъ вопроса о насущномъ хлѣбѣ, субъектовъ, которые не вопрошаютъ ни прошедшаго, ни будущаго, но за то съ удивительною цѣпкостью хватаются за наличную дѣйствительность и очень безцеремонно взвѣшиваютъ и сравниваютъ все, что взвѣшиванію и сравненію подлежитъ.

Пропаганда идеи о германскомъ единствѣ ведется уже такъ давно, что не могла обойти и людей насущнаго хлѣба. Имъ припоминали прогулки Наполеона I-го по Германіи и угрожали подобными же прогулками „наслѣдственнаго врага“ въ ближайшемъ будущемъ. Имъ говорили объ общемъ германскомъ отечествѣ, которое тогда будетъ только въ состояніи противостать какимъ бы то ни было присоединительнымъ поползновеніямъ, когда оно сплотится въ единое, сильное и могущественное государство. Что только тогда они могутъ считать себя спокойными за свои семейства и за свою собственность, когда у нихъ не будетъ смѣшныхъ государствъ, въ родѣ Шаумбургъ-Липпе, о которыхъ ни одинъ путешественникъ не можетъ говорить иначе какъ при помощи анекдотовъ. Что тѣмъ не менѣе, снисходя къ ихъ человѣческой слабости, можно примирить партикуляризмъ съ объединеніемъ, оставивъ рядомъ съ общимъ государствомъ, сильнымъ и неприступнымъ, и прежнія частныя государства. И что такимъ образомъ для нихъ откроется возможность имѣть разомъ „двѣ высшихъ правды и два вѣрныхъ подданства“.

Изъ всего этого люди насущнаго хлѣба отнеслись сочувственно только къ надеждѣ быть спокойными за свою собственность и за свои семейства; все прочее они выслушивали ни сочувственно, ни несочувственно, потому что это прочее составляло для нихъ тарабарскую грамоту. Быть можетъ, нѣкоторымъ приходилъ въ голову вопросъ: а въ какомъ положеніи будутъ подати и повинности?—но вопросъ этотъ уже по тому одному остался безъ послѣдствій, что некому было отвѣтить на него. Война была на носу, и потому все дѣлалось впопыхахъ. Не до разъясненій въ такія минуты, когда требуются деньги и солдаты, солдаты и деньги. Даже представители южно-германской культуры, которые нынче такъ ясно понимаютъ, что промѣняли кукушку на ястреба—и тѣ въ то время должны были молчать. Они находились въ очень фальшивомъ положеніи, ибо надъ ними тяготѣло подозрѣніе въ недостаткѣ сочувствія къ опасностямъ, угрожающимъ общему германскому отечеству.

Такимъ образомъ, и солдаты, и деньги были даны. И вотъ, въ одно



прекрасное утро, баварцы, баденцы и, проч., проснулись не просто королевскими, но императорско-королевскими подданными. Само собою разумеется, что это привело ихъ въ восторгъ.

Но это былъ именно только восторгъ, слѣпой и внезапный, а отнюдь не торжество чувства государственности. Это было хмельное упоеніе славой побѣдъ, громомъ оружія, стенами побѣжденныхъ—упоеніе, къ которому, сверхъ того, въ значительной долѣ примѣшивалось и ожиданіе добычи, въ видѣ пяти милліардовъ.

Прошло не больше пяти лѣтъ, и путешественникъ уже съ изумленіемъ спрашиваетъ себя: куда дѣвались восторги? что сдѣлалось съ недавнимъ упоеніемъ? гдѣ признаки того *добровольнаго* стремленія къ единству, въ жертву которому приносились солдаты и деньги, деньги и солдаты?

Ничего подобнаго нѣтъ и въ поминѣ. Въмѣсто восторговъ, мы видимъ полное господство низменныхъ интересовъ, вмѣсто добровольнаго стремленія къ успокоенію на лонѣ великаго, единого государства—борьбу. Да, все политическое существованіе современной Германіи представляетъ отнюдь не торжество государства, а только сплошную борьбу во имя его. Борьбу съ партикуляризмомъ, борьбу съ католицизмомъ, борьбу съ социалистическими порываніями—словомъ, со всѣмъ, что чувствуетъ себя утѣшеннымъ въ тѣхъ рамкахъ, которыя выработалъ для жизни идеаль государства, скомпонованный въ Берлинѣ. Но спрашивается: можно ли считать осуществившеюся идею, которая имѣетъ уже за себя право сильного, но и за всѣмъ тѣмъ вынуждена бороться за свое существованіе? и можно ли назвать успѣшнымъ такое мѣропріятіе, которое выполняется только потому, что за невыполненіе его грозитъ кара?

Повторяю: покуда низменные, будничные интересы держатъ массы въ плѣну, до тѣхъ поръ для нихъ недоступна будетъ высшая идея правды, осуществляемая государствомъ. Нѣмецъ—ежели онъ не геллертеръ, не присяжный политикъ и не чиновникъ—есть обыватель по преимуществу. Онъ всецѣло преданъ идеѣ насущнаго хлѣба и тѣмъ подробностямъ, которыми эта идея обставлена; затѣмъ всѣ отношенія его къ государству ограничиваются податями и солдатчиною. Подати имперія значительно увеличила, солдатчину сдѣлала общедоступною. Все это, конечно, необходимо, ради государства, ради его величія и славы, и въ Германіи на этотъ счетъ менѣе, нежели гдѣ-либо, можетъ быть недоразумѣній. Всякому извѣстно, что столько-то милліоновъ употреблено на заказъ пушекъ, столько-то на приобрѣтеніе ружей новой системы, столько-то на постройку и вооруженіе крѣпостей, и что все это необходимо на страхъ наслѣдственнымъ и ненаслѣдственнымъ врагамъ. Но когда люди думаютъ совсѣмъ о другомъ, то отъ нихъ самыя доказательныя убѣжденія отскакиваютъ, какъ отъ стѣны горохъ.

— Всѣ милліарды, уплаченные Франціей, употреблены на составленіе инвалиднаго фонда, да на вооруженія, да на дотации, а на развитіе промышленности ничего не попало!—жалуется одинъ нѣмецъ.

— Прежде мы солдатчины почти не чувствовали, а теперь даже бо-лѣзнь отъ нея не отмолишься. У меня былъ сынъ; даже докторъ ему свидѣтельство далъ, что слабъ здоровьемъ—не повѣрили, взяли въ полкъ. И

чтожъ! шесть мѣсяцевъ его тамъ мучили, увидѣли, что малый дѣйствительно плохъ и прислали обратно. А онъ черезъ мѣсяцъ умеръ! — вторить другой нѣмецъ.

— У насъ нынче въ школахъ только *завоеванiямъ* учать. Молодые люди о полезныхъ занятiяхъ и думать не хотятъ: все — „Wacht am Rhein“ да „Kriegers Morgenlied“ распѣвають! Чтò изъ этого будетъ — одинъ Богъ знаетъ! — рассказываетъ третiй нѣмецъ.

— Всѣ наши соки Берлинъ сосетъ...

Понятно, что въ людяхъ, которые такимъ образомъ говорятъ, чувство государственности должно вполне отсутствовать.

Во Францiи это дѣло поставлено иначе. Тамъ партикуляризма, въ смыслѣ политической партiи, не существуетъ вовсе; борьба же съ католицизмомъ ведется совсѣмъ не во имя того, что онъ служить помѣхою для исполненiя начальственныхъ предписанiй, а во имя освобожденiя человѣческой мысли отъ призраковъ, ее угнетающихъ. Сверхъ того, во Францiи, съ 1848 года, практикуется всеобщая подача голосовъ, которая повидимому должна бы неперестанно напоминать обывателямъ, во-первыхъ, о томъ, что они живутъ въ государствѣ, и, во-вторыхъ, о томъ, что косвенно каждый изъ нихъ участвуетъ и въ выборѣ правителей страны, и въ самомъ управленiи ею.

Тѣмъ не менѣе, все это отнюдь не устраняетъ множества недоразумѣнiй, которыя и тутъ, какъ и вездѣ, ставятъ идею государства въ условiя весьма для нея неблагопрiятныя.

Несмотря на нѣсколько революцiй, во Францiи, какъ и въ другихъ странахъ Европы, стоятъ лицо къ лицу два класса людей, совершенно отличныхъ другъ отъ друга и по внѣшнему образу жизни, и по понятiямъ, и по темпераментамъ. Во главѣ государства стоитъ такъ-называемый правящiй классъ, состоящiй изъ уцѣлѣвшихъ остатковъ феодальной аристократiи, изъ адвокатовъ, литераторовъ, банкировъ, купцовъ и вообще всевозможныхъ наименованiй буржуа. Внизу — кишитъ масса управляемыхъ, т.-е. городскихъ пролетарiевъ и крестьянъ. И тотъ, и другой классъ относится къ государству совсѣмъ не одинаковымъ образомъ.

Въ средѣ правящихъ классовъ стремленiе къ государственности высказывается довольно опредѣленно. У буржуа государство не сходитъ съ языка, такъ что вы сразу чувствуете, что этотъ человѣкъ даже не можетъ мыслить себя внѣ государства, ибо слишкомъ хорошо понимаетъ, что это единственное его убѣжище противъ разнузданности страстей. Государство ограждаетъ его собственность; оно устраиваетъ въ его пользу тысячи разнообразнѣйшихъ удобствъ, которыя онъ никакъ не могъ имѣть, предоставленный самому себѣ; оно охраняетъ его предпрiятiя противъ завистливыхъ притязанiй одичалыхъ массъ и, въ случаѣ надобности, встанетъ за него горой. Взвѣсивая всѣ эти выгоды и сравнивая ихъ съ тѣми жертвами, которыя государство, взамѣнъ ихъ, отъ него требуетъ, буржуа не можетъ не сознавать, что послѣднiя почти ничтожны, и потому рѣдко ропщетъ по ихъ поводу (между прочимъ онъ понимаетъ и то, что всегда имѣетъ возможность эти жертвы разложить на дру-



гихъ). И жизнь его течетъ легко и обильно, проникнутая сознаниемъ тѣхъ благъ, которыя изливаются на него государствомъ, и рѣшимостью стоять за него по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока этой рѣшимости не будетъ угрожать серьезная опасность.

Но самая эта увѣренность въ возможности всегда найти для себя защиту подъ покровомъ государства имѣетъ свою невыгодную сторону. А именно: она дѣлаетъ буржуа самонадѣяннымъ и даже привередливымъ; она приучаетъ его неряшливо относиться къ тому самому предмету, передъ которымъ онъ долженъ только благодарно благоговѣть. Убѣжденный, что будущее во всякомъ случаѣ принадлежитъ ему, буржуа уже не довольствуется тѣмъ, что у него есть государство, которое не дастъ его въ обиду, но начинаетъ разсуждать вкривь и вкосъ о формѣ этого государства и признаетъ законною только ту форму, которая ему любя. Есть буржуа-монархисты и есть буржуа-республиканцы. Монархистовъ три сорта: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты; республиканцевъ тоже три сорта: лѣвый центръ, просто лѣвая сторона и наконецъ крайніе лѣвые. И всѣ эти прихотливые буржуа видятъ другъ въ другѣ смертельныхъ враговъ, предаются непрерывнымъ взаимнымъ пререканіямъ и въ этихъ чисто внѣшнихъ эволюціяхъ доходятъ иногда до такого пафоса, что издали кажется, не забыли ли они, что у всѣхъ у нихъ одна цѣль: чтобъ государство оставалось неприкосновеннымъ и чтобъ буржуа былъ сытъ, стоялъ во главѣ и благодумствовалъ.

Изъ области государства дѣло переходитъ въ область вопроса о кличкахъ и о принадлежности тому или другому хозяину. Является предательство, измѣна, желаніе лучше утопить страну, нежели дать возможность восторжествовать противнику. Словомъ сказать, всѣ тѣ скандалы, которыми такъ обильно было существованіе недавно канувшаго въ вѣчность національнаго собранія и которые такъ ясно доказали, что политическая арена слишкомъ легко превращается въ арену для разрѣшенія вопроса: при комъ или при чемъ выгоднѣе? — благоразумно при этомъ умалчивая: для кого?

Результатомъ такого положенія вещей является, конечно, не торжество государства, а торжество ловкихъ людей. Не преданность странѣ, не талантъ, не умъ дѣлаются гарантіей успѣха, а пронырливость, наглость и предательство. И Франція доказала это самымъ дѣломъ, безропотно, въ теченіе двадцати лѣтъ, вынося его людей, которыхъ, по счастливому выраженію одной англійской газеты, всякій честный французъ счелъ бы позоромъ посадить за свой домашній обѣдъ.

Такимъ образомъ, и государство, и все, что до него относится, находится во Франціи, такъ сказать, на откупъ у буржуазіи. Что же касается до массъ, то онѣ коснѣютъ въ полномъ невѣдѣніи чувства государственности и въ совершенномъ равнодушіи къ тѣмъ политическимъ пререканіямъ, которыя волнуютъ буржуазію. И здѣсь, какъ и вездѣ, очень мало сдѣлано въ этомъ отношеніи; и здѣсь, какъ и вездѣ, государство представляется исключительно въ видѣ усмирителя и сборщика податей, а не въ видѣ убѣжища. Надъ массами тяготѣютъ два закона: надъ городскими пролетаріями — законъ отчаянія, надъ обывателями деревень — законъ безсознательности. Отъ этого первые, при удобномъ случаѣ, такъ легко ударились въ коммуны; отъ

этого вторые, во время прусской войны, массами бѣжали съ поля сраженія. Первые не понимали, что они разрушаютъ, вторые — что имъ предстоитъ защищать. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ—увѣренность, что формы правленія безразличны и что всё онѣ имѣютъ въ виду только вящее утучненіе и безъ того тучнаго буржуа, увѣренность печальная и даже неосновательная, но тѣмъ не менѣе сообщающая самому акту всеобщей подачи голосовъ характеръ чистой случайности.

Послѣдній опытъ всеобщей подачи голосовъ, происходившій въ февралѣ 1876 года, далъ торжество республиканской партіи. Буржуазія повиdimому поняла, что республика нисколько не препятствуетъ осуществленію ея стремленій, и, во-вторыхъ, что она представляетъ даже больше шансовъ для „благоразумной экономіи“. Вслѣдствіе этого, во время избирательнаго періода, Франція была покрыта цѣлою сѣтью комитетовъ, которыхъ цѣль заключалась въ уловленіи массъ. Усилія комитетовъ увѣнчались успѣхомъ. Правда, что почти вездѣ цѣлая треть избирателей воздержалась отъ подачи голосовъ и затѣмъ остальные двѣ трети выказали въ этомъ случаѣ больше дисциплины, нежели сознательности; но, какъ бы то ни было, поле сраженія осталось за республикой. Естественно, что республиканцы поспѣшили запечатлѣть эту побѣду практическимъ результатомъ. Министерство Дюфора-Бюффе пало и было замѣнено министерствомъ Дюфора-Рикара...

Когда я узналъ объ этомъ изъ газетъ, то, конечно, прежде всего поспѣшилъ сообщить о происшедшей перемѣнѣ портѣе того пансіона, въ которомъ я поселился.

— Vous savez, Andrè, — сказалъ я ему: — que le ministère Dufaure-Buffet n'existe plus, et que désormais c'est le ministère Dufaure-Ricard qui dirigera les destinées de la France?

Но, къ удивленію, онъ до такой степени не понялъ моего вопроса, что заставилъ меня повторить его. И когда я это сдѣлалъ, то онъ вытаращилъ глаза и произнесъ:

— Est-ce que je sais!

А между тѣмъ этотъ человѣкъ существуетъ (*cogito ergo sum*), получаетъ жалованье, устраиваетъ, какъ можетъ, свои дѣла, и я даже положительно знаю, что 20-го февраля онъ подалъ голосъ за республиканца. И все это онъ дѣлаетъ, ни разу въ жизни не спросивъ себя: что такое государство?

Можно ли такъ жить?



## XVI.—Тяжелый годъ.

За двадцать лѣтъ назадъ.

Прошу читателя перенестись мыслью въ эпоху 1853—1855 годовъ.

Я жилъ тогда въ одномъ изъ опальныхъ захолустьевъ Россіи. Въ Крыму, на Черномъ морѣ, на берегахъ Дуная гремѣла война, но мы такъ далеко засѣли, что вѣсти о перипетіяхъ военныхъ дѣйствій доходили до насъ медленно и смутно. Губернія наша была не дворянская, и потому въ ней не могли имѣть мѣста шумныя демонстраціи. Не было у насъ ни обѣдовъ по подпискѣ, ни тостовъ, ни адресовъ, ни просьбъ о разрѣшеніи идти на брань съ врагомъ поголовно, съ чадами и домочадцами. Мы смиренно радовались успѣхамъ родного оружія и смиренно же горевали о неудачахъ его. За отсутствіемъ дворянства, интеллигенцію у насъ представляло чиновничество и весьма немногочисленное купечество, высшіе представители котораго въ этой мѣстности искони промѣняли народный зипунъ на нѣмецкій сюртукъ. Къ интеллигенціи же причисляло себя и довольное количество опальныхъ, большая часть которыхъ принадлежала къ категоріи такъ-называемыхъ „политическихъ“. И чиновники, и купцы, и даже опальные—все это былъ людъ настолько занятой и расчетливый, что затѣвать подписные обѣды было рѣшительно некому и некогда. Было, правда, между опальными нѣсколько шулеровъ, дѣлателей фальшивыхъ ассигнацій и злоупотребителей помѣщичьей властью (былъ даже пожилой, но очень видный мажордомъ, ходившій съ большимъ брилліантовымъ перстнемъ на указательномъ пальцѣ и сосланный по просьбѣ дѣтей какой-то княгини за „предосудительныя дѣйствія, сопровождаемыя покушеніемъ войти въ беззаконную связь съ ихъ родительницей“), которымъ, казалось бы, представлялся при этомъ отличнѣйшій случай блеснуть, но и они вели себя какъ-то сдержанно, въ той надеждѣ, что сдержанность эта поможетъ имъ пройти въ общественномъ мнѣніи заурядъ съ „политическими“. Такое ужъ было тогда время, что даже въ захолустномъ обществѣ „политическихъ“ принимали лучше, ласковѣе, нежели шулеровъ.

Патріархъ у насъ въ то время былъ старый, беззубый, безволосый, малорослый и совсѣмъ простой. Это было тѣмъ болѣе необыкновенно, что рядомъ, въ сосѣдней губерніи, патріархъ былъ трехъ аршинъ роста и имѣлъ грудь колесомъ. Даже въ нашемъ захолустіи какъ-то обиднымъ казалось появленіе такого человѣка на патріаршескомъ поприщѣ. Тогда времена были строгія, и отъ патріарха требовалось, чтобъ онъ былъ „хозяинъ“ или по малой мѣрѣ „орелъ“. Нашъ же въ сравненіи съ сторожами губернскаго правленія, казался ошипанною курицей. И къ довершенію всего фамилію онъ носилъ какую-то странную: Набрюшниковъ. Все это, вмѣстѣ взятое, самую губернію какъ бы принижало, переводило изъ высшаго въ низшій классъ, чѣмъ въ особенности обижался вице-губернаторъ.

— Просто курамъ на смѣхъ! — негодовалъ онъ: — не патріархомъ ему быть, а въ шалашѣ сидѣть да горохъ стеречь!

И попалъ онъ къ намъ самымъ страннымъ образомъ. Служилъ онъ нѣ-

когда въ одной изъ внутреннихъ губерній акушеромъ при врачебной управѣ (въ то время такая должность была, — такъ и назывался: „акушеръ врачебной управы“), но акушерства не зналъ; а зналъ наговоръ, отъ котораго зубную боль какъ рукой снимало. Многихъ онъ отъ зубного недуга исцѣлилъ, и въ числѣ этихъ многихъ случилась одна изъ мѣстныхъ магнатокъ, графиня Варвара Алексѣевна Серебряная. Прошло послѣ того много лѣтъ; Набрюшниковъ успѣлъ выйти въ отставку съ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (чинъ этотъ выхлопотала ему графиня) и поселился у себя въ деревнѣ. И прожилъ бы онъ тамъ спокойно остальные дни живота своего, и по всѣмъ вѣроятіямъ даже избобрѣлъ бы средство избавлять домашнихъ птицъ отъ тупуна, какъ вдругъ получилъ отъ графини письмо. „Любезный куманекъ, господинъ Набрюшниковъ! Съ тѣхъ поръ, какъ ты мнѣ услугу оказалъ, отъ зубовъ навсегда избавилъ, не успѣла я тебя еще какъ слѣдуетъ отблагодарить. А нонича мнѣ двоюродной братецъ мой два преотличнѣйшихъ мѣста за любовь общалъ; такъ одно изъ нихъ, пожалуй, не откажи мнѣ, прими. Мѣсто, правда, не бойкое, да вѣдь прокормиться и въ тишинѣ можно. Еще гдѣ потише, пожалуй, для вашего брата сытѣе будетъ. А впрочемъ, пребываю къ вамъ доброжелательная“. И вотъ черезъ мѣсяцъ онъ уже сидѣлъ на „общанномъ за любовь“ мѣстѣ, сидѣлъ плотно и поселялъ своимъ видомъ уныніе во всѣхъ сердцахъ, которымъ дороги были достоинство и блескъ губерніи.

Смирень онъ былъ до такой степени, что даже акциденціи почти исключительно бралъ провизіей. Подадутъ, напримѣръ, у городского головы зернистой икры къ закускѣ — онъ сейчасъ же поманитъ хозяина пальцемъ: нельзя ли, дескать, мнѣ фунтиковъ десять прислать. Или узнаетъ, что такой-то купецъ на ярмарку ѣдетъ — сейчасъ ему реестрикъ: изюму столько-то, миндалевыхъ орѣховъ столько-то, шепталы, черносливу и т. д. Однажды былъ даже такой случай, что по цѣлому городу мужичокъ съ возомъ мерзлой рыбы ѣздилъ, спрашивая, гдѣ живетъ патриархъ: оковскій, молъ, исправникъ въ презентъ ему рыбки прислать. Много было у насъ толковъ по поводу этого случая.

— Ахъ, срамъ какой! — восклицалъ совѣтникъ питейнаго отдѣленія, Петръ Гаврилычъ Птенцовъ. — Рыбой!

— Рыбой беретъ! Рыбой! — выходилъ изъ себя вице-губернаторъ.

— Не вникъ еще! Еще узы ему Богъ не разрѣшилъ! — замѣчалъ уѣздный лекаръ Погудинъ, человекъ ума остраго и прозорливаго, какъ бы предрекая, что придетъ время, когда узы сами собою упадутъ.

— Даже обывателямъ казалось какъ-то постыдно, что съ нихъ такую малость берутъ.

— Ну, возьми онъ! Ну, если ужъ такъ надобно... ну, возьми! А то — рыбой! Рыбой! — восклицали всѣ хоромъ.

Въ тѣ времена о внутренней политикѣ въ примѣненіи къ администраціи еще не было рѣчи, а была только строгость. Но жить все-таки было можно. Были, правда, какъ я уже сказалъ выше, „политическіе“, но въ глазахъ всѣхъ это были люди, удаленные не за какіе-нибудь предосудительные поступки, а за свойственныя дворянскому званію заблужденія. За-



блуждаться казалось естественнымъ. „Заблуждаться“ — это означало любить отечество по-своему, не такъ, быть можетъ, какъ начальство приказываетъ, но все-таки любить. Заблуждались преимущественно дворяне, потому что ихъ наукамъ учили. Ежели бы не учили ихъ наукамъ, то они и не заблуждались бы. Во всякомъ случаѣ, ни о „внутреннихъ врагахъ“, ни о „благонадежныхъ элементахъ“ тогда даже въ поминѣ не было. Какіе къ чорту „внутренніе враги“, которые сидятъ смирно да книжки читаютъ! И какъ имъ книжекъ не читать, когда ихъ тому въ кадетскихъ корпусахъ учили! Наукамъ учать, а заблуждаться не позволяютъ — на чтѣ похоже! Таково было тогдашнее настроеніе умовъ нашей интеллигенціи, и вслѣдствіе этого „политическихъ“ не только не лишали огня и воды, но даже не въ примѣръ охотиѣ принимали въ домахъ, нежели шумеровъ, чему впрочемъ много способствовало и то, что „политическіе“ по большей части были люди молодые, образованные и обладавшіе приличными манерами. Даже полиціймейстеръ сознавалъ это, и хотя, играя въ клубѣ въ карты, запуская по временамъ глазуна въ сторону какого-нибудь „политическаго“, но дѣлалъ это почти машинально, потому только, что ужъ служба его такая.

Просто было тогдашнее время, а патриархъ нашъ ухитрился упростить его еще больше. Всякій обходился съ нимъ за панибрата; всякій могъ ему противорѣчить и даже грубить. Собственные его чиновники особыхъ порученій, народъ молодой и вѣтренный, въ глаза смѣялись надъ нимъ, рассказывая всякія небылицы. Однажды его очень серьезно увѣряли, будто одного изъ его предмѣстниковъ губернское правленіе сумасшедшимъ сдѣлало. Пришелъ, дескать, онъ въ губернское правленіе, закричалъ, загамилъ, на законъ наступилъ, а совѣтники (въ то время вице-губернаторы не были причастны губернскимъ правленіямъ, а въ казенныхъ палатахъ предсѣдательствовали), не будъ просты, послали за членами врачебной управы, да и составили вкупѣ актъ объ освидѣтельствованіи патриарха въ состояніи умственныхъ способностей. И Набрюшниковъ повѣрилъ этому.

Панибратство это тоже многимъ казалось обиднымъ, ибо тоже принижало губернію. Всѣ чувствовали, всѣ понимали, что на этомъ мѣстѣ долженъ быть „орелъ“, а тутъ вдругъ — тетеревъ! Даже сторожа присутственныхъ мѣстъ замѣчали, что есть въ нашемъ патриархѣ что-то неладное, и нimalo не стѣснялись въ выраженіи своего негодованія.

— Какой это начальникъ! — говорили они: — идетъ, бывало, начальникъ — земля у него подъ ногами дрожить, а этотъ идетъ, ногами во всѣ стороны дрыгаетъ, словно киселя дать хочетъ!

— За губернію стыдно-съ! — вторилъ сторожамъ вице-губернаторъ.

И такъ, вотъ при какой административной обстановкѣ застигла насъ памятная эпоха 1854—1856 годовъ.

Повторяю: вѣсти съ театра войны доходили до насъ туго. Не было въ то время ни желѣзныхъ дорогъ, ни телеграфовъ, а были только махальные. Почта приходила къ намъ изъ Петербурга два раза въ недѣлю, да и то въ десятый день. Собираясь въ почтовые дни въ клубъ, мы съ жадностью прочитывали газеты и передавали другъ другу извѣстія, полученныя частнымъ путемъ. Но въ сущности мы очень хорошо понимали, что всѣ наши тревоги

и радости (смотря по содержанію полученныхъ извѣстій) происходятъ, такъ сказать, заднимъ числомъ, и что, быть можетъ, въ ту самую минуту, когда мы, напримѣръ, радуемся, дѣйствительное положеніе дѣла представляетъ картину, долженствующую возбудить чувство совершенно иного, противоположнаго свойства.

Въ особенности много мучили насъ частныя письма, которыми мы, такъ-сказать, комментировали загадочность газетныхъ реляцій. То держится Севастополь, то сданъ; то сданъ и опять взятъ. По поводу подобныхъ извѣстій сочинялись цѣлые планы кампаній. Съ картой театра военныхъ дѣйствій въ рукахъ, стратеги въ вицъ-мундирахъ толковали по цѣлымъ часамъ, какимъ образомъ могло случиться, что французъ сперва взялъ Севастополь, а потомъ снова его уступилъ. Встрѣчались при этомъ такія затрудненія, что для разъясненія ихъ обращались къ батальонному командиру внутренней стражи (увы! нынѣ ужъ и эта должность упразднена!) который впрочемъ только таращилъ глаза и несъ сущую чепуху.

— Все зависитъ отъ того, — говорилъ онъ: — какъ начальство прикажетъ-сь. Прикажетъ сдать — сдадимъ-сь. Прикажетъ опять взять — возьмемъ-сь.

Такимъ образомъ по части внѣшнихъ извѣстій все было мракъ и сомнѣніе...

Былъ однакожъ признакъ, который даже искренно убѣжденныхъ въ непобѣдимости русскаго оружія заставлялъ печально покачивать головами. Этотъ признакъ составляли: непрерывные рекрутскіе наборы, сборы безсрочно-отпускныхъ и т. п. За мѣсяцъ и за два мы знали, что предстоитъ наборъ, по тѣмъ распоряженіямъ, которыя обыкновенно предшествуютъ этой мѣрѣ. Въ палатѣ государственныхъ имуществъ на-скоро составлялись призывные списки, у батальоннаго командира, въ швальной, шла усиленная заготовка комиссаріатскихъ вещей. А такъ какъ распоряженія этого рода учащались все больше и больше, то и сомнѣнія невольнымъ образомъ усиливались.

Сидимъ мы, бывало, въ клубѣ и трактуемъ, кто остался побѣдителемъ при Черной, какъ вдругъ въ залу влетаетъ батальонный командиръ и какъ-то необыкновенно юрко возглашаетъ:

— Сорокъ тысячъ паръ сапоговъ приказано изготовить-сь.

Или:

— Получено распоряженіе выслать въ К. сто человѣкъ портныхъ-сь!

При этомъ извѣстїи обыкновенно наступала минута сосредоточеннаго молчанія. Слово: „наборъ“, жужжало по залѣ и глаза всѣхъ присутствующихъ инстинктивно устремлялись къ столу, гдѣ сидѣли за вѣстомъ предсѣдатель казенной палаты и совѣтникъ ревискаго отдѣленія, и дѣлали видъ, что ничего не слышатъ. Но всѣмъ понятно было, что они не только слышатъ, но и мотають себѣ на усъ. А прозорливый Погудинъ даже прозрѣвалъ весь внутренній процессъ, который происходилъ въ это время въ совѣтникѣ ревискаго отдѣленія.

— Посмотрите, — говорилъ онъ: — какъ у Максима Аеанасьича лѣвое ухо разгорѣлось! Къ добрымъ вѣстямъ, значить. Наборъ будетъ.

И дѣйствительно, наборы почти не перемежались. Не успѣемъ одинъ



отбыть, какъ ужъ другой на дворѣ. На улицахъ снова плачущія и поющія толпы. Цѣлыми волостями валилъ народъ въ городъ и располагался лагерь на площадкѣ передъ губернскимъ рекрутскимъ присутствіемъ, въ ожиданіи пріемки. На всю губернію было въ то время только четыре рекрутскихъ присутствія; изъ нихъ къ губернскому причислено было три съ половиной уѣзда съ населеніемъ около двухсотъ тысячъ душъ, съ которыхъ причиталось до тысячи рекрутовъ (нѣкоторыя волости должны были совершить скорбный путь въ триста слишкомъ верстъ, чтобы достигнуть губернскаго города). Въ рекрутскомъ присутствіи шла дѣятельность безпримѣрная. Пріемъ начинали съ восьми часовъ утра, кончали въ четыре пополудни, принимая въ день отъ восьмидесяти до ста-двадцати человѣкъ. Прѣисходила великая драма, мѣстомъ дѣйствія которой было рекрутское присутствіе и площадь передъ нимъ, объектомъ — податное сословіе, а дѣйствующими лицами — военные и статскіе распорядители набора, совмѣстно съ откупщикомъ и коммерсантами-поставщиками сукна, полшубковъ, рубашечнаго холста и проч.

Я не могу сказать, какъ велика была сила патріотизма въ объектѣ драмы, т. е. въ податномъ сословіи. Въ то время мы какъ-то не обращали на этотъ предметъ вниманія. Но за то дѣйствующія лица драмы были настолько патріоты, что не только не изнемогали подъ бременемъ лежавшихъ на нихъ обязанностей, но даже какъ бы почерпали въ нихъ новыя силы. Максимъ Аванасиичъ (совѣтникъ ревизскаго отдѣленія) хотя и жаловался на ломъ въ поясицѣ, но въ рекрутское присутствіе ходилъ неупустительно. Лицо у него сдѣлалось масляное, глаза покрылись неисточимою слезой, и что всего замѣчательнѣе, когда кто-нибудь у него спрашивалъ, какъ дѣла, то онъ благодарилъ, видимо стараясь взглянуть вопрошающему какъ можно прямѣе въ глаза. Предсѣдатель казенной палаты прямо говорилъ, что не только въ настоящій наборъ, но если будетъ объявленъ и другой, и третій — онъ всегда послужить готовъ. Управляющій палатой государственныхъ имуществъ смотрѣлъ даже благороднѣе, нежели обыкновенно, и всѣмъ существомъ какъ бы говорилъ: никакая клевета до меня коснуться не можетъ! Откупщикъ, перекрестъ изъ евреевъ, не только не сомнѣвался въ непобѣдимости русскаго оружія, но даже до того повеселѣлъ, что задолго до появленія г. Вейнберга утѣшалъ общество разсказами изъ еврейскаго быта. Батальонный командиръ метался словно въюнь на сковородѣ: то вытягивался, то свертывался въ кольцо, то предавался боковому конвульсивному движенію.

Одинъ патріархъ продолжалъ на все смотрѣть холодными глазами и даже никому не завидовалъ.

Однако, послѣ второго или третьяго набора стали мы замѣчать, что у старика начинаютъ раздуваться ноздри, какъ будто онъ къ чему-то принимается. Первый, разумѣется, замѣтилъ это прозорливый лекарь Погудинъ.

— Помяните мое слово, — говорилъ онъ: — что къ слѣдующему набору Богъ ему узы разрѣшитъ!

И точно, мало-по-малу сталъ онъ подсаживаться то къ предсѣдателю казенной палаты, то къ батальонному командиру, то къ управляющему палатой государственныхъ имуществъ. Сядетъ и смотритъ не то мечтательно, не то словно въ душу проникнуть хочетъ. И вдругъ заговоритъ о любви къ оте-

честву, но такъ заговорить, что предсѣдатель казенной палаты такъ-таки и сторить со стыда.

— „Впроситься“ старикъ хочетъ!—по секрету сообщилъ предсѣдатель Максиму Аѳанасьичу.

— Похоже на то-съ!—меланхолически отвѣтилъ Максимъ Аѳанасьичъ! И всё словно замерли, въ ожиданіи, что будетъ.

И вотъ однажды послѣ пульки подсѣлъ старикъ къ батальонному командиру и нѣкоторое время до того пристально смотрѣлъ на него, что полковникъ весь съёжился.

— Ну-съ, какъ дѣла, полковникъ?—вдругъ произнесъ старикъ.

— Помаленьку, вашество!

— То-то по-ма-лень-ку!—проскандировалъ старикъ, постепенно возвышая голосъ, и въ заключеніе почти ужъ крикомъ крикнулъ: — Старика, сударь, забываете! Да-съ!

Съ этими словами онъ всталъ и твердыми шагами вышелъ изъ клубной залы.

Смятеніе было невообразимое; у всѣхъ точно пелена съ глазъ упала. И вдругъ, безъ всякаго предварительнаго соглашенія, въ одно мгновеніе ока, всѣмъ припомнилось давно забытое слово: „начальникъ края“...

Это было незадолго до появленія манифеста объ ополченіи...

Пришелъ наконецъ манифестъ. Патріархъ прозрѣлъ окончательно.

Прежде всего его поразила цифра. Всего, всего тутъ было много: и холста, и сукна, и сапожныхъ подметокъ, не говоря уже о людяхъ. Ядреная, вкусная, сочная, эта цифра разомъ разрѣшила связывавшія его узы, такъ что прежде даже, нежели онъ могъ хорошенько сообразить, какое количество изюма, миндаля и икры представляетъ она, уста его уже шептали:

— Теперь я все самъ. Самъ все сдѣлаю. Да-съ, самъ-съ.

И шепталъ онъ это съ какимъ-то злорадствомъ, словно бы хотѣлъ отметить всѣмъ этимъ хищникамъ, которые безцеремонно набивали свои карманы, а его держали на балыкахъ да на зернистой икрѣ.

Въ тотъ же вечеръ онъ призвалъ къ себѣ откупщика и огорошил его вопросомъ:

— Ты, любезный, мнѣ что присылаешь?

Откупщикъ стоялъ какъ опущенный въ воду и не смѣлъ взглянуть ему въ глаза.

— Два ведра водки въ мѣсяцъ мнѣ посылаешь! Ска-а-ти-на!

Больше онъ ничего не сказалъ, но вѣсть объ этомъ разговорѣ съ быстротою молніи разнеслась по городу, такъ что на слѣдующій день, когда, по случаю какого-то чиновничьяго парада, мы были въ сборѣ, то всѣ уже были приготовлены къ чему-то рѣшительному.

И дѣйствительно, трудно даже представить себѣ, до какой степени онъ вдругъ измѣнился, выросъ, похорошѣлъ. Многимъ показалось даже, что онъ сидитъ на конѣ и гарцуетъ, хотя въ дѣйствительности никакого коня подъ нимъ не было. Онъ окинулъ насъ взоромъ, потомъ на минуту сосредоточился,



потомъ раза съ два раскрылъ ротъ, и... заговорилъ. Не засвисталъ, не замышаль, а именно заговорилъ.

Прежде всего онъ поставилъ внѣ всякаго сомнѣнія, что удобный для истребленія врага моментъ наступилъ.

— У враговъ нашихъ есть нарѣзные ружья, но нѣтъ усердія-съ, — сказалъ онъ: — у насъ же хотя нѣтъ нарѣзныхъ ружей, но есть усердіе-съ. И притомъ дисциплина-съ. Смирно! — вдругъ крикнулъ онъ, грозя насъ очами.

Затѣмъ, очень лестно отозвавшись объ ополченіи, которому предстоитъ въ близкомъ будущемъ выполненіе славной задачи умиротворенія, онъ перешелъ отъ внѣшнихъ враговъ къ внутреннимъ (онъ первый употребилъ это выраженіе, и такъ удачно, что послѣ того оно вполне акклиматизировалось въ нашемъ административномъ обиходѣ), которыхъ раздѣлилъ на двѣ категоріи. Къ первой онъ отнесъ безпокойныхъ людей вообще и критиковъ въ особенности.

— Ни безпокойныхъ людей, ни критиковъ я не потерплю, — сказалъ онъ. — Критики вообще вредны, а у насъ въ особенности. Государство у насъ обширное, а потому и операціи въ немъ обширныя. И притомъ, въ самоскорѣйшемъ времени-съ. Слѣдовательно, если выслушивать критики, то для одного разсмотрѣнія ихъ придется учредить особую комиссію, а впоследствии, быть можетъ, и цѣлое министерство. А ополченіе тѣмъ временемъ будетъ безъ сапогъ-съ. Не критиковать надобно, а памятовать, что въ мірѣ все подвержено тлѣнію, а аммуничныя вещи въ особенности. Скажу вамъ притчу. Въ прошломъ году нѣкоторый садоводъ посадилъ у себя въ саду двѣ яблони, а въ нынѣшнемъ ожидалъ получить отъ нихъ плодъ. И точно: одна яблоня дала плодъ, но другая — высохла. Ужели же слѣдуетъ садовода за это критиковать? Подобно сему, и ратнецкій сапогъ. Одинъ сапогъ дойдетъ до Севастополя, другой — только до первой станціи. Никакая критика въ этомъ случаѣ не поможетъ, потому что достоинство сапога зависитъ не отъ критики, а отъ сапожника. Законъ это предвидѣлъ, и потому ни въ какомъ вѣдомствѣ критика не установилъ-съ.

Къ другой категоріи „внутреннихъ враговъ“ онъ отнесъ тѣхъ чиновниковъ „постороннихъ вѣдомствъ“, которые, выставяя впередъ принципъ раздѣленія властей, тѣмъ самымъ стремятся къ пагубному административному сепаратизму.

— Многіе изъ васъ, господа, не понимаютъ этого, — сказалъ онъ, не то гнѣвно, не то иронически взглядывая въ ту сторону, гдѣ стояли члены казенной палаты: — и потому черезчуръ ужъ широкой рукой пользуются предоставленными имъ прерогативами. Думаютъ только о себѣ, а про старшихъ или совсѣмъ забываютъ, или не въ той мѣрѣ помнятъ, въ какой по закону помнить надлежитъ. На будущее время всѣ эти фанаберіи должны быть оставлены. Я здѣсь всѣхъ критикую, я-съ. А на себя никакихъ критикъ не потерплю-съ!

Высказавши это, онъ въ заключеніе воскликнулъ:

— А теперь обратимся къ Подателю всѣхъ благъ и вознесемъ къ Нему

теплія молибѣ о ниспосланіи любезному отечеству нашему побѣды и одолѣнія. Милости просимъ въ соборъ, господа!

Рѣчь эта произвела очень разнообразное впечатлѣніе. Губернское правленіе торжествовало, казенная палата казалась сконфуженною, палата государственныхъ имуществъ внимала въ гордомъ сознаніи своего благородства. Батальонный командиръ держалъ руки по швамъ.

Даже строительная коммиссія—и та соображала, нельзя ли и ей прикинуть къ общему патріотическому настроенію, вызвавшемуся взять на себя хозяйственную заготовку пикъ и другого не-огнестрѣльнаго оружія.

Я ѣхалъ въ соборъ вмѣстѣ съ Погудинымъ.

— А вѣдь рѣчь-то хоть куда!—сказалъ я:—и главное, совсѣмъ неожиданно.

— Это бываетъ, — отвѣтилъ онъ:—въ моей практикѣ я и не такія чудеса видѣлъ. Позвали меня однажды къ попу. Прихожу, лежитъ мой попъ какъ колода, языкомъ не владѣетъ, не слышитъ, не видитъ, только носомъ нюхаетъ. Домашніе, разумѣется, въ смятеніи; готовятъ горчишники, припарки. Не нужно, говорю, ничего, а вотъ поднесите къ носу ассигнацію. И чтѣжь бы вы думали? какъ только онъ нюхнулъ, вдругъ вскочилъ какъ втрепанный! Откуда чтѣ полѣзло: и заговорилъ, и прозрѣлъ, и услышалъ! И сейчасъ же водки попросилъ.

— Ну, вы это ехидничаете. А вы по правдѣ скажите: хороша рѣчь?

— Хороша-то хороша. И критиковъ заранѣе устранилъ, и насчетъ этой дѣлечки: объ себѣ-моль думаете, а старшихъ забываете... хоть куда! Только вотъ чтѣ я вамъ скажу: не бывать воронѣ орломъ! Какъ онъ тамъ ни топырся, а оставляютъ они его по-прежнему на однихъ балыкахъ!

— Будто бы?

— Право, такъ. Взглянулъ я давеча на управляющаго палатой государственныхъ имуществъ: ужъ такъ онъ благородно смотрѣлъ! Словно такъ вотъ веѣмъ естествомъ и говоритъ: ты только меня припусти къ ополченію, а ужъ я тебѣ покажу, гдѣ раки зимуютъ!

— Да вѣдь вы извѣстный пессимистъ!

— Вѣрьте моей опытности. Управляющій палатой государственныхъ имуществъ—это именно тотъ самый человѣкъ, про котораго еще въ древности писано было: и придуть нѣдци, и на вратахъ жилищъ своихъ начертать: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ. А Набрюшникову—балыки!

Когда мы пріѣхали въ соборъ, литургія уже оканчивалась. Потомъ шель молебень съ колѣнопреклоненіемъ. Пѣвчіе превзошли себя, протодіаконъ тоже. Набрюшниковъ стоялъ впереди, и отъ времени до времени осматривался назадъ, какъ бы испытывалъ, нѣтъ ли гдѣ „внутреннихъ враговъ“. Я случайно взглянулъ на управляющаго палатой государственныхъ имуществъ. Онъ смотрѣлъ благородно и вмѣстѣ съ прочими выражалъ довѣріе въ силу русскаго оружія, но съ тѣмъ лишь неперемѣннымъ условіемъ, если ему, управляющему, будетъ предоставлено хозяйственное заготовленіе нужныхъ для ополченія вещей. Не знаю почему, но мнѣ невольно вспомнились при этомъ слова Погудина: „а Набрюшникову—балыки!“



И такъ, „придуть нѣщи, и на вратахъ жилищъ своихъ начертאותъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ“...

Несмотря на шуточность тона, предсказаніе Погудина сильно огорчило меня. Увы! оно относилось къ моему пріятелю Удодову, управляющему палатою государственныхъ имуществъ.

Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ былъ самый симпатичный изъ піонеровъ того времени. Еслибъ я былъ женщина-романистъ, то слѣдующимъ образомъ описалъ бы наружность его: „Его нельзя было назвать красавцемъ, но лицо его представляло такое гармоническое сочетаніе линій, что въ немъ, какъ въ зеркалѣ, отражались всѣ свойства прекрасной души. Темные волосы счастливо отгѣняли высокій матовый бѣлизны лобъ, на которомъ мысль врѣзала клеймо свое. То была скорбная, горькая мысль, которая глубоко, до самаго сердца, пускала свои развѣтвленія. Подъ вліяніемъ ея, выразительное лицо его мгновенно вспыхивало, тонкія античныя ноздри нервно вздрагивали, а глубокіе темные глаза гнѣвно искрились. Эти глаза — ихъ нельзя было забыть. Темно-сѣрые, вдумчивые, они, какъ живая загадка, выглядывали изъ-за большихъ темныхъ рѣсницъ. Чтѣ сулили они? упоеніе или горечь разочарованія — это была тайна, которую знало только его сердце, да сердце той... Но не будемъ предупреждать событій и скажемъ только, что тотъ, кто однажды видѣлъ эти глаза, навсегда былъ преслѣдуемъ воспоминаніемъ о нихъ. Голосъ у него былъ мягкій, вкрадчивый и до такой степени мелодичный, что сердце женщины, внимавшей ему, словно пойманная птичка, трепетало въ груди. Роста онъ былъ небольшого, но строгая соразмѣрность всѣхъ частей организма заставляла забыть объ этомъ недостаткѣ, если можно назвать это недостаткомъ въ мужчинѣ, который не предназначалъ себя въ тамбуръ-мажоры. Прибавьте къ этому тончайшій запахъ *ess-bouquet*, которымъ онъ имѣлъ привычку душить свой носовой платокъ — и вы получите разгадку того обаятельнаго дѣйствія, которое онъ производилъ на женщинъ“.

Но я не романистъ и не женщина, а потому скажу просто: Удодовъ былъ піонеръ. Онъ ревностно поддерживалъ и хранилъ тѣ преобразовательныя традиціи, въ силу которыхъ обыватели, съ помощью цѣлой системы канцелярскихъ мѣропріятій, должныствовали быть приведенными къ одному знаменателю. Тогда не было еще и рѣчи ни о централизаціи, ни о самоуправленіи, ни объ акцизномъ и контрольномъ вѣдомствахъ, но уже высказывались, хотя и съ большою осторожностью, мнѣнія о вредѣ взяточничества и о необходимости оградить отъ него обывателей при пособіи хорошо устроенной системы опекаательства. Это было своего рода вѣяніе времени, не преминувшее разрѣшиться появленіемъ цѣлаго полчища Удодовыхъ, которые бойко принялись за выполненіе предлежавшей имъ реформаторской задачи. Въ провинціи Удодовы были встрѣчены съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ и даже съ боязнью; втихомолку ихъ называли эмиссарами Пугачева.

Владиміръ Онуфріевичъ любилъ блеснуть своими ораторскими дарованіями. Онъ охотно говорилъ обо всемъ: и о народѣ, и о высшихъ соображеніяхъ, и о святости задачи, къ выполненію которой онъ призванъ. У него былъ всегда на-готовѣ цѣлый словесный потокъ, который плавно, и порой даже съ одушевленіемъ сбѣгалъ съ его языка, но сущность котораго опредѣ-

лить было довольно трудно. Такъ напимѣръ, я никогда не могъ исполнѣ опредѣлительно отвѣтить на вопросъ, дѣйствительно ли онъ „жалѣеть“ народъ, или, въ сущности, просто-на-просто презираетъ его. Чаще всего мнѣ казалось, что онъ въ народѣ усматриваетъ подходящую *anima vilis*, надъ которою всего удобнѣе производить опыты канцелярскихъ преобразованій и которую, ради успѣха этихъ преобразованій, позволительно даже слегка поуродовать.

Вообще это былъ человѣкъ нервный, увлекающійся не столько собственными идеями, сколько идеями своихъ начальниковъ, которыя онъ воспринималъ необыкновенно живо. Мысль: ограждать невѣжественную массу крестьянъ отъ притязаній чиновниковъ-взяточниковъ—несомнѣнно увлекала и его самого, но она сдѣлалась для него еще болѣе привлекательною вслѣдствіе того, что къ задачѣ огражденія пристегивали еще, съ начальственного соизволенія, воспитательный элементъ. Мало ограждать, надо еще опекать. Пріятно сказать человѣку: ты найдешь во мнѣ защиту отъ набѣговъ! но еще пріятнѣе крикнуть ему: ты найдешь во мнѣ умъ, котораго у тебя нѣтъ! И Удодовъ неутомимо развѣзжалъ по волостямъ, разговаривалъ съ головами и писарями, старался пріобщить ихъ къ тѣмъ высшимъ соображеніямъ, носителемъ которыхъ считалъ самого себя, всюду собиралъ какія-то крохи, и изъ этихъ крохъ составлялъ записки и соображенія, которыя по мѣрѣ приготовленія и отправлялъ въ Петербургъ. Всѣ мужицкіе обычаи представлялись ему вредными, весь мужикъ—подлежащимъ коренной передѣлкѣ. Записки „о средствахъ къ истребленію неграмотности и лѣни“, „о необходимости искорененія вредныхъ предразсудковъ“ сыпались одна за другою, свидѣтельствуя о неуспѣшной реформаторской дѣятельности Удодова. И чтò въ особенности дорого было въ этихъ „запискахъ“ — это полное совпаденіе ихъ съ тѣмъ обще-опекательнымъ тономъ, который господствовалъ въ то время въ одной части петербургскаго бюрократическаго міра! Начальство читало эти записки и думало: вотъ оно! оговсюду одно и то же пишутъ!—ни мало не подозрѣвая, что оно, такъ сказать, занималось перепиской само съ собою, то-есть само себя посылало руководящія предписанія и само отъ себя же получало соотвѣтствующія своимъ желаніямъ донесенія.

Какъ бы то ни было, но въ обществѣ Удодовъ былъ малый положительно пріятный и любезный. Онъ охотно сближался съ молодыми людьми, и не только не важничалъ, подобно прочимъ чинамъ пятаго класса, но даже пускался съ ними въ откровенныя бесѣды, предметъ которыхъ преимущественно составляли: святость его миссіи и бюрократическая его безупречность. Одно было въ немъ нѣсколько подозрительно: онъ слишкомъ часто впадалъ въ нервную раздражительность, слишкомъ охотно злоупотреблялъ „слезою“. Это какъ-то напоминало Ипполита Маркелыча Удушьева, о которомъ въ такихъ восторженныхъ выраженіяхъ отзывался Репетиловъ...

Нерѣдко мы цѣлыми вечерами просиживали съ нимъ одинъ-на-одинъ, и, право, это были недурные вечера. За стаканомъ добраго вина онъ передавалъ мнѣ завѣтнѣйшія мечты свои, и, несмотря на полное отсутствіе какой-либо теоретической подготовки, по временамъ даже поражалъ меня силою полета своей мысли.



— Нашъ народъ дитя, — говорилъ онъ мнѣ. — Дитя доброе, смышленное, но все-таки дитя. Самъ собою онъ управляться не можетъ. Онъ не имѣетъ понятія ни о гражданскомъ союзѣ, ни о союзѣ государственномъ. Весь циклъ его идей вертится около требованій и указаній обычнаго права. Поэтому для него необходимы добрые правители, которые были бы, такъ сказать, посредниками между нимъ и государствомъ. Государству необходима военная оборона, необходимъ бюджетъ, а народъ ничего этого не понимаетъ. Онъ не умѣетъ обобщать и всего себя приурочиваетъ къ общинѣ, къ волости и въ крайнемъ случаѣ къ своему уѣздному городу. Въ его глазахъ фискъ есть нѣчто загадочное, нѣчто такое, чтò приходитъ, беретъ и уходитъ. Поэтому надобно его воспитывать. Надобно, чтобъ онъ безпрестанно былъ лицомъ къ лицу съ государствомъ, чтобы послѣднее, такъ сказать, проникло въ самое сердце его. Народъ — дитя, повторяю я, дитя, имѣющее множество предразсудковъ, обычаевъ, привычекъ... дурныхъ привычекъ. Онъ настолько погрязъ во всемъ этомъ, что самъ по себѣ не чувствуетъ отъ этого даже особенныхъ неудобствъ. Но вѣдь дѣло не въ немъ одномъ, а въ государствѣ — въ государствѣ, относительно котораго народъ представляетъ лишь тягольную единицу. Государство должно быть сильно, государство должно быть образованно, государство обязывается имѣть свою промышленность, торговлю и проч. Высшее же выраженіе государства есть правительство, которое и несетъ на себѣ всю отвѣтственность за него. Отсюда — его права и обязанности. Права: собирать подати для удовлетворенія требованій бюджета, объявлять рекрутскіе наборы для пополненія армии и флотовъ, поддерживать благочиніе, гармонію и единообразіе. Обязанности: входить въ нужды народа и устраивать его благосостояніе съ такимъ расчетомъ, чтобы государство отъ того процвѣтало. Такова основная мысль нашего управленія. Мы обязываемся не только ограждать подвѣдомственныхъ намъ крестьянъ отъ всевозможныхъ притязаній, но и служить посредниками между ними и государствомъ. Или, другими словами, мы должны требовать и наблюдать, чтобъ ихъ внутренніе распорядки отнюдь не противорѣчили высшимъ государственнымъ соображеніямъ. Хотите, я прочту вамъ записку о необходимости увеличить срокъ возраста для вступленія въ бракъ мужескаго пола лицъ изъ крестьянскаго сословія?

И онъ читалъ мнѣ свою „записку“, въ которой излагалъ, что во время разѣздовъ по волостямъ онъ неоднократно былъ поражаемъ незрѣлымъ и слабосильнымъ видомъ нѣкоторыхъ молодыхъ крестьянъ, которыхъ онъ принималъ за подростковъ, и которые, по справкѣ, оказывались уже отцами семействъ. Имѣя въ виду, съ одной стороны, что преждевременное исполненіе супружескихъ обязанностей вообще имѣетъ вредное вліяніе на человѣческій организмъ, а съ другой стороны, что ранніе браки въ значительной мѣрѣ усложняютъ успѣшное отправленіе рекрутской повинности, онъ, Удодовъ, полагалъ бы разрѣшать крестьянамъ мужескаго пола вступать въ бракъ не прежде, какъ по вынуги благопріятнаго рекрутскаго жребія, и притомъ по надлежащемъ освидѣтельствованіи, въ особо учрежденномъ на сей предметъ присутствіи, относительно достиженія дѣйствительнаго физическаго совер-

шеннолѣтія. Что же касается до крестьянокъ-женщинъ, то участь ихъ онъ предоставлялъ на благоусмотрѣніе начальства.

Такимъ образомъ онъ прочиталъ мнѣ цѣлый рядъ „записокъ“, въ которыхъ съ государственной точки зрѣнія мужикъ выказывался опутаннымъ такою сѣтью всевозможныхъ опасностей, что еслибъ изъ тѣхъ же „записокъ“ не явствовало, что въ лицѣ моего собесѣдника мужикъ всегда найдетъ себѣ вѣрную и скорую помощь, а слѣдовательно до конца погибнуть не можетъ, то мнѣ сдѣлалось бы страшно.

— И вотъ наше существованіе, другъ мой! — прибавлялъ онъ грустно: — мы не имѣемъ ни одной свободной минуты, мы ни объ чемъ другомъ не думаемъ, какъ объ исполненіи обязанностей службы, а между тѣмъ намъ завидуютъ, насъ называютъ пугачевскими эмиссарами! Ну, похожи ли мы на это?

Иногда онъ былъ даже черезчуръ либераленъ, и, быть можетъ, устранилъ бы меня рѣзкостью нѣкоторыхъ своихъ положеній, еслибъ они были высказаны не въ то простодушное время, когда о „неблагонадежныхъ элементахъ“ не было и помина, а „въ настоящее время, когда“...

— Я понимаю одно изъ двухъ, — говорилъ онъ: — или Россія, или Соединенные Штаты: но никакихъ другихъ административныхъ сочетаній не признаю. Я не отрицаю: Соединенные Штаты... это дѣйствительно... хороши, мой другъ, Соединенные Штаты! Но Россія, по мнѣнію моему, для человѣчества еще полезнѣе. Что такое Россія? спрашиваю я васъ. Это Соединенные Штаты, доведенные до простѣйшаго и, такъ сказать, яснѣйшаго своего выраженія. А потому ни одно правительство въ мірѣ не въ состояніи произвести столько добра. Возьмите, напримѣръ, такое явленіе, какъ война. Какая страна можетъ разомъ выставить такую массу операціоннаго матеріала? Выставить безъ шума, безъ гвалта, безъ возбужденія распрей? Или, напримѣръ, такое явленіе, какъ неурожай. Какая страна можетъ двинуть разомъ такое громадное количество продовольственнаго матеріала изъ урожайной мѣстности въ неурожайную, при помощи одной натуральной подводной повинности? А мы — все это выставимъ и двинемъ! И такъ, дѣло не въ имени, а въ результатахъ. Говорятъ, что у насъ, благодаря отсутствію гласности, сильно укоренилось взяточничество. Но спрашиваю васъ: гдѣ его нѣтъ? И гдѣ же, въ сущности, оно можетъ быть такъ легко устранимо, какъ у насъ? Сообразите хоть то одно, что вездѣ требуется для взяточниковъ судъ, а у насъ достаточно только внутренняго убѣжденія начальства, чтобы вредный человѣкъ навсегда лишился возможности наносить вредъ. Стало быть, стоитъ только быть внимательнымъ и умѣть находить достойныхъ правителей. Вотъ и все. А что такіе люди есть — отвѣтомъ на это служить наше вѣдомство.

Наконецъ онъ былъ совершенно неистощимъ и даже поэтиченъ, когда заходила рѣчь о любви къ отечеству.

— Отечество, — говорилъ онъ: — это что-то таинственное, необъяснимое, но въ то же время затрогивающее всѣ фибры человѣческаго сердца. Спойте передо мной: „je m'en fiche, je m'en moque“ — и вы найдете меня холоднымъ. Но спойте: „Не бѣлы снѣги“ или даже „Барыню“ — и я готовъ расплакаться. Почему? А именно потому, что тутъ есть что-то необъяснимое, загадочное. Я не могу равнодушно видѣть, когда на театрѣ пляшутъ трепака,



хотя въ трепаке рѣшительно нѣтъ ничего трогательнаго. Я не могу безъ умиленія видѣть декорацію, изображающую нашу русскую деревню. Темная изба, бесконечно вьющаяся дорога, бѣлый саванъ зимы, обнаженные деревья и внизу, подъ горой, застывшая рѣчка... не правда ли, что тутъ есть что-то родное? *N'est-ce pas?*

По цѣлымъ часамъ заговаривались мы на эту тему и, не ограничиваясь словами, выражали глубину своего чувства дѣйствіемъ. То-есть, затыгивали „Не бѣлы снѣги“ и оглашали унылымъ пѣніемъ стѣны его квартиры до тѣхъ поръ, пока не докладывали, что подано ужинать. За ужиномъ мы опять говорили, говорили, говорили безъ конца...

И вотъ объ этомъ-то человѣкѣ Погудинъ изрекаетъ такой жестокой приговоръ!

Въ самомъ дѣлѣ, со дня объявленія ополченія, въ Удодовѣ совершилось что-то странное. Началъ онъ какъ-то озираться, предался какой-то усиленной дѣятельности. Прежде не проходило почти дня, чтобы мы не видѣлись, теперь — онъ словно въ воду канулъ. Даже подчиненные его вели себя какъ-то таинственно. Покажутся въ клубъ на минуту, пошепчутся и разойдутся. Одинъ только разъ удалось мнѣ встрѣтить Удодова. Онъ ѣхалъ по улицѣ и, оставившись на минуту, крикнулъ мнѣ:

— Тяжкія испытанія, мой другъ, наступаютъ для Россіи!

Затѣмъ, пожавъ мнѣ руку горяче обыкновеннаго, онъ прослѣдовалъ далѣе.

Что хотѣлъ онъ сказать этимъ? Кто готовитъ тяжкія испытанія для Россіи? Воевода ли Пальмерстонъ, или онъ, Удодовъ?

Наконецъ разнесся слухъ, что онъ заключилъ оборонительный и наступательный союзъ съ Набрюшниковымъ — съ Набрюшниковымъ, о которомъ никогда до тѣхъ поръ не выражался иначе, какъ тономъ величайшаго негодованія...

И вотъ въ одинъ прекрасный вечеръ я встрѣтилъ его въ клубѣ. Онъ пришелъ поздно и какъ-то особенно горячо обнялъ меня.

— Я сегодня счастливъ, мой другъ! — сказалъ онъ: — нынче вечеромъ на меня возложена вся хозяйственная часть по устройству ополченія. Борьба была жаркая, но я побѣдилъ. Ну, вы, конечно, увѣрены, что я своего кармана не забуду!

Послѣднія слова были сказаны тѣмъ шуточнымъ тономъ, который у маломальски благовоспитаннаго собесѣдника долженъ вызвать, по малой мѣрѣ, разувѣряющій простосердечный смѣхъ.

Но я, не знаю почему, вдругъ покраснѣлъ.

— Ома невѣрующій! — воскликнулъ онъ съ укоромъ.

Затѣмъ мы сѣли ужинать, и онъ спросилъ шампанскаго. Тутъ же подѣла цѣлая компанія подручныхъ устроителей ополченія. Все было уже сформировано и находилось, такъ сказать, на чеку. Все смѣялось, пило и съ довѣріемъ глядѣло въ глаза будущему. Но у меня не выходило изъ головы: „придутъ нѣмцы и на вратахъ жилищъ своихъ начертאותъ: здѣсь стригутъ, брѣютъ и кровь отворяютъ“.

Это была скорбная пора; это была пора, когда моему встревоженному уму впервые предсталъ вопросъ: что же, наконецъ, такое этотъ патріотизмъ,

которымъ всякій такъ охотно заслоняетъ себя, который я самъ съ колыбели считалъ для себя обязательнымъ и съ которымъ, въ столь рѣшительную для отечества минуту, самый послѣдній изъ прохвостовъ обращался самымъ наглымъ и безцеремоннымъ образомъ?

Теперь, съ помощью Бисмарковъ, Наполеоновъ и другихъ поборниковъ отечестволюбія, я нѣсколько уяснилъ себѣ этотъ вопросъ, но тогда я еще былъ на этотъ счетъ новичокъ.

Въ первый моментъ всѣхъ словно пришибло. Говорили шепотомъ, вздыхали, качали головой и вообще вели себя прилично обстоятельствамъ. Потомъ мало-по-малу освоились и каждый обратился къ своему ежедневному дѣлу. Наконецъ всмотрѣлись ближе, вникли, взвѣсили...

И вдругъ неслыханнѣйшая оргія взволновала нашъ скромный городъ. Словно молнія, блеснула въѣмъ въ глаза истина: требуется до двадцати тысячъ ратниковъ! Сколько тутъ сукна, холста, кожаннаго товара, полушубковъ, обозныхъ лошадей, провіанта, приварочныхъ денегъ! И сколько потребуется людей, чтобы все это сшить, пригнать въ самый короткій срокъ!

И вотъ весь мало-мальски смышленный людъ заволновался. Всякій спѣшилъ какъ-нибудь поближе пріютиться около пирога, чтобы нѣчто урвать, утаить, ушить, укронть, усчитать и вообще, по силѣ возможности, накласть въ загорбокъ любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. Съ утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицамъ люди съ алчными фізіономіями, съ цѣпкими руками, въ чаяніи воспользоваться хоть грошомъ. Нашъ тихій, всегда скупой на деньги, городъ вдругъ словно ошалѣлъ. Деньги полились рѣкой: базары оживились, торговля закипѣла, клубъ процвѣлъ. Вино и колоніальные товары цѣлыми транспор-тами выписывались изъ Москвы. Обѣды, балы слѣдовали другъ за другомъ, съ танцами, съ патріотическими тостами, съ пѣніемъ моднаго тогдашняго романса о воеводѣ Пальмерстонѣ, который какой-то проѣзжій итальянецъ положилъ, по просьбѣ полиціямейстера, на музыку и немилосердно коверкалъ, при взрывѣ общаго энтузіазма.

Безсознательно, но, тѣмъ не менѣе, безнощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Продавалось и за грошъ, и за болѣе крупный кушъ; продавалось и за карточнымъ столомъ, и за пьяными тостами подписныхъ обѣдовъ; продавалось и въ домашнихъ кружкахъ, устроенныхъ съ цѣлью наилучшей организациі ополченія, и при звонѣ колоколовъ, при возгласахъ, призывавшихъ побѣду и одолѣіе.

— Кто не могъ ничего урвать, тотъ продавалъ самого себя. Все, что было въ присутственныхъ мѣстахъ пьяненькаго, неспособнаго, лѣниваго — все потянулось въ ополченіе. На улицахъ и клубныхъ вечерахъ появились молодые люди въ новенькихъ ополченкахъ, въ которыхъ трудно было угадать вчерашнихъ неуклюжихъ и ошипанныхъ канцелярскихъ чиновниковъ. Еще вчера ни одна губернская барыня ни за что въ свѣтѣ не пошла бы танцовать съ какимъ-нибудь коллежскимъ регистраторомъ Горизонтовымъ, а нынче Горизонтовъ такъ чистъ и милъ въ своей офицерской ополченкѣ, что барыня даже изнемогаетъ, танцуя съ нимъ „полку-трамблемъ“. И не только она, но даже вчерашній начальникъ, вице-губернаторъ, не узнаетъ въ этомъ



чистенькомъ офицерикѣ вчерашняго неопрятнаго, отрепаннаго писца Горизонтова.

— А! Горизонтовъ! мило! очень, братецъ мой, хорошо! — поощряетъ вице-губернаторъ, повертывая его и осматривая сзади и спереди.

— Сегодня только-что отъ портного, ваше высокородіе!

— Прекрасно! — очень, даже очень порядочно сшить кафтанѣ! И скоро въ походъ?

— Поучимся недѣли съ двѣ, ваше высокородіе, и въ походъ-съ!

Смотри! Сражайся! Сражайся, братецъ! потому что отечество...

— Намъ, ваше высокородіе, сражаться врядъ-ли придется, потому — далеко. А такъ, страны свѣта увидимъ...

И шли эти люди, въ чайни на ратницкій счетъ „страны свѣта увидать“, шли съ легкимъ сердцемъ, не зная, не вѣдая, куда они путь-дороженьку держать и какой-такой Севастополь на свѣтѣ состоитъ, что такіе за „ключи“, изъ-за которыхъ сыр-боръ загорѣлся. И большая часть ихъ впослѣдствіи воротилась домой изъ-подъ Нижняго, воротилась спившаяся съ круга, безъ гроша денегъ, въ затасканныхъ до дыръ ополченкахъ, съ одними воспомина-ніями о видѣнныхъ по бокамъ столбовой дороги странахъ свѣта. И такъ-таки и не узнали они, какіе-такіе „ключи“, ради которыхъ черноморскій флотъ потопили и Севастополь разгромили.

Шитье ратницкой аммуниці шло дни и ночи напролетъ. Все, что могло держать въ рукѣ иглу, все было занято. Почти во всякомъ мѣщанскомъ домишкѣ были устроены мастерскія. Тутъ шили рубахи, въ другомъ мѣстѣ — ополченскіе кафтаны, въ третьемъ — стучали сапожными колодеями. Ёдешь, бывало, темною ночью по улицѣ — вездѣ горятъ огни, вездѣ отворены окна, несмотря на глухую осень, и изъ оконъ несется паръ, говоръ, гамъ, пѣсни...

А объектъ ополченія тѣмъ временемъ такъ и валилъ-валою въ городъ. Валилъ съ пѣснями, съ причитаніями, съ подыгрываніемъ гармоники; валилъ, сопровождаемый ревушимъ и всхлипывающимъ бабьемъ.

— Волость привели! — молодецки докладываетъ волостной старшина управляющему палатой государственныхъ имуществъ, выстроивъ будущихъ ратниковъ передъ квартирой начальника.

Управляющій выходитъ съ гостями на крыльцо и здоровается.

— Молодцы, ребята! — кричитъ онъ по военному: — за вѣру! Помните, ребята! Съ желѣзомъ въ рукѣ... Съ Богомъ!

И вотъ изъ числа гостей выступаетъ впередъ откупщикъ, перекрестъ изъ жидовъ. Онъ приходитъ въ такой энтузіазмъ отъ одного вида молодцовъ-ребятъ, что тутъ же возглашаетъ:

— По царкѣ! по двѣ царки на каждого ратника зертвую! за вѣру!

— Съ Богомъ! трогай! — вновь напутствуетъ управляющій толпу: — за вѣ-ѣ-ру!

„Объектъ“ удаляется съ пѣснями.

Знаетъ ли онъ, что за „ключи“ такіе, ради которыхъ перекрестъ изъ жидовъ жертвуетъ ему по царкѣ водки на человѣка?

Однимъ словомъ, и на улицахъ, и въ домахъ шла невообразимая суета.

Но человѣка, посторонняго дѣлу организаціи ополченія, въ этой суетѣ прежде всего поражало преобладаніе натянутости и таинственности. Общій разговоръ исчезъ совершенно. Въ собраніяхъ, въ частныхъ домахъ — сейчасъ же формировались отдѣльныя группы людей, горячо о чемъ-то между собою перешептывавшихся. Въ виду этихъ группъ непосвященному становилось просто неловко. На привѣтствіе его отвѣчали машинально; ежели же онъ проявлялъ желаніе присоединиться къ общему разговору, то перемѣняли разговоръ и начинали говорить вздоръ. Приходилось или уединиться, или присаживаться къ дѣвицамъ, которыя или щипали коршію, или роптали на то, что въ нашъ городъ не присылають плѣнныхъ офицеровъ. По временамъ отъ которой-нибудь группы отдѣлялся индивидуумъ и торопливо куда-то исчезалъ. Черезъ нѣкоторое время, исчезнувшій такъ же торопливо появлялся вновь одинъ или съ новыми индивидуумами, и опять начинался оживленный шопотъ. По временамъ цѣлая группа куда-то исчезала, вѣроятно въ домъ къ кому-нибудь изъ заговорщиковъ, у котораго можно было расположиться вольнѣе...

— Да чтò же такое происходитъ, наконецъ? — спросилъ я однажды Погудина, который зашелъ ко мнѣ утромъ посидѣть.

— Топка, батюшка, происходитъ, великая топка теперь у насъ идетъ! — отвѣтилъ онъ: — и Богу молятся, и воруютъ, и опять (Богу молятся, и опять воруютъ. „И, притомъ, въ самоскорѣйшемъ времени“, какъ выразился Набрюшниковъ.

— Неужто и Удодовъ тутъ?

— Удодовъ — по преимуществу. Много тутъ конкурентовъ было: и голова впрашивался, и батальонный командиръ освѣдомлялся, чѣмъ пахнетъ — всѣхъ Удодовъ оттеръ. Теперь онъ Набрюшникова такъ настегалъ, что тотъ такъ и лѣзетъ, какъ бы на кого наброситься. Только и твердитъ каждое утро полиціймейстеру: „критиковъ вы мнѣ разыщите! критиковъ-съ! А враговъ мы, съ Божьею помощію, побѣдимъ-съ!“

— А развѣ ужъ и критики появились?

— Немудрыя. Какой-то писарिशко анонимное письмо написалъ: новымъ Ровоамомъ Набрюшникова называетъ. Ну, какой же онъ Ровоамъ?

— Стало быть, сдѣлка между Набрюшниковымъ и Удодовымъ состоялась?

— Нехитрая сдѣлка: Набрюшниковъ десять процентовъ себѣ выговорилъ. Тутъ, батюшка, сотни тысячъ полетятъ, такъ ежели десять копѣекъ съ cadaго рубля — сочтите, сколько денегъ-то будетъ!

— Послушайте! да не много ли десять-то процентовъ? Вѣдь ежели Набрюшникову десять процентовъ, сколько же Удодовъ себѣ возьметъ! сколько возьмутъ его агенты!

— Всѣ возьмутъ, да еще увидите, что и „благоразумная экономія“ будетъ. А впрочемъ чтò мнѣ приходитъ на мысль: Удодовъ поглядитъ-поглядитъ, да и заграбитъ все самъ. А Набрюшникова на бобахъ оставитъ!

— Ну, это мудрено!

— Ничего мудренаго нѣтъ. Вы взгляните въ Удодова, какая у него въ послѣднее время фizioномія сдѣлалась. Такъ вѣдь и написано на ней: и за чтò я какому-нибудь тетереву буду десять процентовъ отдавать!



— Такъ вотъ онъ, Удодовъ-то! А какой человѣкъ-то! Намеднись, сидѣлъ я у него, и зашелъ у насъ разговоръ о любви къ отечеству. „Отечество, говорить,—это святѣйша!“

— А „Не бѣлы снѣги“ какъ поетъ! просто даже слеза прошибаетъ!

Погудинъ даже закручинился подъ вліяніемъ этого воспоминанія. Машинально свѣсилъ голову на бокъ и чуть-чуть самъ не запѣлъ.

— Да,—сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія:—какая-нибудь тайна тутъ есть. „Не бѣлы снѣги“ запоютъ—слушать безъ слезъ не можетъ, а обдирать народъ — это вольнымъ духомъ, сейчасъ! Или и впрямь казна-матушка такъ ужъ согрѣшила, что ни въ комъ-то къ ней жалости нѣтъ и никто ничего не видитъ за нею! Ужъ на что казначей — хранитель, значить! — и тотъ въ прошломъ году сто тысячъ укралъ! Не шемитъ ни въ комъ сердце по ней, да и все тутъ! А чтó промежду купечества теперь происходитъ — страсть!

— Напримѣръ?

— И грызутся, и смѣются, и анекдоты другъ про дружку рассказываютъ. Хотя и большое дѣло двадцать тысячъ человѣкъ снарядить, а все-таки не всякому туда вприсоситься удалось. Вотъ и идетъ у нихъ теперь потѣха: кто кому больше въ карманъ накладеть. Орфенову, наприимѣръ, ничего не дали, а онъ у насъ по кожевенной части первый человѣкъ. А подѣлили между собою полшубки и кожевенный товаръ Москвины да Костроминны, а они сроду облоло кожевеннаго-то товара и не хаживали. Вотъ Орфеновъ и обозлился. Живъ, говорить, не буду, коли весь товаръ не скуплю: пущай за тридевять земель полшубки покупаютъ! Такъ его сегодня полиціймейстеръ къ Набрюшникову таскалъ.

— Это зачѣмъ?

— Репримандъ Набрюшниковъ дѣлалъ. „Отѣлся, говорить, такъ за критики принялся! Знаешь ли—говорить, что съ тобою, яко съ заговорщикомъ поступить можно?“

— Ловко!

— Да, не безъ пріятности для Удодова. Да, собственно говоря, онъ одинъ и пріятность-то отъ всего этого дѣла получить. Онъ-то свой процентъ даже сейчасъ ужъ выручилъ, а прочимъ, вотъ хоть бы тѣмъ же Костроминнымъ съ братіей, кажется, просто безъ всякихъ пріятностей придется напѣтъ съѣхать. Только вотъ денегъ много за-разъ въ рукахъ увидать — это какъ будто радуеть!

— Ну, не станутъ же и они безъ пользы хлопотать!

— А вотъ какъ я вамъ скажу. Былъ я вчера у Радугина: онъ ночью нынче въ Москву за сукномъ уѣхалъ. Такъ онъ мнѣ сказывалъ: „Взялся, говорить, я сто тысячъ аршинъ сукна поставить по рублю за аршинъ, и для задатковъ впередъ двадцать-пять тысячъ получилъ—сколько, ты думаешь, у меня отъ этихъ двадцати-пяти тысячъ денегъ осталось?“ — Двѣ синенькихъ? говорю. „Двѣ не двѣ, а... пять тысячъ!!“

— Строгъ же Удодовъ!

— Ужъ такъ аккуратенъ! такъ аккуратенъ! Разомъ со всего подряда двадцать процентовъ учеть. Святое дѣло. Да еще чтó: реестриковъ разныхъ

Радугину со всѣхъ сторонъ наслали: тотъ то купить просить, тотъ—другое. Однѣхъ дамскихъ шляпокъ изъ Москвы пять штукъ привезти обязался. Признаться сказать, я даже пожалѣлъ его: купи, говорю, кстати и мнѣ въ Москвѣ домишко какой-нибудь немудрящій; я, говорю, и надписи на воротахъ такую изображу: подаренъ, дескать, въ знакъ ополченія.

— Удивительнѣ всего, что они даже не скрываются. Такъ-таки все и выкладываютъ!

— Нельзя. Удодовъ пыталъ останавливать, даже грозилъ, да ничего не подѣлаешь. Сначала пообщаютъ молчать, а черезъ часъ не выдержать— и выболтаютъ. По секрету, разумѣется. Тому по секрету, другому по секрету— анъ оно и выходитъ, словно въ газетахъ напечатано! Вотъ и я вамъ тоже по секрету.

— Чортъ возьми, однако! Вѣдь, по настоящему, Удодову теперь руку подать стыдно!

— Ничего стыднаго нѣтъ. Рука у него теперь мягкая, словно бархатъ. И самъ онъ добрѣе, мягче сдѣлался. Бывало, глаза такъ и нижутъ насквозь, а нынче больше все подъ лобъ зрачки-то закатывать сталъ. Очень ужъ, значить, за отечество ему прискорбно! Намедни мы въ клубъ были, когда газеты пришли. Бросился это Удодовъ, конвертъ съ „Вѣдомостей“ сорвалъ: „держитесь!—кричитъ:—держитесь еще батюшка-то нашъ!“ Это онъ про Севастополь! Ну, да прощайте! Секретъ!

Погудинъ направился-было къ передней, но съ половины дороги вернулся.

— Забылъ!—сказалъ онъ:—сегодня ко мнѣ мажордомъ приходилъ— знаете, тотъ самый, что за „покушеніе войти въ незаконную связь съ книжной \*\*\*\*“ къ намъ сосланъ. „А что, говоритъ, не махнуть ли и мнѣ, Петръ Васильичъ, въ ополченіе? Ужъ очень, говоритъ, Рассеѣ послужить захотѣлось!“—Валей! говорю. — „Только я, говоритъ, насчетъ чина сомнѣваюсь. Вонъ Горизонтова въ прапоры произвели, а меня какимъ чиномъ примутъ?“—Прямо прохвостомъ, говорю.—„Ну, нѣтъ, говоритъ, мнѣ, по моему положенію, не того надобно!“—А какое же, спрашиваю, твое положеніе? — „А такое, говоритъ, положеніе, что хоша я по просьбѣ князя Павла Павлыча сюда сосланъ, а онъ самъ—безпремѣнно мой сынъ!“—Врешь, говорю, хвастаешься! за „покушеніе“ ты сосланъ— понимаешь! Покушался ты только мерзость сдѣлать, а въ исполненіе не привелъ!.. Такъ онъ даже въ азартъ вошелъ! Вертитъ это перстнемъ у меня передъ глазами: „это, говоритъ, что! развѣ за „покушенія“ такіе перстни дарятъ!“ Посмотрѣлъ я на перстень—хорошъ!—Хорошъ, говорю, перстенецъ, а, все-таки, никакого другого чина, кромѣ прохвоста, обѣщать тебѣ не могу! Съ тѣмъ онъ отъ меня и ушелъ... Такъ вотъ оно что значитъ отечество-то! Даже мажордомъ восчувствовалъ! „Рассеѣ, говоритъ, послужить хочу!“

И все опять запрыгало, завертѣлось. Дамы щиплютъ корпію и танцуютъ. Мужчины взываютъ о побѣдѣ и одолѣніи, душатъ шампанское и устраиваютъ въ честь ополченія пикники и *déjeuners dansans*. Откупщикъ жерт-



вуетъ чарку за чаркой. Бородатые ратники, въ собственныхъ рваныхъ полубубкахъ, въ ожиданіи новыхъ казенныхъ, толпами ходятъ по улицамъ и поютъ пѣсни. Все перепуталось, все смѣшалось въ одинъ общій густой гвалтъ.

И какъ-то отчетисто, рѣзко выдѣляется изъ этого гвалта голосъ Удодова, возглашающій:

— Держится голубчикъ-то нашъ! Не сдается! Нахимовъ! Лазаревъ! Тотлебенъ! Герои! Урра!

Наконецъ ополченіе, окончательно сформированное, двинулось. Я впрочемъ былъ уже въ это время въ Петербургѣ, и потому не могъ быть личнымъ свидѣтелемъ развязки великой ополченской драмы. Я узналъ объ этой развязкѣ изъ письма Погудина.

„Наша ополченская драма—писалъ онъ мнѣ—разрѣшилась вчера самымъ неожиданнымъ образомъ. Удодовъ исчезъ, т. е. уѣхалъ ночью въ Петербургъ, чтобы не возвращаться сюда. Оказывается, что уже двѣ недѣли тому назадъ у него былъ въ карманѣ отпускъ. Все это едѣлалось такъ внезапно, что самыя приближенные къ Удодову лица ничего не знали. Вечеромъ у него собралось два-три человѣка изъ „преданныхъ“, играли въ карты, ужинали. Въ полночь онъ послалъ за лошадьми, говоря, что ѣдетъ на сутки на ревизію. И только уже садясь въ возокъ сказалъ провожавшимъ его гостямъ: „господа, не поминайте лихомъ! въ Петербургъ удираю!“ Набрюшниковъ такъ и остался при малой мздѣ, которая ему была выдана изъ задаточныхъ денегъ. Однако онъ рѣшился не оставлять этого дѣла, и сегодня же посылаетъ просьбу о разрѣшеніи и ему отпуска въ Петербургъ. Надѣется, хоть на половину суммы Удодова усовѣститъ. Усовѣститъ ли?“

## XVII.—Привѣтъ.

Мы мчались на всѣхъ паряхъ по направленію изъ Кёнигсберга въ Вержболово. Вотъ Вёллау, вотъ Инстербургъ, вотъ Гумбиненъ... скоро, теперь скоро! Сердце робѣло, какъ-бы припоминая старую привычку болѣть: саднящая тревога распространялась по всему организму, глаза закрывались, словно боясь встрѣтиться съ неожиданностью.

Собственно говоря, впереди не было ничего ни неизвѣстнаго, ни неожиданнаго—напротивъ! Но сложилась на свѣтѣ какая-то особаго рода извѣстность, которую, какъ ни вертись, нельзя назвать иначе, какъ извѣстностью неизвѣстностей. Чтò проку въ томъ, что впереди все до послѣдней нитки извѣстно, если въ чревѣ этой извѣстности нельзя найти ничего другого, кромѣ пословицы: извѣстно, что всѣ мы подъ Богомъ ходимъ. Ахъ! это — самая безсовѣстная, самая унижительная пословица! Смыслъ ея горчѣе всякой горькой несправедливости, жесточе самой жестокой кары!

Нехорошо жить тому, кто не можетъ даже опредѣлить для себя, виноватъ онъ или невиноватъ; не имѣетъ руководящей нити, чтобы угадать,

что его ждетъ впереди — награда или кара. Посреди этой смуты представленій настоящего и будущаго, конечно, самое разумное — это довести свой пекъ къ жизни до минимума, т. е. сказать себѣ: удобнѣе всего быть ни виноватымъ, ни невиноватымъ, не заслуживать ни кары, ни награды; я, дескать, самъ по себѣ, я ничего не требую, ничего не ищу и претендую только на то, что имѣю право жить. Согласитесь, что это немного. Но тутъ-то именно изнуренное прирожденнымъ плѣномъ воображеніе и отыскиваетъ всякаго рода загвоздки. Во-первыхъ, что это за чинъ такой: „самъ по себѣ“? во-вторыхъ, какое такое „право жить“? Право существовать, то-есть? право ходить по стрункѣ? право жить въ той мѣрѣ...

Мнѣ было стыдно. Я смотрѣлъ на долину Прегеля и весь горѣлъ. Не страшно было, а именно стыдно. Меня охватывала безпредметная тоска, желаніе метаться, биться головой объ стѣну. Что-то въ родѣ безсильной злобы раба, который всю жизнь плясалъ и пѣлъ пѣсни, и вдругъ, въ одну минуту, всеѣмъ существомъ своимъ понялъ, что онъ весь, съ ногъ до головы — рабъ.

Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишкомъ долгое время чувствовалъ себя чужимъ среди чужихъ, и потому отвыкъ болѣть. Но намъ это необходимо, намъ нужна ноющая сердечная боль, и покамѣстъ это все-таки — лучшій (самый честный) *modus vivendi* изъ всѣхъ, которые предлагаетъ намъ дѣйствительность.

Но истинный рабъ имѣетъ впечатлительность скоропреходящую; потому-то именно онъ и рабъ, что не можетъ сосредоточить свою мысль ни въ какомъ ощущеніи. Вспышки совѣсти въ немъ часты, но минутны. Блужданіе между нравственною анеміей и безпорядочнымъ раскаяніемъ — вотъ единственная форма, въ которой воплощаются тѣ проблески общечеловѣческихъ основъ, которые безсильна заглушить даже безпощадная рабская дисциплина. И чѣмъ сильнѣе вспышки самосознанія, тѣмъ рѣзче слѣдующій за ними общій упадокъ силъ. Даже раскаяніе, эта податливѣйшая изъ всѣхъ формъ внутренняго человѣческаго самосуда, слишкомъ тяжеловѣсно, чтобы плечи раба могли выносить его бремя.

Рабъ не перестаетъ быть рабомъ даже въ тѣ минуты, когда у него болитъ сердце. Охваченный бунтующею совѣстью, онъ умиротворяетъ ее не дѣйствительнымъ удовлетвореніемъ ея законныхъ требованій, а тѣмъ, что старается обойти, замять, позабыть. Онъ изобрѣтателенъ на всякія уловки — это одна изъ прерогативъ его званія — и потому безъ труда отыскиваетъ противовѣсъ пробудившемуся сознанію въ готовыхъ представленіяхъ о неизбѣжности и коловратности. И вотъ, крики боли начинаютъ мало-по-малу стихать, и недавній вопль: „унизительно, стыдно, больно!“ смѣняется другимъ: „лучше не думать!“ Затѣмъ человѣкъ уже дѣлается разсудительнымъ; въ умѣ его постепенно образуется представленіе о неизбѣжномъ рокѣ, о гнетущей силѣ обстоятельствъ, противъ которой бесполезно или, по малой мѣрѣ, рискованно прать, и наконецъ, какъ достойное завершеніе всѣхъ этихъ недостойностей, является краткій, но имѣющій рѣшающую силу афоризмъ: „надо же жить!“

Да, надо жить! Надо нести иго жизни съ осторожностью, благоразуміемъ



и даже стойкостью. Рабъ — дипломатъ по необходимости; онъ долженъ какъ можно чаще повторять себѣ: „жить! жить надо!“ потому что въ этихъ словахъ заключается отпущеніе его совѣсти, потому что въ нихъ утопаютъ всевозможныя жизненныя программы, начиная свободой и кончая рабствомъ.

Мало-по-малу мой стыдъ пропалъ, и его мѣсто заняло смутное желаніе „увидѣть вновь“. Я не объяснилъ себѣ, чтѣ предстоитъ увидѣть; я именно твердилъ только эти слова: „увидѣть вновь“. А такъ какъ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что я „увиджу вновь“ непременно и не дальше, какъ вслѣдъ за симъ, то мысли мои невольно начали принимать направленіе дѣловое, реальное, которое не мало помогло окончательному умиротворенію потугъ стыда. Я началъ вслушиваться, всматриваться и мало-по-малу исполнѣ допустить завладѣть собою мелочамъ обыденной, чередовой жизни.

Насъ сидѣло въ купѣ четыре человѣка, все русскіе. Мы выѣхали изъ Берлина наканунѣ, въ восемь часовъ вечера, но по русскому обычаю разсѣлись по угламъ, помолчали и наконецъ заснули, какъ кто могъ. Только утромъ товарищи мои начали вглядываться другъ въ друга и испускать какіе-то предварительные звуки, которые обнаруживаютъ поползновеніе вступить въ разговоръ. Но въ Кенигсбергѣ, за завтракомъ, общественное положеніе моихъ спутниковъ выяснилось вполне. Всѣ трое были представителями русской культурности: одинъ, Василій Ивановичъ, ѣхалъ изъ Парижа; другой, Павелъ Матвѣичъ — изъ Ниццы; третій, Сергѣй Ѳеодорычъ — изъ Баденъ-Бадена, въ соотвѣтствующіе города: Навозный, Соломенный и Непросыхающій. Всѣ трое были женаты; жены ихъ провели ночь вмѣстѣ, въ особомъ вагонѣ для некурящихъ, и довольно близко между собою познакомились. И немудрено: у нихъ былъ общій и очень существенный интересъ. У каждой было по нѣскольку кусковъ матерій, которые надлежало утаить отъ таможеннаго надзора, а это, какъ извѣстно, составляетъ предметъ неистощимѣйшихъ разговоровъ для всякой свободо-мыслящей русской дамы, которая, пользуясь всѣми правами культурнаго срамословія, потому только не мнитъ себя кокеткою, что освобождается отъ взятія желтаго билета. За кофеемъ послѣдовало взаимное представленіе мужей, а когда поѣздъ тронулся, то знакомство уже стояло на прочномъ основаніи, и между новыми пріятелями безъ задержки полилась вольная русская рѣчь.

Покуда мнѣ было стыдно, я не обращалъ вниманія на происходившій около меня разговоръ; теперь, когда стыдъ мой прошелъ, я, какъ уже сказано выше, началъ вслушиваться. Спутники мои, за исключеніемъ Сергѣя Ѳеодорыча, были очевидно истыми представителями и ревнителями интересовъ русской культурности, изъ числа тѣхъ, которые понимали времена, когда еще существовали культурные люди, „не позволявшіе себѣ на ногу наступить“. Теперь, когда наступаніе на ноги, за всесловнымъ его распространеніемъ, приобрѣло уже до такой степени обычный характеръ, что никого не заставляетъ даже краснѣть, домашнее дѣло этихъ господъ, т. е. защита интересовъ культурности, до такой степени упростилось, что они увидѣли передъ собою пропасть празднаго времени, которое и рѣшились наполнить безцѣльнымъ шатаніемъ по безчисленнымъ заграничнымъ *stations de santé*, гдѣ праздность находить для себя хоть то оправданіе, что доставляетъ занятіе

и хлѣбъ безконечному сонмищу коммиссіонеровъ, пактрэгеровъ и динстмановъ. И Василій Иванычъ, и Павелъ Матвѣичъ были люди вполне утробистые, съ тою однакожъ разницею, что у перваго животъ расплывался вширь, въ видѣ обширнаго четырехугольника, приподнимавшагося только при очень обильномъ насыщеніи; у втораго же животъ былъ собранъ клубкомъ, такъ что со стороны можно было подумать, что у него въ штанахъ спрятана бомба. Василій Иванычъ выглядѣлъ джентльменомъ: одѣтъ былъ щеголевато, лицо имѣлъ чистое, матовое, доказывавшее, что періодическое омовеніе уже вошло въ его привычки; напротивъ того, Павелъ Матвѣичъ глядѣлъ замарашкой: одѣтъ былъ неряшливо, въ бѣлѣхъ рыжеватаго цвѣта, лицо имѣлъ пористое, покрытое противною маслянистою слизью, какъ у человѣка, который нѣсколько сутокъ сряду спалъ лежа въ тарантасѣ, на протухлой подушкѣ. Василій Иванычъ обнаруживалъ нѣкоторое знакомство съ европейскими манерами, т. е. говорилъ резонно и свободно, дышалъ ровно и совсѣмъ не курилъ; напротивъ, Павелъ Матвѣичъ говорилъ отрывисто, почти-что мычалъ, не дышалъ, а сопѣлъ и фыркалъ, курилъ вонючія папиросы, одну за другою, и при этомъ какъ-то неистово захлебывался. Чтò же касается до Сергѣя Ѳеодорыча, то это былъ малый низенькій, вертлявый и поджарый, чтò прямо обнаруживало, что прикосновенность его къ культурности очень недавняя и притомъ сомнительная. Очевидно, онъ былъ когда-то исправникомъ или становымъ, и лишь въ послѣднее время, за общимъ запустѣніемъ, очутился представителемъ интересовъ культурности. Даже фамилія у него была совсѣмъ некультурная—Курицынъ, тогда какъ Василій Иванычъ былъ Спальниковъ, а Павелъ Матвѣичъ—Постельниковъ.

— А вѣдь это было когда-то все наше!—говорилъ Василій Иванычъ указывая рукой на долину Прегеля.

Павелъ Матвѣичъ устремилъ въ окно непонятливый взоръ, какъ будто хотѣлъ что-то разглядѣть сквозь туманъ, хотя въ дѣйствительности никакого тумана не было, кромѣ того, которымъ сама природа застилала его глаза.

— Когда же?—заѣрзаль на мѣстѣ господинъ Курицынъ.

— Да ужъ тамъ когда бы то ни было, хоть при царѣ Горохѣ, а все наше было. И это, и дальше все. Отцы наши тутъ жили, мощи нашихъ угодниковъ почивали. Кёнигсбергъ-то Королевцемъ назывался, а это ужъ послѣ нѣмцы его въ Кёнигсбергъ перекрестили.

Павелъ Матвѣичъ зѣвнулъ и произнесъ:

— Пушай ихъ! у насъ и своихъ болотъ дѣвать некуда!

— Однакожъ!—возразилъ Василій Иванычъ:—довольно не довольно, а все-таки своего всякому жалко.

— Да неужто это правда?—встревожился Сергѣй Ѳеодорычъ.

— Вѣрно говорю: все наше было. Самъ покойный Михайло Петровичъ мнѣ сказывалъ: поѣдешь, говорить, за границу, не забудь Королевцу поклониться: нашъ, братецъ, былъ! И Данцигъ былъ нашъ—Гданскомъ назывался, и Лейпцигъ—Липовецъ, и Дрезденъ—Дрозды, все наше! И Поморье все было наше, а теперь нѣмцы Помераніей называютъ. Больно, говорить. Да чтò тутъ еще толковать!—и по сейчасъ одинъ рукавъ Мемеля Русью зовется,



и мѣстечко при устьѣ его — тоже Русь! — Вотъ она гдѣ, наша Русь православная была!

— Странно! какъ же мы это такъ... оплошали!

— Объ томъ-то я и говорю, что сротозѣйничали. Не будь этого... ишь-ишь-ишь! — сколько аистовъ по полямъ бредеть!

Павель Матвѣичъ взглянулъ въ окно, но только почесалъ носъ.

— Все бы наше было, и аисты наши были бы!

— Не корыстная птица, — замѣтилъ Павелъ Матвѣичъ: — я слышалъ, мышами питается.

— Чтѣжь, гадовъ выводить — и за то спасибо! Вотъ у насъ этой птицы нѣтъ, оттого и гаду много! Какъ переѣхалъ за Эйдкунень — ау, аисты! Ворона пошла.

— Въ одномъ мѣстѣ аисты, въ другомъ — ворона, гдѣ чему водъ!

— Да, вотъ здѣсь крыши черепицей кроютъ, а у насъ — соломой!

— Соломой-то проще! да вѣдь и то сказать: у другого крыша хоть и соломенная, да за то подъ крышею...

— По-одъ кры-ы-шею! — зѣвнулъ во весь ротъ Павелъ Матвѣичъ: — фу-ты, разоспался! Отъ самаго отъ Берлина въ себя придти не могу! Вы откудова ѣдете!

— Мы — изъ Парижа. Каждый годъ ѣздимъ, поживемъ, закупки сдѣлаемъ — и домой!

— А я изъ Ниццы. Море...

— Я цѣлую зиму въ Бадень-Бадень прожилъ, — отозвался и Сергѣй Ѳеодорычъ: — всемъ хорошо, только праздникъ Христовъ тяжело на чужой сторонѣ встрѣчать!

— Па-а-сха! — опять зѣвнулъ Павелъ Матвѣичъ.

— Да, побыли, погуляли. а теперь вотъ домой ѣдемъ, дѣломъ займемся, оброки соберемъ. А зимой, ежели захочемъ — и опять за границу! — разсудилъ Василій Ивановичъ.

— Хорошо-хорошо за границей, а дома лучше.

— Дома — чего лучше!

— Пасха пресвята-а-я! — затянулъ Павелъ Матвѣичъ.

Всѣ трое на минуту смолкли. Павелъ Матвѣичъ повернулся бокомъ къ окну и смотрѣлъ непонятливыми глазами вдаль; остальные двое покачивались.

— Дома — святое дѣло! — началъ наконецъ Василій Ивановичъ: — это такъ только говорятъ, что за границей хорошо, а какъ же можно сравнить? Вотъ хоть бы насчетъ ѣды; у насъ ли ѣда, или за границей?

— Вотъ именно это я всегда и женѣ говорилъ! Помилуй, говорю, у насъ ли ѣда, или въ этой Ниццѣ проклятой! — съ какою-то жадностью воскликнулъ Павелъ Матвѣичъ. Онъ весь оживился и даже непонятливые его глаза какъ будто блеснули.

— Миѣ, — доложилъ въ свою очередь Сергѣй Ѳеодорычъ: — какъ я за границу отправлялся, губернаторъ говорилъ: „счастливцевъ ты, Сергѣй Ѳеодорычъ, будешь тюрдѣ вѣсть!“ А я ему: это еще, говорю, ваше превосходительство, бабушка на-двое сказала, кто счастливѣе: тотъ-ли, который тюрдѣ бу-

детъ ѣсть, или тотъ, у кого подъ руками и осетринка, и стерлядка, и севрюжка—словомъ, все.

— Да, надъ этимъ еще задумаешься! — отозвался Павелъ Матвѣичъ и утеръ ладонью носъ.

— Съ однимъ тюрбѣ —хотьонъ растюрбѣ будь —далеко тоже не уѣдешь! —согласился и Василій Ивановичъ!

— Вотъ въ Ниццѣ и много рыбы, да чорта ли въ ней!

— То-ли дѣло наша стерлядь!

— Одна ли стерлядь! вы возьмите: судакъ! вѣдь это — какая рыба! куда хотите, туда и поверните! и а ля-рюссь, и съ провансаломъ, и съ кисленькимъ соусомъ—всяко!

— А молодые судачки—на жаркое!

— Вотъ это—такъ рыба! настоящая рыба!

— Осетрина, бѣлужина, севрюжка, бѣлорыбица, сазанъ, налимы!

— А лещъ-то! лещъ: тѣшку леща зажарить да съ кашей!

— Ну, я вамъ скажу, ежели линия тоже приготовить! хоть и невидная, деревенская это рыба, а ежели подъ краснымъ соусомъ приготовить, да лучку подпустить!

— А про лососину-то и забыли!

— Ну, лососина пожалуй и у нихъ есть. У насъ въ Бадень-Бадень...

— Чтѣ въ Бадень-Бадень! Бываль я въ Бадень-Бадень! форель — только и свѣту въ окнѣ! Ну, еще лососина, пожалуй... кусочекъ съ горошину подадутъ... Нѣтъ, вы про сига нашего вспомните! нѣтъ нашего сига! нигдѣ нашего сига нѣтъ!

— Какого тутъ сига искать! щуку ѣдятъ, назовутъ „брошѣ“ — и ѣдятъ!

— А у меня щуку люди не стануть ѣсть. При крѣпостномъ правѣ ѣли, а теперь—баста! Попы—тѣ и сейчасъ щукъ ѣдятъ.

— Тюрбѣ да тюрбѣ! а его только и можно ѣсть, что подъ бѣлымъ соусомъ!

Дойдя до такого почти безнадежнаго результата, спутники мои чувствуютъ однако, что зашли слишкомъ далеко. Поэтому въ мнѣніяхъ ихъ происходитъ минутная реакція, выразителемъ которой, къ удивленію, является Павелъ Матвѣичъ.

— Ну, положимъ, и не одно тюрбѣ!—говоритъ онъ, не безъ хитрости подмигивая однимъ глазомъ:—вспомните-ка!

— Конечно, не одно тюрбѣ,—уступаетъ и Василій Ивановичъ:—ежели все-то вспомнить, такъ и у нихъ рыба есть—какъ рыбѣ не быть!

— Также народъ живетъ—пить-ѣсть надо!—присовокупляетъ Сергѣй Оедорычъ.

— Соль, барбю—это вѣдь въ своемъ родѣ...

— Соусы-съ!

— Соусы — это вѣрно, что соусы! Я и сколько разъ гарсону въ кафѣ Ришъ говорилъ: что ты меня, Филиппъ, все соусомъ-то кормишь! Съ соусомъ-то я тебѣ перчатки свои скормлю! а ты настоящее дѣло подавай!



Это замѣчаніе опять настраиваетъ мысли на патріотическій ладъ.

— Соусъ? что такое соусъ? Есть ли это настоящая пища, или только такъ, какое-то мнимое, не достигшее преосуществленія антремэ.

— Ъль я ихъ пресловутую буйль-абессъ, — говоритъ таинственно Павелъ Матвѣичъ: — это у нихъ вмѣсто нашей ухи!

— Ну ужъ! куда ужъ!

— У насъ уху-то подадутъ — а?! Со стерлядью да съ налимьими печенками... зо-ло-та-а-я! Да растегаи къ ней...

— Что ужъ!

— У меня коли уху готовить: сперва изъ мелкихъ стерлядей бульонъ сдѣлаютъ, да луку головку туда бросятъ, потомъ сквозъ чистое полотенце процѣдятъ, да въ этомъ-то бульонѣ ужъ и варятъ настоящую стерлядь! Такъ она такъ на зубахъ и брызжетъ!

— Что ужъ!

— А то буйль-абессъ! А они даже и ее только по праздникамъ ѣдятъ — диковина!

— И опять-таки: буйль-абессъ эта — совсѣмъ не уха, а соусъ!

— Все соусы! за что ни возьмись — все соусъ!

— За то они въ соусахъ — мастера! то-есть, впрочемъ, французы только... Мастера, бестин, соусы приготавливать!

— Еще бы! сѹбизъ, морнѣ, беарнезъ, борделезъ... пальчики оближешь!

— Хитеръ народъ! настоящей провизіи нѣтъ, такъ на соусахъ выѣзжаютъ!

— Настоящей провизіей только у насъ, въ матушкѣ Россіи, и можно разжиться!

— Только у насъ — это вѣрно! Насчетъ чего другого, а насчетъ провизіи къ намъ пріѣзжай!

Всѣ трое затихаютъ и погружаются въ себя, словно отыскивая въ тайникахъ души какую-нибудь новую провизію для сравненія. Надо впрочемъ сказать, что Сергій Ѳеодорычъ вообще принималъ довольно ограниченное участіе въ этомъ разговорѣ. Какъ человѣкъ новый, въ нѣкоторомъ родѣ мѣщанинъ въ дворянствѣ, онъ, во-первыхъ, опасался компрометировать себя какимъ-нибудь слишкомъ простымъ кушаньемъ, а во-вторыхъ, находилъ, что ему предстоитъ единственный въ своемъ родѣ случай поучиться у настоящихъ культурныхъ людей, чтобы потомъ, по пріѣздѣ въ Непросыхающій, сдѣлать соответствующія примѣненія, которыя доказали бы его знакомство съ послѣдними результатами европейской культуры.

— Сравните теперь нашего цыпленка съ ихнимъ пулѣ! — начинаетъ Павелъ Матвѣичъ.

— Велика Ѳеодора, да дура! — отзывается Василій Ивановичъ.

— Нашъ ли цыпленокъ, или ихній? Нашъ цыпленокъ — робѣнокъ! его съ косточками, съ головой, со всѣмъ проглотить можно! У него и жиръ-то робячій! Запонируютъ это въ сухарикахъ, да въ сливочномъ маслѣ заколе-рують — такъ это что!

Опять легкая пауза, въ продолженіе которой всѣ трое сопятъ.

— У насъ цыпленка гречневой кашей, да творогомъ, да бѣлымъ хлѣбомъ, да яйцомъ кормятъ—ну, онъ и цыпленокъ! А у нихъ чѣмъ кормятъ? Былъ я въ жардѣнъ да климатасьонъ—тамъ за деньги кормленіе-то это показываютъ—срамъ смотрѣть!

— Однако и у нихъ бываютъ... жирные бываютъ пулѣ!

— Еще бы не жирные! будешь жиренъ, какъ стервятиной да дохлятиной кормить будутъ! Да и вообще... развѣ это цыпленокъ! Подадутъ дылду на столъ, двоимъ врядъ убрать, и говорятъ: пулѣ!

— Пулярка—это правильнѣе.

— Коли пулярка, такъ и говори, что пулярка, а пулѣ, молъ, пожалуйста въ Россію кушать. Да опять и пулярка: наша ли пулярка, или парижская—объ нѣмецкихъ ужъ и не говорю! Наша пулярка, хоть небольшая, да нѣжная, тонкая, аромать у ней есть! а тамошняя пулярка—большая да прѣсная—чорта ли въ ней, въ этой прѣснати! Только говорятъ: савѣръ да савѣръ! а савѣру-то именно и нѣтъ!

— Ну, положимъ, пулярки у нихъ все-таки еще бываютъ! а вотъ вы мнѣ что скажите: гдѣ у нихъ наша дичь?

При этомъ вопросѣ собесѣдники сначала изумленно переглядываются, потомъ безнадежно махаютъ руками.

— Нашъ рябчикъ, нашъ тетеревъ, нашъ дупель—гдѣ они?

— Утица наша... да кряковная!—неосторожно вмѣшиваясь Сергѣй Ѳеодорычъ и тотчасъ же стыдливо потупляетъ глаза.

По холодному блеску глазъ, которыми взглянулъ на него Василій Ивановичъ, онъ убѣждается, что сдѣлалъ какой-то nepзволительный промахъ. Утица, да еще кряковная... что такое утица? Филѣ де-каннетонъ—еще пожалуй! это, быть можетъ, даже на дѣло похоже! Кряковная! Даже Павелъ Матвѣичъ, и тотъ какъ-то добродушно сконфузился при этомъ напоминаніи.

— Тетерева-то, коли въ кастрюлькѣ да на чухонскомъ маслѣ зажарить, —спѣшить Павелъ Матвѣичъ перемѣнить разговоръ:—да подрумянить... да чтобы онъ въ кастрюлькѣ-то хорошенько вздохнулъ... вѣдь это—что-жъ!

— Да коли онъ не лежалый, да аромать этотъ въ немъ... вѣдь это—что!

— А рябчика-то на вертелѣ... да перчикомъ, да перчикомъ... бочка-то, бочка!

— У насъ тетеревъ, рябчикъ, дупель, вальдшнепъ, куропатка, а у нихъ—кайлъ да кайлъ!

— А по нашему кайлъ-то—перепелка!

— У насъ дроздъ, а по ихнему—гривъ. Думаешь, и Богъ знаетъ что подають—анъ дроздъ простой!

— Ну, есть у нихъ и пердрѣ. Это вѣдь тоже недурно, особливо коли ежели...

— А вы попробуйте-ка каждый день зарядить пердрѣ да пердрѣ, такъ оно у васъ, батюшка, въ горлѣ застрянетъ! Нѣтъ, у насъ—какъ можно! сегодня рябчикъ, завтра тетеревъ, послѣ-завтра пожалуй пердрѣ... Господи, а поросенокъ! объ поросеночкѣ-то и позабыли!



И всё вдруг засмѣялись, но такъ любовно, какъ будто блуднаго сына обрѣли.

— Поросенка за границей днемъ съ огнемъ не отыщешь!—съ знаніемъ дѣла заявилъ Сергѣй Ѳедорычъ.

— Имъ поросенокъ невыгоденъ. Я не одинъ разъ у Филиппа спрашивалъ: отчего у васъ, Филиппъ, поросенка не подаютъ? „А оттого, говоритъ, что для насъ поросенокъ невыгоденъ; мы его затѣмъ воспитываемъ, чтобъ изъ него свинья или боровъ вышелъ—тогда и бьемъ!“

— А того не понимаетъ, что свинья—сама по себѣ, а поросенокъ — самъ по себѣ.

— Поросеночка да молочненькаго, да ежели съ недѣлю еще сливочками подкормить... Это—что же такое!

— Кожица-то у него, ежели онъ жареный... заслушаешься, какъ она на зубахъ-то хруститъ!

— А я, признаться, больше люблю варенаго... да тепленькаго, да чтобъ сметанки съ хрѣнкомъ...

— Въ англійскомъ клубѣ, въ Москвѣ, въ прежнія времена поваръ былъ... ахъ, хорошо, бестія, поросятъ подавать умѣлъ!

Опять пауза; всё трое смотрятъ въ землю, словно подавленные воспоминаніями. Наконецъ Павелъ Матвѣичъ восклицаетъ:

— Ахъ, заграница! заграница!

Я думалъ, что этимъ восклицаніемъ кулинарныя воспоминанія исчерпаются; но, видно, много накипѣло въ душѣ у этихъ людей, и это многое уже не могло держаться подъ спудомъ въ виду скораго свиданія съ родиной.

— Баранина у нихъ—вотъ это такъ! А что касается до говядины, до телятины—все у насъ лучше!

— Крысы у нихъ хороши въ Парижѣ; во время осады, говорятъ, все крысами питались.

— Ну, я, кажется, озолоти меня—не стану крысу ѣсть.

— Однако! смотря потому...

— Съ голода лопну, а не стану!

— А французъ ѣсть; соусемъ приправить, перчикомъ сдобрить и ѣсть. Можетъ, и мы когда-нибудь въ Парижѣ кошку за лапена съѣли.

— И съѣли.

— Вотъ оно что соусъ-то значить!

— Велико дѣло—соусъ!

— У насъ этихъ соусовъ нѣтъ, потому что наша ѣда—настоящая.

— Какъ же возможно! наша ли ѣда, или заграничная!

Всѣ трое разомъ зѣвнули и потянулись: знакъ, что сюжетъ начиналъ истощаться, хотя еще ни однимъ словомъ не было упомянуто объ ветчинѣ. Меня они повидимому совѣмъ не принимали въ соображеніе: или имъ все равно было, есть ли въ вагонѣ посторонній человѣкъ или нѣтъ, или же они принимали меня за иностранца, не понимающаго русскаго языка. Сергѣй Ѳедорычъ высунулся изъ окна и съ минуту вглядывался впередъ.

— Что? видно?—спросилъ его Василій Ивановичъ.

— Богъ знаетъ!—видно что-то, да не разберу!

— Да, мудрена Россія-матушка! не скоро ее разберешь!

Павелъ Матвѣичъ только махнулъ рукой и сильнѣе прежняго затянулся папиросой.

— И прежде трудно было, — сказалъ онъ: — а теперь, какъ вездѣ наслѣдили слѣдовъ, пожалуй, и совѣмъ не разберешь! Вездѣ для тебя дорога написана и нигдѣ тебѣ дороги нѣтъ!

— Именно. У меня, въ Навозномъ, дѣло завелось; самъ-то я за границу уѣхалъ, такъ ходоку поручилъ — представьте! писать, что четвертый мѣсяцъ начальства ищеть, не можетъ найти!

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Исправникъ нынче никакихъ дѣлъ не принимаетъ, а мировые — одинъ въ отставку вышелъ, другой по болѣзни, не править, а третій по уѣзду ѣздить, поймать нигдѣ нельзя. Нѣтъ начальства — хоть волкомъ вой!

— А вотъ французы, у нихъ начальства даже по закону не положено, а живутъ!

— Спросили бы вы, какъ живутъ-то! тоже вѣдь какъ и мы, грѣшные, горе мыкаютъ! Голоштанники да республиканцы — тѣ, конечно, рады! а хорошихъ людей спросите — ой-ой, какъ морщатся!

— Какъ можно безъ начальства! безъ начальства — матъ!

— И хоть бы свобода была! Республика да республика, а посмотришь да поглядишь — право, у насъ свободнѣе!

— Какъ же возможно! у насъ — просторъ!

— У насъ коли ты сидишь смирно, да ничего не дѣлаешь, такъ никто тебя не тронетъ — Христосъ съ тобой, хоть два вѣка смирно сиди!

— А захотѣлъ разговаривать — такъ не прогнѣвайся!

— И дѣльно — потому молчи!

— Насмотрѣлся-таки я на ихнюю свободу: и въ ресторанахъ побывалъ, и въ театрахъ вездѣ былъ, даже въ палату депутатовъ однажды пробрался — никакой свободы нѣтъ! Въ ресторанъ, коли ты до пяти часовъ пришелъ, ни за чтѣ тебѣ обѣдать не подадутъ! послѣ восьми — тоже! Обѣдай между пятью и восемью! Въ театръ взялъ билетъ — такъ ужъ не прогнѣвайся! ни шевельнуться, ни ноги протянуть — сиди какъ приговоренный! Во время представленія — жара, въ антрактахъ — сквозной вѣтеръ. Свобода!

— Да, посидишь въ тискахъ — запросишь простору! А впрочемъ, правду надо сказать: бестіи эти французенки, можно для нихъ и въ тискахъ посидѣть! Насчетъ это лямурѣ или ляшозу...

— Какъ вамъ сказать! вѣдь и насчетъ лямурѣ онѣ больше у насъ появляются. Знаютъ, что денегъ у русскихъ много — ну, и откалываютъ. А въ Парижѣ и половины тѣхъ штукъ не выдѣлываютъ, чтѣ у насъ.

— Говорятъ, Макъ-Магонша лямурѣ не любитъ.

— Да, и она. Много она для Франціи полезнаго сдѣлала, а частичка тоже и вреда есть. Главное дѣло — иностранцевъ отъ Парижа отвадила. Возьмемъ хоть бы насъ, русскихъ: кабы настоящимъ-то манеромъ, какъ при Евгеніи, лямурѣ выдѣлывали, да насъ бы, кажется, и не отодрать оттолѣ!

— Кричатъ: республика! а свободы не даютъ!



— Скажите однакожь: я слышалъ, что картинки такія въ Парижѣ продаются... интересныя, будто бы, картинки пріобрѣсти можно?

— Это для стереоскопа, что-ли? Я цѣлую охапку съ собой захватилъ!

— Интересны?

— Отдай все да и мало!

— Тсс...

— Да у нихъ еще то-ли есть! Въ модныхъ магазинахъ показываютъ, какъ барыни платья примѣриваютъ! Пріѣдетъ-это дама — и все изъ большого свѣта! — раздѣнется декольтѣ, а изъ сосѣдней комнаты кавалеръ на нее сквозь щелочку и смотритъ.

— Ишь ты! а она, сердешная, и не знаетъ?

— Иныя и знаютъ, нарочно знакомиться съ кавалерами пріѣзжаютъ. Повертывается она декольтѣ передъ зеркаломъ, а изъ засады — кавалеръ: же лоннѣръ... Большіе сѣзды бываютъ.

— И наши, чай, барыньки?..

— Чего ужъ!

Каждый смотритъ на каждаго вопрошающимъ взглядомъ, словно хочеть сказать: а что, братъ, ужъ не твоя ли?

— Ахъ, дамочки наши! дамочки! — вздыхаетъ Сергій Оедорычъ.

— Такъ вы и въ палатѣ депутатовъ побывали? — любопытствуетъ Павелъ Матвѣичъ.

— Былъ, въ самый разъ попалъ, амнистію обсуждали. Галдятъ, а толку нѣтъ. Знаютъ, что придетъ Наполеонъ и всѣмъ имъ одно рѣшеніе выйдетъ — въ Кайенну ушлютъ.

— Вотъ и этого у насъ нѣтъ!

— Зачѣмъ намъ! У насъ, коли ты сидишь смирно, да ничего не дѣлаешь — живи! У насъ все чередомъ дѣлается. Вотъ, пріѣдемъ въ Вержболово — тамъ насъ разсортируютъ, да всѣхъ по своимъ мѣстамъ и распредѣлятъ.

— Турки-то! турки-то! тоже конституціи запросили! ахъ, прахъ ихъ побери?

— Смѣхота!

— То-то оно и есть! даже у турокъ взбѣленились, а у насъ — покой!

— Намъ конституціевъ не надо! Мы и безъ нихъ проживемъ! Разъѣдемся теперь по деревнямъ, аммуницію долой — покой!

Всѣ трое заговорили разомъ: „У насъ какъ возможно! У насъ — тишина! покой! какихъ еще тамъ конституціевъ! долой аммуницію — чего лучше!“ Гулъ стоялъ въ отдѣленіи вагона отъ восклицаній, лишенныхъ подлежащаго, сказуемаго и связки.

— Нѣтъ, вы только сообразите, сколько у нихъ, у этихъ французовъ, изъ-за пустяковъ времени пропадаетъ! — горячился Василій Ивановичъ: — ему надо землю пахать, а его въ окрѣгу гонять: ступай, говорятъ, голоса подавать надо! Смотришь, анъ полоса-то такъ и осталась непаханная!

— И ништо имъ! пушай безъ хлѣба сидятъ!

— За то у насъ мужичка никто ужъ не тронетъ: паши себѣ да паши!

— Развѣ съ подводой выгонять—такъ вѣдь безъ этого тоже нельзя!

— Подвода—дѣло! а у нихъ чтѣ!

— Ахъ, французы! французы! жаль ихъ! дѣльный народъ, а насчетъ язычка—слабеньки!

— А вы думаете, что они сами этого не чувствуютъ? не чувствуютъ, что-ли, что если Россія имъ хлѣба не дастъ, такъ имъ мать? Чувствуютъ, да еще и ахъ какъ чувствуютъ!

Опять завопили всѣ разомъ: „чувствуютъ! да еще какъ чувствуютъ! мать! именно мать!“

— А позвольте спросить,—вдругъ надумался Сергѣй Ѳеодорычъ:—вотъ вы насчетъ Турціи изволили говорить, будто тамъ конституціи требуютъ; стало быть, это дѣйствительно такъ?

— Чего вѣрнѣе, во всѣхъ газетахъ написано.

— Да! заварили турки кашу! придется матушкѣ Россіи опять ихъ уму-разуму учить!

— А позвольте еще спросить: дворяне у нихъ есть... турецкіе?

Вопросъ этотъ сначала словно ошеломилъ собесѣдниковъ, такъ что послѣдовала короткая пауза, во время которой Павелъ Матвѣичъ, чтобъ скрыть свое смущеніе, поворотился бокомъ къ окну и попробовалъ засвистать. Но Василій Ивановичъ повидимому довольно твердо помнилъ, что главная обязанность культурнаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы выходить съ честью изъ всякаго затрудненія, и потому колебался не долго.

— Какъ, чай, дворянамъ не быть,—отвѣтилъ онъ:—только документовъ у нихъ настоящихъ нѣтъ, а по ихнему—все-таки дворяне.

— Помилуйте! да у меня въ Соломенномъ и сейчасъ турецкій дворянинъ живетъ, и фамилія у него турецкая—Амурадовъ!—обрадовался Павелъ Матвѣичъ:—дѣдушку его Потемкинъ простымъ арабченкомъ вывезъ, а впоследствии сто душъ ему подарилъ, да чинъ коллежскаго ассесора выхлопоталъ. Внукъ-то, когда еще выборы были, три трехлѣтія исправникомъ по выборамъ прослужилъ, а потомъ три трехлѣтія подъ судомъ состоялъ—лихѣй!

— И бѣлый... изъ лица, то-есть?

— Немножко какъ-будто съ точечками, а впрочемъ какъ есть—русскій: и въ церковь нашу ходитъ, и ругается по-нашему.

— У насъ дворяне—жалованные, а у нихъ—такъ!—пояснилъ Василій Ивановичъ:—у нашихъ права, а у ихнихъ—правѣвъ нѣтъ!

— Сегодня онъ—дворянинъ, а завтра опять халуй!

— Завтра его подрѣжутъ, да евнохомъ въ гаремъ опредѣлятъ.

— Тсс... а чтѣ, кабы у насъ такъ?

— Вотъ еще чтѣ вздумали! У насъ этого нельзя, у насъ—законъ!

— У насъ чего лучше! у насъ ежели ты по закону живешь, никто тебя пальцемъ не тронетъ! Ну, а коли ежели не по закону—ау, братъ!

Спутники мои очевидно начинали повторяться: знакъ, что скудный запасъ разговора приближается къ концу. Всѣ отяжелѣли: Василій Ивановичъ вытянулъ руки вверхъ и съ наслажденіемъ сибарита шевелилъ лопатками:



Павель Матвѣичъ просто-на-просто завывалъ, зѣвая; одинъ Сергѣй Ѳедорычъ ѣрзалъ на мѣстѣ, но не для того, чтобъ спросить еще что-нибудь, а какъ бы ища куда-нибудь половчѣй примазаться. Еслибъ не близость Вержболова, навѣрное эти люди черезъ минуту заснули бы тѣмъ тревожнымъ, захлебывающимся сномъ, отъ котораго у русскаго культурнаго человѣка стискиваются зубы и лицо въ самое короткое время покрывается глянцовитымъ тукомъ. Однако я былъ убѣжденъ, что еще далеко не все сказано. Не можетъ быть, думалось мнѣ, что они такъ-таки и позабыли о ветчинѣ! И дѣйствительно, предчувствіе не обмануло меня: хотя и окольнымъ путемъ, но они пришли однакожъ къ ветчинѣ.

— Обѣдать, что-ли, въ Вержболовѣ будемъ? — спросилъ Павелъ Матвѣичъ.

— Сперва на страшный судъ сходимъ, а потомъ и отобѣдаемъ!

— Да, скажите пожалуйста — я вѣдь за границей-то въ первый разъ — что съ нами, собственно говоря, въ Вержболовѣ дѣлать будутъ? — интересовался Сергѣй Ѳедорычъ.

— Ничего, голову сперва снимутъ, а потомъ отпустятъ! — пошутилъ Василій Ивановичъ.

— Нѣтъ, вы серьезно... поучите! въ первый вѣдь разъ!

— А вотъ увидите. Сперва на одинъ страшный судъ поведутъ — таможенные обшарятъ; потомъ на другой страшный судъ представлятъ — жандармы пачпортъ осматривать будутъ.

— Посмотрятъ и отдадутъ?

— Ну, тамъ глядя по человѣку. Ежели человѣкъ въ книгѣ живота не записанъ — простятъ, а ежели чего паче чаянія — въ пастухи опредѣлятъ, вмѣстѣ съ Макаромъ телятъ пасти велятъ.

— Однако!

— Въ другихъ земляхъ вотъ этого нѣтъ!

— Въ другихъ земляхъ нѣтъ, а у насъ порядокъ! Я въ полгода всю Европу объѣхалъ — нигдѣ задержекъ не было; а у насъ — нельзя! Ни въѣхать, ни выѣхать у насъ безъ спросу нельзя; всѣ мы подъ сумленіемъ стоимъ: можетъ быть, злоумышленникъ!

— И дѣльно.

— Спокойнѣе. Да ежели и есть задержка — развѣ она велика? Коли я ничего не сдѣлалъ да пачпортъ у меня чистъ — да хоть до завтра его смотри! Я даже съ удовольствіемъ!

— Еще для меня спокойнѣе. Коли хорошенько пачпортъ-то у меня проэкзаменуютъ, такъ и мнѣ легче. По крайности увѣренность есть, что ни въ чемъ не замѣченъ.

— Ну, насчетъ увѣренности — это еще бабушка на-двое сказала. Начальство — оно тоже съ умомъ: иногда нарочно повадку даетъ, чтобъ ты въ увѣренности былъ, а само между тѣмъ примѣчаетъ!

— Чтожъ, и это дѣльно! будь въ страхѣ! оглядывайся! Кабы мы не оглядывались, да насъ бы...

— Вообще у насъ порядку больше. Лишняго не позволятъ, да за то и въ яму упасть не дадутъ.

— А коли по правдѣ-то говорить, такъ вѣдь это-то настоящая свобода и есть!

— Чего свободиѣе! — Просторъ у насъ одинъ какой! зима-то наша! зима-то! Велишь это тройку въ сани заложить — покатывай!

— Да колокольчикъ у коренной подъ дугой заливается, да пристяжные бубенчиками погромыхиваютъ, да кучеру пѣсни пѣть велишь... и-ахъ! и-ухъ!

— Въ цѣломъ свѣтѣ такого раздолья не найдешь!

— Опять же насчетъ провизіи! наша ли ѣда, или ихняя!

— Я и сплю и вижу, какъ въ Вержболово пріѣдемъ — сейчасъ же ветчинки кусочекъ спрошу!

— Вотъ! давеча перечисляли-перечисляли ѣду всякую, а про ветчину-то и позабыли!

— А ветчина между тѣмъ... знаете ли, ѣдалъ я ихнюю ветчину, и вестфальскую, и ліонскую, и итальянскую, всякую пробовалъ — ну, нѣтъ, противъ нашей тамбовской куда жиже!

— Помилуйте, наша ли свинья, или ихняя! наша свинья — чистая, хлѣбная, а ихняя — что! Стервятиной свинью кормятъ, да еще требуютъ, чтобъ она вкусомъ вышла! А ты сперва свинью какъ слѣдуетъ накорми, да потомъ ужъ съ нею и спрашивай!

— Трихинъ-то, трихинъ-то, чай, сколько въ ихней ветчинѣ!

— Пожалуй, что окромя трихинъ ничего другого и нѣтъ. Признаться, я все время, какъ былъ за границей, какъ отъ огня отъ ихней свинины бѣгалъ. Вотъ, стало быть, и еще одинъ предметъ продовольствія изъ реестрика исключить приходится.

— Да и предметъ-то какой!

— Чего еще! Коли безъ опасенія свинину употреблять — хоть на сто манеровъ ее приготовляй! Ветчины захотѣлось: хдшь провѣсную, хдшь копченую — любую выбирай! Свѣжая свинина по вкусу приплась — буженину заказывай, котлетки жарь, въ щи свининки кусочекъ припусти! Буженина, да ежели она въ соку — вѣдь это что! Опять колбасы, сосиски — сколько сортовъ ихъ однѣхъ наберется! сосиски въ мадерѣ, сосиски съ чесночкомъ, сосиски на сливахъ, сосиски съ кислою капустой, сосиски... э, да что тутъ!

Разговоръ внезапно оборвался. Эти перечисленія до того взволновали моихъ спутниковъ, что глаза у нихъ заблестѣли зловѣщимъ блескомъ и лица обозлились и осунулись, словно подъ гнетомъ сильнаго душевнаго изнуренія. Мнѣ показалось, что еще одна минута — и они совершенно созрѣютъ для преступленія. Къ счастью, въ эту минуту поѣздъ нашъ началъ мало-по-малу уменьшать ходъ, и всѣ сердца вдругъ забились въ виду чего-то рѣшительнаго.

Мы пріѣхали въ Эйдекуненъ, откуда послѣ короткой остановки поѣздъ медленно и какъ-то торжественно повлекъ насъ въ Вержболово. Казалось, Европа сдавала насъ по принадлежности съ какою-то попечительною благосклонностью: вотъ, молъ, они! берите и распредѣляйте ихъ! невинными я ихъ



отъ васъ приняла и невинными же сдамъ вамъ! А ежели и случился съ ними какой грѣхъ, то виновата въ этомъ я одна, а ихъ—простите! Каюсь, я не только открыла имъ доступъ во все рестораны и модные магазины, но многимъ даже развязала языки; однакожъ я увѣрена, что дома, у себя, они съумѣютъ и помолчать! Не правда ли, *mesdames et messieurs*?

— Помилюте! да мы! да никогда! да упаси Боже!—слышались мнѣ воображаемые голоса соотечественницъ и соотечественниковъ, съ готовностью и съ чистымъ сердцемъ устремляющихся на „страшный судъ“.

Но на дѣлѣ никакихъ голосовъ не было. Напротивъ того, во время минутнаго переѣзда черезъ черту, отдѣляющую Россію отъ Германіи, мы все какъ будто остепенелись. Даже дамы, которыя въ Эйдкуненѣ пересѣли въ наше отдѣленіе, чтобы предстать на страшный судъ въ сопровожденіи своихъ мужей, даже и онѣ сидѣли смирно и, какъ мнѣ показалось, шептали губами обычную короткую молитву культурныхъ людей: „пронеси, Господи!“

— Что! притихла, небось! — обратился Василій Ивановичъ къ своей женѣ, высокой и статной брюнеткѣ, которая даже въ Парижѣ, этомъ все-свѣтномъ сборномъ пунктѣ красивыхъ кокотокъ, не осталась незамѣченною.

Но красавица ничего не отвѣтила и продолжала шевелить губами.

— Матерію-то куда спрятала?—приставалъ Василій Ивановичъ.

Легкая краска, которою покрылось красивое лицо барыни, да какой-то загадочный жестъ внутри себя, сдѣланный почти безсознательно, послужили отвѣтомъ на этотъ вопросъ. Дѣйствительно, въ эту минуту красавица показала мнѣ гораздо больше вальяжнѣ, нежели въ Кёнигсбергѣ за завтракомъ.

— Чай, аршинъ съ тридцать кругомъ себя обмотала? — подмигнувъ Василій Ивановичъ своимъ собесѣдникамъ:—а вотъ изъ Вержболова выйдемъ—разматывать начнемъ. Ахъ, барыни! барыни!

Павель Матвѣичъ и Сергѣй Федорычъ только махнули руками въ сторону своихъ дамъ, которыя тоже послѣ кёнигсбергской остановки замѣтно пополнили.

Вержболово... свершилось!

Насъ попросили выйти изъ вагоновъ, и, надо сказать правду, именно только *попросили*, а отнюдь не вытѣрили. И при этомъ не употребляли ни огня, ни меча—такъ это было странно! Такая ласковость подѣйствовала на меня тѣмъ болѣе отдохновительно, что передъ этимъ у меня положительно подкашивались ноги. Въ головѣ моей даже мелькнула нахальная мысль: да чтожь они объ страшномъ судѣ говорили! какой же это страшный судъ!—или, быть можетъ, онъ *послѣ* будетъ?

Но и послѣ никакого страшнаго суда не было. Таможенный чиновникъ съ такою изысканностью обозрѣлъ наши чемоданы, что дамамъ оставалось только пожалѣть, зачѣмъ онъ и ихъ хорошенько не обыскалъ. Жандармскій офицеръ величаво исполнилъ обрядъ обрѣзанія надъ нашими паспортами, но, исполнивши, съ улыбкой заявилъ, что въ сущности это — пустая формальность, и что по этой статьѣ, какъ и по всемъ прочимъ, ожидается реформа въ самомъ ближайшемъ времени. Даже жандармскій унтеръ-офицеръ Тарара — и тотъ широко улыбался, словно всемъ своимъ лицомъ говорилъ:

— Наши! наши пріѣхали!

Я повеселѣлъ окончательно и, въ порывѣ радости, навѣянной свиданіемъ съ родиной, готовъ былъ даже потребовать отъ Василія Ивановича строгаго отчета:

— Гдѣ же, милостивый государь, тотъ страшный судъ, которымъ вы изволили насъ стращать?

Но онъ предупредилъ мой вопросъ. Въ рукахъ его была паспортная книжка, на которую онъ смотрѣлъ съ какимъ-то недоумѣніемъ, словно ему казалось страннымъ, что послѣдній листокъ, заключающій отмѣтку о возвращеніи, вдругъ исчезъ.

— Ну, теперь, братъ, крѣпко! — проговорилъ онъ вслухъ: — теперь, братъ, ау! ужъ никуда не убѣжишь!

Конецъ пятаго тома.



Типографія М. М. Стасюлевича. Спб. Вас. Остр., 2 линія, 7.









PG  
3361  
S3  
1889  
t.5

Saltykov, Mikhail Evgrafovich  
Sochineniia

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---



